



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

32101 044502456



ОПИСАНА



РГ. Сборники Общества

Под знаменем науки



„ПОДЪ ЗНАМЕНЕМЪ НАУКИ“

Изданъ въ 1902 году

Тридцатилетний юбилейный сборник
ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИКЪ

ВЪ ЧЕСТЬ
Николая Ильича *Стороженка*
Николая Ильича Стороженка

Изданный его учениками и почитателями



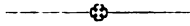
МОСКВА.

Типо-литографія А. В. Васильева и К^о, Петровка, домъ Обилюной.

1902.

Pod znamenem nauki
" "

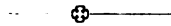
„ПОДЪ ЗНАМЕНЕМЪ НАУКИ“



ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИКЪ

ВЪ ЧЕСТЬ

Николая Ильича Стороженка



Изданный его учениками и почитателями



МОСКВА.

Типо-литографія А. В. Васильева и К^о, Петровка, д. Обдвнной.

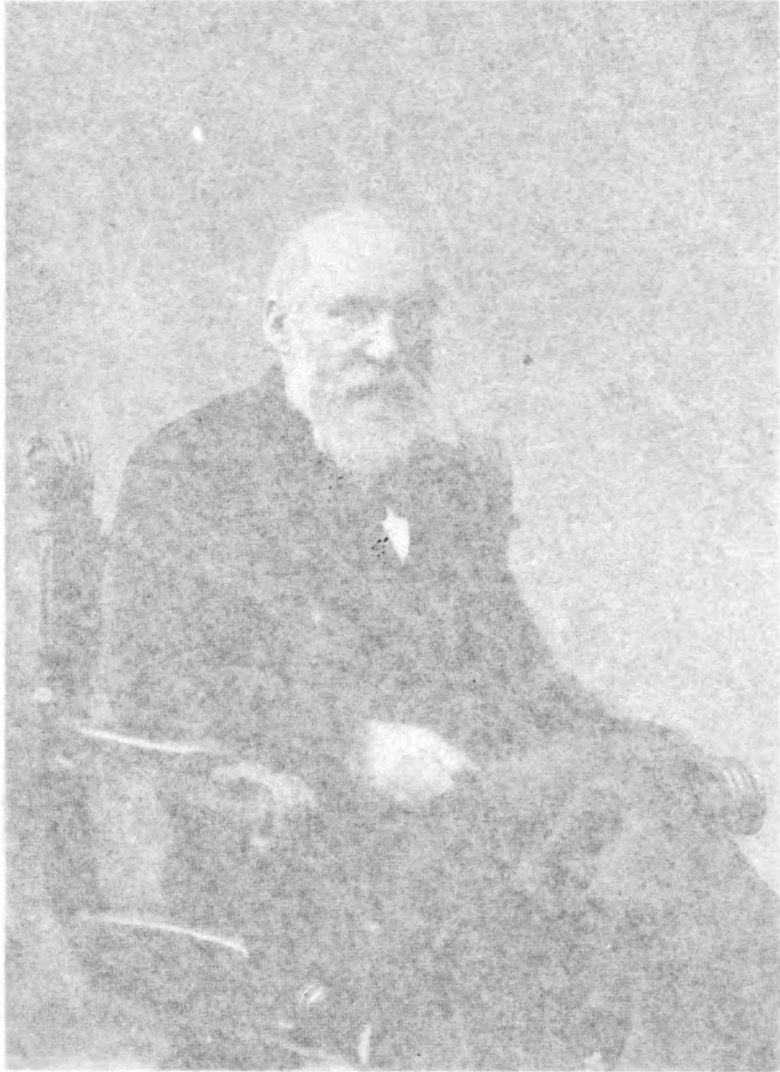
1902.

PN 517
.P57

Дозволено пенаурою. Москва, 14 декабря 1901 г.

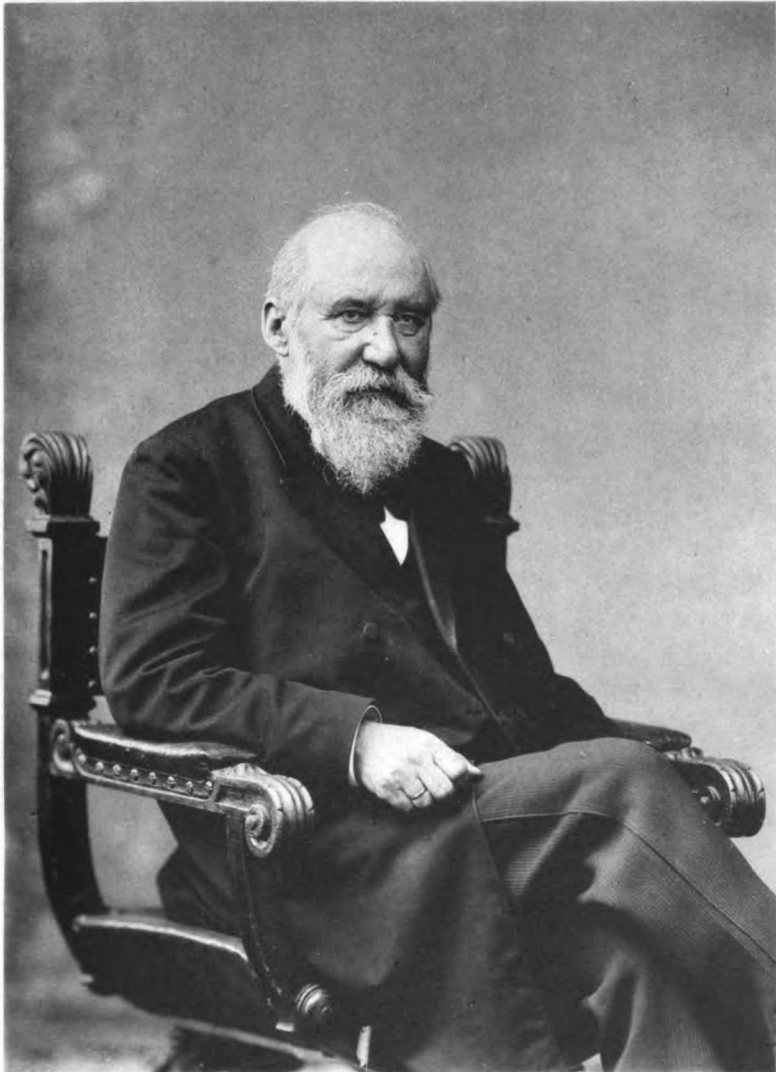
КАТРАВАЛЕНО
ОБМЕННЫМ

42930



Handwritten signature or text, possibly a name, located below the portrait.

1133(188) M44163



H. Comstock

Отъ издателей.

Настоящее изданіе задумано кружкомъ учениковъ Н. И. Стороженка въ ознаменованіе исполнившагося тридцатилѣтія его профессорской дѣятельности. Сочувственная поддержка, оказанная многочисленными почитателями глубокоуважаемаго юбиляра, дала возможность довести задуманное предпріятіе до конца.

Редактированіе сборника, равно и завѣдываніе изданіемъ, было поручено приватъ-доценту Московскаго университета М. Н. Розанову.

Сборникъ составился, за немногими исключеніями, изъ оригинальныхъ и отчасти переводныхъ статей, впервые появляющихся въ печати *).

Издатели считаютъ своимъ долгомъ выразить глубокую благодарность всѣмъ лицамъ, почтившимъ сборникъ своимъ сотрудничествомъ или оказавшимъ имъ содѣйствіе въ той или другой формѣ.

Списокъ лицъ, принявшихъ участіе въ изданіи сборника, помѣщенъ въ концѣ книги.

Москва,
16 декабря 1901.



*) Переводъ новеллы Сервантеса былъ ранѣе напечатанъ въ „Харьковскихъ Вѣдомостяхъ“; статья проф. Линниченка вышла нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ отдѣльнымъ изданіемъ.



Краткій очеркъ научно-литературной и общественной дѣятельности Н. И. Стороженка.

Николай Ильичъ Стороженко родился 10 мая 1836 г. въ родовомъ имѣннй матери с. Ржавецъ, Прилукскаго уѣзда, Полтавской губерніи. Здѣсь провелъ онъ свое дѣтство до десятилѣтняго возраста, когда семья его переселилась въ имѣніе Мармизовку, Лохвицкаго уѣзда той же губерніи.

Получивъ среднее образованіе въ I-й кievской гимназіи, въ которой окончилъ курсъ съ серебряною медалью, Н. И. въ 1856 г. поступилъ на историко-филологическій факультетъ Московскаго университета. Съ жаромъ принялся молодой студентъ за посѣщеніе лекцій и кромѣ профессоровъ своего факультета слушалъ Рулье, Крылова, Капустина и др. Н. И. засталъ еще въ живыхъ Т. Н. Грановскаго, но ему удалось услышать только двѣ лекціи знаменитаго профессора-гуманиста, котораго вскорѣ не стало. Подобно большинству первокурсниковъ, онъ приходилъ въ восторгъ отъ краснорѣчія Шевырева, но это восхищеніе продолжалось весьма недолго и смѣнилось восхищеніемъ лекціями Ѳ. И. Буслаева и П. Н. Кудрявцева. Въ послѣдніе годы пребыванія въ университетѣ Н. И. сблизился съ своимъ землякомъ, извѣстнымъ славистомъ проф. О. М. Бодянскимъ, памяти котораго онъ впоследствии посвятилъ свою докторскую диссертацию.

Литературную дѣятельность Н. И. началъ на студенческой скамьѣ, напечатавъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1859 г. статью о Малорусскомъ литературномъ сборникѣ, изданномъ Мордовцевымъ; такимъ образомъ первый его литературный трудъ былъ посвященъ родной малорусской словесности, въ области которой

Н. И. не переставалъ успѣшно работать и впослѣдствіи. Нельзя не замѣтить, что эта статья написана подѣ сильнымъ вліяніемъ Ѳ. И. Буслаева, перваго, въ Московскомъ университетѣ, представителя сравнительно-историческаго метода въ изученіи литературныхъ произведеній. Подѣ вліяніемъ О. М. Бодянскаго Н. И. началъ переводить съ польскаго яз. *Исторію славянскихъ законодательствъ* В. А. Мацѣвскаго; начало этого перевода было помѣщено въ редактированныхъ тогда Бодянскимъ *Чтеніяхъ въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ* 1859 и 1861 гг. Къ студенческому же времени относится начало увлеченія Н. И-ча произведеніями Шекспира. Пробудившійся въ немъ интересъ къ великому драматургу былъ поддержанъ поощреніемъ того же Бодянскаго.

Окончивъ университетскій курсъ въ 1860 г., Н. И. сталъ было специализироваться въ области славянскихъ нарѣчій, но основанная въ 1863 г. кафедра Исторіи Всеобщей Литературы направила его занятія въ другую сторону тѣмъ болѣе, что тогда уже онъ былъ сильно увлеченъ Шекспиромъ. Состоя преподавателемъ русской словесности въ I-й московской женской гимназіи, Н. И. прочелъ въ 1864 г., въ ея помѣщеніи, пять публичныхъ лекцій о Шекспирѣ. Лестный отзывъ объ этихъ лекціяхъ, написанный извѣстнымъ Пръжовымъ и случайно попавшійся на глаза отцу Н. И-ча былъ причиною того, что онъ далъ сыну средства для первой поѣздки въ Англію. Н. И. пробылъ за границей почти годъ, слушалъ лекціи Лабулэ, Гастона Буассье, Филарета Шаля, Мезьера, Каро и др. въ Сорбоннѣ и Collège de France и работалъ около трехъ мѣсяцевъ въ библиотекѣ Британскаго Музея въ Лондонѣ. Въ 1867 г. Н. И. снова отправился на два года въ Англію съ цѣлью работать надѣ предшественниками Шекспира. Изъ Лондона онъ дѣлалъ экскурсіи въ Bodleian Library въ Оксфордѣ и побывалъ на родинѣ Шекспира, гдѣ посѣтилъ всѣ мѣста, связанныя съ именемъ Шекспира, начиная съ дома, гдѣ онъ родился, и оканчивая его могилою.

Результатомъ двухлѣтняго пребыванія въ Англіи была статья *Шекспировская Критика въ Германіи*, напечатанная въ „Вѣстникѣ Европы“ за 1869 г. и диссертация *Предшественники Шекспира* (Спб. 1872), которая была защищена имъ въ петербургскомъ университетѣ въ маѣ 1872 г. Получивъ степень магистра, Н. И. былъ избранъ въ сентябрѣ 1872 г. совѣтомъ Московскаго университета на кафедру исторіи всеобщей литературы. Въ 1873 г. Н. И. получилъ отъ университета годичную заграничную командировку; осень онъ провелъ въ Парижѣ, слушая лекціи въ Сорбоннѣ,

Collège de France, Ecole des Chartes, Ecole des Hautes Etudes и занимаюсь частнымъ образомъ старо-французскимъ языкомъ у Dammsteter'a. Переѣхавши въ Лондонъ, онъ занимался собираніемъ матеріаловъ для своей второй диссертациі. Чтобы покончить съ этою работою, нашему ученому пришлось еще разъ пріѣхать въ Лондонъ, что онъ и исполнилъ въ 1877 г. Въ 1878 г. докторская диссертациія *Робертъ Грингъ, его жизнь и произведенія* (М. 1878) была защищена въ Петербургскомъ университетѣ.

I.

Въ магистерской диссертациі „Предшественники Шекспира. Эпизодъ изъ исторіи англійской драмы въ эпоху Елисаветы. Т. I. Лилли и Марло“ (Сиб. 1872) авторъ преслѣдовалъ обширный планъ—выяснить ходъ развитія англійской драмы до Шекспира. Сочиненіе было рассчитано на два тома: 1) очеркъ развитія англійской драмы до тѣхъ поръ, пока она подъ рукою Марло не получила художественную организацію; 2) второстепенные драматурги, развившіеся подъ вліяніемъ Марло и служащіе какъ бы связующей нитью, между нимъ и Шекспиромъ. Въ заключеніе автору хотѣлось на основаніи данныхъ, добытыхъ сравненіемъ, опредѣлить, что въ драматическомъ стилѣ Шекспира принадлежитъ лично ему, и что должно быть признано достояніемъ его предшественниковъ. Не говоря уже о русской наукѣ, даже западная въ то время не имѣла систематическаго и обстоятельнаго руководства для изученія дошекспировской драмы. Колльеръ собралъ груды фактовъ и изложилъ ихъ хронологически. Автору, самостоятельно пересмотрѣвшему этотъ матеріалъ, удалось сдѣлать къ нему нѣсколько дополненій и поправокъ. Ульрици и Гервинусъ замкнули все въ стройныя логически представленія. Авторъ на протяженіи своего сочиненія полемизируетъ по разнымъ вопросамъ съ ними, особенно съ Ульрици, доказывая, что для красоты и стройности схемы онъ насилывалъ историческіе факты. Магистерская диссертациія выполнила первую часть задуманной обширной работы. Она состоитъ изъ четырехъ главъ: 1) начатки англійскаго театра; 2) переходная эпоха; 3) общество и театръ; 4) Марло. По вопросу о происхожденіи англійскаго театра авторъ занялъ срединное положеніе между англійскими историками драмы, обыкновенно оставляющими безъ вниманія безыскусственные памятники народной драматургіи, съ одной стороны,—и такими изслѣдователями, какъ Як. Гриммъ, преувеличивающими вліяніе

народныхъ языческихъ обрядовъ на мистеріи,—съ другою. По словамъ автора, „борьба двухъ стихій—церковно-литургической и народно-бытовой, которыя то расходятся, то сливаются между собой, пока одна изъ нихъ не беретъ окончательнаго перевѣса надъ другою, составляетъ главное содержаніе исторіи средневѣковой драмы“. Авторъ особенно внимательно всматривается въ связь театра съ народной жизнью; въ комическихъ эпизодахъ векфильдскихъ мистерій видитъ зародышъ будущей самобытной англійской комедіи; по вопросу о томъ, на какомъ языкѣ игрались первыя мистеріи въ Англии, полемизируетъ съ Колльеромъ и Ульрици, доказывая, что „если когда-нибудь (на что мы, впрочемъ, не имѣемъ никакихъ историческихъ свидѣтельствъ), въ Честерѣ игрались мистеріи на французскомъ яз., то, во-первыхъ, во всякомъ случаѣ не для народа, а во-вторыхъ,—исполнителями ихъ были не корпораціи честерскихъ ремесленниковъ, а сами духовные съ участіемъ любителей высшаго круга“. Теорія Колльера о происхожденіи моралитѣ изъ діалоговъ аллегорическихъ фигуръ мистерій, къ которой присоединился Ульрици, допускавшій для моралитѣ еще одинъ источникъ—французскія *entremets*, вызвала возраженія со стороны автора. Какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, онъ раздѣляетъ мнѣніе Эберта, что „моралитѣ суть не что иное, какъ переложенныя въ драматическую форму эпическія аллегоріи, столь любимыя средневѣковыми поэтами“, и что теологическое содержаніе моралитѣ слѣдуетъ сопоставлять съ общегословскимъ характеромъ средневѣковой литературы.

Давая понятіе объ интерлюдіяхъ, авторъ выдвигаетъ Джона Гейвуда, доказывая, что значеніе его въ исторіи англійской драмы не оцѣнено по достоинству, и полемизируя противъ господствующаго мнѣнія (особенно противъ Ульрици), утверждающаго, что талантъ Гейвуда былъ чисто внѣшній, не способный создавать типы. Авторъ думаетъ, что Гейвуда можно назвать отцомъ англійской комедіи, и чтобы доказать, что онъ можетъ удовлетворить самыхъ взыскательныхъ судей, подробно рассказываетъ содержаніе его интерлюдій и приводитъ изъ нихъ выдержки. Онъ защищаетъ Гейвуда противъ мнѣній Гервинуса и Ульрици при разсмотрѣніи вопроса о классическомъ вліяніи на англійскій театръ, доказывая, что они преувеличиваютъ значеніе первой классической по формѣ комедіи на англійскомъ языкѣ Юдолла, и неправильно указываютъ на дурное вліяніе на нее народной комедіи Гейвуда. Глава третья, рисующая общество и театръ Елисаветинской Эпохи, представляетъ широко написанную культурно-историческую картину. Авторъ выясняетъ, какъ увеличеніе мате-

ріального забезпеченія дало обществу разныхъ классовъ досугъ, который употреблялся на театръ. Много мѣста удѣлено выясненію религіозной политики правительства и полемики, происходившей между пуританами и людьми, причастными къ театру по вопросу о нравственномъ значеніи театральныхъ зрѣлищъ. Чтеніе этой главы, такъ широко задуманной, дѣлають особенно интереснымъ многочисленныя выписки изъ современныхъ полемическихъ памфлетовъ.

Авторъ даетъ также не мало отрывковъ изъ драматическихъ сочиненій Лилли и Марло, подробно знакомя съ ихъ содержаніемъ. По поводу послѣдняго онъ вступаетъ въ полемику съ Гервинусомъ и Ульрици, защищая Марло отъ преувеличенныхъ упрековъ въ нравственныхъ недостаткахъ, которые заставляли этихъ изслѣдователей подозрительно смотрѣть и на художественныя достоинства драматическихъ его произведеній. Весь ученый аппаратъ книги отнесенъ къ концу и составляетъ 72 стр. къ 293 стр. текста. Это между прочимъ служило упрощенію изложенія диссертации, написанной такъ живо, что, являясь цѣнной для специалистовъ, она въ то же время можетъ быть рекомендована для обыкновеннаго читателя, какъ интересная и вполне доступная книга.

Докторская диссертация Н. И. Стороженка: „Робертъ Гринъ. Его жизнь и произведенія“ (М. 1878) тѣсно примыкаетъ къ его первому труду „Предшественники Шекспира, Т. I“ (Спб. 1872) и представляетъ одинъ отдѣлъ изъ предполагавшагося второго тома этого сочиненія.

Книга распадается на четыре главы. Первая даетъ мастерской очеркъ біографіи Грина, основанный на тщательномъ изученіи первоисточниковъ. Жизненную трагедію Грина авторъ удачно выясняетъ „разладомъ между его страстнымъ темпераментомъ, которому, какъ нельзя болѣе, отвѣчали вѣянія Возрожденія, съ одной стороны, и идеалами привитыми воспитаніемъ, съ другой“. Изучая драматическія произведенія Грина, авторъ убѣдился, что „для полной характеристики его личности и литературной дѣятельности необходимо принять въ расчетъ его многочисленныя прозаическія произведенія, по характеру своему весьма родственныя его драмамъ“. Поэтому обширную II главу (стр. 41 — 118) онъ посвящаетъ детальному разсмотрѣнію прозаическихъ произведеній Грина, интересуясь главнымъ образомъ ихъ автобіографическою стороною и стараясь уловить въ нихъ отраженіе различныхъ душевныхъ состояній, пережитыхъ Гриномъ въ разныя эпохи его жизни.

Третья глава характеризует Грина, как драматурга, причѣмъ лучшія его драмы „Монахъ Бэконъ“ и „Вэкфильскій полевой сторожъ“ подвергаются наиболѣе детальному разбору. Мѣсто его въ исторіи англійской драмы, по выводу автора, мѣтко опредѣлено Четлемъ, который величалъ Грина единственнымъ народнымъ драматургомъ въ Англии. „Дѣйствительно, — продолжаетъ авторъ, — названіе *народнаго драматурга* ни къ кому такъ не идетъ, какъ къ Грину, потому что ни у одного изъ современныхъ ему драматурговъ мы не найдемъ столько сценъ, такъ сказать живьемъ выхваченныхъ изъ англійской жизни и притомъ написанныхъ чистымъ народнымъ языкомъ, безъ всякой примѣси эффуизма и классической орнаментики“. Сравнивая драмы Грина съ драмами Марло, авторъ приходитъ къ такому выводу: „то, что сдѣлано Марло по отношенію къ трагедіи и драматической хроникѣ, то сдѣлано Гриномъ въ области, такъ называемой, романтической драмы; дѣятельность ихъ составляетъ необходимую ступень въ развитіи стариннаго англійскаго театра“.

Послѣдняя глава диссертации опредѣляетъ вліяніе, оказанное этимъ „предшественникомъ Шекспира“ на великаго драматурга. По опредѣленію изслѣдователя, Гринъ первый внесъ нѣкоторую художественную организацію въ тотъ драматическій жанръ, который многими шекспирологами называется „романтической драмой“. Многія изъ пьесъ Шекспира („Цимбеллинъ“, „Зимняя сказка“, „Сонъ въ лѣтнюю ночь“, „Какъ вамъ угодно“ и др.) принадлежатъ къ этому жанру; отсюда первое обязательство геніальнаго драматурга передъ Гриномъ. Искусство вести рядомъ двѣ параллельныя интриги, а также умѣнье вплетать комическіе эпизоды въ самый ходъ дѣйствія также могли быть заимствованы Шекспиромъ у автора „Монаха Бэкона“. Оригинальность Грина особенно проявилась въ созданіи идеальныхъ женскихъ типовъ, воплощающихъ „*отъчно-женственное начало* беззавѣтной преданности, любви и всепрощенія“. И въ этомъ отношеніи Шекспиръ многимъ обязанъ Грину: его Имоджена, этотъ „едва ли не привлекательнѣйшій изъ женскихъ типовъ, созданныхъ геніемъ Шекспира“, созданъ подъ вліяніемъ гриновской Филомелы. Точно такъ же у Грина можно найти первые намеки на типъ мизантропа, который созданъ Шекспиромъ въ „Тимонѣ Авинскомъ“.

Критика, русская и иностранная, встрѣтила съ полнымъ сочувствіемъ новый трудъ автора „Предшественниковъ Шекспира“. Академикъ А. Н. Веселовскій посвятилъ диссертации спеціальную статью ¹⁾, въ которой писалъ: „новое изслѣдованіе о Гринѣ

¹⁾ „Робертъ Гринъ и его изслѣдователи“ („Вѣстникъ Европы“ 1879 № 8).

одна изъ тѣхъ ученыхъ, доступныхъ по изложенію монографіи, которая сдѣлала бы честь любой европейской литературѣ. Матеріалъ охваченъ вполне, насколько онъ теперь доступенъ, пересмотрѣно и оцѣнено все, что только было писано Гриномъ или о Гринѣ; авторъ пользовался источниками, которыхъ до него рѣдко кто касался, обратилъ вниманіе на такія стороны вопроса, которыя до тѣхъ поръ обходили стороною“. Оспаривая вѣрность нѣкоторыхъ выводовъ автора, критикъ признавалъ большую научную цѣнность его труда ¹⁾.

Диссертация о Робертѣ Гринѣ вызвала лестные отзывы въ англійскихъ критическихъ журналахъ ²⁾. Лондонское Новое Шекспировское Общество (New Shakespeare Society), признавъ изслѣдованіе цѣннымъ вкладомъ въ исторію англійской драмы, оказало автору высокую честь, рѣдко выпадающую на долю иностранныхъ ученыхъ: избрало его однимъ изъ своихъ вице-президентовъ. Книга была переведена на англійскій языкъ г. Ходжетсомъ подъ заглавіемъ: „Robert Greene: his life and works. A critical investigation by Nicholaj Storojenko“, и составила первый томъ обширнаго изданія: „The Life and Complete Works in prose and verse by Robert Greene“ etc. London 1883—1886. Къ біографіи Р. Грина, написанной русскимъ ученымъ, издатель А. Гросартъ прибавилъ обширное введеніе: Introduction to Professor Storojenko's Life of Greene (pp. IX—LXXXVII). „Эта русская біографія Роберта Грина—пишетъ здѣсь англійскій ученый—замѣчательно основательна, глубокомысленна и свѣжа по содержанію; чуждая отвлеченностей, туманностей или хитросплетеній, она отличается здравымъ и разумнымъ, дѣловитымъ и удобопонятнымъ изложеніемъ; написана стилемъ яснымъ и блестящимъ. За такія качества она заслуживаетъ перевода. Сопоставляя ее съ сочиненіями нѣмецкихъ біографовъ Грина—Бернгарди и Боденштедта—мы находимъ въ ней исключительныя достоинства“.

Гросартъ относится съ большимъ уваженіемъ и къ магистерской диссертации Н. И—ча. Обѣ диссертации до сихъ поръ съ большею похвалою упоминаются англійскими изслѣдователями (таковъ, напр., отзывъ Воас'а въ его „Predecessors of Shakespeare“).

Ученныя заслуги Н. И—ча признаны и Императорской Академіей Наукъ, избравшей его въ члены-корреспонденты.

¹⁾ Замѣчанія акад. Веселовскаго вызвали отвѣтъ Н. И. Стороженка въ „Критическомъ Обзорѣніи“ 1879 г., № 8, стр. 14—25.

²⁾ Ср. „Критич. Обзорѣніе“ 1879, № 3, стр. 18.

Профессорскую дѣятельность въ Московскомъ университетѣ Николай Ильичъ началъ въ 1872 г. лекціями по литературѣ эпохи „Возрожденія“. Заявивъ уже себя въ наукѣ виднымъ шекспирологомъ, Н. И., какъ профессоръ, не считалъ себя въ правѣ замыкаться въ предѣлахъ своей ближайшей специальности. Его курсы, читанные въ стѣнахъ Московскаго университета, весьма многочисленны и разнообразны. Едва ли найдется сколько-нибудь значительный моментъ западно-европейскаго литературнаго развитія, который не остановилъ бы на себѣ его вниманіе, какъ преподавателя. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно пересмотрѣть названія читанныхъ Николаемъ Ильичемъ курсовъ: „Французская средневѣковая литература“, „Исторія старинной англійской литературы“, „Дантъ“, „Исторія средневѣковой литературы“, „Литература эпохи Возрожденія въ Италіи, Германіи и Франціи“, „Шекспиръ“, „Исторія шекспировской критики“, „Исторія испанской драмы“, „Англійская литература XVII в.“, „Французская литература XVII в.“, „Исторія западно-европейской литературы въ средніе вѣка и въ эпоху Возрожденія“, „Французская литература XVIII в.“, „Исторія новой западной литературы“ (общій курсъ), „Исторія англійской литературы XIX в.“, „Исторія американской литературы“, „Исторія критики“, „Исторія романа“ и др.

Всѣ эти лекціи отличаются многими драгоцѣнными качествами. Прежде всего онѣ стоятъ на высотѣ современной европейской науки и передаютъ строго провѣренные критикою и достовѣрные литературные факты въ надлежащемъ освѣщеніи. При всей своей строгой научности и замѣчательной объективности, онѣ чужды малѣйшей сухости или педантизма. Изложеніе отличается ясностью, прозрачностью и увлекательностью. Почтенный профессоръ является здѣсь не только талантливымъ руководителемъ своихъ молодыхъ слушателей въ области науки, но и воспитателемъ ихъ въ духѣ гуманности, благороднаго идеализма и истинной гражданственности.

Обстоятельный анализъ университетскихъ лекцій Н. И-ча не входитъ въ задачи настоящаго краткаго очерка. Поэтому мы принуждены ограничиться краткимъ отчетомъ о немногихъ его курсахъ, являющихся въ значительной степени, типическими.

Въ курсѣ о Шекспирѣ не только собраны результаты всего, что сдѣлано шекспировской критикою на западѣ, но и результаты 30-лѣтняго изученія Шекспира самимъ Н. И. Въ виду этого курсъ

распадается на двѣ части. Первая заключаетъ въ себѣ исторію шекспировской критики въ главныхъ европейскихъ литературахъ, вторая—біографію и разборъ произведеній Шекспира. По богатству и полнотѣ бібліографическихъ данныхъ, по искусной классификаціи разныхъ критическихъ школъ, изучавшихъ Шекспира, первая часть даетъ возможность всякому легко и быстро разобратъ въ необозримой шекспировской литературѣ.

Во второй части Н. И. подвергаетъ тщательному изслѣдованію вопросы, связанные съ каждымъ изъ произведеній Шекспира. Отказываясь навязывать, подобно германской философской критикѣ, Шекспиру какія бы-то ни было предвзятая тенденціи, Н. И. всюду старается показать, что значеніе шекспировскихъ пьесъ далеко не исчерпывается ихъ ролью въ качествѣ иллюстрацій той или другой идеи, въ качествѣ матеріала, служащаго для оправданія той или другой философской теоріи. Значеніе его пьесъ вѣчное и общечеловѣческое. Но это не значитъ, что Шекспиръ не имѣлъ собственнаго міросозерцанія. Н. И. удалось сдѣлать нѣсколько крупныхъ шаговъ въ разрѣшеніи этого труднаго вопроса, именно въ выясненіи политическихъ, общественныхъ и житейскихъ взглядовъ Шекспира.

Это изученіе Шекспира сопровождается той научной осторожностью, которая всегда руководитъ изслѣдователемъ, ищущимъ одной истины. Н. И. всегда предпочитаетъ въ темныхъ вопросахъ лучше признаться въ безсиліи науки, чѣмъ строить произвольные и легкомысленные выводы. Хронологія шекспировскихъ пьесъ и источники, откуда Шекспиръ бралъ сюжеты, обслѣдованы чрезвычайно тщательно. Въ общемъ курсъ Н. И. является послѣднимъ словомъ, которое сказано наукой о великомъ англійскомъ драматургѣ.

Въ курсѣ по „Исторіи романа“ профессоръ даетъ широкую картину общаго развитія европейскаго романа, начиная съ первыхъ попытокъ прозаическаго повѣствованія и кончая современнымъ общественнымъ и психологическимъ романомъ. Остановливаясь съ особенною подробностью на реально-бытовомъ романѣ, Н. И. указываетъ на тѣ видоизмѣненія, какимъ подвергалась эта литературная форма, въ зависимости отъ особенностей психическаго склада отдѣльныхъ народовъ и отъ условій переживаемаго историческаго момента. Съ особеннымъ вниманіемъ Н. И. старается прослѣдить отраженіе въ романѣ господствовавшихъ въ обществѣ идей и настроеній, благодаря которымъ обогащалось и углублялось его содержаніе и самъ онъ получалъ серьезное об-

щественное значеніе. При этомъ лекторъ указывалъ слушателямъ на то, какъ отражалась въ области романа смѣна литературныхъ школъ, вызванная соответствующимъ измѣненіемъ въ общемъ направленіи господствующихъ умственныхъ теченій. Далекій отъ сухой схематизаціи литературныхъ фактовъ, онъ оживлялъ свое изложеніе яркими характеристиками отдѣльныхъ романистовъ, иллюстрируя свой рассказъ выдержками изъ ихъ произведеній и создавая такимъ образомъ цѣлый рядъ художественно-законченныхъ литературныхъ портретовъ, ярко запечатлѣвавшихся въ памяти слушателей.

Принципъ широкаго сравнительно-историческаго изученія литературныхъ явленій лежитъ въ основѣ научныхъ пріемовъ проф. Стороженка. Въ своихъ лекціяхъ онъ нерѣдко касается методологическихъ вопросовъ, излагая свой взглядъ на задачи и пріемы историко-литературнаго изслѣдованія. Каждый изъ различныхъ методовъ въ отдѣльности имѣетъ, по мнѣнію профессора, свой *raison d'être*, несправедливо только притязаніе отдѣльной какой-нибудь теоріи на исключительное преобладаніе. Такъ какъ литературное произведеніе есть явленіе сложное, заключающее въ себѣ нѣсколько сторонъ, то и критика его не должна впадать въ односторонность, а стараться выяснить всѣ стороны даннаго произведенія. Въ слѣдующихъ словахъ прекрасно резюмированы взгляды Николая Ильича на задачи литературной критики: „Отправляясь отъ главнаго положенія, выработаннаго исторической критикой, что каждое литературное произведеніе есть продуктъ окружающей среды, критикъ долженъ прежде всего выяснить нити, связывающія его съ духомъ времени, руководящими идеями эпохи и требованіями публики. Но художественное произведеніе есть также продуктъ творческой фантазіи автора, поэтому его нужно изучать не только въ связи съ идеями эпохи, но и съ міромъ идеаловъ самого художника. Для рѣшенія этого вопроса нужно познакомиться съ исторіей его развитія, опредѣлить тѣ вліянія, которымъ онъ подвергался, тотъ литературный кружокъ, къ которому онъ относится, какъ часть къ цѣлому: здѣсь критика историческая незамѣтнымъ образомъ перейдетъ въ біографическую. Опредѣливъ отношеніе разбираемаго произведенія къ идеямъ эпохи и идеаламъ его творца, критикъ можетъ перейти къ оцѣнкѣ произведенія со стороны художественной. Здѣсь капитальнымъ вопросомъ является вопросъ объ оригинальности сюжета и его освѣщеніи; для рѣшенія этого вопроса придется прибѣгнуть къ методу сравнительному, сравнить разбираемое произведеніе съ

другими, написанными на тот же сюжет, если таковыя были, и выяснить, въ чемъ въ данномъ случаѣ состояла оригинальность автора. Только опредѣливъ степень оригинальности произведенія, критикъ можетъ перейти къ оцѣнкѣ художественнаго плана, типичности образовъ, стиля и т. п. Но этого мало. Въ каждомъ художественномъ произведеніи, кромѣ достоинствъ эстетическихъ, кромѣ чертъ мѣстныхъ, временныхъ, біографическихъ, есть еще достоинства психологическія—способность проникнуть въ глубь человѣческаго сердца и узнавать его сокровенныя стремленія. Благодаря этимъ достоинствамъ, произведеніе становится откровеніемъ человѣческой души, а созданныя художникомъ образы перерастаютъ національныя и мѣстныя рамки и становятся вѣчными идеалами человѣческаго духа; на эту общечеловѣческую сторону должно быть обращено особое вниманіе критика, ибо универсальность идей и мотивовъ есть первое условіе прочности литературнаго произведенія. Если мы прибавимъ къ этому, что бывають произведенія, въ которыхъ, кромѣ того, проводятся извѣстныя философскія или нравственныя идеи, то мы поймемъ, какъ широка должна быть сфера соверщанія историка литературы, которому поочередно приходится быть и историкомъ, и моралистомъ, и эстетикомъ, и психологомъ, и социологомъ“¹⁾.

Подобно курсамъ, и практическія занятія въ семинаріяхъ со студентами были поставлены Николаемъ Ильичемъ широко и разносторонне. Предметомъ ихъ часто служили чтеніе и изученіе памятниковъ старо-французской (*Chansons de geste, Fabliaux* и др.) и старо-нѣмецкой литературы („*Нибелунги*“), а также произведенія Данта. По большей части, однако, въ семинаріяхъ студенты разбирали, подъ руководствомъ Николая Ильича, выдающіяся произведенія новой европейской литературы, начиная съ эпохи Возрожденія. Въ длинный списокъ подобныхъ произведеній входили отдѣльныя пьесы Шекспира („*Макбетъ*“, „*Гамлетъ*“, „*Буря*“, „*Антоній и Клеопатра*“ и др.), драмы его современниковъ и послѣдователей, „*Гамбургская драматургія*“ Лессинга, важнѣйшія драматическія произведенія Гете и Шиллера, французскихъ и нѣмецкихъ романистовъ и т. д.

Рефераты на разнообразныя темы пріучали студентовъ къ научному изслѣдованію литературныхъ произведеній. Тому же способствовали даваемыя Н. И.—чемъ темы для сочиненій на

¹⁾ Литографир. курсъ Исторіи западно-европейской литературы. Ср. также Энциклоп. Словарь Брокгауза и Ефрона, ст. „Критика литературная“.

медаль, обыкновенно очень удачно выбранная, какъ напр.: „Литературная исторія легенды о Фаустѣ“, „Гамлетъ и его толкователи въ англійской и нѣмецкой литературахъ“, „Нѣмецкая романтическая школа и ея вліяніе на русскую литературу“, „Бэйль, какъ провозвѣстникъ идей эпохи просвѣщенія“, „Литературная исторія типа Донъ Жуана“ и др.

Нельзя не упомянуть о томъ, что въ личныхъ отношеніяхъ со студентами Н. И.—чѣ проявляетъ всегда столько привѣтливости, мягкости, сердечности, столько искренней готовности прійти на помощь всякому, кто обращается къ нему съ просьбою, что уваженіе къ нему, какъ къ ученому и профессору, еще болѣе увеличивается обаяніемъ его гуманнаго и любвеобильнаго сердца.

Одновременно съ университетомъ, Н. И. началъ, въ 1872 г., чтеніе лекцій на Высшихъ женскихъ курсахъ, учрежденныхъ проф. В. И. Герье. И здѣсь также имъ читались разнообразныя курсы: „Греческая драма“, „Римская драма“, „Греческая литература“, „Литература эпохи Возрожденія“, „Шекспиръ“, „Исторія романа“ и др. Горячій сторонникъ высшаго женскаго образованія, Н. И. состоялъ преподавателемъ курсовъ въ теченіе шестнадцати лѣтъ вплоть до ихъ закрытія въ 1888 г. Прочувствованный адресъ, поднесенный Н. И.-чу бывшими слушательницами курсовъ въ 1894 г., служить краснорѣчивымъ доказательствомъ, что талантливая дѣятельность глубокоуважаемаго профессора и здѣсь сопровождалась самыми горячими симпатіями.

Въ томъ же 1888 г. Николай Ильичъ началъ чтеніе лекцій на Драматическихъ Курсахъ.

Въ августѣ 1888 года было утверждено новое „Положеніе объ Императорскомъ Московскомъ Театральномъ Училищѣ“. Это положеніе реформировало старую школу и вызвало къ жизни совершенно новое художественное учрежденіе — Драматическіе Курсы, задачей которыхъ было: дать молодымъ людямъ, кромѣ специальныхъ знаній, и достаточную литературно-историческую подготовку.

Составъ учебныхъ предметовъ на курсахъ былъ тогда же опредѣленъ; выработка же программъ чтеній по этимъ предметамъ, въ виду новости самаго дѣла, была возложена на Конференцію Училища. Главнѣйшей заботой администраціи училища было просить объ участіи въ такомъ новомъ и нелегкомъ дѣлѣ людей свѣдущихъ и опытныхъ, любящихъ театръ и понимающихъ его просвѣтительное значеніе. И вотъ, въ числѣ самыхъ первыхъ дѣятелей на Драматическихъ Курсахъ, по части постановки на из-

вѣстную высоту лекцій по литературно-историческимъ предметамъ, стоитъ имя Николая Ильича. На приглашеніе—принять участіе въ созданіи новой школы—Н. И. выразилъ свое согласіе съ такою готовностью, съ такою любовью къ дѣлу и довѣріемъ къ начинаніямъ просившихъ, что въ значительной степени укрѣпилъ въ послѣднихъ вѣру въ успѣхъ новаго учрежденія.

Такимъ образомъ, съ 1-го сентября 1888 года, Н. И., принявъ званіе почетнаго члена Конференціи, работаетъ сначала надъ составленіемъ пробныхъ программъ по Всеобщей Литературѣ и Исторіи драмы и театра, а съ открытіемъ курсовъ, 1-го октября того же года, читаетъ первый курсъ Всеобщей Литературы. По окончаніи перваго года занятій, Н. И., убѣдившись въ возможности осуществленія намѣченной имъ программы, передаетъ чтеніе Всеобщей Литературы М. Н. Розанову, самъ же отдается выработкѣ курса Исторіи драмы и театра.

Два первыхъ пробныхъ года дали возможность ориентироваться въ обширномъ матеріалѣ упомянутыхъ наукъ и, по окончаніи этихъ лѣтъ, Н-емъ И-чемъ, совмѣстно съ другими лекторами, были даны программы чтеній, принятія Конференціей и утвержденныя Министромъ Императорскаго Двора въ 1890 году и дѣйствующія до настоящаго времени.

Кромѣ этого краеугольнаго камня, положеннаго Н. И. въ основаніе Драматическихъ Курсовъ, есть еще вкладъ и вкладъ неоцѣнимый—это обработанныя и изданныя имъ лекціи по исторіи англійской, испанской, итальянской, французской и нѣмецкой драмы и театра. Чтеніе этихъ лекцій не только даетъ огромный образовательный матеріалъ учащимся, но способно доставить истинное удовольствіе всякому живому и просвѣщенному человѣку. Лекціи свои Н. И. изложилъ столь простымъ и столь картиннымъ языкомъ, что глубокое содержаніе ихъ оказывается доступнымъ читателямъ даже съ очень скромной подготовкой. Здѣсь, какъ и вездѣ, сказалось постоянное вниманіе Н. И. къ своимъ ученикамъ и исключительная, особенная любовь его къ молодежи, проявляющаяся на каждомъ шагѣ. Никто не помнитъ случая, чтобы Н. И. позабылъ своевременно доставить обѣщанную книжку, или какое-либо учебное пособіе; никому нѣтъ отказа въ помощи, совѣтѣ и даже руководствѣ.

Чуткій и заботливый ко всему, что касается научнаго образованія молодежи, Н. И. не менѣе отзывчивъ и внимателенъ къ специальнымъ занятіямъ ея. Какъ почетный членъ Конференціи, онъ присутствуетъ на всѣхъ испытаніяхъ учащихся по дикціи, декламации и драматическому искусству вообще. Змѣтные ус-

дѣхи даннаго курса въ исполненіи спектаклей приносятъ Н. И. столь живую радость, какъ будто дѣло это касается дорогихъ, близкихъ ему людей.

II.

Какъ шекспирологъ Н. И. впервые выступилъ публично со статьей „Шекспировская критика въ Германіи“. Тема давала автору благодарный поводъ—высказать свои общія идеи о художественной литературѣ вообще и въ частности о шекспировскомъ творствѣ. Германская ученая критика, проникнутая восторгами предъ гениемъ Шекспира, обнаружила упорную тенденцію—приспособить шекспировскія драмы къ разнымъ отвлеченно-нравственнымъ задачамъ и даже злободневнымъ политическимъ интересамъ своего отечества. Задачи эти въ большинствѣ случаевъ не отличаются особенной глубиной и смѣлостью міросозерцанія, сущность ихъ подсказана умѣреннымъ бюргерскимъ міросозерцаніемъ. Съ точки зрѣнія этого міросозерцанія слишкомъ отважны увлеченія страсти, вообще бурныя проявленія темперамента, лирической воли подлежатъ строгому осужденію,—и германская наука, въ лицѣ такихъ крупныхъ представителей, какъ Гервинусъ, Ульрици,—могла произносить жестокіе приговоры надъ Ромео и Юліей и извлекать ходячія благонамѣренныя поученія изъ такихъ трагедій, какъ „Гамлетъ“ и „Король Лиръ“.

Н. И. Стороженко подвергъ всестороннему пересмотру эти приговоры, раскрылъ ихъ общій культурный и философскій источникъ, далъ попутно яркія характеристики умственныхъ теченій Германіи XIX вѣка. Съ безукоризненной полнотой излагая чужіе взгляды,—критикъ основательно мотивируетъ свое отношеніе къ нимъ, обнаруживая замѣчательную освѣдомленность въ произведеніяхъ Шекспира и рѣдкую тонкость эстетическаго сужденія. Статья до сихъ поръ остается въ русской литературѣ незамѣнимымъ руководствомъ для изученія не только шекспировской критики въ Германіи, но и вообще для знакомства съ основными направленіями нѣмецкой эстетики минувшаго столѣтія,—отъ Лессинга до семидесятыхъ годовъ. Никто ни изъ раннихъ, ни изъ позднѣйшихъ русскихъ писателей не привелъ этой эстетики въ такую ясную положительную связь съ философскими ученіями и никто съ такой мѣткостью не обнаружилъ частныхъ эстетическихъ заблужденій различныхъ критиковъ путемъ анализа общаго философскаго первоисточника этихъ заблужденій. Методъ, избранный

авторомъ, превосходно соответствовали цѣли и не можетъ быть замѣненъ никакимъ другимъ. Эта оцѣнка извѣстнаго культурнаго явления, исходящая изъ подробнаго историческаго и психологическаго анализа почвы и корней. Въ результатъ уже самого анализа получается вполне послѣдовательно должное освѣщеніе подробностей. Великую услугу автору оказало предварительное чисто-ислѣдовательское знакомство съ исторіей стараго англійскаго театра и, стоя на этой прочной почвѣ, онъ, восторженный поклонникъ Шекспира и эстетики, оказывался реалистичнѣе такихъ, напримѣръ, реалистовъ-скептиковъ, какъ Рюелингъ.

Этотъ писатель, громко провозгласившій права холоднаго разсудка и положительной критики въ отношеніи къ Шекспиру, построилъ зданіе реализма на невѣдѣньяхъ и недоразумѣньяхъ и Н. И. Стороженку не стоило большого труда обличить отважнаго Колумба въ области шекспириологии,—обличить, отдавъ должное рюелиновскому требованію трезвости и осмотрительности, столь часто забываемому фанатическими шекспиристами Германіи.

Послѣ статьи о Шекспировской критикѣ въ Германіи Н. И. не переставалъ работать надъ изученіемъ излюбленнаго автора—и какъ ученый и даже какъ публицистъ, глубоко убѣжденный въ безсмертномъ идейномъ значеніи шекспировскаго творчества. Статью вообще о Шекспирѣ, объ его жизни и произведеніяхъ нашъ ученый напечаталъ во „Всеобщей исторіи литературы“, изданной подъ редакціей В. Э. Корша и А. И. Кирпичникова. Статья написана общедоступно, живымъ, увлекательнымъ языкомъ и, по содержанію, является точнымъ результатомъ научнаго развитія шекспириологии до послѣдняго времени. Въ статьѣ часто одинъ фактъ, одно предложеніе скрываютъ за собой выводъ сложныхъ и кропотливыхъ изслѣдованій. Фактическія данныя отъ начала до конца строго вывѣрены, насколько это возможно при современномъ научномъ положеніи предмета, личность автора очерчена не только безусловно-историческими чертами, а его произведенія разобраны критикомъ, одушевленнымъ тонкимъ чутьемъ художественныхъ красотъ и вооруженнымъ безчисленнымъ историко-литературнымъ матеріаломъ. Н. И. не отступаетъ предъ самымъ труднымъ вопросомъ, какой только вообще представляется шекспириологу,—предъ характеристикой нравственныхъ и философскихъ воззрѣній Шекспира. Благодарный матеріалъ въ этомъ отношеніи даютъ особенно сонеты: имъ позже Н. И. посвятилъ свою актовую рѣчь. Ученый умѣетъ съ большимъ интересомъ передать читателю различныя теоріи о необыкновенно запутанномъ вопросѣ и сдѣлать свой краснорѣчивый, яркій, психоло-

гически-реальный выводъ. Сонеты раздѣляются на группы, и каждая изъ нихъ рисуется съ разныхъ точекъ зрѣнія душевный міръ Шекспира,—въ результатѣ предъ нами цѣльный гениально-влекущій образъ великаго поэта и много страдавшаго человѣка.

Съ такой же ясностью и методичностью изслѣдовано и содержание драмъ и комедій Шекспира. Исторію Шекспировскаго творчества Н. И. Стороженко дѣлитъ на четыре періода, каждый изъ нихъ представляетъ стадію въ развитіи и художественнаго творчества и міросозерцанія. Характеристики, какія даетъ авторъ разнымъ періодамъ,—кратки и въ высшей степени опредѣленны при всей своей сжатости. Въ литературѣ о Шекспирѣ онѣ остаются до сихъ поръ основнымъ капиталомъ и отъ нихъ приходится отправляться всякому новому изслѣдователю. Наиболѣе трудная и вообще весьма мало разработанная часть этого анализа—техника шекспировской драмы—получаетъ у Н. И. Стороженка достойное мѣсто,—и даетъ автору существенныя указанія для хронологическихъ опредѣленій. Каждому изъ популярнѣйшихъ героевъ удѣлено нѣсколько психологическихъ замѣчаній, концентрирующихъ сущность той или другой драматической фигуры. Въ заключеніе Шекспиръ оцѣнивается какъ *историческое* явленіе, созданное извѣстной средой, ею воспитанное и ей обязанное—свойствами своего таланта и его многими красотами. Русскій изслѣдователь далека отъ героической оцѣнки великаго драматурга, столь распространенной въ западной шекспирологіи, истинно-реальный взглядъ до конца господствуетъ надъ сужденіями ученаго, и вся статья о Шекспирѣ является, можно сказать, образцовой историко-литературной миньютурой, гдѣ каждый штрихъ ровно уложенъ и многозначителенъ.

За этюдомъ о Шекспирѣ слѣдоваль рядъ изслѣдованій, публичныхъ лекцій объ отдѣльныхъ шекспировскихъ произведеніяхъ. Во главѣ слѣдуетъ поставить обширную статью о Макбетѣ и вышеупомянутую рѣчь о сонетахъ. Статья о Макбетѣ исчерпываетъ всѣ вопросы, касающіеся одной изъ гениальныхъ трагедій Шекспира, начиная съ источниковъ пьесы и кончая подробнымъ историческимъ обзоромъ ея сценическихъ воспроизведеній. Весьма поучительно сопоставленіе сюжета, переработаннаго Шекспиромъ,—съ первоисточникомъ, сопоставленіе, бросающее свѣтъ вообще на художническую манеру Шекспира пользоваться матеріаломъ. Характеръ лэди Макбетъ—одинъ изъ самыхъ глубокихъ и поэтому трудно-постигаемыхъ—занялъ обширное мѣсто въ статьѣ,—и, иллюстрированной ролями знаменитѣйшихъ исполнительницъ, доведенъ до полной цѣльности и ясности. Статья, независимо

отъ своихъ чисто научныхъ достоинствъ,—представляетъ большой, можно сказать неизбѣжный интересъ и для артистовъ и артистокъ.

„Сонеты Шекспира въ автобіографическомъ отношеніи“ — образецъ историко-литературнаго и психологическаго изслѣдованія. Именно по такому плану и съ такими приемами современному шекспирологу приходится разрабатывать каждый литературный вопросъ. Историкъ, можетъ-быть, углубилъ бы бытовую историческую почву, расширилъ бы горизонтъ социальныхъ наблюденій, но онъ не прибавилъ бы ничего къ чисто-литературной характеристикѣ предмета. Надо замѣтить, что и самая сложность біографической и литературной стороны вопроса, чрезвычайно напряженный психологическій интересъ сонетовъ оставляли сравнительно второстепенное мѣсто указаннымъ нами наблюденіямъ. Статья о сонетахъ цѣнна еще и благодаря тому обстоятельству, что автору извѣстны болѣе чѣмъ кому-либо русскіе переводы сонетовъ, и образцы этихъ переводовъ старательно приводятся: читатель, слѣдовательно, имѣетъ не только цѣнную и критическую работу, но и располагаетъ вполне достаточнымъ и наилучшимъ сборникомъ переводовъ шекспировскихъ сонетовъ. Н. И. Стороженко энергично защищаетъ положительное автобіографическое значеніе сонетовъ, защищаетъ, искусно пользуясь историческими данными и психологическими соображеніями. Защита до такой степени искренняя и въ результатѣ ея получается такой реальный человѣческій образъ Шекспира, что даже и у самаго рьянаго скептика не сразу поднимется рука на выводы нашего автора. Особенный эффектъ получаютъ сопоставленія мотивовъ сонетовъ съ частностями шекспировскихъ драмъ. Если поэтъ до такой степени налегалъ на извѣстные мотивы, такъ предпочтительно ими пользовался,—очевидно,—они представляли для него нѣчто большее чѣмъ игру поэтическаго воображенія.

Статья „Прототипы Фольстафа“—исторія знаменитаго типа, проведенная по всѣмъ литературамъ, гдѣ только встрѣчалась фольстафовская психологическая тема. Въ статьѣ и логически и конкретно устанавливается принципъ научной историко-литературной работы,—принципъ, требующій сравнительно-историческаго изученія. Историкъ социального направленія и здѣсь, несомнѣнно, потребовалъ бы болѣе широкаго развитія чрезвычайно важнаго факта,—связи шекспировскаго Фольстафа съ разложеніемъ высшаго сословія въ Англіи, переступившей грань среднихъ вѣковъ. Фактъ—точно указанъ авторомъ,—и, по самому существу, фактъ требовалъ бы изображенія Фольстафа не только какъ нравствен-

наго и психологическаго явленія, а какъ чрезвычайно любопытной геніально-художественной иллюстраціи одного изъ рѣшительныхъ соціальныхъ переломовъ въ англійской и вообще въ европейской исторической жизни. И бѣглый характеръ важнаго указанія объясняется только предѣлами статьи, написанной по поводу одного изъ спектаклей на сценѣ московскаго Малаго театра.

Рецензія на книгу Чуйко о Шекспирѣ, носящая названіе „Диллетантизмъ въ шекспировской критикѣ“,—любопытна, какъ свидѣтельство рѣдкой освѣдомленности автора въ крупныхъ и мелкихъ вопросахъ шекспирологии. Здѣсь все обличаетъ дѣйствительно компетентнаго судью,—начиная съ филологическаго опредѣленія смысла какого-нибудь стараго англійскаго слова и кончая коренными хронологическими данными. Эта освѣдомленность служила для Н. И. благодарной, всегда такъ сказать заранѣе обработанной почвой для извлеченія изъ произведеній Шекспира разныхъ психологическихъ задачъ, — въ родѣ публичной лекціи—„Психологія любви и ревности у Шекспира“. Можно пожалѣть, что нашъ ученый не далъ публикѣ большаго количества подобныхъ извлеченій: въ цѣломъ они представили бы настоящую хрестоматію житейской и философской мудрости великаго поэта, начертанную осторожной, вдумчивой и на рѣдкость компетентной рукой.

Независимо отъ оригинальныхъ статей Н. И. вообще можетъ быть названъ главнымъ представителемъ русской шекспирологии. Всякое литературное предпріятіе, касавшееся Шекспира, естественно искало общепризнаннаго участія и руководительства Н. И. Стороженка. Подъ его редакціей вышли переводы книгъ Даудена и Брандеса о Шекспирѣ. Всякая постановка шекспировской пьесы на сценѣ московскаго Малаго театра не обходилась безъ участія Н. И., безъ его указаній, иногда даже безъ его спеціальныхъ лекцій. Будущіе русскіе шекспирологи найдутъ въ трудахъ Н. И. богатый запасъ руководящихъ идей по своему предмету, найдутъ точно очерченную рамку вообще для строго-научныхъ изслѣдованій по литературной дѣятельности Шекспира, встрѣтятъ, наконецъ, въ высшей степени цѣнный примѣръ горячаго сочувствія со стороны ученаго всякому талантливому и искреннему отношенію къ предмету, будь это даже отношеніе не специалиста. Это именно сочувствіе вызвало у Н. И. сердечно написанную статью „Шекспиръ и Бѣлинскій“. Профессоръ отъ начала до конца умѣлъ остаться вѣрнымъ строгой научности и живому художественному чувству — двумъ качествамъ, составляющимъ главную силу всякаго историка литературы.

Къ работамъ Николая Ильича по Шекспиру примыкаетъ рядъ его рецензій и статей по англійской литературѣ. Изъ первыхъ нужно упомянуть рецензію на изданіе Гербеля „Англійскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ“ и разборъ сочиненія проф. Смирнова объ англійскихъ моралистахъ XVII в. („Вѣстникъ Европы“ 1881, кн. 9). Двѣ статьи касаются Байрона: „Байронъ, какъ защитникъ угнетенныхъ народностей Востока“ и „Вліяніе Байрона на европейскія литературы“. Послѣдняя статья представляетъ изъ себя сжатую, но въ высшей степени содержательную характеристику того громаднаго воздѣйствія, которое оказалъ на поэтовъ разныхъ національностей авторъ „Чайльдъ-Гарольда“ и „Донъ-Жуана“. Мѣтко указавъ на тѣ особенности поэзіи Байрона, которыя должны были содѣйствовать постепенному росту ея популярности у читающей публики различныхъ странъ, авторъ отмѣчаетъ воздѣйствіе Байрона на Гете, Гейне и др. нѣмецкихъ поэтовъ, разъясняетъ, чѣмъ обязаны ему Ламартинъ, Альфредъ-де-Мюссе и Барбье во Франціи, Уго Фосколо и Беркё въ Италіи. Статья заканчивается характеристикой русскаго байронизма, причѣмъ отъ Вяземскаго, Рылѣва и др., авторъ переходитъ къ Пушкину и Лермонтову, отмѣчая, насколько вліяніе Байрона было сильнѣе и глубже у второго поэта, тогда какъ Пушкинъ, по своему темпераменту и особенностямъ своей натуры, въ сущности, имѣлъ слишкомъ мало общаго съ авторомъ Чайльдъ-Гарольда.

Статья „Англійскіе поэты нужды и горя“ чрезвычайно характерна для ея автора, который всегда относился съ особеннымъ сочувствіемъ къ тѣмъ писателямъ, которые „своими произведениями увеличили сумму свѣта, тепла и гуманности въ окружающемъ ихъ обществѣ“. Такими являются шотландскій поэтъ-крестьянинъ Робертъ Бернсъ, Георгъ Краббъ, поэтъ-реалистъ, гуманистъ и филантропъ, Эбenezеръ Элліотъ, „поэтъ бѣдныхъ людей“, и, наконецъ, Томасъ Гудъ, авторъ знаменитой „Пѣсни о рубашкѣ“. Всѣ они „вдохновлялись въ своей дѣятельности не столько своими личными радостями и горестями, сколько мотивами общественными, альтруистическими“. Авторъ дѣлаетъ прочувствованную характеристику этихъ „поэтовъ нужды и горя“, иллюстрируя свое изложеніе удачно выбранными отрывками изъ ихъ произведеній. Великое нравственное значеніе этихъ поэтовъ-реалистовъ „состоитъ въ томъ, чтобы не дать погаснуть въ нашей душѣ священной искрѣ состраданія къ меньшому брату“. „Пусть же, — заключаетъ профессоръ, — продолжаетъ постоянно звучать ихъ любящій и укоряющій голосъ! Честь имъ и слава! Они не даютъ намъ заснуть въ эгоистическомъ самоуслажденіи; они будятъ въ

насъ благороднѣйшее изъ чувствъ—чувство человѣческой солидарности. Въ этомъ состоитъ ихъ миссія, ихъ величайшая заслуга. И потомство не забудетъ этой заслуги! Оно отведетъ имъ почетное мѣсто въ пантеонѣ своихъ самыхъ дорогихъ воспоминаній; оно не замедлитъ присоединить къ ихъ титулу поэтовъ жизненной правды болѣе почетный титулъ пѣвцовъ-заступниковъ обездоленнаго человѣчества“.

Статья „Апостоль гуманности и свободы“ представляетъ прочувствованную и увлекательную характеристику знаменитаго американскаго проповѣдника и моралиста, неутомимаго борца противъ невольничества—Теодора Паркера, „принадлежащаго, по опредѣленію автора, къ тѣмъ исключительнымъ, можно сказать, провиденціальнымъ натурамъ, которыя отъ поры до времени появляются въ исторіи, чтобы освѣжить нравственную атмосферу человѣчества, поддержать въ насъ вѣру въ достоинство человѣческой природы и указать сбившимся съ пути людямъ истинный путь, ведущій къ правдѣ и свободѣ“. Теодоръ Паркеръ совершенно не былъ извѣстенъ русской читающей публикѣ, впервые познакомившейся съ этимъ замѣчательнымъ „апостоломъ гуманности и свободы“ только благодаря статьѣ Николая Ильича. Не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести заключительныя строки этого превосходнаго этюда, глубоко знаменательныя, въ устахъ ихъ автора. „Онъ былъ провозвѣстникомъ того желаннаго времени, давно уже призываемаго друзьями человѣчества, когда исчезнутъ національныя предрасудки и расовыя антипатіи, и когда люди увидятъ другъ въ другѣ братьевъ. Будучи глубоко убѣжденъ въ конечномъ наступленіи этой счастливой поры, онъ утѣшалъ унывающихъ словами, которыми я позволю себѣ заключить настоящую бесѣду: „битва за истину, какъ бы она ни казалась намъ безнадежною, въ концѣ концовъ будетъ выиграна!“

Къ области американской литературы относится также біографическій очеркъ „Джорджъ Тикноръ“, представляющій изящно написаннаго жизнеописаніе и характеристику знаменитаго американскаго ученаго, автора замѣчательной „Исторіи испанской литературы“. Тикноръ не могъ не привлечь Николая Ильича счастливымъ сочетаніемъ широкихъ умственныхъ интересовъ, даровитости въ сферѣ науки и благородства нравственной личности, гуманныхъ и альтруистическихъ влеченій.

Подъ редакціей Николая Ильича вышелъ переводъ упомянутаго труда Тикнора, давшій впервые въ руки русскихъ читателей вполне научное и надежное руководство для изученія испанской литературы. Эта литература всегда глубоко интересо-

вала нашего профессора, при чемъ особымъ вниманіемъ его пользовалась испанская драма XVI—XVII вв., изложенію исторіи которой онъ посвящалъ иногда спеціальныя университетскіе курсы. Тѣ же вѣка испанской литературы дали сюжетъ двумъ его превосходнымъ статьямъ: „Возникновеніе реального романа“ и „Философія Донъ-Кихота“.

Первая посвящена главнымъ образомъ характеристикѣ такъ называемой „плутовской новеллы“ (*novella picaresca*), появившейся первоначально въ Испаніи въ эпоху Возрожденія. Указавъ основные моменты въ исторіи европейской повѣствовательной литературы, авторъ прекрасно объясняетъ, почему именно въ Испаніи возникла новая форма романа—плутовская новелла, съ сюжетами изъ обыденной жизни низкихъ слоевъ общества, анализируетъ типическій образчикъ подобныхъ произведеній „*La vida da Lazarillo de Tormes*“ и указываетъ ихъ вліяніе на Сервантеса, а также на англійскихъ, нѣмецкихъ и французскихъ писателей XVII в. Цѣль автора, „дать краткій очеркъ развитія реального романа въ западной Европѣ и показать, какую роль въ этомъ развитіи играла родоначальница его, испанская плутовская новелла“—вполнѣ достигается.

Статья „Философія Донъ-Кихота“ является лучшей русской работой о знаменитомъ романѣ Сервантеса. Авторъ задался цѣлью „пересмотрѣть любопытный процессъ художника съ его толкователями“, выяснить истинный смыслъ „Донъ-Кихота“ и опредѣлить нити, связывающія это любимое дѣтище фантазій Сервантеса съ личною его жизнью, съ міромъ его идей и воззрѣній. Мы находимъ въ статьѣ сжатый обзоръ многочисленныхъ мнѣній, высказанныхъ относительно философскаго смысла Донъ-Кихота и попытку примирить эти мнѣнія. Выдѣляя автобіографическій элементъ въ романѣ Сервантеса, Н. И. Стороженко выясняетъ особенно обстоятельно литературные взгляды автора „Донъ-Кихота“ и показываетъ, что своими религиозными и политическими идеями онъ приближался къ лучшимъ людямъ эпохи Возрожденія: Эразму, Раблэ и др. Статья устраняетъ односторонній характеръ, которымъ отличалась предшествующая критика; общій выводъ ея тотъ, что для правильнаго пониманія Донъ-Кихота всегда нужно имѣть въ виду дѣйствительный характеръ этого типа, создавашагося, съ одной стороны, подъ вліяніемъ современныхъ условій повѣствовательной литературы и отразившаго, съ другой стороны, идеалы лучшихъ идей эпохи.

Педагогическіе взгляды гуманистовъ характеризуются въ статьѣ „Педагогическія теоріи эпохи Возрожденія“, при чемъ

особенно подробно рассмотрѣны взгляды Витторино да Фельтре, основателя знаменитой Мантуанской школы, его послѣдователей Вержеріо и Веджіо, двухъ современниковъ Витторино, которые дали систематическое выраженіе его взглядамъ, Эразма Роттердамскаго и Раблэ. На фонѣ общихъ взглядовъ эпохи авторъ выясняетъ идеалы правильнаго воспитанія, впервые провозглашенные въ эпоху Возрожденія и до сихъ поръ еще не нашедшіе полного осуществленія.

Одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ французскихъ гуманистовъ Этьенъ Долé, сожженный въ Парижѣ 3 августа 1546 года, ярко обрисованъ въ статьѣ „Вольнодумецъ эпохи Возрожденія“. Здѣсь передъ глазами читателей встаетъ во весь ростъ могучая и характерная фигура эпохи, столь богатой непоколебимыми борцами, которые смѣло вступили въ борьбу за права разума и вѣрующей совѣсти, положили основы свѣтской науки и основаннаго на ней міросозерцанія и запечатлѣли своею кровью вѣрность своимъ убѣжденіямъ. Біографія Долé сопровождается характеристикой его главнаго труда—Комментаріевъ латинскаго языка. Попутно даются интересныя и яркія картины умственной жизни богатой эпохи, въ которую жилъ этотъ страдалецъ за свободу мысли и слова и за „святыя права человѣческой личности“.

Другой подобный страдалецъ той же эпохи изображается въ статьѣ „Джордано Бруно, какъ поэтъ, сатирикъ и драматургъ“, представляющей яркую характеристику литературныхъ произведеній итальянскаго философа-гуманиста, взывавшаго къ умственному и нравственному обновленію и павшаго жертвой неумолимой инквизиціи.

Въ другую сферу и въ другія отношенія ведетъ насъ увлекательная статья „Юношеская любовь Гёте“, представляющая детальную, полную жизни и поэзіи картину отношеній гениальнаго поэта къ дочери Эльзасскаго пастора — Фридерикъ Бріонъ. Съ тонкимъ психологическимъ тактомъ дается здѣсь объясненіе поведенію легкомысленнаго юноши въ этой „идилліи“, которая для Фридерика была „настоящей жизненной драмой“. Мастерски рисуется и образъ Фридерики, этой „идеальной представительницы того вѣчно-женственнаго начала, которое никогда не перестанетъ привлекать къ себѣ сердца людей“.

Женщина иного склада, одаренная гениальнымъ умомъ и широко-развитыми общественными стремленіями, прекрасно обрисована въ статьѣ „Госпожа Сталь и ея друзья“. Касаясь мимоходомъ важнѣйшихъ литературныхъ произведеній знаменитой французской писательницы, авторъ прежде всего имѣетъ въ виду

характеристику ея личности и съ большимъ одушевленіемъ изображаетъ исторію ея любви къ Бенжамену Констану. Раскрывая двѣ основныя черты въ ея нравственномъ характерѣ— „страстную потребность любви, жертвы, самоотверженія и не менѣе страстную любовь къ свободѣ“, авторъ приходитъ къ выводу, съ которымъ не можетъ не согласиться читатель, что „во всемъ XIX в. трудно встрѣтить другую женщину, которая бы въ такой степени соединяла въ себѣ женственность со всѣми ея достоинствами и недостатками, съ страстною любовью къ свободѣ и неподкупной гражданской честностью“.

Характеристикѣ одного изъ видныхъ литературныхъ теченій конца XVIII и начала XIX в. посвящена статья „Поэзія міровой скорби“. Авторъ выясняетъ, что пессимистическое настроеніе никогда не исчезало вполне на протяженіи всей исторіи человѣчества. Иногда оно временно замирало, когда человѣчество оживлялось надеждами на возможность быстрого и вѣрнаго рѣшенія вѣковѣчныхъ вопросовъ. Такова была эпоха свѣтлаго и жизнерадостнаго Ренессанса. Пессимистическое настроеніе усиливалось въ эпохи реакціи, когда разладъ между идеаломъ и дѣйствительностью выступалъ особенно ярко наружу. Таковъ былъ конецъ Возрожденія, когда католическая реакція вступила въ жестокую борьбу съ гуманистическими идеалами. Авторъ подробно останавливается на поэтахъ міровой скорби въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX вѣка, когда жестокая реакція, пришедшая на смѣну идеаламъ, провозглашеннымъ революціей, снова съ необыкновенной силой возродила пессимистическое настроеніе въ обществѣ. Здѣсь мы находимъ характеристику произведеній Гёте, Шатобриана, Байрона, Леопарди, Ленау, Гейне и одной изъ крупнѣйшихъ, новѣйшихъ представительницъ пессимизма, Луизы Аккерманъ. Переходъ къ социальной поэзіи, смѣнившей пессимизмъ, свидѣтельствуетъ, по мнѣнію автора, о томъ, что пессимизмъ въ началѣ XIX в. былъ временной болѣзью, которую успешно пережило человѣчество.

Посвятивъ свои силы главнымъ образомъ изученію и разработкѣ западныхъ литературъ, Николай Ильичъ могъ заниматься исторіей русской литературы только урывками, болѣе или менѣе случайно, преимущественно въ связи съ юбилейными чествованіями въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности.

Его труды въ этой области немногочисленны, но высоко цѣнятся специалистами. Широкій литературный кругозоръ давалъ ему каждый разъ возможность намѣчать яркими и выпуклыми штрихами общій фонъ дѣятельности отдѣльныхъ писателей; пре-

красное знаніе произведеній русской литературы и тонкое ихъ пониманіе приводили къ блестящимъ характеристикамъ индивидуальных особенностей писателей, къ объективному, чуждому всякихъ увлеченій и преувеличеній выясненію ихъ значенія. Этюдъ о Баратынскомъ—лучшее, что написано объ этомъ писателѣ, хотя литература о немъ довольно велика. За этимъ небольшимъ очеркомъ чувствуется детальное изученіе эпохи, глубокое проникновеніе въ творчество этого „Гамлета нашей поэзіи“. Рѣчи о Пушкинѣ, въ свое время произведшія на всѣхъ впечатлѣніе, до сихъ поръ являются украшеніемъ нашей „Puschkiniana“. Выясняя отношенія великаго поэта къ западнымъ литературамъ, Николай Ильичъ сдержалъ въ себѣ мгновенное и извинительное увлеченіе специалиста, двинулъ вопросъ о вліяніяхъ въ должныя границы, подчеркнул оригинальныя особенности Пушкинскаго гениа; онъ не гонялся за мелкими указаніями на заимствованія и подражанія, и рельефно описалъ эту сложную лабораторію Пушкинскаго творчества, въ которой западныя вліянія были только одною изъ составныхъ частей. Трудно тоньше, сжатѣе и мѣтче опредѣлить основной духъ „Пушкинской поэзіи“, чѣмъ какъ это сдѣлалъ Николай Ильичъ въ перечисленіи „завѣтовъ Пушкина“. Эволюція критическихъ взглядовъ Бѣлинскаго, въ связи съ его философскими увлеченіями, замѣчена съ замѣчательной ясностью и кристальною прозрачностью мысли; авторъ съ удивительнымъ мастерствомъ разбирается во всѣхъ моментахъ духовнаго развитія великаго критика, указываетъ ихъ внутреннюю связь и логическую послѣдовательность, ихъ значеніе въ исторіи русской критики. Съ глубокой симпатіей, которая передается и читателю, отмѣчены особенности психической организаціи Бѣлинскаго и его значеніе въ исторіи нашего общественнаго самосознанія. Съ такою же полнотою и глубокимъ проникновеніемъ въ тайны творчества—прослѣжены основные моменты душевнаго развитія Лермонтова, разъяснено автобіографическое и чисто-литературное значеніе его женскихъ типовъ. Очень любопытны сближенія „Маскарада“ и „Отелло“ и своеобразное освѣщеніе характера Вѣры въ „Героѣ нашего времени“. Въ рѣчи „Воспоминаніе объ Екатеринѣ“ Н. И. очень умѣло освѣтилъ ея литературныя заслуги.

Многолѣтнія занятія западными литературами дали Николаю Ильичу широту взгляда, глубину и многосторонній анализъ, изслѣдовательскій, если такъ можно выразиться, тактъ, благодаря которымъ его статьи выдѣляются и среди специальныхъ работъ по исторіи русской литературы.

По происхожденію малороссъ, Н. И. въ теченіе всей своей литературной дѣятельности удѣлялъ пристальное вниманіе малорусской литературѣ. Первая же статья—рецензія о „Малорусскомъ литературномъ сборникѣ“ — посвящена дорогому родному слову, малорусскимъ народнымъ преданіямъ, вообще украинскому художественному генію. Горячій поклонникъ этого генія, Н. И. подобно своему геніальному соотечественнику—Тарасу Шевченку,— всегда оставался чуждъ крайнихъ увлеченій казацкой жестокой стариной, невыносимой для „образованнаго чувства нашего времени“ — какъ говорилось въ первой же статьѣ Н. И. Главнымъ предметомъ любовнаго изученія Н. И. являлся разумѣется — „геніальный горемыка“, безгранично почитаемый Шевченко. Ему Н. И. посвятилъ превосходную характеристику;— исчерпывающаго содержания: человекъ и писатель нарисованъ яркими глубоко-прочувствованными красками и сдѣлано это со всею строгостью историческаго изслѣдованія и съ чисто-малорусскимъ національнымъ чутьемъ красота шевченковскаго творчества. Н. И. много и долго работалъ надъ біографіей Шевченка, работалъ вполнѣ самостоятельно по трудно доступнымъ архивнымъ документамъ и успѣлъ извлечь немало существенныхъ фактовъ въ трагической жизни поэта и прибавить новыя черты къ его трогательной личности. „Первые четыре года ссылки Шевченка“ и „Мелочи для біографіи Шевченка“—цѣнныя біографическія страницы, дополняющія даже такія подробныя и основательныя жизнеописанія Шевченка, какъ книги Чалаго. Не пропускалъ Н. И. случая вспомнить и о другомъ знаменитомъ землякѣ — артистѣ Щепкинѣ. Этому вопросу посвящена рѣчь „Щепкинъ и Шевченко“, потребовавшая отъ автора также не мало самостоятельныхъ разслѣдованій. Въ общемъ все написанное Н. И. о Шевченкѣ— по существу важный вкладъ въ столь мало извѣстную русской публикѣ исторію малорусской литературы, и можно только пожалѣть, что многообразная научно-литературная дѣятельность помѣшала Н. И. сдѣлать этотъ вкладъ еще богаче.

III.

Какъ ученый и литераторъ Н. И. естественно долженъ былъ занять выдающееся мѣсто въ старѣйшемъ русскомъ учено-литературномъ учрежденіи—въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности. Дѣятельность Н. И. прошла здѣсь по всѣмъ ступенямъ,— начиная съ званія дѣйствительнаго члена и кончая предсѣдатель-

ствомъ. Въ дѣйствительные члены Н. И. былъ выбранъ 19 сентября 1876 года и одновременно началъ принимать участіе въ засѣданіяхъ общества—чтеніемъ своихъ учено-литературныхъ рефератовъ. Въ 1877—80 годахъ Н. И. состоялъ временнымъ секретаремъ Общества и въ публичныхъ засѣданіяхъ прочиталъ два доклада—„Госпожа Сталь и ея друзья по новымъ матеріаламъ“ (1879) и „Отношеніе Пушкина къ иностранной словесности“. 23 дек. 1880 Н. И. былъ избранъ въ секретари Общества и занималъ эту должность до 29 марта 1884 года, когда Общество выбрало его временнымъ предсѣдателемъ, а по смерти предсѣдателя И. С. Тихонравова Н. И. занялъ предсѣдательское мѣсто съ 15 янв. 1894 года. Къ этому времени относятся рефераты: „Вліяніе Байрона на европейскія литературы“, „М. С. Щепкинъ“, „Женскіе типы, созданные Лермонтовымъ“. Избранный предсѣдателемъ Общества Н. И., въ теченіе почти восьми лѣтъ, способствовалъ оживленію дѣятельности этого Общества: а) изданіемъ сборника трудовъ, подъ названіемъ *Починъ* (1895 и 1896 гг., двѣ книги); б) устройствомъ литературно-музыкальныхъ вечеровъ, посвященныхъ памяти русскихъ писателей: гр. А. К. Толстого, Е. А. Баратынскаго, Н. А. Некрасова, Н. П. Огарева, И. А. Крылова, Л. А. Мея, Ю. В. Жадовской, М. Ю. Лермонтова, С. Я. Надсона, И. С. Никитина, А. Н. Плещеева, А. И. Полежаева, Ѳ. И. Тютчева, Н. Ѳ. Щербины, А. В. Кольцова, А. Н. Майкова, А. Н. Островскаго, Т. Г. Шевченка, А. А. Фета и И. З. Сурикова; в) устройствомъ юбилейныхъ собраній съ выставками книгъ и портретовъ въ честь слѣдующихъ извѣстныхъ дѣятелей: Н. И. Новикова, А. С. Грибоѣдова, Екатерины II, В. Г. Бѣлинскаго, П. С. Мочалова, А. С. Пушкина, Мицкевича и М. П. Погодина; г) длиннымъ рядомъ сообщеній, рѣчей и „вступительныхъ словъ“ на публичныхъ засѣданіяхъ, какъ указываетъ списокъ его трудовъ.

За такую двадцатипятилѣтнюю энергичную дѣятельность на пользу Общества Н. И. Стороженко 18 сентября 1901 года единогласно избранъ въ почетные члены.

Въ 1897 году Николай Ильичъ былъ приглашенъ на должность главнаго бібліотекаря Московскаго Публичнаго и Румянцовскаго музеевъ, послѣ смерти Е. Ѳ. Корша, каковую должность онъ занимаетъ и въ настоящее время, продолжая, несмотря на разстроенное здоровье, усердно служить этому полезному и любимому имъ общественному дѣлу.

Выборъ именно его на означенную должность былъ весьма удаченъ въ томъ отношеніи, что онъ, какъ знатокъ всеобщей литературы, обладающій знаніемъ многихъ европейскихъ языковъ,

могъ обратить серьезное вниманіе на пополненіе иностраннаго отдѣла библіотеки.

Какъ извѣстно, русскій отдѣлъ библіотеки пополняется, такъ сказать, самъ собою, въ силу правительственнаго распоряженія объ обязательной высылкѣ въ Московскую публичную библіотеку при музеяхъ, наравнѣ съ Императорской Публичной 6-кой въ Петербургѣ, одного экземпляра всякаго печатнаго изданія, выходящаго въ предѣлахъ Россіи, исключая изданій, изъятыхъ изъ общей цензуры, каковы, напр., синодальныя. Иностранныя же книги выписываются въ библіотеку за деньги, но такъ какъ штатная сумма на этотъ предметъ очень невелика, а еще полтора года тому назадъ, до введенія новыхъ штатовъ, ея и совсѣмъ не полагалось, и книги выписывались только на случайныя пожертвованія (напр. 1000 руб. въ годъ отъ К. Т. Солдатенкова при его жизни), то библіотекарю приходится дѣлать самый строгій и ограниченный выборъ, выписывая лишь сочиненія капитальныя по той или другой отрасли науки, искусства и литературы. Хорошее знакомство съ западно-европейской литературой, подробное изученіе литературныхъ, историческихъ и критическихъ журналовъ и справочныхъ изданій по разнымъ отраслямъ знанія, наконецъ личныя сношенія со специалистами — все это даетъ возможность Николаю Ильичу быть совершенно въ курсѣ дѣла и удовлетворять, насколько это отъ него зависитъ, потребностямъ читателей и ученыхъ спеціалистовъ выпискою важнѣйшихъ иностранныхъ книгъ, особенно по всеобщей литературѣ и исторіи, а также иностранныхъ журналовъ, которыхъ въ настоящее время получается въ библіотекѣ почти вдвое больше, чѣмъ прежде. Если въ этомъ отношеніи остается желать еще многого, то въ этомъ уже не вина библіотекаря. Въ русскомъ отдѣлѣ, благодаря старанію Н. И. важнѣйшіе журналы, на которые особенно большой спросъ, стали получаться отъ редакцій и издателей гораздо скорѣе прежняго и раньше поступаютъ въ чтеніе. Особенно важнымъ и полезнымъ нововведеніемъ по мысли Н. И.—ча было устройство постоянной библіотеки съ различными научными отдѣлами при читальномъ залѣ, со спеціальными, открытыми для всѣхъ каталогами по каждому отдѣлу. Благодаря этому все важнѣйшее по каждой наукѣ, а также словари и другія справочныя изданія, читатель можетъ получать немедленно безъ предварительной записи, которая часто по необходимости бываетъ связана съ долгимъ ожиданіемъ, когда книги приходится разыскивать въ общемъ каталогѣ и на мѣстахъ въ основной библіотекѣ, разбросанной по разнымъ частямъ и этажамъ обширнаго зданія. Впрочемъ, вообще вы-

дача книгъ читателямъ и пріемъ ихъ обратно также значительно упорядочены, а кромѣ того введена болѣе точная статистика требованій и регистрація читателей. Наконецъ, каталогизація книгъ вновь поступающихъ за послѣдніе годы сильно двинута впередъ благодаря тому, что по ходатайству Н. И. при прежнемъ директорѣ М. А. Веневитиновѣ на личныя средства директора болѣе чѣмъ вдвое увеличено число занимающихся разборкою и описаніемъ книгъ по вольному найму. Ежегодные библиотечные отчеты, представляемые министру народнаго просвѣщенія, и подробная записка о необходимости увеличенія библиотечнаго штата и о другихъ желательныхъ улучшеніяхъ — достаточно свидѣлствуютъ о внимательномъ отношеніи Н—я И—ча къ нуждамъ библиотеки и интересамъ читателей. Не ограничиваясь занятіями чисто библиотечнаго характера, Н. И. всегда охотно отзывается на всякіе запросы обращающихся къ нему посѣтителей, жертвуя нерѣдко своимъ временемъ и трудомъ въ ущербъ себѣ. Нечего и говорить о томъ, что какъ начальникъ и товарищъ Н. И. пользуется общими симпатіями и любовью служащихъ въ библиотекѣ и музеяхъ.

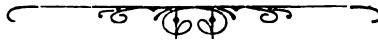
Занятія Н. И. въ Московскомъ отдѣленіи Театрально-литературнаго Комитета начались съ основанія этого учрежденія, т.-е съ 14-го сентября 1891 года, и состоятъ въ разсмотрѣніи и литературной оцѣнкѣ какъ новыхъ оригинальныхъ пьесъ русскихъ авторовъ, такъ и пьесъ переводныхъ, авторовъ иностранныхъ, и въ рекомендаціи избранныхъ изъ этихъ пьесъ для постановки на сценахъ императорскихъ театровъ. Съ 1893 года, со дня смерти профессора Тихонравова, Н. И. состоитъ предсѣдателемъ Комитета, гдѣ его разностороннія познанія въ европейскихъ литературахъ приносятъ существенную пользу.

Когда въ 1893 г. при Учебномъ Отдѣлѣ Общества распространенія техническихъ знаній образовалась Комиссія по организаціи Домашняго Чтенія, Николай Ильичъ принялъ въ ней дѣятельное участіе въ качествѣ сотрудника и руководителя по отдѣлу литературы. Помимо постоянной работы составленія и редактированія программъ этого отдѣла Н. И. находитъ и другіе способы выразить свой интересъ къ учрежденію, просвѣтительныя задачи котораго сразу привлекли его симпатію. Идея University Extension, появившаяся на русской почвѣ въ лицѣ Комиссія, нашла въ Н. И. готовую силу, давно работавшую для популяризаціи научнаго знанія. Лучшимъ свидѣтельствомъ тому служить тотъ фактъ, что въ основу систематическаго чтенія по Всеобщей литературѣ могли

быть положены общіе университетскіе курсы Н. И—ча, изданные Комиссіей и широко расходящіеся среди ея читателей.

Кромѣ перечисленныхъ учрежденій, Н. И. принималъ болѣе или менѣе близкое участіе въ Московскомъ Комитетѣ Грамотности и цѣломъ рядѣ Обществъ, преслѣдующихъ просвѣтительныя или благотворительныя цѣли. Въ пользу ихъ имъ нерѣдко читались публичныя лекціи, пользовавшіяся большимъ успѣхомъ.

Нашъ обзоръ, при всей его неполнотѣ, достаточно, по нашему мнѣнію, выясняетъ ученія и литературныя заслуги Николая Ильича и освѣщаетъ его многостороннюю и плодотворную дѣятельность въ духѣ гуманности и истиннаго просвѣщенія. Настоящій сборникъ,—мысль объ изданіи котораго была встрѣчена съ горячимъ сочувствіемъ,—служитъ доказательствомъ, какую признательность завоевала жизнь ученаго и человѣка, посвященная истинѣ и любви къ людямъ.



* * * * *

Библиографическій указатель къ печатнымъ трудамъ Н. И. Стороженка *).

—

* 1) Разборъ „Малороссійскаго Литературнаго Сборника“, изданнаго Д. Мордовцевымъ (*Отечественныя Записки*, 1859, т. СХХVI, кн. 9, отд. III, стр. 27—38).

2) *Исторія славянскихъ законодательствъ*, сочиненіе Вячеслава Александра Мацѣвскаго, переводъ съ польскаго. (Чтенія въ Обществѣ Исторіи и Древностей 1859 и 1861 гг.).

3) *Политическая исповѣдь Гладстона* (*Петербургскія Вѣдо-*

4) *Женскій вопросъ въ Англіи въ 1868 г.* (*Вѣстникъ* 1868—1869 г.

* 5) *Шекспировская критика въ Германіи* (*Вѣстникъ Европы*, 1869 г., кн. 10, стр. 823—869; кн. 11, стр. 306—346).

6) *Contemporary Allusions to Shakspeare. (Notes and Queries* 1869 г., 12 іюня).

7) *Матеріалы для исторіи Россіи*, извлеченные изъ рукописей Британскаго Музея въ Лондонѣ (*Чтенія въ Императорскомъ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ*, 1870 г., кн. III, стр. 1—48).

8) *Юлія Федоровна Ауэрбахъ*, урожденная фонъ Берхгольцъ (*С.-Петербургскія Вѣдомости* 1871 г. № 300).—Некрологъ, посвященный памяти одной изъ русскихъ писательницъ.

9) *Предшественники Шекспира*. Эпизодъ изъ исторіи англійской драмы въ эпоху Елисаветы. Томъ первый: Лилли и Марло (Спб., 1872 г., 293+72 стр.).

Диссертация на степень магистра всеобщей литературы, защищенная 10 мая 1872 года въ Петербургскомъ университетѣ. Она вызвала критическія замѣтки: въ *Бесѣдѣ* 1872 г., кн. 8, стр. 48—50, *Вѣстникъ Европы* 1872 г., кн. 7 (на оберткѣ книжки) и *Russische Revue* 1872 г., Н. 2, S. 213—215.

10) *The Date of Greene's Menaphon (Notes and Queries* 1873, 6 December).

11) *Отзывъ о сочиненіи Бернгарди „Robert Greene's Leben und Schriften“*, (*Revue Critique*, 1874, № 24, стр. 377—379).

*) Звѣздочкой обозначены статьи, вошедшія въ одинъ изъ двухъ сборниковъ, изданныхъ учениками и почитателями Николая Ильича: „Опыты по изученію Шекспира“ и „Изъ Области Литературы“ (М. 1902).

12) Рецензія изданія Н. В. Гербеля „Англійскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ“ (*Учебно-воспитательная Библіотека*, изд. учебнымъ отдѣломъ Московскаго Техническаго Общества, 1875 г., т. I, ч. 1, стр. 521—532).

13) Предисловіе и примѣчанія къ русскому переводу сочиненія Р. Жене: „Шекспиръ, его жизнь и сочиненія“ (М., 1877 г. XIV+368 стр.).

14) Робертъ Гринъ, его жизнь и произведенія, критическое изслѣдованіе (М., 1878 г., 205+36 стр.).

Диссертация на степень доктора всеобщей литературы, защищенная въ томъ же году въ Петербургскомъ университетѣ. Она вызвала рецензіи: въ *Вѣстникѣ Европы* 1879 г., кн. 1 (на оберткѣ книги), кн. 2, стр. 800—808, кн. 8, стр. 552—580 (Академика А. Н. Веселовскаго) и въ *Критическомъ Обзорѣнн* 1879 г., № 3, стр. 14—18; на рецензію Александра Веселовскаго авторъ изслѣдованія напечаталъ отвѣтъ въ томъ же *Критическомъ Обзорѣнн* 1879 г., № 18, стр. 17—25.

Изслѣдованіе о Р. Гринѣ переведено на англійскій языкъ и составило I томъ обширнаго изданія сочиненій Роберта Грина подъ заглавіемъ: *The Huth Library. The Life and Complete Works in prose and Verse of Robert Greene*, M. A. Cambridge and Oxford. In fifteen Volumes. For the first time collected and edited with notes and illustrations etc. by the rev. Alexander B. Grosart, D. D., L. L. D. (Edinb). F. S. A. (Scot.), St. George's, Blackburn, Lancashire. Vol. I. Storjenko's life of Robert Greene, Translated by E. A. B. Hodgetts, Esq. London, with introduction and notes by the Editor. Printed for private circulation only. 1881—1886.

* 15) Рецензія изданія П. Полевого „Школьный Шекспиръ“ (*Учебно-воспитательная Библіотека*, изд. учебнымъ отдѣломъ Московскаго Техническаго Общества, 1878 г., т. II, стр. 120—129).

16) А. А. Шаховъ, некрологъ (*Рѣчи и Отчетъ Московскаго университета*, М., 1878 г., стр. 23—26).

* 17) Госпожа Сталь и ея друзья, по новымъ матеріаламъ (*Вѣстникъ Европы*, 1879 г., кн. 7, стр. 184—217).

Эта статья раньше напечатанія была прочтена въ публичномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности.

18) Рецензія перевода Л. Д. Черновой: „Шекспиръ, критическое изслѣдованіе его мысли и творчества, Э. Даудена“ (*Критическое Обзорѣнне*, 1879 г., № 4, стр. 28—32).

19) Байронъ, какъ защитникъ угнетенныхъ народностей Востока (*Газета Гатцука*, 1879 г., №№ 44—47).—Публичная лекція.

Въ газетѣ *Русскій Курьеръ* (съ 1879 по 1882 года), помѣщены слѣдующія статьи Н. И.:

20) По поводу 50-лѣтняго юбилея Крашевскаго.

21) Литературные итоги Пушкинскаго праздника (2 статьи).

22) Отзывъ Мериме о Пушкинѣ.

23) Польская беллетристика за 1878 годъ (2 статьи).

24) Артистическія самопризнанія Вагнера.

25) Берлиозъ и его жена.

26) Гизо въ кругу семьи и друзей.

27) Генри Томасъ Бокль, какъ человѣкъ.

28) Рецензія перевода Н. Кетчера „Драматическія сочиненія Шекспира“ (*Критическое Обзорѣнне*, 1880 г., № 5, стр. 237—245).

* 29) **Отношеніе Пушкина къ иностранной словесности** (*Русскій Курьеръ*, 1880 г., № 154).—Рѣчь въ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности, по поводу открытія памятника Пушкину въ Москвѣ. Перепеч. въ сборникѣ „Вѣнокъ на памятникъ А. С. Пушкину“ М. 1880

* 30) **Новая книга о Макіавелли** (*Вѣстникъ Европы*, 1880 г., кн. 6, стр. 759—771). Критическій разборъ изслѣдованія А. С. Алексѣева: „Макіавелли, какъ политическій мыслитель“.

31) **О сонетахъ Шекспира** (*Русскій Курьеръ*, 1881 г., № 9).

32) **Англійскіе моралисты семнадцатаго вѣка** (*Вѣстникъ Европы*, 1881 г., кн. 9, стр. 122—136).—Рецензія на сочиненіе А. Смирнова: „Исторія англійской этики“.

33) **Критическій отзывъ объ „Ежегодникѣ нѣмецкаго Шекспировскаго Общества“** (Shakespeare's Jahrbuch) (*Заграничный Вѣстникъ*, 1882 г., кн. 8, стр. 75—80).

34) **Переводъ съ англійскаго языка „Исторіи испанской литературы“** Тикнора, редактированный Н. И. Стороженкомъ, съ * біографическимъ очеркомъ Тикнора. М. 1883—89 г., 3 тома.

* 35) **Философія Донъ - Кихота** (*Вѣстникъ Европы*, 1885 г., кн. 9, стр. 307—335).—Эта статья перепечатана вторично въ сборникѣ „Въ помощь Евреямъ“ (М. 1901 г.). Переведена на армянскій языкъ въ „Литературно-Историческомъ Обзорѣніи“, изд. М. Бархударьяномъ, М. 1890, кн. III.

* 36) **Джордано Бруно**, какъ поэтъ, сатирикъ и драматургъ (*Газета Гатчина*, 1885 г., № 7).—Этотъ докладъ былъ прочтенъ 10 февраля того же года въ публичномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности, посвященномъ воспоминанію о Бруно.

37) **Англійская драма до смерти Шекспира** (*Всеобщая исторія литературы*, подъ редакцію А. И. Кирпичникова, Спб., 1886 г., вып. XX).

38) **Обзоръ русской литературы за 1885 годъ** (*Athenaeum*, 1886 г., № 1).

39) **Предисловіе и дополненія къ переводу сочиненія Макса Коха: „Шекспиръ“** (М., 1887 г., изданіе В. Н. Маракуева).

40) **Предисловіе къ переводу Ю. Доппельмайеръ: „Викторъ Гюго и его время“** (М. 1887 г., IV+637 стр.).

41) **Обзоръ русской литературы за 1886 годъ** (*Athenaeum*, 1887 г., № 1).

42) **„Антоній и Клеопатра“**, трагедія Шекспира, по поводу постановки ея на сценѣ Малаго театра (*Русскія Вѣдомости* 1887 г., январь).

43) **Георгъ Брандесъ** (Біографическій очеркъ) (*Русскія Вѣдомости* 1887 г., апрѣль).

44) **Брандесъ о литературной критикѣ** (*Русскія Вѣдомости*, 1887 г.).

* 45) **Вліяніе Байрона на европейскія литературы** (*Пантеонъ Литературы*, 1888 г., кн. 3, стр. 11—25).—Рѣчь, читанная въ публичномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности, 2 февраля 1888 года. Перепечатана въ предисловіи къ книгѣ: *Георгъ Бран-*

десг. Байронъ и его произведения. Пет. И. Городецкого. 2-е изд. М. 1889 г.

* 46) Педагогическія теоріи эпохи Возрожденія (*Пантеонъ Литературы*, 1888 г., кн. 4, стр. 1—19).—Публичная лекція, читанная еще въ 1884 году, въ пользу общества вспомошествованія бѣднымъ учащимся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Москвы.—Переведена на армянскій языкъ въ „Литературно-Историческомъ Обзорѣніи“ М. 1890 г., кн. IV (изд. М. Бархударьяна).

* 47) Первые четыре года ссылки Т. Г. Шевченко (*Кіевская Старина*, 1888 г. кн., 10, стр. 1—21).

* 48) М. С. Щепкинъ и Шевченко (*Газета Гатцука*, 1888 г., № 46).—Рѣчь, читанная въ публичномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности, 6 ноября 1888 года, по поводу столѣтія со дня рожденія артиста Щепкина.

* 49) Поэзія міровой скорби (*Русская Мысль*, 1889 г., кн. 3, стр. 67—89).—Публичная лекція, прочтенная по приглашенію Литературнаго фонда 29 января. Вторично напечатана въ коллекціи „Русская Библіотека“. Одесса 1895 г., № 2.

* 50) Макбетъ, по поводу предстоящей постановки его на Московской сценѣ (*Артистъ*, 1889 г., кн. 2—4).

* 51) Диллетантизмъ въ Шекспировской критикѣ, по поводу книги В. Чуйко: „Шекспиръ, его жизнь и сочиненія“ (*Русская Мысль*, 1889 г., кн. 10, стр. 26—44).

* 52) Вольнодумецъ эпохи Возрожденія (*Въ память С. А. Юрѣева*, сборникъ, М., 1890 г., стр. 1—24).—Эта статья изображаетъ гуманиста XVI вѣка—Этьена Доло. Перепечатана въ коллекціи „Вопросы искусства, литературы, науки и жизни“, изд. Гросманъ и Кнебель. М. 1897 г., 40 стр.

53) Разборъ игры Росси въ пьесахъ Шекспира (*Артистъ*, 1890 г., кн. 7).

* 54) Женскіе типы, созданные Лермонтовымъ (*Русскія Вѣдомости*, 1891 г., № 104).—Рѣчь, читанная въ публичномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности. Перепечатана въ журналѣ „Читатель“.

* 55) Возникновеніе реального романа (*Сѣверный Вѣстникъ*, 1891 г. кн. 12, стр. 157—177).

* 56) Прототипы Фальстафа (*Артистъ*, 1891 г., кн. 15, стр. 1—11).

57) „Рыцарь съ боченкомъ“ Сказка. (*Дѣтскій Отдыхъ*, 1891 г., кн. 12).

* 58) Юношеская любовь Гёте (*Помощь голодающимъ*, сборникъ, М., 1892 г. стр. 501—516),

59) „Заслуженная копейка“ Сказка. (*Дѣтскій отдыхъ*, 1892 г., кн. 1).

60) „Три брата и названная сестра“. Сказка (*Дѣтскій Отдыхъ*, 1892 г., кн. 2).

* 61) Артистки-соперницы: Дюмениль и Клеронъ (*Артистъ*, 1892 г. кн. 22).

62) Новые материалы для биографии Т. Г. Шевченка (*Киевская Старина*, 1893 г., кн. 2).

63) Разбор перевода Л. И. Поливанова: „Говоля“ Расина (*Сборникъ Отдѣленія Русскаго языка и Словесности Императорской Академіи Наукъ*, 1893 г., т. LIV, № 2).

* 64) Англійскіе поэты нужды и горя (*Сѣверный Вѣстникъ*, 1893 г., кн. 5, стр. 43—62).—Публичная лекція, читанная 6 марта въ пользу Московскаго Комитета Грамотности.

65) Памяти Н. С. Тихонравова (*Артистъ* 1894 г., кн. 33, стр. 95—96 и сборникъ: „Памяти Н. С. Тихонравова“, М., 1894 г., стр. 1—3).—Рѣчь, читанная въ публичномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности, 5 декабря 1893 года.

* 66) Поэтъ-мыслитель, по поводу пятидесятилѣтія смерти Е. А. Баратынскаго (*Починъ*, сборникъ Общества Любителей Россійской Словесности. М., 1895 г., стр., 265—278).—Читано на литературномъ вечерѣ Общества Любителей Россійской Словесности, 27 марта, 1894 года.

* 67) Модная литературная ересь (*Миръ Божій*, 1895 г., кн. 11).

68) Воспоминаніе объ Екатеринѣ II (*Призывъ*, сборникъ. М., стр. 246—266).—Рѣчь, читанная въ публичномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности, 17 ноября 1896 года.

* 69) Геніальный горемыка (*Армянскій Сборникъ*, 1897 г.).—Перечатана въ Сборникѣ „На трудовомъ пути“. М., 1901 г.

* 70) Шекспиръ и Бѣлинскій (*Миръ Божій*, 1897 г., кн. 3, стр. 127—140).

71) Предисловіе къ переводу книги Левеса: „Женскіе типы Шекспира“ (М., 1898 г., XII+312 стр.).

72) Новые материалы для биографии Шевченка (*Киевская Старина*, 1898 г., кн. 3, стр. 421—435).

* 73) Мелочи изъ биографии Шевченка (*Русская Мысль*, 1898 г. кн. 6, стр. 197—203).

74) Редакція, предисловіе и примѣчанія при переводѣ книги Брандеса: „Шекспиръ, его жизнь и произведенія“ (М., 1899 г., томъ I, VI+383 стр. Т. II. М. 1901 г., 448 стр.).

* 75) Эволюція критическихъ идей Бѣлинскаго (Сборникъ: *Памяти В. Г. Бѣлинскаго*, М., 1899 г.).—Читано въ публичномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности.

* 76) Рѣчь о Пушкинѣ (*Русскія Вѣдомости*, 1899 г., № 144).—Эта „Рѣчь“ произнесена въ торжественномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности, 26 мая того же года.

* 77) Апостолъ гуманности и свободы (Теодоръ Паркеръ) (Книжки *Недѣли*, 1899 г., № 5).—Эта лекція была прочтена въ пользу народныхъ библиотекъ-читаленъ Общества распространенія полезныхъ книгъ, 23 января того же года. Издано отдѣльной брошюрой фирмой „Посредникъ“ въ коллекціи подъ заглавіемъ: „Замѣчательные мыслители древняго и новаго міра“. М., 1900 г., 44 стр.

* 78) Психологія любви и ревности у Шекспира (*Вѣстникъ Европы*, 1899 г., кн. 9, стр. 153—172).

* 79) О сонетахъ Шекспира въ автобіографическомъ отношеніи, рѣчь на университетскомъ актѣ 12 января того же года (*Рѣчь и отчетъ Московскаго университета*, М., 1900 г., стр. 1—39). Кромѣ того, эта рѣчь издана отдѣльной брошюрою: М. 1900 г., 39 стр.

80) Новые матеріалы для біографіи Т. Г. Шевченка (*Кіевская Старина*, 1900 г., кн. 9, стр. 297—326).

81) Въ Энциклопедическомъ Словарѣ Брокгауза и Ефрона Николаемъ Ильичемъ помѣщенъ рядъ статей: Гейвудъ Джонъ, Гейвудъ Томасъ, Гринъ Робертъ, Джонсонъ Бенжамень, Джонсонъ Самуиль, Драйденъ Джонъ, Драйтонъ Михаилъ, Критика литературная на Западѣ, Лилли, Марло, Монтэнъ, Пастораль, Романъ (Полутомы 15, 18, 20, 21, 32, 34, 36, 38, 44, 53 Спб. 1892—1901 г.).

Дим. Языковъ.





Эволюція русскаго романа *).

Эволюція русскаго романа, въ одно и то же время, избитая и новая тема.

Уже *избитая*—по нѣкоторымъ признаннымъ взглядамъ, по тѣмъ формуламъ, которыя французская критика пустила въ ходъ, въ послѣдніе годы, а, главное, по опредѣленію состояній славянской души (*états d'âme slave*), сдѣлавшихся расхожей монетой.

Новая по постановкѣ и — смѣю сказать—умѣстности нѣкоторыхъ точекъ зрѣнія, какія можетъ вызывать эволюція этого рода литературнаго творчества, сдѣлавшагося какъ бы русскимъ «импортомъ», по преимуществу. Тутъ представляется вопросъ *метода*, болѣе продуманнаго, болѣе научнаго, какой слѣдовало бы имѣть въ такомъ изслѣдованіи каждому, кто желаетъ воздерживаться отъ обычныхъ пріемовъ, состоящихъ въ томъ, что ставятъ дурныя и хорошія *отмѣтки* авторамъ, принадлежащимъ къ той или иной эпохѣ, выказываютъ нѣкоторую эрудицію изъ вторыхъ рукъ, произносятъ, болѣе или менѣе, произвольные вердикты, гдѣ вы чувствуете личныя симпатіи и предубѣжденія.

Все это не имѣетъ ничего общаго съ тою задачею, какую мы себѣ предложимъ здѣсь.

И бесѣдующій съ вами, въ эту минуту, предсталъ предъ образованной публикой своего отечества около мѣсяца тому назадъ—какъ разъ, съ трудомъ, гдѣ онъ пожелалъ набросать самыя крупныя черты эволюціи европейскаго романа въ XIX столѣтіи, изучивъ первоначально шесть западныхъ литературъ, чтобы потомъ основать на этихъ устояхъ изученіе русскаго романа, имѣя главнымъ своимъ предметомъ: періодъ его творческаго нарастанія, происшедшаго во вторую треть вѣка.

*) Лекція, читанная въ Брюссельскомъ *Новомъ* университетѣ.

Въ настоящую минуту всѣ знаютъ, что нашъ романъ давно уже перешагнулъ черезъ границу.

Наше національное самолюбіе можетъ услаждаться популярностью нѣкоторыхъ именъ, всеобщю и неоспоримю.

Популярность эта пошла, главнымъ образомъ, со смерти Тургенева, по крайней мѣрѣ для Франціи. Только тогда нашъ великій романистъ сдѣлался заново предметомъ цѣлаго ряда этюдовъ со стороны парижской критики, дающей обыкновенно толчокъ литературному движенію. При жизни его, несмотря на долгое пребываніе во Франціи, дружескія сношенія съ парижскимъ литературнымъ міромъ, цѣлый рядъ переводовъ всѣхъ его произведеній, изъ которыхъ многіе были имъ просмотрѣны и исправлены, Тургенева читали, цѣнили, но его репутація ограничивалась скорѣе нѣкоторой долей избранной публики. И даже въ парижской критикѣ никто, до его смерти, не изучилъ его, напр., съ такой тонкостью и съ такимъ преклоненіемъ предъ артистической стороною его писательства, какъ американскій авторъ, г. Генри Джемсъ, посвятившій ему замѣчательную статью, которая появилась за нѣсколько лѣтъ до его смерти.

Только къ этой эпохѣ, т. е. послѣ 1880 г., два другихъ имени русскихъ романистовъ—Толстого и Достоевскаго—были пушены въ большую публику, и только съ этого момента можно было начать говорить о томъ «мирномъ завоеваніи», которое русскій романъ произвелъ *на западъ*, какъ у насъ принято выражаться, до сихъ поръ.

Но припомните, что великая эпопея Толстого *Война и миръ*, переведенная, въ первый разъ, русской дамой (княгиней Паскевичъ), при своемъ появленіи, не имѣла никакого почти сбыта и оставалась въ забвеніи до той минуты, когда критическая кампанія г. де-Вогюэ ознакомила парижскую публику съ цѣнностями, заключающимися въ творческомъ дѣлѣ такихъ двухъ «вѣщателей славянской души», какъ Левъ Толстой и Федоръ Достоевскій.

Книга г. де-Вогюэ, озаглавленная *Русскій романъ*, наложила впервые печать на все это движеніе литературныхъ вкусовъ парижанъ въ сторону сѣверо-востока, до того прилива, который пришелъ съ скандинавскаго сѣвера—возраставшей потомъ славы романистовъ и драматурговъ Норвегій и Швеціи.

У г. де-Вогюэ есть цѣлая серія предшественниковъ, немного забытыхъ теперь, изучавшихъ русскую литературу (въ томъ числѣ и романъ) и писавшихъ на трехъ главныхъ европейскихъ языкахъ. Не говоря объ эпохѣ, предшествовавшей Пушкину, стоитъ только привести этюды Варнгагена фонъ-Энзе, Проспера Мериме, Боденштедта, Юліана Шмидта, Рольстона и многихъ другихъ, и, сейчасъ же послѣ смерти Тургенева, все то, что появилось на разныхъ западныхъ языкахъ, вплоть до замѣчательныхъ критическихъ опытовъ Поля Бурже и покойнаго Эннекена. Но, повторю, этюдъ г. Джемса, упомянутый мною выше, напечатанный еще при жизни Турге-

нева, остается самой тонкой и разработанной *эстетической* оцѣнкой. Онъ объявилъ сразу, что Тургеневъ—первый романистъ вѣка, самый высокій мастеръ въ искусствѣ писать природу и схватывать рельефныя черты создаваемыхъ имъ лицъ.

Впрочемъ, не нужно думать, что при появленіи «*Войны и мира*» по-французски, когда книга еще дремала на полкахъ парижскихъ книгопродавцевъ, никто въ Парижѣ не умѣлъ распознать высокое достоинство этого произведенія, творческую силу и глубоко-оригинальную манеру романиста.

Молодые люди и Мопассанъ, только что тогда начинавшій, во главѣ ихъ, сразу поняли значеніе этого «мирнаго завоеванія», сдѣланнаго вполнѣ русскимъ романомъ на западѣ.

Мопассанъ уже весьма цѣнилъ Тургенева, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, до появленія романа Толстого, въ то время, когда онъ находился какъ бы въ выучкѣ у Флобера, въ той школѣ художественнаго письма (*écriture artiste*), гдѣ другъ Флобера, «*le grand russe*» съ живописной головой, былъ, уже въ то время, однимъ изъ художниковъ, признанныхъ кружкомъ, группировавшимся вокругъ автора *Госпожи Бовари*.

Я очень хорошо помню горячіе возгласы Мопассана о *Войнѣ и мирѣ*: «Вотъ какъ нужно писать! повторялъ онъ. Это для насъ, молодыхъ, откровеніе, цѣлый новый міръ!»

Достоевскій оставался еще въ тѣни. Онъ ждалъ толкованія, какое далъ его произведеніямъ авторъ книги *Русскій романъ*.

И тутъ я приостановлюсь, чтобы выяснитъ одинъ изъ главныхъ пунктовъ нашей бесѣды, а именно: критика иностранцевъ, когда она занимается нашей темой—какія представляетъ истинныя преимущества? Есть ли за ней преимущество независимости и полной свободы сужденія? Ея мнѣнія и взгляды—опираются ли на достаточно солидные устои?

Явное и неоспоримое преимущество состояло бы въ томъ критеріи, какой напр. французъ нашель бы въ болѣе глубокомъ знаніи своей литературы и спеціально того литературнаго рода, какимъ мы занимаемся. Романъ во Франціи, въ эволюціи *всего* европейскаго романа, занялъ самое выдающееся мѣсто. Съ конца прошлаго вѣка, и даже раньше, онъ доставилъ всего больше первоклассныхъ произведеній, воспроизводя жизнь подъ всѣми ея видами, пуская въ обращеніе идеи вѣка, въ постоянной борьбѣ за два главныхъ художественныхъ принципа: правдивость наблюденія и порыванія къ идеалу. Кромѣ того, ни въ какой другой странѣ забота о формѣ, *артистическое письмо* не были предметомъ такихъ постоянныхъ усилій, доходившихъ до настоящаго культа стилистическаго совершенства. Стоитъ только привести имя Флобера, послѣ Шатобріана и Теофиля Готье.

Французъ, англичанинъ, нѣмецъ, каждый съ детальнымъ знаніемъ своей литературы, обладаетъ въ этомъ самомъ—обширнымъ полемъ срав-

ненія, можетъ легко засвидѣтельствовать: что въ русскомъ романѣ есть болѣе своеобразнаго и, съ другой стороны, въ чемъ мы прошли черезъ то или иное иностранное вліяніе—будь оно французское, нѣмецкое или англійское.

Балансъ оригинальности, настоящей творческой «интуиціи» — вотъ на что должны быть направлены, главнымъ образомъ, сужденія иностранной критики. И въ этомъ смыслѣ, критика нашего отечества, признавая въ принципѣ различныя иностранныя вліянія, чрезъ какія прошелъ нашъ романъ, недостаточно, по моему мнѣнію, углублялась въ настоящую цѣнность произведеній, какія она разбирала, у себя, и признавала за перво-классныя творенія; да и до сихъ поръ слишкомъ часто забываетъ она побѣды, уже одержанныя въ другихъ странахъ, не оцѣниваетъ, въ должной мѣрѣ, починъ того или другого творца современнаго романа за границей.

Въ вопросѣ инициативы тѣхъ писателей, на какихъ мы смотримъ, какъ на истинныхъ создателей реального романа въ XIX стол., дѣло сводится не къ подражанію въ тѣсномъ смыслѣ, какое они вызывали, а должно состоять, главнымъ образомъ, въ опредѣленіи общаго, какъ бы *скрытаго* вліянія, придававшего эволюціи извѣстнаго литературнаго рода тотъ или иной первенствующій характеръ. Чрезъ такое вліяніе неизбѣжно долженъ проходить авторъ, если не желаетъ рисковать остаться позади.

Возьмите Бальзака! Трудно установить, что тотъ или иной русскій романистъ, между его современниками, или людьми, принадлежащими къ слѣдующему поколѣнію, были прямымъ выученикомъ Бальзака. Тургеневъ, незадолго до своей смерти, на вопросъ, предложенный ему однимъ русскимъ писателемъ: былъ ли великій создатель *Человѣческой комедіи* его любимцемъ? отвѣтилъ, что онъ никогда не подчинялся обаянію этого романиста, что онъ всегда считалъ его скучнымъ и тяжелымъ, что онъ едва ли можетъ вспомнить, какіе изъ его романовъ перелистывалъ, даже изъ тѣхъ, которые пользуются всемірной славой. Однимъ словомъ, онъ объявилъ себя свободнымъ отъ самаго малѣйшаго вліянія Бальзака. Это было несомнѣнное свидѣтельство, но *совершенно личное*. Онъ его почти не читалъ? Допустимъ. Дѣло вовсе не въ томъ, читалъ онъ его или нѣтъ; но цѣлая школа, къ которой принадлежалъ и самъ Тургеневъ, слѣдовала, волей-неволей, по пути, открытому Бальзакомъ новому роману, по пути реальному, руководимая потребностью соперничать съ дѣйствительностью,—потребностью, какую Бальзакъ испытывалъ всю свою жизнь. И Тургеневъ, поскольку онъ былъ романистъ, долженъ былъ подчиниться этому непреодолимому импульсу, какой могутъ давать только великіе инициаторы въ дѣлѣ художественнаго творчества.

Итакъ, чтобы установить истинную цѣнность нашихъ первоклассныхъ писателей, иностранная критика поставлена въ благопріятное положеніе и могла оказать дѣйствительныя услуги.

Оказала ли она ихъ, и въ какой степени?

Тому, кто изъ иностранныхъ критиковъ, признавая достоинства того или иного русскаго автора, значеніе его творческаго дѣла и обаяніе таланта, избираетъ его предметомъ сравнительныхъ этюдовъ и указываетъ ему мѣсто въ великой эволюціи европейскаго романа XIX столѣтія, ничего не преувеличивая, безъ предубѣжденій и мелочныхъ придирокъ, мы можемъ сказать: милости просимъ!

Но есть и другіе, которымъ нравится мелкій анализъ формальнаго характера. Они всюду разыскиваютъ прямыя вліянія иностранныхъ писателей, видя вездѣ подражателей ихъ. Они неспособны понять, въ чемъ заключается истинная оригинальность произведенія, расцвѣтшаго на почвѣ, какою надо сначала хорошенько разрыть, войти болѣе въ личную и собирательную психію русскаго, отдать себѣ отчетъ въ томъ броженіи, какое произошло въ глубинахъ душевной жизни и было вызвано многообразными особенностями умственной культуры и общественныхъ условій.

Для этого надо пожить въ странѣ, знать ея языкъ, изучить литературу съ симпатіей и пониманіемъ. Авторъ книги *Русскій романъ*, по видимому, выполнилъ такую программу. Конечно, онъ былъ одинъ изъ первыхъ на западѣ, давшихъ о нашихъ великихъ писателяхъ этюды, задуманные и выполненные съ полной искренностью, съ явной заботой быть правдивымъ и не позволять себѣ ничего предвзятаго. Онъ старался всего болѣе о томъ, чтобы обнажить передъ французскимъ читателемъ все, что душа русскаго, какою она проявляетъ себя въ твореніяхъ Толстого и Достоевскаго, содержитъ самобытнаго, страннаго, мистическаго, нравственно-прекраснаго, со смѣсью славянскаго буддизма, съ порываніемъ къ *нирвану*, съ первобытнымъ фатализмомъ, подчиненіемъ судьбѣ, приниженнымъ особаго рода благоговѣйнымъ чувствомъ. И въ такомъ душевномъ настроеніи добро и зло часто переходятъ въ особаго рода разрушительный нигилизмъ, обращенный на всякую условную мораль.

Но психологія славянской души, объясняемая г. де-Вогюэ, можетъ ли считаться толкованіемъ, совершенно свободнымъ отъ всякаго вліянія среды, какою будущій критикъ, когда жилъ въ Россіи, окружилъ себя? Мы не думаемъ этого. Онъ былъ уже предрасположенъ, въ силу своихъ общихъ идей, политическихъ и религіозныхъ взглядовъ и воззрѣній, сочувствовать той смѣси славянофильства и гуманнаго піэтизма, какою Достоевскій составилъ себѣ послѣ того, какъ искупилъ свою вину въ Сибири.

Во всѣхъ общихъ взглядахъ автора книги *Русскій романъ* вы чувствуете осадокъ чего-то, уже давно вамъ извѣстнаго. Онъ былъ обычный посѣтитель нѣкоторыхъ петербургскихъ салоновъ, полусвѣтскихъ, полулитературныхъ, съ патріотическимъ отгѣнкомъ, немножко въ благочестивомъ духѣ, смѣси полулиберальной ортодоксіи и добродушнаго барства. Если бъ онъ посѣщалъ больше другіе кружки и завязалъ сношенія съ представи-

телями иныхъ фракцій русскаго общественнаго мнѣнія въ эту эпоху, онъ, вѣроятно, вышелъ бы оттуда совсѣмъ съ другими взглядами, предположивъ, конечно, что по своимъ личнымъ нравственнымъ и умственнымъ настроеніямъ онъ не слишкомъ былъ бы этому враждебенъ.

Тутъ-то и есть опасность для каждаго критика иностранца, который, не желая довольствоваться изученіемъ современнаго русскаго романа по переводамъ и даже по оригинальнымъ текстамъ, сталъ бы изучать, кромѣ того, и русскую литературную критику,—особенно на мѣстѣ.

Такое сужденіе можетъ показаться парадоксальнымъ, но я постараюсь защитить его вѣрность.

Не забудемъ, что мы имѣемъ дѣло съ публикой, для которой словесность, творческая литература—совсѣмъ не то, что для француза, нѣмца, даже англичанина.

У насъ, все, что писатель печатаетъ: романъ, повѣсть, драма или эпическая поэма, сразу приобретаетъ особенное значеніе. Въ странѣ, у которой нѣтъ другихъ средствъ бороться за свои идеи и политическія и социальныя упованія, произведеніе, принадлежащее къ области эстетическаго творчества, дѣлается всего чаще поводомъ къ препирательству разныхъ партій, трактуется воинствующей критикой съ точки зрѣнія его освободительнаго или ретрограднаго свойства. Это та крупная складка, какую общественное мнѣніе приняло въ нашей публикѣ, прошедшей въ теченіе большого періода, въ цѣлое полстолѣтіе, выучку, какую ей навязывала литературная критика въ этомъ тенденціозномъ направленіи.

Каково-бы ни было достоинство произведенія, появлявшагося въ данный моментъ, очень рѣдко передовая критика того времени была расположена, при его появленіи, оцѣнивать его истинныя художественныя достоинства; рѣдко это произведеніе не дѣлалось тотчасъ же предметомъ рѣзкихъ и зложелательныхъ нападокъ, вызванныхъ исключительно слишкомъ развитымъ чувствомъ общественной опасности, какую приписывала критика тому или иному произведенію.

Удивлю ли я васъ, напомнивъ, что даже такая вещь, какъ *Война и миръ* весьма умѣренно понравилась передовому литературному лагерю эпохи, т.-е. тридцать съ чѣмъ-то лѣтъ тому назадъ? Нужно ли мнѣ распространяться и о тѣхъ сильнѣйшихъ нападкахъ, какіе достались на долю романа *Отцы и дети* Тургенева и *Дымъ* того-же автора? Даже эта знаменитая *Анна Каренина*, считающаяся теперь публикою обоихъ полушарій произведеніемъ крупнѣйшаго пошиба, написаннымъ съ роскошнѣйшимъ творческимъ талантомъ, не избѣгла весьма неблагоприятныхъ отзывовъ.

Находили страннымъ, что Толстой выбралъ, для главныхъ дѣйствующихъ лицъ, гвардейскаго офицера и свѣтскую даму, принадлежащихъ къ

кругу, не представляющему никакого интереса для большой доли публики. Романъ принято было считать скучнымъ и даже полнымъ болтовни.

Я не кончилъ бы, если бы желалъ приводить всѣ доказательные примѣры въ такомъ родѣ.

И только съ теченіемъ времени, послѣ смерти Тургенева и расцвѣта славы Толстого (въ особенности какъ проповѣдника новой религіи), романистъ, создатель цѣлаго міра художественной фикціи — былъ удостоенъ имени «генія».

Русская литературная критика обязана почину Бѣлинскаго — послѣ 1830 г. — пониманіемъ великаго поэтическаго творчества Пушкина. Бѣлинскій заставилъ русскую публику пройти цѣлую школу литературнаго развитія путемъ пропаганды идей нѣмецкихъ философовъ, примѣненныхъ къ области искусства и изящной литературы. Но пылкій гегеліанецъ сталъ позднѣе не менѣе пылкимъ послѣдователемъ теорій общественнаго возрожденія, прибывшихъ къ намъ изъ Франціи, немного раньше 1848 г. Онъ сжегъ свои корабли и сталъ поклоняться другимъ идоламъ.

Романисты, писавшіе на темы, обличители всякихъ злоупотребленій, какъ Жоржъ Зандъ и Диккенсъ, заставили его забыть преклоненіе предъ созданіями литературнаго творчества, свободными отъ всякой тенденціи.

Позднѣе, послѣ переходной эпохи, явилось освободительное движеніе, которое можно было бы, въ крайнемъ случаѣ, назвать «die Sturm- und Drangperiode» русской литературы. Критика, съ такими бойцами, какъ Чернышевскій, Добролюбовъ и Писаревъ и ихъ послѣдователи, получила новый толчокъ; но она усвоила себѣ принципы, по которымъ эволюція искусства и изящной литературы, въ частности, не имѣетъ другого значенія, кромѣ служебнаго, въ дѣлѣ развитія общаго соціальнаго прогресса. Дошло даже до отрицанія прекраснаго и до оцѣнки его проявленій исключительно съ утилитарной точки.

Не слѣдуетъ чрезъ мѣру удивляться такому настроенію. Противное было бы скорѣе непонятно въ такой странѣ, гдѣ сильно развитое меньшинство было слишкомъ долго подъ игомъ режима, сдѣлавшагося еще болѣе тяжелымъ послѣ февральской революціи, и всего того, что было ею вызвано внѣ Франціи.

Порывъ эпохи *шестидесятыхъ годовъ* (формула нашего литературнаго жаргона) способствовалъ весьма сильно движенію впередъ русскаго общества въ разныхъ смыслахъ; но онъ же отклонилъ литературную критику, въ тѣсномъ смыслѣ, отъ нормальнаго пути. Съ этой эпохи, въ особенности творческая литература получила то исключительное, чисто русское значеніе, какимъ она не обладаетъ ни въ какой другой странѣ Европы, въ той же степени.

Итакъ, задача каждаго, кто желалъ бы двадцать лѣтъ тому назадъ, составить себѣ точное представленіе объ истинной эволюціи русскаго ро-

мана, руководствуясь главнымъ образомъ комментаріями нашей воинствующей критики, была бы и неблагодарна, и тяжела.

Она не легка даже и теперь, если вы задаетесь цѣлью: передѣлать все, слѣдуя методу, исключаящему предвзятая идеи, не имѣющія ничего общаго съ областью искусства,—методу, который позволилъ бы установить тотъ путь, какимъ русскій романъ развивался съ точки зрѣнія художественнаго творчества. Правда, уже нѣсколько лѣтъ, какъ утилитарный взглядъ, царившій когда-то у насъ, не имѣетъ прежняго обаянія. Произведеніе искусства, талантъ писателя, романъ, повѣсть, стихотвореніе, картина—уже часто обсуждаются съ большей вѣрностью, *для нихъ самихъ*, внѣ общественныхъ симпатій и антипатій; но главный вопросъ остается все-таки же не рѣшеннымъ до сихъ поръ; а именно: область прекраснаго, питаемая творческой способностью человѣка, находится ли она на службѣ общаго прогресса или, наоборотъ, дѣйствительная жизнь доставляетъ этой области нужный матеріалъ и позволяетъ человѣку творить цѣлый міръ чувствъ, идей и образовъ, стоящихъ выше того, что ему даетъ обыденная реальность?

Эволюція русскаго романа въ первый тридцатилѣтній періодъ показываетъ намъ, что расцвѣтъ талантовъ и творческая инициатива могутъ быть въ полномъ несогласіи съ политическимъ и социальнымъ состояніемъ страны, проявиться вопреки условіямъ, весьма мало благоприятнымъ высшему литературному творчеству.

Что это была за эпоха, вплоть до царствованія Александра II? Вы очень хорошо знаете. Умственная жизнь была скована всѣми средствами, какими располагала власть. И несмотря на то, мы видимъ, что русскій романъ именно въ этотъ періодъ возраставшаго давленія сдѣлался тѣмъ, что онъ представляетъ собою и теперь. Путь былъ найденъ. Это былъ путь художественнаго творчества, съ культомъ правды, пониманіемъ реальной жизни, всѣми предпосылками дальнѣйшаго созиданія. Творенія Тургенева и Толстого уже принадлежали этому періоду. *Отцы и дѣти*, *Война и миръ*—прямые явленія дальнѣйшаго органическаго развитія той же созидающей эпохи.

Развѣ это было бы возможно безъ того великаго наслѣдія, какое Европа оставила намъ, какъ и во всѣхъ другихъ областяхъ умственной культуры? Конечно, нѣтъ. Потребность, какую душа культурнаго человѣка чувствуетъ въ художественномъ воспроизведеніи жизни—сама по себѣ есть уже результатъ долгой эволюціи. То, что романъ, у нашихъ западныхъ учителей, продѣлалъ прежде, чѣмъ дойти до эпохи, въ какую расцвѣли русскія произведенія того же періода, т.-е., работа цѣлыхъ почти двухсотъ лѣтъ, отъ Лесажа до романистовъ первой четверти XIX-го стол.,—было воспринято русскими, не отнимая у ихъ нарождавшейся литературы тотъ характеръ своеобразности, какой Пушкинъ сумѣлъ придать *Онегину*, т.-е.,

роману, обозначающему первую крупную *вѣту* въ эволюціи русскаго романа, такого, какимъ мы видимъ его и въ наши дни.

Припомнимъ, что два великихъ писателя той эпохи, Байронъ и Вальтеръ-Скоттъ, послѣ Гёте и Шатобріана, владычествовали тогда на литературномъ полѣ Европы. Пушкинъ, какъ и многіе изъ его современниковъ, отдалъ дань байронизму въ поэмахъ и лирическихъ пѣсняхъ своей первой молодости.

Отъгинъ, протагонистъ этого романа, представляетъ собою уже реалистическую попытку молодого русскаго подражателя героевъ Байрона, съ легкимъ сатирическимъ отгѣнкомъ. И этимъ-то актомъ своего духовнаго освобожденія Пушкинъ началъ карьеру романиста. Очень несложная элегическая исторія этого „сноба“, во вкусѣ Рене и Чайльдъ-Гарольда, въ то же время, дала Пушкину предлогъ набросать картины великорусской жизни, какъ никто еще до него, за исключеніемъ Грибоѣдова—автора комедіи *Горе отъ ума*—не воспроизводилъ ихъ. Но Грибоѣдовъ—сатирикъ по преимуществу. Его комедія—геніальный памфлетъ, брошенный имъ въ лицо всему московскому барскому обществу эпохи Реставраціи, полный криковъ негодованія и ударовъ бича. Въ *Отъгинъ* тихое и ясное воспроизведеніе реальной жизни—и есть настоящее творчество романа, какъ его будутъ трактовать и позднѣе великіе мастера западной беллетристики. Тутъ—симпатія къ жизни, чувство артиста, влюбленнаго въ свой трудъ, отсутствіе предвзятыхъ идей, излишняго пессимизма или сентиментальнаго идеальничанья. Прикиньте этотъ романъ ко всему, что современная ему западная литература доставила во Франціи, Германіи и Англии, не исключая Стэндала и Бальзака (задумавшаго уже къ тому времени, когда конченъ былъ *Отъгинъ*, свою *Eugénie Grandet*)—и вы, конечно, будете того же мнѣнія, съ нѣкоторыми оговорками. *Отъгинъ*—произведеніе первоклассной творческой инициативы, и—что еще важнѣе—оно показало истинный путь русскому роману, отъ котораго онъ никогда уже особенно и не отклонялся на протяженіи дальнѣйшихъ фазъ своего развитія.

Едва прошла какая-нибудь дюжина лѣтъ, какъ мы уже имѣли повѣсти Гоголя и два такихъ произведенія, какъ романъ Лермонтова *Герой нашего времени* и сатирическая поэма того же Гоголя *Мертвыя души*. Дѣло состоитъ не въ однихъ талантахъ, въ ихъ расцвѣтѣ, въ тотъ или иной періодъ; главный вопросъ сводится къ тому, чтобы признать, что творческая литература, и такой особенный ея родъ какъ романъ, остались вѣрны принципамъ артистическаго созиданія, что этотъ романъ расширялъ рамки своихъ наблюденій, что онъ шелъ все по тому же пути, проложенному Пушкинымъ, который, испытывая на себѣ вліяніе историческихъ романовъ Вальтеръ Скотта, все-таки могъ задумать и создать рядомъ съ *Отъгинымъ*, написаннымъ въ стихахъ, такую повѣсть въ прозѣ, какъ *Капитанская дочка*, которая будетъ прототипомъ великой національной эпопеи Толстого *Война и миръ*, появившейся тридцать лѣтъ спустя.

Лермонтовъ былъ извѣстенъ иностранной публикѣ, какъ поэтъ въ тѣсномъ смыслѣ, какъ авторъ «Демона».

Его романъ въ прозѣ, герой котораго является какъ бы разновидностью Онѣгина, для насъ имѣетъ значеніе, какъ окончателная побѣда художественнаго созиданія. Мы находимъ въ немъ уже такое «письмо», какимъ еще не пользовался Пушкинъ. Этотъ языкъ принадлежитъ ему, у него есть совершенно своя манера ставить дѣйствующихъ лица, трактовать ихъ интимную психологию, набрасывать пейзажи, вести діалогъ.

Въ особенности женщины являли уже новую фазу въ творческомъ толкованіи жизни. Татьяна Пушкина уступила мѣсто Вѣрѣ, невѣрной женѣ, жертвѣ увлеченія Печоринымъ, и ея душевныя состоянія воспроизведены въ сценахъ любви, горькихъ и восхитительныхъ, съ мастерствомъ писателя, которому нечего болѣе завидовать своимъ французскимъ соперникамъ къ 1840 г., ни автору *Rouge et noir* (Бэлю-Стэндалю), ни творцу *Человѣческой комедіи*. И Лермонтову было едва двадцать шесть лѣтъ, когда онъ умеръ, убитый на дуэли, какъ и Пушкинъ. Между этими двумя романами, «создававшими эпоху», повѣсти Гоголя дали свою особенную ноту сатирической наблюдательности и чувствительнаго юмора. У насъ охотно повторяютъ фразу Тургенева, которую иногда приписываютъ и Толстому: «Мы всѣ пошли отъ *Шинели*». Такъ называется одна изъ первыхъ повѣстей Гоголя: жалостная исторія бѣдняка, мелкаго писца, наконецъ-то заказавшаго себѣ шинель, о которой мечталъ долгіе годы. Эта формула привилась; и всѣ, и у насъ, и за границей, повторяютъ, что русскій романъ пошелъ *только* отъ Гоголя.

Позволительно выступить противъ этого утвержденія, откуда бы оно ни исходило. Если бъ Тургеневъ и его ближайшіе сверстники, а десять лѣтъ спустя Толстой, и объявляли себя прямыми учениками Гоголя—это были бы чисто субъективные свидѣтельства.

Гоголь, авторъ повѣстей и даже «Мертвыхъ душъ»—не создатель русскаго романа и не могъ имъ быть по той простой причинѣ, что *Онѣгинъ* уже появился въ печати. Въ Гоголѣ русская литература стала обладать исключительнымъ талантомъ, обогатившимъ приемы реалистическаго воспроизведенія, а главнымъ образомъ, такимъ талантомъ, въ которомъ зазвучала съ новой силой сатирическая нота и позволила ему создать галерею гротесковъ, и, въ лицѣ ихъ, нравы его эпохи были безпощадно осмѣяны. Кромѣ того, въ немъ же мы имѣемъ живописца украинской жизни, автора *Тараса Бульбы*—смѣси реализма съ романтическими приемами.

Въ томъ-то и дѣло, что Гоголь былъ всегда *романтикъ* по преимуществу. Подъ его сатирическимъ задоромъ тлѣлась мистическая и романтическая душа. Въ немъ всегда сидѣлъ піѣтистъ, для кого задача писателя была родъ Голгофы, и вы знаете, что онъ кончилъ какъ бы ма-

ней величія, безсильный выполнить подвигъ, наложенный на самого себя: сдѣлать изъ «Мертвыхъ душъ» поему, гдѣ бы воспроизведены были (послѣ изображенія нравственной пошлости своего отечества, заключеннаго въ первой части книги), всѣ высокія и вымышленныя добродѣтели созданныхъ имъ лицъ.

Повторяемъ еще разъ: Гоголь вовсе не создатель русскаго романа. И это еще не все. Пушкинъ въ *Онегинъ*—настоящій *великороссъ*, тогда какъ Гоголь былъ *малороссъ*, когда онъ описывалъ крестьянъ и мелкихъ помѣщиковъ своей Украины. Ни Тургеневъ, авторъ *Записокъ охотника*, *Дворянскаго инъзда*, всѣхъ лучшихъ своихъ повѣстей, ни Толстой, авторъ *Казаковъ*, *Войны и мира* — не исходятъ отъ *Мертвыхъ душъ*. Они воспроизводятъ и освѣщаютъ жизнь безъ предвзятыхъ цѣлей моралиста-сатирика.

Наступила такъ же минута напомнить о томъ *недоразумѣніи*, которое длилось слишкомъ четверть вѣка, между русскимъ обществомъ и Гоголемъ. Литературная критика и масса читателей принимали его долго за борца либеральныхъ идей, навязывали его писательскому дѣлу значеніе діаметрально противоположное его *credo* консерватора-пѣтиста, какое онъ, впрочемъ, самъ разоблачилъ, напечатавъ знаменитый сборникъ писемъ, адресованныхъ друзьямъ, во время его долгаго пребыванія за границей, въ Римѣ и другихъ мѣстахъ.

Тургеневъ, правда, въ первыхъ прозаическихъ произведеніяхъ немного подражалъ Гоголю, въ нѣкоторыхъ изъ своихъ разсказовъ и одной жанровой комедіи. Но все это продѣлалъ онъ въ ущербъ своей писательской индивидуальности. Я скажу даже, что русскій романистъ, реалистъ по преимуществу, принадлежащій къ поколѣнію, немного предшествовавшему генерации Тургенева — Гончаровъ, его соперникъ и сверстникъ—вовсе отъ этого не ученикъ Гоголя. Онъ преклонялся всегда передъ Пушкинымъ, впрочемъ такъ же, какъ и Тургеневъ, у кого гоголевская нота очень скоро исчезла.

Другой вопросъ—Достоевскій, особенно первой манеры.

Его начальная повѣсть *Бѣдные люди*, несомнѣнно, внушена *Шинелью* Гоголя. И эта психологія униженныхъ разрабатывалась имъ во всю его карьеру съ особеннымъ вкусомъ, какой онъ имѣлъ къ возрожденію падшихъ душъ, чтó и находимъ мы, какъ главный узелъ его капитальнаго произведенія *Преступленіе и наказаніе*.

Такая тенденція въ сущности иностраннаго происхожденія. Она идетъ отъ романтизма юной Франціи, отъ *теоріи контрастовъ*, которая была такъ дорога Виктору Гюго и его послѣдователямъ.

Французскій и англійскій романъ этой эпохи, Жоржъ Зандъ, Диккенсъ, Евгений Сю, преобладающій интересъ ко всякаго рода жертвамъ общественнаго устройства, эмансипація женщины, пролетаріатъ, обличенія,

направленные противъ всего соціального строя, его привилегій и злоупотребленій—вотъ темы, отъ которыхъ трепетали сердца и возбуждались умы всей этой генерации русскихъ: Достоевскаго, Тургенева и столькихъ другихъ. Для нихъ обоихъ, несмотря на несогласимость ихъ характеровъ и натуръ, Жоржъ Зандъ осталась «одной изъ нашихъ святыхъ», какъ одинъ изъ нихъ выразился, по поводу ея смерти, въ сочувственной тирадѣ.

Русская критика утверждаетъ, до сихъ поръ, что наша *натуральная* школа на тридцать лѣтъ старше «натурализма» французскихъ писателей. Правда, эта формула была создана у насъ послѣ 1840 г. и ее примѣняли главнымъ образомъ къ молодымъ писателямъ, ударившимся въ изученіе нравовъ самыхъ низшихъ слоевъ населенія обѣихъ столицъ.

Но слово ничего не мѣняетъ. Великое реалистическое движеніе шло съ запада: Стэндалъ, Проспэръ Мериме, Бальзакъ, а по другой сторонѣ пролива корифеи британскаго романа—Диккенсъ и Теккерей. Помимо вопроса о прямомъ подражаніи, тутъ, несомнѣнно, чувствовалось то общее вліяніе, о которомъ я говорилъ выше. Первенство почина шло съ запада—это несомнѣнный фактъ. Русскіе авторы, и сохраняя свою оригинальность, были захвачены тѣмъ же движеніемъ.

Если бы мы хотѣли также присмотрѣться поближе и къ происхожденію двухъ родовъ романа, какіе и у насъ появились къ этой эпохѣ: роману съ идейнымъ содержаніемъ и съ типическими лицами извѣстной генерации, и произведеніямъ, изображающимъ сельскую жизнь,—мы должны были бы сознаться, что и тотъ, и другой родъ имѣли уже на западѣ своихъ предшественниковъ.

Ни Тургеневъ, ни его сверстникъ Григоровичъ (появившійся впервые въ 1846 г. съ повѣстью, озаглавленной *Дережня*) не были, конечно, рабскими подражателями Жоржъ-Зандъ—автору такой идилліи, какъ *La mare au diable* и другихъ повѣстей, ни даже романа *Les paysans* Бальзака, написаннаго въ 1845 г.; но этотъ жанръ уже существовалъ, и ни Жоржъ-Зандъ, ни Бальзакъ не были его изобрѣтателями, а нѣмецкіе писатели, во главѣ съ Бертольдомъ Ауэрбахомъ, напечатавшимъ свои *Шварцвальдскіе рассказы* еще въ 1843 г. И у него были уже предшественники, какъ напр. пасторъ нѣмецкой Швейцаріи Битціусъ, извѣстный подъ псевдонимомъ Іереміи Готхельфа.

Точно такъ же, и романы съ типическими лицами, носителями передовыхъ идей и порываній (серія которыхъ открылась у насъ романомъ Александра Герцена *Кто виноватъ?*) какъ и самые извѣстные романы и повѣсти Тургенева, начиная съ *Рудина*—развѣ этотъ жанръ—спросимъ мы—не тотъ же, что у Жоржъ-Зандъ въ *Орасъ* и многихъ другихъ романахъ, не тотъ, который Гуцковъ среди нѣмцевъ, и англійскіе романисты, въ родѣ Дизраэли, разрабатывали съ успѣхомъ на западѣ?

Въ области искусства, въ художественномъ творествѣ самое большое значеніе имѣеть не то, что воспроизводится, а то *какъ* воспроизводится, и русское *какъ* и есть самое драгоценное наше достояніе—мы можемъ это сказать безъ всякаго хвастовства. Мотивы, идеи, изученіе различныхъ классовъ общества, аппетиты и страсти, борьба матеріальныхъ интересовъ и порываній къ идеалу: все уже было предметомъ изслѣдованія на западѣ гораздо раньше, чѣмъ у насъ. Припомните тотъ инвентарь *Человѣческой комедіи* Бальзака, какой былъ сдѣланъ Ипполитомъ Тэнномъ въ его знаменитой критической статьѣ. Этотъ инвентарь можетъ дать настоящее мѣрило того, сколько *одинъ* романистъ, полвѣка тому назадъ, захватилъ идей, фактовъ, образовъ, особенностей среды, конкурируя съ «l'état civil», по его собственному выраженію.

И дальше, романъ на западѣ все расширялъ свои рамки, почему и было бы большимъ самоувѣніемъ утверждать, что русскій романъ постоянно открывалъ новые міры. Оцѣнки въ такомъ родѣ раздѣлились и у насъ въ самое послѣднее время, почему и можно ожидать, что такого рода литературный шовинизмъ будетъ распространяться и въ массѣ нашей публики.

Чтобы дать себѣ отчетъ объ истинныхъ *откровеніяхъ*, какія европейская публика нашла въ русскомъ романѣ, вернемся еще къ необычайной извѣстности, какую получили Достоевскій и Толстой.

Толстой выступилъ послѣ 1850 г. съ рассказами изъ военной жизни и автобіографической трилогіей: *Дѣтство, Отрочество, Юность*. Если нужно, во что бы то ни стало, наложить на него извѣстную формулу, то онъ сразу же заявилъ себя *веристомъ*—терминъ, употребляемый у итальянцевъ. Онъ вовсе не исходилъ отъ Гоголя, какъ мы сейчасъ сказали. Его истолкованіе жизни поразило и литературныхъ судей, и большую публику той эпохи чрезвычайной правдивостью образовъ и реальными подробностями, а также глубиной и безпощадностью психологическаго анализа.

Но, съ самыхъ своихъ дебютовъ, будущій искатель *абсолютной истины* уже сидѣлъ въ художникѣ. Онъ былъ художникъ безъ сомнѣнія, какъ по силѣ таланта, такъ и по самостоятельной творческой интуиціи; но онъ былъ имъ, такъ сказать, какъ бы поневолѣ. Тургеневъ одинъ изъ первыхъ распозналъ въ своемъ юномъ собратѣ необычайную силу творческихъ замысловъ, и я часто слыхалъ какъ онъ сравнивалъ Толстого со «слономъ», даже и послѣ того разлада, какой случился между ними и тянулся нѣсколько лѣтъ.

Его военные рассказы изъ кавказской и севастопольской жизни, его повѣсти *Семейное счастье, Утро помѣщика* показываютъ ту же творческую способность, достигшую своего максимума въ *Казакахъ*: вотъ, что предшествовало роману *Война и миръ*, успѣхъ котораго—нѣсколько

запоздалый въ парижской публикѣ—сдѣлалъ извѣстнымъ имя Толстого гораздо позже, чѣмъ имя Тургенева. И только еще позднѣе, когда произошелъ въ немъ нравственный кризисъ и его исповѣди, сказки, проповѣди, подѣ различными видами, захватили весь свѣтъ и романистъ возобладать еще большей популярностью—тогда только многіе на западѣ стали цѣнить какъ бы заново все, что въ его творческихъ произведеніяхъ есть коренного русскаго, углубляться въ состоянія славянской души, пользуясь комментаріями французской критики. Преклоненіе предѣ талантомъ, въ тѣсномъ смыслѣ, интересъ къ лицамъ, нравамъ, семейнымъ сценамъ и эпизодамъ войны 1812 г., психологія, какою кишитъ *Анна Каренина*: все это входило только, какъ извѣстная доля, въ чувство публики къ Толстому. А между тѣмъ въ немъ есть кое-что и больше проповѣдника, есть его глубокое трактованіе жизни, безусловное отсутствіе всякой рисовки, искренность и серьезность, съ какими онъ всегда дѣйствовалъ, какъ писатель, до той эпохи, когда онъ сдѣлался вѣроучителемъ новой религіи и сталъ пользоваться своимъ дарованіемъ только для цѣлей пропаганды. Но искренность его убѣжденій, широкія гуманныя идеи, духъ евангельски-разрушающій все то, что цивилизація принесла съ собою живаго, злого и совращающаго на его взглядъ—трогаютъ и захватываютъ европейскую публику и, быть-можетъ, ни одинъ изъ его предыдущихъ романовъ такъ ее не волновалъ и не очаровывалъ, какъ послѣдній его вещь *Воскресеніе*, гдѣ теза сектанта сквозитъ черезъ ткань фикціи, гдѣ романистъ уступаетъ, на каждомъ шагу, мѣсто публичному обвинителю, бросающему свои обличенія современному общественному строю.

И чего Толстой достигъ у европейской публики только въ послѣдній моментъ, того Достоевскій какъ бы сразу добился, когда переводъ его романа *Преступленіе и наказаніе* появился на западѣ. Славянская душа, разрытая этимъ «жестокимъ талантомъ» (какъ выразился одинъ русскій критикъ и публицистъ) была принята, какъ нѣкоторое откровеніе, странно отвѣчающее на потребность: проникать воображеніемъ и смущеннымъ чувствомъ въ пропасти патологическаго «я».

Норма, нравственное здоровье, умственное равновѣсіе потеряли какъ бы свое значеніе. И авторъ *Преступленія и наказанія* былъ человекомъ, предназначеннымъ для такого рода литературныхъ созданій. Въ своей странѣ его сильная личность, несчастная судьба, долгая каторга политическаго ссыльнаго, неизлѣчимая болѣзнь, съ которой онъ страдалъ до самой смерти—создали ему родъ ореола, несмотря на враждебность, какую онъ выказывалъ къ идеямъ и волненіямъ передовой молодежи. Нѣсколько лѣтъ до его смерти ему простили даже такую вещь, какъ *Бѣсы*—романъ, продиктованный ненавистью и презрѣніемъ къ революціонной пропагандѣ.

Европейская публика увлеклась имъ всего больше потому, что она нашла въ его романахъ воображеніе, населенное образами душевнаго распада человѣческаго «я», пароксизмами мистики и милосердія, анализомъ душъ, полнымъ суровой смѣлости и часто нѣсколько эпилептической виртуозности.

И здѣсь во-время будетъ поставить вопросъ: авторъ *Преступленія и наказанія* и *Братьевъ Карамазовыхъ*—настоящій ли онъ представитель того, что русскій романъ, въ своей эволюціи, создалъ самаго типичнаго и глубоко-національнаго? Произведенія его послѣдней манеры изъ того ли «первобытнаго гранита», о которомъ говоритъ Тэнъ въ своей «Философіи искусства»? Даютъ ли они крупную *среднюю величину* психологии русскаго, представляютъ ли этапы умственнаго и нравственнаго развитія, чрезъ какое прошло общество моей страны въ теченіе полувѣка?

Было бы смѣло дать на это *утвердительный* отвѣтъ. Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ литературной личностью, которая ни въ какой странѣ не представляла бы этой *средней пропорціональной*, даже и въ Россіи, гдѣ контрасты образованности между разными общественными классами, сильная религіозность народа, его консервативный духъ и умственные потемки, а съ другой стороны страстные движенія, какія происходили въ теченіе полустолѣтія въ развитомъ обществѣ, въ особенности въ молодежи различныхъ генераций—не исключаютъ присутствія извѣстнаго *фонда*, гораздо болѣе нормальнаго, болѣе здороваго, болѣе способнаго на прогрессивный ростъ націи, взятой въ ея совокупности.

Еслибъ русская душа была только пріемникомъ патологическихъ явленій, какими преисполнены романы Достоевскаго, такой ростъ былъ бы невозможенъ.

Это—общее соображеніе. Но для насъ еще болѣе важна другая точка зрѣнія, въ этуждѣ, трактуемъ объ *эволюціи* русскаго романа. И вотъ въ этой-то эволюціи творчество Достоевскаго, (если вы выкинете изъ него книгу точныхъ наблюденій и большой нравственной цѣны—«Записки изъ Мертваго Дома»), не представится ли вамъ это творчество скорѣе какъ *инициентъ*, какъ *наростъ*, питаемый талантомъ и натурой, слишкомъ индивидуальными; нѣчто стоящее внѣ рамокъ, какія должны okayмлять великую картину художественнаго творчества, элементы котораго были бы взяты не въ исключительныхъ душевныхъ состояніяхъ, не въ свалкѣ беспорядочныхъ страстей, фантастическихъ помысловъ и болѣзненнаго мистицизма, а въ самомъ сердцѣ націи. Конечно, мы не пойдемъ такъ далеко, какъ одинъ изъ моихъ парижскихъ собратьевъ, не будемъ повторять опредѣленія, даннаго имъ такому произведенію, какъ *Преступленіе и наказаніе*: «Это—выразился онъ—славянскій Габоріо»; но мы не поколеблемся указать и на то вліяніе, какое темы и колоритъ французскаго романа съ 1840 г. оказали на склонность Достоевскаго къ сложнымъ завязкамъ драмъ съ уголовной основой.

Въ творествѣ Толстого, напротивъ, прежде всего, чувствуется «первобытный гранитъ» съвозъ всѣхъ части его писательской работы. Здѣсь надо искать славяно-русскую душу во всѣхъ ея проявленіяхъ, на всѣхъ ступеняхъ умственного развитія и общественной іерархіи. Ничего чрезвычайнаго, ничего неврастеническаго, ничего исключительно-субъективнаго въ этой громадной эпопеѣ русскаго народа, взятаго въ цѣломъ, и дышащей силой и здоровьемъ.

Я, въ эту минуту, дѣлаю различіе между Толстымъ - романистомъ, въ особенности первой манеры, и Толстымъ-вѣроучителемъ; но даже и въ религіи, которой онъ служитъ, какъ великій проповѣдникъ, мы видимъ въ сущности только желаніе осуществить извѣстную человѣчную мечту. Съ первыхъ его беллетристическихъ писаній въ немъ былъ уже искатель свѣта, способнаго дать ему нравственный покой. Это чисто по-русски, но вовсе не болѣзненно. Религія Толстого дѣло разума, а не безпорядочной мистики. Если бъ мы желали примѣнить къ ней какую-нибудь философскую формулу, то это *идеонизмъ*; если хотите, даже христіанскій *эпикуреизмъ*; ученіе, сотканное изъ альтруистическаго комфорта, въ которомъ преобладаетъ разсужденіе. Вы чувствуете въ этой доктринѣ—типическаго великоросса; она пронизана національнымъ духомъ, проявившимъ себя раньше Толстого въ нашихъ рационалистическихъ сѣтахъ. Мнѣ стоитъ только указать на Скутаева, того мужика Тверской губерніи, кто былъ вдохновителемъ Толстого въ его долгомъ моральномъ развитіи. Духоборы такъ же раньше его выработали ученіе о «непротивленіи злему» (не *злу*, какъ всѣ повторяютъ, потому что въ греческомъ текстѣ Евангелія стоятъ слова: «τὸ πονηρὸν»), и отрицаніи всего, что государство требуетъ отъ своихъ подчиненныхъ, противнаго любви къ ближнему.

Толстой остается въ эволюціи русскаго романа самой могучей вѣхой, заключающей собою періодъ творческаго созиданія, выполненный нашей литературою во вторую треть XIX вѣка.

Я набросалъ лишь въ крупныхъ чертахъ картину этого періода, не отходя ко времени до *Отъгина*, начиная съ Карамзина, который былъ увлеченъ въ свое время сентиментальностью Ричардсона и набрасывалъ первыя наши повѣсти въ такомъ духѣ: его *Будная Лиза* является типическимъ образчикомъ этого рода беллетристики.

Отъ Пушкина до Толстого обаятельное творчество Тургенева занимаетъ срединное мѣсто. Оно всего болѣе связываетъ насъ съ всемірною литературою. Оставаясь въ теченіе долгой карьеры поборникомъ прогресса своей страны, поддерживая его какъ только могъ, въ качествѣ истоквателя самыхъ благородныхъ упованій избраннаго меньшинства, онъ хранилъ въ себѣ неприкосновеннымъ культъ европейской цивилизаціи; онъ проникся, съ юности, идеями нѣмцевъ, потомъ великодушными взглядами на общественное возрожденіе, сложившимися во Франціи. Другъ Герцена,

солидарный со всѣмъ, что въ Россіи было самаго замѣчательнаго въ либеральномъ лагерѣ, онъ сдѣлался прежде всего толкователемъ крестьянской души въ своихъ *Запискахъ охотника*. Сложилась уже легенда, повторяемая вездѣ, что онъ былъ главный виновникъ освобожденія крѣпостныхъ въ Россіи. Это, безъ сомнѣнія, очень высокой титулъ; но нашъ Тургеневъ дорогъ образованнымъ людямъ всѣхъ странъ, помимо благородства его идей, и художественной стороной своего творчества. Онъ, раньше Достоевскаго и Толстого, сумѣлъ проникнуть въ душу своихъ современниковъ— всѣхъ классовъ, воспроизводить русскую женщину, и свѣтскую, и изъ народа, старыхъ и молодыхъ людей, деревенскихъ помѣщиковъ и неудачниковъ большихъ городовъ. Онъ, въ особенности, прославился умѣніемъ создавать нашихъ *интеллигентовъ*, начиная съ послѣдователей гегелевской философіи тридцатыхъ годовъ, вплоть до молодыхъ политическихъ заговорщиковъ, портреты которыхъ онъ далъ въ своемъ послѣднемъ знаменитѣльномъ произведеніи *Новъ*.

Да, это былъ *интеллигентъ* (un intellectuel) въ самомъ широкомъ смыслѣ слова, одинъ изъ рѣдкихъ писателей, у кого непосредственный талантъ всегда руководимъ большой проникательностью ума и высокимъ образованіемъ.

Моя программа ограничивается, такимъ образомъ, періодомъ нашей литературы, предшествовавшимъ русскому *Sturm und Drang* періоду, т.-е. шестидесятымъ годамъ, но я счелъ себя въ правѣ говорить вамъ о произведеніяхъ Толстого, Достоевскаго и Тургенева, которыя зашли за эту границу, потому что эти три русскихъ писателя принадлежали уже, сами по себѣ, къ періоду, намѣченному мною.

О генерации ихъ преемниковъ я воздержусь бесѣдовать здѣсь, даже и въ общихъ чертахъ. На это есть двѣ причины: во-первыхъ, недостатокъ перспективы и потомъ мое званіе романиста, стоящаго на бреши вотъ уже сорокъ лѣтъ. Мои оцѣнки могли бы, быть-можетъ, не имѣть должной объективности и ставили бы меня часто въ щекотливое положеніе передъ моими самыми близкими собратами.

Есть также и молодежь «послѣдняго часа». То, чѣмъ я себя ограничилъ въ предыдущихъ словахъ, одинаково примѣнимо и къ нимъ.

Я прочелъ въ объемистомъ томѣ о русской литературѣ,—съ эпохи ея начатковъ, считая въ томъ числѣ и романы,—появившемся недавно въ Парижѣ: будто молодые русскіе беллетристы, выдвинувшіеся передъ концомъ вѣка, низвели русскій романъ на степень скоропреходящаго и мелкаго производства рассказчиковъ, безъ идей, и забавниковъ второго сорта! Я не уполномоченъ защищать моихъ самыхъ молодыхъ собратьевъ, но я позволю себѣ привести имя одного изъ нихъ, талантъ котораго добился всеобщаго признанія. Это г. Антонъ Чеховъ, писатель достойный, безъ сомнѣнія, быть поставленнымъ если не выше, то, по крайней мѣрѣ,

на ряду съ молодыми романистами Парижа, всего болѣе любимыми публикой.

Великіе таланты расцвѣтають въ извѣстную эпоху. Это большое счастье, они даютъ толчокъ и молодымъ; и ихъ преемникамъ надо слѣдовать доброму пути. Если этотъ путь въ области русскаго романа есть путь искренняго и сочувственнаго воспроизведенія жизни, безъ рисовки, не впадая въ преувеличеніе и не лстя нездоровымъ вкусамъ публики, то многіе изъ молодыхъ слѣдуютъ ему, оставаясь болѣе или менѣе вѣрными традиціямъ, завѣщаннымъ Пушкинымъ, Тургеневымъ и Толстымъ.

Въ началѣ моей бесѣды я говорилъ вамъ о томъ „мирномъ завоеваніи“, какое русскій романъ дѣлалъ за границей. Нѣмцы и англичане до сихъ поръ выказываютъ симпатичное отношеніе къ нашимъ великимъ романистамъ, но въ Парижѣ, какъ вы знаете, произошелъ нѣкоторый поворотъ въ критикѣ или, лучше сказать, въ лагерѣ субъективистовъ во вкусѣ г. Ж. Леметра съ товарищами, сдѣлавшимися съ тѣхъ поръ вожаками банды націоналистовъ. Для нихъ всякое иностранное вторженіе, даже самое безобидное — бѣдствіе! Довольно давно уже раздаются голоса, направленные противъ слабости къ москвитамъ и скандинавамъ. Французская литература должна оставаться для французовъ! Таковъ тревожный кличъ, и я читаю въ недавней статьѣ, озаглавленной *Писатели и нація* (эпиграфы къ статуѣ А. Додэ) гдѣ авторъ говоритъ исключительно объ этомъ романствѣ, бывшемъ, при жизни Тургенева, его почитателемъ, слѣдующія строки:

„Я замѣчаю также—говоритъ онъ, кончая статью—что космополитизмъ все болѣе и болѣе пугалъ его, что эти сѣверные писатели, *великіе ступитители тумановъ и облаковъ*, были ему не по вкусу, что онъ всегда стоялъ за ясность и что даже *русское милосердіе* его раздражало, милосердіе, ограниченное преступниками, проститутками и оборванцами, и не желающее, чтобы лстить народу, сочувствовать несчастнымъ, какъ только у нихъ три тысячи франковъ дохода“.

Вотъ истинная оцѣнка славянской души! Русское милосердіе, исключющее всѣхъ тѣхъ, у кого свыше 1200 рублей дохода!

Чтобы возвѣстить подобную истину (особенно если этотъ суровый націоналистъ читалъ произведенія нашихъ великихъ романистовъ), вовсе не нужно быть интеллигентомъ. Для судей такого сорта интеллигентъ—терминъ ненависти и презрѣнія. А мы знаемъ, что Тургеневъ былъ имъ по преимуществу; Толстой остается имъ въ каждой строкѣ, какую печатаетъ, даже какъ проповѣдникъ, служащій дѣлу нравственнаго возрожденія своего народа и всего міра.

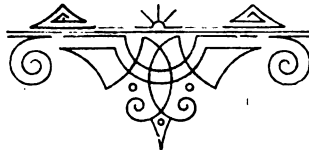
Интеллигенція страны и проявилась въ русскомъ романѣ, на протяженіи его эволюціи, въ смыслѣ идей, порываній къ общественной правдѣ, худо-

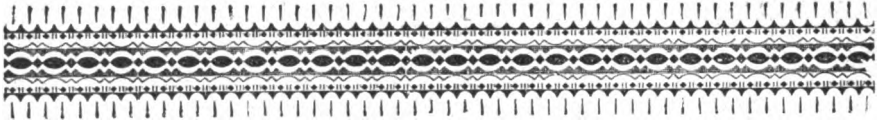
жественнаго письма, приемовъ творческаго созиданія, объединяя ее со всѣми великими литературами запада. Этимъ всемірная солидарность связываетъ всѣхъ знаменитыхъ создателей того воображаемаго міра, гдѣ мы часто находимъ и руководящую нить, и утѣшеніе въ жестокой борьбѣ за жизнь.

П. Боборыкинъ.

Брюссель, 21 мая 1900 н. с.

(Переводъ автора).





С О Н Е Т Ъ.

(Изъ Шекспира).

Нѣтъ, мраморныхъ гробницъ росписанныя плиты,
Вамъ ввѣкъ не пережить хвалебный голосъ мой!
Нѣтъ, пѣсни о тебѣ не будутъ позабыты
Какъ надписи на урнѣ гробовой!
И еслибы война низвергла мавзолеи,
А чернь мятежная все зодчество людей—
И тутъ ни Марса мечъ, ни грозныхъ битвъ трофеи
Не тронуть памяти прославленной твоей!
Ни смерти не страшись, ни горечи забвенья;
Нѣтъ, въ памяти людей ты будешь жить всегда,
И слава о тебѣ пройдетъ чрезъ поколѣнья
И будетъ въ мірѣ жить до Страшнаго Суда,
Когда, покорная призыву Вышней Силы,
Прекрасной, какъ всегда, ты встанешь изъ могилы.

Гр. И. Мамуна.





Басня о слѣпыхъ рабахъ у скивовъ.

Если въ наукѣ существуетъ басня о томъ, будто Геродотовскіе скивы ослѣпляли всѣхъ своихъ рабовъ, то она всецѣло построена только на неправильномъ толкованіи извѣстія древняго историка и на недостаточномъ вниманіи къ той связи, въ какой извѣстіе сообщается историкомъ. Самъ Геродотъ этого никогда не думалъ и не говоритъ объ этомъ ни прямо, ни аллегорически.

Хотя въ другомъ мѣстѣ мы высказывались по этому вопросу („Филологич. Обзорѣніе“, XVIII, 2), но считаемъ предметъ настолько важнымъ и отношеніе къ нему историковъ и комментаторовъ настолько характернымъ, что позволяемъ себѣ коснуться его снова. Въ самомъ дѣлѣ, надѣлать многочисленный древній народъ нашего юга или господствующую часть народа исключительной въ этнографіи бытовой особенностью и въ свидѣтели этого показанія выставить Геродота значить, во-первыхъ, вносить крупный фактъ въ архаическую этнографію и, во-вторыхъ, въ случаѣ сомнѣнія въ немъ или рѣшительнаго отрицанія приписать древнему историку этнографу нелѣпое представленіе о народѣ. По-отношенію къ извѣстію Геродота объ ослѣпленіи скивами всѣхъ своихъ рабовъ существуютъ въ наукѣ два главныхъ мнѣнія: одни ученые признаютъ возможность факта и только стараются подыскивать мотивы такого обращенія съ рабами, слѣдоват. толкуютъ текстъ въ букввальномъ смыслѣ. Такъ смотрѣли на дѣло Швейггейзеръ, Блексли, Раулинсонъ и др. По мнѣнію этихъ ученыхъ, слѣпые рабы были вполне пригодны для работы въ кочевомъ быту, а ослѣпленіе служило дѣйствительнымъ средствомъ отъ побѣговъ и возмущенія рабовъ противъ господъ. Другіе ученые, такихъ, кажется, большинство, не допускаютъ подобнаго факта и въ извѣстіи Геродота усматриваютъ или аллегорію какъ, наприм., Боннель, или заблужденіе Геродота въ передачѣ слышаннаго, или, наконецъ, порчу текста. Въ ряду этихъ ученыхъ, кромѣ

Боннеля, предлагающаго объясненіе, наиболѣе фантастическое и наименѣе вѣроятное, находятся Крузе, Ганзенъ, Нейманъ, Штейнъ. Наконецъ, къ третьей категоріи принадлежатъ ученые, останавливающіеся передъ извѣстіемъ въ полномъ недоумѣніи. Таковы: Беръ, комментаторъ Геродота, ванъ-Герверденъ, Мананъ. Изъ ученыхъ второй категоріи наименьше стѣсняется текстомъ автора Нейманъ. По его мнѣнію, Геродотъ совсѣмъ не понялъ своего свидѣтеля, скорѣе всего туземнаго ольбійца; этотъ послѣдній вовсе не говорилъ объ ослѣпленіи рабовъ, о томъ, что скины выкалываютъ глаза своимъ рабамъ; онъ говорилъ о сливкахъ или о жировыхъ глазахъ, появляющихся на кобыльемъ молокѣ при взбалтываніи: не глаза отнимаютъ скины у всѣхъ своихъ рабовъ, но жировые глаза, не τὼ ὄσσε, но *tossu*. Въ греч. языкѣ не было-де особаго имени для сливокъ, и туземный переводчикъ внесъ въ рассказъ родное монгольское названіе *tossu*, принятое Геродотомъ за гомеровскую ф. τὼ ὄσσε. Но, во-первыхъ, мы не имѣемъ никакихъ основаній для того, чтобы во времена Геродота или когда бы то ни было ольбійцы или какой-нибудь другой народъ на Черноморскомъ побережьи говорили на Гомеровскомъ нарѣчьи, во-вторыхъ, ни въ тюркскихъ, ни въ монгольскихъ нарѣчьяхъ нѣтъ имени, предполагаемаго Нейманомъ, ни для сливокъ, ни для сметаны: въ манчжурскомъ есть имя *сунь*, въ монгольскомъ *сюнь* для молока. Слѣдовательно, если бы туземный переводчикъ и внесъ въ греческую рѣчь туземное названіе, если бы въ самомъ дѣлѣ этотъ скинозъ говорилъ на какомъ-нибудь изъ тюркскихъ или монгольскихъ нарѣчій, то соединенное съ членомъ τὼ туземное *сунь* или *сюнь* относилось бы не къ жиру, а къ молоку, и тогда догадка Неймана объ отбираніи скинами у рабовъ жировыхъ частей съ молока утрачиваетъ всякое значеніе. Далѣе, предлагаемая Штейномъ перестановка словъ въ текстѣ нисколько не помогаетъ дѣлу, и онъ предпочитаетъ болѣе радикальную мѣру, напоминающую домыслы Неймана, именно: усматриваетъ въ греческомъ названіи «слѣпцовъ» οἱ τυφλοὶ исказженіе греками какаго-нибудь туземнаго названія для рабовъ или для подчиненныхъ скинамъ племенъ, которыхъ они считали тоже своими рабами. Но противъ такого пониманія должны были свидѣтельствовать рѣшительно факты скинскаго быта. Скинскихъ рабовъ не могли не знать греки воочію, не могли не наблюдать, зрячіе ли это люди, или слѣпые; не могли же греки, въ ихъ числѣ и Геродотъ, удовольствовавшись названіемъ, закрыть глаза на очевидные для всякаго факты, и подъ обаяніемъ только названія навязать скинамъ бытовую черту, явно противорѣчащую дѣйствительности. Словомъ, Геродотъ не могъ наперекоръ очевидности утверждать, будто всѣ рабы скиновъ слѣпые. Кто бы тогда покупалъ этихъ слѣпцовъ? Дальше мы постараемся показать, что въ этихъ насильственныхъ толкованіяхъ Геродотовскаго текста нѣтъ нужды, и что для возможно удовлетворительнаго объясненія его достаточно освоиться

съ тѣми общими приемами литературнаго изложенія, какими пользовался древній историкъ.

Извѣстіе Геродота гласитъ такъ: „Всѣхъ рабовъ скиѣны ослѣпляютъ для молока, которое пьютъ, поступая слѣдующимъ образомъ: взявши въ руки костяныя трубки, очень похожія на флейты, и вставивши въ половые члены кобылицъ, дуютъ въ нихъ ртомъ, и когда одни дуютъ, другіе занимаются доеніемъ. Они дѣлаютъ это, по ихъ словамъ, вотъ почему: жилы отъ вздуванія наполняются воздухомъ, и вымя слабѣтъ. Когда они молоко выдоютъ, то, сливши его въ деревянные глубокіе сосуды и кругомъ сосудовъ разставивши слѣпцовъ въ рядъ, заставляютъ ихъ взбалтывать молоко: части его, поднимающіяся на поверхность, они снимаютъ и считаютъ ихъ болѣе цѣнными, а остающимися внизу дорожать меньше. Для этого скиѣны ослѣпляютъ рѣшительно всякаго, кого бы ни захватили: не земледѣльцы вѣдь они, но кочевники» (IV, 2).

Извѣстіе это обращаетъ на себя вниманіе и безсвязностью изложенія, и неполнотою, и неточностью показанія. Къ чему относится обстоятельное предложеніе: «поступая слѣдующимъ образомъ: (ποιεῖντες ὅδε): къ глаголу ли ослѣпляютъ (τυφλοῦσι), или къ употребленію молока въ питье (πίνοισι)? Вслѣдъ за симъ рѣчь идетъ ни о томъ, ни о другомъ; въ рассказъ входятъ новые предметы: доеніе кобылицъ и взбалтываніе молока въ сосудахъ безъ упоминанія о томъ, что дѣлаютъ скиѣны съ болѣе и менѣе цѣнными частями молока. За описаніемъ взбалтыванія молока слѣдуютъ слова: „ради этого скиѣны ослѣпляютъ всякаго“ и проч. Ради чего? Развѣ зрячіе рабы были бы неспособны къ этому занятію? Или слѣпые болѣе зрячихъ пригодны для взбалтыванія молока въ сосудахъ? Въ виду такой неполноты показанія естественны догадки толкователей, что скиѣны ставили у сосудовъ ослѣпленныхъ рабовъ для того, быть-можетъ, чтобы они не снимали съ молока жирныхъ частицъ, а въ отвѣтъ на эти догадки слѣдуетъ справедливое замѣчаніе, что слѣпота не могла мѣшать рабамъ лакомиться этими частицами. Наконецъ, послѣднее, причинное предложеніе съ союзомъ γάρ, что скиѣны не пахари, но кочевники, плохо вяжется съ предложеніемъ, непосредственно ему предшествующимъ, и вовсе не поясняетъ, почему скиѣны ослѣпляютъ всякаго, попавшаго имъ въ руки. Но независимо отъ этого послѣднее предложеніе находится въ явномъ противорѣчій съ дальнѣйшими показаніями самого историка. Въ гл. 17 и 18 той же книги называются скиѣны пахари Σ. ἀροτήρες и скиѣны земледѣльцы Σ. γεωργοί; слѣдовательно, показаніе о томъ, что скиѣны не земледѣльцы, а кочевники требовало оговорки, каковой на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Допустить, что Геродотъ не сознавалъ этого противорѣчія и во 2 главѣ представилъ себѣ кочевниками всѣхъ скиѣновъ, тогда какъ немного ниже въ его же изложеніи различаются скиѣны кочевники и скиѣны земледѣльцы, значило бы отнимать у древняго историка силу памяти и сооб-

разительности, присущую самому заурядному человѣку. Всѣ указанные недочеты нашего пассажа необходимо имѣть въ виду для правильной его оцѣнки.

Начальные слова 2-й главы *τοὺς δὲ δούλους οἱ Σκύθαι πάντας* переводчики и комментаторы понимают въ томъ смыслѣ, что скиѣ ослѣпляютъ всѣхъ *своихъ* рабовъ, тогда какъ по связи съ предыдущимъ членъ *τοὺς* обязательно понимать въ смыслѣ указательнаго мѣстоименія, *этихъ*, а не притяжательнаго, *своихъ*. Первая глава IV кн. заканчивается словами *ἔφοίτεο παρὰ τοὺς δούλους* о скиѣскихъ женщинахъ, которыя въ отсутствіе мужей вступили въ связь съ своими рабами. Объ этихъ-то рабахъ, виновныхъ въ преступной связи съ господами, и должна итти дальнѣйшая рѣчь, а не о всѣхъ рабахъ скиѣовъ. Тогда ослѣпленіе получало бы значеніе тяжелаго наказанія, которому подверглись виновные рабы, когда скиѣы возвратились изъ Мидіи послѣ 28-лѣтняго отсутствія, и тогда становится совершенно понятнымъ, почему ни у Геродота, ни у какого-либо другаго древняго писателя мы не встрѣчаемся съ извѣстіемъ о столь исключительной бытовой чертѣ скиѣскихъ нравовъ, какъ ослѣпленіе господами всѣхъ ихъ рабовъ. Между тѣмъ эта черта нравовъ не могла укрыться отъ грековъ, которымъ скиѣы, какъ извѣстно, продавали рабовъ въ большомъ числѣ. О взбалтываніи молока у скиѣовъ и о приготовленіи такимъ способомъ пищи и питья изъ него говорить съ большею обстоятельностью Гиппократъ, и едва ли онъ опустилъ бы такую существенную подробность, какъ назначеніе на эту работу непременно ослѣпленныхъ рабовъ. Потомъ, въ кочевомъ быту скиѣовъ не всѣ же рабы занимались только взбалтываніемъ молока, что необходимо было бы допустить, если бы въ нашемъ пассажѣ рѣчь шла объ ослѣпленіи всѣхъ рабовъ. Наоборотъ, предлагаемое нами пониманіе текста вполне совмѣстимо и съ полнымъ отсутствіемъ показаній о томъ, чтобы рабы скиѣовъ были слѣпые во времена ли Геродота и Гиппократа, или въ болѣе позднія, равно какъ и съ тѣмъ, что наказанные такимъ образомъ рабы были поставлены на работу въ кочевомъ быту важную и вмѣстѣ съ тѣмъ выполняемую или единственно выполняемую для слѣпцовъ. При такомъ пониманіи получаютъ смыслъ выраженія о томъ, что скиѣы кочевники, а не земледѣльцы, и что рабовъ этихъ они ослѣпили «для молока», т.-е. для работы надъ молокомъ.

Что во 2-й главѣ рѣчь идетъ о рабахъ, тяжко провинившихся передъ господами, это явствуетъ и изъ начальныхъ словъ 3-й главы: «отъ этихъ-то ихъ рабовъ и женъ произошла молодежь» и пр. (*ἐκ τούτων δὲ ἄνσφι τῶν δούλων καὶ τῶν γυναικῶν ἐτέραφη νεότης*). Подъ «этими» рабами слѣдуетъ понимать не какихъ иныхъ, а только ослѣпленныхъ скиѣами рабовъ, въ чемъ не оставляетъ сомнѣнія упоминаніе о дѣтяхъ слѣпцовъ во 2-й гл.: *οἱ ἐκ τῶν τυφλῶν γενομένοι*. Какъ въ этой послѣдней главѣ, такъ и въ

3-й, Геродотъ говорить о потомствѣ наказанныхъ рабовъ, которое оградило себя широкой канавой, вырытой ими на протяженіи отъ Таврическихъ горъ до Азовскаго моря въ томъ мѣстѣ, гдѣ оно имѣетъ наибольшую ширину. Скиѣны отсутствовали 28 лѣтъ; за это время выросло потомство рабовъ отъ скиѣнскихъ женщинъ; эти-то молодые потомки и оказали теперь упорное сопротивленіе возвратившимся скиѣнамъ. За время 28-лѣтняго отсутствія скиѣновъ число рабовъ ихъ, оставленныхъ при выходѣ скиѣновъ изъ этихъ земель, должно было поубавиться; виновные изъ оставшихся въ живыхъ рабовъ были наказаны господами всѣ. Если намъ неизвѣстенъ ни одинъ народъ, ни изъ современныхъ намъ, ни изъ древнихъ, который содержалъ бы своихъ рабовъ въ слѣпотѣ, то можно безъ труда найти въ исторіи разныхъ народовъ примѣры ослѣпленія плѣнныхъ или рабовъ въ наказаніе или въ огражденіе себя отъ побѣговъ ихъ; ослѣпленнымъ назначались работы въ зависимости отъ быта, и будь Геродотовскіе скиѣны—земледѣльцы, наказанные ослѣпленіемъ рабы ихъ могли быть поставлены къ ручнымъ мельницамъ или къ другой какой работѣ возможной для слѣпца въ земледѣльческомъ быту.

Словомъ, въ такомъ видѣ, какъ мы предлагаемъ понимать, извѣстіе Геродота не представляетъ собою ничего неправдоподобнаго: оно имѣетъ своимъ предметомъ, если только достоверно, событіе больше, нежели за сто лѣтъ предшествовавшее Геродоту, но въ настоящее время мы знаемъ, что въ Мидію во второй половинѣ VII в. до Р. X. вторгались не наши, Черноморскіе скиѣны, а азиатскіе, у персовъ извѣстные подъ именемъ саковъ и сидѣвшіе въ это время въ Арменіи. Эти скиѣны составляли часть того народа, къ которому принадлежали т. н. царскіе скиѣны Геродота и Страбона, тѣ же дикіе кочевники, что и библейскіе Гогъ. Какъ показываетъ гл. 20-я IV книги, извѣстіе Геродота относится только къ этимъ скиѣнамъ, а не ко всѣмъ скиѣнскимъ народамъ, населявшимъ въ то время югъ Россіи, и должно быть приурочено къ опредѣленному случаю. Вотъ тѣ узкія рамки, въ какихъ извѣстіе древняго историка не можетъ возбуждать никакихъ сомнѣній.

Спрашивается, какимъ же образомъ могла сложиться въ наукѣ басня объ ослѣпленіи скиѣнами всѣхъ ихъ рабовъ, какъ о постоянномъ обычаѣ, или на какомъ основаніи это невозможное извѣстіе приписано Геродоту? Виновать въ этомъ частью самъ Геродотъ, частью его новые толкователи. Геродотъ виновать своей манерой изложенія тѣхъ показаній, какія получилъ отъ свидѣтелей, новые критики и толкователи—недостаткомъ вниманія къ особенностямъ Геродотовской исторіографіи.

Выше мы отмѣтили не подлежащую сомнѣнію безсвязность нашей главы и неполноту содержащихся въ ней извѣстій. Недочетъ ея еще болѣе существенный и распространяющійся на все ея содержаніе состоитъ въ томъ, что въ ней соединены показанія по частному случаю,—наказанія рабовъ

господами, — съ извѣстіями общаго бытового характера. Последняго рода извѣстія касаются способа доенія кобылицъ и приготовления питья изъ молока; они входятъ въ разсказъ о прошломъ опредѣленномъ событіи эпизодически, изложены въ глагольныхъ формахъ наст. время: *πίνοισι, ποιῶντες, φρῶσι, ἀμέλγουσι* и проч. до *ἡγεύονται* включительно. Наоборотъ глг. *τυφλοῦσι ἐκτυφλοῦσι* относятся къ частному случаю, имѣвшему мѣсто задолго до составленія Геродотомъ своей записи. Если бы на этотъ счетъ оставалось у читателя какое-либо сомнѣніе, то оно должно разсѣяться въ виду 20-й главы нашей книги, въ которой историкъ возвращается къ сыновьямъ слѣпыхъ, къ тому, какъ они отрѣзали себя широкой канавой отъ наступавшихъ на нихъ скиѳовъ, т.-е. къ тому самому дѣйствию, которое историкомъ упомянуто раньше, въ гл. 3-ей, въ последовательномъ разсказѣ о сопротивленіи скиѳамъ со стороны молодежи (*νεότης*), происшедшей отъ связи скиѳскихъ женщинъ съ рабами. Изъ сопоставленія главъ 20-й и 3-й нельзя сдѣлать иного вывода, о чемъ лучше всего свидѣлствуютъ своимъ неправдоподобіемъ и натянутостью предложенныя до сихъ поръ догадки. Трудность нашего пассажа исчезла бы сразу, если бы на мѣстѣ *τυφλοῦσι* и *ἐκτυφλοῦσι* находились формы прошедшаго времени, и если бы полнѣе была выражена связь между ослѣпленіемъ рабовъ, приготовленіемъ ими питья изъ молока и кочевымъ образомъ жизни скиѳовъ, т.-е. между частнымъ случаемъ изъ прошлаго и обычными чертами скиѳскаго быта. Но этого-то и нѣтъ у нашего историка, а нѣтъ потому, что относящаяся сюда запись сдѣлана имъ со словъ свидѣтеля неискускаго и о предметѣ ему неизвѣстномъ. Недочеты разсказа усугубляются новыми переводчиками и толкователями, когда первые слова 2-й главы они понимаютъ въ смыслѣ „всѣхъ *своихъ* рабовъ“, вмѣсто: „всѣхъ *этихъ* рабовъ“, т.-е. тѣхъ самыхъ, о которыхъ идетъ рѣчь въ главѣ предшествующей. Глагольныя формы *πραεσ. τυφλοῦσι* и *ἐκτυφλοῦσι* принадлежатъ свидѣтелю и представляютъ собою примѣры *praesentis historici*, въ греческомъ языкѣ болѣе употребительнаго, нежели въ какомъ-нибудь другомъ. Но разсказъ Геродота о происшествіи не снабженъ выраженіемъ „говорять“, „я слышалъ“ (*λέγουσι ἤκουον*) или какимъ-либо подобнымъ. Непосредственно слѣдующій разсказъ о столкновеніи скиѳовъ съ потомками виновныхъ рабовъ ведется въ томъ же тонѣ личнаго наблюденія, хотя самое событіе, какъ мы сказали, относилось и для Геродота къ далекому прошлому, и самъ свидѣтель историка не могъ быть его очевидцемъ. Въ сочиненіи Геродота не рѣдки примѣры такого изложенія, когда показанія свидѣтелей, устные или литературныя, собственные наблюденія автора и его же соображенія или комбинаціи соединены безразлично въ одномъ разсказѣ, безъ всякой отмѣтки относительно того, что принадлежитъ въ разсказѣ самому автору, и что передается имъ со словъ другихъ. Есть и другіе примѣры, когда авторъ на протяженіи нашихъ нѣсколькихъ страницъ

или даже строкъ какъ бы не замѣчаетъ противорѣчій, явныхъ для читателя. Предполагать, что авторъ нашъ въ такой степени страдалъ несообразительностью, мы не имѣемъ основаній. Виноваты въ этомъ усвоенные древнимъ авторомъ приемы записи, сближающіе прозаическую рѣчь съ поэтической, освобождающіе историка отъ обязанности упоминать объ источникахъ передаваемыхъ свѣдѣній и позволяющіе ему рисовать предметы и изображать событія отъ своего лица, хотя бы въ это изображеніе входили частью или цѣликомъ чужія показанія безъ поименованія авторовъ этихъ послѣднихъ; такъ поступаетъ нашъ историкъ даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ не убѣжденъ въ достовѣрности показаній свидѣтеля и предоставляетъ рѣшить вопросъ о достовѣрности рассказа самому читателю. Припомнимъ, сколько неточностей сообщено такимъ образомъ Геродотомъ о нравахъ египтянъ или объ египетскихъ животныхъ (II 34—36. 68—70), объ индійскихъ муравьяхъ, стерегущихъ золото и пускающихся въ погоню за верблюдами (III, 102—105), о народностяхъ сѣверной Африки, гдѣ авторъ не бывалъ (IV, 168 сл.) и т. п. Наконецъ, необходимо принимать во вниманіе и то, что трудъ историка остался незаковченнымъ, и въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ навѣрное не получилъ окончательной отдѣлки. Поэтому инья показанія свидѣтелей дошли до насъ въ такомъ видѣ, въ какомъ они были получены авторомъ первоначально безъ сличенія и согласованія ихъ съ другими вариантами, также записанными авторомъ. Всѣ эти особенности труда Геродота, пока нуждающіяся еще въ должной оцѣнкѣ, необходимо имѣть въ виду, когда мы пользуемся его извѣстіями для возстановленія глубокой старины; но уже и теперь мы не имѣемъ ни малѣйшаго основанія усвоивать Геродоту такія сужденія, несообразительность которыхъ была очевидна какъ для него, такъ и для его современниковъ, провѣрить которыхъ онъ могъ бы безъ всякаго труда. Къ числу такого ряда сужденій принадлежало бы и показаніе о томъ, будто скиѣ имѣли обыкновение ослѣплять всѣхъ своихъ рабовъ. Ослѣпленіе рабовъ у скиѣвъ было; выраженія „ослѣплять“, „слѣпые“ слѣдуетъ понимать въ прямомъ, а не аллегорическомъ смыслѣ, но ослѣпленіемъ были наказаны рабы, провинившіеся передъ господами незаконной связью съ скиѣскими женщинами, но не были уродуемы бессмысленно всѣ рабы. Не слѣдуетъ забывать и того, что извѣстіе объ ослѣпленіи относилось не только къ событію далекому по времени, но и не къ тѣмъ скиѣамъ, которые во время Геродота сидѣли въ нашей Скиѣи. Здѣсь спутано многое.

Θ. Мищенко.





Е. А. Баратынскій и его поэзія *).

Съ особымъ удовольствіемъ всхожу на эту кафедру, чтобы исполнить возложенное на меня порученіе—напомнить о литературной дѣятельности писателя, личность и поэзія котораго съ полнымъ правомъ можетъ привлечь наше вниманіе не только въ виду юбилейной даты, не только потому, что и личность, духовное міровоззрѣніе Баратынскаго, и вся его поэтическая дѣятельность являются чрезвычайно характерными, какъ яркое отраженіе извѣстнаго момента въ исторіи нашего общественнаго развитія,—но также и потому, что писатель этотъ отчасти нашъ согражданинъ...

Прошло то время, когда вниманіе историка литературы обращалось только къ однимъ первокласснымъ геніямъ, сосредоточивалось лишь на „литературныхъ звѣздахъ первой величины“,—когда историко-литературныя изученія нисколько не заботились о всестороннемъ изслѣдованіи самой эпохи, всего умственнаго и нравственнаго настроенія—частичнымъ отраженіемъ котораго была дѣятельность того или другого писателя,—когда въ этихъ писателяхъ исторія литературы старалась не разгадать живого члена общества, выразителя думъ и стремленій окружающаго общества, а лишь приклеить на собраніи его произведеній тотъ или другой ярлыкъ, занести его имя въ реестръ отечественныхъ „Пиндаровъ“, „Гомеровъ“, „Расиновъ“... Изъ небольшого числа строго избранныхъ литературныхъ корифеевъ, каждый являлся специалистомъ именно по той, а не по другой литературной части,—чѣмъ-то въ родѣ хозяина-торговца, товаръ котораго рѣзко опредѣленъ и специализированъ. «Исторія литературы» являлась какой-то галлереей, чѣмъ-то въ родѣ гостиннаго двора,—гдѣ каждый писатель и поэтъ съ своими произведеніями занималъ свое, точно опредѣленное помѣщеніе, въ которомъ и торговалъ своимъ товаромъ: въ „лавочкѣ“ од-

*) Читано въ торжественномъ зазданіи О-ва любителей русской словесности въ память А. С. Пушкина при Императорскомъ Казанскомъ университетѣ, 28 февраля 1900 г.,—по поводу столѣтія рожденія Е. А. Баратынскаго.

ного были „ложноклассическія оды“, у другого „ложноклассическія трагедіи“ и „комедіи“, третій предлагалъ „сентиментализмъ“, „романтизмъ“ и т. д. Изъ общей картины обыкновенно при этомъ обнаруживалось, что каждая изъ этихъ литературныхъ лавочекъ открывалась для публики какъ бы по очереди,—когда публикѣ распродался одинъ товаръ, лавочки всѣхъ другихъ „представителей“ предполагались какъ бы закрытыми; появленіе напр. на рынкѣ „сентиментализма“ уже какъ бы предполагало, что лавочка съ „ложноклассическими“ продуктами болѣе не дѣйствуетъ, что этотъ товаръ уже весь вышелъ изъ обращенія... Далѣе—въ той же картинѣ—„публика“ предполагалась планирующею самымъ чиннымъ образомъ: съ ея стороны рѣшительно не допускалось какихъ-либо особыхъ претензій или личныхъ вкусовъ; раскупивши одинъ товаръ, публика какъ бы безмолвно переходила къ лавочкѣ съ другимъ новымъ товаромъ, раскупала находящееся здѣсь и шла къ третьей, съ еще болѣе новымъ товаромъ, и т. д. Переходъ отъ одной лавочки къ другой былъ необыкновенно короткій—всѣ лавочки стояли о-бокъ одна къ другой, хотя и отдѣлялись высокими перегородками... Рѣзко бросалась въ глаза при этомъ одна подробность: публика представлялась необыкновенно разсѣянной и забывчивой: въ картинѣ выходило, что раскупивши товаръ въ какомъ-либо одномъ мѣстѣ, публика тутъ же, выходя оттуда, этотъ товаръ весь и теряла,—какъ бы ничего не захватывая къ себѣ „на домъ“... И т. д. и т. д.

Историко-литературныя изученія позднѣйшаго времени значительно раздвинули старыя представленія о литературныхъ „герояхъ“ и „корифеяхъ“, а равно и о самой планирующей около нихъ публикѣ, этой пресловутой „толпѣ“...

При всѣхъ заимствованіяхъ нашихъ съ Запада—непрерывный рядъ которыхъ составляетъ всю исторію нашей литературы, съ конца XVII вѣка вплоть до самаго недавняго времени—при всей нерѣдко случайности и неглубокости этихъ заимствованій, послѣднія не проходили безслѣдно, не возникали вдругъ, неожиданно, какъ бы по личной прихоти того или другого изъ писателей, который потомъ и оставался навсегда „представителемъ“ именно этой литературной специальности,—не разомъ, тотчасъ, они и кончались, исчезали, какъ только сходилъ со сцены названный писатель... Затѣмъ—и это самое главное—сама публика далеко не оставалась безучастной ко всему тому, что ей предлагалось, и далеко не столь разсѣянной... Заимствованія съ Запада были весьма значительны и дѣйствовали могущественно, но не исключали и собственной самостоятельной работы мысли; рядомъ съ заимствованиями и всякими „подражаніями“,—у насъ уже рано начинается самостоятельная внутренняя дѣятельность общественной мысли. Подражанія и заимствованія сопровождались внутреннимъ духовнымъ ростомъ самаго общества, —иноземное входило въ плоть и кровь своей собственной мысли, глубоко всасывалось, и очень нерѣдко

и въ значительной степени перерабатывалось «на свой манеръ»... Эта самостоятельная, совершавшаяся въ обществѣ, внутренняя работа не всегда была велика, даже замѣтна, не всегда выгодно говорила о силѣ и значеніи своего настоящаго, — тѣмъ не менѣе эта умственная работа шла, захватывала съ каждымъ десятилѣтіемъ все болѣшій кругъ вліянія, — общество жило или приучалось жить болѣе широкими умственными интересами, замѣтно обогащалось духовно, тѣмъ самымъ готовя въ себѣ почву для болѣе широкаго развитія своего въ будущемъ. Болѣе внимательныя позднѣйшія изученія нашей литературы и всего хода нашего общественнаго развитія—въ общемъ ходѣ нашихъ „заимствованій“ и „подражаній“, и въ старомъ и въ новомъ періодахъ литературы, открываютъ глубокую органическую послѣдовательность развитія, устанавливають между этими повидимому совершенно случайными и чисто-внѣшними „подражаніями“ и разнаго рода „вліяніями“, тѣсную историческую связь и преемственность.

Интересъ изученія этой постепенности общественнаго и литературнаго роста, внутренняго расширенія общественнаго самосознанія—составляетъ интересъ изученія такъ называемыхъ переходныхъ историческихъ эпохъ, а въ сферѣ собственно литературы—дѣятельности такъ наз. второстепенныхъ писателей, писателей, менѣе другихъ выдающихся, но тѣмъ самымъ нерѣдко представляющихъ въ себѣ интересы и симпатіи болѣе широкой общественной группы...

Именно такое значеніе имѣетъ для насъ поэзія Баратынскаго.

Биографія поэта, по своимъ внѣшнимъ фактамъ, крайне несложна. Отмѣчу лишь важнѣйшее.

Е. А. Баратынскій — родился 19 февраля 1800 года — вышелъ изъ богатой аристократической семьи; курсъ школьнаго образованія закончилъ на 16-мъ году, будучи исключень изъ Пажескаго корпуса за мальчишескую шалость... Исключенный безъ права поступить на какую-либо службу, развѣ только въ солдаты,—будущій поэтъ 18-ти лѣтъ, дѣйствительно, дѣлается солдатомъ, поступаетъ въ одинъ изъ гвардейскихъ полковъ. Около восьми лѣтъ военной службы (1818 — 1826) проходятъ частью—въ самомъ началѣ—въ Петербургѣ, затѣмъ, остальное время, около пяти лѣтъ, въ Финляндіи. Произведенный наконецъ въ офицеры, добившись, такъ сказать, какъ бы возстановленія своихъ гражданскихъ правъ, Баратынскій — бросаетъ военную службу, женится, пытается служить въ гражданскомъ вѣдомствѣ, но скоро оставляетъ его, и болѣшую часть остальной жизни живетъ или въ Москвѣ, или у себя въ деревнѣ, одно время въ Казани, съ которой у него были родственныя, семейныя связи. Въ 1843 году Баратынскому удается достигнуть своей давнишней

мечты: побывать въ западной Европѣ,—онъ со всей семьей уѣзжаетъ за границу, цѣлую зиму проводитъ въ Парижѣ, гдѣ близко сходится съ избраннымъ литературнымъ міромъ, затѣмъ переѣзжаетъ въ Италію—и здѣсь, въ 1845 году, скоростижно умираетъ въ Неаполѣ...

Несравненно болѣе сложной является внутренняя, духовная сторона жизни поэта, его поэзія.

По отзыву людей, близко знавшихъ поэта, Баратынскій отъ природы былъ надѣленъ самыми богатыми духовными дарованіями. Онъ имѣлъ, говоритъ И. В. Кирѣевскій, „сердце глубоко чувствительное, душу, исполненную незасыпающей любви къ прекрасному, умъ свѣтлый, обширный и вмѣстѣ тонкій,—особенно внимательный къ предметамъ возвышеннымъ и поэтическимъ, къ вопросамъ глубокомысленнымъ, къ движеніямъ внутренней жизни“... Среди окружающихъ Баратынскій рѣзко выдѣлялся оригинальностью, самостоятельностью своего внутренняго, духовнаго міра. „Онъ у насъ оригиналенъ, писалъ о Баратынскомъ Пушкинъ,—ибо мыслить. Онъ былъ бы оригиналенъ и вездѣ, ибо мыслить по-своему, правильно и независимо,—между тѣмъ какъ чувствуетъ сильно и глубоко... Никогда не старался онъ малодушно угождать господствующему вкусу и требованіямъ мгновенной моды... Никогда не тащился онъ по слѣдамъ свой вѣкъ увлекающаго генія, подбирая имъ оброненные колосья: онъ шелъ своею дорогою, одинъ и независимъ...“ Большой литературной популярностью Баратынскій никогда не пользовался; но общее значеніе его поэзія въ исторіи нашей новѣйшей литературы уже рано было опредѣлено довольно вѣрно. По отзыву самаго строгаго судьи, Бѣлинскаго,—„изъ всѣхъ поэтовъ, появившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ, первое мѣсто безспорно принадлежитъ Баратынскому“... Въ нашей литературѣ 20-хъ—нач. 30-хъ годовъ Баратынскій дѣйствительно одно время стоялъ какъ бы рядомъ съ Пушкинымъ, принадлежалъ къ самымъ выдающимся ея представителямъ, находится въ самыхъ тѣсныхъ дружескихъ связяхъ съ лучшими ея дѣятелями—помимо Пушкина—съ Жуковскимъ, Вяземскимъ, Дельвигомъ, Гнѣдичемъ, братьями Кирѣевскими, Плетневымъ, Языковымъ... Пушкинъ считалъ Баратынскаго своимъ ближайшимъ другомъ; въ 1831 году, по случаю смерти Дельвига, Пушкинъ пишетъ Плетневу: „Безъ Дельвига мы точно осиротѣли. Считай по пальцамъ, сколько насъ? Ты, я, Баратынскій—вотъ и все...“ Послѣ Пушкина Баратынскій особенно былъ близокъ съ Дельвигомъ, которому считалъ себя нравственно чрезвычайно многимъ обязаннымъ... Съ кружкомъ названныхъ писателей Баратынскій сблизился въ первые годы своей солдатской жизни въ Петербургѣ, и навсегда остался самымъ неразрывнымъ образомъ связаннымъ съ нимъ и лично и значительной долей своего общаго духовнаго міросозерцанія. Съ этими людьми Баратынскій сблизился въ самыя тяжелыя минуты своей жизни, и въ обществѣ ихъ, этихъ лучшихъ представителей

нашей тогдашней литературной и общественной мысли, въ его душѣ загорѣлась „первая искра поэтическаго таланта“...

Ты помнишь ли,

обращается Баратынскій въ одномъ изъ своихъ стихотворныхъ посланій къ Дельвигу —

въ какой печальный срокъ
Впервые ты узналъ мой уголокъ?..
Ты помнишь ли, съ какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный силъ?..
Я погибалъ: ты духъ мой оживилъ
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввелъ меня въ семейство добрыхъ Музъ...

Поэтическая дѣятельность Баратынскаго была весьма необширной. Имя его начинаетъ появляться въ печати съ конца 20-хъ гг. Въ 1826 году выходитъ поэма *Эда*. Въ 1827 году — маленькая книжка его *Стихотвореній*, которая, значительно увеличенная, выходитъ вторымъ изданіемъ въ 1835 году. Еще раньше, въ 1828 г., выходитъ его поэма *Балз*; въ 1831 г. — *Наложница*, переделанная потомъ въ *Цыганку*. Съ 1835 года поэтическій голосъ Баратынскаго на нѣсколько лѣтъ умолкаетъ. Въ 1842 году выходитъ послѣдній сборникъ его стихотвореній: *Сумерки*,—за два года до смерти поэта...

Названныя книжки были очень небольшія по объему, но разнообразны и богаты по своему содержанію.

Баратынскій въ одномъ мѣстѣ съ большой вѣрностью самъ опредѣляетъ характеръ своей поэзіи: его поэзія—отраженіе его внутренней жизни, жизни, „исполненной тоски глубокой, противорѣчій, слѣпоты“, и вмѣстѣ „высокой любви, любви добра и красоты“... И въ другомъ мѣстѣ: „Я не ослѣпленъ своею музой“, говоритъ поэтъ,—

Красавицей ее не назовутъ,
И юноши, узрѣвъ ее, за нею
Влюбленною толпой не побѣгутъ.
Приманивать изысканнымъ уборомъ,
Игрою глазъ, блестящимъ разговоромъ—
Ни склонности у ней, ни дара нѣтъ...
Но пораженъ бываетъ мелькомъ свѣтъ
Ея лица необщимъ выраженьемъ...

Это „необщее выраженіе лица“, эта оригинальность мысли и чувства составляютъ дѣйствительно отличительную черту поэзіи Баратынскаго. По мѣткому выраженію Пушкина,—въ своей поэзіи Баратынскій дѣйствительно

„мыслить“, является поэтомъ мысли, „холодной думы“, которая, однако, не разрушаетъ въ сердцѣ поэта „любви къ добру и красотѣ“...

Господствующій тонъ поэзіи Баратынскаго — меланхолическій. Тонъ этотъ начинаетъ преобладать на первыхъ же порахъ. Уже 18—19-ти лѣтъ поэтъ думаетъ о своей смерти, — о томъ времени, когда — „перешедши жизнь незнаемой тропой, свой подвигъ совершивъ“, — онъ склонитъ „къ смертному одру“ свою „усталую голову“, „умретъ для дружбы, для любви, для памяти“... „И все умретъ со мною“, добавляетъ пессимистически настроенный юноша. Выпадающему на его долю личному счастью онъ не вѣритъ:

Все мнится, счастливъ я ошибкой,
И не къ лицу веселье мнѣ...

(1820 г.).

Военная жизнь, шумныя пирушки товарищей не развлекаютъ „грусти“ поэта; онъ тщетно старается свой умъ „утопить въ круговой чашѣ и воскреснуть душой“, — забытья среди этой веселой товарищеской семьи:

...внѣ себя я тщетно жить хотѣлъ,

говорить поэтъ:

...я безъ радости съ друзьями радость пѣлъ —
Восторги ихъ мнѣ чужды были...

(Лагеръ, 1821 г.).

И эта поэтическая грусть вовсе не результатъ какой-либо литературной моды; какое-то особое меланхолическое настроеніе, склонность къ философской рефлексіи обнаруживаются въ нашемъ поэтѣ уже съ самыхъ первыхъ лѣтъ его сознательной жизни, чуть не съ младенчества. Будущій поэтъ меланхоликомъ и философомъ нерѣдко выказываетъ себя уже въ свои „младенческіе дни“. Въ біографіи Баратынскаго приводится нѣсколько дѣтскихъ писемъ его къ матери; эти письма мѣстами поражаютъ серьезностью, совершенно необычной для ребенка такихъ лѣтъ. Уже 8-ми лѣтъ будущій поэтъ жалуется своей матери, что не видитъ среди своихъ мальчиковъ-товарищей истинной дружбы: „каждый играетъ другъ съ другомъ, пишетъ онъ, какъ съ игрушкой“... Тяжесть разлуки съ матерью превращаетъ 11-лѣтняго пажа совсѣмъ въ философа: „Не лучше ли — пишетъ онъ матери изъ корпуса въ 1811 году — обрѣтаться въ счастливомъ невѣдѣніи, чѣмъ быть несчастнымъ умникомъ? Не вѣдая того, что есть добраго въ наукахъ, я не буду знать и утонченности порока. Я буду неучемъ, дорогая мама, но зато какъ глубоко я проникну въ науку любить тебя! А развѣ эта наука не стоитъ всѣхъ другихъ?.. Мое сердце мнѣ говоритъ, что стоитъ, потому что это есть наука счастья...“ и т. д. Конечно, все это вычитывалось изъ Руссо; но въ отношеніи къ ребенку 10—11 лѣтъ самый вы-

боръ чтенія очень характеренъ и много говоритъ о личныхъ, субъективныхъ предрасположеніяхъ и наклонностяхъ...

Впрочемъ, на первыхъ порахъ—въ „младенческіе дни“—будущій поэтъ предавался и радостямъ; „съ восторгомъ смотрѣлъ на міръ прелестный“, „съ восторгомъ природу обнималъ“... „Какъ свѣтъ прекрасенъ былъ!“ вспоминаетъ поэтъ. Это была счастливая пора невѣднія и самой неразрывной жизни съ природой,—когда поэтъ

Ее одну лишь зрѣлъ, внималъ одной лишь ей...;
За мигомъ не умѣлъ другой предвидѣть мигъ

и былъ слишкомъ счастливъ „спокойствіемъ незнанія“... Но такіе дни быстро прошли: поэта скоро обмануло все—

Чѣмъ сердце пламенное жило,
Чтѣ восхищало, чтѣ томило,
Чтѣ было цвѣтомъ бытія!

(Подражаніе Лабару, 1821).

„Живыхъ восторговъ легкій рой“ скоро отлетѣлъ отъ поэта и замѣнился „холодной думой“, хотя, какъ увидимъ, не навсегда и не окончательно..

„Холодная дума“ нерѣдко повергаетъ молодого поэта въ самый мрачный пессимизмъ. Поэтъ уже не пытается и найти въ жизни „блаженства прямого“; въ судьбѣ человѣка онъ видитъ лишь „тягостный жребій“, тяжелую обязанность въ теченіе назначеннаго срока—

Питаться болѣзненной жизнью,
Любить и лелѣять недугъ бытія
И смерти отрадной страшиться...

Нерѣдко поэтъ именно въ этой смерти видитъ отраду, лучшую сторону мірозданія... Одно изъ стихотвореній Баратынскаго представляетъ настоящій дифирамбъ смерти. Она вовсе не есть какаѣ-либо разрушительная сила,—напротивъ, умиротворяющая, охраняющая всюду равновѣсіе, гармонию, порядокъ...

О дочь верховнаго Эонра!
О свѣтозарная краса!

обращается поэтъ къ смерти,—

Въ рукѣ твоей олива мира,
А не губящая коса!..

Когда возникнулъ міръ цвѣтущій
Изъ равновѣся дикихъ силъ,—
Въ твое храненіе Всемогуцій
Его устройство поручилъ.

И ты летаешь надъ твореньемъ,
Согласье прямъ его лія,
И въ немъ, прохладнымъ дуновеньемъ,
Смиряя буйство бытія!..

Ты укрощаешь возстающій
Въ безумной силѣ ураганъ,—
Ты, на берега свои бѣгущій,
Вспять возвращаешь океанъ...

Дашь предѣлы ты растеню,—
Чтобъ не покрылъ гигантскій лѣсъ
Земли губительною тѣнью,—
Злакъ не возсталъ бы до небесъ...

А человѣкъ!.. Святая Дѣва!..
Передъ тобой съ его лавить
Мгновенно сходятъ пятна гнѣва,
Жаръ любострастія бѣжить.

Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба,—
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба...

Недоумѣнье, принужденіе—
Условье смутныхъ нашихъ дней—
Ты всѣхъ загадокъ разрѣшенье,
Ты разрѣшенье всѣхъ цѣпей!.. (*Смерть, 1829*).

Пессимистически смотритъ поэтъ на прошлыя судьбы человѣчества; развалины Греціи, Рима, величайшіе памятники искусства говорятъ поэту лишь одно: „все гибнетъ, все падетъ—и грады и державы!“ Еще мрачнѣе рисуется предъ поэтомъ будущая, конечная судьба всего живущаго: участь всего—„тлѣнія незыблемый законъ“... Для міросозерцанія нашего поэта особенно характернымъ при этомъ является то, что полное осуществленіе на землѣ для человѣчества этого „закона тлѣнія“, конечной смерти и разрушенія, ускорится, по его мнѣнію, ничѣмъ другимъ, какъ наибольшимъ развитіемъ самаго человѣческаго прогресса, такъ наз. человѣческой цивилизаціи: разрушеніе и смерть будетъ ближайшимъ результатомъ высшаго развитія на землѣ человѣческихъ усовершенствованій, развитія знаній, науки, всякихъ изобрѣтеній. По взгляду поэта, чѣмъ совершеннѣе становится человѣкъ, чѣмъ меньше преградъ для его воли и желаній ставитъ жизнь и природа, чѣмъ сильнѣе и быстрѣе овладѣетъ онъ силами этой природы, подчинитъ ее своей власти,—тѣмъ скорѣе наступитъ для человѣчества моментъ истощенія, и нравственнаго и тѣлеснаго... Двигатель жизни, по мысли поэта, есть страданіе и трудъ. Осуществивъ на землѣ

высшую „цивилизацию“, живя въ пресыщеніи, въ полнѣйшемъ покоѣ и счастіи, воздвигнувъ вездѣ „дворцы, театры, водометы“, заставивъ всѣ стихіи природы признать „хитрый свой законъ“, по своему усмотрѣнію призывая „вѣтры, дожди, жары и холода“, получая так. образ. отъ природы полное изобиліе всего,—люди утратятъ всякую энергію и быстро получатъ поднѣйшее равнодушіе ко всему, самымъ апатичнымъ образомъ будутъ относиться ко всему, что волновало прежнія поколѣнія, что шевелило мысль этихъ поколѣній, что волновало ихъ страсти, поддерживало энергію, вызывало къ борьбѣ...

Желанія земныя позабывъ,
Чуждаяся ихъ грубаго влеченья,

эти послѣдніе люди будутъ совершенно глухи къ прежнимъ столь дорогимъ для прошлыхъ поколѣній стремленіямъ, идеаламъ,—къ призывамъ

душевныхъ сновъ, высокихъ сновъ;

„высокіе сны“ человѣческаго прогресса, счастья теперь—по достиженіи всего—замѣнятся болѣзненнымъ, неестественнымъ развитіемъ одной лишь стороны души—фантазіи... „Тѣлесная природа“ совершенно „уступить умственной природѣ“, живая мысль постоянно будетъ уносить этихъ людей на своихъ крыльяхъ „въ Эмпирей и въ Хаосъ“...; между тѣмъ—продолжаетъ свою картину поэтъ—по землѣ эти люди съ трудомъ ступаютъ,

И браки ихъ—

прибавляетъ поэтъ—

безплодны...

Въ концѣ всего—гибель всего живого, всего живущаго:

Ходила смерть по сушѣ, по водамъ...

„Судьба живущаго“ свершилась,—повсюду на землѣ воцаряется торжественная тишина:

Попржнему животворя природу,
На небосклонъ свѣтило дня взошло,—
Но на землѣ ничто его восходу
Произнести привѣта не могло;
Однѣй туманъ надъ ней снѣга вился
И жертвою чистительной дымился... (*Послѣдняя смерть, 1829 г.*)

Поэтъ не вѣритъ въ человѣческій прогрессъ, въ науку, и съ презрѣніемъ указываетъ на ограниченность человѣческой «мудрости» и всякихъ знаній.

Всесильнаго ничтожное созданье—

обращается поэтъ къ человѣку—

увѣрься наконецъ:

Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!.. (*Черепъ*, 1825 г.).

Было бы однако совершенно ошибочно, если бы мы подумали, что пессимизмъ — послѣдній, окончательно рѣшенный выводъ міросозерцанія поэта. Нерѣдко поэтъ гораздо спокойнѣе смотритъ на міръ, равнодушнѣе относится къ міровымъ несовершенствамъ,—и не отказывается отъ возможныхъ наслажденій жизни. Даже больше: у Баратынскаго есть стихотворенія, гдѣ мысль поэта принимаетъ совсѣмъ какъ бы энигурейскій оттѣнокъ... Поэтъ нашъ вообще не хочетъ, да очевидно и не можетъ, быть послѣдовательнымъ пессимистомъ: въ немъ слишкомъ сильны чувства,—жизнь сердца, требующаго своихъ правъ на существованіе. Чувство нерѣдко вступаетъ въ ожесточенную борьбу съ „холодной думой“, и при этомъ столь же нерѣдко одерживаетъ верхъ... Въ эти моменты поэтъ бросаетъ свой пессимизмъ, хочетъ „жить и чувствовать“... Въ сей часъ приводимомъ стихотвореніи *Черепъ* (1825) поэтъ не хочетъ допытываться отъ случайно найденнаго имъ на кладбищѣ человѣческаго черепа „о всѣхъ истинахъ, извѣстныхъ гробамъ:“

Живи живой—

говорить поэтъ—

спокойно тлѣй мертвецъ!..

Намъ надобны и страсти и мечты:

Въ нихъ бытія условіе и пища...

Природныхъ чувствъ мудрецъ не заглушить

И отъ гробовъ отвѣта не получить:

Пусть радости живущимъ жизнь дарить,

А смерть сама ихъ умирать научить...

Наслаждайтесь,—

дастъ наставленіе поэтъ въ другомъ стихотвореніи,—

все проходить!..

Вы, чья жизнь полна красоты,

На лету ловите счастья

Ненадежные часы...

Толпа безумная!

(1835 г.).

читаемъ еще въ одномъ:

напрасно ропщешь ты!

Блаженъ, кто легкою рукою

Весной умѣлъ срывать весенніе цвѣты

И въ мирѣ жилъ съ самимъ собою,—

Кто безъ увыиія глубоко жизнь постигъ
И, равнодушіемъ богатый,
За царство не отдасть покоя сладкій мигъ
И наслажденья мигъ крылатый... (Дельвигу, 1820 г.).

Мы видѣли, поэтъ съ пренебреженіемъ относится къ человѣческой мудрости, къ ея ограниченности. Но если бы эта мудрость и не была ограничена, если бы она могла быть вполне доступна человѣку,—поэтъ все-таки отказывается купить ее цѣной личнаго счастья... Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній (*Истина*, 1824) поэтъ отвергаетъ дары „истины“, когда за эти дары требуется слишкомъ высокая личная жертва... Для характеристики поэзіи Баратынскаго, для оцѣнки глубины его пессимистическаго настроенія—стихотвореніе это является чрезвычайно типичнымъ, и на немъ нельзя мимоходомъ не остановиться. „Съ младенчества—говоритъ поэтъ — я тосковалъ о счастіи, и никогда не пользовался имъ. Неужели не обрѣту его совсѣмъ въ пустынѣ бытія?.. Юношескіе сны отлетѣли; надеждъ нѣтъ, нѣтъ цѣли жизни,—хотя желанія не совсѣмъ еще замерли въ душѣ“... Поэтъ именно и сожалѣетъ объ этомъ: „полный“ расчесть со всѣмъ земнымъ, кажется ему, былъ бы легче...

Такъ нѣкогда обдумывалъ съ роптаньемъ
Я жребій тяжкій свой—

разсказываетъ поэтъ—и вдругъ предъ нимъ является Истина... Она предлагаетъ тоскующему поэту слѣдовать за ней: „Свѣтильникъ мой укажетъ тебѣ — говоритъ она поэту—путь къ счастью“... „Правда, со мной ты погубишь жаръ своего сердца; узнавъ людей, ты, можетъ быть, разлюбишь и ближнихъ и друзей; я разрушу всѣ прелести бытія, но зато—

Умъ наставлю твой;
Я оболю суровымъ хладомъ душу, —
Но дамъ душѣ покой...
Я трепеталъ—

продолжаетъ поэтъ—

словамъ ея внимая,—
И горестно въ отвѣтъ
Промолвилъ ей: „О гостяя роковая,
Печалень твой привѣтъ!
Свѣтильникъ твой—свѣтильникъ погребальный
Всѣхъ радостей земныхъ!..
Твой миръ—увы!—могила миръ печальный,
И страшень для живыхъ!
Нѣтъ! я не твой! въ твоей наукѣ строгой
Я счастья не найду;
Покинь меня; кой-какъ моей дорогой
Одинъ я побреду...

Поэтъ чувствуетъ себя не въ силахъ поднять на свои плечи всю тяжесть „познанія добра и зла...“

Въ душѣ нашего поэта и вообще мало „демоническаго“. Онъ не чувствуетъ въ себѣ большихъ силъ для борьбы, хотя иногда порывается къ этой борьбѣ, любить наслаждаться ею въ природѣ. Замѣчательно его стихотвореніе *Буря* (1825), которое вполнѣ могло появиться въ печати лишь въ позднѣйшихъ изданіяхъ... Вообще порывы къ борьбѣ скоро проходятъ въ поэтѣ и уступаютъ болѣе сильному стремленію къ покою, уединенію. Поэтъ чаще всего въ своихъ стихотвореніяхъ выступаетъ передъ нами уже съ „уставшей душою“, уже утомленнымъ въ борьбѣ,— хотя не видно, чтобы эта борьба была особенно энергичной и продолжительной. Всякую борьбу поэтъ съ охотой промѣнялъ бы на нѣжное сочувствіе, женскую ласку. Въ эти минуты жажды душевнаго покоя, мысль поэта чаще всего обращается къ родному сельскому уединенію: свободный—

отъ суетныхъ надеждъ,
Отъ беспокойныхъ сновъ, отъ вѣтренныхъ желаній,
Испивъ безвременно всю чашу испытаній—

поэтъ, „усталый труженникъ“, спѣшитъ къ „родной странѣ“—

Заснуть желаннымъ сномъ подъ кровлею родной.

„Родныя небеса“ вѣютъ для поэта „спокойствіемъ и счастьемъ“, и поэтъ уже рано собирается вполнѣ успокоиться подъ ними, чтобы—

Издали глядѣть на бури свѣта... (*Деревня, 1821 г.*).

При всѣхъ припадкахъ пессимизма, природа поэта вообще самая миролюбивая. По своимъ личнымъ симпатіямъ, поэтъ—врагъ всякихъ крайностей; по собственнымъ его словамъ, поэтъ всегда носилъ въ своей душѣ „соразмѣрностей прекрасныхъ идеалъ“,— „страстей мятежныя мечты“ всегда старался подчинить „законамъ вѣчной красоты...“ (1832 г.).

Миролюбивый нравъ дала судьбина мнѣ—

замѣчаетъ поэтъ о себѣ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній—

неприхотливой лѣни
Мнѣ нравится приманчивый законъ—
Съ бездѣйствіемъ любезенъ мнѣ союзъ... (1827 г.).

Такъ въ поэтическомъ творествѣ нашего писателя отражаются тѣ противорѣчія, о которыхъ онъ самъ упоминаетъ, характеризуя свою поэзію,—какъ слѣды „холодной думы“, глубокой тоски, и вмѣстѣ, какъ жизнь сердца, жажда „красоты“, „добра“... Живая жизнь души поэта не мирится съ „холодной думой“ пессимиста и помимо воли поэта рвется наружу...

Въ поэзіи Баратынскаго видятъ иногда слѣды байронизма. Но если здѣсь отражались идеи Байрона, то крайне своеобразно. Поэзія Байрона

была выраженіемъ высшаго могущества человѣческаго духа, смѣло беру-щагося за рѣшеніе самыхъ великихъ вопросовъ бытія,—и не отступающаго отъ ихъ рѣшенія, каковы бы ни были отвѣты на эти вопросы... Поэзія Баратынскаго лишь ставитъ вопросы, но отворачивается отъ ихъ рѣшенія,—трепещетъ этихъ отвѣтовъ, и какъ-то съ особой поспѣшностью, какъ бы на слово, примиряется съ ограниченностью человѣческаго существа... Да и къ „мудрости“ человѣческой, къ „истинѣ“, къ „добру и злу“—поэтъ иногда довольно равнодушенъ... Передъ нами не демонъ „познавья и свободы“,—а отъ вѣка прирожденная человѣку двойственность его стремленій и идеаловъ. Любопытно одно изъ стихотвореній Баратынскаго, носящее заглавіе *Недоноска*: поэтъ изображаетъ ничтожество чело-вѣческой природы, брошенной между небомъ и землей,—маленькой, какъ бы недоразвившейся, человѣческой души, совершенно теряющейся предъ возникающими въ ней вопросами:

Въ тягость роскошь мнѣ твоя,
Въ тягость твой просторъ, о вѣчность!..—

воскликаетъ здѣсь несчастное человѣческое существо-зародышъ... То же самое нерѣдко переживаетъ и самъ поэтъ: на него также нерѣдко нападаетъ душевное отчаяніе, и возникающіе вопросы какъ бы подавляютъ его:

Царь небесъ! Успокой
Духъ болѣзненный мой!

воскликаетъ онъ...

Когда исчезнетъ омраченье,—
Когда увижу разрѣшенье
Меня опутавшихъ сѣтей?..
Вотще! Я чувствую — могила
Меня живого приняла,—
На грудь мнѣ дума роковая
Гробовой насыпью легла...

(1835 г.).

Для характеристики общаго настроенія поэзіи Баратынскаго, основъ его духовнаго міросозерцанія, для уясненія крайней неустойчивости этого міросозерцанія,—не безынтереснымъ представляется одна небольшая его статейка, напечатанная имъ еще въ 1821 году, подъ заглавіемъ: *О заблужденіяхъ и истинѣ*. Приводимъ изъ нея небольшой отрывокъ:

„Что называемъ мы заблужденіемъ? Что называемъ мы истиной? начинаеть авторъ свою статью: Почему одни впечатлѣнія или родившіяся изъ нихъ мысли мы называемъ истинными, а другія ложными?.. Дитя ловитъ бабочку и, поймавъ ее, восклицаетъ: „Какъ прекрасна бабочка! Какъ я радъ, что поймалъ ее!“ Мы говоримъ съ чувствомъ собственного превосходства: „Прелестный возрастъ! Бабочка составляетъ твое счастье. Но придетъ время и заблужденіе исчезнетъ“... Почему „зablужденіе“? По-

тому ли, что оно проходчиво? Но что же въ мірѣ не проходчиво? Природа въ цѣломъ не существуетъ для дитяти: въ ней существуетъ для него только бабочка. Намъ восхищаетъ природа, но бабочка для насъ уже не существуетъ. Много ли мы выиграли въ обманѣ? и кто поручится, что мы теперь видимъ яснѣе, нежели видѣли прежде?...—Статья далѣе представляетъ діалогъ между „молодостью“ и „старостью“. Старость предостерегаетъ молодость противъ увлеченій мечтами: „поживите съ мое“, говоритъ она юношамъ: „вы увидите истину безъ покрова“... Какъ? возражаетъ ей юноша: потому, что годы, лишивъ тебя зрѣнія, накинута мрачное покрывало на окружающіе тебя предметы,—я долженъ вѣрить, что они въ самомъ дѣлѣ одѣты туманомъ?! Какъ? потому, что твое воображеніе угасло,—я назову мечтательными цвѣты, которые вижу при свѣтѣ своего собственного воображенія?!. Ты говоришь, что меня обманываютъ мечты мои; я въ правѣ сказать, что тебя обманываютъ твои умозрѣнія“... Если вѣтрениная молодость—продолжаетъ авторъ—все украшаетъ, все очаровываетъ блестящимъ своимъ воображеніемъ; брюзгливая старость не слишкомъ ли все очерняетъ своею холодною недовѣрчивостью?.. Старость имѣетъ только то преимущество передъ молодостью, что приходитъ послѣ... Она видитъ вечернѣ всѣ предметы—потому, что не способна видѣть ихъ иначе...; она изъ всего выводитъ печальныя заключенія,—потому, что сама печальна... Мы называемъ старость временемъ благоразумія и мудрости. Но положимъ, что она же со своею опытностью будетъ первымъ періодомъ нашей жизни, что за нею послѣдуютъ мужество, юность, наконецъ дѣтство. Старецъ, чувствуя новую жизнь, проливающуюся въ его сердце, новыя ясныя мысли, которыя мало-по-малу освѣжаютъ его голову и разглаживаютъ морщины на челѣ его—не заключить ли довольно правдоподобно, что существо его начинаетъ усовершенствоваться? Онъ слышитъ голосъ славы и честолюбія, летитъ на поле брани, спѣшитъ въ совѣтъ къ согражданамъ; онъ снова знакомится съ прежними мечтами и думаетъ: я опровергалъ разсудкомъ то, что теперь ясно понимаю посредствомъ страстей и воображенія; я заблуждался, но время открываетъ истину. Приходитъ и пора любви: онъ видитъ прекрасную женщину и удивляется, что до сихъ поръ не примѣчалъ, что существуютъ женщины... Онъ во многихъ предметахъ усматриваетъ то, чего не усматривалъ до сей минуты. Онъ вспоминаетъ прежнія свои предубѣжденія и думаетъ: „Безумецъ! я хотѣлъ понять холоднымъ разумомъ то, что можно только понять сердцемъ и чувствомъ: ясно вижу свое заблужденіе“... Наконецъ, въ дѣтствѣ, пуская мыльные пузыри, онъ скажетъ—увидя за книгою старика, новаго жителя міра: „Посмотри, это гораздо полезнѣе твоей книги“...—Потому нѣтъ истины? спрашиваетъ самъ себя въ заключеніе авторъ. Это говоритъ что-нибудь подобное! Но истина не есть ли до крайности относительна?...“

Въ этомъ отрывкѣ, намъ кажется—ключъ къ уразумѣнію вообще поэзіи Баратынскаго и всего его міровоззрѣнія.

Въ одномъ письмѣ Пушкинъ мимоходомъ называетъ Баратынскаго Гамлетомъ; это сравненіе довольно мѣтко. Передъ нами не представитель мрачнаго пессимизма, а поэтъ—разочарованія, представитель философствующей, рефлексирующей поэзіи.. Душевное равновѣсіе поэта нарушено; душа лишена внутренней цѣльности, твердой нравственной опоры, яснаго различенія между „истиной“ и „заблужденіемъ“, „добромъ“ и „зломъ“,—поэтъ какъ бы потерялъ подъ собою почву, не знаетъ, гдѣ найти ее, да и можно ли ее найти... Онъ не видитъ ясной цѣли человѣческаго существованія, цѣли и назначенія бытія; онъ не знаетъ, гдѣ и въ чемъ „истина“,—куда и за чѣмъ идти... Его мысль колеблется, увлекаемая то умомъ, то сердцемъ; его «холодная дума» влечетъ его въ самыя противоположныя стороны... Міросозерцаніе не только не имѣетъ особой глубины, еще менѣе цѣльности, твердой системы,—но и вообще твердой выдержки, послѣдовательности. Иногда въ душѣ поэта, по его собственнымъ словамъ, разомъ борются два совершенно противоположныя теченія,—и онъ самъ не можетъ опредѣлить, „наслаждается онъ или страдаетъ“... Чувство поэта отравляется рефлексіей,—„холодная дума“ выражается вопросомъ, и не идетъ дальше...

Общій гамлетовскій характеръ поэзіи Баратынскаго напоминаетъ намъ одно изъ лучшихъ стихотвореній Батюшкова,—очень небольшое по объему, которымъ этотъ несчастный поэтъ закончилъ свою кратковременную дѣятельность, извѣстное *Изреченіе Мельхиседека* (1821):

Ты помнишь, что изрекъ,
Прощаясь съ жизнію, сѣдой Мельхиседекъ?
Рабомъ рождается человекъ,
Рабомъ въ могилу ляжетъ,
И смерть ему едва-ли скажетъ,—
Зачѣмъ онъ шелъ долиной скорбной слезъ,
Страдалъ, рыдалъ, терпѣлъ, исчезъ...

Мы сейчасъ увидимъ,—съ настроеніемъ Батюшкова нашъ поэтъ имѣлъ сходство и въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ; здѣсь прибавимъ лишь два-три слова еще о другихъ произведеніяхъ Баратынскаго.

Герои такъ называемыхъ „поэмъ“ Баратынскаго—нѣсколькихъ болѣе обширныхъ его произведеній — стоятъ на почвѣ тѣхъ же смутныхъ, неясныхъ идей и стремленій,—„холодной думы“ и влеченій сердца, постоянныхъ сомнѣній и рефлексій. Таковъ напр. герой поэмы *Балъ* (1824) Арсеній, носящій на челѣ

Слѣды мучительныхъ страстей,
Слѣды печальныхъ размышленій,—

таковъ и Елецкій, герой другой поэмы *Цыганка*, для котораго въ свѣтскихъ гостинныхъ „душно“, все кажется или „глупо“ или „смѣшно“, и который рѣзко разрываетъ со всѣми законами этого моднаго свѣта, водворяя открыто въ своей холостой квартирѣ цыганку... Нѣсколько сродни этимъ героямъ и гусаръ въ *Эда* (1826): онъ также наполненъ „смутной думой“, хотя здѣсь авторъ совсѣмъ ужъ не объясняетъ намъ, о чемъ была эта „дума“... Нельзя впрочемъ не прибавить мимоходомъ, что эта поэма *Эда*, о которой съ такимъ восторгомъ отзывался Пушкинъ и вообще столь прославившая нашего поэта, — рѣзко отличается своимъ общимъ характеромъ отъ двухъ сейчасъ названныхъ: здѣсь почти совсѣмъ нѣтъ, или въ очень слабой степени, лермонтовскаго разочарованія; поэма вся написана, если такъ можно выразиться, въ чисто пушкинскомъ стилѣ... Въ этомъ отношеніи эта поэма открываетъ намъ новую любопытную сторону и вообще въ поэзіи Баратынскаго — двойственность его поэтическихъ темъ. Подобно всему характеру міросозерцанія поэта, — и самыя темы его поэзіи относятся какъ-бы къ двумъ различнымъ литературнымъ періодамъ: пушкинскому и лермонтовскому...

Такъ борются и въ душѣ поэта и въ самыхъ произведеніяхъ его творческой фантазіи — два противоположныхъ теченія, смѣсь которыхъ дѣйствительно является наиболѣе рѣзкой, отличительной чертой и всей современной поэту переходной эпохи нашей литературы...

Поэзія Баратынскаго — указанной сейчасъ своею двойственностью — была яркимъ, но вмѣстѣ своеобразнымъ отраженіемъ у насъ той общей духовной двойственности, крайней неопредѣленности и противорѣчія въ идеяхъ, въ стремленіяхъ, которыя переживались въ концѣ прошлаго и въ началѣ нынѣшняго столѣтія всей западной Европой, — того крайне сложнаго броженія идей и понятій, которое совершалось въ это время во всѣхъ сферахъ западно-европейской духовной жизни — политической, общественной, философской, нравственно-религіозной — которое особенно яркое отраженіе для себя нашло въ поэтическомъ образѣ *Манфреда* Байрона... Вмѣстѣ съ разрушеніемъ старыхъ формъ общественной и политической жизни — разрушались или по крайней мѣрѣ радикально перестраивались, утверждались на новыхъ началахъ, и старыя идеи и представленія. Движеніе, по самой всеобщности, всеобъемлемости своей, не могло не заключать самыхъ противоположныхъ элементовъ: одновременно приходилось смотрѣть и впередъ и назадъ... Вся умственная жизнь европейскаго человѣка превратилась въ какой-то хаосъ... Господствующимъ настроеніемъ является недовольство, разочарованіе, — съ постояннымъ углубленіемъ внутрь себя. Возникаетъ широкая волна особой философствующей, рефлексирующей поэзіи. Цѣлый рядъ поэтовъ и писателей превращается въ мыслителей-

философовъ, и приступаетъ къ рѣшенію высшихъ вопросовъ бытія. Героизмъ поэтическихъ произведеній является міровой человѣкъ; общей темой—несоразмѣрность между требованиями личности и рамками общественной жизни... Передъ нами *Вертеръ* Гете (1774), — но уже въ другихъ періодахъ жизни, въ другихъ стадіяхъ общественнаго развитія, въ другихъ душевныхъ настроеніяхъ... Ему много пришлось пережить и перечувствовать... Одно время онъ былъ *Фаустомъ*, позднѣе *Рене*; былъ *Вильгельмомъ Ловеллемъ* Тика, *Рокеролемъ* Жана Поля Рихтера, — даже *Люциндой* Шлегеля.. Жизнь героя была вообще богата волненіями и метаморфозами... Раньше чѣмъ у другихъ возникши въ Германіи, — философствующая, рефлексирующая поэзія быстро обходитъ всѣ литературы Европы...

По особымъ обстоятельствамъ—и общественнаго и духовнаго развитія—когда эта волна рефлексирующей поэзіи, поэзія «мірового человѣка», „міровой скорби“, отразилась и на нашемъ общественномъ развитіи—она вызвала въ нашемъ молодомъ поколѣніи не столько „Манфредовъ“ и „Фаустовъ“, сколько „Рене“... Типъ этотъ, впрочемъ, былъ болѣе по плечу для большинства и на Западѣ. Во всякомъ случаѣ это былъ вполне живой типъ, и какъ нельзя лучше выражалъ собою общее душевное настроеніе большинства тогдашняго молодого поколѣнія въ Европѣ... Это было чувство только что пробуждавшейся и общественной и духовной свободы,—первыхъ моментовъ выдѣленія въ феодальной Европѣ демократіи. Каждый чувствовалъ, что какъ будто—„весь міръ открытъ передъ нимъ“; каждый рвался впередъ, хотя еще не было точнаго и яснаго представленія, куда идти. Это было предчувствіе чего-то новаго, неясное безпокойство въ виду его приближенія,—тревожное исканіе путей... Это были „сумерки“ передъ разсвѣтомъ. Чрезвычайно типичной въ этомъ отношеніи была вышедшая въ 1809 году книжка Жана Поля Рихтера: *Dämmerungen für Deutschland (Сумерки въ Германіи)*, — произведеніе весьма популярнаго въ то время въ Европѣ писателя, взявшее сейчасъ названное слово даже своимъ заглавіемъ... Книжка нѣмецкаго писателя своимъ заглавіемъ неволью напоминаетъ и одно изъ упоминавшихся выше изданій Баратынскаго—собраніе его позднѣйшихъ произведеній, вышедшихъ за два года до смерти поэта подъ заглавіемъ *Сумерки* (1842)... Мы не думаемъ видѣть здѣсь подражаніе нѣмецкому писателю; но во всякомъ случаѣ названіе сборника и здѣсь было чрезвычайно характернымъ.

И этимъ сборникомъ и всей вообще своей поэзіей, всѣмъ строемъ своей мысли, Баратынскій былъ выразителемъ нашего молодого поколѣнія самыхъ первыхъ 20-хъ гг., — той стадіи нашего общественнаго развитія, которая непосредственно слѣдовала за окончаніемъ отечественной войны и обусловливалась самымъ первымъ, болѣе близкимъ, знакомствомъ на-

шимъ съ Западомъ, хотя въ различныхъ слояхъ общества продолжалась и много позднѣе, отчасти до самаго кануна 40-хъ гг. Баратынскій въ этомъ отношеніи принадлежалъ къ тому же поколѣнію, къ которому принадлежалъ и Батюшковъ,—одно изъ послѣднихъ стихотвореній котораго, приведенное нами выше, могло бы служить эпиграфомъ ко всей поэзии Баратынскаго...

Въ одномъ письмѣ Пушкинъ мимоходомъ бросаетъ любопытное замѣчаніе по поводу своего *Кавказскаго плѣнника*: „Характеръ плѣнника—замѣчаетъ поэтъ—неудаченъ. Я въ немъ хотѣлъ изобразить это равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души,—которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи XIX вѣка“... Извѣстное письмо Батюшкова къ Жуковскому, относящееся къ 1814 году, ярко рисуетъ передъ нами эту „преждевременную старость души“ нашего поколѣнія 20-хъ гг. Не могу не привести нѣсколькихъ строкъ изъ письма: онѣ могли бы быть написаны не только Батюшковымъ, но и Баратынскимъ, а равно и многими другими молодыми ихъ сверстниками, — служа въ то же время и любопытными комментаріями къ указанному явленію...

„Какъ мы перемѣнились съ онаго счастливаго времени,—пишетъ Батюшковъ Жуковскому, вспоминая недавнее прошлое, года за два до начала отечественной войны: когда у Дѣвичьяго монастыря ты жилъ съ музами въ сладкомъ покоѣ,—не знаю, былъ ли ты тогда счастливъ, но я думаю, что это время моей жизни было счастливѣйшее: ни заботы, ни попеченія, ни предвидѣнія!.. Два вѣка мы прожили съ того благополучнаго времени!.. Я самъ кружился въ вихрѣ военномъ—и какъ слабое насѣкомое, какъ бабочка, утратилъ мои крылья!.. Въ Парижъ я вошелъ съ мечомъ въ рукѣ, — славная минута! Она стоитъ цѣлой жизни!.. Два мѣсяца я кружился въ вихрѣ парижскомъ; но повѣришь ли? Посреди чудеснаго города, среди разсѣянія, я былъ такъ грустенъ иногда, такъ недоволенъ собой!.. Изъ Парижа въ Лондонъ, изъ Лондона въ Готенбургъ, въ Стокгольмъ, въ Або,—въ Петербургъ!.. Вотъ моя Одиссея,—поистинѣ Одиссея!.. Мы подобны теперь Гомеровымъ воинамъ, разсѣяннымъ по лицу земному. Каждаго изъ насъ гонитъ какой-нибудь мститель-богъ: кого Марсъ, кого Аполлонъ, кого Венера, кого Фуріи, а меня — скука... Самое маленькое дарованіе мое, которымъ подарила меня судьба, конечно, въ гнѣвѣ своемъ — сдѣлалось моимъ мучителемъ... Я вижу его бесполезность для общества и для себя. Чтò въ немъ, мой милый другъ? и чѣмъ замѣню утраченное время?.. Дай мнѣ совѣтъ, научи меня, наставь меня, у тебя доброе сердце, умъ просвѣщенный; будь же моимъ вожатымъ! Скажи мнѣ, къ чему прибѣгнуть, чѣмъ занять пустоту душевную?.. Скажи мнѣ, какъ могу быть полезнымъ обществу, себѣ, друзьямъ?..“

И Батюшковъ и Баратынскій—одними изъ первыхъ на Руси людей вкусили отъ чаши „мировой скорби“, раньше многихъ другихъ испытали горечь разочарованія, рефлексіи. Оба они—наиболѣе ранніе вѣстники перваго пробужденія въ русскомъ обществѣ критическаго самосознанія, наиболѣе ранніе у насъ поэты „смутной думы“ и вмѣстѣ страсти, „теряющей—по выраженію одного изъ нихъ—въ толпѣ безпредѣльныхъ желаній“, — два первыхъ Рене въ нашей общественной жизни... Ихъ —какъ и Рене—давить сознание рокового несоотвѣтствія между тѣмъ, къ чему они стремятся, и тѣмъ, что они могутъ... Это сознание вызываетъ въ нихъ или припадки пессимизма, горькаго разочарованія во всемъ, или чувство скуки, равнодушія, или наконецъ страстное желаніе покоя, уединенія,—стремленіе убѣжать отъ этихъ противорѣчій жизни, уйти въ глубь себя, или вообще отъ жизни... Рене бросаетъ общество, людей и убѣгаетъ къ дикарямъ, въ Америку; Батюшковъ бѣжитъ въ Италію, страстно хлопочетъ объ этомъ, хотя въ то же время сознаетъ, что Италія ничего не дастъ ему въ смыслѣ душевнаго успокоенія,—вскорѣ онъ сходитъ съ ума; Баратынскій весь уходитъ въ свою отвлеченную, заоблачную грусть и отвертывается отъ болѣе реальныхъ, болѣе живыхъ стремленій выросставшаго вокругъ него молодого поколѣнія...

Пессимизмъ Баратынскаго какъ бы повисъ въ воздухѣ и не перешелъ на живую, реальную почву... Его „холодная дума“ какъ бы застыла въ небесномъ пространствѣ,—поэтъ не нашелъ въ себѣ силы спуститься на землю, встрѣтиться лицомъ къ лицу не съ отвлеченнымъ, а съ дѣйствительнымъ, реальнымъ зломъ... Подобно Пушкину—но съ гораздо меньшимъ правомъ на это — Баратынскій замкнулся въ своемъ поэтическомъ мірѣ и не хотѣлъ имѣть дѣла съ презрѣнной „чернью“... Потокъ новой жизни и мысли пошелъ мимо него. Баратынскій отсталъ отъ своего поколѣнія, отъ собственныхъ сверстниковъ, сдѣлался чуждъ имъ. Уже въ 1830 году Пушкинъ сожалѣетъ, что поэзію Баратынскаго „плохо цѣнить“... Крайняя неясность, неопредѣленность его рефлексирующей мысли, ея заоблачность, какъ бы безпредметность—скоро уже для многихъ казались неудовлетворяющими. Извѣстно, какое впечатлѣніе произвелъ на эту лучшую часть нашего тогдашняго общества упомянутый нами послѣдній сборникъ Баратынскаго—*Сумерки*, вышедшій въ 1842 году. Лонгиновъ говоритъ, что книжка Баратынскаго многимъ казалась „привидѣньемъ“, „явившимся среди удивленныхъ и недоумѣвающихъ лицъ, неумѣющихъ дать себѣ отчета, какая это тѣнь и чего она проситъ отъ потомковъ“... Общественную оцѣнку *Сумерекъ* Баратынскаго, вполне вѣрную, сдѣлалъ уже Бѣлинскій. Знаменитый критикъ справедливо увидѣлъ въ поэтѣ полную отсталость, отчужденіе отъ интересовъ и стремленій современнаго русскаго поколѣнія,—боязнь и робость передъ открывшимися запросами мысли и жизни, наконецъ—хулу на это поколѣніе, на науку, на прогрессъ... Баратынскій,

дѣйствительно, ничего не видалъ вокругъ себя, кромѣ „сумерекъ“... Но нужно признать, эти „сумерки“ чувствовались и не однимъ нашимъ поэтомъ: жизнь такъ быстро шла впередъ, новыя явленія такъ тѣсно въ иныхъ случаяхъ переплетались съ старыми, наконецъ, общественная мысль въ большинствѣ случаевъ была такъ еще неустойчива и слаба, а главное,—облегавшая тьма была, дѣйствительно, настолько еще беспросвѣтна и густа, что на ближайшемъ разстояніи и умы болѣе сильные не различали ничего, кромѣ „сумерекъ“... Одинъ изъ величайшихъ нашихъ поэтовъ, общепризнанный преемникъ генія Пушкина—съ еще бѣльшей горечью смотреть на окружающее его поколѣніе. Будущее этого поколѣнія — говорить онъ — „иль пусто иль темно“; „подъ бременемъ познанья и сомнѣнья оно состарится въ бездѣйствіи“; безцѣльная жизнь „томить“ его—

Какъ пиръ на праздникѣ чужомъ...

У него нѣтъ никакихъ нравственныхъ идеаловъ, нѣтъ никакихъ возвышенныхъ стремленій: „къ добру и злу“ оно „постыдно равнодушно“, — любить и ненавидить оно случайно, — неспособно ничѣмъ пожертвовать ни злобѣ своей, ни любви... Разъѣдаемое рефлексіей, оно неспособно и ни къ какой борьбѣ: еще не начавъ ея, оно уже „вянетъ“, теряетъ энергію и силы... Самая наука для него „безплодна“: она лишь „изсушила“ его умъ, ничего ему не давши... „Мечты поэзіи, созданія искусства“— не для него: онѣ не шевелятъ его умъ сладостнымъ восторгомъ... Тоскливою, угрюмою толпой приближается это поколѣніе къ своему гробу, — не оставляя потомству

ни мысли плодотворной,
ни геніемъ начатаго труда!..

Великій поэтъ въ послѣднемъ отношеніи, однако, не вполне былъ правъ: работа мысли не пропала даромъ; въ рядахъ этого поколѣнія были люди, которые выступили вскорѣ главными дѣятелями нашей литературы 40-хъ годовъ... Какъ бы то ни было, самая ошибка была знаменательной: даже геніальнаго поэта въ окружающемъ поколѣніи больше всего поражали „противорѣчія жизни“, „преждевременная старость души“, —за которыми совѣмъ не видно было болѣе плодотворныхъ результатовъ „свободной думы“... Да и самая дума эта была еще крайне слаба: критическая мысль только еще возникала и не имѣла для себя ни практики, ни твердой опоры въ знаніяхъ: всѣ учились еще „по немногу“, —

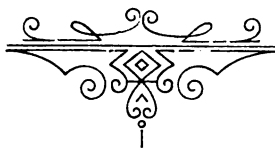
Чему-нибудь и какъ-нибудь...

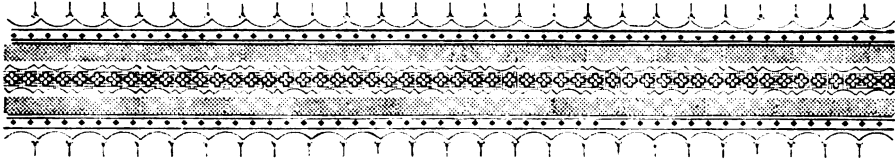
Не мудрено, что „противорѣчія“ одолѣвали... Всѣ стояли, какъ бы на распутии, не зная, куда итти, — не зная, какъ можно быть полезнымъ „для себя, для общества“... Нуженъ былъ гениальный критическій умъ, чтобы осмотрѣться въ окутывавшемъ отовсюду туманѣ, въ этихъ облежавшихъ со всѣхъ сторонъ „сумеркахъ“, нужна была вся сила, все могущество гения, чтобы твердой стопой пойти къ едва брезжившей зарѣ уже близкаго, наступающаго дня, чтобы вывести смутную общественную мысль на просторъ Божьяго свѣта...

И гений явился: это былъ „неистовый Роландъ“, — Виссаріонъ Бѣлинскій!..

Казань, 25 февраля 1900 г

А. Архангельскій.





Николай Платоновичъ Огаревъ.

Отрывокъ.

Раннее дѣтство.

„Но если-бъ жилъ я въ вѣкѣ томъ,
Когда Христосъ училъ народы,
Его-бъ я былъ ученикомъ
Во имя духа и свободы.
Оставилъ бы семью и домъ,
Не побоялся бы невзгоды,
И радостно-бъ за вѣру палъ,
И свой удѣлъ благословлялъ“.

(„Юморъ“, стр. 70).

До настоящаго времени у насъ нѣтъ даже краткихъ свѣдѣній, обнимающихъ жизнь этого симпатичнѣйшаго поэта и выдающагося дѣятеля 30-хъ и 40-хъ годовъ, выдающагося, какъ силою своей необычайной атракціи, такъ и силою своего непосредственнаго душевнаго и умственнаго богатства. До сихъ поръ мы имѣемъ только кое-какіе отрывочные факты изъ его жизни, разбросанные въ различныхъ воспоминаніяхъ; но и эти немногія свѣдѣнія часто противорѣчатъ другъ другу и оказываются крайне сбивчивыми, какъ со стороны содержанія, такъ и хронологіи ¹⁾. Между тѣмъ года уплываютъ, память засаривается, современники—живые свидѣтели и знатоки этой прошлой жизни—одинъ за другимъ сходятъ со сцены. Уйдутъ послѣдніе, и съ ними вмѣстѣ исчезнетъ возможность поправки, исправленія ошибокъ и неточностей, а также и возможность воссозданія полного образа этой замѣчательной личности. Чтобы не дать совершиться такому факту, попробую набросать картину его почти совсѣмъ неизвѣстнаго ранняго дѣтства.

¹⁾ Вотъ образчикъ хронологической сбивчивости. Въ воспоминаніяхъ Т. П. Пассекъ одинъ и тотъ же фактъ, хотя бы день смерти Н. П. Огарева, приурочивается то къ 12-му, то къ 15-му іюня 1877 года; или годъ, когда Николай Платоновичъ сломалъ себѣ ногу,—въ одномъ мѣстѣ указывается 1866, въ другомъ 1867. Случается, что такія разнорѣчивыя указанія имѣютъ мѣсто чуть не на одной и той же страницѣ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

На умъ приходятъ часто мнѣ
Мои младенческіе годы,
Село въ вечерней тишинѣ,
Въ саду—свѣтящаяся воды,
И жизнь въ какой-то полутьмѣ,
Въ кругу семьи, среди природы.

Какой богатый источникъ познанія личности, уясненія и пониманія ея характера могло бы дать близкое, хорошее знакомство съ рядомъ предковъ изучаемаго лица! Но случай рѣдко берегаетъ отъ забвенія память о дальнихъ родственникахъ. Не сохранилъ онъ ничего и о прадедахъ Огарева. Объ его дѣдахъ и прадедахъ мы знаемъ только одно, что то были богатые, зажиточные помѣщики, родъ которыхъ происходилъ отъ татаръ. О послѣднемъ свидѣтельствуемъ самъ Н. П. Огаревъ въ одной изъ своихъ стихотворныхъ поэмъ, въ «Юморъ»:

*Происхожденьемъ я татаринъ,
Во время оно, окрестясь,
Мой предокъ вышелъ русскій баринъ...¹⁾*

И еще въ другомъ стихотвореніи набросанномъ въ письмѣ къ друзьямъ, прибавляетъ:

*Я просто скизъ: потомокъ дальній
Златой орды,—скуластыхъ рожъ
Я образъ сохранилъ печальный
Лѣнивый нравъ и дикій вкусъ,
Взявъ отъ славянъ лишь рыжій усъ ²⁾.*

Только одинъ прадедъ рисуется въ памяти правнука, и то въ весьма неясныхъ очертаніяхъ: онъ представляется человѣкомъ, проникнутымъ чувствомъ домовитости, скопидомства, вѣчно погруженнымъ въ хозяйственные счета и соображенія.

Я всюду пользу бы искалъ,

говорить поэтъ въ поэмѣ «Радаевъ»,—

*Какъ прадедъ мой, почившій въ Бозъ,
Приходъ съ расходомъ бы свѣрлялъ,
Предпочиталъ бы свеклу розъ... ³⁾*

1) Собраніе стихотвореній Н. П. Огарева. Лондонъ. 1858 года.

2) „Изъ переписки недавнихъ дѣятелей“.

3) „Рус. Старина“ 1886 г. Февраль.

Первое же лицо, о которомъ память сберегла нѣсколько болѣе и дала хоть какія-нибудь свѣдѣнія, это родной дѣдъ Огарева по отцѣ, Богданъ Ильичъ Огаревъ. То былъ человекъ въ высшей степени дѣятельный, энергичный и вмѣстѣ съ тѣмъ крайне набожный, богомольный. Живя въ одномъ изъ своихъ пензенскихъ имѣній, въ селѣ Старомъ Акшинѣ, Инсарскаго уѣзда, онъ постоянно былъ занятъ разными постройками, возводилъ въ деревнѣ каменные зданія, выстроилъ большую съ двумя придѣлами—теплымъ и холоднымъ—каменную церковь, построилъ нѣсколько каменныхъ флигелей. Всѣ эти каменные зданія до сихъ поръ украшаютъ Старое Акшино и говорятъ о давно минувшей энергій, набожности и богатствѣ жизни владѣльца-помѣщика.

Но этимъ и исчерпываются всѣ свѣдѣнія о родичахъ поэта—ни одного полного облика, ни одной фигуры во весь ростъ, въ которой бы можно было усмотрѣть внѣшнюю или внутреннюю преемственность. Не особенно много сохранила память и объ его ближайшихъ родственникахъ,—отцѣ и матери, и еще меньше—о дядѣ и двухъ теткахъ. О существованіи послѣднихъ мы узнаемъ только изъ письма Огарева ¹⁾, а о дядѣ также и изъ упоминанія о немъ въ одномъ изъ заграничныхъ стихотвореній ²⁾.

Платонъ Богдановичъ Огаревъ, отецъ поэта, былъ знатный и вельможный баринъ, занимавшій въ началѣ нынѣшняго столѣтія сенаторскій постъ. Воспитанный въ царствованіе императрицы Еватерины II, въ періодъ сильнаго господства французскаго вліянія, французскихъ модъ и необычайной роскоши, онъ отразилъ эти стороны на собственной жизни, на общемъ строѣ своей семьи и на воспитаніи своихъ дѣтей. Хотя и воспитанный на европейскій ладъ, съ знаніемъ иностранныхъ языковъ и свѣтскаго этикета, онъ далеко былъ отъ вольныхъ мыслей французскихъ энциклопедистовъ, которымъ покровительствовала въ то время сама государыня и которыя невольно проникали въ высшіе слои тогдашняго общества. Платонъ Богдановичъ, воспитанный религіознымъ и набожнымъ отцомъ, хоть по природѣ добрый и незлобивый, сложился силою самой жизни въ яраго крѣпостника, со всѣми замашками важнаго барина—помѣщика конца XVIII и начала XIX вѣка.

Не уступая въ набожности отцу, онъ превосходилъ его въ роскоши и изысканности жизни и совсѣмъ не имѣлъ качествъ скопида и домовитаго хозяина. Вслѣдствіе этого, несмотря на случайное приумноженіе родоваго богатства посредствомъ женитьбы, онъ послѣ своей смерти оставилъ массу долговъ, заемныхъ писемъ, векселей.

¹⁾ Рукописное письмо къ Марьѣ Львовнѣ Огаревой отъ 13 апрѣля 1839 г.: „я вижу во снѣ, какъ я соорюсь съ дядей; объ тетки пріѣхали къ намъ“.

²⁾ Стихотвореніе: „Тюрьма“.

Платонъ Богдановичъ Огаревъ женился въ Петербургѣ ¹⁾, какъ можно предполагать, въ 1805 году, на Елизаветѣ Ивановнѣ Баскаковой, дѣвушкѣ аристократическаго происхожденія, семья которой состояла въ родствѣ съ известной княжеской фамиліей Гогенлоэ, и этимъ сдѣлалъ во всѣхъ отношеніяхъ блестящую партію. Елизавета Ивановна Баскакова была единственная дочь богатыхъ родителей, потому не удивительно, что она понесла за собой въ приданое такое богатѣйшее и громадное имѣніе, какимъ былъ знаменитый Бѣлоомуть, Рязанской губерніи, Зарайскаго уѣзда, гдѣ между крѣпостными крестьянами были замѣчательные богачи, нѣкоторые даже служили управляющими при откупахъ, другіе откупались на волю, принося помѣщику выкупъ въ пять и въ десять тысячъ; впоследствии, говорятъ, случалось, что выкупъ достигалъ ста тысячъ за одну семью ²⁾. Помѣщикъ не сочувствовалъ и не поощрялъ крестьянъ откупаться на волю, потому крестьяне иногда прибѣгали къ уловкамъ. Бывали такіе случаи, что разбогатѣвшій крестьянинъ покупалъ на свои деньги, но на бариново имя, землю съ крѣпостными крестьянами и, желая откупиться на волю, отдавалъ всю землю вмѣстѣ съ крестьянами въ собственность помѣщика съ условіемъ, чтобы за это баринъ далъ ему вольную.

Село Бѣлоомуть было такъ обширно и обильно своими природными богатствами и разными угодьями, что одно могло поставить своего владельца въ число зажиточныхъ и богатѣйшихъ помѣщиковъ Россіи. Въ этомъ селѣ съ четырьмя церквями, кромѣ обширныхъ луговъ, были обширныя рыбныя ловли и 10.000 десятинъ строеваго лѣса. Но у Платона Богдановича Огарева, кромѣ Бѣлоомута и Старога Акшина, было еще немало помѣстьевъ въ Тверской, Орловской и Казанской губерніяхъ, да и въ Пензенской было еще имѣніе—село Чертково; въ Москвѣ же, на Большой Никитской, близъ Никитскихъ воротъ, былъ большой каменный домъ.

Сообразно такому большому состоянію сложилась и жизнь новобрачныхъ. Молодая жена съ первыхъ же дней свадьбы была окружена всевозможной роскошью и удобствами. Въ селѣ Акшинѣ, куда молодые пріѣзжали жить на лѣто, къ ихъ услугамъ былъ большой домъ длиною въ

1) Такъ утверждаетъ Н. А. Огарева, вторая супруга покойнаго Н. П. Огарева, которой я главнымъ образомъ обязана получениемъ свѣдѣній о жизни ея мужа, за что, пользуясь случаемъ, принести ей мою глубочайшую благодарность.

2) Показанія насчетъ цыфры, вносимой крестьянами, у П. В. Анненкова и Н. А. Огаревой расходятся: она указываетъ на 5 и 10 тысячъ, Анненковъ—на 100. Кромѣ того, Н. А. Огарева настаиваетъ что П. В. Огаревъ жилъ преимущественно на выкупы крестьянъ Бѣлоомута, а у Анненкова говорится, что онъ не соглашался на выкупъ даже тогда, когда ему предлагали сумму въ 100 тысячъ рублей: „ему нравилось имѣть среди крестьянъ такихъ богачей“ („Идеалисты тридцатыхъ годовъ“ П. В. Анненкова).

двадцать пять саженъ, гдѣ уборная Елизаветы Ивановны Огаревой вся была выложена зеркалами, потолокъ, стѣны, все въ ней было изъ медныхъ зеркалъ и приспособлено къ тому, чтобы молодая безъ малѣйшихъ затрудненій могла прослѣдить всѣ мелочи и подробности своего туалета съ разныхъ сторонъ. Да и не одна уборная поражала роскошью и богатствомъ,—весь домъ въ Старомъ Аншинѣ, былъ убранъ на широкую ногу:

Село большое, домъ большой.
Весь убранъ на большую ногу,
Въ немъ вѣтъ барской стариной.

Этотъ бракъ Огарева съ Баскаковой соединялъ двѣ большія, старинныя фамиліи, не имѣвшія послѣ себя другихъ близкихъ наслѣдниковъ и продолжателей рода. А извѣстно, какъ вопросъ о непрерывности рода занимаетъ всегда, даже и не настолько богатыхъ фамиліи. Потому появленіе ребенка въ семьѣ П. Б. Огарева должно было ожидать съ особой исключительной радостью. Черезъ годъ эти ожиданія осуществились, хотя, правда, неполнѣ: жизнь молодой четы оживилась появленіемъ на свѣтъ первенца, только не наслѣдника, а наслѣдницы: родилась дочь—Анна Платоновна. Согласно всей обстановкѣ и пышности жизни, ея колыбелька, конечно, съ первыхъ же дней была окружена удобствами, роскошью. Отецъ и мать сосредоточили на ней свои заботы и любовь. А когда дѣвочка немного подросла, для нея въ домъ была взята французенка-гувернантка. Возможно, что Н. П. Огаревъ впоследствии съ нея списалъ въ поэмѣ „Сны“ гувернантку M-lle Privé:

Mam'selle Privé здѣсь совершенно,
Какъ дома, чувствуетъ себя
И предается постепенно
Безперерывной суетѣ,
Дѣвичьей старости чертѣ;
Она всегда гостей встрѣчаетъ,
Хозяйку замѣнивъ собой,
И, не смолкая день деньской,
Съ утра до вечера болтаетъ
О томъ, о семъ, о прошлыхъ дняхъ,
Погодѣ, кушаньѣ, чепцахъ,
Грѣхѣ, молитвѣ сердобольной...
Перерываясь едва,
Какъ бисеръ, нижутся слова.

Но, впрочемъ, французенка такъ же, какъ и другія гувернантки, была взята въ домъ уже тогда, когда П. Б. Огаревъ лишился жены, когда въ домѣ не стало хозяйки. До этихъ же поръ надзоръ и попеченіе о дочери всецѣло лежали на молодой матери. Со смертью Елизаветы Ивановны отецъ еще крѣпче привязался къ малюткѣ:

Онъ дочь обычно цѣловалъ
По утру, съ ложа сна вставая,
Еще ко сну благословляя;
Какъ куклу, въ дѣтствѣ одѣвалъ,

Потомъ цѣною дорогою
Ей гувернантокъ нанималъ,
Чтобы обычной чередою
Учила барышню всему,
Что бесполезно никому.

А выросла, нашелъ ей жениха въ лицѣ молодого военного Плаутина, который, какъ оказалось потомъ, при всѣхъ своихъ хорошихъ качествахъ, былъ страстный любитель картежной игры—одной изъ любимѣйшихъ забавъ того времени, отчего впоследствии сильно пострадало и разстроилось состояніе жены; но она, не смотря на это, очень была привязана къ мужу и не переставала его любить до конца жизни.

Анна Платоновна по природѣ была человѣкъ очень доброй души. Не раздѣляя ни въ чемъ идеаловъ брата, радикально расходясь съ нимъ, какъ въ образѣ жизни, такъ и въ своихъ религіозныхъ воззрѣніяхъ и во взглядахъ на людей и на общество, она, тѣмъ не менѣе, когда узнала, что братъ живетъ за границей, не имѣя никакого состоянія, благодаря только помощи дѣтей друга, нѣсколько разъ присылала ему денегъ и даже нарочно ѣздила сама изъ Петербурга въ Женеву, чтобы повидаться съ нимъ и навѣстить его больного, стараго.

Николай Платоновичъ Огаревъ былъ на семь лѣтъ моложе сестры: онъ родился въ Екатерининъ день, 24 ноября, 1813 года ¹⁾, въ Петербургѣ ²⁾. День его рожденія счастливо совпалъ съ церковнымъ праздникомъ села Акшина, гдѣ церковь, построенная дѣдомъ, носила имя святой великомученицы Екатерины, данное въ честь бабушки Огаревой, родной матери Платона Богдановича. Со дня рожденія Николая Платоновича 24 ноября сдѣлалось въ селѣ двойнымъ праздникомъ, который одновременно справлялся и въ избахъ крѣпостныхъ мужиковъ, и въ барскомъ домѣ.

Да даже и теперь, когда отъ старой церкви не осталось и слѣда, когда даже сама могила Н. П. Огарева затерялась гдѣ-то на одномъ изъ Лондонскихъ кладбищъ, Екатерининъ день въ Старомъ Акшинѣ и теперь попрежнему празднуется всей деревней. Появленіе на свѣтъ Николая Платоновича дорого стоило его матери: ей пришлось поплатиться за него жизнью:

О, ты, отецъ! изъ мглы скорбей
Въ небесный міръ перелетая,
Скажи тамъ матери моей,
Какъ я въ странѣ земнаго края
Люблю ее, ея не знала ³⁾.

¹⁾ Письмо Огарева къ Герценштейну (изъ переписки недавнихъ дѣтелей).

²⁾ Такъ свидѣтельствуетъ Нат. А. Огарева. Анненковъ же ошибочно указываетъ на Старое Акшино, какъ на мѣсто рожденія. Мы говоримъ *ошибочно* потому, что въ Акшинѣ нѣтъ могилы матери Ник. Платоновича, съ которой связано его рожденіе.

³⁾ „Рус. Старина“. Декабрь. 1888. Стр. 610. Въ Воспоминаніяхъ Т. П. Пассекъ невѣрно говорится, что Огаревъ лишился матери „въ ребячествѣ“. (Т. I, стр. 255).

Да и самое появленіе ребенка было преждевременно: то былъ семи-мѣсячный недоносокъ. Въ то время, когда малютка сильно нуждался въ уходѣ и материнскихъ заботахъ, бѣдная мать лежала на столѣ мертвая. А когда она легла на одномъ изъ петербургскихъ ¹⁾ кладбищъ, ея мѣсто возлѣ ребенка заняла высокая, худощавая, довольно строгая и суровая по характеру старушка-бабушка, родная мать овдовѣвшаго Платона Богдановича. Она сдѣлалась въ домѣ хозяйкой.

Въ уходѣ за ребенкомъ, который родился слабенькимъ, бабушка вмѣстѣ съ нянюшкой и другой прислугой, назначенной ходить за новорожденнымъ, практиковала всѣ совѣты докторовъ. Извѣстно, какъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія была несостоятельна медицинская наука, тѣмъ болѣе у насъ, на Руси, гдѣ врачи не были въ курсѣ даже тѣхъ медицинскихъ знаній, которыя были достояніемъ ученыхъ западной Европы. Докторъ, лѣчившій Огаревыхъ, находилъ, что для возмѣщенія той теплой атмосферы, которой преждевременно былъ лишенъ ребенокъ, его необходимо держать укутаннымъ съ ногъ до головы въ ватѣ; а для того, чтобы укрѣпить его слабенькое тѣлце, надумалъ, какъ самое лучшее средство, дѣлать ванны изъ рома и въ нихъ купать ребенка. Въ тѣ времена казалось, что вино не только укрѣпить мышцы, но и вообще хорошо будетъ дѣйствовать на здоровье малютки, будетъ способствовать спокойному и продолжительному сну. Такого взгляда на успокоительное и полезное дѣйствіе вина въ раннемъ дѣтствѣ придерживалось большинство родителей и воспитателей того времени, придерживается даже и въ наше время, не смотря на энергичные протесты современной медицинской литературы и врачей. Новорожденного Николая Платоновича чуть не съ перваго же дня появленія на свѣтъ начинаютъ, не сознавая того, систематически отравлять винными парами, дурманить его дѣтскую головку и безсознательно развивать любовь къ вину.

Ребенокъ отъ винныхъ паровъ и отъ влаги, которую впитывало въ себя его маленькое тѣлце, разумѣется, пьянѣлъ и, очутившись въ пышной, мягкой, удобной кроваткѣ, быстро засыпалъ. Няня, крѣпостная женщина, мужа которой за какую-то провинность отдали въ солдаты, и бабушка довольны покойнымъ сномъ малютки,—и винныя ванны энергично повторяются изо дня въ день въ продолженіе года, а, можетъ, даже и больше. Ребенокъ привыкаетъ къ постоянному опьянѣнію, пристращается къ запаху рома; этотъ запахъ такъ ему нравится, что онъ, трехмѣсячный малютка, съ жадностью сжимаетъ въ своей крошечной ручонкѣ мокрую губку, напитанную виномъ, и страстно упивается запахомъ рома.

Вотъ гдѣ, можетъ быть, отчасти надо искать причины и начала

¹⁾ Свидѣтельствуетъ Н. А. Огарева и этимъ подтверждаетъ, конечно, что Н. П. Огаревъ родился въ Петербургѣ, а не въ Акинѣ.

любви Огарева къ спиртнымъ напиткамъ, которая сопровождала его со времени юности вплоть до старческихъ годовъ, когда эта любовь перешла въ явный алкоголизмъ.

Г Л А В А В Т О Р А Я.

Большой помѣщичій домъ въ Старомъ Акшинѣ, гдѣ «въ какомъ-то полуснѣ, въ кругу семьи, среди природы», протекало дѣтство Н. П. Огарева и куда переѣхалъ отецъ послѣ смерти жены изъ Петербурга, былъ постоянно полонъ дворовыми, которые послѣ курса ученя въ разныхъ мастерскихъ и школахъ доставляли помѣщику издѣлія всевозможныхъ художествъ и искусствъ. Въ домѣ были изъ крѣпостныхъ и свои музыканты, артисты, живописцы-художники, парикмахеры, столяры, ткачи, повара, садоводы и т. д. Была и своя домашняя мастерская, гдѣ ткались и выдѣлывались тончайшіе шарфы, бѣлыя щали съ узорчатыми бордюрами. Былъ собственный оркестръ музыкантовъ, состоявшій по крайней мѣрѣ изъ пятидесяти человекъ крѣпостныхъ. Не даромъ Платонъ Богдановичъ воспитался въ «пышный вѣкъ Екатерины», его домъ во всемъ блисталъ пышностью и изысканной роскошью. Онъ не иначе садился за столъ, какъ подъ звуки музыки. Оркестръ собственныхъ музыкантовъ долженъ былъ услаждать слухъ помѣщика и для возбужденія аппетита все время играть, пока баринъ съ семьей сидятъ за столомъ; и это не по праздникамъ только, а и по буднямъ—ежедневно.

Не мало находилось дѣла и для крѣпостныхъ художниковъ - живописцевъ. Плоды ихъ трудовъ украшали, а можетъ и сейчасъ украшаютъ, стѣны барскаго дома въ селѣ Старомъ Акшинѣ, теперь уже не принадлежащемъ болѣе фамиліи Огаревыхъ. Тамъ висѣлъ портретъ Елизаветы Ивановны, матери Огарева, сохраняя ея симпатичныя черты, много портретовъ и самого Николая Платоновича во всѣхъ возрастахъ, начиная съ ранняго дѣтства, съ которыхъ онъ выглядываетъ то кроткимъ, задушевнымъ отрокомъ, въ рубашкѣ, съ отложнымъ воротникомъ ¹⁾, то молодымъ человекомъ, съ своей богатой каштановой, густой, кудрявой шевелюрой, съ мечтательной грустью во взорѣ большихъ, сѣрыхъ глазъ, то уже женатымъ человекомъ.

Считая художниковъ, музыкантовъ и ремесленниковъ, всѣхъ дворовыхъ при домѣ было человекъ до пятисотъ и содержаніе ихъ, какъ говорятъ, поглощало весь богатый доходъ съ Старога Акшина. Пышность

¹⁾ Этотъ портретъ „съ отложнымъ воротникомъ“ больше всѣхъ нравился Герцену. Впослѣдствіи Николай Платоновичъ подарилъ его другу, но какимъ-то образомъ этотъ портретъ взяла себѣ графиня N, и теперь неизвѣстно, гдѣ онъ находится.

и роскошь жизни во всякомъ случаѣ не исключала въ отцѣ Николая Платоновича природной доброты и гостепріимства. Онъ былъ очень гостепріимный хозяинъ и большой хлѣбосоль; любилъ задавать гостямъ Лукулловскіе обѣды:

И было время каждый день
Изъ городовъ и деревень
Съѣзжались гости...
.. Храня времянь минувшихъ нравы,
Онъ жилъ вельможей и любилъ
Пировъ затѣйливыхъ забавы;
Свои доходы не щадилъ
И сотни слугъ рядилъ, какъ франтовъ,
Держалъ собакъ и музыкантовъ;
Неистощимъ былъ мшистый кладъ
Душистыхъ винъ въ его подвалахъ,
Достойно царственныхъ палатъ
Сіяла роскошь въ пышныхъ залахъ.
И вотъ къ нему со всѣхъ сторонъ
Съѣзжались гости на поклонъ.

А когда подросла его единственная дочь, когда ей должно было минути семнадцать лѣтъ, онъ задалъ праздникъ на диво:

И въ день дочерняго рожденья
Назначилъ балъ и маскарадъ.

Чего только не было на этомъ балу?

Я былъ тогда въ порѣ блаженной,
Невинныхъ отроческихъ лѣтъ,

говорить Огаревъ въ своемъ произведеніи „Зимній Путь“ ¹⁾; его дѣтское воображеніе было поражено пестротой и разнообразіемъ картины бала:

Все юное воображенье
Прельщало: и толпа людей,
И музыка, и блескъ свѣчей,
И масокъ пестрое движенье,—
Чего тутъ не было, мой Богъ?!
Паяцы, рыцари, цыганки,
Маркизь напудренный, т, рчанки,—
Все нарядилось, кто какъ могъ...

Вотъ какимъ богатствомъ, роскошью, подчасъ даже и весельемъ дышала атмосфера, окружавшая дѣтство Н. П. Огарева. Рядомъ съ такимъ весельемъ и матеріальнымъ довольствомъ въ ней царила и та религіозность, тотъ духъ набожной святости съ соблюденіемъ всѣхъ внѣшнихъ обрядностей, который былъ присущъ нашей старинной русской жизни и который можно было усмотрѣть еще въ дѣдѣ Огарева, Богданѣ Ильичѣ, построившемъ въ Старомъ Акинѣ большую каменную церковь. И отецъ, и бабушка, и сестра Огарева такъ же, какъ и онъ самъ, вплоть до трид-

¹⁾ Стихотворенія Н. П. Огарева. 1856 г. Москва.

цати лѣтъ, были религіозные, богомольные. Бабушка имѣла обычай справлять на дому разныя церковныя службы, нужды нѣтъ, что сельская церковь, построенная дѣдомъ, была тутъ же, неподалеку отъ дома. У нея было заведено, чтобы каждую субботу служилась всенощная на дому и на молитву собиралась бы вся дворня. Въ домѣ имѣлась даже своя молеельня, гдѣ помѣщался большой иконостасъ, передъ которымъ горѣла неугасимая лампада, освѣщая строгіе лики святыхъ, изображеніемъ которыхъ были покрыты всѣ стѣны молеельни.

Я вспомнилъ, какъ у насъ
Давно обычай былъ старинный:
Предъ воскресеньемъ каждый день
Ходилъ къ намъ попъ сѣдой и чинный,
И передъ образомъ святымъ
Молился съ причетомъ своимъ.

* * *

Старушка бабушка моя,
На кресло опершись, стояла,
Молитву шопотомъ твоя,
И четки все перебирала;
Въ дверяхъ знакомая семья
Дворовыхъ лицъ мольбѣ внимала,
И въ землю кланялись они,
Прося у Бога долги дни.

Этотъ религіозный духъ, которымъ были полны обитатели Агшина и который наполнялъ весь домъ, разумѣется, долженъ былъ входить, какъ одинъ изъ основныхъ, необходимыхъ элементовъ и въ воспитаніе ребенка. Дѣтская, гдѣ помѣщалась его кровать и гдѣ онъ спалъ вмѣстѣ съ своей няней, постоянно была освѣщена тусклымъ свѣтомъ лампады, горѣвшей въ углу передъ большимъ кіотомъ. Въ кіотѣ помѣщалось много образовъ разной величины, съ ризами и безъ ризъ, разубранныхъ разноцвѣтными каменьями, золотыми вѣнчиками и увѣшанныхъ маленькими образками. Когда наступалъ вечеръ, когда малютку укладывали спать, въ дѣтскую входилъ отецъ, Платонъ Богдановичъ, благоговѣнно становился на колѣни передъ иконою и усердно молился о здоровьи ребенка, читая вслухъ молитву. Помолвившись, подходилъ къ кровати и благословлялъ сына на сонъ грядущій. По уходѣ барина принималась молиться няня,— о ней Н. П. Огаревъ не разъ вспоминаетъ въ своихъ стихотвореніяхъ.

Я помню свѣтъ лампады томной
Предъ иконою святой,
Онъ озарялъ мой уголь скромный
И мой младенческой покой;
Тутъ няня старая крестилась
Предъ грядущимъ тихимъ сномъ,
И въ землю съ шопотомъ молилась,
И спать ложила потомъ.

Святость настолько была разлита во всемя домѣ, что простиралась даже на мелочи. Напримѣръ, золотая ложечка, съ которой кормили малютку и которая имѣла на концѣ видъ сложенной ручки, заключала въ себѣ частицу святыхъ мощей какого-то угодника. А едва Николай Платоновичъ успѣлъ подрости настолько, что могъ стоять на ногахъ, его заставляли молиться утромъ и вечеромъ, заставляли склонять колѣна передъ кіотомъ въ его дѣтской. Очень рано началось и посѣщеніе церкви, и исполненіе церковныхъ обрядовъ, съ семи лѣтъ онъ уже сталъ ходить на исповѣдь, приучаясь исполнять все принятыя правила говѣнья.

Понятно, что при такой святой атмосферѣ молитвъ, неугасимыхъ лампадъ, молеень, домашнихъ церковныхъ службъ, ребенокъ, крайне чувствительный и впечатлительный отъ природы, можетъ-быть, отчасти вслѣдствіе своего преждевременнаго появленія на свѣтъ, глубоко проникнулся религіознымъ чувствомъ. Онъ рано началъ предаваться сокрушенію о своихъ грѣхахъ. На исповѣди еще ребенкомъ горько плакалъ, раскаиваясь во взводимыхъ на себя прегрѣшеніяхъ. Лишь только выучился грамотѣ, молитвенникъ можно было часто видѣть въ его рукахъ. Каждый день утромъ и вечеромъ онъ молился колѣнопреклоненно, читая по немъ вслухъ молитвы, смыслъ которыхъ ему, конечно, оставался темень и непонятенъ. Надо полагать, около этого времени онъ познакомился и съ Евангеліемъ.

Послѣ этого понятна и та любовь, съ какой онъ встрѣчалъ въ дѣтствѣ такіе торжественные церковные праздники, какъ Свѣтлое Христово Воскресенье, Рождество и т. д.

Когда еще дитей я былъ
И росъ я въ тишинѣ,
Какъ праздникъ Божій я любилъ!
Какъ было сладко мнѣ! ¹⁾

Но не въ дни только торжественныхъ праздниковъ было сладко и радостно ребенку, его раннее дѣтство текло мирно и свѣтло, убаюкиваемое любовью и заботами всехъ окружающихъ.

Легко дышала грудь моя,
Какъ будто ангелы слетѣли
Рукой небрежною меня
Баюкать въ дѣтской колыбели,
И мнѣ младенческіе сны
Живою кистью рисовали
Картину радостной весны ²⁾.

Бабушка, отецъ, гувернантки, многочисленные знакомые родственники, няня, дворовая прислуга, масса приѣзжающихъ въ домъ гостей —

¹⁾ Русская Старина. 1889. Февраль. Стр. 352.

²⁾ Русская Старина. 1888. Декабрь. Стр. 604.

все не переставало глядѣть на ребенка и его сестру, какъ на нѣчто исключительно драгоценное, что нужно тщательно беречь отъ непогоды и бурь, какъ единственныхъ наслѣдниковъ родовыхъ богатствъ, хранителей и продолжателей двухъ старинныхъ родовъ. Дѣтямъ не дають пошевельнуться, ихъ желанія угадываютъ, стараются предупредить, слуги въ попыхахъ бросаются исполнять ихъ требованія. Дѣтямъ смотреть въ глаза.

И какъ должны были испортиться, изнѣжиться, какими высококѣрными должны были выйти эти представители рода послѣ окружавшаго ихъ подбострастїя!

Что случилось въ этомъ отношенїи съ сестрой Огарева—мы подробно не знаемъ, но извѣстно, что это была очень добрая, очень сострадательная женщина; Никодая же Платоновича, съ дѣтства отличавшагося мягкостью и состраданїемъ, уберегла отъ этого и другихъ подобныхъ пороковъ его исключительная, нѣжно чувствительная организация и необыкновенная доброта, которую онъ унаслѣдовалъ отъ матери, и ранняя религіозность въ связи съ раннимъ развитїемъ, а отчасти также и суровый режимъ нѣмца-воспитателя, на руки котораго съ крѣпостныхъ рукъ былъ данъ ребенокъ.

Вплоть до десяти лѣтъ онъ проводитъ вмѣстѣ съ бабушкой и отцомъ все время, то въ Старомъ Акшинѣ, среди деревенскаго простора и широкихъ полей, которыя страстно любилъ, хотя отъ нихъ на него всегда вѣяло грустью;—то въ Москвѣ, на Большой Никитской, гдѣ то и дѣло давались пышные обѣды изъ рѣдчайшихъ, изысканныхъ блюдъ въ родѣ трюфелей или пироговъ, начиненныхъ пѣтушиными гребешками, изъ особыхъ диковинныхъ рыбъ, на эти обѣды собиралась вся высшая московская знать, все высшее духовенство, настоятели монастырей;—то въ Тверское имѣнїе, гдѣ жила другая бабушка Огарева, кроткая, добрая, совсѣмъ не такая строгая, какъ та, которая вела его воспитанїе... Вездѣ та же роскошь и богатство окружали ребенка, котораго въ эти годы почему-то рядили въ лейбъ-гусарскую пунцовую куртку съ золотыми шнурами.

Все время до десятилѣтняго возраста Н. П. Огаревъ проводитъ, если не считать стараго крѣпостного дядьки, который къ нему приставленъ для игръ, почти исключительно на рукахъ женщинъ, что, конечно, способствуетъ еще болѣе развитїю мягкости, чувствительности и нѣжности его и безъ того чрезчуръ мягкой природы, одаренной въ избыткѣ всѣми названными качествами отъ самой природы. Можетъ-быть, этимъ отчасти и объясняется тотъ «женски-тихий, нѣжный нравъ», который составлялъ его отличительную особенность въ послѣдствїи и который онъ самъ въ себѣ признавалъ.

„Одно, что я въ себѣ цѣню,
Основу дружбы нашей вижу,—

писалъ онъ друзьямъ изъ второй заграничной поѣздки,—

(Хоть слабость глупую мою
Всегда бесплодно ненавижу):
То женски-тихий, нѣжный нравъ,—
Не знаю, правъ я иль не правъ ¹⁾).

И только съ десятилѣтняго возраста входить ближе въ его воспитаніе мужской элементъ: съ этихъ поръ на мѣсто няни, которую отъ него удаляютъ, къ нему приставляется въ качествѣ воспитателя тотъ же дядька изъ крѣпостныхъ. Онъ же, этотъ крѣпостной, который ходилъ всегда въ сѣромъ фракѣ, былъ и его первымъ учителемъ грамотѣ: отъ него онъ научился читать и писать. Подъ старость лѣтъ, года за четыре до своей смерти, Н. П. Огаревъ съ чувствомъ теплой любви и благодарности вспоминалъ этого перваго своего учителя, который дѣлилъ съ нимъ его дѣтскія игры и забавы и мастерилъ ему разныя игрушки. Читая стихотворную повѣсть Огарева: „*Господинъ*“, гдѣ въ высшей степени симпатично выводится «согбенной дядька, другъ сѣдой»,—невольно думается, что Николай Платоновичъ описалъ въ ней своего любимца и товарища дѣтства, который такъ говоритъ своему взрослому вынянчанку:

„Ты, сударь, былъ ребенокъ хилый,
Тебя я холилъ и берегъ,
И надышаться-то не могъ!
Бывало лѣто подходило,
Готовлю удочку скорѣй;
Есть вѣтерокъ—спускаю змѣй...
...Такъ было мало ли проказъ!
А ты былъ добренькій у насъ!

Барчукъ и дядька жили въ большой дружбѣ. Дядька при своемъ добромъ и мягкомъ нравѣ имѣлъ одинъ очень большой порокъ: къ вечеру онъ имѣлъ обычай напиваться пьянымъ. Обыкновенно тихій и смирный, подъ вліяніемъ винныхъ паровъ онъ вдругъ исполнялся такой храбрости и смѣлости, что позволялъ себѣ не только вступать въ разговоры съ бариномъ, что уже одно считалось въ ихъ крѣпостныя времена преступленіемъ, но даже,—правда, то случалось уже послѣ того, какъ его вынянчанокъ былъ сданъ на руки строгаго нѣмца,—преисполнялся дерзости: начиналъ учить и наставлять своего господина. Главной темой въ такія минуты у него бывало воспитаніе барчука, которое онъ не одобрялъ, находилъ ненадежнымъ и принимался смѣло критиковать. Онъ прямо въ глаза говорил барину, что дѣло ведется нехорошо, неразумно и т. д., и т. д.

Можно себѣ представить, зная помѣщичьи нравы того времени, что должно было слѣдовать послѣ этого! Какая буря, гроза разражалась въ

1) „Изъ переписки недавнихъ дѣятелей“.

домѣ! Тутъ, можетъ-быть, разыгрывалась одна изъ тѣхъ сценъ, которыя въ тѣ времена считались обычными въ помѣщичьихъ нравахъ, но которыя тѣмъ не менѣе должны были охватывать ужасомъ впечатлительную душу ребенка.

Что жъ ты? учить пришелъ ты что-ли?

вскрикиваетъ помѣщикъ на дерзкаго раба. Но такъ какъ дядька не унижается,

Андрей Потапычъ самъ не свой—
Себѣ подумать не далъ сроку,
Вскочилъ весь бѣшенный и злой
И старика ударилъ въ щеку.
Старикъ ни слова не сказалъ
И только старой головою.
Взглянувъ печально, покачалъ
И вышелъ...

Такъ и, кажется, что эта сцена выхвачена изъ собственной жизни автора. При видѣ такой картины, гдѣ къ тому же страдающимъ лицомъ былъ его любимый старикъ-дядька, у мальчика сердце сжималось, на глазахъ навертывались слезы, и все существо закипало негодованіемъ. Его нѣжная, крайне тонкая и чуткая натура, помимо какихъ-бы то ни было внѣшнихъ вліяній, сама по себѣ, единственно въ силу своей чуткости, обусловленной крайней воспримчивостью нервной системы, рано стала возмущаться безобразіемъ и жестокостью такихъ явленій¹⁾. Съ подобной чуткостью онъ съ самаго дѣтства относился къ несправедливостямъ внѣшняго міра, къ той жестокости и грубости нравовъ, которыя были присущи временамъ и самому строю жизни при крѣпостномъ правѣ. Казалось, словно бы самой природой у него было заложено внутри интуитивное познаніе дурнаго и хорошаго; его душа, необыкновенной глубины, имѣла какъ бы сама въ себѣ эту познавательную силу, этотъ пробный термометръ, устанавливающій границу тепла и холода, дурнаго и хорошаго, добра и зла, присущій тонкимъ, нѣжнымъ организаціямъ, къ какимъ принадлежалъ Огаревъ. Вспоминая впоследствии свое дѣтство, онъ говоритъ, что отца любить такъ, какъ бы хотѣлось, не могъ.

«Онъ, отецъ, любилъ меня. Миръ ему!—писалъ Н. П. Огаревъ послѣ смерти отца къ женѣ. Какъ бы онъ счастливъ былъ, если бы я его любилъ такъ, какъ онъ меня. Я не могъ этого»²⁾.

Изъ всѣхъ же тѣхъ, что смертью взяты,
Я только матери моей
Глубоко чувствую утрату,
Хотя не зналъ ея³⁾.

¹⁾ Тургеневъ то же говорилъ: „Я былъ просто мальчикъ, чуть не дитя. Ненависть къ крѣпостному праву уже тогда жила во мнѣ“. (Вѣст. Европ., 1894. февраль: „И. С. Тургеневъ въ Московскомъ университетѣ“. Стр. 724).

²⁾ Рукописное письмо Н. П. Огарева къ его женѣ, М. Л. Огаревой.

³⁾ „Изъ переписки недавнихъ дѣятелей“.

Бабушка одна и другая должны рисоваться при воспоминаніи только съ обрядовой стороны христіанства, съ пышными обѣдами, при непремѣнномъ присутствіи духовенства; со стороны же вліянія на развитіе чуткаго отношенія къ страдающимъ и униженнымъ, которыхъ образцы онъ видѣлъ ежедневно въ безчисленныхъ дворовыхъ, едва ли бабушки имѣли существенное значеніе. Другое дѣло Евангеліе, воспріятіе его простыхъ и понятныхъ доброму сердцу истинъ, въ связи съ ежедневными картинами крѣпостнаго быта, гдѣ молчаливо страдающій крестьянинъ являлся олицетвореннымъ мученикомъ, обиженнымъ, гонимымъ... и кто же гонители?

Вотъ, можетъ - быть, почему и подъ конецъ лѣтъ Н. П. Огаревъ съ своей кроткой, всепрощающей и понимающей душой отказывался писать свою автобіографію, а заговоривши разъ, по просьбѣ Т. П. Пассекъ, о своей жизни, какъ-то темно сказалъ о людяхъ, окружавшихъ его дѣтство.

„Мнѣ другихъ людей (кромѣ учителей и стараго дядьки) поминать не хочется, не хочется кого-нибудь обидѣть... сказать настоящее слово о комъ-нибудь изъ нихъ я не могу. Миръ праху усопшихъ, не сдѣлавшихъ въ жизни ни хорошаго, ни дурнаго“¹⁾.

Е. Некрасова.



¹⁾ „Изъ дальнихъ лѣтъ“. Т. П. Пассекъ. Т. I. Стр. 264.



Этическое значеніе трагедіи Шекспира *)

Гамильтона Райта Мэби.

Переводъ *А. Веселовской.*

Шекспиръ прежде всего поэтъ; слѣдовательно, весьма неправдоподобно, чтобъ онъ заранѣе продумалъ все философское значеніе своего творчества и выработалъ для себя систематическое міросозерцаніе. Даже Гете, чье проникновеніе въ основные законы искусства столь же ясно и опредѣленно, какъ непосредственна и самопроизвольна его творческая геніальность, былъ прежде всего поэтомъ и затѣмъ лишь критикомъ или философомъ. Есть всѣ причины полагать, что взгляды Шекспира на жизнь выработались у него путемъ постепенныхъ разоблаченій опыта, взвѣшеннаго разумомъ и истолкованнаго привычкою къ размышленію. Такая чуткая и впечатлительная натура должна была сознавать красоту вселенной и разнообразіе, занимательность и юмористическую сторону жизни, какъ чувствовалъ онъ все это въ тѣ годы, когда переживалъ подготовительную пору, и нѣсколько позже, когда писалъ комедіи. Подобная натура, постоянно согрѣтая живой симпатіею къ людямъ, составляющею часть геніальнаго дарованія, неизмѣнно становящаяся глубже, благодаря опыту, и озаряемая геніальною проникательностью, должна неминуемо перейти отъ внѣшности предметовъ къ скрывающемуся за ними нравственному строю и все болѣе и болѣе выяснять значеніе характера въ жизни и судьбѣ людей, какъ это дѣлалъ Шекспиръ въ эпоху созданія имъ историческихъ и чисто-поэтическихъ драмъ.

Если въ эту пору глубокой и мучительной кризисъ совершился въ духовной жизни человѣка, если несчастіе поразило люби-

*) Глава изъ новѣйшей американской біографіи Шекспира, — „William Shakespeare, poet, dramatist and man“ by Hamilton Wright Mabie, New York, 1900.

мыхъ людей, въ которыхъ для него воплощались духъ и геній времени, а само это время, такъ много общавшее и сдѣлавшее сначала, омрачилось бы, какъ день, быстро переходящій въ ночь,—его кругозоръ мало-по-малу расширился и углубился бы, какъ у Шекспира, когда онъ вступилъ въ періодъ писанія трагедій. Въ продолженіе раннихъ лѣтъ его пребыванія въ Лондонѣ онъ неуклонно приближался къ разгадкѣ тайны жизни; въ годы возникновенія трагедій онъ вступилъ въ кругъ этой тайны и былъ ею охваченъ. Онъ писалъ трагедіи, какъ нѣкогда комедіи, потому что творческій импульсъ снизошелъ на него, и потому что драматическая дѣятельность была его призваніемъ, но міровой строй, отражающійся въ его пьесахъ, придавая смыслъ страданіямъ и усиліямъ людей, не менѣе ясно виденъ и не менѣе авторитетно раскрытъ передъ нами оттого, что Шекспиръ не дѣлалъ его опредѣленной цѣлью своихъ художественныхъ попытокъ. Поэтъ сильнѣе моралиста свидѣтельствуетъ объ этическомъ строѣ жизни, потому что его разоблаченія этого строя въ извѣстномъ смыслѣ случайны и непредназначены; воспроизводитъ онъ его не оттого, что рѣшился его разслѣдовать, а оттого, что этотъ строй тутъ, передъ нимъ, и что не видѣть его онъ не можетъ.

Чтобъ Шекспиръ предумышленно и въ духѣ философскаго отрѣшенія отъ жизни изучалъ, по примѣру психологовъ, явленія, добытыя путемъ опыта, и приводилъ въ систему ихъ толкованія, постольку же невѣроятно, поскольку мы понимаемъ его природу. Чтобъ онъ былъ слѣпъ относительно этого строя, не распознавалъ того, что видитъ, и не понималъ того, что говоритъ, чтобъ его умъ былъ просто зеркаломъ, въ которомъ отражался міръ, имъ никогда сознательно не понятый,—еще болѣе неправдоподобно. Когда онъ снималъ драматическую маску, что онъ дѣлалъ по временамъ въ сонетахъ и не разъ въ пьесахъ, въ особенности въ *Троилъ и Крессидъ*, онъ ясно доказывалъ, что понимаетъ значеніе собственной мысли, и что его отношеніе къ великимъ вопросамъ, которыхъ онъ касался, разумно, обдуманно, хотя поэтъ и не всегда раздѣляетъ эти взгляды.

Какъ художнику, ему выпало на долю рѣдкое счастье пользоваться плодами самаго пытливаго изученія жизненныхъ фактовъ, не утрачивая свободной и плѣнительной непосредственности, въ которой кроется все наслажденіе творчества,—обладать знаніемъ психолога, не лишаясь очарованія поэта,—быть одновременно однимъ изъ самыхъ проникательныхъ мыслителей и чарующихъ художниковъ,—ясно понимать глубочайшую правду жизни и пѣть самыя безпечныя и упоительныя мелодіи, точно птица подъ вольнымъ небомъ.

Въ эпоху созданія трагедій Шекспиръ съ полной ясностью высказалъ свой взглядъ на мѣсто и значеніе человѣка среди вселенной. Все его представленіе о важномъ значеніи человѣческой природы основано на

личности,—лозунгъ мышленія западнаго міра и источникъ его творческихъ идей: свободы, отвѣтственности, красоты, принциповъ демократіи, реальности бытового склада, достоинства индивидуальныхъ усилій, личнаго безсмертія. Въ своихъ трагедіяхъ Шекспиръ обработалъ въ драматической формѣ эту центральную концепцію, на основаніи которой со времени Платона складывалась западная мысль. Онъ выводитъ передъ нами отдѣльныхъ людей, въ значительной степени создающихъ свою судьбу по собственной волѣ, вырабатывающихъ свою личность—дѣйствіями, посредствомъ которыхъ идеи и эмоціи переходятъ въ характеръ и преобразовываютъ челоуѣка. Проблема жизни, какъ она представлена въ Шекспировскихъ драмахъ, заключается въ попыткѣ привести индивидуальную волю въ гармонію съ духомъ общественныхъ учреждений, организовавшихся въ семью, церковь, государство, а духъ этотъ въ гармонію съ непреложными принципами справедливости. Результатъ достигается въ трагедіяхъ столкновеніемъ, которое происходитъ между личностью и установленнымъ строемъ, иногда къ ея вреду, иногда же приводя къ усовершенствованію самаго строя,—и моментъ коллизіи является моментомъ трагическимъ. Въ тотъ мигъ, когда внутренняя, субъективная сила челоуѣка прорывается наружу въ видѣ дѣйствія, становится объективною, начинаетъ вліять на другихъ, приводитъ въ движеніе то, что реагируетъ на нее, и измѣняетъ окружающій порядокъ вещей,—Шекспиръ обращаетъ вниманіе на этотъ трагическій характеръ и, посредствомъ столкновения между его волей и строемъ общества и жизни, озаряетъ, точно молніею, душу челоуѣка и видимый или невидимый порядокъ, среди котораго поставлена его жизнь.

Такъ же ясно, какъ Дантъ, хотя и совсѣмъ инымъ способомъ, онъ показываетъ неизбежное воздѣйствіе поступка на того, кто его совершилъ, и этимъ самымъ внезапно освѣщаетъ нравственный строй жизни. Онъ отстранилъ послѣдніе остатки языческаго представленія о рокѣ, показавъ, что характеръ рѣшаетъ судьбу челоуѣка и что «характеръ—единственное точное опредѣленіе для свободы и могущества».

Въ словѣ *характеръ*, т.-е. въ организаціи импульсовъ, эмоцій, воли и поступковъ въ сплоченную, сознательную личность, становящуюся создающею силою въ мірѣ—можно найти ключъ къ шекспировской концепціи жизни и назначенія драматическаго творчества. Если онъ писалъ пьесы, приуроченныя ко вкусу его эпохи и искусно приспособленныя къ ограниченіямъ и возможностямъ современной ему сцены, то онъ создалъ и такія драмы, въ которыхъ сказывается самое тщательное изученіе челоуѣческихъ испытаній и самое точное и полное толкованіе и изображеніе ихъ въ художественныхъ образахъ. Онъ былъ одновременно искуснымъ и практическимъ драматургомъ, съ мастерскимъ знаніемъ дѣла и его составныхъ элементовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ мыслителемъ и первокласснымъ

художникомъ, — а между сочетаніемъ въ одной личности искуснаго человѣка съ геніальнымъ нѣтъ противорѣчія. Если трудно понять и признать многосторонность Шекспира и счастливое въ немъ равновѣсіе непосредственности и разсудочности, то корень этого кроется не въ ограниченной потенціальности человѣческаго ума, а въ отсутствіи фантазіи у читателей. Чудное свойство генія—магическое проникновеніе предмета, не зависящее, повидимому, отъ характера въ своемъ происхожденіи, но широко зависящее отъ него въ достиженіи вполне гармоническаго и подходящаго способа выраженія,—это чудное свойство, никогда не проистекающее изъ какого бы то ни было вида воспитанія, но въ сильной степени обусловленное имъ для свободнаго и полнаго развитія, кажется невѣроятнымъ тому, кто старается свести жизнь и искусство къ ряду формулъ и произвольно дѣлитъ людей на типы, остающіеся всегда послѣдовательными. Шекспира нельзя объяснить формулами или изучать, какъ типъ ума, сложившагося на основаніи строгаго метода; точно такъ же онъ не былъ и непосредственно-творящимъ геніемъ, у котораго великія мысли, безошибочные взгляды, минуты вдохновенной рѣчи зарождаются безъ всякаго отношенія къ его внутренней жизни и не вытекаютъ изъ нея. Не былъ онъ и систематически-образованнымъ работникомъ, проникнутымъ глубокимъ самосознаніемъ, чьи наиболѣе удачныя попытки задуманы на основаніи тончайшихъ правилъ мастерства, а послѣдовательные и устойчивые взгляды на жизнь основательно продуманы, прежде чѣмъ онъ заноситъ на бумагу первые наброски.

Онъ былъ прежде всего и всегда поэтомъ; какъ поэтъ, заслужилъ онъ первое признаніе, и въ поэтическомъ настроеніи и взглядѣ на жизнь нашелъ убѣжище и умиротвореніе, когда миновалъ періодъ созданія трагедій. Въ теченіе тѣхъ лѣтъ, когда драматическіе инстинкты и порывы господствовали надъ нимъ, придавая форму его твореніямъ, его методъ, духъ и отношеніе къ своему призванію были именно тѣ, какіе свойственны поэту. Какъ поэтъ, онъ видѣлъ предметы ясно и прямо, чувствовалъ ихъ со всей свѣжестью и силой непосредственной эмоціи, и инстинктивно открывалъ за фактомъ ту истину, которую этотъ фактъ представляетъ или освѣщаетъ; но эта непосредственная дѣятельность его природы расширялась, углублялась и оживлялась быстрымъ пониманіемъ цѣны и употребленія методовъ и орудій, и привычкою размышлять о томъ, какъ представлялась жизнь въ его воображеніи. Невозможно отдѣлить въ его натурѣ поэтическій и философскій элементъ, отмѣтить тѣ точки, гдѣ кончается процессъ наблюденія и начинается свободная игра фантазіи, разъединить то, что онъ пріобрѣлъ, отъ того, что было въ немъ творческаго, поставить грань между сознательными и бессознательными стихіями въ его жизни и силѣ, разобрать въ его произведеніяхъ между мыслителемъ и поэтомъ. Его творенія съ величайшею ясностью обнаруживаютъ систематическій и глу-

бокій взглядъ на жизнь, послѣдовательно выразившейся въ длинной серіи драмъ: каждая страница ясно отмѣчена печатью мыслителя, но умъ, скрывающийся за этой разнообразной и блестящей работой, есть умъ поэта, а индивидуальность, придающая всему матеріалу красоту, принадлежитъ художнику. Если принять эту точку зрѣнія, гений Шекспира не перестаетъ быть изумительнымъ, но уже не кажется невѣроятнымъ.

Участь критика, пытающагося накинуть сѣть логическихъ опредѣлений на этотъ неуловимый умъ, прелестно изображена Гейне въ отрывкѣ, который полезно запомнить лицамъ, изучающимъ нашего драматурга:

«Послѣ долгихъ размышлений я, наконецъ, заснулъ, и снилось мнѣ, что ночь свѣтла и усѣяна звѣздами, и что я плыву въ маленькой лодкѣ по широкому-широкому морю, гдѣ всевозможныя барки, полныя масокъ, музыкантовъ и факеловъ, скользятъ мимо меня, сверкая и звуча, то вблизи, то вдали. Тутъ были костюмы всѣхъ временъ и странъ, старо-греческія тунники, средневѣковыя рыцарскіе плащи, восточныя турбаны, пастушескія шляпы съ развѣвающимися лентами, маски дикихъ и ручныхъ животныхъ... По временамъ мнѣ кивало знакомое лицо... по временамъ меня привѣтствовали знакомые напѣвы... Но все это быстро проносилось мимо, и только что я прислушивался къ ликующимъ звукамъ веселой мелодіи, доносившейся до меня изъ скользившей мимо барки, какъ они вскорѣ затихали, и вмѣсто бойкихъ скрипокъ рядомъ со мной раздавались съ другой лодки меланхолическіе вздохи волторны. Ночной вѣтеръ доносилъ иногда до моего уха оба звука за разъ, и тогда они сливались въ дивную гармонію... Воды оглашались неслышаннымъ благозвучіемъ, пылали магическимъ отраженіемъ факеловъ, и пестро-разукрашенныя лодки съ ихъ фантастическими масками утопали въ свѣтѣ и музыкѣ... Красивая женщина, стоявшая на одной изъ этихъ барокъ у руля, крикнула мнѣ, плывя мимо: «Неправда ли, мой другъ, тебѣ хотѣлось бы имѣть опредѣленіе шекспировской комедіи?» Не знаю подтвердилъ ли я это, но въ ту же минуту красивая женщина опустила руку въ воду и брызнула мнѣ въ лицо звенящія искры, такъ что раздался всеобщій хохотъ, отъ котораго я проснулся»

Многіе изъ ученыхъ и критиковъ, забывшихъ, что Шекспиръ прежде всего и всегда поэтъ, и подходившихъ къ нему, точно онъ, главнымъ образомъ, философъ, испытали гейневскую неудачу, не утѣшенные его видѣніемъ.

Въ своихъ трагедіяхъ Шекспиръ достигъ высшей точки могущества и искусства; сильнѣе, чѣмъ его историческія драмы, комедіи и романтическія пьесы, онъ производятъ властное впечатлѣніе, простирающееся лишь изъ величайшихъ твореній величайшихъ умовъ и коренящееся въ сознаніи, что въ этихъ мастерскихъ произведеніяхъ изученіе характеровъ въ высшей степени пытливо, а обрисовка ихъ убѣдительна. Если воззрѣнія

на жизнь, лежащая въ основаніи мышленія и дѣйствій западныхъ расъ, здравы, Шекспиръ становится въ этихъ великихъ пьесахъ ихъ главнѣйшимъ истолкователемъ. Въ его драмахъ почти впервые во всей литературѣ роль *дѣйствія* проявилась полно, ясно и точно, и процессъ историческаго развитія очерченъ, не какъ интеллектуальная, а какъ жизненная эволюція. Проблему существованія нельзя разрѣшить усиленіемъ одного ума; люди относятся прежде всего къ жизни не какъ мыслители, а какъ люди, со всѣми свойствами сложной природы, съ инстинктами, аппетитами, страстями, эмоціями, мыслью и волей. Посредствомъ дѣйствій, импульсы и размышленія переходятъ отъ чистой субъективности въ міръ дѣйствительности и становятся опредѣленными, конкретными и потенциальными; черезъ дѣйствіе же они реагируютъ на дѣйствующаго и измѣняютъ или преобразовываютъ существующія условія и учрежденія. На фонѣ природы они создаютъ міръ человѣческой, проявляютъ въ этомъ мірѣ человѣческой духъ, придавая внѣшнюю форму его внутренней и скрытой сущности. Люди перестаютъ быть простыми наблюдателями и какъ бы рефлексорами, становятся созидающею силою, путемъ дѣйствій вступаютъ въ кругъ исторіи и создаютъ ея движеніе. Это дѣйствіе не всегда, быть можетъ, оправдывается положительными результатами, но постоянно раскрываетъ человѣка передъ нимъ самимъ и другими; это возбуждаетъ его силу, освобождаетъ его отъ ограниченій собственнаго опыта, вводя его въ строй вселенной, развиваетъ его личность,—словомъ, открываетъ полный просторъ человѣческому духу, заставляетъ человѣка сознавать свое мѣсто въ жизни и вызываетъ воспитательный процессъ, который дѣлаетъ существованіе понятнымъ, придаетъ ему нравственный смыслъ, драматическій интересъ, и возбуждаетъ безсмертныя надежды. Въ этихъ драмахъ конечныя истины жизни и глубочайшія тайны опыта воплощены въ образы высшей красоты, и яркій свѣтъ озаряетъ вдругъ сердце человѣка, потому что настоящее искусство есть освѣщеніе опыта.

Самое существенное качество шекспировскихъ произведеній, ихъ жизненная сила, ихъ убѣдительная реальность коренятся въ близкой связи съ опытомъ, въ той непосредственности, съ которою жизнь питала живые ключи его природы и источники его искусства. Пониманіе жизни, какъ оно проявилось въ длинной вереницѣ человѣческихъ поступковъ, воздѣйствующихъ на характеры, не только придаетъ этическому значенію его твореній убѣдительную авторитетность, но непрерывно распространяетъ и расширяетъ нормальный и здоровый кругъ человѣческихъ интересовъ за предѣлы произвольныхъ и измѣнчивыхъ границъ, установленныхъ различными школами и смѣняющимися другъ друга поколѣніями моралистовъ. Этическія воззрѣнія Шекспира на жизнь коренились въ реальныхъ фактахъ и обладали широкой и бодрой жизненностью элементарнаго свойства, достаточно обширною, чтобы допустить полное, свободное и нормальное развитіе человѣческаго духа во всѣ

направленія. Для ума, одареннаго такой широтой взглядовъ и глубокой жизненностью, какъ умъ Шекспира, всякій видъ аскетизма являлся не только нарушеніемъ инстинкта, но и извращеніемъ самой природы человѣка; какое бы то ни было отрицаніе значенія плоти казалось настолько же атеистическимъ, какъ и всякое отрицаніе реальности духовныхъ ощущеній. Въ область чисто-духовныхъ импульсовъ и конечныхъ спиритуалистическихъ отношеній Шекспиръ не проникалъ; въ этомъ кроется предѣлъ его творческой силы. Если бъ къ его остальнымъ дарованіямъ присоединилось духовное проникновеніе Данта, онъ былъ бы не только главнымъ, но и полнѣйшимъ истолкователемъ всей жизни человѣческаго рода. Но въ области дѣйствій, гдѣ духовные импульсы и убѣжденія перерабатываются въ характеры, Шекспиръ—великій мастеръ наблюденія и интерпретаціи. Онъ видитъ факты и приводитъ ихъ въ этической порядокъ, и въ этой сферѣ его независимость, уровень его возрѣній, громадное разнообразіе его интересовъ свидѣлствуютъ о широтѣ и значеніи нормальнаго человѣческаго существованія.

Совершенно излишне доказывать, что онъ не былъ пуританиномъ, цитировать изреченія: «я такъ же охотно былъ бы Броунистомъ, какъ политикомъ», или «хотя честность не пуританка, однако она и не вредна; она будетъ носить стихарь смиренія поверхъ черной одежды великаго сердца». По самому свойству своего ума Шекспиръ былъ предназначенъ служить людямъ инымъ способомъ и обреченъ иначе смотрѣть на жизнь. При всей набожности и всемъ величіи души, пуританинъ господствовалъ лишь во время кризиса, былъ человѣкомъ извѣстной эпохи, представителемъ одного фазиса человѣческаго развитія; Шекспиръ же властвуетъ надъ движеніемъ міровой жизни, онъ человѣкъ всѣхъ эпохъ, истолкователь полнаго и свободнаго развитія всѣхъ силъ личности. Поэтому онъ стоитъ не за одни только случайныя высокія проявленія человѣческаго духа, но и за широкое, общее, производительное движеніе, за разнообразную, многостороннюю, великую, плодотворную жизнь, съ полнымъ просторомъ для всѣхъ инстинктовъ, страстей, эмоцій, мыслей и воли. Онъ стоитъ за свободу среди благоустроеннаго міра, гдѣ нормальныя человѣческія способности и желанія должны найти нормальное выраженіе и прижненіе, но гдѣ однако законы, пропорціональность и гармонія между различными частями нашей природы должны быть сохранены, низшее должно подчиняться высшему, индивидуумъ - соблюдать свое мѣсто въ социальномъ строѣ и жизнь общественныхъ учрежденій поддерживаться вопреки частнымъ интересамъ.

Въ подобномъ мірѣ то, что въ пуританскихъ возрѣніяхъ было прочнаго и всеобъемлющаго, сохранится, а все временное и развѣдывающее будетъ отброшено. Это такой міръ, гдѣ эллины и человѣкъ съ темпераментомъ эпохи Возрожденія могли бы ужиться такъ же свободно,

какъ и человѣкъ, проникнутый еврейскимъ духомъ. Изъ этого слѣдуетъ, что этического порядка шекспировскаго міра надо искать въ самомъ строѣ этого міра, а не въ условномъ или сектантскомъ толкованіи и изложеніи его началъ. Нравственность Шекспира есть нравственность основного закона, а не временныхъ правилъ; его честность—это честность неиспорченного, здороваго, стройнаго образа жизни, а не условнаго хорошаго поведенія.

Для такого широкаго ума, какъ умъ Шекспира, никакое иное, менѣе фундаментальное представленіе объ этическомъ порядкѣ жизни не было возможно; онъ глядѣлъ слишкомъ далеко для того, чтобъ признавать какія-либо мѣстныя воззрѣнія на правильность поступковъ или временныя понятія о человѣческихъ обязанностяхъ. Въ его широкомъ представленіи о судьбахъ человѣка суровые и незыблемые предѣлы, которые ставились нравственной отвѣтственности сектантскими моралистами всѣхъ школъ, теряютъ свою авторитетность; громадная сложность опыта, необъятный рядъ жизненныхъ условій, вліяніе учреждений на характеръ, трогательное и нерѣдко трагическое воздѣйствіе на душу обстоятельствъ, оставляющихъ на ней отпечатокъ или пятно, враждебные элементы, борящіеся въ самыхъ благородныхъ характерахъ,—все это придавало сужденіямъ Шекспира большую сострадательность, которая, если онъ и раскрывалъ, не колеблясь, возмездіе, таящееся въ каждомъ дурномъ поступкѣ, дѣлала его осторожнымъ въ произнесеніи нравственнаго приговора надъ виноватымъ. Какъ и всѣ люди, одаренные воображеніемъ и прозорливостью, онъ не могъ не замѣчать присутствія болѣе широкаго движенія, окутывающаго видимый этическій строй жизни. Подобно Гете въ *Фаустѣ* и Готорну въ *Мраморномъ Фавнѣ*, онъ прозрѣвалъ доброе начало въ злыхъ дѣяніяхъ, угадывалъ примиреніе между борющимися элементами, болѣе высокое чѣмъ то, что совершается на тѣсныхъ міровыхъ подмосткахъ. Измѣрить эту глубокую тайну онъ не могъ; ни одинъ человѣкъ этого не сдѣлалъ; она окружаетъ насъ, точно стихія, существованіе которой мы подозрѣваемъ, хотя орудія, служащія намъ для наблюденій, не достаточно чутки, чтобъ ее изслѣдовать. Ея присутствіе не уменьшаетъ авторитета того этическаго строя, среди котораго мы живемъ, и котораго не можетъ избѣгнуть ни единый человѣкъ, но оно должно дѣлать насъ терпимѣе, сострадательнѣе и мягче въ сужденіяхъ и наказаніяхъ.

«Жизнь наша соткана изъ смѣшанныхъ нитей, добрыхъ и злыхъ», говоритъ нашъ драматургъ въ одной изъ пьесъ, наиболѣе смущающихъ тѣхъ моралистовъ, въ которыхъ отсутствуетъ это представленіе о высшемъ порядкѣ. «Наши добродѣтели возгордились бы, если бъ ошибки ихъ не бичевали, а преступленія приходили бы въ отчаяніе, если бъ добродѣтели не питали къ нимъ нѣжности».

Эта широта взглядов даровала Шекспиру высшее проникновение, свойственное великимъ трагическимъ писателямъ, т.-е. ясное сознание присутствія въ жизни посредствующей стихіи. Безъ этого сознанія высшая форма трагедіи недостижима; вѣдь трагедія не только изображеніе трагическихъ событій, но и истолкованіе ихъ значенія. Безъ этого истолкованія, событія являются слѣпыми случайностями, простымъ звѣрствомъ судьбы, лишены стройности, значенія или внушительности. Если взгляды Шекспира на жизнь слишкомъ широки для того, чтобы допускать сужденія о человѣкѣ съ точки зрѣнія условной нравственности, зато и проицательность его слишкомъ глубока и пытлива, чтобы ограничиться наблюденіями надъ рѣзкими столкновеніями противоположныхъ другъ другу принципомъ, силъ и людей. Онъ не могъ обойтись безъ гармоніи въ какомъ бы то ни было родѣ; насиліе въ своемъ разрушительномъ видѣ представляло для него второстепенный интересъ, буря имѣла значеніе лишь потому, что она очищаетъ воздухъ и prepares путь для иного, высшаго порядка вещей. Дѣйствіе отражается на дѣйствующемъ и несетъ съ собою приговоръ, но кара налагается не изъ мести, а открываетъ просторъ для преобразованія характера. Для злодѣя, нарушающаго законы общественнаго строя, истинная трагедія кроется въ самой винѣ, а не въ наказаніи, и величайшее бѣдствіе разражается не тогда, когда кара переносится человѣкомъ, а когда онъ отъ нея уклоняется. Въ этомъ послѣдовательномъ изображеніи неизбѣжности и необходимости трагической катастрофы Шекспиръ находится въ гармоніи съ самыми здравыми религіозными воззрѣніями на жизнь и съ наиболее разумной психологіей. Лишь только личность свободно выступаетъ въ обществѣ, руководимая внутреннимъ сознаніемъ, волею или импульсомъ, поставленная въ необходимость подчинять порывы разуму, аппетиты закону, индивидуальныя желанія общественному благу, какъ цѣлая серія трагическихъ коллизій приходитъ въ движеніе, и передъ взорами встаетъ міръ, полный столкновений.

Эти столкновенія ускоряются, когда личныя страсти, предпочтенія или любовь становятся въ оппозицію съ семьею, какъ въ *Ромео и Юліи* и *Король Лиръ*, или когда личная воля, интересы или страсти человѣка возстаютъ противъ государства, какъ въ историческихъ пьесахъ и въ *Коріоланъ*, *Юліи Цезарь* и *Макбетъ*. Вотъ тѣ двѣ великія категоріи трагическихъ конфликтовъ, съ которыми имѣетъ дѣло Шекспиръ, и его точка зрѣнія всюду послѣдовательна. Грубо и съ колебаніями, общество стремится, однако, къ достиженію гармоніи; учрежденія его часто основаны на несправедливости, искажены въ своемъ примѣненіи или отстаютъ отъ времени; въ каждомъ изъ этихъ случаевъ какой-нибудь видъ столкновенія неизбѣженъ, и это столкновеніе принимаетъ трагическую форму. Учрежденія навязываютъ обществу извѣстный порядокъ; каждый индивидуумъ долженъ примѣняться къ этому порядку и найти себѣ въ немъ мѣсто. Если

же человекъ противопоставить свою волю волѣ всѣхъ, какъ она выразилась въ этихъ учрежденіяхъ, онъ ускоряетъ конфликтъ и становится трагической личностью. Эти конфликты не случайны или мимолетны; они являются результатами работы всего нравственнаго и общественнаго строя и должны поэтому найти свой конечный исходъ въ болѣ глубокой гармоніи.

Таково шекспировское толкованіе трагическихъ коллизій въ обществѣ. Ясность, съ которою видитъ и воспроизводитъ Шекспиръ эти принципы медиации, этотъ процессъ примиренія, и придаетъ именно его трагедіямъ ихъ значеніе, какъ художественныхъ произведеній, и отводитъ нашему драматургу мѣсто среди величайшихъ знатоковъ жизни.





О словѣ Данила Заточника въ его отношеніи къ древней русекой Пчелѣ *).

Слово о Данилѣ Заточникѣ дошло до насъ въ восьми различныхъ спискахъ, изъ которыхъ большинство, именно шесть, принадлежить XVII вѣку, включая сюда и передѣлку Слова по списку Д. Н. Толстого; одинъ списокъ, именно, по Соловецкой рукописи, принадлежить XVI—XVII вѣку, и одинъ, самый древній, списокъ Ундольскаго—XV вѣку. Списки эти настолько разнообразны и различны по своимъ подробностямъ, что дали возможность уже давно установить три извода Слова и къ четвертому изводу отнести особую передѣлку Слова въ XVII вѣкѣ. Существенное различіе двухъ первыхъ изводовъ, которые должны считаться основными при рѣшеніи вопроса о происхожденіи и исторіи Слова, состоятъ въ томъ, что одна группа списковъ упоминаетъ «сына великаго царя Владиміра» и не носитъ на себѣ никакого мѣстнаго колорита, другая группа упоминаетъ «сына великаго царя Всеволода» и отличается мѣстнымъ переяславскимъ колоритомъ и мѣстными подробностями. Историческія справки навели на мысль, что первая группа идетъ отъ основного списка, обращеннаго къ великому князю Юрію Долгорукому, и такимъ образомъ первый изводъ относится по содержанію къ XII вѣку, а вторая группа списковъ идетъ отъ своего подлинника, обращеннаго къ переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу, т. е. принадлежить къ XIII вѣку, отчего и изводъ названъ вторымъ, какъ позднѣйшій. Но дѣло въ томъ, что всѣ списки, составляющіе одну группу, идущую отъ XII вѣка, принадлежать XVII вѣку, а старѣйшій списокъ изъ группы, восходящей къ подлиннику XIII вѣка, у насъ имѣется отъ XV вѣка. Разница въ основныхъ спискахъ той и другой группы существенная: списокъ болѣе древ-

*) Уже послѣ отсылки этой статьи я случайно ознакомился со статьей г. Гуссова въ Трудахъ Одесск. Об-ва Историко-Фил., написанной почти на эту же тему, но думаю, что и послѣ статьи г. Гуссова моя статья не потеряетъ значенія.

нѣй представляется во многихъ мѣстахъ по содержанію позднѣйшимъ, на что указываетъ и его витѣватый слогъ, и мѣстный характеръ, обнаруживающій попытку примѣнить прошеніе бѣднаго заточника съ отдаленнаго сѣвера къ частному случаю переяславской жизни. Такимъ образомъ является мысль о популярности древняго Слова въ XV вѣкѣ, когда уже стали показываться въ разныхъ мѣстахъ, вѣроятно, передѣлки древняго Слова и попытки приспособить его къ частнымъ случаямъ. Пытливая мысль ученыхъ не остановилась на этомъ, и проф. Безсоновъ обратилъ общее вниманіе на то обстоятельство, что ни Юрій Долгорукій, ни Ярославъ Всеволодовичъ собственно не подходятъ подъ нѣкоторыя историческія обстоятельства, на которыя указываетъ авторъ Слова, и рядомъ мѣткихъ соображеній поколебалъ прежнія положенія, выставивъ весьма правдоподобную догадку о томъ, что Слово первоначально было обращено съ озера Лаче, Олонецкой губерніи, къ Переяславскому князю Андрею Владимировичу, скончавшемуся въ 1141-мъ году. Третій изводъ Слова представляетъ изъ себя, напр., въ рукописи Соловецкой, явную компиляцію изъ первыхъ двухъ изводовъ съ претензіей на пополненія и поправки или объясненія, а потому этотъ изводъ и не имѣетъ рѣшающаго значенія въ вопросѣ о происхожденіи Слова. Но, какъ бы то ни было, Слово по своему происхожденію остается прошеніемъ, или моленіемъ о снятіи опалы съ какого-то ссыльнаго Даниїла, который обращается къ разгнѣвавшемуся на него князю изъ мѣста отдаленной ссылки на озерѣ Лаче и проситъ князя смягчить свой гнѣвъ, но прямо просить онъ боится, а потому подходитъ къ этому вопросу издалека и подбираетъ для обрисовки своего положенія различныя выраженія изъ тогдашней популярной литературы и изъ запасовъ собственной памяти, пользуется мѣткими народными притчами или пословицами, и тѣмъ самымъ вводитъ насъ въ кругъ своихъ источниковъ, которыми онъ пользовался при написаніи прошенія. Литературный составъ Слова гораздо яснѣе его происхожденія и тоже нѣсколько разъ обстоятельно разсматривался въ научныхъ сочиненіяхъ. Оказывается, что тѣснѣйшимъ образомъ Слово стоитъ въ связи съ древне-русскими Сборниками, именно, Пчелами, которыя и составляли почти самое распространенное и любимое сочиненіе въ прежнее время, а потому мы, не перечисляя источниковъ слова Даниїла, отмѣтимъ лишь нѣкоторые вопросы, наименѣ затронутые доселѣ или вовсе не затронутые, на которые невольно наталкиваешься при опредѣленіи отношеній Слова къ древне-русскимъ Сборникамъ въ родѣ Пчелы и другихъ, которые представляютъ большее или меньшее сходство въ частяхъ своего содержанія съ Словомъ Даниїла Заточника.

Разсмотрѣніе содержанія Слова Даниїла Заточника въ различныхъ редакціяхъ привело насъ къ тому заключенію, что Слово стоитъ по своему содержанію въ ближайшей связи съ тѣми сборниками, которые на-

зываются «Пчелами». Связь эта такова, что большинство исследователей Слова склонялось къ тому мнѣнію, что Слово заимствовало свое содержаніе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ Пчелы. Изъ всѣхъ исследователей Слова покойный Горскій указалъ на возможность и другого взгляда, именно, что Сборники-Пчелы могли заимствовать и сами нѣкоторыя изреченія изъ Слова. Такая догадка о возможности обратнаго заимствованія, изъ Слова въ Пчелу, весьма правдоподобна въ виду того обстоятельства, что первоначальная редакція ни для русской Пчелы, ни для Слова намъ неизвѣстна. Мы хотимъ полнѣе развить догадку проф. Горскаго, и для этого намъ потребовался подробный пересмотръ содержанія Пчелы въ различныхъ редакціяхъ, или изводахъ. Чтобы доказать, что первоначальная редакція Слова могла дать нѣкоторый матеріалъ для ранней Пчелы, нужно сперва доказать, что Пчела есть произведеніе не цѣликомъ переводное, а заимствованное, какъ и большинство другихъ русскихъ литературныхъ произведеній, т.-е. нужно сдѣлать правдоподобнымъ предположеніе, что Пчела въ Россіи имѣла свою русскую редакцію, приспособленную къ потребностямъ русскаго читающаго общества. Въ понятіе о редакціи входитъ активное участіе редактора, который не только подбиралъ статьи, выпускалъ и сокращалъ въ нихъ то, что ему казалось нужнымъ, но могъ и наполнять редактируемый имъ Сборникъ оригинальными статьями или взятыми изъ извѣстныхъ ему источниковъ. О Пчелѣ можно все это сказать въ виду того, что Пчелы въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ намъ извѣстны, не соотвѣтствуютъ по своему содержанію существующимъ греческимъ сборникамъ подъ названіемъ Пчелъ. Въ подобномъ же положеніи были и другіе сборники, Измарагды и Златоусты, на которыхъ лежитъ печать русскихъ редакторовъ, приспособившихъ эти заимствованныя произведенія къ потребностямъ русской жизни, и которые (сборники) потому не могутъ считаться вполне переводными. Если греческій подлинникъ для русской Пчелы въ такомъ видѣ, въ какомъ она намъ извѣстна, не найденъ, если первоначальная редакція русской Пчелы до насъ также не дошла, а извѣстно только несоотвѣтствіе между содержаніемъ русскихъ Пчелъ и греческихъ, существующихъ и сохраняющихся донынѣ, то возможна постановка вопроса о томъ, что Даніилъ Заточникъ, какъ авторъ такого интереснаго и назидательнаго произведенія, которое разошлось очень быстро въ огромномъ количествѣ списковъ и стало съ любопытствомъ читаться въ разныхъ мѣстахъ, свискалъ громкую извѣстность и показался русскому редактору Пчелы (этого времени приблизительно) достойнымъ того, чтобы нѣкоторыя его мысли внести въ Хрестоматію - Пчелу для общаго назиданія. Ниже мы представляемъ подробный разборъ содержанія Пчелы въ различныхъ изводахъ съ тою цѣлью, чтобы показать, какъ редактировалась Пчела въ Россіи, и какъ редакторъ обнаружилъ свои собственные цѣли при выпускѣ Сборника для чтенія въ русское общество, ни-

сколько не заботясь о соответствіи содержанія и изложенія русской Пчелы съ греческой Пчелой, которая первоначально когда-то подала мысль о составленіи и заимствованіи подобнаго сборника для русскихъ грамотныхъ людей.

Самый обширный трудъ, посвященный древней русской Пчелѣ въ ея сравнительномъ обзорѣннн съ греческими пчелами. принадлежитъ В. Семенову (Сборникъ Отд. рус. яз. и слов. Имп. Ак. Н. Томъ LIV. № 4. 1893 г.). Въ этомъ трудѣ изданъ пергаментный списокъ Пчелы Имп. Публ. Б-ки XIV—XV в. (Ф. п. I, № 44), подведены къ нему варианты изъ шести другихъ списковъ; напечатанъ en regard греч. текстъ *сводный*, при чемъ въ основу греч. текста положенъ списокъ греч. Пчелы изъ Погод. сборника Имп. Публ. Б-ки (гр. № CVIII), и приведены дополненія изъ четырехъ другихъ греч. списковъ и двухъ печатныхъ изданій. Но все-таки греческаго оригинала не представлено ни для одного русскаго списка Пчелы цѣликомъ. Все значеніе труда Семенова заключается въ томъ, что имъ подысканы въ разныхъ греческихъ спискахъ Пчелы почти всѣ мѣста (кромѣ десяти мѣстъ), соответствующія отдѣльнымъ мѣстамъ русскихъ Пчелъ, но оригиналъ русской Пчелы въ ея извѣстныхъ намъ редакціяхъ остается не отысканнымъ, и самая мысль о переводѣ русской Пчелы цѣликомъ въ ея какой-либо редакціи съ греческаго языка — не доказанной. Вообще, трудъ Семенова касается частныхъ, но не затрагиваетъ *общихъ* вопросовъ объ отношеніи списковъ русской Пчелы другъ къ другу и къ спискамъ Слова Данила Заточника. А насъ, именно, интересуютъ эти *общіе* вопросы. Что отношеніе между списками русской Пчелы и списками Слова Данила Заточника было очень близкое, (видно между прочимъ изъ того, что Слово находится въ одной рукописи (Моск. Пуб. Муз. № 195. Ундол.) вмѣстѣ съ Пчелою (Слово—Моленіе).

Отношеніе списковъ и такъ называемыхъ «изводовъ» сборника Пчелы другъ къ другу представляется довольно запутаннымъ и неяснымъ; вопросъ о происхожденіи русской Пчелы не рѣшается существующими исследованиями этого предмета, а между тѣмъ этотъ вопросъ представляется далеко не маловажнымъ въ виду отношенія нѣкоторыхъ статей Пчелы къ статьямъ въ словѣ Данила Заточника. Въ др.-р. литературѣ существуетъ множество сборниковъ, хотя различныхъ названій, но сходнаго содержанія или, по крайней мѣрѣ, съ нѣкоторыми общими статьями, взаимное отношеніе которыхъ и возникновеніе въ сборникахъ остается неяснымъ. Если мы прослѣдимъ составъ разныхъ сборниковъ въ др.-р. литературѣ, составъ Пчелъ, Измарагдовъ, Златоустовъ, то насъ поразитъ прежде всего тотъ фактъ, что во всѣхъ этихъ сочиненіяхъ мы найдемъ много общаго и сходнаго. Такъ, напр., апокрифическій элементъ вошелъ въ составъ всѣхъ этихъ сочиненій, при чемъ Пчела какъ разъ менѣе всего заражена апокрифическимъ вліяніемъ, что весьма важно въ отношеніи вопроса о

ея происхожденіи на Руси и въ Греціи. Къ общимъ чертамъ сборниковъ надо отнести также вопросы о житейскихъ интересахъ, такъ называемые вопросы «о житіи человѣческомъ», о томъ, «како жити христіанамъ». Содержаніемъ этихъ вопросовъ служатъ различныя наставленія въ формѣ связнаго разсказа или въ формѣ отдѣльныхъ изреченій. Пчела въ сущности составляетъ такое назидательное чтеніе, изъ котораго тоже можно вывести мораль, како жити человѣкамъ; это своего рода хрестоматія, и составъ ея долженъ, какъ намъ кажется, непременно предполагать русскаго автора или редактора. По нашему мнѣнію, Пчелу можно удобно сравнить съ сборниками, называемыми Измарагдомъ и Златоустомъ. Не только сами названія «Пчела», «Измарагдъ», «Златоустъ» (въ смыслѣ нарицательномъ) показываютъ, что эти сборники содержали перлы тогдашней литературы, но и само содержаніе раскрываетъ передъ нами то, что статьи въ этихъ сборникахъ собраны и набраны въ Россіи и для русскаго общества. Въ этомъ заключалась самостоятельная работа нашихъ древнихъ литераторовъ, въ этомъ и было ихъ достоинство, что они при своей начитанности легко могли обогащать древне-русскую литературу произведеніями, хотя и не оригинальными въ строгомъ смыслѣ этого слова, но соответствующими потребностямъ русской жизни и вызванными нуждами общества. Въ этой связи древне-русскаго литератора съ современнымъ ему обществомъ заключается, между прочимъ, интересъ изученія произведеній древне-русской литературы. Древне-русскій литераторъ, оригинальный ли онъ, или не оригинальный авторъ,—онъ служитъ общему дѣлу духовнаго просвѣщенія своего общества. Что русскій литераторъ въ древности не могъ быть въ большинствѣ случаевъ оригинальнымъ творцомъ, въ этомъ нельзя его обвинять въ силу условій самой жизни; но и въ неоригинальныхъ трудахъ его мы теперь усматриваемъ общественный элементъ, обнаружившійся своеобразно въ стремленіи служить выразителемъ духовныхъ нуждъ своего времени, и быть полезнымъ современному обществу. Въ самомъ дѣлѣ, при иномъ пониманіи задачъ изученія произведеній др.-р. литературы легко было причислить всѣ эти сборники къ переводнымъ произведеніямъ, не пригоднымъ къ русской жизни, не составляющимъ цѣнныхъ вкладовъ въ р. литературу; легко было при прежней точкѣ зрѣнія счесть все это ненужнымъ хламомъ, которымъ занимались книжники, такъ какъ что-нибудь нужно дѣлать. Вспомнимъ, напр., сужденія Бѣлинскаго въ его «Литературныхъ мечтаніяхъ» 1834 г. Сюда примыкаютъ сужденія и другихъ поклонниковъ эстетической критики. Но изъ исторіи русскаго общества не выкинешь ни одной страницы, если желаешь прослѣдить эту исторію въ ея цѣломъ составѣ и поглубже изучить ее. Подробное изученіе сборниковъ раскрываетъ передъ нами и въ древности общественное значеніе писателя, заставляетъ насъ усматривать руководящую идею въ трудѣ, который потому все-таки остается оригинальнымъ явленіемъ рус-

свой литературы и лишь съ заимствованнымъ сюжетомъ. Такимъ, именно, произведеніемъ представляется намъ Пчела въ томъ видѣ, въ какомъ она была извѣстна въ Россіи. Такимъ же произведеніемъ съ русскимъ характеромъ были и другіе сборники, какъ Измарагдъ и Златоустъ. Въ самомъ дѣлѣ, чего только нѣтъ въ книгѣ Измарагдъ или Златоустъ? Но всѣ статьи имѣютъ цѣлью дать назидательное чтеніе русскому христіанину, который долженъ почерпнуть изъ этихъ статей себѣ указанія и наставленіе. Кому только не приписываются статьи въ этихъ сборникахъ? Онѣ приписываются извѣстнымъ именамъ отцовъ и учителей византійской Церкви, такъ какъ русская литература и не имѣла своихъ оригинальныхъ представителей, да и не могла пользоваться авторитетомъ въ глазахъ читателей, хотя верѣдко и русскій выдающійся проповѣдникъ, если онъ имѣлъ успѣхъ своими проповѣдями, долженъ былъ жертвовать своимъ именемъ для цѣлей автора-редактора и его литературной компиляціи. Наука понемногу вскрываетъ такъ называемые псевдонимы въ русской древней литературѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, можно ли думать, что др.-р. литература своими сборниками преслѣдовала только цѣль познакомить русскую читающую публику съ литературой другого народа и расширить ея кругозоръ? Напротивъ, необходимо допустить, что др.-р. литераторы имѣли болѣе практическую цѣль—наставить или обличить юное русское общество въ его жизни и для этой цѣли они прикрывались громкими именами или вообще чужими и извѣстными имъ. Авторъ касался не только христіанскихъ добродѣтелей, но и общественной и даже частной жизни: вопросъ о женѣ, о челяди, о правдѣ и кривдѣ, о дѣтяхъ входитъ также въ область компетенціи автора-литератора, и онъ прикрывалъ громкимъ именемъ все ему извѣстное по этому вопросу и выпускалъ въ свѣтъ для назиданія. Вопросы фізіологическіе, космогоническіе, зоологическіе, на разрѣшеніе которыхъ у русскаго автора не хватало свѣдѣній, входили также въ сборники подъ извѣстными именами, а иногда и безъ имени, отъ лица автора. Слѣдовательно, имена чужихъ авторовъ въ Пчелѣ не могутъ еще говорить рѣшительно въ пользу перевода цѣликомъ извѣстнаго сборника, а тотъ фактъ, что въ этихъ сборникахъ находятся русскія суевѣрія, доказываетъ и ихъ извѣстную оригинальность. Въ самомъ дѣлѣ, русскія суевѣрія, обличеніе которыхъ находится въ сборникахъ и излагается нерѣдко отъ лица русскаго автора съ подтвержденіемъ также мыслями изъ иностранной литературы, составляютъ явленія русской жизни, а входятъ въ сборники, наполненные иностранной премудрости. «Притчи народныя», находимыя въ Пчелѣ, Измарагдѣ, Златоустѣ, вообще, «мирскія притчи», какъ выражается Даніилъ Заточникъ, такъ же, какъ и обличеніе суевѣрій, заставляютъ думать, что сборники не цѣликомъ переведены съ греческаго, а лишь содержаніемъ заимствованы и не соотвѣтствуютъ подобнымъ сбор-

никамъ въ Греціи, а лишь составлены въ подражаніе имъ, какъ составляются подражательныя произведенія и донынѣ. Напр., почти во всѣхъ этихъ сборникахъ, а также въ словѣ Данила, есть изреченіе о думцѣ умномъ и глупомъ. Что «притча народная» о такомъ думцѣ могла зайти въ Златоустъ послѣ того, какъ эта мысль о думцѣ стала притчей, благодаря которой авторъ ея сдѣлался извѣстенъ, такъ что въ глазахъ другаго русскаго литератора, составлявшаго сборникъ, сдѣлался достойнымъ того, чтобы его мысль помѣстить въ хрестоматію,—это намъ кажется весьма вѣроятнымъ. Эта и подобныя притчи народныя, конечно, не принадлежали народу до тѣхъ поръ, пока не распространились литературнымъ путемъ во многихъ спискахъ. Относительно этой и подобныхъ мыслей кажется намъ вѣроятнымъ предположеніе, что Златоустъ, Пчела и другіе сборники помѣстили это изреченіе послѣ того, какъ оно было написано Даниломъ Заточникомъ. Въ этомъ отношеніи надо согласиться съ покойнымъ Горскимъ. (Опис. сл. рк. Моск. Синод. библ. М. 1862. II, 3 стр. 565). Замѣчательно, что въ Златоустѣ эта мысль о думцѣ приписана прямо «нѣкому Христіюлюбцу», имя котораго авторъ еще не рѣшался выдать, но не рѣшался и затереть чужимъ именемъ, какъ дѣлаетъ Пчела. Ниже мы увидимъ, что Пчела относится къ греческимъ произведеніямъ подобного названія, т. е. къ греческимъ пчеламъ, такъ же, какъ всякое подражательное произведеніе литературы къ оригинальному. Дѣйствительно, анализъ списковъ Пчелы приводитъ насъ къ слѣдующему заключенію: собственно рабскаго перевода греческой Пчелы у насъ нѣтъ, или, лучше сказать, греческій подлинникъ для русской Пчелы не найденъ. Пчелы 1-го извода, по термину Безсонова, указываютъ, вѣдь, и на другіе источники, не только на то, что находится въ Венеціанскомъ изданіи 1680 года. Можно сказать, что основой русской Пчелы послужила Пчела Максима и Антонія, но о рабскомъ переводѣ еще говорить нельзя въ виду оригинальныхъ прибавокъ и того краснорѣчиваго факта, что въ разныхъ изводахъ Пчелы одно и то же изреченіе приписывается разнымъ лицамъ, точно такъ, какъ, напр., въ 1-мъ изводѣ подъ однимъ именемъ соединено то, что приписывалось двумъ разнымъ авторамъ. Трудно допустить, напримѣръ, чтобы наши грамотники не знали Апостола, а между тѣмъ въ 2-мъ изводѣ афоризмъ «лучше жить въ пустынѣ со львомъ, нежели въ домѣ со злой женой» приписывается Апостолу, а въ 1-мъ изводѣ—Соломону. То же можно сказать о массѣ другихъ изреченій, каковы: «Не внимай злѣ женѣ»... «Яко червь въ деревѣ»..., о потворахъ жены, чтò приписывается Апостолу во 2-мъ изводѣ, а І. Златоусту въ 1-мъ. Вообще, во 2-мъ изводѣ подъ именемъ Апостола сведены различныя изреченія, приписывавшіяся въ 1-мъ и 3-мъ изводахъ различнымъ лицамъ. Что Пчела въ Россіи была уже произведеніемъ *русскимъ*, какъ Измарагдъ и Златоустъ, видно изъ того также, что редакторы и переписчики вовсе не интересовались ти-

помъ Греческой Пчелы, а распредѣляли матеріалъ по спискамъ, согласно своему усмотрѣнію: одинъ списокъ опускалъ одно, а другой подбавлялъ другое; одно изреченіе дѣлилось на двѣ части, помѣщаемыя въ различныхъ спискахъ; дѣлилось между двумя лицами; имена собственные превращались въ небывалыя названія, до которыхъ русскому автору и русской публикѣ не было никакого дѣла, лишь бы сентенція была прикрыта чужимъ именемъ, какъ это мы видимъ въ Измарагдѣ и Златоустѣ. Безсоновъ считаетъ Пчелы 1-го извода какъ бы ближе къ греческому подлиннику, чѣмъ переводы другихъ изводовъ, но самъ же говоритъ, что въ древнѣйшемъ переводѣ наша Пчела неудовлетворительна при сравненіи съ греческимъ подлинникомъ; онъ предполагаетъ поэтому, что переводъ былъ сдѣланъ въ Греціи русскимъ, вѣрнѣе малоруссомъ, такъ какъ языкъ Пчелы 1-го извода—книжный русскій, что Пчела прошла черезъ Валахію, Молдавію, Карпаты и Малую Русь, что къ намъ былъ принесенъ списокъ Пчелы изъ Греціи около XIV вѣка, б.-м., даже новгородцемъ Стефаномъ. Но въ этихъ предположеніяхъ много невѣроятнаго; быть-можетъ, это дѣло было такъ: наша Пчела была составлена только по образцу греческой, какъ Измарагдъ и Златоустъ, которые, преслѣдуя иныя цѣли, чѣмъ Пчела, были составлены по образцу греческихъ духовныхъ сборниковъ. Весьма возможно, что Пчела при самомъ первомъ переводѣ съ греческаго на Югъ-Западъ Россіи или гдѣ-нибудь въ Валахіи уже подъ руками перваго переводчика приняла *свою русскую редакцію*, что особенно замѣтно на Пчелахъ 2-го извода, гдѣ осталось только названіе (впрочемъ, и то мѣнялось), а содержаніе совершенно измѣнилось и составилось изъ многихъ русскихъ произведеній. (Напр., статья объ отношеніи дѣтей къ родителямъ какъ и въ Измарагдѣ и въ Златоустѣ). Въ такомъ случаѣ Пчелу трудно считать произведеніемъ вполне переводнымъ. Что *имена* авторовъ для иного русскаго редактора, имѣвшаго свои цѣли, не имѣли значенія, видно изъ того, что въ Пчелѣ 2-го извода составитель всѣ имена выбросилъ и названія сочиненій также. 3-й изводъ приближается къ греческой Пчелѣ въ Венеціанскомъ изданіи 1680 года, но сказать, что это переводъ, какъ говоритъ Безсоновъ, думается намъ, нельзя, хотя составитель и объясняетъ на поляхъ греческія слова, въ родѣ «катогоріи» и друг.; это есть особая рецензія, особый пересмотръ, что также говоритъ и Безсоновъ, такъ что Пчела остается произведеніемъ заимствованнымъ, какъ и вся древне-русская литература, но наиболѣе приспособленнымъ къ русской жизни. Вышеуказанными недостатками, т.-е. путаницей именъ и изреченій, страдаетъ и 3-й изводъ Пчелы. Замѣтимъ, что на заглавномъ листѣ рукописи 1599 года значится, что она переведена съ греческаго и составлена иноками Антоніемъ и Максимомъ, при чемъ приводится предисловіе отъ обоихъ, предупреждающее, что сборникъ Антонія «множае о богословіи», а Максимовъ сборникъ «множайшая отъ внѣшнихъ» и содер-

жить стихи. Что это за переводъ, можно видѣть изъ того, что самъ Безсоновъ называетъ этотъ изводъ особой рецензійей, т.-е. думаетъ, что переводчикъ послѣ перевода вновь просматривалъ рукопись и дѣлалъ измѣненія и поправки. Интересно знать, въ подлинникѣ ли были противорѣчія, какія мы находимъ въ р. Пчелѣ, или это дѣло рукъ и измышлений р. авторовъ. Въ самомъ дѣлѣ, трудно допустить, чтобы въ подлинникѣ, въ сборникѣ Максима, приписывалось то Сексту, что въ сборникѣ Антонія Сираху, а между тѣмъ въ Пчелѣ 3-го извода мы читаемъ изреченіе, которое приписано небывалому Ксексту (вм. Сексту): «на женоу злоу добро есть печаль», въ сборникѣ же Антонія Сираху приписано: «на жену злу добро есть печать». Очевидно, что многое заимствованное переписывалось, не понимаясь, и надъ многимъ заимствованнымъ русскій грамотникъ мудрствовалъ, желая внести какой-нибудь толкъ въ то, чего онъ не понималъ. Въ такихъ мѣстахъ, правда, р. Пчела выдаетъ свой подражательный, но не переводный, характеръ, а во многихъ мѣстахъ она и оригинальна: есть много мѣстъ, много изреченій въ ней, которыя касаются русской жизни и нравовъ. Замѣтимъ еще, что Демокритъ, напр., Максимова сборника 3-го извода Пчелы соответствуетъ Филону Антоніева сборника того же извода и I. Златоусту 1-го извода *сентенція о власти жены надъ мужемъ*. Какъ бы то ни было, но русская Пчела въ дошедшихъ до насъ спискахъ есть уже не переводъ, а русскій типъ того сборника, прототипъ для котораго, б.-м., находился въ Греціи въ очень отдаленное время. Приходится сказать, что Пчела такъ же, какъ и Прологъ, имѣла въ Россіи свою исторію, которая и составляетъ картину превращеній. Названіе главъ въ Пчелахъ почти совершенно соответствуетъ названіямъ статей въ Измарагдахъ и Златоустахъ, а иногда и въ Златой Чепи, какъ, напр., по списку, напечатанному Погодинымъ. Разсмотримъ нѣсколько главъ изъ Пчелъ и посмотримъ, чему онѣ соответствуютъ въ другихъ сборникахъ. Первая глава Пчелы XV вѣка по списку Ундольскаго трактуется «о житейской добродѣтели и злобѣ»; на эту тему собраны различныя изреченія, рядъ которыхъ обыкновенно во всѣхъ главахъ начинается изреченіемъ изъ Евангелія, затѣмъ идутъ изреченія апостоловъ, Богослова, Василя Великаго, Златоуста и друг., иногда приводится мѣсто прямо изъ Патерика (хотя рѣдко), что указываетъ на отношеніе автора къ русскимъ источникамъ: онъ бралъ мудрыя изреченія и примѣры и изъ отечественной жизни и литературы, но имена отечественныхъ литераторовъ не выставлялись такъ смѣло, какъ имена византійскихъ или греческихъ писателей, долженствовавшихъ имѣть большій авторитетъ въ глазахъ читающей русской публики. Такія же статьи «отъ Патерика» находимъ мы и въ Измарагдѣ и Златоустѣ.

Во второй главѣ «о премудрости» мы находимъ много такихъ мыслей, которыя должны признаться ходячими въ русской литературѣ. Весь

вопросъ въ томъ, какъ попали сюда подобныя мысли, какія мы увидимъ не только въ этой главѣ, но и въ слѣдующихъ, трактующихъ «о чистотѣ и цѣломудріи», «о мужествѣ и крѣпости», «о правдѣ», особенно же въ шестой главѣ «о дружбѣ и братолюбіи». Въ этой главѣ, напр., интересны изреченія, которымъ находимъ соотвѣтствіе и въ лѣтописи, и въ словѣ Даниіла Заточника, а потому мы теперь же рассмотримъ отношеніе этихъ изреченій другъ къ другу въ Пчелѣ, Слово Даниіла и въ лѣтописи, а потомъ будемъ продолжать разсмотрѣніе главъ Пчелы. Въ Пчелѣ какому-то Тимонаксу приписывается изреченіе: «оумомъ возможно *вазни* прискати. *вазнъ* ж ума не приобрѣтаетъ», при которомъ неволью припоминаются слова Владиміра въ лѣтописи: «съ дружиной налѣзу злата, златомъ же не налѣзу дружины» и подобныя мысли въ Слово Заточника, напр., въ Толстовскомъ спискѣ: «зане же мужъ злато добудеть, а златомъ людей не добыти». Конечно, здѣсь не можетъ быть вопроса о заимствованіи: есть мысли такія, которыя могутъ принадлежать всему человечеству по своей простотѣ и очевидности, но чего нельзя сказать объ отношеніи Пчелы и лѣтописи, то можно сказать объ отношеніи лѣтописи и Слова Даниіла Заточника. Весьма вѣроятно, что лѣтопись въ значительной степени вліяла на авторовъ позднѣйшихъ подражаній Слово Даниіла, что видно изъ многихъ мѣстъ: напр., изъ даннаго мѣста, изъ словъ, приписанныхъ князю Ростиславу, изъ упоминанія о Святославѣ, о Святополкѣ, о Бонякѣ, о которомъ, кстати сказать, слѣдуетъ думать, что сказанное о немъ слово «судивый», вѣроятно, нужно читать «шелудивый» въ виду лѣтописнаго извѣстія подъ 1096 г., гдѣ онъ названъ «шелудивымъ», а подъ 1097 г. приводится какъ разъ это мѣсто, на которое ссылается Слово Даниіла въ этой редакціи—о хитрости Боняка. (Ср. также слѣдующее мѣсто: «Но паче молваху Бонякови шелудивому во здорвье». П. С. Р. Л. II. XV). Буслаевъ въ своей хрестоматіи не затрогиваетъ этого вопроса, говоря просто, что мѣсть о Святополкѣ и Бонякѣ нѣтъ въ спискѣ Толстовскомъ, въ спискѣ XVII вѣка, т.-е. въ 1-мъ изводѣ. Быть-можетъ, позволительно въ упоминаніи Святополка и Боняка видѣть также и то, что редакція XV вѣка—Ундольскаго—писана гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ какимъ-нибудь переяславцемъ, которому извѣстіе о Бонякѣ было и интереснѣе и ближе знакомо, тѣмъ болѣе, что это событіе—избіеніе угровъ Бонякомъ и подступленіе его къ Переяславлю—касалось его родного города. Если это такъ, то эта черта списка Ундольскаго не принадлежитъ первичной редакціи и привнесена позже въ Слово, когда оно стало примѣняться къ разнымъ случаямъ жизни, потерявъ личный характеръ, характеръ частнаго прошенія. Это могло быть вскорѣ послѣ написанія подлинной первой редакціи, такъ какъ такія Слова быстро разносятся и расходятся въ массѣ списковъ. Кстати, по поводу мѣста о Святополкѣ слѣдуетъ немного остановиться. Дѣло идетъ объ умномъ мужѣ,

который, если и самъ не храбръ, то хорошій совѣтникъ, и на войнѣ онъ незамѣнимъ, какъ умный распорядитель, при которомъ полки не такъ опрометчиво могутъ поступать. Это общая мысль. Но это служить общей мыслью составителя редакціи Ундольскаго. Въ первоначальномъ же видѣ, какъ мы думаемъ, дѣло было иначе. Изъ контекста по сп. Толстого мы видимъ: авторъ Слова воспользовался лѣтописью или, вѣрнѣе, какимъ-нибудь преданіемъ, можетъ-быть, даже замѣткою о Святославѣ Игоревичѣ, замѣткою въ родѣ тѣхъ, изъ которыхъ многія послужили матеріаломъ при составленіи лѣтописи; здѣсь говорилось про храбраго князя; храбрость и значеніе князя на войнѣ авторъ лѣтописи изображаетъ такъ: «поженеть бо единъ сто, а отъ ста двинется тысяща». Авторъ иллюстрировалъ свою мысль, что люди дороже денегъ, а ихъ единодушіе и преданность не купишь деньгами,—примѣромъ Святослава. Этотъ примѣръ идетъ послѣ лѣтописнаго выраженія, приведеннаго выше, и потому и примѣръ Святослава, кажется, лѣтописный. Ниже сейчасъ же авторъ Слова говоритъ: «Дивья за буяномъ кони паствити, а за добрымъ княземъ воевати; многажды бо безнарядіемъ полцы погибають. *Видѣхъ великз звѣрь, а главы не имѣетъ; тако и добрые полки безъ добраго князя погибають...*» Здѣсь смыслъ ясенъ: безъ князя на войнѣ, какъ безъ буяна (?) на паствѣ, получится безнарядіе или какъ бы звѣрь безъ головы. Очевидно, что здѣсь идетъ параллельное сравненіе князя, буяна и головы. Поэтому для «буяна» слѣдуетъ подыскать другое значеніе, чѣмъ это дѣлалось до сихъ поръ, такъ какъ при прежнемъ чтеніи и догадкѣ теряется сила Слова и значеніе князя на войнѣ. Если подъ «буяномъ» подразумѣвать какое-нибудь собственное имя княжяго конюшаго (или просто въ этомъ словѣ видѣть значеніе «храбреца», «удальца»), то смыслъ будетъ вполне понятенъ, и вся рѣчь Заточника будетъ изобличать въ немъ человѣка, близко стоявшаго къ особѣ князя, знакомаго съ домашней обстановкой его, именно, дружинника, которому близко известна и роль князя на войнѣ; тогда Слово Заточника будетъ произведеніемъ, напоминающимъ, именно, о происхожденіи своемъ изъ среды дружины. Это видно и во всемъ Словѣ, видно и въ тѣхъ мѣстахъ особенно, гдѣ авторъ говоритъ о думцѣ, объ умѣ княжескихъ приближенныхъ, о значеніи князя вообще. Да и тонъ Слова изобличаетъ въ авторѣ обширное знакомство съ эпическими народными произведеніями и приготовляетъ во многихъ мѣстахъ какъ бы къ слушанію дружиннаго слова о Полку Игоревѣ, какъ мы увидимъ ниже. Что возможно такое пониманіе слова «буянгъ», видно изъ того, что позже скоро оно стало непонятнымъ: въ Чудовскомъ спискѣ «буянгъ» замѣненъ «дивьяномъ» (понятымъ даже какъ собственное имя), а въ Соловецкомъ спискѣ—замѣненъ «бояриномъ». Списокъ Ундольскаго, если и принадлежитъ по своей редакціи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ болѣе позднему времени, то во всякомъ случаѣ, какъ и списокъ

Толстовскій, довольно близокъ къ подлиннику. Хотя уже въ спискѣ Ундольскаго не все это мѣсто понятно, и многое смято такъ, что видно, что переписчикъ или самъ авторъ этой редакціи недоумѣвалъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Это-то и доказываетъ, что эта редакція ведетъ свое начало отъ болѣе ранней редакціи и представляетъ не подлинникъ, а только списокъ, какъ и списокъ Толстовскій, который въ этомъ отношеніи все-таки ближе къ первоначальной редакціи. По списку Ундольскаго это мѣсто читается такъ: *умѣ мѹ не келми на рати хоробрзъ быкаѣ, но крѣпѣ кз замыслѣ, да тѣмъ добро зекрати мѹдарнѣ дикнѣ ко за бѹманѣ кони пастѣ многажѣ ко и безнаряднѣ полцы погнѣбаѹ аще устакатса полцы крѣпко то аще ѣмѹ ѣ покѣженѹ бѣмъ но крѣпко бнксѣ тѣ покѣгнѣ ѣко стопѣкз...* Это различіе въ двухъ спискахъ въ этомъ мѣстѣ, эти пропуски и замѣны ясно показываютъ, что это мѣсто Толстовскаго списка было непонятно автору редакціи Ундольскаго: оттого выброшены мѣста о князѣ и сравненіе его съ головой звѣря; этого сравненія «видѣхъ великъ звѣрь...» авторъ позднѣйшей редакціи не понялъ, а потому, конечно, и самый смыслъ этого мѣста у него измѣненъ: онъ подыскалъ для своей мысли иллюстрацію въ лѣтописномъ сказаніи о борьбѣ Святополка съ Ярославомъ и, обвиняя Святополка за убійство, все-таки считаетъ его храбрымъ воиномъ. Что это мѣсто заимствовано изъ лѣтописи, видно изъ того, что авторъ прибавляетъ обычное «рече»: «ѣдка снлю кз вѣчерѹ рѣ шдолѣ ѣрослѣ...» И далѣе область сравненія автора расширяется, и онъ находитъ еще подходящий примѣръ въ Боянѣ. (Эти событія въ лѣтописи находятся подъ 1097-мъ годомъ по Лавр. списку). Замѣчательно, что этихъ обѣихъ ссылокъ нѣтъ въ Толстовскомъ спискѣ: это изобличаетъ въ авторѣ редакціи Ундольскаго человека, который не просто пользовался первичной редакціей, а дополнял ее своими примѣрами и ссылками. Составитель редакціи Ундольскаго, имѣвшій, вообще, тенденцію—выставить превосходство ума передъ другими качествами и трактующій ужъ слишкомъ много объ умѣ и умныхъ думцахъ, не былъ доволенъ примѣромъ Святослава,—примѣромъ, который, по нашему мнѣнію, долженъ былъ находиться въ первоначальной редакціи, такъ какъ онъ былъ близокъ автору—перяяславцу: быть - можетъ, ему припомнился рассказъ о перенесеніи Святославомъ столицы въ Переяславль. Замѣтимъ, что въ Толстовскомъ спискѣ о немъ прямо сказано «идый на царя съ малою дружиною», между тѣмъ какъ въ спискѣ XV в. объясняется: «идѣ на цѣрь грѣ съ мѣлою дрѹжїною». Такимъ образомъ, пока для насъ ясно, что въ указанныхъ мѣстахъ Толстовскій списокъ сохранилъ древнѣйшія черты, что онъ носитъ болѣе личный характеръ, чѣмъ списокъ Ундольскаго, въ которомъ многое перешло въ простую красивую

и риторическую фразу. Кроме того, изъ нѣкоторыхъ мѣстъ при сравненіи списковъ Слова Заточника, можно заключить съ значительной долей вѣроятности, что *первоначальная редакція Слова служила матеріаломъ для Пчелы, а позднѣйшія редакціи Слова сами пользовались Пчелой, и собственно въ этомъ и состоитъ главнымъ образомъ отличіе редакцій Слова*: одна пользовалась болѣе посторонними источниками, другая менѣе. Напр., изреченіе о думцѣ, приписываемое въ Пчелѣ (сп. Ундольскаго XV в.). Сократу и встрѣчаемое и въ другихъ сборникахъ, какъ мы выше сказали, находится и въ Словѣ Даниила по Толстовскому списку и въ сп. Ундольскаго, но вездѣ разное. Думаемъ, что это изреченіе, какъ оно стоитъ въ Толстовскомъ спискѣ, принадлежало первичной редакціи и занесено въ Пчелы, а въ редакціи Ундольскаго оно совсѣмъ выброшено, будучи замѣнено выраженіемъ: «и ты, княже, не самъ впадаеши въ печаль, но введуть тя думцы». Замѣнено оно такъ потому, что авторъ редакціи Ундольскаго былъ самъ, какъ кажется, думцемъ. Подобныя изреченія объ умѣ вообще приведены въ Пчелѣ подъ именами разныхъ авторовъ: Діодоръ говоритъ о мудрой думѣ, Харкиій — о силѣ безъ ума, Писагоръ—о богатствѣ безъ ума. Всѣ эти истины могли быть прежде всего почерпнуты др. - русскими грамотниками и изъ Св. Писанія, изъ книгъ Сираха, напр., или изъ Премудрости Соломоновой, изъ Притчей—это былъ ближайшій источникъ свѣдѣній др. - русскаго человѣка; но эти и подобныя изреченія съ теченіемъ времени могли прочитаться книжникомъ и въ греч. Пчелѣ, изъ которой стали вноситься въ русскія Пчелы подъ разными названіями и съ разными вариантами, такъ какъ греческій оригиналъ, по всей вѣроятности, гостилъ въ Россіи недолго или даже и совсѣмъ не былъ.

Въ главахъ о чистотѣ и цѣломудріи, о мужествѣ и крѣпости, о правдѣ Пчела представляетъ намъ немного относящагося къ нашему вопросу о Словѣ Даниила, но и тутъ можно замѣтить, какъ нравственныя сентенціи, христіанскія добродѣтели, знакомыя теоретически др.-р. книжнику изъ основъ проповѣдуемаго новаго вѣроученія, получали особое значеніе, пріобрѣтали убѣдительность и практическій смыслъ, будучи облечены въ форму изреченія отъ имени извѣстнаго писателя, хотя бы и языческаго. Извѣстно, что каждая глава въ Пчелѣ начинается изреченіемъ евангельскимъ, которое подтверждается мыслями свв. отцовъ и затѣмъ языческихъ писателей. Глава о дружбѣ и братолюбіи тѣсно связана по содержанію съ мыслями Даниила Заточника и особенно цѣлесообразно развита на почвѣ отвлеченныхъ сравненій, примѣровъ, нравственныхъ совѣтовъ и проч. Здѣсь подъ именемъ Сократа мы находимъ изреченіе о златѣ, искушающемъ огнемъ, какъ человѣкъ—другъ искушается напастями. Сократово изреченіе, говоря о другѣ, перешло въ Словѣ Заточника въ изреченіе, касающееся вообще человѣка, и это мѣсто, можетъ быть, дѣйстви-

тельно, встрѣчалось въ древнѣйшихъ книгахъ, которыми пользовался Даниилъ, какъ самъ онъ говоритъ. Въ числѣ этихъ книгъ, быть можетъ, была Пчела такого вида, какой до насъ не сохранился. Точно также могли находиться въ этой Пчелѣ изреченія Еврипида (Евридинъ въ Пчелѣ) о друзьяхъ при богатствѣ, Мосхiona—о стяжаніи и дружбѣ, Катона (ср. выше—Сократа) и какого-то епископа, (var. Купсенскій)—о друзьяхъ при власти и отсутствіи ихъ при напасти. Также могли быть извѣстны очень рано и изреченія Соломона о милостыни («не откладывай добраго дѣла»), помѣщенные въ 7-й главѣ Пчелы. Замѣтимъ, что нѣкоторыя имена въ Пчелѣ попадаютъ только однажды, и можно быть увѣреннымъ, что эти имена были для др.-русскаго книжника безъ всякаго значенія, равно какъ и тѣ имена, которыя часто коверкались не только въ разныхъ спискахъ Пчелъ, но и въ одномъ и томъ же, на разные лады.—Осмотрѣвши вкратцѣ составъ Пчелъ, поскольку послѣднія могли имѣть отношеніе къ разбираемому Слову Даниила Заточника и въ первичной и послѣдующихъ редакціяхъ его, а также высказавши свое мнѣніе относительно появленія Пчелы на Руси, мы переходимъ къ обзорѣнью различныхъ списковъ Слова Даниила Заточника, при чемъ, если возможна вышеизложенная постановка вопроса о Пчелѣ, то и самый вопросъ объ отношеніи Пчелы къ Слову Даниила нѣсколько измѣняется.

Прежде всего разсмотримъ отношеніе редакцій Толстовскаго списка и списка Ундольскаго, какъ основныхъ. Изъ сравненія редакцій видно, что ни та, ни другая не была первичной, и весь вопросъ въ томъ, какая редакція ближе къ первоначальной и почему. Въ обѣихъ редакціяхъ есть черты древнѣйшаго типа Слова, какъ мы видѣли выше, и древнѣйшая редакція, т. е. подлинное Слово Даниила, составленное, какъ увидимъ ниже, и какъ доказалъ, по нашему мнѣнію, проф. Безсоновъ, въ Олонецкой губерніи на озерѣ Лачѣ и адресованное въ Переяславль, уже въ самомъ Переяславлѣ сдѣлалось очень скоро извѣстнымъ и распространилось въ нѣсколькихъ спискахъ. Списокъ Ундольскаго есть, именно, одинъ изъ Переяславскихъ списковъ, написанный значительно позже событія и подлиннаго Слова и, быть можетъ, по другому совсѣмъ поводу. Впрочемъ, относительно того, куда было адресовано подлинное Слово, еще ничего наукой не установлено за неизмѣнимъ данныхъ: можетъ быть, въ Переяславль, какъ думаетъ проф. Безсоновъ, а можетъ быть и не туда, такъ какъ мѣсто о Ростиславѣ князѣ (по копенгагенскому списку—о Ярославлѣ), на которое въ данномъ случаѣ ссылается проф. Безсоновъ, можно считать не принадлежавшимъ первичной редакціи, а позднѣйшей вставкой. Въ самомъ дѣлѣ, переяславецъ Даниилъ врядъ ли сдѣлалъ бы такую ошибку въ имени своего князя, назвавши его Ростиславомъ вмѣсто Андрея, если онъ самъ даже обращался къ сказавшему эти слова о Курскомъ княженіи князю Андрею или къ его родственнику. Если вопросъ о мѣстѣ адре-

сованія Слова возбуждаетъ различныя сомнѣнія, то вопросъ о мѣстѣ написанія подлиннаго Слова гораздо яснѣе и разрѣшенъ проф. Безсоновымъ, какъ мы думаемъ, положительно. Замѣчательно, что выраженіе о Переяславлѣ - Гореславлѣ встрѣчается только въ Переяславской редакціи Ундольскаго, и потому это выраженіе проще всего можетъ быть принадлежностью автора этой редакціи—переяславца, думца, дворянина. Точно такъ и примѣръ Святослава есть примѣръ личной храбрости и выбранъ авторомъ Толстовской редакціи по ассоціаціи идей, которая замѣтна въ этомъ мѣстѣ у автора названной редакціи: именно, приводя въ примѣръ Езекиа царя, онъ выписалъ или припомнилъ и аналогичныя слова Владимира Святого и вслѣдъ за этимъ подтасовалъ и примѣръ Святослава. Не такъ поступилъ другой редакторъ (въ спискѣ Ундольскаго): выкинувъ непонятное и ненужное ему мѣсто о Езекиѣ царѣ, онъ оставилъ примѣръ Святослава, примѣръ изъ южной русской исторіи, напоминавшій ему городъ Переяславль, и присоединилъ къ этому примѣру еще два историческихъ же примѣра. Всѣ эти данныя говорятъ въ пользу происхожденія редакціи Ундольскаго изъ Переяславля, но не говорятъ о назначеніи Слова въ Переяславль, а потому служатъ указаніемъ на то, что эта редакція значительно позже самаго событія и подлинника. Между тѣмъ какъ нѣкоторые списки появились въ Переяславлѣ или вообще южнѣе мѣста ссылки Даниила, другіе списки появились на сѣверѣ. Къ такимъ спискамъ можно отнести Толстовскій и Морозовскій списки, въ которыхъ упомянуть Новгородъ: «кому ти есть Новгородъ, а мнѣ углы опали: зане не процвѣте часть моя». О прочихъ спискахъ, въ родѣ Чудовскаго и Соловецкаго, говорить подробно нѣтъ надобности; замѣтимъ только, Чудовской списокъ представляетъ изъ себя какъ бы смѣшеніе двухъ редакцій, держась все-таки ближе редакціи по списку Ундольскаго; вѣроятно, эти списки ведутъ свое начало отъ болѣе поздняго времени. Соловецкій списокъ интересенъ по нѣкоторымъ незначительнымъ подробностямъ и по враждебному тону противъ бояръ, но особенности его вообще не выдающіяся. По отношенію къ двумъ главнымъ спискамъ, къ Толстовскому и Ундольскаго, слѣдуетъ еще замѣнить, что второй болѣе краснорѣчивъ, болѣе рѣчистъ и съ претензіей на поправку въ первомъ спискѣ. Что списокъ Ундольскаго представляетъ намъ образецъ такого автора, который хотѣлъ дополнить и уяснить подлинникъ, терявшій мало-по-малу свой смыслъ и становившійся непонятнымъ, видно изъ того, что самъ авторъ говоритъ о своей работѣ, и изъ того, что онъ повторяется въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Такъ, напр., о себѣ онъ говоритъ, что онъ на рати не храбръ, но на словахъ крѣпокъ: «да тѣмъ избираю сладость словесную, совокупляя аки въ мѣхъ воды морскія и *извѣтія словеса и рѣшенія притчами хитрыми*» и проч. Эти «извѣтія словеса» и «хитрыя притчи» изобличаютъ въ авторѣ искусственность, ораторство и указываютъ на его источники. Этыхъ словъ въ Толстовскомъ

спискѣ нѣтъ. Характерными приемами автора редакціи по списку Ундольскаго служитъ также [то, что онъ обыкновенно говоритъ о себѣ «мы», имѣя въ виду, вѣроятно, всѣхъ Переяславцевъ, и лишь только, когда дѣло идетъ объ его умѣ, онъ говоритъ, что *онъ* не храбръ, но уменъ; между тѣмъ какъ авторъ Толстовской редакціи обыкновенно говоритъ о себѣ «я». О своемъ умѣ и о томъ, что авторъ не храбръ на рати, а равно о начитанности своей онъ говоритъ нѣсколько разъ; очевидно, этотъ авторъ-думецъ, забывъ, что онъ одинъ разъ сказалъ уже объ этомъ, повторяетъ объ одномъ и томъ же еще и другой разъ. Это, конечно, говоритъ намъ о личности автора редакціи по списку Ундольскаго. Подобныя мысли не могутъ быть написаны тѣмъ человѣкомъ, который сохнѣтъ, какъ «трава блещанна», въ заточеніи, въ опалѣ. Кромѣ мелкихъ отличій, интересныхъ въ специальномъ изслѣдованіи Слова Данила Заточника, есть еще интересная особенность общаго характера въ «Моленіи», какъ называетъ авторъ свое слово въ редакціи Ундольскаго, именно, авторъ восклицаетъ: «*мы не умсачи, но когале кз гнѣ своемѣ ксемлѣтникому кнзю Ярославѣ ксеколодскѣчи*». Этого восклицанія въ другихъ спискахъ нѣтъ, и потому оно должно быть признано, согласно вышесказанному, — позднѣйшей припиской, т.-е. припиской того автора, который составилъ всю переяславскую редакцію: это его тонъ, его манера; и весьма возможно, что онъ, именно, имѣлъ въ виду князя Ярослава Всеволодовича.

Что этотъ авторъ приспособлялъ первоначальную редакцію къ своему положенію или, можетъ-быть, просто по образцу Слова Данила составлялъ «Моленіе», видно и изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ редакціи противорѣчатъ другъ другу; такое мѣсто мы имѣемъ въ Словѣ: «*зане ограженъ есмь страхомъ грозы твоея, яко оплотомъ твердымъ*». Это самое авторъ Слова повторяетъ и ниже; ясно, что это пишетъ заточенный, находящійся за твердымъ оплотомъ вслѣдствіе грозы князя. Тѣмъ болѣе, что это единственное повтореніе въ Словѣ одной и той же мысли. Въ Моленіи мы видимъ: *зане не ѡградѣ есмь страхомъ грозы твоея, аки ѡградомъ твердымъ*. Такое противорѣчіе объяснимо только при различномъ пониманіи подлинныхъ словъ автора, при чемъ одинъ (авторъ Толстовскаго списка), вѣроятно, оставилъ слова подлинника, другой здѣсь, какъ и вездѣ, старался ихъ приспособить къ себѣ и упорядочить по-своему. (Слово «оградъ» вм. «оплотъ» ведетъ къ тому же заключенію). Итакъ, кромѣ различныхъ перестановокъ, совершенно другого плана Моленія, чѣмъ Слова, мы видимъ еще и особый элементъ, привнесенный въ Моленіе его авторомъ. Подъ такимъ особымъ элементомъ мы разумѣемъ и обращеніе къ князю Ярославу и вторичное воззваніе помани *мы ѣне великаго црѣя ксеколода*, гдѣ вмѣсто *помилуѣи* стоитъ *помани*, а вмѣсто *ѣне* стоитъ

даже *Гписе*, что явно доказываетъ, что этотъ списокъ не имѣлъ въ данномъ мѣстѣ реального значенія, а передавалъ просто общую формулу воззванія, извѣстнаго изъ Св. Писанія и молитвъ. Къ особенностямъ Моленія надо также отнести эпизоды и вставки о чернецѣ, о комедіантахъ и тѣ пословицы, которыхъ нѣтъ въ Словѣ. Эти особенности не могли принадлежать оригиналу, потому что не имѣютъ отношенія къ дѣлу, о которомъ д. б. просить Заточникъ, и, кромѣ того, вставка о комедіантахъ даже въ редакціи Ундольскаго должна быть признана позднѣйшею, т.-е. даже редакція Ундольскаго первоначально не содержала этой вставки. Что касается отличій, именно, первоначальной редакціи Ундольскаго, т.-е. Моленія, то къ нимъ принадлежатъ, кромѣ переяславскаго колорита, еще намеки *на городскую жизнь и дворянство автора*. Въ первоначальной редакціи Слова, вѣроятно, не было того мѣста, въ которомъ говорится о грабежахъ и несправедливостяхъ князя и княжескаго тиуна: этого мѣста нѣтъ въ Моленіи, чѣмъ оно и древнѣе Слова, и оно не относилось прямо къ цѣли Заточника, а присоединено, вѣроятно, около того времени, когда проникло въ народъ вообще сознаніе несправедливостей княжескихъ тиуновъ. (Ср. напр. извѣстную пѣсню о Щелканѣ Дудентьевичѣ). Точно такъ же поздней вставкой нужно считать вставку о чудесной исторіи Слова, которой нѣтъ ни въ одномъ спискѣ, кромѣ Толстовскаго. Эта вставка, равно какъ и вставка о комедіантахъ, предполагаетъ извѣстное чужеземное вліяніе. Трудно, конечно, сказать, когда, именно, Слово Заточника приняло характеръ повѣсти, какихъ много было въ средніе вѣка и какихъ много пришло къ намъ черезъ Польшу, но, кажется, вѣроятно предположеніе, что Слово, теряя мало-по-малу свой частный, личный характеръ, становилось *ходячей повѣстью*. Что же касается вставки о злыхъ женахъ, то эта вставка русскаго книжника, которому могъ впервые попасться подлинникъ, т.-е. эта вставка могла появиться въ очень раннее время, какъ извѣстное и распространенное во всей др.-русской литературѣ, даже приписываемое въ своихъ частяхъ языческимъ философамъ сочиненіе. Эта вставка получила особую окраску, смотря по мѣстности составленія редакціи Слова. Такъ, напр., Моленіе относится къ злой женѣ нѣсколько иначе, чѣмъ Слово.

Интересно, напр., что Копенгагенскій списокъ адресованъ къ новому князю «Ярославу Володимировичу». Очень понятно, что случаевъ просить князя о пощадѣ было много, и съ этой стороны каждый списокъ Слова, обращенный къ иному князю, долженъ въ этомъ отношеніи составлять и новую редакцію, которая брала за образецъ извѣстное Слово Данила. Справедливость этой мысли доказана нашими заглавіями разныхъ списковъ. Такъ, напр., Копенгагенскій списокъ озаглавленъ такъ: «Слово Данила Заточеника *еже списа* къ своему князю Ярославу Володимировичу»—XVII вѣка. Каждый проситель писалъ къ своему князю и оставлялъ все-

таки свое прошеніе подъ названіемъ «Слова Данила Заточника», такъ какъ бралъ его себѣ за оригиналь. Переяславскій списокъ извѣстенъ по рукописи Ундольскаго XV вѣка да еще пожалуй по Соловецкой рукописи и Чудовской. Чудовская озаглавлена опять иначе: «*Посланіе* Данила Заточенаго къ великому кнѣзю *Дрославу* *Всеволодичю*». Но и этотъ списокъ не строго слѣдуетъ оригиналу, хотя, конечно, принадлежитъ одной семьѣ — Моленію, но, б. м., списокъ не Переяславскій, а какой-нибудь другой мѣстности. Общая черта Моленій та, что они состоятъ изъ отдѣльныхъ прошеній, при чемъ каждое начинается воззваніемъ: *кнѣже мой гдѣне*. Но этотъ списокъ и позже и хуже списка XV в. и, вѣроятно, не имѣлъ особаго значенія, кромѣ литературнаго: здѣсь вм. «Буянъ» стоитъ «Дивьянъ», но примѣры Святополка и Боняка, а равно переяславскій колоритъ удержанъ точно. Обратимъ вниманіе, что этотъ списокъ не называетъ Всеволода *царемъ*, а называетъ его княземъ: это поздняя поправка этого списка, точно такъ какъ Копенгагенскій списокъ называетъ Владимира *княземъ*. Интересно то, что Чудовской списокъ допускаетъ слѣдующее толкованіе: авторъ его имѣлъ подъ руками обѣ редакціи—Слова и Моленія,—или зналъ о Даниловомъ подлинномъ Словѣ по памяти: здѣсь читаемъ: «кому Переславль, а мнѣ Гореславль; кому боголюбиво, а мнѣ горе лютое. Кому Белоозеро, а мнѣ черные смолы. Кому Лаче озеро, а мнѣ много плача исполнено». Отсюда мы въ правѣ заключить, что Даниилъ дѣйствительно *сидѣлъ* на Лачѣ озерѣ, такъ какъ данный списокъ, повторяя буквально слова Даниила общаго характера, побоялся повторить его слова: «*а мнѣ на немъ сядя*» и послѣднюю фразу переименовалъ. Кромѣ того, изъ этого же списка можно догадаться, что Любово или Боголюбиво упоминалось и подлинникомъ Даниилова Слова. Это Боголюбиво заслуживало бы особаго изслѣдованія и, быть можетъ, указало бы намъ точнѣе адресата. Вообще, эти списки показываютъ, что Слово сдѣлалось любимымъ чтеніемъ, повѣстью, и быстро распространилось во множествѣ списковъ, при чемъ одна редакція оказывала вліяніе на другую, одинъ списокъ на другой, какъ показываетъ исторія Слова по спискамъ. Странно звучитъ въ Чудовскомъ списокѣ непонятное, какъ видно, мѣсто Моленія: *не лѣпо Ѹ свини кз но здрехъ рсмъ златы*, такъ на холопе порты дороги. Я думаю, что это изреченіе, не бывшее въ подлинникѣ и заимствованное Моленіемъ изъ Пчелы, гдѣ оно приписывается то Апостолу, то Приточнику, смутило писца словомъ *оусермъ зь*, которое вѣрно не было понятно, такъ что слово *рсмъ* Чудовскаго списка представляетъ только вторую половину слова *Ѹсермъ зь*. Такіе курьезы встрѣчаются часто при перепискѣ др.-р. грамотниковъ, и Соловецкій списокъ тоже не обошелся безъ нихъ. Замѣтимъ, что, вообще, холопство и боярство составляютъ принадлежность редакціи Моленія, авторъ котораго, какъ мы сказали,

былъ, вѣроятно, переяславскій дворянинъ. Слово *оусердъ*, быть-можетъ уже и не употреблялось въ XVII вѣкѣ, равно какъ «нетопырь» могло не быть принадлежностью лексикона автора Чудовского списка, и онъ поставилъ слово «сычъ». Авторъ Чудовского списка—не рабъ своего оригинала, а иногда и толкователь: такъ, онъ уясняетъ немного темное мѣсто о рытирахъ и магистрахъ и проч., употребляя слово «коврѣли *аръзи*», подъ которымъ, быть-можетъ, позволительно понимать «фряжскихъ кавалеровъ», т.-е. рыцарей—*chevalier, cavaliero*. Также мѣсто изъ «народной притчи» уяснено тѣмъ, что вмѣсто непонятнаго «колибасна» въ списокѣ Ундольскаго здѣсь стоитъ «колбаса», а Соловецкій списокъ совсѣмъ уяснилъ эту притчу или, лучше сказать, комментировалъ: «не добра словеса продолжена, добра *колбаса предложена на блюдо*». Вотъ съ какими варіаціями, вставками и прибавками встрѣчается позднѣйшая передѣлка Слова! Слово о злыхъ женахъ выпущено въ Соловецкомъ списокѣ, но въ виду прямо испорченности и передѣлки этого списка, характеръ которой онъ на себѣ носить (что видно, напр., изъ замѣны слова «курское» словомъ «руское», слова «буянь»—словомъ «бояринъ»), мы ограничимся указаніемъ того факта въ немъ, что этотъ списокъ отличается оппозиціей противъ бояръ и обращается къ князю Владимиру, хотя ниже въ немъ значится Ярославъ Всеволодовичъ. Теперь обратимъ вниманіе еще на конецъ Толстовскаго списка, чтобы возстановить по возможности первоначальный текстъ Слова. Послѣ вставки о злыхъ женахъ авторъ этого списка говоритъ: «Еще возвратимся на предняя словеса». Эти слова, по нашему мнѣнію, показываютъ, что авторъ списка прервалъ слова подлинника своей вставкой. Далѣе авторъ продолжаетъ говорить отъ себя въ 1-мъ лицѣ ед. числа, какъ онъ говоритъ вообще, и признается князю, что въ его Словѣ много заимствованнаго изъ другихъ книгъ, что онъ самъ необразованъ и проч. Весьма возможно, что въ подлинникѣ и этихъ словъ не было, что Слово кончалось гораздо раньше, но во всякомъ случаѣ характеръ Слова доказываетъ, что, дѣйствительно, автору была знакома хорошо отечественная литература и народныя преданія того времени. И это обстоятельство заставляетъ насъ признать вышеуказанное сознаніе въ невѣжествѣ подлиннымъ, принадлежавшимъ самому Даниилу. Далѣе, уже позднѣйшій авторъ говоритъ: «Сіи суть словеса, да не уже много глаголю». Эти слова, несомнѣнно, принадлежатъ автору позднѣйшей редакціи, и ими онъ хотѣлъ показать, какія слова онъ переписалъ изъ подлинника, и какія слова Даниила оставалось еще ему переписать или заимствовать; вотъ онъ и говоритъ: «Сіи суть словеса». Послѣ этого онъ прямо рассказываетъ исторію Слова, начиная такъ: «Сіи словеса азъ Данилъ писахъ» и проч. Конечно, эта приписка вызвана преданіемъ о Даниилѣ и принадлежитъ автору Толстовской редакціи. Авторъ только хорошо не помнилъ, гдѣ былъ заточенъ Даниилъ: на Лачѣ, или на Бѣлѣ-озерѣ, и

поставилъ второе вмѣсто перваго. Сказавъ объ этомъ, чтобы не забыть, авторъ Толстовскаго списка продолжаетъ слова Данила: «не отменяй безумному прямо безумія его, да не подобенъ ему будешь». «Уже бо престану глаголати, да не буду яко мѣхъ утель, рана богатство убогимъ»... Замѣчательно, что эти слова, какъ нельзя болѣе, подходятъ къ тому мѣсту, на которомъ остановился авторъ, списывая подлинныя слова Данила и говоря, что онъ «не отъ своего рязума, но отъ Божія промысла» писалъ князю. Далѣе должно идти прямо пожеланіе князю: «Господи, дай же князю нашему силу Самсонову» и т. д. Слова же о мирскихъ притчахъ, вѣроятно, въ этомъ мѣстѣ вставлены позднѣйшимъ авторомъ, такъ какъ, именно, мирская притча эта (о паволокѣ—«колбасѣ» Чудовскаго списка и проч.) представляетъ поговорку или пословицу, какихъ, напр., въ редакціи Ундольскаго еще больше.

Такимъ образомъ, мы видѣли, такъ сказать, тѣ наслоенія, которыя нарастали съ теченіемъ времени и подъ руками разныхъ редакторовъ на Слово Данила; послѣднее въ подлинникѣ было, какъ можно утверждать съ увѣренностью, далеко не такимъ пестрымъ по своему содержанію, какъ его позднѣйшія подражанія, но и подлинникъ, какъ мы видѣли, изобличаетъ въ авторѣ пользованіе различными источниками какъ письменными, такъ и устными. Изъ книжной литературы Данилу навѣрное было извѣстно хорошо Св. Писаніе, а, быть можетъ, и Пчела по тому изводу, который до насъ не дошелъ и который даже могъ еще и не называться Пчелой. Данилу, вѣроятно, было извѣстно также Слово Θεодосія о пьянствѣ. Вообще же Данилу были извѣстны далеко не всѣ источники, которыми пользовались авторы позднѣйшихъ подражаній. Знакомство Данила съ народной словесностью также достовѣрно: ему были извѣстны пословицы и преданія, (напр., о родѣ) или мірскія притчи, плачь Адама, Голубинная книга и нѣкоторыя былины, напр., о Вольгѣ Святославичѣ, въ которой высказываются пожеланія, подобныя пожеланіямъ Данила своему князю. Болѣе обширное знакомство съ народной словесностью, а равно и съ апокрифами, замѣчается въ позднѣйшихъ авторахъ, которымъ, кромѣ источниковъ Данила, были еще извѣстны сказанія о трясавицахъ, апокрифъ о Ноѣ, который они, несомнѣнно, имѣли въ виду, когда говорили: «Лутчи есть *въ утль лодыть по водь пздити*, нежели злѣ женѣ тайны повѣдати», далѣе,—Бесѣда трехъ святителей, стихъ о Голубинной книгѣ (или Физиологъ съ его страфилію птицей), а равно предполагается общее знакомство съ библейскою исторіей, быть можетъ, по духовнымъ стихамъ.

Позднѣйшіе списки дѣлали еще другія вставки, свидѣтельствующія о новыхъ источникахъ; напр., въ Копенгагенскомъ списокѣ одно мѣсто совершенно напоминаетъ заговоръ: «Аще который мужъ смотритъ на красоту женскую и на ея ласковыя словеса [и льстивыя дѣла ея], (а дѣлѣ

ея не испытаетъ), то дай Богъ ему трясавицею болѣти [«да будетъ проклятъ» — прибавляетъ Копенгагенскій списокъ].

Такимъ образомъ, изъ разсмотрѣнія Пчелы и списковъ Слова Данила Заточника мы выводимъ слѣдующія положенія: 1) Первоначальная подлинная редакція Слова утеряна, до насъ дошли только болѣе или менѣе поздніе списки Слова, представляющіе передѣлки подлинника, стоящія въ извѣстномъ отношеніи къ предполагаемому подлиннику. 2) Подлинникъ представлялъ произведеніе частнаго, личнаго характера и былъ значительно проще по содержанію и составу, чѣмъ дошедшіе до насъ списки. 3) Подлинникъ рано потерялъ личный характеръ и быстро распространился во множествѣ списковъ въ разныхъ мѣстахъ съ различными дополненіями, осложнившими первоначальный составъ Слова. 4) Подлинникъ, вѣроятно, былъ писанъ съ озера Лаче въ Переяславль къ переяславскому князю Андрею Владимировичу (1132—1141 г.), какъ предполагаетъ проф. Безсоновъ. 5) Литературный составъ подлиннаго Слова былъ гораздо менѣе сложенъ, чѣмъ позднѣйшія подражанія. Подлинникъ предполагаетъ знакомство автора съ немногими сравнительно литературными произведеніями древняго времени, и разсмотрѣніе списковъ и изводовъ Пчелы, къ которой стоятъ по содержанію очень близко позднѣйшія подражанія Слову, наводятъ насъ на мысль, что въ Пчелу могли войти нѣкоторыя изреченія изъ подлиннаго Слова, а Пчела, въ свою очередь, могла послужить матеріаломъ для позднѣйшихъ подражаній Слову. 6) Сборникъ Пчела, должно быть, произведеніе не цѣликомъ переводное въ русской литературѣ, а заимствованное, какъ и другія произведенія др.-русской литературы, и очень рано приспособленное къ потребностямъ русской жизни и грамотной публики, т.-е. произведеніе вполне русской редакціи и потому въ извѣстномъ отношеніи оригинальное, а не переводное. 7) Исторія Слова показываетъ, что одна его редакція вліяла на составленіе другой, и авторы позднѣйшихъ редакцій имѣли въ виду и болѣе раннія подражанія Слову. 8) Авторы подражаній Слову вносили свои добавленія, пользуясь различными источниками и, между прочимъ, авторъ редакціи списка Ундольскаго XV вѣка пользовался лѣтописью. 9) Списокъ Ундольскаго, вѣроятно, представляетъ редакцію переяславскую, какъ говоритъ проф. Безсоновъ. Наконецъ 10) Древнія черты, принадлежащія подлиннику Слова, находятся не въ древнѣйшемъ спискѣ Ундольскаго, а скорѣе въ болѣе позднемъ спискѣ Толстовскомъ, но и послѣдній представляетъ не во всѣхъ частяхъ ближайшую и точную копію подлинника.

Евгеній Будде.

Казань. 1901 г.
15 января.





Отрывокъ изъ драмы Кальдерона

«ЖИЗНЬ ЕСТЬ СОНЪ».

(La Vida es sueño, Jornada primera, escena II).

*Сехисмундо, въ башнѣ. Росаура, Кларинъ *).*

Сехисмундо.

О, я несчастный! Горе мнѣ!

Росаура.

Какой печальный слышу голосъ,
Онъ замираетъ въ тишинѣ
И говорить о новыхъ бѣдахъ.

Кларинъ.

И возбѣщаетъ новый страхъ.

Росаура.

Кларинъ, бѣжимъ отъ этой башни.

Кларинъ.

Я не могу: свинецъ въ ногахъ.

Росаура.

Но не горитъ ли тамъ неясный,
Какъ испаренье слабый, свѣтъ,

*) Сехисмундо, принцъ польскій, по замыслу драмы, былъ съ дѣтства вверженъ въ темницу, ибо звѣзды возвѣстили, что его царствованіе будетъ бѣдственнымъ.

Звѣзда, въ которой бьются искры,
Но истинныхъ сіяній нѣтъ?
И въ этихъ обморочныхъ вспышкахъ
Какой-то сумрачной зари,
Въ ея сомнительномъ мерцаньи
Еще темнѣе тамъ внутри.
Я различаю, хоть не ясно,
Угрюмо-мрачную тюрьму,
Лежитъ въ ней трупъ живой, и зданье
Могила темная ему.
И, что душѣ еще страшнѣе,
Цѣпями онъ обремененъ,
И, человекъ въ одеждѣ звѣря,
Тяжелымъ мѣхомъ облеченъ.
Теперь ужъ мы бѣжать не можемъ,
Такъ встанемъ здѣсь, и въ тишинѣ
Давай внимать, о чемъ скорбитъ онъ.

(Створы двери раскрываются, и предстаетъ Сехисмундо, въ цѣпяхъ, покрытый звѣриной шкурой. Въ баинѣ виденъ сѣтъ).

С Е Х И С М У Н Д О .

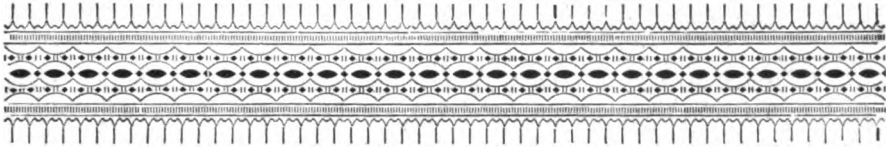
О, я несчастный! Горе мнѣ!
О, небо, я узнать хотѣлъ бы,
За что ты мучаешь меня,
Какое зло тебѣ я сдѣлалъ,
Впервые свѣтъ увидѣвъ дня?
Но разъ родился, понимаю,
Въ чемъ преступленіе мое:
Твой гнѣвъ моимъ грѣхомъ оправданъ,
Грѣхъ величайшій—бытіе.
Тягчайшее изъ преступленій—
Родиться въ мірѣ. Это такъ.
Но я одно узнать хотѣлъ бы,
И не могу понять никакъ.
О, небо, если мы оставимъ
Вину рожденья въ сторонѣ,
Чѣмъ оскорбилъ тебя я больше,
Что кары больше нужно мнѣ?
Не рождены ли всѣ другіе,
А если рождены, тогда
Зачѣмъ даны имъ предпочтенья,
Которыхъ я лишенъ всегда?

Родится птица, вся—какъ праздникъ,
Вся красота и быстрый свѣтъ,
И лишь блеснетъ, цвѣтокъ перистый,
Или порхающій букетъ,
Она ужъ мчится въ вольныхъ сферахъ,
Вдругъ пропадая въ вышинѣ:
А съ духомъ болѣе обширнымъ,
Свободы меньше нужно мнѣ?
Родится звѣрь, съ пятнистымъ мѣхомъ,
Весь—разрисованный узоръ,
Какъ символъ звѣздъ, рожденный кистью,
Искусно-мѣткой съ давнихъ поръ,
И дерзновенный, и жестокий,
Гонимый вражеской толпой,
Онъ познаетъ, что беспощадность
Ему дарована судьбой,
И, какъ чудовище, мятется
Онъ въ лабиринтной глубинѣ:
А лучшему въ своихъ инстинктахъ,
Свободы меньше нужно мнѣ?
Родится рыба, что не дышитъ,
Отбрось грязей и травъ морскихъ,
И лишь чешуйчатой ладью,
Волна въ волнахъ, мелькнетъ средь нихъ,
Уже кружиться начинаетъ
Неутомимымъ челнокомъ,
По всѣмъ стремится направленьямъ,
Безбрежность мѣряя кругомъ,
Съ той быстротой, что почерпаетъ
Она въ холодной глубинѣ:
А съ волей болѣе свободной,
Свободы меньше нужно мнѣ?
Ручей родится, извиваясь,
Блестя, какъ ужъ, среди цвѣтовъ,
И чуть серебряной змѣю
Мелькнетъ по зелени луговъ,
Какъ онъ напѣвомъ прославляетъ
Въ него спѣшашіе взглянуть
Цвѣты и травы, межъ которыхъ
Лежитъ его свободный путь,
И весь живетъ въ просторѣ пышномъ,
Слагая музыку веснѣ:

А съ жизнью болѣе глубокой,
Свободы меньше нужно мнѣ?
Такою страстью проникаясь
И разгораясь какъ вулканъ,
Я разорвать хотѣлъ бы сердце,
Умѣрить смертью жгучесть ранъ:
Какая жь это справедливость,
Какой же требуетъ законъ,
Чтобъ человѣкъ въ существованьи
Тѣхъ преимуществъ былъ лишень,
Въ тѣхъ предпочтеняхъ самыхъ главныхъ
Былъ обдѣленнымъ навсегда,
Въ которыхъ взысканы Всевышнимъ
Звѣрь, птица, рыба и вода?

К. Бальмонтъ.





Исторія одного литературнаго сюжета.

По поводу разсказа графа Льва Толстого „Чѣмъ люди живы“¹⁾.

Научная исторія литературы, широко пользуясь приемами сравнительно-историческаго метода, прочно установила фактъ взаимнаго литературнаго общенія народовъ; она доказала съ полной наглядностью, что одни и тѣ же литературные сюжеты нерѣдко подолгу обращаются во всемирной литературѣ, являясь въ разнообразныхъ формахъ и видоизмѣняясь подъ вліяніемъ условій времени и мѣста. Каждая страна, каждая эпоха налагаютъ на литературное произведеніе свои неизгладимыя краски, а сюжетъ въ главномъ и общемъ остается все тѣмъ же, и недаромъ еще Вальтеръ Скоттъ замѣтилъ, что умственный капиталъ человѣчества, пущенный въ литературное обращеніе, далеко не такъ великъ, какимъ онъ представляется съ перваго взгляда: то, что въ одномъ періодѣ было мимолетнымъ, порешло въ романѣ позднѣйшаго поколѣнія, а еще позднѣе—въ дѣтскую сказку; или сказка становится трагедіей, потомъ поэмой или повѣстью. Современный изслѣдователь не удивляется уже, когда въ популярномъ произведеніи новѣйшаго беллетриста или драматурга усмотритъ черты общія съ какой-нибудь тибетской сказкой или сагой горныхъ племенъ Кавказа. Величайшія произведенія литературныхъ гениевъ нерѣдко основываются на такихъ «странствующихъ» народныхъ сказкахъ, легендахъ и повѣстяхъ, и мелочная, копотливая критика нашихъ дней зачастую открываетъ въ лубочной книгѣ или старинномъ рукописномъ сборникѣ источники художественныхъ созданій Шекспира, Гёте, Льва Толстого.

¹⁾ Публичная лекція, читанная 13 марта 1887 года въ Политехническомъ музеѣ въ пользу Женскихъ Курсовъ при 3-й классической гимназій въ Москвѣ магистрантомъ по кафедрѣ Всеобщей литературы С. А. Варшеромъ.—многообѣщавшимъ, но, къ глубокому сожалѣнію всѣхъ знавшихъ его, слишкомъ рано умершимъ талантливымъ ученикомъ Н. И. Стороженка.

Ред.

7*

Наблюденія надъ исторією такихъ странствующихъ сюжетовъ всегда представляютъ величайшій интересъ для изслѣдователя. Важнѣе не столько самый фактъ заимствованія, ставшій въ наше время достояніемъ всей образованной публики: интересна многообразная судьба литературнаго сюжета, тѣ видоизмѣненія, какимъ онъ подвергался въ пересказѣ того или другого народа, подъ перомъ того или другого автора; историческія судьбы странствующихъ сюжетовъ даютъ матеріалъ для разрѣшенія общихъ вопросовъ народной психологіи и для изученія самыхъ приѣмовъ художественнаго творчества: вѣчные вопросы о націи и человечествѣ, о личномъ и собирательномъ творествѣ по крайней мѣрѣ ставятся при этомъ на твердую историческую почву; наконецъ, индивидуальныя черты личности автора всего яснѣе выступаютъ въ такихъ произведеніяхъ, которыя мы находимъ у нѣсколькихъ авторовъ. Съ этой точки зрѣнія мы и рассмотримъ литературную исторію популярнаго въ наше время разсказа графа Льва Толстого «Чѣмъ люди живы».

Въ разсказѣ графа Льва Толстого однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ является ангелъ: онъ ослушался повелѣнія Божія, онъ не зналъ, что судьбы Господни неисповѣдимы, и, усмотрѣвъ въ повелѣніи Божиѣмъ явную несправедливость, не вынулъ души изъ тѣла женщины, только что родившей двухъ дѣвочекъ. За это Господь обрекъ его жить на землѣ до тѣхъ поръ, покуда не узнаетъ онъ, чѣмъ люди живы. Онъ поселяется у бѣднаго сапожника, работаетъ вмѣстѣ съ нимъ, присматривается къ его жизни и узнаетъ, чѣмъ люди живы. Срокъ его наказанія конченъ, и ангелъ въ огненномъ столпѣ возносится на небо.

Этимъ эпизодомъ разсказъ графа Льва Толстого сближается съ обширнымъ кругомъ сказаній о дивномъ Промыслѣ Божиѣмъ или о судьбахъ Господнихъ неисповѣдимыхъ. Непосредственнымъ источникомъ его послужила народная легенда объ ангелѣ, въ свою очередь проникшая въ народъ изъ книжныхъ источниковъ. Въ этой легендѣ ангелъ отказывается исполнить повелѣніе Божіе потому, что его беспокоитъ участь малютокъ, остающихся сиротами; но Господь Богъ вразумляетъ его: Онъ разбиваетъ жезломъ комокъ земли и показываетъ въ немъ ангелу двухъ червей: «Кто питаетъ и раститъ этихъ червей, Тотъ оставитъ-ли безъ призрѣнія малютокъ?» И ангелъ понялъ, что судьбы Господни неисповѣдимы.

Таково содержаніе народной легенды. Но разсказываемая теперь самостоятельно и отдѣльно, она входила нѣкогда лишь въ видѣ заключительнаго эпизода въ большую и широко распространенную легенду объ ангелѣ и пустынникѣ. Литературная исторія этой легенды и послужитъ предметомъ нашей бесѣды.

Въ половинѣ прошлаго столѣтія въ литературныхъ салонахъ Парижа произвела большую сенсацію брошюра нѣкоего Фрерона, направленная

противъ Вольтера: законодатель отвлеченной мысли и литературный по-дубогъ обвинялся въ плагиатѣ; прославленный романъ „Задигъ“ объявлялся заимствованнымъ изъ англійской повѣсти „The Hermit“ Парнелля. Избранная парижская публика громко негодовала на дерзкое разоблаченіе, но тайкомъ сравнивала таки романъ Вольтера съ повѣстью Парнелля, на которую даже возникъ въ Парижѣ большой спросъ, и черезъ годъ она была уже переведена подъ заглавіемъ „l'Hermite“. Вольтеръ не оправдывался и полупрезрительно—полушутя отвѣтилъ своему литературному противнику словами Мольера: „гдѣ ни взять, лишь бы взять“. Вскорѣ волненіе улеглось, всѣ успокоились, Парнелля забыли, а романъ Вольтера все-таки читали нарасхватъ.

Фреронъ, найдя случайно сходство между «Задигомъ» и «Отшельникомъ», не зналъ, что сравненіе можно продолжить значительно дальше: онъ не читалъ застольныхъ рѣчей Лютера и повѣствовательнаго сборника Pauli-„Schimpf und Ernst“, не зналъ даже французскаго разсказа на ту же тему Антуанеты Буриньонъ, обработаннаго по-итальянски Альбертомъ Падуанскимъ; ему и въ голову не приходило, что Парнелль не придумалъ сюжета объ ангелѣ и пустынникѣ, а взялъ его цѣликомъ у англійскаго же богослова Генриха Мора, который въ свою очередь познакомился съ легендой черезъ моралиста Перси Герберта. И конечно только новѣйшая критика, интересующаяся литературными произведеніями темной массы, могла къ этому перечню пересказовъ легенды прибавить еще цѣлый рядъ *fabliaux* и *contes* того же содержанія. Такимъ образомъ, сюжетъ объ ангелѣ и пустынникѣ оказывается очень распространеннымъ въ Европѣ, и его знали здѣсь очень хорошо въ цвѣтущую эпоху среднихъ вѣковъ: по крайней мѣрѣ епископъ Яковъ изъ Витри, жившій въ первой половинѣ XIII-го столѣтія, уже приводитъ ее въ своихъ проповѣдяхъ; въ началѣ XIV вѣка мы ее находимъ въ сборникѣ *Scala Caeli* доминиканскаго монаха Jean le Jeune, во французскомъ религіозномъ стихотвореніи временъ Людовика IX и наконецъ въ знаменитомъ въ средніе вѣка сборникѣ «*Gesta Romanorum*», извѣстномъ и въ нашей старинной письменности подъ именемъ „Римскихъ Дѣяній“. Въ громадномъ сборникѣ „*Vie des Pères*“, заключающемъ въ себѣ сорокъ два житія главнѣйшихъ святыхъ католической церкви, помѣщено въ приложеніи нѣсколько благочестивыхъ разсказовъ и въ томъ числѣ легенда „*de l'ermite qui s'accompagna à l'ange*“. На востокъ мы находимъ ту же легенду въ XVIII главѣ Магометова Корана, въ извѣстномъ сборникѣ арабскихъ сказокъ „1001 ночь“, въ византійскихъ Патерикахъ и Прологахъ, въ юго-славянскихъ сборникахъ и наконецъ у насъ, въ Патерикахъ, Прологахъ и Четьихъ Минеяхъ, гдѣ легенда неизмѣнно встрѣчается подъ 21 ноября подъ заглавіемъ „о судьбахъ Господнихъ неисповѣдимыхъ“. Входя въ кругъ благочестиваго и назидательнаго чтенія, она же составляетъ постоянно главу русской редакціи

„Римскихъ Дѣяній“, наконецъ подверглась народной переработкѣ и въ такомъ видѣ вошла въ сборникъ легендъ Аванасьева подъ заглавіемъ „Ангель“, откуда и была заимствована графомъ Львомъ Толстымъ для художественной обработки. Такъ широка извѣстность этого литературнаго сюжета. Поищемъ же источниковъ, рассмотримъ его главнѣйшія переработки, вообще прослѣдимъ его литературную исторію: можетъ быть, мы придемъ къ какимъ-либо не безынтереснымъ выводамъ.

Соединяя вмѣстѣ разнообразныя редакціи и варианты нашей легенды, мы получаемъ слѣдующій рассказъ.

Въ пустынѣ Фиваидской, въ Египтѣ, жилъ отшельникъ, проводя время въ покаяніи, постѣ и молитвѣ. Рано удалился онъ въ пустыню и мало былъ знакомъ съ грѣховной жизнью въ міру, но помнилъ все-таки, что на землѣ нерѣдко зло постигаетъ людей благочестивыхъ и нравственныхъ, тогда какъ злые безбожники пользуются полнымъ благоденствіемъ, и Господь не оставляетъ ихъ своими щедротами. Сомнѣніе въ справедливости Божіей стало тревожить совѣсть пустынника; онъ старался успокоить себя тѣмъ, что Господь во всѣхъ своихъ предначертаніяхъ, конечно, руководствуется извѣстными соображеніями, но именно этихъ соображеній и не зналъ пустынникъ и никакъ не могъ ихъ подыскать. И вотъ рѣшился онъ покинуть свою любимую пустыню и идти въ міръ—искать человѣка, который бы разрѣшилъ его сомнѣнія. И онъ пошелъ, куда глаза глядятъ, изъ своего тихаго пристанища, вышелъ на какую-то дорогу. Тутъ его догоняетъ молодой человѣкъ, судя по платью—слуга богатаго господина. „Ты чей?“ спрашиваетъ его пустынникъ.—„Божій“, отвѣчаетъ тотъ.—„А куда ты идешь?“—„Навѣстить друзей, живущихъ неподалеку здѣсь“.—„Возьми меня съ собой, а то я совсѣмъ не знаю здѣшней стороны“.—„Пойдемъ“. И молодой человѣкъ пошелъ впередъ, а за нимъ, шепча молитвы, слѣдовалъ пустынникъ.

До самой ночи шли странники и заночевали у какого-то отшельника, который ихъ принялъ чрезвычайно ласково и заботливо. Послѣ ужина радужный хозяинъ, убирая со стола, особенно тщательно и съ любовью вытиралъ богатый кубокъ, изъ котораго они всѣ пили, и затѣмъ старательно его упряталъ. Молодой человѣкъ, внимательно наблюдавшій за хозяиномъ, воспользовался минутой, когда тотъ вышелъ изъ дому, и спряталъ кубокъ себѣ въ мѣшокъ. На утро странники распрощались съ отшельникомъ и ушли, и молодой человѣкъ показалъ своему спутнику украденный кубокъ: тотъ пришелъ въ ужасъ: „Что ты сдѣлалъ! Отнеси его сейчасъ же назадъ!“—„Молчи!“ отвѣчалъ молодой человѣкъ „и не удивляйся, что бы я ни дѣлалъ!“ И пустынникъ замолчалъ, хотя и не пересталъ удивляться...

Вечеромъ добрались они до города, долго искали пристанища, но вездѣ получали отказъ, потому что у нихъ не было денегъ. Шелъ дождь: путники

измокли, устали, проголодались. Они постучались у дверей богатого дома и не смотря на отказ такъ настойчиво умоляли и кричали, что ихъ впустили, хотя и въ сарай, дали немного соломы. Тутъ они и провели ночь, холодные и голодные. Владѣлецъ дома—богатый ростовщикъ—былъ глухъ къ мольбамъ бѣдныхъ людей. На утро странники, уходя, зашли поблагодарить хозяина дома, и молодой человѣкъ подарилъ ему украденный богатый кубокъ. «Что это значить, удивлялся пустынный, ты укралъ кубокъ у добраго и благочестиваго человѣка, который насъ такъ хорошо принялъ, и вознаграждаешь алчнаго скрягу, обошедшагося съ нами такъ дурно?»—«Молчи и не удивляйся, отвѣчалъ молодой человѣкъ: ты вѣдь не знаешь мірской жизни, ты не умѣешь различать добра и зла».

Идутъ путники дальше. На мосту сидитъ нищій и проситъ милостыни. „Тамъ за мостомъ я вижу перекрестокъ, говоритъ ему молодой человѣкъ: по какой дорогѣ намъ идти, чтобы попасть въ городъ?“—„А вотъ направо“, говоритъ нищій и вставъ оборачивается въ ту сторону. Въ это время молодой человѣкъ быстро и сильно подтолкнулъ его подъ локти, и нищій упалъ въ рѣку. Убѣдившись, что онъ утонулъ, молодой человѣкъ пошелъ дальше, сопровождаемый пустыннымъ, который отъ ужаса уже ни говорилъ ни слова. — Пришли въ городъ, остановились въ гостинницѣ, гдѣ, по словамъ молодого человѣка, хозяева были очень добрые и гостепріимные люди; приняли ихъ очень радушно. Хозяева, не молодые уже люди, были долгое время бездѣтны, и уже на старости лѣтъ Богъ даровалъ имъ сына, котораго они любили всѣми силами души. Путниковъ, въ виду недостатка помѣщенія въ гостинницѣ по случаю ярмарки, помѣстили въ дѣтской. Ночью ребенокъ закричалъ и разбудилъ путешественниковъ. Молодой человѣкъ всталъ, задушилъ ребенка и опять легъ спать. Утромъ, когда всѣ въ гостинницѣ еще спали, путники потихоньку удалились. Отшельникъ теперь убѣдился, что онъ странствуетъ въ сопровожденіи самогò дьявола, но отъ страху не смѣлъ удалиться отъ него.—На четвертый день приходятъ они въ монастырь, очень богатый и прекрасно отстроенный, и были приняты монахами очень хорошо. На утро молодой человѣкъ, уходя, зажегъ соломенную постель, вся комната быстро вспыхнула, а отъ нея пожаръ распространился и дальше. На вершинѣ холма молодой человѣкъ остановился и съ удовольствіемъ смотрѣлъ на пожаръ... „Какъ хорошо горитъ монастырь, говорилъ онъ, и какой огонь веселый и яркій!“ — „О Боже мой! воскликнулъ наконецъ путникъ: и зачѣмъ только родился я на свѣтъ несчастный! И зачѣмъ покинулъ я свою прекрасную пустыню! И какъ я допустилъ себя стать соучастникомъ вора, убійцы, поджигателя! Погибъ я, погибъ! Дьяволъ меня соблазнилъ и погубилъ на вѣки мою душу“.—А молодой человѣкъ тѣмъ временемъ спокойно и торжественно слушалъ, какъ тотъ причитывалъ.—«Ты ошибаешься, сказалъ онъ наконецъ: все, что я сдѣлалъ,—справед-

ливо. Я вѣдь знаю, зачѣмъ и почему покинулъ ты свое тихое пристанище: вѣдь ты сомнѣвался въ справедливости Божіей и надѣялся среди этой грѣховной жизни въ міру разрѣшить или подтвердить свои сомнѣнія? Но вѣдь это врагъ человѣческой смущаль и искушалъ тебя, и ты бы погибъ, еслибъ милосердый Господь, за благочестіе твое, не сжалился надъ тобою. Онъ и послалъ тебѣ ангела, чтобы тебя научить и наставить. Я этотъ ангель: я тоже усомнился въ справедливости Божіей и даже послушался Его святой воли: Господь послалъ меня на землю по душу одной бѣдной женщины. Но когда я вошелъ къ ней, я увидѣлъ, что она родила двухъ близнецовъ, и взяла меня жалость, и подумалъ я: кто же теперь напишетъ и взраститъ малютокъ? И вернулся я на небо, не исполнивъ повелѣнія Божія. Но Господь вразумилъ меня: онъ мнѣ показалъ двухъ червей въ комкѣ земли и сказалъ: кто кормить и растить этихъ червей, тотъ оставитъ ли безъ пропитанія малютокъ? Иди же на землю и вразумляй тѣхъ, кто, подобно тебѣ, не вѣритъ въ премудрость и справедливость промысла Божія.—И вотъ я старался вразумить тебя, но ты меня не понималъ. Слушай же: помнишь ли, какъ ты ропталъ, когда я унесъ у отшельника его цѣнный кубокъ? Если бъ я этого не сдѣлалъ, онъ бы погибъ изъ-за него: онъ такъ привязался къ своему кубку, что готовъ былъ изъ-за него позабыть Бога. Я укралъ у него кубокъ, а его самогò возвратилъ небесамъ.—Кубокъ я отдалъ богатому ростовщику, который насъ принялъ такъ дурно, для того, чтобы его скудная милостыня была вознаграждена сторицею. Въ день Страшнаго Суда онъ будетъ оправдываться тѣмъ, что давалъ пріютъ убогимъ странникамъ; но Господь скажетъ ему: «ты уже получилъ за это вознагражденіе на землѣ».—Нищій, котораго я утопилъ съ моста, всю жизнь прожилъ, не помышляя о злѣ; но если бъ онъ остался живъ, то ему пришлось бы испытать искушеніе, передъ которымъ онъ бы не устоялъ и погубилъ бы свою душу. Я погубилъ его тѣло, но спасъ душу, и онъ теперь на небесахъ вѣчно славить Бога.—Ты ужаснулся, когда я удавилъ младенца въ гостинницѣ. Но знай, что его родители, покуда не было у нихъ сына, жили въ благочестіи и добродѣтели, и все, что зарабатывали, отдавали Богу черезъ его бѣдныхъ. Когда же родился у нихъ ребенокъ, они стали заботиться о немъ больше, чѣмъ о своей душѣ и, стараясь оставить ему побольше наслѣдства, уже забывали бѣдныхъ. Они уже начали думать о томъ только, какъ бы побольше пріобрѣсти. Я не далъ укорениться въ сердцахъ ихъ этой злой мысли и спасъ ихъ души, а ребенокъ, умерши невиннымъ, будетъ также обитать на небесахъ.—Я поджегъ монастырь, такъ прекрасно устроенный, и гдѣ насъ такъ хорошо приняли: знай же, когда-то у этого монастыря не было ни обширныхъ угодій, ни большихъ капиталовъ, и монахи жили, исполняя обѣтъ бѣдности, смиренно и благочестиво. Святость жизни привлекала къ нимъ богомольцевъ, посыпались обильные

вклады, монастырь богатѣлъ и украшался, а житіе благочестивое оскудѣло: монахи стали пещись о приумноженіи сокровищъ, забывали свои обѣты, не помышляли о бѣдныхъ. Они стали тщеславны и честолюбивы, и Богу угодно было возвратить ихъ къ первоначальной бѣдности; ибо истинный монахъ долженъ жить въ бѣдности. Теперь монахи не будутъ отвлекаться отъ своихъ обязанностей посторонними дѣлами; они опять отстроятъ монастырь, но уже не такъ роскошно, какъ прежде; бѣдные рабочіе, нуждающіеся въ работѣ, получатъ хорошій заработокъ. Вотъ чѣмъ объясняется этотъ пожаръ, которымъ я теперь люблюю. Итакъ, воротись въ свою пустыню и тамъ поразмысли о данномъ тебѣ урокъ». И съ этими словами юноша вдругъ просвѣтлѣлъ и въ огненномъ столпѣ вознесся къ небесамъ съ пѣсню: «слава въ вышнихъ Богу!» Пустынникъ палъ ницъ на землю и возблагодарилъ Бога за Его милость. Онъ вернулся въ свою пустыню и въ ней скончалъ остатки дней своихъ. Господь Богъ принялъ душу его святую въ рай небесный.

Изложенная легенда представляетъ сводъ нѣсколькихъ редакцій или версій одного и того же сказанія. Всѣ эти редакціи различаются между собою только въ частности: похищенный кубокъ замѣняется блюдомъ, утопленный нищій является сыномъ или племянникомъ хозяевъ гостинницы и т.-п.; но множество общихъ подробностей заставляютъ предполагать и одинъ общій источникъ всѣхъ пересказовъ. Египетъ, пустыня Фиваидская и отшельники отсылаютъ насъ къ тѣмъ древнѣйшимъ греческимъ, сирійскимъ и коптскимъ житіямъ пустынноговъ, которыя рано, иногда въ VIII вѣкѣ, уже бывали переведены на языкъ латинскій. Въ большинствѣ случаевъ оригиналы такихъ рассказовъ на языкахъ восточныхъ утеряны, рѣдко они сохраняются и въ греческихъ текстахъ, и только древнѣйшія рукописи латинскія, а иногда и славянскія, сохраняютъ слѣды своего восточнаго происхожденія. Въ данномъ случаѣ латинская редакція легенды не восходитъ далѣе XIV столѣтія: по крайней мѣрѣ древнѣйшая изъ извѣстныхъ до сихъ поръ западноевропейскихъ рукописей, содержащихъ нашу легенду, относится къ XIV столѣтію: это сборникъ «Vitae Patrum», пересказъ котораго послужитъ источникомъ для всѣхъ западныхъ версій этого сюжета. Въ Византіи и у юго-славянъ легенда эта входила въ такъ называемые Патерики уже въ XII вѣкѣ. На востокѣ мы находимъ пересказъ легенды несравненно болѣе древній, восходящій къ VII вѣку нашей эры: это XVIII глава Магометова Корана. Три эти редакціи—одна латинская XIV вѣка, другая византійско-славянская XII-го вѣка и третья арабская VII вѣка—и послужатъ намъ исходными пунктами отправленія при разысканіи происхожденія легенды.

Латинская рукопись «Vitae Patrum» содержитъ въ себѣ между прочимъ слѣдующій рассказъ: пустынный, пожелавшій узнать судьбы Бо-

жін, моливъ о томъ Господа, и Онъ послалъ къ нему ангела, подъ видомъ *старца*, который пригласилъ пустынника обойти вмѣстѣ всю пустыню, побывать у святыхъ отцовъ, взять у нихъ благословіе. Вотъ приходятъ они въ пещеру къ благочестивому старцу, который угостилъ ихъ всѣмъ чѣмъ могъ, даже самъ омылъ имъ ноги. Утромъ ангель, уходя, похищаетъ у него *блюдо*; старикъ посылаетъ за ними въ догонку сына, который требуетъ возвратить похищенное. «Блюдо у моего спутника», говоритъ старецъ-ангелъ. Мальчикъ проходитъ впередъ, къ пустыннику, но въ это время ангелъ сбрасываетъ его въ *пропасть*, по краю которой пролегалъ дорога.—Вечеромъ приходятъ они въ скитъ, гдѣ жилъ *игуменъ* со своими послушниками. Онъ отказалъ имъ въ пріютѣ и лишь послѣ долгихъ и настойчивыхъ просьбъ и слезъ позволилъ имъ переночевать въ конюшнѣ. Служка отдалъ имъ свою порцію хлѣба, прося однако, чтобъ они не говорили объ этомъ игумену. На утро старецъ-ангелъ подарилъ скупому игумену украденное имъ блюдо. На упреки пустынника онъ отвѣчаетъ, что блюдо, похищенное у старца, пріобрѣтено *нечестнымъ путемъ*, и благочестивому человѣку не подобаетъ держать у себя такихъ вещей: онъ отдалъ поэтому *злое злomu*; а мальчика онъ сбросилъ въ пропасть потому, что иначе онъ бы убилъ своего отца. И пустынникъ понялъ, что судьбы Господни неисповѣдимы.

Иначе рассказываетъ объ этомъ Магометъ: «Моисей встрѣтилъ однажды правовѣрнаго, очень благочестиваго и ученаго, и просилъ позволенія сопровождать его, чтобъ нѣсколько научиться у него мудрости. На это отвѣчалъ правовѣрный: «у тебя не достанетъ терпѣнія слѣдовать за мною: ты не перенесешь многого, что увидишь, потому что не поймешь смысла того, что свершится на твоихъ глазахъ». Моисей обѣщаетъ быть терпѣливымъ и послушнымъ и сопровождаетъ мудреца на условіи не спрашивать его ни о чемъ, покуда не получить на это позволенія. Они двинулись въ путь вмѣстѣ, подошли къ рѣкѣ, упросили перевозчика перевезти ихъ на ту сторону, но, выйдя на берегъ, мудрецъ *пробилъ въ лодку дно*. «Что ты дѣлаешь, спросилъ Моисей, вѣдь ты утопишь добраго человѣка, оказавшаго намъ услугу; если даже нѣтъ, то все же ты причиняешь ему убытокъ!»—«Не говорилъ-ли я тебѣ, что у тебя не достанетъ терпѣнія странствовать со мной?» Моисей вновь обѣщаетъ повиноваться, оба идутъ дальше. Повстрѣчался имъ на пути молодой человѣкъ: мудрецъ убиваетъ его. Опять негодующій вопросъ Моисея и холодный отвѣтъ мудреца. Идутъ дальше и приходятъ къ воротамъ большого города, просятъ пріюта, имъ отказываютъ. Въ это время, замѣтивъ, что городская *стѣна* въ одномъ мѣстѣ *разрушена*, мудрецъ *починилъ ее* и на недоумѣвающей вопросъ Моисея отвѣтилъ: «я испортилъ лодку, потому что за нами шелъ царь, забирая для своего войска всѣ лодки и суда; онъ отнял бы и эту у бѣдныхъ рыбаковъ, если бъ я не сдѣлалъ ее на

время негодной къ употребленію. Юношу я убилъ потому, что онъ, сынъ прововѣрныхъ родителей, впоследствии *отпалъ бы отъ вѣры* своихъ отцовъ; вмѣсто него Богъ пошлетъ родителямъ другого сына, благочестиваго и добраго. Стѣну я починилъ потому, что подъ нею зарыть *кладъ*, составляющій наслѣдство двухъ *сиротъ*, и Богу не угодно, чтобъ кладъ этотъ былъ открытъ ранѣ совершеннолѣтія наслѣдниковъ. Итакъ, все, что ты видѣлъ, я дѣлалъ не по своему произволу, а по повелѣнію свыше. Все предопредѣлено заранѣе, и Богъ *лучше знаетъ, что нужно людямъ*: онъ и предначерталъ все въ книгѣ судебъ. Нѣтъ Бога, кромѣ Аллаха, и Магометъ его пророкъ!»

Сличая между собою древнѣйшія версіи легенды—западную и восточную, мы найдемъ между ними слѣдующія общія черты: въ обоихъ разсказахъ выступаютъ два путника, изъ которыхъ одинъ совершаетъ дѣянія, съ человѣческой точки зрѣнія преступныя. Самыхъ дѣяній три: изъ нихъ второе—умерщвленіе невиннаго юноши; первое и третье, хотя и различаются по формѣ, но въ сущности сходны: въ обоихъ случаяхъ ангелъ на благодареніе отвѣчаетъ неблагодарностью и за дурной пріемъ вознаграждаетъ. Такимъ образомъ, родство между обѣими редакціями несомнѣнное, но отнюдь нельзя заключить, чтобъ одна могла произойти изъ другой, потому что и различіе между двумя редакціями также очень значительное: въ латинскомъ пересказѣ ангелъ похищаетъ блюдо у гостепріимнаго старца, въ арабскомъ—онъ портитъ лодку добраго перевозчика; въ латинской рукописи ангелъ отдариваетъ блюдомъ скупого игумена, въ Коранѣ—онъ починаетъ стѣну негостепріимнаго города. Средину между обоими пересказами занимаетъ древне-греческій Патерикъ, извѣстный и въ старо-болгарской письменности: въ немъ повторяется много общаго съ изложенными уже легендами, но есть и новыя подробности: у гостепріимнаго бѣдняка ангелъ *убиваетъ корою*—единственное его достояніе; стѣну города онъ починаетъ потому, что въ ней скрыто было золото: жители города, злые, но бѣдные, найдя золото, были бы въ силахъ дѣлать много зла. Наконецъ, здѣсь же является и совершенно новый эпизодъ: «сильный міра сего», уснувъ на охотѣ, выронилъ кошелекъ съ золотомъ; слуга его подобралъ деньги и скрылъ. Замѣтивъ пропажу, охотникъ возвращается на мѣсто отдыха, находитъ тамъ отдыхающую подъ деревомъ женщину съ дѣтьми, обвиняетъ ее въ присвоеніи находки и убиваетъ. Впоследствии оказывается, что убитая женщина была убійцею матери охотника и что такимъ образомъ справедливость не нарушена, а соблюдена, тѣмъ болѣе, что и потерянные охотникомъ деньги пріобрѣтены были нечестнымъ путемъ, а слуга употребилъ ихъ на доброе дѣло. Этотъ нехристіанскій мотивъ мести заставляеть предполагать для греческаго патерика болѣе древній источникъ, и мы дѣйствительно находимъ таковой въ ветхозавѣтномъ апокрифѣ слѣдующаго содержанія: «Это было во времена пророка Іліи. Нѣкто Іосифъ бенъ-Леві

очень желалъ повидать пророка и поучиться у него. При встрѣчѣ онъ сталъ просить у пророка позволенія сопровождать его. «Ты не останешься долго при мнѣ,—отвѣчаетъ тотъ,—потому что увидишь вещи, какихъ тебѣ не снести». Иосифъ обѣщаетъ повиноваться и терпѣть. Они пошли вмѣстѣ и къ вечеру нашли убѣжище у какихъ-то бѣдняковъ, все достояніе которыхъ заключалось въ коровѣ; приняли ихъ, однако, очень радушно и угостили чѣмъ могли. Ночью Илія *убилъ корову*. На другой день богачъ едва-едва даетъ имъ пріютъ, не накормивъ, не напоивъ ихъ. Онъ въ это время строилъ домъ, для котораго выводилъ фундаментъ. Ночью Илія опоясалъ мѣсто стройки веревкой, и изъ земли возвысилось чудное зданіе. Еще черезъ день приходятъ путники въ богатый городъ, жители принимаютъ ихъ недружелюбно. «Дай Богъ, чтобъ всѣ сыны ваши стали старѣйшинами», говоритъ Илія, прощаясь. Въ другомъ городѣ, гдѣ ихъ приняли очень ласково и радушно, Илія сказалъ на прощаніе: «Дай Богъ, чтобъ изъ всѣхъ сыновъ вашихъ одинъ сталъ старѣйшиною». Иосифъ бенъ-Леви, до сихъ поръ молчавшій, наконецъ не вытерпѣлъ: «Неужели ты Илія, посланный Богомъ? Ты убилъ корову у бѣдныхъ людей, щедрыхъ на милостыню; ты воздвигъ палаты богатому скрягѣ; ты желаешь счастья городу, гдѣ насъ такъ дурно приняли, и наоборотъ сулишь обиду горожанамъ радужнымъ и щедрымъ!» — «Не говорилъ ли я тебѣ, что ты долго при мнѣ не останешься?»—отвѣчалъ Илія.—Итакъ, разстанемся, но сперва я тебѣ объясню смыслъ моихъ поступковъ, внутреннихъ мнѣ Господомъ Богомъ. Бѣднякъ, у котораго мы останавливались, любитъ свою жену всѣми силами души; но она должна была въ слѣдующую ночь умереть, я отсрочилъ ея смерть въ обмѣнъ за жизнь коровы. Богачъ, выведившій фундаментъ для дома, нашелъ бы въ землѣ несмѣтныя сокровища: я воздвигъ ему палаты, которыя со временемъ рушатся, а покуда скроютъ отъ него кладъ; а то бы онъ сдѣлалъ изъ него дурное употребленіе. Мое пожеланіе злымъ гражданамъ объясняется тѣмъ, что гдѣ много начальниковъ, тамъ всегда дѣла идутъ худо; а добрымъ гражданамъ я пожелалъ одного начальника, потому что только при этомъ условіи могутъ быть порядокъ и благочиніе».

Личность Иосифа бенъ-Леви, фигурирующаго въ этомъ апокрифѣ, историческая: онъ жилъ въ Палестинѣ, въ III вѣкѣ нашей эры, и былъ героемъ многочисленныхъ легендъ и сказаній. Очевидно, его имя подставлено въ легенду о пророкѣ Ілии позднѣе, въ силу его популярности. Мусульманская легенда, въ арабскомъ пересказѣ Корана, очень близкая къ ветхозавѣтному апокрифу, замѣстила Ілію Моисеемъ, вѣроятно, потому, что Моисей является героемъ одной талмудической легенды, представляющей много общаго со всѣми приведенными вариантами сюжета объ ангелѣ и пустынникѣ. Вотъ содержаніе этой легенды: Моисей, мучимый сомнѣніями въ справедливости распредѣленія добра и зла на землѣ,

молилъ Бога облегчить ему совѣсть, и Господь перенесъ его на гору, у подошвы которой протекалъ источникъ, и сдѣлалъ свидѣтелемъ такой сцены: какой-то человекъ подошелъ къ ручью напиться и уходя оставилъ на берегу мѣшокъ съ деньгами. Вслѣдъ за нимъ подошелъ къ ручью пастухъ, нашелъ мѣшокъ и унесъ его съ собою. Потерявшій деньги скоро вернулся къ ручью, но пастухъ уже ушелъ, и на берегу сидѣлъ отдыхая старикъ съ двумя дѣтьми и тяжелой ношей. Какъ ни клялся старикъ, что онъ не выдалъ мѣшка съ деньгами, потерявшій убилъ его. Моисей вознегодовалъ при видѣ такой несправедливости; особенно его смущали дѣти: «Кто теперь прокормить ихъ и взрастить?» Но Господь сказалъ ему: «Не дивись тому, что ты видѣлъ: старикъ нѣкогда убилъ отца этого потеряшаго; деньги законно принадлежали пастуху, хотя онъ и самъ не зналъ этого; потерявшій приобрѣлъ ихъ нечестно и сдѣлалъ бы изъ нихъ дурное употребленіе. Итакъ, справедливость соблюдена. Что же касается дѣтей, то вотъ тебѣ знаменіе». И Богъ разбилъ жезломъ засохшій комъ грязи и показалъ въ немъ двухъ червей. «Смотри, сказалъ Онъ,—никто ихъ не видитъ и не знаетъ объ нихъ, а Богъ ихъ раститъ и кормитъ: такъ будетъ и съ сиротами—малютками».

Возникновеніе всѣхъ этихъ разсказовъ слѣдуетъ искать такимъ образомъ на почвѣ ветхозавѣтнаго іудейства; они даютъ отвѣтъ на давнишній и постоянный вопросъ библейской мысли: «какъ согласовать съ божественнымъ правосудіемъ и справедливостью тотъ порядокъ вещей, какой мы постоянно замѣчаемъ на землѣ, гдѣ нерѣдко люди злые и безбожные пользуются всѣми благами, а добрые и благочестивые терпятъ горе и нужду?» Священное Писаніе не разъ являетъ примѣръ того, какъ этотъ вопросъ тревожитъ совѣсть евреевъ; въ Экклезіастѣ читаемъ: «Бываетъ, что праведнымъ выпадаетъ на долю несчастье, какъ будто они совершали злыя дѣла, и бываютъ злые, наслаждающіеся счастьемъ, какъ будто они всю жизнь творили добро... Я видѣлъ слезы невинныхъ, которыхъ никто не утѣшалъ, и стenanія бѣдныхъ, которымъ никто не помогалъ, и я понималъ, что никто изъ живущихъ подъ солнцемъ не можетъ постигнуть таинственныхъ предначертаній Господа, и чѣмъ болѣе будетъ онъ трудиться надъ ихъ объясненіемъ, тѣмъ менѣе объяснить. Богъ вѣдаетъ, конечно, прегрѣшенія тѣхъ, кому насылаетъ бѣдствіе». Вотъ почему Библія привыкла во всякомъ несчастномъ видѣть прежде всего грѣшника, несущаго наказаніе за грѣхи, невѣдомые, можетъ-быть, ему самому. Такъ разсуждали по крайней мѣрѣ друзья Іова, передъ которыми онъ такъ одушевленно отстаивалъ свою невинность, покуда появленіе самого Бога не заставило людей замолчать. То же самое найдемъ мы и въ исторіи Товія и Товита, гдѣ самое путешествіе въ сопровожденіи ангела напоминаетъ нашу легенду. Вообще вопросы о божественной справедливости особенно настойчиво выдвигаются въ тѣхъ ветхозавѣтныхъ книгахъ, ко-

торыя возникли въ эпоху ближайшую за Вавилонскимъ плѣненіемъ. Въ этомъ отношеніи очень интересна III книга Ездры: и здѣсь на благочестиваго человѣка находятъ сомнѣніе въ справедливости путей Господнихъ на землѣ: «Въ 30-мъ году по разореніи города, такъ начинается III книга Ездры, былъ и я въ Вавилонѣ и смущался, и помышленія входили въ сердце мое: ибо я видѣлъ заустѣніе Сіона и лигованіе Вавилонянъ. И возмутился духъ мой, и со страхомъ говорилъ я Всевышнему: «Ты, Господи, поддерживаешь грѣшниковъ, щадишь нечестивцевъ, а народъ свой погубилъ». И сошелъ ко мнѣ ангелъ и сказалъ: «Сердце твое зашло слишкомъ далеко, что хочешь ты постигнуть пути Всевышняго».—И отвѣчалъ я ангелу: «зачѣмъ жить намъ въ нечестіи и страданіи и не знать, зачѣмъ мы нечестивы и несчастны?»—И сказалъ мнѣ ангелъ: Богъ нечестивыми васъ не создавалъ, но вы сами впали въ нечестіе.—Но зачѣмъ же Богъ допустилъ насъ впасть въ нечестіе, зачѣмъ сотворилъ Онъ самую возможность грѣха и несчастія? Лучше бы человѣку тогда не существовать вовсе!—И сказалъ мнѣ ангелъ: сосудъ скудельный, какъ хочешь ты вмѣстить непостижимые пути Всевышняго, живя въ семь растлѣнномъ мірѣ! Обитающіе на землѣ могутъ разумѣть только земное. Ты слишкомъ далеко зашелъ пытливостью ума о народъ твой: неужели ты больше его любишь, чѣмъ Тотъ, Кто его сотворилъ? Зачѣмъ смущаешься, когда ты тлѣнень и что мятешься, когда смертень?» — Въ этомъ разсказѣ, гдѣ, всѣ симпатіи автора, очевидно, на сторонѣ пытливаго человѣка и отнюдь не ангела, отдѣлывающагося слишкомъ общими фразами,—въ этомъ разсказѣ явственно сквозитъ то психологическое настроеніе, которое вызвало къ жизни нашу легенду. Страшный вавилонскій погромъ отрезвилъ людей, которые въ горделивомъ сознаніи своего превосходства, какъ избраннаго народа Божія, мало думали до тѣхъ поръ о распредѣленіи добра и зла на землѣ. Если Ездра такъ смѣло полемизируетъ съ ангеломъ, то еще дальше должны были пойти въ этомъ отношеніи разсказы апокрифическіе. Они-то и дали содержаніе нашей легендѣ: только суровое, мрачное отчаяніе первоначальныхъ редакцій смягчалось съ теченіемъ времени, по мѣрѣ того, какъ забывались ужасы Вавилонскаго плѣненія. Такимъ образомъ, ветхозавѣтный апокрифъ и талмудическая легенда представляются мнѣ первоисточниками сюжета объ ангелѣ и пустынникѣ; греческій Патерикъ, очевидно, соединяетъ въ себѣ черты обоихъ пересказовъ; арабская переработка Корана слѣдуетъ ближе ветхозавѣтному апокрифу; съ нимъ сближаются и западно-европейскія латинскія редакціи; напротивъ, византійско-славянскіе пересказы примыкаютъ тѣснѣе къ талмудической легендѣ.—Пути проникновенія легенды въ Европу также двойкіе: арабская передѣлка ветхозавѣтнаго апокрифа занесена арабами въ Испанію и Сицилію, гдѣ сохранилась и до сихъ поръ въ устной поэзіи туземцевъ; отъ нея пошли латинскіе пересказы въ «Gesta Roma-

погит», у Якова изъ Витри и др. Талмудическая легенда странствовала другимъ путемъ: переведенная непосредственно съ еврейскаго на греческій языкъ, вѣроятно въ Египтѣ, она отсюда проникла въ Византію, позднѣе къ болгаро-сербамъ и наконецъ, не ранѣе XII вѣка, къ русскимъ. Нѣсколько забытая здѣсь въ XIII и XIV вв.—когда благодаря татарамъ литературная дѣятельность вообще ослабѣла на Руси—наша легенда вновь возникаетъ въ XV вѣкѣ, можетъ быть подъ влияніемъ ереси жидовствующихъ. Съ этого времени она неизмѣнно входитъ въ пролога подь 21 ноября, приобретаетъ широкую популярность, входитъ въ апокрифы, сближается съ народной поэзіей въ формѣ легенды и въ такомъ видѣ художественно перерабатывается перомъ графа Льва Толстого.

Итакъ, возникши на почвѣ ветхозавѣтнаго апокрифа, въ тѣснѣйшей связи съ Библіею, легенда объ ангелѣ и пустынникѣ черезъ Византію и арабовъ проникла въ Европу, видоизмѣнилась здѣсь въ теченіе многихъ и многихъ вѣковъ и дошла и до нашего времени. Установивъ такимъ образомъ ея происхожденіе и литературную исторію, сравнимъ между собою ея главнѣйшія переработки.

Рано уже встрѣчаемся мы съ двумя основными редакціями легенды—одной магометанской, другой—христіанской. По своему содержанію легенда удовлетворяла характеру обѣихъ религій: съ одной стороны она вполне соответствовала фатализму Ислама: все, что предназначено въ книгѣ Судебъ, сбывается и притомъ къ лучшему, и человѣкъ не въ силахъ этому противодѣйствовать, да и не долженъ, потому что Богъ лучше знаетъ, что нужно людямъ. Съ другой стороны легенда удовлетворяла и христіанскому взгляду на вещи: видимая несправедливость въ распредѣленіи добра и зла на землѣ не заключаетъ въ себѣ ничего такого, что бы смущало христіанина, потому что по его коренному воззрѣнію все земное—несовершенно и скоропреходимо, а окончательное завершеніе всего можетъ имѣть мѣсто лишь въ иномъ мірѣ: не здѣсь, не на землѣ, а въ царствіи небесномъ свершится Божественное правосудіе, Божественная справедливость. Христіанинъ на страданія добрыхъ смотритъ или какъ на временное искушеніе, испытаніе, или какъ на наказаніе, которое Господь посылаетъ временно и притомъ для того, чтобъ избавить отъ вѣчнаго наказанія въ загробной жизни. Сверхъ того библейская легенда научала смиренію, показывая ничтожество разума человѣческаго передъ Божественными опредѣленіями. Вѣроятно, усвоеніе христіанами еврейской легенды произошло въ Египтѣ, гдѣ до мусульманскаго вторженія жили и евреи, и христіане, и язычники: на это, быть-можетъ, указываетъ и постоянное приуроченіе мѣста дѣйствія къ Египту, замѣчаемое въ латинскихъ пересказахъ среднихъ вѣковъ. Усвоивъ легенду, христіане не замедлили ее переработать еще болѣе въ христіанскомъ духѣ; такъ напримѣръ, въ ветхозавѣтномъ апо-

крифъ, гдѣ дѣйствующимъ лицомъ является пророкъ Ілія, нѣтъ и намека на загробную жизнь; всѣ естественныя послѣдствія поступковъ Іліи имѣютъ мѣсто *лишь на землѣ*. То же самое и въ Коранѣ: посланникъ Бога портитъ рыбакашъ лодку, потому что иначе они бы ея лишились; онъ же восстанавливаетъ разрушенную стѣну, чтобъ скрыть на время сиротское наслѣдство; онъ убиваетъ сына добродѣтельныхъ родителей, потому что иначе онъ бы ихъ огорчилъ отступленіемъ отъ вѣры своихъ отцовъ. Даже въ древнѣйшей латинской редакціи, въ рукописи *Vitae Patrum*, идея загробной жизни является лишь мимоходомъ: и здѣсь ангелъ убиваетъ юношу, потому что иначе онъ убилъ бы своего отца; онъ похищаетъ блюдо, потому что оно было нечестно пріобрѣтено; онъ отдаетъ блюдо скупцу, потому что дурное подобаетъ дурному и усугубляетъ его грѣховность. Таковà наивность средневѣковой легенды: какъ будто, отнимая нечестно пріобрѣтенную вещь, мы отнимаемъ и самый грѣхъ! Какъ будто скупой богачъ могъ быть виновнымъ въ томъ, что принялъ въ подарокъ вещь, о происхожденіи которой онъ ничего не зналъ! — Но въ позднѣйшихъ христіанскихъ пересказахъ духовное начало вторгается все шире и шире, и легенда получаетъ наконецъ исключительно спиритуалистическій оттѣнокъ: ангелъ похищаетъ кубокъ потому, что отшельникъ, изъ любви къ кубку, постоянно пилъ изъ него, напивался пьянъ и губилъ свою душу. У Альберта Падуанскаго выставляется уже другой мотивъ: отшельникъ такъ любилъ свой кубокъ, что думалъ о немъ болѣе, чѣмъ о спасеніи души. Кубокъ отдается жадному богачу для того, чтобъ онъ, получивъ за гостепримство вознагражденіе въ здѣшней жизни, не претендовалъ на награду въ жизни загробной. Въ «*Gesta Romanorum*» ангелъ утопилъ нищаго потому, что добродѣтельный до тѣхъ поръ, онъ готовился совершить грѣхъ, который погубилъ бы его душу. Въ застольной рѣчи Лютера нищій замѣщенъ благочестивымъ отшельникомъ, который сорокъ лѣтъ выдерживалъ всѣ искушенія и соблазны, а теперь готовъ уже былъ согрѣшить и потерять плоды своего долгаго подвижничества. Ангелъ удавилъ ребенка въ гостинницѣ, потому что слѣпая любовь къ нему родителей грозила гибелью ихъ душамъ; онъ поджигаетъ монастырь, чтобъ возвратитъ монаховъ къ благочестивой жизни, имъ подобающей. Вотъ какъ далеко ушли христіанскіе пересказы отъ ихъ первоначальнаго еврейскаго источника! И земныя блага и земныя бѣдствія представляются уже неважными въ сравненіи съ вѣчною жизнью въ загробномъ мірѣ. Христіанство такимъ образомъ подвергло легенду коренной переработкѣ. Ясно, что во времена болѣе близкія къ намъ, легенда должна была вновь претерпѣть измѣненія. Антуанета Буриньонъ, Гербертъ, Генрихъ Моръ и другіе проповѣдники и моралисты придерживаются еще средневѣковыхъ истолкованій, хотя уже видимо затрудняются объяснить эпизодъ съ кубкомъ. Но уже у Лютера мы находимъ новую точку зрѣнія: ангелъ похищаетъ кубокъ не у бѣднаго отшельника, а у

богатаго тщеславнаго тунеядца: пусть это послужитъ ему урокомъ — не кичиться своимъ гостепріимствомъ, своею щедростію по отношенію даже къ бѣднымъ гостямъ. Ангелъ отдаетъ кубокъ скрягѣ, чтобы показать ему, что гостепріимство можетъ быть вознаграждено, и чтобы научить его такимъ образомъ радушію и щедрости. Итакъ средневѣковая аскетическая точка зрѣнія уже уступила мѣсто практической морали и замѣнилась соображеніями этического свойства. Вся легенда приводится Лютеромъ въ подтвержденіе мысли о спасеніи вѣрою: какъ бы ни казались странны пути Провидѣнія, вѣрующій не усомнится и вѣрою спасенъ будетъ. Замѣчательно, что легенда объ ангелѣ и пустынникѣ широко распространилась по Германіи послѣ Тридцатилѣтней войны: она, очевидно, удовлетворяла горькому чувству разоренныхъ, приниженныхъ и обездоленныхъ войною жителей: они примирались съ горемъ, усматривая въ немъ неисповѣдимые пути Господни, какъ примирился пустынникъ съ тѣмъ, что его такъ возмущало.

Въ XVIII вѣкѣ мы неожиданно встрѣчаемся съ совершенно новою тенденціею, связанною съ нашей легендой. Ирландецъ Парнелль, однофамилецъ знаменитаго въ наше время вождя гомрулеровъ, въ повѣсти „The Hermit“, которою пользовался Вольтеръ, указываетъ уже на *неравномерное* распредѣленіе земныхъ благъ и въ примѣръ приводитъ ландлордовъ и фермеровъ: у него, какъ и въ книгѣ Бэдры, вы чувствуете, что всѣ симпатіи автора на сторонѣ пытливаго отшельника, который рѣшительно не можетъ примириться съ несправедливостію на землѣ; резонирующіе отвѣты ангела звучатъ у него, какъ и въ Библии, оффиціально—холодно и неубѣдительно. Экономическая точка зрѣнія заслонила собою религиозно-нравственныя цѣли легенды, выдвинувъ на первый планъ практической смыслъ англичанина и угнетенное положеніе ирландца.

Еще далѣе долженъ былъ пойти Вольтеръ: у него мы заранѣе можемъ ожидать отсутствія христіанскаго взгляда на вещи. И дѣйствительно, относительно кубка онъ удерживаетъ цѣликомъ объясненіе Лютера, стоящее на житейской, практической почвѣ, а эпизодъ умерщвленія ребенка опускаетъ совсѣмъ, какъ дѣяніе, слишкомъ возмущающее гуманное чувство. Интересно также у него объясненіе поджога, совершеннаго ангеломъ. Въ латинской средневѣковой рукописи ангелъ оправдывается тѣмъ, что богатства удалили монаховъ отъ ихъ прежней бѣдной и благочестивой жизни; у Вольтера ангелъ поджигаетъ не монастырь, а домъ философа съ тою цѣлью, чтобъ открыть въ развалинахъ сгорѣвшаго дома богатый кладъ, который дастъ достойному философу возможность широко пользоваться всеми благами жизни. Отступленія въ самомъ сюжетѣ имѣютъ цѣлью выяснить принципъ вѣротерпимости: ангелъ безразлично относится къ представителямъ разныхъ религій, принимавшимъ у себя странниковъ, и вразумляетъ пустытника, который придерживается религиозной исключи-

тельности, что не слѣдуетъ стѣснять человѣка въ его Богопочитаніи никакими внѣшними формами, хотя бы самыми совершенными.

Особенность Вольтерова пересказа заключается еще въ томъ, что вопреки христіанскому истолкованію легенды, приводящему къ мысли о неисповѣдимости путей Господнихъ, онъ только ставитъ и рѣзко выдвигаетъ вопросъ о человѣческой судьбѣ, но его не разрѣшаетъ. Господствующая въ XVIII вѣкѣ философская точка зрѣнія была оптимистическая, и Вольтеръ нерѣдко склонялся на ея сторону, но словно неубѣжденный въ ея вѣрности зачастую относился къ оптимизму иронически: по крайней мѣрѣ, когда ангель сталъ объяснять Задигу смыслъ своихъ дѣяній, тотъ не сдался сразу, какъ пустынный средневѣковой легенды, распростершійся ницъ на землю, а подобно Ездрѣ не безъ скептицизма спросилъ: «стало быть непремѣнно нужно, стоить преступленія и несчастія—вообще зло существовали? И необходимо ли, чтобъ зло выпадало на долю людямъ добрымъ?» Ангель отвѣчаетъ ему общими мѣстами о безпредѣльности вселенной, о связи вещей, о могуществѣ Божіемъ и слабости человѣческой. «Но... хочеть возразить Задигъ. «Слабое созданіе, перебиваетъ его ангель, перестань спорить о томъ, предъ чѣмъ ты долженъ благоговѣть!»— «Но... не унимается Задигъ. И только выговорилъ онъ свое второе «но», какъ ангель отлетѣлъ, и Задигу волей неволей пришлось замолчать. Голосъ ангела гремѣлъ съ высоты: «Ступай домой».

Упомянувъ лишь ради полноты перечня, что легенду объ ангелѣ и пустынный пересказывали Вальтеръ Скоттъ, Гриммъ и Геллертъ, обращаюсь къ обработкѣ ея графомъ Львомъ Толстымъ.

Имя графа Льва Толстого за послѣднее время у всѣхъ на языкѣ и въ мысляхъ; онъ никого не оставляетъ равнодушнымъ, такъ или иначе всё высказываются за или противъ него. Но въ ближайшее къ намъ время онъ бросилъ перо романиста и весь отдался исканію той правды, которая могла бы отвѣтить на вѣчные вопросы человѣческаго сознанія. Одушевленный призывъ къ правдѣ и добру заслонилъ для него всякіе другіе интересы. Въ этомъ неустанномъ исканіи истины, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ слѣдуетъ усмотрѣть нѣчто болѣзненное, можетъ быть со многими выводами нельзя было бы согласиться... Но за чтѣ бы ни взялся графъ Левъ Толстой, нельзя не почувствовать на себѣ неотразимаго вліянія могучаго таланта художника, обладающаго небывалою независимостью, изумительною устойчивостью противъ всякихъ традицій, прямою и искренностью, серьезнымъ взглядомъ на жизнь, нравственною стойкостью... Много лѣтъ тому назадъ, въ нашемъ обществѣ и литературѣ зародилась и постепенно окрѣпла особенная струя мысли и настроенія: это теорія долга народу. Предполагалось, что мы, воспитавшіеся насчетъ народнаго труда, получившіе изъ этого фонда свой досугъ и свои знанія, обязаны уплатить этотъ долгъ, направляя свою дѣятельность во благо народу.

Мы не забыли еще, въ какихъ разнообразныхъ формахъ выражалось это настроеніе. Графъ Левъ Толстой и къ нему отнесся по-своему: сила фантазіи, могучій анализъ, эпическое спокойствіе въ приемахъ творчества, близкое знаніе народной жизни—все это вызвало его на поприще писателя для народа; художественный тактъ подсказалъ ему, что для народа не слѣдуетъ выдумывать литературныхъ произведеній, а надо приспособить къ своимъ просвѣтительно-нравственнымъ цѣлямъ готовый запасъ сюжетовъ и образовъ, обращающихся въ народѣ. Графъ Левъ Толстой дебютировалъ въ этомъ направленіи разсказомъ «Чѣмъ люди живы». Этотъ разсказъ построенъ на народной легендѣ, которая въ свою очередь привязана къ сказанію объ ангелѣ и пустынникѣ. Посмотримъ, что сдѣлалъ изъ нея современный искатель истины.

Воспитанный въ художественныхъ преданіяхъ реальной школы, графъ Левъ Толстой, независимо отъ элемента фантастическаго и нравственнаго, которому отведено широкое мѣсто въ его разсказѣ, далъ прежде всего рядъ мѣткихъ бытовыхъ картинъ, основанныхъ на глубокомъ знаніи народной жизни, народнаго характера. Ничего выдуманнаго, дѣланнаго, все такъ искренно и просто, и все такъ удивительно художественно! Припомнимъ, напримѣръ, сцену, какъ жена сапожника Семена, ушедшаго добывать овчинъ на шубу, убравшись рано поутру, нарубила дровъ, принесла воды, ребятъ накормила, сама закусилась и задумалась: задумалась, когда хлѣбы ставить, нынѣ или завтра: краюшка большая осталась. Ежели, говорить, Семень тамъ пообѣдаетъ да много заужиномъ не съѣстъ, на завтра хватить хлѣба. Повертѣла, повертѣла Матрена краюху, думаетъ: не стану нынче хлѣбовъ ставить: муки и то всего на одни хлѣбы осталось; еще до пятницы протянемъ... И вотъ въ эту-то семью, холодную и голодную, гдѣ горькая нужда заставляетъ рассчитывать хлѣбъ чуть не золотниками, понадеваетъ еще лишній, холодный и голодный, вполнѣдствіи ангелъ, а куда человѣкъ, требующій и платья, и хлѣба. Посердилась, поворчала практичная баба на мужа, что привелъ съ собою какого-то непутеваго,—а въ концѣ концовъ достала таки ужинъ,—поставила чашку на столъ, налила квасу, выложила краюшку—последнюю: «хлебайте что ль!» И только на сонъ грядущій, съ усиліемъ натаскивая на себя край кафтана, чтобъ укрыться, робко—нерѣшительно спросила мужа: «Сема!»—«А?»—«Мы-то даемъ, да что жъ намъ никто не даетъ?»—Не зналъ Семень, что сказать. «Будетъ толковать-то», говорить. Повернулся и заснулъ. Такъ просто совершаются въ этой безхитростной жизни поступки истиннаго добра и милосердія...

А какъ трогателенъ разсказъ заказчицы о томъ, какъ она выкормила и пріютила двухъ сиротъ—дѣвочекъ, оставшихся отъ той именно женщины, изъ которой ангелъ не хотѣлъ вынуть души, по повелѣнію Божію! Обреченный за послушаніе на жизнь на землѣ до тѣхъ поръ, покуда

не узнаеть онъ, чѣмъ люди живы, ангель здѣсь узнаеть, что живы они не заботою о себѣ только, а любовью. Графъ Левъ Толстой сумѣлъ связать свой народно-бытовой рассказъ съ основными истинами евангельскаго ученія: не даромъ онъ и эпиграфомъ выбралъ изреченія: «Кто говоритъ: я люблю Бога,—а брата своего ненавидитъ,—тотъ лжець: ибо нелюбящій брата своего, котораго видитъ, какъ можетъ любить Бога, котораго не видитъ? Кто не любитъ, тотъ не позналъ Бога, потому что Богъ есть любовь». Графъ Левъ Толстой удержалъ изъ нашей легенды и ея основную тенденцію: ангель долженъ былъ узнать также, чего *не дано* людямъ, и узнать, что не дано имъ знать, что имъ самимъ нужно. Исполнивъ свое назначеніе, онъ, какъ и въ легендѣ, въ огненномъ столпѣ возносится на небо, воспѣвая хвалу Богу. И когда очнулся Семень, изба стояла попрежнему, и въ ней уже никого кромѣ семейныхъ, не было...

Подведемъ теперь итоги.

Какъ ни разнообразны пересказы и переработки нашей легенды, она въ главномъ и общемъ оставалась все тою же и въ равной мѣрѣ удовлетворяла и тревожимой сомнѣніями совѣсти древняго еврея, и пылкому фанатическому одушевленію правовѣрнаго псалмиста, и аскетическому самоотреченію средневѣковаго христіанина, и скептической мысли философа «просвѣтительной» эпохи, и современному искателю истины, жаждущему узнать, *въ чемъ его вѣра и что же намъ дѣлать*. Пройдя цѣлый кругъ вѣковъ и широко распространивъ отъ Палестины и Аравіи до Испаніи и Ирландіи, легенда свидѣтельствуетъ, что мнѣніе о духовныхъ различіяхъ между національностями въ отношеніяхъ племенномъ, вѣроисповѣдномъ и политическомъ во всякомъ случаѣ преувеличено. Ничто, казалось бы, не раздѣляетъ людей, рѣзче религіи; а между тѣмъ сравнительно—историческое изученіе литературы показываетъ, что нерѣдко языческій мнѣ перерабатывается въ христіанское житіе, тибетская сказка, выросшая на почвѣ буддійскаго пантеизма, прививается монотеистамъ, магометанамъ и христіанамъ. Каждый народъ относится къ извѣстному литературному сюжету по-своему; но такъ или иначе относится: такъ ощутительно это *ничто общее* между всѣми народами, такъ много среди національностей—*человѣчества*. Массы народныя созидаютъ свои культуры, какъ муравьи свой муравейникъ и пчелы—свои соты. Тѣ же міровые законы, въ силу которыхъ такъ искусно и такъ практично птицы вьютъ свои гнѣзда, господствуютъ и въ совокупномъ творчествѣ народныхъ массъ, во всемъ его широкомъ объемѣ. На этомъ-то принципѣ и основывается *всемирное сродство* всѣхъ народовъ: оно состоитъ не въ однихъ только общихъ законахъ логики, но и въ *одинаковыхъ* началахъ быта и культуры, въ *одинаковыхъ* способахъ жить и чувствовать, мечтать и допытываться и выражать свои жизненные интересы въ словѣ и дѣлѣ. Такое всемирное

средство заложило въ исторіи человѣчества *первичныя основы*, провело *общій уровень*, имѣющій служить фундаментомъ для той великой и единой пирамиды, которую строить исторія подъ именемъ *цивилизации*. Если бѣ испоконѣ вѣку не было заложено этого уровня *всечеловѣческаго сродства*, то разные народы не могли бы выходить въ исторіи цивилизаціи къ одной *общей имъ вѣстѣ* цѣли, не могли бы встрѣчаться на однихъ и тѣхъ же къ ней путяхъ. И далѣе: если на самомъ дѣлѣ не такъ значительны племенные и социальныя различія между національностями, то сами собою должны пасть толки о ненаціональномъ развитіи, усвоенномъ какому-либо народу извнѣ, о противоположности двухъ или болѣе національныхъ культуръ. И, наконецъ: если на самомъ дѣлѣ не такъ значительны различія племенные, вѣроисповѣдныя и политическія, то тѣмъ меньше можно ожидать различій классовыхъ, социальныхъ—среди одного и того же народа; а отсюда слѣдуетъ, что такъ называемая рознь между командующими классами, или интеллигенціею, съ одной стороны и народомъ—съ другой на самомъ дѣлѣ не такъ велика, потому что никакія искусственныя преграды не останавливаютъ существующаго между обоими классами живого обмѣна мыслей, чувствъ, сюжетовъ, желаній, взглядовъ и убѣжденій.

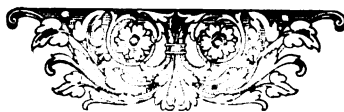
Въ самомъ дѣлѣ, давно ли эстетическое направленіе въ изученіи литературы знать не хотѣло, какими духовными интересами пробавляются темныя массы народа, и обращало вниманіе только на высшіе пункты человѣческаго развитія, на Гомеровъ, Дантовъ и Шекспировъ, окруженныхъ сіяніемъ вѣковой славы, которое своимъ ослѣпляющимъ блескомъ только сильнѣе сгущало окружавшій эти яркія точки мракъ? А въ наше время, сравнительно—историческое изученіе литературы, подмѣтивъ тѣсную связь личнаго и собирательнаго творчества, усмотрѣвъ этотъ живой обмѣнъ сюжетовъ, чувствъ и мыслей между интеллигенціею и народомъ, признало за народными массами законное право на нравственное бытіе и широкимъ взглядомъ окидываетъ великое и малое, высоты гениальныхъ личностей и низменные уровни сплошныхъ массъ населенія, открывая въ томъ и въ другомъ неизвѣстную до тѣхъ поръ гармонию, въ силу которой уравниваются достоинства и личностей и массъ. Новѣйшему времени принадлежитъ великая заслуга оцѣнить по достоинству скромную дѣятельность народныхъ массъ, вызвать изъ прошедшаго цѣлые періоды духовнаго развитія, не отмѣченные ни однимъ замѣтнымъ именемъ выдающейся изъ сплошной среды личности. Наука и нравственное чувство слились вмѣстѣ въ этомъ актѣ гуманности. Человѣколюбіе низшло къ «меньшей братіи», погрязшей въ бѣдности и невѣжествѣ, и усмотрѣло въ ней нравственные задатки человѣческаго развитія, а наука въ тѣхъ же задаткахъ открыла прочную основу, на которой сооружается величественное зданіе многовѣковой цивилизаціи.

Какъ на прошломъ основывается настоящее, и вся цивилизація воздвигаетъ свое нескончаемое столпотвореніе на прежнихъ историческихъ пластахъ и развалинахъ: такъ *великіе писатели пользуются для своихъ произведеній старыми сюжетами, общими всему историческому человечеству*, будто подмостками или дѣсами, при помощи которыхъ они сооружаютъ свои художественныя зданія, раскрывая міру новыя идеи и облагораживая человечество новыми высокими чувствованіями и стремленіями. *Старые образы и сюжеты, эти формы необходимости*, въ которыхъ неизбѣжно отливалось всякое *предыдущее* развитіе, только проникаются *новымъ содержаніемъ жизни*, приливающимъ *съ каждымъ новымъ поколѣніемъ*. Поэтическое творчество такимъ образомъ, вопреки старинной теоріи вдохновенія, на самомъ дѣлѣ ограничено и стѣснено извѣстными опредѣленными формулами, устойчивыми мотивами, которые одно поколѣніе приняло отъ предыдущаго, а это— отъ третьяго,—которыхъ первообразы мы неизбѣжно встрѣтимъ въ первобытной старинѣ, и далѣе на степени мѣта, даже конкретнаго опредѣленія первобытнаго слова. Каждая новая эпоха работаетъ слѣдовательно надъ изстари завѣщанными образами, обязательно вращаясь въ ихъ границахъ, позволяя себѣ лишь новыя комбинаціи старыхъ и только наполняя ихъ тѣмъ новымъ пониманіемъ жизни, которое собственно и составляетъ ея прогрессъ передъ прошлымъ. Этими новымъ, этимъ заимствованіемъ гениальные писатели отнюдь не вносятъ въ кругъ понятій какой-либо чужеземной новизны, а только силою своего дарованія освѣщаютъ то, что и до нихъ было всѣмъ извѣстно, даютъ знакомому только новый видъ,—въ томъ, къ чему издавна всѣ привыкли и приглядѣлись, открываютъ новые источники художественнаго наслажденія, озаряя свѣтомъ новыхъ идей давнишніе вымыслы, вводя ихъ, какъ старыхъ знакомцевъ, въ привѣтливую обстановку жизненныхъ, современныхъ имъ интересовъ.

Въ частности у насъ, при той особенной оторванности отъ народа, какая замѣчается среди нашихъ интеллигентныхъ классовъ, средство личнаго и собирательнаго творчества, живой обмѣнъ духовныхъ интересовъ между массою и интеллигенціею—приобрѣтаетъ особенное значеніе: всякій, кто живо ощущаетъ въ себѣ болѣзненное чувство огорченія вслѣдствіе этой оторванности, —найдетъ себѣ извѣстное теоретическое утѣшеніе на почвѣ сравнительно—историческаго изученія литературы.

Сергій Варшертъ.

Москва. 13 марта
1887 года.





Жильберъ.

(Очеркъ изъ исторіи французской лирики).

O maîtres que la gloire incite et reconforte,
Nés avec un front riche et des doigts inspirés,
Ayez pitié de ceux qui vous ont admirés,
Hélas! et tant aimés qu'ils ne pouvaient plus vivre
Sans risquer l'aventure atroce de vous suivre!
Maîtres, c'est en contant leurs blessés et leurs morts .
Que le vulgaire apprend combien vous êtes forts.
Cependant qu'aux pays sereins de l'harmonie
Vous voguez largement sous le vent du génie,
Ils tombent, les yeux pleins du ciel où vous planez,
Sur le pavé brutal des artistes damnés.

Sully Prudhomme.

I.

Въ 1699 году умираетъ Расинъ и въ немъ послѣдній представитель величавой классической школы. Выдающагося продолжателя эта школа послѣ себя не оставила. Живъ еще Буало, но самое строгое подчиненіе его эстетикѣ не можетъ породить ни одного сколько-нибудь талантливаго произведенія. Дѣйствительность—та низкая, но суровая дѣйствительность, которую такъ презирали классики, но отраженіемъ которой они, несмотря на это, были, — измѣняется. Новое столѣтіе мало-по-малу направляетъ жизнь по новой колеѣ, выдвигаетъ новые общественные элементы съ ихъ вкусами, потребностями и стремленіями. Въ самомъ началѣ вѣка является писатель, который узурпируетъ священныя формы Расиновской трагедіи для выраженія новыхъ религіозныхъ и политическихъ тенденцій, и такимъ образомъ подъ мантией трехъ единствъ будетъ вестись реальная, жизненная борьба противъ того, что было свято для писателей предыдущаго поколѣнія. Съ Вольтеромъ литература становится оппозиціонной. Общественная мысль, общественныя силы, не находя выраженія ни въ политическомъ, ни въ экономическомъ строѣ страны, избираютъ своимъ орудіемъ печатное слово. Все, что до того времени выносилось со слѣпымъ терпѣніемъ, какъ нѣчто чуть не отъ природы установленное, теперъ подтачивается и расшатывается логической критикой, сравне-

ниемъ съ сосѣдями, патетическими монологами и ѣдкими насмѣшками. Въ дѣйствительности жизнь государства течетъ въ прежнемъ руслѣ: парламенты существуютъ только для того, чтобы вотировать налоги для покрытія расходовъ двора на всякаго рода утонченный развратъ, господствующая церковь продолжаетъ преслѣдовать еретиковъ, анаемы, проскрипціи, костры не перестаютъ чередоваться, продажное чиновничество угнетаетъ провинцію. Въ теоріи же все это уже разрушено. «Реформа всѣхъ идей уже совершилась; но она еще не проведена ни въ одномъ учрежденіи» (Villemain). Рядомъ съ видимымъ порядкомъ вещей складывается невидимый, но едва ли менѣе реальный: литературная республика, la république des lettres, нѣчто въ родѣ государства философовъ, имѣетъ свою столицу—Ферне, своего законодателя—Вольтера; въ граждане этого государства записываются четыре иностранныхъ коронованныхъ особы; въ немъ господствуетъ, если и не справедливость, то свобода конкуренціи, свобода совѣсти, если еще не позитивная наука, то по крайней мѣрѣ скептическая философія. Законодательнымъ органомъ являются всѣ виды литературнаго творчества: трагедіи, комедіи, эпическія поэмы, стихотворныя посланія и прозаическія письма, эпиграммы, журнальныя статьи и научныя трактаты — все приводится въ дѣйствіе, все считается пригоднымъ средствомъ.

Но коренное измѣненіе въ содержаніи литературы не повлекло за собою измѣненія ея формъ. Въ концѣ вѣка, какъ и въ началѣ, Буало является непререкаемымъ авторитетомъ поэтики, и Лагарпъ въ своемъ «Лицеѣ» (1800—1804) только примѣняетъ готовую мѣрку, не подвигая самыхъ принциповъ ни на іоту впередъ. То, что въ свое время Буало имѣлъ право сказать о Малербѣ

. ce guide fidèle
Aux auteurs de ce temps est encor le modèle,

цѣликомъ приложимо къ подавляющему большинству стихотворцевъ XVIII вѣка. Какъ тогда, такъ и теперь

. le vers sur le vers n'osa pas enjamber.

Знаменитый поэтический стиль того времени достаточно характеризуется однимъ стихомъ извѣстнаго своимъ изящнымъ вкусомъ поэта Делиля (1738—1813), который вмѣсто прозаическаго слова «сахаръ» говорилъ

. ce miel américain
Que du suc des roseaux fait jaillir l'Africain.

Лирика въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы понимаемъ это слово теперь, т.-е. поэтическое изображеніе душевной жизни автора, считалась въ высшей степени неприличной. Чувство лирическаго энтузіазма должно было питаться великими событіями государственной жизни или красотами нарядной природы. Въ остальныхъ отрасляхъ изящной литературы тотъ же застой, кромѣ сатиры во всѣхъ ея видахъ отъ эпиграммъ до *Фигаро*

и *La Pucelle*. Тутъ форма вполне приспособлялась къ содержанию; въ этой области создались тѣ немногочисленные произведенія, которыя по своимъ художественнымъ достоинствамъ пережили всѣ позднѣйшія смѣны школъ и направленій.

Но вся сила французской литературы той эпохи была въ идейности. Самый крупный представитель ея—Вольтеръ не былъ художникомъ. Такой самостоятельный реформаторъ во всѣхъ другихъ областяхъ, онъ былъ весьма робокъ и консервативенъ въ области литературныхъ традицій. Ему некогда да и невыгодно было заниматься формой. Сколько времени и энергіи надо было бы потратить на разрушеніе вкусовъ и привычекъ публики изъ-за вещи второстепенной. Удобнѣе всего цѣликомъ принять установленный на Парнасѣ кодексъ и лишь умѣючи имъ пользоваться. Такимъ образомъ искусственно былъ поднятъ изъ могилы трупъ классицизма XVIII вѣка, Вольтеръ подкрасилъ его всѣми средствами своего ума и заставилъ своихъ современниковъ вѣрить иллюзіи этого воскресенія. Съ первыхъ же шаговъ на литературномъ поприщѣ онъ былъ признанъ наслѣдникомъ Корнеля и Расина, и это стало ходячимъ мнѣніемъ до начала слѣдующаго столѣтія. Если Вольтеръ былъ родоначальникомъ просвѣтительнаго теченія французской литературы, то и художественный консерватизмъ его имѣлъ важное вліяніе въ своей области. Какъ драматургъ онъ породилъ цѣлую плеяду продолжателей, которые наводнили литературу безконечнымъ числомъ подражаній подражаніямъ, выпѣвѣвшими тѣнями корнелевскихъ героевъ, грошевыми иллюстраціями къ каждой страницѣ греческихъ и римскихъ анналистовъ. Такъ какъ они были бездарны и не имѣли за душой рѣшительно ничего, что могло бы придать идейный интересъ ихъ произведеніямъ, то потомство предало ихъ полному забвенію, но въ свое время они были хозяевами сцены и книжнаго рынка. Такимъ образомъ въ литературѣ XVIII вѣка рядомъ съ типомъ писателя-философа и публициста мы видимъ другой типъ писателя, стремящагося къ чистому творчеству въ рамкахъ, предначертанныхъ общепризнанными образцами.

Какъ характерною фигурою этого рода, намъ предстоитъ заняться Лагарпомъ, однимъ изъ видныхъ подражателей Вольтера и литературнымъ противникомъ Жильбера.

Лагарпъ (1739—1803) дебютировалъ послѣ нѣсколькихъ незначительныхъ вещей ¹⁾ въ 1763 году трагедій *Warwick*. Педантическое подчиненіе признаннымъ законамъ драматургіи, гладкость стиха подкупили критику въ пользу молодого автора. Но и тутъ уже острый глазъ барона Гримма не могъ не замѣтить, что „главный недостатокъ этой трагедіи за-

¹⁾ Въ 1758 г. Мармонтель, тогдашній редакторъ „*Mercure*“ расхваливаетъ его героиды. *Marmontel, Oeuvres posthumes*. P. 1804, II, 91.

ключается въ отсутствіи интереса, чувства и силы ¹⁾“. По поводу слѣдующихъ трагедій Лагарпа, которыя правильно слѣдовали ежегодно одна за другой, тотъ же критикъ пишетъ ²⁾: «часто говорятъ, что зима къ намъ приближается, да и надо же въ самомъ дѣлѣ, чтобы это время года когда-нибудь наступило. Если это такъ, то можно сказать, что г. Лагарпъ — наше ноябрьское солнце. Это все то же солнце, но безъ тепла, безъ силы, безъ дѣйствія; оно не можетъ ни жечь, ни проникать, ни распространять ту могучую и кроткую силу, которая несетъ всей природѣ бытіе и жизнь“. Удачная характеристика для писателей изъ поколѣнія „эпигоновъ“, которыхъ Пушкинъ еще выразительнѣе называетъ „грибами, выросшими у корней дубовъ“.

Если въ художественномъ отношеніи Лагарпъ стоитъ такъ безконечно ниже классиковъ XVII вѣка, то въ смыслѣ идейнаго содержанія онъ настолько же далекъ отъ Вольтера. Онъ никогда не былъ интимнымъ членомъ такъ называемаго кружка энциклопедистовъ, но все-таки считался *своимъ* и пользовался ихъ покровительствомъ. Это и было единственной причиной его литературной карьеры. Въ 1768 г. онъ вступилъ въ редакцію журнала „ *Mercure de France* “, который былъ органомъ этого кружка. Лагарпъ взялъ на себя литературно-критическій отдѣлъ, особенно театральныя рецензіи. Тутъ онъ весьма горячо хвалилъ трагедіи Вольтера ³⁾ и защищалъ своего патрона противъ ожесточенныхъ нападеній враговъ философскаго направленія, особенно противъ еженедѣльнаго журнала „ *Année litteraire* “, редактировавшагося лицемѣрнымъ интриганомъ и ех'иезуитомъ Фрерономъ. Вскорѣ Лагарпъ навлекъ на себя гнѣвъ Вольтера, укравъ у него изъ Ферне рукопись, не предназначенную для печати, но Вольтеръ не разглашалъ этого эпизода, и Лагарпъ оставался оруженосцемъ партіи. Впослѣдствіи, въ дни революціи, онъ отрекся отъ солидарности съ мнѣніями „философовъ“, и дѣйствительно онъ никогда не обнаруживалъ пониманія ихъ, но въ области изящной литературы онъ сумѣлъ прослыть прямымъ наслѣдникомъ и продолжателемъ Вольтера. Вотъ отрывокъ изъ остроумно составленнаго *Credo*, обязательнаго для всякаго челоуѣка съ развитымъ вкусомъ того времени (*bon esprit*, какъ тогда выражались):

„Вѣрую въ Вольтера, отца всемогущаго, творца театра и философіи.

„Вѣрую въ Лагарпа, его единственнаго сына, господина нашего (*notre seigneur*), который... взомель въ театръ и сѣлъ одесную Вольтера, откуда онъ явился судить живыхъ и мертвыхъ)“.

¹⁾ *Baron de Grimm et Diderot. Correspondance littéraire, philosophique et critique.* P. 1813, III, 520—527.

²⁾ Тамъ же, IV, 175.

³⁾ *Condorcet. Vie de Voltaire* (безъ года), 237.

⁴⁾ *Bacheaumont. Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres en France.* Londre 1784, V, 12.

Очень хорошо понималъ современныя условія литературнаго успѣха Пиронъ ¹⁾, пророка Лагарпу мѣсто во Французской академіи. Его слова сбылись почти буквально. Вотъ они:

.....
Encore deux chutes!
Quatre cullebutes ²⁾
Èlèvent bien haut.
Lourd, froid, sec, éthique
Dans le dramatique;
Publie aussitôt
Une poétique;
Et partant de là
Bientôt te voilà
Membre académique ³⁾.

Поэтики Лагарпъ не написалъ, такъ какъ послѣ Буало это ему казалось совершенно излишнимъ, но критическихъ статей, гдѣ прилагались принципы Буало, за свою долгою жизнь написалъ огромное количество и впоследствии обработалъ ихъ въ одно цѣлое подъ заглавіемъ: *Licée ou cours de littérature ancienne et moderne* въ 20 томахъ. Сочиненіе это долго служило настольною книгою для всякаго любителя поэзіи и было между прочимъ переведено и на русскій языкъ (*Лицей или кругъ словесности древней и новой*, С.-Пб. 1810—1814). Общепризнанности авторитета Лагарпа, какъ критика, свидѣтельствуютъ между прочимъ и извѣстные юношескіе стихи Пушкина (*Городокъ*, 1814):

За ними (за всевозможными авторами) хмурыся, важно,
Ихъ строгій Аристархъ
Является отважно
Въ шестнадцать томахъ.
Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видѣть вкусъ,
Но часто, признаюсь,
Надъ нимъ я время трачу.

Карьеру же Лагарпъ сдѣлалъ, дѣйствительно, быстро, какъ пророчилъ ему Пиронъ. Благодаря поддержкѣ философскаго кружка, а также при помощи разныхъ не совсѣмъ благовидныхъ, но очень употребительныхъ тогда приемовъ ⁴⁾, онъ приобретаетъ расположеніе академіи, получаетъ одну награду за другой за посланія, похвальные рѣчи и т. п., и наконецъ въ 1776 году избирается въ число сорока безсмертныхъ.

При долголѣтней литературной практикѣ Лагарпъ приобрѣлъ умѣніе ориентироваться въ достоинствахъ и недостаткахъ современныхъ ему про-

¹⁾ Авторъ въ свое время очень извѣстной комедіи *La Métromanie*, остроумный и желчный, неизскаемый въ эпиграммахъ, особенно на Лагарпа.

²⁾ Дѣло идетъ о неудачѣ четырехъ трагедій Лагарпа во Французской Комедіи.

³⁾ *Grimm*. *Loco cit.* V, 162. Эту шутку впоследствии Жильберъ не разъ перефразировалъ.

⁴⁾ О приемахъ литературной борьбы Лагарпа см. *Bacheaumont* IV, 3; V, 192 IX, 183, 190, 194 и мн. др. мѣста.

изведеній, если, конечно, на сужденіе его не дѣйствовали личные мотивы, что случалось весьма часто ¹⁾, и лишь бы рассматриваемое произведеніе ничѣмъ не выдѣлялось среди тѣхъ, которыя были освящены его абсолютными доктринами. Все, что носило хоть ничтожный слѣдъ новизны, оригинальности, смѣлости, было имъ безошадно осуждаемо. Въ трагедіяхъ Вольтера онъ видѣлъ и цѣнилъ только литературный консерватизмъ, философско-просвѣтительную же сторону ихъ онъ обходилъ молчаніемъ, такъ какъ она не мѣшала имъ походить на всѣ классическія французскія трагедіи. Но не всѣ умѣли такъ, какъ Вольтеръ, вливать вино новое въ мѣхи старые. Къ такимъ писателямъ принадлежит Бомарше. Уже одно то, что онъ избралъ для своихъ пьесъ форму прозаической „мѣщанской трагедіи“, должно было возстановить противъ него Лагарпа. Серіозной театральной пьесѣ, по его мнѣнію, приличествовалъ лишь одинъ костюмъ, узкій корсетъ à la Louis XIV, будто бы похожій на античный хитонъ. А для Бомарше и прозаическая драма едва давала достаточно простора, чтобы излить все накопившееся у него „въ пылающемъ сердцѣ“. Это выраженіе кажется Лагарпу смѣшнымъ. Бомарше „не знаетъ,—иронически замѣчаетъ онъ ²⁾,—что о пылающемъ сердцѣ можно говорить развѣ только своей возлюбленной“. Въ другомъ случаѣ (1772) Лагарпъ возстаетъ противъ развивающейся маніи требовать отъ поэтовъ и артистовъ *de la chaleur*, справедливо замѣчая, что „это выраженіе было неизвѣстно во времена Расина и Буало“ ³⁾. Что бы сказалъ онъ, если бъ дожилъ до того времени, когда у каждаго поэта сердце должно было обратиться въ „угль пылающій огнемъ“, какъ это считалось обязательнымъ въ дни романтизма! Общее сужденіе Лагарпа о талантѣ Бомарше таково: „Бомарше-человѣкъ казался мнѣ всегда выше Бомарше-писателя ⁴⁾“. При извѣстныхъ нравственныхъ качествахъ автора *Figaro* этотъ приговоръ нельзя считать лестнымъ. Пьесамъ его критикъ отказываетъ даже въ почетномъ мѣстѣ среди второстепенныхъ вещей французской сцены ⁵⁾. Лагарпъ, которому нѣкогда навязана была роль наслѣдника Вольтера, особенно ужасается неприличію выходокъ автора противъ современнаго бытового и общественнаго строя.

Не сочувствуя политическимъ тенденціямъ литературы, Лагарпъ стоялъ также совершенно въ сторонѣ отъ философскаго мировоззрѣнія сво-

1) Объ этомъ см. *Barante*, De la littérature française pendant le XVIII siècle. P. 1809, 213—214.

2) Lycée. P. 1815, XI, 137.

3) *Rocafort*. Les doctrines littéraires de l'encyclopédie ou le romantisme des encyclopedistes. P. 1890, 117.

4) Lycée XI, 77.

5) Тамъ же, XI, 76. См. объ этомъ *Lintilhac*, Beaumarchais et ses œuvres. P. 1887, 186—188.

ихъ великихъ современниковъ. Въ этомъ смыслѣ очень характерно для него слѣдующее мѣсто. Разбирая оду Мальфилатра, рано умершаго талантливаго поэта (1733—1767), которую этотъ написалъ для конкурса въ Руанской академіи на тему: *Неподвижное солнце среди планетъ* (система Коперника), Лагарпъ цитируетъ строфу, гдѣ излагается ошибочная увѣренность первобытнаго человѣка, что онъ центръ вселенной, что небо, солнце, звѣзды и вся природа существуютъ лишь для него. Лагарпъ находить, что первобытный человѣкъ правъ. „Къ несчастію,—говоритъ онъ,—(и это единственный упрекъ, который можно сдѣлать этому стихотворенію), если поэзія здѣсь прекрасна, то философія плоха, ибо, находится ли земля или солнце въ центрѣ планетной системы (а послѣднее доказано), отъ этого не менѣе достовѣрнымъ остается, что земля и солнце одинаково сотворены были для человѣка: это доказано метафизикой по крайней мѣрѣ съ такою же степенью достовѣрности, съ какою доказано вращеніе земли въ физикѣ“¹⁾. Этой безапелляціонной вѣрѣ въ метафизику нужно противопоставить, что Бюффонъ пятьдесятъ лѣтъ раньше въ своей *теоріи земли* строитъ гипотезу, по которой земля есть случайный осколокъ, оторвавшійся отъ солнца, а органическія существа произошли отъ цѣпленія органическихъ частицъ, что тотъ же Бюффонъ считаетъ первую, быть можетъ, унижительною для человѣка истиною, проистекающею изъ серьезнаго изслѣдованія природы, включеніе человѣка въ ряды животныхъ, наконецъ, что Даламберъ считаетъ метафизику лишь смѣсью догадокъ, во мракѣ которыхъ основателенъ только скептицизмъ. Лагарпъ могъ бы припомнить, что раздѣляемое имъ первобытное міросозерцаніе послужило уже темой и для сатиры Вольтера²⁾, гдѣ каждое животное считаетъ себя вѣнцомъ мірозданія. Мыши восклицаютъ:

Que ce monde est charmant! quel empire est le nôtre!
Ce palais si superbe est élevé pour nous,
De toute éternité Dieu nous fit ces grands trous.

Утки, индюки, бараны — всѣ разсуждаютъ подобнымъ же образомъ.

L'âne paissant auprès, et se mirant dans l'eau,
Il rendait grâce au ciel, en se trouvant si beau.
Pour les ânes, dit-il, le ciel a fait la terre:
L'homme est né mon esclave, il me panse, il me ferre,
Il m'étrille, il me lave, il prévient mes désirs,
Il bâtit mon serail, il conduit mes plaisirs...

Это писалъ Вольтеръ въ 1737 году.

Жалуясь на современниковъ, что философское направленіе отбило у нихъ охоту читать стихи для самихъ стиховъ безъ отношенія къ тому, что въ нихъ выражается, Лагарпъ находить это порчей вкуса. „Если,—

1) Lycée XII, 343—344.

2) „Discours en vers sur l'homme“, *Voltaire*. Poésies 1775, I, 47.

говорить онъ ¹⁾,—вы можете быть увѣрены, что, раскрывъ книгу какого-нибудь поэта на любомъ мѣстѣ и прочитавъ сотню стиховъ, вы испытаете удовольствіе оттого, что они хорошо написаны (*bien faits*), вы должны остаться довольны поэтомъ, и онъ можетъ быть доволенъ собой“. Главное въ поэтическомъ произведеніи стиль. „Стиль болѣе или менѣе силенъ, возвышенъ, граціозенъ, разнообразенъ, смотря по характеру авторовъ и сюжетовъ; но первое условіе заключается въ изяществѣ, которое происходитъ отъ подбора соответственныхъ словъ и гармоніи стиха: безъ изящества нѣтъ стиля въ развитомъ языкѣ. На основаніи этого именно принципа здравомыслящая критика всегда судила поэтовъ“... „Дѣйствительно, по ученію прошлаго (XVII) вѣка, чтобы судить, можетъ ли человекъ писать стихи, есть только одинъ весьма простой способъ. Надо прочесть подъ рядъ сотню его стиховъ, и сейчасъ можно увидѣть, вѣрно ли авторъ выражаетъ свою мысль, заключаетъ ли онъ ее въ поэтическую фразу, притомъ такъ, чтобы стихотворная форма не отнимала у нея ничего необходимаго, не прибавляла къ ней ничего лишняго, и чтобы ухо и умъ были удовлетворены“... „Вы увидите, мм. гг., что этотъ методъ, которому мы будемъ постоянно слѣдовать при оцѣнкѣ поэтовъ нашего столѣтія, никогда насъ не обманетъ, и что результатъ будетъ всегда согласоваться съ тѣмъ мѣстомъ, которое каждый изъ нихъ занимаетъ“ ²⁾.

Понятно, что, исходя изъ этихъ принциповъ, Лагаршъ считаетъ верхомъ поэзіи скучныя и риторическія поэмы С.-Ламбера *Les Saisons* и Россе *L'Agriculture*, про которыя Тэнъ съ обычною своею образностью говоритъ, что это не цвѣтущія растенія, а цвѣты изъ пестрой бумаги ³⁾. На современнаго читателя одни заглавія такихъ произведеній наводятъ тоску, и сотни гладкихъ стиховъ съ вѣчными мифологическими символами не могутъ ее разсѣять.

II.

Мы не будемъ останавливаться на общеизвѣстныхъ явленіяхъ, въ которыхъ выразились первыя попытки литературнаго протестантизма. Для нашей цѣли важно отмѣтить только двѣ черты зарождавшагося новаго течения. Во-первыхъ, всѣ реформаторскія начинанія въ области художественной формы были робки, почти безсознательны и касались лишь частныхъ. Самый ранній и наиболѣе радикальный протестантъ, Ж.-Ж. Руссо, отвергая все современное ему искусство, главнымъ образомъ драму, исходилъ изъ этико-соціальныхъ, а не эстетическихъ взглядовъ. Но, считая

¹⁾ Lycée, VIII, 85.

²⁾ Lycée, VII, 353—354.

³⁾ *Taine*, *Origines de la France*, I, 258.

сценическія произведенія вредными, онъ признавался, что самъ восторгается трагедіями Вольтера. Дидеро, самый послѣдовательный защитникъ *естественности* въ искусствѣ, и продолжатель его Бомарше желали отвоевать только право гражданства «мѣщанской драмѣ», но не питали никакихъ революціонныхъ замысловъ противъ общей системы установившихся литературныхъ предразсудковъ. Во-вторыхъ, всѣ писатели, стремившіеся внести новую жизнь въ литературу, отступали передъ трудностью реформировать поэтическую рѣчь и обращались къ прозѣ. Даже наиболѣе поэтическія натуры изъ нихъ, какъ Руссо и Бернарденъ де-С.-Пьеръ избирали возможно безыскусственную форму для своихъ произведеній—форму описательнаго романа или романа въ письмахъ. И позднѣйшее поколѣніе выдѣляетъ однихъ прозаиковъ: Шатобриана и М-те Сталь, стиль которыхъ также близокъ XVIII столѣтію, какъ идеи XIX-му. Въ области поэзіи реформаторство встрѣчало гораздо болѣе трудныя препятствія. Уже самая стихотворная техника была загромождена такими обременительными условностями, которыя могли казаться почти непреодолимыми ¹⁾. Но еще труднѣе было обновить мотивы лирики. Расширеніе круга явленій, подающихъ поэтической обработкѣ, всегда и вездѣ вызывало отпоръ, такъ какъ все, что инертный вкусъ читателей не привыкъ встрѣчать въ стихахъ, кажется сначала по существу прозаическимъ; но особенно это должно было имѣть мѣсто во Франціи XVIII вѣка, гдѣ традиціи освящены были двумя вѣками застоя. Однако и въ этой области первые робкіе шаги были сдѣланы еще въ XVIII столѣтіи. Они были также мало сознательны, какъ и прочія преобразовательныя начинанія, и гораздо менѣе результатны, тѣмъ не менѣе несправедливо было бы совсѣмъ забыть о нихъ.

Первымъ романтикомъ въ области поэзіи принято считать Андре Шенье. Правда, многіе энергично оспариваютъ это и доказываютъ, что Шенье по всей своей натурѣ былъ истиннымъ классикомъ. Мы не будемъ здѣсь касаться этого безконечнаго по времени и безнадежнаго по результатамъ спора. Ту и другую кличку къ этому поэту можно прилагать, по нашему мнѣнію, лишь весьма условно. Онъ одинаково далекъ отъ слезящейся музы Миллевуа и Ламартина, какъ и отъ безсодержательнаго громогласія Жана Баптиста Руссо или Луи Расина. Какъ бы то ни было, еще ранѣе Шенье можно указать во французской поэзіи нѣсколько чертъ, рѣзко выдѣляющихся на общемъ фонѣ, что уже само по себѣ должно было бы останавливать вниманіе въ виду весьма однообразнаго характера лирики XVIII столѣтія. Жильбера, который внесъ эти оригинальныя черты, еще менѣе, чѣмъ Шенье можно причислить къ романтизму, но предшественникомъ такового онъ несомнѣнно былъ, хотя бы потому, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ умѣлъ дать выраженіе своему инди-

¹⁾ Объ этомъ см. *Rocafort*, *Loco cit*, 125.

видуальному чувству, не заботясь объ установленныхъ на этотъ случай шаблонахъ. Въ извѣстныхъ отношеніяхъ въ его поэзіи можно найти аналогіи съ одновременными явленіями «бури и натиска» въ нѣмецкой литературѣ, и даже личная судьба его отчасти напоминаетъ судьбу несчастнаго Ленца. Но въ то время, какъ Ленцъ принадлежалъ къ цѣлой группѣ литературныхъ собратій,—къ группѣ, которая въ извѣстный моментъ могла назвать своими членами Гете и Шиллера, Жильберъ со своимъ скромнымъ по размѣру дарованіемъ былъ и остался совершенно одинокъ, какъ въ личной судьбѣ, такъ и въ литературѣ. Этимъ вѣроятно и объясняется, что никто изъ историковъ литературы не обращаетъ на него спеціальнаго вниманія, хотя большинство изъ нихъ вскользь и упоминають о немъ, какъ о талантѣ, подававшемъ большія надежды. Невниманіе къ нему простирается до того, что до сихъ поръ нѣтъ полного собранія его сочиненій, даже основные факты его біографіи нельзя считать установленными. Романтики интересовались имъ, какъ противникомъ скептической философіи, и повтѣрили о немъ легенды, которыя по ихъ мнѣнію окружали его имя ореоломъ непризнанности, гоненія и несчастія. Впослѣдствіи, въ 60-хъ годахъ минувшаго столѣтія, эти легенды вызвали реакцію, и начиная съ извѣстнаго словаря Ларусса включительно до «Большой Энциклопедіи» также бездоказательно отрицается даже его бѣдность и психическая болѣзнь. Для окончательнаго и точнаго разрѣшенія этихъ противорѣчій необходимо было бы собрать современный событіямъ документальный матеріалъ. Нашей же задачей будетъ опредѣлить роль Жильбера въ исторіи французской лирики и установить путемъ анализа его произведеній не столько фактическую, сколько психологическую сторону его біографіи. Уже самая возможность искать въ стихахъ отраженія личности ихъ автора указываетъ на своеобразное мѣсто Жильбера среди стихотворцевъ XVIII и XVII вѣковъ, которымъ строгайше запрещена была субъективная лирика. Зато въ первой половинѣ слѣдующаго столѣтія она расцвѣла такимъ буйнымъ цвѣтомъ, что потребовалась новая реакція въ сторону безстрастія («парнасцы»).

Настоящій годъ по отношенію къ Жильберу является юбилейнымъ: онъ родился полтора года лѣтъ назадъ (1751) въ Лотарингіи въ крестьянской семьѣ. *Dieu place mon berceau dans la poudre des champs*,—говоритъ поэтъ. Однако родители его, повидимому, обладали относительнымъ благосостояніемъ, такъ какъ могли дать своему сыну извѣстное образованіе, хотя и съ большимъ для себя напряженіемъ. Жильберъ окончилъ курсъ въ *collège de l'Arc* въ городѣ Доль (Dôle). Юноша, повидимому, еще въ школѣ пришелъ въ столкновеніе съ рутинной французскаго стихосложенія: Шарль Нодье рассказываетъ ¹⁾, что учитель, преподававшій Жильберу

1) *Gilbert, Oeuvres*. Paris, Garnier freres. Notice hist. par Ch. Nodier.

версификацію, хвалился, что всѣ его ученики стали поэтами, *исключая Жильбера*. Въ 1769 году будущій поэтъ отправляется въ Нанси, гдѣ подерживаетъ свое существованіе уроками; онъ пробуетъ даже открыть публичный курсъ литературы, но безъ успѣха ¹⁾. Здѣсь же онъ началъ и свою литературную карьеру. Между дѣломъ былъ написанъ романъ *Les Familles de Darius et d'Eridame*, который не былъ включенъ въ собранія сочиненій Жильбера ни имъ самимъ, ни позднѣйшими издателями. Въ 1770 году появился первый сборникъ его стиховъ ²⁾, еще не обнаруживающихъ никакой оригинальности. Изъ Нанси молодой дебиантъ вѣроятно пріѣзжалъ въ Парижъ, но окончательно онъ переселился туда лишь въ 1774 году. Шестъ лѣтъ, которыя ему еще оставалось прожить, представляютъ сплошной рядъ разочарованій, неудачъ, униженій, тяжелую картину нищеты, несчастія и одиночества.

Чтобы понять положеніе Жильбера въ Парижѣ, припомнимъ бытовую сторону тогдашней литературы. Вспоенная и вскормленная щедротами королей, двора и знати, французская литература, несмотря на значительную демократизацію своего содержанія въ XVIII вѣкѣ, все еще не могла приобрести достаточно широкаго круга читателей, чтобы стать на собственные ноги; она все еще состояла на жалованіи у великихъ міра сего (*les grands*, какъ тогда говорили). Цѣлая система конкурсовъ, пенсій, наградъ, номинальныхъ должностей служила матеріальной поддержкой писателей со стороны государства. Частныя лица, богачи и вельможи ставили себѣ также въ честь способствовать процвѣтанію литературы, оплачивая изданія, приглашая авторовъ къ обѣдамъ и ужинамъ или даже давая имъ полное содержаніе въ своихъ парижскихъ отеляхъ или деревенскихъ помѣстьяхъ. Біографія всѣхъ писателей того времени, великихъ и малыхъ, полна ихъ отношеніями, дружескими или враждебными, къ тѣмъ или другимъ высокопоставленнымъ особамъ, а современные мемуары полны свидѣтельствами того деморализующаго вліянія, которое имѣлъ на литературные нравы подобный порядокъ вещей. Почти на каждой страницѣ можно встрѣтить разсказъ о какомъ-нибудь неблаговидномъ дѣйствіи между покровительствующими и покровительствуемыми или между конку-

1) „La grande Encyclopédie“.

2) „Début poétique“. Сообщаемъ краткую библиографическую справку о дальнѣйшихъ изданіяхъ. Въ 1773 г. самъ авторъ издалъ „Oeuvres complètes“ куда однако кромѣ указаннаго романа не вошла сатира *Le Siècle*, отсутствующая и во всѣхъ позднѣйшихъ собраніяхъ. Первое посмертное изданіе появилось въ 1788 г. Основнымъ изданіемъ надо считать „Oeuvres complètes, publiées pour la première fois avec les corrections de l'auteur et les variantes, accompagnées de notes littéraires et historiques (par M. Mastrella). Paris, Dalibo (imprim. Didot) 1823. Avec portrait et 4 vignettes“. Это изданіе лежитъ въ основѣ всѣхъ послѣдующихъ. „Poésies de Gilbert“ изданы въ извѣстной стереотипной „Bibliothèque Nationale“.

рентами на протекцію: интриги, пасквилы, беззащѣтная лесть, двусмысленныя милости или грубыя выходки вельможъ, плагиаты, фальсификаціи и т. п. были совершенно обычными явленіями въ литературной средѣ, и нѣтъ почти ни одного великаго имени во французской литературѣ XVIII вѣка, которое бы не было запятнано подобными поступками.

Неразборчивость въ средствахъ до того была въ нравахъ эпохи, что ее почти нельзя ставить въ вину тѣмъ писателямъ, которые позволяли себѣ въ интересахъ своихъ убѣжденій. Глубина и историческія заслуги этихъ убѣжденій именно и сдѣлали то, что группа талантовъ, объединенныхъ «энциклопедіей», дала фізіономію цѣлой эпохѣ. У нихъ были также искренніе и глубоко убѣжденные враги, какъ Ж. Ж. Руссо, но большинство ихъ литературныхъ противниковъ были люди совершенно иного разбора. Такъ называемая антифилософская или іезуитская партія состояла почти сплошь изъ субъектовъ, убѣжденность которыхъ измѣрялась только выгодой, которые угождали лишь силѣ, всегда готовы были продавать свое перо съ публичнаго торга и ненавидѣли все, что было талантливаго и жизненнаго. Это не мѣшало, однако, нѣкоторымъ изъ нихъ обладать недюжинными литературными способностями. Таковъ напр., самый видный ихъ представитель Фреронъ (1719—1776), бывшій іезуитъ, наслѣдовавшій аббату Дефонтену, также бывшему іезуиту, въ редакторствѣ недѣльнаго журнала „*Année littéraire*“, главнаго органа антифилософской партіи, и въ смертельной враждѣ къ Вольтеру. Послѣдній также не оставался въ долгу, не умѣя презирать недостойныхъ противниковъ, и изливалъ на Фрерона и его братію всю силу своего сарказма и ѣдкаго остроумія. Онъ третировалъ ихъ обыкновенно общимъ названіемъ—*la canaille littéraire* ¹⁾, а ихъ журналъ „*Année littéraire*“—*ânerie littéraire* ²⁾). Фрерона, какъ извѣстно, Вольтеръ изобразилъ въ комедіи *L'Écossaise* подъ именемъ Grélon (трутень) въ видѣ презрѣннаго писаки, предлагающаго первому встрѣчному за нѣсколько монетъ разругать или расхвалить кого угодно и печатающаго на героиню пьесы, добродѣтельную Линдану, доносъ въ политической неблагонадежности. Говорятъ, эта кличка стала популярной и осталась за Фрерономъ на всю жизнь. Его же со всей компаніей увѣковѣчилъ Вольтеръ въ наиболѣе читавшейся современниками поэмѣ своей *La Pucelle* (пѣснь XVIII), гдѣ Фреронъ, Лабомель, Сабатье ³⁾ и др. изображены въ качествѣ галерныхъ ваторжниковъ; по просьбѣ

1) *Commentaire historique sur les oeuvres de l'auteur de la Henriade* (анонимная брошюра самого Вольтера). Genève, 1777, 11.

2) D'Alembert, *Oeuvres*. P. 1805, XVI, 356.

3) *Labeaumelle*—авторъ враждебнаго Вольтеру комментарія на Генрияду. Аббатъ *Sabatier*—авторъ книги *Les trois siècles de notre littérature*, полный доносъ на современниковъ въ нечестіи и безбожіи См. *Palissot*, *Mémoires pour servir à l'histoire de notre littérature*. P. 1803. I, 66—69, II, 362.

Агнессы король Карль VII дарить имъ свободу съ тѣмъ, чтобы они служили въ его арміи солдатами, но въ первую же ночь они бѣжали, обокравъ до гола короля и его свиту.

Если Фреронъ подъ перомъ Вольтера играетъ такую жалкую роль, то самое ожесточеніе послѣдняго показываетъ, что это былъ противникъ, съ которымъ приходилось считаться. Фреронъ не лишень былъ публицистическаго таланта и критическаго чутья, онъ умѣлъ порой очень искусно подмѣчать смѣшныя и дурныя стороны своихъ враговъ. Эта общая вражда къ „философамъ“ и особенно къ Лагарпу, котораго Фреронъ къ нимъ причислялъ, привела къ сближенію Жильбера съ кликой изъ „*Année littéraire*“, какъ мы вскорѣ увидимъ.

III.

Въ такой атмосферѣ ожесточенной вражды, лицемѣрія и нравственной беззастѣнчивости пришлось начинать свою литературную карьеру молодому поэту съ несложившимся міровоззрѣніемъ, въ провинціальной глуши мечтавшему завоевать себѣ славу нѣсколькими недурно написанными одами. Говорятъ, будто Жильберъ имѣлъ рекомендательное письмо къ Даламберу, который, будучи въ то время постояннымъ секретаремъ французской академіи, пользовался огромнымъ вліяніемъ въ литературномъ мірѣ. Но рекомендація эта не привела ни къ чему ¹⁾. Нѣтъ никакой надобности объяснять эту первую неудачу Жильбера „низостью, холодностью и безжалостностью апостоловъ новой философіи“, какъ это дѣлаетъ Ш. Подье въ цитированномъ уже предисловіи, — Даламберъ былъ однимъ изъ рѣдкихъ по честности писателей того времени ²⁾, а разсужденія его о поэзіи, о нелѣпости и произвольности неподвижныхъ литературныхъ законовъ обнаруживаютъ въ немъ рѣдкое въ то время критическое чутье ³⁾. Всего естественнѣе, что сейчасъ же выяснилась рознь между юнымъ поэтомъ, дѣтски вѣрующимъ энтузіастомъ, общественно и политически неразвитымъ, и пятидесятилѣтнимъ скептикомъ, столь осторожнымъ въ своихъ сужденіяхъ, а еще болѣе въ поступкахъ.

¹⁾ Если передаваемый фактъ дѣйствительно имѣлъ мѣсто, то отсюда надо было бы заключить, что Жильберъ, какъ сказано выше, еще изъ Нанси пріѣзжалъ въ Парижъ и старался завязать тамъ полезныя связи. Ибо, когда онъ въ 1774 году окончательно поселился въ Парижѣ, то Академія уже обидѣла его, не присудивъ ему конкурсной преміи за оду, и слѣдовательно мало вѣроятно, чтобы онъ могъ рассчитывать на покровительство Даламбера.

²⁾ См. напр. *Chabanon*, *Tableau de quelques circonstances de ma vie*, P. 1802, 32 и слѣд., а также ср. *Hettner*, *Litteraturgeschichte des XVIII Jahrh.* Braunschweig 1860, II, 335.

³⁾ См. напр. его *Reflexions sur l'ode*. *Oeuvres* IV, 120 и слѣд. о литературныхъ теоріяхъ Даламбера *Rocafort*, *Loco cit. passim*.

Съ наивно самоувѣренностью и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма трогательно изображаетъ поэтъ свои первыя разочарованія и трагическое положеніе, въ которое онъ попалъ съ первыхъ же шаговъ своей многострадальной карьеры въ одно изъ стихотвореній (*Le poète malheureux*). Онъ не хочетъ и не видитъ надобности скрывать, что цѣль, къ которой онъ стремится всѣми силами души, есть слова:

Savez-vous quel trésor eut satisfait mon coeur?
La gloire...

Или въ другомъ мѣстѣ:

Il n'ya qu'un vrai malheur, c'est de vivre ignoré.

Намъ, привыкшимъ встрѣчать у всѣхъ поэтовъ, начиная съ Байрона, увѣренія въ томъ, что они равнодушны къ рукоплесканіямъ толпы и даже презираютъ ихъ, признаніе Жильбера можетъ показаться по крайней мѣрѣ нескромностью: такія стремленія наши современники, если и пытаются, то во всякомъ случаѣ стараются скрыть. Но не такъ было во времена Жильбера. Честолюбіе считалось однимъ изъ благороднѣйшихъ стимуловъ человѣческой дѣятельности. Объ этомъ писались теоретическіе трактаты ¹⁾, объ этомъ говорили положительные герои беллетристики:

Romains, j'aime la gloire, et ne veux point m'en taire;
Des travaux des humains c'est le digne salaire.
Sénat, en vous servant il la faut acheter:
Qui n'ose la vouloir, n'ose la mériter.

Такъ заставляетъ говорить Цицерона Вольтеръ, но біографъ послѣдняго замѣчаетъ, что „въ этомъ мѣстѣ дѣйствующее лицо сливается съ поэтомъ“ ²⁾. Еще пожалуй больше аналогіи къ жаждѣ славы Жильбера найдемъ въ нѣмецкой литературѣ того времени. Вспомнимъ юношескія тирады Карла Моора послѣ чтенія Плутарха и общій культъ гениальности среди нѣмцевъ энтузіастовъ.

Какъ безумный Ленцъ изображалъ себя рука объ руку съ Гете на вершинѣ, до которой остальные лишь пытаются добраться, такъ и Жильберъ ставилъ себѣ не легко достижимую цѣль. Его сердце подсказываетъ ему, что онъ можетъ сравняться съ Расиномъ и Корнелемъ. Онъ соглашается, что ихъ имена могутъ испугать маюдушнаго, что небо, создавши ихъ, хотѣло отличиться, но съ концѣ концовъ вѣдь и они только люди. Свое право на такую громкую славу Жильберъ подтверждаетъ повѣстью о своей юности. Родившись въ нищетѣ сельской обстановки, онъ съ дѣтскихъ лѣтъ стремится подражать своимъ великимъ предшественникамъ на

1) См. главу „De la louange et de l'amour de la gloire“ въ сочиненіи Тома *Essai sur les louanges. Thomas, Oeuvres. P. 1773, I, 3—14.*

2) *Condorcet, Loco cit., 63.*

поэтическомъ поприщѣ. Постоянно возвращаясь мыслью къ своему настоящему печальному положенію, поэтъ сравниваетъ себя съ орленкомъ:

Pareil à cet aiglon qui, de son nid tranquille,
Voyant près du soleil son père transporté,
Nager avec orgueil dans les flots de clarté,
S'élève, bat les airs de son aile indocile,
Retombe, et, ne pouvant le suivre que des yeux,
En accuse son nid, et d'un bec furieux
Le disperse brisé, mais en vain le regrette,
Quand égaré dans l'ombre, il erre sans retraite ¹⁾.

Чтобы изобразить, какъ неудержимо онъ стремился къ своему призванію, Жильберъ счелъ нужнымъ измѣнить нѣсколько истинный ходъ событий: въ разсматриваемомъ стихотвореніи отецъ увѣщаваетъ сына отказаться отъ своей склонности, напоминаетъ ему несчастную судьбу Милтона и Гомера (!), какъ примѣръ людской неблагодарности; но когда сынъ несмотря на все настаиваетъ на своемъ, отецъ предоставляетъ его съ проклятіемъ своей судьбѣ. На дѣлѣ было иначе. Самъ Жильберъ въ другомъ стихотвореніи такъ изображаетъ отношенія своихъ родителей къ его пробуждающимся способностямъ:

Père aveugle et barbare! impitoyable mère!
Pauvres, vous fallait-il mettre au jour un enfant
Qui n'éritât de vous qu'une affreuse indigence?
Encor si vous m'eussiez laissé votre ignorance,
J'aurais vécu paisible en cultivant mon champ...
*Mais vous avez nourri les feux de mon génie:
Mais vous-mêmes, du sein d'une obscure patrie
Vous m'avez transporté dans un monde éclairé.*

Такъ заставляетъ говорить поэта горькій опытъ. Тогда же въ самомъ началѣ своего несчастнаго поэтическаго поприща онъ съ дѣтской вѣрой въ свои силы смѣло смотрѣлъ въ будущее, не скрывая однако отъ себя, что его ждутъ испытанія и опасности.

Mon asile est partout où l'orage m'entraîne.
Qu'importe que les flots s'âbiment sous mes pieds
Que la mort en grondant s'étende sur ma tête?
Sa présence m'entoure, et, loin d'être éffrayés,
Mes yeux avec plaisir regardent la tempête:
Du sommet de la poupe, armé de mon pinceau,
Tranquille, en l'admirant, j'en trace le tableau.

Это желаніе во что бы то ни стало вырваться изъ пасмурной дѣйствительности—не напоминаетъ ли оно такихъ же взрывовъ просыпающейся индивидуальности по ту сторону Рейна? Любопытно, какъ почти одновременно (1771 или 1772) великій современникъ Жильбера, Гете, высказываетъ почти то же:

¹⁾ Едва ли можно сомнѣваться, что это мѣсто послужило прообразомъ для А. Мюссе въ *Rolla*:

Lorsque le jeune aiglon, voyant partir sa mère,
En la suivant des yeux s'avance au bord du nid,
Qui donc lui dit alors qu'il peut quitter la terre etc.

Wen du nicht verlässest, Genius,
Nicht der Regen, nicht der Sturm
Haut ihm Schauer übers Herz.
Wen du nicht verlässest, Genius,
Wird dem Regengewölk,
Wird dem Schlossensturm
Entgegen singen,
Wie die Lerche
Du da droben.

Или въ другомъ мѣстѣ нѣсколько позднѣе (1776).

Aber aus der dumpfen, grauen Ferne
Kündet leisewandelnd sich der Sturm an,
Drückt die Vögel nieder aufs Gewässer,
Drückt der Menschen schwellend Herz darnieder;
Und er kommt

Doch er (der Wanderer) stehet männlich an dem Steuer;
Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen,
Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen:
Herrschend blickt er auf die grimme Tiefe
Und vertrauet, scheiternd oder landend,
Seinen Göttern.

Маленькая, но очень характерная черточка: французскій поэтъ, вооруженный кистью, пишетъ картину, тогда какъ нѣмецкій—поетъ, какъ жаворонокъ. Впослѣдствіи въ XIX столѣтіи и французы научились *петь*, но въ XVIII вѣкѣ Сентъ-Бевъ напрасно искалъ *une âme sacrée qui chante*¹⁾. Специально про Жильбера онъ говоритъ, что „въ его подавленныхъ крикахъ слишкомъ много ярости и брани“, чтобы они могли слиться въ гармоническія созвучія пѣсни. Но причина лежитъ не въ личныхъ особенностяхъ Жильбера: традиція въ соотвѣтствіи съ характеромъ языка и національнымъ вкусомъ ставила французской поэзіи единственную задачу—воспроизводить зрительныя впечатлѣнія²⁾. Хотя со временемъ французы усиленно боролись противъ этой односторонней традиціи, такъ что одинъ изъ поэтовъ конца минувшаго вѣка (Верленъ) ставилъ даже противоположное требованіе—*de la musique avant toute chose*, но вся французская литература до послѣдняго времени свидѣтельствуетъ, какъ изощренъ у французовъ талантъ видѣть.

Одушевленіе, которымъ полны приведенныя выше строки, Жильберъ восстанавливаетъ уже только по памяти. Вѣру въ свой талантъ и свое призваніе онъ не теряетъ до самаго конца, но опытъ научилъ его, что одного таланта мало для побѣды надъ людскою черствостью и несправедливостью, и свой геній поэтъ теперь считаетъ причиной своихъ несчастій. Онъ завидуетъ простому крестьянину, который, „оставаясь вѣрнымъ унаслѣдованному отъ предковъ положенію“, „воздѣлывая въ мирѣ свои наслѣдственные поля, не боится по крайней мѣрѣ, что труды его

¹⁾ Derniers portraits littéraires. Bruxelles, 1836, II, 33.

²⁾ *Rocafort*. Loco cit. См. главу о „лирической поэзіи“.

рукъ оставить его тѣло безъ пропитанія“, потому что Жильберу знакомъ уже прозаическій, вовсе не иносказательный голодъ. Завидуетъ онъ крестьянину за то, что тотъ не знаетъ, какъ „меценать, раздавая общанія, которыхъ онъ не держитъ“, считаетъ себя вправѣ „унижать покровительствуемаго“, „упрекать его своими щедротами“. „Да и самые щедрые дорого продаютъ свои благодѣянія“. На минуту къ поэту возвращается лучъ надежды. „Что, если судьба перестанетъ меня преслѣдовать?.. Людская несправедливость иногда утомляется“... Но это только на минуту. Онъ сознаетъ, что для него остались лишь „позоръ и смерть“. „Нищета медленно отворяетъ передъ нимъ могилу. Его геній побѣжденъ“. Съ послѣднимъ привѣтомъ обращается онъ къ своей родинѣ, „къ берегамъ Соны, гдѣ онъ впервые увидѣлъ свѣтъ“¹⁾. „Вы не увидите меня болѣе,—говоритъ онъ:—мой послѣдній день приближается; мои глаза закроются подъ безчеловѣчнымъ небомъ“ чуждаго города.

Такую-то оду рѣшилъ Жильберъ представить въ академію на объявленную для конкурса тему: *Геній въ борьбѣ съ судьбою*. Но, конечно, предлагая этотъ сюжетъ для обработки, академія была далека отъ мысли, что онъ можетъ получить такую форму. Въмѣсто того, чтобы изобразить олицетвореннаго генія, съ факеломъ въ рукахъ и съ огненнымъ языкомъ надъ головой, отвлеченную борьбу съ олицетворенными злыми силами (daimones), которыхъ судьба посылаетъ на генія, и въ концѣ концовъ побѣду и апогеозъ генія, дерзкій юноша, презрѣвъ всѣ литературныя приличія, выводитъ самую непоказную сторону писательскаго быта, описываетъ *самого себя*, свои надежды и разочарованія, *свои бѣдствія*, и какія бѣдствія? — унижительное покровительство меценатовъ, реальный голодъ, а въ довершеніе всего гибель генія подъ бременемъ жизненныхъ мелочей. И для такого невольнаго окончанія поэтъ изобрѣтаетъ совершенно невольный образъ — поденщика, умирающаго подъ тяжестью ноши, которую ему никто не помогъ поднять.

Какъ слѣдуетъ относиться къ возвышенному сюжету по-академически, можетъ показать слѣдующій отрывокъ, взятый почти наудачу изъ обширной литературы одъ XVIII столѣтія: это первыя двѣ строфы изъ *Гармоніи* Луи Расина (1692—1763):

Fille du ciel, mère féconde
Des innocentes voluptés,
Lien des cœurs, âme du monde,
Souveraine des volontés;
Par toi seule, aimable Harmonie,
Euterpe, Erato, Polumnie
De leurs concerts charment les dieux;
Chez les hommes, c'est ta puissance,
Qui de la farouche Ignorance
A détruit l'empire odieux.

1) Неточность: поэтъ родился близъ города Remiremont на Мозелѣ.

Pour une vile nourriture,
 Pour les plus honteux intérêts
 Jadis errans à l'aventure,
 Ils s'égorgeaient dans les forêts;
*De leurs viles glands tu les détaches*¹⁾;
 Ils se rassemblent à tes sons,
 Et dans l'enceinte de ces villes
 Qu'élèvent les pierres dociles,
 Ils vont écouter tes leçons.

Лагарпъ въ восторгѣ отъ этой оды²⁾, и не даромъ: тутъ и „невинныя наслажденія“, и Эвтерпа, Эрато и Полигимнія, олицетворенныя гармонія и невѣжество, тутъ наконецъ, въ противоположность Жильберу, такое возвышенное презрѣнiе къ „пищѣ“. Правда и Жильберъ дѣлаетъ въ своей одѣ много, даже слишкомъ много уступокъ господствующему вкусу, слѣдуя въ этомъ отношенiи инстинктивно правиламъ мудрой осторожности, раздававшимся съ академической кафедръ: „истина, когда она противорѣчитъ общему мнѣнiю, должна высказываться со всевозможною осторожностью, чтобы избѣжать отпора (pour éviter d'être éconduite³⁾)“. Такъ, трагическая судьба поэта является какъ бы слѣдствiемъ измышленнаго проклятiя отца, этому отцу — простому „поселянину“, вкладываются въ уста имена Мильтона и Гомера, все изложенiе такое, какое требовалось для оды, т.-е. патетическое, часто напыщенное, — но всего этого оказалось еще недостаточнымъ, чтобы смягчить судъ академи. Можно ли было признать это стихотворенiе одой, когда оно не имѣло даже строфической формы, что во всѣхъ поэтикахъ тогдашняго времени считалось обязательнымъ для этого вида лирическихъ произведенiй⁴⁾. Въ этомъ году никто не былъ признанъ достойнымъ награды.

Но Жильберъ упорствовалъ въ своемъ желанiи получить отличiе и къ одному изъ слѣдующихъ конкурсовъ подалъ новую оду *Страшный судъ*. Въ этомъ стихотворенiи болѣе, чѣмъ въ первомъ, сказывается разлагающее влiянiе рутины. Философскiй скептицизмъ не въ состоянiи былъ нарушить традицію, по которой еще со временъ Малерба религиозныя темы считались весьма благодарными для поэтической обработки. Эти темы даже прославили не одного стихотворца XVIII вѣка, напр. Л. Расина, Ж. Б. Руссо, Лефранъ де-Помпьяна. Но отсутствiе искренняго чувства лишаетъ

1) Очевидное подражанiе Тибуллу, но простота и искреннее увлеченiе послѣдняго исчезли безъ слѣда. У Тибулла цивилизующее влiянiе приписывалось гораздо основательнѣе богамъ земледѣлiя, которые для него не были риторической фигурой:

Rura cano rurisque deos. His vita magistris
Desuevit querna pellerе glande famem etc.

(Elegia, II, 1, 37—38).

2) Lycée XII, 335.

3) *D'Alembert*, Oeuvres, IV, 128.

4) *Rocafort*, Loco cit. 168.

ихъ произведенія всякой поэтичности: всюду казенное воспѣваніе величія, всемогущества, недосыгаемости Божества. Какая риторика, напр., въ слѣдующихъ строкахъ изъ поэмы Л. Расина *Ремія*, считавшейся образцовымъ произведеніемъ ¹⁾, и до сихъ поръ часто печатающейся въ хрестоматіяхъ:

Répondez, cieux et mers; et vous, terre, parlez!
Quel bras peut vous suspendre, innombrables étoiles?
Nuit brillante, dis-nous qui t'a donné tes voiles?
O cieux, que de grandeur, et quelle majesté!
J'y reconnais un maitre à qui rien n'a couté,
Et qui dans vos deserts a semé la lumière,
Ainsi que dans nos champs il sème la poussière.
И т. д. и т. д.

Такіе образцы, извращающіе вкусъ читателя, и вкусъ читателя, требующій такого сорта произведеній, заставили и Жильбера прибѣгать въ своей одѣ къ общимъ мѣстамъ, избитымъ фигурамъ, ничего не говорящимъ эпитетамъ; но нетронутая вѣра, принесенная имъ изъ деревни, получившая еще отгѣнокъ экзальтации отъ контраста съ окружающимъ его невѣріемъ, сообщила его произведенію черты, которыя оправдываютъ мнѣніе Ш. Нодье, что „никто изъ Французской академіи не въ состояніи былъ бы написать подобную вещь“. Преобладающимъ качествомъ Божества въ одѣ Жильбера является не сила, а справедливость. Втеченіе всей жизни челоѣчества, предоставленнаго самому себѣ, злые угнетали праведныхъ, издѣваясь надъ вѣрою въ то, что наступитъ часъ справедливаго суда. И вотъ этотъ часъ насталъ... Среди шаблонныхъ, схематическихъ грѣшниковъ, какъ скупцы, убійцы, предатели, приближаются къ Судіи и конкретные, которыхъ Жильберъ наблюдалъ самъ: „великіе міра сего, которые подъ тшетнымъ имеремъ благодѣтелей сѣяли дары на ряду съ оскорбленіями“, „разбойники—нѣкогда короли, лишеныя здѣсь коронъ“. За грѣшниками къ трону правосудія приближаются праведники; ихъ число очень незначительно, это: „старцы, дѣти, нѣсколько несчастныхъ“; „на тысячу праведныхъ приходится едва двѣ вѣнчаныхъ главы“.

Лагарпу, который прилагаетъ здѣсь извѣстный уже намъ масштаб, и эта ода кажется ниже всякой критики. „Есть извѣстный талантъ въ языкѣ (la diction), но ничто лучше не напоминаетъ словъ Горация: *Versus inopes rerum pugaetque sanogae*“ ²⁾. Академія даже не допустила до конкурса эту оду. Жильберъ былъ увѣренъ, что причина его неудачъ заключается въ интригахъ его враговъ, и что жюри отвергаетъ его произведенія, даже не читая ихъ, потому что побѣдители заранѣе уже намѣчены. Упреки этого рода дошли до академіи, такъ что Даламберъ счелъ

1) Восторженный отзывъ о ней см. *Dussault*, *Annales littéraires*, P. 1818, III, 350 и слѣд. Дюссо былъ постояннымъ критикомъ „*Journal des Débats*“.

2) *Correspondance littéraire adressée à S. A. I. M-gr le grand—Duc, aujourd'hui Empereur de Russie, 1774—1789*. P. 1801, II, 4. Сюда же вошла и переписка Лагарпа съ гр. А. Шуваловымъ

нужнымъ официально съ кафедры опровергнуть подобные слухи, распускаемые, по его словамъ, авторами, „которые не имѣютъ никакой надежды оказаться побѣдителями на конкурсахъ“. Между тѣмъ Лагарпъ получаетъ непрерывныя награды то за похвальное слово, то за оду, то за посланіе, такъ что Фреронъ задаетъ себѣ вопросъ, ужъ не для Лагарпа ли спеціально учреждена академическая премія ¹⁾. Въ 1775 году Жильберъ опять конкурируетъ съ Лагарпомъ и конечно опять неудачно. Его ода *A M. de Choiseul* ²⁾, нигдѣ, впрочемъ, ненапечатанная, остается за флагомъ, а Лагарпъ получаетъ награду за посланіе *A un jeune poète sur le choix des liaisons* ³⁾ (выборъ темы былъ свободенъ въ этомъ году). Жильберъ иронически называетъ подобныя произведенія *Épître sur la chimie dans ses rapports avec l'éloquence*.

Лагарпъ говоритъ, что Жильберъ, пославъ свое стихотвореніе на конкурсъ, распустилъ слухъ, что имъ заготовлена сатира дровивъ академіи на случай, если ему не будетъ присуждена премія ⁴⁾. Мы не имѣемъ основанія вѣрить этому свидѣтельству, тѣмъ болѣе, что сатира, о которой здѣсь можетъ идти рѣчь (*Le dixhuitième siècle*), направлена не противъ академіи. Какъ бы то ни было, съ этого момента начинается новый и послѣдній періодъ литературной дѣятельности Жильбера, именно его открытая борьба противъ „философскаго направленія“, — борьба, приобрѣтшая ему печальную извѣстность при жизни и горячее одобреніе первыхъ литературныхъ поколѣній нашего вѣка.

IV.

Прежде чѣмъ перейти къ полемическимъ произведеніямъ Жильбера, намъ нужно остановиться на его личной лирикѣ, которая составляетъ по нашему мнѣнію наиболѣе цѣнную долю его литературнаго наслѣдія. Въ выше разсмотрѣнныхъ двухъ одахъ выразились уже два основныхъ мотива его поэзіи: протестъ подавленной личности противъ деспотизма общества и экзальтація религіознаго чувства, приведшая Жильбера изъ оппозиціи матеріализму въ объятія ханжей и іезуитовъ. Въ томъ и другомъ отношеніи Жильберъ можетъ считаться предшественникомъ умственныхъ и общественныхъ теченій первой половины XIX вѣка—индивидуализма и реакціоннаго католицизма. Поэтому у романтиковъ всѣхъ отѣнковъ нерѣдко встрѣтить упоминанія нѣкогда отверженнаго поэта.

«Всякій писатель, — говоритъ Даламберъ, — завоевываетъ самъ свое мѣсто, и никто кромѣ него самого не имѣетъ власти возвысить или уни-

¹⁾ *Bacheaumont*, Loco cit. VII, 206.

²⁾ *Laharpe*, Lycée. XIII, 6.

³⁾ *Laharpe*, Correspondance littéraire, I, 229.

⁴⁾ Тамъ же, I, 234.

зять его» ¹⁾. Это весьма утѣшительный принципъ, если честолюбіе писателя не ограничивается краткимъ срокомъ его жизни, а съ терпѣніемъ будетъ ждать справедливаго суда болѣе или менѣе отдаленнаго потомства но конечно его нельзя понимать въ томъ смыслѣ, что писатель, произведенія котораго не пользовались успѣхомъ среди его современниковъ, недостойны вниманія слѣдующихъ поколѣній. Стихотворенія Жильбера, къ которымъ мы теперь обратимся, при жизни автора остались совершенно незамѣченными, да и послѣ его смерти, когда его имя было окружено извѣстнымъ ореоломъ, оно чаще всего соединялось съ предикатомъ «сатирикъ», и лишь очень рѣдко первенствующее значеніе приписывалось его элегіямъ. Правда, число ихъ невелико, но качество ихъ заставляетъ удѣлить имъ замѣтное мѣсто среди произведеній французской лирики. По реальности изображаемыхъ душевныхъ движеній, по искренности тона и по энергіи языка во всей французской литературѣ XVIII вѣка не найдется ничего подобнаго, кромѣ нѣсколькихъ стихотвореній Шенье послѣдняго періода.

Замѣчательнѣе всего стихотвореніе *Les plaintes du malheureux*, которое по содержанію близко его одѣ *Le poète malheureux* и, можетъ быть, служило даже первоначальной редакціей его, переработанной для академическаго конкурса въ духѣ господствующихъ правилъ. Здѣсь нѣтъ и слѣда тѣхъ недостатковъ, которые мы указывали въ выше разобранномъ стихотвореніи: ни протворѣчій, ни естественности, ни растянутости. Чувство одиночества и безнадежности достигаетъ здѣсь еще большей силы. Не къ людямъ обращается поэтъ съ упрекомъ въ несправедливости; сомнѣнія нѣтъ—впередѣ «паденіе, голодъ, слезы и отчаяніе»; «талантъ, честность, бессонныя ночи» вдохновенія и труда—все пропало даромъ. Остается умереть; но и смерть не слушаетъ призыва несчастнаго... Если вспомнить религіозность Жильбера, если вспомнить, что изъ практическихъ соображеній онъ часто выставляетъ ее на видъ и утрируетъ, то надо думать, что сомнѣніе въ справедливости и милосердіи высшей воли въ его устахъ не риторическая фраза. «Жестокій Богъ!—ропщеть онъ,—если ты хочешь лишь испытать мою добродѣтель, то оставись: я чувствую, что она колеблется; нужда ее перевѣшиваетъ и превозмогаетъ». «Такъ значитъ правда, что человѣкъ подъ вліяніемъ нищеты противъ воли впадаетъ въ преступленіе». О какомъ преступленіи здѣсь можетъ идти рѣчь? Это не обычная поэтическая формула; подъ этими словами долженъ заключаться какой-нибудь реальный смыслъ.

Обвиняя своихъ родителей за то, что они поощряли его жажду славы и способствовали ему оторваться отъ родной среды (мѣсто это мы привели выше), поэтъ завидуетъ могильному покою, который они вкушаютъ тогда какъ онъ...

¹⁾ *D'Alembert, Oeuvres, IV, 146.*

sur un grabat arrosé de mes larmes,
Je veille, je languis par la faim dévoré,
Et tout est insensible aux malheurs que j'endure!

Все спитъ, «начиная съ короля ¹⁾, румянаго любителя покоя, кото-
рый въ настоящую минуту храпитъ, безопасно растянувшись на пуховикѣ»,
до послѣдняго ремесленника.

Mes yeux seuls sont ouverts, je suis seul malheureux.

Голодь будить и раздражаетъ въ немъ всѣ дурныя инстинкты; че-
столюбіе, жадность къ деньгамъ, безнравственная зависть къ собратьямъ,
наконецъ любовь, служащая всѣмъ источникомъ радостей, — все это до-
ставляетъ ему только муки, большія, чѣмъ самый голодь. Да, счастливъ
тотъ, кого «сладкія узы любви заставляютъ забывать о насущныхъ забо-
тахъ! Но тысячу разъ счастливѣе тотъ гениальный человекъ, который, въ
довольствѣ служа искусствамъ, не нуждается въ поддержкѣ, чтобъ оста-
навливать наши взоры».

Semblables aux beautés qui vont baissant les yeux
À l'aspect d'un soleil brulant et radieux,
Les grands le craignent tous, éblouis de sa gloire...
Et moi, moi, malheureux! j'aurai beau travailler,
Je vivrai dans l'oubli .. *la muse mercenaire*
D'un éclat glorieux ne peut jamais briller..

Не имѣемъ ли мы въ этихъ словахъ разгадку вопроса, какое «пре-
ступленіе» является слѣдствіемъ нищеты? Конечно не воровствомъ, не
разбоемъ думаетъ поэтъ выйти изъ угнетающей его обстановки. Для пи-
сателя того времени и того общества, для интеллигентнаго пролетарія,
какъ мы бы теперь сказали, открывалось поприще гораздо менѣе риско-
ванное и потому болѣе скользкое. Изъ нѣкоторыхъ строчекъ, разсѣян-
ныхъ въ другихъ произведеніяхъ, уже ясно, съ какими искушеніями при-
ходится бороться Жильберу. Въ первой разобранный нами одѣ поэтъ ри-
суетъ намъ печальную картину литературныхъ нравовъ своего времени:
наблюденіе научило его, что талантъ, гений недалеко ведутъ по дорогѣ
къ славѣ безъ помощи богатства или общественнаго положенія, за не-
имѣніемъ же такихъ надо продавать свое дарованіе и вмѣстѣ съ сла-
вой, достигнутой такою цѣною, покрыть свою голову позоромъ. Мы уже
слышали жалобу, что «великіе міра дорого продаютъ свои щедроты»,
т.-е. меценатство не есть безкорыстная симпатія къ талантамъ, а тре-
буетъ со стороны послѣднихъ постыдную компенсацію за благодѣянія. Но
что говорить о славѣ! И для простого поддержанія жалкаго существова-
нія нужно жертвовать самолюбіемъ, унижаться до просьбъ, расточать
лесть, скрывать свои истинныя мнѣнія и чувства, служить интересамъ,
въ которые не вѣришь, и при всемъ томъ не жаловаться. Сознаніе без-

¹⁾ Такъ вѣроятно надо понимать сокращеніе le M*** (le Monarque?).

нравственности подобнаго поведенія преслѣдуетъ Жильбера всю жизнь, и лишь на смертномъ одрѣ онъ надѣется, что Богъ увидитъ его угрызения совѣсти, такъ какъ «онъ прощаетъ вѣдь слабость челоувѣческой природы въ несчастіяхъ».

Большинство современниковъ Жильбера, великихъ и малыхъ, находилось въ томъ же положеніи, хотя почти ни у кого изъ нихъ не было за себя такихъ смягчающихъ обстоятельствъ, но напрасно было бы искать у нихъ угрызений совѣсти: никто не называлъ „преступленіемъ“ такого, казалось, простого и общераспространеннаго явленія, какъ зависимость писателя отъ богача. Только у одного Ж.-Ж. Руссо можно найти то же чувство, какъ у Жильбера. Онъ часто отказывался отъ предложеній помощи со стороны различныхъ покровителей; мы даже находимъ у него почти тѣ же слова, что у Жильбера: „ничего могучаго, великаго не можетъ выйти изъ-подъ продажнаго пера“¹⁾; и дѣйствительно Руссо не продавалъ своего пера. Но въ крайности и онъ принималъ матеріальную поддержку, если былъ увѣренъ, что это не повлечетъ за собою нравственныхъ жертвъ съ его стороны. Напомнимъ напр., его отношенія съ маршаломъ Люксембургскимъ и его женой. Онъ самъ рассказываетъ²⁾, что когда ему вздумалось отказаться отъ литературнаго заработка, чтобы свое писательство не ставить въ зависимость отъ своихъ матеріальныхъ потребностей, то поклонники его „находили тысячу средствъ“, чтобы обезпечить его существованіе, и между прочимъ, поддаваясь его гениальному капризу — зарабатывать себѣ жизнь перепиской нотъ, заваливали его заказами, конечно, не потому, что онъ былъ лучший каллиграфъ.

Mais cessons de me plaindre, et tremblons de déplaire.

Такъ заканчиваетъ Жильберъ свое стихотвореніе. Трудно сильнѣе выразить униженное положеніе наемнаго писака, который въ самый моментъ жгучаго отчаянія долженъ подавить въ себѣ возмущенное челоувѣческое чувство, чтобы не прогнѣвить капризнаго мецената, желающаго встрѣчать вокругъ себя довольныя, веселыя лица.

Не удивительно, что подъ вліяніемъ горькаго опыта своихъ сношеній съ окружающимъ, у Жильбера развивалось порою болѣзненное отвращеніе къ людямъ. Въ лѣсу, среди дикихъ звѣрей ищетъ поэтъ челоувѣчности (*Quarts d'heure de Misanthropie*). Звѣри, говоритъ онъ, менѣе жестоки и кровожадны, нежели люди. Вспомнимъ, что болѣе ста лѣтъ раньше другой мизантропъ, Альцестъ, сравнивалъ Парижъ съ лѣсомъ, а людей съ волками.

Trop de perversités règnent au siècle où nous sommes
Et je veux me tirer du commerce des hommes.

1) Confessions P. 1844, 378.

2) Тамъ же, 345.

Allons, c'est trop souffrir les chagrins qu'on nous forge;
Tirons nous de ce bois et de ce coupe-gorge.
Puisque entre humains ainsi vous vivez en vrais loups,
Traîtres, vous ne m'aurez de ma vie avec vous.

При этомъ Жильберъ сильно преувеличиваетъ „человѣчность“ дикихъ звѣрей: онъ думаетъ, что кабанъ готовъ жертвовать собственной жизнью, мстя за смерть себѣ подобнаго, что левъ дѣлится добычей со старымъ, ослабѣвшимъ товарищемъ, что волкъ не вырываетъ овцы у умирающаго волка. Но гиперболу въ этомъ родѣ, правда выраженную съ неподражаемымъ совершенствомъ, находимъ и у Гейне: умирая онъ хотѣлъ бы оставить свою жену въ лѣсу,

In einem jener Tannenforsten,
Wo Wölfe heulen, Geier horsten
Und schrecklich grunzt die wilde Sau,
Des blonden Ebers Ehefrau.

Glaub mir
Nicht so gefährlich ist das wilde,
Erzürnte Meer und der trotzige Wald,
Als unser jetziger Aufenthalt!
Wie schrecklich auch der Wolf und der Geier,
Haifische und sonstige Meerungeheuer:
Viel grimmere, schlimmere Bestien enthält
Paris, die leuchteude Hauptstadt der Welt.

Только человѣкъ, — продолжаетъ Жильберъ, — съ сожалѣніемъ кормитъ человѣка, только у человѣка сердце желѣзное; „могучій гордь, богатый скупъ, а бѣдный завистливъ“. „Насколько мои несчастья были мучительны (въ человѣческомъ обществѣ), настолько жгуча и глубока моя ненависть (къ нему)“. Далѣе слѣдуетъ картина, довольно близкая къ только что цитированнымъ стихамъ, написаннымъ лѣтъ 80 позднѣе. Сходство съ Гейне такая лестная вещь, что мы считаемъ нужнымъ привести и этотъ отрывокъ.

Qu'un morne et noir silence,
Qu'une effrayante nuit attriste au loin ces bois,
Pour en bouleverser la solitude immense,
Que les vents, échappés de leurs cachots étroits,
Unissent leurs murmures au fracas du tonnerre,
Du chêne à longs éclats déchirent les rameaux,
Déracinent le pin, qui renversé par terre,
Ecrase sous son poids des milliers d'arbrisseaux:
Leur ténébreuse nuit m'est également chère.

Въ пасмурный, туманный день поэтъ утѣшаетъ себя, думая, что небо отказываетъ людямъ въ солнечномъ свѣтѣ въ отмщеніе за ихъ несправедливое отношеніе къ нему. Но тутъ же выступаетъ и чисто лирический мотивъ: поэту пріятно въ такіе дни находить въ природѣ отзвукъ своему печальному, безнадежному настроенію.

Далѣе картина мѣняется. Поэтъ представляетъ себѣ подробности счастливой жизни на лонѣ природы: „постелью моею, — говоритъ онъ, —

будутъ листья, хижиною — пещера, пищею — трава и питьею — чистая вода; невинность будетъ моею радостью, разумъ — моимъ имуществомъ“. Изъ подобнаго настроенія впоследствии развился романтической экзотизмъ: близко лежащія лѣса и горы были слишкомъ хорошо извѣстны, чтобы можно было надѣяться найти тамъ безмятежное счастье; оставалось перенестись мечтой въ далекія, невѣдомыя дебри и пустыни. Идиллія, которую рисуетъ Жильберъ, манила и его современниковъ. Тогда какъ Вольтеръ и другіе „энциклопедисты“, находя, что неразумныя силы природы могутъ быть обращены въ пользу человѣку лишь имъ самимъ, видятъ возможное благополучіе въ умственномъ, а отсюда и въ техническомъ и общественномъ прогрессѣ, Руссо утверждаетъ, что „нѣтъ такихъ страданій у человѣка, которыя можно было бы поставить въ вину Провидѣнію, и которыя бы не происходили изъ того, что человѣкъ злоупотребляетъ своими способностями“¹⁾. Отсюда стремленіе возвратиться къ источнику всѣхъ благъ — къ природѣ. Руссо хотѣлъ на Корсикѣ найти мѣсто своимъ общественно-политическимъ идеаламъ, а Бернарденъ де-С.-Пьеръ въ степяхъ екатерининской Россіи. Но, кромѣ безсилія въ борьбѣ съ человѣческой неправдой и жестокостью, этихъ мечтателей толкало изъ городовъ и непосредственное чувство любви къ природѣ, воспитанное еще дѣтскими впечатлѣніями. Сень-Пьеръ девяти лѣтъ отъ роду рѣшается сдѣлаться отшельникомъ и съ этою цѣлью уходитъ за полмили отъ города, запасшись завтракомъ, даннымъ ему въ школу. Руссо всю свою жизнь стремится въ деревню. Переселеніе въ „Эрмитажъ“ и копаніе грядокъ произвело смягчающее дѣйствіе на его характеръ, а пребываніе на островѣ св. Петра на Біеннскомъ озерѣ внушило ему нѣсколько страницъ, принадлежащихъ къ самымъ поэтическимъ, какія онъ когда-либо написалъ.

Но у Жильбера такое настроеніе, когда онъ хочетъ бѣжать отъ людей „въ пустыню“, является дѣйствительно лишь на „четверть часа“. Съ одной стороны, онъ не имѣлъ никакого основанія мечтать о скромномъ довольствѣ мелкаго помѣщика, доля котораго такъ манила Шенье и столькихъ другихъ поэтовъ древнихъ и новыхъ эпохъ, и слишкомъ хорошо зналъ реальныя условія деревенской жизни, чтобы носиться съ серьезной мыслью возвратиться къ плугу; съ другой стороны его темпераментъ былъ слишкомъ дѣятеленъ и общителенъ, чтобы наслаждаться одиночествомъ. Такимъ образомъ онъ больше подходитъ къ типу Альцеста — мизантропа по общественнымъ условіямъ, чѣмъ къ Руссо и Б. де С.-Пьеру — пустынникамъ по темпераменту. И Мольеръ оставляетъ возможность сомнѣваться въ твердости рѣшенія Альцеста навсегда уѣхать изъ Парижа.

Впрочемъ, природу и Жильберъ горячо любитъ и глубоко чувствуетъ. Какъ ни ограничено число мѣстъ въ его произведеніяхъ, посвященныхъ

¹⁾ Confessions, 404.

пейзажу; они все же дают еще одну черту, выдѣляющую его въ ряду стихотворцевъ XVIII вѣка. О классическомъ пейзажѣ нечего и говорить: все это не болѣе какъ декоративные шаблоны. Но во второй половинѣ столѣтія, подъ различными вліяніями, шедшими главнымъ образомъ изъ Англіи, въ литературѣ и пластикѣ распространились въ изобиліи такъ называемые *paysages intimes*, сентиментальные пейзажи, болѣе близкіе въ природѣ ¹⁾. Однако и въ нихъ еще много условности и всегда доза нравоучительности. Для опредѣленія отношенія Жильбера къ этому рода лирикѣ любопытно сопоставить выше разобранное стихотвореніе съ характерной элегіей Дюси (1733—1813) *À mon ruisseau*, въ которой тема почти та же.

Ruisseau peu connu, dont l'eau coule
Dans un lit sauvage et couvert,
Oui, comme toi, je crains la foule;
Comme toi, j'aime le desert.

И Дюси также ищетъ въ природѣ забвенія печалей (*Ruisseau, sur ma peine passée fais rouler l'oubli des douleurs*), и его тревожитъ порочность людей (*Près de toi, l'âme recueillie ne sait plus s'il est des pervers*); но какая разница въ тонѣ, въ краскахъ, въ самой идеѣ. Вотъ какимъ нравоученіемъ заканчивается пьеса Дюси:

Mon humble ruisseau, par ta fuite,
— Nous vivons, hélas! peu d'instant —
Fais souvent penser ton hermite,
Avec fruit, au fleuve du Temps.

Оставляя пока въ сторонѣ то стихотвореніе Жильбера, которое справедливо считается лучшимъ его произведеніемъ, намъ слѣдуетъ коснуться и остальныхъ образцовъ его личной лирики. Въ нихъ безспорно есть недурныя по своему времени частности, стихъ иногда грѣшитъ противъ классической просодіи, но часто благозвученъ и порой красивъ, въ общемъ однако, всѣ эти стихотворенія не представляютъ исключенія изъ общаго правила. Сюда относится большинство его юношескихъ произведеній. Отсюда можно предполагать, что, если бъ карьера поэта опредѣлилась почему-нибудь иначе, если бъ онъ безъ борьбы занялъ положеніе, удовлетворившее его съ нравственной и матеріальной стороны, то быть можетъ онъ никогда бы не вырвался изъ тѣсной области ничтожной поэзіи своего вѣка.

Pour que l'encens parfume il faut qu l'encens brûle.

Слѣдуетъ отмѣтить изъ числа этихъ стихотвореній *Le nouvel Epicure*, быть можетъ не случайно напоминающее оду Горация *Leuconoe* (Кн. I, ода XI). Наслаждаться минутой, не загадывая о будущемъ, — такова идея этого стихотворенія, впоследствии столько разъ разработанная у Бе-

¹⁾ Ср. *Taine*, *Origines de la France*, I, 209.

ранже. Изъ любовныхъ стихотвореній Жильбера можно выдѣлить по звучности стиха *L'amant désespéré*.

Forêts solitaires et sombres,
Je viens, dévoré de douleurs,
Sous vos majestueuses ombres,
Du repos qui me fuit respirer les douceurs.

Маленькая идиллія *Le charme des bois* граціозна и легка, но по своему характеру совершенно соответствуетъ духу поэзіи того времени, и у Парни можно было бы указать не мало аналогичныхъ стихотвореній, отдаленно напоминающихъ Теокрита. Но нигдѣ не чувствуется непосредственнаго, искренняго чувства, какое мы находимъ въ болѣе позднее время у Жильбера.

Обращаясь теперь къ тѣмъ его произведеніямъ, которыя писаны на различные случаи общественной и государственной жизни, такъ сказать по официальнымъ поводамъ, мы должны замѣтить, что подъ вліяніемъ требованій критики и публики качество ихъ съ каждымъ годомъ понижается. Наконецъ *Ода на современную войну*, воспѣвающая незначительную побѣду французскаго флота надъ англійскимъ (1778), вполне удовлетворила самыхъ строгихъ критиковъ, даже Лагарпа ¹⁾: образы въ ней достаточно нарядны и избиты, мысли плоски, сравненія натянуты, тонъ гиперболиченъ. Такъ Лагарпъ находить безукоризненной, напр., слѣдующую строфу:

Vengez-nous: il est temps que ce voisin parjure
Expie, et son orgueil, et ses longs attentats.
D'une servile paix prescrite à nos états,
C'est trop laisser vieillir l'injure.
Dunkerque vous implore: entendez-vous sa voix
Redemander les tours qui gardaient son rivage,
Et de son port dans l'esclavage
Les débris indignés d'obéir à deux rois?

„Эти стихи,—говоритъ Лагарпъ,—одинаково прекрасны по движенію по складу (la tournure), по выразительности; такимъ именно способомъ писанія можно достигнуть лиры Руссо (Ж. Б.)“.

То, что самъ Жильберъ говоритъ о писателяхъ, гонящихся за академическими лаврами ²⁾, произошло съ нимъ: „Одержимые ложной мыслью, что полученіе преміи можетъ положить основаніе репутаціи, нетерпѣливые въ своей безызвѣстности, раздраженные своими неудачами, они сдѣлались упорны въ своемъ честолюбіи; и чтобы побѣдить, они стараются выдѣлывать свои произведенія по образцу побѣдившихъ пьесъ и сообразовать свой вкусъ со вкусомъ своихъ судей. Одна побѣда возбуждаетъ въ нихъ стремленіе къ другой. Такъ отъ одной награды къ другой они старѣются въ усиліяхъ извратить свой вкусъ и дѣйствительно доходятъ до

¹⁾ Lycée, XII, 372—378.

²⁾ Diatribe au sujet des prix académiques.

порчи таланта, которымъ ихъ одарила природа“. Можно подумать, что Жильберъ въ точности воспроизводитъ свою собственную психологію и судьбу, за исключеніемъ академическихъ лавровъ, которые ни разу не достались на его долю. „Ода,—говоритъ онъ въ той же статьѣ, направленной противъ Лагарпа,—должна быть извѣстнаго рода драмой: патетическое есть душа ея напѣвовъ“. Но паэось этотъ не достигается вѣчно повторяемыми возгласами: „Что слышу я? что вижу я?“—какъ бываетъ у Лагарпа. Смѣлость, какъ въ образахъ, такъ и въ стилѣ должна быть неограничена:

Tout oser est le droit du peintre et du poète,

вотъ девизъ поэта по мнѣнію Жильбера. Что онъ считаетъ позволительнымъ для поэта, видно изъ предыдущихъ строкъ, весьма замѣчательныхъ по смѣлости и новизнѣ для того времени: „Всѣ произведенія нашего вѣка имѣютъ одну и ту же фізіономію, одну и ту же окраску, одинъ и тотъ же тонъ. Фальшивая возвышенность господствуетъ во всѣхъ нашихъ поэтическихъ произведеніяхъ. Авторы боятся придать своему стилю ту благородную и наивную обыденность (familiarité), которой искали древніе, и которая всегда присуща правдѣ, естественности и возвышенности. Не подумайте, чтобы эта обыденность стили отрицала новизну выражений и смѣлость метафоръ. *Не наблюдали ли вы сотни разъ, что народъ употребляетъ въ разговоръ такія смѣлыя, такія оригинальныя слова, что они могли бы показаться вамъ напыщенными въ произведеніи самаго высокаго рода?*“ Сопоставимъ это съ замѣчаніемъ Вольтера, одобряющимъ Малebra за то, что онъ жилище бѣдняка называетъ „сабапе“, а не „taudis“, потому что *taudis* народное выраженіе ¹⁾). Революціонному заявленію Жильбера можно указать только одну параллель во французской литературѣ отъ Малebra до начала XIX столѣтія, именно извѣстную выходку чудака Альцеста, когда онъ высказываетъ предпочтеніе народной пѣснѣ передъ сонетомъ, „построеннымъ“ по всѣмъ правиламъ классическаго искусства. Здѣсь небезынтересно припомнить, что мысль Жильбера на русскомъ языкѣ была выражена впервые около 1830 года Пушкинымъ: „Разговорный языкъ простаго народа... достоинъ также глубочайшихъ изслѣдованій“.

Характерно для литературныхъ новаторовъ XVIII вѣка, что теоретическіе взгляды Жильбера не имѣютъ никакой связи съ его поэтическими произведеніями. Вводя дѣйствительно новые элементы въ лирику, онъ дѣйствуетъ вполне бессознательно, также какъ онъ забываетъ о своихъ здравыхъ представленіяхъ, когда сочиняетъ свои торжественныя оды *На смерть Людовика XV, Принцу Сальмъ-Сальмъ, На смерть принцессы Анны - Шарлотты Лотарингской* и др., относительно которыхъ

1) *Rocafort*, *Loco cit.*, 241.

нельзя не согласиться съ Лагарпомъ, что онѣ не представляютъ ничего кромѣ „декламаци, дурного вкуса и риемованной прозы“¹⁾. *Ода королю* (Людовику XVI) стоить нѣсколько особнякомъ, во первыхъ потому, что она не представляетъ такой беззащитивой, ничѣмъ не оправдываемой лжи и лести, какъ предыдущія: первое время царствование Людовика XVI, вслѣдствіе его безличія и безхарактерности, возбудило общія надежды какъ въ „философскомъ“, такъ равно и въ клерикальномъ лагерѣ²⁾; во-вторыхъ въ этой одѣ проводится новая для того времени, хотя быть можетъ и не самостоятельная мысль: одряхлѣніе европейской цивилизаціи, сопровождаемое паденіемъ ея могущества, и культурный ростъ Америки, которая грозитъ поглотить Европу. Наивность заключается въ томъ, что цивилизація изображена продуктомъ развитія искусствъ³⁾, а послѣднее зависитъ будто бы отъ состоянія нравовъ. Спасеніе Европы отъ разгрома ставится въ зависимость отъ восшествія на престолъ благожелательнаго короля, „который предоставляетъ у своего трона мѣсто музамъ рядомъ съ добродѣтелями“. На этомъ съ нѣкоторою натяжкой можно было основывать развѣ только надежду, что отнынѣ „нищета, изгнанная съ Геликона, не осмѣлится болѣе обрѣзывать крылья генію“.

Далѣе нужно констатировать, что поэтическое религіозное чувство, которое замѣтно въ раннихъ произведеніяхъ Жильбера, все болѣе и болѣе дегенерируетъ въ казенный католицизмъ. Эта эволюція, обусловленная, по-видимому, чисто матеріальными причинами, конечно, оказывается весьма невыгодной въ поэтическомъ отношеніи. Такъ, его ода *Le jubilé* (1775) лишена всякой искры поэтичности, равно какъ и логики, въ чемъ опять-таки надо согласиться съ Лагарпомъ. Отсутствие мѣры въ оцѣнкѣ своихъ враговъ, сказывающееся въ только что названномъ стихотвореніи, налагаетъ отпечатокъ карикатурности и на обѣ его сатиры, а угодливья заискиванія передъ реакціонными элементами государства, носителями власти, отталкиваетъ отъ нихъ современнаго читателя, несмотря на несомнѣнную талантливость, которую въ нихъ никто не можетъ отрицать, какъ не отрицали и современники поэта.

V.

Убѣдившись на столькихъ опытахъ, что безъ поддержки „философскаго“ кружка—*la cabale philosophique*, какъ тогда говорили—невозможно достичь ни почетнаго имени въ литературѣ, ни даже простой обезпеченности, съ другой стороны, не имѣя никакихъ шансовъ сойтись съ этой

1) *Lycée*, XII, 372.

2) См. напр. *D'Alembert*, *Oeures*, XVI, 316, XVIII, 11—12 и мн. др. мѣста.

3) Взглядъ этотъ впрочемъ былъ распространенъ среди поэтовъ: мы встрѣтили его у Луи Расина; его раздѣляетъ еще Беранже, см. его пѣсню *L'ange exilé*.

партіей, Жильберъ рѣшился торжественно и безповоротно порвать съ нею, объявивъ ей войну на жизнь и смерть. Но отсутствіе твердыхъ общественныхъ и нравственныхъ идеаловъ, а главное нищета, не дали ему вести эту войну своими собственными силами, какъ велъ ее Жанъ-Жакъ; взоры его естественно обратились на тотъ лагерь, откуда съ давнихъ поръ метались громы въ его враговъ,—лагерь реакціонеровъ клерикаловъ, литературнымъ выразителемъ которыхъ былъ Фреронъ и его сподвижники. Этотъ противоестественный союзъ Альцеста съ Тартюфами представляетъ любопытное и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма печальное зрѣлище: это именно, а вовсе не бѣдность составляетъ трагическій элементъ въ жизни Жильбера.

Въ пользу его нисколько не говоритъ то обстоятельство, что партія философовъ представляла собою въ извѣстномъ отношеніи силу, а слѣдовательно прямая выгода была не ссориться съ ними, ибо мы уже видѣли, что со стороны Жильбера не было недостатка въ попыткахъ заслужить расположеніе академіи, въ которой рѣшающее вліяніе принадлежало философамъ; кромѣ того, клерикальная партія, дискредитированная во мнѣніи извѣстныхъ слоевъ общества, на каждомъ шагу поражаемая въ теоріи энциклопедистами, далеко еще не была угнетенной стороной. Если М-те Помпадуръ изгоняетъ иезуитовъ, если отдѣльные благорасположенные министры, какъ Малезербъ или Неккеръ, дѣлаютъ „философамъ“ кое-какія послабленія, то все это не болѣе, какъ непослѣдовательности, естественныя при дезорганизациіи власти, стремившейся на всѣхъ парахъ къ своей конечной гибели. Какъ разъ вскорѣ по восшествіи на престолъ Людовика XVI, послѣ краткаго періода неопредѣленности и колебанія, реакціонное направленіе получаетъ рѣшительный перевѣсъ. Король, желая возстановить традиціонный престижъ королевской власти, приблизилъ къ себѣ духовенство, согласившись, напр., по ихъ настоянію исполнить со всею средне-вѣковою пышностью обрядъ коронованія въ Реймсѣ (1775) въ разрѣзъ съ совѣтами Тюрго.

Поэтому-то такимъ фальшивымъ аккордомъ звучитъ конецъ первой сатиры Жильбера (писанной также въ 1775 г.), гдѣ онъ говоритъ, что ему извѣстны гоненія, которымъ онъ подвергнется за осмѣяніе господствующей литературной партіи, но что и гоненія не могутъ отвратить его отъ потребности говорить правду. И тутъ же рядомъ унижительная просьба къ архіепископу парижскому Бомону, чтобы послѣдній представилъ эти стихи королю. „Если онъ,—говоритъ сатирикъ,—протянетъ руку, чтобы поддержать мою слабость, то моя *муза-гражданка* снова станетъ клеймить этихъ новаторовъ, которыхъ будутъ преслѣдовать мои крики; они не заснутъ болѣе, развѣ только за чтеніемъ собственныхъ произведеній“.

Можно себѣ представить прѣзрительныя улыбки энциклопедистовъ, которыми они встрѣтили сатиру, посвященную Фрерону и начинающуюся заявленіемъ, что его „ученыя усилія“ и „мужественныя писанія“ (*mâles*

écrits) не въ силахъ противодѣйствовать испорченному вкусу. Даже Лагарпъ находить остроумное слово по случаю этого посвященія: „*Quel passeport pour l'immortalité!*“ восклицаетъ онъ.

Мысль, проводимую поэтомъ въ разсматриваемой сатирѣ, мы уже встрѣтили въ *Одѣ Людовику XVI*: „паденіе искусствъ слѣдуетъ за порчей нравовъ“. Причиной порчи нравовъ Жильберъ считаетъ „чудовище, ложно присвоившее себѣ имя философіи“. „Изгоняемое отовсюду, но изворотливое въ своей немилости“, оно опустошаетъ небо, само садится на опустѣвшій престолъ человѣчества и, развращая такимъ образомъ Францію, доводитъ ее до варварства. Описывая состояніе современнаго общества, поэтъ представляетъ дѣйствительно мрачную картину, въ общемъ довольно вѣрную. Если отбросить шаблонную идеализацію предковъ, то нельзя не согласиться съ авторомъ, что XVIII вѣкъ, когда „вездѣ и всюду, да въ поэмѣ *La Pucelle* проповѣдуютъ добродѣтель“, есть вѣкъ нравственнаго упадка и разслабленности. „Можно ли узнать прежнихъ французовъ—этотъ геройскій народъ— въ современномъ намъ изнѣженномъ народѣ, идущимъ по слѣдамъ нашей знати!“ Подъ словомъ „народъ“ поэтъ съ обычною тогда и еще гораздо позднѣе неточностью подразумѣвалъ, конечно, не все населеніе Франціи въ его совокупности, а лишь тѣ слои его, которые составляютъ такъ называемое общество. А указывая на развращающій примѣръ знати, Жильберъ доказываетъ, что онъ видѣлъ и другія причины упадка нравовъ, кромѣ философіи.

Затѣмъ характеризуются составные элементы общества; и этимъ характеристикамъ нельзя отказать въ мѣткости. Молодежь высшихъ классовъ, „изнѣженные сыновья безсильныхъ отцовъ“, состарѣвшіеся въ своей юности, транжирять наслѣдственные богатства на Фринъ, „тогда какъ честный человѣкъ, забытый у двери, не можетъ дожидаться отъ нихъ и скупой милостыни“. Спектакли, игра (*jeu de raime*), спортъ—вотъ ихъ занятія¹⁾. Чтобы поправить свои финансы, разстроенные мотовствомъ, дворянство не пренебрегаетъ никакими средствами: торгуетъ своимъ вліяніемъ, своею собственною особою. Бракъ изъ-за денегъ²⁾ тѣмъ менѣе стѣснителенъ, что онъ является лишь пустой формальностью, прикрывающей „удобное вдовство“. Отъ брака понятенъ переходъ къ женщинамъ. Въ порочности и безстыдствѣ онѣ не уступаютъ своимъ мужьямъ. Стоимость украшеній, которыя надѣваетъ на себя за разъ свѣтская дама, „могла бы

¹⁾ Какъ любопытный образчикъ поэтическаго языка того времени можетъ служить описаніе рысистыхъ бѣговъ.

Ceux-là font de leurs mains courir ce char léger
Que roule un seul coursier sur une double roue.

²⁾ Существовало даже особое выраженіе для обозначенія такихъ браковъ: когда разорившійся дворянинъ женился на богачкѣ изъ буржуазіи, то говорили, что „онъ удобряетъ свои поля“.

доставить благополучіе двадцати семействамъ“. Но роскошь еще наименьшій порокъ современныхъ женщинъ. Самое грубое извращеніе инстинктовъ составляетъ почти общее ихъ свойство ¹⁾). Любопытенъ типъ сентиментальной женщины, воспитанной очевидно „на Ричардсонъ и Руссо“, проливающей слезы надъ страдающей собачонкой, мотылькомъ, но спокойно идущей наслаждаться зрѣлищемъ смертной казни ²⁾). Но разумѣется съ наибольшою антипатіей относится Жильберъ къ типу философствующихъ женщинъ. Благодаря множеству людей, бывающихъ въ ихъ салонахъ, эти женщины управляютъ модой, обо всемъ разсуждаютъ, все читаютъ и знаютъ, „что Богъ существуетъ только для глупцовъ“. За женщинами проходитъ предъ нами купечество, за купечествомъ—духовенство, конечно, только та часть его, которая, увлекаясь философіей, ничѣмъ, кромѣ сутаны, не отличалась отъ свѣтскихъ вольнодумцевъ.

Покончивши такимъ образомъ съ обществомъ, Жильберъ обращается къ литературѣ и тутъ-то даетъ волю накопившейся у него жолчи. Эта часть сатиры самая живая и остроумная, вѣрная во многихъ частностяхъ, но и она теряетъ большую долю своего значенія, во-первыхъ, вслѣдствіе преувеличеній, о которыхъ намъ приходилось упоминать, а во-вторыхъ, отъ рутинности основныхъ критическихъ принциповъ, изъ которыхъ въ данномъ случаѣ исходитъ Жильберъ. Пренебреженіе къ классическимъ образцамъ, отрицаніе стѣснительныхъ правилъ, странное соединеніе противоположныхъ литературныхъ жанровъ, удаленіе отъ природы, отъ правды, желаніе во что бы то ни стало сочинять и поучать, раздѣленіе на партіи, ненавидящія другъ друга,—вотъ, по мнѣнію сатирика, главныя причины упадка литературы. Конечно, не ему было внушать своимъ современникамъ уваженіе къ образцамъ и установленнымъ правиламъ: рабство передъ ними и обусловливало ничтожество художественной литературы XVIII вѣка, и если самъ Жильберъ имѣетъ какія-нибудь права на вниманіе потомства, то они основаны на томъ, что порой, хоть и безсознательно, ему удавалось высвободиться изъ-подъ тиранніи образцовъ и правилъ. Начало упадка поэзіи Жильберъ возводитъ къ «педантическому софисту, который первый приказалъ поэтамъ размышлять, а не изображать». Здѣсь авторъ имѣетъ въ виду Ламотта (1672—1731), который переложилъ прозой 1-ю сцену Корнелевскаго *Митридата*, утверждая, что она ничуть не потеряла въ достоинствѣ. Онъ доказывалъ, стараясь подтвердить свои разсужденія собственными произведеніями, что главное достоинство поэзіи

¹⁾ De nouvelles Sapho, dans le crime affermies,
Maris de nos beautés sous le titre d'amies.

Объ этомъ говорятъ многія свидѣтельства, между другими см. *Bacheaumont*, passim.

²⁾ Картины этой модной тогда фальшивой чувствительности см. у Тена, *Origines de la France*, I, 208—215.

есть логичность, что тѣмъ только она можетъ приблизиться къ достоинству прозы ¹⁾. «Съ тѣхъ поръ поэзія,—продолжаетъ сатирикъ,—перестала соблюдать риѳму, размѣръ, смыслъ (?); съ компасомъ въ рукахъ, она то и дѣло, что разсуждаетъ (*elle va dissertant*)». Трагедія обратилась въ кровавый романъ, гдѣ «авторъ оставляетъ едва одного актера въ живыхъ, чтобы унести мертвыхъ». Обстановка трагедіи усложняется, какъ въ оперѣ: на сценѣ появляются сраженія, *привидѣнія* (очевидный намекъ на тѣнь царя Нина въ *Семирамидѣ* Вольтера). Далѣе совершенно вѣрно отмѣчается безличіе героевъ въ трагедіяхъ: турокъ (*Orosmane*), индіанка (*Alzire*), скиѳъ (*Les Scythes*), китаецъ (*L'Orphelin de Chine*)—всѣ резонируютъ также логично и на тѣ же темы, какъ и ихъ авторъ, Вольтеръ. Комедія претерпѣваетъ подобныя же измѣненія: она сближается съ трагедіей, образуя слезную драму, покинувъ даже стихи для прозы, и становится орудіемъ пропаганды здравой философіи. «Такъ какъ я любитель природы,—прибавляетъ Жильберъ,—то мнѣ особенно нравятся эти герои изъ крестьянъ *beaux esprits* въ кожухахъ (*sous la bure*). «Все это, какъ мы видѣли, происходитъ отъ пренебреженія къ старымъ писателямъ. Теперь ко всѣмъ нимъ относятся свысока. «Теперь всѣ знаютъ на Парнасѣ, что Малербъ глупецъ... Вольтеръ того мнѣнія, что Корнель мѣстами могъ бы нравиться; Лагарпъ находитъ у Руссо (Ж. Б.) удачныя риѳмы; по словамъ Мерсье Расинъ не глупъ; но Дидеро поучаетъ насъ, что Перро гораздо глубже... Мармонтель говоритъ, что Буало ловко справляется со стихомъ».

Но нашлось все-таки нѣсколько мстителей за этихъ славныхъ мертвецовъ и за хорошій вкусъ. «Поэтому на Геликонѣ царствуютъ двѣ противоположныя партіи, которыя, умаляя достоинства другъ друга, направляютъ другъ противъ друга томы ругательства». Но партія «совратителей вкуса» численнѣе и популярнѣе. Имъ пранадлежитъ исключительное право, собираясь въ Луврѣ (въ академіи), комментировать азбуку, т.-е. работать надъ нескончаемымъ словаремъ французскаго языка; «они подѣлили между собой почести, богатства, должности,—все, кромѣ здраваго смысла». Посредствомъ салоновъ они завладѣли мнѣніемъ общества и управляютъ имъ. Здѣсь Жильберъ искренно и справедливо протестуетъ противъ единовластія и исключительности господствующей партіи. Горе тому писателю,—говоритъ онъ,—который для своей славы рассчитываетъ только на свой талантъ и на свои нѣмыя произведенія. «Голодъ уложилъ въ могилу непризнаннаго Мальфилатра». Замѣчательно, что Жильберъ самъ видитъ аналогію между своею судьбою и судьбою Мальфилатра. Короткая жизнь Жильбера еще болѣе оправдала это сближеніе, которое впослед-

¹⁾ *Laharpe*, *Lycée*, XII, 145, 222 и слѣд.

ствіи часто повторялось ¹⁾. Чтобъ имѣть вѣрный успѣхъ, нужно хвалить всѣхъ, говорить, что «Вольтеръ-Вергилій и даже немножко христіанинъ». Но еще выгоднѣе для начинающаго писателя сдѣлаться безусловнымъ фанатическимъ приверженцемъ философскаго знамени. Такого писателя будутъ расхваливать во всѣхъ гостинныхъ, онъ будетъ туда введенъ; читая вездѣ и всюду свои новорожденные стихи, онъ прослыветъ за божественнаго поэта, маркиза такая-то или герцогъ такой-то издадутъ его произведенія, и наконецъ Вольтеръ напечатаетъ письмо въ „*Mercur*“, гдѣ провозгласитъ его геніемъ.

Сколько бы славныхъ нынѣ именъ осталось въ неизвѣстности безъ кружковой поддержки! При этомъ Жильберъ указываетъ писателей, репутація которыхъ ему кажется незаслуженной или преувеличенной. Стихи Вольтера ему кажутся неискусными, однообразными, бѣдными рифмой и гармоніей. „Однако, я сознаюсь,—прибавляетъ Жильберъ,—что справедливо восхваляются его рѣдкія познанія, что его ложные шедевры, обманчивыя новшества поражаютъ иногда античными красотами, что самыми своими недостатками онъ умѣетъ прельщать“. Здѣсь поэтъ вспомнилъ, можетъ быть, что онъ самъ когда-то, въ предисловіи къ своему первому сборнику *Début poétique*, превозносилъ Вольтера. Всѣ остальные кажутся ему „тяжелыми педантами, наглыми отступниками вкуса и смысла“. Не говоря уже о С.-Ламберѣ съ его скучными *Временами года*, ни Бомарше, ни Дидеро, ни Даламберъ его не удовлетворяютъ: „пустой Бомарше трижды съ успѣхомъ перекладываетъ мемуары въ драму и драму въ мемуары“); Дидеро „считается возвышеннымъ, потому что темно пишетъ“; „холодный Даламберъ считаетъ себя великимъ человѣкомъ, а написалъ одно предисловіе“. Рѣчь идетъ, конечно, объ его знаменитой вступительной статьѣ къ *Энциклопедіи*; въ дѣйствительности сочиненія Даламбера составляютъ *восемнадцать томовъ*. Стоитъ ли говорить еще о Тома, Мармонтелѣ, Лагарпѣ и пр.!

Послѣдній въ одномъ изъ писемъ къ гр. А. Шувалову ²⁾, отдавая отчетъ объ разсматриваемой нами сатирѣ Жильбера, цитируетъ стихъ,

¹⁾ См., напр., *Dussault*, Loco cit., III, 317. Здѣсь проводится сравненіе обоихъ непризнанныхъ поэтовъ.

²⁾ „Нѣтъ болѣе забавной комедіи, болѣе трогательной трагедіи“ говорятъ Вольтеръ о *мемуарахъ* Бомарше. Вотъ куплетъ, которымъ послѣдній, будто бы, отплатилъ Жильберу за его выходку:

La longitude
Que l'on cherche en vain sur les mers
(имѣется въ виду экспедиція Пикара для градуснаго измѣренія)
N'était pas un travail si rude.
Gilbert a trouvé dans ses vers...
La longitude.
Lintilhac, Loco cit., 144..

³⁾ *Correspondance littéraire*, I, 234.

котораго нѣтъ въ окончательной редакціи (Жильберъ для второго изданія своей сатиры сдѣлалъ въ ней исправленія). Лагарпъ отказывается понять соль въ словахъ, которыми сатирикъ его характеризуетъ:

Le chanteur gazetier, *Pindare des deserts*.

Ясно, что Жильберъ намекаетъ на популярность Лагарпа въ Россіи, такъ какъ онъ состоялъ постояннымъ корреспондентомъ русскаго наследника и гр. Шувалова. Лагарпъ обращаетъ слова сатирика въ комплиментъ гр. Шувалову: „Не желая васъ оскорбить, я думаю, что васъ съ большимъ правомъ, чѣмъ меня, можно назвать Пиндаромъ пустынь, потому что Вы поете часто, какъ Пиндаръ (гр. Шуваловъ писалъ французскіе стихи и посылалъ ихъ Лагарпу, который печаталъ ихъ въ „*Messager*“), и, несмотря на всѣ заботы августѣйшей Екатерины, въ Россіи, по всей вѣроятности, есть еще много пустынь“.

Сатира *Le dix-huitième siècle* принесла наконецъ Жильберу столь пламенно желанную извѣстность. Въ общемъ это была слава Герострата, но все же самолюбіе молодого поэта могло быть удовлетворено ¹⁾. Правда корифеи энциклопедической партіи не обратили на Жильбера своего лестнаго для него негодованія, зато подчиненная имъ публицистика наградила его, какъ онъ самъ говоритъ, „постоянной рентой брани“. Публика же, всегда склонная къ карриатурѣ, жадная ко всякимъ намекамъ о закулисной сторонѣ литературы, отнеслась къ сатирѣ Жильбера, если не благосклонно, то по крайней мѣрѣ съ любопытствомъ, такъ что черезъ годъ понадобилось второе изданіе. Естественно, какъ долженъ былъ подействовать первый успѣхъ на самомнѣніе Жильбера. Въ предисловіи къ новому изданію, нисколько не смягчая тона своихъ нападокъ, напротивъ гордый тѣмъ, что нѣкоторые его стихи своимъ жолчнымъ остроуміемъ сохранились въ памяти читателей, онъ уже не проситъ милостыни у сильныхъ міра сего, какъ раньше, а прямо обращается къ „честнымъ гражданамъ, здоровымъ и дѣйствительно просвѣщеннымъ умамъ“, которые не боятся правды. Во второй сатирѣ *Mon apologie* Жильберъ высоко подымаетъ голову и хочетъ даже стать выше партій. Пренебреженный партіями, которыми онъ пренебрегаетъ,—говоритъ авторъ про себя,—онъ еще не сталъ работою ихъ предразсудковъ, и цѣль его сатиры заключается въ томъ, чтобы „заглушить скандалъ соперничающихъ партій“, и чтобы отнынѣ всѣ писатели, „дружные между собой, стремились заслужить, а не захватить славу“. Поэтъ охотно мирится съ обратной стороной своего успѣха: пусть „друзья боятся узнавать его на улицѣ“, пусть нищета преслѣдуетъ его попрежнему, въ его глазахъ „тихая бѣдность поэта,

¹⁾ См. напр. автографъ Бомарше, впервые напечатанный у Лентилака, *Loco cit.*, 57.

облагороженного нравственностью и смѣлостью, есть высшее счастье“. Во всѣхъ бѣдствіяхъ онъ утѣшается тѣмъ, что „его достойное уваженія, незапятнанное имя быть можетъ достигнетъ потомства“. Изъ этихъ полунамеговъ можно заключить, во-первыхъ, что Жильберъ разошелся съ кликой „*Année littéraire*“, — Фреронъ въ это время уже померъ, — а во-вторыхъ, что „тихая бѣдность“ уже не была такъ мучительна: дѣйствительно, ему назначены были небольшія пенсіи отъ парижскаго архіепископа и короля; если онъ и неаккуратно выплачивались, то во всякомъ случаѣ поэтъ не рисковалъ уже умереть отъ голода.

Мы не будемъ подробно останавливаться на содержаніи второй сатиры; она представляетъ лишь новыя иллюстраціи той же мысли о развращенности вѣка. Общество рисуется тѣми же мрачными красками: исторически вѣрно рассказываются позорныя похождения недавно умершаго Людовика XV, при чемъ едва скрывается его имя. „Обокраденное государство платило за его юношескія любовныя приключенія, оно будетъ до его смерти платить за его развратъ“. „Если бы онъ былъ человѣкъ незнатный (*obscur*), его бы предали законной смерти; онъ могучъ, — и законы слѣпы къ его преступленіямъ“.

Здѣсь мы вновь встрѣчаемъ стремленіе смѣшать въ одну кучу имена почтенныхъ писателей, каковъ Даламберъ, и такихъ, какъ Лагарпъ. Вольтеръ былъ на смертномъ одрѣ¹⁾ и даже примирился съ католическимъ духовенствомъ, своимъ исконнымъ врагомъ; вѣроятно, въ виду этого обстоятельства, а можетъ быть и изъ уваженія передъ раскрытой могилой, Жильберъ не называетъ его имени, хотя упоминаетъ объ извѣстной оваціи, которую ему устроили актеры и публика незадолго до этого. Но противъ философской партіи сатирикъ продолжаетъ метать грома. Онъ попрежнему старается всѣми силами уязвить „фанатиковъ, кричащихъ противъ фанатизма“. „Называйте меня завистникомъ, холоднымъ стихоплетомъ, лицемеромъ, — говоритъ поэтъ (сатира написана въ формѣ діалога автора и „философа“ Псафона, подъ именемъ котораго легко узнать Лагарпа), — смертельный врагъ вамъ подобныхъ, я не перестану хлестать кровавымъ стихомъ этихъ лжевеликихъ людей“.

„Я не сомнѣваюсь, — говоритъ по этому поводу Лагарпъ²⁾, — что Жильберъ считалъ этотъ стихъ смѣлымъ и энергичнымъ. Онъ смѣшонъ. *Хлестать стихомъ!* — какое невозможное злоупотребленіе фигурами! Если такъ писать, то можно, чего добраго, воскресить стиль отца Лемуана и Ронсара. Г. Жильберъ имѣетъ часто его жесткость“. Эти строки доказываютъ, что вкусъ Лагарпа былъ строго послѣдователенъ, и что, если

¹⁾ *Mon apologie* появилась въ апрѣлѣ 1778 года (*Bachelmont*, XI, 194), а Вольтеръ заболѣлъ въ февралѣ и умеръ 30 мая того же года.

²⁾ *Lycée* XIII, 9.

у него узкая точка зрѣнія, то все-таки отношенія между явленіями онъ опредѣляетъ вѣрно. Сближеніе съ Ронсаромъ, которое самому Жильберу, вѣроятно, показалось бы оскорбительнымъ ¹⁾, здѣсь неслучайно: черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ отъ такой близости не отказался бы ни одинъ изъ французскихъ поэтовъ, такъ же какъ десятки поэтовъ на всѣхъ языкахъ повторяли впослѣдствіи эту дѣйствительно сильную фигуру Жильбера, конечно, безъ всякаго заимствованія ея: выраженіе „бичевать сатирой“ ²⁾ такъ часто повторялось, что стало въ наше время избитой фразой.

VI.

Конечно ни одному скептику философу XVIII вѣка не могло прийти въ голову, что то отжившее средневѣковое міросозерцаніе (*gout gothique et bizarre*, какъ говоритъ самъ про себя Жильберъ), которое исповѣдовалъ маленькій, безславный поэтикъ, казавшійся имъ ничтожнѣйшимъ изъ безсильных ихъ враговъ, въ состояніи будетъ возродиться послѣ всѣхъ ударовъ, которые они ему нанесли. Видя, какъ ихъ пропаганда захватываетъ общество и вглубь, и вверхъ, какъ власть начинаетъ заигрывать и сближаться съ ними, философы эти вѣрили въ безостановочное триумфальное шествіе человѣческой мысли, предчувствовали приближеніе того желаннаго момента, когда разумъ станетъ безграничнымъ владыкой земли и будетъ диктовать законы на счастье людямъ и во славу философіи. И нѣчто подобное, дѣйствительно произошло. Но какъ далеки были результаты владычества Разума отъ этихъ упованій! Тяжелое зданіе, казалось, столь мудро обдуманное и расчитанное, развалилось, какъ карточный домикъ и погребло подъ своими обломками все остроуміе Вольтера, повидимому, на вѣчныя времена. То поколѣніе, которое пережило этотъ великій крахъ, прокляло легкомысленныхъ архитекторовъ этого зданія, выбросило изъ Пантеона прахъ фернейскаго патріарха и вынесло на поверхность міросозерцаніе этого маленькаго поэта. Изъ литературныхъ трущобъ, гдѣ оно прежде должно было ютиться, оно гордо вышло на свѣтъ Божій и, воспользовавшись паникой человѣческой мысли, завладѣло умственной ареной на долгіе годы.

Новый властитель думъ возсѣлъ на опустѣвшій тронъ Вольтера и, какъ настоящій *parvenu*, не церемонился со своими предшественниками.

¹⁾ Буало сказалъ въ своемъ *Art poétique*:

Ronsard... réglant tout, brouilla tout...

²⁾ См. у Пушкина.

О муза пламенной сатиры,
Приди на мой призывный кличъ!
Не нужно мнѣ гремящей лиры,
Вручи мнѣ Ювеналовъ бичъ...

Вот как Шатобрианъ третируетъ вымершее поколѣніе философовъ: «Эти апостолы пустой науки нападаютъ на христіанъ, восхваляютъ тихую жизнь, живутъ у ногъ великихъ міра сего и выпрашиваютъ золото. Нѣкоторые изъ нихъ серьезно сочиняютъ нѣчто въ родѣ Платоновскаго государства, которое населяютъ одни разумные люди, проводя жизнь, какъ друзья и братья. Они занимаются глубокими размышленіями о тайнствахъ природы. Одни изъ нихъ видятъ основу всего въ мысли, другіе въ матеріи, еще другіе проповѣдуютъ республику, хотя живутъ въ монархіи. Они утверждаютъ, что нужно разрушить все общество, чтобы построить его по новому проекту. Еще другіе хотятъ, подобно вѣрующимъ, учить народъ нравственности... Расходясь относительно добра, соглашаясь относительно зла, эти софисты, до смѣшного самомнительные, считающіе сами себя за великихъ геніевъ, изобрѣтаютъ всевозможныя идеи и системы. Пьерокль (Вольтеръ) идетъ во главѣ ихъ, и поистинѣ онъ достоинъ предводительствовать такимъ полчищемъ... Въ его чертахъ есть нѣчто циничное и безбожное; видно что его неблагороднымъ рукамъ плохо подходитъ держать мечъ воина, но что имъ легко было бы владѣть перомъ атеиста или мечомъ палача».

Если бы эти клеветы были написаны стихами, то можно было бы подумать, что авторъ ихъ Жильберъ. Ему принадлежитъ печальная заслуга, что въ приведенной тирадѣ нѣтъ ни одной мысли, которой бы онъ уже не выразилъ.

Но стала меркнуть и звѣзда Шатобриана, новыя свѣтила возшли надъ горизонтомъ, а проклетія Вольтеру и сподвижникамъ за развращеніе людей все еще раздаются съ той же энергіей, на этотъ разъ въ прекрасныхъ стихахъ:

Et que nous reste-t-il, à nous, les déicides?
Pour qui travailliez vous, démolisseurs stupides,
Lorsque vous dissequiez le Christ sur son autel?
Vous vouliez pétrir l'homme é votre fantaisie;
Vous vouliez faire un monde.—Eh bien, vous l'avez fait;
Votre monde est superbe, et votre homme est parfait!
Les monts sont nivellés, la plaine est éclaircie;
Vous avez sagement taillé l'arbre de vie;
Tout est bien balayé sur vos chemins de fer,
Tout est grand, tout est beau, mais on meurt dans votre air
Vous y faites vibrer de sublimes paroles;
Elles flotent au loin dans les vents empestés.
Elles ont ébranlé de terribles idoles;
Mais les oiseaux du ciel en sont épouvantés.

(A. de Musset.).

И эти обвиненія неоригинальны. Около шестидесяти лѣтъ раньше Жильберъ также упрекалъ философовъ въ разрушеніи религіозно-этическихъ идеаловъ.

Eh! quel frein contiendrait un vulgaire indocile,
Qui sait, grace aux docteurs du moderne Evangile,
Qu'en vain le pauvre espère en un Dieu qui n'est pas;

Que l'homme tout entier est promis au trépas?

Et, depuis le vieillard qui touche à son tombeau,
Jusqu'au jeune homme à peine échappé au berceau...
La débauche au teint pâle, aux regards éffrontés,
Enflamme tous les coeurs vers le crime emportés.

Можно подуматъ, что въ этихъ стихахъ уже намѣченъ характеръ Ролла. Или вотъ еще отрывокъ, который принадлежитъ Жильберу, но легко могъ бы быть приписанъ Мюссе:

J'ai vu l'Impiété, de forfaits surchargée,
Triomphante, et partout en sagesse érigée,
Sur nos autels détruits marcher impunément:
Ses soldats, du Très-Haut vainqueurs imaginaires,
Par ces blasphèmes téméraires
Annonçaient aux mortels leur gloire d'un moment:
„Nous t'avons sans retour convaincu d'imposture,
„O Christ! toi qui disais:—Ma loi solide et pure
„Doit survivre au soleil allumé par mes mains.—
„Le soleil luit encore et dément ta parole;
„Où règne enfin ta foi frivole,
„Fantôme, autrefois Dieu des crédules humains?..

Въ первой половинѣ XIX вѣка это были торжествующіе взгляды. Возвращаясь къ семидесятымъ годамъ предыдущаго вѣка, мы видимъ полное нравственное одиночество людей, которые ихъ раздѣляютъ. Этого одиночества для Жильбера не нарушала внѣшняя связь его съ лицемѣрной толпой иезуитовъ и ихъ приспѣшниковъ, несмотря на то, что онъ самъ старался скрѣпить эту связь въ ущербъ своему таланту и нравственной чистоплотности. Мы слышали уже отъ него жалобу, что тѣ, которыхъ онъ называлъ своими друзьями, бросили его. Никакія другія личныя отношенія не восполняли этой пустоты. Руссо, который былъ также несчастенъ въ дружбѣ (по своей ли винѣ, или нѣтъ, въ данномъ случаѣ все равно), хотя считалъ себя любителемъ уединенія и порой доходилъ до мизантропіи, никогда не могъ вынести полного одиночества. Онъ признается, что въ немъ не умирала «самая сильная, самая неискоренимая потребность тѣснаго общенія (съ живымъ существомъ), такого тѣснаго, какое только можетъ существовать» ¹⁾. Для того чтобы удовлетворить эту потребность, Руссо всю свою жизнь терпѣлъ около себя грубую женщину, которая часто вела себя по отношенію къ нему самымъ недостойнымъ образомъ. Жильберъ былъ абсолютно одинокъ. «Любовь,—говоритъ онъ,—источникъ радости для всѣхъ, доставляетъ мнѣ одни несчастія». Его тщеславный и, несомнѣнно, общительный характеръ, принужденный замкнуться въ самомъ себѣ, все болѣе и болѣе ожесточался. И если утвержденіе Дидеро, такъ сильно обидѣвшее Руссо ²⁾, что «только злой одинокъ», глубоко несправедливо, то переставивши слѣдствіе на мѣсто причины, по-

1) Confessions, 390.

2) Тамъ же, 429.

лучимъ пожалуй вѣрное положеніе, что *одиночество дѣлаетъ злымъ*. Кромѣ того одиночество налагаетъ на человѣка еще отпечатокъ странности, которая тѣмъ болѣе бросалась въ глаза въ тотъ вѣкъ свѣтской вылощенности, когда атмосфера салоновъ такъ нивелировала индивидуальныя особенности. Мы имѣемъ въ этомъ отношеніи любопытное свидѣтельство о Жильберѣ, относящееся еще къ 1774 году.

„Нѣкто господинъ Жильберъ, — пишетъ современникъ ¹⁾, — поэтъ въ полномъ смыслѣ этого слова, не лишенный таланта и обладающій въ особенности *странною горячностью*, до того, что *имѣетъ видъ умамишеннаго* (un énergumène), *когда декламируетъ свои произведенія*, читая однажды (въ обществѣ) по-своему стихотвореніе“. Далѣе рассказывается, какъ онъ пришелъ въ ярость, замѣтивши, что баронесса Принценъ, издательница „Journal des Dames“, смѣется и болтаетъ о постороннихъ вещахъ и разразился противъ нея экспромптомъ, который при тогдашнемъ галантномъ обращеніи съ женщинами, вѣроятно, показался очень грубымъ:

Ah! Prinzen, par pitié, daignez du moins m'entendre;
Oui, mes vers sont d'un froid et d'un lourd sans égal;
Mais le mal que je fais vous pouvez me le rendre:
Faites-moi quelque jour lire votre journal.

Условія всей жизни поэта были не таковы, чтобы сглаживать *странности* его характера. Душевная болѣзнь, образовавшаяся, вѣроятно, мало-помалу, наконецъ прорвалась наружу, и онъ въ припадкѣ изступленія былъ доставленъ въ больницу Hôtel Dieu, гдѣ и умеръ (въ концѣ 1780 г.). Такъ гласятъ всѣ современныя событія свидѣтельства, и пока не обнаружено документовъ, доказывающихъ противное, мы не имѣемъ основанія отвергать ихъ и считать ихъ голой легендой ²⁾. Зато рассказъ о послѣднихъ дняхъ Жильбера въ больницѣ, несомнѣнно, представляетъ легенду, притомъ весьма различно передаваемую. У Лагарпа находимъ длинную исторію о томъ, какъ Жильберъ, оскорбленный пренебрежительнымъ обращеніемъ съ нимъ парижскаго архіепископа, устроилъ скандалъ въ его домѣ, какъ въ больницѣ онъ бредилъ преслѣдованіями со стороны философской партіи, а также мучился своею грѣховностью, какъ онъ наконецъ проглотилъ ключъ отъ своей шкапулки, отъ чего и послѣдовала смерть ³⁾. III. Нодье и всѣ романтики представляли себѣ безуміе поэта гораздо поэтичнѣе и обвиняли во всемъ жестокихъ „философовъ“. Достоверенъ только одинъ фактъ, а именно, что за нѣсколько дней до смерти Жильберъ написалъ свою знаменитую оду, которая входитъ во всѣ французскія хрестоматіи

¹⁾ *Bacheaumont*, VII, 231.

²⁾ *Ars. Houssaye*, *Galerie du XVIII siècle*, а также *Histoire du 41-me fauteil*, его же. Этотъ критикъ, кажется, безъ провѣрки пріянялъ версію словаря Ларусса, который невсегда этого заслуживаетъ.

³⁾ *Correspondance littéraire*, III, 166—168.

и выучивается въ дѣтствѣ всѣми наизусть (*Ode imitée de plusieurs psaumes*).

Здѣсь мы встрѣчаемъ опять ту чистую, дѣтскую вѣру въ небесную справедливость, какъ въ раннихъ стихотвореніяхъ. „Богъ видитъ слезы моего раскаянія,—утѣшаетъ себя умирающій:—Онъ исцѣляетъ меня отъ угрызеній совѣсти и вооружаетъ постоянствомъ: вѣдь несчастные — Его дѣти“.

„Враги со смѣхомъ говорили: пусть онъ умретъ и слава его съ нимъ! Но Господь, какъ отецъ, сказалъ моему успокоенному сердцу: ихъ ненависть будетъ твоею опорой“.

Далѣе слѣдуетъ странный куплетъ, который кажется проявленіемъ болѣзненной смутности идей, если въ основѣ его не лежитъ какой-нибудь неизвѣстный намъ фактъ: „Твои лучшіе друзья заимствовали у нихъ (у враговъ) ихъ ярость; простота всегда обманута: тотъ, кого ты кормишь, черный отъ злости, бѣжитъ продавать твое изображение“.

„Но Богъ, къ которому тебя возвратили угрызенія совѣсти, слышитъ твои стоны; Онъ прощаетъ человѣческой природѣ слабость въ несчастіяхъ. Я пробужу къ тебѣ жалость и справедливость неподкупнаго будущаго“...

„На пиръ жизни явился я, обездоленный,—и умираю: я умираю, и на могилу, къ которой я медленно приближаюсь, никто не придетъ пролить слезу“.

Здѣсь невольно приходятъ на память стихи тоже обездоленнаго, тоже одинокаго русскаго писателя:

Убыль его никому не больна,
Память о немъ никому не нужна.

И совершенно также, какъ Нигитинъ, такъ и Жильберъ съ послѣдней мыслью обращается къ безсмертной красотѣ природы: „Привѣтъ вамъ, любимыя поля, ласкающая зелень, и ты, веселое уединеніе лѣсовъ! Небеса и вся природа, привѣтъ вамъ въ послѣдній разъ! Пусть вашей священной красою долго наслаждаются друзья, глухіе къ моему послѣдному „прости!“ Пусть они умрутъ оплаканные, на склонѣ дней! Пусть другъ имъ закроетъ глаза!“¹⁾

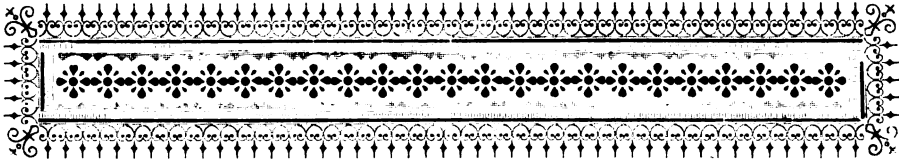
Въ одной изъ сатиръ Жильберъ пророчитъ себѣ судьбу Мальфилатра, и, дѣйствительно, онъ умеръ такимъ же непризнаннымъ и еще моложе,—не доживъ до тридцати лѣтъ. Въ послѣднемъ своемъ стихотвореніи онъ также удачно предсказываетъ посмертную судьбу своей славы. Дѣйствительно, въ потомствѣ къ нему пробудились и жалость, и болѣе справед-

1) Стихотвореніе это переведено на русскій языкъ Гербедемъ, см. его сочиненія. Хорошій переводъ его же, а также *Le charme des bois* находится въ мало распространенномъ *Собраніи переводовъ иностранныхъ поэтовъ* (Кіевъ, 1887 г.) умершаго талавтливаго диллетанта П. Н. (Николаева). Другихъ переводовъ изъ Жильбера намъ неизвѣстно.

ливое отношеніе. Поэты XIX вѣка любили вспоминать его; Барбье во вступительныхъ строгахъ къ своимъ *Ямбамъ*, ссылается на то, что тѣмъ же размѣромъ Жильберъ излилъ свои послѣднія жалобы. Эжезиппъ Моро, такой же поэтъ-пролетарій, умирая двадцати восьми лѣтъ въ той же больницѣ, какъ и Жильберъ, перефразируетъ его предсмертную оду и замѣчаетъ при этомъ: „Это роковое имя какъ будто само собою слетаетъ съ пера молодыхъ писателей, у которыхъ дрожить рука, когда они его пишутъ. Авторъ *Сатиры на XVIII вѣкъ* окруженъ священной славой, передъ которой преклоняются съ закрытыми глазами“... Однако, несмотря на это преклоненіе, которое, впрочемъ, давно уже опять уступило мѣсто равнодушію, никто не занялся болѣе подробнымъ анализомъ наслѣдія этого своеобразнаго писателя, погибшаго преждевременно, какъ первая ласточка среди нерастаявшихъ еще сугробовъ. Для весьма многихъ въ наше время онъ является авторомъ единственнаго стихотворенія, помѣщаемаго въ хрестоматіяхъ. Намъ представлялось желательнымъ, хотя бы по поводу 150-лѣтія его рожденія, напомнить о немъ тѣмъ, кто интересуется исторіей французской поэзіи, показавъ, что при несомнѣнно ограниченныхъ размѣрахъ своего поэтическаго таланта, онъ въ этой исторіи имѣетъ право на опредѣленное мѣсто и не относится къ величинамъ, которыми можно пренебречь.

Евгеній Дегенъ.





Русская литература о Сервантесѣ.

Мнѣ казалось справедливымъ при выборѣ темы статьи для юбилейнаго сборника, посвященнаго Ник. Ильичу Стороженку, остановиться на близкой къ кругу любимыхъ занятій глубокоуважаемаго юбиляра. Не подлежитъ сомнѣнію, что таковыми были для Н. И. занятія Сервантесомъ, особенно же Донъ-Кихотомъ, которому онъ посвятилъ лучшую въ русской литературѣ статью. Я поставилъ себѣ задачей попытаться подвести библиографическіе итоги тому вкладу, который сдѣлала наша народность въ изученіе одного изъ величайшихъ корифеевъ европейской литературы. Размѣры статьи заставляютъ насъ быть краткими. Начнемъ съ главнѣйшихъ переводовъ Донъ-Кихота и другихъ произведеній Сервантеса на русскій языкъ. Мною приняты во вниманіе и указанія извѣстной библиографіи о Сервантесѣ Леопольдо Ріуса (Т. I, с. 310—14).

А) Первый переводъ на русскій яз. «Донъ-Кихота», сдѣланный съ французскаго, относится къ 1769 г. Мнѣ извѣстенъ лишь второй томъ этого изданія, имѣющійся въ Имп. Публ. библ. Имя переводчика не названо. Книга оканчивается разсказомъ Карденіо (Ріусъ знаетъ 1-й томъ этого изданія въ Британскомъ музеѣ).

1) *Исторія о славномъ Ламанхскомъ рыцарѣ Донъ-Кихотѣ.* Переводъ съ французскаго 1769 г. въ С.-Петербургѣ.

2) *Неслышанный чудодѣй или необычайные и удивительные подвиги и приключенія странствующаго рыцаря Донъ-Кихота.* Сочиненіе славнаго Михайлы Серванта Сааведры. Во градѣ св. Петра. Печатано въ Императорской типографіи иждивеніемъ В. С. 1791 г.

3) *Донъ-Кихотъ Ламанхскій.* Соч. Серванта. Перев. съ Флоріанова перевода В. Жуковскаго. Москва. Типографія Платона Бекетова. 1804—6. 6 томовъ. Имѣется портретъ Сервантеса. Переводчикъ предпосылаетъ разсужденіе о философіи романа Сервантеса.

4) *Тожє.* Съ Флоріанова пер. П. Осипова 1812.

Переводчикъ переводить и собственныя имена: ср. *Росинантъ-Рыжакъ.*

5) *Тожє.* Перев. Жуковского 1815 года. Изд. 2-е. Этотъ переводъ начинается прологомъ второй части «Донъ-Кихота». Далѣе слѣдуетъ предисловіе Флоріана и біографія по изданію мадридской академіи. Здѣсь попадаются курьезы, въ родѣ *Вицерой* (вице-король) слово, считаемое переводчикомъ собственнымъ именемъ; за Сервантеса мавры требуютъ 500 золотыхъ *эфимковъ.*

6) *Донъ-Кихотъ Ламанчскій.* Сочин. Сервантеса. Перев. съ французскаго С. Де-Шаплета. С.-П.б. у Алек. Смирдина 1831. Изданіе иллюстрировано недурно исполненными гравюрами. Переводъ сдѣланъ по тексту Флоріана.

Сказанными переводами исчерпываются всѣ наиболѣе древніе, мнѣ извѣстные. Они сдѣланы съ французскаго неточнаго, но красиваго перевода Флоріана. Новый періодъ въ переводахъ «Донъ-Кихота» открывается съ 1838 года со времени появленія 1-го тома перевода Константина Масальскаго.

7) *Донъ-Кихотъ Ламанчскій.* Переводъ съ испанскаго Конст. Масальскаго. СПб. 1838. т. I.

Тожє, т. I. СПб. 1848.

Переводъ Масальскаго снабженъ біографіей Сервантеса, толково составленной, нѣкоторыми полезными примѣчаніями и сдѣланъ съ испанскаго текста. Неточности, невыдержанность стиля и мѣстами невѣрное пониманіе текста искупаются многими прекрасно исполненными страницами перевода. Въ общемъ этотъ переводъ гораздо лучше перевода г. Карелина, о которомъ будетъ рѣчь ниже.

Переводъ Масальскаго является во всякомъ случаѣ почтеннымъ литературнымъ произведеніемъ. Всѣ другіе переводы и передѣлки «Донъ-Кихота», за исключеніемъ пер. г. Карелина, въ сущности заслуживаютъ лишь порицанія, какъ съ точки зрѣнія вѣрности подлинному тексту, такъ и съ точки зрѣнія самой элементарной литературной этики.

Таковы напр.:

8) Переводъ „*Донъ-Кихота*“ Тимошеева, изд. Сойкина. Ч. I и II.

9) *Донъ-Кихотъ Ламанчскій,* пер. подъ редакціей Чистякова, издан. Чубинскаго (выдержалъ 3 изд.; послѣднее въ 1895 году).

10) *Донъ - Кихотъ Ламанчскій.* Перев. съ испанскаго (со статьей Віардо и иллюстр. Доре). М. 1895 года, 2 тома. Неточный, но литературный переводъ.

11) *Исторія удивительнаго рыцаря Донъ-Кихота Ламанчскаго* по Сервантесу. М. 1900 г.

12) *Храбрый рыцарь Донъ-Кихотъ*. Перев. Н. Доментіева. М. 1891 г.

Передѣлки въ изданіи Павленкова (1892) и др. не считаются съ испанскимъ текстомъ. О «Донъ Кихотѣ» «для дѣтей» въ многочисленныхъ изданіяхъ можно упомянуть лишь изъ-за библиографической полноты.

13) Переводъ г. Карелина выдержалъ пять изданій и, можно сказать, вытѣснилъ всѣ другіе. Переводчикъ обходитъ всѣ трудности текста, произвольно измѣняя его.

О критическомъ изданіи «Донъ-Кихота» Fitzmaurice-Kelly см. статью Л. Шепелевича «Ж. М. Н. П.». Декабрь 1899 г.

В) *Повѣсти Сервантеса* (Novelas ejemplares).

Новеллы Сервантеса первоначально переводились съ французскаго. Упоминаю мнѣ извѣстныя изданія:

1) *Повѣсти Михайлы Сервантеса*, автора Донъ-Кихота. Переводъ съ французскаго Теодора Кабрита. Ч. I и II. М. 1805. 2-е изд. 1816 въ типографіи Пономарева.

2) *Прекрасная цыганка*, испанская повѣсть г. Сервантеса, автора Донъ-Кихота. Переводъ съ испанскаго (?). Смоленскъ въ типографіи Приказа Общ. призрѣнія 1795 г.

3) *Сила крови*. Отеч. Зап. 1839. I.

4) Въ «*Русскомъ Вѣстникѣ*» за 1872 (8 к.) помѣщенъ переводъ Сеньоры-Корнеліи съ испанскаго А. К. (А. И. Кирпичникова).

5) *Ринконетъ и Кортадилло* переведенъ г. Чуйко (съ французскаго?) и изданъ съ иллюстраціями Сойкинымъ. СПб. 1892.

6) *Резнивый эстрамадурецъ*, пер. г. Гливенко въ «Вѣстн. Иностр. Лит.» 1892 г. № 10.

7) *Обманное супружество* извѣстно мнѣ въ двухъ переводахъ: Шепелевича и г-жи Хавкиной въ «Харк. Вѣд.» и отдѣльно.

8) *Стеклянный Лисенсіатъ*, перев. Л. Шепелевича въ «Харк. Вѣдом.».

Отрывки «*Разговора двухъ собакъ*» помѣщены въ «Вѣстн. Ин. Лит.» Августъ 1900 г., пер. Л. Шепелевича и въ зап. И. Харьк. Унив. 1900 г.

О повѣстяхъ Сервантеса см. брошюру Шепелевича: *Повѣсти Сервантеса*. Харьковъ. 1893.

С) *Драматическія произведенія Сервантеса*. Интермедіи превосходно переведены А. Н. Островскимъ стихами. Имѣются слѣдующія пьесы:

1) *Судья по бракоразводнымъ дѣламъ*, 2) *Бискаецъ-Самозванецъ*, 3) *Бдительный стражъ*, 4) *Резнивый старикъ*, 5) *Избраніе алькальдовъ въ Догансо*, 6) *Театръ чудесъ*, 7) *Саламанкская пещера* и 8) *Два болтуна*.

2) Драмы, комедіи и трагедіи. Краткій пересказъ въ *исторіи лит. Тикнора* (пер. подъ ред. Н. И. Стороженко) и въ статьѣ Л. Шепелевича *Драматическія произведенія Сервантеса* («Ж. М. Н. П.» 1899. Августъ. I.) Статья неокончена. Имѣется анализъ и пересказъ содержанія слѣдующихъ пьесъ: 1) *El Trato de Argel*. 2) *Los Baños de Argel*. 3) *El Gallardo Español* 4) *La gran Sultana*.

Сочиненія Сервантеса: «Галатея», «Путешествіе на Парнасъ», «Персилесъ и Сигизмунда» извѣстны въ изложеніи Шепелевича (Ж. С. Т. I. см. ниже) и въ краткихъ пересказахъ курсовъ Тикнора, Корша—Кирпичникова, Шерра и др.

Д) О „*Донъ-Кихотъ*“ анонимнаго врага Сервантеса *Авеллянеды* см. брошюру Л. Шепелевича: «*Донъ-Кихотъ Авеллянеды и вопросъ объ авторѣ этого романа*» и его же статью „*Ложный Донъ-Кихотъ и его авторъ*“ («Вѣст. Иностр. Лит.» Апрель, 1900 г.).

Е) *Статьи о Сервантесѣ и биографіи.*

Въ нѣкоторыхъ предисловіяхъ къ полному переводу Д.-К. имѣются краткія свѣдѣнія о жизни и творчествѣ Сервантеса со вторыхъ и третьихъ рукъ. Лучшимъ очеркомъ должна считаться переводная статья Виардо въ изд. Кольчугина 1895 г. (Москва). Въ предисловіи къ переводу Масальскаго помѣщенъ биографическій очеркъ о Сервантесѣ, въ общемъ, принимая во вниманіе положеніе литературы вопроса того времени, съ фактической стороны вѣрный. Наоборотъ, биографія, составленная г. Карелинымъ, преисполнена ошибокъ. Г. Карелинъ утверждаетъ, напр., что до насъ дошли двѣ драмы Сервантеса, невѣрно передаетъ содержаніе новеллъ и даже ихъ заглавія, напр. „*Испанцы въ Анліи*“ (вм. *Анлійская испанка*), дѣлаетъ невѣрныя и голословныя характеристики (Персилесъ и Сигизмунда) и пр.

Въ Энциклоп. Словарѣ Брокгауза и Ефрона статья о Сервантесѣ принадлежитъ г. Вейнбергу (сост., главнымъ образомъ, по Шаю и Тикнору).

Петерсонъ. Сервантесъ, его жизнь и произведенія. Спб. 1901. (Компилятивная работа).

Л. Шепелевичъ. Жизнь Сервантеса и его произведенія. Съ 2 портретами и приложениями. Харьковъ. 1901 г. Т. I (245 стр.).

Въ серіи биографій Павленкова имѣется очеркъ о Сервантесѣ Цамакіона, составленный по книгѣ Шаля (Michel Chasles) и лишенный всякой самостоятельности. Биографія *Алферова* (Десять чтеній по литературѣ) заключаетъ пересказъ жизни Сервантеса и разборъ «*Донъ-Кихота*» съ исторической точки зрѣнія.

Въ книгѣ «*Юность знаменитыхъ людей*» соч. Мюллера съ дополненіями для рус. юношества, изд. Кучина. Типографія Общ. п. 1870

мы находимъ краткій очеркъ жизни Сервантеса, особенно подробную передачу въ идеалистическомъ освѣщеніи его алжирскаго плѣна.

Шепелевичъ. Сервантесъ. Характеристика. «Журналъ Для Всѣхъ», 1899. Июль, августъ.

О новыхъ документахъ, изданныхъ Пасторомъ Пересомъ, см. статью Л. Шепелевича въ Ж. М. Н. П., Февраль 1898 г.

Г) *Статьи о «Донъ-Кихотъ».*

Если не считать характеристикъ этого романа въ предисловіяхъ къ переводамъ, упомянутыхъ біографіяхъ и общихъ пособіяхъ, количество самостоятельныхъ статей окажется небольшимъ.

1) *Тургеневъ.* Гамлетъ и Донъ-Кихотъ. Содержаніе этой талатливой статьи общезвѣстно. Статья имѣетъ преимущественно публицистическое значеніе.

2) *Львовъ, А.* Гамлетъ и Донъ-Кихотъ и мнѣніе о нихъ Тургенева СПб. 1862.

Интересная книжечка, въ первой части посвященная анализу положеній Тургенева о Донъ-Кихотъ. Львовъ оспариваетъ обобщенія Тургенева, указывая на противорѣчація имъ черты характера Донъ-Кихота. Анализу предшествуетъ бѣглое, но подробное изложеніе содержанія романа.

3) *Водовозовъ* въ своей статьѣ о второй части «Донъ-Кихота» («Ж. М. Н. П.», Ч. XLIX, с. 1—26) предлагаетъ характеристику Донъ-Кихота и С. Панса. (по Виардо?).

4) *Мережковскій.* Донъ-Кихотъ и Санчо Панса. «Сѣв. Вѣст.» 1889 г., кн. 8 и 9. Перепечатано въ книгѣ: «Вѣчные Спутники». Статья, какъ и слѣдовало ожидать отъ столь образованнаго автора, написана талантливо. Полемизуя съ Тургеневымъ, Мережковскій старается установить правильный взглядъ на Донъ-Кихота и Санчо Пансу, видитъ въ нихъ отсутствие критической мысли, обусловившее ихъ гибель.

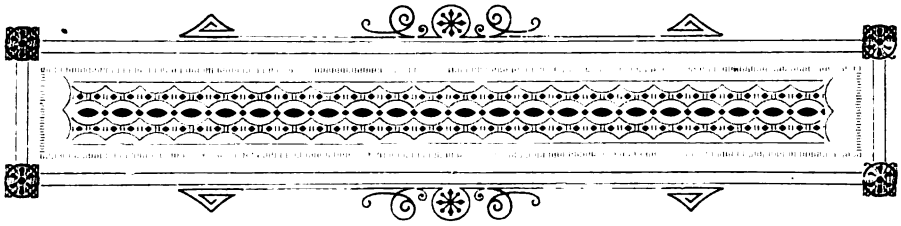
5) *Арх. Суд. Медицины* 1868 г., с. 43 (въ отдѣлѣ библ.). Небольшой рефератъ о статьѣ Гонзалеса El siglo medico по поводу упоминанія Донъ-Кихота, являющагося совершенно типичной формой.

6) *Стороженко.* Философія Донъ-Кихота. «В. Е.» 1885 г. Перепечатана въ «Читателѣ» № 44, 1897 г. Лучшая по содержанію и по формѣ русская работа о „Донъ-Кихотъ“.

Вотъ то, что намъ извѣстно изъ русской литературы о Сервантесѣ. Возможно, что въ нашемъ перечнѣ найдутся пробѣлы. Кто знаетъ, въ какомъ плачевномъ положеніи находится наша бібліографія и съ какими трудностями приходится бороться при составленіи бібліографическихъ указателей, особенно въ провинціи, не отразитъ намъ въ снисхожденіи.

Л. Шепелевичъ.





Смоллетъ.

(Очеркъ изъ исторіи англійскаго романа XVIII в.).

Лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ А. В. Дружининъ, бывшій тогда критикомъ «Современника», а потомъ редакторомъ «Библіотеки Для Чтенія», въ рядѣ чрезвычайно живо и съ большимъ знаніемъ дѣла написанныхъ статей, началъ знакомить русскихъ читателей съ лучшими англійскими писателями преимущественно XVIII и начала XIX вѣка. Между прочимъ, благодаря лекціямъ Теккерея объ англійскихъ юмористахъ XVIII в., онъ заинтересовался личностью и произведеніями Тобіаса Смоллета, романиста, правда, не столь знаменитаго, какъ его старшіе и младшіе современники Свифтъ, Ричардсонъ, Дефо, Фильдингъ, Гольдсмитъ, Стернъ, но небезызвѣстнаго еще и теперь среди большой публики не только въ Англійи. Дружининъ, кажется, увлекся имъ по первымъ бѣглымъ впечатлѣніямъ. Иначе нельзя объяснить себѣ, почему онъ, человекъ съ несомнѣннымъ художественнымъ вкусомъ, давая отчетъ о теккереевскихъ лекціяхъ, написалъ о Смоллетѣ строки, которыя удивили бы своей восторженностью любого изъ соотечественниковъ англійскаго писателя. «Смоллетъ едва ли не любезнѣйшій изъ романистовъ», говоритъ Дружининъ: «ему дано смѣшать больше другихъ. Онъ создалъ безсмертные типы. Его жизнь есть «Одиссея», своего рода поэма, исполненная литературныхъ бурь, любви и нѣжности, неслыханныхъ приключеній на чердакахъ и въ подвалахъ, передъ пушками непріятеля, посреди журнальныхъ сплетенъ и журнальныхъ клеветъ». Дружинина не удовлетворяетъ то, что было написано о Смоллетѣ англичанами до 50-хъ годовъ, и онъ «готовъ завидовать будущимъ биографамъ этого человека»¹⁾. Но если бы онъ дожилъ до послѣдней біогра-

¹⁾ А. В. Дружининъ. Собраніе сочиненій, т. V.

фіи Смоллета, составленной Ганней'емъ ¹⁾, или могъ познакомиться съ вышедшими за послѣднія десятилѣтія трудами историковъ англійскаго романа Форсайта ²⁾, Тэккермана ³⁾ и Рэлайфа ⁴⁾, онъ долженъ былъ бы остаться недоволенъ и ими, или, что вѣроятнѣе, измѣнилъ бы свое мнѣніе. Впрочемъ изъ того, что Дружининъ не взялся за составленіе біографіи Смоллета и при немъ былъ напечатанъ въ «Современникѣ» лишь небольшой біографическій очеркъ, подписанный инициаломъ С... ⁵⁾, можно думать, что самъ Дружининъ остылъ къ Смоллету. Ему однако мы обязаны, хотя не извѣстно, въ какой степени, тѣмъ, что «Библиотека Для Чтенія» въ приложенияхъ напечатала переводы лучшихъ романовъ Смоллета Roderick Random ⁶⁾ и Humphry Clinker ⁷⁾. Если не считать плохого перевода послѣдняго романа, сдѣланнаго еще въ XVIII ст. съ нѣмецкаго, причемъ переводчикъ даже приписалъ его Фильдингу ⁸⁾, то вмѣстѣ съ небольшими литературными очерками въ общихъ обзорахъ англійской литературы ⁹⁾ это все, что у насъ есть изъ Смоллета и о Смоллетѣ на русскомъ языкѣ.

Жизнь англійскаго романиста сложилась неудачно. По происхожденію онъ былъ шотландецъ. Его дѣдъ, какъ лордъ, засѣдалъ въ шотландскомъ парламентѣ и былъ уполномоченнымъ при заключеніи договора объ объединеніи Шотландіи и Англіи 1707 г. Но внуку на родинѣ не суждено было играть политической роли, во-первыхъ, потому, что онъ былъ младшій сынъ младшаго сына и, оставшись ребенкомъ на рукахъ у матери, жившей очень скромно съ тремя дѣтьми, долженъ былъ самъ думать о своей карьерѣ; а во-вторыхъ, потому, что, когда ему было 25 лѣтъ, самостоятельности Шотландіи былъ нанесенъ послѣдній ударъ. Это былъ

1) David Hannay. Life of Tobias George Smollet. London. 1887.

2) Forsyth. The novels and novelists of the eighteenth century in illustration of the manners and morals of the age. London. 1871.

3) Tuckerman. History of English Prose Fiction from Six Th. Malory to G. Eliot. London. 1882.

4) Walter Raleigh. The English Novel being a short Sketch of its History from the earliest times to the appearance of Waverley. London. 1894.

5) С... Жизнь и сочиненія Тобиаса Смоллета. „Современникъ“ 1855. т. I.

6) Родерикъ Рэндомъ. Прилож. къ журн. „Библиотека Для Чтенія“, № 2 за 1860 г. Спб.

7) Гэмфри Клинкеръ. Прилож. къ томъ же жур. за 1861 г. № 2.

8) Путешествіе Гумфія Клинкера. Пер. И. Захарова. Спб. 1789.

9) Г. Геттнеръ. Исторія всеобщей литературы XVIII в. Т. I. Англійская литература. Спб. 1863. Стр. 412—414.

Тѣнь. Развигіе политической и гражданской свободы въ Англіи въ связи съ развитіемъ литературы (Histoire de la littérature anglaise), т. 2. Спб. 1876, стр. 329—333.

А. Веселовскій. Вѣкъ просвѣщенія въ Англіи. „Всеобщая исторія литературы“ подъ ред. Корша и Кирпичникова. Т. III. Спб. 1888, стр. 866—868.

роковой 1746 г., когда шотландскіе горцы, не перестававшіе втайнѣ жалѣть о своихъ Стюартахъ, увлеклись личностью рыцарски - благороднаго Карла Эдуарда, внука Іакова II, подняли возстаніе и провозгласили его шотландскимъ королемъ. Англичане приняли быстрыя и рѣшительныя мѣры, разбили небольшое войско мятежниковъ, послали на плаху трехъ шотландскихъ лордовъ, объявили сорокъ знатныхъ дворянъ виновными въ государственной измѣнѣ, уничтожили на сѣверѣ феодальныя права на землю, запретили горцамъ носить національный костюмъ и оружіе.

Если бы С. былъ на родинѣ въ время этого возстанія, онъ не принялъ бы въ немъ участія, хотя и оплакалъ потомъ его въ стихотвореніи «Слезы Шотландіи» (Tears of Scotland). Онъ любилъ Шотландію, но не былъ якобитомъ и принадлежалъ къ числу тѣхъ шотландцевъ, которые изъ бѣдности и честолюбія стремятся за счастьемъ въ Лондонъ. Подучившись практически медицинѣ въ Глазго у врача-аптекаря, понабравшись, вѣроятно, въ мѣстномъ университетѣ классической учености, которой такъ любятъ хвалиться герои его романовъ, онъ отправился въ Лондонъ съ рекомендательными письмами отъ родственниковъ, у которыхъ были нѣкоторыя парламентскія связи, трагедіей подъ заглавіемъ «Цареубійство» (The Regicide), съ легкимъ кошелькомъ и съ самыми смѣлыми мечтами, такъ какъ ему было только 18 лѣтъ. Вѣроятно, съ этой злосчастной трагедіи стала овладѣвать имъ та раздражительность, которая, усиливаясь подъ вліяніемъ послѣдующихъ неудачъ, превратилась подъ конецъ жизни въ своего рода хроническую болѣзнь—*systema nervosum maxime irritabile*, какъ опредѣлялъ ее позже одинъ профессоръ въ Монпелье, безуспѣшно лѣчившій Смоллета. Трагедія, написанная бѣлыми стихами и имѣвшая сюжетомъ звѣрское убійство Іакова I шотландскаго мятежными дворянами (1437), хотя и была очень незрѣлымъ юношескимъ произведеніемъ, съ неестественно обработанными кровавыми картинами, но назвать ее совершенно лишенной литературныхъ достоинствъ нельзя. Молодой поэтъ, бывшій о ней хорошаго мнѣнія, пришелъ въ гнѣвное отчаяніе, когда послѣ долгаго обиванія пороговъ у меценатовъ, знаменитыхъ актеровъ и содержателей театровъ, онъ наконецъ понялъ, что уклончивыя ихъ обѣщанія и даже любезности ровно ничего не значатъ, и что пьеса его на сценѣ поставлена не будетъ. Если принять во вниманіе, что Смоллетъ былъ очень самолюбивъ и что онъ очутился въ чужомъ городѣ одинокимъ, безъ денегъ и заработка, то можно понять, почему онъ не могъ равнодушно вспоминать объ этой первой литературной неудачѣ, и почему въ предисловіи къ изданной впоследствии трагедіи въ одномъ изъ эпизодовъ романа «Родерикъ Рандомъ» (рассказъ поэта Мелонойна въ тюрьмѣ, гл. 620—3), онъ съ такимъ ожесточеніемъ нападаетъ на виновниковъ неудачи, этихъ «настоящихъ готовъ» (*mere goths*), отъ невѣжества, безвкусія, низости и подлости которыхъ страдаютъ другіе.

Чтобы существовать, Смоллету нужно было избрать постоянное занятіе, и онъ остановился на ремеслѣ врача, къ которому имѣлъ нѣкоторую практическую подготовку. Въ то время медицинскіе экзамены въ Англіи были не сложны, и получивъ дипломъ на званіе помощника лѣкаря, Смоллетъ устроился на одномъ изъ военныхъ кораблей, шедшихъ на Филиппинскіе острова противъ испанцевъ. Эта позорная для англичанъ экспедиція описана имъ самыми мрачными красками и въ романѣ, и въ историческомъ очеркѣ. Естественно, что при возмутительныхъ порядкахъ въ тогдашнемъ англійскомъ флотѣ горячій и рѣзвій Смоллетъ не могъ тамъ долго ужиться. Но онъ и на сушѣ не могъ устроиться какъ врачъ, хотя и добился званія доктора медицины. Вѣроятно, это объясняется тѣмъ, что публика недовѣрчиво относилась къ человѣку, который рисовалъ въ своихъ романахъ аптекарей и лѣкарей невѣждами и шарлатанами, который самъ, повидимому, не вѣрилъ въ лѣкарства и смѣялся надъ курортами и цѣлебными водами.

Литературная извѣстность Смоллета началась не раньше 1748 года, когда ему было уже 27 лѣтъ. Соблазнившись успѣхомъ Фильдинга, онъ написалъ первый свой большой романъ «Родерикъ Рэндомъ». Онъ никогда не думалъ объ оригинальности литературныхъ формъ, и усвоилъ себѣ входившую въ моду въ Англіи манеру романа приключеній потому, что она была незатѣйлива и очень удобна для того, кому было о чемъ рассказать изъ собственной бродяжнической жизни. Всѣ его романы такъ и называются: «Приключенія Родерика Рэндома» (*Adventures of Roderick Ransom* 1748), «Приключенія Перегрейна Пикля» (*Adventures of Peregrine Pickle*, 1751), «Приключенія Фердинанда графа Фатсома» (*Adventures of Ferdinand, Count Fathom*, 1653), «Приключенія серъ-Ланселота Гривса» (*Adventures of Sir Launcelot Greaves*, 1762), «Исторія и приключенія Атома» (*History and Adventures of an Atom*, 1769), «Путешествіе Гэмфри Клинкера» (*The Expedition of Humphry Clinker*, 1771). Въ предисловіяхъ къ нѣкоторымъ романамъ онъ прямо указываетъ образцы, которымъ слѣдовалъ. Это писатели испанскіе: Матео Алеманъ (Гусманъ изъ Альфараче), Сервантесъ (Донъ Кихотъ), и французскіе: Скарронъ (Комическій романъ), Лесаажъ (Жиль-Блазъ).

Смоллету больше всего нравился такъ называемый плутовской романъ, ведущій свое происхожденіе отъ испанскихъ *novellas de picares*. Взявъ въ герои лицо подозрительной репутации или завѣдомаго мошенника, такъ удобно было съ нимъ объѣзжать разныя страны, знакомиться съ разными классами населенія и вскрывать изнанку жизни, давая пищу своему сатирическому перу. Смоллетъ очень просто опредѣляетъ романъ, какъ «картину большихъ размѣровъ, въ которой характеры, взятые изъ жизни, расположены въ разнообразныя группы и поставлены въ разныя

положенія, какъ этого требуетъ общій планъ» ¹⁾. Чтобы съ успѣхомъ выполнить планъ, продолжаетъ онъ дальше, необходимо центральное лицо (a principal personage), которое внесетъ единство въ лабиринтъ событій и развяжетъ ихъ узелъ. Мы не находимъ у Смоллета другихъ, болѣе глубокихъ опредѣленій цѣли искусства. Такъ какъ главной его задачей, было наблюдение жизненныхъ характеровъ, то и первымъ вопросомъ при его оцѣнкѣ будетъ: какъ онъ рисовалъ лица, насколько они были типичны и реальны.

Къ числу самыхъ удачныхъ фигуръ въ романахъ Смоллета принадлежатъ моряки. Изъ всѣхъ современныхъ ему англійскихъ романистовъ онъ, проведшій нѣсколько лѣтъ въ службѣ на военномъ кораблѣ, былъ въ наилучшихъ условіяхъ для наблюденія матросовъ и ихъ начальства. Лейтенантъ Баулингъ (Bowling), дядя его любимаго героя Рэндома, описанъ довольно подробно и съ большимъ сочувствіемъ. Этотъ геркулесовски сложенный человѣкъ, съ бычачьей шеей и оглоблеобразными ногами, подъ грубыми и рѣзкими манерами скрываетъ простое и доброе сердце. Его любятъ товарищи; съ начальствомъ онъ держитъ себя съ достоинствомъ. Проводя жизнь на кораблѣ въ тяжелой работѣ и не желая лучшей жизни, онъ не задается никакими головоломными вопросами. «Я не жѣшаюсь ни въ чьи дѣла—но пословица: артиллеристъ долженъ знать свой фитиль, а кормчій—руль. Я имѣю вѣру только въ компасъ и поступаю съ людьми такъ, какъ желалъ бы, чтобы со мной поступали. Я презираю папу, чорта и претендента, и все - таки надѣюсь попасть въ рай такъ, какъ и другіе» ²⁾. Эта фигура интересна для бытовой исторіи Англій XVIII в., и, какъ недостатокъ въ ея обрисовкѣ, мы могли бы отмѣтить лишь злоупотребленіе тѣмъ приемомъ, при помощи котораго комизмъ лицу сообщается чрезмѣрнымъ употребленіемъ имъ словъ и выраженій, относящихся къ его ремеслу или роду занятій. Баулингъ такъ утѣшаетъ племянника: «Жизнь есть длинный вояжъ, въ которомъ мы должны ожидать всякой погоды: иногда бываетъ штиль, а другой разъ волнение; часто попутный вѣтеръ смѣняется бурей, и вѣтеръ не всегда дуетъ въ одну сторону. Отчаяніемъ ничему не поможешь». Все - таки можно признать Баулинга типомъ, представителемъ людей извѣстнаго времени, класса и положенія. Но громадное большинство дѣйствующихъ лицъ Смоллета заставляютъ подозрѣвать, что творческій процессъ созданія типа былъ ему доступенъ рѣдко; что въ большинствѣ случаевъ онъ упрощалъ себѣ задачу, списывая портреты отдѣльныхъ лицъ, при чемъ портилъ свои рисунки, каррикурируя ихъ, или изъ желанія быть болѣе занятымъ, или изъ другихъ менѣе похвальныхъ побужденій. Это нужно сказать даже о

¹⁾ Works of T. Smollet, v. IV (Edinburgh, 1820), p. IX.

²⁾ Цитаты изъ „Родрика Рэндома“ по рус. пер. 1860 г.

самых цѣнныхъ частяхъ его романовъ, имѣющихъ автобіографическое значеніе. Сличеніе подлинно извѣстныхъ фактовъ изъ жизни Смоллета съ соответствующими мѣстами его романовъ показываетъ, что достовѣрность его описаній лишь относительна. При раздражительности характера склонный видѣть причину своихъ неудачъ и несчастій въ другихъ, онъ изображалъ лица, съ которыми приходилъ въ соприкосновеніе, сильно сгущая краски, и почти всегда не въ ихъ пользу. Что, напримѣръ, можно сказать о слѣдующемъ эпизодѣ наиболѣе цѣннаго мѣста его перваго романа, гдѣ описывается злосчастная экспедиція англійскаго флота, въ которой участвовалъ авторъ?

На корабль, гдѣ служилъ Рэндомъ, т-е. лицо если не вполне тождественное съ авторомъ, то во всякомъ случаѣ такое, устами котораго онъ рассказываетъ о собственныхъ приключеніяхъ, послѣ командира—пьяницы, тиранившаго служащихъ, заключавшаго ихъ въ цѣпи, выгонявшаго больныхъ изъ лазарета работать на палубу, гдѣ нѣкоторые изъ нихъ умирали, прислали новаго начальника. Измученные лишеніями неудачной экспедиціи, моряки съ удивленіемъ смотрятъ на капитана Вайфля (Whiffle), высокаго, худого молодого человѣка, съ завитыми волосами, одѣтаго въ шелкъ, атласъ, бархатъ, съ бантами и драгоценными камнями на платьѣ. Когда одинъ изъ офицеровъ-моряковъ ввалился къ нему въ каюту, чтобы попросту съ нимъ познакомиться, капитанъ такъ испугался этого медвѣдя, пропитаннаго крѣпкимъ запахомъ табаку, что упалъ въ обморокъ, такъ что врачу пришлось приводить его въ чувство запахомъ амміака и пустить ему кровь. Первымъ распоряженіемъ новаго капитана было, чтобы никто не смѣлъ являться къ нему безъ доклада, чтобы младшіе чины не показывались на палубѣ въ грязномъ бѣльѣ, а офицеры безъ шляпы, шпаги и манишекъ. Правда, что въ англійскомъ высшемъ обществѣ этого времени дѣйствительно распространялись французскіе изнѣженные нравы двора Людовика XV; съ другой стороны, англійскіе историки, которымъ стыдно вспомнить пораженіе ихъ флота испанцами подъ Картахеной (1742), говорятъ, что никогда еще англійскій флотъ не былъ въ такомъ дурномъ состояніи, что служащіе на немъ представляли всякій сбродъ; но все-таки мы не можемъ не сказать, что капитанъ Вайфль производитъ впечатлѣніе карикатуры или того, что у насъ въ XVIII в. называлось сатирой на лицо.

Для современнаго читателя въ старинныхъ романахъ приключеній утомительна общая ихъ особенность — чрезмѣрное количество все новыхъ и новыхъ лицъ, изъ которыхъ многія ничего не даютъ ни для развитія характера главнаго героя, ни для характеристики общества, служа лишь для увеличенія количества болѣе или менѣе забавныхъ сценъ. Между тѣмъ отъ этого терпятъ болѣе интересныя типы, остающіеся также мало

развитыми. Одно из путешествующихъ лицъ послѣдняго романа Смоллета ¹⁾ говоритъ: „Мнѣ уже надоѣла эта кочующая жизнь; постоянное мельканіе въ глазахъ новыхъ предметовъ производитъ на меня какое-то одуряющее дѣйствіе“. То же можетъ сказать современный читатель о романахъ Смоллета. Иногда только что заинтересуешься какой-нибудь бытовой чертой новаго лица, какъ оно уже исчезаетъ, чтобы больше не появиться. Вотъ для примѣра тетка невѣсты Рэндома (гл. 39) дѣвица лѣтъ сорока, „замѣчательная не столько красотой, сколько ученостью и любовью къ литературѣ“. У ней хорошая библіотека изъ лучшихъ писателей англійскихъ, французскихъ и итальянскихъ, изъ переводовъ греческихъ и римскихъ классиковъ. Она сочиняетъ сама стихи и трагедіи и очень тщеславна. Въ то время, когда жилъ Смоллетъ, дѣйствительно зарождался въ англійскомъ обществѣ типъ ученой женщины, «синяго чулка», какъ окрестили его къ 70-мъ годамъ XVIII столѣтія, когда образовался блестящій литературный кружокъ знатныхъ дамъ и извѣстныхъ писателей, названный „Собраніями синихъ чулокъ“, такъ какъ душа этого кружка, ученый и остроумный докторъ Стиллингфлитъ, имѣлъ странную привычку носить не обычные тогда черные, а темно-синіе чулки, на подобіе крестьянскихъ. Правда, Смоллетъ, жившій въ Лондонѣ уединенно, могъ и не наблюдать близко развитіе типа ученой женщины; правда и то, что тетка невѣсты Рэндома нарисована имъ лѣтъ на 20 раньше „Собраній синихъ чулокъ“, но это, несомнѣнно, зародышъ того же типа, «синяго чулка» нѣсколько комическаго, но въ общемъ почтеннаго; между тѣмъ Смоллетъ взялъ его только съ внѣшней комической стороны. Ученая дѣвица сидитъ въ своемъ кабинетѣ за литературными занятіями; одну ногу она опустила на полъ, другую поставила на стулъ; одной рукой держитъ обгрызенное перо, другой почесываетъ въ распущенныхъ волосахъ. Она нюхаетъ табакъ, которымъ покрыта ея верхняя губа, и вытираетъ носъ вмѣсто носового платка лежащимъ подлѣ ночнымъ чепцомъ. Когда ей нужно переменить рубашку, она дѣлаетъ это, не стѣснясь присутствіемъ молодого слуги. Трагедія, которую она сочиняетъ, полна мрачныхъ ужасовъ и привидѣній, но сама авторша высокаго мнѣнія объ этой безмыслицѣ и съ довольнымъ видомъ принимаетъ комплименты своему таланту.

Пусть Смоллетъ не обязанъ былъ заниматься болѣе подробной обрисовкой этого типа, такъ какъ это лицо эпизодическое. Но мы можемъ привести другой примѣръ, когда онъ затрогиваетъ общественное явленіе, представляющее не малый интересъ, дѣлаетъ выразителемъ его одно изъ главныхъ своихъ дѣйствующихъ лицъ и все-таки оставляетъ читателя желать еще многого. Гэмфри Клинкеръ, одинъ изъ героевъ послѣдняго романа Смоллета, — методистъ. Религіозная секта методистовъ, формально сложив-

¹⁾ „Гэмфри Клинкеръ“, слова Лидіи Мельфордъ (II, 92).

шаяся въ общество и сдѣлавшаяся извѣстной въ Лондонѣ съ 1739 г., къ концу столѣтія насчитывала своими членами до 100.000 человекъ. Какъ ни относиться къ ученію этой секты, но если одинъ изъ ея проповѣдниковъ такъ дѣйствовалъ на своихъ слушателей—углекоповъ, что видно было, какъ слезы «пробивали себѣ борозды по ихъ почернѣвшимъ щекамъ», то нужно признать, что писатель, взявшійся говорить объ этомъ религиозномъ возрожденіи, долженъ былъ по крайней мѣрѣ хорошо изучить его. У Смоллета слѣдовъ такого изученія мы не находимъ, несмотря на то, что романъ его написанъ въ 70-хъ годахъ, когда методистское движеніе вполнѣ опредѣлилось. Онъ нѣсколько разъ возвращается къ методистамъ; герой его, лакей Клинкеръ, выступаетъ проповѣдникомъ въ собраніяхъ методистовъ, а его невѣста, горничная, и ея госпожа съ племянницей состоятъ его послѣдователями. Но обстоятельнаго изложенія ученія методистовъ у него нѣтъ, а отношеніе къ нимъ двойственное и неувѣренное. Съ одной стороны, характеръ самого Клинкера основанъ на чистосердечнѣйшемъ простодушіи и искренней набожной восторженности; съ другой, его молодая госпожа и послѣдовательница, не чувствуя въ себѣ благодати послѣ соблюденія всѣхъ религиозныхъ обрядностей, начинаетъ подозрѣвать, что методисты, говоря о нисшедшемъ на нихъ вдохновеніи и восторгѣ, просто лицемерятъ. Смоллетъ, при своихъ слабыхъ религиозныхъ интересахъ, очевидно могъ здѣсь оставаться только на скептической точкѣ зрѣнія.

Гораздо больше затрогивалъ его національный вопросъ объ отношеніи шотландцевъ къ англичанамъ, и этому вопросу онъ посвящаетъ не мало интереснѣйшихъ страницъ своего послѣдняго романа. Англичане всегда относились къ шотландцамъ съ смѣшаннымъ чувствомъ боязни и пренебреженія. Всякій шотландецъ, ѣхавшій въ Англію, могъ на окнахъ пограничныхъ гостиницъ читать насмѣшки и брань на свою націю. Онъ долженъ былъ приготовиться къ вопросамъ, правда ли, что у нихъ народъ, какъ лошади, питается овсомъ; ходить по горамъ въ юбкахъ безъ панталонъ, что въ главномъ ихъ городѣ Эдинбургѣ въ 10 часовъ вечера выливаютъ нечистоты изъ всѣхъ оконъ безконечно высокихъ домовъ прямо на улицы, на головы проходящимъ. Смоллетъ заставляеть въ романѣ семейство англичанъ объѣхать важнѣйшіе города Шотландіи и въ ихъ письмахъ, а также устами одного шотландскаго патріота, защищаетъ свою родину отъ нападокъ. Да, шотландскіе поселяне, дѣйствительно, бѣднѣе всѣхъ остальныхъ въ государствѣ. Они худы, блѣдны, съ грубыми чертами лица, грязны и оборваны. Земледѣліе находится у нихъ въ первобытномъ состояніи и не даетъ того, чего можно было бы ожидать отъ почвы и климата Шотландіи. Населеніе сѣверной ея части, бесплодной и болотистой, особенно бѣдствуетъ. Большинство шотландскихъ помѣщиковъ живетъ простовато и бѣдно. Феодалныя условія жизни отживаютъ, но еще не разрушены вполнѣ. Ремесла и прикладныя искусства развиваются

слабо. Ученость шотландцевъ не велика; въ народѣ и даже въ высшихъ классахъ распространена вѣра въ привидѣнія, предзнаменованія и множество другихъ суевѣрій. Но кто виновать въ томъ, что страна развивается слабо? Шотландія много потеряла отъ союза съ Англiей и мало выиграла отъ него. Шотландцы обременены налогами для уплаты англiйскихъ долговъ. Воинственный духъ ихъ горцевъ, лучшихъ солдатъ въ англiйской арміи, уходитъ на борьбу за америганскія колоніи, отъ которыхъ шотландцы не имѣютъ никакой пользы, такъ какъ всѣ выгоды торговли находятся въ рукахъ англичанъ. Изъ Англiи распространяется роскошь и французскія моды, которыя приучаютъ богатые и знатные классы Шотландiи къ мотовству и приводятъ ихъ къ разоренію. Шотландцы лишились самостоятельности, ихъ 16 представителей въ верхней палатѣ и 45 въ нижней не могутъ имѣть перевѣса въ пренiяхъ по національнымъ вопросамъ. А между тѣмъ шотландцы не менѣе, а въ нѣкоторыхъ отношенiяхъ и болѣе даровиты, чѣмъ англичане. Эдинбургъ—колыбель гениальныхъ людей. Шотландская церковь богата проповѣдниками, славящимися ученостью и терпимостью. Въ университетахъ Глазго и Эдинбурга лекціи читаются лучшими профессорами. Шотландскіе суды состоятъ изъ уважаемыхъ людей и отличаются большимъ достоинствомъ, чѣмъ англiйскіе. Если есть у шотландцевъ порокъ, то это тщеславіе, которое проявляется даже въ ихъ гостепрiимствѣ.

Мы должны прибавить, что самъ Смоллетъ далеко не былъ свободенъ отъ этого признаваемого имъ недостатка своихъ земляковъ и потому впадалъ въ преувеличенія, когда начиналъ говорить устами дѣйствующихъ лицъ о хорошихъ сторонахъ Шотландiи, тѣмъ болѣе, что это писалось имъ подъ конецъ жизни, когда, оглядываясь на прошлое, онъ съ желчью могъ сказать, что не нашелъ въ Англiи того счастья, въ поискахъ за которымъ оставилъ родину. Лѣтъ за 8 до смерти онъ потерпѣлъ еще одну неудачу, особенно чувствительную для его самолюбiя.

Съ мая 1762 по февраль 1763 г. Смоллетъ состоялъ издателемъ политическаго еженедѣльнаго журнала «Британецъ» (The Briton), къ чему пригласилъ его Бьютъ (Bute), первый лордъ казначейства, шотландецъ родомъ, торiй по убѣжденiямъ. Смоллетъ долженъ былъ поддерживать администрацію Бьюта противъ великой вигской коалиціи и Питта. Въ недобрый часъ онъ взялся за это дѣло, и когда, черезъ десять мѣсяцевъ, измученный полемикой и осмѣянный вмѣстѣ съ непопулярнымъ главой торiевъ, онъ бросилъ перо журналиста, ему больше, чѣмъ когда-либо, казалось, что причина его несчастiй—предательство и коварство интригановъ, лживость и измѣнчивость патроновъ. Смоллетъ всегда былъ склоненъ въ несчастiи обвинять другихъ, и теперь онъ излил свое негодованіе въ памфлетѣ—романѣ «Похожденіе Атома», гдѣ не пожалѣлъ ядовитыхъ словъ, осмѣивая политическія партіи и ихъ представителей.

Systema nervosum maxime irritabile потребовала поѣздки на югъ, во Францію и Италію, тѣмъ болѣе, что въ это время умерла его единственная дочь, и Смоллету хотѣлось уѣхать подальше, чтобы успокоиться и разсѣяться. Но спокойствіе не было свойственно его натурѣ, и въ «Гэмфри Клинкерѣ», послѣднемъ и наиболѣе объективномъ его романѣ, желчью пропитаны тѣ страницы, гдѣ устами дѣйствующихъ лицъ онъ говоритъ о современной англійской печати, парламентѣ и судахъ присяжныхъ. Брэмблѣ, путешествующій старикъ помѣщикъ, котораго авторъ рисуетъ человекомъ съ чувствительнымъ сердцемъ, прикидывающимся только мизантропомъ, образованнымъ, съ «вѣрными, мѣткими и своеобразными» сужденіями о жизни, жалуется на непримиримую вражду современныхъ политическихъ и литературныхъ партій и на возмутительную рѣзкость и самоувѣренность писателей. «Газеты и журналы, говоритъ онъ, сдѣлались гнусными распространителями самыхъ грязныхъ и безстыдныхъ клеветъ; каждый мстительный плутъ, каждый отчаянный поджигатель, имѣющій въ карманѣ три шиллинга, можетъ изъ-за столбца газетъ поразить честнѣйшаго человѣка въ государствѣ, не подвергаясь ни малѣйшей опасности быть уличеннымъ и наказаннымъ»¹⁾. Можно привлечь клеветника къ отвѣтственности, но, во-первыхъ, честь джентльмена слишкомъ щекотливый предметъ, чтобы отдать его на судъ присяжныхъ, избираемыхъ обыкновенно изъ необразованныхъ плебеевъ, которые не знаютъ своего дѣла и которыхъ легко можно провести и подкупить; во-вторыхъ, если даже и добьешься того, что издатель пасквиля будетъ выставленъ къ позорному столбу, то наказаніе обратится въ его же пользу: толпа тотчасъ же приметъ его подъ свое покровительство, какъ мученика за дѣло клеветы, имѣющее за себя массы». Выводомъ изъ сказаннаго и показателемъ настроенія самого автора могутъ служить слова Лисмагаго, того самаго шотландца-патріота, который такъ хорошо защищалъ свою родину отъ несправедливыхъ нападковъ. По внѣшности онъ лицо комическое, но авторъ снабдилъ его здравымъ умомъ, и мнѣніе его объ этомъ предметѣ тѣмъ болѣе заслуживаетъ вниманія, что онъ изучалъ право. «Свобода тисненія, говоритъ Лисмагаго,—общественное зло, потому что оно позволяетъ самому презрѣнному червю пятнать блескъ достойныхъ заслугъ, и самому низкому возмутителю нарушать общественный порядокъ и спокойствіе».

Брэмблѣ, при всемъ добродушіи, которое приписываетъ ему авторъ, проникнуть духомъ самаго односторонняго аристократизма. Для него политики съ демократической программой—шайка интригующихъ честолюбцевъ. «Какъ ни презрителенъ въ моихъ глазахъ, говоритъ онъ,—тотъ, кто льститъ министру, но еще презрительнѣй тотъ, кто льститъ толпѣ. Когда я вижу человѣка съ воспитаніемъ, именемъ и состояніемъ, кото-

¹⁾ Цитаты изъ „Гэмфри Клинкера“ по рус. пер. 1861 г.

рый становится въ уровень съ чернью, братается съ мастеровыми, ѣсть съ ними изъ одного блюда, пьетъ изъ одной кружки, льстить ихъ предразсудкамъ, выхваляетъ ихъ добродѣтель, сносить ихъ пивную отрыжку, ихъ табакъ, ихъ невѣжество, фамильярность и грубыя рѣчи,—когда я вижу такого человѣка, я не могу не считать его презрѣннѣйшимъ существомъ, втаптывающимъ въ грязь собственное достоинство изъ корыстныхъ и неблагонамѣренныхъ видовъ». «Чернь всегда была для меня невыносимымъ чудовищемъ, невыносимымъ во всѣхъ ея членахъ, начиная съ головы до хвоста; я ненавижу ее, какъ сборище невѣжества, тщеславія, хитрости и грубости; я готовъ заклеить презрѣніемъ, безъ разбора званія и положенія, всѣхъ тѣхъ, кто хвалится утонченностью нравовъ и въ то же время видится съ этимъ грубымъ народомъ». Брэмблю, привыкшему къ деревенскимъ порядкамъ, особенно ненавистна городская жизнь. Здѣсь «всѣ сословія слились въ одно. Лавочникъ, ремесленникъ, половой, трактирщикъ, приказный, значительный гражданинъ, придворный,—всѣ трутся другъ о друга». Онъ думаетъ, что сами кандидаты въ парламентъ, «пресмыкающіеся передъ мелкими избирателями, много способствуютъ къ развитію дерзости въ простонародьи, чертовски отбивающемся отъ рукъ». Взгляды богатаго помѣщика Брэмбля очевидно сходились съ симпатіями бѣднаго потомка шотландскихъ лордовъ—Смоллета ¹⁾, лучшіе романы котораго оканчиваются приблизительно одинаковой картиной: любящія сердца, послѣ долгихъ тревоженій жизни, соединяются обоюдно выгоднымъ свадебнымъ контрактомъ и поселяются въ своемъ имѣніи, гдѣ честные поселяне, которыхъ хорошо угостили на свадьбѣ, выкативъ имъ нѣсколько бочекъ пива и заколовъ нѣсколько быковъ, любятъ на счастье господъ.

Но Смоллетъ такъ и не дожилъ до счастья, котораго ему недоставало всю жизнь. Разстроенное здоровье опять потребовало поѣздки въ Италію, гдѣ онъ и умеръ въ 1771 г. пятидесяти лѣтъ отъ роду. Послѣдовавшая за нимъ жена прожила еще нѣсколько лѣтъ послѣ его смерти на чужбинѣ въ бѣдности и тамъ умерла, интересуя своей судьбой лишь немногихъ друзей покойнаго мужа.

Въ лондонскій періодъ жизни Смоллетъ, занятый писаніемъ романовъ, переводами съ французскаго и испанскаго, журнальными работами, составленіемъ новой англійской исторіи отъ революціи до Георга III (1689—1760), велъ уединенную, кабинетную жизнь. Его самолюбіе не позволяло ему сблизиться съ кружкомъ большого чудака и ненавистника шотландцевъ знаменитаго лексикографа Джонсона, вокругъ котораго объединялись лучшія литературныя и художественныя силы тогдашней Англій. Его романы не вызвали такихъ оживленныхъ разговоровъ, какъ

¹⁾ Такое мнѣніе высказываетъ и Forsyth: Bramble... whose opinions are supposed to represent those of Smollet himself (Novels a. Novelists of XVIII C., p. 293).

произведенія болѣе талантливыхъ и счастливыхъ его конкурентовъ. Послѣ Ричардсона читателямъ казалось, что Смоллетъ мало входитъ въ психику дѣйствующихъ лицъ, недостаточно глубоко и ярко изображаетъ ихъ чувства и настроенія. Герои веселаго, добродушнаго и беззаботнаго Фильдинга, созданные по образу и подобию автора, доставляли больше художественнаго наслажденія, чѣмъ иногда безцѣльно каррикатурныя или заставлявшія подозрѣвать пасквиль лица Смоллета, тѣмъ болѣе, что въ построеніи романа, въ умѣннѣ множество лицъ и событій связать въ стройно развивающееся цѣлое Фильдингъ стоялъ выше его. «Ученый брюзга» не былъ такимъ тонкимъ наблюдателемъ, какъ Стернъ, давшій ему эту кличку, и ему недоступно было шутовское изящество и лукавая чувствительность автора «Сентиментальнаго путешествія». Смоллетъ отнесся бы съ высокоумѣрнымъ пренебреженіемъ къ тому, кто поставилъ бы ему въ упрекъ недостатокъ простоты и безыскусственности, какую мы находимъ у наивнаго Гольдсмита, а между тѣмъ послѣдній въ своемъ „Векфильдскомъ священникѣ“ даетъ такую подробную и съ такой любовью написанную бытовую картину англійской жизни XVIII в., какой мы не найдемъ во всѣхъ романахъ Смоллета. Изъ старшихъ писателей его можно было бы сравнить развѣ съ Свифтомъ, но у него не было глубины мысли и мрачной силы сарказма этого великаго мизантропа.

Для удовольствія и развлеченія романы Смоллета читать теперь трудно. Но историкъ англійской культуры XVIII в. безъ него не можетъ обойтись, такъ какъ у него отразились стороны жизни, которыхъ не касались другіе писатели. Нужно только помнить, что Смоллетъ не объективный писатель и не простой копировальщикъ дѣйствительности¹⁾. У него былъ такъ устроенъ глазъ, что онъ видѣлъ почти исключительно темныя стороны жизни, а если прибавить къ этому, что эти картины проходили черезъ желчное настроеніе человѣка, считающаго себя пасынкомъ судьбы, то къ чести англичанъ нужно будетъ признать, что жизнь ихъ предковъ въ XVIII в., при всѣхъ ихъ недостаткахъ, была лучше, чѣмъ она рисуется въ романахъ Смоллета.

В. Лазурскій.



¹⁾ Un copiste de la vie—такъ называетъ Смоллета Тэнъ: „Histoire de la littérature anglaise“, t. IV, p. 139. На шести страницахъ, посвященныхъ С—у, Тэнъ пользуется имъ очень односторонне, поскольку онъ даетъ матеріалъ для картины ужасныхъ англійскихъ нравовъ въ XVIII в. Вопросъ, можно ли довѣрять С—у, даже не ставится.



Русскія отношенія Гёте.

Почти безраздѣльно царствовавшее у насъ въ XVIII вѣкѣ увлеченіе французской литературой послѣ великой революціи довольно быстро смѣняется англо-нѣмецкимъ вліяніемъ, значительно раздвинувшимъ литературные горизонты русской поэзіи.

Въ этомъ случаѣ сильнѣе всего повліяли—реакція противъ всего французскаго ¹⁾, которое испуганные парижской трагедіей реакціонеры упорно отождествляли съ революціоннымъ; примѣръ западно-европейскихъ литературъ, въ которыхъ шла непрерывная и страстная борьба противъ оковъ французскаго классицизма, во имя свободы творчества, патриотическихъ чувствъ, слагающагося интереса къ старинѣ и народности; исканіе новыхъ литературныхъ путей, какъ признакъ наступающей литературной зрѣлости; совмѣстная дѣятельность противъ французовъ въ эпоху Отечественной войны.

Прекрасно намѣтилъ этотъ переломъ Туманскій:

Давно ли въ шелковыхъ чулкахъ
И въ пудрѣ шеголя француза,
Съ лорнетомъ, въ лентахъ, кружевахъ,
Разгуливала наша муза?
Но русской барышнѣ пріѣхала старина:
Все то же платье, та же лента—
И нынѣ ходитъ ужъ она
Въ плащѣ нѣмецкаго студента.

Надъ нимъ же не безъ затаенной грусти подсмѣивался Марлинскій:

Литература наша—сѣтка
На ловлю иноморскихъ рыбъ;
Чужихъ лицъ она насѣдка;
То ранній плодъ, то поздній грибъ;
Чужой тоски, чужого смѣха
Всеновторающее эхо!

¹⁾ Срв., напр., письмо князя Вяземскаго Тургеневу 1819 г. (Остаф. Архивъ, I, 274): „Жуковский Шилеромъ и Гёте отучить насъ отъ приторной пищи однообразнаго французскаго стола“.

Это написано было тогда, когда Пушкинъ переживаетъ еще свои «годы учения»...

На этой почвѣ создано оставившее крупныя слѣды въ нашей литературѣ увлеченіе поэзіей Гёте.

Ему отдали дань Жуковскій и Шевыревъ, Баратынскій и Веневитиновъ. У Жуковского и Шевырева завязались даже личныя отношенія съ «великимъ старцемъ»; Гёте послалъ, по преданію, сообщаемому Анненковымъ, свое перо Пушкину; одинъ изъ нѣмецкихъ изслѣдователей приводитъ даже четверостишіе «при посылкѣ пера» ¹⁾ и относить его къ Пушкину; въ извѣстномъ посланіи Веневитиновъ уговаривалъ Пушкина воспѣть Гете:

Къ хваламъ оплаканныхъ могилъ
Прибавь веселыя хваленья.
Ихъ ждетъ еще одинъ пѣвецъ;
Онъ нашъ—жилецъ того же свѣта.
Давно блеститъ его вѣнецъ;
Но славы громкаго привѣта
Звучнѣй, отраднѣй гласъ поэта.
Наставникъ нашъ, наставникъ твой,
Онъ кроется въ странѣ мечтаній,
Въ своей Германіи родной.
Досель хладѣющія длави
По струнамъ бѣгаютъ порой,
И перерывчатые звуки,
Какъ послѣ горестной разлуки
Старинной дружбы милый гласъ,
Къ знакомымъ думамъ влоняютъ насъ.
Досель въ немъ сердце не остыло,
И вѣрь, онъ съ радостью живой
Въ приютѣ старости унылой
Еще услышитъ голосъ твой.
И, можетъ-быть, тобой пѣвенный,
Послѣднимъ жаромъ вдохновенный,
Отвѣтно лебедь запоетъ
И, къ небу, съ пѣснію прощанья
Стремя торжественный полетъ,
Въ восторгѣ дивнаго мечтанья
Тебя, о Пушкинъ, назоветъ.

Всѣмъ извѣстны затѣмъ прекрасныя стихотворенія на смерть Гёте Жуковского и Баратынскаго.

¹⁾ Goethes Feder an *** (1826). См. Harnack, Goethes Beziehungen zu russischen Schriftstellern. Zeitschrift für Vergleichende Litteratur-geschichte und Renaissance-Litteratur, III, 1890, 271. Его указанія о русскихъ отношеніяхъ Гёте (къ Жуковскому, Шевыреву, Уварову и Борхардту) можно пополнить слѣдующими данными: А. С. Шишковъ познакомился съ Гёте въ 1814 году въ Веймарѣ у великой княгини Маріи Павловны (см. Записки, мѣннія и переписка адмирала А. С. Шишкова. Berlin, 1870, I, 303: „въ Веймарѣ, гдѣ ожидали скорого прибытія государя, зашелъ я на короткое время къ великой княгинѣ Маріи Павловнѣ, и видѣлъ тутъ извѣстнаго (знаменитаго) нѣмецкаго писателя Гёте*); объ отношеніяхъ Тургеневыхъ и Жуковского къ Гёте см. Тихоураховъ, Соч., III, 1, стр. 433—434.

Въ одномъ изъ старыхъ журналовъ («Московскій Вѣстникъ», 1828, IX, стр. 326—333) мы разыскали фактъ, очень характерный для исторіи русскихъ отношеній Гёте ¹⁾: нѣкто Н. Борхардъ ²⁾ прислалъ Погодину письмо Гёте (въ подлинникѣ и переводѣ, со своими поясненіями), и издатель «Московского Вѣстника» «съ величайшимъ удовольствіемъ» напечаталъ ихъ.

Борхардъ писалъ слѣдующее: «съ особеннымъ удовольствіемъ посылаю вамъ письмо ко мнѣ отъ знаменитаго Гёте, которое я имѣлъ честь получить чрезъ г. Трейтера, по случаю прибытія въ Петербургъ Ея Свѣтлости Наслѣдной Принцессы Саксенъ-Веймарской. Великій поэтъ написалъ сіе письмо въ отвѣтъ на мой отрывокъ: *Goethe's Würdigung in Russland zur Würdigung von Russland* и разборъ Елены, г. Шевырева, мною переведенный и также къ нему отпавленный.

Въ своемъ отрывкѣ вотъ что я сказалъ о семъ разборѣ: «одинъ изъ молодыхъ стихотворцевъ, г. Шевыревъ, принимающій дѣятельное участіе при изданіи «Московского Вѣстника», помѣстилъ въ 21 № онаго на 1827-й годъ переводный отрывокъ изъ междудѣйствія къ Фаусту: «Елена» и присовокупилъ разборъ сего послѣдняго, въ которомъ, показавъ содержаніе произведенія, развилъ и главную мысль онаго по своему мнѣнію. Здѣсь предлагается вѣрный переводъ его статьи. Быть можетъ, образъ мыслей молодого стихотворца имѣеть недостатки, но не менѣе того такая оцѣнка Гёте показываетъ, что въ юныхъ сынахъ Россіи зарождается благородное стремленіе къ высокому и духовному. Знакъ благоприятный! Нравственныя силы Россіи да уравниются ея могуществу тѣлесному. Конечно, мысли и чувства, выражаемыя молодымъ стихотворцемъ, не соотвѣтствуютъ генію творца Елены, но они представляютъ пріятное свидѣтельство того, какъ умѣють цѣнить великаго Гёте на языкѣ, которымъ говорятъ отъ Балтійскихъ береговъ до Камчатки и на которомъ съ благоговѣніемъ проносятъ его имя. На семъ-то языкѣ недавно одинъ изъ первыхъ поэтовъ нашихъ, одаренный глубокимъ чувствомъ, Жуковскій, какъ бы отъ имени Россіи, такъ выразилъ свою мысль о томъ же Гёте подъ его изображеніемъ:

Свободу смѣлую пріавъ себѣ въ законъ,
Великой ³⁾ мыслию надъ міромъ онъ носился,
И въ мірѣ все постигнулъ онъ,
И ничему не покорился.

Въ письмѣ есть много лестнаго вообще для музъ русскіихъ, много поучительнаго, и я надѣюсь, что помѣщеніемъ его вы доставите большое удовольствіе вѣснителямъ Отечественнаго просвѣщенія.

¹⁾ Нѣкоторыми отрывками изъ него воспользовался Harnack въ указанной выше статьѣ.

²⁾ Эта фамилія упоминается еще въ „Дамскомъ Журналѣ“ 1831, № XX, стр. 110—111.

³⁾ У Яковлева („Опытъ русской анѳологіи“, СПб., 1828, стр. 168) вариантъ: „вездращей“.

За этимъ слѣдуетъ письмо отъ Гёте къ г. Борхарду:

Die Gelegenheit welche sich mir darbietet ein Blatt nach Petersburg zu bringen, damit es von da bequemer und gewisser zu Ihnen gelange, darf ich nicht versäumen und ich ergreife sie um zu versichern dass Ihre glücklich angekommene Sendung mir zu ganz besonderm Vergnügen gereicht.

Wenn man viele Lebensjahre dazu angewendet hat sich selbst auszubilden und die Spuren der Vorschritte seiner eigenen Denkweise in Schriften zu erhalten, damit auch der Nachkommende aufmerksam werde auf das was ihm allenfalls bevorstehen, was ihn fördern und hindern könnte, und man erfährt sodann in hohen Jahren dass ein erst fern scheinender Zweck erreicht, ein kühner Wunsch erfüllt sey, so kann dies nicht anders als die angenehmste Emfindung erregen.

Ich bin in meinen Arbeiten nicht leicht didactisch geworden: eine poetische Darstellung der Zustände, theils wirklicher, theils ideeller, schien mir immer das Vortheilhafteste, damit ein sinniger Leser sich in den Bildern bespiegeln und die mannigfaltigsten Resultate bey wachsender Erfahrung selbst herausfinden möge.

Wenn wir Westländer nun schon auf mehr als eine Weise, namentlich auch durch Herrn Bowring, mit den Vorzügen Ihrer Dichter bekannt und wir daher, so wie aus andern edeln Symptomen auf eine hohe ästhetische Kultur in ihrem ausgedehnten Sprachkreise zu schliessen hatten, so war es mir doch gewissermassen unerwartet in Bezug auf mich, jene so zarten als tiefen Gefühle in dem entfernten Osten aufblühen zu sehe, wie sie kaum holder und anmuthiger in den, seit Jahrhunderten sich ausbildenden westlichen Ländern zu finden seyn dürften.

Das Problem, oder vielmehr der Knäuel von Problemen wie meine Helena sie verlegt, so entschiedeneinsichtig, als herzlichfromm gelöst zu wissen, musste mich

Имѣя вѣрный и удобный случай отправить письмо въ Петербургъ, я пользуюсь имъ, чтобы увѣрить васъ въ *особенномъ* удовольствіи, которое доставила мнѣ ваша посылка, счастливо сюда прибывшая.

Когда мы многіе годы жизни употребимъ на образование самихъ себя, стараюсь сохранить въ твореніяхъ слѣды успѣховъ нашего мышления съ тѣмъ, чтобы и потомокъ нашъ могъ видѣть, что ему предстоитъ въ жизни, что полезно и что препятствіе,—и когда, уже въ преклонныхъ лѣтахъ, мы узнаемъ, что наша цѣль, прежде казавшаяся далекою, достигнута, что смѣлое желаніе исполнилось, то какое сладкое чувствованіе мы тогда испытываемъ!

Я не легко сдѣлался дидактическимъ въ моихъ сочиненіяхъ: мнѣ всегда казалось выгоднѣйшимъ поэтическое представленіе предметовъ, частью дѣйствительныхъ, частью идеальныхъ, дабы мыслящему читателю можно было смотрѣться въ образы, и самому, при возрастающей опытности, извлекать изъ нихъ разнообразнѣйшіе результаты.

Хотя мы, западные, многими посредствами, а особенно черезъ г-на Бауринга, уже знакомы съ достоинствами вашихъ стихотворцевъ; хотя, судя по нимъ и по многимъ другимъ благороднымъ признакамъ, можемъ предполагать высокое эстетическое образованіе въ обширной области вашего языка, но, несмотря на то, для меня все еще было неожиданнымъ встрѣтить въ отношеніи ко мнѣ на отдаленномъ Востоцѣ чувства столь же нѣжныя, сколько глубокія, коихъ милѣе и привлекательнѣе врядь ли мы можемъ найти на нашемъ Западѣ, уже многія столѣтія идущемъ къ образованію.

Разрѣшеніе проблемъ или, точнѣе сказать, узла проблемъ, предложенныхъ въ моей Еленѣ,—разрѣшеніе столь же удовлетворительное, сколько простосер-

in Verwunderung setzen, ob ich gleich schon zu erfahren gewohnt bin, dass die Steigerungen der letzten Zeit nicht nach dem Maas der früheren berechnet werden können. Wie denn ein höchst erquickliches Verhältniss zu Herrn Schukowsky mir von der zartesten Empfänglichkeit und rein wirksamsten Theilnahme schon die Ueberzeugung gab.

In dem Falle wie sie sind, mein Wertheater, hat man alle Ursache Ihnen Glück zu wünschen dass Sie auf die Bildung einer grossen Nation einen so schönen und ruhigen Einfluss ausüben. Halten Sie fest wie bisher im gemessenen Schritte dasjenige zu überliefern was zunächst den Ihrigen heilsam ist. Das Auge stets nach dem Monarchen und seinen weisen wohlwollenden Absichten gerichtet, fördern Sie an Ihrer Stelle das Vorliegende. — Was dem Redlichen möglich ist, ist auch nützlich; was von dem Einfachen verstanden wird, ist auch fruchtbar. Möge Ihnen immer Ihr eigenes Herz zugleich mit Ihren Obem ermunternden Beyfall geben.

Die Betrachtungen die ich hier niederzuschreiben veranlasst bin sind so weit und umgreifend wie das Reich in dessen Mittelpunkt Sie sich befinden.

Schon hat sich die alte Kaiserstadt, die wir uns noch vor Kurzem in Trümmern dachten, aus der Asche unbegreiflich wieder hervorgehoben, und da Sie an so merkwürdigem Weltpuncte, zu bedeutendster Epoche, verbunden mit würdigen Freunden, Theil zu nehmen berufen sind, so setzen sie Ihren Studien keine Grenzen, um desto sicherer dahin zurückzukehren. wo eine edle, reine einfache Wirkung Noth thut, damit manches Hinderniss beseitigt und viel Gutes gefördert werde.

дечное, — не могло не удивить меня, хотя я и привыкъ уже испытывать, что нельзя по прошедшему времени судить о быстротѣ успѣховъ новѣйшаго. Уже мои усладительныя отношенія къ Жуковскому были мнѣ доказательствомъ нѣжнѣйшаго сочувствія и чистаго, дѣятельнѣйшаго соучастія.

Положеніе, въ которомъ вы ¹⁾ находитесь, заставляетъ меня пожелать вамъ счастья въ томъ прекрасномъ и спокойномъ вліяніи, которое вы имѣете на великій народъ.

Продолжайте съ тою же постепенностью, какъ прежде, передавать своимъ соотечественникамъ то, что имѣете для нихъ пользу ближайшую. Имѣя всегда въ виду монарха и его мудрыя, благодѣтельныя намѣренія, вы, на вашемъ мѣстѣ, исполняйте вамъ предстоящее. Что честному возможно, то и полезно; что простыми понято, то принесетъ плоды. Да будетъ вамъ всегда возбудительною наградою одобреніе вашего сердца вмѣстѣ съ одобреніемъ вашихъ начальниковъ.

Размышленія, къ которымъ я привелъ теперь, столь же обширны и необъятны, какъ то государство, въ средоточіи коего вы находитесь.

Уже древняя столица, которую мы еще незадолго почитали въ развалинахъ, снова, непонятно, возникла изъ пепла, и вы, вмѣстѣ съ достойными друзьями вашими, бывъ призваны раздѣлить участь столь важной точки вселенной, въ значительнѣйшую эпоху, не ставьте границъ вашему ученію, чтобы вѣрнѣе достигнуть туда, гдѣ чистая, простая, благородная дѣятельность необходима для уничтоженія многихъ препятствій, для совершенія многаго добра.

¹⁾ Прим. Н. Борхарда: „Гёте не могъ знать моихъ отношеній, и потому я не принимаю всѣхъ этихъ словъ на мой счетъ. Но онъ самъ мнѣ вручилъ право, какъ читатели увидятъ ниже, дать особенный смыслъ всему сказанному имъ вообще, и я, съ его позволенія, вмѣняю себѣ въ честь отнести все сіе къ русскимъ литераторамъ, оставляя себѣ одно счастье быть посредникомъ въ этомъ дѣлѣ“.

Hier muss ich endigen, denn fast will es scheinen als ob meine Betrachtungen alle Gehalt verloren indem sie sich von Besondern entfernen; doch darf ich mir vorstellen dass Sie in Ihrer Lage, demjenigen was ich im Allgemeinen ausspreche einen eigenen Sinn zu entheilen wissen.

Grüssen Sie Ihre werthen Freunde, fahren Sie fort ruhig dahin zu wirken, dass der Mensch mit sich selbst bekannt werde, seinen eignen Werth und Würde fühlen, aber zugleich auch die Stellung erkennen lerne, die ihm gegen die Welt überhaupt, besonders aber in seinem bestimmten Kreis gegeben ist.

Mögen Sie mir in einiger Zeit wieder von Sich und Ihren Gelingen zu treuliche Nachricht entheilen, so wird es mir Freude machen und eine Anregung wieder von mir hören so lassen würde mir jederzeit erwünscht seyn.

Einen alten theuren Freund Herrn Geh. Rath von Loder grüssen Sie gelegentlich zum allerschönsten und einen ehemaligen Wandnachbar, Herrn Treuter, Primararzt am Kaiserl. Findelhaus erneuern Sie geneigt mein Andenken. Treu theilnehmend

I. W. Goethe.

Weimar d. 1 May 1828.

Здѣсь долженъ я окончить, ибо мои размышленія, кажется, начинаютъ уже терять свою цѣну, удаляясь отъ того, что служило къ нимъ поводомъ, но я надѣюсь, что вы въ вашемъ положеніи будете умѣть—дать особенный смыслъ всему сказанному мною вообще.

Мой поклонъ вашимъ друзьямъ, продолжайте спокойно знакомить человѣка съ самимъ собою, да почувствуетъ онъ свою цѣну и достоинство и да научится узнавать то мѣсто, которое ему назначено въ отношеніи къ цѣлому міру и въ особенности внутри его опредѣленнаго круга.

Если вы опять когда-нибудь пришлете мнѣ искреннюю вѣсть о себѣ и вашихъ успѣхахъ,—это мнѣ доставитъ большое удовольствіе, и во всякое время мнѣ будетъ пріятно имѣть поводъ говорить съ вами.

Прошу васъ при случаѣ сказать усердный поклонъ моему старинному любезнѣйшему другу, тайному совѣтнику Лодеру и напомнить обо мнѣ прежнему моему сосѣду, г. Трейтеру, главному доктору при Императорскомъ Воспитательномъ домѣ.

Искреннее участіе въ васъ принимающій

И. В. Гёте.

Веймаръ. 1-го мая 1828 г.

(Текстъ и переводъ—Борхарда—перепечатаны дословно).

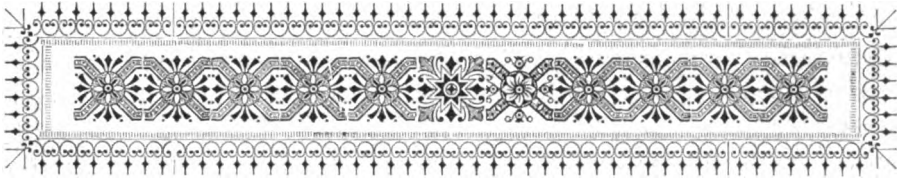
Какое сильное впечатлѣніе произвело это письмо, можно видѣть, напр., изъ письма Пушкина къ Погодину (отъ 1 іюля 1828 г.): «надобно, чтобы нашъ журналъ («Московскій Вѣстникъ») издавался и на слѣдующій годъ. Онъ, конечно, будь сказано между нами, первый единственный журналъ на святой Руси: должно терпѣніемъ, добросовѣстностію, благородствомъ и особенно настойчивостію оправдать ожиданія истинныхъ друзей словесности и одобреніе великаго Гёте. Честь и слава милому нашему Шевыреву! Вы прекрасно сдѣлали, что напечатали письмо нашего германскаго патриарха. Оно, надѣюсь, дастъ Шевыреву болѣе вѣсу во мнѣніи общемъ. А того-то и надобно. Пора уму и знаніямъ вытѣснить и Булгарина, и Федорова. Я здѣсь (въ Петербургѣ) на досугъ поддразниваю ихъ за несогласіе ихъ мнѣнія съ мнѣніемъ Гёте».

Такимъ образомъ авторитетное мнѣніе Гёте сыграло извѣстную роль въ литературной борьбѣ того времени; самое его письмо — любопытный фактъ ранняго литературнаго общенія между русскими и нѣмецкими писателями—на почвѣ культа «великаго старца», съ одной стороны, и признанія извѣстныхъ правъ за русскою литературой—съ другой ¹⁾).

Вл. Каллашъ.



¹⁾ Отношеніямъ Гёте къ Уварову посвященъ спеціальной трактатъ Г. Шмида: „Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel“—„Russische Revue“ 1888, II, 131—182. О знакомствѣ съ Вилламовымъ ib. 165. О письмѣ Гёте къ Борхарду ib. 181—2. Въ статьѣ того же Шмида: „Zur russischen Gelehrten-geschichte. Uwarow und Gräfe (ib. 1886, I) объ отношеніяхъ Гёте къ Уварову (стр. 99, 157). О своемъ мимолетномъ знакомствѣ съ Гёте рассказываетъ въ автобіографіи гр. А. Толстой (тогда ему было около десяти лѣтъ): „Въ одно изъ нашихъ пребываній въ Веймарѣ дядя (Перовскій-Погорѣльскій) взялъ меня къ Гёте, къ которому я по инстинкту проникъ величайшимъ почтеніемъ благодаря тому, что я слышалъ, какъ говорили о немъ. Отъ его посѣщенія у меня сохранились въ памяти величественныя черты Гёте и то, что я у него сидѣлъ на колѣняхъ“.



Учебные годы А. Н. Радищева.

(Отрывок из его биографии).

Родъ Радищевыхъ происходитъ отъ татарскихъ князей — братьевъ Куная и Нагая, принявшихъ крещеніе послѣ паденія Казани. Мурза-Кунай былъ названъ при крещеніи Константиномъ. Отъ его потомковъ произошелъ Александръ Николаевичъ Радищевъ.

При переходѣ въ подданство московскаго царя мурзы были награждены землями. Но или этихъ земель было немного, и при раздѣлахъ онѣ быстро измелъчали, или предки Радищева любили широко пожить и скоро прожили жалованныя имѣнія, только въ концѣ XVII столѣтія дѣдъ А. Н. Радищева, Аѳанасій Прокофьевичъ, оказывается очень бѣднымъ калужскимъ дворяниномъ. Когда Аѳанасій Радищевъ отправлялся на службу въ полкъ, онъ получилъ отъ матери только *шесть копеекъ* на дорогу и кафтанъ, сотканный изъ шерсти собственныхъ овецъ. Аѳанасій Прокофьевичъ служилъ въ потѣшныхъ Петра Великаго, а затѣмъ былъ его денщикомъ. Въ концѣ концовъ онъ дослужился до бригадирскаго чина. Будучи командиромъ одного изъ малороссійскихъ драгунскихъ полковъ и находясь со своимъ полкомъ въ Саратовской губерніи, Аѳанасій Прокофьевичъ расположился на постоѣ въ имѣніи богатаго помѣщика Григорія Облязова. На единственной дочери и наследницѣ этого Облязова, Настасьѣ Григорьевнѣ, и женился Аѳанасій Прокофьевичъ, при чемъ онъ былъ введенъ въ обманъ, характеризующій тогдашніе нравы: Настасья Григорьевна была мала ростомъ и очень нехороша собой; поэтому до вѣнчанія мѣсто невѣсты заступала одна хорошенькая дворовая дѣвушка, очень понравившаяся Аѳанасію Прокофьевичу.

Сыну своему Николаю Аѳанасій Прокофьевичъ далъ хорошее по тому времени образованіе. Николай Аѳанасье въ зналъ три или четыре иностран-

ныхъ языка, былъ знакомъ съ богословіемъ и съ исторіей, любилъ сельское хозяйство и много читалъ по этой отрасли. Несмотря на свое образование Николай Радищевъ былъ очень суевѣренъ. Нрава онъ былъ крутого и вспыльчиваго, но въ сущности былъ человекъ добрый. Въ отставкѣ, въ чинѣ коллежскаго асессора, Николай Аванасьевичъ жилъ въ своемъ имѣніи, селѣ Преображенскомъ, Кузнецкаго уѣзда, Саратовской губерніи ¹⁾. Крестьяне очень его любили; въ селѣ Преображенскомъ и окружающихъ деревняхъ было до 700 душъ, а всего у него было до 2000 душъ крестьянъ. Во время Пугачевского бунта, когда мятежники при помощи возставшихъ крѣпостныхъ убивали помѣщиковъ, Николай Аванасьевичъ избѣгъ опасности, благодаря преданности своихъ крестьянъ. Онъ со всѣмъ семействомъ скрылся въ ближнемъ лѣсу, взявъ съ собою хорошо вооруженныхъ людей, чтобы въ случаѣ нападенія защищаться до послѣдней крайности. Четырехъ младшихъ дѣтей своихъ, двухъ сыновей и двухъ дочерей, отдалъ онъ на руки крестьянъ, которые такъ любили своего добраго помѣщика, что спасли его дѣтей и не выдали его убѣжища явившимся мятежникамъ; послѣдніе, не найдя самого помѣщика, стрѣляли въ его портретъ, висѣвшій у него въ домѣ.

Николай Аванасьевичъ былъ женатъ на Феклѣ Саввишнѣ Аргамаковой. У нихъ было много дѣтей,—семь сыновей и четыре дочери. Старшій сынъ Александръ, любимецъ матери, родился 20-го августа 1749 года ²⁾.

Николай Аванасьевичъ заботился объ образованіи своего старшаго сына: воспитывать его при себѣ, въ деревнѣ, оказалось невозможнымъ по недостатку учителей. Такъ, русской грамотѣ Александру Николаевичу пришлось учиться по обыкновенному тогдашнему способу — на Часословѣ и Псалтирѣ. Когда ему было шесть лѣтъ, къ нему былъ представленъ учитель французъ; но выборъ оказался неудаченъ: учитель, какъ потомъ узнали, былъ бѣглый солдатъ, — обстоятельство, такъ часто, въ томъ или иномъ видѣ, повторявшееся у насъ въ XVIII вѣкѣ при наймѣ учителей иностранцевъ. Послѣ этого родители вскорѣ рѣшили отправить

¹⁾ Архивъ Воронцова, V, стр. 444.

²⁾ Привожу о братьяхъ и сестрахъ Радищева свѣдѣнія, которыя сообщаетъ самъ Александръ Николаевичъ въ своемъ показаніи, отъ 11-го іюля 1790 г. при слѣдствіи надъ нимъ по поводу „Путешествія“: „братъевъ у него (Радищева) шесть: 1-й, старшій по немъ, Моисей въ Архангельскѣ въ таможиѣ совѣтникомъ; 2-й, Петръ, служитъ въ провіантскомъ штатѣ провіантмейстеромъ, находится здѣсь въ Петербургѣ; 3-й, Андрей, въ отставкѣ секундъ-маіоромъ; 4-й, Михайла, титулярнымъ совѣтникомъ въ оставкѣ; сии оба при отцѣ; 5-й, Степанъ, выпущенъ изъ кадетскаго корпуса и находится въ морскихъ батальонахъ въ командѣ принца Нассау поручикомъ; 6-й, выпущенъ въ семь году изъ пажей поручикомъ въ армейскіе полки. Сестеръ имѣетъ четверыхъ: 1-я, большая, вдова, въ замужествѣ была во Владимірѣ за прокуроромъ Облязовымъ, 2-я Фаина, 3-я Настасья, 4-я Федосья; двѣницы при отцѣ и матери“. Архивъ кн. Воронцова, V, 444.

Александра Николаевича для воспитанія въ Москву. Въ Москвѣ мальчикъ былъ помѣщенъ у родственника своей матери М. Ѳ. Аргамакова, чловѣка умнаго и просвѣщеннаго. Въ Москвѣ вмѣстѣ съ дѣтьми Аргамакова и съ другими мальчиками Радищевъ находился на попеченіи губернатора-француза, тоже бѣжавшаго изъ своего отечества, но теперь это былъ уже не солдатъ, а какой-то совѣтникъ руанскаго парламента, оставившій Францію по причинамъ политическимъ. Мы не имѣемъ больше никакихъ свѣдѣній объ этомъ губернере; мы не знаемъ опредѣленно, какія именно причины заставили его покинуть родину,—можно полагать, что онъ убѣгалъ отъ преслѣдованій правительства Людовика XV, будучи защитникомъ правъ парламента. Но какъ бы то ни было, надо думать, что Аргамаковъ, стоявшій въ связи съ университетомъ и профессорами, выбиралъ для своихъ дѣтей и воспитанниковъ губернатора осмотрительно, и что бывшій руанскій совѣтникъ имѣлъ за собой какія-нибудь достоинства и былъ чловѣкъ образованный. Поэтому, какихъ бы политическихъ мнѣній и убѣжденій онъ ни держался, онъ навѣрное былъ знакомъ съ *философіей просвѣщенія*; онъ, безъ сомнѣнія, сообщилъ своимъ воспитанникамъ, — съ точки зрѣнія той или другой системы—все равно,—идеи, господствовавшія тогда во французской литературѣ и обществѣ, вообще въ Западной Европѣ. Тутъ Радищевъ впервые познакомился съ новыми идеями, впервые его коснулось французское вліяніе, столь сильное тогда во всей Европѣ, вліяніе просвѣтительной философіи, лучшимъ представителемъ которой у насъ потомъ и сдѣлался Радищевъ.

М. Ѳ. Аргамаковъ, какъ сказано, былъ въ связи съ московскимъ университетскомъ кружкомъ ¹⁾ и доставилъ своимъ воспитанникамъ возможность пользоваться уроками профессоровъ и учителей университета. Въ сожалѣнію, мы не знаемъ, какіе изъ университетскихъ преподавателей были наставниками Радищева; во всякомъ случаѣ въ то время (въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ XVIII столѣтія) мы встрѣчаемъ въ числѣ профессоровъ только что открытаго Московскаго университета людей, способныхъ и ученыхъ, какъ иностранцевъ, такъ и русскихъ (какъ Поповскій, Барсовъ). Такимъ образомъ, въ Москвѣ Радищевъ былъ поставленъ относительно образованія въ очень выгодныя условія; но здѣсь онъ прожилъ всего до 1762 г. Когда дворъ въ этомъ году, по случаю коронаціи Екатерины II, былъ въ Москвѣ, М. Ѳ. Аргамаковъ записалъ Александра Радищева въ пажи и отправилъ его въ Петербургъ по возвращенію туда двора.

¹⁾ По ошибкѣ онъ названъ у Н. Радищева („Русская Старина“, 1872, т. IV, стр. 574) *кураторомъ* Московскаго университета. Этого Аргамакова звали Михаиломъ Ѳедоровичемъ, а *директоромъ* университета былъ Алексій Михайловичъ Аргамаковъ, скончавшійся уже въ началѣ 1758г. См: Шевырева. Исторія М. У. стр. 16 и 26.

Радищевъ оставался въ пажескомъ корпусѣ до 1765 г.; въ качествѣ пажа онъ бывалъ во дворцѣ, прислуживалъ за столомъ; тутъ онъ могъ лично наблюдать роскошь и нравы екатерининскаго двора. Развитой не по лѣтамъ мальчикъ долженъ былъ внимательно вглядываться въ окружавшіе его порядки.

Къ тѣмъ самымъ годамъ, когда Радищевъ былъ въ пажескомъ корпусѣ, относится планъ обученія пажей, составленный академикомъ Миллеромъ. Планъ этотъ выдвигаетъ впередъ нравственныя задачи воспитанія: «пажи обыкновенно вступаютъ въ службу въ весьма молодыхъ лѣтахъ, и для того стараться должно съ самаго начала вкоренить въ нихъ искреннюю любовь къ добродѣтели и омерзѣніе къ порокамъ». Поэтому «для морали особливо опредѣляется нѣсколько часовъ», и ко всему прочитываемому слѣдуетъ дѣлать нравоучительныя разсужденія; «за столомъ не бесполезно читать каждый день главу изъ какой-нибудь нравоучительной книги, дабы чрезъ то подать поводъ къ полезнымъ разговорамъ»... Что касается собственно до ученія, то слѣдующіе предметы были признаны необходимыми для пажей: математика, арифметика, геометрія, геодезія, фортификація, артиллерія, механика; философія, мораль, *естественное и народное право*; исторія, географія, генеалогія и геральдика; юриспруденція, гражданское и государственное право, церемоніалы; російскій языкъ и каллиграфія; относительно латинскаго языка требованія поставлены очень не высоки: «разумѣть легкую мысль или надпись», ибо совсѣмъ быть несвѣдущимъ въ латинскомъ языкѣ «не только по обыкновенію другихъ народовъ непристойно благородному человѣку, но еще въ нѣкоторыхъ случаяхъ и вредно, какъ-то въ путешествіяхъ и негодіанціяхъ». Относительно русскаго языка указывается, что кромѣ орфографіи и грамматики надо заниматься стилистикой, изучая «красоты наблюдаемыя лучшими писателями»; какъ завершеніе этого литературнаго образованія является: «сочиненіе короткихъ и по вкусу придворному учрежденныхъ комплиментовъ». Такимъ образомъ, обученіе пажей носило во многомъ узко-утилитарный характеръ, приспособляясь къ запросамъ и потребностямъ свѣтской жизни. Здѣсь любопытно отмѣтить только, что подъ вліяніемъ общаго направленія эпохи, пажей велѣно было обучать «праву естественному и народному»: и въ пажескомъ корпусѣ Радищевъ не ушелъ отъ извѣстнаго вліянія просвѣтительной философіи.

Планъ занятій для пажескаго корпуса составленъ въ 1765 г. а въ слѣдующемъ году Радищевъ оставилъ корпусъ, обратился изъ пажа въ студента. Но все-таки планъ этотъ еще захватилъ Радищевъ въ корпусѣ и можетъ служить въ общемъ для характеристики того, чему и какъ учили пажа Радищева ¹⁾.

¹⁾ См. Сухомлинова „А. Н. Радищевъ“ въ „Исслѣдованіяхъ и статьяхъ“, т. I, стр. 543 и 544.

Въ 1765 г. вернулся изъ-за границы младшій изъ Орловыхъ, Владиміръ. Онъ провелъ три года въ Лейпцигѣ и возвратился если не ученымъ, то настолько просвѣщеннымъ подѣ влияніемъ европейской жизни, что долженъ былъ отличатся отъ большинства екатерининскихъ придворныхъ, тѣмъ болѣе, что, конечно, по вѣщности гр. Владиміръ Орловъ вполне усвоилъ западные нравы. Во всякомъ случаѣ, однако, онъ не заслуживалъ назначенія, которое получилъ: только что вернувшись изъ-за границы, онъ занялъ мѣсто директора академіи наукъ. Павелъ Радищевъ, младшій сынъ писателя, передаетъ, что именно возвращеніе гр. Владиміра Орлова подало Екатерину мысль отправить за границу партію молодыхъ людей для образованія. Вѣроятно, что возвратъ Орлова послужилъ развѣ только поводомъ къ исполненію мысли, которая и ранѣе не могла не представляться императрицѣ. Отправленіе для обученія на западъ давно не было новостью. Если Екатерина не знала, что это отправленіе началось въ дореформенной, старой Россіи, то ей, конечно, была извѣстна посылка молодыхъ людей при Петрѣ, примѣръ котораго она высоко ставила. Какъ бы то ни было, черезъ годъ по возвращеніи Владиміра Орлова, были посланы «для обученія» въ Лейпцигъ (т.-е. туда же гдѣ учился и Орловъ) двѣнадцать дворянъ; въ томъ числѣ было шесть пажей, наиболѣе отличавшихся поведеніемъ и успѣхами въ занятіяхъ; между ними находился и Радищевъ.

О пребываніи Радищева за границей мы имѣемъ больше свѣдѣній, чѣмъ о предшествовавшей эпохѣ его жизни. Не говоря уже о томъ, что самъ Радищевъ сообщаетъ намъ многое въ «Житіи Ѳ. В. Ушакова», своего товарища по Лейпцигу, — мы имѣемъ собственноручную инструкцію Екатерины при отправленіи выбранныхъ молодыхъ людей за границу, а также официальные данныя о пребываніи нашихъ студентовъ въ Лейпцигѣ, служащія доказательствомъ, что Радищевъ въ «Житіи Ушакова» ничего не преувеличилъ и даже скорѣе еще смягчилъ многое¹⁾; мы имѣемъ кромѣ того письма родныхъ къ одному изъ товарищей Радищева, Зиновьеву, точно такъ же, какъ два письма Екатерины къ Олсуфьеву о лейпцигскихъ студентахъ. Нельзя не пожалѣть, что до сихъ поръ не найдены письма самого Радищева, которыя онъ долженъ былъ писать изъ Лейпцига домой; точно такъ же, какъ мы не знаемъ его переписки съ его лейпцигскими товарищами по возвращеніи изъ-за границы: при той дружбѣ, которая связала тамъ молодыхъ людей, они, разставшись, должны были часто переписываться. Неизвѣстно, сохранились ли гдѣ эти письма, и пріобрѣтеть ли когда русская историографія этотъ интересный матеріалъ.

¹⁾ Кромѣ документовъ, напечатанныхъ въ X томѣ Сборника Русскаго Историческаго Сборника, М. И. Сухомлиновъ въ упомянутомъ выше изслѣдованіи о Радищевѣ сообщаетъ изъ государственнаго архива любопытныя донесенія кабинета-курьера Яковлева о пребываніи студентовъ въ Лейпцигѣ, — «Изслѣдованія и статьи», I, стр. 545 и 546.

Мысль о предстоящей отправкѣ молодыхъ людей за границу занимала Екатерину съ начала 1766 г. 11 февраля этого года лифляндскій генералъ-губернаторъ Броунъ, — которому императрица поручила отыскать надежнаго человѣка, чтобы отправить его въ Лейпцигъ для наблюденія за посылаемыми студентами, — писалъ къ ней, что обратился по этому дѣлу къ ордуунгс-рихтеру Гельмерсену. Неизвѣстно, почему назначеніе этого Гельмерсена не состоялось, и инспекторомъ со студентами былъ отправленъ майоръ Егоръ Ѳедоровичъ Бокумъ. 20 сентября 1766 г. изъ коллегіи были потребованы паспорта: «по именному Ея Императорскаго Величества повелѣнію отправляющимся въ Лейпцигъ для обученія российскимъ дворянамъ: Челищеву, Радищеву, Рубановскому, Янову, Кутузову, Корсакову, князю Несвижскому, кн. Трубецкому, двумъ Ушаковымъ, Зиновьеву, Насанину и при нихъ майору Бокуму».

Отправлявшіеся были различныхъ возрастовъ. Радищеву въ то время было 17 лѣтъ, и онъ былъ среднимъ по годамъ. Старшему изъ всѣхъ Ѳедору Ушакову было 21 годъ (онъ уже имѣлъ чинъ коллежскаго асессора), между тѣмъ какъ Трубецкому было 14 лѣтъ, а Зиновьеву только 12 лѣтъ ¹⁾.

Съ майоромъ Бокумомъ поѣхала жена, Катерина Ивановна. Кромѣ того, со студентами былъ отправленъ особый духовникъ, іеромонахъ Павелъ. Бокуму дана была инструкція, состоявшая изъ 23 пунктовъ; изъ нихъ 22 пункта въ черновой написаны собственноручно императрицей. Въ этой инструкціи говорится о занятіяхъ студентовъ, объ ихъ жизни и содержаніи. Главною цѣлью было занятіе юриспруденціей, такъ какъ Екатерина хотѣла приготовить себѣ дѣльцовъ по разнымъ отраслямъ управленія. Въ инструкціи говорится: «1) обучаться всѣмъ латинскому, нѣмецкому, французскому и, если возможно, словенскому языкамъ, въ которомъ должны себя разговорами и чтеніемъ книгъ экзерцировать. 2) Всѣмъ обучаться моральной философіи, исторіи, а *наипаче праву естественному и всенародному* и нѣсколько и римской имперіи праву. Прочимъ наукамъ обучаться оставить всякому по произволению». Распредѣленіе занятій отдается «на разсужденіе и опредѣленіе профессоровъ, которымъ поручены будутъ» (3). Инспектору предписывалось наблюдать за поведеніемъ «дворянъ» (5), за ихъ исправнымъ хожденіемъ на лекціи (8), за ихъ знакомствами и за всѣмъ ихъ образомъ жизни (9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20). Дважды или однажды въ годъ должны были студенты говѣть (7), утромъ и вечеромъ назначена общая молитва, по праздникамъ — посѣщеніе церковной службы (въ Лейпцигской православной церкви, 6). Въ случаѣ нужды инспекторъ долженъ былъ обращаться къ ближайшему русскому министру (8, 22), которому онъ долженъ былъ отсылать свидѣтельства профессоровъ о заня-

¹⁾ „Русскій Архивъ“, 1870, стр. 932.

тіяхъ студентовъ и собственныя свои донесенія. Неприлежныхъ предписано отправлять черезъ министра назадъ въ Россію, «дабы втунѣ государственная казна не была на него трачена» (8). Содержаніе было назначено щедрое: на всякаго студента по 800 р. въ годъ, Бокуму тоже 800 р., іеромонаху—600 р., церковнику—200 р. (23). Въ 1769 г. было прибавлено еще по 200 р., такъ что стипендія всякаго студента равнялась уже 1000 р. въ годъ. Кромѣ того ежегодно назначалась «извѣстная сумма на покупку надобныхъ для дворянъ книгъ». Въ инструкціи было определено, чтобы «платье носить всѣмъ суконное, одинакое, безъ серебра и золота» (17)¹⁾; не дозволялось имѣть студентамъ при себѣ крѣпостныхъ служителей, но это запрещеніе не касалось Бокума.

Инструкція была написана 22 сентября 1766 г. и немедленно послѣ этого ²⁾ дворяне, послыавшіеся въ Лейпцигъ, отправились въ путь, который, однако, совершался медленно. Въ январѣ они были въ Данцигѣ, откуда іеромонахъ Павелъ отъ 18-го числа извѣщалъ Олсуфьева: «первое, но и то не радостное пишу до васъ письмо: одинъ изъ отправленныхъ въ Лейпцигъ молодыхъ дворянъ Александръ Воиновъ Корсаковъ генваря 15 дня... отъ міра сего въ иный преставился. Болѣзнь его была корь»...

Кромѣ этого несчастнаго случая съ Корсаковымъ, были и другія неприятности: студенты уже въ это время испытывали притѣсненія со стороны своего инспектора. Изъ «Житія Ѳ. Ушакова» мы знаемъ, что неудовольствія между маіоромъ Бокумомъ и порученною ему надзору молодежью начались еще въ пути. Самое раннее изъ находящихся при дѣлѣ писемъ Бокума въ Петербургъ—отъ 1-го мая 1767 г.—писано уже изъ Лейпцига и переполнено жалобами на молодыхъ людей за ихъ непослушаніе, особенно на Ѳ. Ушакова. При этомъ письмѣ было приложено заявленіе одного изъ наставниковъ на французскомъ языкѣ, удостовѣрявшее также, что «г.г. воспитанники» очень дурно ведутъ себя, не заботятся объ «утвержденіи себя въ нравственности», объ исправленіи своихъ недостатковъ; это заявленіе также нападало особенно на Ѳ. Ушакова, передавало о «презрительныхъ разговорахъ» его съ наставникомъ. Вслѣдствіе этихъ донесеній Екатерина даже хотѣла было вернуть Ѳ. Ушакова въ Россію. Но обратимся теперь къ «Житію Ѳ. Ушакова» и посмотримъ, что Радищевъ рассказываетъ объ ихъ отношеніяхъ къ Бокуму.

Еще во время пути въ Лейпцигъ Ѳедоръ Ушаковъ, сразу пріобрѣтшій большое вліяніе надъ своими младшими товарищами, имѣлъ уже столк-

¹⁾ Екатерина въ одномъ изъ писемъ къ Олсуфьеву просила передать кн. П. Н. Трубецкому, чтобы онъ не присылалъ въ Лейпцигъ сыну денегъ для платья, „а есть-ли для его сына одинъ сѣрый кофтанъ, какъ я велѣла носить, недоволенъ, то пусть возьметъ его оттуда назадъ“. (Р. Арх. 1863, 450).

²⁾ На надгробномъ памятникѣ кн. В. П. Трубецкаго значится: „учился по именному повелѣнію въ Лейпцигѣ съ 1766 г. сентября съ 23-го“... „Библиографическія Записки“ 1859, II, 541.

новенія съ инспекторомъ. Послѣдній «рачилъ болѣе о своей прибыли, нежели о вѣрренныхъ ему. *Θ. В.* имѣлъ болѣе опытности, нежели другіе его сотоварищи; довольные причины для приведенія корыстолюбца на злобу». Тѣмъ болѣе, что «твердость мыслей и вольное ихъ изреченіе» составляли свойства *Федора Ушакова*; они особенно привлекали къ нему его юныхъ товарищей, но зато для *Бокума* они «были въ немъ противны и съ перваго раза, когда они въ немъ явны стали, началъ путеводитель помышлять, какъ бы погубить его».

Федоръ Васильевичъ Ушаковъ былъ молодой человѣкъ, одаренный пылкимъ умомъ и честными стремленіями къ добру; еще до отъѣзда въ *Лейпцигъ* онъ уже находился на службѣ, жилъ самостоятельно жизнью. Онъ былъ секретаремъ у вліятельнаго человѣка, статсъ-секретаря *Г. Н. Теплова*, и много работалъ при составленіи *Рижскаго торговаго устава*, за что получилъ чинъ коллежскаго асессора. Ему предсказывали быстрое возвышеніе на административной лѣстницѣ, и многіе обучались почитать его уже заранѣе, такъ что онъ пользовался большимъ успѣхомъ въ обществѣ. Когда *Екатерина* рѣшила послать молодыхъ людей въ *Лейпцигъ*, *Θ. Ушаковъ*, желая приобрести серіозное образованіе, рѣшился пренебречь блестящей служебной карьерой и удовольствіями въ ласкавшемъ его обществѣ и ѣхать въ *Лейпцигъ* съ товарищами-юношами, чтобы сѣсть тамъ на ученическую скамью. Благодаря ходатайству *Теплова*, ему удалось исполнить свое желаніе. Понятно, что такой человѣкъ не могъ подчиняться безпрекословно распоряженіямъ *Бокума*, сносить, молча, его притѣсненія. Мы сейчасъ увидимъ, что за личность былъ *Бокумъ*, и каково было его обращеніе со студентами. *Федоръ Ушаковъ* ѣхалъ учиться въ *Лейпцигъ*, онъ самъ рѣшился сѣсть на школьническую скамью, но, конечно, онъ не могъ согласиться сдѣлаться школьникомъ по всему образу жизни, отдаться во власть произвольнымъ распоряженіямъ инспектора.

Въ первый же день выѣзда изъ *Петербурга* «дворяне» увидали, что *Бокумъ* намѣренъ набить себѣ карманы депьгами, отпускаемыми на ихъ содержаніе: на ужинъ онъ далъ имъ только хлѣба съ масломъ и «старога мяса, ломтями изрѣзаннаго. Таковое кушанье, для нѣмецкихъ желудковъ весьма обыкновенное, встревожило русскіе, привыкшіе болѣе къ шнямъ и пирогамъ». Съ этого ужина начались непріятности студентовъ съ *Бокумомъ*; въ этомъ ужинѣ заключается корень ихъ неудовольствія, по выраженію *Радищева*. И неудовольствіе росло во все время дороги. *Иеромонахъ Павелъ*, духовникъ русскихъ студентовъ, отправленный съ ними въ *Лейпцигъ*, заявлялъ позднѣе: «безразсудное и непріязненное поведеніе въ дорогѣ жены и самого его (*Бокума*), отказывая имъ (студентамъ) самыя необходимыя, засадили въ сердцахъ сихъ молодыхъ дворянъ корень горестнаго неудовольствія ко всему на свѣтѣ ¹⁾»...

¹⁾ Сборникъ *Р. И. О.* X, стр. 127.

«Если сладость наскучить можетъ, кольми паче голодь. Худая по большей части пища и великая неопрятность въ приуготовленіи оной,— пишеть Радищевъ,—произвели въ насъ справедливое негодованіе». Федоръ Ушаковъ отъ лица всѣхъ товарищей объяснялся объ этомъ съ Бокумомъ, и его женою; оба они, особенно жена Бокума, отнеслись съ презрѣніемъ къ требованіямъ молодыхъ людей.

«Первое, чѣмъ Бокумъ по пріѣздѣ въ Лейпцигъ началъ правленіе свое,—читаемъ въ «Житіи Ф. Ушакова»,—было сокращеніе издержекъ относительно насъ, елико то возможно было; но не воображай, чтобы домо-строительство было тому причиною; что онъ отчислялъ отъ нашего содержанія, то удвоялъ въ своемъ, и принужденъ былъ лишать насъ даже нужнѣйшихъ вещей на содержаніе наше». Такъ, напр., во время зимы съ худыми предосторожностями холодъ для студентовъ въ Лейпцигѣ былъ чувствительнѣе, нежели въ самой Россіи при тридцатиградусной стужѣ.

У насъ есть несомнѣнныя свидѣтельства, вполне подтверждающія отзывъ Радищева. Такъ, напр., въ донесеніи кабинетъ-курьера Яковлева читаемъ про содержаніе студентовъ: «Во всякомъ кушаньѣ масло горькое, то же и мясо старое, крѣпкое, да случалось и протухлое, а г. Радищевъ находился всю бытность мою въ Лейпцигѣ боленъ, да и по отъѣздѣ еще не выздоровѣлъ, и за болѣзнію къ столу ходить не могъ, а отпускалось ему кушанье на квартиру. Онъ, въ разсужденіи его болѣзни, за отпускомъ худого кушанья, прямой претерпѣваетъ голодь»¹⁾.

Приведу еще одинъ наглядный примѣръ того, какъ Бокумъ изъ ко-рысти подвергалъ студентовъ тяжелымъ испытаніямъ.

Въ 1770 г. Бокуму велѣно было отослать въ Россію двухъ студен-товъ, кн. Трубецкого и Челищева, выдавъ имъ на проѣздъ по 100 чер-вонцевъ. Бокумъ долго задерживалъ ихъ въ Лейпцигѣ, по своимъ, вѣроятно, расчетамъ, и они только въ концѣ декабря явились въ Петербургъ и въ такомъ положеніи, что оно вызвало строгое замѣчаніе Бокуму отъ А. В. Олсуфьева. Послѣдній писалъ: «По великихъ сомнительствахъ и опасеніяхъ напоследокъ прибыла сюда гг. Челищевъ и кн. Трубецкой, благодаря Бога, невредимо. И какъ могли вы помянутыхъ господъ, Челищева и кн. Трубецкаго, подвергнуть очевидной опасности и конечной гибели? Правда, велѣно имъ возвратиться въ Россію, но не были они осуждены на смерть, которой однакожъ порядокъ учиненнаго вами отправленія, такъ сказать, отдалъ ихъ на жертву». Дѣло въ томъ, что Бокумъ отправилъ студентовъ поздно осенью моремъ, чтобы сократить, конечно, расходъ на ихъ дорогу и съэкономничать побольше въ свою пользу изъ ихъ прогоновъ.

Письма Бокума въ Петербургъ все время наполнялись жалобами на лейпцигскую дороговизну и недостатокъ денегъ; уже въ 1767 г. онъ про-

¹⁾ Сухомлиновъ, ib. 545. См. письмо князя Бѣлосельскаго (русскаго мини-стра въ Дрезденѣ) къ А. В. Олсуфьеву, Сборникъ Р. И. О., томъ X, стр. 115.

силъ добавочной суммы, и Екатерина распорядилась выслать Бокуму требуемая имъ деньги; въ послѣдующихъ требованіяхъ было отказано, но Бокумъ не переставалъ просить. Въ началѣ 1769 г. онъ подгрѣпилъ свою просьбу обстоятельно мелочною росписью расходовъ, показывавшею, что для содержанія каждаго студента будто бы необходимо было въ годъ ровно 993 р. На этотъ разъ А. В. Олсуфьевъ, сынъ котораго также отправлялся тогда въ Лейпцигъ, исходатайствовалъ прибавку, и на содержаніе каждаго студента было назначено по 1000 р. въ годъ, о чемъ выше было уже упомянуто.

Несмотря на щедрое назначеніе суммъ, Бокумъ, урѣзывая все, что могъ, изъ расходовъ на содержаніе нашихъ студентовъ, представлялъ подложные счета, съ неимоვნю дорогими цѣнами, съ повтореніями, ставя въ счетъ то, чего никогда не покупалъ или что шло на его собственныя нужды. Даже такіе счета онъ представлялъ неаккуратно. Наконецъ оказалось, что у него на 16 тысячъ талеровъ долгу по содержанію студентовъ, такъ что разсмотрѣніе его счетовъ и долговъ было поручено въ 1771 г. посольскому совѣтнику Штелину и іеромонаху Павлу; послѣдній и обратился къ заимодавцамъ Бокума съ нѣмецкимъ печатнымъ заявленіемъ, въ которомъ находился подробный разсказъ о продѣлкахъ Бокума; изъ этого заявленія и взяты свѣдѣнія только что переданныя. Бокумъ былъ удаленъ, а оставшіеся въ Лейпцигѣ студенты отданы подъ наблюденіе двухъ профессоровъ. Такъ какъ Радищевъ въ этомъ же году уѣхалъ изъ Лейпцига въ Россію, то новый порядокъ завѣдыванія студентами насъ не касается. Для насъ собственно важны только исходъ разслѣдованія дѣйствій Бокума, подтверждающій разсказъ «Житія Ѳ. В. Ушакова» и характеризующій Бокума и его четырехлѣтнее экономическое управленіе студентами. Обращаюсь къ другимъ сторонамъ отношеній Бокума къ порученнымъ ему надзору юношамъ.

Радищевъ въ «Житіи Ушакова» высказываетъ мысль, что спасеніе угнетаемыхъ заключается въ томъ, что угнетатели не знаютъ мѣры, доходятъ до крайности, которая заставляетъ угнетаемыхъ воспротивиться мучительской власти. Бокумъ тоже не зналъ мѣры, довелъ студентовъ до крайности. Мы читаемъ въ «Житіи»: «имѣя власть въ рукѣ и деньги, забылъ гофмейстеръ нашъ умѣренность и, подобно правителямъ народовъ, возмнилъ, что онъ не для насъ съ нами, что власть ему данная надъ нами и опредѣленные деньги не на нашу были пользу, но на его». Характерно, что А. В. Олсуфьевъ, узнавъ о поступкахъ Бокума, писалъ князю А. М. Бѣлосельскому въ подобныхъ же выраженіяхъ объ инспекторѣ нашихъ лейпцигскихъ студентовъ: «сей человекъ повидимому вложилъ себѣ въ голову, что безстрашію его и самовольству предѣловъ не положено; что не онъ для дворянъ, но они для него и его собственной корысти содержатся въ Лейпцигѣ на толь изобильномъ казенномъ ижди-

вені»¹⁾. И еще раньше императорскій кабинетъ увѣщавалъ самого Бокума: «вы должны всегда въ памяти своей держать, что не дворяне для васъ, но вы для нихъ въ Лейпцигѣ обрѣтаетесь».

Федоръ Ушаковъ и другіе студенты постарше часто объяснялись съ Бокумомъ относительно плохого содержанія, относительно его произвольныхъ распоряженій и пр. Бокумъ, желая прекратить такого рода объясненія, прибѣгъ къ сильной мѣрѣ, которая должна была показать всю власть его. Придравшись къ пустякамъ, къ тому, что кн. Трубецкой хотѣлъ ходить на лекціи профессора Бема, котораго при быстротѣ его чтенія онъ еще плохо понималъ, Бокумъ посадилъ Трубецкого подъ стражу, приставивъ къ дверямъ его комнаты вооруженнаго часового, для чего выпросилъ себѣ трехъ солдатъ. На другой день послѣ ареста Трубецкого Насакинъ пришелъ къ Бокуму съ просьбой истопить его комнату. Бокумъ не хотѣлъ его слушать, толкалъ его неучтиво вонъ; когда Насакинъ сталъ противиться и говорить о справедливости своего требованія, Бокумъ ударилъ его по щекѣ. Эта пощечина такъ смутила Насакина, что онъ вышелъ изъ комнаты, не сказавъ ни слова и даже еще поклонившись. Обо всемъ происшедшемъ Насакинъ, конечно, рассказалъ своимъ товарищамъ и они убѣдили его — «возвратить Бокуму полученную имъ пощечину». Всѣ студенты, кромѣ арестованнаго кн. Трубецкого, пошли съ Насакинымъ къ Бокуму; произошло объясненіе. Насакинъ требовалъ себѣ за обиду «удовольствія». Бокумъ отказалъ и отрекся отъ пощечины. Тогда Насакинъ самъ два раза его ударилъ. Бокумъ поспѣшилъ уйти изъ комнаты, а студенты отправились заявить обо всемъ ректору университета. Несмотря на сознаніе, что въ сущности они невинны, студенты наши были очень взволнованы, ожидая для себя дурныхъ послѣдствій отъ происшедшаго. Они знали, что Бокумъ будетъ клеветать на нихъ, представить все дѣло въ видѣ возмущенія, въ видѣ покушенія на его жизнь. Въ случаѣ дурного окончанія для нихъ этого дѣла, они рѣшили бѣжать въ Остѣ-Индію или въ Америку, гдѣ тогда начиналась борьба съ метрополіей... Но планы ихъ были прекращены въ самомъ началѣ: меньше чѣмъ черезъ полчаса Бокумъ явился съ солдатами, которыхъ выпросилъ у лейпцигскаго военнаго начальства, и разсадилъ всѣхъ студентовъ подъ стражу подвое въ ихъ комнатахъ. Арестъ былъ очень строгій, какъ будто студенты были «государственные преступники или отчаянные убійцы». У нихъ отобрано было всякое оружіе, все острое, даже ножницы; кушанье имъ носили наръзанное, не давая ни ножей, ни вилокъ; окна были заколочены, оставлено только небольшое отверстіе; часовой могъ всегда видѣть арестантовъ, такъ какъ сидѣлъ у дверей комнаты. Такія мѣры Бокумъ принималъ, конечно, для того, чтобы лишить студентовъ возможности сообщаться между собой или обратиться съ жалобой къ министрамъ. Несмотря на

¹⁾ Сборникъ Р. И. О., X., стр. 125.

всѣ ухищренія Бокума, студенты все-таки нашли способъ войти въ сношенія другъ съ другомъ. Шестеро изъ нихъ жили наверху, четверо внизу. Ө. В. Ушаковъ писалъ письма и спускалъ ихъ на длинной ниткѣ за окно; «способный вѣтръ» приносилъ письмо къ другому окну, и такимъ образомъ письмо попадало къ кому нужно для подписи. На почту письма носилъ одинъ изъ учителей, сочувствовавшій заключеннымъ, но это не привело ни къ чему: осторожный Бокумъ заявилъ лейпцигскому начальству, что ему велѣно задерживать всѣ письма нашихъ студентовъ, и такимъ образомъ онъ не пропускалъ ни одной ихъ жалобы. Тогда тотъ же учитель вызвался отправиться въ Петербургъ съ жалобой отъ студентовъ, чтобы тамъ лично ходатайствовать за нихъ ¹⁾. Этотъ учитель взялъ у студентовъ на расходы по поѣздкѣ только одни карманные часы, составлявшіе тогда все ихъ богатство. Его поѣздка не принесла пользы, изъ-за происковъ Бокума, какъ думаетъ Радищевъ, но, вѣроятно, просто потому, что вся исторія вскорѣ, какъ увидимъ, окончилась вполне благополучно, благодаря внимательству нашего посла, кн. Бѣлосельскаго.

Бокумъ не ограничился тѣмъ, что посадилъ студентовъ подъ арестъ. Онъ выхлопоталъ, чтобы университетъ назначилъ надъ ними судъ. «Къ допросамъ водили скрытымъ образомъ, и было похоже на то, какое бывало въ инквизиціяхъ или въ тайной канцеляріи, исключая тѣлесныя наказанія». По рѣшенію суда Радищевъ, Кутузовъ, Яновъ и Рубановскій были освобождены изъ заключенія, а всѣ остальные оставались еще подъ стражею; наконецъ, по приказанію кн. Бѣлосельскаго, и ихъ выпустили. Бѣлосельскій самъ пріѣзжалъ въ Лейпцигъ по этому дѣлу; онъ помирилъ студентовъ съ Бокумомъ, какъ передаетъ Радищевъ,—сдѣлалъ студентамъ строгій выговоръ, какъ пишетъ Бокумъ Олсуфьеву.

¹⁾ Радищевъ не приводитъ имени этого учителя, но надо думать, что это былъ *Вицманъ*. Послѣ того, какъ кн. Бѣлосельскій помирилъ студентовъ съ ихъ гофмейстеромъ, Бокумъ писалъ въ Петербургъ: «последнее несогласіе произошло отъ первыхъ ссоръ и по наущенію безсовѣстныхъ людей, а особливо, какъ сами молодые люди сказываютъ, *одного учителя именемъ Вицманъ*, который изъ Лейпцига скрылся». Во время процесса по поводу «Путешествія» Радищевъ показывалъ, что онъ далъ одинъ экземпляръ книги *иностранцу Вицману*. Очевидно, что Вицманъ жилъ въ Петербургѣ, и если это только одно лицо съ учителемъ, который помогалъ нашимъ студентамъ въ Лейпцигѣ, то понятно, что Радищевъ въ «Житіи Ө. В. Ушакова» не хотѣлъ называть его по имени.—Въ Государственномъ Archivѣ сохранилось коллективное письмо нашихъ студентовъ съ жалобой по этому дѣлу на Бокума. Можетъ быть, это то самое письмо, которое доставилъ въ Петербургъ учитель. Въ письмѣ этомъ дѣло рассказываетъ въ иномъ видѣ, чѣмъ оно передано въ «Житіи Ушакова» и какъ я его выше пересказалъ. По письму Насакинъ вовсе не билъ Бокума, а, напротивъ того, второй разъ получилъ отъ него пощечину. Я принялъ рассказъ «Житія», такъ какъ вѣроятно же можно допустить, что въ письмѣ скрыты, нѣкоторыя подробности дѣла, нежели предположить, что Радищевъ искажилъ истину — «для замысловъ какихъ-то непонятныхъ».

Послѣдствіемъ этой исторіи было, однако, то, что студенты съ этихъ поръ жили какъ не подвластные Бокуму; онъ продолжалъ воровать, а студенты жили на волѣ и не видали его мѣсяца по два. Разъ запутавшись въ слишкомъ крупную исторію, Бокумъ оставилъ въ покоѣ старшихъ студентовъ и только продолжалъ «рачить о своемъ карманѣ», набивать его деньгами, отпускаемыми на содержаніе нашихъ студентовъ.

И счастье этихъ старшихъ студентовъ, что они такъ скоро отдѣлались отъ педагогическихъ заботъ Бокума. Несчастливымъ студентамъ, прибывшимъ въ Лейцигъ потомъ, пришлось вполне испытать все дикое звѣрство этого гофмейстера, этого воспитателя. Хотя поступки Бокума съ младшими студентами и не касаются собственно біографіи Радищева, но я приведу одинъ фактъ, который послужитъ для лучшей характеристики Бокума, да и самъ по себѣ очень любопытенъ. Въ 1770 г. кабинетъ петербургскій изъ донесенія самого Бокума узналъ, что этотъ маіоръ-воспитатель «имѣлъ неслыханное дерзновеніе неоднократно наказывать на тѣлѣ гг. Зиповьева и Олсуфьева» ¹⁾.

Старшіе студенты не подвергались истязаніямъ (Бокумъ только грозилъ имъ фухтелями), но они много страдали отъ того, какъ сильно Бокумъ рачилъ о своемъ карманѣ. Сначала, какъ мы знаемъ, студенты жили всѣ вмѣстѣ въ одномъ домѣ, но потомъ Бокумъ «разсовалъ ихъ по разнымъ скареднымъ, вонію и нечистотами зараженнымъ лачугамъ» ²⁾. Носили они кафтаны вывороченные, обувь стоптанную и съ подметками»...

Для полной обрисовки личности Бокума надо прибавить еще, что онъ имѣлъ смѣшную слабость считать себя силачомъ. Это подало поводъ проѣзжавшему черезъ Лейпцигъ молодому гвардейскому офицеру постоянно подшучивать надъ богатствомъ Бокума, заставляя гофмейстера-маіора выпивать за разъ по нѣскольку бутылокъ водки или пива, ворочать тяжести, подымать стулья и столы, бороться со многими лакеями, отъ которыхъ ему порядочно доставалось, выдерживать очень сильные удары электрической машины. Такіе опыты происходили ежедневно, пока упомянутый офицеръ оставался въ Лейпцигѣ. «Мы были непрестанные оныхъ зрители,—прибавляетъ Радищевъ,—и презрѣніе наше къ Бокуму съ того времени стало совершенное».

Бокумъ любилъ философскіе споры, но всѣ разсужденія его кончались вздоромъ ³⁾.

Таковъ былъ человѣкъ, приставленный воспитателемъ при нашихъ студентахъ! Выбирая Бокума на эту должность, конечно, и не рассчитывали, чтобы маіоръ оказался хорошимъ философомъ, но полагали, что онъ

¹⁾ См. также письмо А. В. Олсуфьева кн. Бѣлосельскому 1771 г. Сб. Р. И. О., томъ X, стр. 123.

²⁾ Радищевъ жилъ съ Кутузовымъ, Сб. Р. И. О., т. X, стр. 123 и 124.

³⁾ „Русскій Вѣстникъ“, 1858 г. № 23, стр. 401.

будеть, какъ слѣдуетъ, содержать студентовъ, наблюдать за ихъ поведеніемъ, что онъ окажется человѣкомъ честнымъ и нравственнымъ. За выборъ собственно осуждать нельзя: очень легко ошибиться въ человѣкѣ. Но нельзя не удивляться, что такъ долго оставляли Бокума при студентахъ, что не смѣнили его сейчасъ же послѣ первой его исторіи, что оставили его при студентахъ послѣ драки, происшедшей между ними и гофмейстеромъ. Екатерина по поводу этого происшествія писала только: «однакожь видно, что и господинъ Бокумъ не умѣлъ съ начала взять авторитета»... ¹⁾ Еще счастье для нашихъ студентовъ, что Екатерина тогда не боялась еще до такой степени революцій, какъ было потомъ и потому имъ за *возстаніе* противъ Бокума не очень пришлось поплатиться; да и этимъ они были, вѣроятно, обязаны лишь быстрому прекращенію исторіи подъ умиротворяющимъ влияніемъ кн. Бѣлосельскаго, а то Екатерина хотѣла «необузданныхъ головъ или начальниковъ выслать изъ Лейбниха, а именно Ушакова, вскормленника господина Теплова, и Насакина»... ²⁾ Вспомнимъ, что и воровство Бокума было рано замѣчено: дорожные счета показали *неэкономичность* г. воспитателя, при томъ же онъ не доставилъ расписокъ на 6000 р. ³⁾ Когда въ 1770 г. въ Петербургѣ совершенно достоверно узнали о продѣлкахъ Бокума, когда туда явились въ несчастномъ видѣ Челищевъ и кн. Трубецкой, избѣгнушіе «великой опасности и конечной гибели», по выраженію официальной бумаги, когда самъ Бокумъ извѣстилъ о тѣлесныхъ наказаніяхъ, которымъ онъ подвергалъ младшихъ студентовъ, послѣ всего этого петербургскій кабинетъ ограничился только выговоромъ и счелъ нужнымъ внушить «наикрѣпчайшимъ подтвержденіемъ» — «никогда никого подъ какимъ бы видомъ ни было не только руками, розгами, фухтелемъ или чѣмъ бы то ни было и како быть не могло наказывать», допуская такое обращеніе Бокума съ собственными его дѣтьми, а не съ благородными російскими дворянами. Даже когда А. В. Олсуфьевъ изъ записки поручика Яковлева узналъ подробности объ истязаніяхъ собственныхъ сыновей, онъ не хлопоталъ о смѣнѣ Бокума, а только писалъ кн. Бѣлосельскому (25 января 1771 г.), прося его обратить на это вниманіе и заступиться за студентовъ. Лишь въ октябрѣ 1771 г. Бокумъ былъ наконецъ отставленъ отъ должности воспитателя.

Выборъ духовника и законоучителя для нашихъ студентовъ былъ тоже неудаченъ. Отправленный съ ними іеромонахъ отецъ Павелъ былъ очень смѣшливъ; если онъ во время службы видѣлъ что-нибудь смѣшное, онъ никакъ не могъ удержаться отъ смѣха и поэтому обыкновенно отпра-

¹⁾ „Русскій Архивъ“, 1863 г., стр. 446.

²⁾ Тамъ же; вмѣсто *Насакина* напеч. *Пассакина*, такъ же какъ на стр. 451 — *Якова* вм. *Янова*.

³⁾ Сборникъ Р. И. О., т. X., стр. 115.

влялъ богослуженіе, зажмуривъ глаза. Это обстоятельство подало поводъ къ слѣдующему случаю еще во время дороги изъ Петербурга въ Лейпцигъ. Въ Ригѣ отецъ Павелъ совершалъ молитву передъ столомъ, на которомъ лежали шляпы и перчатки студентовъ; по своему обыкновенію онъ былъ съ закрытыми глазами; замѣтивъ это, Михайлъ Ушаковъ, сложивъ потихоньку одну перчатку «образомъ смѣшнаго кукиша», положилъ ее передъ поющимъ духовникомъ. Когда отецъ Павелъ открылъ вдругъ глаза и увидалъ сложенную перчатку, онъ разразился громкимъ смѣхомъ, а за нимъ захохотали и всѣ студенты. Послѣ того, обернувшись, отецъ Павелъ сталъ бранить студентовъ, называя ихъ богоотступниками, непотребными, а подшутившаго даже мошенникомъ и т. д. Эта брань привела опять къ смѣшной сценѣ. Михайлъ Ушаковъ привѣсилъ саблю и наступалъ на грознаго духовника, указывая на эфесъ, украшенный темлякомъ. Студенты вновь принялись хохотать, а отецъ Павелъ съ негодованіемъ ушелъ къ себѣ. Духовникъ, который сразу позволялъ поставить себя въ смѣшное положеніе, не могъ, конечно, приобрести любовь и почтеніе своихъ духовныхъ дѣтей. Другія его качества тоже не могли возбудить къ нему уваженія. Онъ часто пускалъ въ ходъ свое краснорѣчіе и послѣ всякой литургіи толковалъ прочтенное евангеліе. Но это толкованіе было такого рода, что не могло внушить слушателямъ никакого благоговѣнія. Радищевъ приводитъ одинъ примѣръ краснорѣчія отца Павла. Говоря въ праздникъ Благовѣщенія о томъ, что разумѣется въ евангеліи подъ Ангеломъ Божиимъ, отецъ Павелъ, любившій, повидимому, не только посмѣяться, но и посмѣшить, сказалъ: «ангелъ есть слуга Господень, котораго онъ посылаетъ для посылокъ, онъ то же, что у государя курьеръ, какъ-то г. Гуляевъ». Гуляевъ былъ курьеръ кабинета, находившійся въ то время въ Лейпцигѣ и присутствовавшій при богослуженіи. Конечно, такая выходка вызвала всеобщій громкій смѣхъ; проповѣдникъ не отсталъ отъ другихъ; онъ сначала засмѣялся, но потомъ зажмурилъ глаза, заплакалъ и сказалъ: «аминь».

Что касается *учителей* нашихъ студентовъ въ Лейпцигѣ, то о нихъ мы почти ничего не знаемъ. Намъ извѣстно, что сначала учителя жили въ одномъ домѣ со студентами; въ числѣ учителей былъ и тотъ, который принялъ участіе въ нашихъ студентахъ во время ихъ заключенія и отправился хлопотать за нихъ въ Петербургъ (Вицманъ; см. выше). Мы знаемъ, что одинъ изъ учителей жаловался вмѣстѣ съ Богомъ на поведеніе студентовъ; знаемъ также и то, что «учители или такъ называемые гувернеры» тоже неоднократно наказывали студентовъ «на тѣлѣ», такъ что когда за это варварство и тиранство сдѣлали Богуму изъ Петербурга выговоръ, то вмѣстѣ обязывали его взять со всѣхъ учителей и гувернеровъ подписки, что они ничѣмъ бить російскихъ дворянъ не будутъ ¹⁾.

¹⁾ Сборникъ Р. И. Общества, т. X, стр. 113, 120, 123.

Вотъ въ какія неблагопріятныя условія была поставлена жизнь нашихъ студентовъ въ Лейпцигѣ въ матеріальномъ и воспитательномъ отношеніи. Правительство русское тратило на студентовъ большія деньги, назначило крупныя стипендіи на ихъ содержаніе, но все дѣло было отдано въ руки чело­вѣка корыстнаго и нечестнаго, глупаго и совершенно негоднаго для воспитательныхъ цѣлей,—и студенты оказались въ матеріальной нуждѣ, оказались подъ дикимъ произволомъ своего грубаго «гофмейстера», кото­рый выбиралъ гувернеровъ по своему нраву и вкусу. Но при всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, пребываніе въ Лейпцигѣ было очень полезно для нашихъ студентовъ: лейпцигскій университетъ ввелъ ихъ въ кругъ строго-научныхъ занятій и интересовъ, не только далъ имъ разнообразныя знанія, умѣніе и желаніе заниматься дальше, но и сроднилъ ихъ съ ду­хомъ и задачами современнаго европейскаго просвѣщенія. Пребываніе на­шихъ студентовъ въ Лейпцигѣ не только было эпохой въ жизни каждого изъ нихъ, но должно быть признано и эпохой въ исторіи русской обра­зованности.

Сопоставимъ здѣсь нѣкоторыя отрывочныя данныя о ходѣ занятій нашихъ студентовъ въ Лейпцигѣ. Студенты, какъ мы знаемъ, были от­правлены за границу для того, чтобы, —гласить § 2-й инструкція, выше цито­ванной,— «обучаться моральной философіи, исторіи, а наипаче праву есте­ственному и всенародному и нѣсколько римской имперіи праву». Задачей обученія было знакомство съ юридическими науками.

Въ первые годы, съ 1767 по 1769 г., студенты обучались въ Лейп­цигѣ: логикѣ, естественному праву, народному праву, универсальной исто­ріи, генеральному политическому праву, исторіи всѣхъ государствъ и о состояніи оныхъ. Въ 1769 г. профессора Лейпцигскаго университета со­ставили программу дальнѣйшихъ занятій для русскихъ студентовъ на че­тыре семестра: 1) истолкованіе всей практической философіи; 2) для ге­неральнаго знанія юриспруденціи можно съ пользою читать такъ называ­емую книгу *Enciclopedia juris*; 3) потомъ наипаче приступить надобно къ установленію римскихъ правъ по Гебауэровой Записной книгѣ. Она содержитъ въ себѣ изъясненія, раздѣленія и знатнѣйшія понятія правъ, то искуснѣе и полезнѣе гг. дворянамъ у разныхъ професоровъ по два ряда сряду слушать, а именно, первый разъ только теоретически, а вто­рой больше практически; 4) особливо потребно имъ обучаться прагмати­ческой исторіи о Германской имперіи; 5) нѣмецкое политическое право, но больше историческое, а не юридическое; 6) исторію и изъясненіе о достойнѣйшихъ примѣчанія приключенія, заключенія мирныхъ и про­чихъ трактатовъ прошедшаго и нынѣшняго вѣка; 7) наставленіе о поли­тической перепискѣ». Въ программѣ указаны и руководства.

Въ апрѣлѣ 1768 г. кн. Бѣлосельскій сообщалъ слѣдующіе отзывы объ успѣхахъ нашихъ студентовъ: «всѣ генерально съ удивленіемъ при-

знаются, что въ толь короткое время они оказали знатные успѣхи и не уступаютъ въ знаніи самымъ тѣмъ, которые издавна тамъ обучаются. Особливо же хвалятъ и находятъ отмѣнно искусными: во-первыхъ, старшаго Ушакова, а по немъ Янова и Радищева, которые перевозили чаянія своихъ учителей».

Философіей наши студенты занимались у Платнера, тогда только что начинавшаго свою профессорскую дѣятельность. Когда въ 1789 г. Карамзинъ былъ въ Лейпцигѣ и видѣлся съ Платнеромъ, послѣдній вспоминалъ съ удовольствіемъ о русскихъ студентахъ, особенно о Кутузовѣ и Радищевѣ.

Наши студенты ходили также въ историческую коллегію извѣстнаго профессора Бема, слушали лекціи Геллерта, или, какъ выражается самъ Радищевъ, «наслаждались преподаваніями въ словесныхъ наукахъ».

Сейчасъ мы видѣли, что профессора съ большой похвалой отзывались о занятіяхъ и познаніяхъ Радищева. На окончательномъ экзаменѣ, однако, Радищевъ не блеснулъ или не старался блеснуть, но профессора утверждали, что онъ свѣдушъ гораздо болѣе тѣхъ, которые умѣли лучше выказать себя. Быть-можетъ, во время экзаменовъ Радищевъ былъ еще подъ сильнымъ впечатлѣніемъ недавней смерти дорогого ему товарища—Федора Васильевича Ушакова, скончавшагося въ іюнѣ 1770 г. отъ очень мучительной болѣзни. Радищевъ навсегда сохранилъ горячую память объ Ушаковѣ и черезъ много лѣтъ написалъ его «Житіе», которое сохранило намъ не только характерный образъ сотоварища Радищева, но и многія подробности изъ жизни нашихъ студентовъ въ Лейпцигѣ.

Инструкція и составленная примѣнительно къ ней программа касались изученія юридическихъ наукъ, поставленнаго на широкой философской и исторической основѣ. «Прочимъ наукамъ,—говорилось въ инструкціи,—обучаться оставить всякому на произволеніе».

Такъ, Радищевъ, по своему произволенію, занимался серіозно медициной и химіей.

Медицину онъ изучилъ столь основательно, что могъ бы выдержать докторскій экзамень, но, будучи посланъ собственно для юридическихъ занятій, онъ этого не сдѣлалъ. По возвращеніи въ Россію Радищевъ удачно занимался лѣченіемъ, особенно много во время ссылки.

Химію Радищевъ изучалъ съ особою любовью, продолжалъ заниматься ею и въ Петербургѣ. Его знанія въ этой области видны въ его сочиненіи «Описаніе моего владѣнія». Переписка его показываетъ намъ, какіе широкіе и разнообразныя интересы были у него въ области естественныхъ наукъ ¹⁾.

¹⁾ Ср. статью В. А. Мякотина „На зарѣ русской общественности“ въ сборникѣ „На славномъ посту“, стр. 497.

Екатерина предписывала молодымъ людямъ, отправляемымъ ею въ Лейпцигъ, «обучаться всѣмъ латинскому, нѣмецкому, французскому и, если возможно, славянскому языку». Намъ извѣстенъ порядокъ того, какъ студенты наши занимались языками,—они пользовались для этого, очевидно, услугами учителей или гувернеровъ, жившихъ съ ними; во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что Радищевъ зналъ очень хорошо языки нѣмецкій и французскій. Понятно, что проживъ пять лѣтъ въ Лейпцигѣ, онъ долженъ былъ узнать нѣмецкій языкъ въ совершенствѣ. Французскимъ языкомъ Радищевъ владѣлъ вполне свободно: это видно какъ изъ его близкаго знакомства съ французской литературой, такъ изъ его французскихъ писемъ. Латынь Радищевъ тоже зналъ, но, по собственному свидѣтельству, говорить по латыни не могъ.

Студентамъ нашимъ не только не пришлось въ Лейпцигѣ учиться славянскому языку, но они тамъ позабыли и русскій языкъ. Они не только мало говорили тамъ по-русски, но нѣкоторые изъ нихъ даже письма къ роднымъ писали по-нѣмецки, такъ что, напр., студенту Зиновьеву отецъ неоднократно наказываетъ писать по-русски ¹⁾. Одинъ изъ сыновей Радищева передаетъ, что, когда студенты вернулись изъ-за границы, они въ русскомъ разговорѣ постоянно вставляли латинскія, нѣмецкія, французскія слова. По возвращеніи Радищева и другихъ его товарищей въ Россію, въ Лейпцигъ былъ отправленъ въ качествѣ учителя русскаго языка къ оставшимся тамъ нашимъ студентамъ Сергѣй Подобѣдовъ ²⁾. Начальство увидало на примѣрѣ вернувшихся, какъ легко было на чужбинѣ забыть родной языкъ.

Радищевъ потомъ занимался русскимъ языкомъ подъ руководствомъ А. В. Храповицкаго.

Въ Россіи уже Радищевъ въ одинъ годъ выучился англійскому языку, который былъ ему нуженъ во время службы въ таможнѣ. Онъ зналъ также и итальянскій языкъ, но когда онъ выучился ему—неизвѣстно.

Знаніе пяти иностранныхъ языковъ дало Радищеву возможность познакомиться въ подлинникъ съ лучшими произведеніями европейскихъ литературъ. Объ этомъ говорить его сынъ, это видно изъ сочиненій Радищева: въ нихъ постоянно встрѣчаются цитаты, ссылки, историческіе примѣры. Надо прибавить, что и исторію Радищевъ зналъ хорошо, и, можно думать, что отчасти даже не изъ вторыхъ рукъ. Сочиненія Радищева показываютъ намъ еще начитанность его въ священномъ писаніи, а также основательное знакомство съ русской литературой.

На основаніи показаній самого Радищева, мы можемъ судить о характерѣ и общемъ направленіи, принятомъ его образованіемъ. Вспомнимъ,

¹⁾ „Русскій Архивъ“ 1870 г., стр. 935, 941, 942.

²⁾ Сборникъ Р. И. О., т. X, стр. 126.

что, вѣроятно, еще въ Москвѣ, началось вліяніе на Радищева французскихъ теорій. И въ пажескомъ корпусѣ его обучали между прочимъ «праву естественному», которое затѣмъ заняло главное мѣсто въ инструкціи для занятій студентовъ за границею. Въ Лейпцигѣ, и въ преподаваніи, и особенно въ чтеніи получило господство и вліяніе просвѣтительное направленіе. Радищевъ близко ознакомился съ французскими ученіями, съ французской литературой. Изъ «Житія Ѳ. В. Ушакова» мы узнаемъ, что наши студенты еще въ Лейпцигѣ занимались Гельвеціевой книгой о разумѣ. Гриммъ, бывшій проѣздомъ въ Лейпцигѣ, узналъ объ этомъ и рассказалъ потомъ Гельвецію, какимъ авторитетомъ онъ пользовался среди русскихъ юношей. Сочиненія Радищева показываютъ намъ, насколько онъ хорошо зналъ и понималъ французскую просвѣтительную философію, лучшимъ и наиболѣе послѣдовательнымъ представителемъ которой онъ у насъ и явился.

Таковы наши свѣдѣнія объ ученіи Радищева, о годахъ его студенчества въ Лейпцигѣ. Во многомъ трудно было положеніе нашихъ студентовъ, но всѣ лишенія и непріятности покупались тѣмъ счастьемъ, которое давали студентамъ ихъ научныя занятія и чтеніе подъ руководствомъ и по указаніямъ профессоровъ, внимательно относившихся къ любознательности русскихъ юношей. И годы ученія въ Лейпцигѣ не только обогатили умъ ихъ познаніями; здѣсь же сложилось ихъ направленіе, здѣсь они впервые познали «высокую радость благородныхъ ощущеній». Пять лѣтъ, проведенныхъ за границею, не оторвали нашихъ студентовъ отъ русской жизни и ея интересовъ. Они забыли на чужбинѣ родной языкъ, но сохранили любовь къ родной странѣ. По окончаніи курса, Радищевъ и его товарищи возвращались въ Россію, горя нетерпѣніемъ «видѣть себя паки на мѣстѣ рожденія». Когда они увидали между, Россію отъ Курляндіи отдѣляющую, они пришли въ восторгъ. Приобрѣтенное нашими студентами широкое и основательное научное образованіе, усвоенная ими философія просвѣщенія не отвратили ихъ отъ родины, отъ ея запросовъ и бѣдствій. Они возвращались домой съ желаніемъ отдать всѣ свои силы и знанія на служеніе родинѣ, на распространеніе въ ней просвѣщенія и справедливости, на борьбу съ удручавшими ее бѣдствіями, прежде всего съ ужасами крѣпостного права и со всѣмъ, къ чему впоследствии Радищевъ примѣнялъ стихъ изъ Телемахиды: «Чудище обло, озорно, огромно, стозѣвно и лаяй». Всѣхъ полнѣе эти стремленія выразилъ Александръ Радищевъ; не только какъ общественный дѣятель и какъ писатель, но и въ частной жизни, въ частныхъ отношеніяхъ къ людямъ онъ остался навсегда вѣренъ разѣ усвоенному направленію, выработаннымъ высокимъ гуманнымъ идеаламъ.

В. Якушкинъ.





Очерки и наброски изъ старой и новой литературы.

VI 1).

Литературный типъ паразита.

Прихлебатель, приживальщикъ, *ricque-assiette*, хамствующій тунеядецъ,—вотъ тотъ односторонній, подчасъ скорѣе потѣшный, чѣмъ возмутительный и отталкивающий образъ, который въ повседневнои *литературномъ* обиходѣ, какъ сборное представленіе объ извѣстной группѣ личностей, испоконъ вѣка изображавшейся словесностью, вызывается обыкновенно упоминаніемъ о паразитѣ. Классическая комедія и сатира, такъ усердно потѣшавшіяся надъ жалкими инстинктами греческихъ и римскихъ блюдолизовъ, прислѣшниковъ при вельможахъ и богачахъ, льстецовъ, наушниковъ и низкопоклонниковъ изъ-за лакомага куска, въ значительной степени повинны въ застарѣлости этого ходячаго толкованія, которое они завѣщали позднѣйшимъ поколѣніямъ, не отрехшимся вполнѣ отъ него, несмотря на то, что непомѣрно усложнившіяся общественныя отношенія и борьба интересовъ на почвѣ социальной, политической, религіозной, экономической, и отразившая ихъ въ своихъ созданіяхъ всемірная литература выставили въ теченіе тысячелѣтій много разнообразныхъ видоизмѣненій паразитизма, оставившихъ далеко позади себя античныхъ предшественниковъ.

Исторія типовъ,—за послѣднее время одна изъ наиболѣе прогрессирующихъ отраслей всеобщей литературной исторіи, — должна была бы давно заняться изученіемъ художественнаго изображенія паразита во всѣхъ вѣкахъ и у всѣхъ народовъ, не стѣсняясь узкими предѣлами традиціи, за-

1) Первые четыре очерка напечатаны въ Вѣстникѣ Европы 1898 года, пятый въ сборникѣ „Дѣло“, М. 1899.

хватывая все разнообразіе проявленій и оттѣнговъ. Любимцамъ и баловнямъ изслѣдователей, представителямъ тѣхъ типовъ, которымъ не только удалось обезпечить себѣ старшинство по разработкѣ, но и вызвать цѣлые циклы изслѣдованій,—Лицемѣру, Скупцу, Прометею съ его потомствомъ, Гамлету, Донъ-Жуану и др., придется разступиться и принять въ свои ряды младшаго товарища,—бессмертнаго, вѣковѣчнаго Паразита, чье потомство, несмѣтная армія родичей и единомышленниковъ, можетъ затмить легіоны, предводимые любымъ изъ его сверстниковъ.

Но на этотъ разъ въ запоздалости почина къ изслѣдованіямъ есть несомнѣнная выгода. Тѣмъ временемъ сильно двинулись впередъ работы по изученію однородныхъ съ даннымъ вопросомъ явленій въ области естествознанія и общественныхъ наукъ. Очертанія литературнаго типа не могутъ не стать выпуклѣе благодаря фону, который придадо имъ изслѣдованіе чужеядности въ природѣ и человѣческомъ обществѣ, „паразитизма органическаго“ и „паразитизма социальнаго“. Будущая исторія типа представляется намъ невозможною внѣ связи съ данными естественныхъ наукъ и социологіи.

Нѣсколько мыслей и замѣтокъ на эту тему, быть можетъ, не будутъ лишними.

Составившіе эпоху труды Зибольда и въ особенности Van Beneden'a ¹⁾ впервые прочно установили фактъ широкаго распространенія паразитизма среди животныхъ и въ растительномъ царствѣ. Не только обособивъ отъ открыто нападающаго, грубаго хищничества тотъ видъ житья на счетъ чужихъ силъ, который медленно и расчетливо эксплуатируетъ ихъ, то сожительство, въ которомъ пришелецъ, присосавшись къ жизни другого существа, питается его соками и не знаетъ труда и усилій, но раскрывъ рядъ переходныхъ ступеней чужеядности, отъ стремленія отплачивать своему сожителю хоть нѣкоторыми услугами до воровскихъ и вредоносныхъ стремленій, оба ученые, создавшіе цѣлую школу послѣдователей, могли уже произвести довольно полную классификацію органическаго паразитизма. Тонкими наблюденіями установили они отличительные признаки отдѣльныхъ группъ, опредѣлили приемы, ухищренія, иногда сложную тактику, употребляемые приживальщиками.

Тогда какъ въ человѣческомъ обществѣ дѣлаютъ паразитизмъ своею профессією, сосредоточиваютъ на немъ всѣ жизненные свои интересы лишь отдѣльныя (хотя и многочисленныя) личности, эксплуатируя различными способами существа имъ же подобныя, въ органическомъ мірѣ предаются ему *цѣлые виды существъ*, сплошь, въ полномъ составѣ, но

¹⁾ Классическая его работа:—Les commensaux et les parasites dans le règne animal. Paris, 1883.

никогда не губятъ силъ своей же породы, а ищутъ жертвъ внѣ ея,— правда, нарушая всѣ преграды, и не только въ ближайшихъ къ нимъ по организаціи породахъ, но вторгаясь изъ царства животныхъ въ растительный міръ и обратно. Зато, если нѣтъ необходимости, чтобы потомокъ приживальщика, ростовщика, кулака, трутня, сдѣлался въ свою очередь паразитомъ, и возрожденіе возможно, вѣка проходятъ въ постоянной, систематической чужеродности извѣстныхъ породъ животныхъ и растений. Для установленія ея эволюціи, по признанію авторитетныхъ ученыхъ, еще не настало время, хотя матеріалы собираются въ обиліи,—но уже ярко и опредѣленно стоятъ передъ нами главныя видоизмѣненія органической паразитности.

Вотъ умѣренный и аккуратный сожитель—нахлѣбникъ или сотрапезникъ (лучше не переведешь введеннаго Фанъ-Бенеденомъ термина „*com-mensal*“). Какъ греческій паразитъ, серьезно считавшій себя въ правѣ на „застольное“ и уютно усаживавшійся на общественныхъ трапезахъ, или римскій кліентъ—прихлебатель на пирахъ богачей, онъ дѣлитъ съ своимъ хозяиномъ его пищу, получаетъ на свою долю ея излишекъ и не вредитъ патрону. Онъ не могъ бы жить самостоятельно, на волѣ; необходимыя для того способности у него уже отсутствуютъ, органы ослабли или атрофированы.—Вотъ товарищи его по профессіи, до извѣстной степени не чуждые вольной жизни, но дѣлающіе изъ паразитнаго состоянія или удобный прологъ къ ней или ея завершеніе; одни живутъ на чужомъ иждивеніи лишь во время ранней молодости и потомъ уходятъ на свободу, другимъ оно необходимо, какъ богадѣльня, какъ инвалидный домъ и при приближеніи дряхлости, старости, ихъ главное стремленіе—крѣпче прильнуть, присосаться къ кормильцу, который ублажитъ ихъ до конца ихъ существованія. Вотъ наконецъ свободный и отъ мирныхъ инстинктовъ лѣниваго нахлѣбника и отъ умѣнья начинать и кончать жизнь привольной синекурой паразитъ *par excellence*. Онъ не шадитъ своего хозяина, но прямо губитъ его, то медленно, чтобы растянуть тунеядство, то съ приѣмами настоящаго хищника. Онъ предприимчивъ и изворотливъ; чтобы проникнуть туда, гдѣ всего больше для него будетъ поживы, онъ употребляетъ иногда тонкіе приѣмы. Французскіе зоологи называютъ сценизмомъ, т.-е. умѣньемъ носить личину, способность такого паразита мѣнять внѣшній видъ, даже окраску, чтобы ввести въ заблужденіе будущую свою жертву, приманить ее къ себѣ. Если наибольшаго своего развитія и долготѣія онъ можетъ достигнуть лишь въ извѣстномъ организмѣ, особенно для него благоприятномъ, онъ иногда проникаетъ сначала въ другой, пользуется соками и силами этого „промежуточнаго хозяина“ своего (*Zwischenwirth*, какъ мѣтко назвала его нѣмецкая зоологическая наука), и затѣмъ вмѣстѣ съ нимъ потребляется въ пищу желаннымъ для него существомъ. Такъ различные паразиты желудка человѣка и млекопитающихъ проникаютъ въ него вмѣ-

стѣ съ растительной, рыбной и др. пищей, послѣ того какъ они известное время готовились къ своему благополучію, живя на иждивеніи тороватыхъ хозяевъ.

Еще шагъ дальше, и паразитизмъ становится тѣмъ открытымъ хищничествомъ неизчислимыхъ массъ невидимыхъ враговъ человѣка и животныхъ, которое раскрыла новѣйшая бактериологія. Бацилла туберкулоза, непоѣрно размножаясь въ захваченномъ ею и обреченномъ на гибель организмѣ, замыкаетъ собою сложный рядъ явленій чужаидности.

Сколько же кроется въ тѣни, отбрасываемой наиболѣе крупными изъ нихъ, существъ безобиднаго, совсѣмъ не рокового назначенія, которыя тунейдствуютъ на счетъ чужого, дже коллективнаго труда, не заѣдая повидимому ничьей жизни и опираясь на порядокъ вещей, искони установленный, вошедшій въ строй общежитія! Ко всякаго рода трутнямъ среди насѣкомыхъ, терпимымъ въ наиболѣе нормально-организованныхъ ихъ группахъ, вполне подходит пущенное теперь въ ходъ названіе „паразитовъ-синекуруистовъ“.

Однородность паразитизма органическаго съ социальнымъ стала обращать на себя все больше вниманія по мѣрѣ того, какъ естествознаніе овладѣвало обширнымъ запасомъ данныхъ по чужаидности въ природѣ,—и натуралисты побуждаютъ социологовъ и историковъ къ совмѣстной работѣ. Имъ кажется, что шансы ея гораздо благопріятнѣе въ области обществовѣдѣнія, чѣмъ въ наукѣ о природѣ. Если въ послѣдней еще нѣтъ достаточнаго матеріала для установленія эволюціи паразитизма, оно уже возможно въ области социальной. Таковъ взглядъ двухъ бельгійскихъ натуралистовъ, Массара и Фандервельде, которые своимъ своднымъ изслѣдованіемъ, небольшимъ по размѣрамъ, но богатымъ возбужденіями и указаніями ¹⁾, дѣлаютъ интересный почиъ параллельнаго изученія обоихъ цикловъ явленій.

Исходя изъ одинаковаго побужденія, чужаидность общественная давно превысила простыя формы органическаго паразитизма способностью специализироваться, совершенствоваться, открывать все новые и утонченные способы захвата чужихъ силъ, дарованій, имущества, свободы. И ростъ этой специализаціи еще не остановился,—напротивъ, онъ все идетъ впередъ вмѣстѣ съ усложненіемъ формъ общежитія. Современный эксплуататоръ и тѣ прихлебатели, къ которымъ нѣкогда въ Греціи приложена была кличка *паразитовъ*, произведенная отъ невинно звучащаго глагола, сначала только выражавшаго понятіе о совмѣстной ѣдѣ, сотрапезничествѣ, едва походятъ другъ на друга,—до того измѣнила потомковъ манія хищничества.

¹⁾ Parasitisme organique et parasitisme social, par Jean Massart et Emile Vandervelde. Paris, 1898.

Уже въ Римѣ поражаетъ размноженіе приживальщиковъ, словно шла паразитизма, которую создаетъ сосредоточеніе большихъ богатствъ въ рукахъ отдѣльныхъ лицъ. Капиталистъ или вельможа окружонъ толпой кліентовъ, которыми онъ помыкаетъ, превращая ихъ въ паразитовъ. Цѣлой сворой шатаются они за нимъ, питаются на его пирахъ, появляются съ нимъ на форумѣ, глядятъ ему въ глаза, ради выгоды готовы растерзать другъ друга, повредить врагамъ своего милостивца. Они становятся сплетниками, доносчиками, наушниками, шутами, виртуозами лакейства. Это—родоначальники той открыто сервильной группы паразитовъ, которая во всѣ вѣка предавалась крохоборству, жила подачками и униженіями, укрывалась въ тѣни такихъ прочныхъ учреждений, какъ крѣпостничество, дореволюціонное барство, дворцовый штатъ, и научилась соединять съ искусствомъ обезличиванія и порабощенія не только умѣнье расхищать и присвоивать имущество покровителей, но и способность къ эксплуатаціи низшихъ, безправныхъ, если они почему-либо очутятся въ ея рукахъ.

Но не занимали ли и ея владыки на ряду съ нею лишь различныхъ ступеней на одной и той же лѣстницѣ? Тѣ и другіе, посредственно или непосредственно, прирастали къ общественному организму, питались его соками, нарушали свободное развитіе его силъ. Паразитъ-хамъ и паразитъ-пань были всегда братьями по духу.

Опять выстраиваются рядами многочисленныя образцы — на этотъ разъ болѣе величавой—чужеядности, вскормленной капитализмомъ и старымъ порядкомъ, имущественной, экономической, политической, обеспеченной всякими льготами, поддерживаемой при случаѣ фаворитствомъ и nepотизмомъ, ублажаемой синекурами, и не перестающей прогрессировать. Исчезаетъ или ослабѣваетъ въ силу измѣнившихся историческихъ условий, извѣстный видъ ея, она оживаетъ и развивается въ другомъ направленіи. Паразитъ en grand—крѣпостникъ,—все равно, самоуправецъ, Обломовъ или Плюшкинъ,—стали немислимыми, но пышно расцвѣла плутократія, и какъ нѣкогда изъ барскихъ хоромъ нисходящей лѣстницей спускалась къ народной массѣ стая всякихъ дворецкихъ, дворовыхъ, барскихъ барынь, бурмистровъ, такъ отъ денежнаго туза или царя биржи по наклонной плоскости идутъ мелкій биржевой игрокъ, кулакъ, барышникъ, скупщикъ, ростовщикъ. Въ атмосферѣ, насыщенной жаждой легкой наживы и сибаритства, вырабатывается искусная практика достиженія цѣли. Какъ паразиты въ органическомъ мірѣ, искатели фортуны найдутъ себѣ и Zwischenwirth'a, чтобъ, откормившись у него, высмотрѣть еще болѣе блаженное положеніе и перебраться въ него,—или, напоминая тѣхъ же своихъ сверстниковъ, сумѣютъ найти себѣ подъ старость обеспеченное благополучіе и среди него доживать свою безпутную жизнь,—или какъ открытые хищники, истомившись отъ голода, они, подобно щедринскимъ „ташкентцамъ“, готовы наброситься безжалостно на обывателя, словно нужно его

за что-то „усмирить и покорить“. Но къ той же большой арміи соціальныхъ паразитовъ примыкаетъ внушительный по силамъ и искусству женскій отрядъ,—„паразитизмъ половой“ со всіми его разнообразными представительницами, отъ „полусвѣтскихъ“ салонныхъ хозяекъ второй имперіи до уличныхъ проститутокъ и матросскихъ подругъ, окруженный толпами всякихъ приспѣшниковъ и пособниковъ по части хищничества. Вглядѣвшись пристальнѣе, распознаешь и другіе обособленные, специализировавшіеся отгѣнки той же чужейности. Таково шарлатанство на почвѣ религіозной, заклеянное еще средневѣковыми сатириками и съ той поры вызвавшее обширную литературу обличеній, подъ личиной благочестія живущее поддержкой легковѣрія и суевѣрія, и не для однихъ только виртуозовъ по этой части, подобныхъ Тартюффу, являвшееся источникомъ обезпеченія и вѣги.

Окинувъ даже бѣглымъ взглядомъ распространеніе и дифференціацію общественнаго паразитизма и размѣстивъ главныя вѣхи по пути его развитія, нельзя не придти къ убѣжденію въ необходимости перестроить и расширить понятіе о паразитѣ, оторвавъ его отъ застарѣлой клички блюдолиза и сдѣлавъ нарицательнымъ именемъ необыкновенно обширнаго круга соціальныхъ явленій и характеровъ. Понятый въ этомъ смыслѣ, паразитизмъ представляется такою крупною силой и вмѣстѣ съ тѣмъ такимъ крупнымъ зломъ, что борьба съ нимъ была, во имя общественнаго самохраненія, предугазана всемірной литературѣ. Она не могла пройти мимо его проявленій, не замѣчать его роста и успѣховъ; исполняя свою обязанность по отношенію къ народной совѣсти и народному благу, и вмѣстѣ съ тѣмъ преслѣдуя цѣли художественной правды, она должна была создать *литературный типъ паразита*.

И она дѣйствительно собрала обширный матеріалъ для изученія этого типа,—матеріалъ, разбитый, однако, въ силу хроническаго недоразумѣнія, на двѣ неравныя группы: съ одной стороны—прямое потомство античныхъ паразитовъ, съ другой—свободные отъ позорнаго клейма и по большей части огражденные общественнымъ положеніемъ представители чужейности, дѣйствующіе во всевозможныхъ народныхъ слояхъ.

Классическая комедія и сатира полны бойкихъ этюдовъ съ натуры, схватившихъ забавныя, животныя черты вульгарнаго приживальщика. Плавтъ и Теренцій съ избыткомъ воспроизвели его въ разныя минуты его хамскаго существованія, рассчитывая вызвать въ зрителѣ смѣхъ. Краски немного сгущены у такого удивительно зоркаго судьи нравовъ, какъ Лукіанъ, и его діалогъ „Паразитъ, или о томъ, что ремесло паразита есть настоящее искусство“, не оправдываетъ ожиданій читателя, который въ правѣ искать именно тутъ ѣдкаго остроумія и сатирическаго блеска. Паразитъ Лукіана—самодовольное и цинически—хвастливое существо. Онъ увѣренъ, что *все хорошо* и „что лучше настоящаго строя вещей ничего

быть не может“. Онъ не знаетъ печали, гнѣва, зависти, какихъ бы то ни было желаній, смѣется надъ такъ называемымъ общественнымъ мнѣніемъ, и весь отдается своей профессіи, требующей ума, такта и изворотливости, „одной изъ лучшихъ профессій въ мірѣ, удобной, покойной и далеко не всѣмъ по силамъ; не потерпѣлъ ли въ этомъ неудачи и самъ Платонъ, прибывшій въ Сицилію въ качествѣ паразита, но не сумѣвшій обезпечить себѣ прочнаго положенія?“. За ироніей чувствуется уже раздраженіе, но трагическая сторона дѣла, общественная опасность, которую грозитъ развитіе паразитизма, не выставлены. Фонъ обличительной картины всего мрачнѣе у Ювенала, отъ котораго не укрылись признаки вреднаго вліянія возрастающей сервильности на общественную жизнь и народные нравы; онъ говоритъ уже о школѣ паразитизма, о томъ какъ богачи искусственно разводять эту язву, и въ тревогѣ смотритъ на будущее.

Оно должно было оправдать подобныя опасенія: достаточно рѣзко обозначившійся порокъ перешелъ и въ средніе вѣка, несмотря на сравнительную скудость экономической обстановки, мало располагавшей къ профессиональному паразитизму въ тѣсномъ смыслѣ слова, и свободно сталъ развиваться въ обновленной Европѣ съ тѣхъ поръ, какъ утонченныя формы общежитія, ростъ центральной власти, и образованіе крупныхъ земельныхъ и денежныхъ богатствъ открыли рядъ удобныхъ способовъ и возможностей для промысла паразита. И, далеко оставляя за собой тѣ наброски, какіе могла выставить по этой части античная литература, сложились въ новой словесности глубоко задуманные, съ поразительной силой воспроизведенные и заклеянные негодованиемъ и обличеніемъ характеры паразитовъ,—самые цѣнныя вклады въ образованіе типа. Это—мольтеровскій Тартюффъ, это—дидеротовскій „Neveu de Rameau“. Пусть Тартюффъ по праву входитъ въ кругъ литературной психологіи *лицемера*, притворщика, и его слѣдуетъ изучать въ связи со многими сверстниками въ мировой литературѣ*),—но богатство и всесторонность наблюденій Мольера были такъ велики, что тотъ же образъ долженъ занять мѣсто и во всесвѣтной галлерей приживальщиковъ. Его роль въ домѣ Оргона, умѣнье стянуть къ себѣ постепенно всѣ нити, всѣмъ завладѣть, отъ правильного житья на чужихъ хлѣбахъ тучнѣть и лосниться, тѣмъ временемъ все шире раскидывая паутину, переходитъ въ наглое хищничество, производящее тѣмъ больше впечатлѣнія, что Мольеръ мѣтко указываетъ позати прониры на цѣлую шайку его единомышленниковъ, въ рясахъ или свѣтскомъ платьѣ, дѣйствующую сообща, вполне стаянувшуюся. Еще столѣтіе спустя, французская сатира выставляетъ второй геніальный этюдъ на

*) Попытка его изученія съ этой стороны сдѣлана была въ моихъ „Этюдахъ о Мольерѣ. I. Тартюффъ. Исторія типа и пьесы“, М. 1879. Вполнѣ возможенъ этюдъ о Тартюффѣ и въ ряду паразитовъ.

тему о паразитизмѣ,—лишь въ наше время въ окончательномъ, подлинномъ видѣ ставшій общимъ достояніемъ ¹⁾ діалогъ Дидро. Его герой, это оригинальное соединеніе „низости и высокоумія, здраваго смысла и безумія“ (un composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison), выведенъ живьемъ, со всею своеобразностью своего жаргона и со всѣмъ безстыдствомъ своихъ аппетитовъ; циникъ, эгоистъ, жадный завистникъ, до глубины души ненавидящій все честное и великое, полный злобы на просвѣтителей и друзей человѣчества, онъ выступаетъ и негодеемъ, способнымъ пресмыкаться, и голоднымъ волкомъ, накидывающимся на пищу, и съ такимъ же наслажденіемъ рвущимъ на части доброе имя передовыхъ людей Франціи,—и въ то же время остроумнымъ, наблюдательнымъ, на всѣ руки даровитымъ проходимцемъ, за которымъ, какъ и у Тартюффа, стоитъ такая же шайка общественныхъ паразитовъ. Съ такою силой и такими яркими красками врядъ ли кто-нибудь изображалъ чистокровнаго паразита послѣ Дидро,—кромѣ Щедрина, у котораго изъ „Господъ ташкентцевъ“ и многочисленныхъ петербургскихъ знакомыхъ Глумова складывается правдивый и яркій образъ, освѣщенный благороднымъ гнѣвомъ сатирика. Оба писателя тонко подмѣтили у людей этого покроя неотвязную мечту о томъ, чтобъ рано или поздно выйти изъ зависимости,—но не изъ стремленія къ свободѣ, а оттого, что передъ ними откроется тогда блаженство привилегированнаго, сибаритствующаго паразитизма, и у ихъ ногъ будутъ въ свою очередь пресмыкаться новые приживальщики и льстецы; пусть это будетъ порочнѣйшій изъ общественныхъ строевъ, лишь бы въ немъ можно было играть роль и предаваться наслажденію („le meilleur ordre de choses, à mon avis, est celui où j'en devais être, et foin du plus parfait des mondes si je n'en suis pas!“ восклицаетъ Рамо). Оттого то эти проходимцы такъ ненавидятъ все, что ведетъ къ общему благу; оттого товарищи Рамо дышатъ злобой на просвѣтительную философію, щедринскіе герои на пору реформъ. Они, еслибъ это нужно было, явились бы хорошею опорой стараго порядка со всею его тьмою, со всѣмъ гнетомъ.

И во всѣхъ закоулкахъ стараго порядка гнѣздились, малъ мала меньше и ничтожнѣе, такіе же его слуги и сторонники. Одно уже крѣпостное право выставило легіоны ихъ,—и русская литература обогатилась ихъ оттисками съ натуры, безъ которыхъ, бывало, немислима была ни одна повѣсть, ни одна пьеса изъ провинціального быта; какъ въ восьмнадцатомъ вѣкѣ сатирическіе журналы воспроизводили гротескныя сцены въ помѣщичьемъ домѣ, полномъ рабствующей челяди, такъ это стало на разсвѣтѣ эмансипаціи привычною бытовою картиною у Тургенева, Гонча-

¹⁾ Лишь въ 1891 году Жоржу Монвалю удалось найти у букиниста въ Парижѣ подлинную рукопись. Онъ издалъ ее: Le Neveu de Rameau, satire publiée pour la première fois sur le manuscrit original.

рова, Достоевскаго, Островскаго („Воспитанница“, „Лѣсъ“). Отъ паразитизма столичнаго, городского, до каморки какой-нибудь деревенской барской барыни литература заглянула всюду, и галерея представителей профессиональной крѣпостнической чужады сложилась очень внушительная.

Но насколько же превышаетъ ее размѣрами то разнообразіе превращеній паразитизма, которое получается, когда изъ тѣснаго круга приживанія и прислуживанія при отдѣльныхъ лицахъ наблюдение переносится на подобное же отношеніе къ цѣлому обществу, строю вещей. Тогда рамки необыкновенно расширяются. Въ крѣпостномъ царствѣ, напр., въ тѣхъ же рядахъ встрѣтятся и Митрофанушка, и Обломовъ, и Ноздревъ, и Иудушка, и бурмистръ Софронъ, и всякая дворовая тля,—а нѣмецкая среда выставитъ въ параллель живые портреты того самодовольнаго и презрѣннаго юнкерства, съ которымъ десятками лѣтъ ведетъ неутомимую борьбу Шпильгагенъ. Вторая имперія дастъ во свою очередь картину торжествующаго тунеядства, захватившаго врасплохъ страну послѣ переворота 2-го декабря, и стачкою паразитовъ, прочно осѣвшихъ всюду, въ администраціи, политикѣ, печати, экономическомъ мірѣ, долго изнурявшаго Францію,—фонъ романической серіи, изобразившей дѣянія Ругонъ-Макаровъ, и тѣхъ новѣйшихъ французскихъ романовъ, которые заднимъ числомъ клеймятъ наполеоновскую пору. Мопассанъ, Гонкуры. *Нана* дають рядъ этюдовъ „полового паразитизма“, отъ Тартюффа до мастерски очерченнаго героя „*Conquête de Plassans*“ Зола и до современной антиклерикальной агитаціи въ литературѣ Франціи, Испаніи, Италиі, идетъ рядъ изображеній чужады на почвѣ религіозной. Банкиры Диккенса и деревенскіе кулаки Глѣба Успенскаго и беллетристовъ народниковъ — крайнія точки обширной коллекціи литературныхъ портретовъ, выхваченныхъ изъ міра экономической эксплуатаціи народныхъ силъ.

Разнообразные матеріалы эти, цѣнные и въ бытовомъ, и въ психологическомъ, и въ художественномъ отношеніи, конечно, не могутъ уместиться въ объемъ ходячаго понятія о литературномъ типѣ паразита,—но ихъ нельзя уже игнорировать, какъ только вопросъ перемѣстится на широкую почву чужады социальной, съ органическимъ паразитизмомъ, какъ глубокимъ фономъ, вдали. Недостатка въ данныхъ не будетъ, но изслѣдователю типа въ полномъ его объемѣ потребуется много прозорливости и такта для того, чтобы отвлечь отъ обильнаго матеріала то общее и существенное, что подмѣтила въ теченіи вѣковъ міровая литература и чѣмъ она съ своей стороны освѣтила одну изъ застарѣлыхъ склонностей человѣчества.

Тѣ натуралисты, которые предпринимали сопоставленіе паразитности въ природѣ и человѣческомъ обществѣ, взываютъ къ здоровымъ его силамъ, побуждая ихъ энергичнѣе спланиваться для отпора всевозможнымъ паразитамъ. Люди, говорятъ они, въ этомъ отношеніи счастливо поста-

влены въ сравненіи съ ихъ сотоварищами въ природѣ, подвергающимися эксплуатаціи. Правда, успѣхъ борьбы зависитъ отъ степени способности того или другого общества поддаваться эксплуатаціи (*exploitabilité de la société*)... Не говоря уже о той борьбѣ, которая происходитъ, напр., въ наше время въ области экономической для высвобожденія народнаго труда, и о сродныхъ столь же практическихъ видахъ отпора, нельзя не признать въ непрерывной литературной войнѣ противъ паразитизма немалой заслуги передъ справедливостью и свободой. Не будь такого неусыпнаго стража, смѣлѣе бы проявлялись тѣ себялюбивые инстинкты, которые съ такою силой сказываются въ природѣ.

Но только ли подобныя инстинкты показываетъ намъ ея изученіе? Къ числу любопытнѣйшихъ наблюденій новаго естествознанія нельзя не отнести замѣченнаго имъ сожительства, основаннаго не на эксплуатаціи, не на изнуреніи однимъ существомъ другого, а на товарищескомъ обмѣнѣ услугъ, на взаимной поддержкѣ. Фанъ-Бенеденъ, которому извѣстно было лишь небольшое количество подобныхъ союзовъ, называлъ это устройство жизни мутуализмомъ; современная наука, все болѣе обогащаемая наблюденіями такого рода, привыкаетъ обозначать свободные и равноправныя союзы именемъ *симбіоза*. Она отмѣтила уже способность такихъ сожителей взаимно приспособлявать свои организмы; она знаетъ, что возможна ассоціація между столь разнородными товарищами, какъ грибы и большія деревья, но въ особенности изучаетъ, какъ примѣчательный примѣръ союза, жизнь лишайника. До послѣдняго времени его считали за недѣлимое особаго класса; теперь раскрыто, что онъ представляетъ собой союзъ водоросли и гриба, но „смѣшеніе тканей и органовъ такое полное, ихъ зависимость такая глубокая, водоросль, служащая опорой такъ слилась съ своимъ паразитомъ“ ¹⁾, что впечатлѣніе единства не могло не возникнуть. Проф. Тимирязевъ въ прекрасной рѣчи своей ²⁾ могъ поэтому назвать лишайникъ „растеніемъ—сфинксомъ“ и, выставивъ девизомъ такого соединенія: „въ согласіи, въ союзѣ сила“, найти, что „ничтожный лишайникъ, въ скромной своей сферѣ, разрѣшилъ свою загадку жизни, а человѣчество стоитъ безпомощно передъ грознымъ сфинксомъ будущаго“. Если массовыя примѣры насильственной эксплуатаціи въ органическомъ мірѣ могли служить какъ бы оправданіемъ такихъ же влеченій, свойственныхъ природѣ человѣка, симбіозъ возвращаетъ насъ къ тѣмъ началамъ солидарности и братства, которымъ принадлежитъ будущее. Подъ этимъ смягчающимъ впечатлѣніемъ можно легче разстаться съ тяжелой исторіей паразитизма.

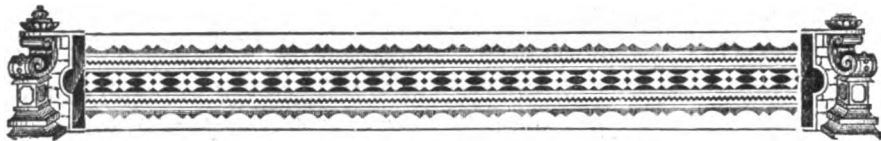
Алексій Веселовскій.

Вех-les-bains
12 августа 1901.



¹⁾ Вюльменъ. Біологія растеній. М. 1897.

²⁾ К. А. Тимирязевъ. Публичныя лекціи и рѣчи. М. 1888.



Стеклянный лиценсіатъ *).

Новелла Мигуэля Сервантеса.

Переводъ съ испанскаго.

Два студента благороднаго происхожденія, прогуливаясь по берегу рѣки Тормезъ, нашли спящаго подъ деревомъ мальчика лѣтъ 11, одѣтаго въ крестьянское платье; они приказали слугѣ разбудить ребенка; тотъ поспѣшилъ исполнить приказаніе. Мальчика стали разспрашивать: откуда онъ, и что дѣлаетъ въ этомъ уединенномъ мѣстѣ? Онъ отвѣтилъ, что фамиліи родителей не помнитъ, направляется же въ Саламанку, чтобы служить тому, кто возьмется за его обученіе. Когда его спросили, знаетъ ли онъ грамоту, оказалось, что онъ даже порядочно пишетъ.—«Какъ же ты могъ забыть названіе своей родины и имя родителей?»—спросилъ одинъ изъ дворянъ. «Что ни говорите»,—возразилъ мальчикъ,—«но о моей родинѣ и родителяхъ никто не узнаетъ, пока я не буду имѣть возможности сдѣлаться ихъ гордостью».—«Какимъ образомъ?»—спросилъ одинъ изъ дворянъ.—«Сдѣлавшись знаменитымъ ученымъ»,—отвѣтилъ мальчикъ;—«я слышалъ, что изъ обыкновенныхъ людей дѣлаются епископы». Этотъ отвѣтъ поразилъ рыцарей; они приняли мальчика на службу и взяли съ собою, чтобы отдать его въ ученіе (такой образъ дѣйствія часто практикуется по отношенію къ наемнымъ слугамъ). Мальчикъ сказалъ, что его зовутъ Тома Родаха; по имени и платью его господа рѣшили, что онъ долженъ быть сыномъ бѣднаго земледѣльца. Спустя нѣсколько дней, Тома одѣли въ черное платье, а черезъ нѣсколько недѣль оказалось, что Тома обладаетъ рѣдкими способностями: онъ служилъ своимъ господамъ такъ вѣрно, заботливо и аккуратно, что казалось, будто онъ исключительно этимъ и занимается, а между тѣмъ и въ наукѣ мальчикъ дѣлалъ большіе успѣхи. Все

*) .Лиценсіатъ—ученая степень, приблизительно соответствующая нашему магистру.

это, взятое вмѣстѣ, заставило господъ Ѳомы обращаться съ нимъ ласково, такъ что онъ былъ скорѣе ихъ товарищемъ, нежели слугою. Наконецъ, послѣ восьми лѣтъ, проведенныхъ вмѣстѣ съ ними, Ѳома сталъ извѣстенъ въ университетѣ выдающимися способностями и прекраснымъ характеромъ; всѣ его уважали и любили. Специальностью его было право. Но самыя большіе успѣхи Ѳома дѣлалъ въ наукахъ философскихъ и литературѣ. У него была такая счастливая память, что всѣ ей удивлялись; притомъ память освѣщалась умомъ и Ѳома славился какъ тѣмъ, такъ и другимъ. Наконецъ наступило время окончанія ученія его господъ, и они переѣхали на жительство въ одинъ изъ лучшихъ городовъ Андалузін, взявъ съ собой и Ѳому, прожившаго съ ними нѣкоторое время. Но такъ какъ ему хотѣлось поучиться въ Саламанкѣ (это желаніе являлось у всѣхъ, кто испытывалъ удовольствіе пожить въ этомъ городѣ), онъ отпросился у своихъ господъ обратно. Благородные и щедрые молодые люди не только отпустили Ѳому, но даже снабдили всѣмъ необходимымъ и деньгами, такъ что юноша могъ содержать себя въ продолженіе трехъ лѣтъ.

Простившись съ своими покровителями и выразивъ имъ прочувствованной рѣчью благодарность, Ѳома отправился изъ Малаги—это была родина его господъ—и по дорогѣ въ Антекверу, въ окрестностяхъ Замбры, встрѣтился съ всадникомъ, въ роскошномъ дорожномъ костюмѣ, въ сопровожденіи двухъ слугъ на лошадяхъ. Ѳома присоединился къ нимъ и узналъ, что имъ предстоитъ одна дорога. Они познакомились, стали бесѣдовать о самыхъ разнообразныхъ предметахъ, и въ самое непродолжительное время Ѳома имѣлъ возможность представить доказательства своихъ рѣдкихъ способностей, а рыцарь—своей галантности и свѣтскости. Онъ объявилъ, что состоитъ въ чинѣ капитана инфантеріи Его Величества, и что его помощникъ вербуетъ войска въ окрестностяхъ Саламанки: онъ хвалилъ удовольствія солдатской жизни, весьма живо описывалъ красоты Неаполя, развлеченія Палермо, празднества Милана и Ломбардіи, и роскошныя угощенія въ гостиницахъ; наглядно росписалъ въ самыхъ заманчивыхъ выраженіяхъ, какъ вслѣдъ за обращеніемъ къ хозяину на столѣ являются свекла, макрель, цыплята, макароны, превозносилъ до небесъ свободную солдатскую жизнь и красоты Италіи, но не сказалъ ни слова о холодѣ во время походовъ, объ опасности нападеній, объ ужасахъ сраженій, о голодѣ въ лагеряхъ, объ опустошеніяхъ, производимыхъ подкопами, и другихъ, подобнаго рода, обстоятельствахъ, которыя нѣкоторые считаютъ лишь второстепенными въ солдатской жизни, но которыя въ дѣйствительности составляютъ существенную ея тяжесть. Капитанъ наговорилъ столько и столько хорошаго, что рѣшеніе Ѳомы Родаха поколебалось, и ему показалось заманчивымъ отдаться жизни, которая такъ близко соприкасается со смертью. Капитанъ, по имени Діего де-Вальдивія, очарованный наружностью, умомъ и краснорѣчіемъ Ѳомы,

просилъ его побывать хотя бы изъ любопытства въ Италиі, предложилъ ему раздѣлить трапезу и хотѣлъ даже вручить знамя, такъ какъ знаменосецъ долженъ былъ въ непродолжительномъ времени выйти въ отставку.

Немного было нужно, чтобы Тома принялъ приглашеніе; онъ скоро сообразилъ, какъ хорошо будетъ видѣть Италию, Фландрію и другія страны, что продолжительное путешествіе развиваетъ людей, что ихъ странствованіе могло бы продлиться три или четыре года, которые вмѣстѣ съ уже прожитыми не составятъ столько, чтобы помѣшать ему возвратиться къ прежнимъ занятіямъ. Все это пришлось ему по вкусу, и онъ сказалъ капитану, что отправится съ нимъ въ Италию, но съ условіемъ,—не произносить присяги и не записываться въ ряды солдатъ, чтобы не быть принужденнымъ слѣдовать за знаменемъ. Капитанъ сказалъ, что записываться не необходимо, что онъ безъ этого можетъ пользоваться прибылями и платой, которыя получаются во время кампаніи, и что онъ будетъ имѣть возможность уйти, когда ему заблагоразсудится. «Это (т.-е. полученіе добычи) было бы противно моей совѣсти, а также несогласно съ интересами г. капитана, и я предпочитаю быть свободнымъ». «Излишняя совѣстливость»,—отвѣтилъ Д. Діего,—«болѣе прилична духовному, нежели солдату, но пусть будетъ по вашему—и будемъ друзьями». Въ эту ночь они пріѣхали въ Антекверу и черезъ нѣсколько дней большими переходами очутились тамъ, гдѣ находился уже набранный отрядъ, направляющійся въ Картагену, и квартировавшій вмѣстѣ съ другими четырьмя въ ближайшихъ селеніяхъ. Здѣсь Тома замѣтилъ власть интендантовъ, затрудненія нѣкоторыхъ капитановъ, увидѣлъ заботы квартирмейстеровъ, ловкость въ расчетахъ плательщиковъ, жалобы народа, торговлю чинами, дерзкія выходки новобранцевъ, споры содержателей гостинницы, настойчивыя и неосновательныя требованія солдатъ, и въ заключеніе,—почти необходимость дѣлать все, что онъ считалъ дурнымъ. Тома, сбросивъ студенческое платье, одѣлся попугаемъ и, какъ говорится, предалъ себя волѣ Божьей. Изъ многочисленныхъ книгъ, которыя онъ везъ, приходилось оставить при себѣ въ чемоданѣ лишь акаѳистъ Богородицѣ и Гарсилыса безъ комментаріевъ. Они скорѣе, нежели предполагали, отправились въ Картагену (жизнь на стоянкахъ неправильна и разнообразна, и всякій день случаются новыя и пріятныя происшествія). Въ Картагенѣ они сѣли на четыре неаполитанскія галеры, и Тома имѣлъ возможность испытать необычный и неудобный образъ жизни въ этихъ пловучихъ квартирахъ: вы дѣлаетесь жертвою насѣкомыхъ всякаго рода, каторжники васъ грабятъ, матросы наносятъ оскорбленія, крысы портятъ багажъ, морская болѣзнь доводитъ до изнеможенія. Не мало страха ему причинили буря и волненія, особенно въ заливѣ Леонъ, гдѣ они принуждены были бороться съ двумя шквалами: одинъ ихъ бросалъ въ сторону Корсики, другой къ Тулону. Наконецъ, послѣ безсонныхъ ночей, утомленные путешественники очутились вблизи прекраснаго города Генуи и выса-

дидись въ великолѣпной гавани. Посѣтивъ церковь, капитанъ со всѣми товарищами отправился въ гостиницу, гдѣ въ веселой бесѣдѣ скоро позабылись всѣ пережитыя бури. Тамъ узнали они сладость тревіанскаго вина, доброту фраскинскаго, крѣпость асперинскаго, мягкость гуарвійскаго, терпкость кентолейскаго. Среди этихъ господъ скромное романское, конечно, не осмѣливалось появиться. Трактирщикъ, перечисливъ разнообразныя сорта винъ, не ошибся ни разу, приурочивая ихъ больше къ императорскимъ, нежели королевскимъ городамъ. Въ концѣ концовъ трактирщикъ назвалъ больше винъ и предложилъ болѣе сортовъ, чѣмъ самъ Вакхъ могъ имѣть въ своихъ погребахъ. Тома съ удовольствіемъ любовался свѣтлыми волосами генуэзокъ, изяществомъ и вѣжливостью мужчинъ и красотой города, дома котораго казались оправленными въ золото алмазами. На слѣдующій день высадились всѣ отряды, направлявшіеся къ Пиемонту. Тома не пожелалъ отправиться съ ними, намѣреваясь раньше побывать въ Римѣ и Неаполѣ, что онъ и сдѣлалъ, предполагая проѣхать чрезъ великую Венецію въ Миланъ и Пиемонтъ. Тамъ долженъ былъ его встрѣтить Донъ Діего де-Вальдивіа, если только, что онъ предполагалъ, ему не будетъ приказано возвратиться во Фландрію. Спустя два дня Тома простился съ капитаномъ, а черезъ пять прибылъ во Флоренцію, осмотрѣвъ Лукку, маленький, но красивый городокъ, гдѣ, какъ и въ другихъ мѣстностяхъ Италіи, испанцы пользуются симпатіей и хорошимъ приѣмомъ. Флоренція ему понравилась красотой мѣстоположенія, обширностью, великолѣпіемъ зданій, прекрасной рѣкою и тихими улицами. Онъ провелъ здѣсь четыре дня и отсюда направился прямо въ Римъ, царицу городовъ, госпожу міра. Тома посѣтилъ римскіе храмы, поклонился мощамъ этого города и восхищался его величіемъ. Подобно тому, какъ по когтямъ узнаютъ льва, его величину и силу, такъ и нашъ путешественникъ узналъ Римъ по разбитымъ мраморамъ, цѣлымъ и испорченнымъ статуямъ, по разрушеннымъ аркамъ и банямъ, триумфальнымъ воротамъ, громадному амфитеатру, по славной и святой рѣкѣ, въ которой находятся безчисленныя реликвіи—тѣла мучениковъ, нашедшихъ въ ней могилу, по мостамъ, которые кажутся любующимися другъ на друга, по улицамъ, названія которыхъ (Via Appia, Flaminia, Julia) далеко превосходятъ своею извѣстностью всякія другія. Не менѣе восхищался Тома холмами, находящимися въ городѣ: Целійскимъ, Квиринальскимъ, Ватиканскимъ съ четырьмя другими, служащими выразителями славы и величія Рима. Далѣе, Тома обратилъ вниманіе на авторитетъ кардинальской коллегіи, на величіе первосвященника, на безчисленную толпу пилигриммовъ всѣхъ странъ и народовъ. Все это Тома видѣлъ и оцѣнилъ по достоинству.

Посѣтивъ семь церквей, побывавъ въ исповѣди и поцѣловавъ ногу у Его Святѣйшества, запасшись многочисленными *агнусами* ¹⁾ и четками,

¹⁾ Родъ медаліоновъ съ изображеніемъ ягненка (символь Христа).

онъ рѣшилъ отправиться въ Неаполь. Такъ какъ было опасное время года для сухопутнаго путешествія отправляющихся въ Римъ или изъ Рима, то Тома отправился моремъ. Къ удовольствію, которое ему доставило посѣщеніе Рима, присоединилось наслажденіе, доставленное ему Неаполемъ, городомъ, по его мнѣнію, и по мнѣнію тѣхъ, кто его видѣлъ, лучшимъ въ Европѣ и даже во всемъ свѣтѣ. Изъ Неаполя Родаха отправился въ Сицилію, Палермо и Мессину. Въ Палермо ему понравилось мѣстоположеніе города, въ Мессинѣ—гавань, а на всемъ островѣ необыкновенное изобиліе, такъ какъ недаромъ его называютъ житницей Италіи. Изъ Сициліи Тома возвратился въ Неаполь и Римъ, откуда отправился къ Ларетанской Божіей Матери. Въ этой церкви нельзя было видѣть стѣны, такъ какъ она вся была покрыта костылями, саванами, цѣплями, разными оковами, париками, восковыми изображеніями, рисунками и картинами, представляющими наглядныя доказательства безчисленныхъ милостей, которыя многіе получили отъ Бога, благодаря заступничеству Его Божественной Матери, Которая, пожелавъ возвеличить и придать значеніе своему святому Образу, наградила многочисленными чудесами вѣру украсившихъ этими предметами Ея святой храмъ. Тома видѣлъ тотъ домъ и комнату, гдѣ произошло высшее Откровеніе, которое созерцали, но не понимали небеса и всѣ ангелы и небожители.

Отсюда Тома направился въ Анкону и высадился въ Венеціи—городѣ, которому не было бы подобнаго, если бы на свѣтѣ не родился Колумбъ, но, благодаря Небу и Фернанду Кортесу, который завоевалъ великую Мексику, есть городъ, могущій соперничать съ Венеціей. Оба эти славные города сходны въ томъ, что имѣютъ пловучія улицы: европейскій городъ былъ предметомъ удивленія всего древняго міра,—американскій—новаго. Томъ показалось, что богатства этого города безконечны, правленіе благоразумно, географическое положеніе—недоступно: что въ немъ обиліе всего, веселыя окрестности, и что вообще и въ частности этотъ городъ вполне достоинъ славы, которая о немъ распространена повсюду, особенно же о громадномъ арсеналѣ, гдѣ строятся галеры и мелкія суда безъ счета.

Нашъ любопытный Родаха едва не забылъ о цѣли своего путешествія среди пиршествъ и развлеченій Венеціи. Однако, пробывъ мѣсяцъ въ этомъ городѣ, онъ чрезъ Феррару, Парму и Плаценцію вернулся въ Миланъ, кузницу Вулкана, предметъ зависти французскаго королевства, городъ, о которомъ говорятъ съ восхищеніемъ, превознося его великолѣпіе и обширность, его храмы и изобиліе во всемъ. Отсюда Тома направился въ Асте и прибылъ наканунѣ отбытія своего отряда во Фландрію. Онъ былъ отлично принятъ своимъ другомъ, капитаномъ, вмѣстѣ съ нимъ отправился во Фландрію и прибылъ въ Амбересъ, городъ не менѣе достойный удивленія, чѣмъ тѣ, которые онъ видѣлъ въ Италіи. Тома побывалъ

въ Гентѣ и Брюсселѣ и узналъ, что вся страна готовится взяться за оружіе и выступить въ походъ слѣдующей весной.

Удовлетворивъ свое желаніе, увидѣвъ все то, о чемъ мечтавъ, Өома рѣшилъ отправиться въ Испанію и продолжать свои занятія въ Саламанкѣ. Онъ привелъ въ исполненіе, что задумалъ, къ великому огорченію своего друга капитана, который, разставаясь, просилъ извѣстить о здоровьи и успѣхахъ. Өома обѣщалъ исполнить эту просьбу и чрезъ Францію вернулся въ Испанію, не видѣвъ Парижа, бывшаго на военномъ положеніи. Наконецъ онъ прибылъ въ Саламанку, гдѣ радушно былъ принятъ своими друзьями и, благодаря ихъ помощи, продолжалъ свои занятія, пока не приобрѣлъ степени лисенсіата правъ. Случилось, что въ это время въ городъ пріѣхала какая-то дама (подозрительнаго поведенія), весьма красивая и изящная. На приманку слетѣлись всѣ окрестныя птички, и не было столь скромнаго студента, который бы не посѣтилъ прекрасной незнакомки. Өомѣ сказали, что эта дама рассказываетъ, будто она побывала въ Италіи и Фландріи. Изъ любопытства, чтобы узнать, не встрѣчалъ ли онъ ее раньше, нашъ молодой ученый посѣтилъ ее. Дама съ перваго же визита влюбилась въ Өому; онъ же всячески уклонялся отъ посѣщеній и только изрѣдка заходилъ, уступая убѣжденіямъ и просьбамъ другихъ.

Наконецъ дама объяснилась ему въ любви и предложила все свое состояніе. Но такъ какъ Өому привлекали книги больше всякихъ другихъ развлеченій, то онъ не пожелалъ уступить желанію сеньоры, которая, видя его невниманіе и, какъ ей казалось, презрѣніе и не надѣясь преодолѣть его упорство обыкновенными средствами, рѣшилась поискать другихъ, на ея взглядъ болѣе дѣйствительныхъ, которыя должны были привести въ исполненіе ея желанія. И вотъ, по совѣту одной мавританки, она дала ему въ айвъ одно изъ *приворотныхъ* средствъ, думая, что дастъ ему нѣчто, долженствующее заставить ее любить, какъ будто на свѣтѣ есть травы, заговоры или слова, могущія принудить свободную волю. Но тѣ, которые даютъ любовныя кушанья или напитки, поистинѣ могутъ быть названы отравителями, такъ какъ они губятъ людей, какъ видно изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ случаевъ.

Айва такъ повредила Өомѣ, что, едва только онъ ее съѣлъ, у него стали болѣть руки и ноги, какъ бы отъ падучей. Въ такомъ положеніи Өома пробылъ много часовъ; онъ всталъ, какъ разбитый параличомъ. и рассказалъ безсвязно и заикаясь, что плодъ, который онъ съѣлъ, едва его не погубилъ, объясняя, кто его имъ угостилъ. Власти, узнавшія объ этомъ происшествіи, стали разыскивать злодѣйку, но та, узнавъ о несчастномъ исходѣ, скрылась и съ тѣхъ поръ никогда не появлялась. Шестъ мѣсяцевъ Өома пробылъ въ кровати и за это время такъ исхудалъ, что отъ него остались лишь кожа и кости; кромѣ того, всѣ его душевныя способности были потрясены. Посредствомъ различнаго рода лѣкарствъ

удалось выгнать Гома отъ тѣлесной немощи, но не отъ душевной. Вставъ на ноги, онъ оказался во власти самой странной, какія только существуютъ, маніи. Несчастному казалось, что онъ сдѣланъ изъ стекла и потому, стоило только кому-либо коснуться его тѣла, онъ начиналъ кричать, что есть сила, умоляя и убѣждая не трогать его, чтобы не разбить, такъ какъ на самомъ дѣлѣ онъ не таковъ, какъ другіе люди, а стеклянный съ головы до ногъ. Чтобы выбить ему изъ головы эту странную идею, многіе, не обращая вниманія на крики и просьбы, хватали его и трясали, убѣждая, что, несмотря на все это, онъ остался цѣлъ. Но этимъ достигалось лишь то, что бѣдняга бросался на землю, издавалъ вопли и падалъ въ обморокъ, отъ котораго приходилъ въ себя лишь спустя четыре часа и снова возобновлялъ просьбы не трогать его. Онъ говорилъ, что они находятся въ заблужденіи, и просилъ, чтобы его оставили въ покоѣ, такъ какъ онъ сдѣланъ изъ стекла, а не изъ плоти, что стекло крайне нѣжный и хрупкій матеріалъ и что душевныя проявленія въ немъ гораздо подвижнѣе и нѣжнѣе, нежели въ тѣлѣ, тяжеломъ и земномъ. Многіе желали испытать, правду ли говоритъ больной, и предлагали трудные вопросы, на которые онъ отвѣчалъ подробно, съ большимъ остроуміемъ; это приводило въ изумленіе многихъ университетскихъ ученыхъ и профессоровъ медицины и философіи. Они удивлялись, что въ субъектѣ, голова котораго была занята сумасбродной идеей, будто онъ сдѣланъ изъ стекла, могло быть столько остроумія, что на всѣ вопросы онъ отвѣчалъ встать и находчиво. Гома просилъ, чтобы ему дали какой либо футляръ, куда онъ могъ бы спрятать свой хрупкій тѣлесный сосудъ, такъ какъ онъ боялся разбиться, надевая узкое платье: ему дали сѣрый плащъ и очень широкую рубашку. Онъ надевалъ это съ большими предосторожностями и опоясался веревкою изъ тростника. Онъ рѣшительно отказался надѣть сапоги, въ же то, что ему давали, слѣдующимъ образомъ: вѣшалъ на конецъ палки сосудъ, куда ему клали плоды и овощи, какіе были въ данное время года; мяса и рыбы онъ не кушалъ, пилъ лишь изъ ручья или рѣки, при томъ пригоршней. Выйдя на улицу, держался ея середины, поглядывалъ не крыши, полный страха, чтобы на него не упала черепица, и не разбила вдребезги. Весной и лѣтомъ бѣдный больной спалъ на полѣ подъ открытымъ небомъ, а зимой прятался въ какую-либо гостинницу, гдѣ на сѣновалѣ, зарывался до шеи въ солому, говоря, что это самое вѣрное прикрытіе для стеклянныхъ людей. Когда гремѣлъ громъ, Гома дрожалъ, какъ отравленный ртутью, уходилъ въ поле и не возвращался въ городъ до прекращенія бури. Друзья сначала держали Гома довольно долго взаперти, но видя, что его болѣзнь отъ этого лишь усиливается, рѣшили уступить его просьбамъ и предоставить свободу. Гома сталъ бродить по городу, изумляя и огорчая своимъ поведеніемъ тѣхъ, кто зналъ его раньше. Уличные мальчуганы стали приставать къ нему. Гома по-

средствомъ палки держалъ ихъ на извѣстномъ разстояніи и просилъ, чтобы его не трогали, такъ какъ, будучи сдѣланъ изъ стекла, онъ весьма нѣженъ и хрупокъ. Но мальчишки, самыя безпокойныя въ мірѣ созданія, не обращая вниманія на вопли и крики больного, стали хватать его за одежду и бросать камнями, чтобы убѣдиться, дѣйствительно-ли онъ сдѣланъ изъ стекла. Тома кричалъ и вопилъ съ такимъ отчаяніемъ, что тронулъ нѣкоторыхъ прохожихъ, которые успѣшили заступиться за него и наказали мальчиковъ за причиняемые безпокойства. Однажды, когда тѣ ужъ очень ему надоѣли, Тома обернулся и сказалъ: „зачѣмъ вы мучаете меня, ребяташки, неотвязчивые какъ мухи, дерзкіе какъ блохи? Развѣ я гора Testucho въ Римѣ, что вы бросаете столько черепковъ и обломковъ?“ Чтобы слышать отвѣты Тома, часто весьма остроумные, за нимъ слѣдовала цѣлая толпа прохожихъ. Такъ, когда онъ проходилъ около лавки со старыми вещами, торговка ему сказала: „Ей Богу, г. лисенсіать, ваше несчастье огорчаетъ меня, но, къ сожалѣнію, я не могу плакать“. Тома важно обратился къ ней съ слѣдующими словами: „Дочери Иерусалима, плачьте надъ собою и надъ своими сыновьями“. Мужъ торговки, услышавъ злой отвѣтъ, замѣтилъ: „Братецъ, лисенсіать, Видріера ¹⁾ (такъ называлъ себя Тома), ты болѣе плутъ, нежели сумасшедшій“. „Мнѣ не дали ни гроша, звучалъ отвѣтъ, чтобы я старался казаться глупцомъ“.

Проходя мимо публичнаго дома, Тома увидѣлъ у воротъ многочисленныхъ его обитательницъ и сказалъ, что это прелестницы войска сатаны, живущія въ аду. Кто-то спросилъ Видріеру, какой совѣтъ могъ быть предложенъ его другу, находящемуся въ глубокой печали, такъ какъ его жена убѣжала съ другимъ? „Скажи ему“, отвѣтилъ Тома, „пусть благодаритъ Бога, Который соблаговолилъ убрать изъ его дома врага“.— „Не слѣдуетъ ли искать ее?“—освѣдомился собесѣдникъ. „Не думаю, возразилъ Видріера, такъ какъ, если-бы удалось найти ее, то въ ней былъ бы найденъ постоянный свидѣтель его позора“.— „Согласенъ“ сказалъ собесѣдникъ, —но что мнѣ дѣлать, чтобы жить въ ладахъ съ моею женою?“— „Дай ей“, сказалъ Тома, „то, чѣмъ ей слѣдуетъ заниматься, позволь ей быть полной хозяйкой въ домѣ, но не позволяй командовать тобой“. Одинъ мальчикъ сказалъ Томѣ: „г-нъ Лисенсіать, я хочу убѣжать отъ отца, потому что онъ часто меня наказываетъ“.— „Обрати вниманіе, мой мальчикъ“, отвѣчалъ Тома, — „что удары родителей ведутъ къ чести ²⁾, удары же палача позорять навсегда“. Находясь на порогѣ церкви, Видріера увидѣлъ, что туда входитъ земледѣлецъ, одинъ изъ тѣхъ, которые кичатся соблюденіемъ христіанскихъ обрядовъ, и за нимъ нѣкто другой, не пользовавшийся такою лестною репутаціею. „Подожди, Воскресенье“, крикнулъ вслѣдъ

¹⁾ Этимологія отъ исп. сл. стекло.

²⁾ Исправляя наказуемыхъ.

первому Ғома, „пусть войдетъ раньше Суббота“. Объ учителяхъ онъ выражался, что они должны быть счастливы, имѣя дѣло, по большей части съ ангелами, тупыми и малоспособными.

Молва о рѣчахъ и отвѣтахъ Видріеры распространилась по всей Кастиліи и дошла до свѣдѣнія одного князя или придворнаго вельможи, который выразилъ желаніе видѣть его, поручивъ одному рыцарю, своему другу, проживающему въ Саламанкѣ, послать за нимъ. Встрѣтившись съ Видріерой, рыцарь сказалъ ему: „знаете-ли, синьоръ Лисенсіать, что одно знатное придворное лицо посылаетъ за вами?“— „Потрудитесь“, отвѣчалъ Видріера, — „извиниться предъ тѣмъ господиномъ въ моемъ отказѣ: я не го-жусь для двора, такъ какъ имѣю стыдъ и совѣсть и не умѣю льстить“.— Тѣмъ не менѣе рыцарь отправилъ Ғому ко двору, а чтобы перевезти его, обратились къ слѣдующему приему: его посадили въ соломенную корзину, служившую для перевозки стекла, съ другой стороны осла привѣсили для равновѣсія камни, въ солому же положили нѣсколько стеколъ, чтобы Ғома могъ вѣрить, что его перевозятъ, какъ стеклянный сосудъ. Онъ прибылъ въ Валлодолидъ ночью къ дому вельможи, который посылалъ за нимъ; его выгрузили съ большими предосторожностями. Вельможа принялъ Ғому очень любезно и обратился съ слѣдующими вопросами: „Добро пожаловать, г-нъ Лисенсіать Видріера, какъ изволили путешествовать? Какъ ваше здоровье?“ На это Видріера въ отвѣтъ:— „Дурное путешествіе не существуетъ, разъ оно окончено, за исключеніемъ пути, который ведетъ на висѣлицу. Что же касается здоровья, то оно удовлетворительно, такъ какъ мой пульсъ находится въ полномъ согласіи съ мозгомъ“.— Въ другой разъ, видя сокола и другихъ птицъ, онъ замѣтилъ, что охота съ соколами достойна князей и аристократовъ, но прибавилъ, что удовольствіе въ ней такъ относится къ пользѣ, какъ одинъ къ двумъ тысячамъ. Охота на зайцевъ, говаривалъ онъ, весьма интересна, особенно когда охотятся съ чужими гончими. Князю понравились рѣчи Видріеры, и онъ позволилъ ему ходить по городу подъ охраной и стражей провожатаго, которому было поручено смотрѣть, чтобы мальчишки не обижали и не оскорбляли больного. Въ теченіе шести дней молва о прибытіи Видріеры разошлась повсюду, и онъ принужденъ былъ отвѣчать на предлагаемые ему вопросы на всякомъ углу, на всякой улицѣ, на всякомъ шагу. Между прочимъ одинъ студентъ спросилъ Ғому, поэтъ ли онъ? (Ему казалось, что у него хватитъ и на это способностей). „Я не столь глупъ“, замѣтилъ Видріера, чтобы сдѣлаться дурнымъ поэтомъ, и не настолько уменъ, чтобы быть въ состояніи сдѣлаться хорошимъ“. Тотъ же студентъ освѣдомился, какого онъ мнѣнія о поэтахъ. „Объ искусствѣ очень хорошаго, но о нихъ лично—дурнаго“. Ғому спросили, почему онъ это утверждаетъ? Видріера отвѣтилъ, что изъ безчисленнаго множества поэтовъ, которыхъ онъ зналъ, лишь весьма немногіе были хорошіе, то есть лишь незначительный процентъ.

Такимъ образомъ, онъ не могъ уважать поэтовъ потому, что ихъ почти не существуетъ, но преклонялся и уважалъ поэтическое искусство. Оно пользуется всѣмъ, всѣмъ украшается, приноситъ пользу, удовольствіе и творить чудеса. Далѣе онъ говорилъ: я знаю, что слѣдуетъ почитать хорошаго поэта, такъ какъ помню слѣдующіе стихи Овидія:

„Въ старину цари и князья заботились о поэтахъ,
И пѣснь удостоялась обильныхъ наградъ.
Вѣщіе пѣвцы были чтимы святыми и получали богатые дары“.

Равнымъ образомъ, если бы я забылъ о достоинствѣ поэтовъ, мнѣ слѣдуетъ вспомнить, что Платонъ называетъ ихъ глашатаями Божества, а Овидій говоритъ,

„Богъ въ насъ, и Онъ воспламеняетъ вдохновеніе.
Мы—святые пророки и любимцы боговъ“.

Все это—о хорошихъ поэтахъ. Что же касается дурныхъ, до болтуновъ, то о нихъ можно сказать, что это самый гнусный и закосячѣлый народъ. Слѣдуетъ взглянуть на такого рода поэтовъ, какъ они вертятся вокругъ другихъ, рассыпаются въ извиненіяхъ и комплиментахъ и говорятъ: «Послушайте, ваша милость, сонетъ, который я сочинилъ ночью по извѣстному случаю; онъ (сонетъ), по моему разумѣнію, во всякомъ случаѣ хорошая штука». Говоря это, онъ надуваетъ губы, стягиваетъ дугою брови, развязываетъ сумку и, между пачкой тысячъ грязныхъ и порванныхъ бумажекъ съ тысячами другихъ сонетовъ, находитъ тотъ, о которомъ упоминалъ, принимаясь за его чтеніе сладкимъ и вкрадчивымъ голосомъ». Если же случится, что кто-нибудь его не похвалитъ (изъ завистниковъ или невѣждъ—навѣрно), онъ говорилъ: «или ваша милость не слышала хорошаго сонета, или я не умѣлъ продекламировать его, поэтому необходимо повторить еще разъ, а ваша милость пусть обратитъ большее вниманіе, такъ какъ произведеніе вполнѣ этого заслуживаетъ». Вслѣдъ затѣмъ онъ принимается снова читать съ другой жестикюляціей и разстановками. «Посмотрите, какъ стихоплеты критикуютъ поэтовъ? Что сказать о лаѣ современныхъ собаченокъ на древнихъ поэтахъ? Что сказать о тѣхъ, которые бормочутъ о прекрасныхъ и возвышенныхъ произведеніяхъ, въ которыхъ сіяетъ истинный свѣтъ поэзіи, и взявъ ихъ предметомъ серьезныхъ бесѣдъ и разсужденій, стараются лишь выставить на видъ свои божественныя (!) мысли и возвышенность соображеній?»...

Другой разъ Видриера спросили, какова причина тому, что поэты въ большинствѣ случаевъ бѣдны? Онъ отвѣчалъ, что они сами этого желаютъ, такъ какъ въ ихъ власти—возможность быть богатыми, стоитъ имъ лишь воспользоваться весьма часто представляющимся къ тому случаемъ, именно позаимствоваться отъ своихъ дамъ, богатѣйшихъ въ мірѣ: волоса у нихъ золотыя, чело изъ гладкаго серебра, глаза изъ сапфира,

зубы изъ слоновой кости, уста изъ коралла, голосъ изъ прозрачнаго хрустала, слезы — чистый жемчугъ. Какъ-бы ни бесплодна была земля, стоять только ступить на нее дамъ поэта, чтобы въ одно мгновеніе выросли розы и жасмины. Дыханіе дамы—амбрé, мускусъ, порей. Все это, вмѣстѣ взятое, свидѣтельствуесть о большемъ богатствѣ дамъ. Это и тому подобное Видриера говорилъ о дурныхъ поэтахъ; о хорошихъ же онъ отзывался очень хорошо, превознося до луны.

Однажды въ часовнѣ св. Франциска Тома, увидѣлъ нѣсколько образовъ, плохо написанныхъ. Онъ сказалъ, что хорошіе живописцы подражаютъ природѣ, дурные же ее искажаютъ. Въ другой разъ, соблюдая большія предосторожности, чтобы не разбиться, Видриера остановился у лавки книгопродавца и сказалъ: «Это занятіе нравилось бы мнѣ, если бы не существовало обманомъ». Книгопродавецъ просилъ объясненія. «Когда надо получить право изданія, дѣлаются самыя щедрыя предложенія; далѣе, печатается больше, чѣмъ условлено, напр., 3000 вмѣсто 500 экз., такъ что, когда авторъ думаетъ, что продають его экземпляры, книгопродавцы торгують своими».

Случилось, что въ тотъ же день привели на площадь шестерыхъ арестантовъ. Конвойный сталъ выкрикивать: «Первый воръ»!.. Видриера обратился къ стоящимъ за нимъ прохожимъ: «Удалитесь, друзья, чтобы не стали вызывать кого либо изъ васъ»; когда же конвойный сказалъ: «назадъ», Видриера замѣтилъ: «Его бы слѣдовало приставить къ мальчишкамъ».

Здѣсь же на площади находился одинъ изъ общественныхъ носильщиковъ¹⁾ и спросилъ: «Г. Лиценсіатъ, о нашихъ что вы можете сказать»...? «Ничего кромѣ того, что всякій изъ васъ знаетъ больше любого исповѣдника, съ тѣмъ лишь различіемъ, что исповѣдникъ умѣетъ держать втайнѣ, а вы болтаете по кабакамъ». Это услышалъ погонщикъ муловъ—этого рода люди постоянно окружали Видриера—и сказалъ ему: «О васъ, г. Бутылка, вы можете сказать мало или почти ничего, такъ какъ мы самые необходимые въ государствѣ люди». На это Видриера въ отвѣтъ: «Достоинство и положеніе хозяина узнаются по служителямъ; всякаго уважають сообразно съ тѣмъ, кому онъ служить.—Вы слуги самой презрѣнной въ мірѣ скотины. Однажды—когда я еще не былъ изъ стекла,—мнѣ пришлось путешествовать на ослицѣ, одной изъ тѣхъ, которыя имѣють по 120 пороковъ, непріятнѣйшихъ для сѣдока. У погонщиковъ муловъ есть въ характерѣ черты сводниковъ, шутовъ и воровъ. Если ихъ господа (такъ называютъ они тѣхъ, кому нанимають муловъ) простецы, они продѣлываютъ съ ними злыя шутки, какъ случалось въ этомъ городѣ, если это чужестранцы—они ихъ обкрадываютъ; если студенты—

¹⁾ Переносившихъ за извѣстную плату пассажировъ.

ругаются съ ними; если духовные—богохульствуютъ въ ихъ присутствіи и дрожать въ присутствіи солдатъ. Погонщики муловъ, матросы и извозчики ведутъ своеобразный, отличный отъ обыкновеннаго, образъ жизни. Извозчикъ всю жизнь ограниченъ пространствомъ своей повозки. Его время заполняется пѣніемъ и проклятіями, иногда онъ прикриваетъ: «берегись» и «съ дороги». Когда надо вытащить колесо изъ грязи, то онъ начинаетъ ругаться, полагая, что ругань можетъ принести больше пользы, чѣмъ три клячи.

«Моряки весьма интересный, но крайне грубый народъ, не знающій другого языка, кромѣ употребляемаго имъ на корабляхъ; во время тихой погоды—они прилежны, во время бури—лѣнны, во время шквала они много приказываютъ, но мало слушаютъ. Ихъ Богъ—сундуки и матрацъ, а развлеченіе — видѣть страданія пассажировъ морскою болѣзнию. Погонщики муловъ—люди, взявшіе разводъ съ простынями, а сошедшіеся съ сѣдлами; они такъ прилежны и предусмотрительны, что изъ опасенія потерять день, готовы погубить душу. Ихъ музыка похожа на пушечные выстрѣлы, приправа ихъ — голодь; вмѣсто посѣщенія заутрени они встаютъ засыпать овесъ, вмѣсто проповѣди—никого не слушаютъ».

Все это Видриера говорилъ у дверей аптеки и, замѣтивъ аптекаря, обратился съ слѣдующею рѣчью: «Ваша милость имѣла-бы весьма почтенную профессію, если бы не относилась съ такою враждою къ лампамъ». «Какъ это?», переспросилъ аптекарь.—«Я говорю это потому, что, если не достанетъ для лѣкарства какого-либо масла, вы подливаете изъ первой, попавшейся въ руки лампы — достаточно спросить у любого медика». Спрошенный, какое основаніе онъ имѣетъ утверждать вышеизложенное, Видриера отвѣтилъ, что зналъ аптекаря, который не рѣшался никогда сказать, что у него нѣтъ того медикамента, который прописалъ докторъ, но клалъ тѣ, которые, по его разумѣнію, имѣли тѣ же свойства и качества, тогда какъ на дѣлѣ это было не такъ. Неправильно составленное лѣкарство дѣйствовало какъ разъ наоборотъ, чѣмъ то, которое было прописано.

Когда Өому спросили, что онъ думаетъ о докторахъ, онъ отвѣтилъ: «Почитай врача честию по надобности въ немъ, ибо Господь создалъ его, и отъ Вышняго врачеваніе, и отъ Царя получаетъ онъ даръ. Знаніе врача возвыситъ его голову, и между вельможами онъ будетъ въ почетѣ. Господь создалъ изъ земли врачества, и благоразумный человекъ не будетъ пренебрегать ими».

Это говоритъ Сирахъ (гл. 38) о медицинѣ и о хорошихъ врачахъ; о дурныхъ же можно сказать противоположное, ибо нѣтъ болѣе опаснаго для государства сословія. Судья можетъ дѣлать проволочки, откладывая рѣшеніе. Адвокатъ можетъ поддерживать несправедливое требованіе изъ-за собственнаго интереса; купецъ можетъ разорить насъ; вообще всѣ,

съ вѣмъ намъ случается имѣть дѣло, могутъ нанести намъ обиду или причинить убытокъ; но лишитъ жизни, не опасаясь наказанія, — никто; только врачи могутъ убивать насъ и умерщвляютъ спокойно, безъ малѣйшаго страха, пользуясь лишь рецептами. Слѣдовъ ихъ преступленія открыть нельзя, такъ какъ они немедленно исчезаютъ въ землѣ. Мнѣ случалось видѣть, продолжалъ Видриера, когда я еще былъ изъ плоти, а не изъ стекла; какъ въ настоящее время, что одинъ изъ второстепенныхъ врачей передалъ одного своего больного товарищу. Дня черезъ четыре ему пришлось проходить черезъ аптеку, въ которой приготовлялось лѣкарство для сказаннаго больного; нашъ врачъ освѣдомился у аптекаря, какъ здоровье его бывшаго паціента, и прописали ли ему слабительное, или что-либо другое? Аптекарь отвѣтилъ, что у него есть рецептъ слабительнаго, которое больной долженъ былъ принять на слѣдующій день. Врачъ попросилъ показать рецептъ, на которомъ въ заключеніе было сказано: «*Sumat diluculo*»¹⁾, «Рецептъ этотъ мнѣ нравится, сказалъ медикъ, кромѣ этого *diluculo*, такъ какъ онъ необыкновенно влаженъ».

Чтобы слушать подобные отзывы о всѣхъ профессіяхъ, около Видриеры толпилось много народа, не дѣлая ему вреда, но и не оставляя его въ покоѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не могъ отбиться отъ мальчишекъ, и только сторожа отстаивали его.

Однажды его спросили, что дѣлать, чтобы избѣжать зависти? «Спи, и пока будешь спать, будешь равенъ тому, кому завидуешь». Въ другой разъ Видриера проходилъ мимо судьи, который шелъ разбирать уголовное дѣло, окруженный многочисленной толпою и въ сопровожденіи двухъ полицейскихъ. «Я увѣренъ, сказалъ Тома, готовъ побиться о закладъ, что этотъ судья имѣетъ змѣй въ груди, пистолеты въ чернильницѣ и молнію въ рукахъ, чтобы громить и уничтожать, какъ требуетъ его должность. Помню, у меня былъ другъ, судья, который по одному дѣлу произнесъ вопіющее рѣшеніе, преувеличивая многократно вину подсудимыхъ; я спросилъ, отчего онъ произнесъ такой жестокой приговоръ и совершилъ такую явную несправедливость? Онъ отвѣтилъ, что имѣлъ въ виду вызвать апелляцію и тѣмъ предоставить полную возможность показать милосердіе и умѣренность членамъ совѣта, вводя въ должные предѣлы строгое рѣшеніе. Я замѣтилъ, что лучше было бы сдѣлать постановленіе, которое дѣлало бы ненужнымъ эту заботу, а вмѣстѣ съ тѣмъ обезпечило ему репутацію честнаго и справедливаго судьи. Среди толпы, которая всюду ходила за Видриерой, находился одинъ изъ его знакомыхъ въ костюмѣ лисенсіата, что давало поводъ нѣкоторымъ называть его докторомъ. Видриера, зная, что у того, кого считали докторомъ, не было даже степени

¹⁾ Принимать утромъ.

бакалавра, сказалъ ему: «Берегитесь, мой другъ, чтобы васъ съ вашимъ титуломъ не встрѣтили Братья Ордена Искупленія, которые легко обнаружили бы обманъ». — «Будемъ друзьями, г. Видриера, вы вѣдь знаете, что я высоко и глубоко ученый человѣкъ». — «Знаю», возразилъ Видриера, что ты Танталъ въ наукахъ, такъ какъ не можешь постичь ни ихъ высоты, ни ихъ глубины». Остановившись однажды у лавочки портного, Видриера увидѣлъ на порогѣ хозяина съ скрещенными руками; онъ сказалъ ему: «Вы, мастеръ, находитесь въ настоящее время на пути къ спасенію». Почему ты такъ думаешь?—спросилъ портной. «Я вижу что ты ничего не дѣлаешь, а слѣдовательно, не имѣешь предлога и лгать». Далѣе онъ прибавилъ: «Несчастенъ портной, который не лжетъ и не шьетъ по праздникамъ. Удивительно, что среди людей этой профессіи едва ли найдется одинъ, который сдѣлаетъ впору платье, а множество такихъ, которые его портятъ». О сапожникахъ Видриера говорилъ, что, по ихъ мнѣнію, они не умѣютъ шить дурной обуви; если сапогъ окажется узкимъ и жметъ, сапожникъ говорить, что такъ обуваются щеголи, и что стоитъ поносить ихъ часа два—они сдѣлаются шире сандалій. Сдѣлавъ широкіе сапоги, они утверждаютъ, что отъ болѣе узкихъ можетъ развиться подагра.

Одинъ неглупый юноша, провинціальныи чиновникъ, часто обращался къ Видриерѣ съ разспросами и вопросами и сообщалъ ему всѣ новости, такъ какъ тотъ обо всемъ рассуждалъ и на все отвѣчалъ. Однажды онъ сказалъ ему: «Видриера, сегодня ночью умеръ въ тюрьмѣ ростовщикъ, котораго приговорили было къ повѣшенію». — «Отлично сдѣлалъ, что умеръ, прежде чѣмъ палачъ сядетъ ему на шею». Во дворѣ церкви св. Франциска находился отрядъ генуэзцевъ; когда Видриера проходилъ, одинъ изъ нихъ закричалъ: „Пожалуйте сюда, Видриера, расскажите намъ сказку“. „Не хочу, отвѣтилъ тотъ, ты возьмешь ее съ собою въ Геную¹⁾“.

Передъ пожилой купчихой шла ея дочь, безобразная дѣвица, разукрашенная дорогими камнями, жемчугомъ, въ прекрасномъ платьѣ. Обращаясь къ матери, она замѣтилъ: „Ты хорошо сдѣлала, вымостивъ дочь, чтобы по ней можно было прогуляться глазами“.

О булочникахъ Видриера говорилъ, что они давно уже играютъ въ *dobladilla*²⁾, не подвергаясь риску быть наказанными; такъ они изъ двухкопеечнаго хлѣба дѣлаютъ четырехкопеечный, затѣмъ восьмикопеечный, далѣе въ полъ реала, руководствуясь лишь своей фантазіей и расположеніемъ духа.

Про содержателей кукольныхъ театровъ Видриера говорилъ много дурного, называя ихъ бродягами, которые обращаются непристойно съ

1) Генуэзцы вывозили изъ Испаніи милліоны, получаемые ими за товары.

2) Азартная игра, въ который проигрышъ и выигрышъ считались вдвойнѣ.

самыми священными сюжетами, передают осмѣянію, посредствомъ своихъ фигурокъ, святыхъ; имъ случается держать въ одномъ мѣшкѣ лица Ветхаго и Новаго Завѣта и садиться на нихъ къ обѣду въ лавченкахъ и кабакахъ; онъ удивлялся, что власть имѣющіе не запретятъ этихъ представлений и не выгонятъ ихъ изъ предѣловъ государства.

Однажды Видриера проходилъ около разодѣтаго, какъ князь, актера. Посмотрѣвъ на него, нашъ докторъ сказалъ: «Помню, я его видѣлъ на сценѣ съ распудренной физіономіей, въ шубѣ на изнанку. Виѣ сцены онъ клянется «честью дворянина». «Онъ долженъ былъ и могъ это сдѣлать,—возразилъ кто-то, вѣдь на сценѣ есть много актеровъ благороднаго происхожденія и дворянъ». — «Пусть такъ,—отвѣтилъ Видриера, хотя для сцены благородное происхожденіе не нужно: нужны ловкость, изящество и краснорѣчіе. Совершенно вѣрно говорится объ актерахъ что они въ потѣ лица зарабатываютъ насущный кусокъ хлѣба, тяжелымъ упорнымъ трудомъ, вѣчно утомляя память, перебѣжая съ мѣста на мѣсто, изъ гостинницы въ гостинницу, стараясь позабыть публику, что для нихъ особенно важно. Они не заботятся, чтобы никого не обманывать; напротивъ, они выставляютъ на показъ свое искусство во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ, на судѣ и пр.; на сценѣ нерѣдко трудъ автора дѣлается неузнаваемымъ, его идеи странными ¹⁾; актеры зарабатываютъ такъ много, что по истеченіи года попадаютъ въ долги, заставляющіе ихъ затѣивать процессы съ кредиторами; несмотря на все это, актеры необходимы для государства, какъ роши, цвѣты и достойныя развлечения». Видриера говорилъ со словъ своего пріятеля, что ухаживающій за актрисой—ухаживаетъ за нѣсколькими дамами вмѣстѣ: королевой, нимфой, богиней, прачкой, пастушкой, а часто даже пажомъ и лакеемъ, такъ какъ весьма часто одна актриса принуждена играть всѣ эти роли.

Видриера спросили, кто самый счастливый человекъ въ мірѣ: онъ отвѣтилъ: *Nemo* (никто), такъ какъ «*nemo novit patrem, nemo sine crimine vivit, nemo sua sorte contentus; nemo ascendit in coelum* ²⁾».

О фехтовальщикахъ Видриера говоритъ, что они мастера своего дѣла, но забываютъ о своемъ искусствѣ, когда надо его пустить въ ходъ; что они не самоувѣрены, претендуя на то, что приводятъ къ точнымъ математическимъ вычисленіямъ гнѣвныя движенія и мысли своихъ противниковъ.

Но съ особенной враждебностью относился Видриера къ цирюльникамъ; одному изъ нихъ, португальцу по происхожденію, который, хватаясь за свою крашеную бороду, воскликнулъ: «Клянусь бородой, которая у

¹⁾ Въ игрѣ актеровъ.

²⁾ „Никто“ знаетъ своего отца, „никто“ живетъ праведно, „никто“ доволенъ своею судьбою; „никто“ взойдетъ на небо“.

меня на подбородкѣ», Тома замѣтилъ:—«Не говори, дружище, имѣю, но крашу»¹⁾).

Другой носилъ бороду нѣсколькихъ цвѣтовъ, не успѣвъ ее выкрасить хорошо; ему Видриера замѣтилъ, что его борода похожа на навозную кучу. Тому, у котораго борода была на половину бѣлая, такъ какъ сѣдые волосы отрастали, Видриера посовѣтовалъ не ссориться ни съ кѣмъ, чтобы не подвергнуться упреку въ томъ, что онъ лжетъ половиной бороды. Говоря о бородахъ, Видриера передавалъ слѣдующее происшествіе. Одна разсудительная и послушная дѣвушка, слѣдуя желанію своихъ родителей, дала свое согласіе на бракъ со старикомъ, который наканунѣ брачнаго дня побывалъ не въ рѣкѣ Іорданѣ, какъ говорятъ старухи, а въ бутылкѣ крѣпкаго металлическаго раствора, посредствомъ котораго онъ обновилъ свою снѣжную бороду, сдѣлавъ ее черною, какъ смоль. Когда наступило время подать другъ другу руки, дѣвица, увидя раскрашенную фигуру, обратилась къ своимъ родителямъ съ просьбою дать ей того жениха, котораго ей показывали, а не другого, котораго она не желала. Тѣ стали увѣрять, что это тотъ старикъ, котораго ей предлагали въ мужья. Она продолжала упорствовать и увѣряла, что прежній ея женихъ былъ почтенный, украшенный сѣдинами человѣкъ; у этого же сѣдины нѣтъ, слѣдовательно это новое лицо; все же дѣло она называла обманомъ. Произошла ссора; выкрасившій бороду счелъ себя обиженнымъ и бракъ разстроился.

Въ такой же степени враждебно, какъ къ щеголямъ, относился Видриера къ дуэньямы и разсказывалъ чудеса о ихъ восклицаніяхъ: *rag ma foi!*, объ ихъ платкахъ и вуаляхъ, ихъ странныхъ манерахъ и ужимкахъ. Его раздражали ихъ болѣзни и обмороки, разговоры такіе же странные, какъ ихъ вуали, ихъ сплетни и бездѣліе.

Кто-то сказалъ ему: «Лисенсіатъ, вы столько говорили о многихъ профессіяхъ, но ничего еще не сказали о чиновникахъ, а вѣдь не мало нашлось бы сказать?»—«Хотя я изъ стекла»,—отвѣчалъ Видриера,—«но не на столько хрупокъ, чтобы идти за толпою, въ большинствѣ случаевъ находящеюся въ заблужденіи. Я полагаю, что грамматика недовольныхъ и клеветниковъ, ихъ *do, re, mi*,—чиновники; подобно тому какъ нельзя перейти къ другимъ наукамъ, не изучивъ грамматики, подобно тому, какъ музыкантъ напѣваетъ прежде чѣмъ запѣть, такъ и клеветники, прежде чѣмъ развернуть во всемъ блескѣ злобу своихъ языковъ, отзываются дурно о нотаріусахъ, алгазіяхъ и о судейскихъ чиновникахъ. Безъ нотаріуса истина была бы скрыта, стыдась и подвергаясь дурному обращенію. Нотаріусъ—лицо общественное, и должность судьи не можетъ быть безъ него исправляема. Нотаріусы должны быть свободны, а не рабы и не дѣти

¹⁾ Игра словъ *tengo* (tengo)—имѣю; *tino*—крашу.

рабовъ, а законные и хорошей семьи. Они присягаютъ быть честными, умѣть хранить тайну и неподкупность; ни дружба, ни вражда, ни прибыль, ни убытокъ не должны заставить ихъ измѣнить христіанской совѣсти. Такъ какъ эта должность требуетъ столько хорошихъ качествъ, то говорятъ, что діаволь имѣеть среди нотаріусовъ (ихъ болѣе 20,000 въ Испаніи) обильную жатву, какъ будто бы они были его знакомые. Я не желаю этому вѣрить и не хочу, чтобы кто-либо этому вѣрилъ, такъ какъ въ концѣ концовъ это необходимые въ благоустроенномъ государствѣ люди: они пользуются большими правами и дѣлаютъ съ одной стороны много хорошаго, съ другой—много дурного; изъ этихъ двухъ крайностей можно получить нѣчто среднее».

О полицейскихъ Видріера говорилъ, что они легко наживаютъ враговъ, такъ какъ ихъ обязанность арестовывать, описывать имущество, держать подъ стражею и содержаться на счетъ общества.

Видріера особенно порицалъ прокуроровъ и адвокатовъ, сравнивая ихъ съ медиками, которымъ все равно, вылѣчатъ ли они или залѣчатъ больного,—лишь бы получить свой гонораръ.

Однажды его спросили: какая страна лучшая? «Плодоносная и съ умѣреннымъ климатомъ». Ему отвѣтили, что спрашиваютъ не объ этомъ, а какой городъ лучше: Валлядолидъ или Мадридъ. «Верхъ и низъ въ Мадридѣ; середина—въ Валлядолидѣ». Собесѣдникъ освѣдомился, что значить этотъ отвѣтъ; Видріера возразилъ: «Въ Мадридѣ хороши небо и земля; въ Валлядолидѣ—то, что находится между ними».

О курьерахъ и музыкантахъ Видріера говорилъ, что карьера ихъ ограничена: первые мечтаютъ сдѣлаться министерскими, вторые — придворными.

Находясь въ церкви, гдѣ хоронили старика, крестили ребенка и посвящали въ монахини молодую дѣвушку, Видріера сказалъ: «Храмъ—поле брани, гдѣ падаютъ старики, побѣждаютъ молодые и торжествуютъ женщины». Однажды Ѳому укусила въ шею пчела; онъ не рѣшился отогнать ее, боясь разбиться; несмотря на свое терпѣніе, онъ жаловался на боль. Его спросили: какъ можетъ онъ чувствовать укушеніе пчелы, будучи изъ стекла? Ѳома отвѣтилъ, что пчела эта вѣроятно была клеветникомъ, а языки и уколы клеветы могутъ проникнуть въ бронзовое, не только въ стеклянное тѣло.

Видя проходившаго мимо толстаго патера, кто-то замѣтилъ: «Этотъ патерь такъ худъ, что не въ силахъ повернуться». Видріера разсердился и сказалъ:—«Развѣ вы забыли, что говорить Духъ святой: *nolite tangere christos meos*», и, еще болѣе впадая въ гнѣвъ, прибавилъ: «чему вы удивляетесь въ немъ? Изъ многочисленныхъ святыхъ, которыхъ канонизировала церковь или помѣстила въ число благословенныхъ, никто не назывался капитанъ такой-то и секретарь такой-то, графъ, маркизь и гер-

цогъ,—но просто братъ Діего, Гіацинтъ, Раймундъ. Святые монахи—плоды неба, служащіе трапезой Господу».

О содержателяхъ игорныхъ домовъ и шулерахъ Видріера говорилъ ужасныя вещи: онъ утверждалъ, что содержатели игорныхъ притоновъ—носители общей порчи, такъ какъ получая извѣстную долю отъ банкмета, они желали бы, чтобы онъ проигралъ и передалъ карты другому, чтобы тотъ въ свою очередь оплатилъ свои права. Видріера превозносили терпѣніе шулера, который проводилъ цѣлую ночь, играя и проигрывая и, будучи темперамента пылкаго и раздражительнаго, не открывалъ рта, терпя муки Варраввы изъ опасенія, чтобы партнеръ не всталъ и не оставилъ игры. Вообще онъ говорилъ столько и такъ умно, что, если бы не громкіе крики, которые онъ издавалъ, когда къ нему приближались или его трогали, если бы не странное платье на немъ, воздержаніе въ пищѣ, странныя приемы при питьѣ, ночи, проводимыя лѣтомъ подъ открытымъ небомъ, а зимой въ соломѣ,—всякій считалъ бы его вполне разсудительнымъ и нормальнымъ человекомъ.

Два года или нѣсколько болѣе Фома былъ боленъ этой болѣзнью; наконецъ одинъ монахъ ордена св. Іеронима, который обладалъ даромъ заставлять говорить нѣмыхъ и пользоваться сумасшедшихъ, тронутый его положеніемъ, взялъ на себя трудъ вылѣчить Видріера. Онъ совершенно излѣчилъ Фому, возвративъ ему прежній разсудокъ, пониманіе и рѣчь. Видя, что Фома совершенно здоровъ, монахъ одѣлъ его въ платье ученаго и заставилъ вернуться ко двору, гдѣ, проявивъ свои способности, онъ могъ бы получить соответствующее его подготовкѣ мѣсто и приобрести извѣстность. Фома такъ и поступилъ и, назвавшись лисенсіатомъ Руэдой, а не Родахой, приѣхалъ ко двору, гдѣ немедленно же былъ узнавъ мальчиками. Когда тѣ увидѣли его въ другомъ платьѣ, не смѣли ни кричать, ни надоедать, но слѣдовали и говорили другъ другу: «Не это ли сумасшедшій Видріера. Дѣйствительно, это онъ, но повидимому совершенно здоровый. Однако онъ можетъ быть сумасшедшій, несмотря на то, что одѣтъ какъ здоровый. Спросимъ его о чемъ-либо и выйдемъ изъ недоумѣнія».

Все это слышалъ лисенсіатъ, молчалъ и шелъ болѣе смущенный и пристыженный, чѣмъ тогда, когда былъ въ своемъ умѣ. Отъ мальчишекъ узнали и взрослые и не успѣлъ еще лисенсіатъ достигъ двора совѣта, какъ его окружили люди почтеннаго возраста всѣхъ сословій. Съ этой свитой, которая была многочисленнѣе, нежели у архіерея, Видріера прибылъ во дворецъ, гдѣ его окружили всѣ, здѣсь находящіеся. Увидѣвъ себя окруженнымъ такою толпою, Видріера возвысилъ голосъ, говоря: «Сеньоры, я—лисенсіатъ Видріера, но не такой, какъ раньше: я—лисенсіатъ Руэда; случайности и несчастія, которыя постигаютъ насъ на землѣ по соизволенію Божію, лишили меня разсудка, а милосердіе Божіе мнѣ его

снова вернуло; по тому, что я говорилъ, бывъ сумасшедшимъ, вы можете предположить, что я могу говорить, будучи здоровымъ: я получилъ ученую степень въ Саламанкѣ, гдѣ усердно занимался, несмотря на бѣдность; отсюда вы можете заключить, что болѣе старанію, чѣмъ счастію, я обязанъ той степенью, которую имѣю. Я пришелъ къ берегу этого безбрежнаго моря—двору, чтобы поискать занятія и заработка, и потому, если вы не оставите меня въ покоѣ, я стану искать и найду лишь смерть. Я васъ умоляю именовъ Господа, чтобы ваше слѣдованіе не дѣлалось преслѣдованіемъ; что нравится сумасшедшему—не нравится человѣку нормальному. Спрашивайте меня дома о томъ, что вы меня спрашивали на улицахъ, и вы увидите, что я сумѣю отвѣчать, подумавъ, не хуже, чѣмъ экспромтомъ». Всѣ его выслушали и нѣкоторые оставили въ покоѣ. Онъ вернулся домой въ сопровожденіи нѣскольکو меньшаго числа людей. На другой день онъ вышелъ и случилось то же; Видриера произнесъ другую рѣчь—и это ни къ чему не привело. Онъ много терялъ и ничего не выигрывалъ, такъ что рѣшилъ оставить дворъ и уѣхать во Фландрію, гдѣ думалъ зарабатывать себѣ пропитаніе физической силою, ибо не могъ ничего заработать умомъ. Приводя свое намѣреніе въ исполненіе, Тома сказалъ, покидая дворъ: «О дворъ, поощряющій дерзкихъ искателей и лишающій надежды добродѣтельныхъ и скромныхъ; ты кормишь безстыжихъ обманщиковъ и моришь голодомъ честныхъ и стыдливыхъ людей». Сказавъ это, Тома отправился во Фландрію, гдѣ кончилъ начатую ученой дѣятельностью карьеру военной, въ полку своего добраго друга, капитана Вальдовіа, оставивъ послѣ смерти репутацію благоразумнаго и храбраго воина ¹⁾.

Л. Шепелевичъ.



¹⁾ Переводчикъ старался воспроизвести по возможности точно текстъ подлинника, но въ нѣсколькихъ мѣстахъ былъ принужденъ сдѣлать незначительныя сокращенія.



Философъ «красивой жизни».

(Джонъ Рескинъ).

I.

Красота, мораль и благо человечества,—таковы три основныя проблемы, въ теченіе вѣковъ занимавшія мыслителей. Эстетики, моралисты и социологи,—на эти три группы принято дѣлить людей, которые кладутъ въ основу человѣческой жизни одинъ изъ трехъ основныхъ принциповъ. Сообразно съ своими собственными склонностями, съ потребностями и воззрѣніями эпохи, одни требуютъ такого строя жизни, который давалъ бы просторъ возможно интенсивнѣйшему развитію искусства. Успѣхами послѣдняго измѣряютъ они человѣческій прогрессъ и сталкиваясь въ своихъ стремленіяхъ съ другими потребностями человѣческаго духа, они, не задумываясь, готовы принести эти послѣднія въ жертву эстетическому принципу. Съ другой стороны, моралистъ считаетъ основой жизни торжество высшаго нравственнаго закона. Его интересуетъ лишь вопросъ о томъ, насколько наша жизнь является осуществленіемъ высшей справедливости. Наконецъ, социологъ занятъ вопросомъ объ общественныхъ отношеніяхъ, о такомъ строеніи общества, которое даетъ наибольшую возможность членамъ этого общества удовлетворять свои матеріальныя и духовныя потребности.

Эти принципы идутъ въ своемъ развитіи каждый своимъ особымъ путемъ; представители ихъ нерѣдко не только не заботятся о согласованіи ихъ между собою, но даже считаютъ ихъ непримиримыми врагами. Едва ли можно усомниться въ томъ, что моралисты въ большинствѣ случаевъ въ глубинѣ души являются врагами искусства. Эта вражда сквозитъ и въ „Республикѣ“ Платона, ею проникнуть и авторъ „Новой Элоизы“ и творецъ „Анны Карениной“. Односторонность—основная черта такихъ мыслителей съ мощнымъ развитіемъ одной стороны человѣческаго духа въ ущербъ остальнымъ.

Обаяніе Рескина заключается въ томъ, что онъ сумѣлъ отрѣшиться отъ такой односторонности. Пытливый умъ его не могъ отказаться отъ своей неустанной работы до тѣхъ поръ, пока авторъ „Современныхъ художниковъ“ не привелъ въ стройную гармонію свои эстетическіе принципы и съ требованіями нравственности и съ правами обездоленныхъ членовъ общества. Начавъ съ благоговѣйнаго преклоненія передъ природой и искусствомъ, онъ не замкнулся въ этой узкой сферѣ; его эстетическіе восторги ежеминутно нарушались неприглядными картинами; дымъ фабричныхъ трубъ мѣшалъ великому эстетикѣ наслаждаться созерцаніемъ тонкихъ облаковъ, видъ красиваго здороваго человѣческаго тѣла терялъ свою прелесть, когда рядомъ появлялись изможденные лица больныхъ и голодныхъ.

И Рескинъ понялъ, что всѣ стороны современной жизни нуждаются въ коренномъ пересмотрѣ, что для того, чтобы сдѣлать возможнымъ полное наслажденіе красотой, необходимо измѣнить всѣ наши нравственныя понятія, поселить правильные взгляды на истинное благо жизни. Рескинъ смѣло взялся за эту сложную работу, и результаты получились удивительныя. Красота осталась центромъ и главной цѣлью человѣческой жизни, но истинная нравственность и истинное счастье человечества не только не шли въ разрѣзъ съ ея развитіемъ, напротивъ того ихъ правильное развитіе обусловливало возможность полного и правильнаго наслажденія природой и искусствомъ. На высотахъ искусства сливались всѣ элементы въ одно цѣлое до того нераздѣльно и гармонично, что отсутствіе одного изъ нихъ служило вѣрнымъ признакомъ отсутствія или несовершенства другихъ. Эстетикъ превратился въ моралиста и политико-эконома, но въ его всеобъемлющей личности вскорѣ ступевались всякія дѣленія. Онъ сумѣлъ такъ тонко и искусно установить связь между отдѣльными сторонами жизни, такъ ясно показать, что только при справедливомъ согласованіи труда и вознагражденія возможно и созданіе твореній истиннаго искусства и полное наслажденіе ими, онъ такъ искусно соединилъ въ стройную схему вѣчныя проблемы нашей жизни, что трудно разобраться въ вопросѣ о томъ, гдѣ въ его твореніяхъ кончался эстетикъ и начинался моралистъ или финансистъ. Только „красивая жизнь“ можетъ быть и справедливой и счастливой; только тотъ строй жизни, въ которомъ не оскорбляется нравственный законъ, не попираются права массъ въ пользу немногихъ, есть строй истинно здоровой и прекрасной жизни.

Но если міросозерцаніе Рескина нельзя подогнать ни подъ какую классификацію, то то же самое слѣдуетъ сказать и о формахъ и приемахъ его мышленія и дѣйствительности. Былъ ли Рескинъ идеалистомъ или реалистомъ, былъ ли онъ практикомъ, дѣльцомъ, или мечтателемъ-утопистомъ, на эти вопросы почти невозможно отвѣтить. Онъ требовалъ отъ художника, чтобы тотъ съ полной искренностью сердца, внимательно и до-

вѣрчиво слѣдовалъ природѣ, не задаваясь никакой другой мыслью, кромѣ той, чтобы наиболѣе вѣрно проникнуть въ смыслъ природы, ничего въ ней не отбрасывая, ничего не упуская изъ виду, ничѣмъ не пренебрегая. Но едва вы успѣете признать въ авторѣ этого завѣта великаго реалиста, какъ дальнѣйшій ходъ его мыслей уже влечетъ васъ изъ области почти фотографіи въ сферы высшаго идеализма. „Проникнуть въ смыслъ природы“—это не значитъ заняться ея химическимъ составомъ, ея физическими свойствами, ея полезностью, богатствомъ ея эволюцій. Нѣтъ, это значитъ постигнуть, что сѣрое небо навѣваетъ на насъ уныніе, а голубое вселяетъ въ насъ бодрость, что звуки минорной гаммы наполняютъ насъ грустью, а лучъ солнца согрѣваетъ радостью. Художникъ изъ фотографа превращается въ чуткаго генія, онъ не копируетъ природу, а передаетъ вліяніе природы и красоты на человѣческую душу. Но для этого вовсе не нужно выбирать или идеализировать. Нужна только благоговѣйная, искренняя любовь къ природѣ, чистой, неиспорченной прикосновеніемъ рукъ человѣческихъ. Такъ на высотахъ искусства сливаются и истинный реализмъ и истинный идеализмъ въ проникновенномъ созерцаніи и изображеніи природы.

Рескинъ хотѣлъ остановить колесо исторіи; въ вѣкъ колоссальнаго развитія индустріи и машиннаго дѣла онъ требовалъ возврата къ ручному первобытному способу производства; въ эпоху нервной городской жизни онъ звалъ въ деревню, въ горы и дикія долины; въ вѣкъ пара и желѣзныхъ дорогъ онъ предпочиталъ медленно ѣздить въ своей каретѣ. Но этотъ мечтатель-утопистъ превращался въ дѣльца и удивительнаго практика, когда приводилъ въ исполненіе свои на первый взглядъ фантастическіе проекты. Въ нѣсколькихъ часахъ пути отъ Лондона, окутаннаго фабричнымъ дымомъ, гремящаго несмолгаемымъ грохотомъ колесъ и машинъ, въ красивыхъ коттеджахъ возникли странныя мастерскія, гдѣ прядли на прадѣдовскихъ пряхкахъ и ткали полотно на старинныхъ ткацкихъ станкахъ. И этотъ древній способъ производства въ самомъ центрѣ современной индустріи возрожденъ геніемъ одного человѣка и возрожденъ съ успѣхомъ: англійскія лэди и джентльмены не нахвалятся прочностью и простотой матеріаловъ, вырабатываемыхъ въ гильдіи св. Георга, основанной Рескинымъ.

II.

Мы далеки отъ мысли дать полное систематическое изложеніе эстетическихъ и социальныхъ идей Рескина. Намъ хотѣлось только показать, что за кажущейся хаотической беспорядочностью мыслей англійскаго философа скрывается единство основного одушевляющаго его мотива, который проходитъ черезъ всѣ его идеи. Поэтому мы остановимся на глав-

ныхъ элементахъ его міросозерцанія, которые помогутъ опредѣлить характеръ этого основнаго мотива.

Религія Рескина—красота. Вотъ почему этой великой властительницѣ человѣка и его жизни удѣлено значительное вниманіе въ твореніяхъ англійскаго мыслителя. Онъ ставитъ этотъ элементъ въ центрѣ не только человѣческой жизни, но и въ центрѣ жизни всего мірозданія. Правильное пониманіе роли красоты должно перевернуть вверхъ дномъ наше обычное отношеніе къ окружающему міру. Ошибка науки заключается именно въ томъ, что она устранила изъ сферы своего изслѣдованія красоту. Наука изучаетъ только причину силъ и законы творенія. Ученый тщательно выясняетъ намъ причины, вызывающія пониженіе температуры и дѣйствіе такой пониженной температуры; онъ опредѣляетъ, сколько единицъ тепла и движенія заключается въ кипящемъ самоварѣ и въ полетѣ орла, политико-экономъ изслѣдуетъ условія развитія богатства страны, устанавливаетъ связь между стоимостью и цѣной предмета. По мнѣнію Рескина такое отношеніе къ дѣйствительности устраняетъ изъ области изслѣдованія самые главные съ точки зрѣнія художника признаки вещей. Наука распредѣляетъ элементы творенія по ихъ наружнымъ признакамъ и механическимъ отправлениямъ.

Наука должна заняться опредѣленіемъ того вліянія, которое оказываетъ видимый міръ на наши дѣйствія и чувства, она должна раскрыть невидимыя нити, связывающія насъ съ природой. Пусть самоваръ въ своемъ кипѣніи и орелъ въ своемъ полетѣ разовьютъ одинаковую калорифическую энергію, но первый никогда не вызоветъ въ душѣ человѣка того ощущенія царственнаго простора и мощи, которое рождается въ ней при видѣ царя птицъ. Политическая экономія, разсматривая вопросъ о стоимости предмета, совершенно не интересуется вопросомъ о томъ, почему мѣновая цѣнность совершенно бесполезнаго нароста на раковинѣ гораздо выше, чѣмъ мѣновая цѣнность питательнаго и полезнаго продукта. Ни одинъ химикъ не объясняетъ, почему одинаково пониженная температура оказываетъ не всегда одинаковое дѣйствіе на наше душевное настроеніе; въ зимнюю стужу розы, поставленныя на край камина, безмолвныя и не грѣющія, могутъ смягчить и тоску одиночества и ужасъ холода. Словомъ наука, разсматривающая наши отношенія къ природѣ, устраняетъ самую главную связь существующую между нами и ею, именно нашу любовь къ природѣ.

И Рескинъ провозглашаетъ новую науку. Пусть она не имѣетъ права на это имя съ точки зрѣнія обычныхъ представленій о наукѣ, но она изучаетъ не механическое взаимное соотношеніе предметовъ, а ихъ вліяніе на человѣка и его жизнь. Любовь къ красотѣ—этого чувства нельзя устранить изъ сферы знанія, такъ какъ оно двигало человѣчествомъ быть можетъ больше, чѣмъ естественные и социальныя законы; душевныя явленія, вызы-

ваемыя вліяніемъ окружающаго міра, сыграли большую роль въ исторіи человѣческаго счастья и горя, чѣмъ тѣ явленія, которыми заняты ученые.

Установивъ такимъ образомъ первостепенное значеніе красоты въ жизни человѣчества, Рескинъ опредѣляетъ условія, при которыхъ становится возможнымъ постиженіе красоты въ природѣ.

Только прямое и чистое сердце способно испытывать высокія ощущенія подъ вліяніемъ красотъ природы. Въ глазахъ Рескина эстетическое чувство—это инстинктъ природы, это энтузіазмъ къ ней, живущій въ возвышенныхъ и благородныхъ сердцахъ. Природа вдохновляла на великія дѣла, и именно тѣ, которымъ предстояло совершить особенно выдающійся подвигъ, любили въ созерцаніи ея черпать силы для этого подвига. Рескинъ устраняетъ изъ эстетическаго чувства элементъ полезности и духъ критики. Эстетическое чувство это—инстинктъ, онъ пробуждается при созерцаніи самыхъ формъ предмета; мысль о полезности или какой-нибудь посторонней цѣли предмета оттѣсняетъ на второй планъ чувство красоты. Точно такъ же послѣднее исчезаетъ предъ холоднымъ анализомъ критики. Если впечатлѣнія красоты подвергаются разбору, тогда энтузіазмъ, главный элементъ эстетическаго чувства, смѣняется равнодушіемъ. Вотъ почему непосредственнымъ чувствомъ можно точнѣе и скорѣе постигнуть красоту природы, чѣмъ путемъ философіи и эстетической науки.

Такъ постепенно изъ чувства благоговѣнія передъ природой и красотой вырисовывается идеаль нормальнаго здороваго человѣка. Если красота—господствующій элементъ въ жизни человѣчества, то самый нормальный человѣкъ—тотъ, кто способенъ къ наиболѣе интенсивному воспріятію красоты. Идеаль Рескина—не первобытный дикарь. Рескинъ не требуетъ чтобы культурный человѣкъ совершенно отрѣшился отъ всѣхъ завоеваній культуры. Необходимо только, чтобы были устранены тѣ искаженія, которыя лишили сердце человѣка простоты, лишили его возможности постигать красоту природы. Въ этомъ смыслѣ авторъ «Современныхъ художниковъ» требуетъ, чтобы человѣкъ сохранялъ свѣжесть впечатлѣній беззаботнаго дѣтства.

Въ красотѣ природы не только вѣчный источникъ, который можетъ поддерживать чистоту и возвышенность человѣческаго сердца. Она—источникъ патріотизма. Мѣстныя красоты поддерживаютъ въ сынѣ націи любовь къ родинѣ. Онѣ рождаютъ въ представителяхъ одного народа общее чувство природы; вотъ почему красота природы является драгоценнымъ источникомъ національнаго сознанія, и забота о сохраненіи особенностей даннаго пейзажа служитъ главнѣйшей обязанностью націи, стремящейся къ сохраненію своей національной индивидуальности. «Только та нація достойна унаслѣдованной земли и картинъ природы, которая старается увеличить

ихъ красоту для грядущихъ поколѣній всѣми своими дѣйствіями и всѣми искусствами».

Никакое объясненіе міровой жизни невозможно, если устранить изъ этого объясненія элементъ красоты. Видимая форма предметовъ выражаетъ ихъ сущность. Какъ бы ни объясняли сторонники дарвиновскаго метода происхожденіе цвѣта и формы той или другой породы птицъ, они не говорятъ самаго главнаго; ихъ мысли вѣрны, но эти мысли не объясняютъ, что цвѣтъ птицъ выражаетъ ихъ внутреннюю сущность, хищныя птицы обладаютъ обыкновенно темными перьями, бѣлыя перья составляютъ принадлежность кроткихъ и невинныхъ. Рескинъ вѣрилъ въ то, что краски и формы твореній не являются случайностью. Художникъ сумѣетъ уловить въ нихъ идею. Рескинъ не рѣшаетъ неразрѣшимаго вопроса о томъ, было ли такое созданіе природы результатомъ умысла. Для него несомнѣнно одно, что для человѣческаго сердца она не есть бессмысленное сочетаніе тѣней и красокъ; въ нихъ есть жизнь и мысль. Такимъ образомъ эстетическое чувство не есть чувство красокъ и формъ въ томъ узкомъ смыслѣ, какъ это понимаютъ сторонники чистаго искусства. Рескинъ улавливалъ прежде всего внутреннюю идею въ перьяхъ птицъ и въ краскахъ пейзажа.

III.

Тѣ же взгляды, которые облагораживали воззрѣніе Рёскина на природу, англійскій мыслитель переноситъ и на человѣка. Здѣсь онъ такъ же искусно проходитъ трудный путь между идеализмомъ и реализмомъ, какъ и въ вопросѣ о постиженіи природы. Не слѣдуетъ идеализировать естественнаго человѣка, не слѣдуетъ дѣлать выбора между людьми, какъ не слѣдуетъ выбирать изъ явленій природы. Но съ другой стороны, значить и это, что все существующее естественно? Художникъ, обязанность котораго—останавливать наше вниманіе на явленіяхъ природы, долженъ ли изображать даже искаженные, хотя и существующіе предметы? Въ этомъ смыслѣ Рёскинъ является противникомъ реализма. Реалисты изображаютъ все; для нихъ трактиръ и прекрасныя горы—одинаково красивые предметы, потому что для нихъ красиво все, что реально. Такой реализмъ лишенъ восхищенія природой; это—искаженіе ея и наглое издѣвательство надъ нею. Задача художника искать истинную природу, не искусственно созданную нами, а естественно созданную Творцомъ, при томъ смотрѣть на нее глазами и воспринимать ее сердцемъ, а не при помощи разныхъ орудій и инструментовъ, изобрѣтенныхъ людьми.

Современная культура искадила природу человѣка и его виѣшній видъ, въ которомъ отражалась эта прекрасная и благородная природа. Человѣкъ — прекраснѣйшее изъ твореній природы, и потому, если цѣль

искусства — изображение природы, то цѣль высшихъ созданий искусства — изображение высшаго творенія природы — человѣка. Истинное искусство всегда воплощало въ себѣ истинную человѣчность, и Рёскинъ не знаетъ для искусства болѣе важной задачи, какъ изображение благородного человѣческаго существа.

Такимъ образомъ религія красоты привела англійскаго мыслителя къ отысканію того, что онъ называлъ истиннымъ человѣкомъ. Онъ задумался надъ вопросомъ о томъ, какъ изъ современной запутанной и сложной жизни, изъ этой борьбы за призрачныя блага выдѣлить здоровые и красивые элементы, пробудить вниманіе къ тѣмъ физическимъ и духовнымъ свойствамъ человѣка, которыя служатъ залогомъ его правильнаго развитія, наконецъ, создать обстановку, обеспечивающую возможность такого развитія.

Люди забыли правильный путь жизни; современная жизнь большихъ городовъ создала некрасивыхъ и больныхъ людей. «Вотъ крупный избиратель или мелкій чиновникъ сидитъ на террасѣ какого-нибудь кафе и цѣдитъ вино или полыновку. Онъ сгибается подъ тяжестью наследственныхъ болѣзней, изуродованъ принадлежностями современнаго туалета, истрепанъ страстями и пороками нашего времени; его мускулы атрофированы отъ долгаго бездѣйствія, кожа безцвѣтна и блѣдна подъ ненужными одеждами, руки дрожатъ отъ пьянства. Человѣкъ ли это природы? Не самое ли это искусственное созданіе въ мірѣ? Можно ли назвать естественной женщину, морфинистку, или страдающую хлорозомъ — малокровіемъ? Развѣ природа создала руки современныхъ рабочихъ, развѣ она снабдила мозолями кожевниковъ и серозными опухолями пальцы рѣзчиковъ по металлу?» (Сизерантъ: «Рёскинъ и религія красоты». Пер. Никифорова).

И по отношенію къ человѣку, какъ по отношенію къ пейзажу, Рёскинъ выше всего ставитъ естественность. Истинная человѣческая красота скрыта въ человѣкѣ, свободномъ отъ всякой искусственности. «Человѣкъ природы, человѣкъ реальный, высоко прекрасенъ; его тѣло, гибкое и здоровое, вышло изъ рукъ Могучаго Мастера, мѣшавшаго человѣческую глину, не обезображеннымъ истинными и ложными потребностями цивилизации. Этотъ первобытный человѣкъ строенъ, какъ свободный тростникъ, и не имѣетъ ничего общаго съ человѣкомъ временъ пара, изуродованнымъ ложнымъ воспитаніемъ. Это Аполлонъ Сиракузскій, а не лондонскій избиратель. Это человѣкъ, созданный природой, а не self-made-man» (Ibid.).

Въ этомъ сужденіи о красотѣ человѣка, какъ и о красотѣ природы, несомнѣнно скрыто не мало аристократическаго субъективизма. Предъ нами все время художникъ съ пронизательнымъ взоромъ, гениально проникающій въ тайны природы и возводящій въ законъ впечатлѣнія своего собственнаго богато одареннаго сердца. Онъ требовалъ отъ художника такой

же проницательности, и человекъ, не обладающій талантомъ отыскивать естественное въ природѣ, не можетъ быть художникомъ.

IV.

Но опредѣливъ, въ чемъ заключается идеальное отношеніе къ природѣ и къ человекѣ, Рёскинъ понялъ, что только коренная реформа всѣхъ человѣческихъ отношеній можетъ создать благоприятную обстановку для того, чтобы природа сохранила свою первоначальную красоту, а человекъ сохранилъ всю свою первобытную силу.

Рёскинъ горячо нападаетъ на политическую экономію, которая совершенно упускаетъ изъ виду эту главную цѣль. «Экономія Рикардо и Милля никогда не была политической экономіей въ истинномъ значеніи этого слова; ея экономическіе законы были просто обобщеніями пріемовъ отдѣльныхъ дѣльцовъ; это была просто экономія ловкаго ланкаширскаго фабриканта, только облагороженная и названная политической. Такъ какъ для этого фабриканта было выгодно покупать свои сырые матеріалы, машины и рабочую силу по возможно дешевой цѣнѣ, установить на своей фабрикѣ наибольшее раздѣленіе труда, извлекать наибольшее количество работы изъ своихъ желѣзныхъ или человѣческихъ механизмовъ, производить не самые хорошіе продукты, а такіе, которые давали бы при продажѣ наибольшую прибыль, и обезпечивать за собой рынокъ, вытѣсняя своихъ конкурентовъ. Такъ какъ вести такимъ образомъ свои дѣла было выгодно для *каждаго* фабриканта,—то это было признано выгоднымъ и для *всѣхъ* фабрикантовъ, и для всей націи фабрикантовъ и лавочниковъ» (Гобсонъ: «Общ. идеалы Рескина»).

Эта экономія, которую авторъ «Современныхъ художниковъ» называетъ «меркантильной, исходитъ изъ признанія въ человекѣ существованія исключительно матеріалистическихъ интересовъ. Человекъ лѣнивъ и жаденъ, т. е. его цѣль — работать какъ можно меньше и получить какъ можно большіе богатства, воплощенныхъ въ матеріальныхъ предметахъ и измѣряемыхъ деньгами. На этихъ посылахъ строить свои выводы существующая политическая экономія.

Но Рёскинъ, признавая, что наука, отдѣлившая себѣ такое узкое поле зрѣнія, можетъ въ его предѣлахъ прийти къ извѣстнымъ выводамъ, тѣмъ не менѣе не соглашается, что человекъ руководится только упомянутыми инстинктами. Въ человекѣ живутъ и привязанности, и самопожертвованіе, и любовь къ труду. Такимъ образомъ, существующая политическая экономія начинается съ того, что беретъ человека не такимъ, каковъ онъ на самомъ дѣлѣ.

Мысль объ отвращеніи человека къ труду окажется невѣрной, если трудъ будетъ поставленъ въ нормальныя условія. Въ области производ-

ства изящныхъ издѣлій трудъ является источникомъ удовольствія, и въ этой области не дѣйствуютъ тѣ законы, которые открыла существующая экономическая наука, наблюдающая надъ низшими областями промышленности. Красота должна быть внесена и въ сферу труда. Въ нормальномъ и развитомъ обществѣ, въ которомъ трудъ можетъ стать болѣе тонкимъ, онъ не будетъ зломъ, а явится истиннымъ наслажденіемъ. Выѣстъ съ тѣмъ должна быть установлена и новая оцѣнка труда, и новое направленіе его. «Стоимость» представляетъ тотъ трудъ, который не представляетъ интереса, оказываетъ вредное дѣйствіе на здоровье и т. д. Но трудъ, который содѣйствуетъ развитію трудящагося, который не вредитъ здоровью и представляетъ интересъ, такъ какъ требуетъ искусства, такой трудъ не требуетъ оплаты, такъ какъ содѣйствуетъ внутренней потребности человѣка и не причиняетъ вреда жизни. Что касается направленія труда, то онъ долженъ затрачиваться лишь на предметы полезные. Меркантильная экономія опредѣляетъ цѣнность предметовъ только существующимъ спросомъ на нихъ; съ ея точки зрѣнія безразлично, каково назначеніе предметовъ, вредны они или полезны; предметы двухъ группъ равноцѣнны въ ея глазахъ, если на нихъ существуетъ одинаковый спросъ, хотя бы одну группу составляли губительные спиртные напитки, другую—здоровая пища. Предметъ слѣдуетъ оцѣнивать по тому, насколько онъ служитъ къ удовлетворенію здоровыхъ человѣческихъ потребностей.

Такъ изъ ученія о нормальномъ здоровомъ человѣкѣ постепенно развивались новые взгляды на трудъ и на стоимость предметовъ. Предметъ, цѣнный по мнѣнію существующей науки, оцѣнивающей его лишь съ точки зрѣнія эгоистическихъ частныхъ интересовъ, оказывается малоцѣннымъ и даже вреднымъ съ точки зрѣнія общей пользы: трудъ, малоцѣнный съ точки зрѣнія науки, руководящейся его цѣной на рынкѣ, пріобрѣтаетъ огромную стоимость у Рескина въ виду огромнаго ущерба, который онъ наноситъ жизни рабочаго.

Если признать главнымъ стимуломъ труда стремленіе къ его усовершенствованію, тогда сама собою исчезнетъ конкуренція въ промышленности и торговлѣ, такъ какъ тогда прибыль перестанетъ играть въ нихъ роль главнаго двигателя; эгоизмъ, который усугубляется конкуренціей, будетъ смягченъ сознаніемъ общественнаго служенія при этомъ новомъ взглядѣ на трудъ и на цѣнность предметовъ.

Создавая извѣстный продуктъ, промышленникъ будетъ думать не о прибыли, а о потребителѣ, о томъ, для кого предназначенъ продуктъ. Такимъ образомъ, перейдя отъ вопроса о нормальномъ человѣкѣ къ вопросу о социальномъ строѣ, Рескинъ въ концѣ концовъ снова вернулся къ нормальному человѣку. Созданіе такого человѣка есть краеугольный камень правильной общественной жизни. Вотъ почему рядомъ съ правильной организаціей труда должно быть правильно поставлено воспитаніе и особенное

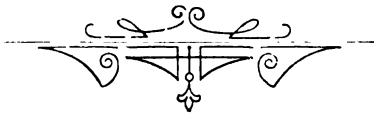
вниманіе обращено на бракъ. Отъ нормальной организаціи послѣдняго зависятъ здоровье и развитіе націи. Рескинъ переходитъ поэтому къ практическимъ указаніямъ относительно воспитанія и брака.

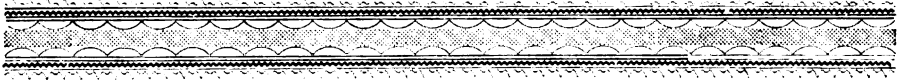
Въ нашу задачу не входитъ разсмотрѣніе всѣхъ взглядовъ англійскаго мыслителя. Намъ хотѣлось только показать, что кажущаяся безпорядочность его мыслей, обиліе и разнообразіе поднятыхъ имъ вопросовъ вовсе не свидѣтельствуютъ объ отсутствіи единства или стройности въ его міровоззрѣніи. Красота—такова основа этого послѣдняго. Правильное отношеніе къ ней приводитъ къ идеалу здороваго красиваго человѣка, а этотъ—къ другому, высшему идеалу, именно къ нормальной или (что съ точки зрѣнія Рескина одно и то же) красивой жизни.

Красивая жизнь—такова должна быть конечная цѣль всѣхъ стремленій человѣчества.

Могъ ли такой философъ, какъ Рескинъ, оставить по себѣ школу? Въ его сужденіяхъ было больше личнаго гениальнаго прозрѣнія, чѣмъ холодныхъ выводовъ разсудка. Онъ не могъ дать своимъ послѣдователямъ стройныхъ методовъ. Онъ самъ могъ отыскивать естественное въ природѣ и человѣкѣ, онъ угадывалъ эту первобытную красоту своимъ чуткимъ сердцемъ, но онъ не могъ указать способовъ, которыми могли бы угадать ее люди, не надѣленные такими дарованіями, какъ онъ. Работѣ его ума нельзя было подражать, его отношеніе къ окружающему нельзя было усвоить. Вотъ почему Рескинъ оставилъ поклонниковъ, боготворившихъ его и благоговѣйно слѣдовавшихъ его ученію, но онъ не оставилъ школы, которая могла бы возвести въ научную систему его ученіе. Онъ пробудилъ мысль, подвергъ пересмотру всѣ стороны жизни и научной мысли, много умовъ направилъ на новый путь, но это великое вліяніе неуловимо и не поддается формулировкѣ.

И. С. Коганъ.





Сонетъ изъ Кальдерона *).

Съ веселостью, и пышной, и безпечной,
Цвѣты проснулись утренней зарей.
Настала ночь, и вотъ, съ холодной мглой,
Ихъ сонъ объялъ, непробудимо-вѣчный.

Въ нихъ съ золотомъ и съ бѣлизною млечной
Играла алость радужной игрой.
И тускло все. Вотъ ликъ судьбы людской.
Такъ много день уносить быстротечный.

Съ разсвѣтомъ раннимъ розы расцвѣли,
И умерли: въ одной и той же чашѣ
И колыбель и гробъ себѣ нашли.

Такъ точно мы, рожденные въ пыли,
Въ единый день свершаемъ судьбы наши:
Столѣтъя—часъ, когда они прошли.

К. Бальмонтъ.



*) Этотъ сонетъ вложенъ въ уста португальскаго инфанта Донъ Фернандо, поавшаго въ неволю къ маврамъ (El Principe constante).



Мое знакомство съ П. А. Кулишемъ.

Въ 1884—85 учебномъ году я былъ студентомъ 4-го курса историко-филологическаго факультета въ университетѣ св. Владимира. Но такъ какъ послѣ печальной «юбилейной» исторіи университетъ былъ закрытъ, то въ качествѣ эксъ-студента, или молодого человѣка безъ опредѣленнаго положенія и занятій, я воспользовался этимъ случайнымъ досугомъ для того, чтобы позаняться нѣкоторыми интересовавшими меня тогда научно-литературными вопросами, въ томъ числѣ я хотѣлъ собрать по возможности матеріалы для біографіи моего родича, извѣстнаго малороссійскаго писателя Алексѣя Петровича Стороженко, и, если бы этихъ матеріаловъ оказалось достаточно, составить біографію. Съ этою цѣлью я обратился ко всѣмъ лицамъ, такъ или иначе знавшимъ покойнаго Алексѣя Петровича, съ письменной просьбой подѣлиться со мною для сказанной цѣли или своими воспоминаніями объ немъ, или находившимися въ ихъ распоряженіи его письмами, ненапечатанными произведеніями и проч., а затѣмъ я съѣздилъ съ тою же цѣлью въ г. Брестъ-Литовскъ, послѣднее мѣсто его жительства и мѣсто вѣчнаго его упокоенія. Къ сожалѣнію, немногіе откликнулись на мой призывъ, что и помѣшало исполненію моего намѣренія относительно составленія полной біографіи Алексѣя Петровича.

Въ числѣ этихъ немногихъ и былъ Пантелеймонъ Александровичъ Кулишъ.

На мое письмо онъ отвѣтилъ сначала слѣдующимъ краткимъ, такъ сказать, официальнымъ письмомъ:

„Милостивый Государь Николай Владимировичъ! Радъ бы я былъ служить Вамъ матеріалами для біографіи покойнаго Алексѣя Петровича (Стороженко), но я съ нимъ не былъ близко знакомъ, и хотя мы видались много разъ, но разговоръ нашъ вращался на предметахъ общихъ. Ни его служебная, ни общественная, ни семейная сторона жизни не раскрывалась во время нашихъ свиданій. Я не спрашивалъ, онъ не высказывался. На его лестное для меня вниманіе старался я отвѣчать вниманіемъ, и только. Примите, Милостивый Государь, увѣреніе въ истинномъ моемъ уваженіи. П. Кулишъ. 1884 г. декабря 5. Борзна“.

Но потомъ П. А. успѣшилъ выяснитъ, почему онъ принужденъ былъ ограничиться на первыхъ порахъ этимъ сухимъ отвѣтомъ и сообщилъ уже слѣдующія болѣе подробныя свѣдѣнія о своихъ отношеніяхъ къ Алексѣю Петровичу:

«Милостивый Государь Николай Владимировичъ, нетерпяція отлагательства дѣла заставили меня опоздать отвѣтомъ на Ваше второе письмо. Оба Ваши письма затерялись въ бумагахъ и я, не имѣя адреса, посылаю отвѣтъ черезъ другія руки.

Съ покойнымъ Алексѣемъ Петровичемъ видались мы большею частью у Н. И. Костомарова. Обыкновенно онъ заѣзжалъ за мною, а возвращались мы или ко мнѣ, или къ нему. Онъ мнѣ показывалъ произведенія своей лѣпной работы. Было видно, что изъ него могъ бы выйти отличный художникъ. Алексѣй Петровичъ рассказывалъ малорусскіе анекдоты еще лучше, чѣмъ печатно. Это былъ человекъ талантливый во многомъ. Сколько могу судить по его воспоминаніямъ о службѣ его, онъ и тамъ отличался способностями рѣдкими. Въ большинствѣ случаевъ у насъ идутъ служить по военному и гражданскому вѣдомствамъ люди, неспособные къ проповѣданію своихъ мыслей словесно и письменно. А. П., какъ видно, смотрѣлъ на дѣло такъ, что военная и гражданская служба требуютъ еще большей разносторонности въ умственномъ развитіи, нежели каеэдра и пресса. Тамъ организованныя въ мышленіе знанія, гражданское мужество, смѣлость, находчивость и быстрая сообразительность провѣряются въ самый моментъ своего проявленія. Точнаго понятія о служебной дѣятельности Алексѣя Петровича я не сохранилъ въ умѣ, но думаю, что въ рукахъ высокаго и искуснаго администратора подобный человекъ былъ бы драгоценною находкою, а въ военныхъ операціяхъ такіе, какъ онъ, люди должны быть опорой успѣха. А. П. постоянно носилъ въ петлицѣ Георгія 4-ой степени и это мнѣ въ немъ нравилось. Онъ гордился тѣмъ знаменемъ, подъ которое становился. Иначе—зачѣмъ же и становиться подъ знамя? Когда я жилъ въ Варшавѣ, онъ явился ко мнѣ во фракѣ со звѣздой, только что полученной, и придалъ нѣкоторую торжественность моему обѣду, къ которому я пригласилъ его запросто. Въ то время проѣзжали черезъ Варшаву въ Москву представители славянскихъ народностей. Мы чествовали ихъ публичнымъ обѣдомъ въ русскомъ клубѣ. А. П. участвовалъ въ этомъ обѣдѣ, но потомъ очень комически представлялъ авторовъ брошюрокъ, которыми рекомендовали себя славянскіе народовики русскимъ людямъ, привыкнувъ дома дивить свой муравейникъ. Вообще складъ ума А. П. отличался юморомъ. Онъ видѣлъ вещи ясно и его смѣхъ былъ выраженіемъ анализирующаго ума.

Вотъ все, что я могу припомнить, въ удовлетвореніе Вашего желанія, о покойномъ Алексѣѣ Петровичѣ, захваченный Вашимъ письмомъ врасплохъ среди борьбы съ подлѣйшимъ арендаторомъ. Нѣкій Аполлинарій

Заленскій съ нѣкою Касильдою Сарнецкою сдѣлали на нашу хуторскую Украину лясешское нашествіе, о которомъ можетъ разказать Вамъ передатель этого письма, братъ моей жены, Александръ Михайловичъ Бѣлозерскій. Насилу я справился съ этимъ нашествіемъ. Желая Вамъ успѣха въ Вашемъ трудѣ. Съ истиннымъ уваженіемъ. П. Кулишъ. 1884 г. декабря 16, Борзна».

Конечно, я поблагодарилъ почтеннаго борзенскаго отшельника, послѣ чего между нами возникла переписка, продолжавшаяся нѣсколько лѣтъ и на первыхъ порахъ, благодаря моей относительной досужести въ то время и большой склонности, очевидно, покойнаго П. А. Кулиша къ эпистолярной формѣ общенія съ людьми, бывшая очень обильной и разнообразной, на темы научно-литературныя и по разнымъ злобамъ дня, живо характеризующая Пантелеймона Александровича и тогдашнее его настроеніе.

Полугодичное заочное знакомство мое съ Кулишемъ такъ меня заинтересовало, что, когда въ іюнѣ мѣсяцѣ 1885 г. я собрался ѣхать изъ Кіева къ себѣ въ деревню, въ с. Великую Кручу Пирятинскаго уѣзда, я никакъ не могъ отказать себѣ въ удовольствіи навѣстить моего почтеннаго корреспондента и заключить съ нимъ личное знакомство.

Доѣхавши по Курско-Кіевской ж. д. до ст. Плиски часовъ около шести утра, я взялъ почтовую перекладную и направился въ г. Борзну, гдѣ въ то время временно проживали П. А. Кулишъ и его супруга Александра Михайловна, урожденная Бѣлозерская, извѣстная въ литературѣ подъ псевдонимомъ Ганны Барвинокъ.

Г. Борзна находится въ разстояніи 14 верстъ отъ ст. Плиски. Дорога идетъ по песчаной болотистой мѣстности, иногда оживляемой перелѣсками и ютящимися около нихъ хуторками.

Пріѣхавши часовъ въ восемь утра въ Борзну и остановившись на постояломъ дворѣ у нѣкоего Миняйла, я началъ разспрашивать о мѣсто-нахожденіи П. А. Кулиша. Миняйло разказалъ мнѣ, что Кулиши, подвергшись большимъ непріятностямъ со стороны неисправнаго арендатора-поляка, переѣхали изъ х. Мотроновки на временное жительство въ Борзну и указалъ мнѣ домъ, бывшій помѣщика Забѣлы, въ которомъ они поселились, куда я и отправился немедленно. Этотъ домъ былъ расположенъ на окраинѣ города, за яркомъ, посреди большой усадьбы. Спереди былъ большой дворъ съ холодными постройками по бокамъ, сзади садъ. Самый домъ небольшой, деревянный, одноэтажный, съ двумя подъѣздами по краямъ. Направившись къ одному изъ подъѣздовъ, я постучалъ въ дверь. Отворившая дверь «дивчина» побѣжала сейчасъ въ комнаты «покликать» барыню. Черезъ минуту навстрѣчу мнѣ вышла высокая, стройная, молодая женщина съ открытымъ привѣтливымъ взоромъ. Это была—Ганна Барвинокъ. Узнавши, кто я и съ какою цѣлью пріѣхалъ, она радушно

меня «привитала» и сказала, что приѣздъ мой доставить большое удовольствіе Пантелеймону Александровичу, что онъ въ настоящее время въ саду. Пока А. М. посылала позвать П. А., я осмотрѣлся, оказалось, что Кулиши занимали часть дома, двѣ или три комнаты самаго скромнаго вида, кое-какъ меблированныя.

Черезъ нѣсколько минутъ въ комнату вошелъ средняго роста сухощавый, нѣсколько сгорбленный, старикъ, съ рѣдкими сѣдыми волосами и небольшою остроконечной бородой, съ длиннымъ острымъ носомъ, глубокими пронизательными глазами, одѣтый въ сѣрый суконный сюртукъ, свѣтлые, лѣтніе брюки, запущенные въ сапоги, съ сѣрой фетровой съ большими полями шляпой. Это былъ—Кулишъ.

Онъ радостно привѣтствовалъ меня и сказалъ, что наше заочное знакомство и оживленная переписка доставляютъ ему большое удовольствіе, какъ по разнообразію затрогиваемыхъ въ письмахъ темъ, такъ и по пріятному сознанію, что онъ не совершенно забытъ, не отчужденъ отъ міра и сохраняетъ духовную связь хотя съ нѣкоторыми представителями молодого поколѣнія, если и порвалъ ее со своими современниками, съ которыми онъ радикально расходится въ своихъ взглядахъ на прошлое Малороссіи и на способы его изученія и выясненія. Я пробовалъ примирить П. А. съ называемыми имъ современными дѣятелями на научно-литературномъ поприщѣ, указывая на то, что у нихъ есть одна общая съ нимъ черта, которая должна ихъ сближать—горячая любовь къ родинѣ, а что въ области чувства естественны увлеченія и ошибки, дѣлаемыя безъ всякой предвзятости, и потому заслуживающія снисхожденія, но П. А. возражалъ, что онъ недопускаетъ такого рода увлеченій въ области исторической науки, и находилъ, что наши новѣйшія изслѣдованія по исторіи Малороссіи страдаютъ излишнимъ стремленіемъ ихъ авторовъ освѣщать факты съ своей личной точки зрѣнія, преимущественно въ духѣ «Гайдамакъ» Шевченка, не давая имъ возможности говорить самимъ за себя. Въ общемъ всѣ разсужденія П. А. въ нашей безконечной бесѣдѣ на эту тему сводились къ тому, что прошлое Малороссіи не въ мѣру идеализируется учеными изслѣдователями, между тѣмъ какъ всѣ народныя движенія, казачество и гайдамачество, на разъясненіи которыхъ особенно останавливаются историки, въ сущности не что иное, какъ безыдейная, безцѣльная борьба невѣжества съ культурой, хотя бы и инородной, польской, задерживавшая дальнѣйшее развитіе гражданскаго самосознанія въ Малороссіи и, руководимая грубыми инстинктами, преслѣдовавшая лишь своекорыстныя цѣли личнаго обогащенія, а не какія-либо стремленія къ общему благу, что и доказала впоследствии малороссійская старшина, которая, превратившись въ новыхъ «пановъ», закрѣпощала своихъ же недавнихъ боевыхъ сподвижниковъ, рядовое казачество, не говоря уже о посольствѣ.

Долго тянулись наши бесѣды на эту тему, сначала въ комнатѣ, а потомъ въ саду, въ который мы проникли черезъ окно, за отсутствіемъ

двери въ садъ, при чемъ рѣчи П. А. были необыкновенно образны, горячи и обильны. Предъ нашимъ умственнымъ взоромъ проходили безконечной цѣпью имена различныхъ общественныхъ дѣятелей на научно-литературномъ поприщѣ съ ихъ трудами, характеризующимися различными чертами изъ личныхъ воспоминаній П. А.

Къ сожалѣнію, я не записалъ тогда же подробностей содержанія этой глубоко-интересной бесѣды, а теперь, не довѣряя своей памяти, боюсь слѣдовать примѣру нѣкоторыхъ мемуаристовъ, приводящихъ иногда цѣлыя живыя рѣчи и зачастую приписывающихъ упоминаемымъ ими лицамъ совсѣмъ не сродные имъ взгляды. До нѣкоторой степени исправляютъ эту ошибку съ моей стороны письма П. А. ко мнѣ, какъ до нашего личного знакомства, такъ и послѣ, могущія служить достаточнымъ матеріаломъ для характеристики его взглядовъ въ то время, въ дополненіе ко всѣмъ другимъ матеріаламъ для его біографіи.

Изъ другихъ темъ, которыхъ мы касались въ своей бесѣдѣ, вспоминаю разговоры о Наполеонѣ I, предъ геніемъ котораго П. А. преклонялся и усердно изучалъ въ то время труды, характеризовавшіе личность, дѣятельность и эпоху этого, какъ онъ писалъ потомъ ко мнѣ, «безумно-геніальнаго и геніально-безумнаго человѣка». Увлечение геніемъ Наполеона I выражалось между прочимъ внѣшнимъ образомъ въ одной мелкой чертѣ— не одно изъ писемъ П. А. ко мнѣ было припечатано печатью, на которой былъ вырѣзанъ одноглавый орелъ подъ императорской короной, съ подписью вокругъ: «Administration de l'imp. grande armée».

Еще много говорили о взаимныхъ отношеніяхъ Британіи и Ирландіи, объ имперіалистическихъ стремленіяхъ англичанъ и о ихъ колониальной политикѣ, стремящейся обращать въ рабство покоренныя племена.

П. А. въ этой безконечной бесѣдѣ, видимо, отдыхалъ душой отъ повседневныхъ дрягъ, особенно угнетавшихъ его въ это время, по поводу которыхъ онъ писалъ мнѣ потомъ:

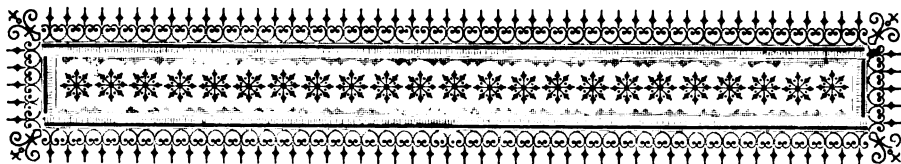
«Если бы мы и хотѣли оказать Вамъ гостепріимное вниманіе, то не могли... Жаль, что Вы не предупредили насъ о своемъ посѣщеніи, мы бы попросили Васъ посѣтить насъ въ другое время».

За обѣдомъ радушная хозяйка принимала живое участіе въ нашихъ бесѣдахъ. На сумеркахъ я распростился съ гостепріимными хозяевами и, провожаемый П. А., вернулся на постоянный дворъ, чтобы уѣхать изъ Борзны въ Плиски къ почтовому поѣзду, навсегда унося самыя пріятныя воспоминанія объ этомъ днѣ, проведенномъ съ незабвеннымъ Пантелеймономъ Александровичемъ Кулишемъ и его достойной подругой жизни, Ганной Барвинокъ.

Н. В. Стороженко.

Кіевъ, 11 декабря 1900 г.





Сенъ-Симонъ и сенъ-симонизмъ *).

Дѣятельность Сенъ-Симона принадлежитъ первой четверти XIX вѣка, протекла она въ Парижѣ, въ центрѣ современной публичности, самъ философъ усиленно старался обратить на себя вниманіе представителей науки и политики, сотрудниками его были люди, занявшіе впоследствии первыя мѣста въ новой наукѣ и философіи:—повидимому, всѣ данныя личности и идеямъ писателя стать популярными и общедоступными. Въ дѣйствительности Сенъ-Симонъ до сихъ поръ еще ждетъ всесторонней и вдумчивой оцѣнки своего историческаго значенія.

Причинъ явленія нѣсколько, личныхъ и внѣшнихъ. Прежде всего, своеобразность Сенъ-Симона, какъ человѣка. Ислѣдователю приходится отрѣшиться отъ всѣхъ обычныхъ представленій о философѣ и искать глубины и послѣдовательности мысли въ представителѣ совершенно, повидимому, не философскаго и страннаго типа дѣльца—прожектера, аристократа—эпикурейца и санкюлота и въ то же время соціальнаго энтузіаста. Не менѣе своеобразны и произведенія Сенъ-Симона, состоящія изъ отрывковъ, программъ, плановъ, стремительныхъ личныхъ обращеній и фантастическихъ экскурсій въ область точныхъ и опытныхъ наукъ. Самъ Сенъ-Симонъ знакомство съ своими работами признавалъ „труднымъ“ и въ теченіе всей жизни чувствовалъ необходимость объяснить публикѣ необычныя черты своей личности и своей біографіи. Онъ не помѣшали ему приобрѣсти себѣ въ ученики выдающихся людей—Огюстѣна Тьерри, Огюста Конта, Олэнда Родрига. Но и съ учениями произошло нѣчто неожиданное и для славы Сенъ-Симона менѣе всего благоприятное.

Самый знаменитый ученикъ—Контъ—неоднократно говорилъ публично объ учителѣ съ единственною цѣлью—отнять у него всякое право на почетную извѣстность въ будущемъ. Родригъ, лично питавшій къ Сенъ-Симону восторженныя чувства, не только не разрушилъ умысловъ Конта,

*) Прочитано въ Московскомъ Историческомъ Обществѣ 30 сентября.

но косвенно даже способствовалъ имъ. Онъ принялъ участіе въ преобразованіи сенъ-симонизма въ анфантанизмъ, заслонившій философское достоинство доктрины радикальнымъ феминистскимъ ученіемъ и заставившій почтенныхъ и благоразумныхъ людей отречься отъ идейнаго соприкосновенія вообще съ сенъ-симонизмомъ. Въ числѣ ихъ оказался третій личный ученикъ Сенъ-Симона—Тьерри.

Предстояло пройти долгимъ годамъ раньше, чѣмъ личность Сенъ-Симона могла быть освѣщена исторически безпристрастнымъ свѣтомъ, а его философская дѣятельность—подвергнута спокойной всесторонней оцѣнкѣ. Только къ концу XIX вѣка несправедливые наветы и еще болѣе незаслуженное пренебреженіе стали уступать мѣсто истинѣ, медленно, неохотно, и даже до послѣднихъ дней эту истину нельзя считать прочно установленной и надлежаше изслѣдованной.

Посвятивъ предмету книгу ¹⁾, въ предлагаемомъ докладѣ я имѣю возможность представить только основной смыслъ идей Сенъ-Симона и указать на ихъ судьбу въ рукахъ непосредственныхъ наслѣдниковъ философа. Изъ моей рѣчи, при всей общности ея содержанія, я разсчитываю, станетъ ясна важность изученія сенъ-симонизма, не только какъ вліятельнаго историческаго явленія, но и какъ постоянного необходимаго свѣточа среди современныхъ умственныхъ теченій.

I.

Графъ Сенъ-Симонъ по происхожденію одинъ изъ знатнѣйшихъ французскихъ аристократовъ. Семья его болѣе или менѣе правдоподобно вела свой родъ отъ Карла Великаго и вполне основательно могла гордиться герцогомъ Сенъ-Симономъ, мемуаристомъ временъ Людовика XIV и регентства. Будущій философъ, родившійся въ 1760 году, долженъ былъ пережить въ молодости самый горячій періодъ «просвѣщенія». Одаренный крайне впечатлительнымъ и отважнымъ темпераментомъ, Сенъ-Симонъ не только успѣлъ воспринять ученіе современнаго «разума», но и попытался осуществить его крайнія предписанія въ личной жизни. Въ тринадцать лѣтъ ему, по распоряженію отца, приходится сидѣть въ тюрьмѣ за отказъ отъ причастія. На девятнадцатомъ году онъ является въ рядахъ отечественной аристократіи, съ увлеченіемъ участвующей въ сѣверо-американской войнѣ, одно время служитъ подъ начальствомъ Вашингтона, обнаруживаетъ блестящую храбрость, американцы награждаютъ его орденомъ Цинцинната, французское правительство—чиномъ полковника. Сенъ-Симону всего 23 года, но его не соблазняетъ военная карьера. Война сама по себѣ его не занимаетъ и постепенно онъ проникается отвращеніемъ

¹⁾ *Сенъ-Симонъ и сенъ-симонизмъ*. Москва 1901 г.

емъ къ военному ремеслу. Его вниманіе сосредоточивается на основахъ мирной жизни только что возникшей республики. Наблюденія приводятъ его къ убѣжденію, что весь прогрессъ цивилизаціи сводится къ развитію свободного производительнаго труда и внушаютъ ему самому страсть къ самымъ широкимъ промышленнымъ предпріятіямъ.

На эту страсть извѣстное вліяніе могли оказать и личное положеніе Сень-Симона и экономическія и нравственныя перемены вообще въ высшемъ аристократическомъ сословіи XVIII вѣка. Здѣсь рядомъ съ «мыслящей знатью» возникала «промышленная знать», практически рѣшавшая въ положительномъ смыслѣ вопросъ о правахъ дворянства заниматься коммерческими предпріятіями, не нанося порухи своему сословному достоинству. Отецъ Сень-Симона отнюдь не отличался щедростью по отношенію къ дѣтямъ. Мы это знаемъ изъ писемъ самого Сень-Симона, и на его мечты стать предпринимателемъ могло воздѣйствовать простое желаніе обезпечить себя независимо отъ семьи, довольно многочисленной. Свойственная природѣ Сень-Симона экзальтація мгновенно преобразовала это желаніе въ настоящій индустріальный авантюризмъ. Во всякомъ случаѣ, американскіе опыты, заронившіе въ душу Сень-Симона зерно восторженнаго отношенія къ мирному труду въ противоположность военному ремеслу, занимаютъ важное и несравненно болѣе оригинальное мѣсто въ развитіи философа, чѣмъ его ученье подъ руководствомъ Даламбера, знакомство съ Руссо и увлеченіе крайними идеями просвѣщенія.

Въ Америкѣ Сень-Симонъ пытается осуществить свою индустріальную страсть при помощи мексиканскаго правительства, но оно не принимаетъ его проекта—канала между океанами. Такая же неудача постигаетъ Сень-Симона и въ Испаніи съ предложеніемъ создать каналъ отъ Мадрита до моря. Во всѣхъ этихъ планахъ незамѣтно присутствіе какой-либо высшей руководящей идеи, и дореволюціонную предпримчивость будущаго соціальнаго реформатора мы не имѣемъ основаній ставить выше, напримѣръ, почти одновременныхъ практическихъ замысловъ Бомарше, также имѣвшаго дѣла и съ Америкой, и съ Испаніей. Но Бомарше и послѣ революціи остался попрежнему сознательнымъ практикомъ въ настоящемъ и безсознательнымъ агитаторомъ въ прошломъ. Сень-Симонъ, напротивъ, именно въ революціи почерпнулъ самые внушительные идейные уроки.

Революція созрѣла на двоякой почвѣ, фактовъ и идей, на разложившемся феодально-историческомъ строѣ и на просвѣтительной философіи, выросшей на процессѣ этого разложенія и съ теченіемъ времени внесшей въ процессъ свои теоретически-выработанные элементы критики и разрушенія. Но философія завѣщала революціи не одну критику. По неизбѣжному психологическому основанію—нельзя чего-либо отрицать, не утверждая въ то же время другой истины на смѣну отрицаемой. Въ отрицаніи логически скрывается процессъ сравненія общаго принципа, не подлежащаго

сомнѣнію, съ явленіями, не соотвѣтствующими этому принципу. Такимъ принципомъ для философовъ XVIII вѣка было понятіе *природы*. Само по себѣ оно чисто отрицательное, такъ какъ служить контрастомъ цивилизаціи и представленіе объ естественности явленій получается послѣ того какъ они путемъ отвлеченныхъ соображеній лишаются признаковъ культуры и прогресса, освобождаются отъ своихъ *историческихъ* формъ.

Такимъ способомъ философы получили идеаль естественной религіи какъ противоположности исторически сложившимся церквамъ и вѣроисповѣданіямъ и идеаль естественнаго человѣка, не испытываваго вѣковыхъ вліяній общества и государства. И тотъ и другой идеаль, въ интересахъ успѣшной борьбы съ преданіями и привычками, долженъ былъ, помимо полемиической силы, обнаружить и извѣстное догматическое содержаніе. И оно не только обнаружилось, но неуклонно и развивалось всѣми представителями новой мысли. Догматизація естественности шла двумя путями—метафизическимъ и энциклопедическимъ. На одномъ пути философы дѣйствовали при помощи логики *здраваго смысла*, прибѣгая къ историческимъ и научнымъ фактамъ только какъ къ поясненіямъ теоретически добытаго положенія. И для этого философскаго направленія историческія явленія расцѣпывались исключительно съ точки зрѣнія философскаго разума и въ соотвѣтствіи съ нимъ признавались прогрессивными или ретроградными. Оно, въ лицѣ Вольтера, Руссо, Кондорсе, не имѣло представленія объ органическомъ характерѣ историческаго процесса и извлекало изъ исторіи не реальныя и объективныя руководства для дѣятельности личности, а усиливалось историческіе факты приспособлять къ разсудочнымъ усмотрѣніямъ даннаго мыслителя въ данную минуту.

Другое направленіе понятіе *естественности* думало опредѣлить путемъ опытнаго изученія природы. Блестящіе успѣхи астрономіи, приведшіе Ньютона къ открытію закона тяготѣнія, какъ единаго всеподчиняющаго принципа въ области извѣстнаго порядка явленій, вызвали у современныхъ ученыхъ надежду отыскать равносильный законъ и въ другихъ отдѣлахъ опытнаго вѣдѣнія, въ фізіологіи, въ медицинѣ, даже въ психологіи и, наконецъ, въ области нравственныхъ и политическихъ отношеній. Въ лицѣ Бюффона естественныя науки нашли могущественнаго изслѣдователя и популяризатора, а въ лицѣ Дидро чрезвычайно отважнаго истолкователя. Истолкованія вдохновлялись современной полемиической страстью и повелительно направлялись по поводу всякаго новаго открытія къ одной цѣли: къ устраненію *сверхъестественнаго* изъ природы неорганической, органической и нравственной и къ *естественному* объединенію явленій всѣхъ трехъ порядковъ. Дидро преслѣдовалъ эту цѣль какъ поэтъ и соціальный ораторъ, но въ томъ же направленіи развивалась работа и настоящихъ ученыхъ Ламарка, Кабаниса, Галля. Общій смыслъ движенія долженъ былъ осуществиться въ систематизаціи всего опытно-на-

учнаго матеріала, въ неразрывномъ сліяніи всѣхъ наукъ, соотвѣтствующемъ естественному единству всего мірозданія. Вѣнцомъ этого сліянія должна была явиться строгая наука о нравственномъ мірѣ человѣка, о воспитаніи личности и общества согласно съ результатами не теоретическихъ произвольныхъ воззрѣній, а положительнаго научно-вооруженнаго разума. Въ будущемъ намѣчалась естественная мораль, а слѣдовательно и религія и политика, внушенныя не полевическимъ здравымъ смысломъ, а разгаданной и всесторонне выясненной природой.

Съ этой точки зрѣнія міросозерцаніе какой бы то ни было эпохи является не случайной игрой свѣтлыхъ или темныхъ силъ, а выражаетъ собой исторически установившійся уровень представленій человѣка о мірѣ и смыслѣ міровой жизни. И такъ какъ эти представленія развиваются послѣдовательно во времени и въ пространствѣ, то и общія воззрѣнія— факты органическіе, т.-е. почвенные и историческіе. Исторія, слѣдовательно, не беспорядочный складъ драматическихъ происшествій и поучительныхъ иллюстрацій, а естественный процессъ, подверженный извѣстной закономерности, тѣмъ труднѣе уловимой для человѣческой мысли, чѣмъ сложнѣе его матеріалъ и содержаніе.

Два писателя XVIII вѣка оказали частныя услуги этому вопросу— Монтескье и Кондорсе. Одинъ ясно понималъ, что нравственные принципы, общественныя отношенія и политическія формы не изобрѣтенія человѣческой воли, а результаты многочисленныхъ органическихъ силъ и находятся во взаимныхъ закономерныхъ отношеніяхъ. Кондорсе изобразилъ будущее значеніе научной систематической работы и указалъ, какимъ путемъ должна выработаться новая «общая философія» на смѣну обвѣшавшимъ вѣрованіямъ. Но Монтескье былъ слишкомъ убѣжденнымъ сторонникомъ традиціоннаго элемента въ исторіи и слишкомъ осмотрительно считался съ настоящимъ, чтобы остановиться на движеніи законовъ и отношеній, на неизбѣжной смѣнѣ одного органическаго явленія другимъ. Кондорсе, напротивъ, изъ-за восторга предъ философскимъ и революціоннымъ моментомъ не сумѣлъ вдуматься въ относительную культурную цѣнность прошедшаго какъ естественной почвы для будущаго. Понять во всей полнотѣ смыслъ историческаго процесса оказался способнымъ единственный мыслитель XVIII вѣка—Тюрго. Онъ первый набросалъ схему какъ называемаго соціологическаго закона, даваго впоследствии основное содержаніе позитивной философіи, т.-е. намѣтилъ три эволюціонныя стадіи: теологическую, метафизическую и научно-философскую или позитивную.

Такимъ образомъ въ теченіе XVIII вѣка успѣло выработаться ученіе объ органическомъ послѣдовательномъ развитіи въ области природы и исторіи, и историки даже приобрѣли преимущество предъ естествоиспытателями. Біологическій законъ, объединяющій всѣ три царства природы и соподчиняющій высшую, психическую дѣятельность, оставался неуловимымъ

не только послѣ метафизическаго матеріализма Ламеттри, полемическаго естествознанія Дидро, но и послѣ работъ Кабаниса, Ламарка и Галля. Историки, напротивъ, владѣли, по крайней мѣрѣ, данными для опредѣленной общей концепціи, освѣщающей смѣну стадій соціальной эволюціи.

Но, естественно, именно этотъ завѣтъ XVIII вѣка, требующій наиболѣе вдумчивой и сосредоточенной мысли и наиболѣе глубокихъ историческихъ наблюденій, долженъ былъ отодвинуться предъ другими, практически наиболѣе соблазнительными и несравненно болѣе доступными идеями, и революція, реализировавшая философское наслѣдство просвѣтительной эпохи, сначала использовала ея метафизику и уже потомъ приступила къ разработкѣ научной систематизаціи фактовъ и выводовъ съ цѣлью создать новую, научно-философскую доктрину. Но и этотъ шагъ былъ только попыткой осуществить *Атлантиду* Кондорсе, т.-е. организацію болѣе или менѣе способную выработать доктрину. Вопросъ шелъ исключительно о настоящемъ и будущемъ, какъ идеалами независимыми отъ историческаго прошедшаго. И революція, какъ движеніе по преимуществу воинственное и практическое, не могла освоиться съ идеей исторической эволюціи, — идеей высшаго философскаго анализа.

Трудъ этотъ взялъ на себя Сень-Симонъ, но и у него произошло это постепенно и во времени и въ идеяхъ.

II.

Сень-Симонъ прошелъ рука объ руку съ революціей весь ея путь «кодификаціи XVIII вѣка», какъ выражается Мишле объ ея дѣятельности. Сень-Симонъ восторженно присоединился къ *декларации правъ*, торжественно отказался отъ своего титула, публично призналъ религіозный характеръ за идеей равенства и вообще слѣдовалъ за «августѣйшими законодателями» перваго революціоннаго собранія. Главное ихъ созданіе—конституція, имѣвшая два основанія, философское,—ученіе о всеобщей естественной свободѣ и равенствѣ, и практическое—установленіе ценза и распределеніе гражданъ на активныхъ и пассивныхъ. Оба основанія, противорѣчившія другъ другу, не замедлили вызвать два острыхъ вопроса, политическій и соціальный. Одинъ поставила могущественнѣйшая привилегированная сила—духовенство, другой еще болѣе могущественная естественная сила—масса, не нашедшая своихъ естественныхъ правъ въ ряду конституціонныхъ. И тотъ и другой вопросъ быстро обострился, благодаря общему потрясенію государственнаго организма, и привелъ общество къ мѣрамъ, какія не стояли въ программѣ ни философскаго просвѣщенія, ни большинства революціонныхъ законодателей:

Духовенство отказалось войти въ рамки новаго конституціоннаго государства, и борьба съ врагомъ привела революцію, въ началѣ не же-

лавшую порывать съ католичествомъ, отъ церковной политики къ религиозному догмату и на мѣсто гражданской задачи поставила философскую. Крайнія партіи воспѣшили изъ запаса XVIII вѣка извлечь самый рѣзкій анти-католическій матеріалъ и старой церкви противопоставить новую, по условіямъ момента, партійную и нетерпимую. Появляются культы разума, верховнаго существа, теофилантропіи, лишенные точнаго философскаго содержанія, но вполне опредѣленные по своему практическому смыслу, по стремленію уничтожить католичество, какъ доктрину. Исключительно отрицательный, полемическій характеръ культовъ приводитъ къ двумъ результатамъ: къ невозможности извлечь изъ философіи XVIII вѣка систему положительныхъ принциповъ, способныхъ завоевать всеобщее признаніе, и къ убѣжденію, что для массы старая церковь остается незамѣнимой. Это убѣжденіе сказывается уже во второмъ по времени революціонномъ культѣ Верховнаго существа: его апостоль, Робеспьеръ заставляетъ современниковъ провидѣть официальную католическую реакцію. Она становится очевидной во время неудачъ третьяго, наиболѣе философскаго «естественнаго» культа—теофилантропіи и, наконецъ, осуществляется конкордатомъ. Католичество— снова свободно исповѣдуемая національная религія французскаго народа, но съ существенными ограниченіями, воспроизводившими результаты философской и революціонной борьбы противъ католичества—въ самой откровенной формѣ.

Гражданская конституція, столь возмущившая духовенство въ началѣ революціи, теперь признана папой. Церковь—одно изъ учрежденій государства, ея служители—не только его вѣрнопопданые, но и чиновники свѣтскаго правительства, имъ содержимые и имъ назначаемые. А императоръ Наполеонъ постарается внести свое творчество даже въ Катихизисъ, т.-е. церковную догматику подчинить уже не цѣлямъ государства, а интересамъ личности.

Это означало униженіе и упраздненіе католичества, какъ доктрины. Официально церковь признавалась необходимымъ элементомъ государственнаго порядка, но ея преданія считалось возможнымъ приспособлять къ какимъ угодно практическимъ соображеніямъ—силы, ей посторонней. Естественно,—искренніе католики въ конкордатѣ усмотрѣли гибель католичества, какъ религіи,—по крайней мѣрѣ,—для просвѣщенной французской интеллигенціи,—и Деместръ пришелъ къ заключенію: или должна возникнуть новая религія или христіанство, т.-е. на языкѣ Деместра—католичество—должно обновиться «какимъ-нибудь необыкновеннымъ образомъ». Позднѣе Деместръ такъ же опредѣлилъ философскую задачу будущаго: «подождите, писалъ онъ, чтобы естественное сходство религіи и науки соединило ихъ въ умѣ какого-либо одного гениальнаго человѣка. Появленіе этого человѣка врядъ ли далеко, даже, можетъ - быть, онъ уже существуетъ. Онъ будетъ славенъ и положить конецъ XVIII вѣку, все еще продолжающемуся,

потому что вѣка умственного развитія не сообразуются съ календаремъ— подобно вѣкамъ хронологическимъ».

Раньше этихъ предсказаній революція вступила на путь къ ихъ осуществленію, а когда они были высказаны—задача сліянія науки и религіи уже сознательно выполнялась сень-симоновской філософіей.

Сень-Симонъ былъ свидѣтелемъ неудачъ, постигшихъ попытки установить естественную религію XVIII вѣка. Послѣ мимолетнаго культа Верховнаго Существа и паденія теофилантропіи конвентъ приступилъ къ другому средству—создать философскую основу для новыхъ общественныхъ отношеній, принялся за продолженіе и усовершенствованіе научной энциклопедіи. Рядъ учрежденій—политехническая школа, нормальная школа, національный институтъ—имѣлъ цѣлью «создать государственную доктрину», и для этого привести въ систему научное изслѣдованіе во всѣхъ областяхъ природы и изъ системы извлечь руководящіе практическіе принципы. Впослѣдствіи Контъ и Литтре научныя учрежденія революціи признали «подготовкой позитивной философіи», а Сень-Симонъ—первоучитель позитивизма—перенесъ въ свою систему нѣкоторыя основы этихъ учрежденій, какъ наилучшія въ организациі научно-философской доктрины.

Къ такому результату революція пришла въ разрѣшеніи политическаго вопроса, возникшаго на почвѣ церковно-религіозной реформы. Бонапартъ прервалъ научно-организующую дѣятельность,—но не рассчитывалъ и не могъ рассчитывать возстановить идейную силу старой доктрины,—и движеніе къ образованію новой оказалось только временно задержаннымъ, но не устраненнымъ и заслуга Сень-Симона состояла именно въ томъ, что онъ непосредственно воспринялъ философскую подготовку революціи и велъ организаторское дѣло въ разрѣзъ съ политикой Наполеона.

Другой вопросъ—соціальный—явился для революціи неожиданнымъ въ той формѣ, какую онъ принялъ въ дѣйствительности. Національное собраніе полагало рѣшить его объявленіемъ конституціи, т.-е. уничтоженіемъ феодальныхъ привилегій. Но, провозглашая естественное равенство, конституція узаконяла гражданское неравенство на принципѣ собственности,—и только собственникамъ вручала политическую власть и право охранять новый порядокъ національной гвардіей, а собственность объявила «правомъ неприкосновеннымъ и священнымъ».

Всѣ эти постановленія въ дѣйствительности немедленно встрѣтились съ неконституціонной практической силой, съ массой несобственниковъ, оставшейся за предѣлами правительствующей націи и предоставленной—въ своихъ интересахъ—на ея благоусмотрѣніе. Недоразумѣнія и противорѣчія слѣдовали одно за другимъ. Въ то время, когда конституція «обеспечивала» гражданамъ свободу собраній,—спеціальный законъ запрещалъ сборища ремесленниковъ для обсужденія ихъ профессиональныхъ интересовъ,—и въ то время, когда на *декларациі правъ* создавалось новое государство,—національная гвар-

дія, представительница активныхъ гражданъ,—пускала въ ходъ принудительную силу противъ пассивныхъ—подъ начальствомъ образцоваго конституціоналиста—Лафайетта. На политическую сцену выступило четвертое сословіе, пока не организованное,—но тѣмъ не менѣе опасное для государственнаго порядка, построеннаго на принципѣ собственности.

Но и этотъ основной принципъ оказался не настолькоъ священнымъ, какъ объявлялось въ конституціи. Та же борьба съ духовенствомъ обострила вопросъ о собственности въ такой же степени, какъ и вопросъ о религіи. Даже Мирабо договорился до идеи государственнаго социализма, собственность приравнялъ къ казенному жалованью, а собственника—къ общественному приказчику и эконому. За рѣчами послѣдовали мѣры, безпощадно нарушавшія право личной собственности. Революція не только преобразовала право завѣщанія и наслѣдованія,—она энергично вмѣшалась въ распредѣленіе матеріальныхъ благъ, устанавливая подоходный налогъ съ отобраніемъ извѣстнаго лишка въ казну, допуская особое «революціонное обложеніе» «богачей» и «аристократовъ», широко пользуясь конфискаціями личныхъ и корпоративныхъ имуществъ, наконецъ,—сосредоточивая въ рукахъ правительства все распредѣленіе продуктовъ въ данной мѣстности, т.-е. учреждая коллективистскую организацію. Очевидно, принципъ неприкосновенности личной собственности не находилъ защиты ни въ идеяхъ даже умѣренныхъ политиковъ, ни еще менѣе въ практическихъ мѣропріятіяхъ партій и отдѣльныхъ уполномоченныхъ агентовъ правительства,—въ родѣ комиссаровъ конвента. Быстро повышавшаяся температура революціоннаго движенія выдвинула на первый планъ массу, т.-е. несобственниковъ, создала вторую—пролетаріатскую—конституцію,—и, когда эта конституція оказалась неосуществленной съ прекращеніемъ господства якобинской партіи,—на сцену выступилъ бабувистскій заговоръ,—доктрина «фактическаго равенства»—всѣхъ человѣческихъ способностей и потребностей. Бабувизмъ ставилъ задачу государственной организаціи производства и потребленія, возводя новый порядокъ на степень религіознаго догмата. Личность становилась страдательнымъ матеріаломъ въ рукахъ неограниченной соціальной власти и въ случаяхъ превышенія въ какомъ бы то ни было отношеніи общаго уровня подлежала сокращенію и даже упраздненію. Столь чудовищно поставленная доктрина свидѣтельствовала о двухъ вполне реальныхъ фактахъ: о необыкновенной обостренности соціального вопроса и о внутренней связи доктрины съ радикальными экономическими мѣрами революціи. Коллективизмъ, осуществлявшійся революціоннымъ правительствомъ въ частныхъ случаяхъ, возводился бабувистами въ правило—математически строгое и во всѣхъ подробностяхъ кристаллизованное. Въ такой формѣ рѣшеніе соціального вопроса являлось противоестественнымъ, якобинскимъ въ высшей степени,—но принципъ философско-экономической опеки надъ обществомъ не зависѣлъ непремѣнно отъ бабувистской прак-

тической программы. Онъ могъ ввести въ практическіе выводы *естественныя* данныя, т.-е. неравенство силъ и способностей и, слѣдовательно, неравномѣрность работы,—и на этихъ основахъ попытаться построить социальный порядокъ, не жертвуя интересами несобственниковъ экономически привилегированному классу.

Наполеонъ и здѣсь задержалъ процессъ, притупивъ остроту социального вопроса истребленіемъ пролетаріевъ на поляхъ битвъ и казарменнымъ попеченіемъ о тѣхъ, кто еще не шелъ на пушечное мясо. Но все равно, какъ вопросъ о научно-философской доктринѣ не упразднился конкордатомъ, такъ и социальная задача не рѣшалась военной организаціей государства. Оба вопроса являлись не плодомъ идеологии или партійнаго политиканства, а результатомъ исторической эволюціи,—причемъ та же эволюція указывала настоятельность доктрины именно для удовлетворенія глубочайшей политической потребности времени: доктрина должна быть не чисто-философской, а социально-философской. Наука должна выработать программу отношеній чловѣка къ міру и обществу и высшимъ торжествомъ научно-философской мысли будетъ моментъ, когда она сумѣетъ эти отношенія обосновать единымъ научно-доказаннымъ принципомъ.

Въ стремленіи къ этому идеалу и заключается смыслъ философской работы Сень-Симона.

III.

Въ ранній періодъ революціи Сень-Симонъ, увлекаясь декларацией правъ, не забывалъ и своей исконной страсти къ прожектерству, къ гениальному обогащенію. Громадное перемѣщеніе недвижимой собственности, вызванное революціей, представило обширное поприще для предпринимательской отваги и Сень-Симонъ, въ компаніи съ нѣмецкимъ графомъ Редерномъ, занялся скупкой національныхъ имуществъ. Подъ обезпеченіе этихъ имуществъ было выпущено около трехъ миллиардовъ ассигнацій, разумѣется, быстро падавшихъ въ цѣнѣ. За скромную сравнительно сумму можно было скупить миллионы этихъ ассигнацій,—приобрѣсти соотвѣтственное количество національной собственности. Въ этомъ и заключались спекуляціи Сень-Симона. Но если онъ наживалъ деньги какъ ловкій Фигаро, то тратилъ ихъ какъ самый легкомысленный Альмавива,—съ одной разницей: Сень-Симонъ среди удовольствій не забывалъ мысли и дѣла,—а то и другое ему подсказывалось проницательнымъ наблюденіемъ надъ современными событіями.

Мишле со словъ очевидца такъ изображаетъ Сень-Симона въ эпоху революціи:

«Это былъ красивый мужчина, очень веселый, съ открытой беззаботной внѣшностью, съ удивительными глазами, съ красивымъ длиннымъ

донъ-вихотскимъ посомъ. Онъ жилъ въ Палероялѣ и въ окрестностяхъ его, среди цинической свободы большого барина—санкюлота. Одѣвался онъ въ духъ Анаксагора Шометта,—совсѣмъ безъ галстука или съ очень низго и кое-какъ повязаннымъ, въ модномъ плащѣ. Всегда среди женщинъ,—онъ тѣмъ не менѣе преданъ былъ прежде всего идеѣ. И даже дѣла и женщины, очевидно, были для него предметомъ для наблюденія, для отважныхъ опытовъ. Онъ былъ изумительно, чудовищно любознателенъ, всегда искалъ, учился, расточалъ то, что узнавалъ и передавалъ другимъ. Отъ него нельзя было оторваться».

Сень-Симонъ зорко слѣдилъ за движеніемъ революціи и дѣлалъ свои заключенія. Бѣдствія и безработица массы подсказали ему планъ громаднаго индустріальнаго учрежденія и онъ немедленно началъ постройки. Одновременно шло самое широкое поощреніе чужой предприимчивости, особенно щедро Сень-Симонъ помогалъ ученымъ. Терроръ не прошелъ безслѣдно для оригинальнаго дѣльца,—Сень-Симонъ одиннадцать мѣсяцевъ высидѣлъ въ тюрьмѣ, какъ аристократъ и какъ компаньонъ иностранца. Редернъ, совершенно чуждый филантропическимъ замысламъ Сень-Симона, потребовалъ раздѣла,—и выдѣлилъ философу изъ многомилліонной прибыли 144,000 ливровъ. Философъ только почти 10 лѣтъ спустя обратилъ серьезное вниманіе на странный расчетъ, а пока его занималъ исключительно идеальный вопросъ.

Сень-Симонъ такъ опредѣляетъ содержаніе вопроса и время его возникновенія: въ 1797 году философъ рѣшилъ открыть человѣческому уму *физико-политическое поприще*. Смыслъ этого опредѣленія долженъ быть намъ ясенъ независимо отъ истолкованій самого автора. Революція успѣла подвергнуть практической провѣркѣ философскую метафизику XVIII вѣка и остановилась на разработкѣ научно-энциклопедической задачи, на систематизаціи опытнаго знанія, какъ почвы для новой соціальной доктрины. Сень-Симонъ съ своей стороны желалъ создать «общую науку»—*la science générale*, т.-е. положительную нравственную и политическую доктрину, при убѣжденіи, что мораль и политика должны быть такія же положительныя отрасли знанія, какъ физика и физиологія. Эта доктрина и осуществитъ высшую цѣль современности—закончить революцію и установить незыблемый соціальный порядокъ, чего не въ состояніи сдѣлать метафизическая философія просвѣтителей.

Такова задача. Но прежде всего возникаетъ вопросъ,—дѣйствительно ли политика можетъ рассчитывать на достоинство положительной науки? Несомнѣнно,—отвѣчаетъ Сень-Симонъ: это видно изъ общей судьбы вообще всѣхъ наукъ. Онѣ проходятъ двѣ ступени—гадательную и положительную и въ этомъ движеніи распределяются по степени сложности предметовъ, составляющихъ область науки. Позитивной стадіи уже достигли астрономія и химія, физиологіи послѣ работъ естествоиспытателей XVIII вѣка остается

сдѣлать одинъ шагъ къ позитивизму, психологія начинаетъ опираться на фізіологію,—за ней должны послѣдовать мораль и политика и тогда вся философія станетъ положительной, такъ какъ составъ ея обуславливается данными отдѣльныхъ наукъ. А такъ какъ религія не что иное какъ матеріализація и осуществленіе философскихъ принциповъ,—то и она пріобрѣтетъ позитивный характеръ и корпорація ученыхъ заступитъ мѣсто духовенства.

Все это вытекаетъ изъ классификаціи наукъ, постепенно вырабатывавшейся научно-энциклопедическимъ движеніемъ, принявшей у Сень-Симона стройную форму и вполнѣдствіи давшей основной принципъ контовской философіи. На основаніи классификаціи получается логически ясный, но практически печальный результатъ: если еще только фізіологія вступила на путь позитивизма,—очевидно другимъ, несравненно болѣе сложнымъ наукамъ,—приходится долго ждать совершенства астрономіи, т.-е. такого своего всеобъединяющаго принципа, какимъ является законъ тяготѣнія. Весь вопросъ въ этомъ принципѣ, — открыть его — значитъ превратить усвоенную область вѣдѣнія въ позитивную науку. Ньютонъ готовъ былъ признать законъ химическаго сродства видоизмѣненіемъ закона тяготѣнія,—но дальше не пошелъ. Только французскіе энтузіасты, въ родѣ Мопертюи, успѣли распространить астрономическій законъ и на область фізіологіи.

Все это Сень-Симону, несомнѣнно, извѣстно, такъ какъ онъ съ 1797 года принялся за изученіе точныхъ и опытныхъ наукъ—въ порядкѣ ихъ классификаціи,—и быстро пришелъ къ рѣшительному заключенію,—которое отнюдь не можетъ казаться ни неожиданнымъ, ни страннымъ. Еще Вольтеръ, популяризовавшій открытіе Ньютона, высказалъ убѣжденіе, что всѣ явленія міра должны быть подчинены единому принципу, иначе въ мірѣ царствовалъ бы хаосъ. И это убѣжденіе не только не потеряло своей цѣны въ глазахъ мыслителей XIX вѣка, но они даже нерѣдко обнаруживали готовность Сень-Симона—такимъ мировымъ принципомъ признать законъ тяготѣнія. Для самого Сень-Симона, преисполненнаго философской экзальтаціей,—эта идея, по крайней мѣрѣ, на 15 лѣтъ становится вдохновительницей его умственной работы:

И такъ, необходимо доказать господство закона тяготѣнія надъ нравственными и социальными явленіями. Фурье по своему достигнетъ этой цѣли, построить свое идеальное общество на принципѣ «страстнаго притяженія». Это будетъ родъ метафизики, точнѣе психологической математики, характеризовавшей больше силу классическаго воображенія автора, чѣмъ точность его анализа. Усилія Сень-Симона остались безплодными, такъ какъ онъ въ основахъ своего философскаго зданія не былъ способенъ пробѣлы опыта восполнять чисто-теоретическимъ матеріаломъ. Только въ первомъ своемъ сочиненіи *«Письма женеваго обывателя»* онъ по-

спѣшилъ представить планъ соціальной реформы, основываясь на будто бы уже добытой несомнѣнности закона тяготѣнія и въ области морали и политики. Обществомъ управляетъ *Ньютоновскій советъ* съ филиальными отдѣленіями, — вездѣ подъ предсѣдательствомъ математика, хотя и съ членами-физиологами и артистами, т.-е. представителями художественной дѣятельности. Это — *духовная* власть, принципиальная, руководящая, а свѣтская, правительственная въ рукахъ собственниковъ, — и только выборы въ советъ принадлежать всѣмъ.

Сень-Симонъ впоследствии не считалъ этого своего сочиненія существующимъ, — и, несомнѣнно, оно свидѣтельствовало о слишкомъ стремительномъ подчиненіи мысли философа двумъ чувствамъ, — увлеченію математической идеей и враждѣ къ политическому вмѣшательству массы. Сень-Симонъ, при всей своей экзальтаціи, сумѣлъ оцѣнить моментный смыслъ своихъ настроеній, — и принялся за подготовительную работу.

Она открывается *Введеніемъ къ научнымъ работамъ XIX вѣка* и заканчивается разсужденіемъ о тяготѣніи въ 1813 году. До какой степени Сень-Симону трудно было бороться съ своей задачей, — показываетъ самая форма его сочиненій за этотъ періодъ, — поразительно невыдержанная, хаотическая, представляющая вереницу отрывковъ — теоретическихъ, лирическихъ, мечтательныхъ, — и, подчасъ мало вразумительныхъ. Философъ рѣшается побывать во всѣхъ мірахъ науки, — въ астрономіи, въ физиологіи, въ физикѣ, въ химіи, въ ботаникѣ. Одно время даже задумываетъ создать свою астрономическую систему и отваживается на самое элементарное материалистическое толкованіе психологическихъ явленій. Математики и физиологи, приглашаемые философомъ въ сотрудники, не принимаютъ приглашеній. Никто не желаетъ сопутствовать ему по пути къ «систематизаціи философіи Бога» при помощи астрономическаго закона, — и, наконецъ, самъ Сень-Симонъ покидаетъ неблагодарный путь и сосредоточивается на анализѣ тѣхъ явленій, какія прямымъ путемъ общаются привести его къ соціальной доктринѣ, — т.-е. явленій историческихъ.

Не слѣдуетъ забывать, что философія Сень-Симона съ самаго начала не была объективной любознательностью, а возникла и развивалась подъ давленіемъ «деспотизма сердца», какъ выражается самъ философъ. Кончить революцію и водворить миръ не только во Франціи, но и во всей Европѣ — настойчивое желаніе Сень-Симона и его такъ долго занимать всеобъемлющій мировой законъ только потому, что въ этомъ законѣ Сень-Симонъ рассчитывалъ найти руководителя къ соціальной наукѣ. И потому среди разсужденій о тяготѣніи безпрестанно встрѣчаются въ высшей степени важныя историко-философскія и политическія идеи и уже въ планѣ *Введенія къ научнымъ работамъ XIX вѣка* входила критика философіи исторіи Кондорсе и программа новой энциклопедіи, какъ основы новой доктрины. И въ первый космологическій періодъ Сень-Симону была

вполнѣ ясна идея исторической эволюціи, и, слѣдовательно, основное заблужденіе метафизиковъ XVIII вѣка, не понимавшихъ прогрессивнаго значенія среднихъ вѣговъ и историческаго смысла религіозныхъ явленій. Тогда же Сень-Симонъ намѣтилъ и важнѣйшій символъ своей будущей религіозно-соціальной доктрины. Уже въ *Письмахъ женеваго обывателя* провозглашена общеобязательность труда, при чемъ, на собственниковъ, неспособныхъ къ умственному труду, возлагался долгъ—работать физически. Въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ сдѣланъ и рѣшительный практическій выводъ изъ правила: разграничены *работники* и *праздные*, праздность объявлена преступленіемъ противъ нравственности и общественнаго порядка и сдѣлана чрезвычайно страстная характеристика рантѣе—класса «безсмысленнаго и презрѣннаго», стоящаго ниже даже явно злонамѣренныхъ людей.

Эта страстность, одушевившая впоследствии такъ называемый «индустриализмъ» Сень-Симона, совершенно выдѣляетъ его философію изъ современнаго политико-экономическаго движенія, хотя и признававшаго трудъ главнымъ источникомъ богатства, но чуждаго представленію о собственникѣ, какъ непроеводительномъ членѣ общества въ случаѣ отсутствія лично производительной работы. Идеи Сень-Симона примыкаютъ не къ экономическимъ теоріямъ, а къ соціальному движенію при революціи: въ теорію бабувистовъ, напримѣръ, входило ученіе о гражданской преступности непроеводительнаго существованія.

Ясно, въ какихъ предѣлахъ будетъ вращаться мысль Сень-Симона, освободившись отъ космологическихъ заблужданій. Философъ не достигъ поставленной цѣли,—но вышелъ на болѣе узкій путь съ великимъ выигрышемъ. Продолжительное ознакомленіе съ современнымъ развитіемъ естествознанія освоило Сень-Симона съ ученіемъ объ эволюціи и съ физиологической классификаціей на основаніи этого ученія. Принципъ эволюціи, который, по словамъ Сень-Симона, объяснилъ ему врачъ-физиологъ Бюрдэнъ, заключается въ пропорціональности явленій организаціи тѣлу,—т. е. явленія тѣмъ сложнѣе, чѣмъ совершеннѣе органическое строеніе тѣла, въ которомъ они происходятъ. И психическая дѣятельность человѣка также обусловливается преимуществами организаціи предъ организмами другихъ животныхъ. Подобную идею Сень-Симонъ могъ найти еще у Ламеттри,—но ученые конца XVIII вѣка на ней основали представленіе о цѣльности всего существующаго, о постепенномъ усложненіи формъ и соотвѣтственномъ видоизмѣненіи органическихъ функцій. Тотъ же самый принципъ долженъ быть распространенъ и на историческое развитіе человѣка, такъ какъ оно не что иное какъ продолженіе естественной исторіи человѣка,—и принципъ эволюціи одинаково примѣнимъ и къ естественнымъ и къ соціальнымъ формамъ. Здѣсь также господствуетъ законъ усложненія формъ и содержанія, и если существуетъ рядъ прогрессовъ

органическаго развитія, долженъ существовать рядъ прогрессовъ умственнаго развитія, такъ какъ появленіе самой умственной дѣятельности—результатъ естественной организаціи. Физиологія учитъ: чѣмъ *лучше* и *больше* организовано животное, тѣмъ оно разумнѣе,—исторія не что иное, какъ изслѣдованіе постепеннаго совершенствованія умственной дѣятельности въ связи съ постепенно осложняющимися общественными формами.

И по понятію Сенъ-Симона—философъ не что иное, какъ естествоиспытатель въ области социальныхъ явленій, физиологъ человѣческой природы, какъ историческаго фактора. Отсюда—понятіе *соціальной физики*, какъ научно-философской исторіи, основанной на анализѣ фактовъ умственной эволюціи. Сенъ-Симонъ вращался въ кругу естествоиспытателей, давно успѣвшихъ положить основаніе этому понятію. Среди нихъ первыя мѣста принадлежали Галлю и Блэнвиллю,—людямъ разныхъ религіозныхъ воззрѣній, но единодушныхъ во взглядѣ на мировую жизнь, какъ на непрерывную эволюцію, и на науки, какъ цѣльную внутренне-объединенную систему наблюденій и выводовъ. И Сенъ-Симонъ съ своимъ основнымъ ученіемъ объ исторической эволюціи явился только разработателемъ общей естественно-научной идеи въ одной области естественныхъ явленій, въ той, какава у Конта получить наименованіе социологіи.

IV.

Для насъ въ высшей степени важенъ фактъ, что идея эволюціи у Сенъ-Симона составила первоначально не на почвѣ наблюденій собственно надъ историческими фактами, а была перенесена на эту почву изъ естествознанія. Это очевидно изъ слѣдующаго сообщенія Сенъ-Симона. Въ числѣ ученыхъ, которымъ онъ обязанъ помощію на физико-политическомъ поприщѣ, называется Эльснеръ, авторъ книги *Les effets de la religion de Mahammed*. Онъ объяснилъ Сенъ-Симону прогрессивное содержаніе среднихъ вѣковъ,—именно роль арабской культуры. Сенъ-Симону оно было неясно, хотя, на основаніи заранѣе воспринятаго убѣжденія,—*должно* было существовать—вопреки понятіямъ Кондорсе. Слѣдовательно, Сенъ-Симонъ *примѣнилъ* къ исторіи принципъ, добытый естествознаніемъ. Этимъ объясняется судьба эволюціонной идеи у Сенъ-Симона. Естествознаніе въ своемъ ряду эволюціонныхъ фактовъ трактовало человѣка только какъ существо, одаренное высшей умственной способностью: съ этой способностью связано совершенство человѣческой организаціи. Дальнѣйшіе эволюціонные факты въ томъ же естествоиспытательскомъ направленіи должны были характеризоваться развитіемъ той же способности,—и потому у Сенъ-Симона первоначальная историческая эволюція — исключительно умственная, идейная, философская, охватывающая только общія представленія человѣка о мірѣ и не считающаяся съ видоизмѣненіями матеріаль-

ныхъ отношеній общества. А между тѣмъ искомая доктрина должна была представить не только научно-философскій взглядъ на міръ, но организовать именно матеріальныя отношенія,—и у Сень-Симона имѣлся и руководящій принципъ организаціи — общеобязательность личнаго производительнаго труда. Несомнѣнно,—и ученіе объ эволюціи должно было восполниться анализами не только чисто-умственныхъ явленій, но и матеріальныхъ, чтобы представить эволюцію фактовъ не только для позитивнаго воззрѣнія, но и для позитивной дѣятельности.

Первоначальное ученіе Сень-Симона объ эволюціи стремится объять развитіе человѣчества чрезвычайно широко: грани прогресса начинаются съ состоянія, еще лишеннаго способности рѣчи, дальше слѣдуютъ различныя ступени дикости—до возникновенія общественной организаціи, религіознаго культа, организованнаго духовенства. Это—доисторическій періодъ. Историческій открываютъ египтяне, изобрѣтатели письменности и, слѣдовательно, создатели великаго акта эволюціи—раздѣленія людей на мыслящихъ и вѣрующихъ, на ученыхъ и массу,—и великой культурной истины: жреческая власть и научная способность тождественны по своей сущности,—и духовенство, чтобы обладать авторитетомъ, должно быть самой образованной корпораціей. Доктрина, т.-е. общая идея египетскихъ жрецовъ—*политеизмъ*, въ то время когда народъ жилъ въ *идолослуженіи*. Политеистическимъ народомъ явились греки,—и среди нихъ основатель слѣдующей болѣе совершенной доктрины—*теизма*—Сократъ. Теистическіе народы всѣ, принявшіе христіанство, также и магометане; среди этихъ народовъ возникла послѣдняя стадія умственнаго движенія—*позитивная*. Первоисточникъ позитивизма такъ же какъ и теизма—философія Сократа. Принципъ этой философіи—идея единой причины. Эта идея въ свою очередь подлежитъ развитію: единую причину можно понимать или при помощи преимущественно воображенія, или при помощи преимущественно наблюденія и разсудка. Человѣчество естественно начало съ перваго способа: воображеніе развивается раньше разума,—и платоновское направленіе организовало религіозный теизмъ. Но одновременно съ торжествомъ теизма возникло движеніе—научное, аналитическое устанавливающее понятіе закона на мѣсто одушевленной причины,—движеніе, примыкающее также къ Сократу чрезъ Аристотеля, какъ естествоиспытателя. Смыслъ арабской цивилизаціи, пользовавшейся научными работами Аристотеля, именно и заключался въ раскрытіи *законовъ*, управляющихъ явленіями. Съ тѣхъ поръ направленіе остается неизмѣннымъ.

Частные законы умножаются, теизмъ претерпѣваетъ разложеніе, научный и логическій анализъ ниспровергаетъ синтезъ воображенія,—но это переходная стадія, критическая, а не органическая. Она закончится, когда всѣ частные законы будутъ объединены, научная система органи-

зуются на единомъ принципѣ и прикладная, т.-е. религія, придетъ въ гармонію съ наукой.

Мы видимъ, схема Сень-Симона устанавливаетъ основы такъ называемаго контовскаго социологическаго закона,—Контъ ограничился разработкой основъ, остановился на умственной эволюціи, какъ безусловно руководящей, всеобъемлющей. Сень-Симонъ, окончательно сосредоточившись на эволюціи историческихъ явленій, исполнилъ свою схему, къ философскому ряду присоединилъ *индустриальный*. Фактъ этотъ въ *общемъ* смыслѣ—совершенно естественъ. Константъ впоследствии весь XIX вѣкъ нашелъ возможнымъ характеризовать какъ эпоху религиозныхъ поисковъ и индустриальныхъ вопросовъ. И такимъ вѣкъ явился еще раньше хронологическаго начала—во время революціи и рядомъ съ религиозными волненіями, энциклопедическими замыслами революціи и конкордатомъ—индустриальный вопросъ обнаружился въ волненіяхъ безработной массы и въ подъемѣ промышленнаго труда, о чемъ свидѣтельствовали періодическія выставки, начавшіяся уже съ 1798 года. И Сень-Симону, еще раньше задумавшему обширное индустриальное предпріятіе, разумѣется была ясна не только настоятельность вопроса, но даже и его рѣшеніе въ общей формѣ. Если къ философскому принципу онъ пришелъ путемъ анализа историческихъ явленій,—то и къ индустриальному его долженъ былъ привести тотъ же анализъ,—такъ какъ только онъ въ обоихъ случаяхъ и могъ непоколебимо утвердить извѣстную конечную цѣль.

Принципъ индустриальной эволюціи—расширеніе ассоціаціи, или въ отрицательной формѣ—ограниченіе эксплуатаціи человѣка человекомъ—до распространенія ассоціаціи на все человѣчество и до установленія общей свободной эксплуатаціи земного шара. Грани этой эволюціи слѣдующія: античное рабство—прогрессивное явленіе сравнительно съ обычаемъ дикихъ убивать побѣжденныхъ, средневѣковое крѣпостничество, представляющее рабство земли, а не личности, наконецъ постепенное освобожденіе «плебейскаго труда» въ двухъ направленіяхъ—въ умственномъ,—развитіе положительныхъ наукъ, въ индустриальномъ,—освобожденіе общинъ, возникновеніе новой собственности, *движимой*, т.-е. капитала—въ противовѣсъ феодальной, недвижимой собственности,—добываемаго воздѣйствіемъ на природу путемъ личнаго труда и личныхъ способностей.

Слѣдовательно, — поворотный культурный моментъ слагается изъ двухъ элементовъ,—свободнаго изслѣдованія природы и свободной эксплуатаціи ея силъ. Очевидно оба элемента неразрывно связаны другъ съ другомъ, такъ какъ эксплуатаціи естественныхъ богатствъ немислима безъ предварительнаго изученія природы,—и координація элементовъ позитивной стадіи ясна по существу. Но примѣнима ли координація къ элементамъ другихъ стадій,—т.-е. можно ли удостовѣрить внутреннюю взаимную зависимость средневѣковаго теизма и феодальнаго строя? Контъ впослед-

ствія будетъ доказывать цѣльность теологическо-феодальной стадіи такъ же какъ и позитивно-индустріальной. Усилія останутся безуспѣшными и подорвутъ все зданіе контовскаго соціологическаго закона.

Сень-Симонъ не бралъ на себя подобной задачи, потому что ему съ самаго начала была ясна другая группировка явленій. Теологія по существу—явленіе враждебное феодализму: она въ лицѣ католической церкви—знаменуетъ мирный умственный трудъ, реабилитацию плебейскихъ способностей, объединеніе человѣчества путемъ единой доктрины безъ различія національностей. Все это—въ противность феодализму, наслѣднику античнаго военнаго духа, построенному на привилегіяхъ происхожденія, на сословной и національной исключительности. Теологія, слѣдовательно, предшественница болѣе совершенной стадіи, какъ представительница мирнаго культурнаго труда и нравственнаго достоинства человѣческой личности. Отсюда важная цивилизаторская роль католической церкви и сень-симоновское ученіе о среднихъ вѣкахъ, какъ эпохѣ безусловно прогрессивной сравнительно съ античнымъ военнымъ и аристократическимъ строемъ. Въ средѣ духовенства явились первые ученые, монахъ Рожеръ Бэконъ—величайшій физикъ своего времени,—и, если теологія, какъ направленіе, оказалось враждебнымъ новому научному духу,—это было результатомъ ошибочнаго взгляда духовенства на свое положеніе: оно должно бы идти въ уровень съ цивилизаціей и тѣмъ сохранить свой авторитетъ. Оно предпочло превратить въ неподвижный догматъ свою доктрину, не отдавая себѣ отчета въ эволюціонномъ характерѣ всякой доктрины. И поэтому научное и индустріальное теченія направились одинаково противъ теологіи и феодализма,—и постепенно слились въ одну позитивную или индустріальную силу новаго времени.

Я говорю: позитивную или индустріальную, потому что на языкѣ Сень-Симона индустрія есть свободный производительный трудъ—умственный и промышленный, такъ какъ по существу и по исторической судьбѣ и тотъ и другой трудъ другъ другу способствуютъ въ общей борьбѣ и друга друга обусловливаютъ,—и общая идея, т.-е. нравственно-религіозная доктрина и, слѣдовательно, зиждущійся на ней общественный порядокъ должны находиться въ зависимости и отъ уровня просвѣщенія данной эпохи и отъ экономическихъ отношеній, существующихъ въ данномъ обществѣ. Безъ доктрины, т.-е. безъ общихъ всѣми признаваемыхъ идей не можетъ существовать соціальная организація,—а доктрина—фактъ эволюціи, осуществляющійся въ двоякомъ теченіи—умственномъ и матеріальномъ. Сень-Симонъ не рѣшилъ и даже не поставилъ вопроса, вполнѣдствіи вызвавшаго противорѣчивыя и страстныя рѣшенія—вопроса о взаимномъ отношеніи идейной и матеріальной эволюціи,—онъ только указалъ одинаковую важность и той и другой, не рѣшаясь, подобно Конту, добиваться единства цѣной матеріальной эволюціи и еще меньше расположенный, подобно Луи

Блану и Марксу,—умственную признать производной материальнаго процесса.

Всесторонне развитое эволюціонное ученіе логически приводит къ слѣдующимъ практическимъ положеніемъ: «Систему социальной организаціи не создаютъ, а подмѣчаютъ образовавшееся вновь сцѣпленіе идей и интересовъ и указываютъ на него... Дѣйствительная конституція никогда не можетъ быть изобрѣтена, она только можетъ быть наблюдаена. Истинной учредительной властью не можетъ быть ни король, ни собраніе, а только философъ, изучающій движеніе цивилизаціи и объединяющій свои наблюденія въ общій законъ,—и этотъ законъ становится конституирующимъ принципомъ, послѣ того, какъ онъ удостовѣренъ множествомъ людей просвѣщенныхъ». Въ этомъ же смыслѣ Сень-Симонъ оцѣниваетъ свою собственную социальную систему: «это не я составилъ планъ конституціи, основы которой я изложилъ,—а мысль европейскаго населенія, работавшая надъ этимъ планомъ въ теченіе послѣднихъ восьми вѣковъ. Если не всё его распознали, то лишь потому, что онъ скрытъ фасадомъ стараго социального зданія, еще существующаго».

Законъ эволюціи—*наше настоящее Провидѣніе*, но не фатализмъ. Человѣкъ долженъ *сознательно* подчиняться закону,—это значитъ: если положительныя силы человѣка не въ состояніи направить движеніе цивилизаціи по теоретически-установленному пути,—отрицательныя могутъ въ сильнѣйшей степени замутить это движеніе и надолго нарушить его. Невѣдѣніе или непониманіе закона или даже своекорыстная ненависть къ его велѣніямъ могутъ вызвать насильственную поддержку учрежденій, осужденныхъ историческимъ процессомъ на разложеніе или, наоборотъ,—стремительное желаніе—путемъ истребительнаго переворота опередить процессъ. Поэтому въ системѣ Сень-Симона остается мѣсто и чувству рядомъ съ разумомъ, филантропіи на помощь философін.

Такова социальная динамика Сень-Симона, и онъ воспользовался ею какъ критическимъ и какъ созидательнымъ орудіемъ.

У.

Сень-Симонъ призываетъ на судъ эволюціоннаго принципа философію XVIII вѣка, дѣятельность революціи и конституціонную хартію. Во всѣхъ этихъ фактахъ философъ видитъ исключительно плоды метафизическаго резонерства, а не историко-философскаго разума. Отсюда критическая сила философіи и революціи и ихъ творческое безсиліе. Побѣдоносно воюя съ явленіями, давно осужденными исторіей,—философы для созиданія новаго прибѣгли не къ анализу фактовъ прошлаго, а къ отвлеченнымъ абсолютнымъ положеніямъ, прямо противоположнымъ ненавистному настоящему,—на мѣсто *теологіи* создали *антитеологію*, противъ идеи боже-

ственной монархической власти выставили идею непогрѣшимости народа, вза-мѣнъ сословныхъ понятій предложили естественнаго челоуѣка съ правами общими и безусловными, съ чисто-теоретическимъ равенствомъ, не взирая на естественныя, національныя, историческія и экономическія неравенства лю-дей. Руководителями революціоннаго движенія явились не тѣ люди, ка-кихъ историческій процессъ со временъ освобожденія общинъ, т.-е. съ XII вѣка, выдвигалъ какъ производительную силу,—а законники и адвокаты, говоруны, производители теорій и фразъ, потомки легистовъ, выросших на феодализмѣ въ качествѣ феодальныхъ приказчиковъ и крючкотворцевъ. Въ этой атмосферѣ, наполненной призраками и мечтами, и созрѣлъ тер-роръ, потребовалась сильная рука для водворенія внутренняго мира,—но Бонапартъ выполнилъ свою задачу, какъ посредственный государственный умъ. Онъ не понималъ научно-индустріальной цѣли современнаго общества и остался на старомъ, военномъ пути. До Наполеона и послѣ Наполеона сочинялись конституціи чисто теоретическимъ путемъ. Революція должна была слѣдовать традиціонному способу освобожденія третьяго сословія, т.-е. выгону вольностей, какъ это дѣлали общины,—вмѣсто того прибѣгла къ конфискаціямъ и экспропріаціямъ, чѣмъ создала множество враговъ но-вому строю. Потомъ революціи предстояло рѣшить вопросъ не естествен-ной свободы, а социальной, т.-е. вопросъ о собственности, какъ основѣ политическаго порядка,—декларация правъ не рѣшила этой задачи.

Въ результатъ длинный рядъ смѣняющихся другъ друга конституцій. Всѣ онѣ стремятся создать свободу, между тѣмъ какъ свобода не можетъ быть *целью* общественной организаціи, являясь всегда *результатомъ* извѣст-наго уровня цивилизаціи. И нѣтъ ничего бесплоднѣе теоріи чисто-полити-ческой свободы, т.-е. теоретически-неограниченнаго права каждого гражда-нина—все равно съ цензомъ или безъ ценза—заниматься государствен-ными дѣлами, независимо отъ его положительныхъ политическихъ способ-ностей. Это все равно, какъ если бы отъ каждого француза требовать прирожденнаго таланта—производить химическія открытія.

И реставраціонную хартію Сенъ-Симонъ не признаетъ мудрымъ уложеніемъ уже потому, что истинная сила времени—индустрія—не нашла въ ней признанія. *Потребителямъ* попрежнему въ правительствѣ преобладаютъ надъ *производителями*,—и надъ націей попрежнему царить производъ.

Сенъ-Симонъ подвергаетъ суровой но вполне послѣдовательной кри-тикѣ реставраціонный парламентаризмъ и его партіи. Положеніе ретроград-ной—ясно: она опирается на силы, приговоренныя къ смерти историче-ской эволюціей. Сложнѣе роль либеральной. Она считаетъ себя защитни-цей «интересовъ революціи», и дѣйствительно состоитъ изъ адвокатовъ и литераторовъ, героевъ фразы и остроумія, вооруженныхъ политической метафизикой и чуждыхъ реальнымъ интересамъ націи. Вся ихъ дѣятель-ность исчерпывается партійными междуособицами, борьбой за власть и

одушевляется единственнымъ, практическимъ принципомъ: «уйди,—я займу твое мѣсто». Только положительной безпринципностью и можно объяснить союзъ либераловъ съ бонапартистами, *говорунговъ съ рубаками*. Для всѣхъ идея абсолютнаго равенства означаетъ право всѣхъ на должности и мѣста, — и не съ цѣлью уничтожить злоупотребленія, а именно ради этихъ мѣстъ.

Несомнѣнно, въ такой рѣшительной формѣ приговоръ Сенъ-Симона надъ конституціонной партией грѣшитъ рѣзкостью. Но по существу—приговоръ не только справедливъ, но онъ даже нашелъ подтвержденіе въ признаніяхъ самихъ либераловъ. У критической дѣятельности либераловъ, направленной противъ ретроградной партіи, разумѣется, нельзя отнять историческаго значенія,—но положительная либеральная программа отсутствовала уже потому, что либералы, по словамъ одного изъ вождей партіи—Дюнуайе, пользовались дѣйствительно только разрушительными средствами и имѣли въ виду *la conquête du pouvoir* и, по словамъ другого вождя—Армана Карреля, не чувствовали ни малѣйшаго интереса къ непарламентской націи, т.-е. къ народу и его социальнымъ нуждамъ. И Сенъ-Симонъ объясняетъ этотъ фактъ тѣмъ, что политическіе ораторы сами не были *индустриалами*, а буржуа. На такомъ историческомъ опредѣленіи этихъ двухъ классовъ основывается не метафизическая, а позитивная общественная организація. Опредѣленію посвящено Сенъ-Симономъ особое въ свое время популярнѣйшее разсужденіе, впоследствии названное Родригомъ *Шарболой*.

Сенъ-Симонъ рѣшаетъ вопросъ, отъ чьей гибели государство понесло бы существенный ущербъ—индустриаловъ или буржуа? Подробно исчисляется составъ того и другого класса,—къ индустриаламъ принадлежать вообще всѣ *производители, работники*—въ области промышленности, науки и творчества, при чемъ рабочіе ставятся рядомъ съ предпринимателями; буржуа—потребители-непроизводители, начиная съ родственниковъ короля, чиновъ всѣхъ степеней и кончая собственниками, живущими праздно. А такъ какъ именно этотъ классъ, чиновники-рутинеры и знатные карьеристы присвоиваютъ громадную долю національнаго достоянія и, пребывая въ невѣжествѣ и праздности, являются въ роли общественныхъ руководителей и судей,—то, очевидно, современный міръ есть «міръ извращенный»; политическій организмъ боленъ, и Сенъ-Симонъ предлагаетъ программу излѣченія.

Общій смыслъ ея ясенъ съ самаго начала. Цѣль организаціи—развитіе индустрии, т.-е. духовнаго и матеріальнаго производительнаго труда. А такъ какъ цѣль эту могутъ опредѣлить успешнѣе всего сами же индустриалы, то они должны создать и организацію и завѣдывать ею, т.-е. образовать доктрину и учредить правительство. Составъ индустриальнаго класса извѣстенъ: ученые, артисты, т.-е. художественные таланты,

и промышленники, или индустриалы въ тѣсномъ смыслѣ, представляющіе, по мнѣнію Сень-Симона, единый классъ съ гармоническими общими интересами. Это—капитальный пунктъ личной соціальной философіи Сень-Симона. Дифференціація въ классѣ производителей не признается, — и не потому чтобы ея не существовало: она была ясна еще писателямъ XVIII вѣка и рѣзко обнаружилась во время революціи, и не потому, чтобы ея не видѣлъ Сень-Симонъ: онъ въ одномъ мѣстѣ своихъ сочиненій символъ вѣры крупнаго мануфактуриста признаетъ ненароднымъ, непонятнымъ для рабочихъ, а въ другомъ мѣстѣ—прямо указываетъ на уклоненіе крупныхъ промышленниковъ отъ единенія съ рабочими, и, наконецъ, предъ смертью Сень-Симонъ занимался вопросомъ объ организациіи рабочей партіи. Очевидно,—онъ видѣлъ дифференціацію, понималъ и ея значеніе,—но, организуя борьбу противъ буржуа, общаго врага и предпринимателей и рабочихъ,—Сень-Симонъ не считалъ своевременнымъ настаивать на распаденіи лагеря индустриаловъ и предпочиталъ доказывать однородность ихъ интересовъ, важность для рабочихъ признать своими вождями предпринимателей, а на предпринимателей старался дѣйствовать политическими соображеніями и даже филантропическими призывами.

И такъ, при организациіи позитивнаго строя предстояло рѣшить двѣ задачи—о доктринѣ и правительствѣ. Сень-Симона сильно затруднялъ вопросъ о распредѣленіи труда въ рѣшеніи этихъ задачъ между тремя категориями индустриаловъ. Доктрина не что иное какъ философія, извлеченная изъ современной научной энциклопедіи,—она и называется иначе «общая наука». Она не изобрѣтается, а констатируется,—слѣдовательно доктрина дѣло ученыхъ, обладающихъ энциклопедическими познаніями и способностями. Установленную доктрину надлежитъ популяризировать, внушить массѣ, не располагающей научными и философскими силами: это—назначеніе артистовъ, людей чувства и вдохновенія. Наконецъ, — доктрину необходимо примѣнить къ нуждамъ дѣйствительности, изъ принципа извлечь практику. Кто же успѣшнѣе можетъ это сдѣлать, какъ не индустриалы, работающіе надъ матеріальнымъ прогрессомъ?

Такова простѣйшая схема эволюціонной соціальной политики. Но Сень-Симонъ не удовлетворился ею. Артистическая способность, въ сильной степени свойственная природѣ самого философа, казалась ему необходимой и въ организаторской работѣ и высшая коллегія доктрины должна состоять изъ энциклопедическихъ натуръ,—научно-артистическихъ. Съ другой стороны, матеріальная индустрія занимаетъ слишкомъ важное мѣсто въ современной эпохѣ, — и Сень - Симонъ склоненъ дать ей власть провѣряющую, критикующую заключенія ученыхъ. Но, очевидно, эта критика могла касаться только практической стороны заключеній, такъ какъ заключенія не зависѣли ни отъ чьего личнаго или профессиональнаго вмѣшательства.

Смыслъ доктрины уже извѣстенъ, онъ указанъ въковой эволюціей человѣчества: торжество ассоціаціи надъ эксплуатаціей. Нравственный духъ этой совершенной стадіи также опредѣленъ, — именно христіанскимъ ученіемъ о любви. Оно — самый широкій соціальный принципъ, какой только доступенъ человѣческому уму. По существу онъ вѣченъ, по практическимъ приложеніямъ подлежитъ видоизмѣненіямъ въ зависимости отъ исторической эволюціи. Въ моментъ возникновенія христіанство должно было дѣйствовать на рабовладѣльческое общество, реабилитировать раба, какъ человѣка, т.-е. нравственное достоинство личности, — и оно проповѣдовало любовь внѣ матеріальныхъ отношеній, любовь какъ чувство. Въ позитивную стадію соціальныи строй осложнился развитіемъ индустріи и возникновеніемъ классовыхъ матеріальныхъ отношеній, — и теперь проповѣдь любви должна считаться, помимо чувства, еще съ *интересами* классовъ, теоретически свободныхъ, но соціально не равноправныхъ и неравносильныхъ. Уложеніемъ интересовъ и должно быть дополнено старое уложеніе чувства; въ этомъ и заключается сущность *Новаго христіанства*, которое дало содержаніе предсмертному сочиненію Сень-Симона.

Очевидно, христіанство, по представленію философа, доктрина соціальная, неизмѣнно направленная на улучшеніе участи бѣднѣйшаго и многочисленнѣйшаго класса, — и лишь только христіанство перестаетъ выполнять это назначеніе, — оно становится ересью. Такими Сень-Симонъ и считаетъ христіанскія вѣроисповѣданія, подробно доказывая антисоціальныи и, слѣдовательно, антикультурный характеръ католичества и протестантства, какъ догматическихъ вѣроисповѣданій. Лютеръ заключилъ въковой процессъ разложенія католичества, какъ духовной власти: въ томъ его заслуга, — но взамѣнъ онъ организовалъ новую духовную власть не въ соотвѣтствіи съ современнымъ уровнемъ просвѣщенія, а на источникахъ давно превзойденныхъ цивилизаціей.

Сень-Симонъ не успѣлъ продолжить своихъ работъ о «Новомъ Христіанствѣ», — но кодексъ интересовъ опредѣлилъ довольно точно и указалъ, въ какой формѣ долженъ примѣняться принципъ любви въ позитивно-индустріальную эпоху. Историческая эволюція выдвинула на первый планъ производительную личность, т.-е. трудъ и талантъ, — но не устранила и капитала подъ условіемъ той же личной производительности капиталиста. Слѣдовательно, интересы производителя должны опредѣляться тремя элементами — трудомъ, талантомъ и капиталомъ. Въ зависимости отъ этихъ элементовъ должны распределяться вырабатываемыя блага. Это и будетъ принципомъ совершенной ассоціаціи.

Естественно членами ея будутъ всѣ производители, — и рабочіе наравнѣ съ предпримателями, хотя бы они могли внести въ ассоціацію только трудъ и талантъ. Но это лишь матеріальное право, должно быть и культурное: оно заключается въ способности члена ассоціаціи управлять

собственностью. Сень-Симонъ развитіе этой способности считаетъ главнѣйшей частью воспитанія. Онъ тщательно доказываетъ, что французскій пролетаріатъ умѣетъ распоряжаться собственностью, и законъ долженъ классифицировать рабочихъ какъ общниковъ. Естественно, эта классификація всѣмъ откроетъ путь къ собственности и всѣхъ заинтересуетъ въ сохраненіи прочнаго общественнаго порядка. Очевидно, въ новой системѣ нѣтъ правительства, какъ господствующей власти, а только администрація для охраненія порядка, нѣтъ господъ и слугъ, а только сотрудники и вмѣсто благодѣтелей и благодѣтельствуемыхъ—соучастники однихъ и тѣхъ же интересовъ. Сень-Симонъ настойчиво заявляетъ себя сторонникомъ монархіи—на основанія толкованія, какое онъ даетъ освобожденію средне-вѣковыхъ общинъ. Оно произошло въ союзѣ индустриаловъ съ королями противъ феодаловъ,—и этотъ союзъ снова долженъ быть скрѣпленъ. Несомнѣнно, толкованіе Сень-Симона исторической борьбы, особенно приправленное чувствительными восхваленіями народничества бурбоновъ,—не соответствуетъ дѣйствительности: французскіе короли стремились не къ общинной, а къ своей цѣли и рассчитывали распространить не свободу, а усилить власть, но въ будущемъ монархія можетъ и должна опираться только на индустриальный классъ: это уже не чувство Сень-Симона, а воля исторической эволюціи. Всѣ учрежденія новаго государства примутъ индустриальный характеръ: суды изъ профессионально-юридическихъ превратятся въ профессионально-индустриальные, третейскіе. Отдѣльныя отрасли промышленности будутъ регулироваться банками, слѣдящими за отношеніями спроса и предложенія, за вновь возникающими потребностями націи въ той или другой индустріи. Банки, слѣдовательно, и будутъ проводить въ жизнь практическія предписанія доктрины, а воспитаніе будетъ обезпечено народу одновременно съ работой самой соціальной организаціей, установлено духовной властью—установительницей доктрины. Роль правительства при такихъ условіяхъ суживается до полицейскихъ функцій,—и это идеаль индустриального государства. Чѣмъ глубже граждане проникаются доктриной, т.е. чѣмъ сильнѣе надъ ними власть воспитанія, тѣмъ ниже значеніе администраціи, — совершенно какъ въ учебныхъ заведеніяхъ—вліяніе инспекціи обратно зрѣлости воспитанниковъ и совершенно исчезаетъ предъ идейнымъ авторитетомъ преподавателей.

Смерть застала Сень-Симона не только въ самый разгаръ философской дѣятельности, но и въ самомъ началѣ его философскаго вліянія. Послѣ кратковременнаго матеріальнаго благосостоянія при революціи,—Сень-Симонъ почти не выходилъ изъ бѣдности, вѣрнѣе нищеты. Ему случалось питаться хлѣбомъ и водой, продавать необходимое платье, чтобы добыть средства на изготовленіе копій своихъ сочиненій для бесплатной раздачи ученымъ, приходилось служить писцомъ за 1000 франковъ въ годъ, при девятичасовой ежедневной работѣ и послѣ этой службы счи-

татъ спасеньемъ—помощь своего бывшего слуги, а по смерти благодѣтеля—обращаться съ мольбами къ официальнымъ лицамъ, наконецъ,—на 63 году Сень-Симонъ рѣшился на самоубійство, отчаявшись въ быстромъ распространѣніи своихъ идей и окончательно угнетенный одиночествомъ. Мозгъ остался невредимъ. Философъ потерялъ глазъ и прожилъ еще около двухъ лѣтъ, продолжая работать съ новой поистинѣ поразительной энергіей. Успѣхъ пришелъ,—хотя и поздній. Вокругъ Сень-Симона стали собираться ученики, исполненные восторга предъ его личностью. Они поставили задачей своей жизни распространѣніе его ученія, искренне проникнутые послѣднимъ завѣтомъ учителя: «помните, чтобы совершить что-либо великое, надо быть одушевленнымъ страстью».

И спустя всего нѣсколько дней по смерти Сень-Симона, началась исторія сень-симонизма.

VI.

Ближайшимъ хранителемъ ученія Сень-Симона явился любимый ученикъ Родригъ. Но онъ скоро уступилъ первыя мѣста Анфантэну, бывшему политехнику, и Базару, одному изъ основателей французскаго карбонаризма, политическому радикалу, почувствовавшему бесплодность партійной политической борьбы и политическихъ заговоровъ. Анфантэнъ былъ одаренъ рѣдкой внѣшней красотой и исключительной способностью привлекать сердца своей нервно-чувствительной и безгранично-благостной личностью,—что не мѣшало будущему «верховному отцу» новой религіи быть превосходнымъ экономистомъ и финансовымъ дѣльцомъ. Сила Базара заключалась въ мощной логикѣ слова, въ трезвой энергической натурѣ политика-бойца. Оба эти апостола и сыграли въ сень-симонизмъ различныя роли,—и направленія всего движенія можно бы назвать *базаровскимъ* и *анфантэновскимъ*,—съ оговоркой, что *базаровское*—плодъ коллективнаго труда, только формулированнаго и систематизированнаго Базаромъ.

Но къ этимъ двумъ теченіямъ, которыя сами признавали себя сень-симоновскими,—необходимо присоединить третье—*конттовское*. Правовѣрные сень-симонисты Конта называли ересіархомъ,—но наименованіе это слѣдуетъ отнести не столько къ сущности конттовскихъ идей, сколько къ его личнымъ чувствамъ, какъ бывшего ученика Сень-Симона. Чувства эти не всегда были враждебными. Когда Контъ работалъ вмѣстѣ съ Сень-Симонемъ,—онъ писалъ: «благодаря сотруднической и дружеской связи съ однимъ изъ людей, обладающихъ самымъ дальнозоркимъ взглядомъ въ философской политикѣ, я научился множеству вещей, которыхъ напрасно искалъ бы въ книгахъ,—и мой умъ сдѣлалъ больше успѣховъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, какъ продолжаются наши отношенія, чѣмъ я могъ бы достигнуть одинъ въ три года». Контъ приписываетъ Сень-Симону

даже открытіе въ немъ—въ Контѣ—способности къ философскимъ и социальнымъ наукамъ. Контъ разстался съ Сень-Симономъ и послѣ семилѣтняго сотрудничества — крайне раздраженный притязаніями учителя — единолично пользоваться общими трудами,—но и враждебное настроеніе не помѣшало Контѣ признать слѣдующее: «я, несомнѣнно, умственно многимъ обязанъ Сень-Симону, т.-е. онъ могущественно помогъ мнѣ принять философское направленіе, мной теперь окончательно усвоенное, и я буду слѣдовать ему неуклонно всю свою жизнь».

И Контъ слѣдовалъ,—но постепенно все сильнѣе вооружался противъ виновника этого направленія, сначала отрекся отъ всякой идейной связи съ сень-симонистами, потомъ заявилъ, что отношенія съ Сень-Симономъ сильно ему повредили: это была «связь пагубная», разстроившая на нѣсколько лѣтъ естественную умственную эволюцію Конта, — наконецъ, публично обозвалъ Сень-Симона «развратнымъ жонглеромъ»,—и мнѣніе, будто контовская философія получила толчокъ отъ Сень-Симона—объявилъ смѣшнымъ и даже гнуснымъ.

Несмотря на энергію заявленій,—не только толчокъ, но и сущность идей—сень-симоновскаго происхожденія—легко прослѣдить по собственнымъ произведеніямъ Конта,—отъ мелкихъ статей до *Перспективъ работъ, необходимыхъ для организаціи общества*, или *Системы позитивной политики*. Здѣсь, по словамъ Конта, изложенъ основной принципъ его философіи, т.-е. социологическій законъ трехъ стадій. Раннія произведенія Конта показываютъ, какъ онъ, подъ влияніемъ Сень-Симона,—изъ политическаго радикала, восторженнаго поклонника деклараціи правъ и конституціонной системы — превратился въ позитивнаго политика, т.-е. сторонника эволюціоннаго социальнаго идеала и вмѣсто философіи XVIII вѣка сталъ почитателемъ политической экономіи и аналитической исторіи. Но именно анализъ эволюціи привелъ Сень-Симона къ философскому установленію рядовъ историческихъ фактовъ, т.-е. къ опредѣленію того, что Контъ называетъ социологическимъ закономъ. Основа его та же, что и въ классификаціи наукъ, т.-е. движеніе отъ момента гипотетическаго къ позитивному. Несомнѣнно, успѣхи астрономіи, освѣтившіе существенный характеръ научной позитивности, т.-е. наличность всеподчиняющаго единаго принципа,—вызвали и самую классификацію наукъ соотвѣтственно ихъ приближенію къ этому предѣлу. Тѣ же успѣхи естественныхъ наукъ утвердили идею эволюціи въ области неорганическаго и органическаго міра и перенесли ее на міръ высшей психологической дѣятельности. И смыслъ эволюціи здѣсь оказался тотъ же, какъ и въ исторіи каждой науки отдѣльно,—что и естественно, такъ какъ историческая эволюція, въ первоначальной формѣ, есть эволюція умственной дѣятельности, т.-е. тѣхъ же наукъ. И у Сень-Симона одновременно явилась классификація наукъ и грани исторической эволюціи: и то и другое ему было ясно еще въ 1797 году.

Мы знаем, — сущность социологического закона намѣтилъ еще Тюрго, но у насъ нѣтъ основаній Тюрго считать непосредственнымъ учителемъ Сень-Симона, — самъ философъ свои идеи ставитъ въ связь съ движениемъ естествознанія. Но Контъ не желаетъ видѣть своихъ предшественниковъ одинаково — и въ Тюрго и въ Сень-Симонѣ: одного обходитъ молчаніемъ, а другого предаетъ нравственной казни. Но хронологія и подробно извѣстный намъ ходъ умственного развитія Конта прочно устанавливаютъ фактъ: Контъ, какъ позитивный философъ, преемникъ Сень-Симона, его классификація наукъ — по существу — тождественна съ сень-симоновскою, его социологическій законъ — болѣе стройная формулировка исторической эволюціи у Сень-Симона, — формулировка, совпавшая съ обзоромъ Тюрго.

Сень-симонисты находили только одно отступленіе отъ правовѣрныхъ сень-симонистскихъ идей: Контъ упустилъ изъ виду значеніе гипотетическаго элемента, т.-е. чувства и воображенія, — и въ позитивной стадіи. Во всемъ остальномъ онъ, въ качествѣ позитивиста, сень-симонистъ.

Другія два направленія, усиленно связывая себя съ именемъ Сень-Симона, — *идейно* также не сохранили безупречной вѣрности философій учителя. Отступленія вытекли изъ двухъ его завѣтовъ: организовать партію рабочихъ и въ философско-соціальномъ предпріятіи проникнуться энтузіазмомъ. Судьба пролетаріата и творческое назначеніе патетической способности — таковы исходные моменты вторичнаго сень-симонизма, — и оба вопроса практически оказались неразрывными: въ этомъ лежалъ одинъ изъ источниковъ роковой участи всего движенія.

Мы видѣли, — Сень-Симонъ тщательно обходилъ вопросъ о дифференціаціи индустріальнаго класса и рассчитывалъ на полюбовное созданіе ассоціаціи изъ рабочихъ и предпринимателей въ виду очевидныхъ обоюдныхъ интересовъ въ ассоціированіи силъ, способностей и капиталовъ для развитія самой индустріи. Въ виду этого Сень-Симонъ не съ одинаковою яркостью освѣтилъ моменты индустріальнаго и идейнаго ряда. — Признавъ въ средневѣковыхъ крѣпостныхъ преемниковъ античныхъ рабовъ, — онъ не настаивалъ на дальнѣйшей преемственности — эксплуатируемыхъ членовъ общества — и ни разу не намекнулъ даже на аналогію между современными рабочими и жертвами ранней эксплуатаціи. Здѣсь Сень-Симонъ оказался несравненно скромнѣе, чѣмъ, напримѣръ, писатель XVIII вѣка Лэнге, предвосхитившій самые воинственные мотивы новѣйшаго социаль-демократизма. Можетъ — быть, въ устныхъ бесѣдахъ Сень-Симонъ былъ менѣе сдержанъ: въ томъ самомъ журналѣ — въ *Производителѣ*, какой онъ обдумалъ совмѣстно съ учениками, — историческій анализъ эксплуатаціи уже доведенъ до конца, а въ слѣдующей стадіи развитія сень-симонизма, въ публичномъ изложеніи доктрины Базаромъ, — современная форма эксплуатаціи изображена до такой степени внушительно, что явился не-

избѣжнымъ вопросъ—не о сень-симоновской организаціи труда и распредѣленія продуктовъ, а о коренной реорганизаціи самой собственности. Сень-Симону была ясна историческая модификація права собственности,—но онъ выводилъ изъ нея только политическое и социальное равноправіе движимой и недвижимой собственности, арендаторовъ и землевладѣльцевъ, и основывалъ на ней индустриализацію земли наравнѣ съ капиталомъ. Цѣль Сень-Симона — неограниченно свободное перемѣщеніе недвижимой собственности, при чемъ собственниками постепенно должны будутъ являться непременно производители, — т. е. личный трудъ и талантъ. Это процессъ въ высшей степени сложный и продолжительный,—сень-симонисты предложили рѣшеніе болѣе простое, но зато вполне революціонное: націонализацію собственности и классификацію всѣхъ гражданъ, какъ общественныхъ приказчиковъ, получающихъ орудія производства—по способностямъ и вознаграждаемыхъ—по трудамъ. Государство тогда превратится въ ассоціацію работниковъ, наследственное право исчезнетъ, единственнымъ неизмѣннымъ собственникомъ и распредѣлителемъ благъ будетъ само общество.

Очевидно, соотвѣтственно съ правами расширяются и обязанности государства. Основная обязанность, отъ которой зависитъ правильное функционированье всего строя, классификація гражданъ по способностямъ, такъ какъ только способности гражданина, вступающаго на самостоятельный общественный путь, дѣлають его обладателемъ извѣстной функціи и только трудъ превращаетъ его въ обладателя извѣстнаго количества благъ. Кто же будетъ опредѣлять таланты и устанавливать іерархію между ними?

Разумѣется, государство. Это—совершенно новое назначеніе и ради него создается и новая власть, неизмѣримо высшая по нравственной силѣ, чѣмъ всѣ до сихъ поръ извѣстныя власти: это—власть величайшей *любви* къ прогрессивной цѣли общества, власть социальнаго энтузіазма. Она должна воплотиться въ одной избранной личности,—священникъ и пророкъ позитивной религіи. Будетъ, слѣдовательно, теократическое общество,—но съ небывалымъ еще назначеніемъ,—осуществить ассоціацію на всемъ человѣчествѣ.

Идея священника — центральная во вторичномъ сень-симонизмѣ, усвоившемъ религіозную окраску. До нея сень-симонисты дошли довольно послѣдовательно. Помимо завѣта Сень-Симона—лично энтузіаста и до послѣдней минуты питавшаго намѣреніе, развить догму и культъ новаго христіанства,—у сень-симонистовъ были еще другія побудительныя причины. Молодое поколѣніе эпохи раставраціи, безъ различія партій, было въ высшей степени склонно къ религіознымъ и даже мистическимъ настроеніямъ. Разсудочная метафизика XVIII вѣка утратила свой кредитъ даже у испытанныхъ и старыхъ либераловъ,—г-жа Сталь и Констанъ одинаково высоко цѣнили религіозный вопросъ—съ исторической и нравственной

точки зрѣнія. Никакая остроумная полемика и сатира, оказалось, не могли убить идеи о невѣдомомъ и устранить изъ человѣческаго обихода религіозное чувство, — и новое поколѣніе, отдавая себѣ ясный отчетъ въ силахъ разума и научнаго изслѣдованія, — приходило къ тому самому заключенію, какое впоследствии будетъ повторено и послѣдователями позитивизма: за предѣлами анализа и опыта лежитъ нѣчто, имъ не доступное и тѣмъ не менѣе далеко не безразличное для человѣческаго сердца. И наука возвышаетъ и очищаетъ вѣрованія, — но устранить ихъ не можетъ.

Такъ именно рассуждали молодые воспитанники положительной политехнической школы, жадно принявшіе къ сенъ-симонистскому источнику. И они съ замѣчательнымъ талантомъ доказали не только чувствительное но и научное значеніе наитія, вдохновенія, восторженнаго чувства. Путемъ одного анализа, т.-е. послѣдовательнаго метода не совершаются великія научныя открытія, — для этого необходимъ *геній*, т.-е. сила вдохновенной интуиціи и анализъ только провѣряетъ *гипотезу*, открытую геніемъ.

Эту психологію сенъ-симонисты доказывали блистательно, — но не на ея строгомъ смыслѣ основанъ ихъ окончательный выводъ. Психологія учить о значеніи интуиціи въ связи съ анализомъ: гипотеза, не подтвержденная анализомъ, не имѣетъ научной цѣнности. Сенъ-симонисты быстро привыкли обходить это условіе въ третью стадію сенъ-симонистской пропаганды, — въ періодъ *Проповѣдей* — энтузіазмъ, т.-е. чувство и вдохновеніе, пророкъ и священникъ — безъ всякихъ оговорокъ завладѣли сценой. На *проповѣдяхъ*, кромѣ того, отразилась демократическая стихія іюльской революціи, — и сенъ-симонизмъ явился, съ одной стороны, очагомъ страстной социалистической агитаціи, съ другой — ячейкой новаго теократическаго общества. Базаръ до конца шелъ по пути социализма, — но возсталъ противъ религіознаго догмата, предложеннаго Анфантѣномъ.

Сущность догмата — реабилитация матеріи — также соприкасается съ ученіемъ Сенъ-Симона, — съ его идеей *интересовъ*, дополняющей христіанское уложеніе *чувствъ*. У Сенъ-Симона идея имѣла исключительно социальное содержаніе, Анфантѣнъ извлекъ изъ нея нравственный смыслъ, реабилитацию индустріи превратилъ въ реабилитацию плоти и чувственности, провозгласилъ освобожденіе женщины не только въ формѣ упраздненія брака, но и устраненія всякой узды для физическихъ вождельній. Въ ихъ интересахъ и все человѣчество дѣлилось на *Отелло* — натуры постоянныя и *Донъ-Жуановъ* — натуры измѣнчивыя, и на верховнаго жреца возлагался долгъ обладать одновременно той и другой натурой, чтобы регулировать наслажденія и Донъ-Жуановъ и Отелло. Личность переставала существовать, социальной единицей признавалась *чета*, — чета предполагалась и во главѣ церкви, — и Анфантѣнъ оставался одинокимъ только потому, что искомая «мать» не являлась.

Анфантэнъ нашель послѣдователей своего ученія,—но оказалось не мало и диссидентовъ,—и среди наиболѣе талантливыхъ сенъ-симонистовъ. Анфантэнъ попытался съ 40 сторонниками основать общину, практически не нарушая самой строгой нравственности. Но достаточно было и теорій, чтобы правительство потребовало церковь на судъ,—и процессъ окончился не въ пользу ея: Анфантэнъ долженъ былъ на годъ уйти въ тюрьму, пострадали и его ученики, — общество было объявлено распущеннымъ. Это и было его не только юридической, но и естественной смертью. Агонія началась давно,—съ момента появленія на сцену сенъ-симонистскаго папы и догмата. Апостолы разсѣялись, — и Анфантэнъ перешель къ банковской и желѣзнодорожной дѣятельности,—между прочимъ способствовалъ осуществленію Суэзскаго канала:

Но разложеніе анфантэнизма не означало гибели сенъ-симонизма,—такъ какъ сенъ-симонизмъ и не былъ повиненъ ни въ папствѣ, ни въ «новой женщинѣ». Философія, созданная Сенъ-Симономъ, продолжала жить. Независимо отъ контовскаго позитивизма—она, по словамъ ея принципиальныхъ противниковъ, проникла во всѣ умственные и социальныя теченія XIX вѣка. И это должно было произойти по самому смыслу сенъ-симонизма, какъ историческаго и идейнаго явленія. Смыслъ этотъ опредѣляется слѣдующими данными.

1. Философія XVIII вѣка, поставившая своей главной цѣлью окончательное разложеніе историческихъ религіозныхъ доктринъ,—въ то же время пыталась установить новую религіозно-философскую систему и направлялась къ ней двумя путями—отвлеченно-логическимъ и научно-энциклопедическимъ.

2. Новое идейное творчество, въ своихъ практическихъ стремленіяхъ, основывалось на принципѣ совершенствованія человѣческаго рода. Принципъ этотъ, въ соотвѣтствіи съ направленіями философской мысли, выразился въ двухъ формахъ: въ ученіи о прогрессѣ и въ идеѣ эволюціи.

3. Ученіе о прогрессѣ, выросшее не на анализѣ историческихъ фактовъ, а на полемическихъ задачахъ времени, одушевлялось анти-средне-вѣковыми, но тѣмъ не менѣе метафизическими идеалами—«естественнаго» религіознаго и гражданскаго порядка. Возникновеніе идеи эволюціи связано съ развитіемъ опытныхъ наукъ. Успѣхи астрономіи, увѣнчавшіеся открытіемъ закона тяготѣнія, освѣтили господство эволюціоннаго принципа въ области человѣческихъ знаній и вызвали идею единого всеобъемлющаго начала, управляющаго всѣми явленіями міра неорганическаго и органическаго. Работы даровитѣйшихъ естествоиспытателей—Биша, Кабаниса, Галля, Лавуазье, Ламарка — направились къ одной и той же цѣли: систематизировать принципы отдѣльныхъ наукъ, привести отрасли человѣческаго знанія въ тѣснѣйшую взаимную связь и установить между ними

непрерывное идейное взаимодействие,—при чемъ духовная жизнь человѣка включалась въ общую цѣль естественныхъ постепенно усложняющихся и развивающихся явленій и цивилизація являлась продолженіемъ естественной исторіи человѣка, какъ наиболее совершеннаго организма.

4. Революція подвергла практической провѣркѣ оба созидательныя теченія XVIII вѣка,—въ борьбѣ съ католической церковью пережила философскіе религиозные культы и перешла къ рѣшительной научно-энциклопедической задачѣ путемъ учрежденій, предназначенныхъ для совершенствованія систематизаціи наукъ и для выработки общихъ научно-философскихъ принциповъ, какъ основы новой морали и политики.

5. Одновременно съ церковно-религиозной борьбой революціонное движеніе вызвало настойчивую практическую постановку политико-экономическаго вопроса, разрѣшить который также не могла философская политика XVIII вѣка—въ формѣ *Декларации правъ*. Революція, полагавшая устроить новый социальный порядокъ посредствомъ конституціи на почвѣ собственности, должна была искать средствъ организовать несобственниковъ, даже социализируя принципиально - неприкосновенную личную собственность и, коммунистической программой бабувизма, указывая на грозную опасность для государственнаго строя отъ нерѣшенной социальной задачи. Конкордатъ и завоевательная имперія прервали революціонное движеніе, но не рѣшили ни философскаго, ни социального вопроса.

6. Сень-Симонъ, раньше чѣмъ выступить на самостоятельный путь философскаго и социального преобразованія, въ своемъ умственномъ развитіи подчинялся современнымъ теченіямъ. До революціи ревностный противникъ католичества и борецъ за американскую свободу, въ началѣ революціи сторонникъ *Декларации правъ*, онъ съ эпохи паденія революціонныхъ культовъ и разгара социального вопроса присоединяется къ научно-энциклопедическому теченію и ставитъ себѣ задачу открыть «физико-политическое поприще», т. е. на почвѣ опытныхъ наукъ выработать нравственно-политическую доктрину и соответствующій ей социальный строй.

7. Первый періодъ дѣятельности Сень-Симона—космологическій, посвященный усиліямъ распространить законъ тяготѣнія на нравственныя явленія. Сень-Симонъ усваиваетъ идею научной и исторической эволюціи, пользуется ею для критики философіи XVIII вѣка и даетъ первый очеркъ позитивной доктрины подъ именемъ *физицизма*. Культурная эволюція у Сень-Симона основана первоначально на умственномъ совершенствованіи человѣчества, при настойчивомъ указаніи, что заключительная стадія характеризуется одновременно и позитивной доктриной и общеобязательнымъ личнымъ производительнымъ трудомъ.

8. Не отыскавъ научнаго приложенія закона тяготѣнія къ явленіямъ нравственнаго порядка, Сень-Симонъ сосредоточился на анализѣ куль-

турной эволюціи, на изученіи человѣческихъ агрегацій, какъ органическихъ явленій, и прослѣдилъ постепенное развитіе ассоціаціи, какъ высшей общественной формы, сопровождаемое разложениемъ эксплуатаціи, — формы основанной на приложеніи силъ и способностей не къ природѣ, а къ человѣку. Въ этомъ направленіи мысль Сень-Симона примыкаетъ не къ политико-экономическому теченію, а къ судьбѣ социальнаго вопроса при революціи.

9. Анализъ двойственной исторической эволюціи привелъ Сень-Симона къ опредѣленію социальной статиги и динамики. Статига гласитъ: политическій строй каждой эпохи находится въ прямомъ соотвѣтствіи съ уровнемъ цивилизаціи, т. е. съ общими идеями времени, и покоится на порядкѣ собственности, господствующемъ въ извѣстномъ обществѣ. Динамика представляется въ такой формѣ: постепенно развиваются общія идеи—по направленію отъ метафизики къ позитивизму, видоизмѣняется и право собственности—отъ привилегій по происхожденію до распредѣленія матеріальныхъ благъ въ зависимости отъ личнаго труда и таланта. Слѣдовательно, система социальной организаціи не изобрѣтается политиками, а опредѣляется философами, какъ фактъ, вызываемый къ жизни ходомъ вещей въ предѣлахъ исторической эволюціи.

10. Основная дѣйствующая сила послѣдней культурной стадіи — «индустриалы», т. е. представители личнаго производительнаго труда въ наукѣ, изслѣдующей природу, и въ промышленности, примѣняющей научныя изслѣдованія къ эксплуатаціи богатствъ природы. Индустриалы, въ разныхъ комбинаціяхъ, должны констатировать современную доктрину, установить соотвѣтствующій ей социальный строй и осуществить его. Опредѣленіе этихъ комбинацій составляло задачу организаторскихъ социальныхъ плановъ Сень-Симона. Она до конца не получила одного опредѣленнаго рѣшенія, но въ общемъ имѣла цѣлью: индустриаламъ науки поручить раскрытіе доктрины, художественнымъ талантамъ—популяризацію, промышленникамъ—практическое примѣненіе. Невьясненнымъ остался вопросъ о значеніи патетическихъ силъ человѣческой природы въ опредѣленіи доктрины и незаконченнымъ—анализъ индустриальнаго класса. Въ предсмертномъ сочиненіи *Новое Христіанство* Сень-Симонъ евангельское ученіе о любви призналъ совершеннымъ социальнымъ принципомъ: онъ въ практическихъ приложеніяхъ видоизмѣняется въ зависимости отъ историческихъ эпохъ и въ позитивно-индустриальной стадіи опредѣляетъ ассоціацію предпринимателей и рабочихъ на почвѣ трехъ элементовъ: труда, таланта и капитала.

11. Философія Сень-Симона у его послѣдователей претерпѣла разныя видоизмѣненія. Старѣйшій ученикъ Контъ воспользовался анализомъ идейной эволюціи, заимствовалъ у Сень-Симона классификацію наукъ и сущность социологическаго закона. Другое теченіе, выросшее на почвѣ сень-

симоновской мысли, анализъ индустріальной эволюціи завершило социалистической доктриной, а вопросъ о значеніи патетической способности разрѣшило подчиненіемъ научнаго анализа симпатическому творчеству и на мѣсто позитивнаго философа выработало идеаль священника и пророка. Къ послѣдному моменту этого теченія присоединился планъ Анфантэна—съ ученіемъ Сень-Симона о матеріальныхъ интересахъ связать своеобразный догматъ о реабилитаціи матеріи и о воспитаніи новой женщины, составляющей съ мужчиной равноправную чету, какъ социальную личность.

12. Ученіе о социализаціи собственности и о симпатической способности, какъ источникъ теократической власти, не можетъ быть признано логическимъ выводомъ личной философіи Сень-Симона, какъ не подчиняющееся ей основному эволюціонному принципу. Принципъ этотъ не уполномочиваетъ также и на позитивизмъ Конта: изъ принципа не вытекаетъ социологическій законъ въ контовской формулировкѣ. Законченный сень-симоновскій историческій анализъ устанавливаетъ двойственную эволюцію—идейную и матеріальную; координація элементовъ обоихъ порядковъ характеризуетъ органическія эпохи, дисгармонія — критическія, и ученіе о преобладаніи того или другого элемента является исторически-необоснованнымъ. Главнѣйшая поправка къ сень-симоновскому анализу должна состоять въ признаніи среднихъ вѣковъ эпохой критической. Окончательный выводъ исправленнаго сень-симоновскаго культурнаго взгляда: въ предѣлахъ европейской цивилизаціи ранняя органическая эпоха—античный социальный строй и позднѣйшая—научно-индустріальная, *продуктивистская*, основанная на позитивной доктринѣ въ области идей и на правахъ личнаго труда и таланта въ области матеріальнаго порядка.

Ив. Ивановъ.





Три пѣсни трубадура Бертрана де Борнѣ.

(Переводъ съ древнепровансальскаго языка).

A. Thomas, Poésies complètes de Bertran de Born publiées dans le texte original. Toulouse. 1888.

Въ плеядѣ провансальскихъ трубадуровъ XII вѣка Бертранъ де Борнѣ занимаетъ видное мѣсто и какъ поэтъ, и какъ политическій агитаторъ, хотя онъ славенъ печальной извѣстностью: его образъ увѣковѣченъ Данте, который ввелъ его въ девятый кругъ Ада, гдѣ изображено страшное мученіе обезглавленнаго туловища, которое держитъ въ рукахъ собственную голову, на подобіе фонаря. Голова тѣни говоритъ поэту: «Знай, что я Бертранъ де Борнѣ, тотъ самый, что давалъ дурные совѣты молодому королю, — я ссорилъ отца съ сыномъ. Ахитофель не хуже поступалъ, возстановляя Авессалома противъ Давида, и такъ какъ я разлучалъ лицъ, связанныхъ узами кровнаго родства, я обреченъ теперь имѣть разлученными мозгъ и туловище, на которомъ онъ долженъ быть прикрѣпленъ: такъ терплю я возмездіе (Inferno XXVIII)». Данте и въ другихъ своихъ произведеніяхъ упоминаетъ о Бертранѣ де Борнѣ: въ «Convito» (IV, с. II) онъ отзывается съ похвалой объ его щедрости; а въ трактатѣ (De volgare eloquio» (II, 2), онъ указываетъ на Бертрана, какъ на лучшаго пѣвца войны, выдѣляя ему почетное мѣсто на ряду съ наиболѣе прославленными трубадурами, Арно Даньелемъ и Гиро де Борнелемъ. Дѣйствительно, Бертранъ де Борнѣ пользовался у своихъ современниковъ громкой извѣстностью, благодаря своимъ воинственнымъ и сатирическимъ пѣснямъ, или «сирвентамъ», и къ нему неоднократно обращались съ просьбой сложить стихотвореніе, чтобы возбудить къ возстанію вассальныхъ графовъ или привлечь на свою сторону союзниковъ.

Молодой король, который упомянуть Данте, — Генрихъ, сынъ англійскаго короля, Генриха II Плантагенета. Онъ былъ коронованъ, по желанію отца, но только номинально, не имѣя ни земли, ни активной власти. Бер-

ранъ подстрекалъ его возстать противъ отца, при чемъ, по мнѣнію Огюстэна Тъери, подстрекателемъ руководили широкіе планы національнаго возстанія и мечты объ организациі независимаго государства въ Провансѣ. Все это весьма преувеличено: врядь ли безпокойный, задорный, неуживчивый владѣлецъ замка Готфора, на границѣ Лимузина и Перигора, пѣвецъ войны, и въ то же время «дамскій любезникъ», другъ англійскаго короля и устроитель лиги бароновъ въ междоусобныхъ распряхъ, обладалъ такими широкими замыслами; по крайней мѣрѣ на нихъ нѣтъ никакихъ указаній въ собственныхъ произведеніяхъ поэта. Сознанія національной обособленности и единства Провансальской области не было въ эпоху движенія крестовыхъ походовъ; интересы непокорныхъ вассаловъ королевской короны были уже, пожалуй, своекорыстнѣе, или во всякомъ случаѣ индивидуалистическаго характера.

Что касается образа, намѣченнаго у Данте, то онъ объясняется нѣкоторыми чертами, заимствованными въ анонимной біографіи Бертрана, составленной вскорѣ послѣ его смерти. Генрихъ скончался въ 1183 году, во время своего пребыванія въ замкѣ Бертрана де Борнъ, на югѣ Франціи. Утрата друга была тяжелымъ ударомъ Бертрану. А раньше онъ какъ-то похвасталъ, что настолько уменъ, что ему никогда не приходится пользоваться всѣмъ своимъ умомъ. Генрихъ II взялъ въ плѣнъ Бертрана и напомнилъ ему объ его похвальбѣ и сказалъ ему: «Не понадобится ли вамъ теперь, Бертранъ, весь вашъ умъ?» Бертранъ отвѣтилъ, что со смерти молодого короля онъ лишился своего ума. И заплакалъ король, вспомявъ своего сына, и простилъ онъ Бертрана, и надѣлилъ его землями и почетомъ». Этотъ рассказъ анекдотическаго характера, передаваемый изъ устъ въ уста, могъ подсказать и Данте, по догадкѣ Джузеппе Руа¹⁾, образъ „человѣка безъ головы“, съ тою разницей, конечно, что Данте придалъ легендарной чертѣ моральное и аллегорическое значеніе. Какъ бы то ни было, свою скорбь по смерти друга поэтъ выразилъ въ формѣ «плача», который дошелъ до насъ въ двухъ редакціяхъ. Предлагаемъ переводъ той изъ нихъ, которая по праву считается болѣе удачной и, вообще, представляется характернымъ образомъ духовно-религіозной поэзіи, проникнутой весьма искреннимъ личнымъ чувствомъ. Форма «плача» у Бертрана де Борнъ очень затѣйливая: стихотвореніе дѣлится на строфы, каждая изъ восьми стиховъ (десятисложныхъ), при чемъ однѣ и тѣ-же рифмы повторяются во всѣхъ строфахъ въ такой послѣдовательности: а, б, а, б, в, г; д, д, е. Такія рифмы какъ б и е не даютъ, очевидно, созвучія, а существуютъ только для глаза, при сличеніи строфъ. Кромѣ того авторъ выказалъ особую виртуозность въ томъ, что удержалъ въ

¹⁾ См. *Giuseppe Rua*, *Gli accenni danteschi a Bertran de Born*, въ *Giorn. Stor. della letterat. Italiana*, VI, v. XI, fasc. 33 (1888).

первомъ, пятомъ и послѣднемъ стихѣ каждой строфы одни и тѣ же слова: *traggimen* (сокрушеніе, печаль), *Jove rei engles* (молодой англійскій король) и *ira* (горе, скорбь, гнѣвъ). При крайней гибкости древнепровансальскаго языка, избытка короткими словами, усѣченными формами и омонимами, версификаторство достигало у трубадуровъ большого совершенства, но въ то же время обороты отличались нѣкоторою сухостью и даже прозаичностью. Какъ поэтъ, и Бертанъ де Борнъ во многомъ разочаровываетъ, если слишкомъ довѣряться отзыву о немъ Данте¹⁾.

Тѣмъ не менѣе, въ виду полного отсутствія русскихъ переводовъ древнепровансальской поэзіи, мы рѣшили представить нѣсколько образцовъ произведеній Бертрана де Борнъ въ наивозможно точной передачѣ, съ соблюденіемъ размѣра, близкаго къ подлиннику, но безъ рифмъ: погоня за послѣдними, при слишкомъ большой разницѣ строя и состава языковъ, неизбежно повлекла бы за собой отступленія отъ текста оригинала. Мы приложили усиленное стараніе, чтобы переводъ не обращался въ переложеніе. Удерживая въ «плачѣ» указанныя три выраженія, которыя повторяются въ каждой строфѣ, мы выдѣлили лишь второе, придавъ ему значеніе припѣва, явленія довольно обычнаго и въ провансальской поэзіи.

І. П л а ч ѣ.

Когда бъ вся скорбь, весь плачъ и сокрушенья,
Всѣ горести, невзгоды и печаль,
Что разлиты здѣсь въ скорбномъ мірѣ,
Слились въ единый стонъ,—то всѣ они
Ничтожными сочлись бы предъ утратой
Младого англійскаго короля.

Отнынѣ Честь и Младость приуныли,
Свѣтъ потемнѣлъ, міръ тусклымъ сталъ и мрачнымъ,
Нѣтъ радостей въ немъ,—лишь печаль и горе.

* * *

Унылы, скорбны, въ полномъ сокрушеньи
Всѣ ратники любезные, пѣвцы,
Проворные жонглеры, трубадуры:
Предсталъ имъ въ Смерти слишкомъ врагъ смертельный,
И отнял онъ у нихъ, непобѣдимый,
Младого англійскаго короля.

Предъ нимъ скупымъ казался самый щедрый,
И не было, не будетъ, кто бъ сравняться
Могъ съ тѣмъ, о комъ скорбятъ въ слезахъ и горѣ.

1) Несомнѣнно мелодія имѣла весьма большое значеніе, при исполненіи пѣсни, и частью скрадывала длинноты или сухость текста, которыя мы теперь принуждены судить независимо отъ мелодіи.

* * *

Смерть блѣдная, полна ты сокрушенья,
Похвастать можешь ты, что отняла
У міра лучшаго изъ витязей,
Когда либо бывавшихъ на землѣ.
Все цѣнное на свѣтѣ было достояньемъ

Младого англійскаго короля.

И было бы лучше, кабы Божья воля,
Чтобы онъ жилъ, а не лиходѣи,
Что міру не на славу, а на горе.

* * *

Когда отъ вѣка лжи и сокрушенья
Любовь ушла,—ликуетъ въ немъ обманъ,
Все на ущербъ идетъ, полно унынья,
И, ухудшаясь, меркнетъ день за днемъ...
Дивится всякій доблестямъ и славѣ

Младого англійскаго короля,

Что лучшимъ былъ изъ славныхъ въ здѣшнемъ мірѣ.
Увы, ужъ нѣтъ прекраснаго здѣсь тѣла—
Остались намъ лишь скорбь, печаль и горе.

* * *

Тому, Кто нашему внявъ сокрушенью,
Снисшелъ съ небесъ и съ насъ проклятье снялъ,
Кто смерть пріялъ и насъ же спасъ отъ смерти,
Ему, смиренному Владыкѣ правды,
Мы молимся о милости великой

Младому англійскому королю.

Пусть Онъ проститъ его, Онъ—милосердный,
Пусть приобщитъ къ избранникамъ почетнымъ,—
Гдѣ нѣтъ печали, гдѣ не будетъ горя.

Слѣдующая пьеса представляетъ изъ себя канцону любовнаго содержания. Бертранъ де Борнъ ухаживалъ за одной графиней Маэнцой, или Матильдой, изъ Монтиньяка. Эта дама была къ нему одно время благоклонна, но потомъ, по неизвѣстной причинѣ, охладѣла и отказалась отъ Бертрана (elh det comjat, —какъ говорится въ провансальской біографіи Бертрана, т.-е. „отпустила его“). Поэтъ долженъ прискаты себѣ другой предметъ страсти, но онъ не хочетъ пламенѣть къ менѣе совершенной, чѣмъ его прежняя дама. Между тѣмъ онъ не находитъ ей равной и прибѣгаетъ къ фикціи, т.-е. создаетъ себѣ „составную даму“ (domna sosseubuda) изъ отдѣльныхъ качествъ и свойствъ, совокупность которыхъ могла

бы отвѣчать его идеалу. Въ канционѣ перечислены всѣ тѣ дамы, у которыхъ поэтъ желалъ бы позаимствовать то или другое отдѣльное качество, и данный приѣмъ служить, очевидно, поводомъ галантному трубадуру наговорить имъ любезностей. Нѣкоторыхъ дамъ онъ называетъ поименно, другихъ—по прозвищамъ, порой довольно оригинальнымъ. Напримѣръ,— „Bels-Mirals“: прекрасное зеркало; „Mels-de-Be“: лучше чѣмъ хорошая и т. п. Последнее прозвище—„Bels-Senher“: прекрасный властелинъ,—относится, повидимому, къ настоящей дамѣ поэта, т.-е. Матильдѣ, и заключительное обращеніе къ ней указываетъ, что суть не въ однихъ совершенствахъ: любовь не отъ нихъ однихъ зависитъ, и даже если собрать все лучшее въ единый образъ, остается еще пожелать, чтобы поэтъ могъ полюбить другую женщину такъ, какъ онъ любитъ теперь Матильду...

Въ заключеніе канцоны—такъ называется *tognada*, или «обращеніе», довольно обычное у трубадуровъ, которые сами не выступали исполнителями своихъ произведеній, къ жонглеру,—бродячему пѣвцу, который долженъ былъ пѣть канцону. Трубадуры поручали такимъ пѣвцамъ-жонглерамъ, за извѣстное вознагражденіе, распѣвать ихъ пѣсни и заботиться объ ихъ распространеніи. У каждаго трубадура былъ свой излюбленный жонглеръ-пѣвецъ (одинъ или нѣсколько); таковымъ у Бертрана де-Борнъ былъ нѣкто Папиоль. И въ этой пьесѣ всѣ строфы (изъ десяти стиховъ каждая, съ короткимъ, трехсложнымъ пятымъ стихомъ) оканчиваются на однѣ и тѣ же рѣзмы, которыя проведены черезъ все стихотвореніе. Ограничиваемся соблюденіемъ размѣра и структуры строфъ.

II. К а н ц о н а.

Такъ какъ вы ко мнѣ жестоки,
И безъ всякой безъ причины
Отъ меня вы отвернулись,—
То куда жъ мнѣ обратиться?

Никогда

Счастья прежняго не встрѣчу,—
Если жъ дамы не найду я,
Что бъ могла сравняться съ вами,—
Съ той, которой я лишился,—
Не хочу имѣть любезной.

* * *

Не найти мнѣ вамъ подобной,
Не сыскать мнѣ столь прекрасной,
Столь достойной и изящной,
Чтобъ красой блистала тѣла,—
Весела

И во всемъ чистосердечна...
Такъ пойду же я ко многимъ,
 Попрошу у каждой лепту,—
 „Составную“ сдѣлавъ даму,
 Буду ждать, чтобъ вы вернулись.

* * *

Вашъ румянецъ неподдѣльный
 Мнѣ отдайте, Сембелина,
 И вашъ томный взоръ любовный.
 Слишкомъ я самонадѣянъ,
 Что не все
 Взять у васъ, коль все прекрасно.
 У Алисы попрошу я
 Бойкость рѣчи и шутливость;
 Пусть моей отдастъ ихъ дамъ:
 Съ ними ль быть ей молчаливой?

* * *

У графини я Шалесской,
 Не задумавшись, взять бы
 Шею чудную и руки.
 А за симъ направлюсь прямо
 Въ Рошъ-Шуартъ.
 Пусть Агнеса мнѣ дала бы
 Свои волосы въ подарокъ:
 Ими славилась Изольта,
 Сердцу милая Тристана,
 Но съ Агнесой ей не спорить.

* * *

Хоть ко мнѣ всегда сурова
 Альдигарта молодая,
 Все жъ просить у ней желалъ бы
 Я умѣнье наряжаться;
 И въ любви
 Ея вѣрность неизмѣнна.
 Я у милой „Несравненной“
 Попросилъ бы стройность стана,
 Нѣжность тѣла молодого,
 Что такъ дивно безъ покрововъ.

* * *

А Файдита пусть отдастъ мнѣ
 Зубки чудные въ подарокъ,

И привѣтливость, съ которой
Принимать она умѣетъ
У себя.

Мое „Зеркальцо на диво“
Пусть дала бь свою мнѣ рѣзвость,
Ростъ прекрасный, обхожденье,
Эту искорку веселья,
Что чаруетъ неизмѣнно.

* * *

Вась, „Прекрасный Повелитель“,
Объ одномъ просить лишь стану,—
Чтобъ я могъ любить другую,
Какъ плѣненъ я вами нынѣ.

Такъ Амуръ
Мнѣ разжегъ огонь желанья,
Что тоска по вась мнѣ слаще,
Чѣмъ другихъ красавицъ ласки.
Отчего жь такъ непреклонна
Моя дама къ страсти нѣжной?

* * *

Папиоль, ступай ты съ пѣсней
Къ Азиману и повѣдай:
Здѣсь Амуру непокорны,
Здѣсь его низвергли власть.

Третье прилагаемое стихотвореніе—„сирвента“ въ честь войны. Оно можетъ служить къ характеристикѣ Бертрана де Борнъ, хотя его принадлежность провансальскому трубадуру подвержена сомнѣнію. Подлинныя сирвенты „средневѣковаго Тиртея“, какъ величаютъ Бертрана де Борнъ, представляютъ изъ себя въ большинствѣ случаевъ сухой перечень именъ и аллюзій на современные событія, который требуетъ пространныхъ комментариевъ; они слишкомъ тѣсно приурочены къ опредѣленнымъ случаямъ и для насъ могутъ имѣть значеніе только историческихъ документовъ. Въ нижеслѣдующемъ же стихотвореніи мы имѣемъ своеобразное прославленіе войны, вообще, какъ своего рода искусство для искусства. Это какъ бы поэтическая характеристика воинственнаго трубадура, для котораго война—особый видъ спорта, и составлена она была по всей вѣроятности другимъ лицомъ (предположительно—Ланфранкомъ Сигала, итальянскимъ трубадуромъ, находившимся подъ сильнымъ вліяніемъ Бертрана де Борнъ). Въ нѣкоторыхъ стихахъ мы имѣемъ дословныя повторенія изъ другихъ произведеній Бертрана де Борнъ и обиліе такихъ „кличей“ уже само по

себѣ вызываетъ сомнѣнія относительно принадлежности настоящаго стихотворенія самому Бертрану, хотя и приписывается ему въ двухъ, трехъ рукописяхъ. Во всякомъ случаѣ это произведеніе весьма характерно и по отношенію къ средневѣковому строю жизни и понятіямъ того времени, а также по своеобразному освѣщенію личности поэта, согласно образу, завѣщанному намъ Данте. Въ заключительной строфѣ авторъ обращается къ Ричарду Львиному Сердцу, называя его особымъ прозвищемъ: „Ос-е-Но“ (Да и нѣтъ), даннымъ Ричарду Бертраномъ де-Борнъ въ виду его колеблющагося характера.

III. Сирвента въ честь войны.

Люблю весны веселой время,
Когда цвѣтеть все, зеленѣть,
Мнѣ любо пташекъ ликованье,
Что пѣсней звонкой раздается
Средь зелени лѣсовъ.
Люблю я видѣть на полянѣ
Ряды раскинутыхъ палатокъ.
Мнѣ сердце веселить,
Когда готовыхъ вижу къ бою
Коней и рыцарей въ доспѣхахъ.

* * *

Люблю,—когда гонцы лихіе
Людей и скотъ въ смятеніи гонять;
Люблю, когда за ними слѣдомъ
Слѣзатъ отряды боевые;
И крѣпнетъ духъ во мнѣ,
Когда осаду вижу замковъ,
И рухнуть стѣны укрѣплений,
А войско на лугу
Обрамлено, средь рововъ глубокихъ,
Плетней рядами и окоповъ.

* * *

И любь мнѣ также вождь отважный
Что первымъ къ приступу несется
На боевомъ конѣ безъ страха.
Вселяетъ бодрость онъ примѣромъ
Всѣмъ ратникамъ своимъ;
Когда же завязалась сѣча,
Пусть каждый будетъ наготовѣ
Слѣзнуть вождю во слѣдъ:

Вѣдь тотъ лишь славенъ, кто удары
Сумѣлъ принять и нанести.

* * *

Бой закипѣлъ—дробятся копыя,
Мечи и панцыри цвѣтныя,
Щиты и шлемы—все въ осколкахъ.
Бойцы, схватившись, вмѣстѣ гибнуть;
Вотъ мчатся, ошалѣвъ,
Убитыхъ кони и сраженныхъ.
Вступивши въ бой, воинъ смѣлый
Не помнитъ ужъ себя,
Ударъ наносить за ударомъ,—
Вѣдь лучше смерть, чѣмъ пораженье.

* * *

Признаюсь вамъ, меня не тѣшатъ—
Ѣда, питье, ни сладкій сонъ,
Какъ тотъ призывъ—„впередъ, на сѣчу!“
Несутся съ двухъ сторонъ бойцы,—
Чу, ржаніе коней,—
И крики слышны—„Помогите!“
Великъ и малый, всѣ валятся,
Кто въ ровъ, кто на траву,—
И въ грудь мертвыхъ вижу клочья
Торчатъ знаменъ, обломки копій...

* * *

Бароны, заложите замки,
Деревни, села и помѣстья,
Чтобъ можно было воевать.

Ты жъ, Папіоль, ступай къ Ричарду,
Скажи ему, что полно мѣшкать,
Что жить намъ въ мирѣ надоѣло.

Θ. Батюшковъ.





Западно-европейское вліяніе въ литературѣ русскихъ армянъ.

Къ числу народовъ, въ культурной исторіи которыхъ минувшій XIX вѣкъ сыгралъ особенно важную роль, несомнѣнно, принадлежать армяне. Въ самомъ дѣлѣ, именно въ этомъ столѣтіи создалась и уже получила извѣстное развитіе новая армянская литература, откликающаяся на запросы и нужды вызвавшего ее къ жизни народа, и въ то же время проникнутая, въ общемъ, европейскимъ культурнымъ духомъ. Конечно, далеко не всѣ ея отдѣлы могутъ и въ настоящее время похвастаться особеннымъ богатствомъ, и объ ея сравненіи съ литературами главнѣйшихъ западно-европейскихъ націй еще не можетъ быть рѣчи. Но не слѣдуетъ упускать изъ виду, что, всего нѣсколько десятилѣтій тому назадъ, современная армянская словесность еще не существовала, — не было даже новаго литературнаго языка, и приходилось пользоваться древнею книжною рѣчью, плохо мирившеюся съ новыми понятіями. Если имѣть это въ виду, — результаты, достигнутые въ короткій промежутокъ времени армянскою литературою, покажутся уже не такими скромными...

И зарожденіе, и постепенное развитіе этой литературы происходило подъ сильнымъ вліяніемъ западно-европейской культуры, — къ которому, въ предѣлахъ Россіи, присоединялось еще и весьма сильное вліяніе русское. Подражаніе иностраннымъ образцамъ, особенно — на первыхъ порахъ, было, конечно, очень значительно, такъ какъ приходилось создавать почти что изъ ничего армянскую повѣсть, драму, лирическую поэзію и т. п., и, естественно, нужно было искать въ другихъ литературахъ указаній и примѣровъ. Иногда случалось даже, что, при наличности извѣстнаго туземнаго, національнаго матеріала, изъ котораго можно было создать что-то самобытное, все же обращались къ иностраннымъ образцамъ и руководились ими. Пишущему эти строки въ другомъ случаѣ пришлось уже указывать на то, что, напримѣръ, извѣстные задатки для созданія армянской

драмы, несомненно, заключались въ народныхъ играхъ и обрядахъ, а также въ полномъ драматизмѣ богослуженія армяно-григоріанской церкви; но, когда въ XIX вѣкѣ положено было основаніе армянскому театру, его организаторы, не воспользовавшись этими мѣстными данными, всецѣло руководствовались примѣромъ европейскихъ націй...

Какъ бы то ни было, западно-европейская литература и цивилизація оказали, въ общемъ, самое благотворное вліяніе на развитіе армянской словесности. Это вліяніе имѣло, конечно, самый разнородный характеръ, въ зависимости отъ того, гдѣ жили и дѣйствовали тѣ или другіе армянскіе литераторы,—въ Россіи, Турціи или въ европейскихъ культурныхъ центрахъ, въ родѣ Парижа, Вѣны, Венеціи и т. п. Иногда первое мѣсто принадлежало пѣмецкому вліянію; въ другихъ случаяхъ образцомъ, вызывавшимъ подражаніе, являлись произведенія французскихъ писателей. Общій обзоръ западнаго вліянія въ новой армянской словесности могъ бы явиться цѣннымъ вкладомъ въ ту серію изслѣдованій о *взаимодѣйствіи литературъ*, которая почти съ каждымъ годомъ увеличивается все новыми работами. «Notre rôle politique n'était pas grand, mais nous avons participé à tout», сказалъ въ свое время армянскій поэтъ и ученый, мхитаристъ Алишанъ. Эти слова, какъ справедливо замѣтилъ Артуръ Лейстъ, въ значительной степени, могутъ быть примѣнены, въ частности, къ армянской литературѣ. Разнообразныя теченія, замѣчавшіяся въ западно-европейской словесности, отъ «псевдо-классицизма», сентиментальнаго направленія или романтизма—до натуралистической школы или символизма, всегда находили извѣстный откликъ и въ творчествѣ армянскихъ писателей ¹⁾. Не задаваясь цѣлью отмѣтить всѣ факты, характеризующіе культурное общеніе армянъ съ другими націями, пишущій эти строки хотѣлъ бы только обрисовать бѣглыми штрихами то, чѣмъ различные представители литературы *русскихъ армянъ* были обязаны западно-европейской цивилизаціи. Даже въ этой ограниченной области можно найти не мало интереснаго и характернаго,—быть можетъ, заслуживающаго даже болѣе детальной характеристики...

Первый пионеръ армянской литературы и новаго языка въ предѣлахъ Россіи, Хачатуръ Абовьянъ ²⁾, авторъ обширнаго и интереснаго ро-

¹⁾ Въ своей интересной статьѣ „Страница изъ эпохи Возрожденія“ г. М. Берберьянъ указываетъ, впрочемъ, на то, что западно-европейскія теченія обыкновенно отражались въ армянской литературѣ съ извѣстнымъ опозданіемъ,—напримѣръ, міровая скорбь—въ 60-хъ годахъ,—сверхъ того, воспринимались иногда не изъ первыхъ рукъ.

²⁾ О Х. Абовьянѣ (1806—1848) см., между прочимъ, статью М. Берберьяна въ „Приазовскомъ Краѣ“ отъ 12 іюня 1898 года, нашу статью въ 1-мъ томѣ сборника „Армянскіе Беллетристы“ (М. 1893), очеркъ Артура Лейста „Abowian“ во второмъ выпускѣ лейпцигской „Armenische Bibliothek“ и ст. Теръ-Саргсянца „Х. Абовьянъ какъ этнографъ“—въ сборникѣ въ честь В. О. Миллера.

мана „Раны Арменіи“, составившаго въ свое время эпоху и повліявшаго на многихъ писателей слѣдующаго поколѣнія, былъ убѣжденнымъ и горячимъ сторонникомъ Запада. Стремленіе къ образованію очень рано сказалось у скромнаго, никому невѣдомаго уроженца села Канакеръ, Эриванской губерніи, выразившись въ желаніи или отправиться въ Венецію, въ учепую обитель мхитаристовъ, или поступить въ Московскій Лазаревскій Институтъ. Ни тотъ, ни другой планъ не осуществился,—но мечты Абовьяна о всестороннемъ образованіи и развитіи все же сбылись, хотя и въ совершенно неожиданной формѣ. Въ 1830 году мы видимъ его студентомъ Дерптскаго (нынѣ Юрьевскаго) университета, вначалѣ старательно изучающимъ нѣмецкій языкъ, потомъ усердно принимающимся за научныя занятія. Случайный прїѣздъ въ Закавказье профессора Паррота, обратившаго вниманіе на любознательнаго и интеллигентнаго юношу и оцѣнившаго его стремленіе къ свѣту, сдѣлалъ возможнымъ это путешествіе молодого Абовьяна на дальній Сѣверъ,—вопреки негодованію и ужасу иныхъ его современниковъ, видѣвшихъ въ этомъ шагѣ чуть ли не измѣну своей національности и церкви. Шесть лѣтъ, проведенныхъ въ Дерптѣ, принесли громадную пользу Абовьяну. Слушая лекціи Блюмберга, Граза, Фридендера и другихъ, пользуясь совѣтами и указаніями самого Паррота, который отнесся къ нему, какъ родной отецъ, и оказывалъ ему содѣйствіе, гдѣ только могъ, онъ основательно ознакомился, между прочимъ, съ нѣмецкою поэзіею, равно какъ и съ работами нѣмецкихъ историковъ и лингвистовъ. Это объясняется, конечно, тѣмъ, что университетъ носилъ въ то время чисто нѣмецкій характеръ и находился въ тѣсномъ общеніи съ германскою умственною жизнью. Прекрасно изучивъ языкъ, вполне освоившись на берегахъ Эмбаха, радушно принятый въ семействахъ многихъ профессоровъ, Абовьянъ все же не утратилъ интереса къ нуждамъ своего народа; напротивъ, тѣ свѣдѣнія, которыя онъ получилъ въ Дерптѣ, еще болѣе утвердили его въ желаніи трудиться на пользу культурнаго возрожденія своего племени.

Въ 1836 году Абовьянъ вернулся на родину,—и съ этой поры началась его настойчивая и неутомимая дѣятельность, въ значительной степени навѣянная полученнымъ въ университетѣ образованіемъ. Если многого ему не удалось сдѣлать, если иныя просвѣтительныя начинанія оказались неудачными, такъ какъ окружающее общество еще не доросло до нихъ, то все же до конца своихъ дней онъ остался сторонникомъ культуры и просвѣщенія. Выступая въ роли педагога, онъ старался давать своимъ ученикамъ какъ можно больше полезныхъ свѣдѣній, настаивалъ на томъ, чтобы они изучали иностранные языки (самъ онъ владѣлъ шестью языками), объяснялъ имъ Шиллера и Гёте. Зная по опыту, какую пользу приносятъ систематическія занятія, онъ добивался того, чтобы нѣсколько молодыхъ людей было отправлено въ заграничныя университеты. Знакомство

съ иностранными литературами и исторіей постепеннаго развитія отдѣльныхъ языковъ навело его на мысль о необходимости разработки новаго литературнаго армянскаго языка, безъ чего, какъ онъ прекрасно понималъ, невозможно было и созданіе новой словесности. Предисловіе къ роману Абовьяна опредѣленно указываетъ на то, что идея выработки новаго языка зародилась въ его умѣ подѣ вліяніемъ аналогіи съ другими народами. Если попытка Абовьяна не увѣнчалась полнымъ успѣхомъ, то все же онъ показалъ путь тѣмъ писателямъ и ученымъ, которые сдѣлались его преемниками. И въ своемъ романѣ, и въ пѣкоторыхъ другихъ сочиненіяхъ, напримѣръ, въ своихъ «Басняхъ», Абовьянъ обнаруживаетъ, съ другой стороны, увлеченіе романтизмомъ; отчасти даже—сентиментальною школою. Онъ никогда не порывалъ связей съ нѣмецкими учеными и писателями, отъ души радовался, когда кто нибудь изъ нихъ пріѣзжалъ въ Закавказье. Абихъ, Вагнеръ, Боденштедтъ,—всѣ они нашли въ немъ интереснаго, разносторонняго собесѣдника, который, какъ имъ казалось, былъ одинокимъ европейцемъ, затеряннымъ среди моря невѣжества и застоя... Въ 1888 году, въ своихъ «Воспоминаніяхъ о моей жизни», Боденштедтъ съ видимымъ сочувствіемъ отозвался о томъ замѣчательномъ армянищѣ, съ которымъ, за нѣсколько десятилѣтій передъ тѣмъ, столкнула его судьба. «До самой смерти», говоритъ онъ, «Абовьянъ съ изумительнымъ рвеніемъ трудился на пользу развитія и просвѣщенія соплеменниковъ». Съ такимъ же сочувствіемъ относился къ Абовьяну баронъ Гакстаузенъ, которому армянскій писатель подарилъ свои любопытныя «Воспоминанія», написанныя имъ на нѣмецкомъ языкѣ въ Дерптѣ.

Въ началѣ тридцатыхъ годовъ изъ того же Закавказья явился въ Дерптъ и другой юноша, которому предстояло со временемъ сыграть важную роль въ исторіи армянской словесности и культуры. Это былъ Степаносъ Назарьянцъ (1812—1873), сынъ священника, бывшій ученикъ Нерсесьянской духовной семинаріи, будущій публицистъ, редакторъ журнала «Сѣверное Сіяніе», профессоръ Казанскаго университета и одинъ изъ наиболее энергичныхъ, убѣжденныхъ поборниковъ новаго литературнаго языка, которому онъ доставилъ блестящую побѣду, продолжая дѣло Абовьяна. Назарьянцъ пробылъ въ Дерптѣ съ 1832-го по 1840 годъ, слушая лекціи въ университетѣ, старательно занимаясь нѣмецкою литературою и наукою, постепенно все болѣе сближаясь съ мѣстными интеллигентными кругами, въ которыхъ онъ вскорѣ сдѣлался своимъ человѣкомъ. Подобно Абовьяну, онъ былъ затронутъ вліяніемъ романтизма, послѣдніе отголоски котораго еще сказывались въ міросозерцаніи и стремленіяхъ извѣстной части молодежи, а съ другой стороны, заинтересовался новыми изслѣдованіями по литературѣ, народной словесности, языковѣднью и исторіи, о которыхъ онъ впервые услышалъ въ стѣнахъ университета. Именно здѣсь, въ Дерптѣ, подѣ вліяніемъ споровъ и толковъ о нѣмецкой культурѣ и языкѣ, о борьбѣ

между старымъ и новымъ направлениемъ въ области науки, о задачахъ интеллигентнаго класса, въ душѣ Назарьянца опредѣленно сказалось желаніе работать на пользу родной словесности, новаго языка и культурнаго развитія своей націи...

Онъ остался на всю жизнь почитателемъ германской литературы и науки, и неизмѣнно старался привить ихъ, въ полномъ объемѣ, своимъ соплеменникамъ,—иногда впадая даже въ крайности, недостаточно принимая въ соображеніе особыя мѣстныя условія и различіе между двумя народами—и тѣмъ вызывая нареканія со стороны лицъ, и безъ того недоброжелательно относившихся ко всей его дѣятельности, стремившихся тормозить его начинанія, обвинявшихъ его даже въ измѣнѣ своей церкви и тайномъ переходѣ въ протестантизмъ... Но, наряду съ этою, нѣсколько одностороннею склонностью ко всему нѣмецкому, положившею свой отпечатокъ почти на всѣ произведенія Назарьянца, мы можемъ отмѣтить у него и общее сочувствіе европейской цивилизаціи, безъ различія національностей,—усвоеніе которой онъ считалъ безусловно необходимымъ для армянъ,—просвѣтительныя стремленія и широкіе взгляды истиннаго европейца. Съ другой стороны, онъ не чуждался и русской культуры, неоднократно упоминалъ и цитировалъ въ своихъ статьяхъ и письмахъ русскихъ писателей, многое заимствовалъ у нихъ и старался приспособить къ нуждамъ и пониманію армянской читающей публики. Вся дѣятельность Назарьянца, какъ литератора и публициста, носятъ опредѣленную европейскую окраску.

Основанный имъ въ 1858 году, въ Москвѣ, журналъ «Сѣверное Сіяніе» былъ выразителемъ мыслей и стремленій наиболее развитой и передовой части армянскаго общества того времени. Благодаря содѣйствію М. Налбандяна, о которомъ сейчасъ будетъ рѣчь, Назарьянцу удалось сдѣлать журналъ отраженіемъ не только армянской, но отчасти и западно-европейской жизни. Въ предварительномъ объявленіи о подпискѣ на «Сѣверное Сіяніе» (1857 г.) уже высказывалось намѣреніе создать какъ бы мостъ между армянами, все еще не отрѣшившимися отъ воздѣйствія отсталаго азіатизма, исключительности и невѣжества,—и европейскими націями, способствовать, по мѣрѣ силъ, ихъ культурному общенію. «Наша цѣль—обновленіе стараго, насколько это возможно, удобно и необходимо для настоящей минуты; наша цѣль—созидать, а ничуть не разрушать или уничтожать», писалъ Назарьянецъ, предугадывая нападки обскурантовъ и шовинистовъ, готовыхъ обвинить его въ отступничествѣ отъ всего роднаго и рабскомъ подчиненіи иностраннымъ образцамъ. Отсутствие средствъ, незначительное число подписчиковъ, скудость наличныхъ литературныхъ силъ,—все это не помѣшало неутомимому дѣятелю за то короткое время, пока существовалъ журналъ, опредѣленно выразить свои взгляды на этотъ вопросъ и оказать извѣстное вліяніе на армянскую публику.

Назарьянцъ неоднократно разъяснял своимъ читателямъ, что все ихъ спасеніе—въ усвоеніи европейской культуры, что другого пути нѣтъ и не можетъ быть. Эта мысль отражается, напримѣръ, въ предисловіи Назарьянца къ армянскому переводу «Мессинской пѣвѣсты» Шиллера. Если формулировать взгляды и пожеланія, высказанныя Назарьянцомъ и въ его журналѣ, и въ сочиненіяхъ, вышедшихъ отдѣльно,—какъ это сдѣлалъ его ученикъ и послѣдователь, Шахъ-Азизъ,—они окажутся всецѣло проникнутыми культурнымъ духомъ. Въ самомъ дѣлѣ, армянскій публицистъ стоитъ за разработку новаго литературнаго языка, сближеніе словесности съ жизнью, основаніе школъ, газетъ, литературныхъ и научныхъ обществъ, книжныхъ магазиновъ, поднятіе образовательнаго уровня духовенства, борьбу съ предрасудками и отсталыми взглядами, изученіе психологіи и естествознанія. Независимо отъ этого, Назарьянцъ думалъ принести пользу своему народу, переводя отдѣльныя сочиненія западно-европейскихъ писателей. Весьма интересны и поучительны для выясненія европеизма Назарьянца его письма къ друзьямъ и знакомымъ, гдѣ онъ подчасъ очень рѣзко отзывается о своихъ соплеменникахъ, «нашихъ братьяхъ-азіатахъ,—которымъ онъ, однако, посвятилъ всю свою жизнь,—скорбя о томъ, что многіе изъ нихъ все еще не поняли смысла западной цивилизаціи, значенія прессы и литературы.. Если имѣть въ виду всѣ эти факты, нужно будетъ согласиться съ тѣмъ, что Назарьянцъ, до известной степени, оправдалъ предсказаніе гр. Уварова, который, пріѣхавъ въ Дерптъ какъ разъ въ то время, когда тамъ учился молодой армянинъ, при посѣщеніи университета неожиданно обратился къ нему со словами: Мой другъ, ты долженъ быть просвѣтителемъ Востока».

Микаэлъ Налбандьянъ¹⁾, главный сотрудникъ «Сѣвернаго Сіянія», неизмѣнно поддерживавшій и какъ бы дополнявшій Назарьянца, такъ какъ у него было много огня, живости и полемическаго задора,—чего недоставало главному редактору журнала,—бывшій слушатель Московскаго и Петербургскаго университетовъ, также былъ типичнымъ западникомъ и не скрывалъ своего увлеченія европейскою культурою. Это увлеченіе выразилось, конечно, не только въ томъ, что онъ переводилъ произведенія Эжена Сю и другихъ подобныхъ писателей, но гораздо болѣе—въ общемъ характерѣ его публицистическихъ статей. Подобно Назарьянцу, онъ стоялъ за созданіе армянской прессы, сцены и школы на европейскихъ основахъ. Навлекая на себя подчасъ обвиненія обскурантовъ, онъ доказывалъ не-

¹⁾ Лучшая работа, посвященная Налбандьяну и его дѣятельности, написана на армянскомъ языкѣ, принадлежитъ перу Ерв. Шахъ-Азиза и помѣщена въ 7-ой книгѣ „Литературно-Историческаго Обзорѣнія“ (Москва, 1896).—Очень интересныя, хотя не всегда точныя свѣдѣнія о немъ сообщаетъ г-жа Тучкова-Огарева въ своихъ „Воспоминаніяхъ“. Ср. также нашу статью въ „Энциклопедическомъ Словарѣ“ Брокгауза и Эфрона.

обходимость сближенія съ западною культурою при сохраненіи, однако, національных и историческихъ особенностей народа. Въ концѣ 50-ыхъ и самомъ началѣ 60-ыхъ годовъ Налбандяну пришлось дважды побывать за границу, — и эти путешествія оставили неизгладимый слѣдъ въ его душѣ... Онъ осматрѣлъ Берлинъ, Гамбургъ, Вѣну, Лондонъ, Випдзоръ, Парижъ, Версаль, итальянскіе города, — и былъ всецѣло охваченъ и увлеченъ шумною и разнообразною заграничною жизнью. Онъ посѣщалъ музеи, картинныя галереи, театры, библіотеки, знакомился съ мѣстными дѣятелями, изучая борьбу партій, взаимныя отношенія отдѣльныхъ племенъ. Въ Италіи онъ съ большимъ интересомъ слѣдилъ за постепенными успѣхами національнаго объединенія, сочувствуя Гарибальди и его дѣятельности. Тѣ социальныя идеи и политическія ученія, которыя волновали тогда европейское общество, также интересовали любознательнаго Налбандяна, которому очень помогало въ этомъ случаѣ знакомство съ французскимъ языкомъ, изученнымъ имъ еще въ Россіи для того, чтобы не полагаться на переводы. До самаго конца своей слишкомъ кратковременной жизни онъ оставался типичнымъ западникомъ. Въ своихъ стихотворныхъ опытахъ, стоящихъ ниже его публицистики, онъ обнаруживаетъ подчасъ влияніе Беранже, котораго онъ переводилъ и передѣлывалъ; онъ пишетъ стихотворенія «Памяти Ж. Ж. Руссо», «Памяти Генри Томаса Бокля»; а самая популярная его вещь «Наша родина», положенная на музыку, написана отъ имени итальянки, горячо любящей свою несчастную отчизну, которая борется съ Австріей за свою независимость.

Единомышленникъ Назарьянца и Налбандяна, и, до извѣстной степени, продолжатель ихъ дѣла, поэтъ и публицистъ Смбагъ Шахъ-Азизъ¹⁾, занимаетъ весьма своеобразное мѣсто въ исторіи влиянія западно-европейскихъ литературъ на армянскую. Съ самаго начала его литературной дѣятельности уже сказывается то увлеченіе байронизмомъ, которое является одною изъ отличительныхъ чертъ его творчества. Черезъ 50 лѣтъ послѣ байроновскихъ «Часовъ досуга», юноша-поэтъ выпускаетъ свои «Часы досуга», на армянскомъ языкѣ, причемъ въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ, вошедшихъ въ составъ этого сборника, уже отражается влияніе Байрона. По мѣрѣ того, какъ дарованіе Шахъ-Азиза становилось болѣе зрѣлымъ и разностороннимъ, воздѣйствіе поэзіи Байрона получало болѣе глубокий и плодотворный характеръ. Поэма Шахъ-Азиза, «Скорбь Леона», тѣсно

¹⁾ Главныя поэтическія произведенія Шахъ-Азиза (род. въ 1841 г.) относятся къ началу 60-ыхъ годовъ. Въ 1881 году онъ выпустилъ свою книгу „Голосъ Публициста“, посвященную защитѣ дѣятельности Назарьянца отъ нападокъ одного изъ ея критиковъ. Въ 1892 году въ Москвѣ былъ торжественно отпразднованъ юбилей поэта. За послѣдніе годы Шахъ-Азизъ выпускаетъ, время отъ времени, прозаическія сочиненія, затрогивающія злобу дня и разные общіе вопросы (напр. „Лѣтнія письма“ 1897 г.), 10—15 стихотвореній его переведено по русски.

связанная съ армянскою жизнью, полная сѣтованій объ отсталости, невѣжествѣ, шовинизмѣ и матеріалистическихъ вѣсахъ оружающаго общества, вмѣстѣ съ тѣмъ, является однимъ изъ наиболѣе позднихъ отраженій западно-европейскаго байронизма. Герой поэмы, неудовлетворенный, тоскующій мечтатель Леонъ, принадлежитъ къ категоріи людей, затронутыхъ «міровою скорбью», непонятыхъ обществомъ и замыкающихся отъ него, способныхъ показаться, съ перваго взгляда, суровыми, угрюмыми, озлобленными, но, въ сущности, полныхъ любви къ человѣчеству, идеализма и отзывчивости. Независимо отъ этого, уже самая внѣшняя форма поэмы, раздѣленіе на пѣсни, лирическія отступленія, частое вмѣшательство самого автора, вставные эпизодическіе отрывки, — все это не разъ указываетъ на вліяніе Байрона, соединенное съ вліяніемъ Пушкина (особенно «Евгенія Онѣгина» ¹⁾) и Лермонтова. Изъ всѣхъ произведеній Байрона всего болѣе повліялъ на Шахъ-Азиза «Чайльдъ-Гарольдъ», отъ котораго армянскій поэтъ, положительно, не могъ иногда оторваться... Творчество Байрона положило свой отпечатокъ и на многія мелкія стихотворенія Шахъ-Азиза, носяція грустный, чисто субъективный характеръ. Нельзя не упомянуть здѣсь также объ его извѣстномъ стихотвореніи «Размышленія поэта» (1864 г.), въ которомъ мы находимъ восторженное обращеніе къ знаменитому англійскому поэту и прославленіе его дѣятельности, между тѣмъ какъ, съ другой стороны, любимую дѣвушку авторъ сравниваетъ съ Янтой, которой посвященъ «Чайльдъ-Гарольдъ».

Увлекаясь Байрономъ, Шахъ-Азизъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, былъ, до извѣстной степени, затронутъ и вліяніемъ Гейне. Онъ прочелъ и нѣкоторыя сочиненія западно-европейскихъ мыслителей и историковъ, вродѣ Спинозы, Бокля, Шлейермахера, Джона-Стюарта Милля и другихъ. Этотъ интересъ къ творчеству европейскихъ писателей различныхъ оттѣнковъ неоднократно обнаруживается и въ позднѣйшихъ, уже прозаическихъ сочиненіяхъ Шахъ-Азиза, вродѣ «Голоса Публициста», «Лѣтнихъ писемъ» и т. п. Любопытно, что своего любимаго героя, Леона, который, въ значительной степени, является двойникомъ самаго автора, Шахъ-Азизъ заставляетъ взять съ собою, при отправленіи въ далекое путешествіе, цѣлый рядъ книгъ, въ томъ числѣ «грустныя мелодіи Гейне, безсмертное твореніе Гёте-Фауста, скитальца Чайльдъ-Гарольда, сатиры Ювенала, полная огня пѣсни Беранже, исторію Бокля, трагедіи Шекспира». Шахъ-Азизъ вообще — убѣжденный западникъ, твердо вѣрящій, вмѣстѣ съ Леономъ, въ то, что «образование намъ нужно... пусть образование приготовить армянамъ добрую участь и славную жизнь». Независимо отъ опредѣленнаго вліянія тѣхъ или другихъ писателей, весь общій духъ его творчества по-

¹⁾ О вліяніи Пушкина на Шахъ-Азиза см. въ нашей статьѣ „Повзія Пушкина въ преддверіи Азии“ (въ „Литературныхъ очеркахъ“; М., 1900).

сигь культурный характер... Являясь сторопникомъ взглядовъ Назарьянца, онъ, подобно ему, громить обскурантовъ и невѣждъ, стоитъ за новую педагогію, за подготовку развитыхъ священниковъ, за женское образованіе. «Я тебя люблю, о мой народъ, но не тою любовью, которою тебя любили до сихъ поръ», могъ бы онъ воскликнуть вмѣстѣ со своимъ героемъ. Мы чувствуемъ, что онъ относится критически къ тому, что видитъ вокругъ себя, прилагаетъ къ родной жизни европейскую мѣрку.

Отъ С. Шахъ-Азиза перейдемъ теперь къ другому первоклассному армянскому поэту, Рафаэлу Патканьяну,¹⁾ слава котораго основывается, главнымъ образомъ, на его тенденціозныхъ стихотвореніяхъ. Значительно позже Абовьяна и Назарьянца онъ явился въ Дерптъ, гдѣ и провелъ часть своихъ студенческихъ лѣтъ (впослѣдствіи онъ перешелъ въ петербургскій университетъ). Въ 1852 году, когда Патканьянъ пріѣхалъ въ Дерптъ, онъ уже нашелъ тамъ цѣлую колонію армянской учащейся молодежи. Мы знаемъ, что именно тамъ были имъ написаны студенческія пѣсни, которыя должны были замѣнить армянамъ-студентамъ пѣсни, расплывавшіяся ихъ товарищами въ нѣмецкихъ корпораціяхъ. Къ сожалѣнію, не сохранилось подробностей относительно научныхъ занятій Патканьяна въ Дерптѣ, но все же несомнѣнно, что нѣмецкая литература и на него оказала довольно сильное вліяніе. Въ болѣе раннихъ стихотвореніяхъ того поэта, который съ теченіемъ времени долженъ былъ сдѣлаться однимъ изъ наиболѣе яркихъ представителей тенденціознаго творчества, изображая тяжелую участь турецкихъ армянъ, чувствуется романтическое вліяніе. Это вліяніе неожиданно сказывается даже значительно позже, въ концѣ 70 годовъ, въ повѣсти Патканьяна „Я была обручена“, гдѣ необычайная встрѣча героя и героини, пророческій, полу-фантастическій сонъ, открывающій герою судьбу его возлюбленной, и многое другое, явно навѣяны романтизмомъ.

Съ другой стороны, просвѣтительная дѣятельность Назарьянца, вдохновлявшая тогда многихъ молодыхъ писателей, заставила Патканьяна еще серьезнѣе заинтересоваться западно-европейскою культурою. Когда «Сѣверное Сіяніе» прекратилось, Рафаэль Патканьянъ, отецъ котораго, интеллигентный священникъ Габріэль Патканьянъ, также пробовалъ свои силы на поприщѣ публицистики, основалъ въ Петербургѣ журналъ «Сѣверъ», который долженъ былъ служить какъ бы продолженіемъ московскаго изданія Назарьянца, проводить, въ общемъ, тѣ же идеи. Инте-

¹⁾ О Рафаэль Патканьянъ (1830—1892) см. Г. Чалхушьяна „Армянская поэзія въ лицѣ Р. Патканьяна“ (на русскомъ языкѣ; Ростовъ, 1885); статью Мин. Берберьяна въ 1-мъ томѣ „Армянскихъ Беллетристовъ“, Arth. Leist, „Raphael Patkanian“, во второмъ выпускѣ „Armenische Bibliothek“; нашу статью въ 23-мъ томѣ „Энциклопедическаго словаря“ Брокгауза и Эфрона. Стихотворенія Патканьяна не разъ переводились на русскій, нѣмецкій, французскій и англійскій языки.

ресуясь, прежде всего, нѣмецкою словесностью, какъ и всѣ представители старшаго поколѣнія армянскихъ писателей, онъ все же не оставлялъ безъ вниманія и литературу другихъ народовъ. Онъ не только переводилъ иногда Беранже и подражалъ Ламартину (въ стихотвореніи «Священникъ»); можно, до известной степени, утверждать, что наиболѣе выдающіяся пѣсни Беранже, съ ихъ пламеннымъ воодушевленіемъ, живымъ, разнымъ языкомъ и припѣвомъ въ концѣ каждой строфы, а также инны вещи Гюго, написанныя на злобу дня, оказали нѣкоторое вліяніе на тенденціозныя стихотворенія армянскаго поэта, полныя негодованія или грусти. При всемъ томъ, Патканьянъ не считалъ нужнымъ закрывать глаза и на тѣ уродливыя явленія, которыя создаются на почвѣ чисто поверхностнаго европеизма, и въ двухъ остроумныхъ стихотвореніяхъ осмѣялъ молодого человѣка и молодую дѣвушку, воспитанныхъ въ столицѣ, гнушающихся своимъ народомъ и его языкомъ, употребляющихъ нестатіи какіе-то обрывки французскихъ и русскихъ фразъ, и увѣренныхъ въ томъ, что они усвоили квинтъ-эссенцію образованія и европейскаго просвѣщенія... Такъ русскіе писатели XVIII вѣка, являясь сторонниками культуры и разумнаго заимствованія у болѣе просвѣщенныхъ сосѣдей, въ то же время осмѣивали «птиметровъ», модницъ и поверхностныхъ, ограниченныхъ людей, безъ всякой пользы для себя и родины путешествовавшихъ за границу.

На Раффи, одного изъ лучшихъ армянскихъ прозаиковъ, автора романовъ и повѣстей изъ турецко-армянской жизни, историческихъ романовъ, рассказовъ изъ персидскаго быта, западно-европейская культура также оказала свою долю вліянія.¹⁾ Изъ его біографіи мы узнаемъ, что 16—17-ти лѣтъ отъ роду онъ уже прочелъ сочиненія западно-европейскихъ классиковъ, переведенныя на древне-армянскій языкъ и напечатанныя въ Венеціи мхитаристами,—Гомера, Виргилія, Мильтона, Фенелона. Впослѣдствіи онъ познакомился съ творчествомъ многихъ другихъ иностранныхъ писателей, самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ, въ родѣ Вальтеръ-Скотта, Виктора Гюго, Эжена Сю, Захеръ-Мазоха, и т. п. Очень возможно, что произведенія Гюго отчасти повліяли на Раффи въ смыслѣ развитія въ его душѣ сочувствія къ пасынгамъ жизни, къ униженнымъ и оскорбленнымъ. Съ другой стороны, воздѣйствіе Вальтеръ-Скотта можно отчасти прослѣдить въ историческихъ романахъ Раффи,—«Самуэль» и «Давидъ-бекъ».

¹⁾ О Раффи (псевдонимъ Акопа Меликъ-Акопяна; 1832—1888) см. статью Е. С. Некрасовой „Армянскій писатель Раффи“ („Міръ Божій“ 1892 г., кн. II); А. Хатисова, „Раффи“, критико-біографическій очеркъ („Кавказскій Вѣстникъ“, 1901 г. кн. I); наши статьи въ 1-мъ томѣ „Армянскихъ Беллетристовъ“ и 26-мъ томѣ „Энциклопедическаго Словаря“.—Въ „Русской Мысли“, „Мірѣ Божіемъ“, „Волжскомъ Вѣстникѣ“, „Новомъ Обозрѣніи“, „Кавказскомъ Вѣстникѣ“, „Приазовскомъ Краѣ“, сборникѣ „Армянскіе Беллетристы“ и т. п. помѣщено, въ русскомъ переводѣ, цѣликомъ или въ отрывкахъ, до десяти вещей Раффи.

Есть свѣдѣнія, что Раффи былъ знакомъ съ главными сочиненіями Тэпа и очень высоко ставилъ этого мыслителя. Не получивъ систематическаго, разносторонняго образованія, онъ все же обнаруживалъ въ своихъ романахъ и повѣстяхъ культурное міросозерцаніе. Когда онъ изображалъ персидскую жизнь, со всѣмъ, что въ ней есть отсталого, затхлаго, азіатскаго, въ такихъ вещахъ какъ «Хасъ-пуши», «Биби-Шарабани», «Гаремъ», чувствовалось, что онъ, правда, хорошо знакомъ съ описываемою имъ средою, близко изучилъ ее, умѣетъ передавать ея своеобразный колоритъ, но все же относится къ ней критически, какъ посторонній наблюдатель, оцѣниваетъ ее съ точки зрѣнія *европейца*.

Въ романахъ и повѣстяхъ Раффи изъ современной армянской жизни, — «Хентъ», «Джалалѣддинъ», «Искрахъ», — не разъ сказывается сочувствіе истинной культурѣ и просвѣщенію. Возставая противъ науки и литературы, оторванной отъ жизни, запутавшейся въ схоластическихъ премудростяхъ, онъ всегда являлся поборникомъ образованія, удовлетворяющаго современнымъ потребностямъ, приноровленнаго къ нуждамъ извѣстнаго народа. Онъ обличалъ дореформенную педагогію, ненормальную постановку школьнаго дѣла, педантизмъ и рутину. Нѣкоторые изъ тѣхъ героевъ, которыхъ онъ дѣлалъ выразителями своихъ мыслей и идеаловъ, являются людьми развитыми, интеллигентными, иногда хорошо знакомыми съ жизнью западно-европейскихъ націй. Такъ, мечтатель Дудукчянъ въ «Хентъ», одинъ изъ «новыхъ людей», сознательно относящихся къ окружающей дѣйствительности, получилъ образованіе въ Венеціи, у мхитаристовъ, а потомъ отправился въ Парижъ, гдѣ окунулся въ водоворотъ французской жизни. Онъ возвращается на родину совершенно переродившимся, усвоившимъ новое, культурное міросозерцаніе, мечтающимъ о той порѣ, когда невѣжество, застой, безличность и забитость уступятъ въ турецко-армянской жизни мѣсто чувству собственного достоинства и стремленію къ свѣту. Нельзя не отмѣтить здѣсь также того опредѣленнаго осужденія, которое Раффи, послѣдователь Назарьянца и его школы, высказывалъ различнымъ предрасудкамъ и отжившимъ свой вѣкъ воззрѣніямъ, сохранившимся въ армянскомъ быту. Такъ, въ разсказѣ «Обреченная» онъ касается стараго обычая, все еще практикуемаго иными родителями: обречать свою дочь, еще до рожденія, на безбрачную, монашескую жизнь. Весь этотъ разсказъ проникнутъ искреннимъ негодованіемъ, ненавистью къ фанатизму, жестокости и умственному застою.

Знакомство съ западно-европейскою драмою впервые натолкнуло Габріэла Сундукьянца ¹⁾, наиболѣе популярнаго и даровитаго армянскаго

¹⁾ О Сундукьянцѣ (род. въ 1825 году) см. статью Артура Лейста „Gabriel Sundukianz“ и наши статьи: „Изъ исторіи армянской сцены. Тифлисскаго театра и

драматурга Закавказья, автора остроумных бытовых пьесъ, «Хатабала» (1865 г.), «Еще одна жертва» (1870), «Пепо» (1870—1871), «Разоренная семья» (1873), нѣскольких водевилей, драмы «Супруги» (затронуть вопросъ о разводѣ) на мысль—писать для армянской сцены, трудиться на пользу родного репертуара. Еще въ гимназическіе годы, въ Тифлисъ, онъ, по его собственному признанію, зачитывался произведеніями Шиллера, вродѣ «Коварства и любви», проводилъ безсонныя ночи, проливая слезы надъ страданіями Фердинанда и Луизы. Въ 1846 году, уже студентомъ петербургскаго университета, онъ пришелъ однажды въ восторгъ, увидѣвъ игру Каратыгина въ роли Фердинанда, и, начиная съ этой поры, сталъ усердно посѣщать театръ. Его вниманіе привлекли, между прочимъ, французскіе спектакли, представлявшіе тогда безусловный интересъ, такъ какъ въ нихъ принимали участіе такія силы, какъ Бертенъ, Арцу Плесси и Аллашъ. Подъ вліяніемъ этихъ спектаклей, онъ задумался надъ вопросомъ о созданіи армянской сцены, тогда еще не существовавшей, опредѣленно созналъ ту важную роль, которую эта сцена могла бы играть въ культурной жизни народа. Такимъ образомъ, своеобразныя пьесы Сундукьянца, носящія яркій бытовой и національный колоритъ, все же, до извѣстной степени, вызваны были къ жизни воздѣйствіемъ иностранной драмы.

Послѣ первой своей комедіи, «Хатабала», Сундукьянецъ сталъ внимательно изучать произведенія Мольера, Шекспира, Скриба и другихъ драматурговъ. Мысль написать лучшую свою пьесу,—комедію «Пепо» явилась у него подъ вліяніемъ армянской передѣлки мольеровской комедіи. Въ предисловіи къ печатному изданію «Пепо», обращенномъ къ создателю заглавной роли, артисту Чимышкьяну, авторъ говоритъ, между прочимъ: «Однажды въ театрѣ давали пьесу покойнаго Пугиньянца «Хоть треспи, да женись», передѣланную изъ комедіи Мольера, причемъ ты исполнялъ роль Шамира. Твой костюмъ, лицо, движенія, игра, голосъ въ этой роли, все это внезапно возбудило въ моемъ умѣ вопросъ, какъ бы себя велъ человекъ, подобный Шамиру, въ томъ случаѣ, еслибы одинъ изъ нашихъ эксплуататоровъ былъ ему долженъ деньги и не хотѣлъ бы сознаться въ своемъ долгѣ. Основаніе для Пепо было такимъ образомъ положено; остальное явилось само собою». Въ своихъ комедіяхъ Сундукьянецъ очень часто затрогиваетъ вопросъ о вліяніи европейской культуры на армянь. Онъ симпатизируетъ людямъ, искренно увлекающимся новыми идеями и борющимся съ рутинною, вродѣ юноши-идеалиста Микаэла изъ пьесы «Еще одна

бытовая комедія“ („Артистъ“, 1892 г., сентябрь — ноябрь), „Женская доля въ изображеніи армянскихъ литераторовъ“ (въ книгѣ „Литературные очерки“. М. 1900) и „Юбилей армянской комедіи“ („Петерб. Жизнь“, 27-го мая 1901 г.). Изъ пьесъ Сундукьянца переведены по-русски: „Пепо“ (М. 1896) и „Супруги“ (Тифлисъ, 1897); по-нѣмецки „Разоренная семья“ („Die ruinirte Familie“).

жертва», или тѣхъ представителей интеллигенціи,—ученаго агронома, народной учительницы, молодого писателя,—которые выступаютъ въ его новѣйшемъ произведеніи «Супруги». Съ другой стороны, подобно Патканьяну, онъ осмѣиваетъ полуобразованные слои, которые не усваиваютъ истиннаго духа европейской цивилизаціи и видятъ ея послѣднее слово въ игнорированіи роднаго языка, легкомысленномъ отношеніи къ своему долгу, страсти къ нарядамъ и баламъ, стремленіи жить не по средствамъ. Любопытно, что старозавѣтный, но честный и прямодушный купецъ Осепъ, въ комедіи Сундукьянца «Разоренная семья», очень скептически отзываясь о полуобразованной молодежи, въ то же время самъ побывалъ за границею, съ уваженіемъ говоритъ о народахъ Западной Европы и ихъ положительныхъ свойствахъ.

Интересъ къ западно-европейскимъ литературамъ замѣчается и у самоновѣйшихъ дѣятелей армянской словесности, которые подчасъ многимъ ей обязаны. Вотъ нѣсколько примѣровъ. Ширванзадэ (род. въ 1858 году), одинъ изъ самыхъ яркихъ представителей психологическаго жанра въ современной армянской беллетристикѣ, 15-ти лѣтъ отъ роду прочелъ нѣкоторыя сочиненія Виктора Гюго, которыя оказали на него сильное вліяніе. Особенно онъ восторгался «Тружениками моря», мягкій, гуманный колоритъ которыхъ завоевалъ этому произведенію симпатіи многихъ армянскихъ писателей. Въ наиболѣе зрѣлыхъ, талантливо написанныхъ произведеніяхъ Ширванзадэ, въ родѣ «Чести», «Арсена Димаксяна», эскиза «Черезъ пятнадцать лѣтъ» и т. д. чувствуется вліяніе Додэ, Мопассана или Золя. Сцена варварской расправы одного изъ героевъ «Чести», Рустема, со своею женою, Сусанною, которую онъ заподозрилъ въ изменѣ, и у которой онъ вырываетъ съ груди родинку, причиняя ей страшную боль, описана, на примѣръ, по всѣмъ правиламъ крайняго натурализма, не отступающаго ни передъ какими деталями. Общее сочувствіе Ширванзадэ западно-европейской культурѣ отразилось всего опредѣленнѣе въ романѣ «Арсенъ Димаксянъ»,—яркой картинѣ жизни армянской интеллигенціи 80—90-ыхъ годовъ. Лучшие, наиболѣе симпатичные герои этого романа—убѣжденные западники, сторонники культурнаго общенія армянъ съ другими народами. Одинъ изъ нихъ, Мсеріанъ, въ товарищескомъ кругу постоянно твердитъ о необходимости подобнаго общенія. «Господа»,—говоритъ онъ въ одномъ случаѣ,—«выставимъ наши немногочисленные груди противъ китайской стѣны (невѣжества и исключительности)! Примемся за разрушеніе этой стѣны, которая держитъ насъ въ сторонѣ отъ европейской цивилизаціи!» Въ томъ же романѣ мы находимъ интеллигентную молодую дѣвушку, Каривьянъ, которая ѣдетъ за границу, чтобы изучить педагогію и вообще расширить свои познанія, а по возвращеніи открыть дѣтскій садъ и всецѣло посвятить себя воспитанію дѣтей.

Другой современный армянскій беллетристъ, Лео (псевдонимъ Аракела

Бабаханьяна; род. въ 1860 году), который въ своихъ «Провинціальныхъ герояхъ», рядѣ остроумныхъ и глубоко-правдивыхъ картинъ захолустной жизни, опредѣленно выказалъ сочувствіе новымъ вѣяніямъ и протестъ противъ всего затхлаго и безжизненнаго, самъ признаетъ, что изъ западно-европейскихъ писателей всѣхъ болѣе повліяли на выработку его вкусовъ и идеаловъ Шекспиръ, Шиллеръ, Гёте и опять—Викторъ Гюго. Мурацанъ (псевдонимъ Теръ-Ованнисяна; род. въ 1854 г.), подобно Раффи, прочелъ въ юности западно-европейскихъ классиковъ, въ переводѣ мхитаристовъ. Въ иныхъ его произведеніяхъ, напримѣръ, въ разсказѣ «Богачи тѣшатся», замѣтно нѣкоторое вліяніе французскихъ натуралистовъ. В. Папазянъ, въ своихъ «Картинахъ турецко-армянской жизни», показавшій себя ученикомъ и послѣдователемъ Раффи, съ теченіемъ времени совершенно отрѣшился отъ проникнутаго національною тенденціею творчества и поддался вліянію скандинавскихъ литературъ,—сочиненій Ибсена, Бьернсона. Въ настоящую минуту онъ является однимъ изъ немногихъ армянскихъ «ницшеанцевъ», проводитъ въ отдѣльныхъ своихъ очеркахъ и эскизахъ теоріи нѣмецкаго мыслителя, — правда, нѣсколько смягчая ихъ и откидывая то, что ему казалось слишкомъ рѣзкимъ, прямолинейнымъ или чрезчуръ идущимъ въ разрѣзъ съ потребностями армянскихъ читателей. Папазянъ первый сталъ переводить сочиненія Ницше на армянскій языкъ и познакомилъ съ его идеями закавказскихъ армянъ.

Въ творчествѣ молодого поэта Исаакьяна, пишущаго нерѣдко и въ чисто народномъ духѣ, наряду съ извѣстнымъ вліяніемъ Ницше, сказывается и увлеченіе символизмомъ, и вообще—новыми теченіями въ современной европейской поэзіи, впервые находящими теперь доступъ въ армянскую словесность. (Это явленіе замѣчается еще болѣе въ поэтическихъ произведеніяхъ, которыя печатаются на страницахъ парижскаго армянскаго журнала «Анахитъ»). Другіе молодые армянскіе поэты, вродѣ Ов. Ованнисяна и особенно — Александра Цатуріана, стараются знакомить своихъ читателей съ лучшими произведеніями нѣмецкихъ, французскихъ, англійскихъ, польскихъ и другихъ поэтовъ, — конечно, пользуясь обыкновенно русскими переводами этихъ стихотвореній (Цатуріанъ перевелъ свыше 75 вещей). Творчество поэта Леренца, выпустившаго въ 1890 году въ Петербургѣ сборникъ своихъ стихотвореній,—безусловно интересное съ точки зрѣнія идейнаго содержанія, хотя и оставляющее подчасъ многого желать въ отношеніи формы,—мѣстами, навѣяно научными теоріями нашихъ дней, гипотезами Дарвина или отголосками современнаго интереса къ социальнымъ вопросамъ.

Такимъ образомъ, съ самаго возникновенія новой армянской словесности и вплоть до нашего времени, Западъ неизмѣнно оказывалъ прямое или косвенное (черезъ посредство русской литературы) вліяніе на творчество армянскихъ писателей, жившихъ въ предѣлахъ Россіи. Получилась

бы еще болѣе внушительная картина, еслибы къ этому бѣглому обзору мы присоединили общую характеристику всего того, чѣмъ обязаны западно-европейской культурѣ армянскіе писатели, дѣйствовавшіе въ Турціи и развивавшіеся подъ сильнымъ вліяніемъ французскихъ поэтовъ, драматурговъ и романистовъ, — Мольера, Вольтера, Ламартина, Гюго, Скриба, Жоржъ-Сандъ, Эжена Сю, Сарду и многихъ другихъ, — а также венеціанскіе мхитаристы. Не слѣдуетъ упускать изъ виду и того, что армянская пресса также многимъ обязана Западу, что многіе публицисты и редакторы тифлискихъ періодическихъ изданій (Арцруни, Спандарьянъ, Абгаръ Іоаннисянъ, Арасханьянъ и др.) получили образованіе за границей, въ нѣмецкихъ университетахъ, что иностранныя изданія донинѣ даютъ обильный матеріалъ армянскимъ газетамъ и журналамъ. Отраднo видѣть, что интересъ къ иностраннымъ литературамъ и ко всей западно-европейской цивилизации остается и теперь неизмѣннымъ въ армянской прессѣ. Газеты и журналы, безъ различія оттѣнковъ, отводятъ довольно значительное мѣсто обзорнѣю заграничныхъ новостей, статьямъ по литературѣ, наукѣ и искусству культурныхъ націй, наконецъ, корреспонденціямъ изъ различныхъ европейскихъ городовъ, — что облегчается отчасти присутствіемъ армянъ-студентовъ во многихъ университетскихъ центрахъ Запада.

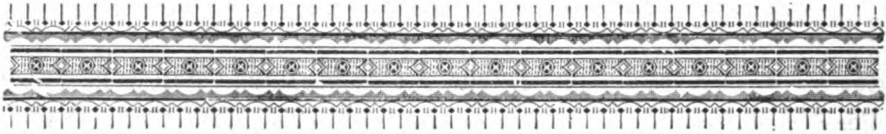
Говоря о западномъ вліяніи въ литературѣ русскихъ армянъ, нельзя не коснуться мимоходомъ и тѣхъ переводовъ съ различныхъ языковъ, которые до сихъ поръ увидѣли свѣтъ. Въ данномъ случаѣ качество перевода не имѣетъ для насъ особеннаго значенія; такихъ переводчиковъ, какъ Георгъ Бархударьянъ, мастерски передававшій духъ творчества Шиллера или Гёте, было, конечно, очень мало, и многія переложенія на армянскій языкъ далеко не могутъ быть признаны удовлетворительными. Но важно то, что разнообразные литературные дѣятели настойчиво старались познакомить своихъ соплеменниковъ съ умственной жизнью и художественнымъ творчествомъ другихъ націй (это должно быть, на примѣръ, поставлено въ заслугу одному изъ лучшихъ армянскихъ журналовъ, «Порць», выходившему въ Тифлисѣ въ 1876—81 годахъ, подъ редакціей Абгара Іоаннисяна, и давшему множество переводовъ). Многія произведенія иностранныхъ классиковъ, такъ или иначе, переведены русско-армянскими литераторами, — между тѣмъ какъ другія привлекли вниманіе константинопольскихъ писателей и венеціанскихъ мхитаристовъ. Изъ пьесъ Шекспира, вошедшихъ въ составъ армянскаго репертуара, можно назвать «Гамлета» (2 армянскихъ перевода), «Макбета», «Отелло», «Короля Лира», «Венеціанскаго купца», «Много шума изъ ничего», «Какъ вамъ угодно»; подготавливаются къ печати переводы «Юлія Цезаря», «Комедіи ошибокъ», и нѣкоторыхъ другихъ пьесъ. Мольеръ представленъ только «Продѣлками Скапена», «Школою мужинь», «Лѣкаремъ по неволѣ», «Мнимымъ больнымъ», «Брагомъ по неволѣ». Изъ пьесъ Расина переведена «Гевеолія»;

«Донъ Кихоть» Сервантеса, «Путешествія Гулливера» Свифта, «Робинзонъ» Дефозэ, «Натанъ Мудрый» Лессинга, пьесы Бомарше,—всѣ эти произведенія доступны теперь армянской читающей публикѣ. Сочиненія Гёте, сравнительно мало переводились. «Фаустъ» (въ двухъ переводахъ), «Клавиго», «Вертеръ», «Торквато Тассо», рядъ мелкихъ стихотвореній,—вотъ почти все, что можно здѣсь упомянуть. Зато Шиллеру очень повезло: наряду съ отдѣльными его балладами, въ распоряженіи армянскаго читателя находятся: «Разбойники», «Фіеско», «Коварство и любовь», «Донъ-Карлосъ», «Мессинская невѣста», «Марія Стюартъ», «Орлеанская дѣва». Изъ произведеній французскихъ авторовъ XIX вѣка переводились, между прочимъ, отдѣльныя вещи Виктора Гюго, Ламартина, Беранже, Скриба («Адриенна Лекувреръ»), Мельяка и Галеви («Фру-Фру»), Александра Дюма-сына («Дама съ каamelіями», «Идеи г-жи Обрэ» и др.), Сарду («Тетеревамъ не летать по деревьямъ», «Надо разводиться» и др.). Вакри, Легувэ, Кларти, Эрмана-Шатриана, Онэ («Горнозаводчикъ»), Коппэ («Изъ-за вѣнца» и др.), Банвилля, Додэ («Тартаренъ изъ Тараскона», «Фромонъ младшій и Рислеръ старшій» и мелкіе рассказы), Золя, Сюлли Прюдомма, Лоти, Бурже, Эрвьё («Тиски»), Мопассана, Лаведана, Грене-Дангура, и т. д... Несмотря на то, что въ этомъ направленіи сдѣлано довольно много, нельзя все же не замѣтить, что въ иныхъ случаяхъ переводились вещи далеко не перво-классныхъ авторовъ, тогда какъ лучшія произведенія Золя, Додэ, Бурже, не говоря уже о Бальзакѣ или Жоржъ-Сандъ, донынѣ остаются въ Россіи безъ армянскаго перевода. Нѣмецкая литература прошлаго столѣтія представлена была нѣкоторыми произведеніями Гейне (мелкія стихотворенія его переводились очень часто), Уланда, Грильпарцера («Сафо»), Пауля Гейзе, Бертольда Ауербаха, Роберта Прутца, Захеръ-Мазоха, Морица Гартмана, Эберса («Дочь египетскаго царя»), Вильденбруха («Жаворонокъ»), Макса Нордау и др. За послѣднее время армянская публика заинтересовалась Гауптманомъ (переведены, между прочимъ, «Геншель», «Потонувшій колоколь», «Одинокіе») и Зудерманомъ («Честь»—въ двухъ переводахъ, «Фрицхенъ», «Отчій домъ»). Во главѣ англійскихъ и американскихъ авторовъ, съ которыми имѣли возможность ознакомиться армянскіе читатели, слѣдуетъ поставить Байрона, мелкія стихотворенія котораго, наравнѣ съ отрывками изъ «Донъ-Жуана», переводились не разъ; далѣе идутъ Лонгфелло, Томасъ Муръ, Диккенсъ («Давидъ Копперфильдъ», «Рождественскіе рассказы»), Уида, Бичеръ-Стоу, Маркъ-Твэнъ, Мэри Корелли. Изъ итальянскихъ писателей можно назвать Фогаццаро, Роветта («Безчестные», «Друзья»), Верга («Сельская честь»), Чамполи, Амичиса. Скандинавскія литературы, привлечшія въ концѣ XIX вѣка вниманіе всего цивилизованнаго міра, нашли доступъ и въ армянскую среду. Пьесы Ибсена («Призраки», «Докторъ Штокманъ», «Нора» и др.), Бьернсона («Банкротство», «Перчатка») съ успѣхомъ шли на армянской сценѣ. Извѣстное разсужденіе Бьернсона «Еди-

нобрачіе и многобрачіе» также имѣется по-армянски. Нельзя не упомянуть и о переводахъ изъ польскихъ, венгерскихъ и другихъ писателей (конечно, сдѣланныхъ не съ оригинала), вродѣ Сенкевича, Оржешко, Петѣфи, Юкая и др. Въ большомъ количествѣ переводились популярно-научныя и дѣтскія книги, — такъ какъ въ оригинальныхъ сочиненіяхъ этого рода все еще чувствуется недостатокъ. Переведены нѣкоторыя статьи и этюды Песталоцци, Смайльса, Дарвина, Спенсера, Бокля, Гюйо, Друммонда, Мантегацца и др.

Интересъ къ западно-европейской литературѣ выразился, между прочимъ, и въ томъ, что на армянскій языкъ были переведены съ русскаго отдѣльныя статьи, посвященныя этой литературѣ, — въ томъ числѣ «Педагогическія теоріи эпохи Возрожденія» и «Философія Донъ-Кихота» Н. И. Стороженко.

Если западно-европейское вліяніе въ литературѣ русскихъ армянъ могло бы все же быть еще глубже, разностороннѣе и систематичнѣе, какъ и сама эта литература могла бы быть богаче, несомнѣнно, что и въ той формѣ, въ какой оно проявлялось до сихъ поръ, оно уже принесло осязательные плоды, — подобно вліянію русскихъ писателей. Лучшіе, наиболѣе отзывчивые и передовые литературные дѣятели немало потрудились, какъ мы видѣли, надъ пересаживаніемъ европейскихъ идей и художественныхъ идеаловъ на родную почву. Въ общемъ, это не лишило, однако, ихъ произведенія оригинальности и художественныхъ достоинствъ. Армянъ недаромъ называютъ «европейцами Азіи». Они очень быстро и легко усваиваютъ культурные взгляды и стремленія, скоро изучаютъ иностранные языки, — въ лицѣ наиболѣе талантливыхъ и отзывчивыхъ своихъ представителей умѣютъ одновременно оставаться армянами и быть культурными европейцами. Съ теченіемъ времени имъ предстоитъ сдѣлаться посредниками между европейскою цивилизаціей и неподвижнымъ, соннымъ мусульманскимъ Востокомъ. Кто знаетъ, наконецъ, не придетъ ли когда-нибудь, хотя бы черезъ много десятилѣтій, (теперь объ этомъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи), тотъ моментъ, когда изъ соединенія европейскихъ вліяній и всего оригинальнаго, колоритнаго, чисто мѣстнаго, восточнаго, что входитъ въ составъ армянской словесности, чутко отзывающейся на запросы общества, создастся что-то новое, своеобразное, способное оказать, въ свою очередь, хоть нѣкоторое вліяніе на западно-европейскія литературы? Подобнаго рода *обратное воздѣйствіе* уже не разъ замѣчалось въ исторіи міровой словесности... «Армянскіе Ибсены еще впереди», — эта фраза встрѣтилась намъ въ одномъ изъ русскихъ отзывовъ о первой попыткѣ — познакомить русскую публику съ творчествомъ армянскихъ писателей. Какъ знать, — быть можетъ, когда-нибудь, дѣйствительно, придетъ ихъ время...
Юрій Веселовскій.



Адамъ Мицкевичъ и основные мотивы его поэзіи.

Адамъ Мицкевичъ, вторымъ изъ 5 братьевъ, родился 12 декабря (когда говорятъ 24 декабря, то считаютъ по новому стилю) 1798 года, въ имѣніи своего отца, Заосьѣ, близъ города Новогрудка, Минской губерніи¹⁾, гдѣ отецъ его, Николай Мицкевичъ, землевладѣлецъ далеко не крупный, занимался адвокатурою. Если признавать наследственность способностей, то въ объясненіе таланта нашего поэта можно сослаться на то, что отецъ его, хотя и не выступалъ на литературномъ поприщѣ, но славился въ кругу знакомыхъ, какъ сочинитель весьма остроумныхъ шуточныхъ стихотвореній; впрочемъ о вліяніи отца на развитіе сыновняго дарованія нѣтъ никакихъ извѣстій. Несомнѣнно важнымъ для позднѣйшаго направленія Адама М-ча слѣдуетъ считать дѣтство, проведенное среди сельской обстановки, и слышанныя имъ тогда изъ народныхъ устъ пѣсни и преданія. Неизгладимый слѣдъ во впечатлительной душѣ М-ча, въ то время 14-лѣтняго отрока, оставило прохожденіе черезъ ихъ края Наполеоновскихъ войскъ, въ числѣ которыхъ были и польскіе отряды. Среднее образованіе поэтъ получилъ въ Новогрудкѣ, въ училищѣ отцовъ Доминиканцевъ, а высшее—въ существовавшемъ тогда Виленскомъ польскомъ университетѣ. Въ качествѣ профессоровъ, оказавшихъ немаловажное вліяніе на М-ча, слѣдуетъ назвать профессора классическихъ языковъ Готфрида Эрнеста Гродка, профессора исторіи Іоахима Лелевеля и профессора „краснорѣчія“ (исторіи и теоріи словесности) Льва Боровскаго. Самъ М-чъ признавалъ себя ученикомъ послѣдняго по части стиля: Боровскій, говорилъ онъ, научилъ меня дорожить точностью выраженій; притомъ Боровскій былъ противникомъ ложнаго классицизма, поклонникомъ Байрона, Шиллера и Гёте, послужившихъ затѣмъ образцами его великому ученику. М-чъ въ средней школѣ, и даже въ высшей, не обращалъ на себя особеннаго вниманія наставниковъ ни выдающимся прилежаніемъ, ни необычайными способностями—геній его созрѣвалъ медленно²⁾. Окончивъ курсъ, М. занялъ мѣсто преподавателя «латинскаго язы-

ка, краснорѣчія и права» въ Ковнѣ, на коемъ однако оставался не долго, при чемъ еще часть своей службы провелъ, вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, въ отпуску. Вскорѣ въ Вильнѣ начался процессъ противъ участниковъ тайныхъ студенческихъ обществъ «Любителей ученія»—Филоматовъ и «Любителей добродѣтели»—Филаретовъ, преслѣдовавшихъ также политическія цѣли, хотя и не подготовлявшихъ возстанія въ ближайшемъ времени³).—М-чъ не былъ чуждъ этимъ обществамъ, будучи другомъ главы и души ихъ—Фомы Зана. Вслѣдствіе Филаретскаго дѣла М-чъ, просидѣвъ нѣкоторое время въ предварительномъ заключеніи, подвергся высылкѣ изъ западнаго края. Прежде всего его направили въ Петербургъ, а оттуда въ Одессу, съ тѣмъ, чтобы предоставить ему мѣсто преподавателя въ Ришельевскомъ лицей. Изъ Одессы поэтъ ѣздилъ въ Крымъ—поѣздка, плодомъ которой явились знаменитые „Крымскіе сонеты“. Назначеніе М-ча въ лицей однако не состоялось, и ему опять указали путь на сѣверъ—въ Москву, гдѣ онъ былъ причисленъ къ канцеляріи генералъ-губернатора, князя Димитрія Голицына. Изъ Москвы М-чъ ѣздилъ на побывку въ Петербургъ. Въ обѣихъ столицахъ поэтъ былъ принимаемъ литературными кружками самымъ сочувственнымъ образомъ: мы можемъ съ нѣкоторою гордостью отмѣтить, что геній М-ча былъ по достоинству оцѣненъ русскими, тогда какъ между поляками многіе приверженцы ложнаго классицизма не признавали его. Послѣ, изъ Петербурга М-чъ отплылъ за границу—прежде всего въ Германію, откуда онъ далѣе отправился въ Италію. Изъ-за границы поэту уже не было суждено вернуться: чувствуя себя солидарнымъ съ дѣятелями возстанія 1831-го года, въ которомъ онъ и самъ хотѣлъ было принять прямое участіе, чего однако не успѣлъ сдѣлать, онъ осудилъ себя на добровольное изгнаніе.

Средства къ жизни за границей доставляли М-чу сначала исключительно изданія его сочиненій; позднѣе онъ былъ нѣкоторое время преподавателемъ (учителемъ и профессоромъ) Римской словесности въ Швейцаріи, въ Лозаннѣ, а потомъ занялъ въ Парижѣ, во Французской коллегии (Collége de France), вновь учрежденную кафедру славянскихъ литературъ. Къ возобновленію преподавательской дѣятельности вынуждали поэта семейныя обстоятельства—онъ тѣмъ временемъ обзавелся семьей, женившись, въ Парижѣ, но на полькѣ, Целинѣ Шимановской, дочери извѣстной пьянистки Маріи Шимановской, на дѣвушкѣ, которую онъ зналъ уже ранѣе, подросткомъ. На парижскую кафедру изъ тихой Лозанны, гдѣ ему очень нравилось, и гдѣ имъ были довольны, М-ча влекло стремленіе пропагандировать на западъ славянскую идею—понятно его польско-католическое славянофильство значительно разнилось отъ русскаго славянофильства. Профессорская дѣятельность М-ча не представляетъ блестящей стороны его жизни: человекъ прекрасно и разносторонне образованный, хорошо знакомый со многими языками и литературами, М.

не былъ однако настоящимъ ученымъ, и лекціи его, при краснорѣчивомъ изложеніи и нерѣдкихъ проблескахъ высокаго и проницательнаго ума, не отличались научной глубиной и основательностью⁴). Впослѣдствіи М., подчинившись вліянію мистика Андрея Товянскаго, превратилъ лекціи въ религіозно-политическую пропаганду—въ проповѣдь „мессіанизма“, ученія, по которому польскій народъ призванъ къ искупленію народовъ отъ ихъ политическихъ грѣховъ и къ установленію на землѣ вѣчнаго мира и благоденствія. Изъ-за мессіанской проповѣди, которая и среди поляковъ имѣла лишь весьма слабый успѣхъ, а тѣмъ менѣе среди французовъ, проповѣди, соединенной съ культомъ Наполеона, М-чъ лишился своей профессуры. Попавъ черезъ это въ матеріальныя затрудненія, онъ позже, при Наполеонѣ III (въ 1852 г.), получилъ мѣсто бібліотекаря при парижскомъ Арсеналѣ. Во время Крымской кампаніи М. отправился въ Турцію, чтобы участвовать въ устройствѣ польскихъ отрядовъ. Тамъ онъ, 26 (14) октября 1855 года, умеръ отъ холеры. Смерть эта не была впрочемъ утратою для поэзіи: уже задолго до нея лира его умолкла. Останки его были перевезены въ Парижъ и похоронены на кладбищѣ Монморанси, впослѣдствіи же ихъ перенесли въ Краковъ и положили въ соборѣ на горѣ Вавелѣ.

Перехожу къ обзору авторской дѣятельности М-ча. Въ этомъ обзорѣ я не намѣренъ прослѣдить постепенность въ творчествѣ и въ развитіи дарованія нашего поэта, а постараюсь лишь напомнить въ главныхъ чертахъ о содержаніи и выдающихся особенностяхъ важнѣйшихъ его произведеній, и представить его такимъ, какимъ онъ стоитъ передъ глазами внимательнаго читателя.

М-чъ—лирикъ и эпикъ; третій изъ основныхъ родовъ поэзіи, драма, не лежалъ въ его дарованіи. Правда, одно его произведеніе, широко задуманное, но вылившееся только въ видѣ отрывковъ, «Дѣды» или «Поминки» (Dziady), въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ написано въ драматической формѣ, однако, при всемъ драматизмѣ иныхъ положеній, при всей силѣ отдѣльныхъ мѣстъ, не представляетъ настоящей драмы, съ правильнымъ ходомъ дѣйствія, завязкой и развязкой, а лишь разрозненныя сцены⁵).

Въ поэзіи М-ча прежде всего сильно звучитъ старый и вѣчно юный *мотивъ любви*. Первымъ увлеченіемъ М-ча была кузина его друга Зана, дочь богатаго помѣщика, Марія Верещака, которая затѣмъ вышла за мужъ тоже за богатаго помѣщика—Лаврентія Путтаммера. Не вполне выяснено, что чувствовала къ поэту Марыля, но самъ онъ, признавая, что она нисколько его не завлекала, долго сохранялъ къ ней сильное чувство, отзывавшееся даже среди другихъ увлеченій. Она „niebieska Magyłka“, какъ онъ называетъ ее въ стихотвореніи „Первоцвѣтъ“ (Pierwiosnek), она „небесное существо“—niebianka (въ одномъ изъ сонетовъ); онъ, любуясь красотою Крыма, въ обществѣ другой женщины, красавицы,

вдыхаетъ все по ней,
Которую любилъ на утрѣ своихъ дней ⁶⁾.

Какимъ глубокимъ чувствомъ дышитъ посвященіе ей своихъ стиховъ:
„Марія, сестра моя—не кровными узами, а соединены мы складомъ ума
и духомъ,—когда мнѣ прихоть судьбы и твой приговоръ запрещаютъ по-
вторять столь же святыхъ, но болѣе дорогія названія, взгляни хоть дру-
гимъ глазомъ въ минувшіе года и воспоминанія любящаго прими изъ ру-
ки брата“:

Maryo, siostró moja!—nie krewnym łańcuchem,
Aleśmy pobratani umysłem i duchem—
Gdy mi dziwactwo losu i twój wyrok wzbrania
Równie święte, a miłsze powtarzać nazwania,
Choć innem spojrzuj okiem w przeminione lata
I pamiątki kochanka przyjmij z ręki brata.

Позднѣе еще (въ 1829 году) это чувство звучитъ въ стихахъ, со-
чиненныхъ на Альпахъ, въ Сплюгенскомъ ущельѣ, между Швейцаріей и
Италіей. Вотъ начало ихъ въ русскомъ переводѣ:

Такъ, значитъ, никогда не разлучусь съ тобой?
И моремъ, и землей ты носишься за мной.
Слѣды твои блестятъ на глетчеровъ громадѣ,
И голосъ твой звучитъ въ альпійскомъ водопадѣ.“

Съ этою любовью въ связи находятся баллады „Волыночникъ“ (Du-
darz), „Это я люблю“ (To lubię) и „Kurhanek Maryli,“ которыя впро-
чемъ принадлежатъ къ менѣе удачнымъ произведеніямъ нашего поэта.
Та же любовь отзывается и въ „Поминкахъ“, гдѣ М. выводитъ самого
себя подъ именемъ Густава (онъ же потомъ Конрадъ), какъ жертву глу-
бокой и несчастной любви⁷⁾.

Отъ стыдливаго боготворенія Марыли значительно разнится одесское
увлеченіе свѣтскою кокеткой Каролиной Собанской (рожденной графиней
Ржевуской, сестрой извѣстнаго, какъ писатель, гр. Генриха Ржевускаго).
Это болѣе реальная любовь, притомъ кончившаяся разочарованіемъ. Но
м. б. именно потому она отразилась въ творчествѣ М-ча нѣсколькими
предестными стихотвореніями, стоящими пожалуй даже выше нѣсколько
сентиментальныхъ вздыханій по Марылѣ. Начало этой новой страсти,
когда простое свѣтское знакомство начинало переходить въ дружбу, скры-
вавшую въ себѣ зародышъ любви, поэтъ прекрасно выразилъ въ стихо-
твореніи „Недоумѣніе“ (Nierewność), которое позволю себѣ привести цѣ-
ликомъ въ своемъ переводѣ:

Я безъ тебя не плачу, не томлюсь;
И встрѣчу вновь тебя, и не смущусь.
Но, не выдавъ давно, беретъ охота
Увидѣться: недостаетъ чего-то.
Тоскую, хоть рѣшить и не готовъ,
Что движетъ сердцемъ—дружба, иль любовь?

Твой образ, какъ разстанемся съ тобой,
Не носится всечасно предо мной;
Но онъ всплываетъ, милое видѣнье,
Отраду принося и умиленье.

И задаю вопросъ себѣ я вновь:
Такъ что же это—дружба, иль любовь?

Мнѣ въ мысль неидеть, терзаемый тоской,
Пойти ее излить передъ тобой;
Но, такъ бредя, не глядя на дорогу,
Неволью къ твоему приду порогу.

Вхожу я—и вопросъ родится вновь:
Вела ль меня тутъ дружба, иль любовь?

Хоть жизнь отдать за жизнь твою я радъ,
Чтобъ миръ добыть тебѣ, сошелъ бы въ адъ;
Но жадной мысли въ сердцѣ не лелѣю
Быть миромъ самъ и жизнью твоею.

И задаю вопросъ себѣ я вновь:
Такъ что же это—дружба, иль любовь?

Твоя рука когда мнѣ руку жметъ,
Покоюмъ тихимъ на душу пахнетъ;
Какъ въ легкій сонъ впадаетъ жизни сила,—
Но вотъ ее ужъ сердце разбудило,

Живѣй забивъ, и спрашиваю вновь:
Такъ что же это—дружба, иль любовь?

Какъ для тебя я эту пѣснь слагалъ,
Въ моей груди восторгъ не клокоталъ;
Писать начавши, самъ я удивился,
Откуда мысль, откуда стихъ явился,
И я спрошу при заключеньи строфъ:
Что ихъ внушило—дружба иль любовь?

Какое живое чувство звучитъ въ прелестномъ стихѣтѣ:

Баловница моя, какъ въ веселый часокъ
Начнетъ щебетать, ворковать и чирикать

и особенно въ заключительныхъ словахъ его двухъ строфъ: Не смѣю я прерывать, не смѣю отвѣчать, и только хотѣлъ бы слушать, слушать, слушать:

Nie śmiem przerywać, nie śmiem odpowiadać,
I tylko chciałbym słuchać, słuchać, słuchać,

Шевелю губами и слушать не желаю, только цѣловать, цѣловать, цѣловать:

Usta pomykam i słuchać nie żądam.
Tylko całować, całować, całować.

Оборотная сторона этой любви, въ нѣсколько преувеличенномъ и обобщенномъ видѣ, выразилась въ сонетѣ „Дананды“, который приведу въ переводѣ Вѣры Н.⁸⁾, слегка впрочемъ мною измѣненномъ:

О, гдѣ, красавицы, тѣ чудные вѣка,
Когда понравиться легко и просто было,
Пастушка пастуха за пукъ цвѣтовъ любила,
И слалъ возлюбленный къ ней сватомъ голубка?—
Въ нашъ вѣкъ влюбленнаго задача не легка:
Я воспѣвалъ одну—ей золото лишь мило;
Несъ золото другой—она жъ стиховъ просила;
Я третьей сердце далъ, а ей нужна рука.

О, Данаиды вы! Когда-то передь вами
Я пѣсни, золото и слезы лияь ручьемъ!—
Изъ расточителя я сталъ теперь скупцомъ,
И, увлекаая прекрасными очами,
Иду по прежнему къ нимъ съ пѣсней и дарами,
Но не могу дарить любовью и огнемъ⁹).

Не останавливаюсь на кратковременныхъ увлеченіяхъ, какъ напр. извѣстною княгиней Зинаидой Волконской, просвѣщенной и даровитой цѣнительницей художества, поэзіи и музыки, каковое увлеченіе выразилось стихотвореніемъ „На греческую комнату“ въ ея домѣ и прекраснымъ советомъ „Поэзія, гдѣ висть волшебная твоя?“ (*Poezyo, gdzie cudny pędzel twojéj ręki?*); не останавлиюсь также на другой московской привязанности, при которой даже заходила рѣчь о бракѣ—извѣстной писательницѣ, Каролинѣ Карловнѣ Янишъ, впоследствии по мужу Павловой. Но нельзя не отмѣтить, какъ третью женщину, играющую важную роль въ поэзіи М-ча, графиню *Эву Генриэту Анковичъ*, молодую дѣвушку, съ которой онъ познакомился въ Римѣ. Эта любовь впрочемъ, надо полагать, не была особенно глубока и продолжительна: дѣвушка увлекалась М-чемъ, мать къ нему благоволила, да и отецъ, по видимому, далъ бы себя упростиь и призналъ бы, что слава его предковъ не будетъ запятнана союзомъ со славнымъ поэтомъ, если бы самъ поэтъ дѣйствительно думалъ о женитьбѣ. Любовь къ Эвѣ отозвалась только въ двухъ лирическихъ стихотвореніяхъ: это „Къ моему римскому чичероне“ и „Призывъ въ Неаполь“, изъ коихъ второе есть подражаніе Гётевскому „*Kennst du das Land, wo die Citronen blühen*—по-польски: *Znasz-li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa?* съ рефреномъ:

Znasz-li ten kraj?—
Ach, tam, o moja miła,
Tam był mi raj,
Pókiś ty ze mną była! ¹⁰).

Но именно эта любовь, въ сліяніи съ другими мотивами, легла въ основаніе величайшаго изъ произведеній нашего поэта—Пана Тадеуша¹¹).

Любовный мотивъ слышится также въ нѣкоторыхъ балладахъ М-ча. Такова „Засада“ или „Дозоръ“ (*Czaty*), переведенная Пушкинымъ подъ названіемъ „Воевода“ и, ближе къ подлиннику, Фетомъ. Таковъ „Побѣгъ“ (*Ucieczka*)—обработка того же народнаго сюжета, не коемъ основана Ленора Бюргера и Свѣтлана Жуковскаго¹¹). Такова „Свитезянка“, гдѣ нимфа озера Свитезя жестоко караетъ молодого охотника, своего легкомысленнаго поклонника. Такова „Рыбка“—гдѣ дѣвушка, утопившаяся послѣ измѣны возлюбленнаго и ставшая рыбкой, выходитъ на берегъ кормить своего младенца. Сюда же примыкаетъ и баллада „Три Будрыса“ (*Trzech Budrysów*), въ переводѣ Пушкина: „Будрысы и его сыновья“, основная мысль которой прекрасно можетъ быть выражена однимъ сти-

хомъ изъ Пушкинскаго перевода: „Нѣтъ на свѣтѣ царицы краше польской дѣвицы“¹³⁾.

Въ упомянутыхъ только что балладахъ „Побѣгъ“, „Свитезянка“ и „Рыбка“ является также *элементъ народный и фантастическій*. Тѣ же элементы входятъ въ составъ указанной ранѣ баллады „To lubię“, гдѣ дѣвушка, за жестокость къ своимъ обожателямъ, послѣ смерти по ночамъ осуждена пугать проѣзжихъ, пока кто-нибудь на ея страхи не отвѣтитъ словами „это я люблю“. Въ томъ же духѣ сочинена баллада „Свитезь“, представляющая легенду объ озерѣ Свитезѣ, образовавшемся на мѣстѣ города, спасеннаго такимъ образомъ отъ нападавшихъ на него враговъ, о чемъ рассказываетъ владѣльцу той мѣстности попавшаяся въ неводъ русалка. Въ „Лилияхъ“, представляющихъ прямо переработку народной пѣсни, жена убиваетъ мужа и закапываетъ въ лѣсу, и надъ могилкою вырастаютъ лиліи:

И такъ растутъ высоко,
Какъ панъ лежитъ глубоко.

Преслѣдуемая угрызениями совѣсти, убійца обращается къ пустынику, который призываетъ ее къ покаянію, но также успокаиваетъ тѣмъ, что мужъ не придетъ къ ней съ того свѣта, если она сама его не призоветъ. Потомъ она собирается замужъ за одного изъ двухъ своихъ деверьевъ, предоставивъ выборъ случаю: чей вѣнокъ она возьметъ, тому ей и принадлежатъ. Но вѣнки оказываются одинаковыми—оба изъ бѣлыхъ лилій, нарванныхъ въ лѣсу, и братья, заспоривши чей вѣнокъ ею взять, бросаются другъ на друга съ обнаженными мечами, а тутъ является убитый и говоритъ, что вѣнокъ, нарванный на его могилѣ—его, и всѣ вмѣстѣ съ нимъ проваливаются сквозь землю.—Души покойниковъ, вызываемыя крестьяниномъ-колдуномъ, выходятъ на сцену въ «Поминахъ»¹⁴⁾; тамъ же выступаютъ также добрые и злые духи, вліяющіе каждый въ своемъ направленіи на дѣйствующихъ лицъ.

Въ двухъ стихотвореніяхъ «Тукай» и «Пани Твардовская» фантастическій элементъ, относительно котораго М-чъ обыкновенно стоитъ на точкѣ зрѣнія гдѣ вполне вѣрующаго человѣка, а гдѣ суевѣрнаго простолудина, является въ иномъ видѣ—дьяволы выставлены въ комическомъ свѣтѣ. Тукай—это шляхтичъ, котораго дьяволы хитростью и почти насиліемъ заставляютъ записать имъ свою душу, обѣщавъ ему притомъ вѣчную жизнь на землѣ, при помощи разрубанія тѣла на куски и погруженія въ особенную молодильную ванну, о коей однако долженъ знать только онъ да еще одинъ человѣкъ; баллада эта, неоконченная, очевидно, должна была кончиться измѣной довѣреннаго лица и гибелью Тукая¹⁵⁾. «Pani Twardowska» нѣкоторымъ образомъ изнанка гимна польской женщины «Трехъ Будрысовъ»: дьяволъ, имѣющій по договору съ паномъ Твардовскимъ право унести его въ адъ только изъ Рима, наконецъ пой-

маль его въ корчмѣ «Римъ», но и тутъ еще долженъ сначала сослужить ему три послѣднія службы, и нечистый, исполнивъ два совершенно казались бы невозможныя порученія, при которыхъ между прочимъ скрутилъ кнутъ изъ песку и вбилъ гвозди въ маковое зернышко, пасуетъ передъ требованіемъ прожить годъ съ госпожою Твардовскою.

Иногда несовсѣмъ легко провести границу между серьезностью и шуткой: демонъ, очевидно въ серьезъ поселившійся въ героѣ «Поминокъ», юномъ поэтѣ Конрадѣ, и изгоняемый изъ него монахомъ-подвижникомъ, говоритъ этому монаху о своей чувствительной душѣ:

Не разъ я грѣшника когтями обдираю,
А кончикомъ хвоста, ахъ! слезы утираю“¹⁶⁾.

Сверхъестественный элементъ, въ видѣ одушевленія природы, отчасти проявляется и въ восточныхъ (арабскихъ) балладахъ «Шанфари», «Альмотенабби» и «Фарысъ». Шанфари и Альмотенабби—имена выводимыхъ героевъ, Фарысъ значитъ наѣздникъ, витязь. Здѣсь мы встрѣчаемся съ изображеніемъ бедуиновъ, удалыхъ воиновъ и ѣздоковъ, натуръ сильныхъ и озлобленныхъ, въ Байроновскомъ духѣ. Фарысъ—это образъ безстрашнаго пустыннаго ѣздока, рвущагося на свободу и безграничный просторъ¹⁷⁾.

Любовь къ природѣ, а именно къ родной природѣ, часто звучитъ въ поэзіи М-ча самыми симпатичными нотами¹⁸⁾. Вспомнимъ хоть изъ «Пана Тадеуша» картину лѣсной чащи, описаніе страшной грозы, и двухъ прудовъ, изъ коихъ одинъ уподобляется свѣтлоюкой дѣвѣ, другой смуглому юношѣ¹⁹⁾. Главное мѣсто описательный элементъ занимаетъ въ «Крымскихъ сонетахъ»²⁰⁾, гдѣ отзывается однако также любовь къ женщинѣ (Марылѣ) и тоска по родинѣ. Эти 18 отдѣльныхъ стихотвореній представляютъ нѣкоторое внутреннее единство: начавъ съ выраженія горькой печали и унынія, поэтъ, подъ обаяніемъ красотъ природы, переходитъ къ иному настроенію и кончаетъ гордымъ сознаніемъ своего призванія и надеждою на славу и безсмертіе²¹⁾. Житейская философія, состоящая въ вѣрѣ въ идеалы и въ грядущее торжество добра, содержится въ стихотвореніяхъ «Ариманъ и Ормуздъ» (Aryman i Ormazd), «Романтичность» и «Ода къ юности» (Oda do młodości). Въ «Ариманѣ и Ормуздѣ» злобный Ариманъ изъ адской пропасти поднимается къ ненавистному ему небу, но, подавленный блескомъ великаго Ормузда, рушится обратно въ свою мрачную бездну. Въ «Романтичности» крестьянская дѣвушка, потерявшая жениха, разговариваетъ съ духомъ его; народъ вѣритъ въ присутствіе духа, а какой-то ученый смѣется надъ ихъ суевѣріемъ. Поэтъ становится на сторону народнаго вѣрованія: „чувство и вѣра сильнѣе говорятъ ко мнѣ, чѣмъ глаза и стеклышко мудреца. Ты не знаешь живыхъ истинъ, не замѣтишь чуда—имѣй сердце и смотри въ сердце!“:

Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!

Содержаніе «Оды къ юности» можно передать вкратцѣ начальными ея стихами: «Безъ сердца, безъ души, то остоны людей— О юность, дай мнѣ крылья!» и заключительными словами: «Трескаются безчувственные льды и предрасудки, затемняющіе свѣтъ— здравствуй, денница свободы, за тобою солнце спасенья!»:

Pryskają nieczule lody
I przesady, światło cmiące.
Witaj, jutrzeńko swobody—
Zbawienia za tobą słońce!

Въ одномъ изъ послѣднихъ стихотвореній отчасти звучитъ струна религіозная; полнымъ звукомъ эта струна раздается въ стихотвореніяхъ «Вечерній разговоръ» (глубоко прочувствованное воззваніе къ Все-вышнему), «Гимнъ на Благовѣщеніе», «Мудрецы», «Разумъ и вѣра». Вотъ послѣдняя строфа «Мудрецовъ»: «Переполнили мудрецы на погребеніи Бога чашу своей гордыни. Природа въ безпокойствѣ дрожала за Бога, но въ небѣ было тихо: Богъ живъ— онъ умеръ лишь въ душѣ мудрецовъ»:

Natura w rozguchu
Drżała o Boga; lecz pokój był w niebie:
Bóg żyje—tylko umarł w mędrców duchu.

Изъ стихотворенія «Разумъ и вѣра», кое такъ бы и хотѣлось перепечатать цѣликомъ, приведу по крайней мѣрѣ чудный образъ океана-разума, который высоко-высоко вздымаетъ свои волны, но никогда не достигнетъ до небесъ. Въ этомъ стихотвореніи нельзя не отмѣтить еще выраженіе, вмѣстѣ со смиреніемъ передъ высшимъ началомъ, своего достоинства какъ поэта, умственного вождя народа: «Господи, мою гордость возжегъ духъ смиренія: хотя я высоко блещу на синевѣ небесъ (въ видѣ радуги, знака завѣта Божія), Господи, я засвѣтился не своимъ блескомъ— мой блескъ слабое отраженіе твоихъ огней»:

Mój blask jest słabe twych ogniów odbicie²²⁾.

Правда, въ иныхъ произведеніяхъ М., выводя на сцену самого себя или друзей своихъ, влагааетъ имъ въ уста кощунственные слова, въ духѣ титановъ или мятежныхъ ангеловъ: Конрадъ въ «Поминкахъ», въ высоко-поэтической «Импровизаціи», желая осчастливить человѣчество, требуетъ отъ Бога власти надъ душами: «Daj mi rząd dusz!» и, не получая отвѣта, готовъ произнести хулу; виленская молодежь въ заключеніи поетъ пѣсню съ припѣвомъ: «Мѣсть, мѣсть врагу— съ Богомъ, или хоть помимо Бога»:

Zemsta, zemsta na wroga—
Z Bogiem, ili choć mimo Boga.

Также отчаяніе, граничащее съ помѣшательствомъ, въ каковое впадаетъ герой «Поминокъ» послѣ утраты возлюбленной, совсѣмъ не похоже на христіанское смиреніе ²³). Однако всѣ эти проявленія дерзкаго ропота или тутъ же осуждаются другими лицами, или же должны были быть осуждены дальнѣйшимъ ходомъ событій. Безъ подобныхъ оговорокъ ропотъ на судьбу, но лишь въ видѣ временнаго изліянія человѣческой слабости и унынія, слышится въ чрезвычайно трогательной пѣскѣ безъ заглавія: «Полились слезы мои чистыя, обильныя, на мое дѣтство сельское, ангельское, на мою юность, возвышенную и облачную, на мой мужескій вѣкъ, вѣкъ пораженія. Полились слезы мои чистыя, обильныя»:

Polaly się łzy me czyste, rześiste,
Na me dzieciństwo sielskie, anielskie,
Na moją młodość górna i chmurna,
Na mój wiek męzki, wiek kłeski.
Polaly się łzy me czyste, rześiste! ²⁴).

Громче всѣхъ струнъ М-чевой лиры раздается и лишь рѣдко не примѣшивается къ другимъ тонамъ—струна патріотическая. Она издаетъ симпатичный всякому человѣку звукъ любви къ своему народу, къ родной странѣ и ея природѣ и тоски по нимъ на чужбинѣ: «Литва! пріятнѣй былъ мнѣ шумъ твоихъ лѣсовъ, чѣмъ пѣснь салгирскихъ дѣвъ, или соловьевъ байдарскихъ!» восклицаетъ онъ въ одномъ изъ крымскихъ сонетовъ; Пана Тадеуша начинаетъ онъ воззваніемъ:

„Литва, родимый край! Подобна ты здоровью—
Лишь кто лишенъ тебя съ достойною любовью
Тебя цѣнить: теперь красу твою я всю,
Тоскуя по тебѣ, и вижу, и пою ²⁵).

Какъ трогательны слова стараго война въ «Пѣснѣ солдата»: «встаю, а я въ прусской землѣ; насколько лучше лежать тамъ въ грязи, въ холодѣ и въ слякоти, но въ Польшѣ, между своихъ»:

Wstaje: aż ja w pruskiej ziemi!
Jak tam lepiej leżeć w błocie,
W chłodzie, głodzie i na ślocie—
Ale w Polsce, między swemi.

Сошлюсь еще на стихотвореніе безъ заглавія, начинающееся словами: «Эти вновь расцвѣтшія деревья упоютъ сладкимъ благовоніемъ, воды журчатъ, соловей поетъ, и кузнечики тихо стрекочутъ»—

Te rozkwitłe świeżo drzewa
Urajają słodką wonią;
Wody szepczą, słowik śpiewa,
I koniki cicho dzwonią.

Конецъ здѣсь слѣдующій: «Проходитъ весна, проходитъ зима, проходитъ вѣдро и ненастье: не пройдетъ скорбь скитальца, такъ какъ онъ вдовецъ и сирота»:

Mija wiosna, mija zima,
Mija pogoda i slota;
Nie przemienie zal pielgrzyma,
Bo on wdowiec i sierota.

Особенно кратко и сильно высказалъ поэтъ любовь свою къ отчизнѣ въ «Поминкахъ», влагая въ уста своего героя, изображающаго самого автора, восклицаніе: «Ja i ojczyzna—to jedno!»²⁰).

Симпатичное съ общечеловѣческой точки зрѣнія сочувствіе униженнымъ и оскорбленнымъ и непріязнь къ притѣснителямъ составляетъ основной мотивъ литовскихъ поэмъ «Гражина» и «Конрадъ Валленродъ». Вотъ краткое содержаніе названныхъ поэмъ. Гражина—это княгиня литовская, мужъ которой, новогрудскій князь Литаворъ, заключилъ союзъ съ нѣмецкими рыцарями противъ великаго князя литовскаго Витольда. Гражина, послѣ тщетныхъ попытокъ убѣдить мужа порвать этотъ союзъ, во время сна Литавора отсылаетъ пословъ, пріѣхавшихъ извѣстять о прибытіи нѣмецкаго отряда, а сама, надѣвъ мужнины доспѣхи, ведетъ его воиновъ противъ готовящихся теперь ко враждебнымъ дѣйствіямъ союзниковъ; смѣло она бросается на нѣмцевъ, но ея рука плохо владѣетъ мечомъ, и она гибнетъ въ сраженіи—подоспѣвшій на выручку любимой супруги Литаворъ уже не можетъ ея спасти, а при сожженіи ея останковъ бросается на костеръ и гибнетъ въ пламени. Конрадъ Валленродъ—литовецъ, похищенный въ младенчествѣ и воспитанный нѣмецкими рыцарями, но сохранившій любовь къ своему народу подъ вліяніемъ другого плѣнника, старика-вайделота (жреца литовскаго). Перенявши у нѣмцевъ военное искусство, Вальтеръ или Альфъ (какъ окрестили и прозвали его рыцари) перебѣгаетъ къ своимъ и, женившись на дочери князя Кейстута, Альдонѣ, храбро воюетъ противъ иноплеменниковъ. Видя однако невозможность одолѣть нѣмцевъ въ честномъ бою, онъ задумываетъ инымъ путемъ нанести Тевтонскому ордену рѣшительное пораженіе. Онъ покидаетъ жену, отправляется въ дальніе края и, стяжавши тамъ громкую славу, подъ именемъ Конрада Валленрода возвращается въ литовскія земли и самъ вступаетъ въ орденъ. Сдѣлавшись потомъ, не безъ содѣйствія пророческаго голоса отшельницы (Альдоны, которая, чтобы быть вблизи мужа, велѣла замуровать себя въ башнѣ, около рыцарскаго монастыря), гросмейстеромъ ордена, онъ ведетъ его противъ литовцевъ и намѣренно-неудачными дѣйствіями губить почти всю рать тевтонскихъ рыцарей и притекшихъ изо всѣхъ странъ крестоносцевъ. За этотъ поступокъ тайное судилище приговариваетъ Конрада къ смерти. Однако исполнители приговора находятъ Конрада уже умирающимъ отъ выпитаго яда; одновременно съ нимъ умираетъ и его вѣрная Альдона. Передъ смертью Конрадъ бросаетъ въ глаза рыцарямъ гордую похвалю своей местию:

„Великое и дивное дѣянье:
Я снесъ заразы у гидры сто головъ—
Я, какъ Самсонъ, столбомъ тряхнулъ, и зданье
Обрушилъ на себя и на враговъ!“²⁷⁾

Со стороны исторической и бытовой Гражина и Конрадъ Валленродъ должны быть признаны произведеніями слабыми, да и сама по себѣ фабула и тутъ, и тамъ далеко не отличается правдоподобностью²⁸⁾; но въ общемъ эти поэмы, особенно Конрадъ Валленродъ, производятъ сильнѣйшее впечатлѣніе, а нѣкоторыя частности послѣдней положительно принадлежатъ къ перламъ всемірной поэзіи. Таковы «Пѣснь вайделота» и баллада «Альпухара» (или «Альманзоръ», какъ озаглавилъ ее Бенедиктовъ²⁹⁾). Самый поэтичный (на мой вкусъ) образъ изъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ литературъ представляютъ нѣсколько стиховъ изъ «Повѣсти вайделота»:

Тамъ, гдѣ персями гремитъ, разбиваясь, пѣнистое море
И изъ бѣлаго горла потоки песку извергаетъ,
„Видишь (старикъ говорилъ) ковры прибрежнаго луга?
Ихъ ужъ покрыли пески; вотъ тамъ благовонныя травы
Силятся все челомъ пробить смертельный покровъ свой.
Тщетно! Снова на нихъ налетаетъ жадная гидра,
Бѣлыя крылья раскинувъ, и кроетъ почву живую,
И кругомъ разстилаетъ пустыни дикое царство.
Сынъ мой! вешнія травы, живьемъ зарытыя въ гробъ,
Это поверженный въ рабство народъ, наши братья Литовцы—
Сынъ, пески изъ-за моря гонимые бурей—то Орденъ“³⁰⁾.

Преимущественно къ Гражинѣ и къ Конраду Валленроду, а изъ нихъ опять преимущественно ко второму, относится выставленное противъ М-ча обвиненіе въ проповѣди измѣны³¹⁾. Однако княгиня Гражина въ сущности только ведетъ свою, національную, политику и лишь исправляетъ измѣну мужа своему народу. Основная же мысль Конрада Валленрода вовсе не та, что для пользы родины позволительны всякія подлости, а та, что насиліе и гнетъ могутъ вызвать самое ужасное воздѣйствіе. Притомъ М. не безусловно стоитъ на сторонѣ своего героя—когда Конрадъ, вернувшись изъ гибельнаго похода, внутренно торжествуетъ, поэтъ восклицаетъ: «Погоди, гордый властелинъ! Есть судъ и надъ тобою!»—

Stój, dumny wladco! Jest sąd i na ciebie!

Тѣмъ менѣе, полагаю, слѣдуетъ видѣть апогеозъ предательства въ «Ордоновомъ редутѣ» — гдѣ повстанческій вождь Ордонъ взрываетъ на воздухъ защищаемое имъ укрѣпленіе, погребая подъ его развалинами побѣдителей вмѣстѣ съ побѣжденными. Развѣ поступокъ рядового Архипа Осипова, взорвавшаго такимъ же образомъ русское укрѣпленіе, взятое черкесами, не считается «подвигомъ»? Вѣдь въ тѣхъ или иныхъ границахъ пресловутое іезуитское правило, что цѣль оправдываетъ средства, признается всѣми, и разногласіе замѣчается лишь въ томъ, какую цѣль считаютъ великою и благою. Поэтому нечего возмущаться, когда М-чъ провозглашаетъ, что

„такъ же, какъ творенье,
Въ правомъ дѣлѣ свято—истребленье“,

и прибавляетъ въ видѣ довода:

„Когда воля и вѣра изъ міра уйдетъ,
И всю землю затопитъ гордыня и гнеть,
Какъ московскія рати Ордовыхъ оплотъ;
Тогда, скверну и злость призывая на судъ,
Богъ взорветъ эту землю, какъ онъ свой редутъ“³²⁾.

Однако дѣйствительно нельзя не попенять М-чу за нѣкоторыя выходы противъ Россіи, которые и съ общечеловѣческой точки зрѣнія, а отчасти и съ художественной, не заслуживаютъ одобренія. Мы встрѣчаемъ тутъ разныя преувеличенія и невѣрное освѣщеніе³³⁾. Сильно достается отъ М-ча Петру Великому за человѣческія жертвы, принесенныя при основаніи на болотѣ Петербурга, и за насильственное введеніе «чистовнѣшней» цивилизаціи (отрывки изъ «Поминокъ»: «Петербургъ» и «Памятникъ Петра Великаго»). Позволительно ли подобное отношеніе къ крутому, правда, но несомнѣнно великому, «царю-работнику»? Справедливо ли упрекать «чудотворца-исполина», что онъ не совершилъ еще большихъ чудесъ? Возможно ли отрицать, если даже не вѣрить въ благодѣтельность Петровской реформы, его благія и высокія стремленія?³⁴⁾.—Вся Россія поэту, ѣдущему зимою въ Петербургъ, представляется какъ «край пустой, бѣлый и открытый, подобный приготовленной для писанія бумагъ. Будетъ ли писать на ней перстъ Божій, и взявши въ буквы добрыхъ людей, напишетъ ли на ней истину святой вѣры, что любовь править племенемъ человѣческимъ, что міровые трофеи—это жертвы? Или же придетъ давнишній противникъ Божій и высѣчетъ въ этой книгѣ мечомъ, что родъ человѣческой слѣдуетъ заковать въ узы, что трофеи просвѣщенія—кнуты?»:

*Że ród człowieczy ma być w więzy kuty,
Że trofeami ludzkości są knuty?*

Чудная поэзія! Но, кажется, это нѣсколько высокомерно³⁵⁾. Пессимистическій взглядъ М-ча, конечно, легко объясняется тѣмъ, что онъ смотрѣлъ на русскія равнины изъ кибитки, которая везла его въ изгнаніе, не очень, положимъ, дальнее и мучительное, но все-таки въ изгнаніе³⁶⁾. И всю жизнь поэтъ оставался подъ влияніемъ той же скорби объ утраченной родинѣ—удивительно ли что онъ, говоря о Россіи, накладывалъ слишкомъ мрачныя краски? Нельзя однако не признать, что Мицкевичевы поэтическія преувеличенія не разъ могли быть приняты за полную историческую правду и содѣйствовали тогда поддержанію печальной русско-польской розни.

Вреднымъ элементомъ въ поэзіи М-ча слѣдуетъ признать также идеализацію старинной, шляхетской Польши, каковая не разъ сказывается

напр. въ его Панѣ Тадеушѣ, насчетъ котораго впрочемъ потомъ надо будетъ оговориться ³⁷⁾. Идеализация польскаго народа, близко подходящая къ кощунству, является у М-ча въ произведеніи, писанномъ прозою, но поэтическимъ, библейскимъ, языкомъ—говорю о «Книгахъ польскаго народа и странничества польскаго» (*Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego* ³⁸⁾). Въ этихъ «Книгахъ» народъ польскій изображенъ народомъ-мученикомъ, искупающимъ грѣхи другихъ народовъ—какъ будто у польскаго, какъ и у всякаго другого народа, не было своихъ грѣховъ ³⁹⁾. Впрочемъ поэтъ, превращающійся здѣсь въ пророка, проповѣдуетъ также разрозненнымъ и часто враждебнымъ другъ къ другу польскимъ изгнанникамъ миръ и согласіе и, указывая имъ на высокое призваніе, напоминаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ о великихъ ихъ обязанностяхъ ⁴⁰⁾. Кромѣ того мы встрѣчаемъ таки у М-ча и критическое отношеніе къ прошлому: стихотвореніе «Кормежка въ Упитѣ» ⁴¹⁾ представляетъ, въ видѣ разговора съ нѣсколькими лицами, встрѣченными проѣзжимъ въ корчмѣ, рѣзкое осужденіе упитскаго депутата, шляхтича Сицинскаго, который первый, воспользовавшись закономъ о единогласности сеймовыхъ рѣшеній, единичнымъ своимъ протестомъ «разорвалъ» сеймъ. Одна изъ басенъ нашего автора «Тройка лошадей», содержитъ подобную же мораль. Три лошади, запрягаемыя вмѣстѣ, никакъ не могли поладить—все лягали другъ друга и кусали, такъ что хозяину пришлось продать ихъ порознь; но затѣмъ онѣ вновь оказались запряженными въ кибитку одного мужика, и принялись было за старое; однако новый хозяинъ началъ ихъ такъ хлестать, что онѣ однимъ духомъ пролетѣли три мили, да и потомъ, за общими яслями, имъ, усталымъ и измученнымъ, было не до драки ⁴²⁾. Также въ «шляхетской повѣсти», какъ называлъ ее самъ авторъ, въ «Панѣ Тадеушѣ», не разъ звучитъ сатирическая нотка.

Остановимся здѣсь нѣсколько на этомъ славнѣйшемъ произведеніи М-ча. Отмѣчу прежде всего, что заглавіе поэмы «Панъ Тадеушъ или послѣдній наѣздъ на Литвѣ» (*Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie*) выбрано неудачно: молодой Тадеушъ не заслуживаетъ названія героя поэмы, а наѣздъ только одинъ изъ ея эпизодовъ—лучше кажется, было бы назвать ее фамиліями двухъ враждующихъ въ ней родовъ: «Соплицы и Горешки». Главное содержаніе «Пана Тадеуша» такое. Подъ конецъ XVIII-го столѣтія жилъ на Литвѣ небогатый шляхтичъ Яцекъ Соплица ⁴³⁾, который однако умомъ, храбростью и ловкостью приобрѣлъ громадное вліяніе на всю окрестную шляхту—«Яцекъ-усачъ» на сеймикахъ по своему желанію могъ распоряжаться ея голосами, за что получилъ еще другое прозвище «воеводы». Это обстоятельство заставило стольника, графа Горешку, приблизить къ себѣ этого мелкопомѣстнаго дворянина, можно сказать, однодворца. Яцекъ влюбился въ единственную дочь графа, Эву, и та платила ему взаимностью. Гордость не позволяла Яцку умолять

графа о рукѣ его дочери, да и трудно было надѣяться преклонить чваннаго магната, который не могъ не замѣчать Яцковыхъ чувствъ, но не желалъ и знать о нихъ. Стольникъ выдалъ затѣмъ дочь, робкую и послушную дѣвушку, за одного вельможу, а Яцекъ, желая скрыть свою досаду, женился на первой попавшейся ему невѣстѣ. Однако горе грызло несчастнаго: онъ запьянствовалъ и совершенно опустился. Въ это время была объявлена майская конституція, а потомъ образовалась противъ нея, поддерживаемая Россіей, Тарговицкая конфедерація. Замокъ графа Горешки былъ осажденъ русскимъ отрядомъ, но графъ отбилъ нападеніе. Бродившій около замка Яцекъ то сгоралъ желаніемъ видѣть гибель своего обидчика, то чувствовалъ желаніе ему помочь; когда же графъ, отбивши русскихъ, съ самодовольнымъ видомъ вышелъ на балконъ, Яцку показалось, что графъ его замѣтилъ и надъ нимъ смѣется: онъ выхватилъ у стоявшаго рядомъ солдата ружье и мѣткимъ выстрѣломъ уложилъ своего врага. Этотъ поступокъ повелъ къ обогащенію Соплицъ: имъ пожаловали значительную часть конфискованныхъ помѣстій убитаго графа, но самъ Яцекъ, чувствуя угрызения совѣсти и стыдясь имени измѣнника, скрылся за границу и пропалъ безъ вѣсти. Принявши затѣмъ монашество, онъ черезъ много лѣтъ, никѣмъ не узнанный, сталъ пріѣзжать на родину, собирая милостыню и подготавливая возстаніе. Единственный сынъ Яцка, Ѡаддей (Гадеушъ),—жена его рано умерла,—а также и сирота Соня (Зося—дочь Эвы, умершей вмѣстѣ съ супругомъ въ ссылкѣ), были имъ оставлены на попеченіи брата. Дѣйствіе поэмы начинается съ возвращенія въ дядино имѣніе только что окончившаго свое образованіе Гадеуша, Зосю же уже раньше привезла туда воспитывавшая ее въ Петербургѣ тетка. Въ это время какъ разъ пріѣхалъ и молодой графъ, дальній родственникъ Горешекъ, ведущій процессъ съ Соплицами изъ-за требуемаго имъ наслѣдства. Готовая уже состояться мировая разстраивается выходкою графа, обиженнаго тѣмъ, что Соплица вздумалъ угощать его въ томъ самомъ наслѣдственномъ замкѣ Горешекъ, изъ-за котораго они тягаются ⁴⁴). Дѣло доходить до схватки, и графу, вмѣстѣ со старымъ ключникомъ графскимъ, Гервазіемъ Рембайлоу, приходится отступить, послѣ чего Гервазію удается убѣдить графа, и безъ того романически настроеннаго человѣка, поступить съ противниками по-старопольски: силою отнять у нихъ свою законную собственность—устроить на нихъ «наѣздъ». Привлекши черезъ Гервазія на свою сторону сосѣднюю мелкую шляхту, графъ дѣйствительно дѣлаетъ набѣгъ на Соплицинское имѣніе. Сначала дѣло обходится довольно мирно: Соплица, видя невозможность сопротивленія, сдается, и опустошеніе происходитъ только на скотномъ и птичьемъ дворѣ и въ погребѣ. Однако кто-то успѣлъ вызвать на помощь отрядъ войска, и солдаты перевязали подгулявшихъ побѣдителей, побѣжденныхъ глубокимъ сномъ. Тутъ на выручку является «Червь» (Робак), какъ называетъ себя прежній Яцекъ Соплица: ему удается подпоять офи-

церовъ и солдатъ и развязать плѣнниковъ, послѣ чего начинается сраженіе дѣйствующихъ теперь заодно и противниковъ и сторонниковъ Соплицъ противъ общаго врага, кончающееся его пораженіемъ. Бой, конечно, обошелся не безъ потерь: въ числѣ смертельно раненыхъ находится отецъ Червь, заслонившій своимъ тѣломъ графа и спасшій ему жизнь, какъ уже и ранѣ во время медвѣжьей охоты, когда монахъ удивительнымъ выстрѣломъ изъ выхваченнаго у одного охотника ружья убилъ медвѣдя, готовившагося растерзать оплошавшихъ графа и Тадеуша. На смертномъ одрѣ Яцекъ открывается своему заклятому врагу Гервасію и просить у него прощенія; брату онъ открылся уже нѣсколько ранѣ, въ виду того, что предстоящее великое событіе—походъ Наполеона на Россію—можетъ разлучить его съ нимъ навсегда. Примиреніе Горешекъ съ Соплицами окончательно устраивается бракомъ Тадеуша съ законною наслѣдницею стараго графа, Эвиною дочерью Зосей, правъ которой на Горешкинскія владѣнія никто не можетъ, да и не хочетъ оспаривать. Бракъ впрочемъ приходится отложить въ виду того, что главнымъ участникамъ вооруженнаго сопротивленія войскамъ, въ томъ числѣ и Тадеушу, нельзя оставаться въ Литвѣ—они туда возвращаются лишь съ Наполеоновскими полками. Таковъ остовъ этого великаго произведенія, которое представляетъ не существующую ни въ одной изъ новыхъ литературъ *эпопею*, произведенія, которое не безъ основанія было опредѣляемо какъ соединеніе въ одной поэмѣ Иліады, Одиссеи и Донъ-Кихота. Разъ дѣло пошло на сравненія (всегда, впрочемъ, какъ уже давно сказано, «прихрамывающія»), укажу еще на сопоставленіе Пана Тадеуша съ Гётевскою идилліею «Германъ и Доротея» ⁴⁵), сходство которой съ М-чевымъ эпосомъ ограничивается тѣмъ, что и здѣсь, и тамъ частная жизнь изображается на фонѣ великихъ историческихъ событій: у М-ча этотъ фонъ составляетъ «тотъ мужъ, богъ войны, окруженный тучею полковъ, вооруженный тысячею пушекъ»:

ów mąż, bóg wojny,

Otoczon chmurą pułków, tysiącem dział zbrojny. Pan Tad., Ks. I.

Изображая приключенія своихъ героевъ (почти поголовно представителей мелкой шляхты), поэтъ сумѣлъ мастерски соединить живость съ эпическимъ спокойствіемъ—за исключеніемъ нѣсколькихъ лирическихъ мѣстъ, авторъ постоянно скрывается за своимъ произведеніемъ, но объективность его согрѣта живымъ чувствомъ. Замѣчательно при этомъ, что М-чъ, несмотря на то, что все болѣе и болѣе склонялся къ мистицизму, не внесъ въ свой эпосъ обычнаго въ этомъ поэтическомъ родѣ сверхъестественнаго элемента, который играетъ у него такую выдающуюся роль въ «Поминкахъ».

Панъ Тадеушъ несомнѣнно самое цѣльное и выдержанное произведеніе М-ча, хотя въ немъ не такъ часто замѣчается то бьющее ключомъ *вдохновеніе*, которое свойственно нашему поэту. Именно самый подхо-

дѣшій эпитетъ приложилъ въ свое время къ М-чу Баратынскій, упрекая его (не вполне справедливо) въ рабскомъ преклоненіи передъ Байрономъ:

Когда тебя, Мицкевичъ *вдохновенный*,
Я застаю у Байроновыхъ ногъ,
Я думаю: поклонникъ униженный!
Возстань, возстань и вспомни: самъ ты богъ! ⁴⁶⁾.

Да, вдохновенный по преимуществу. Я не задумался сказать въ 1898 году въ Краковѣ, на празднествѣ открытія М-чу памятника, и смѣло готовъ повторить въ печати, что на мой взглядъ М-чъ вдохновеннѣйшій поэтъ всѣхъ странъ и народовъ.—М-чъ удивительно владѣлъ стихомъ и римою. Не пустою фразою слѣдуетъ считать слова Пушкина про сонетъ (въ стихотвореніи съ этимъ заглавіемъ):

Подъ сѣнью горъ Тавриды отдаленной
Пѣвецъ Литвы въ размѣръ его стѣсненный
Свои мечты *мгновенно* облекалъ ⁴⁷⁾.

Относительно крымскихъ сонетовъ, конечно, слова Пушкина не должны быть понимаемы *буквально*; но М-чъ иногда дѣйствительно импровизировалъ—экспромтомъ декламировалъ стихи, подъ акомпанементъ музыки ⁴⁸⁾. Вдохновенность М-ча отчасти переходила изъ достоинства въ недостатокъ; ужъ слишкомъ полагаясь на нее, поэтъ мало работалъ надъ своими произведеніями; а вѣдь и изліянія генія нерѣдко нуждаются въ предварительной разработкѣ плана, а впоследствии—въ отдѣлкѣ. Трудно и представить себѣ, какъ М-чъ могъ бы дѣйствительно объединить тѣ разрозненные драматическіе и эпическіе отрывки, которые у него объединены заглавіемъ «Поминогъ» ⁴⁹⁾. Въ Конрадѣ Валленродѣ съ ненавистью героя къ нѣмцамъ совершенно не ладитъ приверженность къ проповѣдуемой этими нѣмцами христіанской религіи; на эту странность М-чу даже указывали, и онъ вполне ее признавалъ, но не произвелъ въ поэмѣ соотвѣтственныхъ измѣненій ⁵⁰⁾. Иногда нашъ поэтъ, увлекаясь красивыми образами, грѣшилъ противъ правила (несомнѣнно вѣрнаго, если только понимать его какъ слѣдуетъ): «лишь въ правдѣ красота» — rien n'est beau que le vrai ⁵¹⁾. Красиво, конечно, онъ говоритъ, будто «по лицамъ людей запада и востока поочереди прошло столько преданій и событий, скорбей и надеждъ, что каждое лицо является памятникомъ народа» ⁵²⁾, но что же соотвѣтствуетъ этимъ словамъ въ дѣйствительности? Ослѣпляетъ также сравненіе скачущаго на конѣ бронзоваго Петра съ «низвергающимся со скалъ водопадомъ, когда онъ, скованный морозомъ, повиснетъ надъ пропастью. Но, коль скоро (продолжаетъ поэтъ) блеснетъ солнце свободы и западный вѣтеръ согрѣетъ эти государства, что тогда станется съ водопадомъ самовластья?» ⁵³⁾. Водопады врядъ ли когда-либо замерзаютъ; да и если бы М-чезъ «водопадъ тиранства» замерзъ, а послѣ опять растаялъ, то это значило бы, что тиранство приостанови-

лось, а потомъ началось снова. И такъ, въ приведенныхъ мѣстахъ нѣтъ полной художественности, но какая все-таки въ нихъ слышится смѣлая поэзія!

Настоящая замѣтка была посвящена исключительно поэтическимъ произведеніямъ Мицкевича, и я вовсе не упоминалъ о Мицкевичѣ-публицистѣ⁵⁴). Не касался я также его литературныхъ статей, изъ коихъ однако назову статью «O krytykach i recenzentach warszawskich», служащую предисловіемъ къ петербургскому изданію его стихотвореній, 1829 года. Здѣсь поэтъ выступаетъ защитникомъ новаго, болѣе свободнаго направленія въ поэзіи, романтизма, противъ ложнаго классицизма. Этому послѣднему направленію М-чъ дѣйствительно нанесъ рѣшительное пораженіе; однако не разсужденіями, а созданными имъ высоко-художественными образцами, поставившими его самого въ число свѣтилъ всемірной поэзіи⁵⁵).

Воздавая великому человѣку необычайную честь, польскій народъ отвелъ мѣсто его останкамъ въ усыпальницѣ своихъ вѣнценосцевъ. Надъ саркофагомъ его, по справедливости, можно бы начертать такія слова:

Средь польскихъ королей Мицкевичъ опочилъ,—
То не послѣдняя изъ царственныхъ могилъ⁵⁶).

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я.

1) По другимъ извѣстіямъ онъ родился въ городѣ Новогрудкѣ, но еще младенцемъ былъ отвезенъ въ Заосье. Насчетъ дня рожденія Адама Мицкевича см. въ биографіи, написанной его сыномъ: *Żywot Adama Mickiewicza podług zebranych przez siebie materiałów oraz z własnych wspomnień opowiedział Władysław Mickiewicz. Tom I (W Poznaniu 1890), str. 1.*

2) Также и первые стихотворные опыты М-ча не поразили окружающихъ его лицъ.

3) Владиславъ Мицкевичъ, т. I, стр. 38.

4) Въ нѣкоторой степени это обуславливалось тогдашнимъ состояніемъ науки и недостаткомъ въ Парижѣ учебныхъ пособій по славистикѣ.

5) Также написанныя М-чемъ полностью, на французскомъ языкѣ, драмы „Барскіе конфедераты“ и „Яковъ Ясинскій“ (Ясинскій былъ сподвижникъ Костюшки, геройски павшій при взятіи Праги) не имѣли успѣха. Что представляла изъ себя импровизованная трагедія „Самуиль Зборовскій“ (этотъ Зборовскій, подвергшись изгнанію, вернулся въ Польшу во главѣ низовыхъ казаковъ, но потерпѣлъ пораженіе и былъ казненъ, при Стефанѣ Баторіи) — трудно сказать; однако позволительно думать, что, если бы эта вещь, произведшая сильное впечатлѣніе, какъ экспромтъ (Влад. Мицк., I, 299), стояла того, поэтъ возстановилъ бы ее впоследствии и разработалъ.

6) Сонетъ XV: „Pierwszy raz jam, niewolnik, z mojej rad niewoli“, XIV крымскій сонетъ (Pielgrzym): *wzdycham bez ustanku Do tej, którą kochałem w dni*

moich roganku. — Переводъ приведенныхъ здѣсь полтора стиховъ, равно какъ и всѣхъ другихъ, цитуемыхъ безъ указанія переводчика, принадлежитъ автору настоящей статьи. Перевода отдѣльные стихи (цѣликомъ мною переложены изъ М-ча только Альпихара, Мечи и кони, Повѣсть вайделота и приводимое въ этой статьѣ Недоумѣніе *), я конечно могъ передавать ихъ гораздо точнѣе другихъ переводчиковъ, не будучи связанъ предшествующимъ и послѣдующимъ. Иногда я предпочелъ цитовать нашего поэта прозою въ буквальномъ переводѣ, а затѣмъ въ подлинникѣ.

7) О ней же естественно упоминается и въ дидактической повѣсти „Шашки“ (Warszaby), напечатанной въ 1822 году: „Когда я спокойствіе мое проигралъ тебѣ въ шашки, съ тѣхъ поръ уже эта игра для меня потеряла привлекательность! Не диво, что я велъ постоянно менѣе счастливые бои: ты смотрѣла въ шашки, я—въ лицо твое“:

Tobie spokojność moje gdym przegrał w warszaby,
Odtąd już gra ta dla mnie straciła powaby!—
Nie dziw, zem toczył zawsze mniej szczęśliwe boje:
Tyś patrzyła w warszaby, ja — w oblicze twoje.

8) Русскій Вѣстникъ, 1886, июль, стр. 399.

9) Къ Собанской же относятся „Разговоръ“ (Rozmowa), „Dwa słowa“, „Sen“, „Elegia do D. D.“, „Godzina“, и сонеты XVI-ый—XXII-ro: „Luba, ja wzdycham!“, „Dzień dobry, Dobranoc, Dobrywieczór, Wizyta, Do wizytujących, Pożegnanie (Прощаніе).

10) Въ 3-ей строфѣ рефренъ слегка измѣненъ: Tam byłby raj, Gdybyś...

11) Всѣмъ своимъ романамъ М-чъ подвелъ печальный итогъ въ стихотвореніи, начинающемся: „Подругъ-привидѣній, сколько я васъ встрѣтилъ, сколько это глазъ пролетѣло, какъ звѣзды, сколько это рукъ я сжималъ утопая, а сердце никогда съ сердцемъ не говорило“—

Kochanek-duchów, ileż was spotkałem,
Ileż to oczu jak gwiazd przeleciało,
Ileż to rączek tonąc uściskałem,
A serce nigdy z sercem nie gadało.

12) Здѣсь можно бы упомянуть о нѣкоторомъ влияніи на обращеніе М-ча къ балладному творчеству, оказанномъ нашимъ Жуковскимъ. См. мою статью „Ленора, Людмила и Нерина“ (Русскій Филологическій Вѣстникъ, т. XXXV).

13) Не называю здѣсь стихотворенія „Баричъ и дѣвушка“ (Panicz i dziewczica), принадлежащаго значительной частью, а можетъ быть почти цѣликомъ, другому поэту — Одынцу. Poezye Adama Mickiewicza. Wydanie Jubileuszowe. Warszawa 1897, томъ IV, стр. 306.

14) Это, какъ говорить самъ авторъ (Dziady, Część II), вѣрное изображеніе народнаго обычая, при чемъ „пѣсни, обряды и заговоры иногда дословно взяты изъ народной поэзіи“. Обычай „Дѣдѣвъ“, кажется, не столько польскій, сколько бѣлорусскій—таково же и названіе „Дяды“.

15) Самъ поэтъ къ одному стиху перваго отдѣла этой баллады дѣлаетъ примѣчаніе, что Тукай въ послѣдующихъ балладахъ понесетъ наказаніе.

16) Dziady, Część III, Akt I, scena 3.

* Помѣщены (кромѣ до сихъ поръ не напечатанной Повѣсти вайделота) въ сборникѣ моихъ стихотворныхъ переводовъ: Переложенія Ореста Головина. Киевъ 1886.

17) „Фарысь“, какъ значитса въ его заглавіи, посвященъ Ивану Козлову и написанъ въ честь эмира Таджъ-уль-Фехра, т.-е. путешественника по Востоку, бывшаго, какъ говорятъ, нѣкоторое время подъ такимъ именемъ вождемъ одного арабскаго племени, графа Генриха Ржевускаго. Не лишено интереса извѣстие, что образъ лихого бедуина возникъ въ фантази поэта и воплотился въ стихи по случаю быстрой ѣзды на извозчикѣ, укрываясь отъ надвигавшейся грозы.

18) Замѣчательно, что итальянская природа не возбудила восторговъ поэта: два единственныхъ стихотворенія, гдѣ у М-ча выразились итальянскія впечатлѣнія, больше вызваны Эвою, нежели Италіей (они упомянуты выше). Предпочтеніе родной березы итальянскимъ кипарисамъ и лимонамъ, высказываемое въ Панѣ Тадеушѣ (книга III) заглавнымъ лицомъ, можетъ считаться мнѣніемъ самого поэта. Вотъ М-чева похвала березѣ: „Развѣ не красивѣе наша простычака-березка, которая, какъ крестьянка, когда она оплакиваетъ сына, или вдова мужа, заломитъ руки, распуститъ по плечамъ до земли ручьи волосъ?“—

„Czyż nie piękniejsza nasza pocziwa brzezina,
Która, jako wieśniaczka, kiedy płacze syna,
Lub wdowa męża, ręce załamie, roztoczy
Po ramionach do ziemi strumienie warkoczy?“

19) Pan Tadeusz, księga IV, X, VIII.

20) Не совсѣмъ, помоему, правъ Здѣховскій [M(arjan) Zdziechowski. Byron i jego wiek. Studya porównawczo-literackie. Tom II, Czechy. Rosya. Polska. W Krakowie 1897, стран. 424], когда отзывается съ нѣкоторымъ неодобреніемъ объ этихъ описаніяхъ, усматривая въ нихъ „аффектацію“; хотя нельзя не согласиться со Спасовичемъ [Мицкевичъ въ раннемъ періодѣ его жизни (до 1830 г.), какъ байронистъ. Сочин., т. II, стр. 198—199], что „прелестныя описанія М-ча, воспѣваго Крымъ на восточный манеръ, съ роскошью образовъ, напыщенностью и преувеличеніями, далеко превосходятъ болѣе скромную дѣйствительность“.—Совсѣмъ некстати только „золотые аванасы“ въ XIV-омъ сонетѣ (Странникъ—Pielgrzym).

21) На такое единство указалъ Хмелѣвскій. Adam Mickiewicz, Tom I, str. 357—360. *Шуточное* выраженіе поэтской гордости представляетъ стихотвореніе „Посѣщеніе Г. Франца Гржималы“ (Wizyta Pana Franciszka Grzymały), перваго оцѣниваго М-ча критика (Chmiel., Ad. M., I, 282): „Свѣтитса памятникъ мой больше стеклянной крышки Пулавъ *), переживетъ могилу Костюшки и зданіе Пацевъ въ Вильнѣ и т. д.“:

Świeci się pomnik mój nad szklanny Puław dach,
Przetrwa Kościuszki grób i Raców w Wilnie gmach.

Взглядъ на поэта и поэзію выраженъ М-чемъ въ стихотвореніи „Архихудожникъ“ (Arcymistrz): „если верховный художникъ, Творецъ, глаголющій къ людямъ столько вѣковъ чудесами природы, остается непонятнымъ, то можетъ ли поэтъ роптать на непониманіе толпы?“

22) Чудную религиозную фантазію представляетъ стихотвореніе „Видѣніе“ (Widzenie), гдѣ изображаются ощущенія вылетѣвшей изъ тѣла души. Приведу изъ него важнѣйшіе стихи: „Теперь я видѣлъ все великое море, текущее изъ середины, какъ изъ источника, изъ Бога... Я и свѣтомъ былъ, и зѣницею сразу... Чувствовалъ я разомъ всю природу, сталъ я осью въ безконечномъ колесѣ... и

*) Пулавы (теперь Новая Александрія), въ то время имѣніе Чарторыйскихъ.

въ то же время былъ на окружности колеса... И чувствовалъ я, что душа моя, наполняющая кругъ, будетъ вѣчно разгараться, и вѣчно къ ней будетъ прибавляться огня; будетъ она вѣчно развиваться, расплываться, 'расти, свѣтлѣть, разливаться, творить, и все сильнѣй любить свое творенье, и все сугубить тѣмъ свое спасенье“:

Teraz widziałem całe wielkie morze,
Płynące z środka, jak ze źródła, z Boga...
I światłem byłem, i źrenicą razem...
Czułem odrazu całe przyrodzenie.
Stałem się osią w nieskończonem kole...
I byłem razem na okręgu koła...
I dusza moja, krąg napelniająca,
Czułem że wiecznie będzie się rozżarzać,
I wiecznie będzie ognia jej przybywać;
Będzie się wiecznie rozwijać, rozplywać,
Rosnąć, rozjaśniać, rozlewać się, stwarzać,
I coraz mocniej kochać swe stworzenie
I tem powiększać coraz swe zbawienie.

Стихотвореніе это не окончано; впрочемъ стоило бы только остановиться на послѣднемъ изъ выписанныхъ здѣсь стиховъ и опустить остальные 20, хотя и не лишенные красотъ, но менѣе удачныя,—и получила бы вполне цѣльная вещь.—Упомяну здѣсь еще о несовсѣмъ умѣстномъ, но трогательномъ и красивомъ, воззваніи, въ началѣ „Пана Тадеуша“, вмѣсто классической музы, къ Пресвятой Богородицѣ.

23) Мицкевичевскій Густавъ несомнѣнно похожъ на Гётевскаго Вертера; однако говорить въ этомъ случаѣ о подражаніи везачѣмъ, когда и самъ М-чъ въ жизни попалъ въ то же положеніе, какъ Гёте-Вертеръ.

24) Въ переводѣ Н. Берга:

Ахъ, льются слѣзы нѣмыя, святыя,
Къ тебѣ, мой вѣкъ дѣтскій, вѣкъ майскій, вѣкъ райскій,
Къ тебѣ, мой вѣкъ юный, неволи, недоли,
Къ тебѣ, мой вѣкъ зрѣлый, гдѣ горе, какъ море.
Ахъ, льются тѣ слѣзы нѣмыя, святыя.

Подобное же настроеніе выражается также въ стихотвореніи „Къ одиночеству“ (Do samotności): „Ты моя стихія: эти стѣкла свѣтлыхъ водъ услаждаютъ мнѣ сердце, затемняютъ чувства сумерками. И зачѣмъ я долженъ вновь, подобно птицѣ-рыбѣ, вырваться на воздухъ, искать глазомъ солнца?—И, безъ дыханія наверху, безъ тепла внизу, я одинаковый изгнанникъ въ обѣихъ стихіяхъ!“—

Tyś mój żywioł: te jasnych wód szyby
Stodzą mi serce, zmysły zaciemniają mrokiem.
I za cóż znowu muszę, nakształt ptaka-ryby.
Wyrywać się w powietrze, słońca szukać okiem? --
I bez oddechu w górze, bez ciepła na dole,
Równie jestem wygnancom—w oboim żywiole!

25) Litwo! Piało mi wdzięczniej twe szumiące lasy,
Niż słowiki Bajdaru, Salthiry dziewice! Sonety Krymskie, XIV, Pielgrzym,
5—6.

Litwo, ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie!
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie.
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie! Pan Tadeusz, I, 1—4.

26) Dziady. Część III, Akt I, scena 2. Герой „Поминокъ“, забывая свое любовное горе, начинаетъ потомъ жить и страдать для родины: онъ мѣняетъ при

этомъ свое имя: умираетъ, какъ Густавъ, и возрождается, какъ Конрадъ, что онъ выражаетъ латинскою надписью на стѣнѣ своей тюрьмы: „Gustavus obiit... natus est Conradus“ (Тамъ же, Прологъ). Имя Конрадъ представляетъ намекъ на яраго патріота Конрада Валленрода, о коемъ рѣчь впереди. Отмѣтимъ здѣсь еще патріотическую скорбь, звучащую въ трогательномъ стихотвореніи „Къ польской матери“ (Do matki polki): горе полкъѣ, у коей растетъ сынъ-патріотъ—великія мученія предстоятъ и ему, и ея сердцу!

27) Дословно: „Какой я великій, гордый—столько головъ гидры срубить однимъ размахомъ, какъ Самсонъ однимъ потрясеніемъ колонны разрушить цѣлое зданіе и пасть подъ зданіемъ!“—

Jakem wielki, dumny:
Tyle głów hydry jednym ściąć zamachem,
Jak Samson jednym wstrząśnieniem kolumny
Zburzyć gmach cały, i runąć pod gmachem!“

28) Wład. Nehring. Grażyna i Konrad Wallenrod Mickiewicza. Studya literackie. Poznań 1884. Вл. Дан. Спасовичъ. Конрадъ Валленродъ. (Публичное чтеніе во Львовѣ 10-го сентября 1889 г.). Сочиненія В. Д. Спасовича. Томъ VIII. С.-Петербургъ 1896.

29) „Альбухара“ переведена также мною, см. выше, прим. 6.

30) Gdzie grzmiącemi piersiami białe roztrąca się morze,
I z pianistej gardzieli piasku strumienie wylewa,
„Widzisz, mawiał mi starzec, łąki nadbrzeżnej kobierce?
Już je piasek obleciał. Widzisz te zioła pachnące?
Czołem siłą się jeszcze przebić śmiertelne pokrycie—
Ach, daremnie! Bo nowa żwiru nasuwa się hydra,
Białe pletwy roztacza, łądy żyjące podbija,
I rozciąga do koła dzikiej królestwo pustyni.
Synu! plony wiosenne, żywo do grobu wtrącone,
To są ludy podbite, bracia to nasi Litwini!
Synu! piaski z zamorza burzą pędzone, to—Zakon“.

31) Такое обвиненіе М-ча представляетъ статья Ивана Франка, помѣщенная въ вѣнскомъ журналѣ „Время“ (Die Zeit): Д-ръ Иванъ Франко. Поэтъ измѣны (Ein Dichter des Verrathes). Переводъ съ польскаго изданія, дополненнаго предисловіемъ польскаго патріота. Варшава 1897.

32) Dzieło zniszczenia
W dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia:
Bóg wyrzekł słowo „stań się“, Bóg i „zgin“ wyrzecze.
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona
Obleją, jak Moskale redutę Ordona—
Karząc plemię zwycięsców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę. Reduta Ordona (Opowiadanie adjutanta).

Разсказъ о геройской смерти Ордона столь поэтиченъ, что я даже былъ нѣсколько огорченъ, когда мнѣ въ Краковѣ сообщили, что Ордонъ вовсе не погибъ такою геройскою смертью, а преспокойно умеръ за границую.

33) Процессъ по дѣлу ввѣнскихъ студентовъ и школьниковъ совсѣмъ не сопровождался такими ужасами, какіе изображаетъ намъ поэтъ въ „Поминкахъ“; въ частности возмутительный случай съ молодымъ Роллисономъ, въ комнатахъ котораго нарочно открываютъ окно, чтобы онъ съ отчаянія могъ въ него выброситься и разбиться до смерти (Dziady, Część III, Akt I, scena 8), совершенно немыслимъ: какой же интересъ могли имѣть мучители сами такимъ образомъ разглашать свои жесто-

кости*)? Въ томъ же родѣ, въ другомъ отрывкѣ „Поминокъ“ (Przegląd wojska), смерть, на смотру, отданнаго въ солдаты молодого польскаго аристократа: командиръ будто бы нарочно его погубилъ, давъ ему невыѣженнаго коня, который подъ нимъ зартачился, такъ, что вмѣстѣ со всадникомъ былъ растоптанъ налетѣвшимъ на нихъ отрядомъ. Неприязненное отношеніе какого-нибудь солдата къ попавшему подъ его команду „полячку-аристократишкѣ“, конечно, дѣло возможное; но, даже при необыкновенной безсердечности начальника, не казалось бы въ такой формѣ: развѣ можно было рассчитывать, что ненавистный чело­вѣкъ свернетъ себѣ шею? не слѣдовало ли, напротивъ, опасаться, что упрямая лошадь внесетъ разстройство въ маневры, и что ему же, командиру, за это достанется? Прямо ужъ коробитъ отъ насмѣшки надъ подданнической вѣрностью и вмѣстѣ съ тѣмъ надъ свѣжими могилами въ „Ордоновомъ редутѣ“, гдѣ авторъ говоритъ о засыпанныхъ обломками взятаго ими укрѣпленія солдатахъ: „хотя бы императоръ велѣлъ москалямъ встать—уже душа московская тамъ въ первый разъ императора не слушается“:

Choćby cesarz Moskalom kazał wstać: już dusza
Moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słu­sz­a“.

Заговоривъ о Царѣ, М-чъ вообще не разъ впадаетъ въ большія странности. Въ „Поминахъ“ въ видѣ хулы произносятся слова, что Богъ не отецъ міра, а царь (русскій царь): *Krzyknę, żeś Ty nie ojcem świata, ale — carem!*“ *Dziady*, III, Akt I, scena 2; хула эта такъ велика, что переполнила бы чашу гнѣва Божія, и ангелы не даютъ договорить Конраду (падающему тутъ въ обморокъ) подсказываемое ему дьяволомъ слово *car!* Курьёзно [также относящееся сюда сравненіе въ „Панѣ Талеушѣ“ (Книга II, ст. 15—16): „Тамъ-вонъ орелъ широкимъ крыломъ черезъ пространства зашумѣлъ, страшая воробьевъ, какъ комета (русскихъ) царей“:

Owdzie orzeł szerokiem skrzydłem przez obszary
Zaszumiął, strasząc wróble, jak kometa cary.

Въ упомянутомъ уже не разъ „Ордоновомъ редутѣ“ поэтъ упрекаетъ Государя, что онъ сидитъ у себя въ столицѣ и не отправляется лично штурмовать повстанческія укрѣпленія—странное требованіе!

34) Осужденіе Петра Великаго вложено М-чемъ въ уста Пушкину. Если Пушкинъ во время своихъ декабристскихъ увлеченій и могъ сказать что-нибудь подобное, то онъ, какъ извѣстно, совершенно измѣнилъ свой взглядъ на Петра въ „Полтавѣ“, въ „Пирѣ Петра Великаго“ и въ „Мѣдномъ всадникѣ“—последній вѣдь даже содержитъ также описаніе знаменитаго памятника, однако совсѣмъ въ иномъ духѣ**). — Упомянутый отрывокъ „Дѣловъ“ представляетъ одну по-

*) Въ добавокъ про Молесона, сына директора Кейданской школы (Кейданы—Ковенской губерніи), очевидно тождественнаго съ М-чевымъ Роллисономъ, извѣстно, что онъ былъ сосланъ въ Сибирь, а вовсе не погибъ при слѣдствіи. А. Погодинъ. Виленскій учебный округъ 1803—1831 г. Введеніе къ IV тому Сборника матеріаловъ для исторіи просвѣщенія въ Россіи. С.-Петербургъ 1901. Стр. СХХVI.

**) Никакъ не могу согласиться со взглядомъ на „Мѣднаго всадника“, проводимымъ Вл. Дан. Спасовичемъ, въ статьѣ „Пушкинъ и Мицкевичъ у памятника Петра Великаго“ (Сочиненія, т. II, Спб. 1889), будто эта поэма противорѣчитъ самой себѣ и представляетъ скорѣе отрицательное отношеніе къ Петру. Помоему мысль „Мѣднаго всадника“ выражена съ достаточною ясностью и должна быть формулована такъ: великія событія нерѣдко требуютъ тяжкихъ жертвъ, могущихъ вызвать естественный ропотъ пострадавшихъ и во имя пострадавшихъ, но этимъ не помрачается слава мощныхъ двигателей народнои жизни.

дробность, побудившую (надо полагать) устроителей пушкинского юбилейного вечера въ Варшавѣ поставить его въ видѣ живой картины и внушившую мнѣ высказанное мною на Краковскомъ банкетѣ въ дни Мицкевическихъ торжествъ пожеланіе, чтобы русскіе и поляки стояли подъ однимъ плащомъ, какъ нѣкогда Пушкинъ съ Мицкевичемъ.

35) Такой тонъ можно бы счесть неумѣстнымъ даже въ устахъ француза, нѣмца или англичанина.

36) Не слѣдуетъ впрочемъ думать, чтобы приведенное мѣсто возникло подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ высылки и зимняго путешествія: оно сочинено лишь въ 1832 году.

37) Шляхетскія наклонности особенно рѣзко высказаны въ стихотвореніи „Чинь“. Czyn—это русское слово, вмѣсто французско-нѣмецко-польскаго ganga; по-польски czyn значитъ дѣло, дѣйствіе. Употребивъ это слово, М-чъ сдѣлалъ невольный каламбуръ въ повторяемыхъ два раза стихахъ:

Tyś szlachty syn,
Nie dbaj o czyn!

т.-е., „ты сынъ шляхты—не заботься о дѣлѣ“.—Чинопочитаніе въ Россіи, какъ извѣстно, вовсе не болѣе развито, чѣмъ въ другихъ странахъ, и едва-ли процвѣтало и ранѣе—М-чевъ „совѣтникъ“, который не желаетъ танцовать съ „регистраторомъ“:

Mój Panie, ja nie tańczę z nikim,
Kto ma tak niski czyn (Dziady, Część III, Akt I, sc. 8),

конечно, никогда не былъ типичнымъ лицомъ.

38) Библейскій тонъ М-чевыхъ „Книгъ польскаго народа и странничества польскаго“ напоминаетъ политическіе псалмы Иеронима Веспазіана Коховскаго (1633—1699)—Psalmodya polska; М-чъ однако не подражалъ этимъ псалмамъ, съ коими не былъ знакомъ.

39) Въ „Книгѣ народа польскаго“ мы читаемъ: И сказала наконецъ Польша: кто только придетъ ко мнѣ, будетъ свободнымъ и равноправнымъ, т.-к. я—Свобода. Но цари, услышавши объ этомъ, обезпоконились въ сердцахъ своихъ и сказали: изгнали мы съ земли свободу, а вотъ она возвращается въ лицѣ праведнаго народа, который не поклоняется идоламъ нашимъ. Пойдемъ, уберемъ этотъ народъ. И замыслили они между собой измѣну И замучили народъ польскій и положили въ гробъ, а цари воскликнули: мы убили и похоронили свободу..... А въ третій день душа воротится въ тѣло, народъ воскреснетъ и освободитъ всѣ народы Европы изъ рабства.

40) Помните, что вы среди чужеземцевъ, какъ стадо среди волковъ и какъ лагерь въ краю непріятельскомъ, и между вами будетъ согласіе.—Хорошіе люди судятъ, начиная съ хорошей стороны. Книги польскаго странничества, глава X. Не смотрите на другихъ, какъ они ѣдятъ, какъ одѣваются, какъ живутъ,—смотрите только на самихъ себя. — Будьте къ другимъ снисходительны, а къ себѣ строги.—Если ты о комъ напрасно скажешь: онъ измѣнникъ, или напрасно скажешь: онъ шпіонъ, такъ будь увѣренъ, что то же самое говорятъ другіе о тебѣ въ то же самое время. Тмж. гл. XII. Свѣйте любовь къ отчизнѣ и духъ самопожертвованія! Тмж., гл. XIX.

41) Poras w Urście: Упита — небольшое село (прежде городъ), Поневѣжскаго уѣзда, Ковенской губерніи.

42) Басни Мицкевича [числомъ 13, если посчитать одинъ изъ „разсказцевъ“ (powiastki) „Упрямая жена“ (Żona uparta),—14] не представляютъ блестящей стороны его творчества—и „Trójka koni“, прекрасная и вполне оригинальная по замыслу, оставляетъ многого желать по исполненію.

43) Яцекъ—ласкательное къ Hiасупт, Такинеъ, но также къ Jakób, Яковъ: самъ Мицкевичъ (Dziady, Część III, Akt I, scena 1) употребляетъ Jasek въ смыслѣ Яши.

44) Собственно это было устроено его приближеннымъ, „вознымъ“ (судебнымъ приставомъ) Протазіемъ, не безъ задней мысли доказать этимъ, что Соплицы владѣли спорнымъ замкомъ, и самъ графъ признавалъ ихъ права.

45) Самъ М-чъ утверждалъ, что пишетъ повѣсть въ родѣ „Германа и Доротеи“, и это опредѣленіе, очевидно, соответствовало его первоначальному замыслу. (Въ письмѣ къ Одынцу, отъ 8 декабря н. ст. 1832 г.). Chmielowski, Adam Mickiewicz, życiorys, str. 56. Poezye Adama Mickiewicza. Wydanie Jubileuszowe, Warszawa 1897, Tom I.

46) „Не подражай: своеобразенъ гений“. Сочиненія Евгенія Абрамовича Баратынскаго. Казань 1884, стр. 162. Поднесено Мицкевичу при отъѣздѣ его изъ Москвы. Chmielowski, Adam Mickiewicz T. I. str. 419. Ни Вл. Дан. Спасовичъ, ни Марьянъ Здѣховскій, специально разсматривавшіе вопросъ о байронизмѣ М-ча (срв. выше, прим. 20), настоящей подражательности у нашего поэта не усматриваютъ.

47) Самъ М-чъ въ одномъ стихотвореніи сообщаетъ намъ про себя: „Я приемъ не подбираю, я слоговъ не складываю—я все такъ написалъ, какъ тутъ говорю къ вамъ“:

Ja rymów nie dobieram, ja zgłosek nie składam—
Tak wszystko napisałem, jak tu do was gadam. Ułamek (Отрывокъ)
impro wizacyi. Poezye Adama Mickiewicza. Wyd. jub., Tom. I, str. 244.

48) Въ лицѣ поэта Конрада, импровизирующаго въ кругу заключенныхъ вмѣстѣ съ нимъ друзей, подъ флейту одного изъ нихъ, М-чъ вывелъ себя самого. (Dziady, Część III, Akt I, scena 1). Изъ многочисленныхъ импровизаций М-ча сохранились только двѣ цѣлыя—Do Aleksandra Chodźki и баллада Renegat (впоследствии передѣланная) да нѣсколько отрывковъ. Chmielowski, Poezye A. M., wyd. jub., Życiorys, str. 27.

49) Вотъ какіе отрывки составляютъ это произведеніе: Часть I. А) Дѣвушка въ одинокой комнатѣ, ночью, надъ недочитаннымъ романомъ, мечтаетъ о возвышенной любви. Б. Крестьянскій мальчикъ разговариваетъ со своимъ слѣпымъ дѣдушкой и поетъ ему пѣсню о превращенномъ въ камень юношѣ Пораѣ (Порай—название герба Мицкевичей). В. Заклинатель и хоръ идутъ ночью на кладбище и утѣшаютъ при этомъ пѣснями какую-то потерявшую возлюбленнаго дѣвушку и тоскующаго по старинѣ старика. Сюда примыкаетъ и слѣдующій отрывокъ: Г. „Хоръ молодежи“, которая должна остановиться на подорогѣ, не возвращаясь въ село, тогда какъ старики и дѣти пойдутъ „въ церковь съ просьбой, съ хлѣбомъ“. Д. Молодой охотникъ, поэтъ Густавъ, слагая пѣсню въ честь охотниковъ, отбился отъ своихъ товарищей и, мечтая о дѣвушкѣ, которая была бы достойна его возвышенной любви, встрѣчается съ чужимъ „чернымъ“ охотникомъ, очевидно—печистымъ. Часть II. А. Упырь. Баллада о юношѣ, кончившемъ жизнь самоубійствомъ и ежегодно встающемъ изъ гроба, чтобы опять мучиться несчастною любовью и опять умирать тою же смертью. В. Вызываніе въ часовнѣ закликателемъ, въ присутствіи хора крестьянъ и крестьянокъ, духовъ умершихъ, коимъ предлагаютъ ѣду и питье. Последнимъ является привидѣніе израненнаго юноши, которое на вопросы не отвѣчаетъ и, прогоняемое заклинаніями, не уда-

ляется, но выходит вслѣдъ за уставившейся на него, одѣтой въ трауръ, па-
стушкой, когда ту догадались вывести изъ часовни. Часть Ш. А. Споръ въ
арестантской кельѣ ангеловъ и дьяволовъ о власти надъ душой юнаго поэта Гу-
става и рѣшеніе мечтателя-Густава переродиться въ патріота-Конрада. Дѣйст-
вѣе I. Сцена I. Разговоры и пѣсни сошедшихся, по снисходительности сторожей,
заподозрѣнныхъ въ заговорѣ узниковъ. Импровизація Конрада и обморокъ послѣ
нея. Сцены 2 и 3. Новая, одинокая, импровизація Конрада, въ коей онъ требуетъ
отъ Бога власти надъ душами, и, поощряемый дьяволами и тщетно остававли-
ваемый ангелами, начинаетъ произносить хулы, причемъ снова лишается чувствъ.
Приведенный къ Конраду монахъ Петръ изгоняетъ дьяволовъ и молится за грѣш-
ника, затѣмъ раздается примирительная пѣснь ангеловъ. Сцена 4. Молодая дѣ-
вушка, Эва, молится за преслѣдуемую польскую молодежь и особенно за автора
дорогихъ ей стиховъ (конечно, Густава-Конрада), а потомъ засыпаетъ, и надъ
нею поютъ хоры ангеловъ. Сцена 5. Молитва отца Петра, видѣніе его объ осво-
бодителѣ Польши и тихій сонъ, подъ охраною ангеловъ. Сцена 6. Тяжелые сны
сенатора (Новосильцева), напущенные на него дьяволами. Сцена 7. Вечернее собра-
ніе въ Варшавѣ: пустые свѣтскіе разговоры, а въ сторонкѣ разговоры о мучи-
тельныхъ слѣдствіяхъ. Сцена 8. Вечеръ у „сенатора“: танцы, происки его прибли-
женныхъ, жестокость его къ просящей за истязуемаго сына слѣпой госпожѣ
Роллисонъ, предсказаніе заушеннаго притѣснителями брата Петра о предсто-
ящихъ имъ карахъ и смерть одного изъ нихъ отъ громоваго удара. Встрѣча съ
отцомъ Петромъ проводимаго подъ стражею Конрада. Сцена 9. Заклинатель и
женщина на кладбищѣ — появленіе передъ ними духовъ двухъ приспѣшниковъ
сенатора, а затѣмъ разговоръ о вызванномъ ими, но не отвѣчавшемъ на вопросы,
обожателѣ этой женщины, который появился весь въ ранахъ. Потомъ идутъ по-
святительный стихъ „Къ друзьямъ-русскимъ“ (Do przujació! moskali) и эпические
отрывки „Путь въ Россію“, „Предмѣстья столицы“, „Петербургъ“, „Памятникъ
Петра Великаго“, „Смотри войску“ и „Олешкевичъ, канунъ петербургскаго на-
водненія 1824 года“. Часть IV (которую самъ авторъ считалъ нужнымъ печатать
впереди 3-ей, и написалъ гораздо ранѣе 2-ой и 3-ей, еще въ юности). Сцена
за ужиномъ у священника, къ коему, какъ къ своему старому наставнику,
приходятъ, въ фантастическомъ нарядѣ, не сразу имъ узнаваемый упырь Густавъ,
который, несвязно повѣствуя о своихъ любовныхъ мученіяхъ, требуетъ между
прочимъ возстановленія уничтоженнаго священникомъ обряда „Дѣдовъ“.

Прямымъ парадоксомъ являются слова Войтѣха Цыбульскаго (Dziady Mi-
ckiewicza. Krótuczny rozbiór zasadniczej idei poematu. Poznań 1863), будто „Дѣды“
образуютъ „довольно тѣсную органическую цѣлость“; да и самъ онъ спѣшилъ
оговориться, что они цѣльны „не столько по внѣшнему исполненію, сколько по
основной мысли“, каковой основой Цыбульскій считалъ „всесильное во всѣхъ
областяхъ и положеніяхъ и чудотворное въ своихъ проявленіяхъ чувство любви“
(страницы 16 и 35). На дѣлѣ единство разсматриваемаго произведенія сводится
къ связи всѣхъ его отрывковъ (иногда связи довольно отдаленной) съ личностью
юнаго поэта и патріота Густава-Конрада, и къ тому, что всѣ они представляютъ
„Быль съ прикраской“ изъ жизни самого Мицкевича.

50) Chmielowski, Adam Mickiewicz, T. I, str. 414.

51) Rien n'est beau que le vrai: le vrai seul est aimable. Boileau, Epitre IX,
A M-r le Marquis de Seignelay, стихъ 43.

52) Jak w twarzach ludzi wschodu i zachodu,
Przez które przeszło tyle po kolei
Podań i zdarzeń, żalów i nadziei,
Że każda twarz jest pomnikiem narodu.

- 53) Jako lecąca z granitów kaskada,
Gdy ścięta mrozem nad przepaścią zwiśnie—
Lecz skoro słońce swobody zabłyśnie,
I wiatr zachodni ogrzeje te państwa—
I cóż się stanie z kaskadą tyranstwa?

Отмѣчу еще подобное же, красивое, но въ сущности неразумное, мѣсто въ „Дѣдахъ“: „Нашъ народъ, какъ лава: сверху она холодная и твердая, сухая и грязная; но внутреннего огня сто лѣтъ не остудить—плюнемъ на эту скорлупу и сойдемъ въ глубь“:

„Nasz naród jak lava:
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa;
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi—
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi!“ Cześć III, Akt I, sc. 7.

Хорошъ былъ бы тотъ, кто ступилъ бы въ незащывшую лаву!

Такою же погрѣшностью представляетъ (въ остальномъ восхитительная) *Pieśń Wajdeloty*“, гдѣ живучая народная пѣсня уподобляется соловью, который „изъ охваченнаго огнемъ зданія вылетаетъ, на минуту садится на крышѣ; когда крыши рухнутъ, бѣжитъ въ лѣса, и звучащею надъ пожарами и гробами грудью поетъ путникамъ пѣсенку печали“: 1) комнатный соловей, конечно, сидитъ въ клѣткѣ, и совсѣмъ не можетъ улетѣть, 2) если онъ и летаетъ по комнатамъ, онъ едвали сумѣетъ вылетѣть, 3) вылетѣвъ, онъ не станетъ присаживаться на крышу и 4) онъ не будетъ горевать на развалинахъ своей темницы.

54) Не было рѣчи и о стихотворныхъ переводахъ М-ча, изъ коихъ однако вполне заслуживаютъ упоминанія „Гяуръ“ Байрона и „Воспоминаніе“ Пушкина. Особенно хороша передача чуднаго Пушкинскаго стихотворенія, и должно признать, что Пушкинъ гораздо хуже переводилъ М-ча, чѣмъ М-чъ Пушкина.

55) Въ этой статьѣ было бы уместно дать по возможности полный перечень русскихъ переводовъ изъ М-ча, но я долженъ повиниться, что къ составленію такового у меня душа не лежитъ. Мнѣ даже кажется теперь (хотя я и самъ кое-что перелагалъ со славянскихъ языковъ), что славянскихъ поэтовъ вовсе не желательно давать русскимъ читателямъ въ стихотворныхъ переложеніяхъ, а слѣдовало бы перепечатывать, снабдивъ русскимъ буквальнымъ переводомъ, а кое-гдѣ весьма краткими грамматическими разьясненіями—тогда они стали бы имъ доступны въ подлинникахъ. Подобная мысль была уже высказана въ печати г. Всев. Чехихинымъ (Славянскій Вѣкъ 1900 г., № 6, стр. 20—21), предлагающимъ печатать для русскихъ произведенія польской и чешской литературы въ три столбца, содержащихъ первый—подлинный текстъ, второй—передачу его русскими буквами, а третій—буквальный переводъ.

56) Стихи эти первоначально были сочинены по-польски, въ такомъ видѣ: „Миккевичъ на Вавелѣ спитъ съ королями—величайшихъ изъ нихъ это сосѣдство не заляпнаетъ“:

Mickiewicz na Wawelu spi z królami—
Największych z nich sąsiedztwo to nie splami.

Романъ Брандтъ.





Лебединая пѣснь Шиллера.

I.

Кто былъ первый Лжедмитрій? Откуда явился этотъ человекъ, съ баснословной быстротой и легкостью завладѣвшій престоломъ величайшаго государства Европы? Былъ ли онъ дѣйствительно сынъ царя или только дерзкій самозванецъ? Дѣйствовалъ ли онъ самостоятельно или былъ только орудіемъ въ чужихъ рукахъ? И въ чьихъ рукахъ? Точно отвѣтить на всѣ эти вопросы не могли ни современники Лжедмитрія, ни историки позднѣйшаго времени. Но именно эта таинственность, эта неопредѣленность очертаній является чрезвычайно привлекательной для поэта-художника. Смѣлой рукой восполняетъ онъ пробѣлы въ преданіи собственнымъ вымысломъ; то, что историкъ высказываетъ лишь какъ предположеніе, для него является совершившимся фактомъ. А какой богатый матеріалъ для художника даетъ исторія смутной эпохи, въ этомъ не трудно убѣдиться: стоитъ только прочесть нѣсколько страницъ записокъ Маржерета или хроники Буссова. Не даромъ „Очерки смутнаго времени“ Н. И. Костомарова, трудъ серьезнаго ученаго, какъ-то сами собой получили полубеллетристическую форму. Не даромъ еще въ началѣ 18 вѣка французъ де-ля-Рошель (De la Rochelle) по Маржерету и «Московской трагедіи» Гревенбруха написалъ фантастическій романъ «Czar Demetrius, histoire Moscovite» (Paris, 1714), интересный для насъ тѣмъ, что Шиллеръ заимствовалъ изъ него нѣсколько деталей для своей трагедіи, какъ опъ раньше при созданіи «Донъ-Карлоса» пользовался подобной же «исторической новеллой» Сень-Реаля.

Но еще задолго до ля-Рошеля первый Лжедмитрій былъ сдѣланъ героемъ поэтическаго произведенія, именно драмы. И попалъ онъ на подмостки чуть ли не при жизни еще, въ самой отдаленной отъ Россіи странѣ западной Европы—въ Испаніи. Среди безчисленныхъ пьесъ Лопе-де-Веги есть одна, носящая заглавіе «El gran duque di Moscovia o el emperador perseguido». Вотъ ея содержаніе: У московскаго герцога Базиліо два сына—

Жуанъ и Теодоро. Въ виду слабоумія Теодоро наследникомъ престола назначается младшій сынъ Жуанъ. Но въ припадкѣ гнѣва Базиліо убиваетъ Жуана ударомъ тяжелой палки, «служащей русскимъ вмѣсто скипетра». Такъ какъ Жуанъ бездѣтенъ, то по смерти Базиліо престолъ долженъ перейти къ малолѣтнему сыну Теодоро—Деметріо. Но честолюбивый Борисъ, шуринъ Теодоро, захватываетъ въ свои руки власть и готовится погубить мальчика, воспитывающагося въ домѣ нѣкоего дворянина Ламберто. Ночью въ домъ Ламберто врываются злоумышленники и требуютъ, чтобы онъ выдалъ имъ принца. Какъ истый испанецъ, для котораго нѣтъ ничего выше феодальной вѣрности, онъ вмѣсто принца отдаетъ имъ собственнаго сына, и когда тотъ падаетъ подъ ударами кинжаловъ, благодаритъ небо, что оно дало ему возможность такъ блистательно доказать свою преданность государю. Скитанія Деметріо занимаютъ вторую половину драмы. Онъ между прочимъ поступаетъ въ повара къ польскому палатину Аурелио и влюбляется въ его дочь Маргариту. Узнавъ, кто такой его слуга, палатинъ приводитъ его къ польскому королю; тотъ радъ затѣять войну съ Москвой, даетъ Деметріо войско, царевичъ побѣдоносно вступаетъ въ свою столицу и женится на Маргаритѣ ¹⁾.

Убийство ночью, подмѣна царевича другимъ ребенкомъ,—все это находится въ полномъ соотвѣтствіи съ ходившими въ Польшѣ разсказами о спасеніи царевича Димитрія. Зналъ Лопе также кое-что о сыноубійствѣ Грознаго, но всѣ остальные факты у него до того искажены и перепутаны, что недоумѣваешь, какое «вѣяніе духа славянской народности» могъ найти въ этой драмѣ извѣстный эстетикъ Каррьеръ ²⁾. «Великій герцогъ Московіи» интересенъ только, какъ первая попытка воспользоваться исторіей Лжедмитрія для сцены и какъ доказательство того, какое сильное впечатлѣніе произвели московскія событія на всю Европу. Дать истинно художественное воплощеніе образу перваго Самозванца Лопе-де-Вега не удалось, какъ не удалось это и французу Жану Баптисту Обри (1689), и нѣмцу Коцебу (1782), и нашему Сумарокову, сдѣлавшему изъ Димитрія какого-то чудовищнаго злодѣя.

Но вотъ 10 марта 1804 года Шиллеръ вноситъ въ свою записную книгу: «*Mich zum Demetrius entschlossen*». Смерть прервала его работу, онъ не довелъ ея и до середины, но тѣ полтора акта, которые дошли до насъ, стоятъ десятка оконченныхъ произведеній. Объ нихъ можно сказать то же, что Гете сказалъ о первомъ актѣ «Вильгельма Телля»: «Это не первый актъ, а цѣлая драма, и притомъ великолѣпная» ³⁾. Тотъ же Гете,

¹⁾ О драмѣ Лопе-де-Вега см. Wolfgang von Wurzbach „Lope de Vega und seine Komödien“ Leipzig 1899, стр. 143 и Grillparzer „Studien zum spanischen Theater“ (Gesammelte Werke, 5 Aufl. Band. 17).

²⁾ См. „Испанскій театръ“ С. А. Юрьева, томъ I, стр. 20.

³⁾ Письмо къ Шиллеру отъ 13 января 1804 г.

послѣ смерти своего друга, пытался довести до конца начатую драму, но и ему, гиганту, оказался не по силамъ трудъ, за который впоследствии съ такимъ легкимъ сердцемъ брались люди, имѣвшіе на то гораздо меньше правъ.

Постараемся же теперь дать краткую исторію возникновенія Шиллеровскаго «Димитрія», посмотримъ, что побудило поэта выбрать этотъ сюжетъ, какъ онъ разработалъ его, что онъ далъ и что хотѣлъ еще дать, что сдѣлали его, большей частью непризванные, продолжатели и, наконецъ, существуетъ ли какая-нибудь зависимость между его трагедіей и драмами авторовъ позднѣйшаго времени, самостоятельно разрабатывавшихъ ту же тему.

II.

Мысль сдѣлать героемъ трагедіи самозванца, гибнущаго вслѣдствіе невозможности выдержать до конца взятую имъ на себя роль, уже давно занимала Шиллера. Еще въ августѣ 1799 г. онъ писалъ Гете, что нашелъ интересный сюжетъ для трагедіи—исторію Перкина Варбека, выдававшего себя за Ричарда Плантагенета, сына короля Эдуарда IV. Этотъ самозванецъ нашелъ покровительницу въ лицѣ герцогини Маріи Бургундской, происходившей изъ іоркскаго дома и давно уже строившей козни противъ ненавистныхъ ей Тюдоровъ. Но интрига ея не увѣнчалась успѣхомъ и Варбекъ былъ казненъ. Отношеніе Шиллера къ этому сюжету видно изъ его собственныхъ словъ: «Мнѣ слѣдовало бы сдѣлать какъ разъ противоположное тому, что сдѣлалъ бы комикъ. Подчеркивая контрастъ между ничтожествомъ самозванца и величіемъ взятой имъ на себя роли, комикъ вызвалъ бы смѣхъ. Въ трагедіи же онъ (самозванецъ) долженъ явиться рожденнымъ для своей роли, онъ долженъ вполне сжиться съ нею, что можетъ вызвать интересныя столкновенія между нимъ и тѣми людьми, которые видятъ въ немъ лишь свое орудіе... Должно казаться, будто обманъ только поставилъ его на мѣсто, предназначенное ему самой природой. Виповниками катастрофы должны быть его сторонники и покровители, а не противники» ⁴⁾.

«Варбекъ» не былъ написанъ; другія работы («Мессинская невѣста», «Вильгельмъ Телль») отвлекли Шиллера, а когда «Телль» былъ оконченъ, вниманіе его остановилось уже на новомъ сюжетѣ, сходномъ съ «Варбекомъ», но несравненно болѣе богатомъ и интересномъ—Димитрія Самозванца. Множество частныхъ «Варбека» перешло въ эту новую драму. Какъ псевдо-Ричардъ, такъ и Димитрій кажется созданнымъ для престола. Роль ловкой интригантки, держащей въ своихъ рукахъ всѣ спутанныя нити заговора, отъ Маргариты Іоркской переходитъ къ Маринѣ Мнишекъ. Мо-

⁴⁾ Письмо къ Гете отъ 20 авг. 1799 г.

лодому Эдуарду Плантагенету, законному претенденту на британскій престоль, которому Варбекъ (вопреки исторіи!) въ благородномъ увлеченіи уступаетъ свои мнимыя права, соотвѣтствуетъ молодой Михайлъ Романовъ. Подобныхъ параллелей можно привести еще множество.

Съ исторіей Лжедмитрія Шиллеръ былъ знакомъ уже давно. Служившая ему источникомъ для «Фіеско» «Исторія знаменитыхъ заговоровъ и революцій» Dupont du Tertre'a въ 5-мъ томѣ заключала между прочимъ и «Conjuration de Zuski contre le faux Demetrius». О Дмитріи говорилось и въ исторіи de-Thou, которой онъ пользовался для своей «Исторіи отпаденія Нидерландовъ». Но надо полагать, что Шиллеръ не удѣлялъ особаго вниманія всѣмъ этимъ работамъ, иначе онъ едва ли бы сталъ такъ увлекаться гораздо менѣ благодарной темой «Варбека». Трагизмъ личности и судьбы Лжедмитрія открылся ему вѣроятно лишь послѣ ознакомленія съ «Исторіей Россіи» Левеска (Levesque), вышедшей новымъ изданіемъ въ 1800 г., какъ разъ въ то время, когда въ Веймарѣ взоры всѣхъ были обращены на Россію, благодаря предстоявшему бракосочетанію наследнаго принца съ вел. княжной Маріей Павловной. Левескъ изображаетъ самозванца идеальнымъ героемъ «*généreux, animé d'un noble enthousiasme pour la gloire*» и кончаетъ свою характеристику словами: «*Si Dmitri n'était pas né pour le trône, il semble du moins qu'il était digne d'y monter*». Пламенная риторика, съ которой историкъ защищаетъ своего любимца, дѣйствительно способна заинтересовать и увлечь поэта. Притомъ съ сюжетомъ «Димитрія» снова всплывалъ цѣлый рядъ мотивовъ, излюбленныхъ Шиллеромъ и не разъ уже разработывавшихся имъ. Какъ Фіеско, Димитрій изъ борца за великое и правое дѣло, превращается въ эгоиста-властолюбца; какъ Жанна д'Аркъ, онъ въ минуту величайшаго торжества теряетъ вѣру въ истинность своего призванія; какъ Валленштейнъ, онъ гибнетъ отъ послѣдствій *одного* невѣрнаго шага, *одной* основной лжи.

12 апрѣля 1804 года Шиллеръ пишетъ своему вѣрному другу Кернеру: «я бодро приступаю къ совершенно новой работѣ и нахожусь въ прекрасномъ настроеніи». Поѣздка въ Берлинъ на время отрываетъ его отъ занятій. По возвращеніи онъ съ удвоеннымъ рвеніемъ принимается за дѣло. Онъ изучаетъ источники ⁵⁾, дѣлаетъ обширныя выписки, даже распредѣляетъ уже роли будущей трагедіи между веймарскими актерами. Своего родственника Вильгельма фонъ-Вольцогена, уполномоченнаго Веймарскаго двора въ Петербургъ, онъ проситъ привезти «костюмы того

⁵⁾ Кромѣ „Histoire de Russie“ Левеска главными источниками ему служили: „Einleitung zur Moscowitischen Historie“ Готлиба Трейера (Лейпцигъ, 1720) „Sammlung russischer Geschichte“ академика Миллера (С. Петербургъ, 1732—1764). „Описаніе королевства польскаго“ англійскаго врача Д. Б. Коннора (нѣмецкій переводъ, Лейпцигъ 1700).

времени, монеты, виды городовъ и вообще все, что могло бы споспѣшествовать его работѣ». Вольцогенъ рекомендуетъ ему мемуары Маржерета и путешествіе Оларія.

Но вскорѣ Шиллеру пришлось прервать свои занятія. Сильный припадокъ болѣзни въ іюлѣ свелъ его почти на край могилы и только въ октябрѣ онъ оправился настолько, что могъ опять думать о работѣ. Но теперь «Димитрій» отступаетъ назадъ передъ новымъ планомъ — «Герцогиней Целльской». Вслѣдствіе своей несложности и ясности этотъ сюжетъ казался больному, усталому поэту болѣе привлекательнымъ, чѣмъ запутанная «Московская трагедія»⁶⁾. Только прибытіе Великой княжны Маріи Павловны снова возбудило интересъ Шиллера къ «Димитрію». Въ рядѣ краткихъ набросковъ онъ намѣчаетъ главные моменты трагическаго дѣйствія. Особеннаго труда ему стоитъ экспозиція. Краткій очеркъ перваго акта все вновь передѣлывается и дополняется. Исторія признанія царевичемъ Димитрія варьируется на тысячи ладовъ. Наконецъ версія, вполне удовлетворяющая поэта, найдена и онъ приступаетъ къ составленію подробнаго сценарія всей пьесы.

Въ декабрѣ Шиллеръ опять тяжело заболѣлъ. Нѣсколько оправившись, онъ, чтобы не быть совсѣмъ празднымъ, занялся переводомъ «Федры» Расина. «Итакъ, эти печальные дни все-таки кое-что дали мнѣ», писалъ онъ Гете 14 января 1805 г., посылая ему рукопись перевода; «я жилъ и работалъ. Въ предстоящіе дни попробую, не удастся ли привести себя въ необходимое для «Димитрія» настроеніе, въ чемъ впрочемъ сомнѣваюсь. Если не смогу, то снова надо будетъ поискать себѣ какую-нибудь полумеханическую работу». Надежды оправдались не вполне. Шиллеръ могъ работать только урывками; въ началѣ февраля онъ перенесъ сильнѣйшую нервную лихорадку, и лишь въ мартѣ былъ въ состояніи всецѣло отдаться творчеству. Онъ работалъ съ лихорадочной поспѣшностью, точно предчувствуя близкую кончину. «Я всей душой уцѣпился (angeklammert) наконецъ за свою работу», писалъ онъ Гете 27 марта, «и думаю, что не такъ легко теперь отвлекусь. Послѣ столь долгаго перерыва и столькихъ несчастныхъ случайностей трудно было стать на ноги (Posto fassen) и я долженъ былъ насиловать себя. Но теперь работа въ полномъ ходу (bin ich im Zuge)».

Напряженный трудъ не могъ не отозваться на расшатанномъ здоровьѣ поэта. «Я теперь довольно прилеженъ», пишетъ онъ Кернеру 25 апрѣля, «но я такъ отвыкъ отъ работы и такъ слабъ, что подвигаюсь впередъ только медленно». Въ началѣ того же письма онъ говоритъ: «Теплое время года даетъ себя знать и у насъ и благотворно дѣйствуетъ

⁶⁾ О „Герцогинѣ Целльской“ см. статью Густ. Кеттнера въ 72 т. журнала „Preussische Jahrbücher“.

на душу. Но мнѣ трудно будетъ справиться со всѣмъ тѣмъ, что я перенесъ за девять мѣсяцевъ, и я боюсь, какъ бы у меня не осталось кое-чего. Въ возрастѣ отъ 40 до 50 лѣтъ натура не такъ уже крѣпка, какъ въ тридцать лѣтъ. Все же я буду вполне доволенъ, если сохраню жизнь и сносное здоровье хоть до 50 лѣтъ».

Какой грустной ироніей звучать для насъ эти слова! Перваго мая Шиллеръ въ послѣдній разъ былъ въ театрѣ; еще во время спектакля онъ почувствовалъ себя дурно. Слѣдующій день онъ провелъ въ постели. Самъ онъ не придавалъ большого значенія своему нездоровью и только жалѣлъ, что пришлось прервать работу надъ «Димитріемъ». Шестого числа вечеромъ онъ началъ бредить. Слуга, дежурившій ночью около его постели, рассказывалъ, что онъ говорилъ много, главнымъ образомъ о «Димитріи», изъ котораго читалъ наизусть цѣлыя сцены. Девятаго утромъ онъ впалъ въ безпамятство; въ 5 час. пополудни его не стало. На письменномъ столѣ Вольцогенъ нашелъ переписанный набѣло монологъ Марѳы изъ 2 акта трагедіи—вѣроятно послѣднія строки, писанныя рукой Шиллера.

III.

Приступая къ оцѣнкѣ Шиллеровскаго «Димитрія», мы ни на минуту не должны упускать изъ виду, что имѣемъ дѣло съ произведеніемъ автора, знавшаго о русскомъ народѣ и русской исторіи лишь то, что могли сообщать ему его крайне скудные и мало достовѣрные источники. Мы не можемъ мѣрять трагедію Шиллера тѣмъ же аршиномъ, какъ «Бориса Годунова» Пушкина. Многочисленные историческіе промахи не должны дѣлать насъ слѣпыми къ огромнымъ художественнымъ достоинствамъ трагедіи. Не слѣдуетъ и забывать, что понятіе объ исторической драмѣ въ 18 вѣкѣ значительно разнилось отъ современнаго. «Для поэта нѣтъ историческихъ лицъ; онъ изображаетъ свой нравственный міръ и для этого *дѣлаетъ честь* отдѣльнымъ лицамъ изъ исторіи, давая ихъ имена своимъ созданіямъ». Изъ этихъ словъ Гете видно, что нѣмецкіе драматурги XVIII вѣка не слишкомъ опередили французскихъ, которыхъ у насъ съ такимъ легкомысленнымъ пренебреженіемъ называютъ псевдоклассическими.

И все-таки, какъ раньше въ «Вильгельмѣ Теллѣ», такъ и въ «Димитріи», Шиллеръ удивительно сумѣлъ проникнуться духомъ той народности и той эпохи, которую изображалъ. Какую великолѣпную, исторически-вѣрную картину представляетъ польскій сеймъ въ первомъ актѣ трагедіи! Какъ прекрасно обрисованы бѣдные шляхтичи-авантюристы въ сценѣ съ Мариной! Какое глубокое пониманіе исторіи смуты сквозитъ изъ своеобразнаго символическаго финала! А въ народной сценѣ второго акта какъ

бы предугаданъ образъ дѣйствій русскихъ въ 1812 году 7). Наконецъ, какая смѣлость замысла въ самомъ изображеніи Дмитрія самозванцемъ бессознательнымъ, вполне увѣреннымъ въ правотѣ своего дѣла! Могъ ли Шиллеръ предполагать, что черезъ полвѣка въ Россіи найдутся историки, которые усвоятъ себѣ тотъ же взглядъ на Лжедмитрія?

Мы знаемъ, какъ велико было вліяніе античной драмы на творчество зрѣлыхъ лѣтъ Шиллера. «Эдипъ царь» казался ему недосыгаемымъ образцомъ трагедіи. «Страхъ, возбуждаемый мыслью, что роковое событіе уже произошло, гораздо сильнѣе дѣйствуетъ на душу, чѣмъ страхъ передъ тѣмъ, что еще можетъ случиться въ будущемъ. Эдипъ какъ бы только трагическій анализъ. Все уже давно совершилось и теперь только раскрывается. Это можетъ быть сдѣлано при помощи самого несложнаго дѣйствія и въ очень короткое время, какъ бы спутаны ни были событія... Какъ все это благоприятно для поэта!» пишетъ онъ 8). Одиннадцатая актная трагедія «Валленштейна» въ сущности начинается съ конца; звезда Фридландца уже переступила зенитъ и медленно закатывается передъ нашими глазами. Еще разительнѣе сходство съ техникой древнихъ въ «Маріи Стюартъ». Преступленіе Маріи лежитъ за предѣлами драмы; на сценѣ передъ нами приговоренная къ смерти узница, положеніе которой не мѣняется въ теченіе всѣхъ пяти актовъ. О «Мессинской невѣстѣ», гдѣ фабула съ умысломъ придумана по образцу Эдипа, и говорить нечего. Въ «Димитріи» наконецъ Шиллеру представилась возможность, оставаясь все время на реальной исторической почвѣ, сохранить всѣ существенныя черты древняго мѣта. Димитрій такой же безъ вины виноватый, какъ Эдипъ. Увѣренный въ себѣ, въ своемъ великомъ призваніи, онъ смѣло идетъ впередъ. Баснословный успѣхъ, всюду сопровождающій его, только усиливаетъ его вѣру въ себя. И вдругъ, на высотѣ величія, онъ узнаетъ, что все, достигнутое имъ, достигнуто обманомъ; что то, чего онъ добивался, какъ законнаго права, ему не принадлежитъ. Но здѣсь пути древняго и новаго поэта расходятся. Димитрій не склоняетъ покорно головы передъ силой рока, онъ беретъ на себя вину, взваленную на него безъ его вѣдома, и идетъ дальше по начатому пути. «Онъ долженъ отрицать одну сторону своей натуры—или силу, или правдивость. Для героической личности первое невозможно, второе влечетъ за собой трагическую гибель» 9).

7) *Oleg*: Fliehet, fliehet ins innre Land, in feste Städte!
Wir haben unsre Hütten angezündet,
Uns aufgemacht, ein ganzes Dorf und fliehet
Landeinwärts zu dem Heer des Zaren! (стихъ 1253 — 1256 по изд. Кеттнера).

8) Письмо къ Гете отъ 2 октября 1797 г.

9) Otto Harnack, „Schiller“ стр. 397.

Шиллеровскій Димитрій вырастаетъ, не зная, кто онъ. Когда ему открываютъ, что онъ сынъ царя Ивана, онъ ни минуты въ этомъ не сомнѣвается и поразительно быстро входитъ въ свою новую роль.

Чтобы это не казалось невѣроятнымъ, необходимо было выяснить, 1) вѣкъ и ради чего была затѣяна чудовищная комедія съ мнимымъ царевичемъ, и 2) какъ самъ Димитрій и окружающіе могли повѣрить этой лжи?

Какъ самозванецъ безсознательный, Лжедимитрій могъ быть только орудіемъ въ чужихъ рукахъ. Но въ чьихъ? Вопросъ до сихъ поръ не рѣшенъ. Представить Лжедимитрія креатурой поляковъ Шиллеръ не могъ, хотя ясно понималъ роль Польши въ исторіи смуты и думалъ даже отвести иезуитамъ подобающее мѣсто въ своей трагедіи. Безсознательное самозванство героя при такихъ условіяхъ было бы неправдоподобнымъ. Чтобы сдѣлать Димитрія орудіемъ враждебной Годунову боярской партіи, Шиллеръ былъ слишкомъ мало знакомъ съ исторіей воцаренія Годунова и его отношеній къ боярству. Да и экономія драмы требовала сосредоточенія всѣхъ нитей интриги въ рукахъ одного лица. И вотъ въ воображеніи поэта создается фигура таинственнаго монаха, натолкнувшаго Димитрія на его опасный путь. Это—никто иной, какъ убійца истиннаго царевича. Не получивъ обѣщанной награды за свое злодѣяніе, онъ рѣшается мстить Годунову, похищаетъ изъ Углича мальчика, товарища убитаго царевича, и воспитываетъ его сообразно его будущей роли. Съ цѣлью полнѣе мотивировать увѣренность самозванца въ своей правотѣ, Шиллеръ изъ массы версій разсказа объ убіеніи царевича выбралъ Петреевскую, по которой кровавое событіе разыгралось ночью, во время пожара въ углицкомъ дворцѣ. Изъ дѣтства у самозванца только и сохранилось воспоминаніе о пожарѣ и бѣгствѣ изъ Углича:

Воспоминанья подняли завѣсу
Минувшаго,—и ясно, въ отдаленнѣ,
Какъ купола въ лучахъ зари вечерней,
Два образа передо мной мелькаютъ,—
Двѣ первыхъ искры дѣтскаго сознанья.
Тѣ облики: бѣгу я темной ночью;
Взглянулъ назадъ—потемки словно спрыснулъ
Пылающими брызгами пожаръ. .
Должно быть воспоминанье стародавне,
Затѣмъ, что образы, съ нимъ слитые, погасли
Въ моей душѣ.. я смутно помню только
Вотъ этотъ страшный, неотступный образъ... ¹⁰⁾

По первоначальному плану Шиллера Самозванецъ въ первомъ дѣйствіи долженъ былъ явиться еще слугой Самборскаго воеводы (Мнишка, а не Вишневецкаго), не знающимъ о своемъ происхожденіи. «Онъ необузданная, дикая натура... былъ монахомъ, а держитъ себя какъ рыцарь.

¹⁰⁾ Переводъ Л. А. Мея.

Сынъ враждебной націи и религіи, живетъ онъ среди поляковъ. Одни ненавидятъ его... другіе, въ особенности женщины, относятся къ нему благосклонно. Воевода расположенъ къ нему, дочь его Марина отличаетъ Дмитрія передъ другими, Лодойска, дочь кастеляна, любитъ его ¹¹⁾).

Влюбленный въ Марину палатинъ люблинскій возмущенъ благосклонностью, которую дама его сердца даритъ Дмитрію, и осыпаетъ «москаля» грубой бранью. Дмитрій въ гнѣвъ берется за мечъ и убиваетъ соперника. Его ведутъ въ тюрьму. Прощаясь съ Лодойской, онъ даритъ ей на память драгоценный натѣльный крестъ. Лодойска показываетъ крестъ Мнишку. Гостиціе у воеводы московскіе выходцы узнаютъ въ этомъ крестѣ тотъ самый, который при крещеніи былъ надѣтъ на царевича Дмитрія. Они вспоминаютъ о ходящихъ по Руси слухахъ, будто царевичъ спасся отъ убійць, и хотятъ видѣть заключеннаго. Допросъ Дмитрія подтверждаетъ ихъ предположеніе—мнимо умершій русскій царевичъ найденъ.

Прощаніе Дмитрія съ Лодойской должно было закончить 1-й актъ. Фигура молодой польки, самоотверженно любящей Дмитрія, введена въ трагедію только для контраста съ эгоистичной Мариной. «Лодойска напоминаетъ Навзикаю. Дмитрій ей обязанъ своимъ счастьемъ, но давъ ему это счастье, она теряетъ его. Она мирится съ потерей, не измѣняя своихъ чувствъ къ нему. Любовь ея безкорыстна и чиста. Она проситъ своего брата сопровождать Дмитрія, но не для того, чтобы онъ напоминалъ царевичу о ней, а для того, чтобы около него всегда была вѣрная, преданная душа...» ¹²⁾).

Первый актъ стоилъ Шиллеру огромнаго труда. Нужно было ввести зрителя въ чуждую ему среду, сразу возбудить интересъ къ личности героя, наконецъ сдѣлать правдоподобной фантастическую исторію нахождения царевича. Изъ многочисленныхъ разсказовъ объ этомъ находеніи Шиллеръ не воспользовался ни однимъ, а придумалъ собственную версію, отчасти навѣянную ля-Рошелемъ ¹³⁾. Зато традиціонный разсказъ о признаніи Дмитрія московскими выходцами пришелся ему очень кстати для характеристики настроенія русскаго народа (*Exposition des russischen Wesens*). Но въ концѣ концовъ поэтъ все-таки остался недоволенъ экспозиціей. Онъ хотѣлъ «въ виду обширности и богатства дѣйствія, обнимающаго цѣлый міръ событій, переступить смѣлыми шагами отъ одного великаго момента къ другому» ¹⁴⁾, а этому намѣренію едва ли отвѣчалъ рядъ красивыхъ, но все же эпизодическихъ и мелкихъ сценъ перваго акта. И вотъ Шиллеръ съ безпощадностью генія зачеркиваетъ весь прежній

¹¹⁾ Schiller's dramatischer Nachlass. Herausgegeben von Gustav Kettner. Weimar, 1895. I Band: Demetrius. S. 89.

¹²⁾ Кеттнеръ стр. 133.

¹³⁾ См. объ этомъ у Кеттнера, *Einleitung*, стр. XXIX и слѣд.

¹⁴⁾ Кеттнеръ стр. 114.

первый акт и открывает драму сценой Краковскаго сейма ¹⁵⁾. И съ этого момента всё колебанія исчезаютъ. Отнынѣ все ясно, все логично. Сценарій читается, какъ связный эпическій рассказъ.

Вступительныя сцены трагедіи полны спокойной торжественности. Мы сразу вступаемъ на историческую почву, сразу видимъ героя въ центрѣ грандіознаго политическаго движенія. Димитрій доказываетъ польскому королю и сейму свои права на престолъ. Онъ говоритъ просто и съ достоинствомъ:

Не по примѣтамъ, можетъ быть обманнымъ,
А по биенью собственнаго сердца,
Я узнаю наслѣдственную кровь—
И ужъ скорѣй пролью ее по каплѣ,
Чѣмъ уступлю права на свой вѣнецъ.

Польша обязана помочь ему, обязана, ради святости и правоты его дѣла, забыть свою древнюю вражду съ Москвой. Онъ такъ увѣренъ въ себѣ, что для привлеченія на свою сторону толпы не боится даже польстить ей низменнымъ инстинктамъ:

Кто вѣдетъ въ Кремль за мной, такъ—вотъ клянусь—
Тотъ въ бархатѣ, въ шелку и въ соболяхъ
И въ жемчугахъ ходить по буднямъ станетъ!
А серебромъ подкуй коня, кто захочетъ.

Рѣчь его вызываетъ страшное волненіе. «Война съ Москвой!» раздается со всѣхъ сторонъ. Единственнымъ оппонентомъ Димитрія является Левъ Сапѣга. Онъ подписалъ мирный договоръ на 20 лѣтъ съ царемъ Борисомъ, и договоръ этотъ не можетъ и не долженъ быть нарушенъ.

Толпа не хочетъ слушать его, но онъ не унимается, объявляетъ Димитрія креатурой Мнишка, а короля и сепаторовъ игрушками въ рукахъ хитраго воеводы. Крики негодованія прерываютъ его; приступаютъ къ голосованію. Весь сеймъ за Димитрія. Тогда Сапѣга бросаетъ вызовъ всему собранію:

Пусть согласны!
А все таки и всѣмъ скажу я: нѣтъ!
Я сеймъ, по праву, распускаю! Veto!
Не продолжайте! Все, что вы рѣшили,
Я отмѣняю, я уничтожаю! ¹⁶⁾

¹⁵⁾ Изъ перваго акта написаны: два монолога Димитрія—въ темницѣ и передъ картой Россіи—и сцена прощанія съ Лодойской.

¹⁶⁾ Man schreite nicht weiter. Aufgehoben, null
Ist alles, was beschlossen ward.

Мей спугалъ „Schreiten“ и „Schreien“ и перевелъ такъ:

Кричите, какъ хотите, но вашъ крикъ
Никѣмъ, нигдѣ не можетъ быть услышанъ.

Такихъ курьезовъ у Мея не мало. Какъ ни красивъ мѣстами его переводъ, но пользоваться имъ можно только съ большой осторожностью. Мей работалъ очень небрежно, полагаясь болѣе на свое поэтическое дарованіе, чѣмъ на знаніе нѣмецкаго языка.

Общее возмущеніе. Шляхтичи съ саблями бросаются на Сапѣгу. Коль уходитъ. И теперь Сапѣга раздражается своей знаменитой филиппикой:

Что большинство? Безумье большинство!
Разсудокъ—достоянье лишь немногихъ!
Кто не имѣеть вичего, не можетъ
Заботиться о цѣломъ. Развѣ есть
У нищаго свобода или выборъ?
Онъ принужденъ за хлѣбъ, за сапоги
Сильвѣйшему свой голосъ продавать!
Не счетъ, а вѣсь быть долженъ голосомъ,
То государство, рано или поздно,
Погибнетъ, гдѣ рѣшаетъ безразсудство
И большинство одерживаетъ верхъ! 17).

Такимъ образомъ король принужденъ дать официальный отказъ Дмитрію. Но онъ обѣщаетъ помочь ему исподволь. Тутъ же, въ присутствіи короля, совершается помолвка Дмитрія съ Мариной; затѣмъ Дмитрій уходитъ и Марина, не сказавшая почти не слова во время помолвки, начинаетъ проявлять лихорадочную дѣятельность. Она сзываетъ шляхтичей, обѣщаетъ имъ золотыя горы, если они станутъ подъ знамена Дмитрія. Шляхтичи, оборванные, пьяные, жадные до московской добычи, но полные сословной гордости, обрисованы съ большимъ юморомъ: всѣ они мнятъ себя благородными пятами, не имѣющими ничего общаго съ «дряннымъ мужичьемъ». Обѣщанье Марины дать имъ всѣмъ платье, обувь и коней, если они послѣдуютъ за ней, приводитъ ихъ въ восторгъ и громкими криками: *Vivat Marina! Russiae regina!* привѣтствуютъ они свою патронессу.

Второй актъ переноситъ зрителя въ Россію. Первая сцена, почти вполне законченная, происходитъ въ монастырѣ на Бѣломъ озерѣ, гдѣ проживаетъ царица-инокиня Марѳа. Наступила весна, сестры изъ душевныхъ келій вышли на дворъ подышать свѣжимъ воздухомъ. Случайно забредшій къ нимъ рыбакъ рассказываетъ удивительную новость—будто царевичъ Дмитрій живъ и идетъ на Москву. Марѳа до глубины души потрясена этимъ извѣстіемъ. Не успѣла она еще опомниться, какъ къ ней подходитъ привратница и объявляетъ, что патріархъ Іовъ хочетъ говорить съ ней. Патріархъ подтверждаетъ рассказъ о появленіи самозванца въ Польшѣ и отъ имени Годунова проситъ Марѳу объявить всенародно, что сынъ ея дѣйствительно умеръ. Но Марѳа отвѣчаетъ ему не такъ, какъ онъ ожидалъ: она несказанно рада отомстить Борису за все униженіе прежнихъ лѣтъ и не думаетъ исполнить его просьбы.

Мы еще коснемся этой сцены при разборѣ „Царя Бориса“ г-р. А. Толстого. Остальная часть 2-го акта въ рядѣ эпизодическихъ сценъ должна была изобразить постепенное движеніе Дмитрія впередъ. Блестящей побѣдой царевича надъ войскомъ Годунова долженъ былъ закончиться

17) Переводъ мой, въ виду крайней неточности Меевскаго.

актъ. Изъ этихъ сценъ Шиллеромъ написана только первая—Димитрій на русской границѣ—и часть второй—чтеніе манифеста Димитрія въ русской деревнѣ. Весь дальнѣйшій ходъ дѣйствія до конца трагедіи приходится возстановлять по сохранившемуся, очень подробному, сценарію и многочисленнымъ мелкимъ замѣткамъ. Такое возстановленіе, конечно, можетъ быть только гипотетичнымъ: мы не знаемъ, сколько бы еще измѣнилъ, добавилъ или выбросилъ поэтъ при окончательной отдѣлкѣ своего произведенія. Матеріалъ, собранный Шиллеромъ, такъ великъ, что безъ значительныхъ сокращеній не обошлось бы. Нѣкоторые думаютъ, что въ концѣ концовъ Шиллеру пришлось бы сдѣлать изъ „Димитрія“ трилогію въ родѣ „Валленштейна“. Едва ли это предположеніе справедливо. Какъ разъ „Валленштейнъ“ долженъ былъ показать Шиллеру, какъ неудобно дробить единую, цѣльную драму на части, изъ которыхъ каждая въ отдѣльности не имѣетъ самостоятельнаго значенія. Какъ ни богатъ матеріалъ „Димитрія“, но его прекрасно можно использовать, не преступая извѣстныхъ границъ. Лучшее доказательство тому—сравненіе законченныхъ сценъ „Димитрія“ съ первоначальными набросками¹⁸⁾.

Начало 3-го акта драмы посвящено Борису Годунову. „Онъ достигъ престола злодѣйствомъ, но, взявъ на себя обязанности правителя, выполнилъ ихъ добросовѣстно. Но теперь онъ уже рапенъ на смерть. Царственный блескъ, окружающій его, только тѣнь минувшаго. Противъ него надвигается что-то неизмѣримое, роковое, чего не побороть ни разуму его, ни мужеству (Ситуація Тальбота въ «Орлеанской дѣвѣ»¹⁹⁾). Положеніе его безвыходно. Ему остается только умереть съ достоинствомъ. Онъ отравляется, оставляя царство въ полномъ нестроеніи. За права его преемника вступается человекъ, появленіе котораго здѣсь не можетъ не удивить русскаго читателя—Михаилъ Федоровичъ Романовъ, „чистая лойяльная личность, не знающая ни мести, ни честолюбія“, изъ любви къ Ксєніи Годуновой прощающій ея отцу все, чѣмъ тотъ провинился передъ нимъ. Онъ заставляетъ бояръ присягнуть Федору Борисовичу и спѣшить къ арміи, чтобы удержать ее отъ перехода къ Самозванцу²⁰⁾.

¹⁸⁾ Возьмемъ напр. начало 2-го акта: вмѣстѣ съ Іовомъ къ Мароѣ первоначально долженъ былъ явиться и самъ Борисъ, переряженный монахомъ. Мароа должна была узнать его, уличить его въ убійствѣ ея сына и т. д. Отъ всѣхъ этихъ грубыхъ эффектовъ Шиллеръ впоследствии благоразумно отказался.

¹⁹⁾ Кеттнеръ, стр. 148.

²⁰⁾ Зналъ ли Шиллеръ, что Михаилъ Романовъ въ 1605 году былъ еще ребенкомъ? Для насъ это можетъ быть безразлично. Шиллеръ не боялся искаженія исторіи, разъ считалъ его необходимымъ для своихъ художественныхъ цѣлей. Ему нуженъ былъ герой, носитель идеи законности и справедливости, въ противоположность незаконнымъ притязаніямъ самозванца. А появленіе Романова „открывало перспективу за предѣлы трагедіи. Съ именемъ родоначальника новой династіи связана утѣшительная мысль о конечной побѣдѣ праваго дѣла.“ (Кеттнеръ, введеніе, стр. XLIX).

Димитрій между тѣмъ находится въ Тулѣ. Онъ на высотѣ величія. Романовъ не могъ удержать войска, оно отдалось побѣдителю. Москва свергнула Теодора и открыла ворота новому владыкѣ. Царица Мароа ѣдетъ навстрѣчу сыну. Но блескъ величія не ослѣпилъ Димитрія. „Онъ добръ, какъ солнце, снисходителенъ и милостивъ“.

Среди толпы, окружающей его, Димитрій узнаетъ человѣка, который нѣкогда спасъ его отъ смерти и воспиталъ. Онъ зоветъ его къ себѣ въ палатку и, оставшись наединѣ, горячо благодаритъ его за все, что онъ сдѣлалъ для него. «Ты мнѣ обязанъ большимъ, чѣмъ думаешь,» отвѣчаетъ тотъ. «Что это значитъ?» спрашиваетъ Димитрій, и убійца истиннаго царевича посвящаетъ его въ свою тайну. Пока онъ говоритъ, съ Димитріемъ происходитъ ужасная переменна. Въ припадкѣ неуправляемой ярости онъ убиваетъ своего мнимаго благодѣтеля.

„Ты пронзилъ сердце моей жизни! Ты лишилъ меня вѣры въ себя! Прости же мужество, прости надежды!... Я запутался во лжи. Душа моя раздвоилась. Я врагъ людей. Истина и я разлучены на вѣкъ.—Какъ? Открыть глаза народу? Обличить себя въ обманъ? Нѣтъ! Впередъ надо идти! Я долженъ стоять твердо, но уже не могу этого силой собственнаго внутренняго убѣжденія! Злодѣйства и кровь должны сохранить за мной мое мѣсто! Но какъ я встрѣчусь съ царицей? Какъ вступлю въ Москву съ ложью въ сердце?“²¹⁾

Предлагаемый набросокъ монолога написанъ Шиллеромъ въ самомъ началѣ его работы надъ Димитріемъ, когда онъ не имѣлъ еще вполне яснаго представленія о развитіи характера своего героя. Преобладающее настроеніе—грустное, элегическое, но уже тутъ опредѣленно высказано твердое намѣреніе Димитрія идти дальше, не страшась грѣха. Именно эта рѣшимость дѣлаетъ его истинно трагическимъ героемъ, именно въ этомъ толкованіи характера заключается превосходство Шиллера надъ всеми его послѣдователями.

Слѣдуетъ встрѣча Димитрія съ Марою. Въ роскошномъ шатрѣ царица ожидаетъ сына. Но чувство радостной увѣренности, охватившее ее послѣ разговора съ Іовомъ, уже успѣло разсѣяться. Съ появленіемъ Самозванца рушится и послѣдняя надежда. Съ возгласомъ: «Не онъ!» Мароа отворачивается отъ Димитрія.

Димитрій слишкомъ гордъ, чтобы разыгрывать передъ Марою комедію. Она не можетъ быть ему матерью—пусть! Природу насиловать нельзя. Но пусть она думаетъ и чувствуетъ, какъ царица. Его самозванство ничего не отняло у его сына, ей же дало многое. Онъ уничтожилъ ея врага, изъ мрака заточенія вывелъ ее на свѣтъ.

„Твоя судьба связана съ моей. Тебѣ нѣтъ выбора. Со мною стоишь ты, со мной и падешь“,

²¹⁾ Кеттнеръ, стр. 101—102.

говорить онъ. Марѳа въ недоумѣніи молчитъ. Тогда Дмитрій дѣлаетъ попытку подѣйствовать на ея *сердце*, вызвать въ ней, осиротѣлой, тоску по сыновней любви:

„Пусть будетъ дѣйствиємъ свободной воли то, къ чему тебя не могла побудить природа. *Не кажись только моей матерью, будь сю!* Я не сынъ твой, но я—царь, на моей сторонѣ сила, на моей сторонѣ—счастье. Вѣрь глазамъ, если не вѣришь сердцу. Ты найдешь во мнѣ почтительнаго сына. Чего тебѣ еще? Тотъ, что лежитъ въ могилѣ—прахъ; у него нѣтъ сердца любить тебя, нѣтъ взора улыбнуться тебѣ; онъ ничего не даетъ тебѣ, я далъ тебѣ все. Обратись къ тому, кто живъ. Я разорвалъ печальное покрывало инокини, отдѣлявшее тебя отъ міра“...²²⁾

Марѳа плачетъ—она побѣждена. Дмитрій открываетъ полы шатра и показываетъ ее ликующему народу.

Въѣздомъ Дмитрія въ Москву долженъ былъ кончатся третій актъ или начинаться четвертый. Содержаніе послѣднихъ двухъ актовъ у Шиллера едва намѣчено, нѣсколько подробнѣе разработана только катастрофа. Дмитрій на престолѣ глубоко несчастливъ. Онъ не довѣряетъ никому, у него нѣтъ преданной души. Марину онъ ожидаетъ почти со страхомъ: онъ успѣлъ полюбить Ксенію Годунову, которая презираетъ его. Поляки такъ опутали его, что онъ безъ нихъ шагу ступить не можетъ. Его невольное потворство ихъ безчинствамъ, его презрѣніе къ стариннымъ обычаямъ вызываетъ сильное недовольство въ народѣ. Патриархъ Іовъ, который вопреки исторіи сохранилъ свой санъ и втерся въ довѣріе царя, подстрекаетъ его къ дурнымъ дѣяніямъ, рассчитывая тѣмъ ускорить его паденіе. Всѣ недовольные элементы наконецъ группируются вокругъ Василя Шуйскаго. «Дмитрій, почти безъ вины, все болѣе лишается любви своего народа. Грозная стихія, надъ которой онъ господствовалъ, теперь уноситъ его съ собой, онъ сталъ игралищемъ чужихъ страстей²³⁾».

Прибытіе Марины ускоряетъ катастрофу. Она является съ огромной вооруженной свитой, «на которую полагается больше, чѣмъ на свою любовь». Искусно скрывая свою холодность къ Дмитрію, она настаиваетъ на томъ, чтобы свадьба была сыграна какъ можно скорѣе, и тайкомъ посылаетъ чашу съ ядомъ ненавистной Ксеніи.

Развязкѣ предшествуютъ двѣ эпизодическія сцены—видѣніе Романова и встрѣча Дмитрія съ Казимиромъ Лодойскимъ. Первая сцена очевидно навѣяна финаломъ «Эгмонта» Гете. Романову, заключенному въ темницу, является духъ Ксеніи и открываетъ ему будущую славу его рода. Цѣль сцены—внушить зрителю увѣренность въ конечномъ торжествѣ добра. Встрѣча съ молодымъ Лодойскимъ даетъ Дмитрію поводъ оглянуться на

²²⁾ Кетнеръ стр. 158—160.

²³⁾ *ibid* стр. 161.

огромный, пройденный имъ путь. «Онъ разспрашиваетъ Казимира о *той юности*, т.-е. о себѣ самомъ, какъ о постороннемъ: такъ мало похожъ онъ на прежняго Димитрія, такъ много онъ пережилъ за послѣднее время» ²⁴⁾.

Объ эти сцены въ окончательной редакціи вѣроятно не оставались бы— первая, не обусловленная никакой внутренней необходимостью, только затягивала бы дѣйствіе, вторая стоитъ въ непосредственной связи съ сценами въ Самборѣ; при пропускѣ этихъ сценъ она теряетъ все свое значеніе.

Катастрофа представляетъ искусное сплетеніе историческихъ чертъ съ свободнымъ вымысломъ. Согласно народному преданію, участь Самозванца рѣшена, когда отъ него отрывается царица Марфа. Шиллеръ сохранилъ это преданіе, но поставилъ мать и сына лицомъ къ лицу. Преслѣдуемый мятежниками, Димитрій бѣжитъ въ покои вдовствующей царицы, которая, по случаю празднованія свадьбы ²⁵⁾, находится въ Кремлѣ. Онъ требуетъ отъ Марфы, чтобы она вторично признала его сыномъ передъ всѣмъ народомъ. Но Марфа уже не та, что прежде. Вступивъ на престолъ, Димитрій оставилъ ее безъ вниманія, и это глубоко ее оскорбило. «Гибель Бориса удовлетворила ея жажду мести, теперь ей незачѣмъ больше поддерживать Димитрія». Мятежники врываются въ комнату. Въ первыя минуты неустрашимое величіе, гордый видъ Димитрія производятъ впечатлѣніе на толпу. Она въ страхѣ отступаетъ назадъ. Но вотъ Шуйскій требуетъ, чтобы Марфа крестнымъ цѣлованіемъ подтвердила, что Димитрій ея сынъ. Царица молча отворачивается и Димитрій падаетъ подъ ударами разъяренныхъ убійцъ.

Въ то же время рѣшается и участь Марины. Она до конца остается вѣрна своему характеру. Она отрывается отъ Димитрія и выставляетъ себя несчастной, ни въ чемъ неповинной жертвой наглаго обмана. Нѣсколько успокоившіеся послѣ смерти Димитрія заговорщики отпускаютъ ее.

Но на этомъ драма не кончается. Слѣдуетъ еще чрезвычайно оригинальный финалъ, не находящій себѣ аналогіи ни въ одномъ изъ предыдущихъ произведеній Шиллера. По уходѣ всѣхъ на сценѣ остается одинъ изъ толпы, казакъ, авантюристъ, уже выступавшій въ предыдущихъ сценахъ. Онъ укралъ или случайно нашелъ царскую печать и съ этой находкой собирается разыграть роль Димитрія. Интересъ поляковъ продолжить смуту, отсутствіе законнаго претендента, трудность доказать смерть перваго Самозванца должны содѣйствовать его успѣху. Монологъ второго Лжедимитрія заканчиваетъ трагедію, предвѣщая новый рядъ смутъ въ будущемъ. Впечатлѣніе трагизма, вызванное заключительными сценами, еще усили-

²⁴⁾ Кеттнеръ, стр. 84.

²⁵⁾ Въ дѣйствительности между свадьбой и гибелью Самозванца прошло нѣсколько дней.

вается, становится почти нестерпимымъ. Въмѣстѣ съ тѣмъ этотъ финалъ подчеркиваетъ историческое значеніе «московской трагедіи». «Димитрій» не повѣствованіе о личныхъ приключеніяхъ отдѣльнаго лица, это цѣлый «міръ событій» (eine Welt von Begebenheiten), это картина ожесточенной борьбы между старымъ порядкомъ и новымъ, между освященной вѣками традиціей и притязаніями гениальной личности. Драма не можетъ кончиться смертью главнаго героя—Димитрій только зачинщикъ великой борьбы, которая послѣ него тянется еще долго-долго, пока не погнѣбло все старое, обветшалое, гнилое и «на развалинахъ вырастаетъ новая жизнь». Можно представить себѣ «Димитрія», какъ вступительную драму цѣлаго цикла, подобно восьми хроникамъ Шекспира. Конечно, Шиллеръ не имѣлъ намѣренія написать такой циклъ, но онъ ясно сознавалъ, что судьба Димитрія, какъ бы интересна сама по себѣ она ни была, лишь небольшой эпизодъ въ исторіи великой Смуты, это доказываетъ и заключительная сцена его трагедіи, и видѣніе Романова въ темницѣ.

IV.

При взглядѣ на статую Милосской Афродиты, одновременно съ благовѣніемъ передъ мощной силой творческаго генія, чувствуешь горькое сожалѣніе, почти досаду, что такое дивное произведеніе искусства дошло до насъ только изуродованнымъ. Но когда знакомишься потомъ съ многочисленными попытками реставраціи, смотришь на всѣ эти статуи и статуэтки съ надставленными руками, то нѣтъ возможности освободиться отъ смутнаго сознанія, что все это *не то*, что не такъ задумалъ свою богиню древній ваятель, и со вздохомъ возвращаешься назадъ къ оригиналу, искалѣченному, но все же неизъяснимо-прекрасному.

Нѣчто подобное приходится испытывать, знакомясь съ многочисленными продолженіями и переработками Шиллеровскаго «Димитрія». Казалось, авторамъ ихъ предстояла задача гораздо менѣ трудная, чѣмъ реставраторамъ античныхъ статуй. Путь, по которому имъ надлежало итти, ясно и точно былъ предначертанъ, вся черная работа уже сдѣлана. А между тѣмъ, ни одна изъ этихъ драмъ про Лжедмитрія не удовлетворяетъ читателя.

Многочисленныхъ продолжателей Шиллера можно раздѣлить на двѣ группы. Одни являются продолжателями въ тѣсномъ смыслѣ слова, т.-е. оставляютъ безъ измѣненія все, написанное Шиллеромъ, и только доводятъ до конца начатую имъ работу; другіе заимствуютъ у него основную идею, но разрабатываютъ сюжетъ самостоятельно.

Первая попытка окончить «Димитрія» была сдѣлана въ 1817 году Францомъ фонъ-Мальтицомъ (1794—1857, сынъ русскаго министра). Мальтиць рабски придерживается Шиллеровскаго плана, вѣрнѣе, того

изложенія хода трагедіи, которое было составлено Кернеромъ для перваго посмертнаго изданія сочиненій Шиллера; подлинныя эскизы поэта въ то время еще не были опубликованы ²⁶⁾. Даже случайныя описки Шиллера, вкравшіяся по недосмотру въ печатное изданіе, его благоговѣющій ученикъ не рѣшается исправить. Въмѣсто «Мнишекъ» онъ пишетъ Meischek, вмѣсто «Нагой» — Nagoi. Размѣры его драмы чудовищны; она распадается на шесть актовъ, дѣйствующихъ лицъ болѣе 60-ти. Добросовѣстность Мальтица заслуживаетъ конечно похвалы, но какого-нибудь самостоятельнаго значенія его работа не имѣетъ. Психологія его дѣтски-наивна, слащавая сентиментальность составляетъ рѣзкое противорѣчіе пафосу Шиллера. Потерпѣвъ первое пораженіе, Дмитрій плачетъ и жалуется на судьбу, какъ женщина:

Несчастный! Твой народъ
Отвергъ тебя! Ужели ты теперь
Насилиемъ возьмешь свое наслѣдство?
Ужели *долженъ* быть ты государемъ?
Ужели царству обливаться кровью,
Чтобъ *ты* могъ сѣсть на дѣдовскій престолъ?..
Нѣтъ, нѣтъ! Клянусь! Жестокій, но любимый
Народъ мой! Для тебя я *жить* не долженъ!
Умру же за тебя!

И онъ хочетъ заколоться, но приближенные во-время останавливаютъ его.

Превращеніе довѣрчиваго, добраго Дмитрія въ строгаго, мнительнаго тирана совершается удивительно быстро. Надъ трупомъ Андрея, убійцы истиннаго царевича, Дмитрій объявляетъ:

Проснитесь, фурии! А Ты,
Надзвѣздныхъ странъ ужасный Повелитель,
Судебъ Вершитель, какъ Тебя зоветъ
Безуміе, — Тебѣ бросаю вызовъ
И молніямъ Твоимъ, и вымещаю
Мои страданья на Твоемъ твореньи!

Такой Дмитрій, конечно, не можетъ вести себя съ Мареой такъ, какъ онъ ведетъ себя у Шиллера. Но Мальтицъ не понялъ этого и Шиллеровскій набросокъ діалога между Мареой и Самозванцемъ цѣликомъ перенесъ въ свою пьесу.

Романову Мальтицъ, сынъ русскаго сановника и самъ состоявшій на русской службѣ, удѣлилъ слишкомъ много мѣста, украсилъ его всевозможными добродѣтелями, но только живымъ лицомъ сдѣлать не могъ. А въ

²⁶⁾ Изложеніе Кернера перешло во всѣ популярныя изданія Шиллера. Съ него же сдѣланъ и переводъ Мея.

длиннѣйшей сценѣ въ темницѣ духъ Ксеніи предсказываетъ будущему царю войну 1812-го года и заключеніе Священнаго Союза ²⁷⁾!!

Изъ другихъ продолженій «Димитрія» слѣдуетъ остановиться на драмѣ *Генриха Лаубе* (1880), не ради ея художественныхъ достоинствъ, но потому, что она наиболѣе популярна въ Германіи и до сихъ поръ еще держится на сценѣ. Между Шиллеромъ и Лаубе цѣлая пропасть. Одинъ—пламенный идеалистъ, другой—трезвый практикъ; одинъ—геніальный художникъ, пишущій *al fresco*, большими мазками, яркими красками, другой—ремесленникъ, прилежный, аккуратный, но недалекій. Величайшая ошибка Лаубе состоитъ въ томъ, что онъ лишилъ своего Димитрія всякаго героическаго ореола, сдѣлалъ изъ него какого-то чудака, который далеко не увѣренъ въ своемъ царственномъ происхожденіи и когда узнаетъ истину, то сейчасъ же готовъ отречься отъ престола. Драма кончается словами Шуйскаго:

Мужъ благородный жизнью заплатился
За то, что былъ не Рюрикова рода.
Пусть намъ Господь царя найти поможетъ,
Который былъ бы такъ же добръ и честенъ,
Какъ этотъ юноша... ²⁸⁾

Это говоритъ тотъ самый Василій Ивановичъ Шуйскій, который только и свергнулъ Самозванца, чтобы занять его мѣсто, и изъ котораго Лаубе сдѣлалъ какого-то фанатическаго борца за права Рюриковичей!

И къ Лаубе, и къ Мальтицу, и ко всѣмъ позднѣйшимъ продолжателямъ Шиллера одинаково относятся глубоко-справедливыя слова Бульгаупта: «Къ чему эти продолженія? Только чтобы открыть фрагменту доступъ къ театру? Но если такъ,—не проще ли ставить одинъ только фрагментъ? Такъ какъ планъ Шиллера намъ хорошо извѣстенъ, то и одинъ первый актъ возбуждаетъ въ достаточной мѣрѣ нашъ интересъ и производитъ огромное впечатлѣніе. Для тѣхъ же, которымъ мало этого отрывка, кото-

²⁷⁾ Dich segnet, mein Enkel, des Ahnherrn Mund,
Dich, Held und Herrscher, nach dessen Willen
Sich Völker unarmen im heiligen Bund! (Akt. VI, Sc. 2).

Такъ плѣнный Романовъ привѣтствуетъ Александра I. Кстати приведемъ небольшой отрывокъ изъ біографіи Шиллера, написанной его свояченицей Каролиной фонъ-Вольцогенъ:

„Родственное сближеніе нашего герцогскаго семейства съ русскимъ Императорскимъ домою, конечно, не разъ бывало у насъ предметомъ разговоръ. Я могъ бы, сказалъ Шиллеръ однажды вечеромъ, устами молодого Романова, играющаго благородную роль въ моей трагедіи, наговорить императорской фамиліи много любезностей. Но на другой день онъ сказалъ: Нѣтъ, я этого не сдѣлаю, мое произведеніе должно оставаться чистымъ“.

Комментаріи, кажется, излишни.

²⁸⁾ Gott möge uns erleuchten, einen Zar
Zu finden, der so brav (!) wie dieser Jüngling!

рые со сцены непремѣнно хотятъ услышать, «чѣмъ кончилась эта исторія», — фрагментъ вообще не существуетъ. Театръ созданъ не для удовлетворенія празднаго любопытства и жажды сенсаци. Продолженіе «Димитрія» и постановка его на сценѣ только тогда будетъ имѣть цѣну, если оно само по себѣ обладаетъ значительными художественными достоинствами. Писать его только для того, чтобы спасти фрагментъ для сцены, не имѣетъ смысла»²⁹).

А между тѣмъ попытки «непризванныхъ мастеровыхъ» (выраженіе того же Бультгаупта) достроить зданіе не прекращаются. Въ 1887 году вышла драма «Димитрій» Отто Сиверса. Величайшее достоинство этой драмы — ея краткость. Борисъ Годуновъ вовсе не является на сценѣ; Марина, вопреки исторіи, сопровождаетъ Димитрія въ его походахъ, такъ что отдѣльная сцена ея прибытія въ Москву становится излишней. Благодаря этому, весь матеріалъ безъ особаго труда укладывается даже не въ пяти, а всего-на-всего въ четырехъ актахъ. Личность Димитрія сильно идеализована. Онъ гораздо мягче, чувствительнѣе Шиллеровскаго героя. Узнавъ отъ Михаила Битяговскаго тайну своего происхожденія, онъ говоритъ:

Такъ пусть же будетъ такъ! Я стану
Обманщикомъ,—но чтобъ творить *добро!*
Пусть кровь во мнѣ не царская, но будутъ
Царя достойны всѣ мои дѣянья!
Идите всѣ ко мнѣ, кто истомленъ,
Измученъ жизнью, кто обманутъ небомъ,
Какъ я! Ко мнѣ! Я встрѣчу васъ, какъ братьевъ,
И поведу васъ въ дивный край свободы!

И онъ возвращаетъ закрѣпощеннымъ крестьянамъ Юрьевъ день. Мысль очень удачная, отъ которой не отказался бы и творецъ «Телля», едва ли знакомый съ положеніемъ русскихъ крестьянъ въ XVII вѣкѣ. Но этимъ достоинства драмы Сиверса исчерпываются. Въ ней есть эффектные сцены, есть удачные стихи, но характеры очерчены блѣдно, и знакомство автора съ русской исторіей и съ русскимъ бытомъ очень слабое. Последнее, впрочемъ, является общимъ недостаткомъ всѣхъ продолжателей Шиллера, начиная съ Мальтица и кончая г-жей Августой Гетце, «Димитрій» которой лѣтомъ 1900 года былъ поставленъ въ Висбаденѣ, во время празднествъ въ честь Вильгельма II. Никто изъ этихъ господъ не обращается къ первоисточникамъ, никто не старается пополнить свои свѣдѣнія прочтеніемъ хоть бы Карамзина, всѣ довольствуются тѣмъ матеріаломъ, который извлекъ Шиллеръ изъ своихъ скудныхъ источниковъ. Въ результатъ получаются такіе курьезы, какъ Романовъ Мальтица, или Шуйскій Лаубе, или описаніе Успенскаго собора съ большимъ *органомъ* и галереями, на которыхъ толпится народъ, у Сиверса.

²⁹) Dramaturgie der Klassiker, томъ I, стр. 464 (8 Aufl.).

Внося въ свою драму безъ измѣненія весь Шиллеровскій фрагментъ, авторы «Лжедмитріевъ» (кромѣ упомянутыхъ, еще Густавъ Бюне 1860 г. и О. Ф. Группе 1861 г.), сами вызывали читателя на сравненіе, которое никоимъ образомъ не могло выйти въ ихъ пользу. «Продолжать сочинять тамъ, гдѣ остановился Шиллеръ, такъ же невозможно, какъ начинать любить тамъ, гдѣ пересталъ другой», остроумно сказалъ талантливый *Фридрихъ Геббель* (1813—1863), и поэтому предпочелъ, независимо отъ Шиллера, написать собственную драму на сюжетъ «Димитрія». По роковой случайности, и эта драма осталась неоконченною; впрочемъ, она доведена до середины пятого акта и относительно развязки имѣются точныя указанія автора. У Шиллера заимствована только основная идея, но и эта идея какъ-то сузилась, измельчала. О своемъ происхожденіи Димитрій Геббеля узнаетъ отъ собственной матери, бѣдной старушки Варвары. Сцена встрѣчи сына съ матерью сама по себѣ великолѣпна, но дальнѣйшее поведеніе Димитрія крайне странно. Онъ хочетъ выйти къ ожидающимъ его боярамъ и покаяться въ своей невольной винѣ. Мнишекъ совершенно справедливо называетъ его безумцемъ, но Димитрій отвѣчаетъ:

Не потому-ль, что долгъ свой исполняю?
Безумцемъ былъ бы я, когда бы медлить!
Еще я чистъ, и нѣтъ на мнѣ грѣха!
Обманутый обманщикомъ не станеть!

И только ради Марины, онъ рѣшается *до поры до времени* еще носить «царскую маску», чтобы его невѣста

Вернулась въ Польшу русскою царицей,
Не карточною только королевою!

Бульгауптъ³⁰⁾ справедливо замѣчаетъ, что для сверженія *такого* человѣка не нужно никакого заговора, никакого Шуйскаго. Прекрасно очерченная въ первыхъ дѣйствіяхъ драмы фигура Димитрія, послѣ роковой сцены съ матерью, теряетъ всякій интересъ и гибель героя не вызываетъ ни страха, ни состраданія.

Гораздо удачнѣе у Геббеля женскіе типы: капризная, властолюбивая Марина, скромная, робкая старуха Варвара и въ особенности царица Марѳа. Въ сущности она, а не Димитрій, главное лицо драмы. Получивъ извѣстіе о появленіи въ Польшѣ царевича, она не знаетъ, вѣрить ли ей, или нѣтъ. Встрѣча съ Самозванцемъ не рѣшаетъ ея сомнѣній, а, напротивъ, еще усиливаетъ ихъ. Наружныя примѣты—всѣ за Димитрія, но сердце матери молчитъ, природа не сказывается. «Я знаю мѣсто, гдѣ найду рѣшеніе загадки», говоритъ Марѳа и идетъ въ соборъ молиться у гроба ребенка, котораго столько лѣтъ считала своимъ сыномъ. Но и молитва не помогаетъ. Лишь когда Мнишекъ велитъ вынести изъ собора гробъ чужого ребенка, которому де не мѣсто среди царскихъ могилъ

³⁰⁾ Op. cit. Томъ III, стр. 214 (5 Auflage).

въ Марѣѣ пробуждается мать и она проситъ не трогать дорогого ей праха. Въ послѣднемъ дѣйствіи ея молчаніе, какъ и у Шиллера, влечетъ за собой гибель Дмитрія.

Трагедія Геббеля начинается, согласно первоначальному плану Шиллера (котораго Геббель, впрочемъ, не зналъ), прологомъ въ Самборѣ. Прологъ этотъ блестяще доказываетъ, какъ правильно поступилъ Шиллеръ, отбросивъ всѣ предшествовавшія польскому сейму сцены. Великая историческая трагедія превращается, благодаря прологу, въ драму интриги, и интриги очень мелкой; дальнѣйшій ходъ дѣйствія еще усиливаетъ это впечатлѣніе. Съ историческими фактами Геббель обращается еще безцеремоннѣе, чѣмъ Шиллеръ; чтобы оцѣнить его драму, надо не только отказаться отъ всякаго сравненія съ Шиллеромъ, но и забыть, что имѣешь дѣло съ пьесой изъ русской исторіи. А тогда найдется не мало достоинствъ. У Шиллера напр. патриархъ Іовъ лишенъ всякихъ индивидуальныхъ чертъ, Геббель же сдѣлалъ изъ него удивительно жизненный типъ интригана-политика. Великодѣльна также, хотя совершенно несогласна съ исторіей, сцена засѣданія боярской думы, подъ предсѣдательствомъ Бориса Годунова.

Остается упомянуть еще о драмахъ Германа Гримма (1853) и Фридриха Боденштедта (1856). «Дмитрій» талантливаго эстетика Гримма не историческая драма, а фантазмагорія. Достаточно сказать, что авторъ противопоставляетъ Самозванцу истиннаго, дѣйствительно спасагося царевича, и сводитъ всю драму къ борьбѣ между законнымъ наследникомъ престола и узурпаторомъ,—мотивъ, заимствованный, по всей вѣроятности, изъ Шиллеровскаго «Варбека». Что касается Боденштедта, то не ему, автору пошловатыхъ, но когда-то чрезвычайно популярныхъ, эпиграммъ Мирза-Шаффи, было соперничать съ Шиллеромъ.

Объ имѣющихся, можетъ быть, въ другихъ литературахъ Западной Европы драмахъ о Лжедмитріи у меня, къ сожалѣнію, нѣтъ никакихъ свѣдѣній. Въ польской литературѣ есть драма «Лжедмитрій» Шуйскаго (Szujski), но и она извѣстна мнѣ только по довольно рѣзкому отзыву о ней берлинскаго слависта Брюкнера ³¹⁾.

V.

Обращаясь теперь къ разбору *русскихъ* драмъ о Лжедмитріи, приходится констатировать фактъ, что основная идея Шиллера, его изображеніе Самозванца, какъ «обманутаго обманщика», не нашла ни одного адепта среди русскихъ драматурговъ. На первый взглядъ это можетъ показаться страннымъ, тѣмъ болѣе, что мысль о безсозна-

³¹⁾ A. Brückner. „Tragedya moskiewska“. Przegląd polski. 1900, августъ, сент. и окт.

тельномъ самозванствѣ перваго Лжедмитрія защищалась двумя изъ извѣстнѣйшихъ нашихъ историковъ—Соловьевымъ и Костомаровымъ, и казалось бы, что поэты съ жадностью должны были ухватиться за эту гипотезу. На самомъ дѣлѣ было не такъ. Вліяніе Шиллера на русскихъ авторовъ сказалося только въ частностяхъ. Общее изображеніе характера, общій ходъ дѣйствія—совершенно иные. И это понятно. Въ нашей литературѣ гораздо раньше, чѣмъ драма Шиллера стала извѣстной большинству русской читающей публики, былъ созданъ типъ Самозванца, ставшій образцомъ для всѣхъ позднѣйшихъ драматурговъ. Это, конечно, Самозванецъ Пушкина.

Пушкинъ въ своемъ изображеніи Самозванца не могъ слѣдовать Шиллеру, не могъ уже потому, что герой его драмы—Борисъ, а Шиллеровскій Дмитрій возможенъ только какъ центральное лицо драмы, поглощающее весь интересъ зрителя. Кромѣ того, Пушкинъ, создавая своего «Бориса Годунова», находился подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ Карамзина, опредѣлявшаго содержаніе, и Шекспира, опредѣлявшаго форму его драмы, слѣдовательно, о какомъ-либо значительномъ воздѣйствіи на него со стороны Шиллера не могло быть рѣчи. Тѣмъ не менѣе, въ «Борисѣ Годуновѣ» есть одна сцена, напоминающая Шиллера. Самозванецъ, во главѣ польскаго войска, приближается къ русской границѣ. Онъ ѣдетъ тихо, съ поникшей головой. На вопросъ Курбскаго, что съ нимъ, онъ отвѣчаетъ:

Кровь русская, о Курбскій, потечеть!
Вы за царя подъяли мечъ, вы чисты;
Я жъ васъ веду на братьевъ; я Литву
Позвалъ на Русь; я въ красную Москву
Кажу врагамъ завѣтную дорогу!

Почти тоже говорить и Шиллеровскій Дмитрій, подъѣзжая къ русской границѣ:

И эти
Поля, доселѣ мирныя, я долженъ
Наслѣдовать оружіемъ, какъ врагъ?

«Такъ, государь, и слѣдуетъ!» говоритъ ему полякъ Одовальскій.
Но Дмитрій отвѣчаетъ.

Послушай—
Вѣдь ты полякъ, а я—москвичъ природный,
Вѣдь это все—все родина моя!
Прости меня, прости, земля родная!
Прости меня и ты, столбъ пограничный
Съ наслѣдственнымъ родительскимъ орломъ!
Простите, что съ оружіемъ враждебнымъ
Я въ мирный храмъ насильственно вхожу,
Чтобъ возвратить законное по праву
И достоянье отчее и имя!

Сходство обѣихъ сценъ не подлежитъ сомнѣнію. Но говорить о вліяніи, или даже подражаніи мы все-таки не имѣемъ права. У насъ нѣтъ никакихъ указаній на то, что Пушкинъ зналъ фрагментъ Шиллера. Очень

можетъ быть, что здѣсь не болѣе, какъ простое совпаденіе. Случайное сходство одной мелкой детали, при совершенно различномъ построеніи драмы, какъ цѣлаго, ничего не доказываетъ.

Авторъ «Бориса Годунова» разъ навсегда фиксировалъ типъ Лжедмитрія, буйнаго удалца, «безпечнаго, какъ малое дитя», но умѣющаго, гдѣ требуется, проявить «и гордость и прямую честь». Знаменитыя слова:

Тѣнь Грознаго меня усыновила,
Димитріемъ изъ гроба нарекла и т. д.

варируются всѣми Лжедмитріями, когда-либо выступавшими на русской сценѣ.

Да! Я не царскій сынъ! Но благодатью силы
Помазанъ я и духомъ славныхъ дѣлъ!
Но Іоаннъ изъ глубины могилы
Мнѣ завѣщалъ державный свой удѣлъ!

говорить, напр., «Димитрій Самозванецъ» А. С. Хомякова (д. II, явл. 3).

Впрочемъ эта гордая самоувѣренность единственное, что сближаетъ этого Лжедмитрія съ Пушкинскимъ. Во всемъ остальномъ Хомяковъ совершенно самостоятеленъ. Самый характеръ его драмы иной, чѣмъ характеръ «Бориса Годунова». Хомяковъ—человѣкъ партіи, онъ не довольствуется однимъ только художественнымъ оживленіемъ старины, какъ «рабъ Божій Алексашка Пушкинъ», онъ разсматриваетъ эту старину подъ рѣзко опредѣленнымъ угломъ зрѣнія, и съ цѣлью яснѣе выставить свой личный взглядъ готовъ видоизмѣнять факты. Это отношеніе къ исторіи безусловно роднитъ его съ Шиллеромъ, такъ же, какъ его склонность къ лиризму и риторическому пафосу. Но именно опредѣленность взглядовъ Хомякова не допустила прямого воздѣйствія на него Шиллера. Самозванецъ нѣмецкаго поэта и его сходятся только въ твердости намѣренія никогда не покидать престола, котораго они достигли незаконнымъ путемъ:

Да! Я не царскій сынъ! Но предо мною
Кто путь открылъ исполненный чудесъ,
Меня подъялъ, какъ бурною волною,
И на престоль изъ праха вдругъ вознесъ?
Кто вель меня подъ тьмою неприступной,
Туманами покрылъ народовъ взоръ,
И Годунова родъ преступный
Моей рукой съ лица земного стеръ?
Но если путь уже свершенъ, и если
Досель меня ведущая рука
Сама теперь завѣсу раздираетъ?
Бороться съ ней? Не лучше-ль уступить,
Стать предъ лицомъ народовъ удивленныхъ
И божій судъ безстрашно возвѣститъ?.....
Но снова быть во прахъ! Но Россія
Прекрасная, великая, отдастъ
Свои бразды десницъ недостойной!
Подумать тяжело!.....
И обо мнѣ быть можетъ скажутъ: „Мальчикъ,
Бродяга смѣлый, счастливый, пустой,
Вънецъ схватилъ и послѣ испугался“!
Да, скажутъ „испугался“! Никогда!
Отдамъ престоль, но развѣ съ жизнью!.. (Д. II, явл. 2).

Самозванецъ Хомякова, какъ и Шиллеровскій, человекъ, вполне достойный быть царемъ. Вотъ какъ онъ самъ оправдываетъ свое самозванство:

Что мертвецу до имени? Не правда-ль?
Не встанетъ онъ, чтобъ допрошать живыхъ
И требовать назадъ свое названье;
А если бы изъ гроба онъ возсталъ
И допросилъ, и смѣлый похититель
Сказалъ ему: „Твое я имя взялъ,
Но я его прославилъ и сіянемъ
И яркими лучами увѣнчалъ;
Ты былъ забытъ въ своей могилѣ темной,
Я оживилъ и воскресилъ тебя
Для чуднаго бессмертія, для славы,
Для громкихъ пѣсенъ будущихъ вѣковъ“—
Я думаю, сердитый житель гроба
Смягчился бы и тихою рукой
Благословилъ преемника на подвигъ. . (Д. V, явл. 8).

Интересно сопоставить эти слова съ рѣчью, которою Дмитрій у Шиллера старается склонить на свою сторону Марю.

Трагизмъ Хомяковского Самозванца въ томъ, что онъ достигъ престола не собственными силами, а съ помощью людей, чуждыхъ Россіи, чуждыхъ его идеаламъ. Поляки и иезуиты опутали его своими сѣтями, и всѣ его усилія разорвать эти сѣти тщетны. Онъ гибнетъ, потому что поляки отчуждаютъ его отъ собственнаго народа, мѣшаютъ выполнению его благихъ начинаній или даютъ имъ превратное толкованіе. Послѣ его убіенія царемъ провозглашается Висилій Шуйскій, и Прокопій Ляпуновъ, самъ принимавшій участіе въ заговорѣ противъ Самозванца, горестно восклицаетъ:

Князь Шуйскій!
Неправдою и ты достигъ престола.
И эту кровь я пролилъ для него?
О падшій вождь! Я каюсь предъ тобою!
Но день придетъ для мщенья твоего,
И злой старикъ падетъ передо мною.
Сгубили льва, такъ справимся съ лисою!

Этими словами заканчивается трагедія. Несмотря на всѣ свои недостатки—растянутость, риторичность, слишкомъ «вольное» обращеніе съ историческими фактами—она заслуживаетъ серьезнаго вниманія. Пусть Самозванецъ порой кажется созданнымъ лишь для того, чтобы высказывать любимыя мысли автора—мысли эти такъ возвышенны и облечены въ такую красивую форму, что невольно поддаешься ихъ обаянію, какъ увлекаешься краснорѣчіемъ маркиза Позы. Изъ второстепенныхъ лицъ трогательна и глубоко-симпатична царица Марѳа, интересны преданный Самозванцу Басмановъ и идеалистъ Прокопій Ляпуновъ. Очень большое мѣсто удѣлено Василию Шуйскому, но характеръ его очерченъ неясно: то это глубоко-убѣжденный ревнитель старины и православія, то хитрый честолюбецъ, самъ добивающійся престола. Съ великолѣпнымъ типомъ, созданнымъ Пушкинымъ и получившимъ дальнѣйшее развитіе у Островскаго и Алексѣя Толстого, этотъ Шуйскій не выдерживаетъ сравненія.

Но для насъ важно уже то, что у Хомякова Шуйскому вообще дана такая значительная и сравнительно самостоятельная роль. У западныхъ драматурговъ Шуйскому не посчастливилось: у Шиллера (если по недодѣланному эскизу позволено произнести окончательное сужденіе) онъ—общее мѣсто, самый ординарный *Gegenspieler*; у Геббеля—тоже; Шуйскій Лаубе и Сиверса только курьезное недоразумѣніе. Совсѣмъ не то у нашихъ драматурговъ—здѣсь Шуйскій стоитъ на первомъ планѣ; всѣ противныя Самозванцу силы воплощаются въ его лицѣ. Борьба между нимъ и Дмитріемъ составляетъ главное содержаніе почти всѣхъ русскихъ драмъ о Самозванцѣ, начиная еще съ Сумарокова; у одного Хомякова, какъ мы видѣли, центръ тяжести передвинуть. У многихъ Шуйскій даже заслоняетъ Дмитрія—онъ проще, понятнѣе, основныя черты его характера точно опредѣлены, такъ что изъ него можно сдѣлать живое лицо, даже не обладая особымъ даромъ творчества.

Драматическая хроника *А. Н. Островскаго* прямо озаглавлена «Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій». Тутъ все дѣйствіе сводится къ борьбѣ между хитрымъ и честолюбивымъ Шуйскимъ и слишкомъ довѣрчивымъ Самозванцемъ. Въ характеристикѣ Шуйскаго нѣтъ недомолвокъ и неясностей, какъ у Хомякова. Онъ идетъ противъ Дмитрія съ совершенно опредѣленнымъ намѣреніемъ—стать царемъ московскимъ. Въ выборѣ средствъ къ достиженію цѣли онъ не стѣсняется:

Отнынѣ каждый помысль,
И каждый шагъ ведутъ меня къ престолу;
Умомъ, обманомъ, даже преступленьемъ
Добьюсь вѣнца! (Ч. I, сц. 1).

Помилованный Дмитріемъ, Шуйскій быстро входитъ къ нему въ милость, потворствуетъ всѣмъ его прихотямъ, подстрекаетъ его къ неразумнымъ поступкамъ, и въ роковую ночь на 17-ое мая застаетъ его врасплохъ. Всѣ свои темныя дѣла онъ совершаетъ подъ маской смиреннаго благочестія.

Василій свѣтъ Иванычъ
Что ни начни, все свято у него!
Завѣдомо мошенничать сберется,
Иль видимую пакость норовить,
А самъ, гляди, вздыхаетъ съ постной рожей,
И говорить: Святое дѣло, братцы! (Ч. II, сц. 3).

Финаль хроники совершенно аналогиченъ «Дмитрію Самозванцу» Хомякова. Голицынъ повторяетъ только слова Ляпунова:

Крамольнику не слѣдъ короноваться!
Крамолой съль Борисъ, а Дмитрій силой:
Обоимъ тронъ московскій сталъ могилой.
Для Шуйскаго примѣровъ не довольно;
Онъ хочетъ сѣсть на царство самовольно—
Не царствовать ему! На тронъ свободный
Садится лишь избранникъ всенародный!

Самозванецъ обрисованъ менѣе удачно. Подобно Пушкинскому онъ легкомысленъ, отваженъ, гордъ. Голова его полна фантастическихъ плановъ, онъ хочетъ завоевать Крымъ, хочетъ прибить «Олеговъ щить къ воротамъ Цареграда»:

Если я не Дмитрій,
То сынъ любви иль прихоти царевой.
Я чувствую, что не простая кровь
Течеть во мнѣ: войнолюбивымъ духомъ
Кипитъ душа—побѣдъ, коронъ я жажду,
Мнѣ битвъ кровавыхъ нужно, нужно славы,
И цѣлый свѣтъ въ свидѣтели геройства
И подвиговъ моихъ... (ч. I, сц. 3).

Но рядомъ съ такими чертами этому Дмитрію присущи и другія, вносящія дисгармонію въ общее изображеніе его характера. Въ монологѣ передъ трономъ Грознаго Дмитрій говоритъ о себѣ:

Царскимъ сыномъ
Я назвался не самъ. Твои бояре
Давно меня царевичемъ назвали
И съ торжествомъ и злобнымъ смѣхомъ въ Польшу
На береженье отдали. Не самъ я
На Русь пошелъ; на смѣну Годунова
Давно зоветъ меня твоя столица. (ч. I, сц. 3).

А въ послѣдней сценѣ онъ говоритъ заговорщикамъ:

Зачѣмъ меня вы прежде не убили,
Пока я былъ ничтоженъ, какъ и вы?
Зачѣмъ меня на царство допустили
И дали мнѣ извѣдать сладость власти,
Начать дѣла геройскія и славу
Побѣдъ своихъ заранѣ предвкушать!
И наканунѣ подвиговъ всемирныхъ
Пришли въ лицо мнѣ бросить слово: „воръ!“

Выходитъ такимъ образомъ, что Дмитрій дѣйствовалъ не по собственной волѣ, а былъ только орудіемъ партіи, орудіемъ и жертвой въ одно время. Его натолкнули на дѣло, которое оказалось ему не по силамъ. Но если такъ, то всѣ его мечтанія — пустыя бредни, его державныя, гордыя рѣчи—фразѣрство. Такой взглядъ на Самозванца, конечно, допустимъ, можно даже создать очень интересный типъ ³²⁾, но бѣда въ томъ, что А. Н. Островскій вовсе не такъ смотрѣлъ на Лжедмитрія. Онъ относится къ нему съ нескрываемою симпатіей; Дмитрій цѣлой головой выше окружающихъ его; онъ ясно сознаетъ темныя стороны русскаго быта:

Вездѣ, во всемъ вы властвуете страхомъ;
Вы женъ своихъ любить васъ научили
Побоями и страхомъ; ваши дѣти
Отъ страха глазъ на васъ подвѣять не смѣютъ;
Отъ страха пахарь пахнетъ ваше поле,
Идетъ изъ страха воинъ на войну..
Отцы мои и дѣды, государи,
Въ ордѣ татарской, за широкой Волгой,

³²⁾ Ср. выше замѣчаніе Шиллера по поводу Варбека, какъ отнесся бы къ сюжету комикъ.

По ханскимъ ставкамъ страха набирались
И страхомъ править у татаръ учились.
Другое средство лучше и надежнѣй —
Щедротами и милостью царить! (ч. I, сц. 3).

Помилованіе имъ Шуйскаго актъ не только сердечной доброты, но и политической мудрости. А въ сценѣ съ Марѳой Димитрій является умнымъ и краснорѣчивымъ ораторомъ, умѣющимъ подѣйствовать одинаково на умъ и на сердце слушателя. Эта сцена (ч. I, сц. 5) для насъ имѣетъ особое значеніе, такъ какъ она представляетъ собой явное подражаніе Шиллеру. Сходна прежде всего внѣшняя обстановка — царскій шатеръ, передъ которымъ въ ожиданіи толпится народъ. Какъ у Шиллера, Димитрій бросается въ объятія Марѳы, но она отстраняетъ его. Не найдя въ ней *матери*, онъ обращается къ *царицѣ*:

Пока ты въ заключеньи
Среди старухъ, отжившихъ и бранчивыхъ,
Постомъ невольнымъ изнуряла тѣло,
И молодость свою въ слезахъ губила...
Я тронъ тебѣ готовилъ, я злодѣевъ
Твоихъ губилъ... я очистилъ
Широкій путь тебѣ въ твою столицу;
А ты взглянуть не хочешь на меня
И гонишь прочь, какъ недруга?

Не убѣдивъ ее доводами разсудка, онъ, точь-въ-точь какъ Шиллеровскій Димитрій, пытается подѣйствовать на ея чувство, растрогать ее:

Много-ль нѣжвой ласки
Ты видѣла отъ сына? И не скучно
Безъ ласки жить тебѣ?.. Ребенкомъ малымъ,
Играючи, онъ прибѣгалъ къ тебѣ
Склонить свою головку на колѣни
И засыпать подъ шопоть нѣжныхъ словъ;
Другой любви и ласки онъ не вѣдалъ.
Прошло и то, и рано ты осталась
Съ сиротскими слезами вѣковать!
Припалъ ли онъ хоть разъ къ твоимъ колѣнямъ
Царемъ въ вѣнцѣ и бармахъ Мономаха
При радостныхъ слезахъ всего народа?
Просилъ ли онъ себѣ благословенья
Землею править, судъ и правду дѣять,
Прощать виновныхъ именемъ священнымъ
Царицы матери, несчастнымъ слезы
Ея руками утирать?

И—опять полная аналогія съ Шиллеромъ—побѣжденная его краснорѣчіемъ Марѳа плачетъ. Тогда Димитрій открываетъ полу палатки и оба выходятъ къ народу.

Неопредѣленный, колеблющійся характеръ Самозванца главный и, къ сожалѣнію, очень крупный недостатокъ хроники Островскаго. Критика 60-хъ годовъ объясняла эту неясность характеристики вліяніемъ, которое на драматурга будто бы оказали «Очерки изъ исторіи смуты» Н. И. Костомарова. Но покойный историкъ самъ опровергъ это утвержденіе, со-

общая, что онъ имѣлъ манускриптъ «Димитрія Самозванца» въ рукахъ еще до появленія въ печати его «Очерковъ»³³⁾.

Гораздо слабѣ хроники А. Н. Островскаго драма Н. А. Чаева «Димитрій Самозванецъ». Это — переложеніе главы изъ учебника въ разговорную форму. Дѣйствующія лица говорятъ не то въ стихахъ, не то въ прозѣ, какимъ-то дѣланно-архаическимъ языкомъ. Димитрій — самозванецъ сознательный, но не Отрепьевъ, и не орудіе боярской партіи. «Не ты ли, сила пододонная, не ты ли уже несла сюда меня, гуляку запорожца, на царскій тронъ?» говоритъ онъ и нѣсколько далѣе очень любезно даетъ понять публикѣ, какъ онъ попалъ на престоль: «Вотъ не понадобится я отцамъ святымъ (иезуитамъ), пожалуй и не быть бы мнѣ на царствѣ. Путь скользкій, да коли другого не было». Какъ жалокъ этотъ Димитрій въ сравненіи не только съ идеальнымъ героемъ Шиллера и Хомякова, но и съ Самозванцемъ Островскаго! Зритель все время недоумѣваетъ, какъ этотъ опьяненный своимъ счастьемъ, глуповатый молодецъ хоть на одинъ день могъ обморочить цѣлый народъ. Самъ онъ совершенно неспособенъ къ той роли, которую ему навязали, чуть ли не противъ его воли. Да и гибнетъ онъ въ концѣ концовъ отъ собственной глупости. Ставъ царемъ, онъ воображаетъ, что можетъ дѣлать все, что угодно, онъ позволяетъ полякамъ безчинствовать и осквернять храмы, и когда его предостерегаютъ, то объявляетъ: «Кто посягнетъ на меня, небесъ посланника? Все рухнетъ передо мной. Такихъ людей до совершенья дѣла ни мечъ, ни пуля не берутъ. Они хранимы вышею рукой». (д. 4). Это не легкомысліе Эгмонта, и не слѣпота Валленштейна, а попросту блажь, за которую «гуляка-запорожецъ» терпитъ строгое, но заслуженное наказаніе.

Мотивы возстанія бояръ и народа противъ Лжедмитрія у г. Чаева исключительно религіозные. Черкасскій, Мстиславскій, даже Василій Шуйскій — прежде всего ревнители святой старины. «Безъ ученія плохо», говоритъ Шуйскій одному изъ поляковъ, «а все проживешь; вотъ безъ вѣры нельзя прожить». (д. 5). Картина борьбы между двумя партіями такимъ образомъ значительно суживается, но и при такихъ условіяхъ можно было бы изобразить ее живѣе и полнѣе, не ограничиваясь одной внѣшней стороной. А внѣшняго блеска и шума въ драмѣ г. Чаева очень много. Въ пьесѣ 18 картинъ, масса народныхъ сценъ, не опущено ничего, что могло бы поразить, произвести эффектъ. Сцены свиданія Димитрія съ матерью, представляющей только психологическій интересъ, нѣтъ, зато есть торжественный въѣздъ Самозванца въ Москву, съ музыкой, лошадьми, бряцаніемъ оружія; есть балъ-маскарадъ, на которомъ

³³⁾ „Голосъ“ 1867 г. № 89.

Димитрій, поощряемый поляками, напивается до-пьяна и ведет себя крайне неприлично и т. д. и т. д.

Что г. Чаевъ писалъ свою драму совершенно независимо отъ Шиллера, кажется, уже ясно изъ всего вышесказаннаго. Его Димитрій съ вѣшной стороны можетъ быть и болѣе похожъ на историческаго, чѣмъ Шиллеровскій, но онъ не живое лицо. Недостаточно съ большей или меньшей точностью воспроизвести рядъ традиционныхъ чертъ, нужно возсоздать *типъ*. Шиллеръ этого можетъ быть и не сдѣлалъ бы, но онъ создалъ бы свой новый типъ, настолько жизненный и правдивый, что въ *этомъ* видѣ образъ перваго Лжедмитрія перешелъ бы въ потомство, какъ случилось съ Валленштейномъ, съ Маріей Стюартъ. Не такими, какими они представлены въ современныхъ лѣтописяхъ, живутъ эти историческія лица въ нашемъ воображеніи, а такими, какими создалъ ихъ вновь великій художникъ слова.

Несомнѣнное и сильное вліяніе Шиллеръ оказывалъ на другого русскаго писателя—графа А. К. Толстого. Среди выдающихся нашихъ поэтовъ нѣтъ ни одного, произведенія котораго доставляли бы такую обильную пищу любителямъ выискивать разныя заимствованія и подражанія, какъ произведенія гр. А. Толстого. Въ его лирикѣ слышатся то Гёте, то Гейне, то Ленау, «Донъ-Жуанъ» безъ «Фауста» немислимъ такъ же, какъ «Царь Борисъ» безъ «Макбета». И все-таки Толстой не простой подражатель. Онъ беретъ мотивы для своихъ твореній отовсюду, но на все кладетъ свой отпечатокъ. Свое и чужое переплетаются у него въ одну, поражающую красотой и гармоніей, мозаику.

Вліяніе Шиллера на Ал. Толстого подмѣтить не трудно. Царь Борисъ родной братъ не только Макбета, но и Валленштейна. А Шиллеровскій Максъ Пякколомини является у Толстого какъ бы раздвоеннымъ въ лицѣ царевича Феодора Борисовича и датскаго принца Христіана.

Изъ «Димитрія» Толстой много заимствовать не могъ, уже потому, что у него Самозванецъ вовсе не появляется на сценѣ, а играетъ лишь роль таинственнаго и грознаго призрака, носящаго гибель преступнику на Рюриковомъ престолѣ. Тѣмъ не менѣе кое-гдѣ подражаніе Шиллеру очевидно. Я не могу избавиться отъ мысли (можетъ быть и ошибочной), что первая сцена «Смерти Іоанна Грознаго» навѣяна сценой Сейма у Шиллера, гдѣ Сапѣга, выступающій съ особымъ мнѣніемъ противъ всего собранія, играетъ точъ въ точъ такую же роль, какъ Сицкій въ боярской думѣ. Но если тутъ еще возможно предположить случайное совпаденіе, то ничѣмъ инымъ, какъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ Шиллера, не объясняется сцена между царемъ и вдовствующей царицей Марѳой въ 4 актѣ «Царя Бориса». Тутъ мало ссылки на общій источникъ. У Шиллера къ Марѳѣ въ монастырь приходитъ патріархъ, у Толстого самъ

царь съ царицей. У Шиллера Ювъ уходитъ, не добившись ничего, у Толстого Марѳа выдаетъ себя, будучи поставлена лицомъ къ лицу съ мамкой царевича Дмитрія, Василисой Волоховой. Таковы различія, они не существенны. Во всемъ остальномъ—полнѣйшее сходство. И здѣсь и тамъ гость сначала говоритъ ласково, выражая полную увѣренность, что Марѳа не допуститъ надругательства надъ памятью сына и обличить Самозванца. И тутъ и тамъ Марѳа отвѣчаетъ изъявленіемъ радости и благодарности Творцу, что сынъ ея отыскался, и пріѣтствуетъ идущаго на Москву героя, какъ своего избавителя и мстителя. Когда ей стараются доказать, что царевичъ умеръ, что онъ не могъ спастись, она отвѣчаетъ, что не видѣла его тупа, не присутствовала при совершеніи злодѣйства, что могла произойти ошибка. Она ликуетъ, что настала часъ, когда она можетъ отплатить Борису за всѣ оскорбленія и униженія. Указаніе на бѣдствія, которыя навлечетъ на всю страну ея отказъ обличить Самозванца, не трогаегъ ее, допросчикъ уходитъ и Марѳа въ страстномъ монологѣ даетъ волю своимъ расходившимся чувствамъ. Сопоставимъ нѣсколько отрывковъ этой сцены, чтобы показать, какъ сильно германскій поэтъ вліялъ на русскаго.

Шиллеръ.

„Если бъ я подъ сердцемъ не носила
Его, теперь подъ сердцемъ мщенье носить
Его же. Я того усыновлю,
Кого мнѣ возродили небеса.
Мой сынъ! Мой сынъ! Онъ живъ! Онъ
недалеко!
Долой, тиранъ, съ престола! Трепещи!
Вконецъ не сгибла Рюрикова отрасль,
И царь грядетъ, наслѣдный царь грядетъ
Спросить у вѣрноподанныхъ отчета!
Онъ! Онъ! Идетъ вооруженно—
Спасти меня и отомстить врагу!
Я слышу звуки громкихъ трубъ и бубновъ!
Сбирайтесь отъ сѣвера и юга,
Изъ всѣхъ степей, изъ вѣковыхъ лѣсовъ,
Всѣ языки, державному навстрѣчу!
Онъ у меня во власти—только слово,
Одно вотъ слово—и ему конецъ!
Пусть онъ убьетъ меня, пусть заглушитъ
Могилою мой голосъ иль темницей...
Но одного не можетъ онъ: вѣтъ
Мнѣ говорить, чего я не хочу!

Толстой.

Мой сынъ
Тобой убить. Судьба другого сына
Послала мнѣ—его я принимаю!
Димитріемъ зову его! Приди,
Приди ко мнѣ, воскресшій мой Димитрій!
Приди убійцу свергнуть твоего!
Да, онъ придетъ! Онъ близко, близко—вижу
Побѣдные его ужъ блещутъ стяги;
Онъ подъ Москвой—предъ именемъ его
Отверзлися кремлевскія ворота—
Безъ бою онъ вступаетъ въ городъ свой—
Народный илескъ я слышу, льются слезы—
Димитрій царь! И къ конскому хвосту
Примкнутого тебя, его убійцу,
Влекутъ на казнь!
Ушли! И жало жгучее уносятъ
Въ своихъ сердцахъ. Я ранила ихъ на смерть,
Я, Дмитріева мать! Теперь ихъ дни
Отравлены! Безъ сна ихъ будутъ ночи!
Лишь отъ меня спасенія онъ ждалъ—
Я не спасу его! Пусть занесенный
Топоръ падетъ на голову ему!

Сходятся Шиллеръ и Толстой еще и въ томъ, что у обоихъ Марѳа— женщина въ полномъ расцвѣтѣ силъ, лѣтъ 45, много 50-ти, а не ветхая старуха, какъ у Хомякова и особенно у Островскаго.

Дать критическую оцѣнку «Трилогіи» гр. Толстого не входитъ въ рамки нашей задачи. Да эта оцѣнка давнымъ-давно уже дана и три драмы гр. Толстого признаны если не классическими, то лучшими послѣ «Бориса Годунова» образцами русской исторической драмы.

Остается упомянуть еще драму гр. А. А. Голенищева-Кутузова «Смута». Герой ея, однако, не Самозванецъ, который является только въ первыхъ двухъ актахъ, а Василий Шуйскій. Въ послѣднемъ дѣйствіи мы видимъ его въ Варшавѣ, гдѣ пораженный гордымъ величіемъ опальнаго царя король Сигизмундъ проситъ его «въ Польшѣ быть не плѣнникомъ, а гостемъ».

Драма написана красивыми стихами, въ ней не мало удачныхъ деталей (пиръ у Самозванца, сцена между Мариной Мнишекъ и царицей Марѳой), но авторъ поставилъ себѣ слишкомъ широкую задачу: на протяженіи пяти актовъ дать картину всей смутной эпохи. Сама собой драма разбилась на рядъ иногда очень милыхъ жанровыхъ картинокъ. Жанровыя картинки въ драмѣ, носящей заглавіе «Смута»! Это какъ будто несообразно, а между тѣмъ это такъ. Сильныя страсти, массовыя сцены гр. Голенищеву-Кутузову не по силамъ. Недаромъ о гибели Самозванца мы узнаемъ лишь изъ неестественно-длиннаго монолога Шуйскаго въ началѣ 3-го акта.

Ради курьеза назову еще одно драматическое произведеніе о Лжедмитріи. Это—пѣса нѣкоего Н. Пушкирева «Ксенія и Лжедмитрій», шедшая въ 80-хъ годахъ на одной изъ частныхъ сценъ Москвы, но безъ успѣха. Мнѣ не удалось познакомиться съ ней, но, помню, читалъ въ какой-то рецензій, что въ первомъ актѣ этой драмы на сценѣ строится эшафотъ; затѣмъ приводятъ приговореннаго къ смерти за убійство палатина слугу воеводы и тутъ неожиданно открывается, что этотъ слуга—московскій царевичъ. Все это—очевидное заимствованіе у Шиллера, чтобы не сказать плагиатъ.

Мы рассмотрѣли всѣ болѣе извѣстныя драмы о первомъ Самозванцѣ. Ни одна не могла насъ вполне удовлетворить. Лжедмитрій—одна изъ тѣхъ темъ, которыя долго, иногда на протяженіи столѣтій, переходятъ изъ рукъ въ руки, пока не попадаютъ къ первоклассному мастеру. Легенда о Фаустѣ обрабатывалась много разъ, но послѣ Гете новый «Фаустъ» немислимъ³⁴⁾. Не хочется вѣрить, чтобы историческая трагедія въ наши дни окончательно отжила свой вѣкъ. Можетъ-быть, наступившее 20-ое столѣтіе подаритъ

³⁴⁾ «Фаустъ» Лепану не опровергаетъ, но, напротивъ, подтверждаетъ это мнѣніе.

намъ истинную, образцовую трагедію о Самозванцѣ. Авторъ этой трагедіи соединить возвышенную смѣлость идеи съ реализмомъ формы. Потрясающая психологическая драма, задуманная Шиллеромъ, разыграется на вѣрномъ до мелочей исторически-бытовомъ фонѣ. И тогда Лжедмитрій станетъ рядомъ, какъ равный, съ Фаустомъ и Донъ-Жуацомъ, съ Гамлетомъ и Донъ-Кихотомъ.

Москва,
4-го апрѣля 1901 г.

Артуръ Лютеръ.

Заканчивая свою работу, авторъ считаетъ долгомъ выразить искреннюю признательность д-ру А. Р. Еллинеку (Вѣна) за любезное сообщеніе библиографическихъ свѣдѣній.





Два письма А. П. Зонтагъ. и Д. В. Григоровича.

Предлагаемыя письма найдены въ «Дѣлѣ о Тульской Публичной библіотекѣ», хранившемся въ архивѣ тульского дворянскаго депутатскаго собранія, при которомъ состоитъ она, а теперь переданномъ въ самую библіотеку.

Судьба послѣдней довольно интересна, хотя и представляетъ обыкновенную исторію всѣхъ благихъ начинаній, въ выполненіи которыхъ мало заинтересованы лица, призванныя къ этому. Библіотека обязана своимъ существованіемъ циркуляру министра Внутреннихъ дѣлъ отъ 5-го іюня 1830 г. «О заведеніи въ губерніяхъ публичныхъ библіотекъ» *), мысль о чемъ была подана министру президентомъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества адмираломъ Мордвиновымъ. На учрежденіе публичныхъ библіотекъ возлагали, какъ видно изъ копии съ указаннаго циркуляра, большія надежды. Полагали, что «кромѣ чтенія выходящихъ на Россійскомъ языкѣ книгъ, учрежденіе подобныхъ библіотекъ возродитъ духъ общественности, откроетъ большой сбытъ для хорошихъ сочиненій по части наукъ и промышленности, и будетъ не только эпохой народныхъ улучшеній, но и памятникомъ счастливаго и благодѣтельнаго царствованія Его Императорскаго Величества, Всемилостивѣйшаго Государя нашего». Но этимъ надеждамъ, по крайней мѣрѣ въ данномъ случаѣ, не суждено было осуществиться. Правда, былъ выработанъ уставъ, по которому надзоръ за библіотекой поручался комитету подъ предсѣдательствомъ губернатора. Но это нисколько не подвинуло дѣла впередъ, и библіотека до 50-хъ годовъ оставалась для публики недоступной потому только, что не была открыта. Открытіе ея послѣдовало лишь при губернаторѣ П. М. Дараганѣ (былъ губернаторомъ съ 26 окт. 1850 г. до 1865 г.). Въ 1856 г. Дараганъ обратился къ нѣкоторымъ лицамъ, уроженцамъ Тульской губерніи, преимущественно писателямъ, съ приглашеніемъ пожертвовать свои сочиненія въ Тульскую Публ. библіотеку. Почти всѣ приглашенныя лица

*) Копія съ этого циркуляра также хранится при дѣлѣ.

отозвались на него и прислали свои сочиненія, а также и отвѣтныя письма, адресованныя на имя П. М. Дарагана. Таково происхождение печатаемыхъ здѣсь писемъ. Но обратимся опять къ судьбѣ библіотеки. Несчастія не переставали преслѣдовать ее и послѣ открытія. Въ 1861 г. губернаторомъ назначена была ревизія библіотеки, по которой оказалось, что пропало болѣе 200 томовъ книгъ и журналовъ. Виновниковъ этой пропажи не открыли и дѣло было предано забвенію. Изъ дальнѣйшей судьбы библіотеки слѣдуетъ отмѣтить переходъ ея къ Губернскому Статистическому комитету, а затѣмъ снова возвращеніе къ дворянскому депутатскому собранію, состоя при которомъ Тульская Публ. библіотека продолжаетъ влечь свое жалкое существованіе и по настоящее время.

Всѣхъ писемъ въ дѣлѣ хранится 21, но мы выбрали изъ нихъ только два, въ виду ихъ болѣе общаго интереса и сравнительной важности, какъ матеріала для характеристики ихъ авторовъ.

Николай Кашиинъ.

Тула, 1901 г., января 18-го.

І. Письмо А. П. Зонтагъ.

«Милостивый Государь

Петръ Михайловичъ!

«Обязательное письмо, которымъ Вашему Превосходительству угодно было почтить меня, заставило меня краснѣть. Я никогда не имѣла притязанія на почетное званіе писательницы; довольствовалась скромнымъ именемъ дѣтской сказочницы и радовалась непритворнымъ ободреніемъ малолѣтней публики, для которой писала. Честь занимать мѣсто въ Тульской Библіотекѣ слишкомъ велика для моихъ книжонокъ; однако, я непремѣнно послѣдовала бы примѣру Алексѣя Иракліевича Левшина*), отправивъ къ Вашему Превосходительству всѣ мои сочиненія, если бы ихъ имѣла; но господинъ Левшинъ счастливѣе меня; его творенія уцѣлѣли, а моихъ повѣстей не осталось ни одного экземпляра, ни у меня, ни у кого изъ продавцовъ; послѣдній бывший у меня экземпляръ въ Триестѣ, у моей внучки. Повѣсти мои будутъ перепечатаны новымъ умноженнымъ и

*) А. И. Левшинъ, также тульскій помѣщикъ, былъ тогда товарищемъ министра Внутреннихъ Дѣлъ (1854—1859 г.).

исправленнымъ изданіемъ, и по мѣрѣ, какъ станутъ выходить изъ печати долгомъ сочту доставлять ихъ въ Тулу на имя Вашего Превосходительства. Теперь же я не имѣю ничего, кромѣ двухъ экземпляровъ Священной Исторіи 5-го и 6-го изданія. Посылаю экземпляръ 5-го изданія, какъ лучший, ибо въ 6-омъ изданіи Священная Исторія искажена и обезображена цензурою, той самою цензурою, черезъ руки коей она прошла благополучно уже пять разъ. Книга эта будетъ отправлена, какъ скоро переѣнится на ней нѣсколько обветшалый переплетъ.

«Съ глубочайшимъ почтеніемъ и совершенною преданностью честь имѣю быть

Вашего Превосходительства

покорною слугою

Анна Зонтагъ».

Ноября 3-го

1856 года.

Село Мишенское.

На письмѣ помѣтка 5 ноября. Съ лѣваго боку надпись: Въ Библіотеку.

II. Письмо Д. В. Григоровича.

«Ваше Превосходительство

Милостивый Государь

Петръ Михайловичъ!

«Получивъ извѣстіе, чрезъ милостивое письмо Ваше, объ устройствѣ Тульской библіотеки, я истинно, душевно обрадовался. Нѣтъ сомнѣнія, я приложу все свое стараніе, чтобы содѣйствовать къ пополненію библіотеки, которая, благодаря просвѣщенному покровительству Вашему, принесетъ нашему обществу вѣрную пользу. Распространеніе просвѣщенія въ нашемъ отечествѣ составляетъ такую высокую, такую благородную цѣль, что я увѣренъ, всѣ наши литераторы, не стѣсняясь узкою рамкой губернскаго патриотизма, примутъ участіе въ нашемъ дѣлѣ и съ величайшею радостью дадутъ намъ свои произведенія. Надѣюсь, Ваше Превосходительство, Вы не откажете мнѣ въ чести быть въ настоящемъ случаѣ Вашимъ усерднѣйшимъ помощникомъ. По пріѣздѣ моемъ въ Петербургъ, я переговорю со всѣми литераторами, находящимися теперь въ столицѣ, и не замедлю выслать Вамъ все, что явилось въ послѣднее время хоть сколько-нибудь достойное вниманія. Приложу къ этому и свои собственные романы. Что же касается до моихъ повѣстей и рассказовъ,—полное ихъ собраніе въ четырехъ томахъ должно выйти въ непродолжительномъ времени. Продажа этихъ повѣстей,—пять лѣтъ тому назадъ,—профессору

Погодину сдѣлала то, что онѣ явились во Французскомъ и Англійскомъ переводѣ прежде, чѣмъ вышли у насъ въ особомъ изданіи. Послѣдній разъ, какъ я имѣлъ честь бесѣдовать съ Вами, я просилъ у Васъ позволенія поднести Вамъ мои романы. До настоящей минуты я не могъ этого исполнить; изданіе нѣкоторыхъ изъ романовъ, какъ напримѣръ «Рыбаковъ» — совершенно почти истоцилось; другіе вновь печатались. Зная расположеніе Ваше къ литературѣ и дорожа Вашимъ мнѣніемъ, — мнѣ, весьма натурально, хотѣлось представить Вашему вниманію всю мою литературную дѣятельность. Къ сожалѣнію моему, я и могъ только собрать мои романы. Прошу васъ сдѣлать мнѣ честь, принять ихъ, но не въ библиотеку, куда я пришлю особые экземпляры — а лично, на память и въ знакъ того истинно-глубокаго уваженія и почитанія, съ какими имѣю честь быть

Вашего Превосходительства
покорнымъ слугою
Д. Григоровичъ.

Ноября 26-го
1856 г.
С. Дулебино.





Глава изъ неизданныхъ записокъ.

I.

Надъ литературной и личной судьбой Тургенева всегда тяготѣло какое-то недоразумѣніе, что-то недоговоренное... Великій писатель; будившій самыя благородныя мысли, одинъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени, обаятельный собесѣдникъ, доступный, прिवѣтливый, независимый, онъ не пользовался той популярностью, на которую, казалось, имѣлъ всѣ права.

Было два-три момента, когда духовный подъемъ и праздничное настроеніе русскаго общества какъ будто сломили непонятное предубѣжденіе противъ автора «Записокъ охотника». Въ 1879 г. московскій университетъ восторженно прिवѣтствовалъ нашего художника-гуманиста; въ пушкинскіе дни онъ хотя и не былъ предметомъ истерическихъ овацій, какъ Достоевскій, но всѣ взоры съ любовью обращались въ ту сторону, гдѣ бѣлѣла его прекрасная бѣлоснѣжная голова. По возвращеніи въ Парижъ, онъ рассказывалъ, какъ онъ былъ умиленъ и взволнованъ проявленіями къ нему общей симпатіи. Особенно растрогалъ его слѣдующій случай. Ему пришлось читать (кажется, въ благородномъ собраніи) стихотворенія Пушкина. Онъ вышелъ на эстраду. Его встрѣтили дружныя, продолжительныя аплодисменты. Воспользовавшись первой паузой, онъ началъ: «Послѣдняя туча разсѣянной бури»—и съ ужасомъ убѣдился, что забылъ слѣдующій стихъ. «Я еще разъ пробормоталъ: послѣдняя туча разсѣянной бури—рассказывалъ Иванъ Сергѣевичъ—и опять остановился... хотѣлъ ужъ повиниться въ стариковскомъ безпамятствѣ... Но тутъ публика, какъ одинъ человекъ, мнѣ подсказала: одна ты несешься по ясной лазури...—я благополучно кончилъ—и мнѣ же хлопали»...

Но отошли пушкинскіе дни... Опять повѣяло холодомъ... и въ отношеніи общества къ Тургеневу опять наступило равнодушіе, за которымъ онъ всегда чувствовалъ глухое, затаенное раздраженіе.

Правда, смерть Тургенева вызвала такой взрывъ скорби, такую еди-
нодушную печаль, какой рѣдко приходится быть свидѣтелемъ. Его похоро-
ны представляли поистинѣ величественное зрѣлище. Такъ страна опла-
киваетъ только лучшихъ своихъ дѣтей. Но... не успѣли еще стихнуть
боль и горечь невознаградивой утраты, какъ сначала во французской
прессѣ, а затѣмъ и въ русской, стали появляться довольно своеобразныя
«Воспоминанія». Русскій авторъ французскихъ воспоминаній изобразилъ
Тургенева человѣкомъ малодушнымъ, неискреннимъ, который въ глаза
расточалъ комплименты, а за глаза всѣхъ высмѣивалъ — не исключая и
корифеевъ французской литературы, имѣвшихъ наивность считать себя
его друзьями. Эти разоблаченія «интимнаго Тургенева» произвели въ па-
рижскомъ литературномъ мѣрѣ сенсацію, и ближайшимъ ихъ послѣдствіемъ
явились заключительныя строки въ книгѣ Alphonse Daudet «30 ans de
Paris». Авторъ, недоумѣвая, зачѣмъ Тургеневу было притворяться, кри-
вить душой — съ грустью восклицаетъ: «и этого человѣка я считалъ
своимъ другомъ! онъ былъ въ моемъ домѣ желаннымъ гостемъ, ласкалъ
моихъ дѣтей... О пронія!» Русскія воспоминанія (г.г. Виницкой и Голова-
чевой-Панаевой, напримѣръ), тоже не страдаютъ излишней *piété* къ
памяти великаго писателя. Тургеневъ въ нихъ рисуется мелкимъ фатомъ,
завистникомъ, сплетникомъ, трусливымъ, тщеславнымъ и лживымъ. (Осо-
бенно характерны въ этомъ смыслѣ мемуары Г-жи Панаевой-Головачевой.
Во всѣхъ ея разказахъ о Тургеневѣ ему неизмѣнно отводится самая жалкая,
самая неприглядная роль. Какъ хорошо послѣ этихъ рязвязныхъ харак-
теристикъ отдохнуть на безыскусственныхъ, правдивыхъ страницахъ г-жи
Житовой)! Само собой разумѣется, что одинокіе хулители не имѣютъ се-
рьезнаго значенія. Тургенева почитали и горячо любили лучшіе люди и у
насъ, и на Западѣ. Онъ болѣе, чѣмъ кто-либо, жилъ «mit den besten
seiner Zeit»... И, тѣмъ не менѣе, справедлива французская поговорка:
salomniez, salomniez — il en reste toujours quelque chose... Это нѣчто,
словно ядовитая поросль, вплелось въ лавровый вѣнокъ писателя, кото-
рому любой культурный народъ отвелъ бы одно изъ первенствующихъ
мѣстъ въ своемъ Пантеонѣ.

1880 и 1881 г.г. я провела въ Парижѣ и въ теченіе этого времени—
особенно весной и зимой — часто видала Ивана Сергѣевича. Онъ помогъ
мнѣ разобраться въ запутанной сѣти курсовъ по исторіи, литературѣ
и философіи, которые влекли меня въ аудиторіи Collège de France и
Сорбонны. Мнѣ хотѣлось слушать все и всѣхъ, но Иванъ Сергѣевичъ
настоячиво совѣтовалъ не разбрасываться, а выработать опредѣленную
программу, и самъ указалъ мнѣ на нѣкоторыхъ, по его мишню, наибо-
лѣе для меня полезныхъ профессоровъ. При встрѣчахъ, даже мимолетныхъ,
онъ всегда освѣдомлялся о моихъ занятіяхъ, а иной разъ, въ шутку,
производилъ довольно придирчивый экзамень. Несмотря на необыкновенно

доброе, милое и ласковое обращеніе со мной Тургенева, я въ его присутствіи испытывала такой благоговѣйный страхъ, что въ первое время нашего знакомства, какъ только я входила въ его кабинетъ, всѣ предметы начинали мелькать передъ моими глазами, я буквально не знала, куда сѣсть, что сказать...

Иванъ Сергѣевичъ, конечно, замѣчалъ мое волненіе и, чтобы дать мнѣ оправиться, говорилъ, покачивая головой: опять задохнулась! вѣдь я васъ просилъ не взбѣгать на лѣстницу... и куда торопиться...

Я понемногу успокоивалась, «отходила»; а когда Иванъ Сергѣевичъ, бывало, разговорится, для меня исчезало время и пространство: слушать его можно было безъ конца. Онъ говорилъ очень хорошо и очень просто. Несмотря на долготѣнее пребываніе въ Парижѣ, рѣчь его не напоминала блестящую *sauserie* французовъ. Въ ней была иная прелесть. Онъ всегда владѣлъ предметомъ бесѣды и съ изысканнымъ мастерствомъ, не лишеннымъ лукавства, умѣлъ располагать къ откровенности и даже изліяніямъ робкихъ и замкнутыхъ людей. Чего бы онъ ни касался въ разговорѣ— философіи, религіи, искусства, политики, любви, музыки, злобы дня, личной размолвки,—во всемъ сказывался животворящій духъ его таланта, мягкость и грусть русскаго человѣка съ оттѣнкомъ насмѣшки, сомнѣнія, унынія и надежды. Онъ охотно обращался къ прошлому,—я много слышала отъ него о Достоевскомъ, Толстомъ, Гончаровѣ, Катковѣ, а больше всего о Бѣлинскомъ, о которомъ онъ всегда вспоминалъ съ трогательной нѣжностью, называя его святымъ. Въ послѣдующіе годы мнѣ приходилось встрѣчать и слышать не мало замѣчательныхъ людей и на родинѣ и за границей, но такого чарующаго впечатлѣнія, какъ Тургеневъ, на меня уже никто не производилъ. Иногда я заставляла у Ивана Сергѣевича довольно разнообразное общество, большей частью русское. Его постоянно посѣщали находившіеся проѣздомъ въ Парижѣ соотечественники, молодые ученые, дамы, начинающіе артисты, а главное—«колонія». Такъ называли въ мое время (да кажется, и теперь) учащуюся въ Парижѣ русскую молодежь. Члены этой колоніи не имѣли ничего общаго съ счастливыми обладателями прекрасныхъ отелей въ *Parc Monceau* и *rue de Grenelle St—Germain*,—которыхъ репортеры *Figaro* и *Gil Blas* удостоиваютъ причислять къ «*Tout Paris*». Слова «учащаяся молодежь» употреблялись больше для краткости и по привычкѣ, ибо въ составъ «колоніи» входили самые разнообразные элементы. Тутъ были и молодые, и зрѣлые, и старики, и младенцы, легальные и нелегальные, а больше всего сомнительные, то есть такіе, которые, попавъ въ категорію нелегальныхъ, застыли въ этомъ званіи и приобрѣли его какъ бы въ потомственное почетное гражданство.

При всемъ внѣшнемъ и внутреннемъ разнообразіи своего состава, у «колонистовъ» была одна общая роковая черта, это—ужасающая, почти фантастическая, бѣдность. Сбѣжавшіе по своей и чужой волѣ со всѣхъ

концовъ нашего обширнаго отечества, многіе изъ нихъ на первыхъ порахъ чувствовали себя въ этомъ огромномъ чужомъ Парижѣ совершенно потерянными. Незнакомство съ языкомъ еще болѣе усиливало уныніе. Помню, какъ одинъ молодой человекъ, впоследствии прекрасно овладѣвшій языкомъ, рассказывалъ, что въ началѣ своего пребыванія въ Парижѣ, онъ, голодный, зашелъ въ лавку и спросилъ: «pour deux sous de l'argalète» (на двѣ копейки луку). Лавочница расхохоталась, а онъ чуть не заплакалъ...

Чтобы какъ нибудь существовать, особенно семейнымъ, приходилось пускаться въ ходъ самую невѣроятную изобрѣтательность. Универсальный ресурсъ нашей молодежи — бѣготня по урокамъ—въ Парижѣ не имѣлъ никакого *raison d'être*; учить «русскимъ предметамъ» было некого: въ «колоніи» обученіе дѣтей силой вещей было бесплатное, а въ кругахъ, примыкавшихъ хотя бы отдаленно къ посольству—на соотечественниковъ, ютившихся въ темныхъ мансардахъ латинскаго квартала,—смотрѣли какъ на паріевъ. Когда группа людей, вслѣдствіе неблагоприятныхъ условій, бываетъ выброшена изъ теченія общей жизни—это всегда ведетъ къ искусственному сплочиванію этой группы. Вынужденная возвращаться въ сферѣ однихъ и тѣхъ же интересовъ, подъ гнетомъ нетерпящей отсрочки нужды, она, по наружности, принимаетъ видъ однотонной кружковой массы, а въ дѣйствительности мельчаетъ и озлобляется. Наиболѣе слабыя, часто болѣе впечатлительныя натуры, и вовсе погибаютъ. Нельзя къ одному стволу насильственно привить вѣтки цѣлаго лѣса; можетъ быть сбоку и вытянется какой-нибудь невиданный побѣгъ, но вѣтки завянутъ, да и стволъ развалится въ прахъ... Хроническое недоѣданіе, страхъ за завтрашній день повышали нервозность и подтачивали силы этихъ вольныхъ и невольныхъ переселенцевъ. Инстинктъ самосохраненія заставлялъ прибѣгать ко всевозможнымъ ухищреніямъ — лишь бы уцѣлѣть. Трудно вообразить, сколько изумительныхъ тамъ нарождалось проектовъ, какіе тамъ ежедневно, чуть не ежечасно, открывались дарованія и таланты. Больше всего, конечно, доставалось литературѣ. И всѣ алчущіе и жаждущіе устремлялись—официально за нелицеприятнымъ мнѣніемъ: есть ли молъ талантъ, стоитъ ли продолжать,—а въ сущности за одобреніемъ и поддержкой неизмѣнно въ одно мѣсто: въ rue de Douai, 50, гдѣ жилъ Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Отношеніе «колоніи» къ Тургеневу и Тургенева къ «колоніи» очень любопытно и со временемъ, вѣроятно, найдетъ безпристрастнаго историка. Къ Тургеневу могъ явиться всякій. Онъ ни у кого не спрашивалъ рекомендательныхъ писемъ, ни отъ кого не требовалъ дипломовъ на право существованія, и если бы его не охраняла строгая дисциплина дома Viardot, у него врядъ ли были бы опредѣленные часы для собственныхъ занятій. Сколько талантовъ, начинающихъ и непризнанныхъ, стучалось въ его гостепріимную дверь! и сколько наход-

чивости, какую дипломатическую тонкость онъ проявлялъ, чтобы доставить, въ ожиданіи будущихъ лавровъ, хоть какой нибудь заработокъ новому рабу того ненасытнаго божества, которое зовется «свободное искусство». Къ Тургеневу обращалось такъ много народа, при томъ народа нервнаго, обездоленнаго и издерганнаго, съ болѣзненной чувствительностью и непошрнымъ самолюбіемъ, что при всемъ желаніи онъ не могъ удовлетворить всѣхъ. Онъ такъ чаровалъ своей обходительностью, что при малѣйшей критикѣ или заминкѣ въ осуществленіи обѣщаній—заминкѣ всегда происходившей не по винѣ Тургенева—къ нему начинали относиться холодно, даже враждебно, а втихомолку, случалось, и поругивали. Часто приходилось слышать: Тургеневъ прочиталъ мою повѣсть—и въ восторгѣ! онъ далъ мнѣ самое лестное письмо въ редакцію... (называлось имя журнала) Или: Тургеневу такъ понравилась моя картина, что онъ ее оставилъ у себя, чтобы показать... (называлось имя знаменитости въ художественномъ мірѣ). Протекалъ извѣстный промежутокъ времени. Повѣсть возвращалась автору съ лаконическимъ вердиктомъ «не подходитъ». Картина, по той же причинѣ, не попадала на выставку... Тогда на Ивана Сергѣевича изливался весь ядъ обманутыхъ надеждъ. Онъ одинъ оказывался во всемъ виноватымъ. И письмо то онъ далъ въ редакцію не настоящее, а только, чтобы отвязаться, и картину никому не показывалъ, потому что у него и знакомыхъ-то между вліятельными художниками нѣтъ и т. д. О «неискренности» Тургенева не мало писалось, а еще больше говорилось подъ сурдинку. Какъ могло сложиться такое мнѣніе? Очень просто. Тургеневъ, по мягкости своего характера, не умѣлъ *отказывать*. Ему стоило неимоверныхъ усилій *огорчить* другого, и когда это бывало неизбѣжно, онъ это дѣлалъ въ такой осторожной и нѣжной формѣ, что у заинтересованнаго человѣка могло получиться впечатлѣніе, что Тургеневъ — въ сущности очень доволенъ. Дѣло въ томъ, что когда на судъ Тургенева представляли вещь совсѣмъ бездарную, онъ, по его собственнымъ признаніямъ, всегда начиналъ съ попытки сказать автору свое настоящее впечатлѣніе. Но сплошь да рядомъ авторъ, пораженный своей неудачей, принимался доказывать, что Тургеневъ недостаточно вникъ вглубь произведенія, въ его психологію, цѣль, и не вѣрилъ, что *здесь* (т. е. въ рукописи) «ничего, ничего нѣтъ». Или же просто, безъ реторики, заявлялъ, что *это* для него «жизненный вопросъ». Испуганный Иванъ Сергѣевичъ «размякалъ» (его слово), соглашался, что дѣйствительно *что-то есть* и снабжалъ настойчиваго деюбтанта письмомъ въ какую нибудь редакцію. Само собой разумѣется, вещь возвращали Тургеневу, для передачи по принадлежности. Иванъ Сергѣевичъ смущенно разводилъ руками, говорилъ виноватымъ голосомъ: ужъ это моя судьба!.. Мои рекомендаціи, какъ фальшивый пачпортъ (онъ любилъ такъ произносить это слово) всегда имѣютъ обратный эффектъ.

Послѣ такого «казуса» Тургеневъ долго жаловался знакомымъ, что вотъ молъ, какъ это непріятно вышло. Если ему замѣчали, что лучше бы съ самаго начала не вводить человѣка въ заблужденіе, Иванъ Сергѣевичъ, словно оправдываясь, возражалъ: *онъ* все равно безнадеженъ. Никакой «суровой правдой» вы ему таланта не создадите и ничѣмъ не убѣдите, что таланта у него нѣтъ... А, впрочемъ, кто его знаетъ, можетъ и нащупаетъ что нибудь... что я за провидецъ такой!.. пусть работаетъ... Щепетильная деликатность Тургенева особенно сказывалась въ вопросахъ денежныхъ. Брали у него заимообразно, брали и «такъ». Однажды пришелъ къ нему молодой человѣкъ, бѣдно одѣтый, красивый, поразившій меня своимъ надменнымъ, почти дерзкимъ лицомъ. Онъ поздоровался съ Иваномъ Сергѣевичемъ, отрывисто отвѣтилъ на два-три вопроса, усѣлся въ кресло и сталъ курить. Просидѣвъ такимъ образомъ съ $\frac{1}{4}$ часа, онъ вдругъ брякнулъ:—Тургеневъ, дайте денегъ. Иванъ Сергѣевичъ сконфузился и послѣшно увелъ посѣтителя въ сосѣднюю комнату, притворивъ за собой дверь. Когда оба вернулись, у молодого человѣка горѣли щеки и глаза были потуплены. Тургеневъ любезно проводилъ его до лѣстницы, и затѣмъ, долго объяснялъ, вздыхая, что очень застѣнчивые и робкіе люди, нарочно напускаютъ на себя ухарство, чтобы выйти изъ тяжелаго положенія.

Но какъ радовался и волновался Тургеневъ, когда ему казалось, что вотъ, наконецъ, какъ будто мелькнуло что-то похожее на дарованіе. Тутъ ужъ онъ не говорилъ любезностей, а наоборотъ, подвергалъ самой тщательной критикѣ каждое выраженіе, каждое слово. Помню, какъ онъ убѣждалъ одну совсѣмъ юную писательницу, къ которой онъ благоволилъ, замѣнить слово «плевательница» словомъ «скамеечка». Онъ громко прочиталъ страницу, въ которой описывалось дѣтство героя—печальнаго мальчика, любившаго забираться въ уголъ на «деревянную плевательницу». Иванъ Сергѣевичъ объяснялъ, что добросовѣстная «проба пера»—есть всегда фотографія, но что постепенно, съ развитіемъ опыта и вкуса, фотографія должна уступить мѣсто картинѣ. Нельзя всегда описывать себя и своихъ знакомыхъ (я привожу не текстуальныя выраженія Тургенева, а только ихъ смыслъ), но надо изъ себя, изъ своихъ знакомыхъ, изъ своихъ наблюденій—умѣть извлекать такіе же разнообразныя звуки, какіе извлекаютъ изъ своихъ инструментовъ музыканты. Не всѣ поймутъ и оцѣнятъ мельчайшія тонкости исполненія, но главный мотивъ почувствуютъ всѣ. И чѣмъ талантливѣе виртуозъ, тѣмъ лучше онъ сумѣетъ передать свое настроеніе публикѣ. Вотъ и ваша «мебель», продолжалъ Иванъ Сергѣевичъ, въ большинствѣ квартиръ средней руки, которую вы описываете—есть деревянная скамеечка; мать, или старушка тетка, а то и просто няня, коврыя чулокъ, ставить на нее ноги, тутъ же пристраивается ребенокъ... И я, да и каждый человѣкъ, это сто разъ видѣлъ...

Но васъ поразила «реальная» плевательница и вы этой фотографической подробностью не хотите поступиться.

Писательница энергически отстаивала свою «мебель». Тогда Иванъ Сергѣевичъ просительнымъ тономъ сказалъ: послушайте, подарите мнѣ эту плевательницу! Это было такъ неожиданно, что всѣ засмѣялись; писательница уступила, а Иванъ Сергѣевичъ торжественно зачеркнулъ непріятное ему слово и, нацисавъ другое, промолвилъ: ну, конечно, скамеечка — гораздо удобнѣе.

Въ эту же зиму Тургеневъ очень интересовался однимъ начинающимъ писателемъ N. N., которому онъ всячески покровительствовалъ. Онъ находилъ, что у N. N. тяжелый языкъ, что ему недостаетъ чувства мѣры, но что у него есть положительная литературная способность и принималъ въ его судьбѣ (N. N. сильно бѣдствовалъ) самое живое участие. По этому поводу мнѣ вспоминается эпизодъ, который можетъ служить иллюстраціей независимости Тургенева и того, какъ мало онъ думалъ о личныхъ непріятностяхъ, когда можно было оказать услугу другому. Въ Парижѣ тогда существовалъ клубъ русскихъ художниковъ, учрежденіе, респектабельность котораго была внѣ сомнѣнія. Президентомъ его состоялъ, если не ошибаюсь, князь О., а вице-президентомъ Тургеневъ. Тамъ происходили иногда литературно-музыкальныя собранія, но, по естественному ходу вещей, для «колоніи» доступъ въ это святилище считался невыносимымъ. И вдругъ Тургеневъ предложилъ N. N., человѣку въ ту пору явно непривилегированному — прочесть въ аристократическомъ клубѣ, главу изъ своего романа. Авторъ, раньше никогда не выступавшій передъ публикой, колебался принять это лестное приглашеніе. Тогда Иванъ Сергѣевичъ изъявилъ желаніе самъ прочесть его произведеніе. О такомъ счастьѣ, ни одному новичку и во снѣ не снилось — и авторъ, понятно, былъ наверху блаженства. Извѣстіе это съ быстротою молніи облетѣло всѣ куржки, фракціи и подфракціи колоніи и породило много толковъ и волненій. Всѣ знали, что въ музыкальномъ отдѣленіи вечера примутъ участіе люди во всѣхъ смыслахъ обезпеченные: бывший профессоръ одной изъ нашихъ столичныхъ консерваторій, ученицы M-me Viardot и т. п. Но «словесники» повергли всѣхъ въ изумленіе. Кромѣ романиста, должны были читать поэтъ и дама, ни въ какихъ крамолахъ, правда, не замѣченные, но съ тѣмъ неувлимымъ отгѣнкомъ завиральныхъ «идей», которыя не одобрялъ еще Павелъ Аванасьевичъ Фамусовъ. Всѣхъ занималъ вопросъ: какъ отнесутся сильные міра къ пасынкамъ судьбы, самое существованіе которыхъ принято было считать чѣмъ то неприличнымъ. Многие выражали мнѣніе, что Тургеневъ все это затѣялъ «очертя голову»; иныя, наиболѣе проникательныя особы, простирали свою догадливость гораздо дальше и утверждали, что эта штука придумана «не спроста», и что, Тургеневъ, раскаявшись послѣ «Нови», ищетъ сближенія съ молодежью.

Когда же узнали, что Тургеневъ пригласилъ на вечеръ П. Л. Лаврова, колонія возликовала и была готова окончательно признать «лояльность» Тургенева.

На самомъ дѣлѣ все было неизмѣримо проще, и Тургеневъ, повидимому, даже не подозрѣвалъ, какой онъ причинилъ переполохъ. Незадолго до вечера я получила отъ него записку, въ которой онъ жаловался на подагру и просилъ меня заѣхать къ нему. Я застала его одного. Видно было, что ему не по себѣ: лицо усталое и одѣтъ «по больному»—въ какой-то вязаной курткѣ, ноги въ высокихъ мягкихъ сапогахъ и подъ пледомъ. Кабинетъ у Тургенева былъ небольшой, очень скромно обставленный. Потому ли, что кресла и стулья занимали слишкомъ много мѣста, или просто фигура хозяина казалась слишкомъ громоздкой для такой маленькой комнаты, но на меня, по крайней мѣрѣ, Иванъ Сергѣевичъ въ этомъ кабинетѣ всегда производилъ такое впечатлѣніе, точно онъ не можетъ какъ слѣдуетъ протянуться, точно ему здѣсь тѣсно, неудобно. Когда я вошла, Иванъ Сергѣевичъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ и противъ обыкновенія не поднялся мнѣ навстрѣчу, а только приподнялъ голову и, не выпуская изъ правой руки пера, протянулъ мнѣ лѣвую.

— Присядьте и извините меня, — сказалъ онъ, — я скоро кончу. Почитайте пока; вонъ тамъ (онъ указалъ на столикъ) новая книга «Вѣстника Европы». Я усѣлась и стала потихоньку перелистывать страницы журнала, искоса поглядывая на Ивана Сергѣевича. Онъ быстро писалъ, энергически вычеркивая то строчку, то слово, и приговаривая: «Этакая бессмыслица... этакая грубая безграмотная лесть... пишеть, какъ портной Сидоровъ изъ Парижа...»

Вдругъ онъ меня позвалъ. «Взгляните сюда, прочтите эту страницу».

Я стала читать и не могла удержаться отъ смѣха. Это было полное отрицаніе орѳографіи. Можно было подумать, что авторъ задался цѣлью нарочно писать всѣ слова на выворотъ. Оказалось, что Иванъ Сергѣевичъ исправлялъ въ «потѣ лица», какъ онъ выразился, не то отчетъ, не то проектъ, какого-то своего знакомаго художника—къ одному весьма высокопоставленному меценату. Я предложила Ивану Сергѣевичу исправить грамматическія ошибки. Онъ видимо обрадовался, усадилъ меня на свое мѣсто и сказалъ: «Исправляйте все, я послѣ просмотрю; главное, попроще, а то тутъ такіе есть перлы семинарско-кадетской реторики!... нарочно ни за что не придумать... я кое-что даже записалъ для памяти». Мало-по-малу Иванъ Сергѣевичъ пришелъ въ свое обычное, благодушное и милое настроеніе: подтрунивалъ надъ моими профессорами, удивительно похоже и смѣшно представлялъ елейно-торжественнаго Саго, на лекціи котораго съѣзжалось столько элегантныхъ дамъ, что въ его дни строгая аудиторія Collège de France принимала видъ свѣтскаго салона. Я спро-

сила Ивана Сергѣевича о предстоящемъ литературномъ вечерѣ и можно ли будетъ на него попасть.

— Можете даже участвовать, — сказалъ онъ. — Хотите вмѣсто меня читать романъ N. N.?

Я возразила, что такая замѣна повергла бы публику въ недоумѣніе, а автора въ отчаяніе, — и потому предпочитаю болѣе незамѣтное мѣстечко гдѣ-нибудь въ залѣ или на хорахъ. Иванъ Сергѣевичъ усмѣхнулся и тутъ же подарилъ мнѣ два билета на русскій вечеръ и билетъ на conférences Кокедена. (Я очень увлеклась французскимъ театромъ. Delonay, Got, Coquelin, Madeleine Brohan — приводили меня въ восторгъ. Тургеневъ меня поощрялъ, но настаивалъ, чтобы я, кромѣ «Comédie», бывала и въ концертахъ камерной музыки и въ оперѣ). Незадолго до этого я въ первый разъ слушала Ванъ-Зандтъ въ «Миньонѣ» (она пѣла тогда въ Орѣга Соміце) и спросила Тургенева, нравится ли она ему. Онъ ее похвалилъ, и сейчасъ же сталъ вспоминать, какъ пѣла m-me Viardot въ молодости. «Съ ней», — сказалъ онъ, — «не можетъ сравниться ни одна изъ нынѣшнихъ знаменитостей. Она была и есть единственная». Потомъ, по обыкновенію, разговоръ перешелъ на литературу. Иванъ Сергѣевичъ рассказывалъ о Жоржъ Зандѣ, о Флоберѣ, Эдмондѣ Гонкурѣ, Золя, Додэ, объ ихъ дружескихъ обѣдахъ у Магну. Флобера онъ ставилъ чрезвычайно высоко, какъ писателя и человѣка, и горячо его любилъ. V. Hugo не нравился Ивану Сергѣевичу своей ходульностью и напыщенностью, но онъ говорилъ, что нельзя не преклоняться передъ этимъ «рыцаремъ пера», который болѣе полустолѣтія съ такимъ героизмомъ отстаивалъ самые возвышенные идеалы человѣчества, и признавалъ V. Hugo, наравнѣ съ Шиллеромъ, величайшимъ поэтомъ юности.

Много еще хорошаго и интереснаго говорилъ Тургеневъ. Онъ былъ какъ-то особенно въ ударѣ и, впоследствии, не разъ вставало въ моей памяти сырое, съ пронзительнымъ вѣтромъ, зимнее парижское утро, путешествіе въ omnibusъ изъ Auteuil, на place de Clichy, маленькій кабинетъ съ потрескивающимъ каминомъ, высокій, изящный старикъ съ сѣдой головой и молодыми глазами, его ласковая, живая, незабвенная рѣчь...

Насталъ, наконецъ, и возбудившій столько толковъ литературно-музыкальный вечеръ. Я отправилась туда съ одной знакомой. Когда мы пріѣхали, публики было уже довольно много. Часть ея прогуливалась въ передней залѣ, а часть размѣстилась въ главной. Это была длинная и довольно большая комната, въ концѣ которой возвышалась эстрада. Меня поразила рѣзкая разница между собравшейся публикой, до того рѣзкая, что она бросалась въ глаза. Въ первыхъ рядахъ кресель — эффектные фраки и реденготы, бѣлые жилеты, ослѣпительные пластроны, прелестные дамскіе туалеты — ни дать ни взять симфоническій концертъ въ московскомъ благородномъ собраніи. И сейчасъ же за ними — самая изумительная смѣсь «одеждъ и лицъ»,

особенно одежду. Чего только тутъ не было! И пиджаки, и блузы, и лѣтніе пальто, и высокіе сапоги; кое-гдѣ изъ-подъ крылатыхъ альмавивъ стыдливо выглядывали косоворотки. Женщины были гораздо наряднѣе, хотя и тутъ эффектъ достигался малыми средствами. Ленточка, свѣжее кружево оживляли старенькое платье; улыбка удовольствія играла на молодыхъ, уже отмѣченныхъ страданьемъ, лицахъ... робкая походка... неловкія движенія... тихіе голоса... нѣсколько красивыхъ головокъ... Наши мѣста были въ четвертомъ или пятомъ ряду справа. Въ томъ же ряду, что и мы, только слѣва, меня поразила грузная фигура старика съ львиной головой. Длинные, густые, рыжеватые съ сильной просѣдью волосы составляли точно одно съ широкой, длинной бородой. Старикъ сидѣлъ опершись подбородкомъ на скрещенныя кисти рукъ, въ которыхъ онъ держалъ массивную палку. Онъ медленно поворачивалъ то въ ту, то въ другую сторону свою большую голову, оглядывая поверхъ очковъ публику. Я спросила мою спутницу, не знаетъ ли она, кто это. Она даже удивилась моему невѣжеству.

— Неужели вы не знаете? Это Лавровъ, Петръ Лавровичъ. До этого мнѣ ни разу не случалось видѣть знаменитаго эмигранта—и я на него уставилась съ понятнымъ любопытствомъ. Впрочемъ, Лавровъ возбудилъ не только мое любопытство: фешенебельные дамы и кавалеры усердно его лорнировали и перешептывались. Лавровъ, казалось, относился равнодушно къ такому вниманію и лишь, когда мимо него пробиралась къ своему мѣсту дама, онъ поднимался и, съ отмѣнной вѣжливостью, давалъ ей дорогу. Онъ былъ высокъ ростомъ и осанку имѣлъ внушительную. (Потомъ я его видѣла раза два—три у Тургенева. Иванъ Сергѣевичъ по соображеніямъ педагогическаго свойства—о чемъ онъ меня предупредилъ—не знакомилъ меня съ Лавровымъ и мы съ нимъ только безмолвно раскланивались. Слушала я его съ большимъ вниманіемъ. У него были прекрасныя манеры и тонъ хорошо воспитаннаго человѣка). А публика все прибывала. Было уже довольно поздно. Давно пора было начинать. Къ намъ подошелъ одинъ знакомый изъ вездѣсущихъ и всевѣдущихъ и сообщилъ, что ждуть Тургенева. Черезъ нѣсколько минутъ онъ опять подошелъ и сообщилъ, что Тургеневъ не пріѣдетъ: онъ только что прислалъ записку N. N., что надъ нимъ стряслась бѣда — сильнѣйшій припадокъ подагры. N. N., понятно, въ отчаяніи—приходится читать самому, онъ ужасно волнуется и т. д. Главный интересъ вечера, конечно, пропалъ и это моментально отразилось на настроеніи залы, словно по ней пробѣжала холодная струйка. Порядокъ программы сейчасъ же измѣнили. Первымъ долженъ былъ читать Тургеневъ. Въмѣсто него вышелъ скрипачъ Б., превосходный виртуозъ. Его встрѣтили сдержанно; концертъ Мендельсона имѣлъ лишь *succès d'estime* и только послѣ пьесъ Вьетана и Венявскаго ледъ растаялъ. За скрипачемъ пѣли ученицы *m-me Viardot*. Затѣмъ на эстраду вышелъ господинъ съ бантикомъ въ петлицѣ и объявилъ, что вслѣдствіе внезапной болѣзни Ивана Сергѣевича Тургенева главу изъ по-

вѣсти (забыла названіе) прочтетъ авторъ. Показался и авторъ. Мелкими торопливыми шажками онъ подбѣжалъ къ стулу, съ шумомъ его отодвинулъ и какъ-то сразу на него обрушился, точно тяжелый мѣшокъ, который опустили на землю. Это былъ еще молодой, маленькаго роста, тщедушный человѣкъ, съ курчавой, непропорціонально большой, головой, блѣдный, сутуловатый. Онъ, повидимому, страшно волновался: читалъ глухимъ, прерывающимся голосомъ, перепутывалъ слова... Содержанія разсказа я не помню (что-то жалостное: оскудѣвшіе дворяне, и баба, которая выла, какъ «недобитая собака». Это единственное выраженіе, оставшееся у меня въ памяти). Чтеніе длилось долго, но жестокая публика, обманутая въ своемъ ожиданіи услышать Тургенева, почти не обращала вниманія на автора. По всѣмъ рядамъ шель тихій говоръ. Впрочемъ, когда авторъ кончилъ, раздалось нѣсколько шлепковъ, а изъ второй залы послышались крики «браво». Послѣ романиста поэтъ Х. прочиталъ прекрасное стихотвореніе. Къ сожалѣнію, онъ читалъ такъ неискусно, что вся прелесть его звучныхъ стиховъ пропала.

За этимъ наступилъ перерывъ и мы побѣжали въ курительную. Тамъ было много народу и шумъ стоялъ невообразимый. По комнатѣ, словно сизая туча, медленно расплзался табачный дымъ. Говорили всѣ вмѣстѣ и на разные лады комментировали—почему не пріѣхалъ Тургеневъ. Одни видѣли въ этомъ измѣну, другіе трусость (увильнулъ въ послѣднюю минуту), третьи увѣряли, будто ему ужъ досталось за эту «затѣю»—и только самые умѣренные соглашались повѣрить, что Тургеневъ дѣйствительно захворалъ. Меня удивило присутствіе въ курительной русскаго священника. Онъ внимательно прислушивался къ разговорамъ и вдругъ обратился къ худенькой миловидной блондинкѣ—моей знакомой. «Позвольте полюбопытствовать, сударыня, то стихотвореніе, которое читалъ господинъ поэтъ, было напечатано въ какомъ-нибудь русскомъ періодическомъ изданіи?»

— Нѣтъ, — отвѣтила блондинка, — а вамъ оно развѣ понравилось, батюшка?

— Я плохой судья въ современной поэзій, — уклончиво замѣтилъ батюшка, — но полагаю, что не быть ему напечатану во вѣки вѣковъ.

— По независящимъ отъ редакціи обстоятельствамъ, — проговорила, усмѣхаясь, блондинка.

Батюшка промолчалъ. Немного погодя, онъ опять заговорилъ.

— А господинъ романистъ тоже, кажется, не напечатанное произведеніе читалъ?

— Право не знаю, батюшка, кажется по рукописи.

— По рукописи, — задумчиво повторилъ батюшка и послѣ небольшой паузы прибавилъ: — я слышалъ, что онъ protégé Ивана Сергѣича. Высокой души человѣкъ Ив. Серг. Для здѣшней молодежи, можно сказать, истинный благодѣтель, и выразительно поглядѣвъ на «здѣшнюю молодежь», батюшка меланхолически покачалъ головой.

Во второмъ отдѣленіи опять игралъ скрипачъ. За нимъ должна была читать дама. Я жила далеко, почти у Булонскаго лѣса, вставать приходилось рано, и, воспользовавшись короткимъ перерывомъ послѣ скрипача, я уѣхала. Дома меня ждала записка отъ Тургенева. Онъ приглашалъ меня къ себѣ на слѣдующій день. Но утромъ у меня были двѣ лекціи Франка и Мезьера, которыя я не могла пропустить, и я попала къ Ивану Сергѣевичу довольно поздно. Я застала у него цѣлое общество; нѣкоторыхъ я знала, но одна уже пожилая дама и двое мужчинъ были мнѣ незнакомы. Предметомъ разговора былъ вчерашній вечеръ. Тургеневъ, очень возбужденный, поминутно потирая больное колѣно, говорилъ быстро, высокимъ фальцетомъ, что всегда означало у него неудовольствіе или волненіе. Чтобы ввести меня въ курсъ бесѣды, онъ рассказалъ въ общихъ чертахъ, что ему дали понять, какъ некорректно вводить подозрительный элементъ въ порядочное общество, которое весьма шокировано, что подъ видомъ поэзіи ему преподносятъ «Богъ знаетъ что». Скажите по совѣсти, — обратился ко мнѣ Иванъ Сергѣевичъ, — вы вѣдь у насъ тутъ «сами по себѣ», поучитесь и уѣдете—скажите откровенно—произвелъ на васъ вчерашній вечеръ впечатлѣніе пропаганды? Я отвѣтила отрицательно. Читали неважно, это правда, а такъ—рѣшительно ничего.

— Ну вотъ,—сказалъ Тургеневъ. А меня то обвиняютъ, что я надругался надъ самыми священными чувствами! Завтра Катковъ объявитъ меня измѣнникомъ отечества... А за то, что я осмѣлился пригласить Лаврова—меня само собой надо предать анаѣмѣ. Я, видите ли, долженъ извиниться за этотъ свой поступокъ.

— Не можетъ быть,—возразилъ кто-то изъ гостей.

— Ахъ, батюшка,—раздражительно крикнулъ Тургеневъ.—Молоды вы еще, оттого вамъ, и кажется, что «не можетъ быть». Все *можетъ быть*, а особенно невѣроятное.

Мнѣ интересно,—продолжалъ онъ болѣе спокойнымъ тономъ, что же Лавровъ, значить и въ церковь не смѣетъ придти? Напримѣръ, умру я. Мы съ нимъ хоть и не близкіе друзья, а все же старинные знакомые—и ни отъ кого я этого никогда не скрывалъ. Придетъ онъ въ rue Dagu на панихиду—проститься со мной... Что же? не пускать его въ церковь... вонъ молъ!..

Всѣ молчали.

— Нѣтъ, каково холопство, какова трусость,—воскликнулъ Тургеневъ, опять раздражаясь, и на самыхъ высокихъ нотахъ.—И добро бы это было гдѣ-нибудь на Старой Басманной... а то вѣдь гдѣ? въ Парижѣ!! Чего, кажется, бояться..., а все трепещуть!..

-- Неужели, Иванъ Сергѣевичъ, вы будете извиняться?—спросила дама.

Тургеневъ обернулся къ ней и не особенно ласково замѣтилъ:—я для этого ужъ старъ. Званіе вице-президента я готовъ съ себя сложить. Да и какой я президентъ!—проговорилъ онъ съ добродушнымъ смѣхомъ,

я, словно желая переменить разговоръ, Иванъ Сергѣевичъ сталъ рассказывать, какъ его однажды выбрали въ почетные президенты литературнаго конгресса.—Ну, я открылъ засѣданіе, усѣлся въ предсѣдательское кресло, все, какъ слѣдуетъ быть. Заговорилъ одинъ. Хорошо. Потомъ его перебилъ другой. Еще лучше. Мнѣ бы его остановить, а я сижу да слушаю. Всѣ сейчасъ же смекнули, что на мѣстѣ предсѣдателя сидитъ старая мокрая курица. Не успѣлъ я оглянуться, какъ поднялось Вавилонское столпотвореніе. *Conférence*-ы мнѣ шепчуть: *sonnez, sonnez*, а я и колокольчика не вижу. Спасибо Edmond About выручилъ—схватилъ колокольчикъ, да какъ затрезвонить! Мигомъ все пришло въ порядокъ... Что значить настоящей то человекъ!.. Тургеневъ смѣялся, рассказывая, и всѣмъ присутствующимъ стало какъ-то легче, что онъ пересталъ хмуриться. Разговоръ перешелъ на другіе предметы, но ненадолго. Тургеневъ опять вернулся къ злополучному вечеру. Выговоръ «за Лаврова» очевидно задѣлъ его за живое.

— И кому это понадобилось докладывать о Лавровѣ,—сказала я.— Такая масса было народу... Кому онъ могъ помѣшать.

— А это ужъ черта такъ сказать историческая,—возразилъ Тургеневъ. Первое доказательство собственной благонадежности—есть доносъ. Словно желая подтвердить это положеніе, Иванъ Сергѣевичъ рассказалъ, какъ много лѣтъ тому назадъ, проводя лѣто въ Спасскомъ, онъ узналъ, что священникъ донесъ становому о томъ, что по сосѣдству объявились какіе-то молодые люди, читаютъ книжки, вступаютъ въ бесѣду съ крестьянами и вообще ведутъ себя странно. Ихъ, конечно, позабрали.—Встрѣтилъ я этого попа. Разговорились. Я его спросилъ:—зачѣмъ вы, батюшка, становому-то ихъ выдали. Развѣ нельзя было какъ-нибудь помягче... Что же онъ? а если бъ, говорить, у васъ въ Спасскомъ, Иванъ Сергѣичъ, чума появилась, али холера—вы бы развѣ не дали знать по начальству... То-то вотъ и есть...

Въ колоніи «инцидентъ» Лавровъ-Тургеневъ еще долго служилъ предметомъ оживленныхъ толковъ и самыхъ мелодраматическихъ гипотезъ. На дѣлѣ, однако, вся эта исторія оказалась сильно преувеличенной и никакихъ рѣзкихъ послѣдствій не имѣла.

Въ началѣ весны Тургенева все чаще стали донимать приступы подагры, такъ что онъ почти никого не принималъ. Въ это же время я видѣла его горько, безутѣшно плачущимъ. Это было въ день 1-го марта 1881 г... Припоминая впоследствии все, что онъ тогда говорилъ, я не могла не изумляться его пророческой проникательности. Лѣтомъ онъ уѣхалъ въ Россію. Изъ Спасскаго онъ писалъ мнѣ нѣсколько разъ (я проводила лѣто на дачѣ около Москвы). Осенью я опять собиралась въ Парижъ, но, по разнымъ обстоятельствамъ, поѣздку мою приходилось отложить. Тургеневъ звалъ меня въ Спасское, но это было для меня невозможно и мы увидались только въ Москвѣ, у Ивана Ильича Маслова. Иванъ Сергѣевичъ обрадовалъ меня своимъ цвѣтущимъ видомъ. Онъ былъ чрезвычайно

весель, разговорчивъ, строилъ разные планы, собирался писать новый романъ, уговаривалъ меня скорѣй возвращаться въ Парижъ... Никому изъ насъ въ голову не приходило, что мы видимся въ послѣдній разъ.

Со смерти Тургенева прошло 18 лѣтъ. Срокъ небольшой. А между тѣмъ, какъ мало его читаютъ, какъ мало цѣнятъ. Уродливое преподаваніе русскаго языка въ нашей школѣ принесло свой плодъ. Во всѣхъ образованныхъ странахъ юношество воспитывается въ любви къ родной литературѣ. Французскій *bachelier* знаетъ наизусть В. Гюго. Нѣмецкій гимназистъ гордится Гете и Шиллеромъ. А у насъ — «зрѣлые классики», знакомые съ Пушкинымъ, Гоголемъ, Толстымъ, Тургеневымъ, лишь по отрывкамъ—обычное явленіе.

Тургеневу въ этомъ отношеніи особенно не повезло. Молодежь *argioi* считаетъ его «отсталымъ», а взрослые, чтобы оправдать свое равнодушіе, съ апломбомъ восклицаютъ: куда ему до Достоевскаго, до Толстого...

Въ «Чайкѣ» А. П. Чехова модный писатель, Тригоринъ, уныло говоритъ, что писать не стоитъ, ибо, что ни напиши, читатель скажетъ: да, это очень мило, но какое же сравненіе съ Тургеневымъ *). Это тонкое и вѣрное замѣчаніе. Но, если ужъ никакъ нельзя выйти изъ заколдованнаго круга сравненій, то... Тургеневъ такъ же великъ, какъ Толстой. Оба они, хотя и разными путями, учатъ любить и жалѣть человѣка, вѣрить въ добро и искать истину. Всеобъемлющая душа Тургенева жаждала гармоніи. Его упрекали въ политическомъ индифферентизмѣ. Это невѣрно. У него было очень опредѣленное политическое *profession de foi*, но онъ никогда не былъ человѣкомъ партіи. Да и какая партія могла его удовлетворить! Онъ былъ художникъ-философъ. Его интересовало все живущее—природа, люди, наука, искусство. Онъ далъ несравненную картину современной ему эпохи, при чемъ сумѣлъ въ самыхъ животрепещущихъ явленіяхъ фиксировать элементъ вѣчности. Пессимизмъ Тургенева не есть пессимизмъ отчаянія. Онъ вытекаетъ изъ самаго существа жизни. Люди несчастны, но жить стоитъ. Рядомъ съ эгоизмомъ, злобой, низостью — неизсякаемый родникъ любви, героизма самоотверженія, энергіи.. Рядомъ съ неизбежной борьбой отцовъ и дѣтей — старость безъ зависти привѣтствуетъ расцвѣтъ молодыхъ силъ, грусть неразлучна съ надеждой и человѣчество, спотыкаясь, блуждая, сворачивая въ сторону—все-таки, несмотря ни на что, идетъ впередъ.

Тургеневъ поэтъ и учитель. Его нельзя забыть. Охлажденіе къ нему можетъ быть только явленіемъ случайнымъ. Оно пройдетъ. Къ Тургеневу вернутся. Его будутъ читать, перечитывать и изучать съ той благодарностью, какую заслуживаетъ этотъ великій мастеръ русскаго слова и великій художникъ человѣческой души.

Р. М. Хинъ.



*) Цитирую не подлинныя слова, а смыслъ.



Творческія силы.

(Изъ воспоминаній школьнаго педагога.)

Какъ смѣлы были, и рѣшительны, и полны вѣрою въ свое призваніе всѣ работники, большіе и малые, великой нашей эпохи раскрѣпощенія, и какъ много ими было сдѣлано, въ короткое сравнительно время, и какіе плодотворные результаты, въ общемъ, получились отъ этой работы въ послѣдствіи, несмотря на неизбѣжныя во всякомъ новомъ дѣлѣ увлеченія, а иногда даже и крайности съ одной стороны, и всяческіе тормозы и препятствія съ другой. Сильны были эти передовые и талантливые дѣятели своей огневой энергіей, воодушевленнымъ до самосгорания трудомъ и беззавѣтною вѣрою въ тѣ идеи, которымъ они служили, за которыя готовы были положить и многіе дѣйствительно полагали душу свою. Сильны они были еще болѣе и тѣмъ, что совершали это близкое имъ дѣло не въ свое имя, не ради своей корысти, не ради даже славы, а во имя общаго всенароднаго блага.

Благодарные наслѣдники великой эпохи справедливо чтутъ славныя имена этихъ безкорыстныхъ дѣятелей и «героевъ своего времени»; но не слѣдуетъ при этомъ забывать, особенно же въ періоды не героическіе, что распространеніе идей, проведеніе и укрѣпленіе ихъ въ жизненной дѣятельности и дальнѣйшее практическое развитіе ихъ, все это совершается сотнями и тысячами другихъ, безвѣстныхъ и безыменныхъ «героевъ». Люди склонны всегда олицетворять выдающіяся эпохи и памятные на вѣки дѣла въ лицѣ своихъ излюбленныхъ избранниковъ, окружая ихъ чело пышнымъ сіяніемъ, а славными ихъ доблестями объяснять причины и успѣхъ великихъ историческихъ актовъ. Въ періоды историческаго затишья и безвременья, жаждущіе спасенія изнываютъ въ бесплодной тоскѣ, призывая новыхъ пророковъ и вождей, — «придите, молъ, и спасите насъ, и укажите

намъ путь въ обѣтованную землю»,—забывая при этомъ, что на все въ мірѣ положены «свои времена и сроки», и что сами они, отчаивающіеся въ спасеніи, должны быть, каждый въ мѣру своихъ силъ и средствъ, тѣми безвѣстными героями, которые продолжаютъ начатое, проводя идею въ жизнь, и настойчиво доводятъ дѣло до конца, и готовятъ тѣмъ самымъ еще болѣе великое и славное будущее. Упавшее въ землю зерно должно прежде какъ бы умереть, а потомъ уже дать и ростки, и цвѣтъ, и плодъ, и новыя живыя сѣмена для новыхъ посѣвовъ и еще болѣе обильныхъ урожаевъ.

Не силою однихъ лишь «богатырѣй» совершалось и наше великое дѣло всенароднаго обновленія: «властители думъ и чувствъ» своевременно явились талантливыми представителями и вѣрными выразителями опредѣлившихся желаній и назрѣвшихъ потребностей своего времени, передовыми работниками въ быстро составившемся вокругъ нихъ дружномъ и согласномъ хорѣ сотенъ и тысячъ безыменныхъ работниковъ, которые сами вышли къ нимъ изъ тогдашняго общества и стали заодно съ ними и думать, и чувствовать, и общее дѣло дѣлать. Скрытая до этого времени творческая мощь обнаружилась въ самой жизни, раскрѣпощающей себя отъ перержавѣвшихъ оковъ рванувшейся на просторъ, какъ шумныя вешнія воды, и вдругъ открывшейся въ милліонахъ свѣжихъ ростковъ и побѣговъ, развернувшихся изъ заготовленныхъ незримо и въ тиши сѣмянъ и почекъ. Давно и долго таялъ снѣгъ подъ толстымъ слоемъ наста, копилась вольныя воды, оттаивала почва, кустились и крѣпли корни отъ брошенныхъ когда-то въ землю здоровыхъ сѣмянъ, и жизнь терпѣливо ждала лишь рѣшительнаго и дружнаго поворота отъ зимы на лѣто, и перваго грома съ благодатнымъ дождемъ.

Пришли эти давно желанные дни, и жизнь родила «героевъ», великихъ и малыхъ, удесятерила ихъ силы, и дала имъ власть «творить чудеса». У всѣхъ были одни чувства и мысли, всѣ были въ одно и то же время учениками и учителями, и каждый горячо желалъ проявить себя такъ или иначе на дѣлѣ—въ борьбѣ съ общимъ врагомъ. А этотъ врагъ—обветшавшія формы личной и общественной жизни, которыя были уже не по плечу возмужавшему, хотя все еще и юному, организму. А чтобы стряхнуть съ себя старыя формы, задерживающія и стѣсняющія ростъ живого организма, необходимо нужна прежде всего—свобода личности, какъ святое и неотъемлемое право сознающаго себя самого человѣка. И это право на высокое изъ всѣхъ званій—«человѣкъ» должно принадлежать не мнѣ одному, а всѣмъ безъ исключенія, и въ одинаковой для всѣхъ мѣрѣ;—и если эти всѣ другіе сами еще и не доросли до сознанія своихъ правъ, то надо помочь имъ въ этомъ, просвѣтить ихъ и тѣмъ самымъ исправить историческую несправедливость, слиться съ ними, а затѣмъ уже совмѣстно и

сообща, равноправно и дружественно идти къ общей цѣли,—а эта цѣль и есть—общее благо.

Всѣхъ одушевляло глубокое и искреннее убѣжденіе въ непреложной законности стремленій къ свѣту, къ справедливости, къ добру и правдѣ, къ широкому и быстрому осуществленію [этихъ идеальныхъ стремленій въ жизни, и каждый горячо и непреложно вѣрилъ, что это общее и выше, и важнѣе личнаго.

Много во всемъ этомъ юношескихъ увлеченій, обещающихъ много разочарованій; но не мало и правды, вдохновляющей каждого работника.

Въ исторіи народовъ нѣтъ мѣста *случайнымъ* общественнымъ и массовымъ движеніямъ, нѣтъ и не можетъ быть случайныхъ историческихъ эпохъ. Близкая къ намъ и на вѣки памятная эпоха, тѣсно связанная съ именемъ Царя Освободителя и его славныхъ сподвижниковъ, находится въ близкомъ и преемственномъ родствѣ съ эпохою Петра Великаго, съ первой половиною Екатерининскаго вѣка и съ первыми свѣтлыми днями Александра I: все это свѣтлыя главы въ исторіи «новой» и все еще пока молодой Россіи, стремящейся къ самосознанію, къ совершенствованію, къ воплощенію въ своей жизни лучшихъ западноевропейскихъ гуманныхъ идей, а затѣмъ и къ дальнѣйшему самостоятельному ихъ развитію, къ совмѣстной на равныхъ правахъ работѣ съ своими старшими европейскими братьями.

Тѣмъ-то всего болѣе и сильны были дѣятели освободительной эпохи, что они дѣлали историческое дѣло,—какъ естественное продолженіе историческаго роста народнаго, и дѣло не одной какой либо части народа, не одной какой либо стороны его жизни, а всего народа, всѣхъ сторонъ его жизни, — матеріальной и духовной, умственной и нравственной, личной, семейной и общественной.

Намъ лично особенно близки и памятны зарожденіе „новой“ народной школы и ея дальнѣйшій ростъ и постепенное проведеніе въ жизнь идеи всенароднаго образованія.

Пишущему эти строки, учившемуся въ дореформенной школѣ, пришлось потомъ близко наблюдать жизнь только что народившейся «новой» народной школы, а затѣмъ и посильно служить ей. И вотъ теперь, черезъ тридцать пять лѣтъ трудовой жизни, когда уже вполнѣ знаешь условія и обстановку личной и общественной работы и дорогую цѣну всякаго успѣха и когда припомнишь и посравнишь, что было прежде до знаменитой эпохи, и что стало потомъ, и что есть теперь,—невольно проникаешься и удивленіемъ, и уваженіемъ къ «новому времени» и его мощнымъ

общественнымъ силамъ, и пропадаетъ безнадежный страхъ въ виду всяческихъ препятствій, и крѣпнетъ вѣра въ свѣтлое будущее.

Нужно ли говорить о томъ, что представляла изъ себя дореформенная школа? Кто ее пережилъ лично, тотъ безъ щемящаго страха не можетъ вспомнить ее и подъ старость: въ холодномъ поту просыпаешься и теперь, когда во снѣ, какъ наяву, воскреснетъ въ памяти та или другая сцена изъ обиходной школьной жизни. И не боль физическая такъ страшна и памятна: къ щелчкамъ и подзатыльникамъ, къ дранью за уши и за волосы, къ стоянью по часамъ на колѣняхъ, сѣченью до крови розгами легко тогда привыкали, да и не каждому все это приходилось испытывать и переносить,—не наказанія, хотя бы и жестокия, были страшны, страшна была мысль о самомъ процессѣ ученія, въ глазахъ ребенка безцѣльнаго, ненужнаго, непонятнаго и потому невыносимо тяжкаго; мучительно была никогда не покидающая мысль,—а ну какъ не одолѣешь и не «вызубришь» урока, мучительно было засыпать при постоянно гнетущемъ чувствѣ, что на утро забудешь все вызубренное съ такимъ трудомъ вечеромъ; мучительно просыпаться и со страхомъ провѣрять себя еще въ постели, не открывая глазъ, ощупывая, какъ якорь спасенія, положенную подъ подушку книгу; урокъ знаешь, но вѣдь легко все забыть, когда вызовутъ къ отвѣту, запнуться и стать «втупикъ». И горячо-горячо молишься передъ иконой и вечеромъ и утромъ, испрашивая у Бога чуда. Мучительно было и страшно ученіе; еще болѣе того страшень былъ учитель, съ его холоднымъ безучастіемъ, суровостію, властнымъ произволомъ, уничтожающимъ пренебреженіемъ къ личности ребенка. Страшно было такъ жить каждый день, цѣлый годъ и много долгихъ лѣтъ, подъ этимъ вѣчнымъ страхомъ и постоянно чувствовать, что ты такой маленькій и беззащитный, и долженъ всѣхъ и всего ежеминутно бояться, и нѣтъ никого вокругъ тебя, въ этой школьной обстановкѣ, рѣшительно никого, кто бы могъ тебя понять и стать на твою сторону,—вѣчный страхъ и тоска, вѣчная приниженность и полное одиночество. Страшно пережить дѣтство въ такой школѣ!

А что же родители этихъ дѣтей?—Мнѣнія родителей не спрашивали; и голоса они не имѣли, и только мать вмѣстѣ съ ребенкомъ украдкой проливали слезы; вѣкъ былъ жестокій,—къ такой именно жизни того времени и готовили съ дѣтства и ребенка, и не только въ школѣ, но и въ семьѣ, постоянно внушая ему: «терпи, казакъ, атаманомъ будешь». Такъ всѣ жили тогда.

Но и такія школы существовали только для *привилегированныхъ* сословій; *народныхъ* школъ почти не было вовсе, училища для крестьянъ казенныхъ и удѣльнаго вѣдомства, приготовляющія писарей и счетчиковъ, составляли исключеніе. Я хорошо помню и такое «удѣльное училище».

Мнѣ пришлось потомъ уже во время моего учительства познакомиться и съ первобытными татарскими и еврейскими школами, и въ моей памяти живо воскресла наша деревенская дореформенная школа,—только сравненіе оказалось не въ ея пользу: эта наша дореформенная народная школа была еще страшнѣе и дореформенной школы для привилегированныхъ дѣтей, и современной намъ первобытной школы татарской. Едва ли мы преувеличимъ, если скажемъ, что всѣ эти «доморощенные» школы мало чѣмъ отличались отъ первыхъ нашихъ школъ временъ Владимира и Ярослава, когда матери, снаряжая дѣтей въ школу, оплачивали ихъ, какъ покойниковъ. Не удивительно ли, что такая школа могла просуществовать чуть не тысячелѣтіе у христіанскаго народа!

Народной школы, хотя сколько-нибудь сносно организованной, у насъ вовсе не было. Не было и настоящаго учителя, и за учительство могъ браться всякій грамотей, желающій избавиться отъ другого болѣе тяжелаго и отвѣтственнаго труда. По Часослову и Псалтири да по Октоиху учили «чтенію и пѣнью церковному». Учили и цыфири, и сложенію съ вычитаніемъ; а умноженія и дѣленія очень часто не зналъ и самъ учитель. И никто-то объ этой народной школѣ не заботился, потому что никому она нужна не была — ни крѣпостнику барину, ни крѣпостному крестьянину. И эту-то школу называли тогда «*національною школою*».

И вотъ проходить съ тѣхъ поръ 30—40 лѣтъ, и народныя школы такъ размножились, что теперь многіе земства и города уже на порогѣ всеобщаго обученія, и такъ эти школы усовершенствовались, что представители и устроители ихъ,—государственныя и общественныя учрежденія и частныя лица, получаютъ на всемірной выставкѣ въ Парижѣ высшія награды — наравнѣ съ представителями западно-европейской и американской школы. И награды эти даны не изъ снисхожденія и любезности: въ французскихъ и американскихъ журналахъ педагогическихъ мы нашли не одинъ добрый отзывъ о нашей школѣ и школьной литературѣ. И всего больше удивляетъ иностранца въ нашей народной школѣ и привлекаетъ къ ней горячее сочувствіе — идейно-гуманитарный ея характеръ.

И можно сказать безъ преувеличенія, что эти поразительные по краткости времени успѣхи, при полномъ отсутствіи у насъ школьнаго преданія и опыта, при матеріальной бѣдности нашей и обиліи всякихъ общественныхъ нуждъ,—явились результатомъ мало покровительствуемой и одобряемой дѣятельности періодической нашей печати, земства, лучшей части просвѣщеннаго общества и частныхъ лицъ. Не нужно забывать, что и періодическая печать, и земство, и общество, и частныя лица, по призванію и любви посвятившія себя школѣ, всѣ и все явились у насъ сразу и вдругъ, въ свѣтлую пору нашей жизни, и это обстоятельство получило рѣшающее вліяніе на все дальнѣйшее развитіе нашего народнаго

образования. Намъ не пришлось перестраивать стараго и негоднаго зданія или дѣлать къ нему пристроекъ и надстроекъ, прилаживать заплаты къ ветхому рубишу; все зданіе цѣликомъ нужно было выстроить заново, и наши зодчіе оказались на высотѣ своего призванія. Идея и общій планъ построения были разумны и гуманны, и отвѣчали не только преходящимъ потребностямъ данной минуты, но и задачамъ болѣе отдаленнаго будущаго; фундаментъ заложенъ былъ правильно и крѣпко, все зданіе строилось не на пескѣ, а на широкихъ и прочныхъ общечеловѣческихъ основахъ передовой европейской мысли, потому-то вѣтры и непогодъ не могли потомъ сокрушить его.

Правда, мы не можемъ похвалиться и до сихъ поръ научными богатствами нашей собственной педагогической литературы, и мало у насъ самостоятельныхъ ученыхъ трудовъ въ этой области. Но прежде, чѣмъ создавать что-либо новое свое, нужно хорошо изучить все то, что сдѣлано въ этой области другими, поучиться у нихъ, разумно и цѣлесообразно усвоить себѣ цѣнныя для всѣхъ, а стало быть и для насъ, пріобрѣтенія ума и опыта. Такъ это и сдѣлано было съ первыхъ же дней построения нашей школы: заимствованы и усвоены были прежде всего общія руководящія идеи, а затѣмъ и формы обученія. Начальное образованіе необходимо для всѣхъ и каждого—безъ различія пола, званія и состоянія, и для всѣхъ должно быть и одинаково, и равно доступно; начальная школа — всесловная школа. Избѣгая всякой тенденціозности, исключительности и односторонности, преслѣдуя лишь цѣли общеобразовательныя,—школа полагаетъ въ свою основу — религію, нравственность, науку и національность, знакомить съ русскою природою и бытомъ, русской литературою и исторіей. Школа такимъ образомъ должна быть въ извѣстной мѣрѣ энциклопедична и, передавая ученику законченный кругъ знаній и развитія, должна предоставлять ему въ то же время средства къ дальнѣйшему духовному росту. Ученіе должно быть интересно для ученика, доступно, понятно, наглядно. Школа должна быть гуманна и въ отношеніи способовъ ученія, и въ выборѣ дисциплинарныхъ мѣръ,—не ученикъ для учителя, а учитель для ученика; учитель уважаетъ въ ученикѣ человѣка и воспитываетъ въ немъ челоуѣчность,— разумное, доброе, вѣчное.

Вотъ эти основные принципы и усвоены были прежде всего нашей общей литературою, и едва ли гдѣ такъ много, такъ неустанно и съ такимъ увлеченіемъ и даже страстностью, при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ, говорилось въ первое время, говорится и теперь, въ наши дни, о школахъ вообще, а о народной школѣ и народномъ образованіи въ особенности. Нѣтъ номера журнала и газеты, гдѣ бы не трактовались вопросы образованія и воспитанія, и въ статьяхъ, посвященныхъ специально этимъ вопросамъ, и въ общихъ обзорѣніяхъ текущей жизни, и въ про-

винціальнихъ корреспонденціяхъ, и въ бібліографическомъ отдѣлѣ, и всюду и во всемъ. Въ теченіе почти полустолѣтія наша печать приковываетъ вниманіе правительства, земства и общества къ школьному дѣлу, зорко слѣдитъ за его успѣхами и нуждами, ободряетъ и поощряетъ, утѣшаетъ и воодушевляетъ, выясняетъ потребности и неотложныя его нужды, знакомитъ съ заграничными образцами и новыми явленіями, рисуетъ свѣтлыя идеалы. Периодическая печать въ этомъ отношеніи оставалась и остается неизмѣнно вѣрною благороднѣйшимъ завѣтамъ Новикова и Радищева, Ломоносова и Пушкина, и всей послѣдующей славной плеяды нашихъ художниковъ слова, ученыхъ и общественныхъ дѣятелей. Они, эти друзья свободы и просвѣщенія, давно и долго призывали власть и властныя сословія государства къ просвѣщенію народа, составляли широкіе проекты обширной сѣти школъ, низшихъ и среднихъ, для поднятія всего народа въ матеріальномъ и духовномъ отношеніяхъ; они клеймили позоромъ невѣжество и пламенно ждали радостной зари свободы просвѣщенной, какъ обѣтованнаго спасенія отъ всѣхъ губительныхъ золъ, убивающихъ жизнь и барина, и крестьянина; они были у насъ первыми народниками—въ самомъ широкомъ и лучшемъ смыслѣ этого слова, первыми педагогами-воспитателями общества. Будущій историкъ нашего народнаго просвѣщенія, его зарожденія и развитія, его идейнаго направленія, найдетъ для себя цѣнный матеріалъ не въ одной только «исторіи государства російскаго», и не въ исторіи только самой школы—въ узкомъ смыслѣ этого слова, но больше всего въ исторіи культурнаго развитія всего нашего общества, въ исторіи нашей литературы, и критики, и публицистики; онъ найдетъ эти благородныя черты уравнивающаго всѣхъ и во всемъ просвѣтительнаго народничества и въ петровской и въ допетровской Руси, и въ Руси Кіевской, гдѣ рядомъ съ представителемъ боярства-Добрыней служить землѣ и князю и мужикъ Илья, и поповичъ-Алеша, и никто изъ всѣхъ изъ нихъ не считаетъ «подлымъ» Никулушку-Селяниновича, какъ и самъ онъ себя не считаетъ такимъ. Не правильнѣе ли здѣсь именно, въ этихъ добрыхъ завѣтахъ нашей старины, искать русскихъ національныхъ чертъ нашего народнаго образованія.

Лучшая часть нашего образованнаго общества, очевидно, сохранила въ своей памяти эти истинно національныя завѣты добраго прошлаго; иначе нельзя было бы объяснить, почему оно въ эпоху раскрѣпощенія такъ легко и охотно и совершенно свободно и единодушно откликнулось на призывъ къ общему дѣлу и совершенно безкорыстно, съ горячимъ воодушевленіемъ, проявило себя въ дѣлѣ устройства школы народной.

Намъ такъ живо представляется это время, особенно же со второй половины шестидесятыхъ годовъ, какъ будто бы все происходившее тогда совершилось лишь недавно,—такъ сильно было впечатлѣніе этого живого

времени. Мы хорошо знаем о тогдашних воскресных школах, быстро возникших повсюду, неудержимо привлекавших къ себѣ не только свободных, но и рабочія руки просвѣщенных слоевъ общества. Здѣсь рядомъ, рука объ руку, работали священникъ съ офицеромъ, старый учитель съ студентомъ, чиновникъ съ невѣдомымъ разночинцемъ, пожилая дамаристократка съ подросткомъ дѣвицей, не окончившей еще своего собственного образованія; а на школьной скамьѣ, локоть объ локоть, помѣщались мальчики и дѣвочки рядомъ со своими отцами и матерями. Мы говоримъ здѣсь не о желательной правильности и плодотворности такихъ занятій, а только о всеобщемъ неудержимомъ одушевленіи и порывѣ къ просвѣщенію «меньшаго брата», о страстномъ и радостномъ увлеченіи: каждый считалъ это своимъ непремѣннымъ долгомъ, расплатой за вѣковую несправедливость къ народу, и каждый дѣлалъ это съ радостью и отъ чистаго сердца и съ безавѣтною вѣрою, что съ этимъ темнымъ и гнетущимъ жизнь прошлымъ можно легко раздѣлаться сразу, вдругъ, стоитъ лишь всѣмъ дружно взяться за дѣло просвѣщенія народа, и потомъ ужъ вмѣстѣ, равноправно и по-братски, жить съ нимъ общею жизнью. Это были первые жизненные признаки прочнаго и правильнаго развитія общенароднаго дѣла въ болѣе спокойномъ будущемъ.

И не въ школахъ только сходились съ народомъ, учили и учились эти первые пионеры всеобщаго просвѣщенія: въ домахъ учили грамотѣ прислугу, читали ей и давали читать книги, сотнями покупали популярныя брошюры и посылали ихъ въ деревни; учились въ то же время сами, читали общенаучныя и педагогическія сочиненія, повсюду составлялись кружки и сходки, гдѣ обсуждались всякіе жизненные и литературные вопросы, а вмѣстѣ съ этимъ и новые методы и приемы для преподаванія; въ субботу вечеромъ вырабатывалась школьная программа, обсуждался вновь указанный приемъ, облегчающій преподаваніе, рассказывалось о выдающихся способностяхъ паренька—подростка, а завтра, — въ воскресенье, утромъ, эти программы и приемы уже примѣнялись въ школахъ, а талантливыя подростки уже взяли на попеченіе цѣлаго кружка, — онъ материально уже обезпеченъ складчиной, его будутъ съ этого же дня готовить въ гимназію, и дальше — въ университетъ...

Изъ столицъ это движеніе расходилось въ другіе города, доходила волна и до глухой деревни, и тамъ зарождались школки.

Много клеветали потомъ на это движеніе, обвиняя всѣхъ и каждого въ неблагонамѣренности, приписывая политическія и соціальныя цѣли: ничего подобнаго здѣсь не было и быть не могло, уже благодаря тому одному, что не было здѣсь никакой организаціи, никакого опредѣленнаго плана дѣйствій, никакой даже программы въ занятіяхъ. Это былъ лишь благородный, безусловно чистый и честный взрывъ протеста противъ сверженнаго

крѣпостничества, матеріальнаго и духовнаго, своего собственнаго и народнаго, страстно охватившій всѣхъ порывъ поспорѣе разсчитаться съ прошлымъ, похоронить и забыть его, чтобы зажечь новою свободною, разумною и справедливою жизнію, которая, какъ казалось всѣмъ, была уже такъ близка, такъ возможна, такъ легко и скоро осуществима. Это было свѣтлое и радостное утро послѣ темной, долгой ночи, которая давила всѣхъ, какъ страшный сонъ, какъ тяжкій кошмаръ, и теперь вмѣстѣ съ пробужденіемъ миновала на вѣки, и всѣ жаждутъ жизни и воли, тепла и свѣта, и каждый стремится подѣлиться этими благами съ меньшимъ братомъ, изъ вѣка обиженнымъ, униженнымъ и оскорбленнымъ, передъ которымъ каждый и всѣ считали себя какъ бы виноватымъ.

Напрасно, безпричинно и безцѣльно закрыли эти школы, благодаря напуганному воображенію, а можетъ быть и недоброму чувству охранителей дореформенныхъ «порядковъ». Страстный порывъ и увлеченіе улеглись бы и сами собою, сохранивъ для жизни много силъ, и перешли бы потомъ въ упорядоченное, важное и для всѣхъ равно необходимое дѣло. Меньше было бы тогда недовольныхъ и протестующихъ на несправедливость.

Воскресныя школы закрыли и тѣмъ отпугнули многихъ отъ хорошаго по своему существу дѣла; но назрѣвшей и проникнувшей въ сознаніе свѣтлой мысли не изгладишь, глубокаго чувства не запугаешь, историческаго движенія ничѣмъ не остановишь.

Для насъ лично особенно близка и памятна другая, совершенно упорядоченная и вполнѣ правильно устроенная, оригинальная для своего времени по всей своей постановкѣ, первая въ Москвѣ и въ Россіи вечерняя и воскресная школа для подростковъ и взрослыхъ фабричныхъ рабочихъ.

Кружокъ юныхъ сверстниковъ и товарищей учителей, только что окончившихъ свое педагогическое образованіе и опредѣлившихся на службу въ закрытое учебное заведеніе, не имѣющее ничего общаго съ народною школою, дружно собирается за самоваромъ вечеромъ и горячо обсуждаетъ педагогическіе вопросы о задачахъ и формахъ обученія и воспитанія, о желательной постановкѣ всего строя учебнаго заведенія, приходитъ къ сознанію необходимости изучить это дѣло въ самомъ его основаніи, съ первыхъ его шаговъ, и вотъ читаются рефераты по вопросамъ первоначальнаго обученія, съ которымъ юные педагоги незнакомы. Практикуются вопросы народной школы; какъ-то сама собою является мысль о долгѣ каждаго служить народу; одинъ изъ товарищей смѣло и увѣренно предлагаетъ богатому фабриканту-сосѣду устроить школу для его фабричныхъ, и въ одинъ мигъ выработана школьная программа и расписаніе; подана и просьба о разрѣшеніи фабричной школы; школа быстро разрѣшена, быстро обставлена лучшими пособіями, торжественно открывается молеб-

номъ и горячими рѣчами,—и всѣ надолго и горячо увлечены дѣломъ: и рабочіе,—взрослые и подростки, веселой толпой переходящіе изъ-за ткацкаго станка за ученической столъ, за букварь и грифельную доску; радостны и довольны молодые учителя, являющіеся въ школу послѣ четырехъ-пяти дневныхъ уроковъ, а иногда и съ дежурства по должности воспитателей, увлекающіеся своимъ собственнымъ дѣломъ, которое даетъ имъ возможность изобрѣтать и совершенствовать приемы обученія, на ходу разрабатывать программу, при чемъ они и сами не сознаютъ, какъ ново и оригинально это ихъ дѣло; доволенъ и даже увлеченъ старикъ-фабрикантъ, ежедневно просиживающій всѣ уроки и послѣ нихъ съ жаромъ и долго бесѣдующій съ юными учителями объ общемъ дѣлѣ, объ ученикахъ и объ ученіи; принимаетъ близкое участіе въ школѣ и семья фабриканта—его взрослый сынъ и помощникъ по дѣлу фабрики, и подростокъ гимназистъ, а послѣ студентъ, посвятившій себя впоследствии медицинѣ и сдѣлавшійся потомъ безкорыстнымъ общественнымъ дѣятелемъ, и подростокъ—дочь, ставшая потомъ попечительницей одной изъ общественныхъ школъ.

О вознагражденіи за трудъ юные учителя и не помышляли,—они сами предложили фабриканту устроить школу на паяхъ: учителя даютъ даровой трудъ, а фабрикантъ помещеніе съ обстановкой и учебными пособиями. Да учителя вовсе и не нуждаются въ вознагражденіи, они и безъ того богаты: у каждого есть своя комната—квартира, казенный столъ вмѣстѣ съ воспитанниками учебнаго заведенія, есть форменный фракъ и пальто; да и казенный окладъ жалованья,—25 р. въ мѣсяцъ, кажется имъ вполне достаточнымъ. Кромѣ всѣхъ этихъ соображеній, занятія въ фабричной школѣ приносятъ каждому изъ нихъ, по ихъ убѣжденію, и большую пользу, какъ практика въ новомъ дѣлѣ, какъ средство для примѣненія новыхъ методовъ и приемовъ преподаванія, для повѣрки на дѣлѣ своихъ собственныхъ мыслей и плановъ, для педагогическаго саморазвитія, самодѣятельности, самоусовершенствованія. Они пишутъ и печатаютъ отчеты о своихъ занятіяхъ, планы и конспекты своихъ уроковъ.

Школа быстро растетъ и совершенствуется, о школѣ заговорили въ Москвѣ, ея интересуются, какъ новымъ и жизненнымъ по времени открытіемъ, ее посѣщаютъ и педагоги, учителя и учительницы, земскіе и другіе общественные дѣятели, составившіе себѣ громкое и почетное имя въ обществѣ и литературѣ, и разныя лица, интересующіяся школьнымъ обученіемъ и занятіями со взрослыми; и всѣ увлекаются жизненностью занятій, заражаются неподдѣльнымъ увлеченіемъ учителей и учениковъ. Школу для фабричныхъ посѣщаютъ наконецъ и члены Комитета Грамотности; въ засѣданіи его публично читается восторженный докладъ о школѣ, въ газетахъ печатается хвалебная статья, юныхъ учителей изъ-

бирають въ члены Комитета Грамотности, привлекають ихъ къ работамъ Комитета.

Возникшая по частному почину, свободно развившаяся исключительно лишь подъ диктовку жизни и здравыхъ педагогическихъ началъ, состоящая подъ контролемъ общества и совершенно для него открытая, эта первая въ Москвѣ школа для фабричныхъ послужила потомъ образцомъ для другихъ школъ въ Москвѣ и подъ Москвой, а нѣкоторые изъ ея преподавателей явились вскорѣ устроителями начальныхъ народныхъ школъ (въ томъ числѣ и городскихъ московскихъ) и руководителями педагогическихъ курсовъ для народныхъ учителей и учительницъ—при посредствѣ Московскаго Комитета Грамотности.

М. Ком. Грамотности сыгралъ, и не одинъ разъ, видную роль въ исторіи нашей народной школы. Въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, Ком. Грам. былъ единственнымъ общественнымъ учрежденіемъ въ Москвѣ, гдѣ могли сходиться для обмѣна мыслей интересующіеся дѣломъ народного просвѣщенія, откуда могла исходить и распространяться широкая общественная инициатива, и дѣятельность Комитета какъ въ это, такъ и въ послѣдующее время отличалась особеннымъ оживленіемъ и принесла плодотворные результаты. Собранія Комитета были такъ многолюдны, что круглая зала въ университетѣ и большая зала въ земледѣльской школѣ не могли вмѣщать всѣхъ желающихъ участвовать въ засѣданіяхъ. Личный составъ Комитета былъ крайне разнообразенъ: здѣсь сходились для совмѣстной работы представители духовенства и учебной администраціи, крупные общественные дѣятели съ громкими по всей Россіи именами, помѣщики, учителя средней и низшей школы, попечители и попечительницы школъ и друг. Несмотря на такой разнообразный составъ, несмотря на то, что многіе вовсе и не знали другъ друга даже и по именамъ, всѣ засѣданія, всѣ работы Комитета отличались замѣчательнымъ единодушіемъ, взаимнымъ уваженіемъ и довѣріемъ членовъ другъ къ другу и необыкновенной внутренней дисциплиной: всѣхъ равняло общее и близкое всѣмъ дѣло, всѣ уважали другъ въ другѣ искренность, прямоту, честность стремленій. Теперь кажется просто удивительнымъ это «равенство и братство» всѣхъ въ собраніи при полнѣйшемъ неравенствѣ общественнаго положенія каждаго. Юный учитель школы громко и смѣло доказываетъ преимущества концентрической программы преподаванія Закона Божія въ народной школѣ, и всѣ съ интересомъ слушаютъ горячую рѣчь, а по окончаніи ея Юрій Самаринъ съ такимъ же увлеченіемъ выражаетъ свое полное сочувствіе и удивленіе, какъ это такіа простыя мысли не приходили до этого въ голову и не примѣнялись на дѣлѣ, и говоритъ въ заключеніе: «у насъ до сихъ поръ бывало такъ, что дойдетъ паренекъ до «всемирнаго потопа» и окончитъ «свой курсъ», и выйдетъ изъ школы съ

мыслью, что весь родъ человѣческій потонуть, и тутъ для него конецъ исторіи всего человѣчества». Не менѣе удивительно теперь и то, что всѣ и каждый съ одинаковою готовностью и охотой и даже съ увлеченіемъ отдавали свое время и силы на разработку каждаго стоящаго на очереди школьнаго вопроса, не задумываясь надъ тѣмъ, насколько вопросъ этотъ былъ въ числѣ другихъ важенъ или неваженъ. Тогда все и для всѣхъ было ново и важно. Такъ, послѣ одного изъ засѣданій, въ которомъ обсуждался вопросъ о необходимости подготовительныхъ къ письму графическихкихъ упражненій, служащихъ для развитія пальцевъ, тотъ же Юрій Самаринъ въ слѣдующемъ засѣданіи обнаружилъ полное свое знакомство съ правильною постановкою чистописанія при начальномъ обученіи: въ промежутокъ между засѣданіями онъ добросовѣстно изучилъ всю методическую литературу по этому предмету. Теперь, быть можетъ, сказали бы, что это нерасчетливая трата большихъ силъ на малое дѣло, что это значитъ—«краснымъ деревомъ каминны топить»; но тогда такъ не разсуждали, и безъ этого „общественный каминъ“ долго-долго не былъ бы затопленъ и растопленъ. Непосредственное участіе крупныхъ общественныхъ силъ въ постановкѣ и разрѣшеніи большихъ и малыхъ школьныхъ вопросовъ возбуждало и поддерживало и въ обществѣ, и среди педагоговъ интересъ къ школьному дѣлу, гарантировало правильный ходъ всего дѣла, внушало довѣріе и уваженіе къ дѣятельности Комитета: не даромъ же Комитетъ пользовался тогда такимъ высокимъ авторитетомъ не только въ глазахъ Московскаго общества, но и земства всей Россіи.

А Комитетъ и работалъ тогда на всю Россію. Въ засѣданіяхъ его обсуждались частные методическіе и общедидактическіе вопросы первоначальнаго преподаванія, коллективно составлялись и издавались на счетъ Комитета учебныя руководства и наглядныя пособия; здѣсь были выработаны первыя по времени программы и планъ занятій въ народной школѣ; здѣсь составленъ и обсужденъ проектъ устройства педагогическихъ курсовъ, организованы и самые курсы въ Москвѣ, а потомъ и во многихъ провинціальныхъ городахъ, на счетъ земства, при непосредственномъ участіи Комитета, который рекомендовалъ руководителей, выслушивалъ и обсуждалъ ихъ отчеты, направлялъ ихъ дѣятельность и проч. Комитетъ же организовалъ потомъ и первыя *всероссійскіе* педагогическіе курсы въ Москвѣ во время политехнической выставки; и въ устройствѣ педагогическаго отдѣла на этой выставкѣ, въ устройствѣ народнаго театра и образцовой народной школы члены Комитета принимали близкое участіе. Трудно и перечислить всю ту массу труда и энергіи, которую затратили, и при томъ совершенно безкорыстно, члены Комитета на пользу общую.

Казалось бы, что въ такомъ дѣлѣ, какъ народная школа, при такомъ разнообразномъ составѣ членовъ и крайнемъ неравенствѣ ихъ силъ, не-

обходимо должна была обнаружиться партійная подкладка, тенденціозное направленіе, главенство и давленіе большихъ величинъ на малыя; но этого не было, къ счастью для нашей юной школы и къ чести всѣхъ дѣятелей Комитета. Намъ хорошо памятенъ слѣдующій случай, характеризующій тогдашнее *направленіе*. Одному изъ юныхъ педагоговъ поручено было составить подробный планъ занятій для городскихъ школъ; во главѣ этихъ школъ стоялъ тогда Дмитрій Федоровичъ Самаринъ. Когда планъ былъ составленъ, Д. Ф., внимательно его изучивъ, сдѣлалъ нѣсколько вполне основательныхъ замѣчаній, съ которыми охотно согласился и юный педагогъ, и въ заключеніе всего внушительно сказалъ: «все это прекрасно, но я не вижу здѣсь никакой *окраски*, надо бы выставить какой либо *опредѣленный флагъ*... Юный педагогъ горячо отвѣчалъ на это: «здѣсь есть этотъ флагъ, единственно желательный и допустимый, это общеобразовательный характеръ школы, строго-педагогическая постановка всего дѣла—при отсутствіи всякой тенденціи». И планъ былъ принятъ и проведенъ въ М. городскихъ школахъ—«безъ окраски и флага».—Другой случай имѣлъ мѣсто много позже, когда уже явились сомнѣнія и колебанія относительно «новой» школы. Было крайне многолюдное засѣданіе Комитета, заняты были и подоконники въ залѣ, и двери, и даже передняя: шла рѣчь о сравнительныхъ достоинствахъ «старой и новой» системы обученія, старой и новой школы. Кн. Черкасскій, внимательно слѣдившій за преніями сторонъ, заявилъ въ концѣ засѣданія: «какъ бы тамъ ни было, а старая церковная школа отжила свой вѣкъ; въ новой школѣ есть, какъ видно, свои недостатки, но за этой школой будущее, и къ старому поворота больше нѣтъ». Впослѣдствіи, когда мнѣ пришлось принимать участіе въ земскихъ собраніяхъ одной изъ *дворянскихъ губерній*, когда я одновременно съ этимъ познакомился съ ходомъ дѣлъ и въ сословныхъ собраніяхъ дворянскихъ, я понялъ естественность отсутствія тенденціи въ тѣхъ обществахъ и общественныхъ собраніяхъ, члены коихъ не принадлежать къ одному и тому же сословію, къ той или другой объединенной *партіи*: выступая въ такомъ обществѣ и собраніи, каждый забываетъ, хотя бы и на время, всякую партійность и исключительность, все, что можетъ раздѣлять и разъединять людей, на чемъ не могутъ быть согласованы общіе интересы; такъ и въ земскомъ собраніи, при сословной равноправности его состава, даже и крайній защитникъ дворянскихъ интересовъ рѣдко рѣшается говорить о преимущественныхъ правахъ своего сословія въ общемъ земскомъ дѣлѣ. То же самое и въ собраніяхъ по народному образованію: въ собраніи административныхъ дѣятелей можетъ взять перевѣсъ исключительно административная точка зрѣнія; въ собраніи лицъ духовныхъ, въ собраніи дворянскомъ легко могутъ сказаться односторонніе исключительные взгляды, и они будутъ казаться совершен-

но естественными и не встрѣтятъ возраженій; только въ *земскомъ* все-сословномъ собраніи болѣе гарантій на непристрастное направленіе дѣла, на всестороннее обсужденіе тѣхъ или другихъ положеній.

Намъ припоминается и еще одинъ случай, характеризующій то время со стороны общественной честности и непристрастія при оцѣнѣ явленій тогдашней жизни. Одинъ изъ крупныхъ общественныхъ и литературныхъ дѣятелей того времени, вполне сочувствуя педагогическимъ *курсамъ* для народныхъ учителей, безусловно отрицалъ въ то же время своевременность и полезность *създовъ* для тѣхъ же учителей, и убѣжденно говорилъ, что кромѣ пустой болтовни и праздныхъ разглагольствованій ничего другого быть не можетъ. И вотъ онъ является на такой *създъ* и, — заинтересованный дѣловитой оживленностью всего хода занятій, — вмѣсто нѣсколькихъ часовъ, какъ онъ прежде предполагалъ, присутствуетъ на *създѣ* нѣсколько дней и покидаетъ эти занятія при глубокомъ убѣжденіи въ полезности такихъ собраній, что онъ публично и засвидѣтельствовалъ. — «У насъ и въ дворянскихъ собраніяхъ не умѣютъ говорить такъ послѣдовательно и убѣдительно, какъ говорятъ эти народные учителя», — засвидѣтельствовалъ другой, удивленный всѣмъ видѣннымъ и слышаннымъ, принципиальный противникъ и *курсовъ*, и *създовъ*.

Педагогическіе *създы* народныхъ учителей, какъ и вся наша народная школа, есть созданіе общественное во всѣхъ отношеніяхъ, потому что они и жизненны, и растутъ и крѣпнутъ, несмотря на всевозможныя препятствія. Они возникли къ жизни по требованію самой жизни, развивались и совершенствовались естественно и разумно подъ диктовку той же жизни, для которой они служили, которую они сами въ себѣ носили. Когда виѣшнія условія были благоприятны для жизненнаго развитія, — они росли, шли впередъ; когда на пути встрѣчались непреодолимыя препятствія, — ростъ ихъ задерживался, жизнь замирала, а подчасъ принимала и уродливыя формы; но здоровый отъ рожденія организмъ беретъ верхъ и исправляетъ всякія ненормальныя отклоненія, излѣчиваетъ болѣзни.

Школа и курсы создались въ свѣтлый періодъ раскрѣпощенія раскрѣпощеннымъ обществомъ, и назначеніе ихъ было и есть служить однимъ изъ орудій для того же народнаго раскрѣпощенія — нравственнаго и умственнаго отъ власти тьмы при посредствѣ разумной и правильной постановки просвѣщенія, и никакихъ другихъ *побочныхъ* и *постороннихъ* цѣлей курсы, какъ и школа, какъ и все народное образованіе, преслѣдовать не должны. Педагогическіе курсы должны просвѣщать учителя, указывая ему истинныя цѣли образованія, раскрывая передъ нимъ всю высоту его призванія и огромную отвѣтственность его миссіи — передъ народомъ и

обществомъ, должны обогащать его педагогическими и общенаучными знаніями,—чтобы онъ, въ уровень съ временемъ и потребностями жизни, шель впередъ и впередъ и хорошо былъ освѣдомленъ, въ чемъ именно и какъ слѣдуетъ просвѣщать, чтобъ не предложить камня вмѣсто хлѣба, чтобъ не загубить напрасно времени вслѣдствіе своего незнанія и неумѣнія. Курсы просвѣщаютъ учителя и поддерживаютъ его на соответственнo-умственной и нравственной высотѣ, чтобы онъ былъ господиномъ и творцомъ, а не рабомъ своего живого дѣла, они указываютъ пути и даютъ средства для безостановочнаго самосовершенствованія, они же помогаютъ учителямъ сложиться въ дружественную корпорацію для духовной и матеріальной взаимопомощи, столь важной и необходимой при тяжелыхъ условіяхъ жизни этихъ общественныхъ работниковъ. Курсы созданы обществомъ, и оно черезъ нихъ вліяетъ и на учителя, и на школу, руководитъ ими, совершенствуетъ ихъ, согласно съ потребностями времени и мѣстными жизненными условіями. И современные намъ курсы и школа такъ же похожи и непохожи на тѣ, что были 30—35 лѣтъ назадъ, какъ юноша похожъ и непохожъ на самого себя въ дѣтствѣ.

Въ первое время курсы возникли, благодаря неотложной потребности спѣшно приготовить новаго учителя для новыхъ школъ. Этимъ озабочены были въ равной мѣрѣ и общество, и земство, и школьная администрація. И надо отдать справедливость, что послѣдняя не только содѣйствовала успѣшной постановкѣ и жизнеспособности курсовъ, но и сама училась на курсахъ совмѣстно съ учителями, попечительницами и попечителями школъ, съ членами училищныхъ совѣтовъ, съ земскими гласными. Потому-то и все ученіе курсовъ немедленно переходило въ жизнь, находя въ ней безпрепятственное примѣненіе. Нужно было прежде всего дисциплинировать самого учителя, показать несостоятельность прежнихъ формъ школьной жизни и всего школьнаго ученія, познакомить учителя съ болѣе совершенными орудіями воспитывающаго ученія, а потому и не удивительно, что дидактика и методика обученія занимали господствующее мѣсто на педагогическихъ курсахъ перваго періода,—какъ первая ступень педагогическаго образованія, какъ азбука учительская. Какъ научить дѣтей молитвамъ и передать имъ первыя религіозно-нравственныя понятія, какъ учить писать, читать и считать, чтобы ученіе было и легко и интересно для дѣтей, какъ создать въ школѣ разумную и гуманную дисциплину,—вотъ все трудное для того времени и легкое теперь дѣло, которое составляло тогда главное содержаніе курсовъ. На эти темы читались лекціи, давались образцовые уроки руководителей и пробные слушателей, объ этихъ предметахъ велись оживленные, всѣхъ волновавшіе споры руководителя съ слушателями и слушателей между собою. Какъ ни мелочны для поверхностнаго взгляда могутъ показаться всѣ эти вопросы

и споры, но безъ этого обойтись было нельзя, и «мелочей» въ обученіи, и воспитаніи нѣтъ и не должно быть, потому что изъ этихъ мелочей, вмѣстѣ взятыхъ, слагается и вся школьная жизнь, онѣ же опредѣляютъ и успѣхи всѣхъ занятій и, наконецъ, въ основѣ всѣхъ этихъ мелочей лежитъ важное и существенное начало—полная гармонія, полное соответствіе между всѣми безъ исключенія наличными школьными средствами съ одной стороны и основными педагогическими задачами ученія съ другой. Последнія безъ первыхъ недостижимы, неосуществимы. И едва ли найдется другое болѣе дѣйствительное средство для скорѣйшаго проведенія въ жизнь всѣхъ этихъ «мелочей», въ связи съ основнымъ и существеннымъ, для согласныхъ между собою дѣйствій разныхъ дѣятелей школы, какъ безпрепятственно-свободное и гласное обсужденіе всѣхъ школьныхъ вопросовъ въ общественныхъ собраніяхъ, составленныхъ изъ лицъ, непосредственно соприкасающихся съ жизнію школы, создающихъ эту жизнь. Циркуляры и предписанія не создаютъ убѣжденія и подчинять себѣ лишь формально, а учитель, дѣйствующій безъ убѣжденія и воодушевленія,— есть только приказчикъ и ремесленникъ, и плодотворныхъ результатовъ отъ его занятій ожидать ни въ какомъ случаѣ нельзя. Особенно трудно было «приказами» создать новую школу, новаго учителя и вдохнуть въ нихъ душу живую: здѣсь требовалось сознательное и воодушевленное идей общественное творчество, а не исполненіе циркуляра. Первоначальный составъ учительницъ и учителей народной школы былъ крайне разнообразенъ и не могъ быть признанъ удовлетворительнымъ: рядомъ съ идеальнѣ-преданными дѣлу, безкорыстными добровольцами изъ интеллигенціи, въ учителя и учительницы шли всѣ, кто только мало-мальски былъ грамотенъ, имѣлъ свободное время и не умѣлъ или не хотѣлъ къ чему либо другому приложить своихъ рукъ; не мало было и такихъ, которые шли въ учителя на время,—до полученія болѣе выгоднаго мѣста или положенія. Педагогическіе курсы много способствовали къ выясненію нежелательности такого порядка вещей и ускорили лучшій подборъ учительскаго персонала, указали ему идеалы, вдохнули идеальныя стремленія: вопросъ:—*„какого учителя намъ не надо“*—горячо трактовался тогда и на курсахъ, и въ земскихъ собраніяхъ, и въ обществѣ. Типъ учителя наемника, равнодушнаго ко всему, кромѣ жалованья, учителя формалиста, холоднаго и бездушнаго исполнителя предписаній, хотя бы и *мастера* своего дѣла,—вызывалъ всеобщія порицанія.

Не безъ труда и борьбы росла и развивалась наша новая гуманитарная народная школа; и нещадно ее бичевали и убѣжденные враги народного образованія—защитники крѣпостничества, а также и ревнители

древнихъ формъ просвѣщенія,—школьные старообрядцы. Дружный хоръ пристрастныхъ судей и доносителей обвинялъ школу въ пренебреженіи къ народной старинѣ и къ традиціоннымъ требованіямъ народа, въ подражательности иноземнымъ образцамъ, въ безсодержательности всего школьнаго ученія и даже въ противорелигіозномъ направленіи. Дѣйствительно, въ юной школѣ не могло не быть недостатковъ, и они были, но только вовсе не тѣ, въ какихъ ее несправедливо и съ ожесточеніемъ обвиняли.

Школа хорошо знала наслѣдіе старины и воспользовалась ея уроками, признавъ обветшалыми, а потому и непригодными старыя формы ученія и все его узкое и одностороннее направленіе, не отвѣчающія болѣе новымъ запросамъ раскрѣпощенной жизни. И сама крѣпостная жизнь во веѣхъ ея формахъ и проявленіяхъ—тоже наша родная старина, но разъ она рухнула, неминуемо и безповоротно должны были отойти въ область преданій и всѣ тѣ формы и учрежденія, съ нею тѣсно связанныя и задерживающія всякое свободное развитіе; школа неминуемо должна была взять образцы на сторонѣ у опередившихъ насъ въ культурной жизни сосѣдей и по этимъ образцамъ строить новое зданіе, примѣняясь къ своимъ средствамъ и къ условіямъ мѣста и времени; достоинство зданія оцѣнивается не по тому, по чьимъ образцамъ оно построено, а единственно по тому, удобно ли и гигиенично ли оно,—свѣтло ли, тепло и просторно, хорошо ли въ немъ жить, не стѣсняетъ ли оно хозяина: заимствуйте образцы, откуда угодно, лишь бы они были цѣлесообразны и совершенны и отвѣчали потребностямъ и условіямъ жизни.

Несправедливы и фарисейски лицемѣрны были обвиненія новой школы въ ея будто бы антинаціональномъ и антирелигіозномъ направленіи. Не нужно прежде всего забывать, что національный характеръ школы вмѣстѣ съ ея религіозно-правственнымъ и общеобразовательно-научнымъ направленіемъ, какъ первые такъ и дальнѣйшіе строители нашей школы, полагали въ ея основу, и начала эти послѣдовательно и настойчиво всегда проводились въ жизнь. Школа, дѣйствительно, на первыхъ своихъ шагахъ отеклась отъ такихъ національныхъ особенностей, какъ жестокое обращеніе съ дѣтьми, грубость и произволъ учителя, бессмысленность и принудительность ученія, и на мѣсто этой національной старины установила гуманное отношеніе къ дѣтямъ и дѣтей къ ученію; школа замѣнила недоступныя для дѣтей книги—Часословъ и Псалтирь—Евангеліемъ, какъ осново-положеніемъ жизни христіанской, а затѣмъ дала дѣтямъ въ руки русскую родную книгу, въ которой ребенокъ встрѣтитъ и родное слово, и родную природу, и родной бытъ:—такъ антинаціональна ли эта школа?

Школа, дѣйствительно, тратила много времени и силъ на правильную постановку первыхъ шаговъ ученія, увлекалась формами обученія въ ущербъ его содержанію; но она въ то же время настаивала на наглядности и реальности ученія, чтобы оно было доступно и интересно для

дѣтей, и съ первыхъ же дней старалась ввести въ свой курсъ и отечествовѣдѣніе—для ознакомленія съ настоящимъ и прошлымъ родной земли и съ окружающей природой. Юная народная школа съ гордостью можетъ сказать, что она опередила во многомъ, въ формахъ и въ содержаніи ученія, нашу среднюю школу, которая только теперь обсуждаетъ и рѣшаетъ то, что по отношенію къ народной школѣ рѣшено и досильно сдѣлано было 30—35 лѣтъ тому назадъ. И сильно ошибаются тѣ, кто называлъ и называетъ нашу народную школу лишь школою грамотности: многого въ ней недостаетъ еще и теперь, но въ основѣ своей, въ своихъ программахъ, въ своемъ настоящемъ и будущемъ,—она, несомнѣнно, была и есть школа общеобразовательная, и способная по всему своему строю и характеру къ дальнѣйшему развитію, какъ и само общество, ее создавшее, недостатки и достоинства котораго она и носить въ себѣ, постепенно ихъ исправляя подъ руководствомъ того же общества. Первые зодчіе школы могли бы теперь гордиться тѣмъ, что ихъ созданіе, наша начальная школа, — признана теперь официально достойною занять мѣсто въ общей системѣ всего строя образованія, какъ первое его звено, непосредственно связанное со всѣми послѣдующими звеньями, какъ первая ступень, съ которой легко и свободно можно шагнуть на послѣдующія—высшія ступени. Старая школа и всякое ея подобіе не могла и не можетъ ни въ какомъ случаѣ претендовать на такое многообѣщающее въ будущемъ положеніе среди другихъ общеобразовательныхъ школъ. Только опытный садовникъ знаетъ всю цѣну извнѣ заимствованной и умѣло сдѣланной прививки къ дичку и твердо вѣритъ въ успѣшный ростъ культивированнаго деревца, хотя бы оно и казалось для непросвѣтленнаго знаніемъ глаза и малымъ и некрасивымъ на видъ въ первое время.

Вполнѣ справедливо говорили, что народъ мало сочувствовалъ новшествамъ школы; но чѣмъ же собственно былъ недоволенъ народъ? «Въ новую школу посадили «дѣвчу» замѣсто учителя, — какая сила въ дѣвкѣ? гдѣ ей съ нашими ребятами справиться?» — «Въ новой школѣ все по головкѣ гладятъ, а нѣтъ того, чтобъ ребятъ въ страхѣ держать, — какой будетъ толкъ отъ такого ученья?» — «Въ новой школѣ мычатъ да шипятъ (рѣчь идетъ о звуковомъ методѣ), про козлятокъ и овечекъ читаютъ, пустякамъ учать». — «Стихиры, что поютъ въ церкви, — это отъ ангеловъ; а стихи, что читаютъ и поютъ теперь въ школѣ, — это отъ дьявола, его тамъ тѣшатъ». — Не удивительно было бы, если бы такъ наивно и простодушно говорили одни только крестьяне, — въ скоромъ времени они поймутъ школу, оцѣнятъ воспитывающую силу гуманной дисциплины и ученія, поймутъ, и не только примирятся, но и полюбятъ эту школу, и не захотятъ промѣнять ея на всякую другую, а тѣмъ болѣе на подновленную старую; но эти наивные отзывы крестьянъ были подхвачены непримиримыми врагами новой школы, и обвинительныя рѣчи въ защиту народа и

отъ его имени слышались въ общественныхъ собраніяхъ и въ печати; учителей и руководителей народной школы громко и грозно обвиняли во всякихъ «измахъ», писали тайно и явно доносы и наконецъ рѣшительно провозгласили, что отечество въ опасности, что надо во имя блага народа и государства положить конецъ «безобразіямъ» и передать общественную школу въ другія руки.

Что же дѣлали тогда истинные друзья школы? Боролись, сколько могли и на сколько имъ это было дозволено, — опровергали обвиненія, защищались отъ клеветы, возражали, доказывали правоту своихъ взглядовъ и чистоту побужденій. Но настоящую правду хорошо знала и противная сторона, и не въ исканіи этой правды тутъ было дѣло, а въ стремленіи повернуть назадъ историческій ходъ жизни, или же, — по крайней мѣрѣ, — затормозить, остановить просвѣтительное движеніе, хотя бы только и на неопредѣленное время.

Новая школа переживала точно такіе же дни тяжелыхъ испытаній, какъ и всѣ другія новыя учрежденія, народившіяся въ недолгій освободительный періодъ. Наступила и для школы пора лихолѣтья, безвременья. Нѣтъ никакой надобности замалчивать, что и общество наше въ нѣкоторой его части показало себя въ эти години недостаточно устойчивымъ и постояннымъ. Горячій порывъ самоотверженія прошелъ и смѣнился для большинства утомленнымъ равнодушіемъ, а для иныхъ и разочарованіемъ. Неподготовленные и неискушенные опытомъ работники ждали немедленныхъ и осязательныхъ результатовъ отъ своихъ минутныхъ трудовъ, ждали отъ кого-то похвалъ и благодарности, и были недовольны и какъ бы даже обижены, что все остается попрежнему, и махнули на все рукой. Не мало было и такихъ, кто только теперь понялъ, что это общественное движеніе, эта дѣятельность на пользу народнаго просвѣщенія въ своихъ конечныхъ результатахъ угрожаетъ въ будущемъ неудобствами и невыгодами для самихъ же гуманизаторовъ. Иныхъ, наконецъ, пугали и страшныя слова «неблагонадежный», «неблагонамѣренный», и малодушные постарались даже отречься отъ своего прошлаго. Такъ мало-по-малу и рѣдѣли ряды общественныхъ работниковъ эпохи раскрѣпощенія. И простые работники, и передовые борцы одинъ за другимъ сходили со сцены, и мѣста отцовъ стали занимать дѣти, которымъ не такъ памяты и осязательны были язвы и болѣсти крѣпостного времени, незнакомы были радости и восторги сладкихъ минутъ раскрѣпощенія, и «святыя завѣты» лучшихъ дней стали скоро забытыми словами. Основательными общественными знаніями, твердо выношенными убѣжденіями, опредѣленнымъ и устойчивымъ мировоззрѣніемъ общество наше никогда не могло похвалиться, а одними лишь чувствами и порывами долго вѣдь не проживешь. Наступила реакція враждебная, озлобленная. И дѣятельность неокрѣпшаго земства все болѣе и болѣе ограничивалась. Школьная администрація возросла и укрѣпилась и,

все болѣе и болѣе отстраняя общество и земство отъ школы, управляла живымъ дѣломъ на основаніи буквы закона и циркуляровъ, которые притомъ же понимались по-своему и примѣнялись нерѣдко произвольно, — согласно лишь «духу времени» и господствующимъ теченіямъ. Въ народной школѣ мало-по-малу воцаряется тотъ же духъ, какъ и въ гимназіяхъ, — недовѣріе къ учителю, заподозриваніе его, полное стѣсненіе его самостоятельности и сомодѣтельности, и всякое малѣйшее отступленіе отъ узко понимаемой буквы правилъ строго преслѣдуется. Умственное развитіе и сообщеніе общеобразовательныхъ знаній исключаются изъ задачи школьнаго ученія. Считалось недозволеннымъ сообщать дѣтямъ историческія, географическія и естественнoисторическія свѣдѣнія, упражнять дѣтей въ письменномъ изложеніи мыслей и даже — въ такъ называемомъ объяснительномъ чтеніи, и на мѣсто всѣхъ этихъ образовательныхъ занятій широкое развитіе (и замѣтимъ — совершенно произвольно) получаютъ грамматика съ диктовкой и рѣшеніе запутанныхъ задачъ. Евангеліе замѣняется Часословомъ и Псалтирю. Народная школа получила въ своемъ родѣ характеръ *классической школы*. Учителю предписывалось учить въ школахъ лишь механическому чтенію по книгамъ церковной и гражданской печати, чистописанію и счету, да грамматикѣ съ диктовкой, — и только.

Точно въ такой же мѣрѣ, какъ и школа, стѣснены и педагогическіе курсы: рекомендовалось занимать на курсахъ учителей исключительно образцовыми и пробными уроками и обсужденіемъ ихъ, а совмѣстное разрѣшеніе съ учителями «вопросовъ», даже и такихъ, какъ составленіе класснаго расписанія, непригодность той или другой рекомендованной книги для класснаго чтенія, программа грамматическаго курса, а тѣмъ паче — общеобразовательныя задачи школы, отношеніе народа къ школѣ, о библіотекахъ школьныхъ и народныхъ и т. п., — все это строго воспрещалось. Строгости формализма доходили до того, что для практическихъ занятій на курсахъ не дозволялось имѣть четырехъ группъ дѣтей вмѣсто трехъ, не разрѣшалось бесѣдовать съ учителями утромъ до 12 часовъ. Чтеніе рефератовъ или «сообщеній», какъ они назывались, и обсужденіе ихъ было строго воспрещено. Учителя на курсахъ превратились въ школьниговъ и должны были подчиняться мелочной дисциплинѣ. За всякое отступленіе отъ буквы правилъ руководители получали замѣчаніе, а учителя и вовсе удалялись съ курсовъ, а иногда вмѣстѣ съ этимъ теряли и мѣсто. Посторонніе слушатели допускались на курсы съ великимъ трудомъ. Наконецъ, уже ближе къ нашимъ днямъ, открыто и настойчиво высказывалась мысль о недопущеніи и «*постороннихъ*» руководителей курсовъ и о замѣнѣ ихъ мѣстными инспекторами народныхъ училищъ, или же вообще служащими по М. Н. Пр. и при томъ еще — преимущественно изъ своего округа. «Направленіе» этого навѣйшаго времени въ достаточной мѣрѣ характеризуется слѣдующими фактами. Во время одной изъ лекцій «посто-

роняго» руководителя представитель «новаго направленія» прерывая, лектора, громко заявляетъ: «не слушайте его (руководителя): когда къ вамъ въ школу прїѣдетъ инспекторъ, то онъ потребуеъ отъ дѣтей не какаго-то тамъ *развитія*, а только бѣглаго чтенія и письма,—этому вотъ и учить слѣдуетъ». — Политическое и религіозно-нравственное усердіе доходило до того, что народный гимнъ пѣли на курсахъ ежедневно по нѣскольку разъ, а въ 12 часовъ дня, передъ уходомъ съ курсовъ учениковъ, на однихъ курсахъ, читались ежедневно *вечернія молитвы*: такъ профанировались и притуплялись задушевно добрыя чувства и вѣрованія и дѣтей и наставниковъ формальнымъ усердіемъ не по разуму!

Мы не будемъ здѣсь говорить о тѣхъ болѣе чѣмъ тѣсныхъ рамкахъ, въ какія были поставлены и теперь стоятъ учительскія, школьныя и бесплатныя бібліотеки и читальни и народныя чтенія, такъ какъ все это хорошо всѣмъ извѣстно. Замѣтимъ лишь, что при всѣхъ строгостяхъ цензурныхъ, спеціально установленныхъ для дѣтскихъ и народныхъ книгъ, книги, одобренныя однимъ вѣдомствомъ, считаются недозволенными другимъ, и даже нерѣдко заподозриваются въ тенденціозномъ подборѣ такіе списки книгъ, которые составлены исключительно по каталогу М. Н. П.

«Новое направленіе» настойчиво требуетъ, чтобы народная школа и вообще все дѣло народнаго образованія полностью перешло въ вѣдѣніе учебной администраціи. Дѣятельность земства и частныхъ лицъ должна ограничиться исключительно лишь ассигнованіемъ потребныхъ денежныхъ суммъ. Но и этого мало: рядомъ съ заподозрѣнной «земской» школой, почти изъятаю уже изъ рукъ общества и достаточно «реформированной», поставлена была вновь призванная къ жизни старая «національная» школа—церковная, или, по удачному выраженію М. Губ. Земскаго собранія—«духовная школа», исключительно предоставленная вѣдѣнію духовенства: она должна замѣнить современемъ земскую школу. Эта послѣдняя постепенно преобразуется по образцу и подобію духовной школы, сольется съ нею и сама собою упразднится. Дѣйствительно, нѣкоторые земства на первыхъ порахъ успѣшили передать свои школы въ завѣдываніе духовнаго вѣдомства, ограничивъ свою дѣятельность выдачей на содержаніе школъ опредѣленныхъ суммъ,—хотя и нужно замѣтить, что такихъ примѣровъ было немного, и огромное большинство нашихъ земствъ, равно какъ и прогрессивная часть общества и печати, крѣпко стояли за *свою* школу, за ту скромную долю участія въ завѣдываніи ею, какая предоставлена была земству закономъ.

Хотя земская школа и не преобразовалась въ церковную, но она все же неминуемо должна была испытать на себѣ ея вліяніе. Особо покровительствуемое *направленіе* церковной школы признавалось желательнымъ и для школы земской, и усердно поддерживалось школьною администраціей. Тотчасъ же явились и книги для класснаго чтенія, составлен-

ныя въ духѣ и по программѣ церковныхъ школъ, и книги эти, не въ примѣръ прочимъ, получили широкое распространеніе, съ книгъ же, не соответствующихъ этому направленію, одобрение было снято, и онѣ были изъяты изъ школъ.

Реакціонное движеніе началось у насъ одновременно съ движеніемъ прогрессивнымъ; но съ особенною силою оно проявило себя въ восьмидесятыя годы и въ началѣ девяностыхъ: всякое движеніе впередъ прекратилось, земство и общество теряли послѣднія права на активное участіе въ дѣлахъ общественныхъ; жизнь, казалось, замерла и повернула свое теченіе назадъ—къ дореформеннымъ началамъ. Для школы народной эти годы были временемъ рѣшительнаго испытанія: педагогическіе курсы прекратились; сѣзды учителей запрещены; земская школа все болѣе и болѣе отходить отъ земства и готова уже преобразоваться по своему направленію въ церковную. Но если эта школа крѣпка въ своихъ основахъ, если жизненная правда на ея сторонѣ, если заложенные въ ней идеи истинны, то она выдержитъ всяческія испытанія, и они даже закалятъ ее и еще болѣе сдѣлаютъ ее жизнеспособною. «Такъ, тяжкій млатъ, дробя стекло, куетъ булатъ». И наша юная школа пережила дни испытаній, перенесла всѣ невзгоды, и тѣмъ завоевала себѣ право на существованіе и дальнѣйшее жизненное развитіе. Невзгоды не кончились и теперь, и даже по временамъ кажется, что силы, задерживающія свободное развитіе школы, проявляютъ себя еще рѣшительнѣе, еще жестче прежняго; но всѣ уже видятъ и знаютъ, что это послѣднія ставки пережитой реакціи,—начало конца. Всегда и во всемъ такъ бываетъ: морозъ усиливается и крѣпнетъ передъ разсвѣтомъ.

Съ девяностыхъ годовъ идея общественной самодѣятельности вновь воскресаетъ и все болѣе и болѣе дѣятельно проявляетъ себя во всѣхъ доступныхъ для нея формахъ жизни;—очевидно, эта идея пустила глубокіе корни, и морозъ могъ только задержать ея поступательное движеніе, но не въ силахъ былъ совсѣмъ убить ее. И въ наше время уже общество одушевлено не скоропреходящимъ порывомъ, а знаніемъ, опытомъ; оно вооружено уже достаточнымъ развитіемъ, и хорошо знаетъ, куда идти, къ чему стремиться, оно выросло уже до сознанія не только своихъ обязанностей, но и правъ, оно желаетъ имѣть свою законную долю участія въ своемъ собственномъ общественномъ дѣлѣ. И одно изъ такихъ дѣлъ—возможно широкое и общедоступное образованіе—какъ для самого общества, такъ и для народа. Общество хорошо сознаетъ теперь, что необходимо дать образованіе народу не изъ великодушія только и благотворительныхъ побужденій и не потому только, что это старыи, такъ долго неоплачиваемый долгъ, а главнымъ образомъ потому, что дальнѣй-

шая замкнутая и раздѣльная съ народомъ жизнь болѣе нежелательна, что дальнѣйшее движеніе самого общества впередъ неосуществимо до тѣхъ поръ, пока народъ остается невѣжественнымъ; народное образованіе поэтому важно и необходимо столько же въ интересахъ народа, сколько и въ интересахъ самого общества. Народопроевѣтительное движеніе общества теперь уже не можетъ быть названо беспочвеннымъ: у общества есть уже теперь могучій помощникъ въ дѣлѣ всеобщаго просвѣщенія—это самъ народъ. Неодобравшій вначалѣ школьныхъ новшествъ, онъ теперь уже оцѣнилъ эту школу и это просвѣщеніе по достоинству; прежніе ученики и ученицы школы стали отцами и матерями, они любили и любятъ школу, они по опыту знаютъ, какъ много разумнаго и добраго дала имъ эта школа, и настойчиво желаютъ, чтобы и дѣти ихъ воспользовались тѣми же благами. Земскую школу крестьяне называютъ «своею»; на мірскихъ сходахъ и въ земскихъ собраніяхъ они дружно стоятъ за эту «свою» школу. Проевѣтительная школа въ теченіе 30—40 лѣтъ расширила умственный горизонтъ народа, породила и воспитала въ новыхъ грамотеяхъ новыя культурныя привычки, новыя просвѣтительныя запросы, и народъ требуетъ ихъ удовлетворенія. На путь свободнаго и широкаго просвѣщенія властно и неудержимо ведутъ правительство—и народъ, и экономическія, и многія другія неизбытныя нужды. Теперь уже опытъ и сама жизнь неопровержимо доказали всѣ преимущества новой школы и оправдали смѣлыхъ и просвѣщенныхъ творцовъ ея. И благо народу, что «новая» школа его организовалась и развилась въ освободительную эпоху русской жизни, что она успѣла и окрѣпнуть и пустить въ народную жизнь свои корни, и стала приносить плоды, прежде чѣмъ поставлена была на замѣну ей подновленная старая школа: явись эта послѣдняя школа 30 лѣтъ назадъ,—она падало затормозила бы просвѣщеніе народа, а возникновеніе ея теперь послужило даже на пользу новой школы, какъ наглядный и убѣдительный примѣръ для сравненія, какъ толчекъ, напоминающій объ опасности, вызывающій на соревнованіе и самозащиту, побуждающій къ болѣе энергичной дѣятельности.

Въ періодъ кажущагося застоя друзья школы, педагоги и просвѣщенные общественные дѣятели, не теряли даромъ времени и разумно воспользовались уроками жизни. Они безпристрастно взвѣсили и оцѣнили недостатки и пробѣлы новой школы, пришли къ необходимости поправить первые и пополнить вторые и проявили свою дѣятельность по программѣ и болѣе глубокой, и болѣе широкой. Періодъ подражательности окончился и смѣнился самостоятельнымъ трудомъ—дѣятельной разработкой основныхъ отвлеченныхъ началъ въ направленіи непосредственнаго примѣненія ихъ къ потребностямъ текущей жизни, къ настоящимъ условіямъ мѣста и времени,—и въ этомъ отношеніи наше народное образованіе сдѣлало въ послѣдніе годы огромные успѣхи и въ литературѣ, и въ жизни: теперь

оно имѣть ужъ плоть и кровь, выработанныя изъ самой жизни, имѣющія прямое назначеніе служить на увеличеніе культурныхъ силъ той же жизни. Время одностороннихъ методическихъ увлеченій окончилось безвозвратно; общедидактическіе принципы оказались исчерпанными до конца и стали даже и въ глазахъ учителя общезвѣстными истинами. На очередь поставленъ новый жизненно-важный вопросъ: тому ли и въ такой ли мѣрѣ школа учить, что важно и нужно для современной жизни вообще, для этихъ самыхъ учениковъ и для ихъ жизни—въ частности? какими просвѣтительными мѣрами, кромѣ школы, укрѣпить и расширить въ народѣ образованіе, поднять его на новую и высшую ступеньку культурнаго развитія?—Въ разрѣшеніи и разработкѣ этихъ вопросовъ, въ проведеніи рѣшеній въ жизнь и заключалось все наше народо-просвѣтительное дѣло послѣднихъ лѣтъ. Это уже было дѣло не педагогическое только, но главнымъ образомъ *общественно-педагогическое* и по характеру и направленію своему, и по своему содержанию,—и дѣлателями его явились въ проебладающемъ числѣ представители общества и литературы. Просвѣщеніе народное вышло изъ младенческихъ пеленокъ и стремится стать культурною общественною силою, непосредственно приложимою къ современной жизненной дѣйствительности. Сообразно съ этимъ новымъ теченіемъ многое перемѣнилось и усовершенствовалось въ постановкѣ народнаго образованія: оно стало болѣе жизненнымъ по своему содержанію и болѣе широкимъ по программамъ.

Прежде всего расширилась программа и обновилось содержаніе педагогическихъ курсовъ. Методика школьныхъ предметовъ, достаточно уже разработанная, занимается теперь не только объясненіемъ методовъ и приѣмовъ преподаванія, но и переоцѣнкою самихъ предметовъ школьнаго ученія, указаніемъ тѣхъ ихъ сторонъ, которыя особенно важны или совсѣмъ не существенны; разрабатывается вопросъ о задачахъ народной школы, объ образовательномъ и воспитательномъ значеніи каждаго изъ предметовъ ученія, и на мѣсто однихъ предметовъ обученія ставятся другіе, болѣе жизненные и важные для умственнаго и нравственнаго развитія ученика, для подготовки его къ жизни личной и общественной. Но одной только, хотя бы обновленной и расширенной, методики оказывается теперь уже недостаточно для учителя народнаго,—ему нужно пополнить и расширить и специальное и общее свое образованіе,—и въ программу педагогическихъ курсовъ одинъ за другимъ входятъ предметы: педагогика и педагогическая психологія, физиологія и гигиена, русская литература, исторія и географія, естествознание; далѣе намѣчены, какъ необходимыя,—законовѣдѣніе и школовѣдѣніе, обзоръ дѣтской и народной литературы и др. Рядомъ съ педагогомъ теперь служить народному учителю въ роли руководителя курсовъ и ученый специалистъ, и вырабатываетъ и программу и общедоступную форму изложенія; вырабатываются потомъ общедоступныя

общеобразовательно-жизненные курсы, въ которыхъ такъ нуждается теперь не одинъ только народный учитель. Не даромъ же эти обновленные и расширенные педагогическіе курсы для народныхъ учителей привлекаютъ массу и *постороннихъ* слушателей,—весь педагогическій персоналъ разныхъ учебныхъ заведеній, земскихъ и другихъ общественныхъ дѣятелей,—словомъ, всѣ наличныя живыя силы провинціи. Присутствіе на курсахъ этихъ постороннихъ слушателей приноситъ большую пользу и самому дѣлу курсовъ, возбуждая и поддерживая интересъ къ народному образованію, внося въ дѣло гласность, ставя его подъ контроль общественный. Нужно побывать хоть на однихъ хорошо поставленныхъ курсахъ, чтобы убѣдиться въ томъ, какое захватывающее оживленіе вносятъ они въ жизнь провинціального города, какой интересъ пробуждаютъ къ вопросамъ обученія и воспитанія, какія оживленныя разсужденія въ обществѣ и печати вызываютъ они и тѣмъ самымъ способствуютъ выработкѣ устойчиваго общественнаго мнѣнія по общимъ вопросамъ народнаго образованія. Здѣсь школа и народный учитель съ одной стороны и просвѣщенное общество съ другой взаимно сближаются и роднятся, объединяясь идеєю просвѣщенія, по существу своему однородного для всѣхъ и одинаково для всѣхъ важнаго и жизненно необходимаго: общество проникается уваженіемъ къ учителю и его просвѣтительному дѣлу, а народный учитель утверждаетъ въ мысли, что и онъ живетъ общею со всѣми жизнію, и что его труды имѣютъ важное общественное значеніе, и за свою дѣятельность онъ несетъ великую отвѣтственность и передъ народомъ, и передъ обществомъ. Помимо всего сказаннаго, общепедагогическій и общеобразовательный характеръ современныхъ курсовъ вполне отвѣчаетъ такъ ясно сказавшемуся въ наши дни всеобщему интересу къ вопросамъ педагогическимъ и общему стремленію къ самообразованію. Устройствомъ такихъ курсовъ, вызванныхъ самою жизнію, при маломъ развитіи у насъ общественно-просвѣтительныхъ учреждений, земство наше культурно служить и своей школѣ, и всему обществу, и эта новая просвѣтительная заслуга его будетъ помянута потомъ великою благодарностью. Земство, призвавъ ученаго съ его университетской кафедрѣ въ учительскую и общественную аудиторію, дало ему возможность проводить научныя знанія непосредственно въ самую жизнь, положило начало непосредственнаго сближенія науки и ученаго съ жизнію мыслящаго общества. Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что такіе курсы могутъ при благоприятныхъ условіяхъ, развиваться потомъ въ подвижныя лѣтніе университеты общественныя.

И школа народная за это время значительно умножилась въ числѣ, такъ что образованіе въ недалекомъ будущемъ несомнѣнно станетъ общедоступнымъ; перевооружилась школа и въ лицѣ своихъ работниковъ-учителей, и въ предметахъ ученія. Современный народный учитель въ лучшихъ и въ довольно многочисленныхъ своихъ представителяхъ составляетъ теперь

значительную культурно-общественную силу: онъ все болѣе и болѣе знаетъ свою просвѣтительную роль и средства для ея выполнения: онъ по убѣжденію преданъ земству и земской школѣ и служить имъ вѣрой и правдой; онъ постепенно складывается въ общества для взаимопомощи—матерьяльной и нравственной; онъ горячо стремится просвѣтить себя, какъ для себя самого, такъ и для родного ему дѣла—просвѣщенія народа; онъ готовъ работать и работаетъ и въ школѣ и внѣ ея, и еще больше и плодотворнѣе будетъ работать при болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Во избѣжаніе всякихъ недоразумѣній необходимо къ этому прибавить, что нашъ народный учитель совершенно чуждъ всякихъ «измовъ» и какихъ бы то ни было политическихъ тенденцій: онъ такой же вѣрный слуга церкви и государства, какъ земства и близкаго ему даже и по крови народа.

Первооружилась школа и въ отношеніи предметовъ обученія. Первое мѣсто въ ней должны занимать тѣ предметы, которые воспитываютъ религіозное и нравственное чувство ученика, развиваютъ и обогащаютъ мысль, расширяютъ кругозоръ, способствуютъ выработкѣ доступнаго ему и правильнаго міровоззрѣнія въ отношеніяхъ человѣка къ Богу и къ человѣку—къ себѣ самому, къ сосѣду, къ обществу, къ государству, ставятъ въ разумное отношеніе къ природѣ и ея явленіямъ, а вмѣстѣ съ этимъ, сколь возможно, воспитываютъ въ ученикѣ доступныя ему духовныя потребности, пробуждаютъ стремленіе къ дальнѣйшему самообразованію и даютъ навыки и умѣнья, служащіе средствомъ для удовлетворенія этихъ потребностей и стремленій. Школа готовитъ къ жизни, и цѣнность всего школьнаго ученія въ его содержаніи, въ формахъ занятій, въ разнообразныхъ упражненіяхъ—опредѣляется жизненностію этого ученія: цѣнно только то, что нравственно, разумно и истинно, что примѣнимо, приложимо къ жизни, что способно къ дальнѣйшему въ жизни росту и развитію.

Для разрѣшенія всѣхъ этихъ трудныхъ задачъ, даже и при наличности въ учителѣ опытности и знаній, трехлѣтній курсъ школы недостаточенъ, и многія земскія школы переходятъ на четырехлѣтній и даже на пятилѣтній курсъ. При иныхъ школахъ устраиваются дополнительные классы, праздничныя чтенія и бесѣды—съ тою же цѣлію пополненія и расширенія курса. Нужно при этомъ замѣтить, что такое увеличеніе курса есть результатъ требованій самой жизни—расширяющихся потребностей народа.

Русская земля такъ обширна, населеніе ея такъ разнообразно во всѣхъ отношеніяхъ, жизнь такъ многостороння и сложна, что народная школа не можетъ и не должна быть устроена повсюду по одному и тому же шаблону, и необходимо предоставить обществу извѣстную свободу устраивать свою школу такъ, чтобы она наилучшимъ образомъ отвѣчала

условіямъ даннаго мѣста и времени. Одно лишь всегда и вездѣ остается въ школѣ неизмѣннымъ: она должна носить общесловный по составу учениковъ и общеобразовательный по своей программѣ характеръ, должна быть первымъ звеномъ въ общей цѣпи школъ, первую образовательную ступенью въ общей системѣ просвѣщенія.

Всѣ эти принципы выработывались у насъ постепенно изъ самой жизни и постепенно же завоевывали себѣ право на проведеніе въ жизнь. — 1897 годъ долженъ быть особенно отмѣченъ въ исторіи нашей школы, какъ свидѣтельство того, какія завоеванія сдѣланы школою и обществомъ въ короткое время: въ этомъ году правительственныя программы узаконили многое изъ того, что выработано было самою жизнію — литературой и школьной практикой, что еще наканунѣ обнародованія Программъ почиталось не только непризнаннымъ, но даже и недозволненнымъ: толковое чтеніе и изложеніе мыслей (устное и письменное) признаны главнымъ въ школѣ дѣломъ, а грамматика и правописаніе — второстепеннымъ; свѣдѣнія по исторіи, географіи, естествознанію и гигиенѣ стали обязательны для начальной школы; всѣмъ этимъ начальная школа официально признана общеобразовательною; трехлѣтній курсъ школы есть наименьшее количество времени для ученія; школа получила право расширять свою программу, увеличивать и число лѣтъ школьнаго ученія въ зависимости отъ мѣстныхъ условій.

Не менѣе знаменательны въ томъ же отношеніи итоги съѣзда дѣятелей по народному образованію въ Москвѣ весною въ 1901 г. Здѣсь въ первый разъ сошлись для свободнаго обмѣна мыслей представители правительственной администраціи и духовенства, предсѣдатели училищныхъ совѣтовъ (предводители дворянства) и губернскихъ земскихъ управъ, и всѣ рѣшенія съѣзда отличались замѣчательнымъ единодушіемъ и жизненностію въ смыслѣ признанія законности и необходимости всего того, что было до этого выработано и признано таковымъ самою жизнію — относительно равноправнаго участія правительственной власти и земства въ строеніи и веденіи народной школы (проектъ «Наказа», по которому земство лишалось всякаго участія, кромѣ денежнаго, въ школьномъ дѣлѣ, *если быль отвергнутъ*): жизненно-общеобразовательный характеръ школы и закономѣрное свободное ея развитіе, болѣе свободный и широкій доступъ книгъ въ школьную и народную бібліотеку и читальню, устройство курсовъ и съѣздовъ для народныхъ учителей — съ устраненіемъ существующихъ стѣсненій и пр. и пр. Исторически важную эпоху переживаетъ теперь и средняя школа, въ основу которой полагаются тѣ же самыя жизненные принципы, о которыхъ печать и общество неустанно заявляли въ теченіе почти цѣлаго полустолѣтія. Для начальной школы въ этой реформѣ особенно важно то, что эта школа признана первую ступенью общаго образованія, и курсъ ея поставленъ въ непосредственную

связь съ курсомъ средней школы, почему она и не должна болѣе считаться обособленною мужицкою школою.—Очевидно, что жизнь, а вмѣстѣ съ нею и ея представители и выразители—общество и печать, имѣютъ свою силу и власть.

Но школа есть только приговорительный классъ жизни, и ею не оканчиваются, не должны оканчиваться образовательныя занятія учащихся, и жизнь требуетъ новыхъ просвѣтительныхъ учреждений, и вотъ нарождаются и растутъ, благодаря тому же земству и обществу, школьныя (для дѣтей и взрослыхъ, для учителей) библіотеки и народныя читальни, воскресныя бесѣды и чтенія съ свѣтовыми картинами, народныя развлечения, гдѣ соединяется пріятное съ полезнымъ; строятся народныя дворцы; являются интеллигентные издатели книгъ; полагается начало народной газетѣ; такъ называемые «дѣтскіе журналы» преобразуются въ журналы общедоступныя и равно интересныя для взрослыхъ и дѣтей и читаются и въ семьяхъ, и въ деревенскихъ школахъ и читальняхъ; устраиваются обширныя земскіе книжныя склады, при помощи коихъ хорошая книга начинаетъ проникать и въ наши медвѣжьи углы и постепенно вытѣсняетъ литературу «лубочную». И все это возникаетъ къ жизни, какъ бы само собою создается просвѣщеннымъ обществомъ, въ отвѣтъ на дѣйствительныя запросы жизни, живетъ и множится, несмотря на всѣ трудности, естественно-неизбѣжныя въ каждомъ новомъ дѣлѣ, а иногда и вовсе ненужныя.

Необходимо здѣсь отмѣтить и еще одинъ въ высшей степени важный фактъ въ жизни нашего образованнаго общества, характеризующій его отношеніе къ дѣлу просвѣщенія массъ и духовнаго общенія съ ними: мы говоримъ объ участіи въ школьной и народной литературѣ нашихъ большихъ писателей-беллетристовъ и ученыхъ, явившихся на смѣну такъ называемыхъ «дѣтскихъ» и «народныхъ писателей», въ большинствѣ невѣжественныхъ и бездарныхъ. Отнынѣ дѣтская и народная литература должна быть неразрывною частью общей литературы, подготовительной и переходной ступенью къ послѣдней; барчукъ и крестьянскій сынъ, баринъ и крестьянинъ будутъ питаться одною духовною пищею, въ зависимости лишь отъ развитія каждаго, отъ доступности для него той или другой пищи. Отнынѣ тенденціозная, фальшивая и часто лживая «народная», или лучше—«мужицкая» литература отходитъ въ область преданій. Искусство и наука должны быть безсловны, и всякая книга всегда и во всемъ должна быть нравственна и научно правдива. «Великій писатель земли русской» одинъ изъ первыхъ создаетъ народныя или, лучше сказать, доступныя для всѣхъ рассказы; лучшіе беллетристы нашего времени вмѣстѣ съ профессорами участвуютъ въ «дѣтскихъ», т.-е. общедоступныхъ, журналахъ; при университетскихъ обществахъ составляются кружки для составленія популярно-научныхъ чтеній, изъ образцовыхъ писателей про-

шлаго времени составляются сборники для первой ступени чтенія. Такое участіе просвѣщенныхъ силъ въ общедоступной литературѣ не только улучшило внутреннее достоинство этой литературы, но и широко раздвинуло ея рамки: явились общедоступныя брошюры и книги по гигиенѣ, по законовѣдѣнію, по всеобщей исторіи и пр. пр. Просвѣщенные люди и классы спускаются съ своихъ вершинъ и все ближе и ближе подходятъ къ народу, чтобъ подѣлиться съ нимъ своими духовными богатствами, культурно слиться съ нимъ, и раздѣляющая интеллигенціею отъ народа пропасть мало-по-малу заполняется и выравнивается. Общедоступная книга становится первою ступенью литературнаго образованія,—приготовительнымъ классомъ для вступленія въ литературу всеобщую, доступную до сего лишь для избранныхъ.

Скромно и незамѣтно, но неудержимо и безостановочно совершается одно изъ величайшихъ дѣлъ нашего времени. Животворное зерно-идея, во-время посѣянное на доброй по природѣ почвѣ, переживаетъ свѣтлые и темные періоды жизни, необходимые для его развитія, и при дружномъ хоровомъ содѣйствіи творческихъ силъ общественныхъ растетъ и крѣпнеть и сама уже питаетъ и раститъ и множить эти силы.

Наше время, начиная съ эпохи раскрѣпощенія, разрѣшаетъ свою великую историческую задачу; въ мощномъ государственно-народномъ организмѣ нарождается и растетъ новая творческая сила—общество, которое и ведетъ мирную борьбу за свое существованіе. Ростъ общества и законное развитіе общественности во всѣхъ формахъ жизни всего народа—это и есть то великое историческое дѣло, подготовленное предшественниками эпохи раскрѣпощенія, начатое дѣятелями этой освободительной эпохи и совершаемое въ наши дни. Вполнѣ уважая и свято храня интересы государственныя и служа имъ «не за страхъ, а за совѣсть», общество въ то же время уже видитъ и знаетъ и свое собственное дѣло и стремится его исполнить, «по манію Царя» законно и прочно укрѣплять его за собою на будущее время и навсегда, и не только не въ ущербъ истиннымъ пользамъ государственнымъ, а на общее благо, какъ ихъ, такъ и всего народа. Съ особенною силою сказывается эта общественная дѣятельность въ сферѣ всеобщаго просвѣщенія какъ самого общества, такъ и всего народа. Достаточно исторически подготовленное общество считаетъ законнымъ и своевременнымъ освободить себя и народъ отъ власти тьмы. Законно это потому, что стремленіе къ свѣту—непререкаемый законъ духовной природы человѣческой, и нѣтъ силы болѣе властной и мощной, чѣмъ это стремленіе, а дѣло просвѣщенія дѣтей и есть непререкаемое право и неизбытный долгъ родителей, а стало быть и общества, какъ совокупности ихъ. И никому другому не близко такъ это дѣло, какъ обществу, и никто другой не сдѣлаетъ этого дѣла, не вложитъ

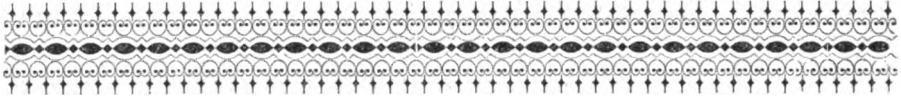
въ него столько разумности и сердечности, и никто другой, кромѣ общества, такъ хорошо не знаетъ всѣхъ нуждъ его, какъ то же общество.

Неоспорима власть государства въ дѣлѣ всенароднаго просвѣщенія въ смыслѣ добраго направленія и общаго наблюденія въ интересахъ государственныхъ, въ смыслѣ матеріальнаго и нравственнаго воспособленія, — но и только. Программа истинно государственныхъ интересовъ въ дѣлѣ просвѣщенія узка и не заключаетъ въ себѣ ни общей идеи просвѣщенія, не обнимаетъ и всѣхъ сторонъ этого дѣла, въ основѣ коего лежитъ религія, нравственность, наука, народность—области, по существу своему, государству не подвѣдомственные: оно призвано ихъ охранять, способствуя ихъ правильному развитію, но управлять ими, какъ таковыми, безъ ущерба для нихъ самихъ, государство не можетъ. Государству нужны ученые и опытные специалисты, безпрекословно послушные администраторы и чиновники, и только такихъ дѣятелей и можетъ приготовить государственная школа. Чиновники-педагоги, исполнители государственной воли, при всемъ ихъ высокомъ образованіи и гуманномъ добросердечіи должны всегда и прежде всего руководствоваться интересами своей государственной службы, исполненіемъ воли начальства, выражаемой въ предписаніяхъ и инструкціяхъ: а какими инструкціями можно исчерпать и направить каждый шагъ воспитателя, имѣющаго дѣло съ живою развивающеюся личностью ребенка и юноши? И можно ли инструкціями опредѣлить, и въ нихъ уложить, или гарантировать воспитаніе въ дѣтяхъ наилучшихъ и благороднѣйшихъ мыслей и чувствъ? И сами инструкціи и исполненіе ихъ, по необходимости, должны быть формальными, и все не входящее въ эти правила, все сокровенное человѣка, т. е. истинное просвѣщеніе ума и воспитаніе сердца, будетъ на дѣлѣ устранено и совсѣмъ погашено. Воспитаніе и канцелярія, педагогъ и чиновникъ—понятія несовмѣстимыя и взаимно другъ друга исключаютія. Поэтому-то истинный педагогъ, строго охраняя во всей своей дѣятельности интересы государственные, долженъ быть слугою общества,—въ высокомъ и благородномъ смыслѣ этого слова, онъ долженъ осуществлять въ воспитаніи ввѣренныхъ ему дѣтей лучшіе завѣты прошлаго и идеальныя стремленія настоящаго, коими общество живетъ и движется, чтобы школа не только не задерживала жизни, а всѣми находящимися въ ея распоряженіи средствами помогала ей идти впередъ и впередъ въ своемъ исторически-прогрессирующемъ движеніи. Организатія школы, ея просвѣтительно-гуманитарное направленіе и общій контроль надъ ея дѣятельностью,—все это дѣло не одного лишь государства, но и всего общества. При достаточномъ своемъ развитіи одно только общество и можетъ одухотворить и дать жизнь и движеніе величайшему изъ всѣхъ дѣлъ — воспитанію подрастающихъ поколѣній. Примѣръ того, какъ это можетъ быть сдѣлано и насколько успѣшно осуществлено, мы можемъ видѣть въ прошломъ и настоящемъ нашей народной школы, въ

устроении которой общество принимало хотя и недостаточно полное участие. Попечение о народной школѣ возлагалось то на общество и на земство, то становилось какъ бы привилегіею того или другого изъ высшихъ сословій, то переходило въ руки учебной администраціи, и только въ рукахъ настоящаго своего хозяина, общества и земства, народная школа развивалась и совершенствовалась съ наибольшимъ и несомнѣннымъ успѣхомъ. То и другое сословіе, какъ и государственная власть, и въ своемъ собственномъ и въ чужомъ дѣлѣ не могутъ не быть сами собой, и всегда внесутъ въ это дѣло личное и свое въ ущербъ общему, и дадутъ всему дѣлу одностороннее направленіе. Только представители *всѣхъ* сословій и государственной власти вмѣстѣ съ представителями земства и могутъ построить и устроить и вести впередъ дѣло всенароднаго просвѣщенія; и земству, какъ представителю общества, должна принадлежать здѣсь главенствующая роль. И все прошлое наше служить порукой, что земство и общество, руководимыя жизненными идеями, эти могучія творческія силы, однѣ и въ силахъ раскрѣпостить окончательно нашу жизнь. А осуществится это тѣмъ скорѣе, чѣмъ скорѣе и шире распространится идея общественной и глубже проникнетъ въ общее сознаніе, когда умножится число не героевъ только, но и безыменныхъ общественныхъ дѣятелей, когда каждому изъ этихъ работниковъ общественное дѣло будетъ такъ же близко и дорого, какъ и свое собственное.

Д. И. Тихомировъ.





Кракенъ *).

(Изъ Тэннисона).

Внизу, подъ громомъ верхней глубины,
Тамъ, далеко, подъ пропастями моря,
Издревле, чуждымъ сновъ, безбурнымъ сномъ
Спитъ Кракенъ: еле зримыя сіянья
Скользятъ вокругъ тѣневыхъ его боковъ;
Надъ нимъ растутъ огромнѣйшія губки
Тысячелѣтней грозной вышины;
И далеко кругомъ, въ мерцаньи тускломъ,
Изъ гротовъ изумительныхъ, изъ тьмы
Разбросанныхъ повсюду тайныхъ келій,
Чудовища—полипы, безъ числа,
Гигантскими руками навѣвають
Зеленый цвѣтъ дремотствующихъ водъ.
Тамъ онъ вѣка покоился, и будетъ
Онъ такъ лежать, питаяся во снѣ
Громадными червями океана,
Пока огонь послѣдній бездны моря
Не раскалитъ дыханьемъ,—и тогда,
Чтобъ человѣкъ и ангелы однажды
Увидѣли его, онъ съ громкимъ воплемъ
Всплыветъ—и на поверхности умретъ.

К. Бальмонтъ.



*) Морское чудовище, живущее, по легендѣ, на самой глубокой глубинѣ.



Н. В. Гоголь и В. Г. Бѣлинскій лѣтомъ 1847 г.

31 декабря 1846 г. въ Петербургѣ вышла изъ печати новая книга Гоголя: «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями», въ успѣхѣ которой авторъ былъ настолько увѣренъ, что заранѣе велѣлъ заготовить бумагу для второго изданія, и о которой онъ писалъ издателю, что это до сихъ поръ его *единственная дѣльная книга*, необходимая въ настоящее время многимъ и многимъ.

Извѣстно, какой длинный рядъ тяжелыхъ разочарованій ожидалъ самолюбиваго Гоголя. Начать съ того, что благонамѣреннѣйшая въ мирѣ книга подверглась жесточайшимъ цензурнымъ урѣзкамъ, такимъ урѣзкамъ, которыя превратили ее, по словамъ автора, въ брошюру, при чемъ важнѣйшія мѣста ея лишились логической связи и человѣческаго смысла. Положимъ, автору «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ» было не привывать воевать съ цензурою и, несмотря на долгіе годы болѣзни, Гоголь, какъ оказалось, не потерялъ своей энергіи и изворотливости; средствъ же у него теперь гораздо больше, чѣмъ 10 лѣтъ назадъ. Но на этотъ разъ все оказалось бессильно. Издатель книги Плетневъ прочелъ непропущенныя мѣста Наслѣднику-цесаревичу, будущему царю-Освободителю, конечно, въ надеждѣ, что онъ заступится за его несправедливо гонимаго друга. Ничуть не бывало: Наслѣдникъ согласился съ цензурой, и Плетневъ выпустилъ книгу обрѣзанной. Гоголь жестоко разсердился на него: онъ увѣренъ, что ему, Гоголю, стоило написать два слова графу М. Ю. Вѣльгорскому, и тотъ черезъ государя провелъ бы его книгу въ цѣлости. Ну, нечего дѣлать: первое изданіе пропало; надо немедленно заняться спасеніемъ слѣдующихъ. Гоголь пишетъ не два, а много словъ Вѣльгорскому; тотъ думаль-думаль, совѣщался и съ кн. Вяземскимъ и съ Плетневымъ, и наконецъ почти черезъ 4 мѣсяца пришелъ къ заключенію, что съ этимъ дѣломъ лучше повременить примѣрно годъ, а до тѣхъ поръ процenzуровать всю книгу въ дружескомъ кружкѣ.

Изъ за имени Гоголя книга пошла сперва прекрасно, и Гоголь *на основаніи словъ Плетнева* увѣрился, что изданіе распродается въ мѣсяць. Но скоро тотъ же Плетневъ вынужденъ его увѣдомить, что книгопродавцы

приостановились съ своими требованіями, и о второмъ изданіи никто изъ нихъ не заикается.

Но ни нѣкоторое разочарованіе въ личныхъ друзьяхъ, ни ошибка въ матеріальныхъ расчетахъ, ни неожиданная строгость цензуры не могли, конечно, произвести на Гоголя такого удручающаго впечатлѣнія, какое произвели неблагоприятные отзывы тѣхъ людей, которые до тѣхъ поръ преклонялись передъ нимъ, какъ передъ величайшимъ писателемъ времени. А такіе отзывы стали слышаться очень скоро и именно со стороны тѣхъ, чьему мнѣнію Гоголь не могъ не придавать особаго значенія. Первые обличительные голоса раздались даже до выхода книги изъ печати.

Уже въ концѣ августа 1846 г. С. Т. Аксаковъ, узнавшій по секрету о печатаніи «Выбранныхъ Мѣстъ», приходитъ къ печальной мысли, что религіозная восторженность, признаки которой онъ уже давно замѣчалъ въ Гоголѣ, готова убить въ немъ великаго художника, но покамѣстъ онъ дѣлится своими опасеніями только съ своими дѣтьми ¹⁾.

Въ октябрьской книжкѣ «Библ. для Чтенія» Сенковскій объявляетъ публикѣ, что нашъ Гомеръ, написавшій «Мертвыя Души», вдался въ мистицизмъ и такъ самолюбиво замечтался, что всѣмъ даетъ наставленія ²⁾; но брань отъ Сенковскаго неважное дѣло; къ тому же Гоголь «Библиотеки» не читаетъ и продолжаетъ восторгаться своей будущей книгой; онъ видитъ даже чудо и особую милость Божію въ томъ, что во время его работы надъ нею «вдругъ остановились самые тяжкіе недуги» его, и устранились всѣ помѣхи въ его трудѣ ³⁾. Въ публикѣ, надѣется онъ, книга произведетъ такой эффектъ, что всѣ кинутся смотрѣть его «Ревизора» и начнутъ съ новой энергіей раскупать «Мертвыя Души».

Въ ноябрѣ слухи, доходящіе до С. Т. Аксакова, принимаютъ настолько опредѣленный характеръ, что онъ пытается остановить выходъ въ свѣтъ книги Гоголя, но, конечно, напрасно ⁴⁾. 9 декабря (нашего стиля) онъ пишетъ Гоголю очень рѣзкое, хотя и любящее письмо, въ которомъ между прочимъ говоритъ: «Разнеслись темные слухи, что въ Петербургѣ печатается цѣлая книга вашихъ сочиненій, въ которой помѣщена ваша переписка съ друзьями, состоящая изъ проповѣдей и пророчествъ, ваше признание, что все написанное вами до сихъ поръ ничтожно и недостойно вниманія, ваше извѣщеніе, что вы сожгли продолженіе «Мертвыхъ Душъ» и что вы отправляетесь въ Іерусалимъ и, наконецъ, ваше завѣщаніе, чтобы не ставили никакого памятника на вашей могилѣ. Не зная, до какой степени справедливы эти слухи, тѣмъ не менѣе уже не я одинъ, но многіе

¹⁾ И. С. Аксаковъ, въ письмахъ и пр. I, 373.

²⁾ Тамъ же I, 391.

³⁾ Изд. Кулиша VI, 272.

⁴⁾ С. Т. Аксаковъ, „Ист. моего знакомства съ Гоголемъ“. стр. 156. („Р. Архивъ“ 1890, II).

изъ тѣхъ, для коихъ драгоцѣнны вы и вашъ великій талантъ, пришли въ неописанный ужасъ»... Затѣмъ Аксаковъ какъ дважды два четыре доказываетъ ему нецѣльность его идеи выпустить 2 *благотворительныхъ* изданія «Ревизора» съ «Развязкой» и продавать ихъ черезъ бенефициантовъ.

Эти изданія и «Развязку» Гоголь, на основаніи совѣтовъ Шевырева и другихъ, рѣшилъ отложить еще прежде; но «Выбранныхъ Мѣсть» онъ уже не могъ да и не желалъ остановить.

Книга Гоголя вышла и произвела *эффектъ*, но не въ такихъ размѣрахъ и не такого характера, какъ ожидалъ авторъ. Конечно, въ подобныхъ случаяхъ невозможно подводить статистику, но, пересматривая журнальные отзывы ¹⁾ и частныя письма къ Гоголю, можно смѣло сказать, что изъ лицъ, прикосновенныхъ къ русской литературѣ и познакомившихся съ «Выбранными Мѣстами», болѣе 90 процентовъ оказалось противъ него. Мало того: оказалось, что самые горячіе и искренніе поклонники автора «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ» и личные друзья его почти *вынуждены* были напасть на автора новой книги, такъ какъ защитниками ея явились люди изъ враждебнаго лагеря. Тотъ же старикъ Аксаковъ 16 января пишетъ сыну въ Калугу: Мы не можемъ молчать о Гоголѣ: мы должны публично порицать его. Шевыревъ даже хочетъ напечатать безпощадный разборъ его. Дѣло въ томъ, что хвалители и ругатели Гоголя перемѣнились мѣстами: всѣ мистики, всѣ ханжи, всѣ примиряющіеся съ подлою жизнію своею возгласами о христіанскомъ смиреніи, весь скотный дворъ Глинки, а особенно женская свита К. В. Новосильцовой утопаютъ въ слезахъ и восхищеніи. Я думалъ, что вся Россія дастъ ему публичную оплеуху, и потому не для чего намъ присоединять рукъ своихъ къ этой пощечинѣ; но теперь вижу, что хвалителей будетъ очень много, и Гоголь можетъ утвердиться въ своемъ сумасшествіи. *Книга его можетъ быть вредна многимъ* ¹⁾.

Къ счастью; горячій Аксаковъ представилъ себѣ дѣло въ слишкомъ мрачныхъ краскахъ: новые хвалители Гоголя оказались людьми малолитературными и въ печати не выступали; а личные друзья его могли ограничиться письменными нападеніями на «Выбр. Мѣста»; иные же изъ

¹⁾ О критическихъ статьяхъ, посвященныхъ „Выбр. Мѣстамъ“, см. у В. И. Шенрока, „Матеріалы“ и пр. IV, стр. 463 и слѣд.

²⁾ С. Т. Аксаковъ, тамъ же, стр. 163. Глинка, разумѣется, Оед. Ник., извѣстный авторъ духовныхъ одъ; но кто такая К. В. (безъ сомнѣнія Екатерина В.) Новосильцова, я не знаю; можетъ быть, это Екат. Влад. Н., писавшая подъ псевдонимомъ *Т. Толмчевой* (о ней см. въ словарѣ писательницъ Голицына и въ статьѣ Д. Д. Языкова: „Писатели, умершіе въ 1885 г.“ „Ист. Вѣстн.“ 1888, № 12, стр. 114—116), но трудно повѣрить, чтобы въ 1847 г. она уже могла имѣть *женскую свиту*. Это то самое письмо С. Т. Аксакова, которое было причиной бурной сцены въ губернаторскомъ домѣ въ Калугѣ и позднѣе заставило Гоголя вступить снова въ пререканія съ Аксаковыми изъ за Смирновой.

нихъ (напр. кн. П. А. Вяземскій) ухитрились сказать кое что и въ похвалу имъ; но Гоголь былъ слишкомъ уменъ и слишкомъ «искусился въ наукѣ наблюденія жизни», чтобы утѣшить себя такими полупохвалами уважаемыхъ имъ людей и не усмотрѣть явнаго осужденія въ полуупрекахъ такихъ ангельскихъ душъ, какъ В. А. Жуковскій. Не столько передъ ними, сколько передъ самимъ собою онъ съ необыкновенной изворотливостью начинаетъ выскрывать аргументы, чтобы оправдать появленіе своей книги, и доказать ея пользу если не для другихъ, то хоть для него лично.

22 февраля (н. стilia) Гоголь пишетъ Смирновой: «Вся книга моя долженствовала быть пробою: мнѣ хотѣлось ею попробовать, въ какомъ состояніи находятся головы и души; мнѣ хотѣлось только поселить посредствомъ ея въ головѣ¹⁾ идеаль возможности дѣлать добро; потому что есть много истинно доброжелательныхъ людей, которые устали отъ борьбы и омрачились мыслью, что ничего нельзя сдѣлать... Письма эти вызвали бы отвѣты; отвѣты эти дали бы мнѣ свѣдѣнія. Мнѣ нужно много набрать знаній; мнѣ нужно хорошо знать Россію. Другъ мой, не забывайте, что у меня есть постоянный трудъ: эти самыя «Мертвыя Души», которыхъ начало явилось въ такомъ неприглядномъ видѣ²⁾»).

Итакъ, по словамъ Гоголя, оказывается, что «Выбр. Мѣста» должны были имѣть не столько самостоятельное, сколько служебное значеніе—для 2-ой части «Мертвыхъ Душъ». Между тѣмъ публика, даже и самая просвѣщенная, на основаніи собственныхъ словъ Гоголя, пришла къ заключенію, что онъ осудилъ все, имъ доселѣ написанное, и навсегда отказался отъ своей «свѣтской» литературной дѣятельности. Стало быть, публика, цѣнившая Гоголя больше всего какъ творца «Мертвыхъ Душъ» и теперь вознегодовавшая на него за измѣну великому дѣлу, впала въ грубую ошибку и невольно оклеветала его? Или Гоголь, убѣдившись въ своей неудачѣ въ качествѣ проповѣдника и публициста, болѣе или менѣе сознательно поворачиваетъ назадъ и старается убѣдить даже самыхъ близкихъ людей, что онъ и не думалъ отказываться отъ творчества?

Истина, какъ и обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ, лежитъ въ серединѣ. Дѣло представляется намъ въ такомъ видѣ. Гоголь еще съ ранней молодости любилъ писать наставительныя письма даже родной матери. Проживая за границей въ средѣ русскихъ аристократовъ и не будучи въ состояніи сладить съ 2-ою частью «М. Д.» такъ, какъ онъ ее задумалъ, онъ сталъ писать такія письма въ большомъ количествѣ своимъ знакомымъ, которые, какъ и многіе русскіе бары съ начала XIX вѣка, искали себѣ повсюду проповѣдниковъ и просвѣтителей. Одна изъ самыхъ умныхъ

¹⁾ Читай: головахъ.

²⁾ Изд. Кулиша, VI, 344—348.

и самых увлекающихся русских дамъ, А. О. Смирнова, пришла въ такой восторгъ отъ поученій Гоголя, что, не говоря о другихъ, даже А. И. Тургенева убѣдила еще въ 1844 г., будто Гоголь въ своихъ письмахъ гораздо интереснѣе и умнѣе, чѣмъ въ своихъ сочиненіяхъ. Самъ Гоголь, въ то время разстроенный нервной болѣзью, повѣрилъ ей и ей же одной изъ первыхъ, еще 2 апрѣля 1845 г., сообщилъ о своемъ намѣреніи, отложить *пока* «М. Д.» въ сторону, издать «небольшое произведеніе, не шумное по названію, но нужное для многихъ» ¹⁾. Подготавливаясь къ этому изданію въ первой половинѣ 1846 г., Гоголь дѣлитъ себя между двумя работами приблизительно поровну; но, принявшись за окончательную обработку 1-ой тетради «Переписки» въ іюлѣ, Гоголь отдаетъ себя этому дѣлу цѣликомъ, и тогда все, прежде имъ написанное, начинаетъ ему казаться пустяками, сравнительно съ *дальной* и серьезной книгой, имъ печатаемой. Онъ до того увлекается проповѣднической публицистикой, что литературные вопросы кажутся ему теперь самыми трудными, а *кровное* его *дѣло*—иное ²⁾. Онъ убѣжденъ, что и «М. Д.» и «Ревизоръ» будутъ отнынѣ имѣть значеніе только, какъ произведенія автора «Выбр. Мѣстъ», и думаетъ, что его книгу «будутъ болѣе покупать люди богатые и достаточные, а бѣдные получатъ даромъ отъ ихъ великодушныхъ раздачъ» ³⁾.

Но когда, въ концѣ 1846 г., Гоголь начинаетъ получать неприятныя извѣстія изъ Россіи, когда онъ вынужденъ отказаться отъ печатанія и представленія «Ревизора» съ «Развязкой», когда до него доходятъ злобшіе отрезвляющіе его слухи, онъ отъ публицистики снова обращается къ литературѣ. Уже въ началѣ декабря онъ посылаетъ Плетневу статью о «Современникѣ» и немного спустя (12 дек.) проситъ Плетнева аккуратно высылать ему русскіе журналы: ему интересны и самыя плохія статьи и повѣсти, чтобы «знать, съ кѣмъ я имѣю дѣло». Тогда опять выступаетъ на первый планъ трудъ его жизни «Мертвыя Души», и ему кажется, что онъ и всегда занималъ это мѣсто въ его сознаніи.

Вскорѣ послѣ отсылки вышеприведеннаго письма къ Смирновой, Гоголь почти одновременно получилъ два сильныхъ удара: извѣстное рѣзкое письмо отъ С. Т. Аксакова, отъ 27 янв. (ст. стила) ⁴⁾ и письмо отъ великосвѣтской, но по мужу литературной дамы гр. С. М. Сологубъ, которая характеризовала извѣстные ей отзывы о «Выбр. Мѣстахъ» такими словами: «Критики столь язвительны, разборъ вашихъ писемъ такъ немилосердно строгъ и насмѣшливъ и выведенныя заключенія изъ собственныхъ вашихъ словъ и сужденій такъ странны и преувеличены, что я считаю лишнимъ упоминать о нихъ здѣсь, руководствуясь этимъ правиломъ: «Плетью обуха

¹⁾ Тамъ же, VI, 174—177.

²⁾ VI, 270.

³⁾ VI, 281 . 4.

⁴⁾ Акс., 164—5.

не перешибешь»¹⁾ При письмѣ Аксакова были приложены и письма Свербеева и жены его, тоже не изъ хвалебныхъ.

Тяжко было самолюбивому и захваленному Гоголю, и въ будто бы смиренномъ отвѣтѣ Аксакову онъ, развивая ту же идею о тѣсной связи «Переписки» съ продолженіемъ «М. Д.», въ апологѣ о поварѣ и его кухонномъ снарядѣ старается всю отвѣтственность въ неудачѣ книжки возложить на своихъ близорукихъ поклонниковъ, которые слишкомъ торопили его и приставали къ нему и, стало быть, прежде всего на С. Т. Аксакова²⁾. Но въ тотъ же день 6 марта въ письмахъ къ болѣе близкимъ и болѣе добрымъ (какъ онъ думаетъ) друзьямъ своимъ, Плетневу и Жуковскому, онъ рѣзко осуждаетъ свое новое произведеніе по крайней мѣрѣ со стороны его, такъ сказать, литературной наружности. «Я размахнулся, пишеть онъ Жуковскому,—въ моей книгѣ такимъ Хлестаковымъ, что не имѣю духу заглянуть въ нее... Какъ мнѣ стыдно за себя, какъ мнѣ стыдно передъ тобою, добрая душа!» и т. д.³⁾ Въ письмѣ къ Плетневу онъ называетъ тонъ книги «грубымъ, неотесаннымъ, напыщеннымъ». Онъ объясняетъ появленіе книги вышеупомянутой потребностью набраться ума-разума для своего главнаго «труда», чтобы быть также ясну и просту въ «М. Д.», какъ неясенъ и загадоченъ я въ этой книгѣ моей»⁴⁾.

То же оправданіе приводитъ онъ въ письмахъ и Шевыреву и гр. А. М. Виельгорской и Данилевскому и, искренно повѣривъ въ слова свои, желаетъ сейчасъ же утилизировать «Переписку», чтобы, собирая о ней мнѣнія, изучать современныхъ людей, узнать «на какой степени душевнаго состоянія своего состоитъ теперь каждый изъ нашего современнаго общества»⁵⁾. Онъ увѣряетъ, что *почти нарочно* (характерна эта прибавка: *почти!*) помѣстилъ въ своей книгѣ много такихъ мѣстъ, которыя заносчивостью тона способны *задрать за живое* и разсердить читателя», такъ какъ «русскаго человѣка до тѣхъ поръ не заставишь говорить, покуда не разсердишь его и не выведешь изъ терпѣнія»⁶⁾. Но онъ тутъ же откровенно сознается, что ожидалъ большаго количества толковъ въ свою пользу, и въ другихъ письмахъ иронизируетъ надъ самимъ собой: напуганный всеобщими нападками, онъ сталъ теперь до того трусливъ, что боится выражать свои мысли на бумагѣ⁷⁾.

Подъ вліяніемъ тяжкаго неожиданнаго испытанія замѣтно измѣнился взглядъ Гоголя на самого себя и если не характеръ его, то во всякомъ

1) „В. Евр.“ 1889 г. № 116—117, письмо отъ 3 февраля по ст. стилю.

2) VI, 348—350.

3) VI, 350—351.

4) VI, 337—341.

5) VI, 358—360.

6) 15 апр. письмо къ Аркалію Ос. Россету въ „Р. Ст.“ 1884, I, 168—171.

7) VI, 364.

случаѣ его манера обращенія съ людьми; особенно рѣзко проявляется это на его отношенія къ самымъ дорогимъ для него людямъ—матери и сестрамъ: еще недавно онъ былъ высокомѣренъ съ ними до грубости, а 6 апр. онъ проситъ мать молиться, чтобы Господь отогналъ отъ него «духа самоувѣренности, гордости, самоослѣпленія», и 3 мая усиленно проситъ у нея и у сестры прощенія за свои прежнія рѣзкія и наставительныя посланія; кидаясь въ другую крайность, онъ превозноситъ и мать и сестеръ такими похвалами, что черезъ нѣкоторое время самъ же считаетъ нужнымъ объяснить ихъ своимъ капризомъ и снова приближается къ рѣзкостямъ и неумѣстному обличенію.

Себя онъ по прежнему считаетъ выдающимся, богато одареннымъ человекомъ, но искренно признается, что совсѣмъ не умѣетъ управлять собою, что ему надо не учить другихъ, а долго и усиленно учиться самому.

Изъ всѣхъ ударовъ, которые получилъ Гоголь въ эти печальные для него мѣсяцы, одинъ изъ самыхъ сильныхъ и чувствительныхъ, безъ всякаго сомнѣнія, была рецензія Бѣлинскаго. Гоголь уже давно и во многомъ разошелся съ нимъ принципиально, давно предпочиталъ ему Шевырева, какъ критика, но не могъ не цѣнить его тонкаго художественнаго чутья и втайнѣ очень гордился его высокимъ мнѣніемъ о «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ Душахъ». Онъ, конечно, не могъ надѣяться, что Бѣлинскій придетъ въ восхищеніе отъ «Выбр. Мѣстъ»: онъ долженъ былъ ожидать его горячихъ возраженій, можетъ быть сожалѣній, но во всякомъ случаѣ считалъ себя въ правѣ ожидать отзыва, указывающаго на глубокое уваженіе со стороны критика. Вышло нѣсколько иначе.

Бѣлинскій получилъ книгу Гоголя въ то время, когда онъ уже работалъ въ *своемъ* журналѣ «Современникъ» и вознегодовалъ на нее и ея автора всѣми силами своей горячей души. Рецензію на «Выбр. Мѣста» Бѣлинскій изготовилъ ко 2-му № «Современника», который вышелъ изъ печати безъ опозданія ¹⁾. Рецензія, несмотря на нѣкоторое своеволие и небрежность редакторовъ и на урѣзки цензуры оказалась сильной и язвительной; критикъ въ ней почти ничего не говоритъ отъ себя, а довольствуется главнымъ образомъ выписками и сопоставленіями, явно доказывающими, что въ книгѣ нѣтъ логики и послѣдовательности, что авторъ ея взялся совсѣмъ не за свое дѣло и, говоря его же мало литературнымъ языкомъ, *понесъ дичь*, серьезно опровергать которую нѣтъ никакой надобности ²⁾. Рецензія подѣйствовала на всѣхъ; но поняли, въ чемъ ея сила, немногіе; даже близкій другъ Бѣлинскаго Боткинъ упрекалъ критика за ея

¹⁾ Пыпинъ, „Бѣлинскій“ II, 270. Въ № 1 „Современника“ была насмѣшливая замѣтка Бѣлинскаго о предисловіи ко 2-му изд. „М. Д.“, нѣсколько подготовившая публику къ рецензіи Бѣлинскаго о новой книгѣ Гоголя (см. ее въ 12-томномъ изд. Бѣлинскаго, т. XI, стр. 69—72).

²⁾ Изд. Бѣлинскаго 1861 г. XI, 80—103.

недостаточную обдуманность, за то, что она написана *сплеча*, и Бѣлинскій долженъ былъ объяснить ему, что въ статьѣ иронія только форма и видимость, а сущность ея—сосредоточенная злость противъ «гнусной» книги ¹⁾).

Два первые №№ «Современника» Гоголь получилъ 23 апрѣля еще въ Неаполѣ ²⁾, гдѣ онъ проживалъ «подъ крылышкомъ» Софьи Петровны Апраксиной, безъ всякаго сомнѣнiя, прежде всего прочелъ статьи Бѣлинскаго и былъ глубоко огорченъ ими. Онъ могъ оставить безъ возраженiя статьи Н. Ф. Павлова и всякихъ другихъ «наѣздниковъ», но Бѣлинскій—слишкомъ крупная величина; къ его голосу прислушивается почти вся интеллигентная молодежь, вся будущая Россiя. У Гоголя является страстное желанiе отвѣтить ему, оправдать хоть отчасти свою книгу въ его глазахъ.

Но какимъ способомъ онъ можетъ отвѣтить? Печатно, въ какомъ-нибудь журналѣ? Это неудобно по многимъ причинамъ: у Гоголя и нѣтъ своего органа, и полемика противорѣчила бы всему тону его книги, и неприлично выдѣлять Бѣлинскаго изъ среды другихъ рецензентовъ-хулителей, и Бѣлинскій слишкомъ опытный и искусный боецъ, который сумѣетъ сдѣлать своего противника смѣшнымъ.

Написать прямо Бѣлинскому письмо? Но негодующiй Бѣлинскій можетъ его презрительно бросить подъ столъ, и Гоголь никогда не узнаетъ даже о томъ, было ли его письмо получено и прочитано.

Гоголь раскинулъ своимъ тонкимъ умомъ и придумалъ очень хитрый способъ. Въ Петербургѣ живетъ и состоитъ въ дружескихъ отношенiяхъ съ Бѣлинскимъ школьный товарищъ и старый другъ Гоголя Прокоповичъ, который такъ честно и усердно, хотя, можетъ-быть, и не во всемъ искусно, поработалъ на пользу Гоголя надъ первымъ изданiемъ собранiя его сочиненiй, за что вынесъ отъ Гоголя массу упрековъ, былъ имъ отданъ въ подчиненiе Шевыреву и вообще несправедливо разобиженъ, какъ это признавали даже наиболѣе горячiе поклонники Гоголя, напр. Плетневъ.

3½ года назадъ между Гоголемъ и Прокоповичемъ прекратились сношенiя.

Черезъ 5 дней по полученiи «Современника» Гоголь вдругъ вспомнилъ о Прокоповичѣ и написалъ ему короткое, но дружеское письмо:

«Неаполь. Апрѣля 28.

«Давно я не писалъ къ тебѣ. Ты также давно не писалъ ко мнѣ. Если ты думаешь (особенно послѣ прочтенiя моей книги), что я переиґнился или сталъ не тотъ, что былъ прежде, то я скажу тебѣ, что я все тотъ же и почти то же самое люблю, что и любилъ въ юности моей, хотя

¹⁾ Пыпинъ II, 277.

²⁾ „Р. Ст.“ 1884, № 1, стр. 171.

и не открывалъ никому многихъ ¹⁾ сокровенныхъ чувствъ; разница вся въ томъ, что теперь многое во мнѣ стало проще (по книгѣ не суди) и что я больше, чѣмъ когда-либо, люблю старинныя мои связи и прежнихъ друзей моихъ, особенно тѣхъ, съ которыми отъ незабвеннаго Нѣжина началась моя дружба. А потому напиши мнѣ хоть нѣсколько словечекъ о себѣ: что ты теперь дѣлаешь? Что приходитъ тебѣ на мысль? какъ тебѣ живется и какъ все, что составляетъ домашній кругъ твой, и все, что вокругъ тебя? Этимъ ты меня очень порадуешь, если тебѣ пріятно меня порадовать. Письма адресуй на имя Жуковского во Франкфуртъ. Отъ Данилевскаго ²⁾ я получилъ письмо, который тоже о тебѣ спрашиваетъ. Онъ тоже о тебѣ не знаетъ ничего. Увѣдоми меня также о всѣхъ изустныхъ толкахъ, какіе тебѣ случается слышать о моей книгѣ. Я бы очень желалъ знать, что говорятъ о ней разные чиновники средней руки, всѣхъ сортовъ учителя, равно какъ люди, намъ обонимъ съ тобой знакомые. Прощай! Болѣе не распространяюсь, потому что пишу на угадъ, не зная, по прежнему ли ты живешь въ 9-ой линіи, и придетъ ли къ тебѣ въ руки письмо мое. Не поскупись и пиши побольше. Обнимаю тебя.

Твой Гоголь ³⁾.

На это письмо Прокоповичъ, «не отлагая въ долгій ящикъ», шлетъ Гоголю довольно обширный и очень характерный отвѣтъ отъ ^{12/24} мая ⁴⁾. Свое молчаніе онъ объясняетъ молчаніемъ Гоголя и незнаніемъ его адреса. Чувства его къ Гоголю не перемѣнились и не могутъ перемѣниться. Онъ удивляется, зачѣмъ Гоголю нужно знать толки чиновниковъ и учителей объ его книгѣ; книга написана «или вслѣдствіе убѣжденія или вслѣдствіе неубѣжденія; въ первомъ случаѣ она есть дѣло совѣсти, исполненіе долга; во второмъ «опять-таки не могу понять, къ чему тебѣ знать различные толки: книга, говорятъ, раскупается, а такое извѣстіе удовлетворительнѣе всѣхъ толковъ». Тѣмъ не менѣе, Прокоповичъ исполняетъ желаніе Гоголя и раздѣляетъ всѣхъ читателей «Выбр. Мѣсть» на три категоріи: одни считаютъ книгу въ высокой степени назидательной, а автора—святымъ человѣкомъ; другіе видятъ въ ней дѣло расчета; «въ этомъ классѣ встрѣчается болѣе всего подраздѣлений, и догадки о цѣляхъ, руководившихъ тобою, идутъ отъ простой денежной выгоды до такихъ соображеній и плановъ, какіе тебѣ, конечно, и въ голову не могли прійти. Третьи относятъ все къ разстройству твоего здоровья и оплакиваютъ въ тебѣ потерю гениальнаго писателя. Я слышалъ даже, что кто-то изъ этихъ пе-

¹⁾ Не слѣдуетъ ли читать: моихъ?

²⁾ Ихъ общій пріятель и однокашникъ.

³⁾ Письма Н. В. Гоголя къ Н. Я. Прокоповичу. Изд. Е. В. Пѣтухова. Кіевъ. 1895 г. Стр. 52.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 52—55.

репелел твою книгу вмѣстѣ съ Чаромутіемъ нашего чудака Лукашевича, вышедшимъ нарочно ¹⁾ одновременно съ твоею «Перепискою» ²⁾. О своихъ дѣлахъ Прокоповичъ пишетъ очень немного и сдержанно. Весь тонъ письма именно таковъ, какого и слѣдовало ожидать въ письмѣ разбиженнаго, и огорченнаго, но все же преданнаго друга; Прокоповичъ, очевидно, не вполне довѣряетъ восстановленію прежнихъ отношеній, но былъ бы очень радъ, если бъ его недоувѣріе оказалось неосновательнымъ.

Гоголь получилъ это письмо уже во Франкфуртѣ. Онъ выѣхалъ изъ Неаполя 11 мая (н. с.), 20 мая былъ въ Генуѣ, 25 — въ Марселѣ, а 10 іюня онъ во Франкфуртѣ у Жуковского.

^{3/20} іюня, стало быть очень скоро, почти немедленно по полученіи отвѣта Прокоповича, Гоголь пишетъ ему довольно длинное и вполне дружественное письмо ³⁾; онъ радуется, что его старый другъ «не заклепнулъ и не завялъ» отъ своихъ черствыхъ служебныхъ занятій, входитъ во всѣ его интересы, совѣтуетъ ему приняться за писаніе повѣстей, которыя ему удавались еще въ школѣ, объясняетъ, зачѣмъ ему нужно собирать всѣ толки о «Выбр. Мѣстахъ» и потомъ говорить: «Кстати о толкахъ. Я прочелъ *на-дняхъ* критику во 2-мъ № «Современника» Бѣлинскаго. Онъ, кажется, принялъ всю книгу написанною на его собственный счетъ и прочиталъ въ ней формальное нападеніе на всѣхъ раздѣляющихъ его мысли. Это не правда; въ книгѣ моей, какъ видишь, есть нападеніе на всѣхъ и на все, что переходитъ въ крайность. Вѣроятно, онъ принялъ на свой счетъ козла, который былъ обращенъ къ журналисту вообще ⁴⁾. Мнѣ было очень прискорбно это раздраженіе не по причинѣ жестокости словъ, которыхъ, будто бы, я не умѣю перенести, — ты знаешь, что я могу выслушать самыя жестокия слова, но потому, что, какъ бы то ни было, человѣкъ этотъ говорилъ обо мнѣ съ участіемъ въ продолженіе десяти лѣтъ; человѣкъ этотъ, несмотря на излишества и увлеченія, указалъ справедливо — однакожь на многія такія черты въ моихъ сочиненіяхъ, которыхъ не замѣтили другіе, считавшіе себя на высшей точкѣ разумѣнія передъ нимъ ⁵⁾. И я заплатилъ бы этому человѣку неблагодарностью,

¹⁾ Очевидно, вмѣсто: „какъ нарочно“.

²⁾ Любопытно, что одно и то же учебное заведеніе дало и гениальнаго, но иногда бравшагося не за свое дѣло Гоголя и сумасшедшаго филолога Лукашевича; если къ нимъ присоединить еще непомѣрно смѣлаго и самонадѣяннаго литератора Нестора Кукольника, явится невольное желаніе приписать хоть отчасти ихъ излишнюю смѣлость Гимназіи Вышихъ Наукъ, которая, давая мало основательныхъ знаній, своей высокой программой развивала слишкомъ большія претензіи.

³⁾ „Аннековъ и его друзья“. Спб., 1899 г. Стр. 512—514.

⁴⁾ Въ письмѣ объ Одиссѣѣ Жуковскаго Г. называетъ журналистовъ *козлами* въ смыслѣ предводителей стада барановъ (изд. Тихонр. IV, 27).

⁵⁾ Шевыревъ?

когда я умѣю отдавать справедливость даже тѣмъ, которые выставляютъ на видъ и отыскиваютъ во мнѣ одни недостатки ¹⁾). Напротивъ, я въ этомъ случаѣ только обманулся: я считалъ Бѣлинскаго возвышеннѣй, менѣе способнымъ къ такому близоручному взгляду и мелкимъ заключеніямъ... Пожалуйста, переговоры съ Бѣлинскимъ и напиши мнѣ, въ какомъ онъ находится расположеніи духа относительно меня. Если въ немъ кипитъ желчь; пусть онъ ее вылететь противъ меня въ «Современникѣ» въ какихъ ему заблагоразсудится выраженіяхъ, но пусть не хранитъ ея противъ меня въ сердцѣ своемъ. Если же въ немъ угомонилось неудовольствіе, то дай ему при семъ прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и самъ».

Далѣе Гоголь говоритъ о необходимости издать нѣкоторыя объясненія на свою книгу ²⁾ и проситъ Прокоповича разузнать, какой появился другой Гоголь, будто бы его родственникъ.

Совершенно невѣроятно, чтобы Гоголь въ самомъ дѣлѣ прочелъ *надняхъ* критику Бѣлинскаго, которая была въ его рукахъ почти два мѣсяца. Считаемо гораздо болѣе сообразнымъ съ характеромъ Гоголя, что онъ, едва пробѣжавъ статью, задумалъ отвѣтить на нее хотя частнымъ письмомъ и рѣшилъ для этого прибѣгнуть къ посредничеству Прокоповича. Доказательствомъ этого служатъ послѣдующія событія.

Получивъ это любезное письмо Гоголя и приложенное «письмецо» ³⁾ къ Бѣлинскому, Прокоповичъ отвѣтилъ Гоголю 27 іюня ст. стилия. Онъ началъ такъ: «Я нѣсколько виноватъ передъ тобою, что не изложилъ тебѣ въ прошломъ письмѣ объ отъѣздѣ Бѣлинскаго за границу; тогда письмо твое къ нему не прогулялось бы понапрасну сюда. Но все равно, оно отправилось по первой же почтѣ къ нему въ Силезію, въ Зальцбруннъ, откуда ты, вѣроятно, и получишь его отвѣтъ».

Спрашивается: въ чемъ же виноватъ онъ передъ Гоголемъ? Развѣ Гоголь въ своемъ первомъ письмѣ сказалъ хоть одно слово о Бѣлин-

¹⁾ Сенковский, Булгаринъ и К^о?

²⁾ Это его будущая такъ наз. „Авторская исповѣдь“.

³⁾ Письмецо это напечатано у Кулиша безъ даты въ VI т., стр. 377—379. Оно начинается словами: „Я прочелъ съ прискорбіемъ статью вашу обо мнѣ въ „Современникѣ“—не потому, чтобы мнѣ прискорбно было униженіе, въ которое вы хотѣли меня поставить въ виду всѣхъ, но потому, что въ немъ слышенъ голосъ чловѣка, на меня разсердившагося“. Гоголь увѣряетъ, что онъ никакъ не хотѣлъ огорчить Бѣлинскаго „ни въ какомъ мѣстѣ“ книги, но какъ-то такъ вышло, что на него разсердились всѣ до одинаго въ Россіи—восточные, западные, нейтральные. Онъ, дѣйствительно, хотѣлъ дать щелчокъ каждой партіи, но никакъ не думалъ, что щелчокъ его выйдетъ такъ грубо неловко и такъ оскорбителенъ. Онъ упрекаетъ критика за то, что тотъ слишкомъ легко отнесся къ его книгѣ, въ которой заключается „дѣло души“ его, и доказываетъ ему, что онъ, Гоголь, и не думалъ отречься отъ тѣхъ, кто до сихъ поръ хвалилъ его. Онъ кончаетъ письмо тѣмъ же, съ чего началъ: выраженіемъ своего огорченія.

скомъ? далъ ли онъ хоть чѣмъ-нибудь понять, что намѣренъ войти съ нимъ въ сношенія?

Нѣтъ, и потому ясно, что въ этомъ странномъ самообвиненіи кроется ядовитый упрекъ Гоголю: ты, молю, изъ-за того и возобновилъ со мной переписку, чтобы черезъ меня оправдаться передъ Бѣлинскимъ.

За тѣмъ Прокоповичъ объясняетъ, зачѣмъ Бѣлинскій поѣхалъ за границу, и очень умно и вѣрно доказываетъ, что Гоголь неправъ, относя рѣзкую рецензію «Современника» на счетъ личного раздраженія. «Зная Бѣлинскаго давно,—говоритъ онъ,—я не могу не быть увѣреннымъ, что ни одна строчка его не назначалась мщенію за личное оскорбленіе. Почему не судить проще и не принимать всего сказаннаго имъ встрѣчъ совершенно противоположныхъ другъ другу убѣжденій, искреннихъ въ немъ и, конечно, непритворныхъ въ твоей книгѣ? Бѣлинскій не говорилъ хладнокровно о прежнихъ твоихъ сочиненіяхъ: могъ ли онъ говорить хладнокровно и о послѣднихъ?»

Затѣмъ Прокоповичъ въ двухъ словахъ даетъ отчетъ относительно однофамильца Гоголя и все тутъ! Ни одного слова ни о себѣ, ни о своихъ; ни одного слова въ отвѣтъ на совѣтъ Гоголя заняться повѣстями. Ясно, что онъ чувствуетъ себя обиженнымъ, и, по всей вѣроятности, комплиментъ Гоголя своимъ полудѣтскимъ произведеніямъ считаетъ неблагородной хитростью, подыскиваніемъ для достиженія личной цѣли.

Но въ послѣднемъ пунктѣ Прокоповичъ неправъ положительно: еще за 5 мѣсяцевъ до возобновленія переписки съ нимъ, въ извѣстномъ своемъ письмѣ отъ 4 дек. 1846 г. о «Современникѣ» Гоголь совѣтуетъ Плетневу отыскать Прокоповича и «склонить его взяться за перо повѣствователя» (Тихонр. IV, 232). Прокоповичъ, конечно, не зналъ этого и по скромности своей не предполагалъ ничего подобнаго.

Послѣ этого переписка между Гоголемъ и Прокоповичемъ снова прервалась *на цѣлый годъ* ¹⁾.

А письмо Гоголя къ Бѣлинскому Прокоповичъ отнесъ въ редакцію «Современника», откуда Некрасовъ и отправилъ его по первой почтѣ въ Зальцбруннъ, гдѣ Бѣлинскій въ это время *раскисалъ и изнемогалъ душевно* и насилу отчитывался «Мертвыми Душами» ²⁾. Получивъ письмо Гоголя, онъ снова вскипѣлъ негодованіемъ и началъ писать свой знаменитый отвѣтъ, который онъ окончилъ въ самый день отъѣзда (3 іюля) съ Анненковымъ въ Парижъ, *черезъ Франкфуртъ-на-Майнѣ* ³⁾.

Письмо Бѣлинскаго произвело очень сильное впечатлѣніе на Гоголя, но,

¹⁾ 20 (ст. стилия) 1848 г. Гоголь уже изъ Васильевки, намѣреваясь проѣхать черезъ Москву въ Петербургъ, написалъ Прокоповичу коротенькое письмо (изд. Пѣтухова, стр. 56).

²⁾ Пыпинъ, „Бѣлинскій“, II, 288.

³⁾ Барсуковъ, „Погодинъ“, VIII, 607.

конечно, не убѣдило его въ полной правотѣ его противниковъ. Личное свиданіе его съ Бѣлинскимъ и Анненковымъ во Франкфуртѣ не состоялось, можетъ-быть, потому, что какъ разъ въ это время Гоголь вѣстѣ съ Жуковскимъ уѣзжалъ въ Эмсъ, куда къ нимъ пріѣзжали Хомяковъ съ женою ¹⁾. Какъ бы то ни было, Гоголю оставался одинъ способъ объясниться съ Бѣлинскимъ — почта. Вѣроятно, находясь еще во Франкфуртѣ, вскорѣ по полученіи знаменитаго письма Бѣлинскаго, Гоголь набросалъ довольно обширный и рѣзкій отвѣтъ, начинающійся повтореніемъ словъ Бѣлинскаго: «Опомнитесь, вы стоите на краю бездны» ²⁾; но остался недоволенъ имъ и изорвалъ его въ клочки, которые, впрочемъ, сохранилъ въ своихъ бумагахъ. 1 августа онъ уѣхалъ въ Остенде на морскія купанья; нѣсколько обжившись тамъ и успокоившись, въ пріятномъ ожиданіи пріѣзда графинь Вельгорскихъ, онъ 10 августа послалъ Бѣлинскому въ Парижъ отвѣтъ, несравненно болѣе короткій и болѣе кроткій, нежели уничтоженный имъ: «Я не могъ, — пишетъ онъ, — отвѣчать скоро на письмо ваше. Душа моя изнемогала. Могу сказать, что не осталось чувствительныхъ струнъ, которымъ не было бы нанесено пораженіе еще прежде, нежели я получилъ письмо ваше. Письмо ваше я прочелъ почти безчувственно, но тѣмъ не менѣе былъ не въ силахъ отвѣчать. Да и что мнѣ отвѣчать! Богъ вѣсть, можетъ-быть, *въ словахъ вашихъ есть часть правды...* Мнѣ показалось только непреложной истиной, что *я не знаю вовсе Россіи*, что многое измѣнилось съ тѣхъ поръ, а выводъ изъ всего этого вывелъ я для себя тотъ, — что не слѣдуетъ выдавать въ свѣтъ ничего, покуда, проживши въ Россіи, не увижу многого собственными глазами и не пощупаю собственнымъ руками». Гоголь признаетъ и себя и Бѣлинскаго равно виновными передъ «настоящимъ вѣкомъ» и въ заключеніе совѣтуетъ ему пока думать только о своемъ здоровьѣ и о душевномъ спокойствіи ³⁾.

Черезъ два дня, 12 августа, Гоголь пишетъ второе письмо въ Парижъ; онъ адресуетъ его на имя Анненкова, но, конечно, убѣжденъ, что его прочтеть и Бѣлинскій; въ немъ онъ проситъ Анненкова охранять больного Бѣлинскаго отъ всего, что возмущаетъ его. «Убѣдите его въ той непреложной истинѣ, что *излишество* теперь удѣлъ всѣхъ, кто только сколько-нибудь имѣетъ сердце не безчувственное къ дѣламъ міра, какой-нибудь характеръ и какое-нибудь убѣжденіе. Всѣ переливаютъ черезъ край, потому что никто не спокоенъ. Я, болѣе другихъ спокойный и хладно-

¹⁾ См. письмо Жуковскаго къ кн. П. А. Вяземскому, начатое $\frac{2}{11}$ іюня и окончанное 1 августа н. ст. въ „Р. Арх.“, 1866 г. стр. 1070—1077.

²⁾ См. изд. Кулиша, VI, 379—387; перепечатанъ у Барсукова, „Погодинъ“, VIII, 608—616.

³⁾ „Р. Стар.“ 1888, III, 47—8; перепечатано съ сокращеніями у Барсука. Тамъ же 607—8.

кровный, впалъ въ своей книгѣ въ излишество болѣе другихъ». Но теперь все это прошло; «ни раздраженія, ни фанатизма во мнѣ нѣтъ; ничьей стороны держать не могу, потому что вездѣ вижу частицу правды и много всякихъ преувеличеній и лжи. Не знаю только, достанетъ ли на то силъ физическихъ: здоровье мое, которое начало¹⁾ было поправляться и восстанавливаться, потряслось отъ этой для меня сокрушительной исторіи по поводу моей книги. *Многіе удары были такъ чувствительны для всякаго рода щекотливыхъ струнъ, что дивлюсь самъ, какъ я еще остался живъ, и какъ все это вынесло мое слабое тѣло*²⁾».

Изъ этого письма можно заключить, что Гоголь чувствуетъ себя глубоко виноватымъ и какъ бы взываетъ къ милосердію самаго благороднаго изъ своихъ противниковъ. Но иначе онъ представляетъ дѣло одному изъ поклонниковъ «Выбранныхъ Мѣстъ»: приблизительно одновременно съ письмами къ Бѣлинскому и Анненкову пишетъ онъ въ тотъ же Парижъ къ гр. А. П. Толстому: «Кстати о Бѣлинскомъ. Я получилъ отъ него недавно письмо, которое, по словамъ его, само просилось вслѣдствіе моего приглашенія всѣмъ говорить мнѣ правду³⁾. Письмо и дѣйствительно, чисто-сердечное и съ тѣмъ вмѣстѣ изумительное увѣренностью въ непремѣнность своихъ убѣжденій. Онъ видитъ совершенно одну сторону дѣла и не можетъ даже подумать равнодушно о томъ, что существуетъ и можетъ существовать другая сторона того же дѣла. Я написалъ ему въ отвѣтъ только то, что мы всѣ еще плохо понимаемъ тѣ вещи, о которыхъ говоримъ, что прежде всего слѣдуетъ намъ излѣчить себя отъ самоувѣренности въ себѣ и торопливости выводить заключенія⁴⁾».

Такая *тенденціозная* передача фактовъ, по моему глубокому убѣжденію, не есть умышленное коварство и ложь, но результатъ той наклонности и умѣнья *приспособляться* къ людямъ и положеніямъ, которая замѣчается и въ скромномъ Гоголѣ-юношѣ и въ прославленномъ авторѣ «Ревизора». Эта приспособляемость тѣсно связана съ живымъ воображеніемъ: обдумывая письмо, онъ представляетъ себѣ того, кому пишетъ, и беретъ тотъ тонъ, какой онъ взялъ бы въ разговорѣ съ нимъ.

Въ отвѣтъ на это письмо Гоголь получалъ отъ Анненкова недошедшее до насъ письмо, на которое отвѣчалъ въ томъ же августѣ, и между ними завязалась переписка⁵⁾, представлявшая интересъ для обѣихъ сторонъ, но уже не касавшаяся отношеній къ Бѣлинскому. Но нельзя не отмѣтить въ этихъ (3-хъ) письмахъ Гоголя къ Анненкову

¹⁾ Въ текстѣ: *началось*.

²⁾ Анненковъ и его друзья стр. 500—503.

³⁾ Изъ такого извѣщенія Толстой, конечно, долженъ былъ заключить, что переписку началъ Бѣлинскій, а не Гоголь.

⁴⁾ Сборникъ въ память С. А. Юрѣва 263—4.

⁵⁾ „Анненковъ и его друзья“ 503—511.

несравненно большій интересъ къ западно-европейскимъ дѣламъ, нежели Гоголь высказывалъ до тѣхъ поръ. Если, судя по его горячей защитѣ Англiи и англичанъ, въ этомъ можно видѣть влiяніе Хомякова, который при немъ и уѣхалъ въ Англiю и вернулся оттуда, то въ томъ тепломъ тонѣ, съ какимъ Гоголь въ письмѣ отъ 7 сентября говоритъ о Герценѣ, нельзя не видѣть отзыва убѣжденій враждебнаго Хомякову лагеря¹⁾.

Было бы несправедливо видѣть и въ этомъ приспособленіе Гоголя къ Анненкову и Бѣлинскому, такъ какъ черезъ три мѣсяца сходное съ этимъ, но не тождественное мнѣніе о Герценѣ Гоголь высказываетъ А. А. Иванову, съ которымъ онъ вполнѣ откровененъ: «Герцена я не знаю, — пишетъ онъ ему изъ Неаполя 14 декабря, — но слышалъ, что онъ благородный и умный человекъ, хотя, говорятъ, черезчуръ вѣритъ въ благодатность нынѣшнихъ европейскихъ прогрессовъ и и потому врагъ всякой русской старины и коренныхъ обычаевъ. Напишите мнѣ, какимъ онъ показался вамъ, что онъ дѣлаетъ въ Римѣ, что говоритъ объ искусствахъ и какого мнѣнія о нынѣшнемъ политическомъ и гражданскомъ состояніи Рима, о чивикахъ²⁾, о прочемъ»³⁾.

Но возвратимся къ лѣту 1847 года. Черезъ двѣ недѣли послѣ посланнаго письма къ Бѣлинскому, 24 августа, Гоголь изъ Остенде же пишетъ къ Плетневу, который приготовлялся сдать въ печать его новую книжку (будущую «Авт. исповѣдь») и «Развязку Ревизора»: «Оставимъ на время все. Поѣду въ Иерусалимъ, помолюсь, и тогда примемся за дѣло: рассмотримъ рукописи и все обдѣлаемъ сами лично, а не заочно. А потому до того времени, отобравши всѣ мои листки, отданные кому-либо на разсмотрѣніе, положи ихъ подъ спудъ и держи до моего возвращенія». ⁴⁾

Весь сентябрь Гоголь оставался въ Остенде. Въ началѣ октября онъ черезъ Марсель, Ниццу, Геную, Флоренцію и Римъ проѣхалъ въ Неаполь, чтобы тамъ прожить до февраля слѣдующаго года и оттуда отправиться Иерусалимъ.

2 декабря Гоголь пишетъ изъ Неаполя Шевыреву: «Я очень соскучился по Россіи и жажду съ нетерпѣніемъ услышать вокругъ себя рус-

¹⁾ Тамъ же, стр. 508. „Въ письмѣ вашемъ вы упоминаете, что въ Парижѣ находится Герценъ. Я слышалъ о немъ очень много хорошаго. О немъ люди всѣхъ партій отзываюся, какъ о благороднѣйшемъ человекѣ. Это лучшая репутація въ нынѣшнее время. Когда я буду въ Москвѣ, познакомлюсь съ нимъ непосредственно, а покада извѣстите меня, что онъ дѣлаетъ, что его болѣе занимаетъ, и что предметомъ его наблюденій“.

²⁾ *Guardia civica*—національная гвардія.

³⁾ Изд. Кулиша, VI, 441.

⁴⁾ VI, 417—8. Изъ дальнѣйшаго видно, что Гоголь намѣренъ теперь всецѣло посвятить себя „М. Д.“ и для этого будетъ внимательно изучать русскихъ людей, „не пренебрегая никѣмъ, какъ бы ни противоположенъ былъ его образъ мыслей моему“.

скую рѣчь». На замѣчаніе Шевырева о всеобщемъ ожиданіи 2-ой части «Мертвыхъ Душъ» онъ отвѣчаетъ: «Написать второй томъ совсѣмъ не бездѣлица. Если жъ инымъ кажется это дѣло довольно легкимъ, то пожалуй пусть соберутся да напишутъ его, совокупясь вмѣстѣ, а я посмотрю, что изъ этого выйдетъ. Мнѣ нужно будетъ очень много посмотрѣть въ Россіи самолично вещей, прежде чѣмъ приступить ко второму тому. *Теперь уже стыдно будетъ дать промахъ...* Сдѣлавши это дѣло хорошо, можно принести имъ большую пользу; сдѣлавши его дурно, можно принести *вредъ* (курсивъ подлинника). Если и нынѣшняя моя книга «Переписка» (*по мнѣнію даже неглупыхъ людей и пріятелей моихъ*) способна распространить ложь и *безнравственность* (курсивъ подлинника) и имѣть свойство увлечь..., то самъ посуди, во сколько разъ больше я могу увлечь и распространить ложь, если выступаю на сцену съ моими живыми образами. Тутъ я буду посильнѣе, чѣмъ въ «Перепискѣ». Тамъ можно было разбить меня въ пухъ и Павлову и барону Розену, а здѣсь врядъ ли и Павловымъ и всякимъ прочимъ литературнымъ рыцарямъ и наѣздникамъ будетъ подѣ силу со мною потягаться»¹⁾.

Итакъ, Гоголь теперь сознается, что далъ промахъ съ своей книгой, такъ какъ взялся не за свое дѣло. Съ этого времени онъ будетъ исключительно работать надъ созданіемъ живыхъ образовъ.

Изъ вышеприведенныхъ фактовъ мы позволяемъ себѣ сдѣлать слѣдующіе выводы:

1. Несправедливо думать, что Гоголь въ періодъ приготовленія къ печати, печатанія и въ годъ выхода въ свѣтъ «Переписки» могъ назваться душевно-больнымъ человѣкомъ; онъ владѣлъ въ это время всеми способностями своего глубокаго и тонкаго ума, кромѣ способности творчества.

2. Критическій отзывъ Бѣлинскаго въ «Современникѣ» произвелъ на него очень сильное и непріятное впечатлѣніе и вызвалъ его на отчаянную защиту доброй цѣли своей книги.

3. Но еще большее дѣйствіе произвело на него знаменитое письмо Бѣлинскаго, до сихъ поръ не напечатанное цѣликомъ въ Россіи; своей искренностью и убѣдительностью оно заставило его отрѣшиться отъ предвзятыхъ идей, стать на точку зрѣнія честнаго противника и признать окончательно, что міровоззрѣніе Бѣлинскаго имѣетъ такое же право на существованіе, какъ и противоположное ему.

Напомнимъ «последнее заключительное слово» письма Бѣлинскаго: «Если вы имѣли несчастіе съ *гордымъ смиреніемъ* отречься отъ вашихъ истинно великихъ произведеній, то теперь вамъ должно съ *искреннимъ смиреніемъ* отречься отъ послѣдней вашей книги и тяжкій грѣхъ ея из-

¹⁾ VI, 429—432.

данія въ свѣтъ искупить новыми твореніями, которыя бы напомнили ваши прежнія». ¹⁾).

Проницательный, тонкочувствующій, искусившійся въ наукѣ познанія людей Гоголь не могъ не сознать, сколько въ этомъ повидимому рѣзкомъ осужденіи ободрительной любви къ нему и сколько надежды на его великій талантъ. Такое осужденіе не могло не внушить ему любви и уваженія къ обвинителю и глубокой вѣры въ собственныя свои силы. Вотъ отчего послѣ этого письма Гоголь заинтересовался всѣмъ, что интересовало Бѣлинскаго, и твердо рѣшилъ, оставивъ публицистику, работать подъ созданіемъ живыхъ образовъ. Съ этихъ поръ Бѣлинскій для него не литературный наѣздникъ, а *одинъ изъ неглупыхъ людей и пріятелей*, не безъ нѣкотораго основанія считающій книгу его *вредною*.

Вредной «Переписку съ друзьями» признаетъ и С. Т. Аксаковъ, который такъ же, какъ и Бѣлинскій благоговѣетъ передъ творческимъ талантомъ Гоголя и точно такъ же уговариваетъ его, оставивъ чужое дѣло, «обратиться къ своему природному». Такое удивительное согласіе двухъ представителей враждующихъ лагерей, людей идеальной прямоты и честности и знатоковъ искусства, не могло не оказать сильнаго и благотворнаго вліянія на самоувѣреннаго, упорнаго, но гениально-умнаго малоросса.

По возвращеніи изъ Іерусалима это вліяніе ведетъ въ истомленной душѣ Гоголя нелегкую борьбу съ внушеніями гр. А. П. Толстого, Стурдзы, отца Матвѣя, А. О. Смирновой и собственной тѣлесной слабостью, — борьбу, которая въ февралѣ 1852 г. заканчивается ужасной катастрофой.

А Кириичниковъ.



¹⁾ Барсуковъ, „Погодинъ“ VШ, 607.

М. Н. Загоскинъ и цензура.

Въ послѣдніе годы въ различныхъ изданіяхъ довольно часто появляются письма и воспоминанія, дающія богатый матеріалъ для оцѣнки и характеристики того положенія, въ которомъ находилась наша печать въ сороковыхъ годахъ и, въ особенности, въ первой половинѣ пятидесятихъ годовъ прошлаго столѣтія подъ вліяніемъ своеобразныхъ цензурныхъ распоряженій и воззрѣній. Есть такія письма и въ бумагахъ, оставшихся послѣ Θεодора Алексѣевича Кони (1809—1879 г.), бывшаго съ 1840 по 1857 годъ издателемъ и редакторомъ весьма распространеннаго въ свое время литературно-художественнаго журнала, выходившаго подъ названіемъ „Пантеонъ“ (до 1843 г.), „Пантеонъ и Репертуаръ“ (до 1851) и снова „Пантеонъ“.

Въ 1852 году „Пантеонъ“ былъ преобразованъ по типу большихъ литературныхъ журналовъ, съ преобладающимъ отдѣломъ исторіи и теоріи искусствъ и съ рядомъ ежемѣсячныхъ художественныхъ приложений. Редакторъ-издатель, расширяя программу журнала, приглашалъ въ сотрудники выдающихся писателей того времени—и обратился, поэтому, къ драматургу и извѣстному популярному романисту Михаилу Николаевичу Загоскину. Письмо Загоскина, приводимое ниже, показываетъ, до какихъ крайностей, въ усердствующихъ рукахъ, доходили иногда цензурныя требованія, вызываемыя, безъ сомнѣнія, въ значительной части страхомъ предъ грознымъ Комитетомъ, учрежденнымъ въ виду событій на западѣ Европы, 2 апрѣля 1848 года, для надзора, въ политическомъ и нравственномъ отношеніи, за духомъ и направленіемъ книгопечатанія. Достаточно припомнить, что главный и руководящій дѣятель этого Комитета Д. П. Бутурлинъ, по удостовѣренію графини Антонины Дмитріевны Блудовой, желалъ подвергнуть цензурному „усѣяновенію“ составленный Св. Димитріемъ Ростовскимъ акаанстъ за то, что въ немъ упоминалось, между прочимъ, и о „незримомъ укрошеніи владыкъ жестокихъ и звѣро-нравныхъ“.

Тревоги и опасенія, возбужденныя въ цензорахъ Бутурлинымъ и его сочленами по Комитету, отражаются, на примѣръ, и въ письмѣ къ

редактору „Пантеона и Репертуара“ такого умнаго, благороднаго и довольно стойкаго человѣка, какимъ былъ А. В. Никитенко. На цензурный просмотръ послѣдняго была представлена драма „Богданъ Хмельницкій“, написанная инспекторомъ классовъ петербургскаго Екатерининскаго института П. Г. Ободовскимъ, однимъ изъ второстепенныхъ представителей того направленія въ русской литературѣ, которое Тургеневъ окрестилъ именемъ „ложно-величавой школы“, развертывавшей, въ своихъ произведеніяхъ, подчасъ съ наивнымъ самохвальствомъ, „пространныя декораціи, хлопотливо и небрежно воздвигнутыя патриотами, незнавшими своего отечества“. „Милостивый государь *Θ. А.*—писалъ 15 іюня 1848 года Никитенко—я не получилъ еще конца пьесы „Хмельницкій“, назначенной для Пантеона, но, судя по тѣмъ листамъ, какіе у меня находятся, сомнѣваюсь, чтобы она могла быть пропущена. Дѣло идетъ о возмущеніи народа, хотя и въ пользу Россіи,—но все-таки въ этихъ обстоятельствахъ произносятся рѣчи, являются лица, происходятъ сцены, весьма щекотливыя въ нынѣшнее время. Вамъ, какъ опытному редактору, все это понятно безъ дальнѣйшихъ изъясненій и потому гораздо лучше было бы, если бы вы приостановили печатаніе этой пьесы до другого времени. Съ истиннымъ почтеніемъ и т. д.“.

Дѣло, однако, не всегда ограничивалось такого рода предувѣдомленіемъ или, при упорствѣ редактора, прямымъ запрещеніемъ. Зачастую цензоръ пробовалъ заботливою рукою обережъ неосторожное, по его мнѣнію, произведеніе отъ завланія и, замѣняя собою автора, исправлялъ прозу и даже стихи послѣдняго. Такая именно судьба постигла, въ началѣ пятидесятихъ годовъ, одну изъ комедій Загоскина. Человѣкъ удивительнаго добродушія, трогательный въ своемъ восторженномъ поклоненіи всему русскому и, въ особенности, московскому,—горячій патриотъ, беззавѣтно преданный порядку и власти,—гремѣвшій проклятіями противъ западной цивилизаціи и посылавшій, по свидѣтельству И. И. Панаева, „крѣпкія словца“ по адресу, „западниковъ“—авторъ знаменитаго „Юрія Милославскаго“ и ряда романовъ во вкусѣ „ложно-величавой“ школы—уже по одной своей литературной дѣятельности долженъ бы былъ стать выше цензурныхъ урѣзокъ и поправокъ. Не могъ онъ быть заподозрѣнъ и въ стремленіи обойти бдительность цензуры умѣньемъ давать догадливому читателю возможность вычитывать „между строкъ“ своихъ произведеній превратныя мысли,—чего вообще весьма опасался Комитетъ 2 апрѣля. Рѣзкій въ отзывахъ и громко высказывавшій свои литературныя антипатіи, Загоскинъ горячо нападалъ на Надеждина и Бѣлинскаго. „Золотое сердце“ его, одинаково признанное друзьями и противниками, не смягчало его ожесточенія противъ послѣднихъ даже и тогда, когда Надеждину послѣ запрещенія „Телескопа“ въ 1836 году, были навсегда заграждены уста. „Благодарю васъ,—пишетъ онъ *Θ. А.*

Кони 15 іюня 1837 года,—за ваше обязательное и лестное для меня письмо;—я очень радъ, что вамъ пришла благая мысль вымолвить иногда словечко о нашемъ московскомъ театрѣ, который хотя и не можетъ никакъ состязаться съ вашимъ петербургскимъ, но право не заслуживаетъ того, чтобы его отдали на съѣденіе нашимъ московскимъ журналистамъ или лучше сказать мордашкамъ, которые умѣютъ только ругаться; заставилъ бы я ихъ всѣхъ почаще читать басню Крылова—Хавронью, которая „не жалѣя рыла весь задній дворъ изрыла“. Благодаря Бога двѣ московскія мордашки—Надежинъ и Бѣлинскій замолчали, но хрюканье другихъ свинокъ, все еще отъ времени до времени раздается въ стѣнахъ Бѣлокаменной.. Вспоминайте хотя изрѣдка, что въ Москвѣ живетъ много *полубрамизской мордвы*, но живутъ также и добрые люди, и люди съ истиннымъ просвѣщеніемъ...“ Наконецъ, казалось бы, что служебное и общественное положеніе Загоскина должно было ограждать его отъ подозрительнаго отношенія цензуры къ его намѣреніямъ и къ его „образу мыслей“.

Камергеръ и директоръ императорскихъ московскихъ театровъ и Оружейной Палаты, окруженный почетомъ московскій старожилъ, — онъ пользовался особымъ благоволеніемъ императора Николая Павловича, пожелавшаго, въ 1830 году, лично познакомиться съ авторомъ „Юрія Милославскаго“. За рѣзкія нападенія на этотъ романъ въ №№ 7, 8 и 9 „Сѣверной пчелы“ за 1830 г. Гречъ и Булгаринъ,—досадовавшій, по словамъ самого Греча, на успѣхъ романа Загоскина изъ боязни матеріальной конкуренціи,—были подвергнуты содержанію на гауптвахтѣ, а осуществившій эту мѣру обузданія критики шефъ жандармовъ графъ Бенкендорфъ, въ тридцатыхъ же годахъ даже предлагалъ Загоскину перейти на службу подъ свое непосредственное начальство, съ переименованіемъ въ соотвѣтствующій военный чинъ.

Однако tempora mutantur! М. Н. Загоскинъ, представъ предъ очи петербургской цензуры, въ самомъ концѣ своей литературной дѣятельности не избѣгъ общей участи писателей того времени. Вотъ его письмо, написанное за полгода до смерти автора, послѣдовавшей въ іюнь 1852 года.

Милостивый Государь Феодоръ Алексѣевичъ.

Благодарю васъ за честь, которую вы мнѣ дѣлаете, приглашая меня участвовать въ изданіи вашего журнала; къ сожалѣнію я ничего не могу вамъ обѣщать. Вотъ ужъ годъ какъ я не берусь за перо; тяжкая болѣзнь, которая не уступаетъ никакимъ медицинскимъ средствамъ, отнимаетъ у меня всю возможность заниматься словесностію,—а сверхъ того я поклялся ничего не печатать въ Петербургѣ—и, когда скажу вамъ, что меня къ этому побудило, то, вѣроятно, и вы согласитесь, что я совершенно правъ.

Последняя моя комедія въ стихахъ была пропущена безъ всякихъ

помарокъ въ цензурѣ собственной канцеляріи Государя Императора, а какъ поступила съ нею С.-Петербургская цензура Министерства Народнаго просвѣщенія!— Она сдѣлала въ моей несчастной комедіи болѣе пятидесяти помарокъ и поправокъ—и какихъ поправокъ!—вмѣсто: прямой армейщина—прямой *кикимора*, —корнетъ названъ *верхолетомъ*, вмѣсто *звѣвающихъ мужей* напечатано *счастливейшихъ мужей*. Подлинно, благочестивая цензура не позволяетъ мужьямъ зѣвать даже тогда, когда имъ скучно. По этимъ тремъ поправкамъ вы можете судить и объ остальныхъ.—А хотите ли знать какіе стихи вовсе вымараны?—вотъ напримѣръ:

„Тотъ смотритъ бариномъ,—а этотъ что?—холопъ?

„Да и какой еще?.. тотчасъ забрали бѣ лобъ

„Да въ рекруты...

„Кто?—графъ?.. Да онъ всегда гонялся за прогрессомъ

„И Русь святую звалъ всегда дремучимъ лѣсомъ...

„Я этихъ усачей до смерти какъ боюсь:

„У нихъ всегда прескверныя повадки.

„Въ моей онъ образной, пожалуй, на лампадкѣ

„Сигару закурить.

„Всѣ дѣти нынче стары.

„И если у кого насущнаго нѣтъ хлѣба...

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ вымарано стиховъ по десяти сряду — а за что?—хоть убейте, не понимаю. Разумѣется, отъ этихъ помарокъ составилось великое множество самыхъ незаконныхъ стиховъ—безъ мѣры, безъ рифмъ, безъ сочетанія и даже совершенно безъ смысла,—и за все это долженъ отвѣчать я, потому что не имѣю права объявить публично, что мою комедію изуродовала цензура.—Согласитесь, что послѣ этого я не могу и не долженъ ничего печатать въ Петербургѣ.

Имена всѣхъ необычайныхъ людей, какого бы рода они ни были— не должны оставаться въ неизвѣстности, и потому я долгомъ считаю присвокупить, что мою комедію цензуровала какой-то господинъ Ш—скій. Если, несмотря на мое письмо, вамъ вздумается помѣстить въ вашемъ журналѣ мой портретъ,—увѣдомьте меня объ этомъ—я исполню съ удовольствіемъ ваше желаніе.

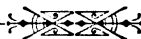
Прощайте!—Дай Богъ вамъ здоровья, побольше подписчиковъ, и—другихъ цензоровъ, хотя немного поумнѣ теперешнихъ.

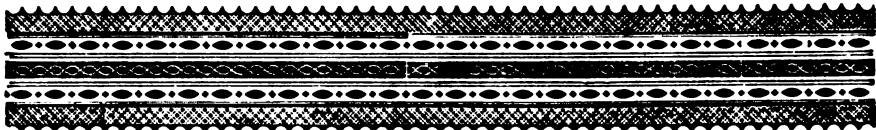
Искренно васъ уважающій старинный вашъ пріятель

11 января 1852 г.
Москва.

Михайло Залоскинъ.

Сообщилъ А. О. Кони.





„Защитницы“ Данта въ Новой Жизни.

Въ области Дантовской критики Божественная Комедія въ теченіе многихъ вѣковъ привлекала исключительно къ себѣ вниманіе комментаторовъ и изслѣдователей. Остальные произведенія Данта, въ томъ числѣ и Новая Жизнь, оставались въ тѣни. Первые толкователи Данта, читавшіе и объяснявшіе Божественную Комедію во Флоренціи и Болоньѣ, не считали нужнымъ останавливаться специально на Новой Жизни: они не сознають еще той тѣсной связи, которая существуетъ между повѣстью о юношеской любви Данта къ Беатриче и «священной поэмой, къ которой приложили руку и небо и земля». Лишь попутно, когда ихъ приводитъ къ тому комментированію терцинъ Божественной Комедіи, упоминають они о флорентинской дѣвушкѣ, которую любилъ великій поэтъ. Согласно съ этимъ ихъ замѣчанія имѣють преимущественно въ виду уяснить значеніе Беатриче въ Божественной Комедіи, и разсужденія ихъ не бросають свѣта на Новую Жизнь, какъ на самостоятельный памятникъ творчества Данта. Въ томъ же направленіи шли и послѣдователи первыхъ толкователей, комментаріи которыхъ не были рассчитаны на аудиторію, а предназначались для чтенія. Лишь въ XVIII вѣкѣ Новая Жизнь является предметомъ самостоятельнаго изученія ¹⁾ и устанавливается постепенно убѣжденіе въ томъ, что личность Данта и характеръ его творчества выяснятся вполне только подъ условіемъ одинаково глубокаго изслѣдованія всѣхъ его произведеній: пониманіе Новой Жизни и того періода жизни Данта, когда она возникла, обуславливаетъ отношеніе изслѣдователя къ цѣлому ряду первостепенно—важныхъ проблемъ Дантовской критики. Эта точка зрѣнія опредѣленнѣе всего сказывается у Карла Витте въ его трехъ трактатахъ *Ueber das Missverständniss Dantes* (1824), *Ueber Dante* (1831) и *Dante's Trilogie* (1868). Признаніе методологическаго значенія второстепенныхъ произведеній Данта и необходимости ихъ всесторонняго изученія для полнаго пониманія жизни и дѣятельности поэта вызвало усиленную научную работу въ этомъ направленіи.

¹⁾ Biscioni, Dionisi.

Число этюдовъ, посвященныхъ вопросамъ, связаннымъ съ Новой Жизнью, можно сказать, безгранично, и настоящая статья не имѣетъ цѣлью подвести итоги въ этой области Дантовской критики, тѣмъ болѣе, что работа эта недавно была произведена Edw. Moore'омъ ²⁾. Я имѣю лишь въ виду указать на новое толкованіе того эпизода Новой Жизни, гдѣ выступаютъ «защитницы» (*donne dello scermo*) Данта (гл. 5—8, 9—11) ³⁾. Исслѣдователи не разъ останавливали свое вниманіе на этихъ двухъ женскихъ фигурахъ, появляющихся въ Новой Жизни на ряду съ Беатриче, при чемъ Scartazzini отождествлялъ даже первую изъ нихъ съ Матильдою Земного Рая ⁴⁾; но никто, насколько мнѣ извѣстно, не отступалъ отъ традиціоннаго пониманія всего эпизода, какъ оно устанавливается буквой Дантовскаго текста. Для всѣхъ и первая и вторая «защитница» Данта является лишь игрушкой въ его рукахъ, орудіемъ, служащимъ для того, чтобы навести на ложный слѣдъ любопытствующихъ и отвлечь ихъ вниманіе отъ предмета истинной его любви. Этотъ взглядъ отвергается профессоромъ Неаполитанскаго университета Zingarelli въ его неоконченной еще біографіи Данта ⁵⁾. Посредствомъ цѣлаго ряда соображеній, основанныхъ отчасти на отступающемъ отъ вульгаты чтеніи одного сонета ⁶⁾, онъ пытается доказать, что отношенія Данта къ «защитницамъ» не были только игрой: подъ ними скрывается реальный фактъ его душевной жизни. Подобное толкованіе выводитъ насъ изъ заколдованнаго круга идеальной, платонически-религіозной любви Данта и проливаетъ новый свѣтъ на періодъ его юношескихъ заблужденій, дополняя неизвѣстными доселѣ чертами ту неприглядную картину, которая рисуется намъ въ его стихотворной перепискѣ съ Форезе Донати ⁷⁾ и въ одномъ, обращенномъ къ нему, сонетѣ Гвидо Кавалканти ⁸⁾, его «перваго» друга ⁹⁾. Творецъ Божественной Комедіи, эвальтированный «другъ» и «вѣрный рабъ» ¹⁰⁾

²⁾ Studies in Dante Second Series: Beatrice. Oxford 1899.

³⁾ По Оксфордскому изданію Edw. Moore'a: Tutte le opere di Dante Alighieri. Слѣдующія цитаты приведены по тому же изданію.

⁴⁾ Экскурсъ къ 28-й пѣснѣ Чистилища (Comm. Lips.).

⁵⁾ *Nicola Zingarelli* Dante Milano Vallardi.

⁶⁾ Въ сонетѣ Guido, vorrei che tu e Lapo ed io (Canzoniere Sonetto XXXII) Zingarelli читаетъ первую терцину слѣдующимъ образомъ: E monna Vanna e monna Lagia poi,—con quella ch'è in sul numero del trenta,—con noi ponesse il buon incantatore, несогласно съ вульгатой, гласящей: E monna Vanna e monna Vice poi и т. д.

⁷⁾ Напечатана во 2-мъ томѣ изслѣдованія *Isidoro Del Lungo* Dino Compagni e la sua Cronica Firenze 1879 стр. 612—618; къ тому же вопросу ср. Purg. XXIII, 46—49, 115—118.

⁸⁾ *I'vegno'l giorno a te'nfinite volte...*: у *Ercole* Guido Cavalcanti e le sue rime, стр. 324, Livorno 1885.

⁹⁾ V. N. § III, 98; XXV, 112.

¹⁰⁾ Inf. II, 61, 98; Purg. XXXI, 134, V. N. § XII, 107, 113 и т. д.

Беатриче, сходить съ недосыгаемаго пьедестала, осѣненнаго лучами воспѣтаго имъ надзвѣзднаго міра, и становится въ ряды простыхъ смертныхъ, съ ихъ слабостями и недостатками. И это нисколько не наноситъ ущерба величію Данта, какъ поэта и человѣка: онъ становится лишь ближе намъ, его обликъ, смутный благодаря недостатку біографическихъ свѣдѣній, обрисовывается рѣзче, дѣлается понятнѣе. Многія черты Божественной Комедіи, въ которыхъ слышится нота личнаго чувства и отголосокъ жизненнаго опыта, приобрѣтаютъ новое, болѣе определенное значеніе. Сознаніе Дантомъ своей грѣховности, состраданіе къ Паоло и Франческѣ, трепеть, охватывающій его передъ тѣмъ, какъ онъ долженъ пройти сквозь огонь въ 7-омъ кругу Чистилища, упреки Беатриче въ Земномъ Раю—все это получаетъ конкретное содержаніе отчасти вновь, отчасти въ дополненіе къ ранѣе уже извѣстнымъ фактамъ.

Становясь на точку зрѣнія Zingarelli, я прослѣжу эпизодъ съ «защитницами» Данта въ его психологическихъ основаніяхъ и реальномъ содержаніи, и со стороны той условной литературной формы, въ которую онъ облеченъ. Эти двѣ точки зрѣнія необходимо строго различать при оцѣнкѣ Новой Жизни, какъ біографическаго источника.

Новая Жизнь является памятникомъ любви Данта къ Беатриче, которая поразила его дѣтское воображеніе, когда ему еще не было девяти лѣтъ. Плодомъ этой любви былъ рядъ стихотвореній, въ которыхъ изливалось чувство Данта къ Беатриче и отражались нерѣдко мельчайшія событія его жизни, поскольку они имѣли отношеніе къ возлюбленной. Послѣ ранней смерти Беатриче Дантъ съ благоговѣніемъ собралъ разсѣянные стихотворенія ¹¹⁾ съ тѣмъ, чтобы представить картину своей юношеской любви. Но при этомъ имъ руководила определенная идея—прославленіе почившей, и не всѣ стихотворенія оказались пригодными для цѣли, которую онъ преслѣдовалъ: часть ихъ поэтому была оставлена въ сторонѣ. Собранныя съ извѣстной точки зрѣнія стихотворенія были соединены повѣствовательной прозой, въ которой Дантъ излагаетъ событія, вызвавшія то или другое изъ нихъ. Эта проза является какъ бы реальнымъ комментариемъ къ стихотвореніямъ, которыя безъ него остались бы въ значительной степени непонятными для читателя. Таковой представляется намъ на основаніи соображеній, которыя я здѣсь не излагаю, исторія возникновенія Новой Жизни, и ею опредѣляются два положенія, существенно важныхъ для критики памятника.

1. Новая Жизнь представляетъ двѣ самостоятельныя составныя части, возникшія въ различное время: стихотворенія, сопровождавшія развитіе любви Данта къ Беатриче, и прозаическое повѣствованіе, написанное

¹¹⁾ Parole mie, che per lo mondo siete...: Canzoniere Son. XLIII. Cp. „rime sparse“ Петрарки (Canz. Son. I).

по смерти Беатриче, т.-е въ такой моментъ, когда завершился цѣлый періодъ жизни Данта, и онъ могъ охватить его общимъ взглядомъ, освѣтить событія, изобразить свои думы и чувства съ опредѣленной точки зрѣнія.

2. Новая Жизнь заключаетъ не всѣ стихотворенія, написанныя при жизни Беатриче, а лишь часть ихъ, а именно, стихотворенія, избранныя поэтомъ по смерти возлюбленной подъ извѣстнымъ угломъ зрѣнія и приведенныя въ опредѣленную систему.

Въ этимъ двумъ положеніямъ присоединяется еще одно соображеніе обще-литературнаго характера. Средне-вѣковая лирика не является прямымъ и непосредственнымъ отраженіемъ индивидуальнаго настроенія поэта: въ нее въ большей степени, чѣмъ это имѣетъ мѣсто въ поэзіи новаго времени, входятъ элементы, опредѣляемые принадлежностью поэта къ той или другой литературной школѣ. Отъ этихъ типическихъ элементовъ, отъ условностей школы не свободна и лирика Данта, несмотря на всю ея искренность.

Указанная условность Дантовскаго творчества и исторія происхожденія Новой Жизни опредѣляютъ наше отношеніе къ этому памятнику, какъ біографическому источнику. Мы не можемъ принять безусловно на вѣру все то, что говоритъ Дантъ о своихъ отношеніяхъ къ Беатриче и «защитницамъ», и наша задача должна заключаться въ томъ, чтобы отдѣлить реальное отъ условнаго и найти первоначальную, такъ сказать, истину подъ покровомъ позднѣйшаго освѣщенія.

«Когда прошло столько дней, что исполнилось ровно девять лѣтъ со дня перваго явленія благородной Беатриче, въ послѣдній изъ этихъ дней случилось, что эта дивная жена предстала предо мной въ одѣяніи бѣлоснѣжнаго цвѣта среди двухъ благородныхъ женъ, которыя были старше ея возрастомъ; и проходя, по нѣкоей улицѣ, она обратила свой взоръ въ ту сторону, гдѣ я стоялъ весь охваченный трепетомъ, и, по неизрѣчимой милости своей, за которую она нынѣ пріяла награду въ царствѣ небесномъ, она привѣтствовала меня со столь добродѣтельнымъ видомъ, что мнѣ показалось, что я достигъ крайнихъ предѣловъ блаженства»¹²⁾ Такъ повѣствуетъ Дантъ о памятномъ ему майскомъ днѣ¹³⁾, когда его дѣтская, полусознательная любовь смѣнилась глубокимъ чувствомъ юности. Послѣ чудеснаго привѣта Беатриче любовь съ такой силой овладѣваетъ душой Данта, что всѣ его мысли сосредоточиваются на возлюбленной и онъ забы-

¹²⁾ V. N. § III, 1—16.

¹³⁾ По наиболее вѣроятному предположенію Дантъ родился во второй половинѣ мая мѣсяца, а первая встрѣча его съ Беатриче, къ девятой годовщинѣ которой относится рассматриваемый эпизодъ, имѣла мѣсто, „когда уже девять разъ послѣ его рожденія, сфера солнца успѣла вернуться, въ своемъ круговоротѣ почти къ той же точкѣ“ (V. N. § II, 1—3).

ваетъ даже объ удовлетвореніи насущныхъ потребностей жизни. «Въ короткое время, пишетъ онъ, я сталъ такъ хилъ и слабъ, что многимъ друзьямъ моимъ было тяжело смотрѣть на меня». Но на ряду съ искренними друзьями, какъ всегда бываетъ въ жизни, являются злорадствующіе пріатели, «завистники» (*rieni d'invidia*), какъ ихъ называетъ Дантъ. Они изъ простаго любопытства стараются проникнуть въ тайну его души и преслѣдуютъ его вопросами съ тѣмъ, чтобы потомъ позлословить на его счетъ. Дантъ не внялъ ихъ коварнымъ рѣчамъ. Онъ, правда, не могъ скрыть, что его преобразилъ всесильный Амоге, положившій «свою печать на его лицо». Но когда его спрашивали, къ кому онъ питаетъ столь сильную «разрушающую» его любовь, онъ «съ улыбкой глядѣлъ на вопрошавшихъ и ничего не отвѣчалъ имъ» ¹⁴⁾.

Глубокое, искреннее чувство стыдливо и не терпитъ, чтобы посторонніе, праздно любопытствующіе люди прикасались грубыми руками къ завѣтнымъ тайникамъ души. Имя Беатриче свято для Данта, и онъ не хочетъ, чтобы оно было на устахъ у всѣхъ: случай помогъ ему скрыть отъ любопытныхъ предметъ своей любви и навести ихъ на ложный слѣдъ.

Однажды ¹⁵⁾, находясь въ церкви и глядя на Беатриче, Дантъ замѣтилъ, что сидѣвшая между ними «благородная дама весьма привлекательной наружности» нѣсколько разъ съ удивленіемъ оборачивалась, предполагая, что онъ глядитъ на нее. Многіе тоже обратили на это свое вниманіе, и, выходя изъ церкви, Дантъ услышалъ, какъ называли по имени эту даму, высказывая предположеніе, что она заставляетъ страдать его отъ любви. Дантъ обрадовался, что тайна его на этотъ разъ осталась неразгаданной, и рѣшился сдѣлать эту даму «ширмой истины» (*schermo della veritate*), какъ онъ выражается. Онъ сталъ выказывать ей свое вниманіе, стараясь скрыть такимъ образомъ отъ взоровъ людскихъ истинную свою любовь къ Беатриче. Эта уловка удалась, и многіе стали считать прекрасную даму возлюбленной Данта. Какъ поэтъ, онъ пишетъ въ честь ея стихотворенія (*cosette per rima*), но не заноситъ ихъ на страницы Новой Жизни, такъ какъ она всецѣло посвящена памяти Беатриче. Только объ одномъ изъ этихъ стихотвореній вскользь упоминаетъ Дантъ, потому что оно имѣетъ отношеніе къ его почившей возлюбленной. Ему захотѣлось упомянуть имя Беатриче, не возбуждая ни въ комъ подозрѣнія, и вотъ онъ пишетъ стихотворное посланіе въ формѣ сирвенты (*serventese*), въ которомъ прославляетъ шестьдесятъ наиболѣе красивыхъ женщинъ «того города, въ которомъ по волѣ всевышняго Владыки родилась и жила его возлюбленная». Среди этихъ шестидесяти флорентинскихъ красавицъ

¹⁴⁾ V. N. § IV.

¹⁵⁾ Разсматриваемые въ дальнѣйшемъ изложеніи эпизоды Новой Жизни заключаются, какъ выше было указано въ текстѣ, въ §§ 5—8 и 9—11. Цитаты изъ другихъ главъ Новой Жизни будутъ отмѣчаемы по мѣрѣ надобности.

является Беатриче и прекрасная «защитница» и притомъ, какъ можно предположить на основаніи одного сонета, вошедшаго въ составъ Дантовскаго *Sanzoniere*, «защитница» занимаетъ тридцатое мѣсто ¹⁶⁾. Она образуетъ такимъ образомъ, какъ бы центръ произведенія, на ней сосредоточивается все вниманіе поэта, а остальные красавицы, въ ихъ числѣ и Беатриче, составляютъ лишь фонъ, на которомъ выдѣляется «защитница» Данта во всемъ своемъ блескѣ.

«Нѣсколько лѣтъ и мѣсяцевъ» (*alquanti mesi ed anni*) скрывалъ Дантъ свою истинную любовь къ Беатриче, пользуясь защитой прекрасной дамы, пока, наконецъ, она не уѣхала въ «очень отдаленный городъ». Ея отъѣздъ и лишеніе привычной защиты смутили и огорчили его болѣе, чѣмъ онъ самъ раньше могъ бы предполагать. Согласно установившемуся поэтическому обычаю, перешедшему въ итальянскую лирику изъ обихода провансальскихъ трубадуровъ, Дантъ пишетъ сонетъ на разлуку съ «защитницей». Онъ дѣлаетъ это, согласно его объясненію, съ тѣмъ, чтобы не возбудить подозрѣнія въ искренности своей любви къ прекрасной «защитницѣ», если онъ не отмѣтитъ ея отъѣздъ словами скорби. Парафразируя слова *Jeremias* ¹⁷⁾, Дантъ обращается къ тѣмъ, которые «идутъ дорогой любви», и приглашаетъ ихъ рѣшить, есть ли на свѣтѣ большее горе, чѣмъ то, которое онъ терпитъ. Нѣкогда *Amore*, не за его заслуги, а по своему благородству, дѣлалъ столь сладкой и пріятной его жизнь, что онъ часто слышалъ, какъ ему вслѣдъ говорили: за какія заслуги этотъ человѣкъ имѣетъ такой радостный видъ? Теперь онъ утратилъ свое веселіе, проистекавшее отъ «сокровища любви» и остался бѣднякомъ. Подобно тѣмъ, которые изъ стыда скрываютъ свою бѣдноту, онъ старается казаться веселымъ, но въ глубинѣ души терзается и плачетъ.

Но недолго терзался на этотъ разъ Дантъ: ему удалось найти себѣ новую «защитницу» съ помощью *Amore*. Какое-то событіе, которое онъ ближе не опредѣляетъ ¹⁸⁾, заставило его покинуть Флоренцію и, «въ со-
путствіи многихъ», отправиться въ тѣ мѣста, гдѣ находилась благородная дама, служившая ему защитой. Не охотно ѣхалъ Дантъ, такъ какъ онъ удалялся отъ своего блаженства, т.-е. отъ Беатриче: вздохъ тѣснялся въ его груди. И вотъ ему представляется, что къ нему подходит *Amore* съ смущеннымъ видомъ и заводитъ съ нимъ рѣчь. Онъ сообщаетъ ему, что та дама, которая такъ долго была его защитницей, больше не вернется

¹⁶⁾ Указанный въ примѣчаніи 6-й сонетъ *Guido, vorrei che tu e Lapo ed io*, по чтенію *Zingarelli*.

¹⁷⁾ *Lamentationes Jeremiae Pro phetae*, I, 12 *O vos omnes qui transitis per viam attendite, et videte si est dolor sicut dolor meus.*

¹⁸⁾ Здѣсь, можетъ-быть, идетъ рѣчь о военной экспедиціи, предпринятой флорентинцами въ ноябрѣ 1285 года противъ *Poggio a Santa Cecilia* (*D'Ancona La Vita Nuova* 2-a ediz. Pisa: стр. 72).

во Флоренцію; и поэтому онъ несетъ его сердце къ другой дамѣ, которая такъ же, какъ и первая, будетъ служить ему защитой. Назвавъ имя новой защитницы, Amore исчезъ.

На слѣдующій день Дантъ излагаетъ въ сонетѣ свое видѣніе. Несомнѣнно, что оно такъ же, какъ и первое видѣніе Новой Жизни ¹⁹⁾, не имѣло мѣста въ дѣйствительности. Прибѣгая къ своему излюбленному художественному приему, Дантъ лишь объективируетъ въ формѣ видѣнія свои думы и чувства. Amore съ его рѣчами и совѣтами представляетъ въ живомъ реальномъ образѣ тотъ внутренній процессъ мысли и чувства, который совершается въ душѣ Данта во время вынужденной поѣздки, когда онъ, оторванный отъ Беатриче, чувствуетъ себя одинокимъ, несмотря на «сообщество многихъ», и жаждетъ новой любви.

По возвращеніи во Флоренцію, Дантъ отыскиваетъ даму, которую указалъ ему Amore на «пути вздоховъ» (*il cammino de'sospiri*) и, спустя короткое время, онъ настолько усердно сталъ прибѣгать къ ея защитѣ, что многіе начали говорить объ ихъ отношеніяхъ, «преступая предѣлы благоприличія» (*oltre alli termini della cortesia*) и распуская преувеличенные слухи о предосудительности его поведенія. Скоро людскіе пересуды и толки привели къ катастрофѣ, которая подняла бурю въ душѣ Данта и явилась, такимъ образомъ, началомъ новаго, мятежнаго періода любви его къ Беатриче ²⁰⁾. Это было незначительное, на нашъ взглядъ, событіе, но при томъ характерѣ, который носила любовь Данта къ Беатриче, оно могло, вполне естественно, произвести цѣлый переворотъ въ его душѣ. Слухи объ отношеніяхъ Данта къ второй его «защитницѣ» дошли до Беатриче, и она, какъ «противница всѣхъ пороковъ и владычица добродѣтели» (*distruggitrice di tutti i vizii e regina delle virtù*), встрѣтившись гдѣ-то съ нимъ (*passando per alcuna parte*), отказала ему въ своемъ привѣтѣ, въ которомъ заключалось все его блаженство. Этой катастрофой завершается эпизодъ отношеній Данта къ двумъ его «защитницамъ».

Цѣлый рядъ вопросовъ возникаетъ при критическомъ разсмотрѣніи этого эпизода. Имѣя въ виду исторію возникновенія Новой Жизни и принимая въ расчетъ ея литературную условность, мы должны уяснить себѣ, что является дѣйствительно пережитымъ въ рассказѣ Данта и что навѣяно

¹⁹⁾ V. N. § III, 25—65 и тамъ же Sonetto primo.

²⁰⁾ Рассказъ объ этомъ бурномъ періодѣ отношеній Данта къ Беатриче занимаетъ главы 12—17. Онъ смѣняется періодомъ просвѣтленія любви Данта и прославленія Беатриче, простирающимся до ея смерти. Такимъ образомъ, съ психологической точки зрѣнія, я предложилъ бы такое дѣленіе Новой Жизни, до смерти Беатриче: 1) періодъ дѣтской любви Данта (§ 2), 2) пароксизмъ юношеской любви (§ 3—5), 3) эпизодъ съ защитницами и отступленіе на задній планъ любви къ Беатриче (§ 5—11; этотъ эпизодъ разсматривается въ настоящей статьѣ), 4) періодъ мятежной любви къ Беатриче и страданія Данта (§ 12—17) 5) успокоеніе Данта въ просвѣтленной любви и прославленіи Беатриче (§ 17—29).

литературной традиціей; мы должны рѣшить, не измѣненъ ли въ угоду основной тенденціи и идеѣ Новой Жизни характеръ отношеній, описываемыхъ Дантомъ въ рассматриваемомъ эпизодѣ, и если измѣненъ, то въ какомъ именно направленіи.

Весь эпизодъ съ «защитницами» вызванъ желаніемъ Данта скрыть отъ взоровъ любопытныхъ завистниковъ предметъ истинной своей любви и навести ихъ на ложный слѣдъ, представляясь, что онъ любитъ другую женщину. Все это мотивы, хорошо извѣстные въ исторіи провансальской литературы. Въ канцонахъ трубадуровъ не рѣдко идетъ рѣчь о *lausengiers enveios, mal parliers*, разстраивающихъ своимъ любопытствомъ и неумѣстными рѣчами счастье влюбленныхъ и нарушающихъ ихъ покой. Чтобы отвратить грозящую опасность, поэтъ не называетъ имени возлюбленной и скрываетъ его подъ условнымъ обозначеніемъ (*senhal*): онъ приноситъ дань своей любви и поклоненія, какъ бы другой женщинѣ, а не той, которую любить въ дѣйствительности. Несомнѣнно, эпизодъ съ «защитницами» представляетъ близкое сходство съ приведенными мотивами провансальской лирики; но на этомъ основаніи мы не имѣемъ еще права утверждать исключительно литературный характеръ его происхожденія и отсутствіе связи его съ реальной дѣйствительностью. Я выяснилъ выше психологическіе мотивы общечеловѣческаго свойства, заставлявшіе Данта скрывать имя своей возлюбленной. Они даютъ уже достаточное основаніе для того, чтобы признать, что эпизодъ съ защитницами отражаетъ дѣйствительныя событія жизни Данта. Въ этомъ убѣжденіи еще болѣе поддерживаетъ насъ описаніе обстановки, среди которой завязываются и развиваются отношенія Данта къ его защитницамъ. Описаніе это съ его реалистическими подробностями дышитъ житейской правдой, устраняющей возможность предположить въ созданіи рассматриваемаго эпизода исключительно литературное вліяніе, которое, несомнѣнно, сказалось бы въ безцвѣтности и шаблонности описанія. Случайно завязывающіяся въ церкви отношенія Данта къ первой защитницѣ²¹⁾, ея недоумѣніе, когда она чувствуетъ на себѣ его взглядъ, обращенный въ дѣйствительности на Беатриче, ея отвѣтные взоры, отъѣздъ ея въ отдаленный городъ, смущеніе Данта, вызванное этой разлукой и его рѣшеніе — во время вынужденной отлучки изъ Флоренціи, когда онъ находится вдали отъ Беатриче — замѣнить первую защитницу другою, его отношенія ко второй защитницѣ и порождаемые ими слухи: все это факты, отъ которыхъ, въ ихъ детальности, вѣетъ такой жизненностью, что намъ приходится признать въ объ-

²¹⁾ Интересно сравнить этотъ эпизодъ Новой Жизни съ рассказомъ Боккаччо о его первой встрѣчѣ въ церкви съ Маріей: *Fiammetta, cap. primo* стр. 23—27 изд. Sonzogno. Особенности Дантовскаго стиля въ повѣствованіи о реальныхъ событіяхъ жизни рѣзко опредѣляются сравненіемъ его съ новеллистической манерой Боккаччо.

ихъ защитницахъ Данта дѣйствительныхъ женщинъ съ человѣческой плотью и кровью, а не фантомы, взятые поэтомъ изъ обихода провансальской лирики или изъ произведеній, черпавшихъ въ ней свое вдохновеніе раннихъ итальянскихъ поэтовъ.

Но если литературная традиція не была источникомъ эпизода съ защитницами, то тѣмъ не менѣе вліяніе ея, несомнѣнно, сказалось въ изображеніи и окраскѣ фактовъ, лежавшихъ въ его основаніи. Въ угоду основной идеѣ и тенденціи Новой Жизни, заключающейся въ символизирующемъ прославленіи Беатриче и изображеніи любви къ ней въ просвѣтленномъ видѣ, Дантъ, сохраняя внѣшніе факты своихъ отношеній къ защитницамъ, придавъ имъ въ позднѣйшемъ прозаическомъ изложеніи иной характеръ, чѣмъ они имѣли въ дѣйствительности, руководствуясь при этомъ литературной традиціей Прованса.

Если проникнуть глубже въ текстъ Новой Жизни, то зарождается подозрѣніе, что отношенія Данта къ его защитницамъ не были на самомъ дѣлѣ таковы, какими они представляются на первый взглядъ въ его изображеніи. Дантъ называетъ свою любовь къ защитницамъ притворной, преслѣдующей одну только цѣль: скрыть его истинную любовь къ Беатриче. Случайно завязались въ церкви его отношенія къ первой защитницѣ и продолжались «нѣсколько лѣтъ и мѣсяцевъ». Невольно напрашивается вопросъ, не стали ли они за столь продолжительное время болѣе искренними и теплыми, чѣмъ можетъ быть притворная любовь. Несмотря на всю сжатость прозаическаго разсказа Новой Жизни, въ которомъ взвѣшено каждое слово съ тѣмъ, чтобы служить цѣли, позднѣе опредѣлившейся, мы все-таки и въ этомъ искусственно соразмѣренномъ изложеніи можемъ найти проблески болѣе нѣжнаго чувства Данта къ его защитницѣ—«дамѣ весьма привлекательной наружности». Когда она должна была покинуть Флоренцію, отъѣздъ ея огорчилъ его больше, чѣмъ онъ самъ ожидалъ. Правда, Дантъ объясняетъ свое огорченіе тѣмъ, что онъ лишился привычной защиты. Но отъ этого не стоило приходить въ отчаяніе: новую защитницу не трудно было найти, какъ это и выясняется впоследствии. Еще болѣе убѣдительными представляются слова Аморе, явившагося Данту на «пути вздоховъ». Заявивъ, что первая защитница болѣе не вернется во Флоренцію, онъ прибавляетъ, что сердце Данта, которое, по его вѣдѣнію, было у нея, находится теперь въ его рукахъ, и что онъ несетъ его къ другой, извѣстной Данту, женщинѣ, которая, подобно первой, будетъ служить ему защитой. Въ переводѣ съ аллегорическаго языка Данта на обычный, эти слова могутъ обозначать только одно: разлука съ первой защитницей, которую Дантъ любилъ настоящей, а не притворной любовью, охладила его чувства; его сердце свободно, и у него незамѣтно зарождается мысль о возможности новой любви къ женщинѣ, которую онъ зналъ во Флоренціи и на которую онъ, можетъ-быть, еще раньше

обратилъ свое вниманіе ²²⁾. Отношенія къ этой второй защитницѣ, какъ они изображены въ Новой Жизни, не оставляютъ сомнѣнія, что здѣсь идетъ рѣчь не о притворномъ, а о вполнѣ реальномъ чувствѣ. Согласно тексту, Дантъ настолько увлекся игрой «въ защиту», что о немъ стали доходить неблагоприятные слухи до Беатриче ²³⁾, и она отказала ему въ своемъ привѣтѣ.

Вотъ тѣ прямыя указанія, которыя заставляютъ насъ предполагать въ отношеніяхъ Данта къ его защитницамъ нѣчто большее, чѣмъ одно притворство. Къ тому же заключенію приводятъ насъ и другія соображенія. Во всемъ разсматриваемомъ эпизодѣ Беатриче отступаетъ совершенно на задній планъ, и мѣсто ея занимаютъ обѣ защитницы. Для первой изъ нихъ Дантъ пишетъ свои стихотворенія. Лишь два раза за весьма продолжительное время упоминается имя Беатриче, и въ обоихъ случаяхъ она является, такъ сказать, въ подчиненномъ положеніи, хотя Дантъ и старается замаскировать этотъ фактъ въ своемъ изложеніи. Онъ пишетъ стихотворное посланіе, прославляющее шестьдесятъ красивѣйшихъ флорентинскихъ дамъ, побуждаемый къ тому желаніемъ назвать имя Беатриче. Но оказывается, что центральное мѣсто въ этомъ посланіи занимаетъ защитница Данта, а Беатриче является, какъ бы затерянная въ толпѣ, на девятомъ мѣстѣ. Лишь впоследствии, при составленіи прозаической части Новой Жизни, Дантъ отмѣчаетъ этотъ фактъ и толкуетъ его какъ чудо въ связи съ тѣмъ символическимъ значеніемъ, которое получаетъ въ его глазахъ Беатриче послѣ ея смерти ²⁴⁾. Сонетъ на разлуку съ защитницей написанъ, по объясненію Данта, за

²²⁾ e nomollami (la seconda donna dello schermo), sì ch'io la conobbi bene—E, dette queste parole, disparve questa mia immaginazione tutta subitamente, per la grandissima parte, che mi parve ch'Amore mi desse di sè equasi cambiato nella vista mia, cavalcai quel giorno pensoso molto, ed accompagnato di molti sospiri (V. N. § 9).

²³⁾ questa soverchievole voce, che pareo che m'infamasse viziosamente (V. N. § 10)... la donna, la quale io (Amore) ti nominai nel cammino de'sospiri, ricevea da te alcuna noia (V. N. § 12).

²⁴⁾ При написаніи сирвенты Дантъ помѣстилъ Беатриче на 9-мъ мѣстѣ не преднамѣренно, а очевидно, въ силу технической необходимости: ... meravigliosamente addivenne... che in alcuno altro numero non sofferse il nome della mia donna stare, se non in sul nove, tra'nomi di queste donne. Этой случайности Дантъ придалъ значеніе лишь при окончательной редакціи Новой Жизни, когда онъ, стремясь доказать, что Беатриче является „чудомъ, имѣющимъ основаніе въ Святой Троицѣ“, искалъ присутствія числа 9 въ событіяхъ и стихотвореніяхъ, имѣвшихъ отношеніе къ его возлюбленной. Онъ и упомянулъ сирвенту потому, что въ ней проявилось это чудо, и она, слѣдовательно, служить прославленію Беатриче. Характеренъ здѣсь оборотъ итальянскаго текста: *pare che sia lode di lei* (V, 35). Дантъ, очевидно, самъ чувствуетъ натянутость своего объясненія, по сравненію съ первоначальнымъ значеніемъ сирвенты.—О мистическомъ значеніи числа 9 см. § XXX.

тѣмъ, чтобы не подать повода къ догадкамъ, если бы онъ не откликнулся на это событіе. Но искренній тонъ сонета заставляетъ насъ отнестись съ нѣкоторымъ недоувѣріемъ къ этому заявленію, тѣмъ болѣе, что оно находится въ противорѣчій съ отчаяніемъ, которое овладѣло Дантомъ послѣ отъѣзда его защитницы. Этотъ сонетъ приведенъ, по словамъ Данта, потому, что *нѣкоторыя* строки вызваны его любовью къ Беатриче. Но это заявленіе, находясь въ прозаическомъ повѣствованіи, представляетъ позднѣйшую вставку, и къ тому же выдѣлить строки, которыя относятся къ Беатриче, не нарушая единства сонета, оказывается невозможнымъ.

Еъ подобнымъ ухищреніямъ приходится прибѣгать Данту для того, чтобы упомянуть два раза о Беатриче за все время своихъ отношеній къ первой защитницѣ. Очевидно, онъ былъ настолько увлеченъ ею, что любовь къ Беатриче отступила на задній планъ и не вызывала болѣе его поэтической дѣятельности. Съ другой стороны, какъ скоро первая защитница удалась изъ Флоренціи, на страницы Новой Жизни оказываются занесенными два сонета, вызванные, хотя и косвеннымъ образомъ, отношеніями Данта къ Беатриче ²⁵⁾. Послѣ непродолжительнаго эпизода со второй защитницей наступаетъ катастрофа: Беатриче отказываетъ Данту въ своемъ привѣтѣ. Дантъ боится потерять ее навсегда, и вотъ защитница забыта и соответственно съ этимъ въ Новой Жизни снова царитъ одна Беатриче, къ ней одной обращены всѣ помыслы и стихотворенія поэта.

Итакъ, все заставляетъ насъ думать, что за «притворной любовью» къ защитницамъ скрывалось на самомъ дѣлѣ реальное чувство, которое Дантъ не называетъ его настоящимъ именемъ. Что же это за чувство, какъ примирить его съ любовью Данта къ Беатриче и чѣмъ объясняется та видимая неискренность, съ нашей точки зрѣнія, которую мы наблюдаемъ въ разсматриваемомъ эпизодѣ Новой Жизни?

Эпизодъ съ обѣими защитницами представляетъ интересный психологическій феноменъ въ области любви. Дантъ былъ девятилѣтнимъ мальчикомъ, когда столь же юная Беатриче заронила въ его душу первую искру любви. Это было полусознательное дѣтское чувство, перипетіи котораго Дантъ не описываетъ подробно, ограничиваясь лишь замѣчаніемъ, что онъ искалъ, гдѣ только было возможно, встрѣчи съ своей маленькой возлюбленной. Но время идетъ, и вотъ, быть-можетъ, на блестящемъ празднествѣ весны ²⁶⁾, когда вся Флоренція ликуетъ и всюду игры, хороводы,

²⁵⁾ V. N. § VIII. Отождествленіе Беатриче съ Amore въ терцинахъ сонета *Piangete, amanti, poichè piange Amore* является, по моему мнѣнію, болѣе допустимымъ, чѣмъ отнесеніе къ ней второй строфы сонета *O voi, che per la via d'Amor passate* (§ VII). Къ вопросу объ отождествленіи Беатриче съ Amore ср. § XXIV, особенно слова Amore: *Chi volesse sottilmente considerare, quella Beatrice chiamerebbe Amore, per molta somiglianza che ha meco.*

²⁶⁾ Боккаччо (*Vita di Dante*) относитъ свиданіе девятилѣтняго Данта съ Беатриче къ 1-му мая; если это показаніе правильно, то и вторая, знаменательная,

веселіе, когда душа юноши, жаждущая любви, становится еще воспримчивѣе среди всеобщаго радостнаго и приподнятаго настроенія, Данту предстала Беатриче, какъ свѣтлое видѣніе, въ праздничномъ бѣломъ одѣяніи, сіяя красой первой юности. Это уже не прежняя дѣвочка, ея привѣтъ пробуждаетъ въ немъ невѣдомыя дотолѣ чувства: душа его созрѣла для юношеской любви. Беатриче всецѣло овладѣваетъ его чувствами и думами, и Дантъ переживаетъ упоеніе первой сильной, но чистой страсти. Возлюбленная для него—святыня, которую онъ ревниво скрываетъ отъ любопытныхъ взоровъ. Но Беатриче недосягаема для Данта, быть можетъ и потому, что уже тогда она была женой другого человѣка. Эзальтированное чувство идеальной любви, не находя отвѣта, ослабѣваетъ и понемногу въ душѣ Данта находится мѣсто и для другихъ, болѣе земныхъ ощущеній. На ряду съ Беатриче становится дама «весьма привлекательной наружности», которая въ церкви оборачивается, чтобы поглядѣть на юношу, взглядъ котораго она чувствуетъ на себѣ, а ее смѣняетъ другая, отношенія къ которой подають даже поводъ къ возникновенію порочащихъ Данта слуховъ. Передъ нами, очевидно, обрисовываются лишенные идеальнаго подъема заурядныя будничныя отношенія двадцатилѣтняго юноши къ нравящимся ему женщинамъ. Но эта земная любовь не заглушаетъ совершенно высокой идеальной любви къ Беатриче: эта любовь только дремлетъ въ душѣ юноши подъ покровомъ временнаго увлеченія, и достаточно Беатриче отказать Данту въ своемъ привѣтѣ, достаточно одной мысли, что онъ можетъ навсегда потерять ее, для того, чтобы всѣ увлеченія были забыты и старая любовь вспыхнула съ новой силой и загорѣлась, какъ прежде, яркимъ и чистымъ пламенемъ.

Таково психологическое содержаніе эпизода съ защитницами, какъ онъ былъ пережитъ Дантомъ въ дѣйствительности. Но въ Новой Жизни поэтъ изобразилъ его въ иныхъ краскахъ, при чемъ онъ, однако, не искажилъ факты, а лишь преобразилъ ихъ подъ двоякимъ влияніемъ душевнаго перелома, происшедшаго въ немъ по смерти Беатриче, и литературной традиціи Прованса. Событія въ смыслѣ ихъ матеріальной сущности, остались неизмѣненными въ рассказѣ Данта и покрылись только дымкой неопредѣленности, которая облекаетъ все повѣствованіе Новой Жизни.

встрѣча, о которой здѣсь идетъ рѣчь, имѣла мѣсто въ тотъ же день: *poichè furono passati tanti dì, che appunto erano compiuti li nove anni appresso l'appartamento soprascritto di questa gentilissima etc.* (§ III). Повтореніе встрѣчи въ тотъ же самый день, повидимому, указываетъ на то, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ днемъ, ознаменованнымъ чѣмъ-либо особеннымъ въ общей жизни города, когда представлялся болѣе удобный случай для свиданія и сближенія молодыхъ людей. Такимъ днемъ могъ быть во Флоренціи Calendimaggio съ сопровождавшими его празднествами. Эти соображенія заставляютъ меня отнести съ нѣкоторымъ довѣріемъ къ показанію Боккаччо, и я не отклоняю его рѣшительно, какъ чистый вымыселъ новелиста.

По смерти Беатриче, когда все земное, какъ шелуха, отпало отъ чувства, которое Дантъ питалъ къ ней при ея жизни, и когда возлюбленная представлялась ему не иначе, какъ окруженная небеснымъ сіяніемъ, временное увлеченіе обѣими «защитницами» должно было казаться ему ничтожнымъ, недостойнымъ названія любви по сравненію съ его просвѣтленнымъ чувствомъ къ Беатриче. Это было лишь лживое подобіе любви (*simulacrum, simulato amore*)²⁷⁾ по сравненію съ истинной любовью къ Беатриче, которая въ дѣйствительности не переставала теплиться въ его душѣ, а была лишь заслонена временной живой любовью. Такую оцѣнку далъ Дантъ, по смерти Беатриче, своимъ юношескимъ увлеченіямъ, и онъ занесъ повѣствованіе о нихъ на страницы Новой Жизни подъ заимствованнымъ изъ провансальской лирики аллегорическимъ покровомъ, который долженъ былъ выражать эту оцѣнку. Какъ подъ *senhal'*емъ трубадура скрывается другая женщина, а не та, которой онъ, повидимому, приноситъ дань своего поклоненія; такъ и за «защитницами» Данта стоитъ истинная владычица его души, Беатриче, вліяніе которой онъ старается указать даже тамъ, гдѣ на самомъ дѣлѣ его не было. *Simulacrum, simulato amore* въ текстѣ Новой Жизни имѣетъ такимъ образомъ двойное значеніе: это «притворная любовь» трубадура съ точки зрѣнія литературной формы, въ которую Дантъ облекъ весь эпизодъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ это «лживое подобіе любви» съ точки зрѣнія той оцѣнки, которую онъ далъ, по смерти Беатриче, своимъ временнымъ увлеченіямъ обѣими защитницами.

Е. Браунъ.



²⁷⁾ V. N. § XII, 21—22; § IX, 34.



Общій взглядъ на развитіе нѣмецкой философіи права отъ Пуфендорфа до Канта.

Новѣйшія работы по исторіи политическихъ ученій достаточно утвердили то положеніе, что нѣмецкая философія права XVII и XVIII столѣтій имѣла предъ собою продолжительную традицію, которой корни теряются въ глубинѣ среднихъ вѣковъ. Несомнѣнно, однако, что славу и значеніе она прибрѣтаетъ только съ XVII вѣка, когда ученость и дарованіе Пуфендорфа обезпечили ей успѣхъ и распространеніе далеко за тѣсными предѣлами школы. Сколько бы ни пытались теперь воскресить забытыхъ писателей предшествующаго времени, справедливость требуетъ сказать: болѣе прочное значеніе въ развитіи новой философіи права принадлежитъ не имъ, а ихъ преемникамъ, начиная съ Пуфендорфа. Заботливое стремленіе Гирке подчеркнуть заслуги Альтузія лишній разъ доказываетъ, какъ иногда страсть къ антикварнымъ разысканіямъ и впечатлѣвіе сдѣланной находки бывають способны внушить изслѣдователю преувеличенную мысль о значеніи его открытія ¹⁾.

Съ точки зрѣнія позднѣйшаго развитія философіи права, даже и крупныя имена XVII и XVIII столѣтій, — имена Пуфендорфа, Томазія Вольфа, — представляютъ интересъ скорѣе историческій. Конечно, всѣ они

¹⁾ Я нисколько не хочу этимъ замѣчаніемъ умалить крупныхъ достоинствъ книги Гирке, которая далеко не ограничивается однимъ прославленіемъ Альтузія. Прибавлю, что и самъ Гирке, называя сочиненія Пуфендорфа — „unmöglich zu verschweigende Geistesthaten des genialen Samuel Pufendorf“, о предшествующемъ періодѣ отзывается такъ: „In der That haben ja die eigentlich bahnbrechenden Werke unbestreitbar unter anderen Nationen das Tageslicht erblickt“. См. Althusius. S. I. Ср. о предполагаемомъ значеніи Альтузія для Руссо замѣчаніе Эсмена, *Общ. основ. конституц. пр. перев. подъ ред. Дерюжинскаго*. СПб. 1898. Стр. 122. примѣч. 3.

оказали очень сильное влияние на взгляды последующих философов. Все они имели в свое время широкую известность и вносили необыкновенное оживление в науку: они шумели и задавали тон, дѣлая эпоху в научном развитии и возбуждая беспокойство среди ревнителей старой догмы. Но уже в началѣ нашего вѣка самый крупный из названных писателей Вольф казался не болѣе, какъ „сучной памяти“ Вольфомъ, чтобы употребить обозначеніе, данное ему Шеллингомъ. Съ такимъ же правомъ можно отнести это обозначеніе къ Пуфендорфу и Томазію. Подобно Вольфу, и они являются для нашего времени только историческими воспоминаніями, интересующими насъ скорѣе въ качествѣ архивныхъ справокъ или матеріала для исторіи науки. Какъ же объяснить это несоответствіе между ихъ былой славой и последующимъ забвеніемъ?

Объясненіе этой славы и этому забвенію слѣдуетъ искать въ тѣхъ общихъ условіяхъ литературнаго влияния, которыя для однихъ писателей обезпечиваютъ дѣющее значеніе на много вѣковъ и поколѣній, а для другихъ отводятъ болѣе скромное мѣсто въ исторіи, какъ для руководителей своей эпохи. Главное значеніе Пуфендорфа, Томазія и отчасти Вольфа заключалось въ ихъ публицистической пропагандѣ, въ защитѣ свободы мысли и слова, въ борьбѣ съ суевѣріями и грубыми остатками старины ¹⁾. Что касается собственно научной области, то здѣсь все эти писатели производили на современниковъ впечатлѣніе, главнымъ образомъ, той новой методой изслѣдованія, которую они усвоили вслѣдъ за Гроціемъ. Сказать, что все право, какъ и вся наука, должны выводиться изъ разума, было въ то время такой новостью и такой ересью, что это одно способно было возбудить горячіе споры и ожесточенную полемику. Сравнительно съ этимъ, значеніе ихъ положительныхъ идей отступаетъ на второй планъ. Они принадлежали къ тому подготовительному періоду нѣмецкой философіи, когда она вступала еще только на путь самостоятельнаго творчества, отвыкая отъ схоластической рутинѣ и усваивая новые приемы мысли. Если имѣть въ виду философію права, то этотъ отзывъ вполне можно примѣнить и къ Лейбницу, оставившему послѣ себя въ другихъ областяхъ столь оригинальные и глубокіе слѣды. Во многихъ случаяхъ онъ дѣлаетъ даже шагъ назадъ, сравнительно съ Пуфендорфомъ и Томазіемъ.

Писатели этого періода отличаются вообще эклектической неясностью отправныхъ точекъ зрѣнія, недосказанностью своихъ выводовъ, незаконченностью своихъ построеній. Имъ недостаетъ той энергіи рѣзкихъ фор-

¹⁾ Съ этой стороны дѣятельность Томазія и Вольфа очень хорошо изображена у Biedermann, Deutschland im XVIII Jahrhundert. П. Bd. Leipzig 1858.— Лучшее изложеніе юридическихъ и политическихъ теорій этого періода содержится въ цитируемыхъ ниже сочиненіяхъ Чичерина и Hinrichs'a. Подробныя библиографическія указанія см. у Landsberg. Gesch. der Rechtswissenschaft. München und Leipzig 1898. (Noten).

муль и обостренныхъ положеній, которая вырабатывается обыкновенно въ практической борьбѣ. Они занимаютъ примирительныя позиціи, легко мѣняютъ точки зрѣнія, избѣгаютъ крайнихъ выводовъ или же стараются ихъ смягчить оговорками робкой мысли и сѣтью спасительныхъ правилъ для примиренія теоріи съ практикой. Нѣмецкая общественная жизнь этой эпохи, съ отсутствіемъ въ ней бурныхъ конфликтовъ, съ замедленнымъ ходомъ ея прогрессивныхъ силъ, отражалась здѣсь, какъ въ зеркалѣ.

Указанныя свойства выступаютъ особенно ярко, когда мы сопоставляемъ писателей этой эпохи съ ихъ англійскими современниками или съ позднѣйшими нѣмецкими философами. Англійскіе писатели стояли ближе къ практическимъ событіямъ времени, къ той политической борьбѣ, въ которой крѣпла англійская политическая свобода. Вслѣдствіе этого философія права получила здѣсь гораздо болѣе радикальный характеръ; притомъ же она нашла для себя такихъ видныхъ представителей, какъ Гоббсъ и Локкъ, которые сумѣли выразить стремленія своего времени въ смѣлыхъ формулахъ и классическихъ положеніяхъ.— Съ другой стороны, въ качествѣ параллели къ ученіямъ Пуфендорфа, Томазія и Вольфа, невольно приходитъ на память теоретическая глубина ихъ нѣмецкихъ преемниковъ. Въ то время какъ у Канта и Гегеля многое выражено съ такой законченностью и силой, что нѣкоторые взгляды ихъ остаются и до сихъ поръ живыми элементами философской мысли,—системы ихъ предшественниковъ были тотчасъ же забыты, какъ только новыя построенія явились имъ на смѣну.

Такимъ образомъ, главной теоретической заслугой разсматриваемыхъ писателей слѣдуетъ признать утвержденіе рационалистической методы. Въ то время рационализмъ, какъ извѣстно, обозначалъ прежде всего независимость научной мысли отъ церковной опеки. Пуфендорфъ очень удачно выражалъ свою точку зрѣнія, когда онъ говорилъ своимъ противникамъ, что специально христіанской науки не существуетъ: наука одна для всѣхъ народовъ, у ней одинъ источникъ—разумъ и одна метода, одинаково доступная для всѣхъ разумныхъ существъ ¹⁾. И Томазію, и даже Вольфу въ началѣ его дѣятельности приходилось отстаивать эти начала. Но Вольфъ могъ уже видѣть полное торжество рационализма. Его вліяніе стало всемогущимъ. Поле дѣйствія для свѣтской науки было завоевано; она могла съ этихъ поръ развиваться свободно. Это былъ успѣхъ огромной важности.

Но если отъ разсмотрѣнія методы мы обратимся къ изученію добытыхъ результатовъ, то здѣсь мы должны будемъ произнести иное сужде-

¹⁾ См. изложеніе полемики Пуфендорфа съ его противниками у Чичерина, Истор. пол. уч. т. 2. 167 слл. и у Hinrichs Gesch. der Rechts-und Staatsprincipien. Leipzig 1850 П. Bd. S. 242 ff.

не; и для того, чтобы его оправдать, намъ слѣдуетъ коснуться нѣкоторыхъ основныхъ учений этого періода, представляющихъ особенный интересъ для нашей характеристики.

Одной изъ главнѣйшихъ проблемъ для философіи права всегда являлась проблема объ отношеніи личности къ обществу. То или другое рѣшеніе этого вопроса стоитъ обыкновенно въ связи со всей системой взглядовъ писателя; часто отсюда именно лучше всего бываетъ возможно обозрѣть возможные черты политической доктрины. Какъ же ставился и разрѣшался этотъ вопросъ въ теоріяхъ XVII и XVIII столѣтій?

Отвѣтъ на это мы находимъ въ ученіяхъ о естественномъ состояніи и о переходѣ отъ него къ гражданскому быту. Если естественное состояніе и не всегда представляли подъ видомъ совершенной разобщенности, то во всякомъ случаѣ его изображали, какъ состояніе полной свободы, при которомъ люди связаны между собою только сходствомъ ихъ природы, безъ всякихъ слѣдовъ юридическаго подчиненія¹⁾. Отчего же эта свободная жизнь смѣнилась зависимымъ положеніемъ гражданского быта? Здѣсь-то и возникалъ вопросъ о значеніи для человѣка общественной среды и государственнаго порядка. Какъ извѣстно, Гроціи ввелъ въ оборотъ новой философіи права принципъ общенія, *appetitus societatis*; но его нѣмецкіе послѣдователи не умѣли воспользоваться этимъ плодотворнымъ началомъ: они или очень его ослабляли или же, напротивъ, брали его въ такой интензивной формѣ, что этимъ совершенно устранялась самостоятельность личной свободы и юридической области.

Если мы обратимся къ Пуфендорфу, то увидимъ, что для него остается неясной главная сторона принципа общенія—мысль о томъ, что общественная среда есть основа для личной жизни и свободы, необходимое условіе для развитія индивидуальности; общеніе берется скорѣе, какъ внѣшняя граница личной свободы, необходимая для совмѣстной жизни съ другими; это—учрежденіе для общей пользы и безопасности, основанное соглашеніемъ отдѣльныхъ лицъ. Пуфендорфъ полемизируетъ съ тѣми писателями, которые хотятъ вывести гражданскій бытъ изъ общежительной природы человѣка. Слѣдуя Гоббсу, онъ представляетъ человѣка, какъ существо эгоистическое, которое „себя и свою пользу любить болѣе всего другого“. Вступая въ общество, человѣкъ ищетъ здѣсь своихъ выгодъ. Въ состояніи естественной свободы, какъ бы ни было оно пріятно само по себѣ, нѣтъ должной обезпеченности²⁾. Поэтому, общественный договоръ, въ силу котораго основывается общеніе, имѣетъ въ виду, прежде

¹⁾ См. напр., Pufendorf. *De officio hominis et civis*. L. I, c. I, § V. Сочиненіе это появилось впервые въ 1673 году, вслѣдъ за болѣе подробнымъ изложеніемъ тѣхъ же мыслей въ трактатѣ: „*De jure naturae et gentium*“ 1672 года.

²⁾ *De offic. h. et c.*, L. II, c. I, § IX, и c. V, §§ I—VII. Ср. болѣе пространное изложеніе въ трактатѣ: „*De jure nat. et gent.*“ L. VII, c. I.

всего, соображенія общей пользы и безопасности, *salutis ac securitatis rationes*¹⁾).

Въ этихъ утвержденіяхъ мысль Гроція объ общежительныхъ склонностяхъ человѣка, которыя влекутъ его неудержимо, помимо всякихъ другихъ потребностей и выгодъ, къ общенію съ себѣ подобными, совершенно устраняется. Возражая одновременно и Гроцію, и Аристотелю, Пуфендорфъ говоритъ, что политическимъ животнымъ человѣкъ становится только въ государствѣ, когда онъ привыкаетъ подчиняться законамъ и предпочитать общее благо личному; немногіе способны къ этому отъ природы, большинство сдерживается страхомъ наказаній и часто такъ и остается всю жизнь неприспособленнымъ къ обществу²⁾.

На этой же точкѣ зрѣнія стоялъ первоначально и Томазій. Въ своемъ первомъ крупномъ сочиненіи: „*Institutiones Jurisprudentiae Divinae*“ (1687 г.) онъ въ значительной мѣрѣ слѣдовалъ Пуфендорфу и въ ученіи о гражданскомъ состояніи давалъ лишь сокращенный пересказъ основныхъ мыслей своего учителя³⁾. Но подъ вліяніемъ споровъ съ противниками и дальнѣйшихъ размышленій онъ пришелъ къ инымъ взглядамъ: отъ Пуфендорфа и Гоббса онъ склоняется къ Гуго Гроцію и развиваетъ его начала съ нѣкоторой односторонней послѣдовательностью. Исходнымъ пунктомъ является для него мысль о преобладаніи въ человѣкѣ благожелательныхъ чувствъ надъ себялюбіемъ: „что бы ни говорили о себялюбіи въ извѣстныхъ школахъ, всѣ люди, даже самые порочные, въ дѣйствительности любятъ другихъ болѣе, чѣмъ себя“⁴⁾. Любовь къ другимъ и стремленіе къ общенію съ ними ставятся теперь выше всего. Томазій говорить объ этомъ даже съ нѣкоторымъ одушевленіемъ.

Человѣкъ безъ общества другихъ людей не могъ бы быть человѣкомъ. Онъ не могъ бы ни употреблять свой разумъ, ни пользоваться удовольствіями, если бы даже онъ обладалъ цѣлымъ міромъ. И мизантропы не могутъ обходиться безъ другихъ людей. Человѣкъ созданъ существомъ общежительнымъ, и назначеніе его состоитъ въ томъ, чтобы жить въ мирномъ общеніи съ другими⁵⁾. Томазій понимаетъ это мирное общеніе не только, какъ внѣшній порядокъ, а какъ согласіе душъ, какъ любовь, въ которой онъ полагаетъ высшее блаженство человѣка. Понятіе любви имѣетъ у него самый широкій объемъ и обозначаетъ собою всю совокупность не только нравственныхъ, но и общежительныхъ стремленій

¹⁾ De off. h. et c., L. II., c. VI. § VII.

²⁾ Ibid. L. II., c. V, § V: *mali cives et animalia non politica manent.*—Еще яснѣе тѣ же мысли выражены въ соч. „De J. N. et. G.“ L. VII. c. I. §§ 3, 4, 5

³⁾ См. Inst. Jurispr. Div., L. III, c. VI, §§ 1—23.

⁴⁾ Einleitung zur Sittenlehre (1692 г.), Zweites Hauptstück, § 72, а также §§ 81—83.

⁵⁾ Ibid., §§ 75—79.

человѣка. Вотъ почему, ставя любовь центромъ всей личной и общественной жизни, онъ даетъ своему сочиненію о нравственной философіи нѣсколько странное, но характерное заглавіе: «Искусство разумной и добродѣтельной любви, какъ единственное средство достигнуть счастливой, галантной и довольной жизни»¹⁾. Этотъ принципъ любви Томазіи считаетъ руководящимъ началомъ и въ гражданскихъ отношеніяхъ. Государственное общеніе, думаетъ онъ, не можетъ обойтись безъ принужденія; при большомъ количествѣ лицъ, входящихъ въ его составъ, трудно ожидать полного равенства и любви между властвующими и подчиненными. Однако, и здѣсь слѣдуетъ стремиться къ утвержденію любви, ибо въ этомъ именно состоитъ главная сила общественной жизни. Любовь должна проникать, какъ отношенія отдѣльныхъ гражданъ, такъ и цѣлыхъ сословій²⁾. Проводя принципъ любви въ общественныя отношенія, Томазіи, между прочимъ, высказывается и за общеніе имуществъ, какъ за высшій идеаль общезжитія. Онъ посвящаетъ нѣсколько страницъ доказательству того, что такое общеніе не только не будетъ имѣть никакихъ вредныхъ послѣдствій, но скорѣе уничтожить главныя причины раздоровъ между людьми. Однако, онъ не думаетъ, чтобы имущественный коммунизмъ могъ быть осуществленъ немедленно. Сначала необходимо, чтобы среди людей водворилась любовь, и тогда уже общеніе имуществъ установится само собою³⁾.

Эти краткія выдержки изъ Томазіи въ достаточной степени характеризуютъ его основную точку зрѣнія. Въ своеобразныхъ терминахъ и выраженіяхъ онъ подходитъ здѣсь къ разрѣшенію той дилеммы, которая вѣчно повторяется въ исторіи политической мысли: съ чего слѣдуетъ начинать переустройство общественныхъ отношеній, съ людей или съ учреждений. Слѣдуетъ ли дожидаться улучшения человѣческихъ характеровъ и тогда вводить идеальное устройство, или сначала ввести это послѣднее въ надеждѣ, что отъ этого люди сами собою станутъ лучше и совершеннѣе? Томазіи, очевидно, стоитъ за первое рѣшеніе вопроса: надо ждать, чтобы любовь распространилась между людьми. И это оттого, что онъ исходитъ изъ мысли о преобладаніи въ человѣкѣ доброжелательныхъ чувствъ надъ себялюбіемъ. Онъ вѣритъ въ могущественную силу общезжительныхъ свойствъ человѣка, въ его общественную природу. *Appetitus societatis* Гроція является у него въ интензивной формѣ любви, которая полагается и основой, и завершеніемъ всѣхъ человѣческихъ отношеній. Но когда общезжительная теорія приняла эту форму, она, очевидно, должна была устранить всякія политическія и юридическія построенія. Тамъ, гдѣ

1) Von der Kunst vernünftig und tugendhaft zu lieben, als dem einzigen Mittel zu einem glückseligen, galanten und vergnügten Leben: zu gelangen, oder Einleitung zur Sittenlehre.

2) Ibid. Neuntes Hauptstück, §§ 10, 11, 12, 24.

3) Ibid. Sechstes Hauptstück, § 82 ff. Siebentes Hauptst., § 17.

все полагается на этическое развитіе общества, для права и политики нѣтъ мѣста: этика устраняетъ политику, и политическія предписанія замѣняются нравственными завѣтами. Это мы и находимъ у Томазія, который въ сущности сводитъ всю политику къ одной заповѣди любви. вмѣстѣ съ тѣмъ умаляется и значеніе личной свободы: она берется исключительно, какъ средство для проявленія доброжелательныхъ чувствъ ¹⁾.

Таковы были двѣ противоположныхъ точки зрѣнія на общество, между которыми колебалась до-Кантовская философія права. Общеніе разсматривалось то какъ внѣшняя граница личной свободы, удовлетворяющая нѣкоторымъ эгоистическимъ интересамъ лицъ, то какъ всеобъемлющій принципъ, въ которомъ поглощаются все другія начала. Извѣстный выходъ изъ этого разногласія указалъ тотъ же Томазія, который, съ свойственной ему подвижностью мысли, успѣлъ послѣдовательно развить три различныхъ системы. Уже въ началѣ XVIII вѣка, а именно въ 1705 году онъ написалъ сочиненіе подъ заглавіемъ «Fundamenta juris naturae et gentium», въ которомъ онъ удѣлялъ значительное мѣсто индивидуальному началу и личнымъ требованіямъ. Онъ прямо говоритъ здѣсь, что общежителный принципъ не можетъ служить достаточной основой для теоретическихъ выводовъ въ области морали и права ²⁾. Новое начало, которое онъ теперь усвоиваетъ для естественнаго права, носитъ индивидуалистическій характеръ. Оно выражается такъ: «дѣлай все, что имѣетъ послѣдствіемъ долгую и счастливую жизнь, и избѣгай всего, что дѣлаетъ жизнь несчастной и ускоряетъ смерть» ³⁾. Высказывая эти положенія, Томазія не покидаетъ, однако, вполне своихъ прежнихъ взглядовъ: онъ и здѣсь высказываетъ увѣренность, что сѣмена мира и добра, хотя и рѣдкія, находятся во всѣхъ людяхъ, и нѣтъ такого человѣка, котораго нельзя было бы приспособить къ общей пользѣ. Онъ пытается сочетать личныя требованія съ нравственными и общежителными началами ⁴⁾. Но его попытка не была ни удачной, ни плодотворной. На ряду съ нимъ, Лейбницъ, знавшій о его взглядахъ ⁵⁾, продолжалъ защищать чисто-нравственную теорію общества, въ которой личность разсматривается какъ носительница нравственнаго закона и подчиненный органъ цѣлаго; а впоследствии Вольфъ, соединяя ошибки индивидуалистической и нравственной теоріи, училъ, что общество образуется свободнымъ договоромъ людей и для ихъ пользы и вмѣстѣ съ тѣмъ допускалъ принудительное осуществленіе нрав-

¹⁾ Ibid. Zweit. Hauptst. § 112: „Die Freiheit... ist ein blosser Zierrath der Gemüthsruhe, weil ein freier Mensch mehr Gelegenheit hat mit anderen Leuten sich zu verbinden und ihnen gutes zu thun...

²⁾ Fundamenta jur. nat. et. gent. L. I, c. 6, §. 19.

³⁾ Ibid. §. 21.

⁴⁾ Ср. подробное изложеніе Чичерина, Ист. пол. уч. т. 2., стр. 230 сл.

⁵⁾ См. у Hinrichs, Gesch. der Rechts-und Staatsprincipien. III Bd. S. 300.

ственного закона ¹⁾),—такъ, какъ если бы не личность, а общество являлось конечной инстанціей для сужденія о нравственныхъ дѣйствіяхъ и чувствахъ. Вообще, если до-Кантовской философіи права чего-либо не доставало, такъ это—яснаго представленія о нравственной автономіи личности, о самостоятельномъ достоинствѣ и значеніи отдѣльнаго человѣка. Эта мысль только мелькала въ неясныхъ теоретическихъ очертаніяхъ и легко сочеталась съ воззрѣніями совершенно противоположнаго свойства.

Въ связи съ только что разсмотрѣнными противорѣчіями во взглядахъ на общество стояли также разногласія и колебанія по вопросу о существѣ права и его отношеніи къ нравственности. Мы уже видѣли, какъ Томазіи во второмъ крупномъ своемъ сочиненіи «*Einleitung zur Sittenlehre*», исходя изъ одностороннихъ этическихъ началъ, въ сущности отрицалъ самостоятельное значеніе права. Другой взглядъ состоялъ въ томъ, что праву придавалось исключительное значеніе въ дѣлѣ устройства общественныхъ отношеній. Къ этому приводила логически точка зрѣнія, усвоенная Пуфендорфомъ и раздѣлявшаяся Томазіемъ въ началѣ его дѣятельности. Исходнымъ пунктомъ и здѣсь являлся особый взглядъ на человеческую природу и на условія образованія общества. Если люди, существа эгоистическія, соединяются въ общества для безопасности и охраны, то главной выгодой общенія является порядокъ, а главной его скрѣпой служить власть. Право, съ этой точки зрѣнія, представляется продуктомъ тѣхъ споровъ и столкновеній, которые дѣлаютъ для человѣка невыносимымъ естественное состояніе и заставляютъ его бѣжать подъ охрану власти. Отсюда прямой выводъ — право есть предписаніе власти. Таково именно опредѣленіе Пуфендорфа: «законъ есть предписаніе высшаго, обязывающее подчиненныхъ сообразовать съ нимъ свои дѣйствія» ²⁾. Отсюда далѣе и другой выводъ—подчеркнутое значеніе права и правового порядка. Пуфендорфъ старается смягчить тѣ страшныя черты, въ которыхъ рисовалось Гоббсу положеніе людей, живущихъ безъ властей и законовъ. Но все-таки, устраняя образъ всеобщей войны, нарисованный яркимъ перомъ англійскаго философа, онъ долженъ сознаться: если естественное состояніе—не война, а миръ, то миръ очень плохой: — *resam naturalem esse satis debilem et infidam* ³⁾. Когда же онъ переходитъ къ разъясненію выгодъ гражданскаго быта, онъ выражается еще сильнѣе и еще ближе къ Гоббсу: если бы люди не сдерживались законами, они истребили бы друга друга,—*nisi iudicia essent, unus alterum devoraret* ⁴⁾.

¹⁾ Въмѣсто многихъ цитатъ, которыя здѣсь можно было бы привести, сослусь на соответствующія мѣста изъ *Institutiones juris naturae et gent.* §§ 836, 972; § 1017 ff; § 1064 (*de jure circa sacra*).

²⁾ *De offic. hom. et civ.* L. I, c. II, § II и *De J. nat. et. gent.* L. I., c. VI.

³⁾ *De J. nat. et. gent.*, L. II, c. II, § 12.

⁴⁾ *Ibid.* L. VII, c. I. § 7.

Всѣ эти заключенія совершенно логически вытекаютъ изъ принятыхъ Пуфендорфомъ началъ. Однако, онъ не былъ послѣдователенъ. Указывая основу общества въ правѣ и выводя право изъ власти, онъ для самой власти ищетъ правомѣрныхъ оснований. Это не только непослѣдовательность, но и логическій кругъ; право выводится изъ власти, а власть изъ права ¹⁾. Поэтому-то Пуфендорфъ, съ одной стороны, основываетъ обязанность подчиненія на властномъ положеніи законодателя, а съ другой стороны, говоритъ о нравственныхъ соображеніяхъ и требованіяхъ разума, подкрѣпляющихъ законъ еще болѣе, чѣмъ сила власти ²⁾. Такимъ образомъ, право и власть то какъ бы отдѣляются отъ нравственности, то, напротивъ, ставятся съ ней въ прямую связь.

Какъ бы то ни было, но преемники Пуфендорфа обратили особенное вниманіе на ту первую часть его положеній, которая сближала его съ Гоббсомъ. Её они и критиковали. Другіе его выводы представлялись имъ не вполне удачными оговорками, которыя скорѣе обличали, чѣмъ исправляли односторонность его исходныхъ началъ. Такъ смотрѣлъ на Пуфендорфа Лейбницъ, съ большой тонкостью отмѣтившій главные его недостатки ³⁾. Если допустить, замѣчалъ между прочимъ Лейбницъ, что законъ и обязанность вытекаютъ изъ предписанія власти, то придется признать, что никто не исполняетъ своихъ обязанностей добровольно, что безъ властей нѣтъ и обязанностей. Защищая это ученіе, стараются свести всѣ власти къ Богу и представить его высшимъ законодателемъ, отъ котораго исходятъ всѣ законы. Но при этомъ забываютъ то, что замѣтилъ Гроцій: естественная обязанность существовала бы и тогда, если принять, что нѣтъ Бога. На самомъ дѣлѣ, правда проистекаетъ не изъ произвольнаго предписанія Божества, а изъ вѣчныхъ истинъ, присущихъ Божественному разуму. Отсюда объясняется неизмѣнность ея основъ.

Самъ Лейбницъ старался, какъ увидимъ далѣе, подчеркнуть нравственные начала въ правѣ. Оно представляется ему прежде всего, какъ сила моральная: *est autem jus quaedam potentia moralis, et obligatio necessitas moralis*. Правда проистекаетъ изъ любви; она и есть не что иное, какъ любовь мудраго, *caritas sapientis* ⁴⁾.—Это было то самое воззрѣніе, которое развивалъ Томазіи въ своемъ «Искусствѣ разумной и добродѣтельной любви» ⁵⁾. Понятно, что Лейбницъ приходилъ и къ тѣмъ

¹⁾ См. подробно у Чичерина, Ист. пол. учен. т. II, стр. 142.

²⁾ J. N. et. G., L. I, c. IV, § 12.

³⁾ См. Leibnitii, Opera omnia, T. IV, pars. III (editio Dutens): *Monita quaedam ad S. Pufendorfii Principia*, p. 275.

⁴⁾ См. Opera omnia, T. IV, p. III, p. 294. (Предисловіе къ *Codex juris gentium diplomaticus*).

⁵⁾ Ср. выше стр. 48. Томазіи также считаетъ, что справедливость есть часть любви, *ein Theil der Liebe*. См. *Einl. zur Sittenl. Fünft. Hauptst* § 104.

же результатамъ: право у него совершенно подчинялось нравственности, какъ низшее и несовершенное ея проявленіе; главной опорой общественной признается нравственное чувство, сознание высшаго закона, объединяющаго, по представленію Лейбница, земную жизнь съ небесной и человѣка съ Богомъ.

Это былъ опять такі Томазій, которому удалось ближе всего подойти къ различію права и нравственности, усвоенному позднѣйшей философіей права. Мы находимъ эту точку зрѣнія въ его «Fundamenta juris naturae et gentium». Уже своимъ исходнымъ опредѣленіемъ естественнаго состоянія онъ выражалъ здѣсь свой переходъ къ новымъ взглядамъ. По его словамъ, естественное состояніе есть не миръ, не война, а нѣкоторое неопредѣленное положеніе ¹⁾. Эту неопредѣленность или лучше сказать, двойственность онъ находитъ и въ гражданскомъ быту. Его разсужденія по этому поводу довольно своеобразны.

Онъ исходитъ изъ положенія, что люди глупы по своей природѣ и что самыми мудрыми должны считаться тѣ, которые всего болѣе сознаютъ свою глупость. Послѣ длинныхъ разсужденій о мудрости и глупости, онъ столь же пространно толкуетъ о различіи нормъ, при помощи которыхъ мудрые и глупые люди должны управляться. Для мудрыхъ достаточно совѣта, для глупыхъ необходимо повелѣніе. Но такъ какъ всякое общество состоитъ изъ того и другого рода людей, то вездѣ нужны и повелѣніе, и совѣтъ; иначе нельзя будетъ установить общественнаго порядка.—Въ этихъ своеобразныхъ утвержденіяхъ не трудно узнать довольно простую политическую истину, говорящую, что въ обществѣ, въ которомъ нельзя рассчитывать на добровольное подчиненіе всѣхъ установленнымъ законамъ, невозможно обойтись безъ принудительныхъ предписаній власти, и это утвержденіе не представляло бы особаго интереса, если бы, разсуждая въ этомъ направленіи, Томазій не пришелъ къ важному и плодотворному результату, а именно къ разграниченію права и нравственности. Ибо далѣе здѣсь возникалъ вопросъ,—какъ далеко должны идти предписанія власти. Томазій отвѣчалъ на этотъ вопросъ весьма близко къ формуламъ позднѣйшей философіи права.

Еще въ 1697 году онъ написалъ брошюру подъ заглавіемъ: «О правѣ протестантскихъ князей въ богословскихъ спорахъ». Мысль, на которой онъ здѣсь настаиваетъ, состоитъ въ томъ, что обязанность правителей ограничивается охраной внѣшняго міра. Князь не можетъ стремиться къ тому, чтобы сдѣлать подданныхъ добродѣтельными; на это у него нѣтъ средствъ, ибо одной силой здѣсь ничего не сдѣлаешь. Онъ можетъ еще требовать, чтобы богословскіе споры не мѣшали внѣшнему миру, и за-

¹⁾ Fund. J. N. et. G., L. I, c. 3, § 55: Itaque status naturalis... nec status belli est, nec status pacis, sed confusum chaos.

прещать поступки, нарушающіе этотъ миръ; но заботиться о воспитаніи подданныхъ къ будущему блаженству онъ не обязанъ. Религія не терпитъ принужденія и не можетъ подчиняться внѣшней силѣ ¹⁾.

Въ томъ же духѣ высказывался Томазіи и въ своемъ трактатѣ «Fundamenta juris naturae» (1705 г.). Утверждая, что безъ принужденія нельзя обойтись въ гражданскомъ общеніи, онъ, однако, значительно ограничивалъ область примѣненія принудительной власти. Онъ различалъ три разряда правилъ, регулирующихъ поведеніе лицъ: честное опредѣляетъ внутреннія дѣйствія, достойное и правомѣрное—внѣшнія; достойное относится къ проявленіямъ благожелательныхъ чувствъ, правомѣрное—къ дѣйствіямъ, нарушающимъ внѣшній миръ ²⁾. Принудительный элементъ умѣстенъ и допустимъ только въ области правомѣрнаго; не только честное, но и достойное не подлежитъ вынужденію, ибо вынужденное перестаетъ быть достойнымъ. Поэтому сфера обязанностей шире предписаній права; есть обязанности, не подлежащія правовому воздѣйствію, и не изъ всякой обязанности рождается право: *jus ex regulis honesti non oritur*.

Такъ формулировалъ окончательно Томазіи свои воззрѣнія на отношеніе права къ нравственности. Если исходныя положенія его не были достаточно ясны, и если конечныя заключенія его не были вполне оригинальны ³⁾, то во всякомъ случаѣ для нѣмецкой философіи права начала XVIII вѣка это было значительнымъ успѣхомъ мысли. Достаточно упомянуть, что Пуфендорфъ не видѣлъ ничего ненормальнаго въ томъ, чтобы государство внушало гражданамъ образъ мыслей, соответствующій его видамъ и цѣлямъ ⁴⁾. Да и послѣ Томазіи практическое значеніе его формулъ какъ-то не создавалось, хотя въ своихъ опредѣленіяхъ онъ лишь воспроизводилъ основныя требованія протестантизма относительно свободы совѣсти. Требованіе отдѣленія нравственности отъ права означаетъ у Томазіи не что иное, какъ протестъ противъ вторженія власти съ ея принудительными средствами въ область вѣры. Именно у него мы съ осо-

¹⁾ Къ сожалѣнію, я не могъ достать своевременно этой брошюры Томазіи и пользовался здѣсь изложеніемъ Чичерина, Ист. пол. уч. Т. II, стр. 247—248.

²⁾ Fund. J. N. et G. L. I, c. IV. § 90: *Honestum dirigit actiones insipientium internas, decorum externas, ut aliorum benevolentiam acquirant, justum externas, ne pacem turbent, et turbatam restituent*. См. также *ibid.* c. V.

³⁾ Какъ указываетъ Landsberg, вообще подчеркивающій самостоятельность Томазіи (см. S. 108); формулировку различія права и нравственности онъ заимствовалъ у Velthuysen, сочиненіе котораго *de principiis justitiae et decori* вышло въ Амстердамѣ въ 1651 г. Velthuysen считается сторонникомъ Гоббса.

⁴⁾ См. характерное мѣсто въ сочиненіи „De off. hom. et civ. L. II, c. VII. § VIII: „paucissimi proprio ingenio vera et honesta dispicere queant: inde civitati expedit, ut publice eiusmodi doctrinis personet, quae cum recto fine et usu civitatum congruunt, simulque animi civium a puero istis imbuantur“. Cp. L. II, c. XVIII, § IX.

бенной ясностью можемъ видѣть глубокий практическій корень этого вопроса. Если близкіе къ Томазію по времени писатели, какъ Лейбницъ и Вольфъ, совершенно этого не замѣтили, то это объясняется ихъ односторонней нравственной точкой зрѣнія.

Любопытно, что Лейбницъ въ своихъ замѣчаніяхъ по поводу опредѣленій Томазія указываетъ ихъ недостатокъ какъ разъ въ томъ, что составляетъ ихъ достоинство. Такъ, онъ видитъ ошибку Томазія въ ограниченія принципа естественнаго права одной земной жизнью; а съ другой стороны упрекаетъ его за отсутствіе разъясненій относительно тѣхъ положительныхъ дѣйствій, къ которымъ люди должны быть принуждаемы¹⁾. Съ точки зрѣнія Лейбница, кромѣ строгаго права, предписывающаго воздержаніе отъ зла (*neminem laedere*), слѣдуетъ различать еще справедливость или правду распредѣляющую. Сюда онъ и относитъ тѣ положительные дѣйствія (*sum cuique tribue*), опредѣленія которыхъ онъ не находитъ у Томазія. Кругъ этихъ дѣйствій у него самого обозначался, однако, столь неопредѣленно, что сюда легко можно было подвести какъ юридическія дѣйствія, такъ и нравственныя²⁾. И когда онъ опредѣлялъ задачу государственныхъ законовъ, какъ обезпеченіе счастья подданныхъ, то отсюда, при отсутствіи должныхъ разграниченій, былъ только одинъ шагъ къ формуламъ принудительной нравственности, которыя послѣ него были установлены Вольфомъ.

Если бы мы захотѣли продолжить анализъ идей Лейбница, то мы должны были бы сказать, что его отличіе отъ Томазія имѣло свои глубокіе мотивы. Теоретически его взгляды вытекали изъ свойственнаго ему представленія о всепроникающей гармоніи и неразрывной связи всего существующаго. Практически его точка зрѣнія была прямымъ отзвукомъ средневѣковыхъ традицій. Вотъ почему онъ не только обближаетъ, но и смѣшиваетъ области права и морали. Мы уже видѣли, что правду онъ опредѣляетъ, какъ любовь мудраго. Нельзя не сказать, что ставить подобный принципъ во главѣ юридическихъ предписаній значить съ самаго начала вносить извѣстную путаницу понятій. И дѣйствительно, Лейбницъ выводитъ изъ этого принципа такія юридическія обязанности, которыя не имѣютъ съ правомъ ничего общаго, какъ, на примѣръ, обязанность приносить пользу всѣмъ и жить, сообразуясь съ требованіями высшаго мірового порядка и божественнаго закона. Сліяніе права съ областью нравственно-религіозной здѣсь очевидно. Согласно съ этимъ нравственнымъ духомъ своей философіи права, Лейбницъ мечтаетъ о томъ, чтобы весь христіанскій міръ составилъ какъ бы одну общину подъ управленіемъ Бога. Всѣ

¹⁾ Ср. подробное изложеніе у Hinrichs, *Gesch. der Rechts—und Staatsprincipien* Bd. III, SS. 300—301.

²⁾ См. *De suo codice juris gentium diplomatico monitum*, p. 295—296.

государства онъ хотѣлъ бы слить въ одну организацію, которую всего скорѣе слѣдуетъ назвать церковью, судя по тому, какъ онъ ее себѣ представляетъ. Этотъ взглядъ Лейбница, очевидно, цѣликомъ заимствованъ изъ среднихъ вѣковъ. Это обнаруживается, между прочимъ, и въ томъ, что ближайшее примѣненіе своему идеалу онъ хотѣлъ найти въ Германской Имперіи, которая и въ его время продолжала еще сохранять преданія универсальной монархіи. Лейбницъ совершенно усваиваетъ точку зрѣнія средневѣковаго католицизма, когда онъ говоритъ, что христіанскіе князья подчиняютъ церкви не только свою совѣсть, но и свои престолы. Въ полномъ согласіи съ этими началами, онъ утверждаетъ, что все христіанство составляетъ какъ бы одно государство, во главѣ котораго стоятъ два верховныхъ вождя, первосвященникъ и императоръ; что высшая власть надъ всѣми принадлежитъ церкви и ея епископамъ; что императоръ является защитникомъ церкви или ея свѣтской рукою, какъ прирожденный вождь христіанъ противъ невѣрныхъ ¹⁾.

Читая всѣ эти утвержденія, можно подумать, что мы имѣемъ предъ собою не протестантскаго философа конца XVII и начала XVIII вѣка, а кого-либо изъ прежнихъ католическихъ писателей. Понятно, почему Лейбницъ не могъ ни оцѣнить Томазія, ни согласиться съ нимъ. У Томазія было живое чутіе современности, и въ своихъ построеніяхъ онъ являлся человѣкомъ новаго времени, между тѣмъ какъ мечты Лейбница принадлежали средневѣковой старинѣ. Мы ясно видимъ это на ихъ различномъ отношеніи къ вопросу о существѣ права и его связи съ нравственностью.

Преемникъ Лейбница Вольфъ нисколько не исправилъ его односторонностей; напротивъ, онъ лишилъ ихъ того поэтическаго колорита, который былъ не чуждъ теократическимъ мечтаніямъ Лейбница. Отъ индивидуалистическихъ началъ, которыя были развиты Томазіемъ, онъ былъ еще далѣе, чѣмъ Лейбницъ, и различіе права отъ нравственности было для него неизвѣстной проблемой. Лейбницъ все-таки говорилъ, полемизируя съ Гоббсомъ, что люди развѣ тогда отрекутся отъ собственной воли и перестанутъ по собственному усмотрѣнію заботиться о своемъ благѣ, когда они убѣдятся въ высшей мудрости и силѣ своихъ правителей ²⁾. Вольфъ какъ разъ въ этомъ отношеніи забывалъ мудрыя ограниченія своего учителя. Вотъ почему въ исторіи политической мысли онъ остался намятенъ, преимущественно, какъ теоретикъ полицейскаго государства, подчинявшій всю жизнь гражданъ правительственному контролю. Основой для его теоріи послужило свойственное ему смѣшеніе нравственныхъ цѣлей человѣческой жизни съ политическими задачами государственной дѣя-

¹⁾ См. трактатъ Лейбница, написанный имъ подъ псевдонимомъ Caesarini Fürstenerii *Tractatus de jure suprematus ac legationum principum Germaniae*. См. предисловіе (ad lectorem) и с. XXXII по изданію Dutens, p. 329. (Т. IV).

²⁾ Ibid. с. X, p. 316.

тельности. Человѣческое совершенство является, по мнѣнію Вольфа, цѣлью личной морали; оно же представляетъ и руководящій принципъ политики. Государство должно стремиться къ тому, чтобы сдѣлать подданныхъ добродѣтельными и этимъ путемъ обезпечить ихъ счастье. Исходя отсюда, Вольфъ не оставляетъ ни одной области частныхъ отношеній неприкосновенной; повсюду вводится государственный надзоръ и правительственная опека. Брачныя и семейныя отношенія, распоряженіе частнымъ имуществомъ, нравственное воспитаніе и умственное развитіе,—все это подчиняется контролю власти и ея верховному руководству. Смѣшеніе права и нравственности идетъ здѣсь рука объ руку съ подавленіемъ личнаго начала.

А между тѣмъ Вольфъ брался говорить о прирожденныхъ правахъ и естественной свободѣ. Результаты, къ которымъ онъ приходитъ, прямо противорѣчили этимъ началамъ. Прибавимъ здѣсь, что эти начала также отдаляли его отъ нѣмецкой дѣйствительности, какъ тѣ результаты съ ней сближали. Въ то время, какъ онъ писалъ, идеаль полицейскаго государства былъ не только теоретическимъ пожеланіемъ, но и жизненной практикой. Просвѣщенный абсолютизмъ осуществлялъ этотъ идеаль въ дѣйствительности и проводилъ въ жизнь ту политику, которую впослѣдствіи упрекали за ея стремленіе слишкомъ много управлять, т.-е. всюду вмѣшиваться, не давая ни малѣйшаго простора частной и общественной инициативѣ. Такъ осуществлялась идея нравственнаго воспитанія гражданъ. Мысль о томъ, что государство имѣетъ воспитательное значеніе для личности, есть очень старая мысль. Платонъ и Аристотель, каждый по своему, выразили ее въ своихъ сочиненіяхъ, какъ обычное представленіе греческаго міра. Въ нѣмецкой философіи мы находимъ ее у Гегеля и у многихъ другихъ сторонниковъ органическаго воззрѣнія на общество. Но тогда, какъ прежде и позднѣе говорили объ органическомъ значеніи государственнаго союза, Вольфъ додумался только до полицейскаго значенія государства.

Говоря о Вольфѣ, мы коснулись и еще одного важнаго противорѣчія, которое часто встрѣчается въ нѣмецкой философіи права этого періода,—я имѣю въ виду противорѣчіе между ученіемъ о прирожденныхъ правахъ челоуѣка и ихъ дѣйствительномъ осуществленіи. На заглавномъ листѣ первой части сочиненія Вольфа о «Естественномъ правѣ» значится: «*pars prima, in qua obligationes et jura connata ex ipsa hominis essentia atque natura a priori demonstrantur*». Заглавіе смѣлое и радикальное; въ немъ одномъ цѣлая революція понятій и основъ. Это языкъ той эпохи, которая отрекалась отъ старыхъ «приобрѣтенныхъ» правъ, чтобы обновить жизнь провозглашеніемъ правъ прирожденныхъ. Этимъ языкомъ говорили теоретики англійской и французской революціи, и среди нихъ странно встрѣтить Христіана Вольфа. Но еще болѣе странно видѣть, какъ это

ученіе о прирожденныхъ правахъ сочетается у него съ проповѣдью властной опеки надъ личностью. Прирожденные права, общее равенство, безусловная свобода играютъ тутъ, очевидно, роль теоретическихъ отвлеченностей, математическихъ формулъ, для которыхъ все равно, находятъ ли онѣ гдѣ-либо примѣненіе или нѣтъ. Эти противорѣчія связываются съ болѣе общей антитезой положительнаго и естественнаго права, и намъ слѣдуетъ теперь остановиться на этомъ важномъ пунктѣ, чтобы опредѣлить отношеніе къ нему разсматриваемыхъ писателей.

Противопоставленіе естественнаго и положительнаго права, какъ извѣстно, имѣло огромное значеніе для философіи этой эпохи: оно являлось той основой, на которой созидались системы философіи права. Въ опредѣленіяхъ естественнаго права обыкновенно находили для себя мѣсто идеальныя стремленія и прогрессивныя начала, которые не получили доступа въ положительное право и существующій строй. Иногда заявленія о естественной справедливости свидѣтельствуютъ о готовящихся конфликтахъ государственной жизни, о тѣхъ потрясеніяхъ, чрезъ которыя она должна пройти, прежде чѣмъ проникнуться новыми началами. Соотвѣственно степени обостренія этихъ практическихъ конфликтовъ, возрастаютъ пафосъ и краснорѣчіе теоретическихъ построеній, переходящихъ порою въ пропаганду революціонныхъ идей. У нѣмецкихъ философовъ мы этого не находимъ:—смѣлыя заявленія, грозныя антитезы остаются всецѣло на высотахъ абстрактной мысли, не спускаясь за черту дѣйствительности. Историческій моментъ былъ таковъ, что всякое радикальное требованіе могло явиться здѣсь только мечтой или абстракціей. Теоретически этотъ абстрактный характеръ естественнаго права выражался въ томъ, что изъ него не выводили всѣхъ логическихъ послѣдствій или же значительно ихъ ослабляли примѣсю положительныхъ началъ и примирительныхъ тенденцій. При этомъ далеко не всегда оказывалось яснымъ отношеніе естественнаго права къ положительному; большей частью мы встрѣчаемъ здѣсь полную путаницу понятій.

Быть можетъ, всего опредѣленнѣе, по крайней мѣрѣ относительно положительнаго права, высказывался Пуфендорфъ. Онъ болѣе другихъ находился подъ вліяніемъ Гоббса, и понятно, если эта именно сторона была выражена имъ съ особой ясностью. Понятіе субъективнаго права и личныхъ требованій не получило у него должнаго развитія, но зато тѣмъ опредѣленнѣе выступаютъ начала порядка и закона. У Пуфендорфа, какъ и у Гоббса, подчеркнутое значеніе этихъ началъ сочетается съ представленіемъ объ эгоистической природѣ чловѣка: чѣмъ менѣе находятъ въ чловѣкѣ доброжелательныхъ и общежительныхъ задатковъ, тѣмъ болѣе ищутъ опоръ для общества въ твердыхъ устояхъ власти и закона. По этому-то Пуфендорфъ сохраняетъ для положительнаго права всю его силу

и, сравнивая его съ естественнымъ, нисколько не дѣлаетъ изъ этого сравненія рѣзкаго противопоставленія.

Положительное право это тѣ законы, которые устанавливаются властью для нуждъ даннаго общества. Имѣя въ виду спеціальныя условія извѣстнаго союза, эти законы могутъ измѣняться съ теченіемъ времени. Всякій человѣческій законъ есть положительный и поэтому измѣнчивый. Въ отличіе отъ этого, естественный законъ отличается своимъ постоянствомъ, ибо онъ представляетъ собою совокупность началъ, неотдѣлимыхъ отъ человѣческой природы. Эти начала до такой степени связаны съ разумнымъ и общежительнымъ существомъ человѣка, что безъ нихъ невозможно никакое «мирное и честное общеніе» ¹⁾). Говоря иначе, это тѣ заложенные въ человѣка нравственные задатки, которые Пуфендорфъ долженъ допустить, какъ основу всякаго общежитія, хотя онъ и выводитъ положительный порядокъ изъ воли законодателя. Согласно старой традиціи, Пуфендорфъ признаетъ въ естественномъ законѣ границу для дѣйствія власти: подданные обязаны ей повиноваться до тѣхъ поръ, пока она не впадетъ въ явное противорѣчіе съ божественнымъ закономъ ²⁾). Однако, эта традиціонная оговорка не имѣетъ существеннаго значенія для его построеній, въ которыхъ гораздо болѣе подчеркивается твердость государственнаго порядка и необходимость подчиненія закону и власти ³⁾).

Это основное требованіе Пуфендорфа мы можемъ обнаружить и еще въ одномъ важномъ пунктѣ, въ ученіи о происхожденіи естественнаго закона. Тѣ, которые хотѣли противопоставить естественное право положительному порядку и предписаніямъ власти, старались обыкновенно возвысить авторитетъ естественнаго закона и для этого указывали на его вѣчную и неизмѣнную природу. Такъ, Гроціи, а впослѣдствіи Лейбницъ говорили, что естественное право вѣчно, какъ истины математики; даже воля Бога не можетъ его измѣнить. Это соответствовало стремленію закрѣпить значеніе естественнаго права, какъ нормы безусловной и непоколебимой. Пуфендорфъ, разбирая это воззрѣніе, высказывается противъ него. Считаая всякій законъ истеченіемъ высшей воли, онъ и естественный законъ выводитъ изъ воли Божества. Конечно, уже одна общеобязательность этого закона заставляетъ предполагать у него болѣе прочную

¹⁾ De J. N. et G. L. I. c. VI, § 18.

²⁾ De offic. hom. et civ. L. II, c. XII § VIII. Cp. De J. N. et G. L. VII. c. VIII, § 1 squ.

³⁾ См. De J. N. et G. L. VII, c. VIII; de off. hom. et civ. L. II, c. XVIII. Достаточно привести слѣдующее мѣсто изъ послѣдняго сочиненія (I. c. § III): *Rectoribus civitatis sive debet reverentiam, fidelitatem et obsequium. Cui conjunctum est, ut idem praesenti statu acquiescat; neque ad res novandas animum adiciat neque alteri cuivis adhaereat magis eundemve admiretur et veneretur; utque bene et honorifice de iisdem et eorum actionibus sentiat atque loquatur.*

основу: ни соображенія пользы, ни соглашеніе людей не представляютъ изъ себя такой основы. Остается заключить объ его установленіи волею Божества ¹⁾). Но только въ этомъ смыслѣ и можно говорить о вѣчности естественнаго права: она не простирается далѣе Божественнаго установленія, которое, въ зависимости отъ воли Божіей, могло бы быть и инымъ. Допускать еще какую-то особую и самостоятельную вѣчность естественнаго закона невозможно ²⁾).

Этотъ взглядъ, если онъ и допускалъ въ извѣстномъ смыслѣ постоянство естественнаго права, во всякомъ случаѣ свидѣтельствовалъ о томъ, что писатель не былъ склоненъ подчеркивать его значеніе. Надъ естественнымъ закономъ, какъ и надъ положительнымъ, онъ ставилъ одинаково Божественную волю. Такимъ образомъ оба эти закона разсматривались, какъ двѣ параллельныхъ ступени законодательства, изъ которыхъ первая отличается лишь сравнительной неизмѣнностью и въ своемъ существѣ не имѣетъ ничего безусловнаго.

Именно такое умаленіе естественнаго права, въ его внутреннемъ значеніи, находятъ у Пуфендорфа Лейбницъ. По его мнѣнію, выводить естественное право изъ воли, хотя бы и высшей, значить провозглашать принципъ: *stat pro ratione voluntas*; а это—принципъ тираническій, *c'est proprement la devise d'un tyran*. Это значить отрицать высшія и неизмѣнныя основы естественнаго права и приписывать Божеству способность дѣйствовать вопреки справедливости. Въ дѣйствительности такихъ основъ слѣдуетъ искать не въ волѣ, а въ разумѣ Бога: правда есть существенный атрибутъ Божественнаго разума. Вотъ въ какомъ смыслѣ Лейбницъ говоритъ о вѣчности естественнаго права, которое господствуетъ среди людей съ безусловной необходимостью и простираетъ свою силу даже за предѣлы земной жизни. Начала естественной справедливости, вытекающая изъ неизмѣнной природы вещей и изъ истинъ Божественнаго разума, такъ же неизмѣнны, какъ правила пропорцій и уравненій, какъ принципы ариметики и геометріи ³⁾).

Возвышая авторитетъ естественнаго права, это ученіе сообщаетъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ силу непререкаемаго міроваго закона. Но съ точки зрѣнія позднѣйшей философіи, противъ Лейбница можно было бы возразить, что онъ недостаточно подчеркиваетъ нормативный характеръ естественной справедливости. Въ какомъ смыслѣ понимаетъ онъ вѣчное значеніе нравственныхъ принциповъ? Есть ли это общераспространенный фактъ или общеобязательная норма? Какъ говорилъ впоследствии Кантъ,

¹⁾ De J. N. et G. L. II, c. III, § 20.

²⁾ *ibid.* L. I, c. II, § 6.

³⁾ См. особенно „*Monita quaedam ad S. Pufendorffii principia*“, Dutens, T. IV, p. III, p. 279—280, и у Mollat, *Rechtsphilosophisches aus Leibnizens ungedruckten Schriften*. Leipzig 1885. S. 56.

принципы нравственности могут и нарушаться; это только императивы, обращенные къ нашей свободѣ, а не законы, безусловно господствующіе въ природѣ. У Лейбница это не выясняется съ должной опредѣленностью, и отъ этого можно подумать, что онъ считаетъ свое естественное право безусловно-осуществляющимся закономъ жизни. Однако, въ его философіи есть элементы и для нормативнаго пониманія естественнаго закона. Прежде всего, онъ относитъ сюда только высшіе принципы права: это лишь основанія правовой системы, а не вся эта система во всей полнотѣ ея жизненныхъ опредѣленій. Съ другой стороны, изъ основъ Лейбницевой философіи вытекало и представленіе о постепенномъ уясненіи людьми истинъ Божественной справедливости; будучи неизмѣнными по своей природѣ, эти истины не сразу понимаются всѣми въ своей подлинной сущности. Отсюда былъ прямой шагъ къ историческому созерцанію, и нѣтъ ничего удивительнаго, если Лейбницъ, на ряду съ неизмѣннымъ естественнымъ правомъ, допускалъ измѣнчивое положительное, которое выражается въ обычаяхъ и законахъ людей¹⁾. Согласно терминологіи своего времени, онъ называетъ это право характернымъ именемъ *jus voluntarium*, а также *j. positivum* и *j. legitimum*. По его воззрѣнію, между естественнымъ и положительнымъ правомъ должна существовать живая связь, и онъ опредѣлялъ даже однажды задачу положительной юриспруденціи, какъ сопоставленіе дѣйствительныхъ законовъ съ идеальными²⁾.

Какъ мы видѣли, у Лейбница и Пуфендорфа рѣчь идетъ преимущественно объ основаніяхъ естественнаго права, объ его значеніи, какъ объективнаго закона жизни. Другая сторона, субъективная, оставалась въ тѣни. Но и для нѣмецкой философіи права долженъ былъ возникнуть вопросъ объ отношеніи естественнаго закона къ субъективнымъ притязаніямъ, къ требованіямъ личности. Въ качествѣ идеала, создаваемого въ виду несовершенствъ существующаго порядка, естественное право могло служить для самыхъ различныхъ стремленій; но въ новое время, начиная съ Гроція, въ предѣлахъ естественно-правовой школы съ особенной силой развивается индивидуалистическая тенденція, которая не могла остано-

¹⁾ См. у Dutens, t. IV, p. III, p. 297. (De suo codice juris gentium diplomatico monitum): „praeter aeterna naturae rationalis jura ex divino fonte fluentia jus etiam voluntarium habetur, receptum moribus, vel a superiore constitutum. Et in Republica quidem jus civile ab eo vim accepit, qui summam potestatem habet; extra Rempublicam vel inter eos, qui summae potestatis participes sunt... locus est juri Gentium voluntario, tacito populorum consensu recepto. Neque vero necesse est. ut sit omnium gentium, vel omnium temporum; quum in multis arbitrer aliud Indis, aliud Europaeis placere, et apud nos ipsos saeculorum decursu mutari, quod vel hoc ipsum opus indicare potest.

²⁾ См. объ этомъ подробнѣе, равно какъ и вообще объ отношеніи Лейбница къ идеѣ естественнаго права у G. Hartmann, Leibniz, als Jurist und Rechtsphilosoph. Tübingen 1892; особенно SS. 66—68. 75—76, 88—89, 96—97.

ся безъ вліянія и на нѣмецкихъ писателей. И дѣйствительно, мы видимъ, какъ Томазіи подъ вліяніемъ Локка, а Вольфъ подъ вліяніемъ Томазіи усваиваютъ себѣ эту тенденцію и въ своихъ позднѣйшихъ сочиненіяхъ одинаково дѣлаютъ попытку развить ту сторону естественнаго права, которая оставалась ими ранѣе безъ должнаго вниманія. Это очень ясно формулируется у Вольфа: *si officia hominis fuerint demonstrata, nondum patent eius iura* ¹⁾. И онъ ставитъ своей цѣлью, кромѣ обязанностей, выяснитъ еще права,—прирожденные человѣческія права, вытекающія а priori изъ сущности и природы человѣка. Къ нему мы теперь и обратимся, такъ какъ попытка Томазіи представляетъ въ этомъ отношеніи значительно меньшей интересъ. Она болѣе любопытна по стремленію разграничить право и нравственность, и съ этой стороны мы уже разсмотрѣли ее выше.

Исходнымъ пунктомъ для Вольфа, и при выведеніи субъективныхъ правъ, является понятіе обязанности. Это была отличительная черта нѣмецкихъ философовъ разсматриваемой эпохи, что даже и въ своихъ индивидуалистическихъ построеніяхъ они отпращивались отъ понятій обязанности и закона. Однако, эти начала нисколько не помѣшали Вольфу установить самый широкій объемъ прирожденныхъ правъ. Нѣтъ права безъ соотвѣтствующей ему обязанности; но зато должны существовать прирожденные права, потому что существуютъ прирожденные обязанности. Они равны для всѣхъ людей, прибавляетъ Вольфъ, такъ какъ они вытекаютъ изъ человѣческой природы, которая у всѣхъ одна и та же. Отъ природы всѣ люди равны: что позволено одному, то позволено и другому, къ чему обязанъ одинъ, къ тому обязанъ и другой. Точно такъ же всѣ люди свободны по природѣ, какъ они по природѣ равны: ни одинъ человѣкъ не можетъ имѣть власти надъ дѣйствіями другого. Наконецъ, въ силу тѣхъ же началъ, слѣдуетъ признать, что всѣ люди имѣютъ отъ природы равное право на вещи и что первоначальнымъ отношеніемъ къ имуществу является общеніе *communio primaeva* ²⁾. Полное равенство, безусловная свобода, имущественное общеніе—вѣдь это лозунги всѣхъ революціонныхъ ученій; индивидуалистическія начала высказываются здѣсь со всей силой ихъ радикальнаго выраженія. Но мы уже знаемъ, что у Вольфа выводятся отсюда самыя мирныя послѣдствія.

Для тѣхъ, кто говорилъ о прирожденныхъ правахъ, возможно было затѣмъ два заключенія: или требовать ихъ безусловнаго осуществленія въ гражданскомъ быту, или же допустить необходимость ихъ ограниченія, въ видахъ практическихъ условій общежитія. Это послѣднее допущеніе

¹⁾ *Jus naturae, pars I, § 58.*

²⁾ См. сокращенное изложеніе взглядовъ Вольфа, вышедшее въ 1750 году подъ заглавіемъ: *Institutiones juris nat. et gentium. Pars I, c. III и c. V.*

давало возможность примирять радикализм естественнаго права съ любымъ положительнымъ порядкомъ, и на эту именно точку зрѣнія становится Вольфъ. Такъ, онъ утверждаетъ, что имущественное общеніе осуществимо лишь при совершенствѣ всѣхъ людей, а такъ какъ этого нѣтъ, то приходится предпочесть частную собственность и свободное распоряженіе ею ¹⁾. Точно такъ же должны быть ограничены и прирожденные людямъ равенство и свобода. Каждый человекъ можетъ ограничить свою свободу и даже продать себя въ рабство ²⁾. Отсюда проистекаетъ власть однихъ лицъ надъ другими въ хозяйственныхъ отношеніяхъ. Такая же власть и соответствующее ей подчиненіе устанавливаются въ государственномъ союзѣ, гдѣ народъ, въ силу присущей ему естественной свободы, можетъ избрать любую форму правленія, хотя бы даже патримониальную или феодальную ³⁾. Вольфъ высказываетъ, между прочимъ, положеніе, что законы гражданскіе не должны противорѣчить естественнымъ ⁴⁾; но что же, спрашивается, остается отъ строгихъ началъ естественнаго права, если философская дедукція въ концѣ концовъ узаконяетъ и феодальный строй. Впослѣдствіи часто упрекали естественно-правовую школу, что она устанавливала идеаль единаго права для всѣхъ временъ и народовъ. Съ гораздо большимъ основаніемъ можно было бы упрекать— по крайней мѣрѣ, ея нѣмецкихъ представителей, — въ томъ, что они слишкомъ легко отступали отъ собственныхъ началъ, чтобы признать правомѣрнымъ любой историческій порядокъ. Подобное признаніе входило обыкновенно неотъемлемымъ звеномъ въ цѣпь ихъ дедукцій и казалось имъ тѣмъ менѣе логическимъ отступленіемъ, что они видѣли въ этомъ одно изъ слѣдствій естественной свободы: народъ можетъ установить у себя любую форму, въ силу принадлежащаго ему права распоряжаться своей судьбой.

Этотъ выводъ, какъ ни слабо доказываетъ онъ то, что хочетъ доказать, является, однако, результатомъ одного очень серьезнаго теоретическаго затрудненія, съ которымъ приходилось считаться не только нѣмецкимъ писателямъ. То направленіе естественно-правовой школы, которое становилось на индивидуалистическую почву, имѣло своимъ высшимъ критеріемъ личную свободу. Отсюда выводились начала права и государства. Но гдѣ искать границъ и цѣлей этой свободы, это для многихъ оставалось совершенно неопредѣленнымъ. Свобода можетъ проявляться одинаково въ самоограниченіи, какъ и въ самоутверженіи. Какъ мы видѣли, Вольфъ выводилъ изъ свободы рабство и имѣлъ къ этому извѣстное

¹⁾ Inst. J. N. et G. §§ 194—195.

²⁾ Ibid. § 948 (de servitute veluntaria).

³⁾ Ibid. § 972 sq. и §§ 986—987.

⁴⁾ Ibid. § 1069.

основаніе, такъ какъ отправлялся отъ начала безусловнаго самоопредѣленія. Но такимъ образомъ подрывалась самая основа естественнаго права, какъ принципа, стоящаго надъ произволомъ лицъ и служащаго твердой опорой для сужденій о должномъ. Если изъ свободы можно выводить все, что угодно, и даже самое рабство, тогда всѣ нравственныя различія теряются, и узаконяется безпринципность фактическихъ отношеній. Поэтому-то истинные представители естественнаго права всегда стремились найти начала, которыя могли бы опредѣлить правильное употребленіе свободы, согласное съ ея собственнымъ существомъ, и внести въ понятіе естественнаго права извѣстный объективный элементъ. На помощь индивидуалистическому направленію здѣсь должна была прійти объективная школа, которая развивала идею неизмѣнныхъ принциповъ естественнаго права, предопредѣленныхъ законами разума. Примѣръ этого воззрѣнія мы видѣли у Лейбница. Впослѣдствіи Кантъ дѣлаетъ попытку связать субъективную тенденцію съ объективной и такимъ образомъ разрѣшить одну изъ труднѣйшихъ проблемъ философіи права. Что касается Вольфа, то у него индивидуалистическое начало является какъ будто бы только для того, чтобы тѣмъ прочнѣе быть отвергнутымъ. Всѣ затрудненія разрѣшаются идилліей полицейскаго государства. Такъ исполняется пожеланіе, выраженное имъ въ предисловіи относительно прекраснѣйшаго согласія положительнаго права съ естественнымъ: «*inter jurisprudentiam naturalem et civilem pulcherrimus nascitur consentus, ita ut omnium una sit concordia, una consonantia*» ¹⁾).

Позднѣе очень много нападали на это направленіе, но далеко не всегда ясно представляли его недостатки. Для того, чтобы ихъ понять, надо обратиться къ Вольфу и въ особенности къ его ученикамъ ¹⁾. Въ каждой школѣ являются обыкновенно свои эпигоны и вульгаризаторы, которые снимаютъ съ первоначальныхъ положеній своего родоначальника печать свѣжести и оригинальной новизны, и повторяя ихъ безпрестанно въ качествѣ готовыхъ отвѣтовъ на всѣ сомнѣнія, придаютъ имъ характеръ докучливыхъ шаблоновъ и банальныхъ формулъ, которые парализуютъ дальнѣйшее движеніе мысли. Такую судьбу испытывали и болѣе крупныя направленія. Тѣмъ болѣе это понятно въ отношеніи къ Вольфианской школѣ и въ такой неподвижной средѣ, какой являлось нѣмецкое общество въ XVIII вѣкѣ. Естественное право выродилось здѣсь въ систему раціоналистическаго обоснованія и построенія права положительнаго. Старое преклоненіе предъ римскимъ правомъ, какъ предъ писаннымъ разумомъ, заставляетъ многихъ юристовъ и философовъ этого времени видѣть въ немъ воплощенное естественное право. Римскія положенія безъ дальнѣйшихъ колебаній переносились въ учебники права естественнаго и объявля-

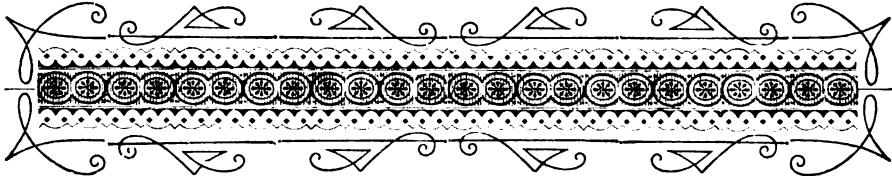
¹⁾ Inst. J. N. et G. Praefatio.

лись вѣчными и необходимыми требованіями разума. Философы этого направленія не стѣснялись въ своихъ догматическихъ построеніяхъ: по свидѣтельству одного изъ ихъ противниковъ, Густава Гуго, они одинаково готовы были выводить изъ неизмѣнныхъ требованій разума и французскую конституцію, и священную римскую имперію. Такова была эта школа самодовольнаго резонерства и поверхностнаго догматизма, которая еще въ XVIII вѣкѣ возмущала противъ себя болѣе живые и серьезные умы въ Германіи. И положительное и естественное право, и исторія и философія одинаково должны были возстать противъ того смѣшенія, отъ котораго они въ равной мѣрѣ страдали. И дѣйствительно, вскорѣ здѣсь проявляется вполне законная реакція со стороны представителей историческаго направленія; а въ предѣлахъ самой естественно-правовой школы совершается поворотъ къ болѣе живому и плодотворному движенію мысли подъ вліяніемъ Канта.

П. Новгородцевъ.



1) Теперь мы имѣемъ превосходное изложеніе взглядовъ Вольфіанской школы въ книгѣ Ландсберга, появившейся въ 1898 году и составляющей продолженіе извѣстнаго труда Штинцинга „Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft“. См. особенно характеристику Даниеля Неттельблакта, который является во второй половинѣ XVIII в. самымъ виднымъ ученикомъ Вольфа (SS. 288 ff., въ особенности 291 и 293). Самое заглавіе одного изъ главныхъ сочиненій Неттельблакта показываетъ, во что превратилось у него естественное право. Это заглавіе таково: *Systema elementare universae jurisprudentiae naturalis usui systematicis jurisprudentiae positivae accomodatum*“. Естественное право, приспособленное къ положительному! Въ какомъ видѣ совершалось это приспособленіе, это достаточно явствуетъ изъ примѣра, приводимаго Ландсбергомъ: въ отдѣлѣ церковнаго права Неттельблактъ выводилъ изъ одного и того же естественнаго права какъ католическое, такъ и протестантское церковное устройство.



Дидона Вергилія и Дездемона Шекспира.

Энеида Вергилія нѣсколько разъ была переведена на русскій языкъ, ее съ давнихъ поръ читають въ школахъ, и все-таки она не приобрѣла популярности ни въ нашемъ образованномъ обществѣ, ни среди педагоговъ, извѣстная часть которыхъ считаетъ даже лучшіе отрывки изъ этого произведенія скучными, ни среди ученыхъ любителей всеобщей исторіи литературы. Этотъ фактъ, крайне невыгодный для произведенія, во многихъ отношеніяхъ замѣчательнаго и какъ разъ сѣгравшаго очень крупную историко-литературную роль, объясняется, можетъ быть, сложностью его композиціи и оригинальностью точекъ зрѣнія поэта. Вообще Энеида не сразу поддается всестороннему пониманію, и уже одинъ романъ Дидоны и Энея, которому мы и посвятимъ нашу статью, вызвалъ цѣлый рядъ своеобразныхъ толкованій, въ большинствѣ случаевъ одностороннихъ, а иногда и прямо превратныхъ. Дантъ отмѣчалъ въ романѣ только два момента: нарушеніе Дидоной вѣрности праху Сихея и ея самоубійство отъ любви ¹⁾. Наоборотъ Петрарка объяснялъ это самоубійство не любовью Дидоны къ Энею, но ея заботой о своемъ достоинствѣ ²⁾. Особенно характерны взгляды Овидія, одного изъ самыхъ раннихъ и усердныхъ подражателей Вергилія. Овидій въ сущности былъ способенъ многое понять и въ композиціи Энеиды и въ ея поэтическомъ настроеніи, но только онъ пред-

¹⁾ Inf. V. 30: l'attra è colei che s'ancise amorosa
e ruppe fede al cener di Sicheo.

²⁾ Trionfo della Castità: io dico Dido
Che studio di onestade a morte spinse
Non quel d'Enea, com'è'l pubblico grido.

почиталъ толковать ее по-своему. «Что погубило Дидону и ей подобныхъ героинь, оставленныхъ своими героями?»—разсуждаетъ онъ въ *Arg amatoria* (III, 41). То, что онъ не умѣли любить (т. е. не были профессиональными жрицами Венеры, гетерами): *defuit ars vobis, arte perennat amor*. Или, напр., тотъ фактъ, что Дидона умертвила себя мечомъ, оставшимся отъ Энея, служить для Овидія предметомъ риторическихъ упражненій или съ фривольнымъ или съ криминалистическимъ оттѣнкомъ; таково напр. замѣчаніе въ оправдательномъ посланіи къ Августу (*Tristia* II, 534), что даже Вергилій не отличался скромностью, такъ какъ онъ *contulit in Tugios arma virumque togas*; не менѣе любопытна эпитафія, сочиненная для своего надгробнаго памятника Дидоной въ *Heroides* (II, 147): дѣло представлено въ ней такъ, что Эней былъ причиной смерти Дидоны, онъ же оставилъ и средство къ выполнению смерти, но выполнила ее Дидона сама. Отсюда одинъ шагъ до эпитагмы Авзонія, или до французской эпитагмы, приписываемой Корнелю, на ту тему, что Дидонъ не пострадало за обоими мужьями: погибаетъ первый — она бѣжитъ, бѣжитъ второй—она погибаетъ.

Сложность Энеиды и специально той ея части, которая посвящена роману Дидоны и Энея, уже сама по себѣ оправдываетъ каждую новую попытку ея толкованія. При этомъ разумѣется, что такая попытка, если только она претендуетъ хоть на нѣкоторую научность, не можетъ сводиться къ простому отчету въ субъективныхъ впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ авторомъ изъ чтенія Вергиліевскаго текста; нѣтъ, она должна опираться на объективныя основанія. Къ одному изъ пунктовъ романа Дидоны и Энея мы и хотѣли бы приложить объективный, сравнительно-историческій методъ.

Исторія любви Дидоны къ Энею заключаетъ въ себѣ много романтическаго. Еще до появленія Энея на сцену, Дидона какъ бы предрасположена влюбиться въ него. Главный моментъ любви—не столько физическая красота Энея (сама Дидона не сознается въ томъ, что она увлечена именно красотою троянскаго героя), сколько слава его рода и тѣ страданія и подвиги, которыми онъ прославился на весь свѣтъ. Въ судьбѣ обоихъ героевъ есть нѣчто общее: Эней лишился своего отечества, утратилъ при самыхъ трагическихъ обстоятельствахъ жену свою Креузу, давно скитается и все еще не находитъ себѣ убѣжища. Много страдала и Дидона: ея братъ Пигмаліонъ коварно убилъ ея нѣжно любимаго мужа Сихея; она должна бѣжать изъ Сидона, и только послѣ долгихъ усилій ей удается устроиться на мѣстѣ будущаго Карфагена; къ моменту приѣзда Энея она уже почти основала большой городъ, но положеніе ея еще непрочное: она не свободна отъ преслѣдованій со стороны Пигмаліона, ей приходится считаться и съ ея благодѣтелемъ гетулійскимъ царемъ Іарбой, который претендовалъ на ея руку, но получилъ отказъ. Сочувствіе къ человѣческимъ страданіямъ и преклоненіе передъ великимъ и возвышен-

нымъ—главнѣйшія черты, которыми она характеризуется еще до встрѣчи съ троянскими послами и съ Энеемъ. Она украсила храмъ Юноны изображеніями наиболѣ трогательныхъ и трагическихъ эпизодовъ изъ троянской войны и этимъ отдала дань изумленія передъ «войной, которая, сдѣлалась извѣстной на весь свѣтъ» (I, 456) и, къ великому умиленію Энея, доказала, что и «здѣсь умѣютъ цѣнить подвиги и плакать о несчастіи, и здѣсь человѣческая судьба трогаетъ человѣческое сердце» (I, 471). Уже ея первыя рѣчи къ троянскимъ посламъ и затѣмъ къ Энею поражаютъ, съ одной стороны, своей восторженностью, а съ другой—сердечностью. Въ отвѣтъ на очень скромную просьбу троянцевъ позволить починить флотъ въ ея пристани она предлагаетъ имъ даже остаться въ Ливіи и распорядиться ея городомъ, какъ своимъ; она сама обѣщаетъ послать надежныхъ людей на поиски запоздавшего Энея и выражаетъ пламенное желаніе увидать его самого.

Появленіе Энея вызываетъ съ ея стороны, такъ сказать, взрывъ энтузіазма: «какъ? это тотъ знаменитый сынъ Венеры и Анхиза, представитель славнаго народа, который она съ давнихъ поръ привыкла высоко цѣнить?» И Дидона съ горячностью проситъ Энея и троянцевъ принять ея гостепрѣимство (I, 628, переводъ г. Квашнина-Самарина):

„Сходная съ вашей судьба и меня, чрезъ многія бѣды
Долго водивъ, наконецъ въ сихъ краяхъ отдохнуть допустила.
Горе извѣдавъ сама, помогать злополучнымъ стараюсь“.

На пиру въ честь Энея и троянцевъ Дидона «медленно впивала въ себя любовь» (I, 749), разспрашивая Энея о Приамѣ, о Гекторѣ, Мемнонѣ, Ахиллѣ и вообще о тѣхъ герояхъ, судьба которыхъ увѣковѣчена на художественныхъ изображеніяхъ въ построенномъ ею храмѣ (I, 455—493). Очарованная рассказчикомъ, она обращается къ нему съ характерной просьбой—вмѣсто отрывочныхъ рассказовъ объ отдѣльныхъ происшествіяхъ дать подробное описаніе, съ самаго начала, гибели Трои, а также и собственныхъ его приключеній. Послѣ этого разсказа, обнимающаго 2-ю и 3-ю пѣсни Энеиды и состоящаго изъ патетическаго ¹⁾ сопоставленія такихъ фактовъ, которые рисуютъ личность рассказчика въ самомъ привлекательномъ свѣтѣ,—послѣ этого разсказа Дидона уже безповоротно влюблена въ Энея.

¹⁾ Нечего и говорить о 3-ей книгѣ, посвященной исключительно скитаніямъ Энея; но и во 2-ой (гибель Трои) центральной фигурой является все-таки Эней и его ощущенія, какъ участника и очевидца трагическихъ событій, ср. напр. ст. 56, 241, 279, 402, 431, 554 (лирическія отступленія по поводу отдѣльныхъ событій). Вообще даже и во 2-ой книгѣ элементы лирической и патетической безусловно преобладаютъ надъ эпическимъ.

Въ безсонную ночь ей постоянно приходитъ на память многократно обнаруженная имъ доблесть (IV, 3), слава его рода; въ ея сердцѣ навсегда запечатлѣлись выраженіе его лица (vultus, на которомъ, конечно, живо отражались какъ глубоко-трагическіе, такъ и трогательные эпизоды его жизни) и его *разсказъ* (verbaque) о преслѣдованіяхъ со стороны судьбы и о страданіяхъ.

Изъ деликатности и изъ чувства собственного достоинства она не рѣшается объясниться Энею въ любви: «хочетъ высказаться, и вдругъ на полсловѣ опять умолкаетъ» (IV, 76). Что же она дѣлаетъ? То она водить Энея по городу, показываетъ ему всѣ богатства, даетъ понять, что городъ уже готовъ, намекая этимъ на то, что у Энея пока еще нѣтъ надежнаго пристанища; или же «на закатѣ дня она стремится устроить такой же пиръ и снова *требуется разсказа о бѣдствіяхъ Трои* и снова не отрывается отъ лица разсказчика; затѣмъ, когда всѣ разойдутся, когда луна уже начнетъ темнѣть, а звѣзды приглашать ко сну, она одинокая скорбитъ въ домѣ и ложится на оставленное Энеемъ обѣденное ложе. Хотя его нѣтъ, но она его видитъ и слышитъ; или же удерживаетъ на груди Асканія, увлеченная его сходствомъ съ родителемъ» (IV, 78). Такимъ образомъ Вергилій далъ весьма интересное и въ психологическомъ отношеніи очень тонкое и вѣрное ¹⁾ построеніе завязки романа: его романтическая героиня влюбляется, можно сказать, въ разсказъ героя и, желая пережить сладостныя ощущенія, вызванныя разсказомъ, стремится къ его повторенію, по возможности, въ той же обстановкѣ, въ которой онъ очаровалъ ее въ первый разъ.

Оказывается, что Вергилій предвосхитилъ одинъ изъ интереснѣйшихъ сюжетовъ Шекспира—именно романъ Дездемоны и Отелло. Вотъ необходимые отрывки изъ рѣчи Отелло въ совѣтъ дожа (переводъ г. Вейнберга):

„Ея отецъ любилъ меня и часто
Звалъ въ домъ къ себѣ; онъ заставлялъ меня
Разсказывать исторію всей жизни,
Годъ за годъ—всѣ сраженія, осады
И случаи, пережитые мною.
Я пробѣгалъ все это, начиная

¹⁾ Въ этомъ случаѣ Вергилій несравненно выше своего подражателя Овидія. У послѣдняго Одиссей (Ars amat. II, 123) плѣняетъ Калипсо, между прочимъ, своими разсказами о Троѣ; характерно, однако, что Одиссей достигаетъ успѣха у богини способностью разсказывать объ одномъ и томъ же каждый разъ въ иной формѣ. Надо, впрочемъ, прибавить, что весь этотъ отрывокъ носитъ типичный для Овидія салонный отпечатокъ. Въ другой связи я могъ бы указать, какой радикальной переработкѣ или, точнѣе, искаженію подвергся романъ Дидоны и Энея въ 7-мъ „Посланіи“ Овидія. См. для общей характеристики Овидія мою статью о немъ въ Журн. Мин. Нар. Просв., июль 1901 г.

Отъ дѣтскихъ дней до самаго мгновенья,
 Когда меня онъ слышать пожелалъ.
 Я говорилъ о всѣхъ моихъ несчастьяхъ,
 О бѣдствіяхъ на сушѣ и моряхъ:
 Какъ ускользалъ въ проломѣ я отъ смерти,
 На волосокъ висѣвшей отъ меня;
 Какъ взятъ былъ въ плѣнъ врагомъ жестокосердымъ
 И проданъ въ рабство, какъ затѣмъ опять
 Я получилъ свободу... Расскажамъ этимъ всѣмъ
 Съ участіемъ внимала Дездемона,
 И каждый разъ, какъ только отзывали
 Домашнія дѣла ее отъ насъ,
 Она скорѣй старалась ихъ окончить
 И снова шла и жадно въ рѣчь мою
 Впивалася. Все это я замѣтилъ
 И, улучивъ удобный часъ, искусно
 Сумѣлъ у ней изъ сердца вырвать просьбу
 Ей рассказать всѣ странствія мои,
 Которыя до этихъ поръ безъ связи,
 Урывками ей слышать привелось.
 И началъ я рассказъ мой, и не разъ
 Въ ея глазахъ съ восторгомъ видѣлъ слезы,
 Когда я ей рассказывалъ о страшныхъ
 Несчастіяхъ изъ юности моей.
 Окончилъ я, и цѣлымъ міромъ вздохомъ
 Она меня за трудъ мой наградила,
 И мнѣ клялась, что это странно, чудно
 И горестно, невыразимо горько:
 Что лучше ужъ желала бы она
 И не слышать про это, но желала бъ,
 Чтобъ Богъ ее такой, какъ я, создалъ.
 Потомъ она меня благодарила,
 Прибавивши, что если у меня
 Есть другъ, въ нее влюбленный,—пусть онъ только
 Расскажетъ ей все то, что я сказалъ—
 И влюбится она въ него. При этомъ
 Намекъ я любовь мою открылъ:
 Она меня за муки полюбила,
 А я ее за состраданье къ нимъ.

Тотъ же смыслъ имѣетъ заявленіе самой Дездемоны, что она нашла лицо Отелло въ его душѣ (I saw Othello's visage in his mind) и что она посвятила свое сердце и свою судьбу его славѣ и геройству.

Можно предположить, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ реминисценціей изъ Вергилія, такъ какъ Шекспиръ завѣдомо интересовался Энеемъ и Дидоной, ср. напр. «Сонъ въ лѣтнюю ночь» актъ I, сц. I (переводъ г. Сатина): «клянусь огнемъ, который жегъ Дидону, когда троянецъ живыи уплывалъ»; а главнымъ образомъ «Гамлетъ» (актъ II, сц. 2): «одинъ отрывокъ нравился мнѣ особенно: рассказъ Энея Дидонѣ, особенно тамъ, гдѣ онъ говоритъ объ убійствѣ Пріама».

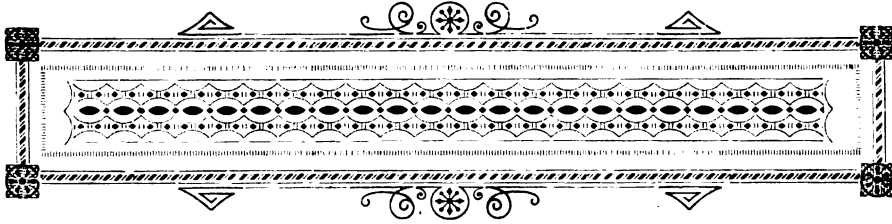
Но я не желалъ бы настаивать на реминисценціи и готовъ допустить, что Шекспиръ былъ самостоятеленъ, и что, слѣдовательно, оба художника, изображая сходныя явленія, выдѣлили въ нихъ сходные типичные признаки. Во всякомъ случаѣ, это сопоставленіе съ Шекспиромъ сильно выдвигаетъ Вергилія какъ художника и психолога, отчасти какъ провозвѣ-



стника романтизма. Въ связи съ этимъ, разумѣется, слѣдовало бы заняться вопросомъ объ отношеніи Вергилія къ его современникамъ, которые либо трактовали довольно элементарную страстность, либо смотрѣли на любовь фривольно (напр. Овидій). Далѣе, неизбѣженъ вопросъ о подражателяхъ Вергилія, начиная съ его современниковъ, о композиціи Энеиды и другихъ его произведеній и т. д. Но всѣ эти сложные вопросы трудно было бы обосновать въ предѣлахъ небольшой статьи, главная цѣль которой—засвидѣтельствовать уваженіе почтенному и заслуженному юбиляру.

Михаилъ Покровский.





Изъ «Ирландскихъ Мелодій» Томаса Мура.

I.

Лучъ лампы, давно, съ незапамятныхъ лѣтъ
Озаряетъ святыню Кильдара ¹⁾,
Такъ для сердца, что въ бурѣ страданій и бѣдъ
Переноситъ всю тяжесть удара,—
Ты сіяешь сквозь слезы, Эринъ, о Эринъ,
Въ эту рабскую ночь, среди мрака кручинъ!

Ты такъ молодъ, повѣрь,—твое солнце взойдетъ,—
Погибаютъ иные народы;
Если рабство мрачитъ лучезарный восходъ,
Будетъ въ полдень сіянье свободы!
И свѣтило во мракѣ, Эринъ, о Эринъ,—
Вновь заблещетъ,—и гордый падетъ властелинъ!

Не бояся дождя, холодовъ, непогодъ,
Тихо лилія дремлетъ зимою;
Но весна эти узы ея разорветъ,
Свѣтъ полетитъ свободной волною...
О Эринъ, отъ зимы ужъ избавился ты,
И надеждъ расцвѣтутъ золотые цвѣты!..

Левъ Уманецъ.

¹⁾ Неугасимая лампа св. Бригиты въ Кильдарѣ.

II.

Пѣвецъ молодой стремится въ сѣчь,
На бой за край родной:
Въ рукѣ несетъ онъ острый мечъ
И арфу—за спиной.

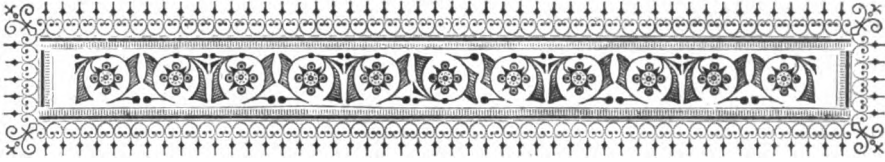
„Страна пѣвцовъ,—вскричалъ герой,
Когда враги кругомъ,—
Воспѣта арфою *одной*,
Разить *однимъ* мечомъ!“

Пѣвецъ сраженъ въ бою,—но онъ
Непобѣдимъ душой;
Не слышенъ арфы чудный звонъ,—
Онъ струны рветъ долой...

— „Тебя не презрять врагъ лихой,
Когда кругомъ борьба!
Свободныхъ пѣлъ лишь голосъ твой,
Не будетъ пѣть раба!..“

Левъ Уманецъ.





Русская повѣсть о воеводѣ Евстратіи.

(Из литературной исторіи саги о Велизаріи).

Kein griechischer Feldherr nach Alexander dem Grossen war mehr geeignet eine volkstümliche Person zu werden als Belisar.

K. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Litteratur. 2-te Aufl. S. 825.

«Царствованіе Юстиніана», — говоритъ Финлей ¹⁾, «замѣчательнѣе, какъ часть исторіи человѣчества, нежели какъ глава изъ лѣтописи Римской имперіи или греческаго народа. Пережъны, обыкновенно совершающіяся въ теченіе вѣковъ, произошли тутъ на глазахъ одного поколѣнія. Жизнь Велизарія, если не въ дѣйствительности, то въ романической своей формѣ, служитъ типомъ того вѣка. Въ его раннюю молодость міръ былъ заселенъ и богатъ, имперія могущественна и обезпечена. Онъ завоевалъ обширные края и сильные народы и привелъ плѣнныхъ царей къ подножію престола Юстиніана, законодателя цивилизаціи. Наступила старость. Велизарій сошелъ въ могилу, подозрѣваемый и обидѣнный вслѣдствіе неблагодарности своего слабохарактернаго повелителя; а свѣтъ, отъ береговъ Евфрата до Тага, являлъ ужасающее зрѣлище голода и чумы, разоренныхъ дотла городовъ и чуть не гибнущихъ народовъ. Впечатлѣніе, произведенное этою пережъною на души людей, было глубоко. Отрывки готскихъ стихотвореній, легендъ изъ персидской литературы и судьба самого Велизарія указываютъ, съ какимъ напряженнымъ вниманіемъ люди долго взирали на эту эпоху».

Вотъ тѣ историческія и психологическія условія, которыя возбудили работу народной фантазіи и сдѣлали предметомъ художественнаго творчества величавую фигуру непобѣдимаго полководца, прославившагося не

¹⁾ Финлей. „Греція подъ римскимъ владычествомъ“. Перев. С. Никитенко. 1877 г. Стр. 176.

только блестящими военными подвигами, но и рѣзкими превратностями своей судьбы. По справедливому замѣчанію Крумбахера, никто изъ греческихъ полководцевъ, кромѣ Александра Вел., не имѣлъ столько данныхъ сдѣлаться національнымъ героемъ, какъ именно Велизарій.

Изъ всѣхъ разсказовъ о Велизаріи особенную популярность получила легенда объ его ослѣпленіи и нищенствѣ, записанная уже византійскими хронистами X в. Эта легенда окружила образъ Велизарія обаятельнымъ, поэтическимъ ореоломъ и послужила основаніемъ для его идеализаціи въ цѣломъ рядѣ произведеній литературы и искусства.

Сага объ ослѣпленномъ Велизаріи получила литературную обработку прежде всего на византійской почвѣ. До насъ дошли три обширныя стихотворныя поэмы, изданныя В. Вагнеромъ въ его «*Carmina graeca mediae aevi*» (Lipsiae, 1874): двѣ—анонимныя и одна—родосскаго поэта второй половины XV в., Эммануила Георгилла (*Ἐμμανουὴλ Γεωργιλλᾶς ὁ Διμενίτης*)¹⁾. Разсматриваемая легенда была извѣстна, далѣе, польскому писателю XVI в., Мартыну Бѣльскому²⁾, и его замѣтка не осталась безъ вліянія на соответствующее мѣсто русскаго хронографа второй редакціи (по счету Андрея Попова,³⁾. Та же легенда дала сюжетъ нашей «Исторіи о бывшемъ воеводѣ Евстратіи», іезуитской школьной драмѣ XVII в. «*Belisarius*», находящейся въ сборникѣ Петерб. Публ. библіотеки⁴⁾, знаменитому въ свое время роману Мармонтеля «*Bélisaire*» (1767 г.), который, въ свою очередь, породилъ романъ г-жи Жанлисъ того же названія, драмѣ Шенка (Ed. v. Schenk) и другимъ менѣе значительнымъ пьесамъ. Намъ, напр., знакома по русскому переводу французская пьеса: «Велисарій, римскій полководецъ, или великій и несчастный человекъ, въ 3 дѣйствіяхъ съ хорами, балетами и украшениями» (перевелъ А. О. Лукницкій, 1808 г., Спб.). Не забудемъ также, что Геннадій Демьянычъ Несчастливцевъ (въ комедіи Островскаго «Лѣсъ») игралъ въ Лебедяни Велизарія въ присутствіи самого Николая Хрисановича Рыбакова. Лирики (въ томъ числѣ и нашъ Мерзляковъ), музыканты (опера Donizetti 1836 г.), живописцы и скульпторы охотно черпали свое вдохновеніе въ легендарной исторіи Велизарія. Словомъ, безъ преувеличенія можно сказать, что византійская сага объ ослѣпленномъ Велизаріи принадлежитъ къ числу тѣхъ сюжетовъ, которые переходили изъ страны въ страну, изъ вѣка въ вѣкъ, видоизмѣняясь соответственно міросозерцанію каждой эпохи и среды.

Наука однако еще совершенно не коснулась нѣкоторыхъ, весьма важныхъ звеньевъ длинной исторіи Велизаріевой саги. Въ настоящей

¹⁾ Произведеніе Георгилла напечатано также и въ другомъ изданіи Вагнера „*Medieval greek texts. Part I. London. 1870*“.

²⁾ См., напр., списокъ Синод. библ. № 113, л. 362.

³⁾ Обзоръ русскихъ хронографовъ, II, стр. 107.

⁴⁾ П. О. Морозовъ. „Исторія русскаго театра“. Стр. 55, прим. 1.

статьѣ мы и предполагаемъ сообщить нѣсколько предварительныхъ свѣдѣній о русской повѣсти, примыкающей къ той же сагѣ и ни разу не подвергавшейся специальному изученію.

«Слово отъ исторія о нѣкоемъ мужѣ, бывшемъ воеводѣ въ велицемъ Римѣ» сохранилось, повидимому, въ немногихъ спискахъ: намъ извѣстно пока 6 рукописей, изъ нихъ старѣйшія—конца XVI в. (изъ собранія А. Попова въ Рум. Музеѣ № 2522 и библіотеки гр. А. С. Уварова № 1801). Седержаніе повѣсти по списку № 2522 (л. 93—112 об.¹)—слѣдующее.

«Нѣкогда, рече, проѣздъ творящу царю римьскому в велицемъ граде риме, прилучися ему вѣхати в необычную улицу, и видѣ челоуѣка сидяща, убога, и въ порьтехъ нищихъ, въ ризахъ худѣишихъ и глаголюща: «Азъ есмь *еустратіе*, честь и держава римьская; нынѣ есмь проситель: дайте ми бога ради!» Царь же, ставъ, зряше на нь. И, покоснѣвъ, вторицею то же слово рече и, пакы покоснѣвъ, третицею то же слово рече: «Азъ есмь еустратіе, честь и держава римьская; нынѣ есмь проситель: дайте ми бога ради!» Царь же подивися и рече къ сущимъ окрестъ его: «Что убо суть глаголы сия убогаго сего?» Предстоящеи же рече: «Тако есть, державный царю. Тои убо мужъ древле, у преже тебѣ бывшихъ цареи, бысть вельми честень: воевода бо бысть крѣпокъ и славень во странахъ разумомъ и силою, и крѣпостию многъ бысть; многы бо побѣды поставилъ, яко ратнымъ токмо именованія его бояться, и зваху его во странахъ непобедимыи воевода; дивляху бо ся его мужьству, и храбрости, и мудрости. Завистию же нѣщыи движими врази его оболгаша ко цареви; онъ же, емъ вѣру врагомъ его и поймавъ, ослепи его. Тогда поскорбѣла о немъ вся страна римьская». Царь же помысли в себѣ, яко такова мужа удержитъ близъ себѣ думы ради и совѣта, и посла к нему своего южика, яко да речеть к нему царево přátельство, что хочеть показати къ нему свою милость, извести его отъ уския, и тѣсныя, и скорбныя куца, и вселити его во храмы свѣтлы и пространны, и пременити его отъ многога злостраданія, и упокоити его, якоже подобаеть его честности».

Евстратій безъ всякихъ колебаній отказывается отъ царской милости. Изъ глубины сердца воздохнувъ, онъ сказалъ: «О колика благая прияхъ отъ руки господня, злыхъ ли не терплю! Азъ завѣщахъ в себѣ сугубо до смерти не изыти ми изъ верьтепа сего; и иже древле бывшем ми друзи восхотѣша тако явити на мнѣ малогодную свою благость, многожды совѣтоваша ми, да соиду с сея тѣсныя стези и възду на ихъ про-

¹) Текстъ какъ здѣсь, такъ и въ другихъ мѣстахъ передается безъ соблюденія палеографическихъ особенностей. Описки рукописи исправлены по другимъ спискамъ.



странный путь, иже упокоити мя хотяще мало время; не вѣдающе же глаголють, но язъ убо извѣстие увѣдахъ, яко пространныи путь и широкая врата вводятъ в пагубу, и мнози суть входящеи ими; тризнице убо есть настоящее сие житие. Тѣмъ же, иже хоцеть венчати ся, жестоко и болѣзненно да изволитъ житие, яко, да мало здѣ пострадавъ время, всегдашня тамо насладитъ чести». Бывшій воевода глубоко раскаивается въ своемъ увлеченіи земными благами, бичуетъ прежніе свои пороки и заблужденія и искренно радуется, что Богъ вывелъ его «изъ тмы и сѣни смертныхъ и, яко отъ ада преисподняго, извлече отъ мира прелестнаго». Отчасти подъ влияніемъ проповѣди «нѣкоего учителя мудра», онъ непоколебимо рѣшилъ «даже до смерти не изыти изъ вертепа сего», въ твердой надеждѣ получить «будущая благая».

Дальнѣйшія разсужденія уже не имѣютъ непосредственнаго отношенія къ личности и судьбѣ Евстратія и составляютъ вторую часть повѣсти, весьма интересную, какъ обстоятельная и горячая апологія аскетизма.

«Аще же кто хвалитъ нынешнее житие и наслаждение, или царствование тлѣнное и мимотекущее, или пищу и богатство,—отъ нихъ же ни единъ есть блаженъ, ниже достойно похвалению, понеже бо не имать приснобытіе, но съ вѣкомъ симъ и привременнымъ житиемъ купно разрушается и погибаетъ. Возримъ убо на прежь насъ сушихъ! Гдѣ иже неудобъ прѣборемья вѣтня? гдѣ иже торжества завещавшей, и свѣтлыя воеводичьи мѣстные князи, цари и мучителие? Не вси ли прахъ, не вси ли призракъ? Внидемъ убо во гробы! Аще возможемъ разсудити: кто есть рабъ, и кто есть владыка? и кто есть богатъ, и кто убогъ? и кто воинъ? Гдѣ убо суть трапезы посребренныя, и полаты златокровныя, одры слоновыя, и ковры, и постеля, и многое неразтвореное вино, злато и серебро, брашномъ ласкосердство, повары, ласкателя, дароносца, рабы, иное мечтаніе? Все исчезе, и все погибе. Поминати же убо естество свое подобаесть, не возносити ся, ниже любити нынѣшняя и сущая здѣ: ничтоже бо в нихъ необходимо, или вѣчно, или извѣстно, но вся суетная и многа преложения в мегновении ока приносяща; сна бо, и сѣни, и пары, иже по воздуху дышущая, немощнейши суть и наслаждение и богатство нынѣшнее... Есть бо воистину ненавистенъ миръ сей и мерзокъ». Повѣсть истоощаетъ всѣ аргументы, чтобы доказать измѣнчивость человѣческаго счастья, непрочность славы и почестей, тлѣнность земныхъ благъ и ничтожество всего земнаго передъ могуществомъ смерти, передъ вѣчною, загробною жизнью. Человѣкъ, желающій спастися, долженъ вести «болѣзненное, и постное, и трудовъ полное житие». Всѣ праведные люди, начиная съ Авраама и кончая христіанскими мучениками, терпѣли при жизни бѣдствія и гоненія; «колми паче намъ подобаесть терпѣти многихъ ради нашихъ согрѣшеній». Нечего бояться несчастій: нужно помнить, что «здѣшняя мука восхищаетъ насъ отъ тамошня муки»; нужно съ терпѣніемъ и кротостію испить

«божия суда пельнь», памятуя, что бѣды и скорби бываютъ «триехъ ради винъ»: «или преже бывшихъ ради согрѣшени, или нынѣ бываемыхъ, или хотящихъ ради быти».

Таково общее содержаніе нашей аскетической повѣсти по наиболѣе полной редакціи.

Герой повѣсти называется Евстратіемъ, но не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что подъ этимъ именемъ скрывается византійскій полководецъ Велизарій. Такое мнѣніе было высказано еще Востоковымъ ¹⁾.

Помимо того, что исторія Евстратія совершенно тождественна съ сагой о Велизаріи, мы располагаемъ еще слѣдующими безспорными доказательствами.

Списокъ повѣсти въ сборникѣ Рум. музея № 376 (XVII в.) имѣеть на поляхъ первой страницы (л. 39) противъ имени Евстратія любопытную приписку, слѣланную рукою того же писца XVII в.—именно: «велисаріи в гронографѣ». И дѣйствительно, во второй редакціи хронографа (1617 г., по счету А. Попова) и въ третьемъ видѣ третьей редакціи (по Попову, 1620—1646 г.) читаемъ: въ совершенно сходномъ изложеніи такой разсказъ объ ослѣпленіи Велизарія: «Оле, братия, се нынѣ здѣ узримъ завести силу и вражю пакость! Увы мнѣ! такового велехрабра и многоратнаго велисаріа воеводу безъ оружія и стрѣлъ зависть повоева и, аки лютыи звѣрь, низложи. Иже преже персы и прочіа страны оустраши, нынѣ же, аки бѣгунъ, рабъ, связанъ держимъ, ничто же зла сотворъ, но точию отъ своихъ завистию оболганъ і ожидаа, когда выа того мечемъ отсечетьса. О зависти, звѣре лютыи, разбойниче и гонителе злыи, скорьшиа смертоаднаа, тигре челоувѣкобойныи, былак смертнаа! Доколе, злодѣе, житие смущаеши? Таковыи убо мужъ, аки непотребенъ, во твои длани впаде и стрѣлы твои изкуси. Мечемъ убо того не сконча царь, но ото очию его свѣтъ отъа, и бысть, аки единъ ото убогихъ, поверженъ, скитаася по стогнахъ града рима, *иже потомъ именовашеся еустратіе*. Егда же велисаріа царь ослѣпи, тогда паки оттотилъ, остроготцкой рига, римъ пленялъ» ²⁾ и т. д.

Очевидно, легендарный Велизарій вмѣстѣ съ славой и зрѣніемъ утратилъ и прежнее имя, получивъ имя Евстратія, можетъ быть образовавшееся изъ эпитета (гр. εὐστράτιος = добрый воинъ), какъ Девгеній, Акрить, Аника, Стратиговна, Амиръ и пр.

Итакъ, въ основѣ первой части нашей повѣсти лежитъ византійская легенда о Велизаріи, но составъ ея въ византійскихъ источникахъ существенно разнится отъ русской версіи: послѣдняя представляетъ какъ бы

¹⁾ Описание рукописей Рум. музеума, 557 стр.

²⁾ Хронографъ 2 ред. по списку Рум. музея изъ собранія Пискарева № 164 (599), XVII в., л. 328—328 об.

продолженіе греческихъ пересказовъ, повѣствуя о нищенствѣ Велизарія въ Римѣ и о встрѣчѣ съ какимъ-то римскимъ царемъ, который уже ничего не знаетъ о славномъ полководцѣ Юстиніана. О скитаніи Велизарія по стогнамъ града Рима рассказываютъ, какъ мы видѣли, русскіе хронографы, но и въ нихъ ничего не говорится о встрѣчѣ Евстратія съ римскимъ царемъ на «необычной» улицѣ. Между тѣмъ мы имѣемъ полное основаніе утверждать, что тотъ составъ легенды, какой мы находимъ въ нашей повѣсти, нужно признать довольно древнимъ: такой видъ она имѣла уже въ XV в. Объ этомъ свидѣтельствуетъ интересный сборникъ Моск. Публ. Музея конца XV в.¹⁾ (по опредѣленію С. О. Долгова, любезности котораго я обязанъ и самымъ указаніемъ на этотъ важный памятникъ). Здѣсь, послѣ многочисленныхъ цитатъ изъ разнообразныхъ произведеній, на л. 65 читаемъ такой оригинальный пересказъ нашей повѣсти: «Въ царьскихъ книгахъ писано. «Азъ есмь еустратіе, честь и держава римска», нынѣ же есмь проситель: дайте ми бога ради». По ослѣпленіи царевѣ таково его прошеніе было, у кого нищелюбца просить. И инъ нѣкии царь поцарствовавшаго царство приять, хотѣлъ еустратіа ослѣпленнаго преупоконити, посла к нему нѣкоего отъ велможъ своихъ, чтобы не пекса ни ѣстьемъ, ни питьемъ, ни о одежди. И отвѣтъ его велможъ: «То мнѣ преже совѣтовали и искреніи мои друзи, но ѣзъ сѣждж въ цѣломудріе мудрымъ, а въ наказаніе безумнымъ».

Намъ и кажется, что здѣсь сохранились первоначальныя черты того вида легенды, въ какомъ она перешла къ намъ, и что нашей повѣсти слѣдуетъ приписать греческое происхожденіе, хотя мы пока еще не можемъ указать ея непосредственнаго оригинала. Въ самомъ дѣлѣ, трудно предположить, чтобы мотивъ встрѣчи нищаго Велизарія съ римскимъ царемъ могъ создаться на Руси. Это апріорное заключеніе подтверждается и тѣмъ, что наша повѣсть сохранила нѣсколько выраженій, которыя встрѣчаются и въ греческихъ текстахъ, и которыя, очевидно, стали уже стереотипными въ изложеніи легенды.

Судьба несчастнаго Велизарія какъ нельзя болѣе способна наводить на печальныя размышленія о человѣческой жизни, питать тотъ видъ міровой скорби, который выразился въ аскетическомъ пессимизмѣ. Даже Мерзляковъ не удержался, чтобы не заставить мальчика, который водить слѣпца Велизарія, предаваться грустнымъ думамъ и восклицать: «Вотъ постоянство здѣшнихъ благъ!» Тѣмъ болѣе естественно встрѣтитъ у византійско-русскаго книжника стремленіе воспользоваться исторіей Велизарія для выраженія своего завѣтнаго міровоззрѣнія, воспитаннаго на святоотеческой письменности.

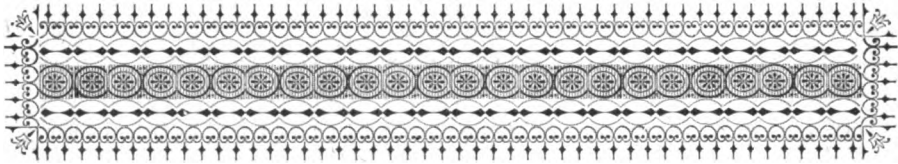
¹⁾ Сборникъ этотъ приобрѣтенъ недавно и еще не занумерованъ.

Повѣсть объ Евстратіи, надо полагать, съ самаго начала и заключала въ себѣ этотъ назидательный элементъ. Въ то время, какъ въ среднегреческихъ поэмахъ доблестный Велизарій горько оплакиваетъ свое несчастье и призываетъ гнѣвъ неба на мучителей, Евстратій уже въ приведенномъ выше отрывкѣ XV в. отказывается отъ земного счастья, утѣшая себя тѣмъ, что онъ сидитъ «въ цѣломудріе мудрымъ, а въ наказаніе безумнымъ». Эта аскетическая тенденція на русской почвѣ получила дальнѣйшее развитіе на основаніи словъ и поученій, обильно наполняющихъ пролога, Златоусты, Изабеллы, Маргариты, Златоструи, Златую Матицу и т. п. сборники. Отдѣльные списки повѣсти существенно разнятся между собой именно въ этихъ аскетическихъ разсужденіяхъ. Составитель полной редакціи справился съ своей задачей весьма удачно: онъ сумѣлъ выбрать и довольно стройно расположить относящійся сюда матеріалъ, такъ что повѣсть обратилась въ обстоятельный трактатъ по аскетической философіи.

Такимъ образомъ, Исторія о воеводѣ Евстратіи принадлежитъ къ тому же циклу произведеній, какъ и повѣсть о Варлаамѣ и Іоасафѣ, и представляетъ несомнѣнную важность, какъ новый фактъ литературнаго общенія Руси съ Византіей и какъ цѣнный матеріалъ для сужденія объ аскетическомъ міросозерцаніи.

II. Сакулинъ.





L'anime triste у Данте.

(La Divina Commedia, Inferno, с. III, 31—69).

Тотчасъ за вратами ада Данте и Виргилій встрѣчаютъ «жалкія души тѣхъ, кто жилъ безъ порицанія и безъ одобренія»:

. . . . l'anime triste di coloro
Che visser senza infamia e senza lodo ¹⁾).

Вмѣстѣ съ ними находятся тѣ изъ ангеловъ, которые, во время возмущенія Люцифера «не были ни мятежными, ни вѣрными, но держались сами по себѣ»:

. . . . non furon ribelli
Nè fur fedeli, ma per sè fôro ²⁾).

На вопросъ Данте, что заставляетъ грѣшниковъ такъ страдать, Виргилій разъясняетъ:

Questi non hanno speranza di morte,
E la lor cieca vita è tanto bassa,
Che invidiosi son d'ogni altra sorte.
Fama di loro il mondo esser non lassa,
Misericordia e giustizia gli sdegna ³⁾).

(У нихъ нѣтъ надежды на смерть, и слѣпая жизнь ихъ такъ низка, что они завидуютъ всякой иной участи. Міръ не желаетъ хранить память о нихъ, милосердіе и правосудіе гнушаются ими).

Объясненіе свое онъ заканчиваетъ словами, полными глубокаго презрѣнія—

Non ragioniam di lor, ma guarda e passa ⁴⁾.
(Не будемъ толковать о нихъ, смотри и проходи).

¹⁾ Inf. III, 35—36.

²⁾ Inf. III, 38—39.

³⁾ Ib. 46—50.

⁴⁾ Inf. III, 51.

Подойдя и присмотрѣвшись, Данте видитъ, что вся несмѣтная толпа грѣшниковъ принуждена слѣдовать за знаменемъ (*un'insegna*), «которое, кружась, бѣжало такъ поспѣшно, что казалось мнѣ совершенно неспособнымъ остановиться»:

Che girando correva tanto ratta
Che d'ogni posa mi pareva indegna ¹⁾.

Среди этой толпы онъ узнаетъ нѣкоторыхъ, и между ними тѣнь того, кто: «изъ низкихъ расчетовъ совершилъ великое отреченіе»:

. . . fece per viltate il gran rifiuto ²⁾;

Тогда для него становится совершенно яснымъ, какіе передъ нимъ грѣшники,

A Dio spiacenti ed a'nemici sui ³⁾.
(Не угодные ни Богу, ни Его врагамъ).

Эпизодъ съ обитателями атриума ада заканчивается описаніемъ тѣхъ мученій, которыя Данте замѣтилъ при ближайшемъ разсмотрѣніи:

Questi sciaurati che mai non fur vivi,
Erano ignudi, e stimolati molto
Da mosconi e da vespi ch'eran ivi.
Elle rigavan lor di sangue il volto,
Che, mischiato di lagrime, a'lor piedi
Da fastidiosi vermi era raccolto.

(Эти несчастные, которые никогда не жили, были наги и сильно преслѣдуемы большими мухами и слѣпнями. Эти насѣкомыя бороздили лица ихъ кровью, которая смѣшивалась со слезами и пожиралась у ногъ ихъ гнусными червями).

Уже комментаторы XIV в. ставили вопросъ о томъ, кого нужно разумѣть подъ *l'anime triste* и какъ вообще толковать аллегорію приведенныхъ стиховъ 3-й пѣсни «Ада»; толкованія ихъ оказались настолько удачными, что ни одинъ изъ позднѣйшихъ комментаторовъ не рѣшился отступить отъ нихъ, и они, такимъ образомъ, сохранили силу до настоящаго времени.

Мы увидимъ впоследствии, что выводы комментаторовъ XIV и XV вв. не безусловно неопровержимы; а пока познакомимся съ тѣмъ, въ чемъ они заключаются, и какъ относились къ нимъ позднѣйшія поколѣнія дантистовъ.

Изъ комментаторовъ XIV в. вопросъ о *l'anime triste* обстоятельно разсмотрѣлъ одинъ Дж. Боккаччо ⁴⁾; его предшественники ограничивались

¹⁾ Ib. 53—54.

²⁾ Ib. 60.

³⁾ Ib. 63.

⁴⁾ Комментарій составленъ въ 1373 году. Лучшимъ изданіемъ считается: *Il comento di Giov. Boccacci sopra la Commedia con le annotazioni di A. M. Salvini; preceduto dalla Vita di D. Alighieri scritta dal medesimo: per cura di Gaetano Milanese. Firenze, 1863, 2 v., Le Monnier.* Я цитирую по этому изданію.

перефразировкой того, что сказано у самого Данте. Такъ поступаетъ Якопо делла-Лана¹⁾, разъясняя отвѣтъ Виргилія (III, 34—42)²⁾; и далѣе комментарій идетъ въ такомъ же родѣ, нисколько не разъясняя вопроса по существу.

L'Ottimo commento, составленный около 1334 г. и представляющій собою обширную компиляцію, основанную на работахъ предшественниковъ, точно также не рѣшаетъ вопроса о l'anime triste, и въ поясненіи 36-го стиха III п. ограничивается цитатой изъ бл. Августина: non basta astenersi dal male, se non si fa bene. Не достаточно воздерживаться отъ зла, если не дѣлаешь добра³⁾.

Совершенно иное отношеніе къ вопросу находимъ мы у Боккаччо. О l'anime triste онъ говоритъ въ девятой лекціи, комментируя 34—36 стихи III п.⁴⁾ Въ 10-й лекціи, разбирая аллегорію III пѣсни «Ада», Боккаччо еще подробнѣе разбираетъ вопросъ о l'anime triste и ихъ наказаніи⁵⁾.

Резюмируя все, сказанное Боккаччо относительно грѣшниковъ атриума ада, мы получимъ слѣдующее: L'anime triste это—тѣ люди, у которыхъ, вслѣдствіе преобладанія природной флегматичности (per molta umidità di cerebro, freddezza d'animo), настолько парализована способность активной дѣятельности (sì il vigore del cuore spento), что они не въ состояніи рѣшиться, боятся рѣшиться на что-либо важное, хотя, по временамъ, и чувствуютъ желаніе дѣйствовать; вслѣдствіе этого они большую часть жизни проводятъ въ бездѣйствіи (inezia, oziosità); эти «Богомъ убитыя» (mentecatti o dementi) существа живутъ, «какъ грубыя животныя, какъ гнусныя черви». Это объясненіе Боккаччо легло въ основаніе всѣхъ позднѣйшихъ комментаріевъ, но только въ упрощенномъ видѣ: freddezza d'animo, являющаяся причиной трусливой нерѣшительности и бездѣятельности, исчезаетъ, и l'anime triste превращается въ подлыхъ трусовъ, которые всего боятся.

Такое упрощенное толкованіе мы встрѣчаемъ уже у Франческо да Бути⁶⁾, который усвоилъ только одну сторону объясненія Боккаччо, именно—

¹⁾ Комментарій написанъ между 1323—28 гг. Впервые напечатанъ въ edit. princeps „Бож. Комедіи“ (Venezia, Vendelin da Spira, 1477), которымъ я и пользовался.

²⁾ „Qui risponde Virgilio e dice, che tale condizione anno l'anime di coloro che furono al mondo senza fama e persone di trista vita alli quali non pur si segue tal pena, ma eziandio non se li segue lode nè fama alcuna“.

³⁾ Этой цитатой воспольз. и Боккаччо къ ст. 63, II Com., I, 269.

⁴⁾ Il Comento, v. I, p. 260—261.

⁵⁾ Il Comento, v. 1^o, p. 280—282.

⁶⁾ „Commento di Francesco da Buti sopra la Div. Com. di D. Al. pubblicato per cura di Crescentino Giannini“. Pisa, 1858—62, 3 vol. Написанъ около 1380 г.—

inezia грѣшниковъ. Но окончательную редакцію толкованіе Боккаччо получило у Христофора Ландино¹⁾, комментарий котораго былъ наиболѣе популяренъ въ XV и XVI вв., и выдержалъ цѣлый рядъ изданій. О *l'anime triste* онъ говоритъ въ объясненіи къ стиху *Ed io ch'avea d'orror la testa cinta* (III, 31)²⁾ и далѣе въ комментарий къ стиху 52³⁾. Это толкованіе, по которому *l'anime triste* являются подлыми трусами (*vili, pusillanimi*) и лѣнтями (*pigri*), мы встрѣчаемъ и въ важнѣйшемъ комментарий XVI в., у Веллутелло⁴⁾.

Является, такимъ образомъ, вопросъ, чье объясненіе правильнѣе, Боккаччо или Ландино и Веллутелло.

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что XVII и XVIII вв., вообще мало интересовавшіеся Данте, не рѣшили этого вопроса; гораздо удивительнѣе то, что и XIX в., развившій о Данте огромную литературу, почти ничего не сдѣлалъ въ этомъ отношеніи. Что это дѣйствительно такъ, можно доказать ссылками на цѣлый рядъ выдающихся дантистовъ.

1) Томмазо⁵⁾ въ поясненіи 36 ст. приводитъ указанную выше цитату *L' Ottimo* изъ Бл. Августина; относительно 62 ст. (*cattivi*) у него говорится: *I vili dispiacciono a tutte le parti.*; относ. 69 ст. (*vermi*): *La lor pigrezza stimolata da insetti la viltà simboleggiata nê' vermini.*

2) Джуліани объясняетъ 65—69 ст. такъ: *Quello che l'ignavia adopera negli animi cui s'appiglia, qui si dichiara per la pena conveniente*

Онъ такъ разсуждаетъ по поводу наказанія обитателей атриума: *Questa pare conveniente pena a costoro, che mai non hanno voluto fare alcuna cosa, che sieno posti a sempre correre in giro, a ciò che non abbino mai fine, e mai non si posino coloro che sempre si sono posati e sono vivuti pur per mangiare e bere e dormire come le bestie*“.

1) *Comento di Cristoforo Landino fiorentino sopra la Comedia di D. Alighieri fiorentino, Fir., 1481, 1 vol. in fol.* Я пользовался венеціанск. изданіемъ 1491 г.

2) *In questo primo spazio pone esser puniti quelli che son vivuti in pigro ozio et senza operar bene o male... Questi pigri et pusillanimi si possono chiamar freddi, perciocchè i Greci et i Latini Poeti così come chiamano ardenti quelli che son vehementi, assidui et solleciti nell'operare*“.

3) „Finge che tutta questa turba senza posa alcuna s'aggira intorno a questo procinto dell' Inferno, et veramente tali huomini non sapendo proporsi alcun certo fine perchè non possono imaginar cosa alcuna si bassa, che la viltà dell' animo non gli spaventì, sempre s'aggirano nella mente, perchè molte cose appetiscono et in tutte inviliscono et da l' una trascorrono a l'altra senza alcuna gravità di giudizio“.

4) „*La Comedia di Dante Alighieri con la nova esposizione di Alessandro Vellutello, Ven., 1544 1 vol.*—Онъ такъ разсуждаетъ о наказаніи: *È conveniente cosa, che ogni contrario sia punito per lo suo contrario. Adunque, se costoro erano stati tanto, per la sua viltà, sonnolenti e pigri, che non s' haveano proponuto alcun honesto essercizio, a che siamo tutti nati, bisognava che fossero sempre in continuo e veloce moto e indegni, come dice, d' ogni posa*“.

5) *Commedia di D. Al. con ragionamenti e note di Niccolò Tomasséo Milano 1856.*

Ignudi corrono i pusillanimità, perchè niuna *bontà* gli attrasse nè or *fregia la loro memoria*; vengono di continuo *stimolati* da vili animalucci, da che non obbedirono al nobile istinto onde siam tratti a *sequir virtute e conoscenza*. (Inf XXVI, 120), e sentonsi costretti a dar *lagrime e sangue* per pascolo di vilissimi e sempre rinascenti vermi. Immagine evident di una coscienza perennemente lacerata dal sentimento della propria *viltà* e dall'invidia di *quesiasi altra sorte*»¹⁾.

3) Фратичелли²⁾, въ коммент. къ 36 ст., говорить о l'anime triste: Son questi gl'ignavi, а по поводу; 69 ст. (vermi) почти безъ измѣненій приводитъ указанное мною объяснение Томмазо.

4) Скартаццини³⁾ слѣдующимъ образомъ объясняетъ 36 ст. (che visser): «che non fecero nè azioni malvage onde attirarsi *infamia*, nè opere buone onde meritarsi *lode* (=lode, s'intende qui per *buona fama*, contrapposto ad *infamia*), in una parola: che non fecero nulla, vissero poltronescamente». Въ коммент. къ 65—69 ст. онъ цитируетъ вышеприведенное толкованіе Джуліани.

5) Вегеле⁴⁾ представляетъ себѣ l'anime triste совершенно неясно. «Люди средняго темперамента, — говорить онъ о нихъ, — всего болѣе страдаютъ отъ сознанія своего собственнаго ничтожества и своего удаленія отъ людей добрыхъ и злыхъ».

6) Андреоли понимаетъ подъ l'anime triste—gl'ignavi⁵⁾

7) Бартоли⁶⁾ слѣдуетъ общепринятому толкованію. «Первыми видимъ мы, въ *antinferno*, говорить онъ лѣнтяевъ (ignavi). Люди, которые при жизни избѣгали всякой благородной дѣятельности и были лишены характера, принуждены вѣчно бѣгать за знаменемъ, которое вѣчно движется».

8) У Казини, къ ст. 36, читаемъ:... senza avere il corraggio di operare il male né quello di fare il bene; e però non meritano l'infamia, che è pena dovuta ai malvagi, né la lode o il buon nome, che è premio dei virtuosi.

Къ ст. 49 (*fama di loro ecc*): in mondo degli uomini non concede agli ignavi alcuna fama; né la buona che séguita alle virtuose opere, né la cattiva che tien dietro alle male operazioni. Стихи 52 — 57 Казини комментируетъ вышеприведенной цитатой изъ Фр. да Бути; а ст. 65—69 словами Джуліани⁷⁾.

1) G. V. Giuliani. Metodo di comentare la D. Com. di D. Al. Firenze, 1861.

2) La Div Commedia col comento di Pietro Fraticelli, Firenze, 1869.

3) La Div. Com. di D. Al. riveduta nel. testo e commentata da G. A. Scartazzini; v. 3, Leipzig, Brockhaus, 1874.

4) Ф. Вегеле. Дантъ Аллигьери, его жизнь и сочиненія. Переводъ А. Н. Веселовскаго. М. 1881. Стр. 353.

5) La D. Com. di D. Al. col. comento di Raffaele Andreoli Firenze, 1886.

6) A. Bartoei, storia della letter. italiana, v. VI^o, p. 103.

7) La Divina Commedia con il commento di T. Casini. Ed quarta, Firenze, 1896.

Такимъ образомъ для всѣхъ, указанныхъ нами, изслѣдователей XIX в., какъ и для Христофора Ландино и Веллютелло, l'anime triste представляются прежде всего *подлыми трусами* (vili, viglacchi, ignavi, pusillanimi), а затѣмъ, уже вслѣдствіе преобладанія такого качества, *лѣнтяями* (pigri). Опираясь на ихъ авторитетъ, можно оставить въ сторонѣ разборъ мнѣній другихъ изслѣдователей и утверждать, что до настоящаго времени никто не доказалъ необходимости иного пониманія аллегоріи l'anime triste¹⁾, никто даже не попытался возобновить гипотезу Боккаччо.

Гипотеза Ландино, съ перваго взгляда такая простая и ясная, заставила забыть о Боккаччо, хотя, какъ уже было указано, сама она всецѣло вытекаетъ изъ комментарія послѣдняго. Толкованіе Боккаччо гораздо глубже, остроумнѣе и послѣдовательнѣе, и, несомнѣнно, заслуживало бы преимущества, если бы пришлось выбирать между Ландино и Боккаччо. Поэтому, необходимо прежде всего разобраться въ томъ, удовлетворяетъ ли гипотеза Боккаччо всѣмъ нашимъ требованіямъ, т.-е., доказательно ли она объясняетъ все, касающееся l'anime triste; если окажется, что не удовлетворяетъ, тѣмъ самымъ будетъ подорвано и вытекающее изъ нея толкованіе Ландино и его единомышленниковъ.

При внимательномъ разсмотрѣніи гипотезы Боккаччо, возникаетъ цѣлый рядъ вопросовъ, на которые она не даетъ удовлетворительнаго отвѣта и которые совершенно подрываютъ ея доказательность.

1) Если, вмѣстѣ съ Боккаччо, подъ l'anime triste понимать людей, которые, вслѣдствіе крайней флегматичности, совершенно лишены способности дѣйствовать, не осмѣливаются ни на что рѣшиться и влечать жалкое существованіе, подобно грубымъ животнымъ или гнуснымъ червямъ, какимъ образомъ могъ Данте сказать о нихъ, что они прожили *senza infamia e senza lodo*, т.-е. безъ порицанія и похвалы? Въ самомъ дѣлѣ, если мы обратимся къ дѣйствительности современной намъ или Данте, не трудно замѣтить, что подобныя личности всегда вызываютъ къ себѣ отрицательное отношеніе со стороны окружающихъ, большинство которыхъ, такъ или иначе, живетъ дѣятельно. Это отрицательное отношеніе вполне понятно: если мы ясно представимъ себѣ, какъ тѣсно и многообразно переплетается жизнь отдѣльнаго человѣка съ жизнью другихъ людей, мы вмѣстѣ съ тѣмъ ясно представимъ себѣ полную невозможность для l'anime triste Боккаччо прожить безъ порицанія и презрѣнія, хотя

¹⁾ На русскомъ языкѣ существуетъ статья акад. А. Н. Веселовскаго: „Нерѣшительные, нерѣшительные и безразличныя Дантова Ада“. (Ж. М. Н. Пр., 1888 г.) Авторъ понимаетъ подъ l'anime triste людей *обояднѣвъ и безразличнѣвъ*. „Полу-грѣшныя, полу-правдивыя ангелы“, говоритъ онъ: „попали въ общій сонмъ людей безразличныхъ не только передъ широкими принципами добра и зла, но и практически-нерѣшительныхъ, трусливыхъ, робкихъ духомъ передъ требованіями дѣла“. Это объясненіе тѣсно примыкаетъ къ традиціонному.

бы со стороны ихъ близкихъ; а въ средніе вѣка, когда отдѣльная личность обязательно примыкала къ какой-нибудь корпораціи, это было еще менѣе возможно, чѣмъ теперь.

Противъ этого толкованія могли бы возразить, что оно основано на невѣрномъ пониманіи 36 ст., въ которомъ *infamia* означаетъ *широкую извѣстность* въ дурномъ смыслѣ, а *lodo*—въ хорошемъ, и *l'anime triste* не получили ни той, ни другой, потому что не совершили ничего выдающагося. Подобное пониманіе было бы умѣстно, если бы дѣло шло о произведеніи одного изъ тѣхъ язычниковъ, которые, по мѣткому замѣчанію Боккаччо, не имѣли понятія о небесномъ блаженствѣ и цѣлью жизни считали приобрѣтеніе мірской славы¹⁾, но по отношенію къ Данте оно не выдерживаетъ критики.

Во-первыхъ, если отъ *infamia* можно заключать къ *lodo* = *buona fama*, что мѣшаетъ, исходя отъ *lodo*, съ такимъ же успѣхомъ понимать въ *infamia* только противоположное понятіе? Во-вторыхъ, какъ могъ Данте, распредѣляя грѣшниковъ, руководствоваться, въ данномъ случаѣ, такимъ критеріемъ, какъ мірская извѣстность, когда внѣ ея сферы могутъ находиться люди совершенно различныхъ категорій: и великіе праведники, всю жизнь незамѣтно работавшіе на пользу ближняго, и закоренѣлые грѣшники, ловко умѣвшіе хоронить концы въ воду, и огромная масса среднихъ людей, которые не гонятся за идеалами и живутъ, «не мудрствуя лукаво»? Въ третьихъ, какимъ образомъ Данте, съ его гениальнымъ умомъ и глубокимъ пониманіемъ религіи, могъ бы приписать Творцу, который выше всего земного, идею — осудить людей зато, что они не старались приобрѣсти извѣстность во время жизни на землѣ, не добивались суетной славы, противъ которой отъ Его имени всегда ратовала церковь?

Между тѣмъ, если объяснять 36 ст. не съ античной точки зрѣнія, отъ вліянія которой не могъ уберечься гуманистъ Боккаччо, а съ христіанской, то смыслъ словъ Данте будетъ вполне ясенъ и сведется, какъ мы уже сказали выше, къ слѣдующему: которые прожили, не оставивъ по себѣ ни дурной памяти, ни хорошей, такъ какъ при жизни никто не порицалъ ихъ и не хвалилъ. А разъ это такъ, подъ *l'anime triste* нельзя понимать тѣхъ, на кого указываетъ Боккаччо²⁾.

1) Il Comento, v. I, p. 229.

2) Относительно стиха 36 считаемъ необходимымъ сдѣлать еще одно замѣчаніе. У Скартаццини (*Enciclopedia dantesca*, v. I, p. 1028; *infamia*) мы читаемъ: „Въ этомъ мѣстѣ большая часть кодексовъ и большинство изданій и комментаторовъ имѣютъ *senza fama* вмѣсто *senza infamia*. Но что значило бы тогда *lodo*? Въ этомъ стихѣ, очевидно, заключаются противоположныя понятія: *lodo*, т. е. *Lode*, *Fama* и т. п. и, съ другой стороны, *infamia*; такъ какъ Данте, конечно, не могъ сказать: *Vissero senza fama e senza fama!*“ Разумѣется, Данте не могъ сказать такой безсмыслицы; но сказать — *che vissero senza fama e senza lodo* онъ

2) Въ тѣсной связи съ 36 ст. стоитъ 49: *Fama di loro il mondo esser non lassa*. Здѣсь *fama* = *memoria*¹⁾, и слова Данте означаютъ: на землѣ не остается памяти о нихъ, т.-е. послѣ смерти никто не поминаетъ ихъ ни дурныхъ, ни хорошихъ. Если понимать *l'anime triste* по Боккаччо, 49 ст. тоже не можетъ быть примѣняемъ къ нимъ. Такіе люди, какъ уже было сказано, доставляютъ не мало хлопотъ окружающимъ; дурная репутація, которой они пользуются при жизни, не скоро забывается и послѣ смерти, по крайней мѣрѣ среди тѣхъ, съ которыми они непосредственно соприкасались; нерѣдко случается, что подобныя личности становятся героями анекдотическихъ разсказовъ, получающихъ болѣе или менѣе широкое распространеніе.

3) Огромное большинство людей всегда вело и ведетъ борьбу за существованіе, бьется изъ-за насущнаго хлѣба; большинство не знаетъ сомнѣній, живетъ готовыми идеалами, которые создаются и видоизмѣняются вѣками и умѣетъ ихъ отстаивать; терзаться сомнѣніями, предаваться праздности имѣетъ возможность ничтожное меньшинство. Среди этого меньшинства только и можно искать *l'anime triste* Боккаччо, какъ исключенія изъ общей массы трудящагося человѣчества. Если это такъ, какимъ образомъ Данте могъ сказать, что за знаменемъ

. . . *venia si longa trattà*
Di gente, ch'io non avrei mai creduto
Che morte tanta n'avesse disfatta.
(*Inf.*, III, 55—57)?

Откуда такая многочисленность? Неужели наблюдательность, которой мы удивляемся у Данте на каждомъ шагѣ, въ данномъ случаѣ настолько измѣнила ему? Ясно, что *l'anime triste* слѣдуетъ искать не тамъ, гдѣ ихъ думалъ найти Боккаччо.

4) Предложенному имъ пониманію *l'anime triste* противорѣчить и 60-й ст.: *Che fece per viltate il gran rifiuto*. Какимъ образомъ одинъ изъ тѣхъ, которые отличались полнымъ отсутствіемъ активности, могъ рѣшиться на «великое отреченіе»? Не противорѣчить ли это боязни склониться на ту или другую сторону? Кто оказался способнымъ

могъ бы, и это значило бы: которые прожили безъ извѣстности (въ потомствѣ) и безъ похвалы (при жизни), т.-е. не только не сдѣлали ничего такого, что доставило бы имъ память въ потомствѣ, но не заслужили даже простого одобренія отъ окружающихъ. Такое различіе понятій *fama* и *lodo* дѣлаетъ уже Боккаччо, подробно разсматривающій значеніе словъ: *onore, laude, gloria* и *fama* (*Il Comento*, v. I, p. 229—231). Такимъ образомъ, на основаніи смысла нельзя рѣшить, что предпочтительнѣе—*senza infamia* или *senza fama*. Мы дѣлаемъ это замѣчаніе попутно, потому что для нашей гипотезы почти безразлично, писать ли *senza infamia* или *senza fama*.

1) См. у Скартаццини, *Encicl. Dantesca*, v. I, *Fama*.

per viltate совершить «великое отречение», того никакъ нельзя отнести къ жалкимъ существамъ, не годнымъ ни на дурное, ни на хорошее, потому что, подъ влияніемъ той же viltate, онъ можетъ совершить и великое злодѣяніе.

Стихъ 60-й и въ другомъ отношеніи не вяжется съ гипотезой Боккаччо. Какъ можно къ человѣку, совершившему «великое» отречение вслѣдствіе малодушія (трусости, подлости) примѣнить стихъ: *Fama di Iogo il mondo esser non lassa?* Не естественнѣе ли было бы ожидать, что подобнымъ поступкомъ онъ заслужилъ позорную извѣстность у современниковъ и потомства?

5) Оговорившись относительно невозможности рѣшить, на кого именно Данте намекаетъ въ 60-мъ стихѣ, Боккаччо приводит весьма распространенное въ его время толкованіе, «*communis et vulgaris fere opinio*», какъ отзывается о немъ Бенвенуто Рамбальди; а по этому толкованію въ 60 ст. нужно видѣть указаніе на папу Целестина V. Боккаччо и не замѣчаетъ, что, допуская возможность такого предположенія, онъ опять-таки кореннымъ образомъ подрываетъ свое собственное объясненіе *l'anime triste*.

Pietro di Morone, избранный 5-го іюля 1294 г. папою подъ именемъ Целестина V, былъ благочестивый, отшельникъ, всю жизнь свою проведеній вдали отъ мірской суеты въ подвигахъ аскетизма, и удостоившійся въ 1313 г. быть причисленнымъ къ лику святыхъ католической церкви. Что папскій престолъ не мѣсто для скромнаго аскета, это скоро понялъ престарѣлый Целестинъ; охваченный потокомъ новыхъ и сложныхъ обязанностей, очутившись въ водоворотѣ низкихъ страстей, которымъ давно уже стала римская курія, онъ увидѣлъ передъ собою неизбѣжную опасность—удалиться отъ Бога и снова погрузиться въ мірскую суету, отъ которой юношей бѣжалъ въ пустыню; и вотъ, желая спасти свою душу, онъ отрекся отъ папскаго престола черезъ 5 мѣсяцевъ послѣ избранія.

Не странно ли, что такого человѣка Боккаччо счелъ возможнымъ отнести къ *l'anime triste*, т.-е. къ презрѣннымъ существамъ, жившимъ «подобно грубымъ животнымъ или мерзкимъ и гнуснымъ червямъ»? Одно изъ двухъ: или въ 60-мъ стихѣ говорится не о Целестинѣ V, или Боккаччо неправильно понялъ *l'anime triste*.

6) Возвышенное представленіе Данте о милосердіи и справедливости Творца не совмѣстимо съ 50-мъ ст., если понимать подъ *l'anime triste* тѣхъ несчастныхъ, которые, по замѣчанію самого Боккаччо, грѣшили *per mentecattagine* ¹⁾.

7) Понятно, почему грѣшники атріума ада названы «*A Dio spiacenti*»; но почему они также непріятны *a' nemici sui*, если они *sono pigri, oziosi*

¹⁾ Il Comento. v. I, 264.

e tardi? ¹⁾ Развѣ такая жизнь не является грѣховной, т.-е. пріятной врагамъ Бога?

Можно бы привести еще нѣсколько соображеній противъ гипотезы Боккаччо; но, кажется, и сказаннаго совершенно достаточно для того, чтобы признать ее неудовлетворительной. Признавъ это, мы вмѣстѣ съ тѣмъ признаемъ опровергнутой гипотезу Ландино и всѣхъ его продолжателей, вплоть до нашего времени. Въ самомъ дѣлѣ, что справедливо относительно *mentecatti o dementi* Боккаччо, то еще болѣе справедливо относительно подлыхъ и лѣнивыхъ трусовъ Ландино. Поэтому, предоставляя читателю самому сдѣлать необходимыя измѣненія въ приведенныхъ нами противъ Боккаччо соображеніяхъ, мы переходимъ къ изложенію своего собственнаго взгляда на *l'anime triste*.

Неужели Данте такъ скрылъ свою мысль *sotto il velame degli versi strani*, что нѣтъ никакой возможности отгадать ее? Неужели въ разбираемомъ отрывкѣ нѣтъ такого выраженія, которое послужило бы путеводной нитью? Намъ кажется, что такой именно многозначительностью обладаютъ стихи 37—39, которыми подчеркивается и выясняется содержаніе понятія *l'anime triste*. Въ самомъ дѣлѣ, за что къ грѣшникамъ атриума присоединены ангелы? Только за то, что они *per sè fôro*. Это *per sè fôro* и служить, по нашему мнѣнію, ключомъ къ пониманію всего эпизода. Ангелы наказаны за то, что были нейтральны, держались во время возмущенія Люцифера *сами по себѣ*; за такой же грѣхъ, слѣдовательно, наказаны и прочіе грѣшники атриума.

Такимъ образомъ, подъ *l'anime triste* слѣдуетъ понимать не малоумныхъ флегматиковъ и не подлыхъ трусовъ, а тѣхъ *эгоистовъ* ²⁾, которые цѣль жизни видѣли въ удовлетвореніи запросовъ своего я, всегда *per sè fôro*. Многіе изъ нихъ были людьми умными, мужественными, дѣятельными, но всѣ эти дарованія не принесли плода, потому что были направлены на удовлетвореніе эгоистическихъ стремленій.

Оберегая свое благополучіе, они закрывали глаза на все, что не касалось ихъ непосредственно; они не творили зла, чтобъ не повредить себѣ въ этой или въ будущей жизни, а когда творили добро, правая рука ихъ всегда знала, что дѣлаетъ лѣвая, и добро это никогда не влекло за собой лишеній. Подобно нейтральнымъ ангеламъ, они уклонялись отъ борьбы за принципы, но не изъ трусости и всегда подъ такими благовидными предлогами, что никому и въ голову не приходило осудить ихъ;

¹⁾ П. Comento, v. I, 269.

²⁾ Изъ дальнѣйшаго изложенія ясно будетъ, какой именно типъ эгоистовъ нужно разумѣть подъ *l'anime triste*. Русскій народъ характеризуетъ такихъ людей пословицей: „Моя хата съ краю—ничего не знаю“. Это обособленіе личности отъ окружающаго міра является самой характ. чертой эгоистовъ атриума ада; такъ что, въ извѣстномъ смыслѣ, ихъ можно называть *индивидуалистами*

но если дѣло доходило до самозащиты, у нихъ не было недостатка въ мужествѣ и силѣ.

Они жили *senza infamia e senza lodo*, а послѣ смерти *Fama di loro il mondo esser non lassa*, п. ч. окружающимъ не было отъ нихъ ни тепло, ни холодно, и нельзя было помянуть ихъ ни дурнымъ, ни хорошимъ. Эти несчастные «никогда не жили» (*mai non fur vivi*), п. ч. безъ борьбы за высшіе принципы Данте не понималъ жизни. Совершенно понятно, почему Данте называетъ этихъ эгоистовъ—а *Dio spiacenti*; но почему они названы также *spiacenti a' nemici sui*? Несомнѣнно, потому, что они, оберегая свое благополучіе, сознательно избѣгали зла, и у діавола не было достаточныхъ основаній считать ихъ своей добычей.

Если понимать подъ *l'anime triste* такого рода эгоистовъ, ясно будетъ, почему Данте встрѣтилъ ихъ такое множество. Обратившись къ дѣйствительности, не трудно замѣтить, что большинство живетъ *per se*; очевидно, и во времена Данте дѣло обстояло точно также.

Если принять предложенное нами толкованіе, стихъ: *Che fece per viltate il gran rifiuto* становится совершенно яснымъ. Такъ какъ эгоисты встрѣчаются на всѣхъ ступеняхъ общественной лѣстницы, вполне естественно, что одинъ изъ нихъ «совершилъ великое отреченіе»; но онъ совершилъ его, очевидно, подъ такимъ благовиднымъ предлогомъ, что остался правъ въ глазахъ современниковъ и не навлекъ на себя *infamia*. Въ данномъ случаѣ *viltate* вовсе не равняется *ignavia, pusillanimità*, какъ толкуютъ иные комментаторы, а значить только «низость», т.-е. неспособность понимать высшіе интересы.

Принимая это въ соображеніе, можно съ большей вѣроятностью рѣшить вопросъ о томъ, кого нужно разумѣть въ 60-мъ стихѣ. Скартаццини совершенно правильно замѣчаетъ, что слова *vidi e conobbi* 59-го ст. заставляютъ предполагать кого-нибудь изъ современниковъ Данте. Наиболее вѣроятными кандидатами, по его мнѣнію, слѣдуетъ считать папу Целестина V и *Vieri de' Cerchi*, предводителя партіи бѣлыхъ во Флоренціи¹⁾. Остается рѣшить, кто изъ нихъ болѣе подходит къ понятію *l'anime triste* въ указанномъ нами смыслѣ.

Мы уже выяснили, что съ точки зрѣнія Боккаччо и Ландино папа Целестинъ V никакъ не можетъ быть отнесенъ къ *l'anime triste*; но съ нашей точки зрѣнія это вполне возможно. Хотя *Pietro di Morone* и прожилъ всю жизнь отшельникомъ, предаваясь подвигамъ аскетизма, тѣмъ не менѣе его вполне можно назвать глубокимъ эгоистомъ: онъ всегда жилъ только для себя и отъ папскаго престола отказался ради собственнаго душевнаго спасенія, не рѣшившись, подобно евангельскому пастырю, «положить душу за овцы своя». Понятно, что Данте, который ставилъ

¹⁾ La Div. Commedia, v. 10, p. 23.

добрыя дѣла выше отвлеченныхъ вѣрованій и который, можетъ-быть, ожидалъ отъ благочестиваго папы реформы церкви въ духѣ истиннаго христіанства, былъ глубоко возмущенъ подобнымъ эгоистическимъ поступкомъ и помѣстилъ Целестина V въ атриумъ ада вмѣстѣ съ прочими *l'anime triste*. О Целестинѣ V точно также можно сказать, что онъ прожилъ *senza infamia e senza lodo*, потому что еще въ юности бѣжалъ отъ общества людей; отреченіе не опозорило его, потому что было совершено подѣ такимъ благовиднымъ предлогомъ, какъ желаніе удалиться отъ мірской суеты и всецѣло отдаться Богу. Благочестивый отшельникъ промелькнулъ на папскомъ престолѣ, какъ метеоръ, не оставивъ слѣдовъ своего правленія, и не за что было его поминать ни добромъ, ни зломъ.

Vieri de' Cerchi гораздо труднѣе отнести къ *l'anime triste*. У современныхъ ему историковъ мы находимъ упоминанія о немъ, какъ о чловѣкѣ дрянномъ и малодушномъ¹⁾. Одно это мѣшаетъ присоединить его къ тѣмъ, которые прожили *senza infamia e senza lodo*.

При такомъ пониманіи *l'anime triste*, какое мы предлагаемъ, совершенно понятнымъ становится ихъ положеніе въ атриумѣ ада. Земную жизнь эти эгоисты провели изолированно, забывали обо всѣхъ, кромѣ самихъ себя, и за это въ загробной жизни они сами забыты между небомъ и адомъ:

Cacciârli i ciel per non esser men belli;
Nè lo profondo inferno gli riceve.
(Inf. III, 40—41).

Само по себѣ это изолированное положеніе не является наказаніемъ и становится вполне понятнымъ только съ точки зрѣнія закона возмездія, примѣняющагося въ дантовомъ адѣ. По этому закону грѣхъ земной жизни становится неразлучнымъ спутникомъ грѣшника за гробомъ, источникомъ его душевныхъ мукъ. Значитъ, эгоисты земной жизни и за гробомъ остаются эгоистами; на землѣ они думали только о себѣ, и за гробомъ эгоистическія заботы неотступно преслѣдуютъ ихъ; но въ земной жизни эгоизмъ давалъ радости, а за гробомъ становятся источникомъ вѣчныхъ мученій.

Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть для такихъ эгоистовъ ужаснѣе сознанія полной безнадежности своего положенія, сознанія того, что они забыты небомъ и адомъ, что *Misericordia e giustizia gli sdegnano*? Они не могутъ отрѣшиться отъ своей эгоистической натуры, отъ постоянной заботы о себѣ, отъ желанія улучшить свою участь,—и сознаютъ полную невозможность чѣмъ-либо помочь себѣ; всякая другая участь кажется имъ счастливейше, потому что,—подсказываетъ эгоизмъ,—она, быть-можетъ, въ концѣ концовъ явится ступенюю къ лучшему, но совѣсть подсказываетъ, что

¹⁾ Casini, La Div. Comm., p. 18.

на переѣну судьбы нѣтъ никакой надежды. Нужна была гениальность Данте, чтобы создать для этихъ эгоистовъ такой душевный адъ!

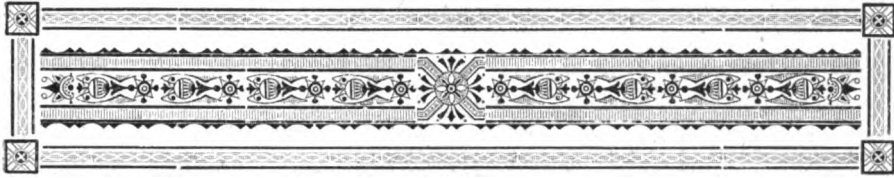
Матеріальныя мученія грѣшниковъ атріума ада являются аллегорическимъ изображеніемъ моральныхъ. Эгоисты обнажены и ничѣмъ не прикрыты отъ мухъ и осъ, т.-е. ничто не можетъ укрыть ихъ отъ эгоистическихъ мученій; эти мученія эгоистичны и ничтожны, а потому представлены въ образѣ мухъ и осъ; эгоисты плачутъ, но не слезами раскаянія, а слезами горя о самихъ себѣ, поэтому слезы ихъ пожираются гнусными червями, являющимися опять-таки символомъ эгоизма; они должны вѣчно и неустанно бѣгать за знаменемъ, которое носится по кругу, потому что никакъ не могутъ выйти изъ заколдованнаго круга безплодной погони за призракомъ личнаго блага.

Таковъ глубокій смыслъ аллегоріи *l'anime triste*. Данте, душа котораго до самой смерти горѣла партійными страстями, не могъ равнодушно пройти мимо тѣхъ людей, которые жили только *per se* и своимъ тупымъ эгоизмомъ мѣшали осуществленію самой дорогой мечты его—возстановленію римской имперіи; и вотъ онъ заклеилъ этихъ людей въ образѣ *l'anime triste*.

Отрицательное отношеніе Данте къ людямъ, жившимъ *per se*, крайне интересно для характеристики цѣлой эпохи; это—одинъ изъ фактовъ борьбы средневѣкового міросозерцанія противъ духа индивидуализма, который уже давно началъ свою разрушительную работу, но еще не осмѣливался выступать открыто. Но пройдетъ нѣсколько десятилѣтій послѣ смерти творца Божественной Комедіи, и представители Ренессанса смѣло провозгласятъ, что человѣкъ имѣетъ законное право жить *per se*.

П. А. Рождественскій.





Морисъ де Геранъ.

Страница изъ исторіи французскаго романтизма.

Имя Мориса де Герэна почти не извѣстно у насъ въ Россіи. Между тѣмъ, не принадлежа къ числу выдающихся писателей, онъ представляетъ собой, несомнѣнно, интересное литературное явленіе, знакомство съ которымъ далеко не бесполезно при изученіи исторіи французскаго романтизма. Хотя историки литературы только вскользь упоминаютъ это имя, и хотя о Геранѣ, сколько мнѣ извѣстно, не существуетъ специальныхъ монографій, кромѣ статей Сентъ-Бева и Жоржъ Зандъ, однако, уже тотъ фактъ, что сочиненія его въ настоящее время выдержали болѣе двадцати изданій¹⁾, указываетъ на существованіе значительнаго интереса къ нему во Франціи и вмѣстѣ оправдываетъ выборъ нашей темы.

Литературное наслѣдіе, оставленное Герэномъ, очень невелико и представляетъ собою небольшой томъ въ 400 страницъ, въ которомъ собрано все имъ написанное, при чемъ наиболѣе значительная часть книги занята дневникомъ Герэна и его письмами, которыя, конечно, вовсе не предназначались авторомъ для опубликованія. Впрочемъ, нужно принять во вниманіе, что Геранъ умеръ еще въ молодыхъ годахъ и что обстоятельства жизни не позволяли ему свободно отдаться литературнымъ занятіямъ, а болѣзненная нерѣшительность и неувѣренность въ своихъ силахъ и способностяхъ лишали его необходимой для успѣшной работы энергіи. Изъ чисто литературныхъ произведеній Герэна до насъ дошло очень немногое: нѣсколько лирическихъ и описательныхъ стихотвореній, да небольшая поэма въ прозѣ: «Кентавръ», представляющая по своей ху-

¹⁾ Maurice de Guérin. Journal, lettres et poèmes. Publiés par G. S. Trebutien. Paris, 1890. Первое изданіе вышло въ 1860 году.

дожественности настоящий chef d'oeuvre. Поэма эта была опубликована уже послѣ смерти автора, въ 1840 году, въ *Revue des Deux Mondes* и возбудила въ литературныхъ кругахъ всеобщее вниманіе, какъ прекрасная лебединая пѣснь много общавшаго, но не успѣвшаго расцвѣсть таланта.

Вмѣстѣ съ этой поэмой была напечатана и посвященная умершему писателю статья Жоржъ Зандъ, заключающая въ себѣ характеристику Герэна, какъ человѣка и какъ поэта, основанную на личныхъ воспоминаніяхъ. Статья эта проникнута душевной теплотой и сожалѣніемъ о рано погибшемъ талантѣ. «Герэнъ,—говоритъ здѣсь знаменитая писательница,—принадлежалъ къ числу тѣхъ нѣжныхъ душъ, которыхъ оскорбляетъ обычная дѣйствительность, къ числу душъ влюбленныхъ въ красоту и въ истину, негодующихъ на собственное безсиліе подняться до своего идеала и обреченныхъ на тѣ таинственные страданія, которыя въ различныхъ формахъ нашли свое поэтическое воплощеніе въ образахъ Рене, Обермана и Вертера. Пятнадцать писемъ Герэна, находящіяся въ нашихъ рукахъ, складываются въ тихій однообразный напѣвъ (une monodie), не менѣе трогательный и прекрасный, чѣмъ наиболее совершенныя поэмы, изображающія человѣческую душу и предназначенныя для обнародованія. На нашъ взглядъ, они даже выше ихъ, такъ какъ освящены тайной простодушной печали (tristesse naïve), выступающей въ нихъ безъ всякихъ прикрасъ, безъ зрителей, безъ искусственности; письма эти полны настоящей поэзіи, благородства души и той естественной возвышенности стиля и мыслей, которой рѣдко достигаютъ произведенія, рассчитанныя на публику и носящія слѣды корректурныхъ поправокъ. Въ этихъ письмахъ разбросаны тамъ и сямъ удивительныя выраженія, изъ числа тѣхъ, которыя профессиональные писатели оставляютъ въ запасъ, для того, чтобы вставить ихъ въ концѣ своихъ періодовъ, подобно большому алмазу на вершинѣ діадемы».

Сентъ-Бевъ посвятилъ Герэну довольно обширную статью, въ которой онъ, на основаніи біографическаго матеріала, заключеннаго въ дневникъ и письмахъ, старается выяснитъ характерныя черты его личности, опредѣлившія его литературную фізіономію. Болѣе всего критикъ останавливается на отношеніи Герэна къ природѣ, на его тонко-развитой способности подмѣчать въ ней даже ничтожныя явленія, повсюду находить въ ней новыя формы красоты, и на его умѣніи «живописать словами». Такимъ образомъ, подобно Ж. Зандъ, онъ выдвигаетъ на первый планъ художественную чуткость Герэна, мало освѣщая другія стороны его личности. Съ этой точки зрѣнія оцѣниваетъ онъ и его поэму «Le Centaure», которую Сентъ-Бевъ ставитъ очень высоко; по его мнѣнію, *Кентавръ* есть «великолѣпное и единственное въ своемъ родѣ созданіе, въ которомъ прочувствованы, выражены и воплощены всѣ первичныя природныя силы

и которымъ авторъ вполне справедливо заслужилъ названіе *Андре Шенье пантеизма*, данное ему однимъ изъ его друзей».

Таково было сужденіе ближайшихъ современниковъ поэта. Для насъ же его произведенія, помимо чисто художественнаго интереса, имѣютъ еще значеніе въ качествѣ правдиваго «человѣческаго документа», рисующаго намъ съ довѣрчивой простотой душу автора, съ ея индивидуальными и типическими чертами. Со страницъ его дневника смотритъ на насъ задумчивое и печальное лицо одного изъ представителей молодого поколѣнія 30-хъ годовъ, возросшаго въ атмосферѣ романтическихъ теченій, но выступившаго на литературное поприще уже въ то время, когда острый періодъ борьбы противъ старыхъ классическихъ традицій, періодъ «бурнаго натиска», уже миновалъ, и когда старшіе братья этого поколѣнія, В. Гюго, Шарль Нодье, Просперъ Мериме, уже успѣли завоевать себѣ прочное положеніе на литературномъ Парнасѣ. Къ этому младшему поколѣнію принадлежалъ А. де Мюссе, первыя произведенія котораго носятъ яркій отпечатокъ романтическаго духа; къ нему же принадлежитъ и Герэнъ, представлявшій, однако, въ нравственномъ отношеніи полную противоположность насмѣшливому и самоувѣренному автору «Rolla».

Внѣшняя исторія жизни Герэна проста и немногосложна. Онъ происходилъ изъ древняго, но обѣднѣвшаго дворянскаго рода. Родился онъ въ 1810 году, въ одинъ годъ съ Мюссе, въ родовомъ замкѣ Кейля, на югѣ Франціи. Рано лишившись матери, онъ съ дѣтства привыкъ къ одиночеству, развившему въ немъ застѣнчивость и склонность къ мечтательности. Отецъ его, отличавшійся большой религіозностью, составлявшей наследственную черту въ фамиліи Герэновъ, передалъ эту особенность и своему сыну, въ которомъ однако поэтическій темпераментъ смягчилъ суровую опредѣленность догматическихъ взглядовъ строгаго католика. 13-ти лѣтъ молодой Герэнъ былъ отданъ въ collège Stanislas, въ Парижѣ. По окончаніи курса онъ долгое время колебался относительно выбора дальнѣйшей дѣятельности. Наконецъ, религіозный интересъ привелъ его въ концѣ 1832 года въ Ла-Шенэ, гдѣ вокругъ знаменитаго аббата Ламенэ группировался тогда небольшой кружокъ преданныхъ учениковъ и послѣдователей, главнымъ образомъ изъ числа бывшихъ сотрудниковъ его по изданію журнала *l'Avenir*. Впрочемъ, ко времени переселенія Герэна въ Ла-Шенэ журналъ этотъ былъ уже прекращенъ по требованію духовнаго начальства. Здѣсь Герэнъ оставался въ теченіе почти цѣлаго года, занимаясь преимущественно изученіемъ философіи и новыхъ языковъ, а еще болѣе — мечтательными прогулками по живописнымъ окрестностямъ бретонской деревушки. Но вскорѣ самое существованіе неофициальной семинаріи въ Ла-Шенэ стало невозможнымъ, вслѣдствіе подозрительности духовныхъ властей и въ сентябрѣ 1833 года аббату Ламенэ пришлось распустить свою небольшую паству.

Послѣ короткаго пребыванія въ имѣніи одного изъ своихъ бретонскихъ друзей, Герэнъ поселился въ Парижѣ, гдѣ ему пришлось добывать себѣ средства къ существованію уроками и случайнымъ сотрудничествомъ въ журналахъ. Природная робость и недовѣріе къ собственнымъ силамъ служили ему большой помѣхой въ этой тяжелой борьбѣ за существованіе. Дневникъ Герэна свидѣтельствуетъ о томъ угнетенномъ, близкомъ къ отчаянію настроеніи, въ которомъ онъ находился во время своей парижской жизни. Къ тому же тяжелыя условія существованія подрывали въ корнѣ его слабое здоровье, и несмотря на благопріятную переměну, наступившую для него вслѣдствіе женитьбы на богатой креолкѣ, жизненные силы его быстро таяли и лѣтомъ 1839 года онъ скончался, на своемъ родномъ югѣ, куда по его желанію онъ былъ перевезенъ незадолго до смерти.

Въ слѣдующемъ году въ *Revue des Deux Mondes* былъ напечатанъ его «Кентавръ», вмѣстѣ съ цитированной выше статьёй Жоржъ Зандъ, и только тогда критика и публика замѣтили, что въ лицѣ Герэна они потеряли даровитаго и оригинальнаго писателя, творческая работа котораго была преждевременно остановлена беспощадною смертью. «Тогда, по словамъ Сентъ-Бева, возникла среди молодежи цѣлая школа его поклонниковъ, передававшихъ другъ другу имя Герэна, соединявшихся въ поклоненіи этой юной памяти и ожидавшихъ минуты, когда будутъ обнаружены всѣ его произведенія, когда вся душа его будетъ открыта для взоровъ». Это желаніе поклонниковъ Герэна исполнилось, однако, не ранѣе, какъ черезъ двадцать лѣтъ, когда въ 1860 году вышло наконецъ въ свѣтъ изданіе его сочиненій, въ которомъ были собраны какъ его немногочисленные литературныя произведенія, такъ и его письма и дневникъ. Такимъ образомъ явилась возможность ближе познакомиться съ его душой, съ его внутренней жизнью, съ жизнью одинокаго мечтателя, робко сторонившагося отъ суровой дѣйствительности.

Уже на первыхъ страницахъ своего дневника, повѣряетъ онъ этому «нѣмому другу» тѣ грустныя думы, какія навѣяло на него чтеніе «Рене» Шатобриана. Не трудно понять, почему это произведеніе оказывало на него такое сильное впечатленіе: онъ какъ бы бессознательно чувствовалъ свое духовное сродство съ героемъ Шатобриана, чувствовалъ, что и самъ онъ страдаетъ тѣмъ же духовнымъ недугомъ, который наложилъ свою печать на всѣ поколѣнія романтиковъ. Недугъ этотъ—меланхолія, безпредметная тоска, на которую жалуется 18-лѣтній Герэнъ въ одномъ изъ первыхъ своихъ писемъ къ сестрѣ. Къ этому же времени относится и его письмо къ одному изъ его наставниковъ въ *collège Stanislas*, аббату Бюке; письмо это, весьма важное въ качествѣ автобіографическаго документа, даетъ свѣдѣнія о его дѣтствѣ и воспитаніи и вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ собой попытку дать свою собственную характеристику, основан-

ную на самоанализѣ. Герэнъ между прочимъ пишетъ въ немъ: «другимъ источникомъ моихъ страданій (кромѣ сомнѣнія въ собственныхъ силахъ и недовольства собою) является для меня дѣятельность моей мысли; переходя съ предмета на предметъ, она всегда носитъ съ собою идею смерти и набрасываетъ на весь міръ мрачный саванъ, нигдѣ не находя отраднaго явленія. Повсюду она видитъ лишь бѣдствія и уничтоженіе, и даже во время сна, предоставленная самой себѣ, она отправляется бродить среди могилъ... Мысль о конечной судьбѣ всѣхъ вещей неотступно преслѣдуетъ меня; явленія, болѣе всего способныя уничтожить эту мысль постоянно приводятъ мнѣ ее на память, и никогда не является она мнѣ съ такой настойчивостью, какъ въ минуты удовольствія и живой радости».

Несмотря на нѣкоторую взвинченность тона и искусственность образовъ, легко объясняемую, какъ молодостью автора, такъ и влияніемъ господствующихъ литературныхъ приемовъ, мы не имѣемъ основанія усомниться въ искренности этого признанія, тѣмъ болѣе, что тѣ же самыя мысли встрѣчаемъ мы и въ письмѣ Герэна къ его сестрѣ Евгеніи, написанномъ годъ спустя. Общее настроеніе здѣсь такое же грустное и подавленное, какъ и въ первомъ письмѣ. Размышленія молодого философа проникнуты спокойной безнадежностью. Человѣкъ, говоритъ онъ, не болѣе какъ «мыслящій тростникъ», беспомощная игрушка въ рукахъ слѣпыхъ природныхъ силъ. Жизнь его полна страданій, а впереди его ждетъ уничтоженіе. Вездѣ и во всемъ мы слышимъ голосъ смерти, котораго не заглушатъ всѣ звуки мимолетнаго веселья, и эта мысль о бренности всего земного отравляетъ для насъ лучшія минуты счастья. Единственная вѣрная пристань для человѣка, это—религія, единственный якорь спасенія—дѣтская вѣра, единственное доступное счастье—жизнь, посвященная религіозному созерцанію. Кто утратилъ вѣру, тотъ навсегда обреченъ холодному отчаянію, для того счастье становится невозможнымъ. Такимъ образомъ *тра*, являвшаяся у предковъ Герэна продуктомъ естественнаго религіознаго чувства, преобразуется въ душѣ зараженнаго «болѣзнью вѣка» юноши въ сознательное *средство* для борьбы противъ одолевавшаго его пессимизма. Такая форма религіозности, «религіозность отчаянія», встрѣчается у многихъ романтиковъ, возстававшихъ противъ рационализма и скептицизма предшествующаго вѣка; но принимая во вниманіе «головное» происхожденіе такой религіозности, можно легко усомниться въ ея прочности. И дѣйствительно, на примѣрѣ самого Герэна мы увидимъ далѣе, что ему не суждено было найти въ религіи той тихой пристани, которой жаждала его душа.

Это именно исканіе вѣрнаго убѣжища отъ преслѣдующихъ его безотрадныхъ мыслей, отъ угрожающаго отчаянія привело Герэна въ деревенское уединеніе одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей эпохи Реставраціи, аббата Ламенэ, автора знаменитой книги «Les paroles d'un

сгоуант». Трудно рѣшить, въ силу какого психологическаго противорѣчія мечтательный и лишенный всякой энергіи юноша привязался къ этой могучей, гордой и дѣятельной личности, къ этому человѣку желѣзной воли, вся жизнь котораго прошла въ неустанной борьбѣ за вдохновлявшія его идеи, который въ этой борьбѣ видѣлъ цѣль и смысл своего существованія. Тѣмъ не менѣе, фактъ его вліянія на Герэна остается неоспоримымъ, причѣмъ уже изъ первыхъ записей дневника видно, что вліяніе это сказывалось не только въ области религіозной мысли, но налагало свою печать и на общественные взгляды молодого мечтателя.

Въ эпоху сближенія Герэна съ Ламенэ, послѣдній переживалъ тяжелый внутренній кризисъ, служившій предвозвѣстникомъ полного переворота во всѣхъ его взглядахъ и убѣжденіяхъ. Выступивъ въ началѣ Реставраціи горячимъ поборникомъ легитимистическихъ принциповъ въ надеждѣ на то, что подъ ихъ знаменемъ католицизму, за который онъ ратовалъ, всего легче будетъ достигнуть полной побѣды надъ «духомъ времени», Ламенэ съ теченіемъ времени убѣдился въ шаткости этихъ принциповъ и въ необходимости опереться для успѣха борьбы на болѣе прочную опору, чѣмъ безсильное и близорукое правительство Людовика XVIII и Карла X. Такую твердую точку опоры онъ думалъ найти въ современномъ демократическомъ движеніи, которое онъ надѣялся заставить служить своей цѣли. Такимъ образомъ онъ совершенно сознательно поставилъ себѣ задачей *catholiciser le liberalisme*, по его собственному выраженію, искренне вѣря въ возможность ея осуществленія. Для пропаганды своихъ новыхъ взглядовъ Ламенэ основалъ въ 1830 году журналъ *l'Avenir*, лозунгомъ котораго было: Богъ и свобода, папа и народъ. Журналъ этотъ занялъ скоро видное мѣсто среди органовъ оппозиціи. Въ числѣ требований, вошедшихъ въ его программу значилось между прочимъ: всеобщее голосованіе, свобода совѣсти и печати, отдѣленіе церкви отъ государства, и т. д. Но уже въ 1832 году Ламенэ пришлось прекратить изданіе своего журнала, возбудившаго противъ себя неудовольствіе свѣтскихъ и духовныхъ властей. Уступая требованіямъ своего духовнаго начальства, Ламенэ съ тяжелымъ чувствомъ положилъ перо журналиста и удалился въ бретонскую деревушку, чтобы здѣсь собраться съ силами для новой борьбы.

Въ концѣ того же 1832 года Герэнъ присоединился къ группѣ его учениковъ, собравшихся въ Ла-Шенэ вокругъ своего полуопальнаго учителя. Отзывы его о Ламенэ проникнуты глубокимъ уваженіемъ и любовью. Онъ говоритъ о своемъ учителѣ, что «ему открыты всѣ язвы нашего больного общества» что ему «принадлежитъ миссія приготовить будущее», называетъ его «глубочайшимъ гениемъ» и сравниваетъ его дѣло съ дѣломъ апостоловъ и пророковъ. Онъ усваиваетъ себѣ девизъ Ламенэ: *Богъ и свобода*, и мечтаетъ о томъ, чтобы посвятить свои силы служенію об-

щественному благу, принять участие въ созданіи будущаго. Въ глазахъ Герэна, папы являются естественными защитниками народной свободы отъ деспотизма королей и онъ съ этой точки зрѣнія выражаетъ свое недовольство противъ Сисмонди за то, что тотъ въ своей «Исторіи Итальянскихъ государствъ» не обратилъ достаточнаго вниманія на эту сторону политической роли римскаго первосвященника. Онъ не скрываетъ своей антипатіи противъ іюльской монархіи: «Правительство достигнетъ наконецъ того, что Франціи останется только выборъ, или быть задушенной законами, которые каждый день вьютъ для нея какъ веревки, или же сдѣлать могучее усиліе и въ свою очередь схватить правительство за горло, и задушить его; это борьба между палачемъ и его жертвой».

Тѣмъ не менѣе Ламенэ не удалось воспитать въ своемъ ученикѣ политическаго дѣятеля: Герэнъ обладалъ слишкомъ слабой и пассивной натурой для того, чтобы играть какую-либо активную роль въ дѣйствительной жизни, да и общественные интересы въ немъ развиты были довольно слабо. Это вполне понятно, если принять во вниманіе, что интересъ къ общественной жизни и дѣятельности всегда предполагаетъ въ личности болѣе или менѣе значительное развитіе *волевыхъ* элементовъ, которые были почти вовсе атрофированы въ натурѣ Герэна. Тѣмъ не менѣе Герэнъ и впоследствии сохранилъ живое сочувствіе къ Ламенэ, даже тогда когда послѣдній окончательно порвалъ свои связи съ католической церковью и изъ M. l'abbé de Lamennais превратился въ радикальнаго публициста и свободномыслящаго философа F. Lamennais. Папскую буллу 1834 года, осудившую дѣятельность Ламенэ, Герэнъ называетъ «преступнымъ убійствомъ генія», говорить, что подъ нею „охотно подписался бы самъ антихристъ» и горько сожалѣеть о тѣхъ тяжелыхъ страданіяхъ, какія выпали на долю его учителю. Правда, ученикъ Ламенэ не послѣдовалъ за нимъ по пути исканія новой вѣры и новыхъ идеаловъ: дороги ихъ съ теченіемъ времени разошлись; но и самъ Герэнъ не остался вѣренъ своимъ первоначальнымъ взглядамъ и вѣрованіямъ, и этотъ душевный переворотъ, совершившійся въ немъ постепенно и незамѣтно, имѣлъ для его внутренней жизни рѣшающее значеніе, хотя онъ и не носилъ такого рѣзкаго, стремительнаго характера, какъ тяжелый внутренней кризисъ, пережитый Ламенэ.

Время пребыванія въ Ла-Шенэ было для Герэна эпохой исканія, эпохой тяжелой внутренней работы надъ глубочайшими вопросами, задаваемыми челоуку его умомъ и сердцемъ. Въ одномъ изъ стихотвореній, относящихся къ этому времени, онъ говорить:

Oh! qu'il est douloureux de traverser la terre,
Et de voir partout comme un désert austère
Où le pied large et fort des hommes généreux
Ne fait que soulever un nuage poudreux!
Douleur d'user sa force et le plus beau de l'âge

A traîner rudement ses pas de plage en plage,
Pour voir si cette mer qu'on nomme humanité
N'a pas sur quelque bord roulé la vérité!

Но эти исканія истины, исканія духовной родины, окончились для Герэна полной неудачей. Пренная непосредственная вѣра съ теченіемъ времени поколебалась, но ни въ себѣ самомъ, ни въ окружающей дѣйствительности не находилъ онъ ничего такого, что могло бы замѣнить ее. Въ то время, какъ для Ламенэ измѣнился лишь объектъ вѣрованія, не ослабивъ въ немъ самую *способность вѣры*, Герэнъ нечувствительно пришелъ къ безотрадному скептицизму, изъ котораго ему уже не было больше выхода. Правда, скептицизмъ его не выразился въ страстномъ отрицаніи того, что составляло раньше сущность его вѣры; онъ даже продолжалъ еще нѣкоторое время сотрудничать въ католическихъ изданіяхъ: „Revue Européenne“ и „France Catholique“, помѣщая тамъ небольшія критическія статьи; въ его дневникѣ и письмахъ повторяются еще преннія мысли и мотивы, но ясно чувствуется, что все это происходитъ какъ бы по инерціи, вслѣдствіе слабости и пассивности его воли, которая такъ же необходима для вѣры, какъ и для отрицанія.

Особенно тяжелымъ стало его душевное состояніе послѣ переселенія въ Парижъ. Его записи въ дневникѣ получаютъ все болѣе и болѣе мрачный характеръ. Онъ сравниваетъ свое существованіе съ томительнымъ блужданіемъ въ ночномъ мракѣ, въ безысходной пустынѣ, а свою душу, отданную во власть противорѣчивыхъ чувствъ и настроеній, съ Дантовскими тѣнями, увлекаемыми вихремъ въ вѣчномъ движеніи; чувствуетъ свою жизнь отравленной сомнѣніями, а счастье невозможнымъ и недоступнымъ. «Я не знаю, откуда я иду, ни куда направляюсь!—воскликаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ своего дневника.—«О истина, развѣ не являешься ты мнѣ иногда, подобно сіяющему призраку, скрытому за облаками? Но первый же вѣтеръ разсѣиваетъ тебя. Или же ты не болѣе какъ обманъ нашего внутренняго зрѣнія? — Разумъ и вѣра! — когда эти два слова сольются въ высшемъ единствѣ, загадка міра будетъ раскрыта. Но въ ожиданіи этого, что же намъ дѣлать?.. Въ настоящую минуту, когда я записываю эти мысли, природа вокругъ меня дышитъ свѣжестью и жизнью, міръ плавно уносится въ созвучномъ движеніи, и посреди всей этой гармоніи раздастся одинъ только печальный и безпокойный диссонансъ: это—ропотъ человѣческаго духа, смущеннаго этимъ міровымъ согласіемъ, котораго онъ не постигаетъ».

Здѣсь мы встрѣчаемся съ характернымъ для многихъ романтиковъ противопоставленіемъ спокойствія и гармоніи природы, съ одной стороны, и страданій мятежнаго человѣческаго духа — съ другой. Но у Герэна этотъ вѣчный разладъ прочувствованъ съ особенной силой и къ нему онъ возвращается безпрестанно въ своихъ признаніяхъ и жалобахъ. Это за-

висѣло главнымъ образомъ отъ его глубокой любви къ природѣ, которая привлекала его къ себѣ болѣе, чѣмъ общественная жизнь, такъ какъ его мечтательная натура находила себѣ удовлетвореніе лишь въ спокойномъ созерцаніи красотъ природы.

Чувство любви къ природѣ, провозвѣстникомъ котораго въ XVIII вѣкѣ былъ Руссо, получило у романтиковъ значеніе настоящаго культа. Въ то время какъ у писателей и поэтовъ предшествующаго времени пейзажъ большей частью игралъ совершенно служебную роль, въ качествѣ простаго аксессуара, теперь романы и поэмы наполняются длинными и краснорѣчивыми описаніями природы и чувствъ, возбуждаемыхъ ея созерцаніемъ. Интересно отмѣтить, что эта любовь къ природѣ и чуткость къ ея красотамъ пробуждается именно въ тотъ моментъ, когда центръ тяжести исторической жизни Европы переходитъ въ *городъ*, когда на первый планъ выступаютъ представители городского класса, буржуазіи. Въ этомъ фактѣ можно видѣть непосредственное дѣйствіе психологическаго закона контраста, согласно которому вниманіе наше останавливается преимущественно на впечатлѣніяхъ новыхъ, мало привычныхъ, почти не задерживаясь на явленіяхъ, составляющихъ содержаніе нашего всѣдневнаго опыта.

Въ своемъ отношеніи къ природѣ Герэнъ, несомнѣнно, является типичнымъ представителемъ эпохи романтизма. Любовь къ ней достигаетъ у него степени настоящей страсти; онъ чувствуетъ себя спокойнымъ и счастливымъ лишь въ общеніи съ природой; онъ называетъ ее «утѣшительницей всѣхъ удрученныхъ» и чутко слѣдитъ за малѣйшими измѣненіями въ ея состояніи, которыя отражаются соответственными измѣненіями въ его настроеніи. Картины природы, обильно разбросанныя въ его дневникѣ, могутъ соперничать съ наиболѣе удачными описаніями Шатобриана и Бернарденъ де Сенъ-Пьера. Такое сильное развитіе въ немъ любви къ природѣ дѣлаетъ понятнымъ, почему Герэнъ считалъ короткую эпоху своего пребыванія въ Ла-Шенэ счастливѣйшимъ временемъ своей жизни и почему онъ безпрестанно возвращается къ ней въ своихъ воспоминаніяхъ, при чемъ она сливалась для него въ этихъ воспоминаніяхъ съ эпохой его ранняго дѣтства въ одно прекрасное цѣлое.

Мечтательная любовь къ природѣ, особенно развившаяся въ немъ подъ вліяніемъ одиночества, пробудилась у Герэна очень рано, съ первыхъ лѣтъ сознательной жизни. Въ одномъ стихотвореніи, посвященномъ сестрѣ поэтъ говорить:

En l'âge d'enfance,
J'aimais à m'asseoir
Pour voir
Dans le ciel immense
L'oiseau voyager
Léger.
Quand le ciel couronne

Les horizons bleus
De feux,
Plus d'un soir d'automne
Aux bois m'a surpris
Assis,
Ecoutant les ailes
Qui rasent les tois
Des bois,
Bruissant entre elles
Comme les flots clairs
Des mers.

ажкое явленіе природы для него важно и интересно, повсюду умѣть онъ находить въ ней красоту. Онъ глядитъ на природу глазами влюбленнаго художника, и потому всѣ его замѣтки и наблюденія представляютъ собой прекрасные этюды съ натуры, въ которыхъ точность описанія соперничаетъ съ красотой образовъ. Вотъ какъ описываетъ онъ, напримѣръ, утро послѣ дождя: «Всю ночь шелъ дождь. Вездѣ избытокъ зелени и жизни. Около семи часовъ утра я прошелся вдоль берега пруда. Деревья, склонившіяся надъ водою, медленно роняли стекавшія капли, и каждая капля, падая на поверхность пруда, издавала тихій звукъ, въ которомъ было что-то жалобное. Можно было бы подумать, что деревья всю ночь плакали надъ прудомъ и роняютъ теперь въ него свои послѣднія слезы». Его описанія весны въ Ла-Шенэ представляютъ собой настоящія небольшія стихотворенія въ прозѣ. Съ какой любовью слѣдитъ онъ за пробужденіемъ растительнаго царства, за появленіемъ цвѣтовъ, за прилетомъ птицъ, какъ чутко подмѣчаетъ онъ взоромъ художника новые свѣтлые тоны весенняго неба и курчавыя весеннія облака, неподвижно стоящія надъ горизонтомъ! Какимъ восторгомъ и благоговѣніемъ наполняется его сердце, когда онъ въ первый разъ видитъ передъ собой безбрежную ширь океана, слышитъ его могучій и суровый голосъ! И созерцающая развертывающуюся передъ нимъ картину моря, онъ—подобно нашему Пушкину—какъ будто въ силу естественной ассоціаціи идей, переходитъ мыслью къ обонимъ властителямъ думъ современнаго ему поколѣнія, къ Байрону и Рене-Шатобриану.

«Всякій разъ, когда мы даемъ доступъ природѣ въ нашъ внутренній міръ,—пишетъ Геранъ въ другомъ мѣстѣ дневника,—душа наша открывается для самыхъ трогательныхъ впечатлѣній. Есть что-то въ жизни природы, даже въ блѣдные сѣрые дни, въ дни холода и дождя, осенью и зимою, что приводитъ въ волненіе не только поверхность нашей души, но вскрываетъ самые глубокіе тайники ея, пробуждаетъ тысячи воспоминаній, которыя, на первый взглядъ, не имѣютъ никакого отношенія къ тому, что происходитъ во внѣшнемъ мірѣ, но которыя, несомнѣнно, обнаруживаютъ нашу связь съ душою природы, поддерживаемую невѣдомой намъ симпатіей». Чувство этой таинственной и неразрывной связи между міромъ природы и міромъ человѣческой души пробуждается въ немъ

иногда съ особенной силой. «О, если бы слиться съ природой!—восклицаетъ онъ въ одну изъ такихъ минутъ.—Если бы сосредоточить въ себѣ всю жизнь, всю любовь, которой она полна, чувствовать себя въ одно и то же время цвѣткомъ, зеленью, птицей, пѣсней, наполнить свою душу свѣжестью, гибкостью, блаженствомъ, чистотой! Но что тогда станеть съ моимъ Я?.. Бываютъ минуты, когда, сосредоточившись на этой мысли, начинаешь чувствовать нѣчто подобное».

Такимъ образомъ любовь къ природѣ переходитъ у Герэна въ пантеистическое чувство коренного сродства съ нею, и это чувство все растеть въ немъ, по мѣрѣ, того какъ ослабѣвають въ немъ прежнія религиозныя вѣрованія. Во время своего пребыванія въ Ла-Шенэ, онъ, по замѣчанію Сентъ-Бёва, старался «сочетать христіанство съ культомъ природы»; жить на лонѣ природы значило для него жить съ Богомъ, жить въ Богѣ; поэтому не удивительно, что впоследствии сама природа получаетъ въ его глазахъ атрибуты божественности. Чувствуя себя одинокимъ и обездоленнымъ среди людей, онъ достигаетъ спокойствія и душевнаго мира только тогда, когда остается лицомъ къ лицу съ природой, успокоивающей его чрезмѣрную чувствительность (*impétuosité de sentiment*). Въ такіе минуты сознание своей изолированности исчезаетъ и онъ снова чувствуетъ себя частью гигантскаго цѣлага, чувствуетъ, что «нѣтъ одиночества для того, кто умѣетъ найти себѣ мѣсто среди всеобщей гармоніи и открыть свою душу всѣмъ впечатлѣніямъ этой гармоніи».

Понятно поэтому, съ какимъ тяжелымъ чувствомъ долженъ былъ покидать Герэнъ свое тихое убѣжище на лонѣ природы, для того, чтобы переселиться въ шумный и беспокойный Парижъ, окунуться въ тревожное человеческое море. «Je perds la moitié de mon âme en perdant la solitude», пишетъ онъ, разставаясь съ сельскимъ уединеніемъ. Городская жизнь внушаетъ ему настоящій ужасъ. Въ Парижѣ ему приходится жить въ маленькой комнаткѣ, въ окна которой никогда не заглядываетъ солнце и куда только въ полдень на четверть часа падаютъ его лучи, отраженные отъ оконъ сосѣдней мансарды. Поэтому по временамъ его охватываетъ настоящая тоска по природѣ, по свѣжей зелени, по далекимъ тихимъ горизонтамъ. Среди шумныхъ улицъ, среди тѣсныхъ каменныхъ домовъ, мечта его все время живетъ воспоминаніями о буковой рошѣ въ Ла-Шенэ, о знакомомъ прудѣ, о поляхъ, о скалахъ и о морѣ. «Dites à l'Océan qu'un grain de sable le salue», пишетъ онъ одному изъ погинутыхъ друзей и въ этомъ восклицаніи характернымъ образомъ соединяется сожалѣніе о разлукѣ съ природой и горькое сознание собственной слабости и ничтожности.

Эти черты сближаютъ Герэна съ Оберманомъ Сенанкура. Въ то время, какъ у другихъ романтическихъ героевъ, напр. у Рене, собственная личность служить объектомъ настоящаго культа, Оберманъ, подобно

Герэну, страдаетъ отъ сознанія своего безсилія и находитъ себѣ единственное утѣшеніе въ созерцаніи природы, единственный исходъ—въ тихой ризигнаціи. Недовольство собою, чувство «рокового безсилія», сомнѣнія,— вотъ преобладающія настроенія Герэна въ эпоху его парижской жизни. Изъ всѣхъ способностей, по его собственному признанію, у него особенно развита «способность къ страданію». Страданія эти происходятъ главнымъ образомъ отъ его неумѣнія приспособиться къ условіямъ реальной жизни, отъ его неспособности къ какой бы то ни было дѣятельности, требующей проявленія настойчивости и силы воли. Общество, *se combat merveilleusement réglé et ordonné qu'on appelle société*,—внушаетъ ему чувство недовѣрія и тайнаго страха. Герэнъ вовсе не былъ мизантропомъ, точно такъ же, какъ не былъ онъ и настоящимъ пессимистомъ; но общественная жизнь, съ ея быстрой смѣной впечатлѣній, съ разнообразными и сложными запросами, предъявляемыми ею къ отдѣльной личности, тяготитъ его. Онъ чувствуетъ себя одинокимъ, лишнимъ среди людей (*tout à fait superflu dans la société*), не знаетъ, какъ ему примѣниться къ условіямъ окружающей жизни, которыя тѣмъ не менѣе весьма больно даютъ себя чувствовать. Поэтому идеаломъ счастливаго существованія является для него жизнь на лонѣ природы, вдали отъ толпы и ея волненій.

«Покидать уединеніе для общественной жизни, пишетъ онъ,—оставлять пустынные зеленые тропинки для шумныхъ переполненныхъ народомъ улицъ, гдѣ вмѣсто вѣтерка носится жаркое и зараженное человѣческое дыханіе, переходитъ отъ спокойнаго созерцанія, таинственной жизни природы къ жестокой социальной дѣйствительности всегда было для меня тягостной перемѣной, переходомъ къ страданію и несчастію. И чѣмъ дальше подвигаюсь я впередъ въ различеніи добра и зла социальной жизни, тѣмъ болѣе усиливается и укрѣпляется во мнѣ стремленіе жить уединенно на границахъ общества (*en homme de solitude sur les limites de la société*), вмѣшиваясь въ него по временамъ, но всегда оставляя за собою неограниченный свободный просторъ, обширный какъ небо».

Пугливо сторонясь отъ шумной городской жизни и лишенный возможности постоянного общенія съ природой, онъ чувствуетъ себя какъ бы стоящимъ внѣ всякой связи съ окружающимъ міромъ. «Душа моя сжимается и свертывается, какъ листокъ, тронутый морозомъ»,—жалуется онъ уже въ самомъ началѣ своего пребыванія въ Парижѣ.—«Всѣ тѣ душевныя силы, которыя устанавливаютъ связь съ окружающимъ міромъ и служатъ посредниками между душой и природой, задержаны внутри и бездѣйствуютъ, и я остаюсь изолированнымъ, лишеннымъ всякаго участія въ общей жизни». Отсюда развивается въ немъ болѣзненное чувство одиночества, повсюду сопровождающее его; хорошо сознавая источникъ своихъ страданій, онъ называетъ себя «нравственнымъ калѣжкой», и принужденный

жить среди чуждаго ему общества считаетъ себя какъ бы отлученнымъ отъ общенія съ природою (*solitaire et excommunié de la nature*).

Понятно поэтому, что вся жизнь Герэна сосредоточена внутри его, въ мирѣ чисто субъективныхъ переживаній. Съ особенной силой развивается въ немъ способность къ кропотливому анализу своихъ чувствъ и настроеній, склонность чутко прислушиваться къ биенію собственнаго сердца, слѣдить за медленною смѣной впечатлѣній въ своей душѣ. «*Mon âme fut mon premier horizon*», замѣчаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ дневника. И дѣйствительно, мысль о своемъ больномъ и тоскующемъ я никогда не покидаетъ Герэна; онъ живетъ со взглядомъ, неизмѣнно обращеннымъ во внутрь себя, отмѣчаетъ съ фотографической точностью малѣйшія измѣненія въ своемъ настроеніи. Но этотъ болѣзненный субъективизмъ Герэна былъ очень далеко отъ того культа собственной личности, который былъ такъ распространенъ среди поколѣнія романтиковъ. Напротивъ того, Герэнь, повидимому, сильно тяготился эгоцентричностью своего душевнаго склада и даже пытался, хотя и тщетно, бороться съ самимъ собою. «*Мое я, непобѣдимое я, повсюду занимаетъ первое мѣсто!*—жалуется онъ.—Это точно неизлѣчимая болѣзнь. Какъ ни стараешься спрятать свое я въ глубинѣ души, оно, несмотря на всѣ усилія появляется снова, подобно тому какъ погруженная въ воду палка все снова поднимается на поверхность».

Одинокій среди людей, всегда недовольный самимъ собою, Герэнь, по самому складу своей личности, былъ осужденъ на постоянныя страданія. Страданія эти еще болѣе осложнялись тѣмъ обстоятельствомъ, что жизненныя условія складывались для него весьма неблагоприятно и «соціальная дѣйствительность», къ которой приходилось приспособляться, давала себя больно чувствовать бѣдному мечтателю. «*О, дайте мнѣ руку помощи: я задыхаюсь въ этой сутолокѣ!*» восклицаетъ онъ, въ состояніи близкомъ къ полному отчаянію. Всякій шагъ въ дѣйствительной жизни, всякое рѣшеніе, сопряжены для него съ серьезными страданіями. Поэтому онъ охотно предоставлялъ рѣшать свою участь друзьямъ или случаю, чувствуя настоящій страхъ передъ мыслью о необходимости какого-бы то ни было активнаго проявленія воли.

Эта *соціальная неприспособленность*, составлявшая постоянный источникъ страданія для Герэна, въ большей или меньшей степени была свойственна большинству романтиковъ, начиная съ ихъ духовнаго родоначальника Руссо. Могучее развитіе индивидуализма, нашедшее себѣ крайнее выраженіе въ «культѣ гениевъ», нарушило равновѣсіе между личностью и соціальною средою. Съ другой стороны, жизнь настолько усложнилась, условія общественныя, политическія и экономическія такъ рѣзко измѣнились, что болѣе слабыя натуры оказались не въ состояніи приспособиться къ новымъ формамъ жизни, къ ея новымъ и сложнымъ запросамъ. Такое положеніе, сказывавшееся въ нихъ субъективнымъ чувствомъ болѣзнен-

наго недовольства и неудовлетворенности, приводило ихъ къ тяжелому конфликту съ дѣйствительностью. Поэтому, видя въ условіяхъ современной жизни источникъ разнообразныхъ страданій, они стали искать себѣ утѣшенія въ созерцаніи безличной жизни природы, а идеаловъ—въ далекомъ и туманномъ прошломъ, когда жизнь казалась гораздо проще и счастливѣе. Отсюда вытекало у романтиковъ ихъ отрицательное отношеніе къ современной культурѣ, тѣсно связанное съ идеализаціей прошлаго, рисовавшагося имъ воображенію въ видѣ потеряннаго рая.

Такимъ образомъ, въ то время какъ сильныя личности Байроновскаго типа, обособившись отъ общества, обрекли себя на гордое и одинокое страданіе, смягчавшееся для нихъ лишь сознаніемъ своего духовнаго превосходства надъ «толпою», и считали эти страданія—своего рода *privilegii* гениевъ, натуры слабыя и безвольныя были лишены и этого печальнаго утѣшенія: чувствуя себя чужими среди современнаго общества, неспособными примѣниться къ современнымъ условіямъ жизни, они вмѣстѣ съ тѣмъ были лишены возможности питать какія бы то ни было горделивыя иллюзіи, обманываться насчетъ собственныхъ силъ. Это—*лишніе люди* эпохи романтизма, въ лицѣ которыхъ индивидуализмъ выродился въ мелочной, развѣдающей самоанализъ, а соціальная неприспособленность выразилась въ чувствѣ собственного безсилія, одиночества и ненужности. Наиболѣе полнымъ и яркимъ литературнымъ выраженіемъ этого типа романтиковъ является *Оберманъ* Сенанкура, съ его постоянной привычкой къ мучительной вивисекціи собственной души, съ его отвращеніемъ къ общественной жизни и ко всякой дѣятельности, съ его стремленіемъ къ тихому созерцательному существованію на лонѣ природы, съ его горькимъ сознаніемъ своей полной беспомощности и ненужности среди людей. Этому литературному типу находимъ мы живое соотвѣтствіе въ лицѣ Мориса де-Герэна, котораго по чрезвычайному сходству основныхъ чертъ характера можно съ полнымъ правомъ назвать младшимъ братомъ Обермана.

Принимая во вниманіе это сходство характеровъ, мы естественно можемъ предположить, что и конечные выводы всего ихъ міросозерцанія будутъ приблизительно одинаковы. И дѣйствительно, какъ тотъ, такъ и другой, въ итогѣ своихъ грустныхъ размышленій, одинаково приходятъ къ тихой резигнаціи, къ сознанію необходимости безропотной покорности своей судьбѣ. Подобно Оберману, Герэнъ также не обманываетъ себя никакими надеждами и иллюзіями; онъ ничего не ждетъ впереди ни отъ себя, ни отъ жизни и, боязливо сторонясь отъ суровой дѣйствительности, мечтаетъ уйти въ какое-либо уединенное убѣжище, чтобы тамъ терпѣливо ждать неизбѣжной развязки. Но художественный темпераментъ Герэна, нѣсколько смягчаетъ безотрадную ясность мысли Обермана. Его глубокая любовь къ природѣ придаетъ его печальнымъ размышленіямъ поэтическій колоритъ, мысль его какъ бы насыщена пантеистическимъ настроеніемъ,

навѣяннѣмъ живымъ и любовнымъ общеніемъ съ природной. Эта черта его личности съ особенной ясностью выступаетъ въ его поэмѣ *Le Centaure*, являющейся лебединой пѣсней молодого поэта, которую такъ высоко ставилъ Сентъ-Бёвъ.

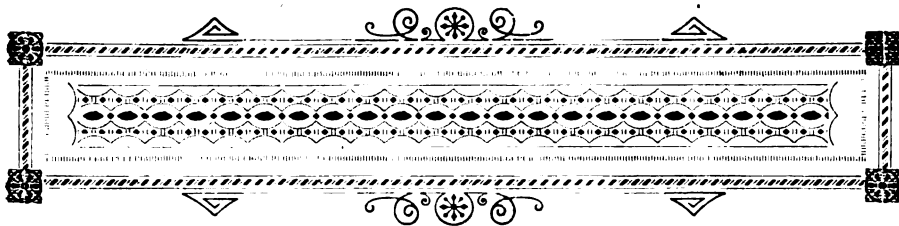
Дѣйствительно, «Кентавръ» представляетъ собой чрезвычайно своеобразное литературное явленіе, въ которомъ чисто античная пластичность образовъ соединяется съ туманными порывами и съ неяснымъ настроеніемъ, свойственнымъ романтикамъ. Написана эта небольшая поэма размѣренной мелодичной прозой и со стороны стиля отличается замѣчательной художественной законченностью. Что же касается до содержанія, то оно весьма характерно для умонастроенія Герэна. Старый кентавръ, являющійся олицетвореніемъ героевъ и избранниковъ, стоящихъ головою выше толпы, рассказываетъ намъ исторію своей жизни и преподаетъ уроки мудрости, вынесенные имъ изъ нея. Родина его—на высокихъ горахъ, откуда открываются обширные горизонты, гдѣ вѣетъ вольный вѣтеръ, гдѣ свободнѣе дышится, чѣмъ въ тѣсныхъ долинахъ. Жители долинъ, люди, кажутся ему уродливыми и немощными полу-кентаврами, къ которымъ онъ чувствуетъ невольное состраданіе, въ гордомъ сознаніи своего превосходства. Но, несмотря на это превосходство надъ людьми, ему скоро приходится убѣдиться въ ограниченности своего собственнаго существа, въ слабости своихъ силъ, не соответствующихъ мѣрѣ его желаній и надеждъ. Въ юности своей онъ еще не вѣдалъ этого рокового несоответствія, и потому могъ обманываться насчетъ своихъ силъ и питать неисполнимыя желанія. Поэтому юность была для него эпохой всевозможныхъ иллюзій. Чувствуя въ себѣ присутствіе великой силы, одушевляющей все мірозданіе, онъ думалъ, что нѣтъ для него на землѣ ничего недоступнаго, ничего запретнаго. Но напрасно сторожилъ онъ въ глубокихъ пещерахъ сонъ Кибелы, великой матери боговъ и людей, въ надеждѣ, что въ сонномъ бреду богиня выдастъ ему тайну мірозданія; напрасно блуждалъ по высокимъ вершинамъ и по берегу безбрежнаго моря, ища разгадки своихъ безпокойныхъ вопросовъ: ему не суждено было найти на нихъ отвѣта. Вся жизнь его прошла въ этихъ блужданіяхъ и поискахъ, пока не наступила наконецъ умудренная опытомъ старость. И единственная мудрость, которую онъ вынесъ изъ жизни, заключалась въ сознаніи своего рокового безсилія, въ сознаніи, что и люди и кентавры одинаково жалки и ничтожны предъ лицомъ великой міровой силы, которая породила ихъ и въ лоно которой имъ суждено возвратиться. Какъ таютъ снѣжинки, коснувшись поверхности океана, такъ исчезаютъ и эти гордые, но безсильныя созданія общей матери—природы. Поэтому не зачѣмъ обманывать себя иллюзіями, надѣяться на что-либо, страдать и бороться: нужно спокойно покориться своей участи, созерцая мѣрное теченіе небесныхъ свѣтилъ, дождливыхъ Гіадъ и могучаго Оріона, въ спокойномъ

ожиданіи своего неизбежнаго конца, или же отдаться всецѣло собранію лѣкарственныхъ травъ, растущихъ на доступныхъ для людей горныхъ вершинахъ, для того, чтобы облегчать ими чужія страданія, какъ это дѣлалъ кентавръ Хиронъ.

Такова высшая мудрость, на склонѣ лѣтъ достигнутая старымъ кентавромъ. Въ этой небольшой поэмѣ Герэнъ какъ-бы подвелъ конечный итогъ всего своего міросозерцанія. Итогъ этотъ грустенъ и безнадеженъ и сводится къ безропотной покорности невѣдомой силѣ, управляющей нашимъ существованіемъ. Герэнъ не высказываетъ здѣсь никакого протеста, никакого негодованія противъ судьбы: изъ его груди вырывается лишь тихая меланхолическая жалоба, такая же безотрадно-унылая, какъ и та, которая звучитъ на протяженіи всего его дневника.

В. Саводникъ.





Изъ польской литературы.

(Къ юбилею Юлія Словацкаго).

Въ послѣдніе годы общественная жизнь поляковъ ознаменовалась событіями, захватившими своимъ интересомъ всѣ слои польскаго народа и выступившими даже изъ узкихъ національныхъ рамокъ, сдѣлавшись предметомъ обсуждения общей печати и даже отчасти политики. Мы говоримъ о литературныхъ торжествахъ, выразившихся, во-первыхъ, въ постановкѣ памятника Мицкевичу, вызвавшаго не мало опасеній и даже негодованія въ людяхъ извѣстнаго лагеря, а во-вторыхъ—въ недавнемъ юбилеѣ Сенкевича, принявшемъ размѣры широкаго общелитературнаго праздника.

Среди восторговъ и тревоженій, въ пылу увлеченія этими событіями польское общество какъ будто забыло еще объ одномъ корифеѣ своей литературы—Юліи Словацкомъ, оставивъ не отмѣченнымъ 50-лѣтіе смерти этого высокоталантливаго писателя, исполнившееся въ 1899 году ¹⁾. Слѣдуетъ надѣяться, что зато будетъ достойнымъ образомъ отпраздновано столѣтіе со дня его рожденія, имѣющее быть въ 1909 году.

Словацкій въ польской литературѣ представляетъ величину перво-степеннаго значенія, и притомъ въ исторіи общественнаго сознанія поляковъ онъ вмѣстѣ съ Мицкевичемъ, Красинскимъ и другими соотечественниками, раздѣлявшими общую участь «эмиграціи» послѣ 1830 года, сыгралъ настолько видную роль, что память о немъ не можетъ изгладиться въ потомствѣ.

¹⁾ Едва ли не единственнымъ напоминаніемъ объ этой годовщинѣ была скромная церемонія прикрѣпленія доски къ портретомъ поэта, состоявшаяся по частной инициативѣ въ костелѣ Св. Креста, въ Варшавѣ.

Чествовать Мицкевича и забыть о Словацкомъ—это все равно, что чествовать Пушкина и забыть о Лермонтовѣ.

Для лицъ, не знакомыхъ съ писателемъ, о которомъ мы говоримъ, приведенное сейчасъ сопоставленіе можетъ отчасти служить руководящею нитью въ общей его оцѣнкѣ. По глубинѣ чувства, по яркости фантазіи, по страстности и демоничности его собственной природы и его героевъ, наконецъ, по силѣ и звучности стиха, Словацкій—это, дѣйствительно, польскій Лермонтовъ. Даже во внѣшнихъ обстоятельствахъ жизни этихъ двухъ писателей можно указать нѣкоторое совпаденіе: тотъ и другой значительную часть своей жизни должны были провести подъ влияніемъ независимыхъ обстоятельствъ—одинъ сосланный на Кавказъ, другой—противъ воли сдѣлавшись эмигрантомъ; тотъ и другой погибаютъ въ ранней молодости—одинъ отъ руки противника, другой—жертвой наследственной болѣзни, горловой чахотки. Что касается отношенія къ нимъ публики, то какъ Лермонтова по силѣ таланта нѣкоторые ставили выше Пушкина, такъ и у Словацкаго находились поклонники, которые превозносили его предъ Мицкевичемъ, и эти неумѣренные восторги были даже отчасти причиною охлажденія, чтобы не сказать прямо враждебнаго отношенія между этими двумя писателями при жизни.

Русской публикѣ Словацкій почти неизвѣстенъ. И не мудрено, такъ какъ его сочиненія и въ подлинникѣ только недавно начали появляться въ Россіи, да и то съ значительными исключеніями, а почти до послѣдняго времени надъ ними тяготѣлъ безусловный запретъ; въ переводѣ же на русскій языкъ нѣтъ ни одного цѣльнаго его произведенія, есть только отрывки изъ его поэмъ. Между тѣмъ названный писатель для насъ, русскихъ, представляетъ несомнѣнный интересъ. Уроженецъ Подольской губерніи, проходившій воспитаніе и образованіе въ періодъ существованія Виленскаго университета, интересовавшійся русской исторіей, русской и малорусской литературой, съ жадностью слушавшій мѣстныхъ литовскія преданія и проникнутый любовью къ родинѣ и къ ея историческому прошлому, Словацкій воссоздавалъ въ своихъ стихотворныхъ драмахъ и поэмахъ дѣйствительные или идеальные типы этого прошлаго, не чуждые и русской исторіи, каковъ, напр., Мазепа въ драмѣ того же имени и др.

Оригинальность замысла и самостоятельная разработка хотя бы и общеизвѣстныхъ сюжетовъ уже съ первыхъ его произведеній обратили на него вниманіе и свидѣтельствовали о несомнѣнномъ талантѣ выдающагося значенія. Лучшимъ примѣромъ этого можетъ служить одна изъ раннихъ его трагедій: «Марія Стюартъ». Этотъ далеко не новый въ литературѣ историческій сюжетъ, съ такимъ мастерствомъ давно обработанный Шиллеромъ, тѣмъ не менѣе послужилъ Словацкому для оригинальной трагедіи, въ которой онъ изобразилъ героиню болѣе согласно съ исторіей и съ тѣми взглядами исторической критики на эту личность, какіе установились

только въ позднѣйшее время. А между тѣмъ не надо забывать, что эта трагедія была написана Словацкимъ, когда ему было всего 21 годъ, что она писалась втеченіе одного только мѣсяца и притомъ была лишь вторымъ по времени написанія драматическимъ произведеніемъ послѣ драмы «Миндове» изъ древнеитовской жизни.

Впрочемъ, въ своихъ воспоминаніяхъ поэтъ говоритъ, что еще 18-ти лѣтъ онъ мечталъ о трагедіяхъ, какія онъ будетъ писать въ будущемъ между прочимъ изъ исторіи новогреческаго возстанія, а 19-ти-лѣтнимъ юношею, по выходѣ изъ Виленскаго университета, скучая безъ дѣла у родителей въ г. Кременцѣ, онъ разрабатывалъ планъ трагедіи, въ которой героемъ долженъ былъ выступить Магометъ въ духѣ Фауста или Манфреда. Магомета онъ хотѣлъ представить болѣзненно-экзальтированнымъ, воображающимъ, что бесѣдуетъ съ духами; интригу трагедіи должны были составлять любовь героя къ своей дочери Фатимѣ (какъ говоритъ исторія, замѣчаетъ авторъ), ревность жены его Айши и привязанность Али къ Фатимѣ. Въ послѣдній періодъ своей жизни онъ заинтересовался исторіей Новгорода Великаго и нашествіемъ монголовъ на Русь и уже началъ было работать надъ историческимъ сюжетомъ, заимствованнымъ изъ этой эпохи.

Такимъ образомъ, начиная со студенческой скамьи, и по выходѣ изъ университета Словацкій былъ обуреваемъ фантазіей, которая уносила его то на сѣверъ, то на востокъ, то въ отдаленныя времена родной старины, то останавливалась на современныхъ событіяхъ отечественной исторіи. Особенно его увлекали сильныя, трагическіе моменты въ исторіи народовъ, какова, напр., борьба за національность, за политическую свободу, гдѣ бы она ни проявлялась. Исторія Литвы, Польши, Россіи и въ частности Малороссіи въ ихъ борьбѣ съ сосѣдями, новогреческое возстаніе, борьба шотландцевъ съ англичанами за независимость,—такія событія захватывали его цѣликомъ, въ нихъ онъ искалъ вдохновенія и находилъ рядъ сюжетовъ для своихъ драматическихъ произведеній, не всегда, впрочемъ, доводимыхъ имъ до конца; послѣднее объясняется съ одной стороны быстротою смѣны увлеченій, съ другой—требовательностью къ себѣ, проистекавшею изъ непомерной гордости, въ которой онъ самъ сознавался передъ матерью въ своихъ письмахъ, говоря, что эта гордость, наконецъ, убьетъ его.

Но не одинъ внѣшній ходъ и сплетеніе историческихъ событій привлекали къ себѣ поэта: въ нихъ онъ искалъ типовъ, искалъ характеровъ. Такъ, четыре года спустя послѣ написанія «Маріи Стюартъ» и послѣ появленія цѣлаго ряда произведеній изъ жизни другихъ временъ и народовъ, Словацкій опять возвращается къ исторіи Шотландіи, и вотъ по какимъ побужденіямъ: «Долго я раздумывалъ о томъ, — пишетъ онъ матери въ 1834 г.,—какой герой въ исторіи разныхъ народовъ былъ съ самой чистой и наипрекраснѣйшей душою. Припомнилось мнѣ, какъ ты нѣкогда въ дѣтствѣ, желая пріохотить меня къ французскому чтенію, говорила мнѣ:

вотъ ты узнаешь жизнь Wallace'a!» Познакомившись изъ исторіи борьбы Шотландіи за независимость при Эдуардѣ I съ этимъ героемъ¹⁾, воспѣваемымъ и до сихъ поръ въ пѣсняхъ и сказаніяхъ народа, Словацкій избираетъ этотъ сюжетъ для одной изъ своихъ трагедій, сообщаетъ матери, что очень занятъ ея обработкой, и общается, что она должна выйти, если не вполне хорошою, то во всякомъ случаѣ не заурядною. Къ сожалѣнію, это произведеніе не найдено въ его бумагахъ: быть можетъ, оно было уничтожено имъ самимъ, какъ и многое другое имъ написанное, въ томъ числѣ и трагедія «Мазепа», которую онъ сжегъ въ 1835 г. и только четыре года спустя написалъ всю заново.

Съ такими симпатіями и стремленіями, находясь подъ вліяніемъ идей Байрона о личной свободѣ и политической независимости, пылкій юноша не могъ, конечно, не сочувствовать тому національному движенію, которое выразилось въ событіяхъ 1830 года. Когда же польская революція не удалась, онъ, хотя и не участвовалъ въ ней фактически, тѣмъ не менѣе вслѣдъ за другими уѣхалъ за границу въ 1831 г., сначала подъ предлогомъ поправленія здоровья, которое, дѣйствительно, было слабо, но потомъ такъ и не вернулся. Побывавъ въ нѣкоторыхъ городахъ Германіи, онъ поселился на болѣе продолжительное время въ Женевѣ, посѣтилъ Лондонъ, жилъ въ Парижѣ, побывалъ въ Италіи, Греціи, отсюда предпринялъ путешествіе на востокъ—въ Египеть, Сирію и Палестину²⁾, и опять вернулся въ Парижъ, гдѣ и умеръ въ 1849 г., успѣвъ издать собраніе своихъ сочиненій въ трехъ томахъ и кромѣ того нѣкоторыя сочиненія отдѣльно.

Члены польской эмиграціи, да и большинство поляковъ желали видѣть въ немъ вдохновеннаго пророка и пѣвца своей политической свободы, и самъ онъ старался придать многимъ своимъ произведеніямъ эту тенденціозную окраску даже и тогда, когда увлеченіе Байрономъ смѣнилось у него поклоненіемъ Шекспиру и Данту. Онъ не былъ чуждъ мысли быть духовнымъ вождемъ своего народа, когда писалъ слѣдующія строки: «Куда бы я ни пошелъ—и народъ пойдетъ за мною. Если онъ захочетъ любить, я дамъ ему лебединые звуки, чтобы онъ пѣлъ свою любовь; когда захочетъ клясть, будетъ клясть черезъ меня; когда вздумаетъ пылать, и буду его согрѣвать. Я поведу его всюду, гдѣ есть Богъ, въ без-

¹⁾ Здѣсь разумѣется Wilhelm Wallace (1276—1305). О немъ Словацкій еще въ дѣтствѣ читалъ въ романѣ Miss Jane Porter „Scottish Chiefs“ въ переводѣ на французскій языкъ.

²⁾ Отъ этого путешествія, кромѣ писемъ и сюжетовъ, обработанныхъ имъ въ поэтической формѣ (напр. „Поездка на Востокъ“, „Отецъ зачумленныхъ“), остались его рисунки, изъ коихъ нѣкоторые помѣщены въ журн. „Klosy“, 1884, съ пояснительной замѣткой; тамъ же портреты его родителей и два раніе портрета его самого; позднѣйшій портретъ его имѣется въ польскомъ альбомѣ, вывезенномъ въ 1868 г. изъ Вильны и хранящемся въ Румянцовскомъ Музеѣ, въ Москвѣ.

предѣльное пространство; во имя мое онъ будетъ лить кровь и слезы; мое знамя никогда не предастъ его: днемъ оно будетъ вести его наподобіе солнца, ночью — въ видѣ огня». Въ своемъ «Завѣщаніи», написанномъ передъ самой смертью, онъ, подобно Петраркѣ, изображаетъ свое отечество кораблемъ, обуреваемымъ враждебной стихіей, а себя матросомъ, стоящимъ на вахтѣ: корабль, разбитый бурей, потонулъ, а вмѣстѣ съ нимъ и вахтенный скрылся въ темной безднѣ, изъ которой пѣть возврата.

Но, вникнувъ глубже въ смыслъ его поэзіи, мы готовы заключить, что тенденціозное творчество не было истиннымъ его призваніемъ, и высокія достоинства его поэзіи достаточно говорятъ сами за себя и помимо этихъ постороннихъ цѣлей, которыя какъ бы насильственно къ ней пристегнуты. Этимъ, можетъ-быть, объясняется и то, что его соотечественники не съ достаточнымъ восторгомъ встрѣчали выходъ въ свѣтъ каждаго новаго тома его стихотвореній: поэтъ не оправдывалъ ихъ ожиданій; притомъ, по выраженію критики, онъ не для всѣхъ былъ доступенъ, «слишкомъ великъ въ своей творческой фантазіи и черезчуръ блестящій брильянтами слова и изысканностью формы». Слава, которой онъ такъ жаждалъ при жизни, прочно утвердилась за нимъ только впоследствии, когда миновались самые острые моменты политическихъ тревоженій, и польское общество стало болѣе способнымъ уважать и цѣнить эстетически-прекрасное само по себѣ, въ самыхъ тончайшихъ его проявленіяхъ.

Въ этомъ общечеловѣческомъ смыслѣ имя Словацкаго можетъ и должно стать наравнѣ съ лучшими поэтами новаго времени, а его произведенія достойны широкаго распространенія во всякомъ культурномъ обществѣ. И нѣкоторыя изъ нихъ, дѣйствительно, давно стали достояніемъ европейской литературы.

На иностранные языки сочиненія Словацкаго переводились неоднократно, именно на французскій и особенно нѣмецкій. Такъ, «Марія Стюартъ» была переведена на нѣмецкій языкъ два раза (*Drake*, Berlin, 1847, и *Germann*'омъ, Leipzig, 1879); переведены также по-нѣмецки драмы: «Лилла Венеда» (*Rischka*, Ярославль, 1881), «Балладина» (*Germann*'омъ, Leipzig, 1882) и «Мазепа» — въ „*Bühnenrepertoire*“ *Both'a*, В. 14 № 111, а изъ поэмъ двѣ: «Отецъ зачумленныхъ» (*Stahlberg*'омъ, Krak. 1872) и «Въ Швейцаріи» (*Kurtzmann*'омъ, Leipz. 1880). На французскомъ языкѣ сочиненія Словацкаго издалъ сынъ поэта Мицкевича, въ переводѣ *Gasztowt'a* (*Oeuvres complètes de Jules Slowacki*, Paris, 1870). По-русски, насколько намъ извѣстно, переведены въ цѣломъ видѣ только двѣ поэмы Словацкаго г. В. Станкевичемъ: «Янъ Бѣлецкій» и «Арабъ» — и то не стихами, а, такъ сказать, подстрочно ¹⁾. Стихотворные отрывки его

¹⁾ „Сочиненія Юлія Словацкаго. Вып. I. Перевелъ Владыславъ (sic) Станкевичъ. Съ приложеніемъ біографіи сего великаго поэта“. Одесса, 1884, 32 стр. 8^о.

поэмъ: «Монахъ» и «Янъ Бѣлецкій» въ переводѣ *И. Козлова* помѣщены въ изданіи Гербеля «Поэзія Славянъ», съ краткимъ очеркомъ жизни Словацкаго; это—лучшее, что имѣется въ русскомъ переводѣ, но это мало даетъ представленія о поэтѣ. Изъ другихъ произведеній имѣются нѣкоторые на русскомъ языкѣ только въ пересказѣ, въ статьяхъ о Словацкомъ *Х. Яшуржинскаго* ¹⁾ и *Л. И. Полонскаго* ²⁾; первая изъ этихъ статей содержитъ краткій біографическій очеркъ, содержаніе и разборъ трагедіи «Мазепа» и поэмы «Отецъ зачумленныхъ», а вторая, болѣе полная, разсматриваетъ его эпическія и драматическія произведенія, но въ ней почти не затронута лирика и очень немного удѣлено мѣста личной жизни поэта ³⁾. О трудѣ Пыпина и Спасовича «Исторія славянскихъ литературъ», гдѣ тоже, само собою, Словацкому посвящено нѣсколько страницъ, мы только упоминаемъ, какъ о книгѣ общеизвѣстной.

Изъ этихъ указаній мы видимъ, что въ числѣ того весьма немногаго, съ чѣмъ русская публика могла познакомиться въ переводѣ на русскій языкъ, сравнительно болѣе посчастливилось поэмамъ Словацкаго, драматическихъ же произведеній его, какъ упомянуто выше, въ цѣльномъ какомъ бы то ни было видѣ, хотя бы въ не стихотворномъ переводѣ, не имѣется вовсе. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ (еще въ 1894 г.) мною была переведена цѣликомъ его драма «Марія Стюартъ», но она нигдѣ еще не напечатана, и здѣсь впервые печатаются, за недостаткомъ мѣста, только ея отрывки.

Драма «Марія Стюартъ», несмотря на свои недостатки въ построеніи, казалась мнѣ болѣе удобною для перевода потому, что она не содержитъ никакой политической тенденціи, какъ это, наоборотъ, мы видимъ въ нѣкоторыхъ другихъ драматическихъ произведеніяхъ этого писателя. Тѣмъ не менѣе, представленная мною въ драматическую цензуру, она подверглась многимъ исключеніямъ, вслѣдствіе чего до сихъ поръ не могла быть представлена на русской сценѣ, хотя въ польскихъ театрахъ

Вып. II долженствовалъ заключать поэмы: „Отецъ зачумленныхъ“ и „Въ Швейцаріи“, но онъ, кажется не появлялся въ свѣтъ.

1) „О Юліи Словацкомъ“, Кіевъ, 1882, 35 стр. 8^о (оттискъ изъ „Славянскаго Ежегодника“, 1882).

2) „Юлій Словацкій“, „Русская Мысль“, 1889, февраль, отд. II, стр. 61—100.

3) Лучшимъ матеріаломъ для ознакомленія съ жизнью поэта служатъ его обширныя и интересныя письма къ матери, писанныя изъ-за границы. Они изда ны недавно въ двухъ томахъ, съ присоединеніемъ его Автобіографіи („Listy Juliusza Slowackiego, z autografow poety wydal po raz pierwszy Leopold Meyet“. Lwów. 1899. Съ портретами и рисунками). Ихъ раньше въ значительной мѣрѣ использовалъ въ своей монографіи Antoni Malecki: „Juliusz Slowacki, jego zycie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki“. Т. 1—2. Lwów, 1866—67. (2-е изд. 1881 г.). Въ недавнее время вышло въ свѣтъ капитальное сочиненіе о Словацкомъ *Ferd. Hörsick'a*, въ 3-хъ томахъ.

она не сходитъ съ репертуара и всегда пользовалась большимъ успѣхомъ, чѣмъ другія драматическія произведенія того же автора.

Въ названной драмѣ Словацкій не придерживался Шиллера и не подражалъ ему; онъ избралъ другой періодъ жизни королевы Маріи, именно начало ея царствованія, а вмѣстѣ съ тѣмъ представилъ и иной характеръ героини. У Шиллера мы видимъ королеву страдальцу, невиновенную жертву посторонняго насилія; ея страданія, ея трагическій конецъ являются не вызванными ею самою, и съ этой стороны героиня Шиллера, пожалуй, менѣе драматична. Словацкій, наоборотъ, представляетъ намъ ее королевою еще во власти и рисуеъ намъ ее во всей женской прелести, предъ которой отъ юнаго пажа до мрачнаго царедворца Ботвеля никто устоять не можетъ. Все это, въ связи съ ея страстнымъ и несокрушимымъ темпераментомъ и гордостью монархини, дѣлаеъ ее виновницей собственныхъ несчастій и страданій и приводитъ къ трагическому концу, который, впрочемъ, здѣсь она только предвидитъ какъ бы въ видѣніи.

Драма Словацкаго не даеъ намъ полной исторической картины, въ ней очень мало дѣйствующихъ лицъ, и въ этомъ она значительно уступаетъ Шиллеровой; зато въ ней сильнѣе и глубже затронута психологическая сторона. Предъ нами яркій типъ молодой, обаятельной женщины, королевы, ненавидимой народомъ за ея католицизмъ, но воспламеняющей любовь въ своихъ приближенныхъ, какимъ былъ Рицціо, зазнавшійся арфистъ, котораго гордые бароны убиваютъ въ глазахъ королевы, при содѣйствіи ея мужа. Глубоко оскорбленная, она ищетъ опоры въ окружающихъ и находитъ мстителя за свою обиду въ лицѣ Ботвеля, бросаясь ему въ объятія. По мысли Ботвеля, при участіи Маріи, мужъ ея взорванъ посредствомъ мины, послѣ чего оба сообщника въ преступленіи ищутъ въ бѣгствѣ спасенія отъ преслѣдующаго ихъ разъяреннаго народа¹⁾.

Нельзя не замѣтить, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ эта трагедія имѣеъ большое сходство съ драмой Бьернстерна «Марія Шотландская»; мало того, нѣкоторыя сцены, напр. свиданіе Маріи съ мужемъ Генрихомъ Дарнлеемъ (дѣйствіе IV, картина 2-я, сцена 2-я), почти дословно сходны съ соотвѣтственными сценами въ драмѣ упомянутаго норвежскаго писателя, написанной 30-ю годами позднѣе драмы Словацкаго, такъ что можно предположить, что Бьернстернъ зналъ польскую пьесу, если не въ оригиналѣ, то въ нѣмецкихъ переводахъ ея, которые, какъ указано выше, стали появляться довольно рано.

Въ критикѣ установилось мнѣніе, что эта драма написана Словацкимъ подъ влияніемъ одноименной трагедіи Альфіери; но при ближайшемъ сличеніи оказывается, что только два ея послѣдніе акта имѣютъ отдаленное сходство съ италіанскою драмою, доказывающее однако, что Словацкій зналъ

¹⁾ См. Пыпина и Сласовича, „Исторія слав. лит.“, т. II, стр. 683.

произведеіе Альфіери; по какъ сама героиня, такъ и другіе характеры разработаны у него совершенно независимо. Если говорить объ иноземномъ вліяніи, то можно упомянуть о Шекспирѣ, которому авторъ какъ будто подражаетъ въ нѣкоторыхъ приемахъ творчества. Изъ англійскихъ писателей гораздо большее вліяніе въ данномъ случаѣ оказалъ на поэта Вальтеръ Скотъ своими повѣстями, имѣющими отношеніе къ той-же исторической эпохѣ. Таковы: *The fair maid of Perth* (предисловіе), *The lady of lake*, *The monastery*, *The Abbot* и др. Что же касается Шиллера, то воспоминаніе о его драмѣ того же имени можно, пожалуй, отмѣтить въ одномъ лишь мѣстѣ, гдѣ авторъ, какъ будто подъ впечатлѣніемъ Шиллеровской сцены суда и казни Маріи, ея же устами рисуеъ ей въ воображеніи страшную картину ожидающей ее участи (дѣйствіе V, сцена 2-я). Вотъ это мѣсто:

Марія (къ пажу). Стань помолись ты за меня здѣсь предъ распятымъ...
(*Пажъ становится на колѣни и безпокойно оглядывается на нее*).

О, эта ночь!.. какія странныя все грезы!
Во снѣ ли это все, иль наяву я вижу?
Средь тысячи огней вотъ я сижу на тронѣ,
И вдругъ темнѣетъ все... Въ коронѣ и порфирѣ
Иду я... Боже мой! Но что это? Темница?
Кто жъ заключилъ меня, живой въ могилу бросилъ?
Вѣрнѣйшіе друзья еще стоятъ со мною,
Но что-жъ они въ слезахъ и въ траурѣ всѣ одѣты?
И духовникъ меня выпрашиваетъ тайно
Про тяжкіе грѣхи... Какіе? въ чемъ грѣшна я?
Ужель онъ хочетъ знать ужасной ночи тайну?
Но вотъ онъ вышелъ, всѣ за нимъ уходятъ слѣдомъ...
Вхожу я въ залъ... Что это? тронный залъ я вижу?
Онъ весь горитъ огнями факеловъ унылыхъ,
И тронъ мой занятъ женщиною незнакомой.
А стѣны... Боже! крепомъ траурнымъ обиты.
Цвѣтовъ тамъ нѣтъ, лишь рядъ могильныхъ кипарисовъ.
Молиться мнѣ велеть, всѣ стали на колѣни...
Зачѣмъ все это? Ахъ!..

Въ польской литературѣ вопросъ о вліяніи иностранныхъ писателей на Словацкаго, а также о самомъ процессѣ созданія этой драмы и нѣкоторыхъ другихъ его произведеній изслѣдованъ довольно подробно ¹⁾.

Интересно то, что нѣкоторые моменты даже въ своихъ историческихъ драмахъ, хотя бы въ той же «Марія Стюартъ», поэтъ творилъ подъ непосредственнымъ личнымъ впечатлѣніемъ, такъ что такія мѣста имѣютъ нѣкоторое автобіографическое значеніе. Такое значеніе имѣетъ между прочимъ въ приводимомъ ниже первомъ отрывкѣ вторая половина сцены прощанія Рицію съ Маріей (дѣйств. II, карт. 2, сц. 3). Критики не безъ основанія догадываются, что здѣсь воспроизведена авторомъ свѣже-пережитая имъ сцена прощанія съ предметомъ его перваго увлеченія, Людвигой

¹⁾ Срв., напр., Варшавскій „Ateneum“, 1894, 2; 1900, 3; „Wisła“ 1893, и др.

Снядецкой, дѣвушкой нѣсколько старше его, отвергшей его пламенную любовь, но не забытой имъ до конца жизни ¹⁾.

Изъ лицъ этой трагедіи особенно удачнымъ вышелъ совершенно оригинальный типъ шута, Никъ, отличающійся высокой художественностью и сильнымъ драматизмомъ, особенно во второй картинѣ IV дѣйствія (сц. 3); мы приводимъ эту картину цѣликомъ, тѣмъ болѣе, что именно въ этой картинѣ (сц. 2-я) мы замѣчаемъ и ближайшее сходство съ «Маріей Шотландской» Бьёрнсона, о чемъ упомянуто выше.

Невольно интересуется насъ процессъ созданія этого типа шута у Словацкаго. Указываютъ на то, что Никъ напоминаетъ шута въ «Королѣ Лирѣ» и пажа Аллана въ повѣсти Вальтеръ Скота *The lord of the isles*, что самое его имя встрѣчается у Вальтеръ Скота (*Rob-roy*). Но намъ лично кажется, что и здѣсь сказываются какія-нибудь сильныя воспоминанія его дѣтства и юности изъ стараго помѣщичьяго, панскаго быта. Мало ли было такихъ своего рода Никовъ при дворахъ помѣщиковъ-крѣпостниковъ? Ихъ презирали, попирали ногами, играли ихъ жизнью и не считали ихъ за людей, а они всю свою жалкую жизнь посвящали единственному старанію угодить своимъ господамъ и доказать имъ свою преданность и самоотверженіе. Еще недавно въ воспоминаніяхъ одного старожила Бѣлоруссіи рассказаны были случаи отъ 40-хъ и 50-хъ годовъ, доказывающіе нашу мысль, что Словацкому не зачѣмъ было далеко ходить за типами шутовъ: онъ могъ видѣть эти типы на мѣстѣ, въ своемъ краѣ ²⁾. Вотъ, напр., «старый гороховый шутъ» *Никонъ*, который скороталъ свой вѣкъ на шутовской службѣ у пана Кудзиновича, а когда сталъ никому не нуженъ, то пріютился въ убогой хаткѣ старой Никоники, съ которой раньше рѣдко видался, какъ гость: онъ все спѣшилъ на «службу», все опасался просрочить отпускной часъ—часъ покоя патрона, единственно свободный въ его жизни. «Весь свой комическій вѣкъ, — рассказываетъ авторъ, — служилъ онъ вѣрой-правдой, много-много разъ расправлялъ хмурое чело патрона и вызывалъ искренній смѣхъ у его гостей разными продѣлками... Всѣ помыслы Никона сосредоточивались на одномъ: что бы такое придумать для развлеченія одинокаго пана? Сообразно вкусу и требованію патрона, шутки и штуки Никона были просты, грубы и плоски. Такъ, изображая собаку, онъ долженъ былъ вползти къ патрону на четверенькахъ; по командѣ: служь!—становиться на ноги, выплясывать собачье па, держа соотвѣтственно руки съ опущенными кистями, ловить ртомъ брошенный кусочекъ сахару, а не то поднимать его съ полу ртомъ, по-собачьи, ловить тѣмъ же манеромъ муху, слѣдить за ея полетомъ;

¹⁾ См. Wal. Przyborowski, *Niewiescie ideały Mickiewicza, Słowackiego etc.*

²⁾ См. „Очерки Витебской Бѣлоруссіи“, Н. Я. Никифоровскаго (въ „Этнографическомъ Обзорѣніи“, кн. XX).

или притащивъ въ зубахъ подстилку и расправивъ ее зубами же на полу, на стулѣ, дабы не запачкать послѣдняго, Никонъ долженъ былъ или лежать по-собачьи, свернувшись клубкомъ, или сидѣть по-собачьи, опершись вытянутыми руками, и при малѣйшей тревогѣ ворчать и лаять. Въ такомъ родѣ проходили изображенія и другихъ животныхъ: коровыи «зыки», лошадиныя «брыки», свиные «хрюки» и пр. Изображалъ Никонъ и людей: «кульгачилъ» (нахрамывалъ), ходилъ въ развалку, шатался какъ пьяница, картавилъ, сюсюкалъ, гримасничалъ... Все это нужно было продѣлать во-время, угадавъ, что и когда пану нравится, потому что ненаходчивость, неумѣстность обыкновенно оплачивались пинками, зуботычинами. Замахнувшись, примѣрно, панъ, чтобы дать пинка, но если Никонъ въ это время встаетъ заворчить, оскалить зубы, готовая для кары панская рука мягко опускается и гладитъ находчивую «цюлинъкину» (собачью) головку, а лицо проясняется улыбкой.—Бывали среди этихъ жалкихъ «тварей» и такія, которыя въ критическую минуту выручали своего патрона и готовы были рисковать жизнью, подобно Нику, который невольно вызываетъ слезы на глазахъ зрителя въ высшей степени трогательной картиной своей смерти... Въ предсмертныхъ грѣзахъ Ника снова слышится автобіографическая нота: поэтъ во всю свою скитальческую жизнь подобно Нику стремился сердцемъ на родину, подъ отеческій кровъ, къ своей нѣжно-любимой матери, которой онъ повѣрялъ всѣ свои сокровенныя мысли и чувства; всегда онъ надѣялся, что хоть по смерти найдетъ себѣ покой на отечественномъ кладбищѣ, въ Кременцѣ, подъ той черешней, гдѣ покоились его отецъ и бабушка; но втеченіе всей своей 20-лѣтней оторванности отъ родины ему пришлось только одинъ разъ свидѣться съ матерью на одну недѣлю, и умеръ онъ на чужбинѣ. Погребенъ Словацкій на кладбищѣ Montmartre, въ Парижѣ.

Мы ограничиваемся этими бѣглыми и случайными замѣтками, цѣлью которыхъ было только напомнить о выдающемся писателѣ родственнаго намъ народа, въ надеждѣ, что его творенія, наконецъ, безпрепятственно займутъ подобающее имъ мѣсто въ нашей литературѣ.

Намъ остается только попросить читателей снисходительно отнестись къ прилагаемымъ отрывкамъ нашего перевода, далеко несовершеннаго по своей внѣшней формѣ.

П Р И Л О Ж Е Н І Е.

Три отрывка изъ трагедіи „Марія Стюартъ“,

Ю. Словацкаго.

Дѣйствіе II. Картина 2. (*Въ комнату королевы*).

Сцена 1-я. Марія и Пажъ.

Пажъ (*входитъ*). Сейчасъ придетъ Ридціо. **Марія**. Ахъ, что жъ онъ медлитъ?

Изъ всѣхъ друзей одинъ онъ у меня остался,
А скоро ужъ и съ нимъ разстанусь. **Пажъ**. Королева!
Ты не права: твоихъ друзей перечисляя,
Ты Ботвеля забыла... (*Смущенно*). Бѣдный пажъ не смѣетъ
Напомнить о себѣ: онъ права не имѣетъ.

Марія. Мой милый, ты растешь: придетъ пора разстаться,
На мечъ ты смѣнишь вѣеръ, чтобъ достигнуть славы.
Кто будетъ утѣшать меня въ пустынь мрачной?

Не Ботвель же? Его я слишкомъ мало знаю.
Но, пажъ мой дорогой! Ты плачешь? **Пажъ**. О, прости мнѣ
Ребячьи слезы! Я одной лишь жилъ мечтою,

Что подъ твоимъ крыломъ здѣсь рыцаремъ я стану,
И поясъ заслужу и шпоры золотыя,
А о разлукѣ мысль и въ умъ не проходила.

Теперь впервые я созналъ ея возможность,
И славы рыцарской желанье вдругъ исчезло.
Но вѣдь и Ботвель рыцарь,—все же при дворѣ онъ,
И могъ бы быть гораздо ближе къ королевѣ.

Марія (*задумчиво*). Да, могъ бы быть гораздо ближе къ королевѣ.

Пажъ. Вчера онъ близко былъ, когда съ придворной свитой
Сопровождалъ тебя все время на охотѣ.

Я видѣлъ на челѣ слѣды глубокой грусти.
Когда же сѣли всѣ въ украшенныя лодки,
Онъ при рулѣ стоялъ и былъ ужасно блѣденъ,
И въ глубь воды смотрѣлъ, какъ будто въ этой безднѣ
Видѣнья страшныя, мучительныя видѣлъ.

Когда онъ нагибался, я дрожалъ отъ страха.
Я въ жизни не видалъ, чтобъ внутреннія думы

На чьемъ-нибудь лицѣ такъ ярко отражались.
Повѣришь?—и теперь мерещится мнѣ Ботвель,
Какъ будто бы во снѣ. И что его такъ мучить?
Понять я не могу.—**Марія**. Ребенокъ ты невинный.
А мнѣ легко понять... Его мечты безумны...
Пажъ. Но слушай, королева! Лишь попутный вѣтеръ
Сильнѣе парусами зашумѣлъ, и роза
Упала съ головы твоей въ морскія волны,
И прочь ее угнало—встрепенулся Ботвель,
Далъ знакъ матросамъ—лодка въ мигъ была готова;
Онъ сѣлъ въ нее одинъ и за цвѣткомъ пустился.
Я все за нимъ слѣдилъ, пока въ дали тумана
Не скрылся онъ. **Марія** (*съ нетерпѣнiемъ*). Оставь меня, слуга мой
вѣрный!

Но дай мнѣ вѣрь: здѣсь какъ будто душно стало,
Лицо горить... Уйди, насталь ужъ часъ молитвы. (*Пажъ уходитъ*).

Сцена 2-я. **Марія** одна.

Онъ слишкомъ провицателенъ, но онъ не знаетъ,
Что тайная любовь есть все же преступленье.
Стараюсь заглушить ее, но нѣтъ, не въ силахъ!
Не лучше ль удалить мнѣ Ботвеля изъ свиты?
На чистомъ зеркалѣ легчайшее дыханье
Оставить можетъ слѣдъ... Что? я чиста, невинна?
Боюсь позора! Но вѣдь всѣ подозрѣваютъ,
Что Риццию люблю я. О, ребячья трусость!
Судьей моихъ поступковъ—я, но не другіе.
Здѣсь всѣ подвластны мнѣ, одинъ Богъ надо мною.
Я Ботвеля люблю— и Богъ одинъ судья мнѣ! (*Пауза*).
Какъ тяжело мнѣ что-то! Развѣ снять корону? (*Снимаетъ*).
На пальцѣ перстень давить... (*Снимаетъ*). Пусть приходитъ Ботвель!
Приди, приди ко мнѣ! Безъ перстня, безъ короны
Я жду тебя, мой Ботвель! Мнѣ ничто не страшно!
Твоя задумчивость всегда меня плѣняла,
Улыбки горечь, на челѣ какой-то сумракъ...
Но думы мрачныя пусть прочь идутъ далеко;
Прояснится лицо твое улыбкой нѣжной;
Еще прекраснѣй будешь ты, извѣдавъ счастье. (*Входитъ Риццию*).

Сцена 3-я. **Марія** и **Риццию**.

Риццию. Тебѣ угодно было, королева... **Марія** (*прерывая*). Страшно
Мнѣ за тебя, а здѣсь ты будешь безопасенъ.

Цвѣты раздора ты въ Дугласа ниву бросилъ,
И плодъ смертельный дали ужъ они ¹⁾. Послушай,
Мой рыцарь, сбившійся съ дороги, будь покоренъ:
Немыслимо тебѣ здѣсь больше оставаться.

Ты знаешь, отъ меча защита—мечъ и панцырь,
Тебѣ жъ грозитъ предательскій ударъ кинжала,
И горе тѣмъ, кто скрытому врагу довѣритъ
Свою судьбу. Чтобъ избѣжать руки злодѣевъ,
Ты долженъ этотъ край покинуть поскорѣе,
Я къ папскому двору тебѣ дамъ порученье.
Корабль готовъ и паруса ужъ вѣтромъ полны...
Прощай!.—**Рицціо**, О, королева! Повтори рѣшенье!
Нѣтъ, нѣтъ, не повторяй! Будь пропасть предо мною,
Я не послушаюсь, хотя бъ навлекъ я гнѣвъ твой.

Марія! я останусь, клятвой подтверждаю,
Мое рѣшенье твердо и ненарушимо.

Вѣдь смерть моя тебя не огорчитъ, не тронетъ?
Твои жъ уста, **Марія**, приговоръ диктуютъ
Ужаснѣй самой смерти! Хоть бы голосъ дрогнулъ,
Когда ты изрекла его! **Марія**! сжался!

Марія. Не забывай, что говоришь ты съ королевой,
Не съ кѣмъ-либо инымъ.—**Рицціо**. Но гдѣ жъ твоя корона?
Чело увѣнчано цвѣтами, не короной:

Ты мнѣ равна—и говорилъ я слишкомъ смѣло,
Прости мнѣ! Ахъ, то мысль безумца, но я думалъ,
Что для меня нарочно ты сняла корону.

Марія. Напрасно думалъ ты. Ты знаешь для молитвы
Снимаю я корону,—и теперь молилась...

Рицціо. Прости, ошибся я. Не надѣвай короны:
Она твое чело чрезмѣрно отягчаетъ
И придаетъ лицу какой-то мрачный обликъ.

Марія. Съ людьми я безъ короны не веду бесѣды,
Бесѣдую лишь съ Богомъ (*надѣваетъ корону*)... съ Богомъ и... съ
собою.

Рицціо. Теперь послушаться не смѣю... Долженъ ѣхать. (*Отходитъ
къ окну*).

Сегодня день прекрасный, небо голубое,
Лишь кой-гдѣ облачко плыветъ по небосклону:

¹⁾ Рѣчь идетъ о ссорѣ Рицціо съ Дугласомъ, о предстоящей ихъ дуэли и о заговорѣ противъ Рицціо. **Марія** желаетъ временно удалить своего любимца Рицціо, чтобы спасти его отъ гибели: это дастъ ей возможность свободнѣе вести интригу съ Ботвелемъ, которымъ она уже сильно заинтересована.

Оно мнѣ кажется путь, не предвѣщая бури.
Взгляни, какъ тихо все, цвѣты благоухаютъ
Подъ свѣжею росой. Тамъ горныя вершины
Уходятъ въ синеву небесъ, какъ наши грезы.
Тамъ ниже—море... какъ оно бушуетъ страшно,
И корабли во мглѣ качаются уныло. (*Отворачивается, закрываясь*).
Марія. Что ты такъ блѣденъ, Рицціо?—**Рицціо.** Распущенъ парусъ...
Я видѣть не могу, мнѣ страшно.—**Марія.** Какъ ребенокъ
Ты малодушенъ, Рицціо.—**Рицціо.** О королева!
Ты жизнь мою спасти желаешь, но зачѣмъ же,
Когда вся прелесть жизни для меня исчезла?
Ужъ скоро этотъ замокъ скроется въ туманѣ,
На палубѣ я стану—море подо мною...
Куда я уплыву—кто знаетъ? Свѣтъ широкій...
Забвенъе темной пеленой меня покроетъ,
Уже я чувствую ея прикосновенъе.
Ужель не суждено мнѣ больше возвратиться?
Зачѣмъ? Душевной болью изнуренъ глубоко
Вернусь ли успокоить слезы и страданья?
Одна душа была здѣсь, что могла понять ихъ
И та не поняла,—понять не захотѣла!
Итакъ пускаюсь въ путь скитальцемъ одинокимъ,
А ей желаю счастья. **Марія** (*съ чувствомъ*). Рицціо! Рицціо. О счастье.
Еще, еще разъ повтори ты это имя!
Я стонъ твоей души слышалъ въ этихъ звукахъ.
Марія (*холодно*). Тебѣ я, Рицціо, хочу дать порученье:
Когда придешь въ Римъ, проси отца святого,
Пусть хлѣбъ святой съ престола въ золотой оправѣ
Пришлетъ онъ королевѣ.—**Рицціо** (*возмущенно*). Что за благочестье!
А мучить, унижать, терзать чужое сердце
Есть тоже добродѣтель? Замопить все можно?
Ну, такъ прощай!—**Марія.** Ахъ, все и всѣ мы въ волѣ рока.
Прощай! Но Рицціо Марія помнитъ будетъ.
Рицціо. И все жъ я долженъ ѣхать? **Марія** (*строго*). Что же это значитъ?
Рицціо. Прости, но голосъ твой мнѣ грустнымъ показался.
Позволь остаться мнѣ, а утромъ я уѣду.
Марія (*насмѣшливо*). Конечно, оставайся. Риску въ томъ не много.
Сегодня балъ придворный, маски соберутся.
Я наряжусь царицей смѣха.. Приходи же!
Мы тамъ простимся; ты привѣтъ прощальный примешь
Изъ устъ царицы смѣха... **Рицціо.** Такъ прощай навѣки! (*Уходитъ*).
Марія (*одна*). Чувствительно его насмѣшка уколола.

Обидѣлся, и не останется здѣсь больше,
А этимъ самымъ онъ избѣгнетъ вѣрной смерти.
Такъ горькія лѣкарства служатъ намъ на пользу ¹⁾.

Дѣйствіе III. Картина 2. (*Тамъ же*).

Сцена 1-я. Марія одна (*за пяльцами*).

Совсѣмъ одна... Гдѣ жъ пажъ мой? Что онъ долго медлитъ? ²⁾
Какъ время тянется! Чѣмъ скоротать—не знаю.
Работа для меня—любимая отрада.
Когда изъ-подъ иглы цвѣточекъ развернется.
Тогда, какъ поселянка, рада я успѣху.
Но какъ немного тѣхъ мишутъ блаженныхъ! Вѣчно
Среди притворщиковъ безчувственныхъ и черствыхъ,
Гдѣ нѣтъ ни чистыхъ слезъ, ни искренней улыбки,
И гдѣ меня никто, никто не понимаетъ!..
Когда бъ сошла я въ полномъ блескѣ, королевой,
Въ жилище поселянина и тамъ спросила:
„Вѣдь королева счастлива, не правда ль?“ — „Вѣрно“,
Сказалъ бы, „счастлива. Когда я былъ въ столицѣ,
„Я видѣлъ тамъ ея палаты въ пышномъ блескѣ,
„А я бѣднякъ, по гробъ работъ обреченный,
„Всегда въ поту, въ пыли воздѣлываю ниву,
„И въ хижинѣ живу, травой и мхомъ поросшей.
„Могилы королей я видѣлъ,—на могилахъ
„Стоять несокрушимо мраморы, граниты,
„Могила жъ поселянина былѣмъ покрыта“...
Да, правда, счастлива должна быть королева!.. (*Входитъ Рицціо*.)

Сцена 2-я. Марія и Рицціо.

Рицціо. О, какъ благодарить я долженъ, королева!
Съ тобой послѣднія минуты проведу я.
За каждый этотъ мигъ я отдалъ бы полжизни.
Марія! Какъ я счастливъ!.. Въ путь готовъ я завтра,
Но этотъ день отъѣзда гдѣ-то такъ далеко!
Я счастьемъ опьяненъ, и мнится мнѣ, безумцу,

¹⁾ Изъ дальнѣйшаго видно, что королева все-таки разрѣшила Рицціо провести этотъ вечеръ при дворѣ, гдѣ онъ и былъ убитъ на ея глазахъ, при участіи ея мужа Дарнлея.

²⁾ Онъ посланъ ею къ Рицціо съ приглашеніемъ его къ себѣ.

Что этотъ вечеръ будетъ длиться безконечно.

Уже ль разсѣются мечты мои напрасно?

Марія. Ты счастливъ, а меня тоска одолѣваетъ;

Ты весель, мнѣ же тѣмъ грустнѣй, и страшно что-то.

Рицціо. Пусть рѣчь моя тебѣ не станетъ за обиду.

До завтра долженъ я остаться непремѣнно:

Я далъ Дугласу слово ¹⁾—и исполнить долженъ.

Марія. Не можетъ это быть!—**Рицціо.** Мое рѣшенъе твердо.

Но мы оставимъ темы грустныхъ разговоровъ.

Я весель безъ ума и о своемъ отъѣздѣ

Съ улыбкой думаю. Мнѣ слышится пѣснь Тассо,

Какъ эхо по волнамъ. Вотъ я плыву въ гондолѣ,

Обитой чернымъ крепомъ, словно въ мрачномъ гробѣ.

Вотъ длинный рядъ палатъ; изъ оконъ освѣщенныхъ

Встаютъ на лонѣ водѣ колонны свѣтотыя;

Ладья моя несется по волнамъ зыбучимъ,

А надо мной высоко, въ синевѣ небесной,

Катится мѣсяцъ ясный шаромъ серебристымъ,

И грудь моя все ноетъ странною тоскою...

Въ чьемъ сердцѣ жаромъ страсть пылала безъ отвѣта,

Тотъ пусть слезой зальетъ души несчастной муки...

Марія. Однако, ты не радостно настроенъ. Полно!

Пока мы молоды, все въ жизни впереди насъ.

Рицціо. Мое все позади. Моя улыбка даже,

Какъ скоро промелькнетъ, еще скорѣй исчезнетъ.

И роза иногда цвѣтетъ зимой въ теплицѣ,

Но какъ она жалка, блѣдна и слабосильна!..

Но что я такъ грущу? Все можетъ измѣниться.

Когда-нибудь вернусь. Иль нѣтъ? Но почему же?

Ахъ, потому, что свѣтъ широкій—та же пропасть:

Кто разъ въ нее попалъ, тотъ врядъ ли возвратится.

Но нѣтъ, не можетъ быть! Въ Шотландію прибуду.

И залы, что теперь омрачены печалью,

Весельемъ огласятся, и заблещутъ стѣны

Собраньемъ знатныхъ масокъ и вельможъ придворныхъ...

Марія. Здѣсь все такъ чопорны, грѣховнымъ все считаютъ,

Невинныхъ развлеченій здѣсь не допускаютъ;

Начнется недовольство...—**Рицціо** (*одушевляясь*). Ропотъ недоволь-

ныхъ

Рукоплесканья заглушаютъ въ собраньи шумномъ.

¹⁾ Драться съ нимъ на дуэли.

Здѣсь соберется цвѣтъ французской молодежи.
Какое счастье!..—**Марія** (*прислушиваясь*). Слышишь? Будто звонъ
оружья...

Рицціо. О, нѣтъ, то вѣтерокъ моей коснулся арфы:

Ея печальныхъ звуковъ эхо раздается.

О арфа! мнѣ легко понять твой стонъ прощальный,

Одна меня ты провожаешь грустнымъ вздохомъ.

Марія. Но гдѣ жъ мой пажъ?—**Рицціо**. О, королева, успокойся!

Позволь мнѣ замѣнить пажа хотя на время.

Я въ жизни не испытывалъ такого счастья.

У ногъ твоихъ я сяду. (*Садится*). О, блаженство рая!

Теперь я не желалъ бы умереть...—**Марія**. О, полно,

Тебѣ ли умирать исполненнымъ надежды?

Рицціо. Я на лицѣ твоемъ хотѣлъ прочесть надежду;

Но разныхъ чувствъ слѣды на немъ я вижу ясно,

Одной надежды нѣтъ... Зачѣмъ же, королева,

Чело ты хмуришь? гнѣвъ ли на пажа скрываешь?

Вѣдь пажъ дитя—онъ въ воду за луной полѣзаетъ,

И за цвѣткомъ онъ также тянется безопасно.

На головѣ твоей вѣнокъ изъ розъ душистыхъ:

Позволь мнѣ нѣсколько.—**Марія**. Съ какою цѣлью, Рицціо?

Рицціо. Когда прибуду въ Римъ, я этимъ цѣннымъ даромъ,

Что мнѣ всего дороже, тамъ престолъ святой украсу

И всѣмъ скажу: смотрите! то Маріи розы,

Шотландской королевы—ангела въ коронѣ!

Марія (*давая цвѣты*). Могу исполнить просьбу—не для этой цѣли.

Возьми цвѣты, но не для Божьяго престола.

Рицціо (*цѣлуетъ руку*). Марія! Я твой пажъ,—какъ пажъ, я умоляю:

Позволь мнѣ вѣреть твоей. Однимъ лишь дуновеньемъ

Мнѣ въ душу онъ прольетъ чарующую нѣгу.

Шотландіи твоей почувствую я воздухъ

Въ краю далекомъ и цвѣтовъ благоуханье,

И въ сладостной мечтѣ глаза тогда закрою,

И грезить буду... (*Закрываетъ глаза. Незамѣтно входитъ король*

Генрихъ и становится позади королевы).—**Марія** (*съ улыбкой къ*

Рицціо). Какъ пажу, тебѣ прощаю:

Такъ Рицціо не смѣлъ бы говорить со мною.

Но, можетъ-быть, мой пажъ короны пожелаетъ?

Пурпурной мантией захочетъ онъ покрыться?

Иль вѣра довольна? (*Отдаетъ ему вѣрзь. Входятъ тайно Ду-*

гласъ и Линдсэй).—**Рицціо**. Вѣчно благодаренъ!..

(Слѣдуетъ сцена убійства Рицціо, а затѣмъ свиданіе Маріи съ Ботвелемъ, которому она кидается въ объятія. Въ слѣдующемъ дѣйствіи Ботвель устраиваетъ заговоръ противъ короля, который, потрясенный убійствомъ Рицціо, лежитъ больной въ загородномъ домѣ; самъ Ботвель готовитъ взрывъ этого дома, а королеву посылаетъ отнести королю ядъ въ видѣ лѣкарства, что Марія и исполняетъ; но ядъ выпиваетъ намѣренно шутъ короля Никъ, а король погибаетъ взорванный на воздухъ въ послѣднемъ дѣйствіи).

Дѣйствіе IV. Картина 2. (*Ночь. Въ загородномъ домѣ короля.*)

Сцена 1-я. Король Генрихъ (*больной*) и Никъ.

Генрихъ. Скрываюсь здѣсь, какъ проклятый... О кара Божья!
Рой призраковъ мутитъ мое воображенье,
Мученья совѣсти стоятъ у изголовья...

Никъ. И вовсе нѣтъ. Здѣсь Никъ одинъ,—всмотрись получше.

Генрихъ. Да, только Никъ одинъ здѣсь,—всѣми я оставленъ!
Короны каждый камешекъ запятнанъ кровью,
Она меня гнететъ и къ гробу наклоняетъ.

Въ коронѣ страшно мнѣ! (*Снимаетъ корону*). — **Никъ.** И Нику-то не легче.

Вотъ шапочка, что я потеръ въ твоихъ покояхъ:

Все вѣшалъ я на ней даренныя монеты,

Теперь она цѣной дороже Ника стала

И тяжестью его ужъ скоро перевѣситъ.

Для головы не надо тяжестей излишнихъ,

Довольно ей ума и глупости.—**Генрихъ.** Однако,

Ты, видно, умничать сегодня больше склоненъ,

Веселья жъ на лицѣ твоёмъ не замѣчаю...

Но какъ не видѣть призраковъ, что такъ и лѣзутъ!

Они вконецъ мой умъ и сердце истерзаютъ.

Какъ ихъ не видѣть, Никъ?!—**Никъ.** Глаза закрыть попробуй.

Генрихъ. Они не предъ глазами, а въ душѣ роятся,

Повсюду слѣдуютъ, какъ тѣнь моя, за мною;

Ихъ вижу, какъ тебя.—**Никъ.** Когда огонь потушишь,

Меня ты не увидишь; а потушишь совѣсть—

И призраки, какъ тѣнь, исчезнутъ.—**Генрихъ.** Я не въ силѣхъ.

Да ты безумецъ! Совѣсть потушить, какъ свѣчку?!
(*Всматривается вълубь комнаты*):

Смотри! Онъ тамъ стоитъ... весь въ траурной одеждѣ,

Какъ будто бы желаетъ тайну смерти выдать.
Молчитъ... въ крови... весь блѣденъ и меня все манитъ.
Тогда кинжаломъ онъ исколотъ былъ, я помню,
И вотъ изъ гроба всталъ, какъ будто вновь родился.

Никъ. Ты знаешь, Рицціо любилъ шутовъ при жизни,
Быть можетъ, онъ и здѣсь ихъ послѣ смерти ищетъ.
Но что жъ къ тебѣ онъ обратился, а не къ Нику?
Должно-быть, ты, король, сталъ мнѣ теперь подобенъ.

Генрихъ (*не слушая*). Прочь, Рицціо! Твой видъ убить меня спо-
собенъ.

Чтобъ жизнь тебѣ вернуть, теперь я все бы отдалъ.
Не обвиняй меня! Уйди, дай сномъ забыться!
Ты взялъ мой сонъ,—зачѣмъ же самъ не спишь въ могилѣ?
И тамъ заснуть нельзя? Я жизнь отдамъ охотно,
Верни мнѣ сонъ, но самъ сюда не возвращайся!
Твое лицо такъ блѣдно и глаза открыты. (*Хочетъ, какъ помп-
шаный*).

Ха-ха-ха! Я совсѣмъ теряю мой разсудокъ!

Никъ. Тебя твой призракъ больше разсмѣшить способенъ,
Чѣмъ я,—возьми его въ шуты. Мои продѣлки
Тебя такъ отъ души смѣяться не заставятъ.

Генрихъ (*не слушая*). Зачѣмъ ты здѣсь? Зачѣмъ меня страшишь
ты кровью?

Быть-можетъ, мною ты убить безъ покаянья?
Скажи мнѣ! Я—король, богатствъ имѣю много.
Я службы закушлю, скажи лишь, сколько надо:
Недѣлю, мѣсяцъ, годъ, хоть цѣлый вѣкъ пусть служатъ, —
Будь ты убійца, и тогда прощень ты будешь;
Хоть въ прахъ разсыплешься, молитвы слышать будешь...
Ахъ, что я слышу? Звуки арфы? — **Никъ.** Успокойся! (*Смотритъ
въ окно*).

Что это? привидѣніе? Нѣтъ, королева
Сюда идетъ.—**Генрихъ.** Она?!... Что мнѣ сулитъ свиданье?
Она пришла меня добить своимъ презрѣньемъ.

Сцена 2-я. Марія, Генрихъ и Никъ.

Марія (*входитъ*). Я думала найти тебя съ придворной свитой,
А ты одинъ... Какой ты блѣдный! Что ты, боленъ?
Глаза воспалены, а на лицѣ замѣтны
Слѣды ночей безсонныхъ. Правда? — **Генрихъ** (*съ отчаяніемъ*). О
Марія!

Марія. Ну, успокойся, милый мой! Усни, ты боленъ,

А ночь не спать—больному вредно...—**Генрихъ**. О **Марія**!

Я каюсь предъ тобою въ смерти Рицціо, каюсь!

Марія (*притворно-равнодушно*). Я этого не знала... да и что мнѣ въ этомъ?

Генрихъ. Прощаешь мнѣ? Скажи! — **Марія**. Но что прощать мнѣ, **Генрихъ**?

Генрихъ. Ахъ, смерть его...—**Марія**. Чью?—**Генрихъ**. Рицціо.—**Марія**. Давно забыла.

Генрихъ. Хотѣлъ я оправдаться, объяснить поступокъ,
Но что намъ вспоминать какого-то арфиста!

Никъ. Не стоитъ вспоминать какого-то арфиста!

Я это повторю тебѣ, когда ты ночью

Опять не будешь спать.—**Генрихъ**. Уйди ты прочь, несчастный!

(*Къ Маріи*.) Ты мнѣ простила! Я усну теперь спокойно.

Марія. А не заснешь—такъ услыши себя насильно. (*Достаетъ пущырекъ*.)

Вотъ капли вѣрныя, узнаешь самъ ихъ силу.

Пріятный, легкій сонъ сомнетъ твои рѣсницы,

Уснешь ты, какъ дитя, въ пріятныхъ сновидѣньяхъ...

Волью тебѣ въ лѣкарство... (*Вмѣшаетъ съ дрожью*.)—**Генрихъ**. Какъ я благодаренъ!

Никъ (*въ сторону*). А!.. Дрогнула!.. Отъ глаза моего не скроешь!..

(*Къ Маріи тихо*). Тебѣ бы съ королемъ лѣкарствомъ подѣлиться,

А то—кто знаетъ?—если онъ одинъ все выпьетъ,

Тебѣ самой оно понадобится можетъ.

Марія (*отвѣщаясь*). Какая роль тяжелая!.. Но надо кончить...

Одно лишь слово, взгляды—невольны могутъ выдать,

Хоть совѣстью давно я выдана предъ Богомъ.

Скорѣй бы! Ахъ, скорѣй хотъ вырваться отсюда!

Генрихъ. Зачѣмъ ты въ траурѣ, **Марія**?—**Марія**. Я желала,

Чтобъ видѣлъ ты мою печаль, когда ты боленъ.

Никъ. А это платьемъ выражаютъ...—**Генрихъ**. Успокойся,

Моя болѣзнь преувеличена была, теперь же

Ужъ все прошло, когда ты **Генриху** простила.

Марія. Такъ будь здоровъ!—**Генрихъ**. Куда же ты спѣшишь такъ скоро?

Останься на минутку, выслушай хотъ слово!

Признаюсь откровенно: больно мнѣ и стыдно.

Я такъ виновенъ предъ тобой. Прости! прости мнѣ! (*Становится на колѣни*.)

Припомни все, что вмѣстѣ нами пережито,

И навсегда забудь тѣ мрачныя минуты,

Что насъ съ тобою разлучали... Умоляю!..

Марія (*отворачиваясь*). Прощенья просить онъ, какъ на одрѣ смертельномъ.

Быть-можетъ, завтрашняго дня ужъ не увидить,

Теперь у ногъ моихъ онъ молить о прощеньи.

А не простить—отъ Бога мнѣ не ждать прощенья.

Встань, Генрихъ! Я прощаю, ты прости мнѣ также.

Генрихъ. Тебя простить? Тебѣ мое прощенье нужно?

Но въ чемъ твоя вина? Скажи же, что прощать мнѣ,—

И я свою всю душу предъ тобой открою.

Марія. Прощай и будь здоровъ! Уходитъ быстро время...

Генрихъ. Когда жъ опять увидимся?—**Марія** (*дрожавшимъ голосомъ*).

Не знаю... Завтра...

Генрихъ. Такъ холодно со мной прощаешься. Ужели

Прощенье, слезы, жалость—все напрасно было?

Марія (*цѣлуя его въ лобъ*). Прощай!—**Генрихъ** (*ужасаясь*). Холодными
устами ты коснулась,

И дрожь прошла по тѣлу!—**Марія** (*съ горькой улыбкой*). Ты въ жару,
мой милый. (*Уходитъ*.)

Сцена 3-я. Генрихъ и Никъ.

Генрихъ. Марія! Ангелъ мой! Благодаренье Богу!

Она опять моя и любить такъ сердечно.

Никъ. Ты вѣришь этому, король?—**Генрихъ**. Да, вѣрю, вѣрю!

Насъ Риццио лишь разлучалъ, но онъ въ могилѣ,

И измѣнилось все—я снова буду счастливъ.

Ея улыбку нѣжную ты вѣдь замѣтилъ?

На тронѣ рядомъ съ ней съ челомъ спокойнымъ сяду.

Какъ будетъ радъ Дугласъ: прощенье онъ получить,

И мантия моя ему защитой будетъ.

И ты, Никъ, радуйся! Ты успокоилъ совѣсть.

Теперь ужъ я не призраками—счастьемъ брежу!

Тебя, мой вѣрный Никъ, дарами я осыплю,

Колпакъ наполню золотомъ, одежду справдю.

Никъ. Какую? траурную?—**Генрихъ**. Но по комъ же трауръ?

Никъ. Прими-ка лучше эти капли королевы,

А я тогда ужъ трауръ по тебѣ надѣну.

Генрихъ. Поди ты прочь! Въ тебѣ злой демонъ поселился,

И ядомъ подозрѣнья ты меня изводишь!

Ступай же съ глазъ моихъ, питайся подаяньемъ,

Безъ крова, въ нищетѣ издохни, какъ собака!..

Нѣтъ! смерть твоя другимъ должна служить примѣромъ

Какою смертью умереть предпочитаешь?

Никъ. Мнѣ выборъ труденъ: глупость умирать не можетъ, Она стара, какъ свѣтъ, и всюду неизбѣжна.

Подъ мечъ пошелъ бы я—а вдругъ палачъ мой крикнетъ:

„Гдѣ жъ голова твоя? Я головы не вижу!“

Ха-ха! Король, какъ весело быть безголовымъ!

На шею развѣ мнѣ веревку онъ затянетъ?

Но я такъ легокъ, что меня подниметъ вѣтромъ. (*Серьезно*).

Такъ неужели смерти нѣтъ ужъ для меня на свѣтѣ?!

А! Развѣ... вотъ прекрасно: выпью я твой кубокъ.

Желаешь смерти Ника?—**Генрихъ.** Прочь! прочь, гадъ презрѣнный!

Ты такъ-то благодарностью за все мнѣ платишь?

Вини же самъ себя: ты больше мнѣ не служишь!

Ступай, ты получилъ заслуженную кару!

Никъ (*твердо*). Я самъ себя сумѣю покарать. (*Пьетъ лѣкарство*).—

Генрихъ. Безумецъ!

Что сдѣлалъ ты?—**Никъ.** Я? Ничего. Я только выпилъ

Лѣкарство королевы. „Какъ дитя, усну я

Въ пріятныхъ сновидѣньяхъ“...—**Генрихъ.** Я невольно вздрогнулъ...

Но что жъ бояться мнѣ? Вѣдь онъ заснетъ—и только.

Никъ. Засну въ могилѣ... Можетъ быть, и въ ней откажутъ?...

(*Садится блѣдный возлѣ короля, опуская голову на руки*.)

Идя въ далекій путь, перенесусь мечтою

Въ отцовскій домъ родной. Въ концѣ села я вижу

Простую хижину, всю черную отъ дыма.

Вотъ образъ на стѣнѣ, предъ образомъ лампадка;

Собака у воротъ лежитъ тамъ вѣрнымъ стражемъ;

Надъ хижиной дубъ старый сучьями простерся...

О Боже! вижу... вижу... То отецъ мой старый

Плугъ чинить на порогѣ и молитву шепчетъ.

Вотъ мать съ слезой въ глазахъ прядетъ свою куделю

И пѣсню колыбельную поетъ, какъ мнѣ пѣвала.

О, кто повѣритъ могъ, что въ нищетѣ убогой

Родится существо, чтобы всю жизнь смѣяться!

Генрихъ. Никъ, это въ первый разъ ты что-то востосковался.

Ты былъ весельчакомъ.—**Никъ.** Скитальцемъ былъ бездомнымъ.

Кто жъ сироту въ слезахъ въ свой домъ принять захочетъ?

Богачъ свою печаль слезами выражаетъ,—

Бѣднякъ смѣяться долженъ, если хочетъ хлѣба.

Генрихъ. Скажи мнѣ, что съ тобой? Лѣкарство это?.. Боже!

Но чѣмъ помочь?—**Никъ.** Теперь мнѣ ничего не надо.

Король, ты выслушай меня: я выросъ съ дѣтства

Здѣсь при твоёмъ дворѣ, служа для всѣхъ игрушкой.

Моимъ остроумамъ всѣ придворные смѣялись,
А я презрѣнне видѣлъ въ этомъ смѣхѣ... Боже!

И у меня вѣдь было сердце, право, было!

Какъ вѣрный песъ, давно къ тебѣ я привязался.

Я зналъ: для королей смѣхъ—очень рѣдкій спутникъ,

Хотѣлъ я, чтобъ тебя всегда сопровождалъ онъ.

Теперь ужъ смѣха моего ты не услышишь,

Быть-можетъ, на моей могилѣ посмѣешься,

А погребальный звонъ бубенчики замѣнять...

Генрихъ. Онъ умираетъ!.. Королева! о измѣна!

Никъ! **Никъ!** О Боже! Что съ тобой мнѣ дѣлать?

Твои глаза темнѣютъ, блѣденъ ты смертельно.

Никъ. Привѣсь мнѣ къ шапочкѣ хоть нѣсколько монетокъ,

Родителямъ пошли—ихъ золото утѣшить,

Быть-можетъ, и они кому въ нуждѣ помогутъ,

А шапочку мою въ своей избѣ повѣсятъ

И сына вспоминать по этой шапкѣ будутъ;

А мать прядя взглянетъ и пѣсенку припомнитъ,

Что мнѣ когда-то въ колыбели припѣвала...

Но, Боже!.. Что со мною?.. Все въ глазахъ темнѣеть...

Ахъ, въ жизнь свою я не былъ слезъ твоихъ причиной!

Зачѣмъ моя веселость съ жизнью умираетъ? (*Старается улыбнуться*).

Генрихъ. О нѣтъ, не смѣйся! Этотъ смѣхъ твой принужденный

Въ глубь сердца мнѣ проходитъ, какъ ножомъ пронзаетъ.

Мой вѣрный другъ! Ты за меня на смерть рѣшился,

А я за этотъ подвигъ заплатилъ презрѣннемъ.

Никъ (*притворно-весело*). Король, вознаградить меня ты можешь

щедро:

Пусть четверо мужей, ученѣйшихъ на свѣтѣ,

Несутъ мой гробъ—пусть глупость на себѣ таскаютъ,

И, если тяжесть ихъ обременить чрезмѣрно,

Они повсюду огласятъ, что послѣ смерти

Никъ больше вѣситъ, чѣмъ при жизни. Ты смѣешься?

О, какъ я счастливъ! Я хотѣлъ тебя еще разъ

Веселымъ видѣть... Ну, теперь ты все прости мнѣ.

Глаза закрылись... Никогда теперь ужъ больше

Тебя я не увижу... Что за грезы снятся!..

Какая слабость... **Генрихъ.** **Никъ!** **Никъ.** Прощай! Прости навѣки!

Генрихъ. О, **Никъ!** мой вѣрный другъ! О сынъ мой! **Никъ** (*въ полу-сознаніи подымая голову*). Сынъ?.. Кто это?

То мой отецъ?.. иль мать?.. Напрасно! Такъ темно здѣсь:

Я не увижу васъ... Ахъ! долженъ васъ покинуть...
Вы мѣсто мнѣ оставьте: я приду къ вамъ въ избу
И отдохну... Всегда мечталъ я, что вернусь къ вамъ...
Родная! поищи другую мнѣ одежду!

О, мать! какъ скверно мнѣ жилось на свѣтѣ!

(Падаетъ у ногъ короля и умираетъ). Генрихъ. Умеръ!..

Послѣдній другъ!.. Марія! нѣжная супруга!
Смотри, какъ твой напитокъ дѣйствуетъ прекрасно!
Меня ты отравить хотѣла,—вотъ кто жертва!
А Генрихъ твой остался живъ, но одинокій,
Какъ будто заживо въ могилѣ погребенный.
Твой поцѣлуй былъ для меня дыханьемъ ада,
Когда холодныя уста меня коснулись.

(Беретъ свѣтильникъ и освѣщаетъ лицо Ника).

Взгляну еще разъ на него... О, какъ онъ блѣденъ!
И синія уста!.. Другъ мой, кто могъ предвидѣть,
Что ляжешь ты на этомъ слишкомъ твердомъ ложѣ!..
О, небо! искра на лицо ему упала!

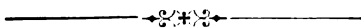
Безумецъ, я тушу ее, но онъ не слышитъ,
Не можетъ чувствовать. Все кончено! Напрасно
Мое отчаянье... Теперь подумать надо,
Какъ отъ измѣны этой женщины укрыться.
Бѣжать?.. Куда бѣжать такую темной ночью?
Кругомъ, быть-можетъ, ужъ разставлены убійцы.
Всего могу я ждать, они на все рѣшатся...
Какія гадины живутъ на этомъ свѣтѣ!.. *(Пауза.)*
Останусь здѣсь. Ее хочу я видѣть завтра,
Когда ко мнѣ придетъ, надѣясь трупъ мой видѣть;
Придетъ сюда блѣдна—набѣлена, навѣрно;
Пожалуй, стонъ ея услышу за дверями.
Она увѣрена, конечно, въ смерти мужа,
И прежде чѣмъ успѣетъ въ этомъ убѣдиться,
Начнетъ оплакивать утрату. О, тогда-то
Могу убить ее своимъ единымъ взглядомъ!

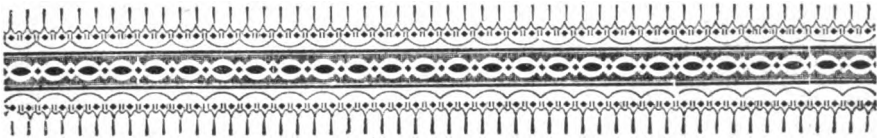
(Ставитъ свѣтильникъ въ головахъ Ника, а его покрываетъ).

Итакъ, теперь свою судьбу вручаю Богу.
Поставлю свѣтъ при немъ и саваномъ накрою.
Всю ночь творить молитвы буду надъ покойнымъ...
Остаться съ мертвецомъ среди этой темной ночи!
Одинъ! совѣмъ одинъ!.. Спаси меня, мой Боже!

(Становится на колѣни).

Н. Янчукъ.





Комикъ-буфъ.

(Памяти В. И. Живокини).

Какой это прекрасный талант! Сколько оригинальности, умѣнья занять публику даже самой плохой ролью!

Соч. Бѣлинскаго (изд. 1884 г.). Т. 3-й, ст. 161.

Когда со сцены общественной жизни сходитъ выдающійся сценическій дѣятель, писатель или художникъ, то въ некрологахъ ихъ нерѣдко мы встрѣчаемъ слова: «незамѣнимая» или «невознаградимая» утрата. Но проходитъ десятокъ другой лѣтъ, нарождаются новые таланты и, если не совсѣмъ, то до извѣстной степени замѣняютъ собой прежнихъ. Первое время общество относится къ такимъ талантамъ недовѣрчиво, иногда даже непріязненно, постоянно ихъ сравниваетъ съ прежними кумирами (и, понятно, не въ пользу ихъ). Новые таланты съ годами развиваются, совершенствуются. Общество мало-по-малу признаетъ за ними уже извѣстные достоинства, привыкаетъ къ нимъ, и незамѣнимая утрата становится какъ бы замѣнимой. Со сцены Малаго театра сходили такіе выдающіеся артисты и артистки, какъ М. С. Щепкинъ и Л. П. Никудина-Косицкая. И что же? Проходило нѣсколько лѣтъ, и на ихъ мѣстѣ появлялись И. В. Самаринъ и Н. М. Медвѣдева, вполне достойные замѣстители своихъ предшественниковъ.

Но вотъ прошло уже 25 лѣтъ со дня смерти такъ хорошо извѣстнаго въ свое время почти всей Москвѣ комика-буфа Вас. Игн. Живокини, а мѣсто его до сихъ поръ остается незанятымъ. Не только равнаго, но и подобнаго ему пока нѣтъ. Объясняется ли это исключительнымъ жанромъ сценическаго дарованія покойнаго, или репертуаромъ того времени, сказать трудно, фактъ же остается фактомъ: В. И. Живокини дѣйствительно до сего времени незамѣнимая и вознаграждаемая утрата для сцены Малаго театра. Кто, хоть мало-мальски интересовавшійся театромъ, не былъ знакомъ съ живой, преисполненной необыкновеннаго веселья, игрою Василья Игнатьевича? Какою свѣжестью и жизнерадостностью вѣяло отъ этой

игры? Современники рассказываютъ: какъ бы ни былъ грустно настроенъ зритель, но разъ онъ видѣлъ на сценѣ полную фигуру комика съ круглымъ и необыкновенно смѣхотворнымъ лицомъ, слышалъ этотъ голосъ съ легкимъ носовымъ оттѣнкомъ,—и вся грусть пропадала, жизненные невзгоды позабывались, и онъ во власти комика, неистощимаго въ запасѣ веселья. «Да, незабвенный и незамѣнимый Василій Игнатьевичъ!» обыкновенно съ грустью заканчиваетъ театраль того времени свой восторженный рассказъ объ его игрѣ.

В. И. Живокини по происхожденію итальянецъ; отецъ его, Джіованни делла Мома, пріѣхалъ въ Россію вмѣстѣ съ извѣстнымъ архитекторомъ Растрелли. Родился Василій Игнатьевичъ въ Москвѣ 30-го декабря 1808 года ¹⁾. Когда, послѣ крещенья, дьячку нужно было записать фамилію родителей, то онъ смутился замысловатостью ея и, послѣ нѣкотораго размышленія, проговоривъ: «ну и прозвище! Какая-то Лажома!»—написалъ въ книгѣ «Живокини». Съ тѣхъ поръ эта фамилія и осталась за нашимъ комикомъ. Мать его была русская и служила танцовщицей въ театрѣ, а отецъ содержалъ макаронную фабрику. Семья ихъ была не велика, и жили они до двѣнадцатаго года безбѣдно. Во время же пожара Москвы лишились почти всего имущества. Когда второму сыну, Василію, исполнилось 9 лѣтъ, его опредѣлили въ театральную школу, которая въ то время помѣщалась на Волконкѣ, въ домѣ Есипова.

Занятія въ школѣ научными предметами шли плохо и главнымъ образомъ по винѣ преподавателей, большинство которыхъ были не на высотѣ педагогическаго призванія, и въ школу то являлись большею частью только за полученіемъ жалованья. Правда, между ними встрѣчались и такія личности, какъ извѣстный историкъ Калайдовичъ или профессоръ Надеждинъ ²⁾. Они умѣли внушить воспитанникамъ любовь къ наукѣ и заинтересовать ихъ ею, такъ что нѣкоторые изъ питомцевъ посѣщали даже университетскія лекціи, напр., А. М. Сабуровъ ³⁾ и Н. Ф. Павловъ ⁴⁾. Но это было исключительное явленіе, въ общемъ же, по словамъ Живокини, учили чему-нибудь и какъ-нибудь. Все вниманіе начальства было обращено на занятія искусствами. Кромѣ главнаго предмета, танцевъ, вос-

¹⁾ Въ воспоминавіяхъ М. И. Лаврова («Историческій Вѣстникъ» за 1897 г. Декабр. мѣс.) годъ рожденія указанъ 1807 г. октября 29. Вышеприведенная дата 1808 г. заимствована изъ автобіографическихъ воспоминаній Живокини (журналъ «Антрактъ» 1864 г.).

²⁾ *Н. И. Надеждинъ* (1804—1856 г.)—многосторонній ученый и критикъ, профессоръ Московскаго университета, занималъ кафедру изящныхъ искусствъ и археологій.

³⁾ *А. М. Сабуровъ*—извѣстный московскій актеръ (1800—1831).

⁴⁾ *Н. Ф. Павловъ* (1805—1864 г.) впоследствии даровитый писатель, авторъ многихъ повѣстей, критикъ и переводчикъ «Венеціанскаго купца», съ 1860 г. издатель газеты: «Наше Время», съ 1863 г. переименованной въ «Русскія Вѣдомости».

питанники должны были учиться пѣнію, драматическому искусству, фехтованію и игрѣ на какомъ-нибудь музыкальномъ инструментѣ. Сообразно со способностями въ той или другой отрасли искусства, окончившихъ курсъ ученія выпускали въ драму или оркестръ. Участіе въ балетныхъ спектакляхъ обязательно было для всѣхъ: балетъ являлся какимъ-то чистилищемъ для остальныхъ искусствъ. Живокини избавился отъ этого чистилища совершенно случайно. Изображая въ одномъ балетѣ Амура, онъ поскользнулся и упалъ, принявъ при этомъ такую неприлично смѣшную позу, что публика расхохоталась, а директоръ тотчасъ же отдалъ распоряженіе навсегда убрать его изъ балета.

Василій Игнатьевичъ считался лучшимъ ученикомъ по классу фехтованія. Будучи еще школьникомъ, онъ публично на сценѣ выступалъ въ состязаніе на эспадронахъ и неоднократно побѣждалъ своего учителя Северна. Уроки музыки онъ бралъ у нѣкоего Мазанова, который находилъ въ немъ музыкальныя способности. Живокини съ увлеченіемъ и весьма недурно игралъ на скрипкѣ, почему впоследствии и былъ выпущенъ въ оркестръ. Драматическимъ искусствомъ первое время онъ мало интересовался: преподаватель этого искусства, мало извѣстный актеръ Фрыгинъ, сухимъ и шаблоннымъ отношеніемъ къ дѣлу не могъ заинтересовать учениковъ и только пріѣздъ въ Москву на гастроли И. И. Сосницкаго пробудилъ въ Живокини любовь къ драмѣ. Реальность и простота игры извѣстнаго артиста поразили его. Онъ увидѣлъ всю разницу между сухимъ преподаваніемъ Фрыгина и жизненно-правдивой игрой Сосницкаго. Художественная искра, скрытая въ юномъ талантѣ, воспламенилась, и онъ сталъ принимать живое участіе въ школьныхъ спектакляхъ, которые воспитанники сами устраивали въ танцевальномъ залѣ, при чемъ они были и актерами, и костюмерами, и декораторами. Въ роли декоратора и костюмера выдѣлялся товарищ Живокини, Степановъ ¹⁾. Директоръ Московскихъ театровъ Ѳ. Ѳ. Коккошкинъ ²⁾, человекъ по тому времени весьма просвѣщенный, интересовался этими спектаклями и часто посѣщалъ ихъ. Тутъ то онъ и обратилъ вниманіе на талантливаго юношу и самъ назначилъ ему роль Посопкова въ пьесѣ Загоскина: «Романъ на большой дорогѣ». Репетиціи шли подъ его личнымъ режиссерствомъ, и онъ былъ въ восторгѣ отъ игры Живокини. На одну изъ репетицій былъ приглашенъ М. С. Щепкинъ. Последній на вопросъ директора, какъ ему понравилась

¹⁾ П. Г. Степановъ (1806—1869 г.) извѣстный московскій артистъ, — «великій актеръ на маленькія роли» первый и наилучшій исполнитель въ Москвѣ роли кв. Тугоуховскаго „Горе отъ ума“.

²⁾ Ѳ. Ѳ. Коккошкинъ (1773—1838 г.) — писатель, переводчикъ „Мизантропа“, председатель Общества Любителей Россійской Словесности и директоръ Московскихъ театровъ (1823—31 г.).

игра талантливаго ученика, хладнокровно отвѣтилъ: «Да, высѣчь его слѣдуетъ» — «Какъ высѣчь? за что?...»

— А зачѣмъ свое прибавляетъ, — отвѣтилъ невозмутимо Михаилъ Семенычъ.

Этотъ недостатокъ, выражаясь театральнымъ жаргономъ, нести *отсебятину*, надолго остался за Живокини: неоднократно упрекалъ его за это Щепкинъ, и только одинъ случай, о которомъ будетъ сказано ниже, избавилъ его отъ него.

Въ первый разъ на сценѣ казеннаго театра Василій Игнатьевичъ выступилъ 18 августа 1824 года въ роли Глондубридова, въ пьесѣ: «Глухой или полный домъ»¹⁾. Дебютантъ въ этой роли, а равно и въ послѣдующей, Митрофанушки («Недоросль»), имѣлъ большой успѣхъ. Послѣ дебюта онъ былъ оставленъ въ школѣ еще на годъ, а въ 1825 г. выпущенъ въ оркестръ скрипачомъ съ окладомъ въ 700 руб. Единновременно съ нимъ были выпущены на сцену Н. В. Рѣпина²⁾, Н. М. Никифоровъ³⁾ и П. Г. Степановъ.

Въ 1828 году С. Т. Аксаковъ, любитель и знатокъ театральнаго искусства, по поводу постановки оперы-водевиля: «Пять лѣтъ въ два часа, или какъ дороги утки», даетъ такой краткій, но лестный для начинающаго артиста отзывъ: «г. Живокини игралъ Тони и роль свою провѣлъ прекрасно. Этотъ молодой артистъ заслуживаетъ особенное уваженіе по любви къ своему искусству и съ каждымъ днемъ оправдываетъ общія надежды. Онъ уже побѣждаетъ свою привычку къ фарсамъ, обратился къ натурѣ, простотѣ и доставляетъ намъ удовольствіе своимъ разнообразіемъ и оригинальностью» (соч. Аксакова, т. IV стр. 401).

Прежде, чѣмъ приступить къ характеристикѣ В. И. Живокини, какъ актера-комика, считаю неизлишнимъ сказать здѣсь нѣсколько словъ объ этомъ амплуа вообще. Комикъ долженъ прогонять заботы и возбуждать веселость, смѣхъ. Смѣхъ, особенно заразительный, крайне пріятно дѣйствуетъ на зрителей; поэтому естественно желаніе всякаго комика смѣшнить. Но въ этомъ желаніи многіе переходятъ границы художественности и, не имѣя внутренняго комизма, прибѣгаютъ ко всякаго рода внѣшнимъ изобрѣтеніямъ, какъ напримѣръ, къ излишней жестикуляціи или мимикѣ. Этотъ внѣшній комизмъ ничего общаго не имѣетъ съ внутреннимъ, худо-

¹⁾ Спектакли въ то время давались въ домѣ Пашкова (уголь Никитской и Моховой), гдѣ теперь находится Университетская церковь.

²⁾ Н. В. Рѣпина (1809—1867 г.)—артистка Малаго театра. Талантъ ея былъ обширенъ и многостороненъ, отъ ролей наивныхъ и водевильныхъ онъ простирался до ролей страстныхъ и сильно драматическихъ.

³⁾ Николай Матвѣевичъ Никифоровъ (1805—1880 г.), артистъ Малаго театра, наилучшій исполнитель ролей подъячьихъ и чиновниковъ стараго времени: Жувица („Каширская старина“), Ризположенскаго („Свои люди сочтемся“).

жественнымъ, который проявляется въ ясной и непринужденной веселости, какъ электрическая искра, передающейся публикѣ. Въ первомъ видно только одно желаніе смѣшить, во второмъ же способность быть смѣшнымъ. Этою-то послѣднею способностью и обладалъ съ высшей степени Живокини. Онъ былъ какъ бы ходячая веселость; существо преисполненное веселья и радости, которыми невольно заражались и зрители. Почти современниками Живокини были такіе выдающіеся комики, какъ Мартыновъ въ Петербургѣ и С. В. Васильевъ у насъ, въ Москвѣ. Но ихъ комизмъ былъ совсѣмъ иного рода: онъ носилъ на себѣ болѣе или менѣе серьезный характеръ, иногда граничившій съ драматизмомъ. Комизмъ Мартынова не терялъ своей серьезности даже въ такихъ пьесахъ, какъ «Азъ и Фертъ» или «Левъ Гурьячъ Синичкинъ». Комизмъ Живокини лишенъ этого серьезнаго характера, но зато онъ одинаково обаятельно дѣйствовалъ на зрителя и въ роляхъ высокой комедіи, и въ роляхъ самыхъ отчаянныхъ фарсовъ. Игра его, по выраженію П. Д. Боборыкина, была игрой «мотивовъ», т.-е. настроеній сцены и діалоговъ, игра, имѣющая главной цѣлью, зрѣлище, а не объективную правду, строго обособленную конкретностью лица»¹⁾.

Эта игра, прибавимъ мы, была игра комика-буфа, репертуаръ котораго преимущественно состоитъ изъ фарсовъ и водевилей. Какъ только Василій Игнатьевичъ узнавалъ, что во французской московской труппѣ²⁾ готовится какая-нибудь пьеса легкаго содержанія, онъ тотчасъ же добывалъ оригиналъ и просилъ Д. Т. Ленскаго³⁾ сдѣлать для него переводъ. Такъ появились на свѣтъ водевили: «Дезертиръ» «Стряпчій подь столомъ» и многіе другіе. Въ 40, 50 и даже въ 60 годахъ на репертуарѣ Малаго театра постоянно стояли переводные водевили и фарсы съ пѣніемъ и музыкой. Иногда цѣлый спектакль составлялся изъ нихъ, и эти пьесы въ исполненіи В. И. Живокини, С. П. Акимовой, Н. М. Никифорова и С. В. Шумскаго имѣли громадный успѣхъ, хотя достоинствъ за ними въ большинствѣ случаевъ никакихъ не было. Успѣхъ всецѣло зависѣлъ отъ исполнителей и, главнымъ образомъ, отъ Живокини. Зачастую, — говоритъ Соловьевъ⁴⁾ онъ являлся какимъ-то чародѣемъ который необыкновенной веселостью, какъ волшебнымъ жезломъ, превращалъ утомительную скуку въ веселый смѣхъ, воскрешалъ то, въ чемъ не было признаковъ жизни и изъ ничего дѣлалъ нѣчто. Сколько пьесъ онъ спасъ отъ рѣшительнаго

¹⁾ Сборникъ „Складчина“, статья П. Д. Боборыкина: В. И. Живокини.

²⁾ Въ 40 и 50 годахъ въ Маломъ театрѣ въ извѣстные дни играла французская драматическая труппа.

³⁾ Д. Т. Ленскій (Воробьевъ) 1805—1860 г. артистъ драматической труппы болѣе извѣстный, какъ переводчикъ водевилей и острякъ-каламбуристъ.

⁴⁾ Отрывки изъ памятной книжки отставнаго режиссера. 1 приложение къ журналу „Ежегодникъ“ за 1895—96 г. стр. 139.

провала! Въ репертуарѣ этого жанра наилучшими ролями его, создавшими ему всеобщую извѣстность, были: *Жювiаль* — («Стряпчій подъ столомъ».—Про исполненіе этой роли одинъ современникъ говоритъ: онъ былъ настоящій *joyial* (весельчакъ), не уступавшій французскимъ артистамъ)—*Мордашевъ* («Азъ и Ферть») и *Левъ Гурьичъ Синичкинъ*.

Но сценическая дѣятельность его не ограничивалась только исполненіемъ этихъ ролей. Онъ выступалъ и въ нѣкоторыхъ пьесахъ классическаго иностраннаго репертуара: въ комедіяхъ Шекспира и Мольера. Въ первыхъ онъ по большей части игралъ роли шутовъ, а во вторыхъ—небольшія, второстепенныя, комическія роли. Объ исполненіи ихъ мы находимъ свѣдѣнія у извѣстнаго театральнаго критика 60 годовъ А. Н. Баженова. Лучшею ролью *Живокини* въ Шекспировскихъ комедіяхъ была роль *Грумiо* («Укрощеніе строптивой»). По словамъ Баженова ¹⁾, *Грумiо* вышелъ у него тѣмъ острякомъ-слугою, то простодушнымъ, то назойливымъ, какимъ является это лицо у Шекспира. Особенно онъ хорошо усвоилъ основную черту характера *Грумiо*—эту простодушную и полную преданность его господину, который сдѣлался для него идоломъ. Онъ дѣйствуетъ только въ интересахъ своего господина, надъ которымъ однако при удобномъ случаѣ онъ не прочь и посмѣяться. Какъ много смысла въ тѣхъ жестахъ, которыми онъ нерѣдко, стоя позади говорящаго съ кѣмъ-нибудь *Петручіо*, какъ бы комментировалъ и дополнял его рассказъ. Какъ всегда попадалъ онъ въ тонъ рѣчи его господина тѣми выраженіями и восклицаніями, которыя нѣсколько разъ срываются съ языка *Грумiо*! Мы, напр., по сію пору не можемъ забыть словъ: *онъ ничего не боится*, которыми *Грумiо* сопровождаетъ рассказъ *Петручіо* и неустрашимость послѣдняго. У г. *Живокини* сказался въ этой фразѣ самый неподдѣльный восторгъ, дошедшій до увлеченія и соединенный съ комической гордостью чужими подвигами. Въ сценахъ передъ свадьбой и послѣ свадьбы *Петручіо* онъ былъ уморителенъ напускною важностью и смѣшилъ не фарсами, а самымъ положеніемъ. Назойливость и нѣкоторое злорадство въ сценѣ съ *Катариной*, оригинальная изворотливость и желаніе вывернуться изъ бѣды шуточками въ сценѣ съ портными, наконецъ сознаніе собственнаго достоинства и покровительственный тонъ въ сценахъ съ прислугой *Петручіо*—все это также носило на себѣ очень обдуманное, живое и правдивое выраженіе у г. *Живокини*. Къ этому надо прибавить, что въ роль свою исполнитель внесъ много той заразной безыскусственной веселости, которою только онъ одинъ обладаетъ въ такой значительной степени.—Хорошъ онъ былъ въ роли *Борачіо* «Много шума изъ ничего.» Онъ игралъ не злодѣя, какъ бы могъ сдѣлать на его мѣстѣ другой актеръ, а просто человѣка пожившаго, выдавашаго разные виды, умѣющаго приноровиться

¹⁾ Сочиненія Баженова т. I, стр. 483.

къ обстоятельствамъ, на все готового и ко всему равнодушнаго¹⁾). Изъ ролей русскаго классическаго репертуара выдающейся по исполненію была роль Репетидова («Горе отъ ума»). Въ ней, по словамъ П. Д. Боборыкина, онъ не уступалъ извѣстному артисту И. И. Сосницкому,—и особенно ярко отгѣнялъ безпутно-клубную и безпробудно-барскую жизнь. Въ послѣдніе годы въ той же пьесѣ онъ игралъ Платона Михайловича.

Репертуаръ Островскаго мало сравнительно далъ матеріала для исключительнаго дарованія Живокини. По словамъ артиста Малаго театра П. Я. Рябова, онъ былъ хорошъ въ роли Городничаго («Горячее сердце»), но—говоритъ Баженовъ—не совсѣмъ удовлетворителенъ въ роли Ризположенскаго («Свои люди сочтемся»). Онъ былъ очень забавенъ и совсѣмъ не давалъ типа чиновника - пройдохи, а только балагура и потѣшника. Костюмъ его былъ очень утрированъ. Держалъ онъ себя постоянно кривобокимъ. Къ роли своей относился довольно странно и шаловливо; онъ какъ будто бы подсмѣивался надъ Ризположенскимъ, и нѣкоторыя мѣста произносилъ съ какимъ-то глумленіемъ, чему много содѣйствовали нѣкоторыя извѣстные приемы комика, въ томъ числѣ необыкновенно тщательныя и протяжныя произношенія шипящихъ согласныхъ (ж, ч, ш, щ). Впрочемъ онъ вполне художественно провелъ сцену 2 дѣйствія, когда Подхалюзинъ, вынувъ бумажникъ, начинаетъ прельщать Сысоя Псопча. Хорошъ также и въ сценѣ послѣдняго дѣйствія, когда обманутый Подхалюзинимъ, онъ рѣшительно теряется и не знаетъ, что дѣлать²⁾.

Въ роли стрѣлцаго сотника, умирающаго на сценѣ (Козьма Захарычъ Мининъ, Сухорукъ³⁾) онъ былъ не возможенъ. Вотъ что рассказываетъ артистъ Малаго театра М. И. Лавровъ⁴⁾ про исполненіе имъ этой роли. Онъ игралъ совсѣмъ не то, что слѣдовало. Это былъ не стрѣлецъ, умирающій за свое отечество, а скорѣе Фрелафъ изъ «Аскольдовой Могилы». Публика недоумѣвала и въ теченіе 4-хъ дѣйствій сдерживала смѣхъ, но, когда наступила сцена смерти стрѣльца-Живокини, зрительный залъ огласился гомерическимъ хохотомъ. По окончаніи дѣйствія сконфуженный, съ грустной улыбкой Василій Игнатьевичъ проговорилъ: «кажется моя смерть уморила всѣхъ со смѣху». Съ тѣхъ поръ драматическихъ ролей онъ ужъ больше не игралъ.

Бѣлинскій, говоря объ исполненіи Живокини одной водевильной роли, между прочимъ замѣчаетъ: онъ восхитилъ публику милою оригинальностью, неп-дражаемой веселостью и естественностью своей игры. Вотъ эти то качества:

¹⁾ Соч. Баженова, стр. 530 т. I.

²⁾ Сочиненія Баженова, т. I, стр. 82.

³⁾ Козьма Захарычъ Мининъ А. Н. Островскаго въ то время шелъ въ первоначальной редакціи.

⁴⁾ „Историческій Вѣстникъ“ за 1897 г. Декабрь. В. П. Живокини (Воспоминанія артиста).

оригинальность, неподражаемая веселость и естественность (которую онъ прежде всего требовалъ и отъ своихъ учениковъ, будучи въ концѣ 40 годовъ преподавателемъ драматическаго искусства въ Театральномъ училищѣ), и были всегда отличительными чертами характера игры Живокини, какъ въ роляхъ высокой комедіи, такъ и въ роляхъ водевилей и фарсовъ. Почти 30 лѣтъ спустя послѣ Бѣлинскаго Баженовъ отмѣчаетъ въ немъ тѣ же достоинства. Про исполненіе имъ роли Феста (Двѣнадцатая ночь) онъ говоритъ: «роль Феста была удачно сыграна имъ благодаря простодушной веселости». Къ этой веселости надо прибавить находчивость и одушевление, всегда присущее его игрѣ. Увлекаясь самъ на сценѣ, онъ увлекалъ и другихъ. Кромѣ того онъ обладалъ способностью, уча роль изъ какого-нибудь пустѣйшаго водевила, найти въ ней выдающееся словечко, *bon mot*, отдѣлать его и такъ преподнести публикѣ, что зритель не только хохоталъ и восторженно аплодировалъ, но и повторялъ это *bon mot*. Въ воспоминаніяхъ Куликова¹⁾ мы находимъ рассказъ, какъ Живокини воспользовался изъ одной своей роли фразой: «я вамъ не крѣпостной достался».— Это было время броженія умовъ относительно освобожденія крестьянъ отъ крѣпостного права. Не только въ гостинныхъ, но и въ лакейскихъ стали поговаривать объ эмансипаціи. Прислуга, ссорясь съ господиномъ, выставляла на видъ, какъ угрозу, свою независимость. Вотъ Живокини, въ одной пьесѣ, играя роль обиженнаго и выгоняемаго, становится на сценѣ въ гордо лакейскую позу, и кричитъ: «я вамъ не крѣпостной достался!» Эту фразу онъ произнесъ съ такой экспрессіей и такъ умѣстно, что весь зрительный залъ разразился гомерическимъ хохотомъ. Рассказываютъ, что впоследствии часто приказчикъ, поссорясь съ хозяиномъ, или мужъ, повздоривъ съ сварливой женой, повторялъ все ту же фразу, которая облетѣла почти всю Москву. Недостатокъ игры Живокини заключался въ перефразахъ и прибавленіяхъ, которыя въ фарсахъ и водевиляхъ иногда еще служили къ выгодѣ пьесы: артистъ, дѣлая ту или другую вставку или перефразу, по художественному чутью часто стоялъ выше автора. Но онъ допускалъ подобныя перефразы и въ классическихъ роляхъ. Такъ, играя роль Митрофанушки («Недоросль») въ сценѣ съ Кутейкинымъ, онъ однажды велъ такой діалогъ:

Кут. — Азъ есмь скоть, а не человѣкъ...

Мит. — Азъ есмь скоть, а не человѣкъ...

Кут. — Скоть, сирѣчь, животное.

Мит. — Скоть, сирѣчь, живо... Живокини...

Публика только разсмѣялась: какъ своему любимцу она прощала ему многое.

Говорить *отсебятину* онъ пересталъ послѣ слѣдующаго инцидента, рассказаннаго Куликовымъ въ его воспоминаніяхъ. Въ переводной пьесѣ:

¹⁾ Журналъ „Искусство“ за 1883 г., № 21, стр. 241.

«Страсть къ должностямъ» Живокини игралъ роль какого-то сумасшедшаго раздавателя мѣсть и игралъ прекрасно. Былъ въ ударѣ: отъ себя вставлялъ въ роль цѣлыя фразы. Публика принимала артиста восторженно, Живокини увлекался все болѣе и болѣе. Въ сценѣ съ трактирнымъ слугой ведетъ такой діалогъ:

- Ты мнѣ нравишься... Я хочу сдѣлать изъ тебя человѣка.
- Покорнѣйше благодарю.
- Только куда бы тебя опредѣлить? Гмъ!.. Ты умевъ?..
- Никакъ нѣтъ.
- Значить глупъ? Гмъ... Но, учился чему-нибудь?
- Ничему не учился.
- Да знаешь ли ты хоть что-нибудь?
- Ничего не знаю.
- Гмъ... гмъ... Глушь... Ничего не знаетъ... Ничему не учился... (Кладя руку ему на голову). Такъ я тебя, братецъ мой, помѣщу въ Государственный Совѣтъ!..

Можно себѣ представить, какой поразительный эффектъ произвела заключительная фраза и въ зрительномъ залѣ и за кулисами. Увлечшійся артистъ, произнесъ послѣднія слова, какъ бы сразу оцѣпенѣлъ. Директоръ выскочилъ изъ своей ложи и съ крикомъ: «дайте мнѣ этого каторжника! Стащите его со сцены!..—выхватилъ у суфлера пьесу и прочелъ: «въ совѣтъ Антуановскаго предшѣстья»...

Всѣ ожидали большой бѣды изъ Петербурга, но къ счастью все обошлось благополучно. Съ тѣхъ поръ Живокини пересталъ дѣлать вставки и перифразы ¹⁾.

Говоря о недостаткахъ игры Живокини, нельзя умолчать объ одномъ и очень крупномъ: незнаніи ролей. По словамъ Куликова, Василій Игнатьевичъ, участвуя почти ежедневно въ недѣльномъ репертуарѣ и, кромѣ того, каждую недѣлю въ бенефисномъ спектаклѣ, не имѣлъ возможности одинаково добросовѣстно относиться ко всѣмъ ролямъ. Поэтому онъ училъ роли только изъ болѣе или менѣе серьезнаго репертуара, въ фарсахъ же и водевиляхъ всю надежду возлагалъ на «Николушку»²⁾, который, услышавъ стукъ ногой, (условный знакъ незнанія роли) выбивался изъ всѣхъ силъ, чтобы выручить артиста изъ бѣды, но иногда всѣ средства съ его стороны оказывались бесполезными, и Василій Игнатьевичъ публично долженъ былъ признаваться въ своемъ недостаткѣ. Въ такихъ случаяхъ, принявъ комическую позу и сдѣлавъ гримасу, онъ нагибался къ суфлерской будкѣ и иногда довольно громко произносилъ: «Э-эхъ, Николушка!» Публика хохотала и не сердилась на своего любимца.

Многіе упрекали Живокини въ однообразіи, въ томъ, что онъ всегда игралъ самого себя. На это одинъ изъ театраловъ того времени остро-

¹⁾ Вышеприведенный рассказъ Куликовъ передаетъ, какъ фактъ.

²⁾ Такъ онъ называлъ суфлера Николая Ивановича Витнебена.

умно замѣтилъ: «онъ 50 лѣтъ на сценѣ игралъ самого себя, но такъ игралъ, что и въ полвѣка не надоѣлъ публикѣ».

Переходя къ характеристикѣ Василя Игнатьевича, какъ человѣка, прежде всего слѣдуетъ отмѣтить его необыкновенную доброту и отзывчивость къ нуждамъ меньшей братіи. Онъ первый протягивалъ руку помощи нуждавшемуся товарищу. Съ маленькими артистами держалъ себя просто. Новичковъ всегда ободрялъ. По словамъ Соловьева, играть съ нимъ было легко: онъ во-время умѣлъ подсказать роль, подпѣть куплетъ. Простой въ обращеніи, онъ чуждъ былъ того генеральства, которое въ 60-хъ и 70-хъ годахъ особенно развилось среди премьеровъ драматической труппы. Нѣкоторые изъ нихъ даже не отвѣчали на поклонны маленькиихъ артистовъ, а протянуть руку имъ считали съ своей стороны особой милостью. Вас. Игнат. въ этомъ случаѣ представлялъ собою исключеніе: М. И. Лавровъ говорить, что онъ никогда не видалъ, чтобы Живокини не отвѣтилъ на поклонъ маленькаго артиста.

Проведя почти полвѣка въ театральномъ мірѣ, въ царствѣ интригъ и происковъ, онъ чуждался всякихъ ссоръ и неприяпностей. Добродушная улыбка не сходила съ его умнаго выразительнаго лица и за кулисами и вдали отъ нихъ, гдѣ-нибудь въ компаніи друзей. Живымъ, остроумнымъ потокомъ лилась его рѣчь, пересыпанная милыми шутками и остротами. Шутки онъ позволялъ себѣ не только въ тѣсной компаніи, но и въ многолюдномъ публичномъ собраніи. У М. И. Лаврова мы находимъ такой рассказъ: Живокини приглашенъ читать въ одинъ благотворительный концертъ. Онъ выступаетъ на эстраду, обращается къ публикѣ и говорить: «Свиньи»... Публика въ недоумѣніи не знаетъ, что дѣлать. Живокини, любуясь эффектомъ произнесеннаго имъ слова, выдерживаетъ нѣкоторую паузу и продолжаетъ: «рассказъ Слѣпцова». Взрывъ смѣха и аплодисменты. Подобныя шутки могъ позволять себѣ только избранный любимецъ, какимъ и былъ въ дѣйствительности Вас. Игнат. Эта любовь особенно ярко проявилась въ день его похоронъ. Не только церковь Никола Явленнаго, въ приходѣ которой жилъ Вас. Игнат., но паперть и вся улица были переполнены народомъ. Толпа, шедшая за гробомъ, была такъ велика, что на Арбатѣ временно было прекращено движеніе экипажей. И эта толпа не была толпой праздныхъ людей, пришедшихъ «поглазѣть». Нѣтъ, большинство были поклонники талантливаго артиста, пришедшіе отдать послѣдній христіанскій долгъ тому, кто не разъ своей художественной, неистощимо-веселой игрой, заставлялъ ихъ забывать о житейскихъ невзгодахъ.

Почти полувѣковая сценическая дѣятельность Живокини (онъ не дожиль только 6 мѣсяцевъ до 50-лѣтняго юбилея) всецѣло принадлежала Москвѣ, хотя имя его такъ же хорошо было извѣстно и провинціи. Доста-

точно было провинціальному антрепренеру выпустить афишу съ его фамиліей, и билеты въ касѣ уже всѣ распроданы.

Въ началѣ 70-хъ годовъ Василій Игнатьевичъ сталъ прихварывать. Настроеніе духа его было мрачно. Лѣтомъ 1873 г. доктора послали его на воды въ Карлсбадъ. Но это лѣченіе не много принесло ему пользы. Ракъ желудка, признанный врачами, быстро подтачивалъ его силы.

Смерть жены его ¹⁾, послѣдовавшая осенью 1873 года, сильно повлияла на больного артиста и ускорила развязку. Онъ рѣже сталъ появляться на сценѣ. 9 го января 1874 года онъ игралъ въ водевилѣ: «Прежде скончались, потомъ повѣнчались». Публика восторженно принимала своего любимца. Оваціямъ не было конца. Умирающій комикъ былъ глубоко тронутъ этимъ приемомъ. Заставивъ отъ души смѣяться другихъ, онъ, виновникъ этого смѣха, плакалъ. То были слезы сквозь смѣхъ. Спектакль 9-го января—лебединая пѣснь Василія Игнатьевича: 18-го января 1874 года онъ скончался, а 20-го былъ погребенъ на Ваганьковскомъ кладбищѣ, въ этой усыпальницѣ лучшихъ сценическихъ силъ нашего Малаго театра.

В. Михайловскій.



¹⁾ Жена его, Матрена Карповна Лобанова, была сестрой извѣстнаго въ свое время танцовщика Лобанова. Женился Василій Игнатьевичъ въ раннихъ годахъ и имѣлъ отъ этого брака сына Дмитрія Васильевича Живокини, который въ теченіе многихъ лѣтъ служилъ на сценѣ Малаго театра, исполняя небольшія характерныя роли. Скончался онъ въ 1889 году, оставивъ послѣ себя нѣсколькихъ дочерей. Одна изъ нихъ, Надежда Дмитріевна, въ 1896 г. окончила ученіе на Драматическихъ курсахъ въ Москвѣ и теперь служить въ провинціи.



Профессоръ-словесникъ стараго времени.

I.

Среди великихъ именъ въ исторіи русской литературы, на самыхъ блестящихъ страницахъ ея, мы неизмѣнно встрѣчаемъ одно имя, принадлежавшее человѣку среднихъ дарованій и весьма скромнаго личнаго творчества, но имя почтенное и дорогое, глубоко и неразрывно связанное съ именами самыхъ знаменитыхъ корифеевъ. Это имя Петра Александровича Плетнева. Кому незнакомо оно съ самаго дѣтства хотя бы по задушевнымъ стихамъ въ посвященіи ему «Онѣгина»? Если обыкновенно говорятъ, что справедливый судъ надъ выдающимися дѣятелями принадлежитъ потомству, то П. А. Плетневъ былъ изъ числа тѣхъ немногихъ счастливцевъ, которыхъ значеніе правильно выяснилось уже для современниковъ. Можно сказать даже, что въ данномъ случаѣ судъ современниковъ является болѣе основательнымъ, потому что главная сила Плетнева заключалась въ его привлекательныхъ нравственныхъ качествахъ и въ томъ свѣтломъ обаяніи, которое непосредственно производила на всѣхъ его мягкая, сердечная натура, его просвѣщенная, симпатичная личность. Это былъ человѣкъ прямой, искренній и всѣмъ доступный, весьма простой въ обхожденіи, никогда не становившійся на ходули и не старавшійся импонировать какими-либо виѣшними средствами, но невольно и незамѣтно для самого себя благотворно дѣйствовавшій на окружающихъ своимъ добрымъ внутреннимъ содержаніемъ. Чтобы правильно понять Плетнева, надо прежде всего ни на минуту не забывать, что у него вовсе не было слѣпыхъ и пристрастныхъ поклонниковъ, которые бы въ своемъ увлеченіи приписывали ему небывалыя заслуги или преувеличивали существующія; его больше любили, чѣмъ преклонялись передъ нимъ; недочеты его замѣчали и при случаѣ откровенно говорили о нихъ, но это не мѣшало въ итогѣ отзываться о немъ тепло и сердечно. Между тѣмъ позднѣйшіе писатели, говоря о немъ, не разъ старались поколебать давно и согласно установленную оцѣнку его личности и дѣятельности, иногда приписывая ему такія свойства, которыхъ, повидимому, не подозрѣвалъ въ немъ ни одинъ

современникъ. Дѣло дошло однажды даже до безусловно ложнаго изображенія Плетнева человѣкомъ себѣ на умѣ и карьеристомъ, въ противность рѣшительно всему, что намъ извѣстно о Плетневѣ отъ современниковъ; вмѣсто добраго, благороднаго и благодушнаго Плетнева передъ нами явился однажды другой, такъ сказать вновь открытый Плетневъ, совершенно непохожій на прежняго, извѣстнаго всѣмъ Плетнева. Плетневъ, эта благородная, сердечная, привлекательная личность, этотъ достойный другъ Пушкина, оказался вдругъ какимъ-то маленькимъ человѣкомъ, ничтожнымъ, холоднымъ карьеристомъ, «ловцомъ передъ Господомъ!»¹⁾ Такимъ образомъ въ *данномъ случаѣ* ближайшее потомство, хотя бы въ лицѣ одного—двухъ критиковъ, оказалось какъ бы отдалившимся отъ правильной оцѣнки этой замѣчательной личности современниками. Въ виду этого считаемъ необходимымъ, говоря о Плетневѣ, отнестись съ особеннымъ вниманіемъ къ голосу современниковъ, людей, хорошо знавшихъ и не безъ основанія любившихъ и уважавшихъ его.

Плетневъ всѣми своими успѣхами былъ обязанъ личному труду и личнымъ достоинствамъ. Онъ происходилъ изъ духовнаго званія, выбился изъ довольно низменной провинціальной среды, но выработалъ въ себѣ въ то время, когда въ литературѣ почти вовсе не было разночинца, типичнаго ученаго и литератора того времени, вездѣ занимавшаго почетное мѣсто и чувствовавшаго себя въ своей сферѣ не только въ собственномъ кабинетѣ, но и въ высшихъ слояхъ общества и также во дворцѣ. Авторитетный судья въ данномъ отношеніи, князь П. А. Вяземскій положительно утверждаетъ, что «отъ своего духовнаго происхожденія и воспитанія Плетневъ не сохранилъ никакихъ рѣзкихъ слѣдовъ ни во внѣшнемъ своемъ существѣ, ни во взглядахъ и сужденіяхъ»²⁾ — обстоятельство весьма замѣчательное въ виду того общеизвѣстнаго факта, что духовная среда имѣетъ особенную силу и способность навѣки накладывать свою печать на лицъ изъ нея вышедшихъ. Князь Вяземскій объясняетъ это «эстетическими потребностями души Плетнева», и такое объясненіе нельзя не признать правильнымъ: Плетневъ всегда былъ чрезвычайно чутокъ ко всему изящному и, конечно, невольно и незамѣтно почерпалъ, откуда было возможно, тѣ внутреннія и внѣшнія черты, которыя согласовались съ основными данными его природы и которыя заставляли впоследствии совершенно забывать о его происхожденіи.

Первоначальное образованіе Плетневъ получилъ въ Тверской семинаріи, откуда, по окончаніи курса, перешелъ въ Главный Педагогическій Институтъ. Въ выборѣ свѣтскаго поприща имъ, конечно, руководило влеченіе къ наукѣ, къ знанію. Будущаго своего поприща онъ, однако, не

¹⁾ „Русская Мысль“, 1897, VI.

²⁾ „Русскій Архивъ“, 1869, XII, 2070.

предугадывалъ. Сначала онъ выбираетъ для изученія физико-математическiя науки, но вскорѣ его влечетъ къ себѣ изящная словесность, и онъ перемѣняетъ факультетъ. Потомъ онъ выступаетъ на педагогическое и литературное поприще. Люди, близко знавшiе Плетнева, согласно говорятъ о самобытности его развитiя, и если онъ былъ потомъ многимъ обязанъ тому литературному кругу, въ который вступилъ, то мѣсто, которое имъ было такъ скоро и такъ естественно занято въ этомъ кругу, ясно показываетъ, что въ немъ было что-то свое, весьма цѣнное, обратившее на себя общее сочувственное вниманiе и искренно цѣнимое. Князь Вяземскiй говоритъ о себѣ, что, примкнувъ къ тому же кругу въ началѣ двадцатыхъ годовъ и заставъ тамъ Плетнева, онъ «скоро полюбилъ и оцѣнилъ въ немъ все, что было личною и *самобытною* собственностью его самого»¹⁾. Это сказалъ человѣкъ, пережившiй Плетнева и слѣдовательно имѣвшiй поводъ и возможность засвидѣтельствовать передъ потомствомъ о томъ, что влекло его къ Плетневу; но едва ли можно сомнѣваться, что то же самое повторили бы о Плетневѣ и другiе члены литературнаго круга, корифей первой четверти минувшаго вѣка. Объ отношенiяхъ же къ Плетневу главнаго корифея, Пушкина, мы можемъ судить по ихъ перепискѣ; Пушкинъ высоко цѣнилъ мнѣнiе Плетнева, совѣтовался съ нимъ и между прочимъ—что особенно важно—въ вопросахъ, касавшихся литературнаго приличiя и *личнаго достоинства*; съ нимъ онъ говорилъ какъ съ человѣкомъ, заслуживающимъ безусловнаго довѣрiя, сообщая ему свои интимныя мысли. Такъ же относились къ Плетневу Жуковскiй, Гоголь и другiе. «Милый», писалъ Пушкинъ Плетневу, «побѣда! Царь позволяетъ мнѣ напечатать Годунова въ первобытной красотѣ. Думаю написать предисловіе. Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Но прилично ли мнѣ, Александру Пушкину, являясь передъ Россiей съ «Борисомъ Годуновымъ», заговорить о Ѳаддѣ Булгаринѣ? Кажется, неприлично»²⁾. Эти строки, эта просьба совѣта со стороны Пушкина и въ *такомъ* дѣлѣ сама по себѣ лестная рекомендація Плетневу, это честь настоящая, высокая честь, выше всякаго внѣшняго и официальнаго почета. Позднѣе Плетневъ пользовался, конечно, отовсюду заявленными знаками почета, но, сквозь дымку официальнаго уваженiя, обыкновенно просвѣчивало другое, искреннее и глубокое, имѣвшее отношенiе не къ положенiю, а къ личности. Вотъ наприимѣръ слова будущаго академика Билярскаго къ Погодину, его покровителю на первыхъ шагахъ ученаго поприща: «желалъ бы доказать вамъ, что я въ состоянiи поддержать вашу рекомендацію, и не введу васъ въ слово (*sic*), хотя бы это было предъ Его Превосходительствомъ Плетневымъ, которому я особенно же-

¹⁾ „Утро“, литер. и политич. сборникъ. Москва, 1866, стр. 154.

²⁾ Соч. Пушкина, изд. Литер. Фонда, т. VII, стр. 225.

лалъ бы быть рекомендованъ»¹⁾. «Въ приближеніи къ Плетневу» говорить П. И. Бартеневъ—«было что-то облагораживающее, что-то нравственно-обязующее, и въ этомъ смыслѣ онъ, подобно Жуковскому, представлялъ собою истинную общественную силу»²⁾. Вотъ отзывы о Плетневѣ самыхъ различныхъ людей и представителей разныхъ поколѣній.

II.

Плетневъ не рано выступилъ на литературное поприще, притомъ по совершенно случайному поводу. Въ 1818 г. скончался его другъ и товарищъ по Педагогическому институту, Иванъ Георгіевскій, авторъ мало извѣстнаго романа «Евгенія». Издавая этотъ плодъ юной и рано умолкнувшей музы, Плетневъ нашелъ умѣстнымъ и счелъ своимъ долгомъ друга предпослать «извѣстіе объ авторѣ». Въ этомъ первомъ произведеніи пера Плетнева мы видимъ что-то почти ученическое: молодой авторъ еще не успѣлъ выработать даже самостоятельныхъ литературныхъ приемовъ и до того рабски подражалъ Карамзину, что старался копировать слогъ и всю литературную манеру автора «Бѣдной Лизы», и даже напримѣръ совершенно по-карамзински, послѣ нѣсколькихъ вопросительныхъ предложеній, заключающихъ въ себѣ предполагаемыя сомнѣнія читателя о правѣ умершаго молодого писателя на общее вниманіе, въ чисто карамзинскомъ стилѣ отвѣчаетъ на эти сомнѣнія: «Должно ли съ холоднымъ равнодушіемъ оставить безъ вниманія короткій путь, на которомъ смерть его остановила?..». «По крайней мѣрѣ, я считаю себя въ правѣ посадить цвѣтокъ на свѣжей могилѣ своего Агатона». Этимъ упоминаніемъ объ Агатонѣ онъ и самъ какъ бы невольно подчеркиваетъ подражаніе своему образцу. Но это была первая проба пера, послѣ которой Плетневъ является уже самимъ собой, и тутъ уже можно опредѣлить его особенности какъ эстетика, неизбежно обнаружившіяся и въ его преподаваніи и въ критическихъ статьяхъ.

Разсматривая Плетнева, какъ критика, мы прежде всего невольно задаемъ себѣ вопросъ: какъ помирить въ немъ несомнѣнный критическій тактъ и тонкое художественное чувство, которое уважалось самими крупными корифеями его времени, съ той ограниченностью и узкостью литературныхъ сужденій, какія иногда поражаютъ насъ въ его интересной перепискѣ съ Гротомъ? Это бросающееся въ глаза противорѣчіе, особенно если припомнить отзывы Плетнева о Лермонтовѣ, требуетъ разъясненія. Необходимо поэтому всмотрѣться въ его критическія статьи, и тогда мы

¹⁾ См. „Жизнь и труды Погодина“ Барсукова, т. VII, стр. 215—216.

²⁾ „Русск. Архивъ“, 1869, XII, 2089—2090.

убѣдимся, что по самымъ свойствамъ своего критическаго таланта Плетневъ былъ созданъ, главнымъ образомъ, тонко чувствовать и оцѣнивать въ поэзіи отдѣльныя поэтическія блести и красоты стила и выраженія, могъ также иногда дать вѣрную характеристику писателя, но былъ совершенно лишентъ дара критической прозорливости и умѣнія опредѣлять мѣсто и значеніе того или другого начинающаго писателя въ литературѣ. Читая критическія статьи Плетнева, чувствуешь въ немъ истиннаго знатока и цѣнителя именно частныхъ, отдѣльныхъ стихотвореній и отдѣльныхъ мѣстъ въ нихъ, но далеко не настоящаго литературнаго критика. Этимъ, кажется намъ, легко разъясняются всѣ недоумѣнія относительно Плетнева, какъ критика. Въ кругу величайшихъ представителей русской литературы Плетневъ занималъ почетное мѣсто и было бы, конечно, ошибкой его успѣхи въ этой сферѣ, на этихъ вершинахъ литературы, а также и на каедрѣ, объяснять *исключительно* симпатичными качествами его личнаго характера, хотя и имѣвшими, безспорно, весьма большое значеніе. Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, что Жуковский, Пушкинъ, Вяземскій и другіе знали, за что они окружили Плетнева общимъ сочувствіемъ и уваженіемъ, не только какъ человѣка, но и какъ литератора.

Въ самомъ дѣлѣ, при чтеніи критическихъ статей Плетнева тотчасъ же видно, что это былъ человѣкъ, способный сказать свое мѣткое слово о любомъ художественномъ произведеніи, что онъ не нуждался въ чужихъ мнѣніяхъ и въ компилятивномъ пользованіи трудами другихъ писателей.— Онъ всегда говорилъ *свое* и всегда умѣлъ дѣлать вѣрныя и цѣнныя замѣчанія, но, повторяемъ, преимущественно относительно стила и вообще частныхъ. Его сфера была детальнѣйшій разборъ произведеній, при которомъ онъ нерѣдко умѣлъ дать своему читателю или слушателю почувствовать то, что могло для послѣдняго пройти незамѣченнымъ, натолкнуть его на пониманіе красоты, освѣтивъ ихъ тонкимъ эстетическимъ разборомъ. Мнѣніе такого критика не могло не представлять интереса даже для корифеевъ литературы. Въ своей, правда, можетъ быть, ограниченной сферѣ, онъ былъ большой виртуозъ; въ вопросахъ, такъ сказать, поэтической техники это былъ истинный знатокъ; такъ, разбирая «Умирающаго Тасса», онъ прекрасно объясняетъ каждый стихъ, начиная съ раскрытія умѣстности и преимущества въ началѣ стихотворенія вопросительной формы, онъ наглядно показываетъ въ стихахъ Батюшкова «пластическую красоту», разнообразіе и естественность переходовъ; онъ наконецъ чрезвычайно мѣтко объясняетъ прелесть отдѣльныхъ стиховъ, напр., стиха «подъ небомъ сладостнымъ Италиі моей» и проч. И не только у лучшихъ поэтовъ, но и у забытыхъ теперь Милонова и подобныхъ, Плетневъ находить также красоты и указываетъ ихъ. Но онъ не чуждъ былъ поклоненія установленнымъ авторитетамъ, быть можетъ, по нѣкоторой робости критиче-

скаго взгляда, если не по излишней мягкости своей натуры. Пушкинь, одобряя Плетнева, какъ критика, не разъ имѣлъ случай ставить ему на видъ его чрезмѣрную снисходительность.

Но рядомъ съ указанными качествами его, какъ критика, мы не можемъ не удивляться тому, что его обыкновенно погоняетъ критическій тактъ, лишь только онъ выходитъ изъ рамокъ своей узкой критической специальности. Онъ утверждаетъ иногда нѣчто почти невѣроятное; онъ готовъ увѣрять, что «Петровъ, стоя между Ломоносовымъ и Державинымъ, кажется, не исчезаетъ въ ихъ славу». Въ письмѣ къ графинѣ Соллогубъ Плетневъ даетъ общія характеристики болѣе замѣчательныхъ поэтовъ, и говоря, что будетъ поддерживать свое мнѣніе, что и у насъ много прекраснаго, съ восторгомъ указываетъ любительницѣ французской словесности—на кого же? на Озерова, Нелединскаго и Петрова! Вообще, читая критическія статьи Плетнева, какъ-то чувствуешь у него недостатокъ критической перспективы, недостатокъ, разумѣется, чрезвычайно существенный, почему онъ и не могъ впоследствии оцѣнить какъ должно, напр., Лермонтова и, раздраженный восторженными отзывами не особенно любимаго имъ Бѣлинскаго, рѣшался ставить Лермонтова не только ниже Баратынскаго, но даже Языкова. Тѣмъ не менѣе въ свое время онъ долженъ былъ считаться полезнымъ на кафедрѣ и въ журнальной сферѣ потому, что его живое эстетическое чувство давало возможность будить таковое въ читателяхъ и слушателяхъ, и послѣдніе должны были выносить изъ его лекцій существенную пользу, можетъ быть, даже болѣе значительную, нежели какую можно было впоследствии извлекать изъ лекцій болѣе содержательныхъ профессоровъ, такъ какъ фактическія знанія забываются, а пониманіе красотъ художественныхъ произведеній составляетъ навѣки цѣнный капиталъ.

Педагогическая служба Плетнева была непрерывнымъ рядомъ успѣховъ, и это не могло быть безъ причины. Его приглашаютъ въ 1830 г. въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ, а черезъ годъ за дѣятельность въ этомъ заведеніи онъ получаетъ высочайшее благоволеніе съ занесеніемъ въ формулярный списокъ; въ слѣдующемъ году онъ былъ, по словамъ того же формулярнаго списка, вызванъ на кафедру русской словесности въ Императорскій университетъ и главный педагогическій институтъ, а еще два года спустя получаетъ высочайшее благоволеніе за службу въ Патриотическомъ институтѣ.—Однимъ словомъ, ему вездѣ открыты двери и оставалось только выбирать. Въ 1833 г. ему объявлено высочайшее благоволеніе, а за службу въ Педагогическомъ институтѣ онъ вскорѣ награжденъ брильянтовымъ перстнемъ. Наконецъ, въ 1840 г. онъ былъ утвержденъ ректоромъ Петербургскаго университета и въ томъ же году, по случаю двухсотлѣтняго юбилея Императорскаго Александровскаго университета въ Гельсингфорсѣ, возведенъ въ степень доктора философіи

(не безъ участія въ этомъ дѣлѣ его друга Я. К. Грота), и затѣмъ въ слѣдующемъ 1842 году утвержденъ ординарнымъ академикомъ. Незадолго передъ тѣмъ Плетневъ принялъ на себя (въ 1838 г.) редакцію «Современника». Такимъ образомъ въ его жизни наступаетъ второй періодъ, когда онъ является одновременно главнымъ и официальнымъ представителемъ университетской науки и руководителемъ основаннаго Пушкинымъ и пользовавшагося уваженіемъ въ обществѣ, хотя и мало популярнаго, журнала.

Изъ всего этого видно, какіе успѣхи дѣлалъ Плетневъ въ своей карьерѣ: онъ безпрестанно и неудержимо, крупными и твердыми шагами подвигался на самыхъ разнообразныхъ поприщахъ и завоевывалъ себѣ высокое положеніе въ ученомъ мірѣ и въ общественной іерархіи, при чемъ въ соотвѣтствіе этимъ внѣшнимъ успѣхамъ неизмѣнно возрасталъ и его внутренній авторитетъ. Между тѣмъ, несомнѣнно, справедливы слова покойнаго академика Л. Н. Майкова, сказавшаго о немъ, что «личность Плетнева не поражаетъ блескомъ необыкновенныхъ дарованій: онъ не былъ вдохновеннымъ поэтомъ, а въ наукѣ не проложилъ новыхъ путей глубокомысленными изысканіями». «Онъ», — объясняетъ Майковъ, — «просто былъ человѣкъ яснаго и трезваго ума, обладавшій хорошимъ образованіемъ и тонкимъ эстетическимъ вкусомъ». Но здѣсь указаны только главныя, наиболее бросающіяся въ глаза достоинства Плетнева и права его на то высокое мѣсто, какое онъ поемногу занялъ въ ученомъ и литературномъ мірѣ. Во дворцѣ, въ обществѣ, на кафедрѣ, въ своей журнальной и служебной дѣятельности Плетневъ несомнѣнно умѣлъ держать себя съ тактомъ и съ достоинствомъ, при чемъ, по безусловно согласнымъ отзывамъ современниковъ, онъ былъ человѣкъ хорошей и благородной, чуждый какаго бы то ни было искательства или угодничества, въ чемъ такъ сильно и справедливо обвиняли одного быстро возвышавшагося его коллегу, профессора Московскаго университета. Нельзя забывать, что на всѣхъ тѣхъ поприщахъ, гдѣ приходилось дѣйствовать Плетневу, были, безъ всякаго сомнѣнія, немалыя трудности и подводные камни, пройти мимо которыхъ съ честью и не навлечь на себя нареканій, всегда пользоваться не внѣшнимъ только почетомъ, но и вполне искреннимъ уваженіемъ — дѣло не такого рода, для котораго было бы достаточно только случайной удачи.

Общее отношеніе къ нему можно было бы назвать любовно-нисходительнымъ. И. С. Тургеневъ такъ отзывался о немъ, какъ о профессорѣ: «Какъ профессоръ русской литературы, онъ не отличался большими свѣдѣніями; ученый багажъ его былъ весьма легокъ; зато онъ искренно любилъ свой предметъ, обладалъ нѣсколько робкимъ, но чистымъ и тонкимъ вкусомъ, и говорилъ просто, ясно, не безъ теплоты. Главное, онъ умѣлъ сообщать своимъ слушателямъ тѣ симпатіи, которыми самъ былъ исполненъ — умѣлъ заинтересовать ихъ». Другими словами, у Плетнева

была душа и была любовь къ своему дѣлу, а также любовь къ людямъ и въ частности къ слушателямъ, а эти качества, конечно, цѣнились высоко и были дѣйствительно драгоценны.

III.

Крайне несправедливо и ошибочно было бы упрекать Плетнева въ карьеризмъ, какъ мы видимъ это въ одной статьѣ г. Скабичевского, или въ его тяготѣннн къ высшимъ аристократическимъ сферамъ, въ чемъ недавно упрекалъ Плетнева другой критикъ. Утверждать что-либо подобное значить не знать Плетнева. Если человекъ безъ связей и протекцій лично обязанъ себѣ быстрымъ возвышеніемъ, если при этомъ онъ не отличается и выдающеюся даровитостью, то невольно является соблазнъ искать причины успѣховъ въ практической ловкости даннаго лица, въ его умѣннн искусно обдѣлывать свои дѣла; но не всегда такое объясненіе бываетъ вѣрно. «Неизвѣстно»,—говоритъ г. Скабичевскій,—«какъ произошла ассимиляція Плетнева съ тогдашнимъ литературнымъ Олимпомъ,—«приблизили ли олимпійцы къ себѣ человека, котораго сразу нашли такимъ, *какого имъ было нужно*, или же, подчинивши его своему могучему вліянію, они постепенно выработали изъ него своего критика. Вѣрнѣе всего, что здѣсь случилось и то и другое»¹⁾. Но дѣло было, конечно, гораздо проще: если допустить, что олимпійцы, такъ сказать, воспитали для себя подходящаго и полезнаго критика, то, конечно, безъ всякаго заранѣе обдуманнаго плана и системы, и если они нашли въ Плетневѣ такого человека, каковъ былъ имъ желателенъ, то опять нельзя представлять себѣ дѣло въ такомъ искусственномъ видѣ: очевидно, Плетневъ умѣлъ, какъ личность, расположить къ себѣ и, какъ эстетикъ, заинтересовать своими вѣскими взглядами и тонкими замѣчаніями и, кромѣ того, умѣлъ внушить къ себѣ уваженіе во всѣхъ отношеніяхъ. Жизнь дѣлала свое дѣло, какъ всегда, властно и на этотъ разъ вполне разумно. Да едва ли онъ былъ специальнымъ «выразителемъ эстетическихъ взглядовъ и сужденій критика». Вѣрно замѣчаетъ Л. Н. Майковъ, что «критика его не служила *оправданіемъ известнаго эстетическаго ученія* и вообще не опиралась на философскую систему», при чемъ въ подтвержденіе этихъ словъ покойный академикъ приводитъ замѣчаніе самого Плетнева: «Теорія у меня не заятая, не изученная, а явившаяся въ умѣ отъ наблюденій, отъ разговоровъ, отъ вниманія къ дѣламъ и ихъ слѣдствіямъ». Отношеніе Плетнева къ олимпійцамъ замѣчательно мѣтко и точно опредѣлено у Л. Н. Майкова въ его

¹⁾ „Вѣстникъ Евр.“, 1895, стр. 53—54. Указываемъ на невѣрность этого мнѣнія особенно въ виду того, что оно не разъ повторялось даже въ такихъ изданіяхъ, какъ Энциклопедическій Словарь Брокгауза.

выраженіи: «вкусъ свой *онъ развилъ*, главнымъ образомъ, среди тѣхъ даровитыхъ писателей, которыхъ былъ современникомъ»¹⁾).

И это вѣрно; это замѣчаніе не заключаетъ въ себѣ натяжки и никакого искусственного толкованія. Раздѣляя взгляды олимпійцевъ, Плетневъ объяснялъ напр. въ своихъ статьяхъ, что истинная поэзія требуетъ природнаго дара, а *затѣмъ* упорнаго труда и тщательной обработки стиховъ. «Чтобы сдѣлать стихи легкими»,—говоритъ Плетневъ въ статьѣ о стихотвореніяхъ Милонова,—«надобно ихъ написать съ большимъ трудомъ». «Всякое произведеніе искусства»—продолжаетъ онъ—«требуетъ для совершенной своей отдѣлки необыкновеннаго терпѣнія, а поэзія стоитъ выше всѣхъ искусствъ, и слѣдственно ея произведенія съ большимъ трудомъ противъ прочихъ надобно обрабатывать». Но эта идея была раньше и сильнѣе выражена Батюшковымъ въ его извѣстной рѣчи «О вліяніи легкой поэзіи на языкъ». «Поэзія»—говоритъ Батюшковъ—«и въ малыхъ родахъ есть искусство трудное, требующее всей жизни и всѣхъ усилій душевныхъ; *надобно родиться для поэзіи*; этого мало: *надобно сдѣлаться поэтомъ* въ какомъ бы то ни было родѣ». И такъ идеи, высказанныя Плетневымъ, не были и вполнѣ самостоятельны и оригинальны, но онѣ и не были простой передачей чужихъ мнѣній, не были только отголоскомъ сужденій определенной группы лицъ. Вѣдь еще Дмитріевъ въ «Чужомъ толкѣ» осмѣивалъ заблужденіе многихъ, будто поэтъ, не учась, учепъ, колы придетъ въ восхищеніе» и тутъ же говоритъ: «*природа дѣлаетъ поэта*». Очевидно, такія мнѣнія, какъ и противоположныя, составляли въ свое время предметъ литературнаго разногласія и высказывались не однажды и многими критиками разныхъ взглядовъ и направленій. Приводя въ своей статьѣ подобные взгляды, Плетневъ отнюдь не слѣдовалъ посторонней указкѣ, но свободно раздѣлялъ со многими естественно сложившееся у него убѣжденіе, такъ какъ странно было бы, въ виду совпаденія такихъ общихъ взглядовъ, признать, положимъ, Плетнева заимствователемъ въ отношеніи къ Батюшкову, а Батюшкова—въ отношеніи Дмитріева. Плетневъ, несомнѣнно притомъ, говорилъ не отъ имени кружка, когда высказывалъ нѣкоторые принадлежавшіе только ему, а никакъ не кружку олимпійцевъ, подчасъ нѣсколько близорукіе и односторонніе взгляды, напр. что «не только Державинъ, но Ломоносовъ и Петровъ гораздо выше Руссо». И не разъ Плетневъ является исповѣдникомъ такихъ архаическихъ взглядовъ, не раздѣляемыхъ кружкомъ. Такъ особенно въ своемъ письмѣ къ графинѣ С. И. Соллогубъ онъ высказываетъ не мало такого, что отзывается довольно старомодными понятіями, такъ что ему даже пришлось выдержать нѣкоторый репримандъ отъ своихъ литературныхъ друзей. Онъ посвящаетъ, напримѣръ, цѣлую статью одѣ Петрову и Мордвинову и смакуетъ въ ней и цѣлыя

1) „Историко-литературные очерки“, стр. 266—267.

картины и отдѣльные стихи. Даже въ стилѣ Плетнева долго чувствуется вѣяніе карамзинской эпохи. Приведемъ въ примѣръ слѣдующее выраженіе его о стихотвореніи Державина «Мечта». «Оно послужитъ убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ, что важныя музы не чуждаются веселыхъ грацій» (писано *въ 1824 году*). Будучи, по свойствамъ своего критическаго таланта, преимущественно цѣнителемъ отдѣльныхъ поэтическихъ красотъ, Плетневъ особенно любилъ подвергать анализу лирическаго, а въ частности анакреонтическаго стихотворенія, гдѣ, разумѣется, слѣдовалъ своему собственному вкусу, что ясно показываетъ и самый характеръ такихъ разборовъ. Наконецъ, уже одно долгое сотрудничество Плетнева въ «Трудахъ Вольнаго Общества любителей россійской словесности» и въ «Журналѣ изящныхъ искусствъ» исключаетъ возможность предположенія о специальномъ выборѣ Плетнева кружкомъ олимпійцевъ въ качествѣ пропагандиста извѣстныхъ теорій; никто подобной роли не могъ бы приписать этимъ изданіямъ.

IV.

Дальнѣйшее возвышеніе Плетнева, уже признаннаго на вершинахъ литературы, является совершенно естественнымъ и законнымъ, а въ то же время его преподавательская дѣятельность въ женскихъ институтахъ обратила на себя вниманіе августѣйшихъ особъ, всегда близкихъ къ этимъ учрежденіямъ. Въ академіи, въ университетѣ, въ журнальномъ мірѣ и при дворѣ Плетневъ пользовался во вторую половину жизни весьма виднымъ положеніемъ. Обвинять ли его за это въ карьеризмъ? Какъ журналистъ, онъ, безъ сомнѣнія, мало отвѣчалъ своему назначенію, несмотря на высокую цѣль, имъ себѣ поставленную; но безспорно то, что онъ, считая себя призваннымъ принести посильный трудъ на алтарь дружбы къ рано умершему великому поэту, мужественно, хотя и бесплодно, противопоставлялъ упорному равнодушію публики самое безкорыстное, самоотверженное усердіе. У него не было талантовъ журналиста, но его воодушевляла въ неравной борьбѣ благоговѣйная преданность памяти Пушкина, и это обстоятельство должно что-нибудь значить на вѣсахъ безпристрастія.

Не Богъ вѣсть и какой профессоръ былъ Плетневъ; но не слѣдуетъ забывать, что самый объемъ преподаваемой имъ юной науки былъ въ то время слишкомъ ничтоженъ, вслѣдствіе чего представителями кафедръ съ успѣхомъ являлись люди вовсе не филологическаго и не литературнаго образованія, специалисты по ботаникѣ или математикѣ,—и опытный, дѣльный словесникъ, въ свое время близко стоявшій къ кругу лучшихъ писателей, составлявшихъ цвѣтъ современной литературы, хорошо знакомый съ ея свѣжими и болѣе отдаленными преданіями, былъ, конечно, желательнѣе и полезнѣе на кафедрѣ, нежели многіе его товарищи по предмету преподаванія, ограничивавшіеся въ своихъ лекціяхъ букетами общихъ

взглядовъ или просто безсодержательныхъ общихъ мѣстъ. Лучшіе тогдашніе профессора были скорѣе литературные критики, какъ Мерзляковъ, Надеждинъ, имѣвшіе извѣстное и даже почтенное вліяніе на литературу, но все же, такъ сказать, это были, какъ и Плетневъ, въ отношеніи науки почти исключительно дѣятели настоящей минуты; другіе же, менѣе замѣчательные, какъ Давыдовъ и Никитенко, если и имѣли значеніе, то скорѣе въ сферѣ практической, нежели ученой. Если Плетневъ уступалъ Давыдову и особенно Надеждину въ широтѣ философскаго образованія, то стоялъ выше ихъ по своимъ литературнымъ вкусамъ и симпатіямъ, а какъ личность также во многомъ превосходилъ своихъ коллегъ, даже такихъ даровитыхъ, но мало полезныхъ для настоящаго дѣла, какъ Никитенко, не говоря уже о Давыдовѣ. Словомъ, это былъ представитель особаго типа профессоровъ, чрезвычайно полезныхъ въ свое время и тогда по справедливости высоко цѣнимыхъ.

Но у Плетнева есть еще другія, очень немаловажныя заслуги, а именно всего менѣе свойственныя карьеристамъ, заключающіяся въ умѣньшій оцѣнить все хорошее и талантливое, въ его умѣньшій съ рѣдкой пронизательностью открыть недюжинные дары и въ Гоголѣ, и въ Ишимовой, и въ Гротѣ, и въ Кулишѣ, и въ Соханской (Кохановской), и въ Коссовичѣ, и въ Майковѣ, и въ Тургеневѣ, и въ Островскомъ, и во многихъ другихъ. Вообще нельзя не сказать, что въ мѣру своего пониманія людей и вліянія въ мірѣ ученомъ и литературномъ Плетневъ не мало сдѣлалъ добра талантливымъ людямъ, а черезъ нихъ и всему русскому обществу.

Кромѣ того, въ силу приобрѣтеннаго авторитета и заслуженнаго довѣрія Плетнева всюду и чаще всего *официально* привлекали къ исполненію самыхъ разнообразныхъ обязанностей и время его безбожно эксплуатировалось на расхватъ разными казенными учрежденіями, обыкновенно къ немалому его огорченію. Подобной участи подвергались также многіе другіе замѣтные и вліятельные люди той эпохи и опять въ томъ числѣ коллеги Плетнева, какъ Никитенко или Давыдовъ. Но вотъ въ чемъ капитальное отличіе въ пользу Плетнева: ему постоянно приходилось *безжористо* исполнять такъ называемыя почетныя *порученія*, составлять отчеты по академіи и университету, заступать мѣсто попечителя округа и т. п., и все это были положительно занятія *ex officio*, отъ которыхъ Плетневъ при всемъ желаніи не могъ бы отказаться—по извѣстной поговоркѣ «noblesse oblige». Плетневу приходилось просто разрываться, но онъ всегда успѣвалъ съ честью выходить изъ-подъ груди навьючиваемыхъ на него срочныхъ и отвѣтственныхъ дѣлъ и заботъ. Куда пріятнѣе было бы ему работать согласно собственнымъ влеченіямъ, спокойно и не надрываясь, но этого-то ему и не было суждено.

«Итакъ»—пишетъ онъ однажды Гроту—«кромѣ собственныхъ письменныхъ дѣлъ, есть три казенныя: исторія университета, сочиненіе ака-

деміи наукъ и мнѣніе» ¹⁾. Черезъ нѣкоторое время опять читаемъ: «Мнѣ въ нынѣшнемъ году предложено готовить отчетъ за 1844 г. по отдѣленію. А университетскій самъ по себѣ. Не вышло ли и въ самомъ дѣлѣ, что и отчетная машина?» ²⁾ Въ другой разъ на него «наложили приготовить программу, какъ проходить русскую словесность въ Варшавскомъ округѣ» ³⁾. «Скучная работа!» съ горечью и тоской восклицаетъ Плетневъ и, конечно, прибавимъ мы, безвозмездная, но которую тѣмъ не менѣе возложить на него свыше, какъ на лицо должностное, было не трудно: отнюдь не справляясь съ тѣмъ, насколько онъ былъ расположенъ ее исполнить и имѣлъ ли даже для того необходимое время. Мѣсяца не прошло—и уже начальникъ Сиротскаго института въ Гатчинѣ, сенаторъ Ланской, обращается къ Плетневу съ любезной полуофициальной просьбой, какъ къ ректору, «просмотрѣть планъ ученія въ подвѣдомственномъ ему заведеніи», и тутъ уже Плетневъ съ досадой прямо называетъ въ письмѣ къ Гроту эту работу «несносной», кстати сообщая, что подобныя работы на него «ежегодно изъ разныхъ мѣстъ по нѣскольку разъ—наваливаются» ⁴⁾. Было бы чудовищной несправедливостью ставить въ упрекъ Плетневу, какъ лицу подневольному, такія насильно и безвозмездно наваливаемые на него свыше съ щедростью официальныхъ тузовъ работы. Иногда въ тяжелыя минуты онъ не могъ воздержаться отъ сѣтованій на свою судьбу ⁵⁾, но въ общемъ переносилъ возлагаемыя на него бремена съ благодушной бодростью. На убѣжденія Грота вести регулярный образъ жизни Плетневъ отозвался однажды съ горечью: «Я и самъ люблю и всегда сберегаю себя отъ бдѣнія ночного, лишь только это бываетъ въ моей возможности» ⁶⁾. Въ другомъ мѣстѣ Плетневъ говоритъ: «Никогда болѣе семи часовъ не сплю. Прогулку замѣняютъ переходы изъ дому въ университетъ и визитація аудиторіи» ⁷⁾. Но особенно много пріятныхъ сюрпризовъ выпало на долю Плетнева въ попечительство графа Мусина-Пушкина. Сначала Плетневъ изъ учтивости наложилъ на себя обязанность присутствовать вмѣстѣ съ попечителемъ на университетскихъ экзаменахъ и даже по воскресеньямъ въ университетской церкви ⁸⁾, но притязательность попечителя простиралась до того, что наконецъ совершенно вывела благодушнѣйшаго Плетнева изъ терпѣнія, такъ какъ, не имѣя по собственному опыту никакого представленія о цѣнности времени, первый

¹⁾ Тамъ же, стр. 587.

²⁾ Тамъ же, т. II, стр. 333.

³⁾ Т. I, стр. 617.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 623.

⁵⁾ Переписка, т. I, стр. 357; также 495: „Пока я ректоръ и журналистъ—у меня всѣ минуты поражены тоской и суетой“; также 549.

⁶⁾ Переписка, т. I, стр. 223, 241 и проч.

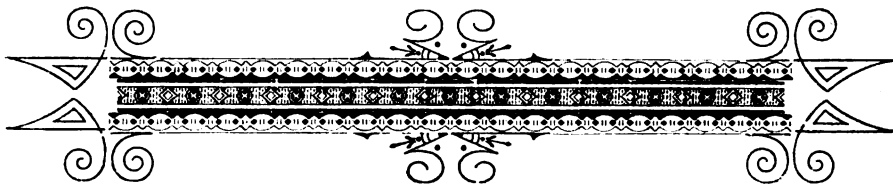
⁷⁾ Переписка, т. I, стр. 405.

⁸⁾ См. т. II, стр. 502, 510, 516, 537, 650, 653; т. III, 227, 231.

выражалъ косвеннымъ образомъ требованіе и отъ обремененнаго серьезными трудами и заботами ректора, чтобы и тотъ не отставалъ отъ него въ бесплодномъ на половину присутствованіи на всѣхъ студенческихъ испытаніяхъ. Дѣло дошло наконецъ до того, что Плетневъ жаловался Грогу: «Нынѣшній годъ университетскіе экзамены въ тягость мнѣ. Прежде я изрѣдка на нихъ являлся, чтобы только повѣрять, все ли идетъ законно. Нынѣ попечитель безвыходно тамъ сидитъ съ начала до конца. Это меня заставляетъ изъ приличія тоже сидѣть съ нимъ долго. Но я страдаю отъ такого пустого препровожденія времени. Рѣшился теперь ходить туда изрѣдка и не надолго. Если онъ заерошится, я объявлю, что лучше вонъ выйду изъ университета, нежели приму на себя эту убійственную обязанность, которая, ничего не прибавляя къ истинной пользѣ университета, только *отнимаетъ* у меня время отъ другихъ занятій»¹⁾. Наконецъ на Плетневѣ лежала въ разные времена инспекція частныхъ пансіоновъ и школъ. Само собою разумѣется, что, по бюрократическому обычаю, самое идеальное исполненіе такихъ поручаемыхъ Плетневу обязанностей ни мало не ставилось ему въ заслугу и принималось совершенно какъ обычное и должное. Кромѣ того, Плетневъ всегда съ готовностью исполнялъ порученія сердечно уважаемыхъ и дорогихъ друзей, напр. много хлопоталъ за Гоголя и по дѣламъ его «Переписки съ друзьями». Ко всему этому на немъ же одно время, какъ мы знаемъ, лежалъ еще и добровольно принятый, но чрезвычайно серьезный долгъ по изданію «Современника». Словомъ, это былъ мученикъ долга, безжалостно со всѣхъ сторонъ обременяемый и разрываемый, и къ тому же недостаточно цѣннымъ, если принять во вниманіе всю совокупность приносимой имъ пользы и постоянно исполняемыхъ трудовъ. И чѣмъ напряженнѣе и успѣшнѣе работалъ Плетневъ на разныхъ поприщахъ «не за страхъ, а за совѣсть», тѣмъ болѣе достигаемые имъ повсюду результаты его всегда полезной, хотя иногда очень скромной, дѣятельности, представлялись дѣломъ простымъ, привычнымъ и необходимымъ. Конечно, Плетнева уважали искренно и были ему благодарны, но слѣды его неустанной работы *именно въ силу привычки* оставались въ значительной степени незамѣченными и неоцѣненными. Для настоящей, справедливой оцѣнки все это необходимо взвѣсить, тогда какъ на взглядъ, по счастливому выраженію Гончарова, «поверхностно-наблюдательнаго, холоднаго человѣка», многое и могло бы показаться незначительнымъ и не заслуживающимъ серьезнаго сочувствія. Вообще за Плетневымъ, благодаря указаннымъ обстоятельствамъ, числится несравненно меньше заслугъ, чѣмъ ихъ было на самомъ дѣлѣ, ибо значительная часть трудовъ при сведеніи итоговъ совѣмъ не принимается въ расчетъ, хотя въ свое время это были труды чрезвычайно полезные и необходимые.

В. Шенрокъ.

¹⁾ Тамъ же, II, стр. 756.



Различные стили въ „Фаустъ“ Гёте*).

Георга Брандеса.

Переводъ съ датскаго В. Спасской.

Всюду, гдѣ говорятъ по-нѣмецки и понимаютъ нѣмецкій языкъ, имя Гёте пользуется неоспоримой славой. Его имя—величайшее имя нѣмецкаго народа. Какъ поэтъ, какъ ученый, какъ умъ, какъ человекъ, онъ возбуждаетъ одинаково восторженное удивленіе. Онъ представляется нѣмецкому народу олицетвореніемъ наивысшей человѣчности, являясь идеаломъ многосторонности и полноты натуры, соединяющей въ себѣ сильныя контрасты.

Не только его сочиненія, его дневники, его письма до самой мелкой записки включительно издаются съ образцовой тщательностью, съ точностью, примѣнявшеюся до тѣхъ поръ лишь къ остаткамъ античной литературы, не только сохраняется сказанное имъ въ разговорахъ за позднѣйшіе годы его жизни, особенно въ разговорахъ съ Эккерманномъ и канцлеромъ фонъ-Мюллеръ, но издаются письма къ нему и всѣ письменные или устные отзывы о немъ, какіе только можно было собрать. Существуетъ Гётевское Общество и Гётевскій Ежегодникъ. Возникла и распространилась повсюду, гдѣ господствуетъ нѣмецкій языкъ, «Гётевская филологія». Даже счета великаго человека за отданное въ чистку бѣлье печатались и комментировались. Всякая личность, которую онъ зналъ, хотя бы и самая незначительная, дѣлалась предметомъ спеціальнаго изслѣдованія. Въ одномъ частномъ собраніи рукописей въ Берлинѣ есть письма отъ всѣхъ безъ исключенія современниковъ Гёте, упоминаемыхъ въ *Поэзии и Правдѣ*.

Между тѣмъ, за предѣлами Германіи, особенно же въ Англіи и во Франціи, нерѣдко раздаются голоса, звучащіе непріязнью къ Гёте. Порою

*) Эта статья, носящая въ датскомъ оригиналѣ заглавіе: „Stilforskelligheder i Faust“, прислана авторомъ спеціально для настоящаго изданія. Ред.

тамъ отказываются видѣть въ Гёте перворазрядную личность и въ то же время направляютъ рѣзкую и отнюдь не вздорную, вслѣдствіе этого, критику противъ его поэзіи. Въ Англии побудительнымъ поводомъ къ этому была, быть-можетъ, имѣющая тамъ такое большое значеніе моральная точка зрѣнія. Въ характерѣ Гёте есть черты, оскорбляющія англійскій взглядъ на обязанности джентльмена; таково, напр., то обстоятельство, что онъ симпатичнаго Кестнера и его жену Шарлотту отдаетъ на жертву общественному любопытству, выпуская въ свѣтъ *Вертера* съ его карикатурой на Альберта. Во Франціи мотивъ къ повторявшимся въ послѣднее время нападкамъ на Гёте былъ патріотическаго свойства. Тамъ рассчитывали поразить побѣдоносную Германію въ самое чувствительное мѣсто, низводя гений, составляющіи ея самое блистательное украшеніе, на степень второстепеннаго явленія. Его читали тамъ съ предубѣжденіемъ; французовъ искренне шокируетъ растянутасть Гёте, какъ повѣствователя, въ старости и недостатокъ искусства композиціи въ теченіе всей жизни. Кромѣ того, новохристіанское движеніе во Франціи плохо согласуется съ отчужденностью Гёте отъ христіанства и съ тѣмъ, что и теперь, какъ и сто лѣтъ тому назадъ, называютъ его эгоизмомъ.

Самымъ вѣскимъ изъ выдвигавшихся противъ Гёте обвинительныхъ пунктовъ является одинъ, касающійся чисто художественнаго элемента оставленныхъ имъ сочиненій. Въ Англии рассуждали такъ: когда видишь предъ собой громадную массу сочиненій Гёте, то изумляешься, какъ мало среди нихъ шедевровъ. Слишкомъ ужъ много мѣста занимаетъ случайная поэзія, неостроумныя, тяжеловѣсныя комедіи или фарсы, недоконченные отрывки, эпиграммы на забытыя теперь событія и лица, мертвыя аллегоріи, большія груды научнаго матеріала, нагроможденнаго для возведенія невозможной теоріи потерпѣвашаго плачевное крушеніе ученія о цвѣтахъ. И какъ на причину малочисленности образцовыхъ произведеній указываютъ на то обстоятельство, что Гёте, если исключить нѣсколько краткихъ періодовъ его долгаго жизненнаго поприща, никогда не сосредоточивался на истинной задачѣ своей жизни—на поэзіи. Онъ отдавался во власть обстоятельствъ. Мы видимъ, напр., что на цѣлыхъ десять лѣтъ и притомъ десять лучшихъ лѣтъ въ жизни мужчины, между своими 27 и 37 годами (1776—1786 г.), онъ бросаетъ всякую поэтическую дѣятельность для того, чтобъ отдаться разсѣянной придворной жизни и утомительнымъ административнымъ занятіямъ въ Веймарѣ. Поэтому-то въ его крупныхъ сочиненіяхъ и нѣтъ единства. Они сплошь и рядомъ отрывочны или плохо скомпонованы. Онъ постоянно принимался за нихъ, по нѣскольку разъ передѣлывалъ или вставлялъ новыя части, или же писалъ продолженіе, успѣвъ наполовину забыть свой первоначальный планъ. *Гіцъ фронъ Берлихиненъ* существуетъ въ двухъ различныхъ видахъ. *Ифигенія* была передѣлана пять разъ. *Годы ученичества Вилгельма Мейстера* про-

лежали такъ долго, что романъ былъ выполненъ уже по другому плану, а не по тому, по какому былъ задуманъ. *Годы странствованія* были написаны совѣмъ безъ плана. Если же мы перейдемъ къ *Фаусту*, котораго Гёте начиналъ и откладывалъ въ сторону, вновь принимался за него и снова бросалъ, чтобъ затѣмъ опять продолжать, такъ что его выполненіе растянулось на 60 слишкомъ лѣтъ, — то трудно будетъ сказать, сколько въ немъ кроется *Фаустовъ*: во всякомъ случаѣ не одинъ. Онъ былъ изданъ въ три приема: отрывокъ въ 1790 г., первая часть въ 1808 г., вторая часть послѣ смерти Гёте. Но и первая часть, взятая въ отдѣльности, заключаетъ въ себѣ нѣсколько стилей. Все произведеніе, какъ было замѣчено, совмѣщаетъ въ себѣ цѣлые ряды геологическихъ слоевъ, и порой эти слои перемежаны такъ, какъ это бываетъ при массовомъ обвалѣ утесовъ. Такимъ образомъ, предъ глазами обозрѣвателя это произведеніе распадается на фрагменты.

Поэтому и утверждаютъ, что, какъ художникъ, Гёте былъ экспериментаторъ. Его основное несчастье состояло въ томъ, что онъ не нашелъ въ прошломъ крупной литературной традиціи, которая могла бы подкрѣплять его и указывать ему дорогу, а хотѣлъ или долженъ былъ путемъ попытокъ создать современную нѣмецкую литературу. Вслѣдствіе этого онъ принималъ стимулы и впечатлѣнія отовсюду.

Прежде всего изъ Франціи, отъ французскихъ пьесъ восемнадцатаго вѣка въ александрійскихъ стихахъ, побудившихъ его написать *Капризъ влюбленнаго* и *Эрина и Эльмиру*, эти искусственные и галантные пасторали. Потомъ онъ подчинился вліянію Гердера, познакомился съ Шекспиромъ; былъ захваченъ чувствительностью Руссо и Оссіана и написалъ тогда *Вертера*, основаннаго на Руссо, и *Гёши*, являющагося отзвукомъ Шекспира. Затѣмъ онъ подчиняется псевдоклассицизму, подражаетъ греческой трагедіи въ *Ифигеніи*, придаетъ идилліи псевдогреческую величавость въ *Германъ и Доротея*, выступаетъ подражателемъ Катулла и Проперція въ *Римскихъ Элегіяхъ*, Марціала въ *Венеціанскихъ Эпиграмахъ*, возвращается къ Расину, переводитъ трагедію Вольтера. Подъ конецъ онъ испытываетъ на себѣ воздѣйствіе поэзіи Востока, воспроизводитъ Гафиза и Саади Давденъ спрашивалъ, какой у него стиль, и отвѣчалъ: не назвать ли намъ этотъ стиль французско-англійско-греческо-римско-персидско-нѣмецкимъ?

Между тѣмъ, Гёте нельзя ставить въ упрекъ, что «Фаустъ», этотъ трудъ всей его жизни, сложился изъ многихъ разнообразныхъ стилей. Я могу сказать про себя, что когда я впервые очутился на площади св. Марка въ Венеціи предъ древнимъ дворцомъ дожей, этимъ чудомъ искусства, въ мавританско-готическомъ стилѣ, опирающимся на рядъ низкихъ, греческихъ колоннъ, надъ которыми поднимаются стрѣльчатые арки, а затѣмъ, еще выше, массивная стѣпа изъ красныхъ и бѣлыхъ мраморныхъ

плоть, я могъ произнести одно только слово: Гёте. Меня поразило, сколько мировъ соединилось въ одно цѣлое въ этомъ послѣдовательномъ рядѣ стилей: античнаго, готическаго, восточнаго. И лицомъ къ лицу съ этой изумительной архитектурой я невольно вспомнилъ великаго генія, совершившаго нѣчто подобное въ сферѣ поэзіи, — генія, который, восторгаясь Страсбургскимъ соборомъ, создалъ готическую Гретхенъ, въ энтузіазмѣ къ античному міру воспроизвелъ гречанокъ Ифигенію и Эльпору, далѣе, создалъ образы итальянки Леоноры, голландки Клерхенъ, персіянки Зюлейки, и всѣ эти олицетворенія духа различныхъ странъ и временъ соединилъ какъ статуи вокругъ пьедестала къ памятнику своей жизни. Поэтому не имѣетъ большого вѣса упрекъ Гёте за то, что онъ не слѣдовалъ какому-нибудь сохраненному традиціей нѣмецкому стилю, а также и не выработалъ такового. Можно ли требовать, чтобы геній новаго времени, могущій искать себѣ пищу въ культурѣ всего земного шара, опирался лишь на національное преданіе, придерживался исключительно путей, пробитыхъ художниками національнаго прошлаго? А когда умъ такого склада фактически поставленъ въ такія условія, что всѣ историческія художественныя формы впервые лежатъ передъ нимъ, какъ раскрытая книга, то неужели же онъ тогда не въ правѣ отвоевать себѣ изъ нихъ то, что согласуется съ его натурой? Когда Гёте идетъ по стопамъ Буало (см. письма къ Корнелии), затѣмъ по стопамъ Гердера, а черезъ него слѣдуетъ за умами, предъ которыми тотъ преклонился, затѣмъ подражаетъ Эврипиду и Гафизу, то во всѣхъ этихъ маскировкахъ онъ постоянно остается самимъ собою — Гёте, пересоздающимъ въ качествѣ мастера то, что онъ усвоилъ себѣ, какъ ученикъ.

Старое, узкое понятіе о самостоятельности и оригинальности такъ неразумно! Еще во времена молодости Гёте подъ геніемъ подразумѣвали того, кто былъ причудливъ и страненъ, кто (мнимо и лишь по видимости) никому и ничѣмъ не былъ обязанъ. Такого рода оригинальность имѣетъ въ виду Гёте, когда заставляетъ Мефистофеля напутствовать кичащагося своей самостоятельностью студента язвительной репликой, которая начинается словами: *Original! Fahr hin in deiner Pracht*¹⁾! Если бы оригинальность приобрѣталась такъ легко, то тотъ былъ бы геніемъ, кто совершалъ бы наиболѣе нелѣпыя поступки.

Художникъ, какъ принято говорить, слѣдуетъ своему вѣрному инстинкту и не бываетъ экспериментаторомъ. Ни одинъ художникъ не обладалъ инстинктомъ въ большей степени, чѣмъ Гёте. Тѣмъ не менѣе, онъ постоянно дѣлалъ попытки на своемъ жизненномъ пути. И почему же художникъ не долженъ экспериментировать? Послѣдніе пять вѣковъ не знали болѣе великаго художника, чѣмъ Леонардо да Винчи, а никто

¹⁾ Чудакъ напыщенный, иди! (Перев. Голованова).

не экспериментировалъ такъ, какъ онъ. Поразительною многосторонностью своего ума онъ можетъ напомнить намъ Гёте, онъ даже превосходить его своей ненюгрѣшительностью, а между тѣмъ онъ постоянно дѣлалъ художественныя и техническія попытки, гениальныя, научныя догадки, почти всегда даже не обнаруживая ихъ.

Болѣе вѣской, болѣе интересной во всякомъ случаѣ представляется жалоба на недостатокъ единства въ крупныхъ сочиненіяхъ Гёте, на двойственный составъ, разнообразныя слои, изъ которыхъ они состоятъ. Чтобъ хорошенько понять, къ чему сводится это обвиненіе, мы бросимъ взглядъ на первую часть *Фауста*, за предѣлами Германіи считающуюся обыкновенно простымъ, цѣльнымъ произведеніемъ молодости Гёте въ противоположность второй части, какъ неудобопонятному продукту его творчества въ старости.

Прологъ на небесахъ открывается тремя архангелами, съ величественнымъ пафосомъ изображающими путь солнца, великолѣпіе земного шара и жизнь стихій на землѣ. Нѣтъ болѣе прекраснаго, болѣе роскошнаго гимна, чѣмъ тотъ, который кончается ихъ трехголосною пѣсней. Языкъ поэта обладаетъ здѣсь полнотой органныхъ звуковъ. Затѣмъ слѣдуетъ юмористическій діалогъ между Богомъ и Мефистофелемъ, являющийся подражаніемъ разговору, которымъ открывается вторая глава въ книгѣ Іова.

Если мы перевернемъ теперь страницу и остановимся на знаменитомъ началѣ драмы: *Habe nun, ach, Philosophie*, то встрѣтимъ совершенно иной тонъ. Сознательно и намѣренно ли возникло это различіе въ стилѣ? И да, и нѣтъ, всего скорѣе оно объясняется тѣмъ, что прологъ написанъ спустя цѣлыхъ 23 года послѣ этой первой сцены, къ которой онъ служить вступленіемъ. Прологъ относится къ 1797 г., первая сцена къ 1774 г. За годъ передъ тѣмъ на Гете произвели глубокое впечатлѣніе коротенькіе, веселые, старомодные стихи Ганса Сакса (*Knittelverse*), и онъ перешелъ въ его тонъ и стиль, чтобы воссоздать сцену, открывавшую кукольную комедію о Фаустѣ, съ которой онъ познакомился еще въ дѣтствѣ.

Или возьмите второй разговоръ Мефистофеля съ Фаустомъ. Онъ принадлежитъ къ многочисленнымъ мѣстамъ, отсутствующимъ въ первоначальной поэмѣ о Фаустѣ, какъ Гете набросалъ ее, когда ему было около 25 лѣтъ. Краткая заключительная часть этого разговора, которая начинается словами:

Und was der ganzen Menschheit zugeheilt ist

и по окончаніи которой является молодой ученикъ, была, какъ извѣстно, напечатана въ 1790 г., когда Гёте шелъ 41 годъ, но первая, гораздо болѣе длинная половина сцены вышла въ свѣтъ лишь восемнадцать лѣтъ спустя, въ 1808 г., когда Гёте шелъ 60 годъ.

Возьмите эти, соединенныя рѣмами, четыре строки:

Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist,
Soll keinen Schmerzen künft'ig sich verschliessen,
Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ist
Will ich in meinem innern Selbst geniessen.

(Отъ жажды знанія свободною душою
Хочу земныя всѣ мученія познать;
Хочу извѣдать все, со всею полнотою,
Что смертному возможно испытать.)

Перев. Голованова.)

Здѣсь двѣ послѣднія строки были написаны по меньшей мѣрѣ 18-ю, а по всей вѣроятности, 34-мя годами раньше двухъ другихъ, съ которыми онѣ рѣмуютъ.

Въ результатѣ оказывается, что, какъ ни тщательно уничтожена разграничительная линія, все же до нея и послѣ нея рѣчь идетъ далеко не объ одномъ и томъ же. Нужно было найти начало для предложенія со строками, оканчивающимися рѣмами *zugetheilt ist* и *geniessen*, и это, несомнѣнно, удалось вполне. Кромѣ того, оба предложенія, повидимому, превосходно согласуются между собой; въ первыхъ двухъ строкахъ говорится о скорби, въ двухъ послѣднихъ о радости. Но если мы присмотримся внимательнѣе, то увидимъ, что соответствія нѣтъ.

«Моя грудь, излѣчившаяся отъ стремленія къ знанію, не будетъ впредь закрываться ни передъ какими муками» — такъ гласитъ прибавленное начало; но заключеніе уже заранѣе говорило гораздо больше: «Тѣмъ, что составляетъ удѣлъ всего человѣчества, я хочу насладиться въ своей душѣ.» — Это, вѣдь, уже обнимаетъ и доброе и злое, какъ радости, такъ и муки. И если бы еще отсюда проистекало одно лишь это незначительное, формальное противорѣчіе! Но нѣтъ! добавленіемъ вызвано новое, болѣе серьезное затрудненіе. Согласно уговору въ прологѣ, Фаустъ долженъ былъ достаться Мефистофелю, еслибъ искусителю удалось заставить этотъ умъ пресмыкаться въ прахъ, заставить его уклониться отъ своего первоисточника, отъ того праваго пути, который всегда сознается добрымъ человѣкомъ, несмотря на смутность его стремленій. Здѣсь же сдѣлка съ Мефистофелемъ формулирована такимъ образомъ, что Фаустъ долженъ ему достаться въ томъ случаѣ, если когда нибудь успокоится, объявить себя удовлетвореннымъ тѣмъ, чего достигъ — иными словами, оплошѣетъ, составится въ болѣе глубокомъ смыслѣ. И самъ Фаустъ заходитъ въ своемъ закладѣ такъ далеко, доводитъ дѣло до такой крайности, что готовъ считать себя погибшимъ, если хоть единственный разъ въ своемъ наслажденіи жизнью скажетъ мгновенно: остановись! Такимъ образомъ преступленіе изъ области нравственной перенесено здѣсь въ область интеллектуальную. Кромѣ того, Фаустъ является здѣсь двойственнымъ: этому послѣднему Фаусту претитъ всякое знаніе, онъ исцѣлился отъ своей жажды мудрости, въ возможность которой онъ больше не вѣритъ, и домогается теперь лишь удовлетво-

ренія чувственной страстности; первоначальный Фаустъ стремился, наоборотъ, постигнуть самую сущность вселенной и такъ расширить свой способъ мышления и чувствованія, чтобъ пережить всё мысли человѣчества и перечувствовать всё его чувства.

Первоначальный Фаустъ не желалъ себѣ возврата молодости; 25-лѣтній поэтъ не могъ еще связывать живого представленія съ потребностью вновь сдѣлаться молодымъ. Сцена въ кухнѣ вѣдьмъ, гдѣ Фаусту возвращается юность, принадлежит, слѣдовательно, къ позднѣйшимъ мѣстамъ первой части; Гёте написалъ ее въ Италиі, въ 1788 г., очевидно подъ впечатлѣніемъ обновленія всего своего существа, какъ человѣка и художника, выпавшаго ему на долю подъ солнцемъ юга на 40 году его жизни.

Само собою разумѣется, что эта способность Фауста къ самообновленію должна пониматься символически, какъ способность къ самообновленію гения. «Такіе (выдающіеся) люди, говорилъ Гёте Экерману (11-го марта 1818 г.) — гениальныя натуры. . они по нѣскольку разъ переживаютъ возмужалость; поэтому-то у исключительно даровитыхъ людей мы даже въ ихъ старости наблюдаемъ свѣжіе, особенно плодотворныя періоды. У нихъ какъ будто наступаетъ временный возвратъ молодости»...

Тѣмъ не менѣе, возвратъ молодости лежалъ внѣ рамокъ первоначальнаго плана.

Если мы перейдемъ къ великолѣпной сценѣ *Льса и пещера*, въ началѣ которой Фаустъ возноситъ благодарность міровому духу за то, что онъ далъ ему все, о чемъ онъ его просилъ, то увидимъ, что монологъ выражаетъ здѣсь спокойную мощь властелина, душевный миръ, широкую радость жизни, величественный культъ природы. Поэтому читатель недоумѣваетъ, слыша, какъ въ заключеніи той же сцены Фаустъ въ отчаяніи зоветъ себя бѣглецомъ, бездомнымъ скитальцемъ, чудовищемъ, не знающимъ ни отдыха, ни покоя, ни цѣли—онъ, только что благодарившій духа за то, что онъ всю землю далъ ему въ царство, далъ ему силу всецѣло воспринимать ее и наслаждаться ею во всей полнотѣ.

Заключеніе сцены принадлежитъ къ старѣйшему наброску 1774 года, когда Гёте въ демонической тревогѣ своей юности, послѣ разрыва съ Фридерикой, послѣ бѣгства отъ Шарлотты, послѣ разстройства своихъ отношеній къ Лили, видя, что онъ ни у одной женщины не можетъ найти себѣ успокоенія, терзаемый тоской, которую испытывалъ самъ, и еще болѣе тоской, которую вызвалъ у другихъ, въ равной мѣрѣ не удовлетворенный въ своей жадѣ знанія, обнимающаго всю вселенную, и въ своемъ стремленіи къ богоподобной силѣ творчества, чувствовалъ себя бездомнымъ скитальцемъ, гонимымъ фуриями несчастливцемъ,—тогда какъ начало сцены сочинено цѣлыми четырнадцатью годами позднѣе въ Италиі, въ чудномъ саду виллы Боргезе, когда Гете, въ моментъ исполненія такъ страстно желаемого имъ желанія видѣть красоты юга и чуда искусства,

впервые въ своей жизни почувствовалъ себя совершенно счастливымъ и былъ исполненъ такого ощущенія, какъ будто духи даровали ему теперь все.

Болѣе глубокаго душевнаго противорѣчія здѣсь, безъ сомнѣнія, нѣтъ. Какъ оба выраженные настроенія возникли въ душѣ Гёте, такъ они соединяются и у Фауста. По основному взгляду Гёте, однимъ изъ самыхъ глубокихъ признаковъ генія служить именно то, что онъ *отчаивается*, т.-е. разъ навсегда перестаетъ надѣяться или ожидать внѣшнихъ благъ, а закладъ Фауста съ Мефистофелемъ только потому, вѣдь, и могъ состояться, что онъ сознаетъ себя существомъ «безъ отдыха и покоя». Но нельзя отрицать, что различные періоды времени, въ которые создались элементы этой сцены, образовали здѣсь рѣзкій скачокъ изъ одной крайности въ другую.

Стиль этого большого монолога возвышенъ, мелодиченъ и мужественъ. Ямбы отличаются такой красотой и выдержаны съ такой виртуозностью, какихъ Гёте достигъ лишь передѣлавъ свою *Ифигеню* и давъ ей новую стихотворную форму. Ничего другого, подобнаго этому, нѣтъ въ первой части *Фауста*. Прелестное впечатлѣніе производитъ здѣсь тихая кротость, съ которой животныя, населяющія сушу, воздухъ и воду, называются братьями человѣка, въ томъ же родѣ, какъ обращался къ нимъ св. Францискъ Ассизскій; затѣмъ рисуется природа въ смятеніи, буря, ломающая сосны, такъ что слышенъ ея ревъ и паденіе деревьевъ; наконецъ изображается лунное сіяніе и серебристо-бѣлые образы мнущаго, всплывающіе въ душѣ мечтателя при этомъ мягкомъ свѣтѣ.

Между простымъ, наивнымъ стилемъ предыдущаго, рѣшающаго, эротическаго явленія и высотой лирическаго краснорѣчія, на которую поднялся здѣсь поэтъ, разстояніе не малое; но еще большее чувствуется различіе, если читатель перейдетъ отсюда къ предпоследней сценѣ первой части съ заголовкомъ *Пасмурный день* и пробѣжитъ взоромъ разговоръ между Фаустомъ и Мефистофелемъ. Получится такое впечатлѣніе, точно изъ возвышенной художественной области вы спустились въ другую, настолько болѣе низменную, что въ ней дышится далеко уже не такъ свободно. Здѣсь впервые въ этомъ произведеніи разговоръ въ прозѣ, и въ какой прозѣ! Натуралистической, въ духѣ того натурализма, какой господствовалъ въ Германіи 1773 г.: судорожная страстность, дикіе взрывы чувства, необузданная высокопарность, которую въ то время принимали за шекспировское свойство. Восклицапія безъ конца, повторенія, проклятія, гиперболы! Здѣсь скалятъ прожорливые зубы. Здѣсь съ фырканьемъ выкатываютъ изъ орбитъ дьявольскіе глаза. Здѣсь мы видимъ совершенно иного дьявола, совсѣмъ не того, который въ кухнѣ вѣдьмъ былъ кавалеромъ.

Но кухня вѣдьмъ была вѣдь написана въ Римѣ, откуда діаволъ казался сѣвернымъ призракомъ, къ которому нельзя было относиться серьезно, между тѣмъ, какъ здѣсь мы стоимъ передъ сценой еще болѣе ранняго происхожденія, нежели большой отрывокъ изъ трагедіи, называемый обыкновенно *Первоначальнымъ Фаустомъ* (*Urfaust*). Эта сцена написана самымъ старымъ изъ гётевскихъ стилей, заключающихся въ *Фаустъ*. Этотъ стиль: «Спаси ее или — горе тебѣ! Тягчайшее проклятіе на голову твою на тысячи лѣтъ!» (Холодковскій) — стиль перваго наброска Гёте къ *Гёму*, забавной *Исторіи Готфрида фонъ Берлихингенъ*, — стиль, которому Шиллеръ подражалъ впоследствии въ *Разбойникахъ*. Этотъ стиль, лишь скрѣпя сердце, говоритъ о столѣтіяхъ, никогда не говоритъ о десятилѣтіяхъ; ему нужны тысячи лѣтъ. Такъ, Францъ, когда Адельгейда предъ наступленіемъ утренней зари прогоняетъ его, говоритъ ей: «Неужели я долженъ уйти? О, это превосходить всѣ наказанья ада, если намъ дано насладиться небеснымъ блаженствомъ лишь одинъ краткій мигъ. Тысячи лѣтъ составляютъ лишь половину ночи. Какъ ненавижу я день! О, если бъ мы покоились въ первоначальномъ мракѣ, когда свѣтъ дневной еще не родился! Тогда твоя грудь была бы однимъ изъ вѣчныхъ боговъ, который въ согрѣвающей теплотѣ любви обиталъ бы въ самомъ себѣ и въ одной точкѣ порождалъ бы зачатки тысячи міровъ и чувствовалъ бы блаженство тысячи міровъ въ одной точкѣ!» Такъ писалъ Гёте въ 22 года; но еще три года спустя, въ *Клавно* онъ вкладываетъ въ уста Бомарше, говорящаго о вѣроломномъ женихѣ своей сестры, слѣдующую канибальскую вспышку: «Мои зубы алчутъ его мяса, мое небо жаждетъ его крови!» Больше того: въ самомъ первомъ изданіи есть продолженіе: «О, если бъ только онъ былъ по ту сторону моря! Я поймалъ бы его живымъ, привязалъ бы его къ столбу и сталъ бы по кускамъ рѣзать его члены, сталъ бы жарить ихъ у него на глазахъ, лакомиться ими и угощать ими васъ, женщинъ». До самаго этого стиля можемъ мы такимъ образомъ прослѣдить стиль въ *Фаустъ*, въ томъ видѣ, въ какомъ мы еще имѣемъ это произведеніе, въ одной изъ сценъ, не устранившихся авторомъ при позднѣйшей переработкѣ.

Вильгельмъ Шереръ, на основаніи этого мѣста, дѣлалъ выводъ, что вся драма была первоначально написана обыкновенной прозой и лишь впоследствии была переложена въ ритмическую прозу, а затѣмъ въ стихи. Онъ основывался на методѣ, который употребилъ поэтъ во многихъ изъ произведеній молодости. Но когда въ 1887 г. Эрихъ Шмидтъ въ бумагахъ веймарской придворной дамы, фрейлейнъ фонъ Гехгаузенъ, въ томѣ *in-quarto*, заключавшемъ въ себѣ много разнообразныхъ вещей, нашелъ копію большого отрывка изъ *Фауста*, который Гёте привезъ съ собою въ Веймаръ и тамъ читалъ вслухъ въ придворныхъ и дружескихъ кружкахъ, то оказалось, что догадка Шерера шла слишкомъ далеко. Здѣсь боль-

шинство мѣсть, сохранившихъ стихотворную форму, было уже написано въ стихахъ, и версификація обнаруживала такое единство формы и матеріала, что трудно было допустить, чтобъ они изъ одной формы были переложены въ другую. Однакожь, кромѣ этой сцены здѣсь были изложены прозой еще двѣ, дошедшія до насъ въ стихахъ, а именно—погребъ Ауэрбаха и сцена въ тюрьмѣ, такъ что Шереръ, хотя съ извѣстными ограниченіями, былъ все-таки правъ.

Выпуская въ свѣтъ въ 1790 г. свой отрывокъ, Гёте кончилъ его сценой въ соборѣ; сцена *Пасмурный день* совсѣмъ не была включена. Очевидно онъ не считалъ ее достойной появиться въ печати въ той формѣ, въ какой она тогда находилась. Но когда послѣ смерти Шиллера онъ издалъ въ 1808 г. всю первую часть, дополнивъ ее съ большимъ усердіемъ и стараніемъ, то, дойдя до этой старой сцены, онъ, очевидно, почувствовалъ, что глина засохла; онъ не могъ уже переформовать ее; быть-можетъ, также онъ усомнился въ возможности вновь попасть въ настоящій тонъ и оставилъ ее, какъ она была, какъ ни рѣзко она отдѣляется отъ слѣдующей за ней переработанной сцены въ тюрьмѣ.

Мы видѣли теперь, изъ какихъ неоднородныхъ и различныхъ по стилю элементовъ состоитъ первая часть *Фауста*. Ясно, что тѣ 35 лѣтъ, въ теченіе которыхъ Гёте оставилъ ее неоконченной, повредили ея единству, а люди нетерпѣливые говорятъ: Но почему же, почему Гёте не кончилъ сразу это свое произведеніе, почему онъ не кончилъ сразу всѣ свои произведенія вообще? Вѣдь они выиграли бы отъ этого. Почему былъ онъ такъ разсѣянъ или такъ неэнергиченъ?

Имъ хорошо говорить! Самая многосторонность натуры Гёте, самое богатство его дарованій, самая острота его критическаго чутія задерживали его.

Гёте, вѣдь, никогда не считалъ себя только поэтомъ. Всю свою жизнь онъ имѣлъ такое сильное влеченіе къ образовательнымъ искусствамъ, что употребилъ много лѣтъ на то, чтобъ развить свои способности къ нимъ; правда, онъ никогда не могъ сдѣлаться болѣе, чѣмъ дилетантомъ, но онъ не въ силахъ былъ остановиться, пока не увидалъ, до какой точки онъ могъ дойти.

Затѣмъ, Гёте былъ человѣкъ пракческаго склада. Когда онъ вступилъ въ государственный совѣтъ въ Веймарѣ, онъ сдѣлался министромъ и тѣломъ и душой; вся администрація интересовала его, онъ принималъ участіе во всемъ и, при патриархальности правленія въ этой маленькой странѣ, считалъ себя обязаннымъ, въ силу юношескихъ взглядовъ, присутствовать при всякомъ пожарѣ въ окрестностяхъ Веймара и самъ руководилъ тушеніемъ огня, подобно тому, какъ завѣдывалъ призывомъ рекрутовъ и, что ближе его касалось, театромъ.

Наконецъ, Гёте былъ человѣкъ съ крупными научными способностями, былъ изслѣдователь и прозорливецъ. Его чутье природы было столь же изумительно, какъ его пониманіе искусства и его практическій смыслъ. Съ самой ранней его юности это чутье природы влекло его къ попыткамъ, имѣвшимъ цѣлью проникнуть въ сущность вселенной. Поэтому студентомъ онъ изучалъ химію; поэтому позднѣе онъ съ упоевіемъ и съ солидной пользой углублялся въ Спинозу, и взглядъ его на единство въ мірозданіи повелъ его, какъ извѣстно, къ его составившимъ эпоху открытіямъ въ области ботаники и остеологіи.

Онъ былъ слишкомъ разносторонне одаренъ, чтобы, набросавъ обширное произведеніе, засѣсть за него, какъ присяжный поэтъ. У кого мало идей, тому гораздо легче не упускать изъ виду какой-нибудь одной идеи, пока онъ не осуществитъ ея.

Прибавьте къ этому сознаніе Гёте въ несовершенствѣ имъ созданнаго; онъ ждалъ болѣе богатаго развитія, новаго взгляда на вещь, чтобы довести ее до конца. И у него не было нетерпѣливаго желанія видѣть написанное въ печати; наоборотъ, его равнодушіе къ этому постоянно возрастало. Онъ былъ заранѣе убѣжденъ въ непониманіи публики и въ недостаткѣ у нея сочувствія. За всю свою жизнь онъ только три раза увлекъ публику за собой. Во-первыхъ, когда написалъ *Гецца*, затѣмъ, вскорѣ послѣ того, когда напечаталъ *Вертера*, наконецъ, когда вышли въ свѣтъ *Германъ и Доротея*; но между *Вертеромъ* и *Германомъ и Доротеей* былъ промежутокъ въ 23 года. Во всѣхъ другихъ случаяхъ онъ испытывалъ только разочарованія. Когда же въ 1790 г. появился отрывокъ изъ *Фауста* и принесть съ собой всѣ эти дивныя красоты, вотъ уже болѣе столѣтія составляющія наисовершеннѣйшую поэзію Германіи и принадлежащая къ наиболѣе совершенной поэзіи земного шара, то приемъ ему былъ сдѣланъ ледяной, сочувствія не было ни тѣни. Даже лучшіе изъ самыхъ отзывчивыхъ впоследствии критиковъ Гёте безмолвствовали. Изъ кружка Шиллера раздавались насмѣшки, Гретхенъ идиотически называли «гусыней»; Кернеръ, ближайшіе родственники Шиллера сѣтовали на тонъ «уличныхъ пѣсень»; старикъ Клопштокъ писалъ нелѣпыя эпиграммы. Не удивительно, что Гёте отложилъ отрывокъ и лишь впоследствии, осаждаемый настойчивыми просьбами Шиллера, вновь принялся за него и наконецъ лишь тогда его закончилъ—какъ онъ обыкновенно только и заканчивалъ что либо—когда нужно было дать ему мѣсто въ новомъ собраніи его сочиненій.

Исторія возникновенія *Фауста* слѣдующая: ребенкомъ Гёте познакомился со сказаніемъ о Фаустѣ сначала въ драматической обработкѣ, въ кукольной комедіи, затѣмъ въ формѣ нравоучительнаго разсказа, въ народной книгѣ, исторіи ученаго искателя приключеній, человѣка съ дикими вождѣльніями, получившаго отъ нечистаго духа исполненіе своихъ сверх-

человѣческихъ желаній и пошавшаго за это въ адъ. Рядомъ съ Фаустомъ стоитъ здѣсь Мефистофель; его фамулусъ—Вагнеръ. Онъ совершаетъ немало чудесъ, въ томъ числѣ чудо въ погребѣ Ауэрбаха (которое въ старѣйшемъ наброскѣ Гёте точно такъ же совершаетъ не Мефистофель, а Фаустъ).

Сюжетъ народнаго сказанія былъ почерпнутъ изъ *Dr. Faustus* Марло, котораго Гёте такимъ образомъ зналъ лишь косвенно. Это гениальное и наивное произведение. Когда оно, впервые со времени царствованія Елисаветы, было въ тщательной инсценировкѣ поставлено въ Лондонѣ въ 1896 г., то произвело на зрителей впечатлѣнiе не столько драмы эпохи Ренессанса, сколько, пожалуй, средневѣковой мистерiи. Лессингъ первый изъ нѣмцевъ носился съ мыслью о драмѣ на тему Фауста. Онъ набросалъ планъ, выполнилъ, можетъ быть, главнѣйшую часть работы, но она затерялась, до насъ дошла только одна сцена. Въ числѣ страстей Фауста уже Марло подчеркивалъ жажду знанія; у Лессинга она сдѣлалась его основнымъ импульсомъ.

Въ Лейпцигѣ Гёте молодымъ студентомъ видѣлъ погребъ Ауэрбаха съ живописью, изображающей свѣтаніа и приключенія Фауста и Мефистофеля. Въ Франкфуртѣ, гдѣ онъ колебался въ выборѣ между pietизмомъ подъ вліяніемъ дѣвицы фонъ-Блеттенбергъ и невѣріемъ эпохи просвѣщенія подъ воздѣйствіемъ Вольтера, онъ углубился въ алхимию и кабалистику, пробовалъ, слѣдовательно, самъ заняться магіей. Но рѣшающее значеніе имѣло для него пребываніе въ Страсбургѣ. Здѣсь больной Гердеръ, съ которымъ онъ познакомился и который произвелъ на него подавляющее дѣйствіе своимъ умомъ, далъ ему нѣкоторыя основныя черты Фауста; изъ всѣхъ людей, которыхъ онъ зналъ, никто не работалъ такъ пытливо мыслью, какъ Гердеръ, никто не былъ такимъ гениемъ, какъ онъ, никто не утопалъ до такой степени въ чувствѣ собственнаго достоинства. Но, кромѣ того, своей постоянной сатирой, своими рѣзкими сарказмами Гердеръ далъ ему основныя черты Мефистофеля, дополненныя впоследствии впечатлѣніями отъ Мерка. Фридерика дала ему основныя черты Гретхенъ, названной именовъ мѣшаночки, которую онъ любилъ пятнадцатилѣтнимъ мальчикомъ во Франкфуртѣ. Вѣроятно, онъ, кромѣ того, видѣлъ во Франкфуртѣ народную пьесу *Faust*. Съ той поры идея Фауста не покидала его всю жизнь.

У него было много другихъ плановъ: Цезарь, Геццъ, Магомъ, Прометей, Вертеръ, Вѣчный жидъ; всѣ эти главные персонажи образуютъ кругъ, въ центрѣ котораго стоитъ образъ Фауста. Въ концѣ 1773 г., слѣдовательно 24 лѣтъ, Гёте сосредоточивается на *Faust*. Съ октября 1774 г. и до начала 1775 г. онъ написалъ наибольшую часть такъ называемаго *Urfaust*, осенью 1775 г. остальную часть. Въ молодомъ Гёте было два основныхъ стремленія: потребность понимать и потребность творить. Онъ

домогался знанія и творческой силы. Поэтому однимъ изъ его героевъ является Прометей: онъ хочетъ умѣть создавать людей, какъ создаютъ ихъ боги. Поэтому другимъ его героемъ является Фаустъ: онъ хочетъ понять вселенную, какъ боги понимаютъ ее. Не объемъ, а способъ знанія боговъ хочетъ онъ усвоить себѣ; въ этомъ контрастъ между нимъ и Вагнеромъ, жалкимъ педантомъ, хотящимъ знать все больше и больше. До такой степени Гёте самъ чувствуетъ одинаково съ Фаустомъ, что во всемъ первоначальномъ Фаустѣ едва ли найдется хоть одинъ оборотъ рѣчи, который не имѣлъ бы себѣ параллельнаго мѣста въ письмахъ и стихотвореніяхъ Гёте отъ того же времени.

Въ своемъ идеальномъ стремленіи понять мірозданіе молодой Гёте ощущаетъ двоякаго рода препону. Онъ только индивидуумъ, онъ видитъ вещи не такъ, какъ онѣ есть, а какъ онѣ отражаются въ немъ, понимаетъ лишь того духа, на котораго походить, а не духа земли. Затѣмъ, какъ человѣкъ, онъ не можетъ приблизиться къ самой идеѣ жизни, потому что владѣетъ для этого лишь недостаточнымъ средствомъ: словомъ. Вагнеръ удовлетворенъ, когда можетъ пускать въ оборотъ фразы; Мефистофель совѣтуетъ ученику довольствоваться громкими словами. Поэтически-философская точка зрѣнія, презирающая слова, нашла себѣ наивысшее выраженіе въ той сценѣ, гдѣ Гретхенъ спрашиваетъ Фауста объ его вѣрѣ и гдѣ онъ говоритъ совсѣмъ какъ Гёте, когда тотъ въ апрѣлѣ 1774 г. далъ отпоръ другу Лафатера, Пфеннигеру, требовавшему отъ него отчета въ его отношеніи къ религіи (*Name ist Schal und Rauch*. — А имя только дымъ и звукъ). Но уже въ первомъ монологѣ Фауста онъ высказываетъ свое пренебреженіе къ наукѣ, которая только роется въ словахъ и не имѣетъ дара созерцать. Онъ не въ мертвыхъ словахъ, а въ созерцаніи хочетъ усвоить себѣ вселенную (*Schau' alle Wirkungskraft und Samen, und thu nicht mehr in Worten kramen*). Чтобы сѣмя грани міровой и силы творческія въ немъ постигнуть сердцемъ и душой, а не въ созвучіи словъ пустомъ.—Головановъ). Когда онъ предается магіи, это служитъ символомъ того, что, неудовлетворенный исполненнымъ пробѣловъ научнымъ знаніемъ, онъ хочетъ достигнуть геніальнаго ясновидѣнія. Гёте, какъ извѣстно, сохранилъ до самой своей смерти предубѣжденіе противъ подвигающейся ощупью опытной науки. Изъ-за того, что порой онъ однимъ своимъ геніальнымъ взоромъ проникалъ въ сущность природы, онъ отказывался допустить, что Ньютонъ со своими вычисленіями доходилъ до болѣе далекихъ предѣловъ, чѣмъ онъ. Однако мало-по-малу Гёте, какъ естествоиспытатель, научился, преодолевая самого себя, довольствоваться единичнымъ и радоваться ему, видѣть цѣлое въ самомъ мелкомъ. Единичный случай онъ понималъ символически, универсально. И эту пріобрѣтенную побѣдой надъ самимъ собой особенность, основанную на

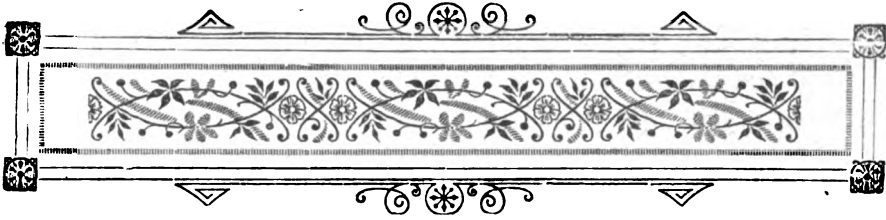
сочетанія генія и покорности, онъ тоже вложилъ въ своего *Фауста* при дальнѣйшей разработкѣ драмы.

Всѣ побужденія, волновавшія Гёте на пространствѣ его долгой жизни, всѣ они такимъ образомъ находятъ свое выраженіе здѣсь, и проявляются, чередуясь и совмѣщаясь: возжеланіе юноши, мечты влюбленнаго, стремленіе поэта къ творчеству, стремленіе изслѣдователя къ знанію, изолированность генія, житейскій опытъ зрѣлаго мужа,—все содѣйствовало созданію этого произведенія. Всюду въ немъ достигнуто вѣчное.

Такъ что же въ томъ, что первая часть *Фауста* не однородное произведеніе съ цѣльной гармоніей, когда оно такъ богато самостоятельными гармоніями, сливающимися безъ диссонанса? У нихъ у всѣхъ есть доминанта въ порываніи Фауста къ безконечному въ области знанія, наслажденія и могущества.

Чѣмъ болѣе развитъ читатель, тѣмъ менѣе будетъ онъ оскорбляться неоднородностью отдѣльныхъ мѣстъ, а неразвитой читатель, разъ навсегда привыкшій никогда не понимать вполне, вотъ уже цѣлое столѣтіе не успѣлъ даже открыть неоднородности и вовсе ея не чувствуетъ. Онъ удовлетворенъ множествомъ мыслей, которыя это произведеніе приводитъ у него въ движеніе, множествомъ лучшихъ чувствъ, которыя оно вызываетъ у него къ жизни,—и онъ правъ.





Изъ Виктора Гюго.

I.

Изрубленная змѣя.

Весь день терзаюсь я и въ сумракѣ ночномъ
Рыдаю на постели,
Съ тѣхъ поръ какъ Альбайдѣ сомкнула вѣчнымъ сномъ
Свой нѣжный взоръ газели.

Она въ пятнадцать лѣтъ сердечный свой порывъ
Съ улыбкой мнѣ дарила
И, руки на нагой груди своей сложивъ,
На пери походила.

У волнъ залива шель однажды я въ тоскѣ
И вдругъ передъ собою
Зеленую змѣю увидѣлъ на пескѣ
Съ пятнистой чешуею.

Топоръ ее разсѣкъ на множество частей
И на обрубки тѣла,
Шумя, неслась волна и пѣною своей
Отъ крови розовѣла.

Суставы корчились, тянулись и ползли
Въ пустынь той безлюдной,

И кровью алою забрызганъ у змѣи
 Быль гребень изумрудный.

И раздѣленные куски безъ силъ почти,
 Въ послѣднемъ содроганьи,
Другъ друга, трепеща, стремилися найти,
 Какъ губы для лобзанья.

Объятый жалостью, стоялъ я, онѣмѣвъ,
 Душа моя страдала,—
И голова змѣи тогда стозубый зѣвъ
 Раскрыла и сказала:

„Плачь о себѣ, поэтъ! ударъ жесточе твой
 И боль твоя тяжелѣ;
Затѣмъ, что Альбайдѣ сомкнула подъ землей
 Свой нѣжный взоръ газели.

„Твои мечты сразилъ безжалостный топоръ—
 И всѣ твои стремленья
Вкругъ памяти одной собрали съ этихъ поръ
 Разрубленные звенья.

„Какъ ласточка, свершала широкой свой полетъ
 Твой лучезарный геній,
То по землѣ скользя, то мчалъ въ лазурь высоту
 На крыльяхъ вдохновеній.

„Теперь томится онъ, какъ я, у мутныхъ водъ,
 Разъятый по суставамъ;
Обезображенный, онъ близкой смерти ждетъ
 Въ мученіи кровавомъ“.

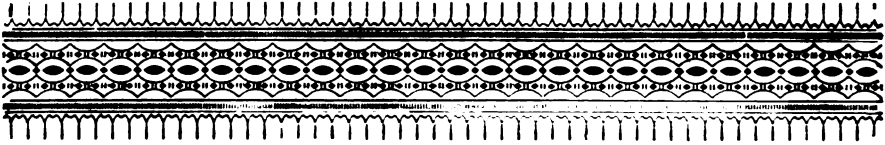
С. Головачевскій.

II.

Когда я былъ еще во цвѣтѣ юныхъ лѣтъ
И выбиралъ себѣ опасный путь побѣдъ,
Арену темную, гдѣ славныхъ жертвъ такъ много,
Сказала Муза мнѣ таинственно и строго:
Уходишь ты; но Сидъ, вступая въ смѣлый бой
За Бога и за честь Испаніи родной,
Доспѣхами блисталъ и, полный весь отваги,
Съ собой взялъ два щита, два шлема и двѣ шпаги;
Для битвы запасясь оружіемъ двойнымъ,
Онъ обнажалъ свой мечъ, какъ Божій серафимъ.
Есть при тебѣ кинжалъ? въ какомъ вооруженьѣ,
О воинъ-мученикъ, ты выступишь въ сраженье?
Какой ты мечъ возьмешь?—О муза! ни одинъ
Оружіемъ такимъ не бился паладинъ:
То ненависть ко злу и къ истинѣ стремленье.
А два щита твоихъ?—То гордость и презрѣнье.

С. Головачевскій.





Историческое значеніе поэзіи гр. А. К. Толстого.

I.

Наша критика въ большомъ долгу передъ Алексѣемъ Толстымъ.

Со дня его смерти времени прошло не мало, и поэзія его не перестаетъ намъ нравиться. На литературныхъ вечерахъ стихи Толстого—всегда желанная приманка; ихъ декламируютъ и часто ноютъ подъ музыку; его Трилогія взошла наконецъ полностью на подмостки, не только пересозданная артистами, но и сама создавая ихъ. Проникла его поэзія и въ начальную и въ среднюю школу и получила такимъ образомъ возможность вліять непосредственно на выработку нашего эстетическаго вкуса... Тайное желаніе поэта исполнено: нѣтъ среди насъ ни одного грамотнаго человѣка, которому бы нашъ писатель не помогъ при случаѣ искренно и картинно выразить ту или иную мысль, то или другое чувство—и все это, несмотря на бѣгъ времени, на быструю смѣну литературныхъ вкусовъ, въ общемъ неблагоприятныхъ для поэзіи Толстого.

Но если за поэзіей Толстого, дѣйствительно, осталась любовь читателя, то нельзя сказать, что критика отнеслась къ ней съ должной справедливостью. Имя поэта до сихъ поръ остается незанесеннымъ въ исторію нашей жизни. Историческая оцѣнка личности художника пока еще не сдѣлана, и мы, наслаждаясь его стихами, начинаемъ забывать о немъ самомъ, объ этомъ типичномъ и богато одаренномъ человѣкѣ, который былъ свидѣтелемъ и участникомъ одного изъ самыхъ замѣчательныхъ моментовъ нашей народной жизни. Поэзія Толстого стала для насъ теперь также предметомъ лишь эстетическаго любопытства, тогда какъ, не такъ давно, она была интересна именно какъ проявленіе цѣлаго міросозерцанія оригинальнаго и полнаго.

Такое невниманіе къ писателю, какъ къ человѣку, и къ его созданію, какъ къ чему-то стройному, цѣлому, исторически сложившемуся и

имѣющему, въ свою очередь, историческую стоимость, является тѣмъ большей несправедливостью въ отношеніи къ Алексѣю Толстому, что все, что о немъ было писано, было—за рѣдкимъ исключеніемъ—писано людьми, которые съ нимъ спорили и которые поэтому правый судъ неизбѣжно должны были замѣнять полемикой—можетъ-быть очень искренней и честной, но всегда односторонней. Еще большей несправедливостью, чѣмъ такой неполный судъ, было затѣмъ почти полное молчаніе. Только въ самое послѣднее время редакція „Вѣстника Европы“ рѣшилась опубликовать интимную переписку своего сотрудника, и Владиміръ Соловьевъ предпослалъ этимъ письмамъ краткую характеристику творчества Толстого, въ которой сдѣлалъ первую попытку слить въ одно философское цѣлое мысли поэта объ окружающемъ его мірѣ и о своемъ призваніи. До этой статьи, весьма краткой и намѣчающей лишь самыя общія положенія въ міросозерцаніи нашего автора, его судили обыкновенно либо какъ выразителя извѣстныхъ литературныхъ симпатій, либо какъ художника только, либо наконецъ какъ автора отдѣльныхъ произведеній. Само собою разумѣется, что при такомъ судѣ А. Толстой не могъ рассчитывать на вполне оправдательные приговоры. Полемическій задоръ навязывалъ нашему писателю иногда злободневныя стихотворенія, которыя, какъ „поэтическія“ созданія, заслуживали справедливый упрекъ; внутренняя и внѣшняя художественная техника нѣкоторыхъ стихотвореній допускала также вполне основательныя возраженія; и, наконецъ, развѣ существуютъ поэты, у которыхъ не нашлось бы вообще слабыхъ произведеній?

Но поэзія Толстого озаряется совсѣмъ особымъ свѣтомъ, если взять ее какъ цѣлое, какъ поэтическое воплощеніе оригинальнаго міросозерцанія, этического и эстетическаго, и если къ тому же вдвинуть ее въ историческую рамку, т. е. оцѣнить ее какъ живую силу, дѣйствовавшую въ опредѣленный весьма важный моментъ нашей общественной жизни.

II.

Задача нашей замѣтки — опредѣлить это историческое значеніе поэзіи Толстого. Въ чемъ оно заключалось?

Эта была попытка охватить и изобразить въ символическихъ образахъ то настроеніе и сущность тѣхъ общихъ гуманныхъ взглядовъ, которые съ такой рѣзкой отчетливостью сказались въ нашемъ обществѣ шестидесятыхъ годовъ, въ эпоху реформъ. Какъ бы строгъ ни былъ тотъ судъ, который эта символическая поэзія встрѣтила какъ разъ въ ту эпоху, судъ, отчислявшій поэта чуть ли не въ лагерь ретроградовъ, но поэзія Толстого — все-таки самое законное дитя своего времени. Она, эта эпикурейская поэзія, какъ ее иногда называли, родная сестра той гражданской пѣсни, которая славилась въ тѣ годы своимъ ригоризмомъ и стоицизмомъ.

Извѣстно, что самая задорная и непримиримая ссора, это—ссора между родственниками. Такъ было и въ данномъ случаѣ, при столкновеніи нашего поэта съ передовыми людьми его поколѣнія.

Это столкновеніе было неизбѣжно въ виду совершенно особаго склада ума и очень оригинальнаго художественнаго темперамента, которые выдѣляли Алексѣя Толстого изъ общей компактной и болѣе или менѣе солидарной группы его братьевъ—антагонистовъ. Дѣло въ томъ, что при весьма сходной этической оцѣнкѣ міропорядка вообще и порядковъ російскихъ въ частности, Толстой совершенно расходился съ большинствомъ своихъ современниковъ въ пониманіи общихъ основныхъ философскихъ началъ жизни и главнымъ образомъ во взглядѣ на культурную роль искусства. Изъ этой разницы и вытекло все разногласіе, а сама эта разница получилась не потому, что люди разное думали о томъ, что для даннаго момента жизни всего болѣе на потребу, а потому, что одинъ хотѣлъ оправдать нужды этого момента общими соображеніями, а другіе думали, что такое обобщеніе въ этотъ именно моментъ только ослабляетъ сознаніе этихъ нуждъ въ человѣкѣ.

Изолированное и нѣсколько загадочное положеніе Алексѣя Толстого среди борющихся „становъ“ его времени вполне объяснится, если мы обратимъ должное вниманіе на темпераментъ и на складъ ума нашего писателя. Его, дѣйствительно, нельзя причислить ни къ одному изъ тогдашнихъ становъ. Въ эпоху практической и трезвой мысли, направленной на рѣшеніе вопросовъ государственныхъ, политическихъ и экономическихъ, въ періодъ ликующаго торжества разныхъ философскихъ теорій, основанныхъ на опытѣ, иногда, дѣйствительно, научномъ, а иногда и мнимомъ, въ годы возбужденныхъ социальныхъ страстей, нашъ поэтъ чувствовалъ себя очень неловко.

Владиміръ Соловьевъ утверждалъ, что А. Толстой былъ поэтомъ мысли „воинствующей“, поэтомъ-борцомъ. Едва ли. Конечно, бывали минуты, когда онъ сердился и когда въ немъ разыгрывалось желаніе колнуть или даже больно ударить сосѣда, неуважительно относящагося къ тому, что для него было святыней. Оскорбленный въ своихъ самыхъ глубокихъ чувствахъ, поэтъ бывалъ тогда безпощаденъ въ своей ироніи; но одинъ тотъ фактъ, что эта иронія почти никогда не доходила до степеней озлобленнаго негодованія, а была лишь игривой и злой шуткой, указываетъ на то, что для настоящей борьбы, не щадящей противника, Толстой созданъ не былъ; и въ самомъ дѣлѣ, припоминая „Пантелея цѣлителя“, „Потока“, „Порой веселой мая“, кто скажетъ, что эти блестящіе остроумія были настоящими ударами? Но пусть они даже и были такими: это—легкіе удары сатирическаго бича, а не удары палки, которую такъ часто брали въ руки тогдашніе «незлюбивые» защитники мирной красоты. Толстой-боецъ высказался весь въ одномъ стихотвореніи, и оно

въ своемъ спокойномъ замыслѣ и въ своемъ восторженно элегическомъ тонѣ—лучшее доказательство миролюбія автора. Плыть противъ теченія и вспоминать при этомъ о смиренныхъ ученикахъ Христовыхъ, завоевавшихъ міръ терпѣніемъ и страданіемъ, а не мечомъ—развѣ это похоже на вызовъ къ единоборству? и вообще на призывъ къ битвѣ?

И такимъ незлобивымъ пѣвцомъ тѣхъ самыхъ гуманныхъ идей, во имя которыхъ нѣкоторые ревнители ополчились на красоту, такимъ союзникомъ мнимо-враждебнаго передоваго стана, являлся этотъ художникъ среди людей, которые требовали ото всѣхъ прежде всего прямолинейности и полной отчетливости въ мысляхъ и чувствахъ. А могъ ли на эти требованія отвѣтить Толстой, онъ—одинъ изъ типичнѣйшихъ *романтиковъ* когда-либо жившихъ?

Его поэзія—была для своего времени явленіемъ настолько оригинальнымъ, настолько необычнымъ, что многіе критики, встрѣчаясь съ ней впервые, никакъ не хотѣли признать ее за самобытный продуктъ русской жизни и думали, что она—пѣснь съ чужого голоса. Они ожидали найти въ Толстомъ поэта современнаго (какимъ онъ и былъ въ своемъ смыслѣ) и стали искать въ его творчествѣ ясныхъ эстетическихъ и этическихъ взглядовъ. Эти взгляды съ виду оказались совсѣмъ не похожими на мысли и вкусы, которые въ тѣ годы преобладали. Въ поэзіи Толстого съ одной стороны не оказалось въ достаточной долѣ того объективнаго отношенія къ окружающей дѣйствительности, къ которому стремились тогдашніе реалисты, съ другой—того субъективнаго отчужденія отъ переживаемой минуты, которымъ тогда щеголяли творцы разныхъ незлобивыхъ пѣсней. Въ нашемъ писателѣ обѣ эти тенденціи сочетались въ объединяющемъ ихъ романтическомъ символизмѣ.

Это подало врагамъ поэта поводъ упрекнуть его въ индифферентизмѣ общественномъ и художественномъ; а близкое духовное родство этого символизма съ прежними литературными теченіями на западѣ натолкнуло поспѣшныхъ судей на мысль, что нашъ поэтъ вдохновляется не жизнью, а книгой, что онъ, какъ художникъ, живетъ не на счетъ своего собственнаго вдохновенія.

Такое обвиненіе казалось правдоподобнымъ только потому, что весь складъ души нашего писателя казался его современникамъ совсѣмъ не правдоподобнымъ анахронизмомъ. Передъ ними былъ дѣйствительно чистокровный романтикъ, запоздавшій рожденіемъ.

Романтическіе порывы души—явленіе довольно обычное и если понимать ихъ въ широкомъ общемъ смыслѣ, то едва ли можно приурочить ихъ появленіе къ какому-нибудь опредѣленному времени. Романтики жили и въ древности, и въ средніе вѣка, живутъ и въ наше время и будутъ жить, сохраняя между собой родственную связь по духу. Вотъ почему слово „романтикъ“, примѣненное къ тому или иному человѣку, указываетъ только

на принадлежность его къ особому общему типу, который можетъ появляться въ самыхъ различныхъ историческихъ условіяхъ и обстановкахъ. Но тоже слово, взятое въ тѣсномъ смыслѣ, получаетъ болѣе опредѣленное значеніе: все зависитъ въ данномъ случаѣ отъ глубины романтической мысли и въ особенности отъ интенсивности романтическаго чувства, которое мы подмѣчаемъ въ человѣкѣ. Цѣльная романтическая натура, свободная отъ противорѣчій и компромиссовъ съ враждебными ей теоріей и практикой жизни попадаетъ очень рѣдко. Ея расцвѣтъ можно наблюдать развѣ только въ средніе вѣка и въ первыя десятилѣтія XIX вѣка, въ эти вѣка рѣзкаго перевѣса идеальнаго надъ реальнымъ, религіознаго надъ земнымъ, сверхчувственнаго надъ чувственнымъ.

Поэзія Алексѣя Толстого воскрешала это сложное романтическое міросозерцаніе и настроеніе именно въ ихъ давно уже исчезнувшей цѣльности.

У насъ, на русской почвѣ, настоящій романтизмъ никогда не пускалъ глубокихъ корней. Въ древнія времена наша жизнь была слишкомъ проста и груба, наша мысль слишкомъ недисциплинирована, чтобы вызвать въ человѣкѣ такое броженіе идей и чувствъ, какое на западѣ создало романтику средневѣковую. Къ началу XIX вѣка мы, правда, стали народомъ полудцивилизованнымъ и приняли даже прямое участіе въ судьбахъ Запада, но все-таки наша духовная связь съ жизнью Запада была столь слаба, что вся тревога духа, которая въ началѣ вѣка породила второе, самое пышное цвѣтеніе романтики у нашихъ сосѣдей, для насъ прошла почти совсѣмъ безслѣдно. Не переживая съ Западомъ его душевныхъ волненій, иногда просто не понимая значенія этихъ волненій, мы, прельщенные красотой того „романтическаго“ искусства, въ которомъ эта тревога воплощалась, усваивали лишь внѣшнія формы загадочнаго настроенія и перекраивали его, иногда очень неумѣло, на свой собственный ладъ. У насъ въ 20-хъ, 30-хъ и 40-хъ годахъ „романтическія“ натуры—если вѣрить нашимъ поэтамъ и романистамъ—попадались въ изобиліи во всѣхъ слояхъ общества, но стоило къ нимъ присмотрѣться поближе, чтобы увидать, какой это былъ поверхностный, навѣянный романтизмъ, сколь малаго требовалось, чтобы отъ него избавиться, и главное—какъ много противорѣчій заключалъ онъ въ себѣ, какъ часто онъ не выдерживалъ своей роли. Тотъ, кто знакомъ съ исторіей нашей литературы начала XIX вѣка, знаетъ, какъ всѣ злоупотребляли этимъ словомъ „романтикъ“, быть-можетъ, именно потому, что въ своей средѣ настоящаго романтика не встрѣчали.

И въ позднѣйшіе періоды нашей жизни этотъ типъ оставался такой же рѣдкостью, и развѣ одни лишь славянофилы 40-хъ годовъ временами къ нему приближались. Въ 50-хъ и 60-хъ годахъ онъ сталъ почти невозможностью, и какъ разъ въ это время поэзія Алексѣя Толстого о немъ напомнила.

Она воссоздала этот тип во всей его цельности и законченности. Такого типичнаго сочетанія романтических настроеній, взглядовъ и образовъ, какъ у Толстого, мы ни въ одномъ изъ нашихъ писателей не встрѣтимъ. Оригинальность нашего поэта заключается не въ томъ, что онъ романтикъ при случаѣ, а въ томъ, что онъ такой чистокровный, выдержанный и свободный отъ противорѣчій романтикъ.

Эта выдержанность, столь рѣдкая въ поэтахъ, объясняется отчасти тѣмъ любопытнымъ фактомъ, что нашъ поэтъ выступилъ со своимъ почти первымъ словомъ въ такомъ возрастѣ, когда другіе поэты начинаютъ обыкновенно задумываться надъ вопросомъ, что имъ сказать дальше. Толстому было подъ сорокъ лѣтъ, когда онъ напечаталъ первое свое стихотвореніе. Онъ имѣлъ достаточно времени, чтобы внести полный порядокъ въ свое міросозерцаніе.

Но если это обстоятельство и объясняетъ отчасти бросающуюся въ глаза цельность и стройность его романтическаго міросозерцанія, то все-таки для своего времени это міровоззрѣніе остается загадкой, тѣмъ болѣе, что—какъ мы увидимъ ниже—нашъ романтикъ сумѣлъ включить въ сферу своего поэтическаго созерцанія цѣлый рядъ современныхъ острыхъ вопросовъ дѣйствительности, что и придало его пѣснямъ настоящее историческое значеніе.

Вникнемъ же въ это міросозерцаніе романтика, чтобы затѣмъ опредѣлить, что оно могло дать для той эпохи трезвой мысли, среди которой ему пришлось развернуться.

III.

Первое, что бросается въ глаза каждому читателю при встрѣчѣ съ поэзіей Толстого, это—ея повышенное религіозное настроеніе. Въ этомъ постоянномъ стремленіи простираетъ свой поэтическій взглядъ на жизнь за ея земные предѣлы нашъ поэтъ былъ вѣренъ истинно-романтическому исповѣданью, которое обязывало своихъ адептовъ согласовать свое вдохновеніе съ живой вѣрой въ Высшее Существо. Толстой являлся у насъ продолжателемъ той тенденціи, которая въ началѣ вѣка на западѣ выразилась въ творчествѣ раннихъ французскихъ романтиковъ, какъ, напримеръ, Шатобриана, Ламартина и Гюго, въ Англии—въ сентиментально-піэтистической поэзіи Лакитовъ и въ пантеизмѣ Шелли, а въ Германіи—въ этой главной теплицѣ романтизма—въ разсказахъ Вакенродера, гимнахъ и романѣ Новалиса, въ повѣстяхъ и драмахъ Тика. Такое религіозное направленіе поэзіи Толстого, на которое современники нерѣдко косились, какъ на попытку передать въ образахъ совсѣмъ не поддающіяся образному изображенію чувства, было въ нашей словесности явленіемъ очень своеобразнымъ.

Хотя у насъ и было немало поэтовъ, которые прославляли величіе Божіе, поскольку оно выражается въ жизни природы и въ судьбахъ человѣчества, но до Толстого у насъ не было ни одного пѣвца, который вносилъ бы въ свои пѣсни столь глубокое религіозное чувство и столь глубокую религіозную мысль, даже не исключая наивно-благочестиваго Жуковскаго. Толстой имѣетъ нѣкоторое право на названіе богослова, и онъ въ данномъ случаѣ пошелъ дальше своихъ иностранныхъ родственниковъ, которые и въ Германіи, и во Франціи, и въ Англіи пристегивали религіозную идею къ какому-нибудь опредѣленному церковному вѣроисповѣданію. Толстой бралъ эту идею въ ея всеобщности, не столько въ извѣстныхъ ея историческихъ формахъ, сколько въ ея отвлеченной сущности. Онъ понималъ эту свою религіозную задачу иначе, чѣмъ ее понимали и его соотечественники—русскіе вѣрующіе и религіозные люди, для большинства которыхъ, если не для всѣхъ, религіозная идея была лишь видоизмѣненіемъ или дополненіемъ идеи патріотической. Толстой же видѣлъ въ ней прежде всего всепоглощающую недобимую идею, парящую надъ всякимъ временнымъ или частичнымъ ея обнаруженіемъ. Онъ не любилъ навязывать Богу земныхъ чувствъ и религіозный мотивъ звучалъ въ его произведеніяхъ всегда необычайно искренно, такъ искренно, какъ молитва, къ которой нашъ поэтъ, какъ мы знаемъ теперь изъ его писемъ, прибѣгалъ часто въ интимной своей жизни.

«Ни въ какомъ положеніи душа не пріобрѣтаетъ болѣе обширнаго развитія, какъ въ приближеніи ея къ Богу, писалъ Толстой однажды, чѣмъ болѣе вы приближаетесь къ Богу, тѣмъ болѣе вы становитесь въ независимость отъ вашего тѣла и потому ваша душа менѣ стѣснена пространствомъ и матеріей... я почти что убѣжденъ, что два человѣка, которые бы молились въ одно время съ одинаковой сильной вѣрой другъ за друга, могли бы сообщаться между собой вопреки отдаленію... Душа не забыла совершенно свое первое существованіе, до ея заключенія въ то застывшее состояніе, въ которомъ она теперь находится; если бы мы не были скованы матеріей, мы бы сейчасъ вернулись въ наше нормальное состояніе, которое есть непрерывное обожаніе Бога и единственное, въ которомъ можно быть безъ страданій... Богъ дозволяетъ время отъ времени, чтобы въ этой жизни немного тепла оживило нашу душу и напompило бы ей случайно то блаженное состояніе, въ которомъ она находилась до своего заключенія... и къ которому возвращеніе обѣщано намъ послѣ смерти. Это бываетъ, когда мы любимъ женщину, мать или ребенка...»

«Я вѣрю Богу, и у меня невысокое мнѣніе о разумѣ человѣческомъ, я вѣрю больше тому, что я чувствую, чѣмъ тому, что я понимаю, такъ какъ Богъ далъ намъ чувство, чтобы идти дальше, чѣмъ разумъ. Чувство—лучшій вождь, чѣмъ разумъ, такъ же какъ музыка совершеннѣе слова...»

Читая такія интимныя признанія этой романтической души, начинаешь понимать многое въ самой техникѣ созданій поэта, въ особенности тѣхъ крупныхъ созданій, въ которыхъ художникъ стремился выразить не мимолетное чувство, а нѣчто болѣе глубокое и широкое. Если Толстой, дѣйствительно, стремился къ тому, чтобы душа его была какъ можно менѣе стѣснена пространствомъ и матеріей, если нормальное состояніе души онъ, дѣйствительно, понималъ какъ непрерывное обожаніе Бога, то ему надо простить многія погрѣшности противъ обычной правдоподобности, которыя онъ допускалъ въ своихъ художественныхъ созданіяхъ.

Тотъ, кто сталъ бы обвинять поэта за то, что въ «Дамаскинѣ», въ «Грѣшницѣ» и въ «Донъ Жуанѣ» онъ не выдержалъ мѣстнаго колорита, что допустилъ психологическія несообразности, слишкомъ увлекся паэсомъ и потому погрѣшилъ даже противъ минимума реальной правды, что онъ наконецъ не далъ цѣльныхъ законченныхъ образовъ... тотъ можетъ оказаться, какъ эстетикъ и историкъ, правымъ, но онъ будетъ неправъ въ примѣненіи къ Толстому именно этого критическаго масштаба.

Художественная стоимость религіозныхъ поэмъ Толстого измѣряется не цѣнностью выполненія деталей и законченностью главныхъ образовъ, а тѣмъ общимъ впечатлѣніемъ, которое онѣ производятъ на читателя или даже, вѣрнѣе, на зрителя. Въ этихъ поэмахъ столько красоты внѣшней, столько паэоса и блеска и вмѣстѣ съ тѣмъ такая въ нихъ скрыта глубокая религіозность, что читателю остается удивляться, какъ можно такими эффектами т.-е. внѣшними, на зрѣніе и слухъ дѣйствующими, приемами, производить такое сильное впечатлѣніе на самое интимное, чтѣ есть въ сердцѣ человѣка—на его религіозное чувство. Нѣкоторые богословы рекомендовали маловѣрнымъ, какъ лучшее средство почувствовать и познать Бога,— созерцаніе величественныхъ зрѣлищъ природы и величественныхъ судебъ міра. Такія зрѣлища даны намъ и въ поэмахъ Толстого. Иной разъ, за массой эффектныхъ деталей, кажется, что вотъ-вотъ руководящая религіозная мысль потеряется или религіозное чувство начнетъ ослабѣвать; вниманіе читателя какъ будто отъ общаго начинаетъ обращаться къ частному, но когда послѣдняя строка дочитана и когда мы стали отъ картины на нѣкоторое разстояніе, мы перестаемъ замѣчать всѣ эти погрѣшности въ деталяхъ, и всѣ отдѣльные эпизоды этихъ колоритныхъ картинъ всецѣло покоряютъ насъ настроенію поэта. Толстой въ данномъ случаѣ чистокровный романтикъ, для котораго внѣшность явленія должна служить лишь намекомъ на затаенный въ этомъ явленіи символическій смыслъ и на настроеніе самого художника. Изобразить перерожденіе души человѣческой при ея соприкосновеніи со святыней, т.-е. изобразить своего рода чудо (хотя и не сверхъестественное), дать почувствовать психическое состояніе художника, душа котораго раздвоена между любовью къ Богу и любовью къ искусству и ищетъ примиренія этихъ двухъ страстей,

изобразить все это въ пластическихъ образахъ,—задача непомѣрно-трудная, и она была рѣшена нашимъ поэтомъ въ «Грѣшникѣ» и въ «Іоаннѣ Дамаскинѣ». Критики говорили, что она рѣшена несовершенно, съ пристрастіемъ къ эффектамъ и въ ущербъ искреннему чувству. Но вѣдь эта задача, въ виду исключительности самого явленія, и не допускала «совершеннаго» рѣшенія и автору предстояло лишь дать намекъ, которымъ долженъ былъ воспользоваться уже самъ читатель, чтобы дорисовать картину въ своемъ воображеніи.

Такимъ же пѣвцомъ религіознаго чувства является нашъ поэтъ и въ своемъ любимомъ произведеніи, въ мистеріи «Донъ Жуанъ», въ этомъ мистическомъ трактатѣ, вставленномъ въ рамку ходячей испанской легенды. Этотъ запоздалый цвѣтокъ романтической фантазіи вызвалъ большое недоумѣніе. Современники думали, что время символическихъ поэмъ прошло и въ недостаткахъ поэмы Толстого хотѣли видѣть доказательства правоты своего взгляда. Въ «Донъ Жуанѣ», дѣйствительно, недостатковъ было много, но не больше чѣмъ въ однородныхъ произведеніяхъ, какъ, напр., въ «Фаустѣ и Донъ Жуанѣ» Граббе или даже въ «Фаустѣ» Ленау. Необытность содержанія и широта замысла поэмы повлекли за собой многіе эстетическіе и иные промахи. Одинъ геній Гете могъ совладать, и то не вполнѣ, съ такой темой: а нашъ писатель шелъ именно по слѣдамъ Гетевского «Фауста», стремясь пополнить идею этого мірового произведенія новыми идеями, накопившимися съ того времени, какъ Фаустъ былъ созданъ. Онъ внесъ въ свою поэму напр., байроническій элементъ, драпируя своего Донъ Жуана въ какого-то мрачнаго генія, мстящаго за что-то человѣчеству, а за что — неизвѣстно; онъ пересоздалъ Донну Анну совсѣмъ въ стилѣ нѣмецкой романтики, руководясь, вѣроятно, извѣстнымъ рассказомъ Гофманна, и она стала болѣе походить на святую, чѣмъ на обыкновеннаго человѣка, психологія котораго намъ родственна; онъ закончилъ драму торжественной сценой покаянія, которая если и не грѣшитъ противъ правдоподобности, то все-таки нарушаетъ цѣльность образа главнаго героя; онъ наконецъ счелъ нужнымъ теоретическую и догматическую часть своей поэмы поднять до уровня современныхъ философскихъ диспутовъ и потому сталъ въ стихахъ опровергать теорію матеріализма и детерминизма и, искусно лавируя между пантеизмомъ и дуализмомъ, славилъ единобожіе. Къ этимъ отвлеченнымъ богословскимъ и философскимъ взглядамъ онъ, уступая своему романтическому влеченію къ таинственности, примѣшалъ мистическіе средне-вѣковые взгляды на «астральное» начало, значеніе котораго ему самому, судя по его письмамъ, было не вполнѣ ясно. Такъ широко понималъ онъ свою задачу—пѣвца Божьяго суда и Божіей правды, явившей свое величіе и милосердіе закоренѣлому грѣшнику. Для Толстого, впрочемъ, Донъ Жуанъ былъ не только простымъ грѣшникомъ: какъ можно догадываться

изъ рѣчей безплотныхъ духовъ, такъ близко принявшихъ къ сердцу судьбу героя, и изъ туманныхъ словъ самого Донъ Жуана, онъ долженъ былъ стать символомъ чуть ли не всего человѣчества—страдающаго, обременнаго страстями и ищущаго идеала здѣсь на землѣ, идеала безконечно широкой любви, понятой вообще въ смыслѣ жизненнаго начала. Все, и внѣшняя обстановка, и замысловатыя рѣчи дѣйствующихъ лицъ въ минуты, когда имъ полагалось бы говорить совсѣмъ ясно, и мораль эпилога и фантастика пролога—все указываетъ на то, что передъ нами настоящая «мистерія», т.-е. дѣйствіе съ таинственнымъ религіознымъ смысломъ. А такъ какъ само дѣйствіе, т.-е. исторія сердечныхъ тревогъ Донъ Жуана никакого особенно таинственнаго смысла въ себѣ не заключаетъ и есть явленіе довольно обыкновенное, то попытка нашего романтика придать необыкновенное значеніе этому простому факту и должна была повлечь за собой всякаго рода натяжки въ мотивировкѣ словъ и поступковъ дѣйствующихъ лицъ. Иное дѣло взять мудреца, познавшаго всю доступную человѣчеству науку, изъ любви къ человѣчеству стремящагося испытать здѣсь на землѣ все земное и вѣчно неудовлетвореннаго, какъ Фаустъ; иное дѣло изобразить, какъ дѣлалъ Байронъ, весь мракъ души идеалиста, разочарованнаго соціальной неурядицей нашей жизни; иное дѣло воскресить стараго Прометея и за любовь его къ людямъ подвергнуть его пыткамъ; иное дѣло, наконецъ, взвалить всю тяготу нашей жизни на плечи Агасверу—какъ это сдѣлалъ Кинэ—и увидеть въ немъ символъ человѣчества, не признавшаго своего Бога и осужденнаго послѣ вѣковыхъ страданій узрѣть его торжество при второмъ его пришествіи на землю. Всѣ эти строгіе образы вполне соотвѣтствуютъ глубинѣ поэтическаго замысла художниковъ; про типъ Донъ Жуана этого сказать нельзя; расширять и углублять его психическій міръ крайне трудно въ виду установившагося традиціоннаго представленія объ этомъ типѣ. Толстой не убоился этой трудности, хотя и не осилилъ ея. Но каковы бы ни были ошибки поэмы, для насъ любопытна сама попытка вложить религіозное содержаніе въ такой свѣтскій сюжетъ.

Въ этомъ стремленіи отыскивать во всемъ руководящій идейный принципъ, видѣть во всемъ, даже въ самыхъ земныхъ чувствахъ—религіозный символъ ярко выразился общеромантическій характеръ міросозерцанія нашего писателя.

IV.

Совсѣмъ въ романтическомъ стилѣ созданъ Алексѣемъ Толстымъ и типъ пѣвца—служителя красоты въ мірѣ. Поэтъ возлагаетъ на него также чисто религіозную миссію.

Мысль о тѣсномъ родствѣ идеи красоты и Божества, эта старая мысль, которая была въ такомъ ходу у нашихъ шеллингианцевъ 20-хъ

годовъ, оживаетъ въ пѣсняхъ, балладахъ и поэмахъ нашего автора. Толстого принято считать самымъ смѣлымъ защитникомъ гражданскихъ и иныхъ правъ красоты въ годы, когда эти права подвергались самымъ яркимъ нападкамъ. Да, это былъ, дѣйствительно, рыцарь, выступавшій въ защиту своей царицы, которую въ тѣ годы временно низвели съ престола. Какъ голось Іоанна Дамаскина, раздавались его пѣсни „противу ереси безумной“, которая поднялась на искусство. Вѣрнѣе, впрочемъ, будетъ, если мы скажемъ, что онъ не столько ополчился противъ „ереси“, сколько пѣлъ хвалу своей богинѣ.

Онъ былъ натура артистическая, художникъ отъ рожденія. „Я родился художникомъ, но всѣ обстоятельства и вся моя жизнь до сихъ поръ противились тому, чтобы я сдѣлался вполнѣ художникомъ“, писалъ онъ въ 1851 году, когда еще самъ не зналъ, на какой художественный подвигъ былъ способенъ. „Все что я чувствую, я чувствую художественно—говорилъ онъ— и рожденъ я художникомъ не только для литературы, но и для пластическихъ искусствъ“. Толстой былъ правъ: въ его поэзии, дѣйствительно, было очень много пластики. Въ юные, въ самые впечатлительные годы, судьба забросила его въ Италію и онъ жилъ въ ней долго. „Съ жадностью и чутъемъ“ набрасывался онъ на всѣ произведенія искусства. Въ очень короткое время научился онъ отличать прекрасное отъ посредственнаго и могъ соревновать съ знатоками въ оцѣнкѣ картинъ и изваяній. Не зная еще никакихъ интересовъ жизни, которые впоследствии наполнили ее тревогой, онъ сосредоточилъ всѣ свои мысли и всѣ свои чувства на любви къ искусству. Это была какая-то нервная, не вполнѣ нормальная любовь, которая заставляла его плакать отъ радости, когда онъ смотрѣлъ на истинныя созданія художества, цѣлыми часами отдаваться созерцанію и чувствовать себя счастливымъ—и все это въ тѣ годы, когда обыкновенный темпераментъ всегда отдаетъ предпочтеніе самой жизни предъ ея отраженіемъ. Проходили годы и эта экзальтація художника въ Толстомъ только крѣпла. Старикомъ онъ не терялъ этой способности плакать отъ счастья при встрѣчѣ съ красотой... Пусть это была повышенная нервность, но что было дѣлать, если, по собственному его признанію, вся его жизнь проходила въ такой экзальтаціи?

Толстой смотрѣлъ на искусство, однако, не только глазами художника; онъ былъ философъ и искалъ въ немъ и эстетическаго наслажденія, и общемирового смысла. Учителемъ его въ эстетикѣ былъ Шиллеръ и нѣмецкіе романики. Съ идеей красоты нашъ художникъ всегда соединялъ цѣлый рядъ другихъ общихъ идей, имѣвшихъ для него такое же абсолютное и объективное значеніе. „Если бы я видѣлъ полезное дѣло передъ собой,—говорилъ онъ, оправдываясь передъ своимъ вѣкомъ,—если бы я видѣлъ что-нибудь такое, что въ предѣлахъ моихъ дарованій, я бы не

отказался от дѣла, но мои дарованія слишкомъ діаметрально противоположны дарованіямъ передовыхъ людей и я могу только махнуть рукой... Остается истинное, вѣчное, абсолютное, что не зависитъ ни отъ вѣка, ни отъ моды, ни отъ вліянія, ни отъ какой-нибудь fashion, и этому я отдаю всецѣло. Да здравствуетъ абсолютное т.-е. человѣчество и поэзія!"

Развитое чувство красоты было въ глазахъ нашего поэта показателемъ общей культурности и для отдѣльной личности, и для цѣлыхъ народовъ. „Тотъ народъ, въ которомъ это чувство развито сильно и полно, говорилъ онъ, въ комъ оно составляетъ потребность жизни, не можетъ не имѣть вмѣстѣ съ нимъ и чувства законности и чувства свободы. Онъ уже готовъ къ жизни гражданской, и законодательству остается только освятить и облечь въ форму уже существующіе элементы гражданства“. „Мнѣ больно отъ всѣхъ диссонансовъ жизни — писалъ онъ однажды—и оттого я и люблю искусство, которое есть ступень къ лучшему міру“. Понятно, что въ минуты особаго раздумья онъ могъ сказать, какъ онъ говорилъ за нѣсколько дней до смерти, что нѣтъ другой такой вещи, для которой стоило бы жить, кромѣ искусства! Эту эгоистическую фразу ему можно простить въ виду того, что онъ влагалъ въ нее тайный смыслъ, совсѣмъ не эгоистическій, тотъ самый, который онъ вложилъ и въ другое свое извѣстное изреченіе, когда утверждалъ, что его аристократическія влеченія существуютъ гораздо больше для другихъ, чѣмъ для него лично.

Понятіе о свободной красотѣ, какъ о самостоятельномъ двигателѣ общественнаго прогресса, эта завѣтная мысль всѣхъ романтиковъ начала XIX вѣка, проводится въ поэзіи Толстого какъ нельзя болѣе послѣдовательно, вопреки другому господствовавшему тогда взгляду на красоту, какъ на прямое отраженіе этого прогресса и какъ на служебное орудіе въ его интересахъ. Пѣвецъ—какъ его понимаетъ нашъ художникъ—прежде всего служитель Божій, проводникъ религіознаго чувства на землѣ; онъ затѣмъ жрецъ своего искусства, одинокій, недюдимый жрецъ, самъ себя довлѣющій. Богатство, сила, честь и слава — все чѣмъ дорожатъ люди, въ избыткѣ заключено въ незримомъ мірѣ его души. Вся природа одно лишь отраженіе, лишь тѣнь таинственныхъ красотъ, которыхъ вѣчное видѣніе живетъ въ душѣ избранника. Господь дозволяетъ художнику заглянуть въ то сокровенное горнило, гдѣ кипятъ первообразы и трепещутъ творческія силы. Вотъ почему и не кажется дерзостью, если поэтъ присвоиваетъ себѣ Божью власть и „благословляетъ“ всю природу и небеса, и звѣзды... И, дѣйствительно, поэтъ принадлежитъ не себѣ и еще меньше принадлежитъ онъ той средѣ, которая его окружаетъ. Не Гете создалъ великаго Фауста и не Бетховенъ создалъ свои мелодіи. Всѣ эти слова и звуки всегда существовали въ безпредѣльномъ пространствѣ и художникамъ оставалось только уловить ихъ. Итакъ, окружи себя мракомъ поэтъ, окружи молчаніемъ, будь одинокъ и слѣпъ какъ Гомеръ и

глухъ какъ Бетговень и только напрягай свой душевный слухъ и душевное зрѣніе, внимай, гляди, притаивши дыханье, и помни мимолетное видѣніе! Не все ли равно поэту, слушаютъ ли его люди, или нѣтъ? Вспомнишь того слѣпого пѣвца, который думалъ, что онъ поетъ передъ княземъ и его боярами, который грозящимъ пророческимъ словомъ вступался за правду и узналъ, что онъ пѣлъ въ полномъ одиночествѣ и что никто не слыхалъ его пѣсни. Съ какой спокойной гордостью отвѣчаетъ за него Толстой тѣмъ, кто вздумалъ бы надъ пѣвцомъ посмѣяться: неволень пѣвецъ въ своей пѣснѣ; какъ горный источникъ стремится онъ потокомъ по степи, бѣетъ, кипитъ и пѣнится, и не хочетъ онъ знать, придутъ ли къ нему пастухи и стада, чтобы освѣжиться его струями.

Такой романтической взглядъ на красоту нашъ писатель высказывалъ всегда, когда рассуждалъ объ искусствѣ теоретически; но на практикѣ онъ никакъ не могъ устоять на этой точкѣ зрѣнія. Витая въ своихъ мечтахъ надъ землей, поэтъ не терялъ ее изъ вида и вводилъ въ кругъ своего поэтического міросозерцанія самые разнообразные жизненные вопросы, неизмѣняя однако своего романтического отношенія къ нимъ.

Толстому вообще не легко давалось это соприкосновеніе съ житейской суетой; легко давалась ему только шутка надъ ней—юмористическое ея изображение, при помощи котораго онъ любилъ иногда обходить трудность вопроса. Это была всегда необычайно остроумная и граціозная шутка, которая показывала именно своей граціей, какъ въ сущности далеко былъ поэтъ отъ тѣхъ частныхъ явленій и знаменій времени, которыя онъ вышучивалъ.

У.

Его тянуло къ совсѣмъ иному міру, міру таинственнаго и сокровеннаго. Дѣйствительность отъ малыхъ лѣтъ была ему противна и несносна. Искатель небывалыхъ міровъ, онъ какъ истинный романтикъ, слышалъ звонъ, не видя колоколенъ. Все чудился ему какой-то неопредѣленный и неуловимый идеалъ жизни, отблескъ котораго и остался на всей его поэзіи.

Эта поэзія, быть-можетъ, потому и заслужила такіе упреки, что очень туманно было очертаніе этого идеала. Въ самомъ дѣлѣ, не всѣмъ была понятна и дорога — страна лучей, незримая нашимъ взорамъ, гдѣ вокругъ міровъ вращаются міры, гдѣ сонмы душъ немолчные дары своихъ молитвъ возносятся стройнымъ хоромъ, гдѣ сіяющіе блаженствомъ лики отвращены отъ міра суеты, гдѣ не слышно земной печали и земной нищеты не видно. Не всякій хотѣлъ вслѣдъ за поэтомъ вознестись въ отчизну пламени и слова, не всякій хотѣлъ вѣрить, что міръ незримый можетъ стать ему виденъ и что ухо его услышитъ то, что для другихъ неуловимо. Нашему

поэту всё эти ощущенія были доступны и понятны; его мечты были всегда полны надеждъ; и журчанье водъ, дыханье цвѣтовъ, все звучало ему, какъ обѣщаніе другой, далекой красоты...

Эта другая красота и другой міръ, о которомъ поэтъ такъ грустилъ въ своихъ стихахъ, могъ въ тѣ трезвые годы вызвать у читателей иногда насмѣшку, а иногда сожалѣніе. Поэзія Толстого могла показаться старымъ напѣвомъ временъ прошлыхъ, временъ блаженнаго мечтательнаго романтизма, навсегда, какъ казалось, схороненнаго. И никто не станетъ отрицать, что эта поэзія, дѣйствительно, обладала ароматомъ старины. Но для Россіи она была явленіемъ совсѣмъ оригинальнымъ и новымъ, и ея романтическій спиритуализмъ, если можно такъ выразиться, въ русской литературѣ не имѣлъ аналогій.

И что всего важнѣе, такъ это то, что романтическое міросозерцаніе нашего автора, ссоря его съ современниками, отнюдь не порывало его связи съ современностью; Толстой съ его нелюбовью къ повседневнои дѣйствительности оставался пѣвцомъ тѣхъ самыхъ общихъ идей и чувствъ, которыя придавали этой дѣйствительности ея историческій смыслъ и цѣнность. Уловить эту связь поэта съ его настоящимъ было тѣмъ болѣе трудно, что нашъ писатель всегда подчеркивалъ свою любовь къ прошедшему, къ старинѣ во всѣхъ ея видахъ: и въ формѣ народнаго преданія, и мѣа, и въ формѣ исторической легенды и были. Онъ и въ данномъ случаѣ оставался правдолюбивымъ романтикомъ совсѣмъ въ духѣ своихъ западныхъ предшественниковъ, которые въ началѣ вѣка, увлеченные идеями народности, искали въ туманномъ прошломъ владыка всяческой мудрости и всяческой красоты.

Эта любовь Толстого къ прошлому могла иногда патологичнѣе не вполне внимательнаго критика на послѣднее сравненіе. Могло казаться, что это пристрастіе къ народной старинѣ есть лишь повтореніе стараго мотива, нѣкогда очень распространеннаго и въ русской литературѣ, а именно мотива фальшивой «народности», той самой, которая погѣбла подъ лучами поэзіи Пушкина и Гоголя и подъ ударами критики Бѣлинскаго. На самомъ дѣлѣ, однако, никто не былъ такъ далеко отъ этой фальшивой народности, какъ нашъ поэтъ. Славянскій мѣа, преданіе и исторія, которыми наши старые романисты и поэты пользовались въ интересахъ довольно узкой патриотической тенденціи, для восхваленія религиозности, семейной нравственности и государственной мудрости россиянь,—эти мѣа и преданія Толстой хотѣлъ воскресить въ интересахъ преимущественно художественныхъ. Онъ искалъ въ нашей мѣаологии и старинѣ благодарнаго матеріала для поэмъ и балладъ въ стилѣ западно-европейской романтики. Ему хотѣлось доказать, что и славянское племя внесло нѣчто свое въ общую сокровищницу красоты, которую нѣмецкіе, французскіе и англійскіе писатели открыли въ преданіяхъ языческой древности и средневѣковья. Задача была трудна и

обязывала Толстого не столько подчеркивать въ старыхъ преданіяхъ бытовыя особенности славянскаго племени, сколько въ этихъ славянскихъ мифахъ выискивать общечеловѣческое, роднящее нашу народную поэзію съ поэзіей нашихъ сосѣдей.

Съ этой западной поэзіей Толстой освоился еще съ юныхъ лѣтъ и она была ему совсѣмъ родная—стобить, напр., только вспомнить, съ какой художественной виртуозностью онъ поддѣлался въ своемъ «Драконѣ» подъ стиль староитальянской романтики. Естественно, что подгоняя нашу славянскую старину подъ общій типъ западной романтики, поэтъ долженъ былъ слегка ее подкрасить. Алексѣй Толстой такъ и поступалъ съ нашими мифами и преданіями. Искать въ нихъ настоящей народности, народнаго духа, если такъ можно выразиться, —напрасно. Въ нихъ много этнографическихъ и археологическихъ вѣрныхъ деталей, но въ цѣломъ компановка этихъ деталей и общій тонъ значительно отступаютъ отъ старой народной наивности. Во всемъ чувствуется рука мастера, прошедшаго хорошую литературную школу. Только благодаря этой школѣ поэту удалось, напр., изъ избитаго разсказа объ оборотнѣ сдѣлать такую цѣльную и страшную балладу, какъ его «Волки»; таже литературная опытность помогла ему въ хороводѣ стрекозъ подслушать слова и уловить настроеніе, которые Гете далъ въ своемъ «Лѣсномъ Царѣ»; и, наконецъ, вся великолѣпная поэма о Садко, въ которой такъ много чисто-русскихъ словъ и оборотовъ,—развѣ въ ней сохранилась хоть капля наивности стараго преданія и развѣ вся ея удивительная красота не обязана своимъ блескомъ литературному вкусу и образованію автора?

Это стремленіе жертвовать наивнымъ старымъ реализмомъ въ пользу романтической красоты композиціи еще яснѣе выступаетъ наружу въ историческихъ балладахъ и былинахъ нашего поэта. Всѣ эти русскіе богатыри очень смахиваютъ на средневѣковыхъ рыцарей и невольно вызываютъ въ читателѣ литературныя воспоминанія. Князь Ростиславъ, уснувшій тяжелымъ сномъ на рѣчномъ днѣ, какъ-то невольно заставляетъ думать о Рейнскихъ ниссахъ. Алеша Поповичъ вызываетъ въ памяти пѣсни Прованса; читая «Боривоя» думаешь о сѣверныхъ скандинавскихъ легендахъ... «Гаконъ слѣпой» и «Гаральдъ» напоминаютъ Роланда и пѣсни трубадуровъ. «Три побойща» могутъ показаться переложеніемъ изъ Вальтеръ-Скотта, а описаніе двора Владиміра Краснаго солнышка—страницей изъ рыцарскаго романа.

Среди балладъ Толстого встрѣчаются, конечно, и такія, въ которыхъ чисто народный колоритъ болѣе или менѣе удержанъ; есть у него пѣсни въ старо-русскомъ стилѣ, которыя своимъ славянскимъ духомъ даже подкупили славянофиловъ, какъ, напр., Хомякова и Аксагова. Но славянофилы недолго считали Алексѣя Толстого своимъ, и были правы. Если въ поэзіи Толстого не было фальшивой народности, то не было и настоящей. На-

родность въ его стихотвореніяхъ своеобразная, субъективная и романтическая, родственная западной, но не списанная съ нея. Самъ поэтъ никому не подражалъ, но по духу онъ былъ ближайшій родственникъ романтиковъ Запада. Стремленіе отыскать особую красоту въ старой народной мистикѣ и въ произведеніяхъ доисторической фантазіи—было у нихъ общее. Общими явились поэтому и художественные приемы. А такъ какъ, кромѣ того, въ самихъ мотивахъ народной фантазіи русской было много сходнаго съ мотивами обще-европейскими, то естественно, что наши богатыри стали нѣсколько походить на палладиновъ и наши миѳическіе образы на своихъ европейскихъ родственниковъ. Произошло это не потому, что нашъ поэтъ навязывалъ русскому образу не русскую мысль, чувство или поступокъ, а потому, что онъ навязывалъ имъ свое собственное міросозерцаніе и свои чувства, какъ это вообще дѣлали всѣ романтики въ мірѣ, для которыхъ объективное интересно лишь по столько, по сколько въ него можно вложить субъективное содержаніе.

На такія же соображенія наводятъ насъ и чисто личныя лирическія стихотворенія Толстого. Лирическое стихотвореніе, положимъ, всегда субъективно; но въ самомъ способѣ выраженія лирическихъ чувствъ, лирикъ-романтикъ все-таки отличается отъ лирика-реалиста. Одинъ стремится къ простотѣ, отчетливости и ясности въ передачѣ своихъ ощущеній и тѣхъ впечатлѣній, которыя ихъ вызвали. Другой любитъ намеки и неохотно позволяетъ читателю заглянуть въ самую глубь своего сердца. Онъ предпочитаетъ говорить о своихъ чувствахъ иносказательно и всего охотнѣе поясняетъ ихъ какимъ-нибудь поэтическимъ сравненіемъ, заимствованнымъ изъ жизни природы внѣшней. У Толстого, за немногими исключеніями, почти всѣ лирическія стихотворенія—такія картинки природы, слегка набросанныя или болѣе детально вырисованныя. Вездѣ чувствуешь это стремленіе—не быть слишкомъ яснымъ и увѣрить читателя, что въ каждомъ чувствѣ, самомъ простомъ, таится что-то безконечное и невыразимое.

VI.

Если свести къ одному всѣ эти разрозненныя впечатлѣнія, которыя мы выносимъ изъ знакомства съ поэзіей Толстого, то и романтическое содержаніе его творчества, и всѣ романтическіе приемы исполненія выступятъ ярко наружу.

Весь внѣшній міръ — въ его прошломъ и настоящемъ, а также міръ внутренній, міръ мысли и психическихъ движеній, былъ въ глазахъ поэта лишь символомъ чего-то внѣ этихъ міровъ лежащаго. Къ этому таинственному началу Толстой относился съ глубокимъ религіознымъ чувствомъ. Въ красотѣ онъ видѣлъ одну изъ эманаций этого божества, которая обладаетъ способностью земного воплощенія и проникаетъ собой

всю земную жизнь, какъ проникають ее и другія эманации Бога — лучи его добра и истины. Всѣ эти силы свершаютъ свое предназначеніе лишь въ тѣснѣйшемъ союзѣ и между собой, и съ людьми, жизнь которыхъ есть великая религиозная мистерія,—исторія постепеннаго восхожденія челоуѣчества къ Божеству,—стремленіе въ иной міръ идеала. Въ этотъ міръ идеала челоуѣкъ можетъ войти, однако, не путемъ добровольнаго отреченія отъ земли, ея судьбъ и ея страстей, а лишь послѣ добровольной борьбы съ этими страстями.

Такой мистическій взглядъ на міропорядокъ, взглядъ раздробленно высказанный въ стихахъ нашего писателя, долженъ былъ, конечно, отозваться и на всемъ ходѣ его личной жизни. Ожидать отъ этого романтика большой привязанности къ переживаемому имъ историческому моменту нельзя. Для людей съ такой идеалистической вѣрой въ связь земного и небеснаго, реального и идеальнаго—жизнь минуты имѣетъ малую цѣнность и, если что въ этой минутѣ останавливаетъ на себѣ вниманіе и любовь такого идеалиста, такъ развѣ только ея самый общій философскій смыслъ.

Изъ интимной переписки нашего поэта мы, дѣйствительно, узнаемъ о томъ, какъ мало онъ любилъ самый процессъ будничной жизни—которая для него могла быть, если бы онъ только захотѣлъ, сплошнымъ праздникомъ. Судьба поставила его въ такія условія, что захоти онъ, и эта жизнь дала бы ему всѣ наслажденія, за которыми такъ гонятся люди, все, что называется житейскимъ благомъ. Толстой не воспользовался этими преимуществами своего положенія и прожилъ свою жизнь, насколько могъ, скромно, внѣ колеи официальной дѣятельности.

И между тѣмъ никто не скажетъ, что этотъ челоуѣкъ стоялъ внѣ интересовъ переживаемой имъ эпохи и былъ лишь скучающимъ зрителемъ того, что вокругъ него творилось. Наоборотъ, весь общій прогрессивный идейный смыслъ того знаменательнаго историческаго момента, свидѣтелемъ котораго онъ былъ, нашелъ себѣ откликъ въ его поэзіи и только этимъ его поэзія приобрѣла значеніе историческое рядомъ съ тѣмъ значеніемъ художественнымъ, которое она сохраняетъ какъ плодъ истинно поэтическаго вдохновенія.

VII.

На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ, что общаго между этой романтикой, столь законченной въ своей внѣшней и внутренней цѣльности и этимъ прогрессивнымъ движеніемъ, столь трезвымъ и положительнымъ во всѣхъ своихъ помыслахъ и дѣяніяхъ?

Поэзія Толстого въ основныхъ своихъ чертахъ, какъ мы видѣли, была поэзіей религиозной — передовое поколѣніе, тѣхъ лѣтъ, относи-

лось къ религіозному чувству и идеѣ болѣе чѣмъ скептически; поэтическая мысль нашего писателя всегда витала надъ землей и искала небесной отчизны;—мысли его либеральныхъ современниковъ (по крайней мѣрѣ руководящаго большинства изъ нихъ) сосредоточивались почти исключительно на интересахъ земныхъ и ко всякому спиритуализму въ мысляхъ и чувствахъ относились равнодушно, чтобы не сказать враждебно. Поэтъ нашъ былъ влюбленъ въ красоту какъ въ идею, и въ искусство, какъ въ ея земное воплощеніе; онъ искалъ въ ней смысла жизни—его слушатели иной разъ даже насильно оберегали себя отъ ея вліянія, боясь какъ бы она не отвлекла ихъ отъ прямыхъ житейскихъ и главнымъ образомъ гражданскихъ обязанностей; красота была имъ подозрительна и въ своемъ подозрѣніи они доходили часто до очень несправедливыхъ упрековъ. Всѣ они были большіе политики и политиканы, люди борьбы насущной за извѣстную социальную программу; Алексѣй Толстой ни для какой борьбы не былъ годенъ и всякое практическое дѣло, какъ бы онъ самъ ему ни симпатизировалъ, тяготило его однимъ своимъ процессомъ. Наконецъ и аристократизмъ поэта не гармонировалъ съ общей демократической тенденціей его эпохи.

Можно было бы эту параллель и продолжить, и сопоставленіе поэта съ окружающими его передовыми людьми говорило бы только объ ихъ несходствѣ. Тѣмъ не менѣе въ исторіи идейнаго движенія шестидесятыхъ годовъ имя Толстого стоитъ въ ряду именно этихъ передовыхъ двигателей, а не ихъ противниковъ.

VIII.

Прогрессивный образъ мыслей Толстого не принималъ, правда, никогда рѣзкаго направленія, что вполне объясняется темпераментомъ нашего писателя—но во всякомъ случаѣ программа реформъ Александра II-го нашла себѣ въ его близкомъ другѣ самаго искренняго союзника. Толстой не только стоялъ за новое, но и былъ противъ стараго—какъ видно изъ весьма многихъ его стихотвореній юмористическаго и обличительнаго характера, которыя такъ и не попали въ печать при его жизни.

Противникъ дореформенной Россіи, несмотря на романтическую идеализацию ея старины—поэтъ требовалъ отъ настоящихъ сыновъ своей родины живого дѣла. Еще въ крѣпостную эпоху, въ 1851 году, онъ указывалъ и «праздношатающимся» и «вольнодумцамъ» изъ своего круга на ихъ прямую обязанность—на заботу объ участи тѣхъ, судьба которыхъ ввѣрена имъ Богомъ; и въ себѣ самомъ онъ чувствовалъ много силы для такого нравственнаго воздѣйствія на крѣпостную массу. Эта готовность служить народу не поколебалась въ немъ и тогда, когда реформа изъ области сентиментальныхъ чаяній перешла въ область фактовъ. Онъ былъ убѣжденъ, что если бы его употребили на дѣло осво-

божденія крестьянъ, онъ шелъ бы своей дорогой, съ чистою и ясною совѣстью, даже если бы пришлось идти противъ всѣхъ. Та же ясная совѣсть тяготила его при рѣшеніи дѣла о сектантахъ, которое, противъ его воли было на него возложено. Онъ былъ настолько чутокъ къ переживаемой минутѣ, что иногда расположеніе его духа изъ мрачнаго становилось свѣтлымъ, если ему удавалось сообщить государю что-нибудь такое, что царю необходимо было знать и что онъ не узналъ бы отъ другаго. «Когда это мнѣ случается—говорилъ нашъ поэтъ—я оживаю»...

И какой онъ былъ просвѣщенный патриотъ! «Вы говорите, пишетъ онъ въ одномъ частномъ письмѣ, что нельзя допустить разныя національности въ могущественномъ государствѣ. Милыя дѣти, посмотрите въ лексиконъ, что такое национальность? Вы смѣшиваете государства съ національностями. Нельзя допустить разныя государства, но не отъ васъ зависятъ допустить или недопустить національности... Ваше мнѣніе можно выразить слѣдующими словами: навязать русскую національность всѣмъ средствами. А моя мысль сводится къ слѣдующему: сдѣлать такъ, чтобы эта національность была желательна. Вы говорите: уравниемъ все, понижая уровень чужихъ народностей. Я же говорю: уравниемъ все, возвышая русскій уровень... катковецъ съ ногъ до головы, когда дѣло касается классицизма... я дѣлаюсь неприятелемъ Каткова, когда онъ поднимаетъ знамя крестоваго похода противъ балтійскихъ провинцій»...

Много можно найти въ письмахъ Толстого строкъ, которыя продиктованы самымъ прогрессивнымъ духомъ его эпохи. Говорить ли онъ объ общихъ вопросахъ или о тѣлесномъ наказаніи—онъ человѣкъ новыхъ взглядовъ и, главное, даже къ рѣзкостямъ этихъ новыхъ взглядовъ онъ готовъ отнестись съ терпѣливой справедливостью. Много ли было лицъ его положенія, круга и его образа мыслей, которыя рѣшились бы сказать, какъ онъ говорилъ: «съ неожиданнымъ удовольствіемъ читаю «Отцы и Дѣти». Какіе звѣри тѣ, которые обидѣлись на Базарова! Они должны были бы поставить свѣчку Тургеневу за то, что онъ выставилъ ихъ въ такомъ прекрасномъ видѣ. Если бы я встрѣтился съ Базаровымъ, я увѣренъ, что мы стали бы друзьями, несмотря на то, что мы продолжали бы спорить»...

Оставимъ, однако, Толстого какъ человѣка. Надо надѣяться, что близкіе поэту люди когда-нибудь да рѣшатся вспомнить о немъ и подробно расскажутъ его жизнь и тогда, конечно, связь поэта съ его временемъ какъ гражданина и человѣка вполне разъяснится. Вернемся къ его поэзии.

IX.

Въ каждой эпохѣ болѣе или менѣе знаменательной по своему идейному или практическому значенію, необходимо отличать общее направле-

не, въ какомъ работаютъ человѣческая мысль и чувство отъ повседневныхъ исторической необходимостью или случайностью вызванныхъ частныхъ проявленій этихъ духовныхъ силъ человѣка. Всякое сильное движеніе вызываетъ далеко не равномерное напряженіе силъ.

Такимъ неровнымъ ходомъ шло и наше общественное движеніе въ шестидесятыхъ годахъ. Сколько было увлеченій, крайностей, противорѣчій, сколько было недосказаннаго или неясно сказаннаго во всѣхъ убѣжденіяхъ и направленіяхъ, разъединявшихъ тогда наше передовое общество!

Но все-таки всѣ эти повседневныя, необходимостью или случайностью вызванныя теченія мыслей и настроеній, имѣли у всѣхъ лицъ передового лагеря одну объединяющую ихъ общую тенденцію—одинъ общій историческій смыслъ. Прогрессивное движеніе шестидесятыхъ годовъ при всѣхъ его крайностяхъ и ошибкахъ было въ его цѣломъ—моментомъ укрѣпленія и расцвѣта въ нашемъ обществѣ нѣкоторыхъ идей и чувствъ, имѣющихъ не историческое временное, а общеміровое и вѣчное значеніе. Къ числу такихъ идей относится идея о соціальной солидарности между отдѣльными классами общества—демократическая тенденція уравнивать всѣхъ людей передъ закономъ, и способствовать ихъ дальнѣйшему духовному уравненію путемъ поднятія общаго уровня образовательнаго и нравственнаго. Къ числу такихъ идей относится признаніе свободы мысли, не преклоняющейся ни передъ какимъ авторитетомъ, мысли, иногда несправедливой въ низверженіи этихъ авторитетовъ, но зато безусловно враждебной всякой умственной косности. Къ числу такихъ идей относится и понятіе о власти, которая опирается не на грубую силу, а на добровольное признаніе ея превосходства со стороны тѣхъ, надъ кѣмъ эта власть поставлена, т.-е. идея власти разумной и гуманной. Къ числу такихъ чувствъ относится и чувство человѣческаго достоинства, на признаніи котораго за всѣми людьми такъ настаивала обличительная литература шестидесятыхъ годовъ. Наконецъ къ числу отличительныхъ чертъ этой знаменательной эпохи относится и вообще повышенное чувство альтруизма, готовое на великія жертвы и страданія.

Этотъ общій смыслъ цѣлой исторической эпохи передовые люди того времени стремились выразить и осуществить на дѣлѣ весьма разными программами. Борьба между этими людьми была неизбежна въ виду разницы въ пониманіи религіозныхъ, философскихъ, національныхъ, политическихъ и иныхъ вопросовъ жизни. Но всѣ они, и сторонники реформы наверху, и славянофилы, и почвенники, и умѣренные либералы 40-хъ годовъ, и рьяная радикальная молодежь шестидесятыхъ въ сущности трудились надъ однимъ дѣломъ и имѣли одного врага—людей, не признававшихъ необходимости новизны и противниковъ того общаго смысла эпохи, на который указано.

Поэзія Алексѣя Толстого заняла среди этихъ споровъ совершенно особое мѣсто, именно въ виду своего романтическаго міропониманія и настроенія, которыя держали ее всегда на нѣкоторомъ разстояніи отъ волненій и споровъ минуты. Среди этихъ споровъ поэтъ занималъ позицію нейтральную и рѣдко покидалъ ее, но зато ему и удалось схватить и выразить въ своихъ стихахъ весь общій гуманный смыслъ развернушагося передъ нимъ общественнаго теченія. Самый общій смыслъ — разумѣется.

Религіозное чувство, живое и глубокое, не осложненное никакими національными или обрядовыми симпатіями, и чувство эстетическое, отъ развитія котораго въ человѣческомъ обществѣ поэтъ ожидалъ прямого улучшенія соціальной этики,—были для Толстого двумя главными духовными двигателями нашей жизни. При ихъ помощи надѣялся онъ достигнуть повышенія общаго культурнаго уровня; въ нихъ видѣлъ онъ уравнивающую людей духовную силу, съ которой вполне могли ужиться и свобода мысли и свобода совѣсти; отъ нихъ ожидалъ онъ установленія на землѣ соціальнаго мира. Въ интересахъ этого же мира должна была дѣйствовать и власть, данная Богомъ человѣку надъ его ближними. Надъ призваніемъ и назначеніемъ этой власти Толстой думалъ много и вся его знаменитая Трилогія была косвеннымъ наставленіемъ властителю, своего рода *école des rois*, какъ назывались въ старину такіа драмы. Нашъ поэтъ былъ рѣшительный противникъ деспотизма, все равно какого—единоличнаго или массоваго; онъ былъ сторонникъ просвѣтительной и гуманной монархіи. Вотъ почему онъ такъ недобилъ московскій періодъ нашей истории, осуждая его съ этической точки зрѣнія и не всегда считаясь съ точкой зрѣнія исторической. «Моя ненависть къ московскому періоду—говорилъ онъ—есть идіосинкразія и я не подвигиваю себя, чтобы говорить о немъ то, что говорю». А говорилъ онъ иногда о Москвѣ очень жестоко, называя ее «отвратительной и болѣе позорной, чѣмъ монголы». Онъ былъ противникомъ, какъ онъ выражался, и «эгалитарности»—внѣшней, государственной, социалистической. Онъ не любилъ ее за то, что она, какъ на примѣръ «проклятая» община, враждебна принципу индивидуальности—единственному принципу, въ лонѣ котораго можетъ развиваться цивилизація вообще и искусство въ особенности. Отъ власти нашъ поэтъ требовалъ самой либеральной опеки, признающей и уважающей человѣческое достоинство въ опекаемыхъ, и вполне искрененъ былъ онъ, когда, восхваляя свой вѣкъ, говорилъ: «я ненавижу деспотизмъ такъ же, какъ я ненавижу Сень-Жюста и Робеспьера и т. д. я готовъ кричать это съ крышъ, но я слишкомъ художникъ, чтобы втискивать это въ художественную работу, и я слишкомъ монархистъ, чтобы нападать на монархію. Но развѣ монархія и то или другое лицо, носящее корону, одно и то же? Нужно быть черезчуръ глупымъ, чтобы на императора Александра II сваливать дѣла и поступки Іоанна IV или Фе-

дора I». При такомъ взглядѣ на власть, разумную, благую, опирающуюся не на силу, а на свой нравственный авторитетъ, признанный тѣми, надъ кѣмъ эта власть поставлена, — нашъ поэтъ, монархистъ самый убѣжденный, могъ себѣ позволить помечтать о далекихъ временахъ нашей жизни, когда властитель былъ патриархальнымъ опекуномъ своей широкой семьи, почти что первый среди равныхъ и когда онъ цѣнилъ въ своей власти главнымъ образомъ то довѣріе, которое ему оказывали его подчиненные. И Толстой, какъ мы знаемъ, любилъ поминать въ своихъ стихахъ блаженные полумифическія времена кіевского эпоса или идилліи и героическія времена новгородской вольницы. Въ этихъ его симпатіяхъ повинна не одна только романтика; и въ своихъ новгородскихъ балладахъ и драмѣ, нашъ поэтъ прикрывалъ романтическимъ вымысломъ современную мысль, почему и патриотизмъ его казался нѣсколько подозрительнымъ черезчуръ яркимъ ревнителямъ національной идеи.

Какъ онъ самъ понималъ эту идею — мы уже знаемъ. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ просвѣщенныхъ патриотовъ, который чувство національнаго достоинства тѣснѣйшимъ образомъ связывалъ съ признаніемъ человѣческаго достоинства за каждымъ человѣкомъ.

X.

Поэзія Толстого — вполне искреннее отраженіе его гуманной личности.

Эту личность поэта можетъ, конечно, игнорировать тотъ, кто оцѣниваетъ его творчество, но если ужъ говорить о связи Толстого какъ человѣка и писателя съ его эпохой, то нельзя умолчать объ этой искренности въ стихахъ, которая была отзвукомъ искренности въ чувствахъ и которую почему-то нѣкоторые критики просмотрѣли, когда утверждали, что въ поэзіи Толстого много аффектаціи. Если она гдѣ была, то никакъ не въ той симпатіи къ униженнымъ и оскорбленнымъ, гонимымъ, мучимымъ и грѣшнымъ, примѣровъ которой такъ много въ его поэзіи.

Положимъ, что всякая поэзія гуманна уже сама по себѣ — но есть художники, которые эту общую гуманность понимаютъ въ нѣсколько болѣе узкомъ смыслѣ, въ смыслѣ возбужденія въ себѣ и въ другихъ чувствъ чисто альтруистическихъ. Такихъ поэтовъ въ эпоху, когда жилъ Толстой, было много и ихъ поэзія, какъ таковая, нерѣдко страдала отъ избытка тенденціознаго гуманизма. Алексѣй Толстой не совершалъ насилія надъ своей поэзіей и въ своихъ созданіяхъ былъ прежде всего художникъ, а затѣмъ уже гуманистъ и притомъ не умышленный, а невольный, т. е. наиболѣе убѣдительный.

XI.

Итакъ, если взять все творчество нашего художника въ его цѣломъ, сопоставить поэтическое міросозерцаніе Толстого съ общимъ направле-ніемъ прогрессивной мысли въ эпоху, когда онъ дѣйствовалъ, то получится очень оригинальный примѣръ сочетанія старыхъ приемовъ художественнаго творчества съ новымъ содержаніемъ. Поэзія Толстого—романтическая поэзія очень строгаго стиля. Все въ ней полно символовъ и намековъ; все отвле-кается отъ жизни дѣйствительной, все говоритъ о будущемъ и прошедшемъ, почти не касаясь настоящаго. А между тѣмъ общій смыслъ и главныя общія духовныя стремленія этого настоящаго проникаютъ собой эту поэзію и придаютъ ей историческое значеніе. Она старый романтическій узоръ, но вышитый по новой канвѣ. И въ этомъ ея оригинальность.

Бывали у насъ въ тѣ годы и новыя пѣсни на новыя темы и старыя пѣсни на старыя, но такого оригинальнаго сочетанія стараго съ новымъ не встрѣчалось. Гончаровъ былъ правъ, когда говорилъ, что Толстой стоитъ совершенно особнякомъ въ русской литературѣ, что онъ внесъ въ нее новый элементъ и что онъ ни въ чемъ на другихъ не похожъ.

Эта мысль заслуживала бы подробнаго развитія и она дополнила бы исторію нашего передоваго, общественнаго движенія шестидесятихъ годовъ новой очень красивой страницей. Некрасовъ не оставался бы столь одинокимъ, и мы бы лишній разъ убѣдились, какой поэтическій смыслъ и какую поэтическую виѣшность имѣла правда того времени, о трезвости, прозаичности и антихудожественной грубости которой такъ часто въ наше время приходится слышать.

Н. Котляревскій.





Мармизовская амбулаторія.

Памяти Ольги Ивановны Стороженко.

Совершенно достаточно бѣлаго обзора специальныхъ статистическихъ данныхъ, чтобы всякій убѣдился, что въ теченіе послѣдней четверти прошлаго столѣтія развитіе земско-медицинскаго дѣла расширилось съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе. Народное здравіе, какъ и народное образованіе, явились одними изъ главнѣйшихъ заботъ земства. Съ введеніемъ земскихъ учрежденій на земскихъ представителей, завѣдывавшихъ «мѣстными нуждами и пользами», была возложена священнѣйшая обязанность заботиться объ охраненіи народнаго здравія. Земство не щадило ни труда, ни времени, ни денегъ, чтобы правильно и возможно шире организовать врачебную помощь страждущему населенію. Послѣ дѣлаго ряда ошибокъ, послѣ частыхъ перемѣнъ различныхъ системъ выработалась, наконецъ, постановка земско-медицинскаго дѣла, удовлетворяющая всѣмъ научнымъ требованіямъ, каковую мы встрѣчаемъ напр. въ Московскомъ, Херсонскомъ, Тверскомъ и др. земствахъ. Правда, не во всѣхъ губерніяхъ врачебная помощь достигла такого развитія, какъ въ названныхъ земствахъ; встрѣчаются земства, которымъ на сѣздахъ врачей въ этомъ отношеніи дѣлаютъ не мало существенныхъ упрековъ; тѣмъ не менѣе нужно подчеркнуть, что за послѣднее время всюду и вездѣ число врачебныхъ участковъ увеличилось.

Посмотрите, что было 20—30 лѣтъ тому назадъ, когда на всю громадную площадь уѣзда приходилось всего два врача. Сплошь и рядомъ радиусъ участка такого врача равнялся 100 верстамъ; врачъ не только не выѣзжалъ на эпидеміи, но зачастую даже не зналъ, что страшная эпидемія, скажемъ, дифтеріи свила себѣ гнѣздо въ отдаленномъ углу его участка и уже унесла много жертвъ... Да и одному не справиться, одному не помочь!

Въ настоящее время наименьшее число врачебныхъ участковъ въ уѣздѣ равняется пяти-шести; радиусъ дѣятельности каждаго въ среднемъ около 15 верстъ.

На призывъ земства сочувственно откликнулись молодые врачи, и

широкой волной хлынули энергичные и научно подготовленные люди, готовые на безпредѣльное самоотверженіе, готовые ежеминутно оказать свою любовь, сочувствіе и помощь страждущему, готовые жертвовать своею жизнью. Развѣ найдется кто-нибудь, кто не зналъ бы, что число земскихъ врачей увеличилось втрое, вчетверо сравнительно съ тѣмъ числомъ, которое мы встрѣчаемъ въ земствахъ 20—30 лѣтъ тому назадъ¹⁾; явились эпидемическіе и санитарные врачи, болѣе многочисленный и лучше подготовленный низшій медицинскій персоналъ; развились небольшія уѣздныя больницы съ постоянными кроватями и стационарные пункты. Достаточно для примѣра привести число амбулаторныхъ больныхъ по Дмитровскому уѣзду Московской губерніи²⁾, чтобы цифровыми данными еще лишній разъ подтвердить прочно установленный фактъ, что въ теченіе послѣдней четверти прошлаго столѣтія медицинская помощь крестьянскому населенію значительно увеличилась количественно и улучшилась качественно.

Т а б л и ц а I.
Число амбулаторныхъ больныхъ.

Годъ.	Въ абсолютныхъ числахъ.	Въ процентахъ къ населенію.
1878	12,049	8,96
1879	14,910	11,08
1880	16,939	12,60
1881	16,662	12,50
1882	17,602	13,01
1883	17,662	13,10
1884	23,445	17,44
1885	27,262	20,19

¹⁾ Заимствуемъ нѣкоторыя относящіяся сюда данныя изъ „Рус. Зем. Мед., составл. Осиповымъ, Поповымъ и Куркинымъ. М. 1899 г., стр. 90:

Губерніи:	Число земскихъ врачей.			Число вспомогательнаго земскаго медицинскаго персонала.		
	1870 г.	1880 г.	1890 г.	1870 г.	1880 г.	1890 г.
Владимирская	29	36	57	76	137	175
Вологодская	5	23	31	31	148	192
Екатеринославская	21	34	53	57	143	232
Курская	33	51	75	127	211	271
Московская	24	41	68	87	114	155
Олонекская	5	8	20	17	53	129
Орловская	20	34	57	58	107	181
Полтавская	38	57	95	132	291	384
Рязанская	23	36	50	60	110	174
Симбирская	24	43	46	82	161	180
Смоленская	19	29	42	48	110	123
Херсонская	25	43	67	88	157	212
Черниговская	23	53	74	92	201	271

²⁾ Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Московской Губерніи. Отдѣлъ санитарный. Т. V. В. I. М. 1890. Стр. 22—23.

Что было лишь идеей, мечтой прежде, то въ послѣднія десятилѣтія стало дѣйствительностью, получило практическое осуществленіе; тогда только говорили и желали, теперь же дѣйствуютъ гуманные труженики, болѣе подготовленные, а потому и болѣе увѣренные въ плодотворности своей работы...

Тѣмъ не менѣе, не всѣ деревни и села даннаго уѣзда въ одинаковой степени пользуются врачебной помощью. Само собою понятно, что для крестьянъ, живущихъ ближе къ больницѣ или амбулаторіи, вообще ближе къ врачу, эта помощь доступнѣе, чѣмъ для живущихъ въ периферіи врачебнаго участка; приходится ѣздить, лошадь не всегда свободна, поэтому число посѣщеній изъ отдаленныхъ селъ всегда меньше, чѣмъ изъ окрестныхъ. Много еще уѣздовъ, въ которыхъ дальнія села расположены въ 15—20 верстахъ отъ врачебнаго пункта или въ которыхъ мало врачей. Слѣдствіемъ этихъ условій малой доступности врачебной помощи является печальное обстоятельство,—половина населенія остается почти безъ врачебной помощи.

Земство увеличиваетъ число врачебныхъ участковъ, resp. врачей, до извѣстнаго предѣла; медицинскій бюджетъ не можетъ все увеличиваться и увеличиваться,—не хватаетъ средствъ... Тутъ то и открывается широкій просторъ для частной инициативы; имущій болѣе и болѣе сильный приходитъ на помощь земству и заботится о бѣдномъ и слабомъ¹⁾.

Я лично знаю нѣсколько уголковъ въ различныхъ губерніяхъ, гдѣ на частныя средства гуманнаго помѣщика содержится амбулаторія или больница, функционирующія временно, въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ въ году, или непрерывно въ теченіе всего года и подающія медицинскую помощь (совѣтъ и лекарство) безвозмездно всѣмъ безъ различія крестьянамъ, обращающимся за совѣтомъ. Здѣсь нѣтъ мѣста мотивамъ pro domo sua; гуманныя идеи помѣщика имѣютъ здѣсь широкое практическое осуществленіе.

Одна изъ такихъ амбулаторій—амбулаторія Николая Ильича Сторо-

¹⁾ Само собою понятно, что я не отношу сюда врачебную помощь на заводахъ, существованіе которой требуется закономъ,—это, такъ сказать, вынужденная забота о здоровьѣ рабочихъ. Еще меньше желаю говорить о больницахъ большихъ имѣній, гдѣ помощь подается лишь крестьянамъ, работающимъ въ данномъ имѣніи. Однако и такіе случаи не часты; о нихъ обыкновенно какъ нибудь случайно услышишь, еще рѣже встрѣчаются въ общей прессѣ замѣтки, подобныя слѣдующей: „Феллинскій уѣздъ. Недавно скончался здѣсь эстляндскій ландратъ г. фонъ-Грюневальдтъ. Въ ущербъ себѣ, по словамъ мѣстныхъ газетъ, онъ закрылъ всѣ принадлежащія ему корчмы и даже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ уплачивалъ аренду за корчму одного изъ сосѣднихъ имѣній съ тѣмъ, чтобы въ этой корчмѣ не производилось продажи спиртныхъ напитковъ. На свои средства содержалъ три школы и въ случаяхъ болѣзни своихъ рабочихъ заботился о врачебной помощи и лекарства отпускалъ бесплатно“. Россія № 707. 16 апр. 1901 г.

женка, основаніе которой положила его покойная жена Ольга Ивановна. Всегда чуткая къ нуждамъ и горю каждаго, отзывчивая къ людскимъ страданіямъ, она ясно понимала недостатокъ врачебной помощи для жителей сосѣднихъ съ своимъ имѣніемъ селъ и учредила въ 1884 году на средства Николая Ильича амбулаторію на хуторѣ Мармизовка.

Небольшой хуторъ Мармизовка находится на сѣверной окраинѣ Лохвицкаго уѣзда, Полтавской губерніи. Два ряда избъ, расположенныхъ надъ яромъ, образуютъ на одной сторонѣ его улицу; на противоположной сторонѣ яра стоитъ усадьба Н. И. Стороженка, отдѣляемая отъ хутора общимъ выгономъ.

Въ Лохвицкомъ уѣздѣ, принадлежащемъ къ бѣднѣйшимъ уѣздамъ Полтавской губерніи ¹⁾, гдѣ обложеніе съ десятины всего лишь 6 коп., имѣетъ мѣсто срочно-разъѣздная или выѣздная система, т.-е. врачебные пункты находятся въ какомъ-либо большомъ селѣ; врачъ ежедневно принимаетъ тамъ проходящихъ больныхъ и разъ или два въ недѣлю, въ опредѣленные дни, дѣлаетъ разъѣзды по своему участку, посѣщая каждый разъ извѣстныя села; кромѣ того, онъ выѣзжаетъ и по первому требованію больныхъ. Распределение врачебныхъ участковъ въ 1884 году было таково, что помощью врачей пользовались главнымъ образомъ жители южной половины уѣзда, тогда какъ жители сѣверной части должны были, за небольшими исключеніями, довольствоваться помощью фельдшеровъ.

Хуторъ Мармизовка и сосѣднія съ нимъ деревни расположены въ 18 верстахъ отъ своего врача, пунктъ котораго находится въ с. Ивахникахъ, въ 5 верстахъ отъ фельдшерскаго участка села Озерянгъ и приблизительно въ 30 верстахъ отъ городской больницы, единственной тогда больницы въ уѣздѣ. Положеніе хутора на окраинѣ уѣзда, отдаленность врачебнаго пункта, до котораго съ трудомъ можно добраться весной и осенью, невѣжественность и, не будемъ скрывать, недобросовѣстность сосѣднихъ фельдшеровъ, являлись вполне понятными причинами, почему жители предпочитали прибѣгать къ всемогуществу шептухъ, бабокъ, колдуновъ, знахарей и т. п. и подолгу оставались безъ всякой разумной медицинской помощи. Мармизовка и вся сѣверная окраина Лохвицкаго уѣзда видѣла тогда врача раза два въ мѣсяць; онъ пріѣзжалъ въ опредѣленные дни, но рѣдко въ опредѣленную часъ, въ волость села Озерянгъ, гдѣ принималъ больныхъ сосѣднихъ селъ, которыхъ пригнала сюда крайняя

¹⁾ Сборникъ по хозяйственной статистикѣ Полтавской губерніи. Т. XIII. Лохвицкій уѣздъ. Полтава. 1892.

необходимость, и раздавалъ лекарства изъ своей дорожной очень скудной аптечки; часто приходилось предлагать прійти за лекарствомъ въ Ивахники, т.-е. за 23 версты отъ Озерянъ!

Итакъ, географическія условія дѣлали медицинскую помощь недоступной для населенія Мармизовки и окрестныхъ сель. Между тѣмъ потребность въ ней была, что видно изъ тѣхъ многочисленныхъ посѣщеній, которыя сдѣланы были крестьянами въ первый же годъ открытія амбулаторнаго приѣма въ Мармизовкѣ.

Амбулаторія, основаніе которой, какъ сказано, было положено въ 1884 году, развивалась постепенно. Были отведены 2 большихъ комнаты съ сѣнями, занимавшія половину флигеля; выписанныя лекарства и перевязочный матеріалъ были разставлены въ два шкапа. Два большихъ стола, нѣсколько скамеекъ, скамья-диванъ для изслѣдованія больныхъ и рукомыльникъ дополняли необходимую обстановку. Приѣмы приходящихъ больныхъ были назначены на воскресенье, какъ день наиболѣе удобный для крестьянъ. Больныхъ первые два года принималъ участковый врачъ Я. Н. Андріяшевъ, пріѣзжавшій всегда по воскресеньямъ; приѣмы всегда начинались въ опредѣленный часъ и крестьянамъ не приходилось подолгу ждать; постепенно они были приучены къ тому, что всякому пріѣзжавшему въ воскресенье въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ непременно будетъ оказана помощь, и именно врачемъ.

На развитіе и дальнѣйшее процвѣтаніе всякаго дѣла имѣетъ вліяніе личность перваго руководителя; и мы не можемъ поэтому не указать, что компетентность, въ особенности же доброта и привѣтливость д-ра Я. Н. Андріяшева сразу снискали довѣріе и расположеніе населенія къ мармизовской амбулаторіи.

Въ теченіе 1885—6 года были пріобрѣтены хирургическіе инструменты, что давало возможность производить амбулаторно нѣкоторыя хирургическія операціи.

Къ сожалѣнію, мы не располагаемъ точными цифровыми данными относительно числа больныхъ, обращавшихся въ 1884 и 1885 году, и распредѣленія ихъ по селамъ. Приѣмъ, какъ и во всѣ послѣдующіе годы, производился въ теченіе мая, іюня, іюля и августа мѣсяцевъ, и было принято около 600—700 человекъ въ теченіе лѣта главнымъ образомъ изъ жителей Мармизовки, Макушихи (1 верста), Брагинецъ (3 версты) и Озерянъ (5 версты).

Довѣріе населенія къ амбулаторіи расло изъ года въ годъ, о чемъ краснорѣчивѣе словъ говорятъ слѣдующія цифры, составленныя по амбулаторнымъ книгамъ.

Таблица II.

Числа больныхъ мармизовской амбулаторіи.				
Годъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Дѣтей.	Всего
1886	343	389	222	954
1887	401	379	228	1008
1888	509	546	246	1301
1889	551	586	309	1446
1890	663	694	341	1698
1891	843	853	402	2102
1892	870	919	586	2375
1893	647	746	356	1749
1894	826	997	647	2470
1895	845	864	497	2206
1896	660	723	499	1879
1897	724	781	542	2047

Мармизовской амбулаторіей въ теченіе ея четырнадцатилѣтняго существованія завѣдывали семь врачей: *Андріяшев* — 2 года, *Гуринъ* — 4 года, *Осадчій* — 1 годъ, *Сънченко* 1 годъ, *Монкевичъ* — 2 года, *Статкевичъ* — 4 года (последніе) и *Якобсонъ* — 1 годъ (совмѣстно со мною). Запасы медикаментовъ и перевязочнаго матеріала выписывались изъ Южно-русскаго склада аптекарскихъ товаровъ въ Кіевѣ ежегодно на сумму 300—400 руб.

Въ іюньскія и іюльскія воскресенья нерѣдко приходилось принимать 100 и даже 150 больныхъ. Поэтому опытъ научилъ врачей и обитателей мармизовской усадьбы, изъ которыхъ каждый принималъ самое дѣятельное участіе въ приѣмъ больныхъ, готовится къ приѣмному дню накануне. Въ субботу, начиная съ 6 часовъ вечера, всѣ дамы подъ руководствомъ врача принимались за отвѣшиваніе различнѣйшихъ порошковъ и приготовленіе марлевыхъ биитовъ. Среди веселой бесѣды и шутокъ работа спорилась; развились спеціальности, — одни, испытавшія на себѣ благотворное дѣйствіе, предпочитали заготовку исключительно «магическихъ порошковъ для желудка» (висмутъ, сода и белладонна); были спеціалистки, которыя лучше врача знали сколько приблизительно нужно порошковъ хинина по 5 гранъ и сколько по 3 или по 1 грану; одна изъ нихъ всегда упорно дѣлала очень мало порошковъ каломеля, стереотипно поясняя, что причина этого не ея нежеланіе, а «твердое убѣжденіе во вредѣ каломеля для организма». Во всякомъ случаѣ благодаря доброму участію и помощи обитательницъ Мармизовки заготовка порошковъ быстро подвигалась впередъ и чрезъ 2—3 часа врачъ уже имѣлъ на завтра запасъ порошковъ

хинина, салицилового натра, фенацетина, салола, висмута, каломеля, коденна, опиума, доверовыхъ и мн. др.

Юнь. Съ 4—5 часовъ утра на выгонѣ слышится скрипъ воевъ, подъѣзжающихъ къ усадьбѣ и останавливающихся возлѣ людскихъ построекъ. Медленно и вяло распрягаютъ челоѵики или жинки коней, даютъ имъ сѣна, и сами не спѣша принимаются за ѣду. Къ 8—9 часамъ утра почти весь громадный выгонъ заставленъ возами и имѣеть видъ ярмарки. Изрѣдка раздается жалобный лай собаки, обиженной недружелюбной незнакомкой; къ полудню становится жарко; у собакъ пропадаетъ охота ссориться, и онѣ мирно лежатъ въ тѣни воевъ. Людей на выгонѣ теперь мало; тамъ и сямъ кто-нибудь присматриваетъ за лошадьми. Всѣ прѣхавшіе находятся во дворѣ возлѣ флигеля и ждутъ очередной записи. Въ 7¹/₂ часовъ, обыкновенно, фельдшеръ или кто-либо изъ мармизовскихъ добровольцевъ начинаетъ записывать больныхъ по времени прѣзда. Поднимаются споры! Вотъ титка на высочайшихъ нотахъ убѣждаетъ, что она прѣхала со своими мальчиками раньше этого дѣда, на что дѣдъ со спокойной укоризной удивляется, какъ баба не замѣтила, что всю дорогу, отъ самыхъ Озерянъ ея «коняка» выщипывала съ задка его воза сѣно, и тогда баба молчала, словно воды въ ротъ набрала, а теперь раскричалась; откуда только голосъ взялся?! Хохоть... Предпочтеніе отдается прѣхавшимъ издалека. А вотъ съ пожелтѣвшими уже сѣдыми волосами Семень Любченко, слабый 70-лѣтній старикъ изъ Жабокъ; онъ прѣхалъ теперь уже одинъ, безъ жены, въ числѣ первыхъ, но никакъ не можетъ протиснуться къ фельдшеру; наконецъ, его записываютъ, какъ того требуетъ справедливость; со слезами въ голосѣ рассказываетъ онъ, что только что схоронилъ свою 65-лѣтнюю старуху; у нихъ обоихъ — ракъ внутреннихъ органовъ; онъ знаетъ, что его болѣзнь неизлѣчима, но ѣздитъ за лекарствомъ, которое уменьшаетъ его боли...

Записавшіеся успокоиваются и садятся — кто на солнцепекѣ, кто на «лавочкѣ» въ тѣни громадной старой груши,—и начинается обоюдное объясненіе своихъ страданій. Бабѣ, уложившей своего мальчика, Корпидовская жинка, прошедшая 20 версть пѣшкомъ, рассказываетъ, что она уже пять лѣтъ лѣчится, много разъ ходила ко всякимъ бабкамъ, даже до шептухи Палашки добралась; та надъ ней шептала, молилась, сплевывала въ сторону, мяла ей животъ и рѣшила, что болѣзнь «отъ сглазу»; послѣ этого въ животѣ появились сильнѣйшія боли, но болѣзнь не прошла; она второй разъ уже прѣзжаетъ сюда «къ московскимъ докторамъ»; ей тогда сказали, что у нея—опухоль въ животѣ, нужна операція, иначе она не поправится; если и теперь ничего другого не придумаютъ,—придется рѣшиться — житья нѣтъ! Баба съ мальчикомъ назидательно совѣтуетъ ей обратиться къ «главному доктору», какъ называли онѣ Николая Ильича; что онъ скажетъ, такъ и поступать...

Болезнь—серьезна, но малороссійскій юморъ и здѣсь существуетъ; какая-нибудь острота или шутка поднимаетъ вдругъ взрывъ хохота.

Съ 8 часовъ утра начинается приемъ больныхъ; ихъ поочереды вызываютъ въ сѣни, а затѣмъ въ приемную. Въ приемной находятся два врача, одинъ частный—мармизовскій, другой участковый, пріѣзжавшій въ 1895—7 г. изъ с. Ивахниковъ (д-ръ Матвѣевскій). За этимъ же столомъ сидитъ всегда и Николай Ильичъ, помогающій готовить лекарства; дальше, за другимъ столомъ—фельдшеръ, раздающій медикаменты. Помѣщеніе небольшое, июньская жара даетъ себя чувствовать, надоедливыя мухи не знаютъ гдѣ имъ сѣсть; говоръ предъ флигелемъ почти совсѣмъ прекратился, всѣ напряженно ждутъ своей очереди. Врачи, раздѣливъ между собою специальности, изслѣдуютъ больныхъ, назначаютъ лекарство и толково объясняютъ, что дѣлать и какъ ихъ принимать. Кромѣ фельдшера тутъ же находятся 2—3 добровольныхъ помощника, принимающихъ участіе въ перевязкахъ и т. п. Николай Ильичъ помогаетъ въ теченіе всего дня, разговариваетъ съ крестьянами объ ихъ хозяйствѣ, урожаѣ, нуждахъ, пожарѣ, утѣшаетъ и успокоиваетъ, даетъ совѣты, конечно не медицинскіе. Однако, убѣжденіе населенія, что Николай Ильичъ тоже докторъ, и очень хорошій, — иначе какъ его больница такъ хорошо могла лѣчить, — очень сильно; поэтому жинки, желающія получить совѣтъ отъ «главнаго доктора», рассказываютъ, отвѣчая на вопросы врача, симптомы болѣзни въ сторону Николая Ильича и изрѣдка поглядываютъ на врача, чтобы не обидѣть и его.

Нѣкоторые больные, требовавшіе перевязокъ или болѣе частыхъ наблюденій, приходили и въ другіе дни недѣли; одинъ изъ дней назначался спеціально для операций. Кромѣ приемовъ въ самой Мармизовкѣ, врачи ея амбулаторіи выѣзжали въ сосѣднія села, что часто способствовало раннему распознаванію и болѣе быстрому прекращенію эпидеміи.

Въ мармизовскую амбулаторію пріѣзжали крестьяне отдаленныхъ пунктовъ (30—40—45—50 верстъ) не только Лохвицкаго, но и Прилукскаго, Роменскаго и Пирятинскаго уѣздовъ; было нѣсколько посѣщеній даже изъ Черниговской губерніи, т. е. за 60—70 верстъ (изъ Крапивнаго, Рубановки и Григоровки). Довѣріе крестьянъ къ амбулаторіи служить яснымъ указаніемъ той пользы, которую она приносила; всякій совѣтъ «Московскихъ докторовъ», какъ называли крестьяне врачей мармизовской амбулаторіи, выслушивался съ большимъ вниманіемъ и исполнялся съ педантичностью, касалось ли это лекарства или необходимости лечь въ больницу для операціи. Изъ таблицы процентныхъ отношеній числа принятыхъ мужчинъ съ одной стороны и женщинъ и дѣтей съ другой видно, что больше всего обращались за совѣтомъ женщины и дѣти, особенно ближнихъ селъ и деревень, что всегда указываетъ на доступность амбулаторіи.

Т а б л и ц а III.

Процентныя отношенія чиселъ больныхъ.

Годы.	Мужчинъ	Женщинъ и дѣтей.
1886	35,8	64,2
1887	39,7	60,3
1888	39,1	60,9
1889	38,1	61,9
1890	39,0	61,0
1891	40,0	60,0
1892	36,6	63,1
1893	36,9	63,1
1894	36,0	64,0
1895	38,3	61,7
1896	35,1	64,9
1897	35,3	64,7

На таблицѣ IV-ой (стр. 108) представлено распредѣленіе по уѣздамъ, селамъ, деревнямъ и хуторамъ больныхъ, обращавшихся въ мармизовскую амбулаторію въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ 1894 года. Села и деревни расположены въ возрастающемъ разстояніи отъ х. Мармизовки, обозначеномъ на таблицѣ въ верстахъ. Въ столбцѣ «Всего» стоитъ общая сумма больныхъ даннаго уѣзда, принятыхъ въ 1894 году.

Главная масса больныхъ приходится, что вполне понятно, на х. Мармизовку и сосѣднія съ нимъ Макушиху, Брагинцы и Озеряне. Хотя въ с. Озерянахъ находится фельдшерскій пунктъ, тѣмъ не менѣе оттуда въ 1894 году было 476 больныхъ, сознававшихъ, что помощь врача въ качественномъ отношеніи стоитъ гораздо выше помощи фельдшера, — лишняя иллюстрація, что нужно уничтожить самостоятельные фельдшерскіе пункты, замѣнивъ ихъ врачебными. Остальныя посѣщенія приходятся на болѣе отдаленныя деревни Лохвицкаго же уѣзда.

Просматривая таблицу IV, читатель увидить, что изъ сосѣднихъ уѣздовъ только Прилукскій обращался въ помощи Мармизовки; въ 1894 году было принято оттуда 628 больныхъ. Единичныя посѣщенія изъ другихъ уѣздовъ мы можемъ отбросить. На первый взглядъ такое явленіе вполне объясняется сосѣдствомъ съ х. Мармизовкой. Мармизовка расположена на сѣверной окраинѣ Лохвицкаго уѣзда, граничащаго здѣсь съ сѣверозапада съ Прилукскимъ и съ сѣверовостока съ Роменскимъ уѣздами. Волошиновка Роменскаго уѣзда, поселяне которой пріѣзжали въ Мармизовку, находится отъ нея на разстояніи около 20 верстъ, а ближайшія деревни Прилукскаго уѣзда, напр. Савинцы, въ 8—10 верстахъ. Почти на такомъ же

Т а б л и ц а IV.

Распределение больныхъ 1894 года по селамъ и деревнямъ.

Лохвицкій уездъ.

	Муж.	Жен.	Дѣт.	Всего.
Мармизовка	75	121	72	
Макушиха (1 вер.)	42	37	58	
Брагинцы (3 вер.)	86	85	73	
Озеряне (5 вер.)	160	203	113	
Бербеницы (6 вер.)	40	57	24	
Жабки (8 вер.)	22	31	3	
Оснягъ (8 вер.)	21	26	14	
Залатыха (9 вер.)	12	11	9	
Леляки (12 вер.)	20	15	11	
Варва (15 вер.)	15	17	16	
Ивахники (15 вер.)	2	2	3	
Ярошевка (15 вер.)	12	17	9	
Гвѣдинцы (15 вер.)	8	10	5	
Калиновцы (15 вер.)	10	16	3	
Бѣлоусовка (17 вер.)	2	1	1	
Грицовка (20 вер.)	19	23	13	
Нов. Гребля (25 вер.)	10	14	8	
Гольцы (30 вер.)	8	8	6	
Хутора	12	13	9	1733

Прилуцкій уездъ.

Хуколовщина (4 вер.)	11	11	9	
Лебединцы (10 вер.)	5	19	23	
Савинцы (10 вер.)	16	12	8	
Корпиловка (15 вер.)	40	54	32	
Дехтяры (16 вер.)	13	19	16	
Гурбинцы (17 вер.)	16	17	9	
Подоль (17 вер.)	18	7	5	
Харитоновка (17 вер.)	6	5	1	
Горобѣвка (18 вер.)	29	32	14	
Иванковцы (19 вер.)	30	26	19	
Сребное (20 вер.)	1	3	1	
Крисляны (22 вер.)	1	2	—	
Ладинь (25 вер.)	2	6	—	
Березовка (26 вер.)	11	14	7	
Ярошевка (40 вер.)	9	10	16	
Хутора	6	9	8	628

Пирятинскій уездъ.

Деймановка (22 вер.)	1	3	1	5
--------------------------------	---	---	---	----------

Роменскій уездъ.

Волошиновка (20 вер.)	18	22	16	
Глинскъ (25 вер.)	16	15	10	97

Черниговская губернія.

Григоровка (60 вер.)	1	4	2	7
--------------------------------	---	---	---	----------

разстояніи находятся Савинцы и отъ врачебнаго пункта своего уѣзда с. Сребнаго, являющагося центромъ для Дехтярей, Савинецъ, Лебединецъ, Корпиловки, Харитоновки, Подола, Березовки, Секиринецъ, Охонекъ, Переволочнаго, Ивановецъ и многихъ хуторовъ, съ радіусомъ отъ 5 до 15 верстъ. Больные всѣхъ этихъ селъ и деревень, какъ и изъ Ярошевки, Верескуновъ и даже изъ Иваницы, гдѣ есть врачебный пунктъ, очень охотно ѣздили въ отдаленную Мармизовку, тогда какъ могли бы съ большими удобствами обращаться въ с. Сребное или Иваницу и вмѣсто 25—30 и даже 40 верстъ сдѣлать всего 5—10 верстъ.

Какая же причина заставляла ихъ предпочитать Мармизовку, частный пунктъ чужого уѣзда, амбулаторіямъ и больницамъ своего уѣзда?

Разспросимъ самихъ крестьянъ.

Въ Прилукскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи, со всякаго обращающагося въ амбулаторію больного взимаютъ стоимость лекарьствъ земству; они принадлежатъ къ недостаточной части поселянъ, не могутъ платить даже 5—10 коп. за лекарство и предпочитаютъ получить лекарство даромъ изъ Мармизовской амбулаторіи, хотя для этого нужно сдѣлать два три десятка верстъ на своемъ, а чаще на сосѣдскомъ возѣ.

Въ Прилукскомъ уѣздѣ до сихъ поръ царить возмутительная по своей несправедливости такъ наз. платная система, когда больной платитъ земству за лекарство. Такая постановка дѣлаетъ медицинскую помощь недоступной для бѣднѣйшаго населенія, другими словами—медицина здѣсь не достигаетъ своей цѣли. Несправедливость такой системы вполне очевидна; ничего не можетъ быть яснѣе, что нельзя же взимать платы за лекарство съ крестьянъ и безъ того уже платящихъ налогъ на медицину; получается система *добавочной приплаты*, какъ я ее называю; и эта приплата распределяется не равномерно на всѣхъ жителей уѣзда, а ложится бременемъ на большую часть населенія, т.-е. на неспособную теперь по болѣзни къ работѣ;—въ результатѣ получается принудительный поборъ, пользование несчастьемъ ближняго.

Къ счастью, эта система отживаетъ свой вѣкъ; она существуетъ еще кое-гдѣ въ старыхъ дуплахъ земской медицины. Она примѣнялась много разъ во многихъ уѣздахъ Россіи, много есть опытныхъ данныхъ, показывающихъ не только ея непригодность, но и вредъ. Обширный статистическій матеріалъ по введенію и результатамъ этой системы добавочной приплаты, которымъ я располагаю, составляетъ предметъ особой монографіи и вскорѣ появится въ печати.

Считаю не лишнимъ привести отсюда нѣсколько словъ о развитіи земской медицины въ Прилукскомъ уѣздѣ, чтобы показать, какъ трудно исправить дѣло, плохо поставленное въ началѣ.

..... „До 1851 года здѣсь тратилась на человѣка $\frac{1}{3}$ коп. на медицину, тогда, конечно, крайне жалкую! ¹⁾ И до 1871 года уѣздъ не былъ раздѣленъ на врачебные участки; на весь уѣздъ былъ только одинъ врачъ, да и то *случайно приглашенный*; былъ еще городской врачъ, завѣдывавшій городской больницей; кромѣ этихъ двухъ въ это самое время половиной уѣзда, Иванковской больницей и приемомъ сифилитиковъ завѣдывалъ по приглашенію управы *заштатный дьячокъ Фурса*. Приходится изумляться, какую помощь могли оказывать уѣзду этотъ „случайно приглашенный“, т. е. совершенно незнакомый съ уѣздомъ врачъ, и этотъ дьячокъ Фурса, нахватавшійся, очевидно, гдѣ-то кое-какихъ свѣдѣній по медицинѣ! Но въ 1872 году управа додумалась, что подобный цѣлитель мало принесетъ пользы, и пригласила врача.

Въ 1879 году ²⁾ собраніе постановило завести въ каждой сельской сборнѣ особыя книги за печатью управы, припечатанныя къ столамъ, въ которыя должны быть записываемы заявленія больныхъ о желаніи обратиться къ помощи фельдшера; въ свою очередь фельдшеръ обязанъ сдѣлать отмѣтку въ той же книгѣ о пособіи, какое имъ было оказано больному, и о тѣхъ лекарствахъ, какія имъ были выданы. Какая длинная канитель подачи помощи!⁴

Въ теченіе этого періода земство то взимало за лекарство добавочную приплату, то отмѣняло ее. Въ 1881 году собраніе въ видѣ опыта учредило выдачу лекарствъ безъ приплаты на сумму 3000 руб. въ годъ; но въ слѣдующемъ же году отмѣнило это постановленіе, оставивъ всего 1000 р. на раздачу лекарствъ бѣднымъ, а всѣмъ вообще входящимъ больнымъ лекарства отпускались по дѣйствительной ихъ стоимости земству. Въ 1883 г. земство находило, вѣроятно, что бѣднымъ больнымъ крестьянамъ ужъ очень дешево обходится леченіе, поэтому на всѣ лекарства, отпускаемыя входящимъ больнымъ, стали начислять 50% сверхъ ихъ стоимости!

И этотъ возмутительный добавочный сборъ, помимо существовавшаго обязательнаго налога на медицину, должны были собирать какъ врачи, такъ и фельдшера. Большой крестьянинъ долженъ былъ платить за лекарство, выдаваемое ему фельдшеромъ. Лучшие фельдшера откровенно сознаются въ недостаточности своего медицинскаго образованія и не всегда рискуютъ лечить самостоятельно; фельдшеръ не всегда правильно распознаетъ болѣзнь и въ большинствѣ случаевъ даетъ лекарство наугадъ или *ut aliquid detur*! А больной, получая такое лекарство, долженъ платить за невѣжество фельдшера. Не безызвѣстно, кромѣ того, стремленіе фельдшеровъ выдавать лекарства самыхъ вычурныхъ формъ и составовъ; иногда получается составъ, гдѣ компоненты взаимно уничтожаютъ другъ друга, а между тѣмъ крестьянинъ долженъ заплатить за лекарства своему ближайшему фельдшеру, и его послѣдніе иногда гроши являются непродуцированными выброшенными!

Прилукское земство все-таки уразумѣло, что качество помощи врача выше помощи фельдшера, поэтому въ 1884 году 50% надбавка была сброшена собраніемъ съ лекарствъ, отпускаемыхъ фельдшерами; съ лекарствъ же отпускаемыхъ врачами, 50% сборъ продолжался. Въ 1885 году прекра-

¹⁾ Земско-Медицинскій сборникъ В. IV. Москва 1893 г. Обр. Д. П. Жбанковымъ. Стр. 93.

²⁾ Земскій ежегодникъ за 1879 г. СПб. 1882.

тилось и это взиманіе 50% надбавки и установленъ настоящій порядокъ... Теперь больные платятъ за лекарства ихъ стоимость земству; бѣднымъ (на что нужны свидѣтельства) и заразно-больнымъ лекарства выдаются безъ приплаты; но приплату взимаютъ опять и фельдшера“...

Итакъ, мармизовская амбулаторія имѣетъ еще одну заслугу: въ теченіе четырнадцати лѣтъ она исправляла ошибку и несправедливость прилуцкаго земства, выдавая бесплатно лекарства жителямъ восточной половины этого уѣзда.

Лохвицкая уѣздная управа, увлеченная, въ лицѣ своего предсѣдателя А. Н. Ходолея, дурнымъ примѣромъ своего сѣвернаго сосѣда, Прилуцкаго уѣзда, хотѣла и своемъ уѣздѣ ввести систему добавочной приплаты. 23 іюля 1896 года была созвана комиссія подъ предсѣдательствомъ А. Н. Ходолея, которая должна была между прочимъ обсудить и этотъ вопросъ; достаточно было нѣсколькихъ словъ о сущности земской медицины, сказанныхъ Н. И. Стороженко, и краткаго историческаго очерка этой системы, приведеннаго мною, чтобы вопросъ о добавочной приплатѣ былъ изъятъ изъ обсуждения. На томъ же засѣданіи комиссія постановила: «Перевести постоянное пребываніе врача изъ с. Ивахниковъ въ с. Бербеницы, потому что въ этомъ участкѣ с. Бербеницы занимаетъ центральное положеніе: помощь врача будетъ доступнѣе, безъ ущерба для жителей Ивахниковъ, для такого напр. поселенія, какъ с. Озеряне, находящагося на противоположной окраинѣ участка». XXXII очередное уѣздное земское собраніе утвердило это постановленіе комиссіи, и врачебный пунктъ былъ съ слѣдующаго года переведенъ въ с. Бербеницы, отъ котораго Мармизовка и Макушиха находятся въ 5 верстахъ, Брагинцы въ 8, а Озеряне въ 10 верстахъ. Медицинская помощь для жителей сѣверной окраины Лохвицкаго уѣзда съ переводомъ врачебнаго участка въ с. Бербеницы сдѣлалась болѣе доступной, и Мармизовская амбулаторія въ сентябрѣ 1897 года прекратила свою дѣятельность.


За четырнадцатилѣтній періодъ существованія, съ 1884 по 1897 г. включительно, Мармизовская амбулаторія, работая ежегодно въ теченіе четырехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, подала помощь 22535 больнымъ.

Въ заключеніе я долженъ сказать, что появленіе въ печати специальныхъ отчетовъ о дѣятельности частныхъ амбулаторій и больницъ было бы очень желательно; такіе отчеты могли бы составить интересную страницу въ исторіи развитія земской медицины. Они показали бы, въ какой доль частная инициатива принимаетъ участіе въ дѣлѣ распространенія разумной медицинской помощи въ народъ и тѣмъ способствуетъ уничтоженію нѣкоторыхъ нелѣпыхъ предрасудковъ и грубыхъ суевѣрій.

Москва, 1901 года,
ноября 10 дня.

Павелъ Статкевичъ.





Бомарше—человѣкъ, Бомарше—писатель.

Французская литература XVIII вѣка въ лицѣ гениальныхъ писателей этой великой, но полной глубокими противорѣчіями эпохи, даетъ поразительные примѣры противоположной двойственности между духовной личностью, съ одной стороны, и ролью писателя, съ другой. Безсмертный фернейскій патриархъ, царь мысли XVIII вѣка, въ исторіи своей личной жизни и писательской дѣятельности представляетъ неразрывное сочетание удивительной умственной мощи и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ недостаточно высокаго нравственнаго уровня развитія. Бомарше называетъ себя ученикомъ Вольтера. Вольтеръ же, обращаясь къ своему любимцу Бомарше, говоритъ: «Теперь только вся надежда на Васъ». Въ натурахъ и въ судьбѣ этихъ двухъ писателей много сходнаго. Но это сходство въ основѣ сводится къ тому, что Бомарше представляетъ примѣръ еще значительно большей противоположности, какъ человѣкъ и какъ писатель, чѣмъ Вольтеръ. Въ «Преступной матери»—самомъ послѣднемъ произведеніи Бомарше—есть характерный діалогъ между Бежарсомъ и Сузанной. «Начать съ того,—говоритъ ей Бежарсъ,— что есть въѣдъ только двѣ пружины, вертяція всѣмъ въ мірѣ: мораль и политика. Мораль, какъ бы ни была она слаба, состоитъ въ томъ, чтобы быть справедливымъ и правдивымъ; это, говорятъ, ключъ отъ добродѣтелей.

Сузанна: Ну а политика?

Бежарсъ: А! Искусство создавать факты; играя господствовать надъ событіями и людьми; цѣль ея—интересъ, интрига—средство. Постоянно небогатая истинами ея строгія и широкія понятія дѣйствуютъ ослѣпляющимъ образомъ, какъ призма. Глубокая, какъ Этна, она горитъ и гремитъ задолго до взрыва; но въ моментъ изверженія ничто не остановитъ ея; ей необходимы высокіе таланты: одна лишь совѣстливость можетъ быть ей вредна, въ этомъ заключается тайна дипломатическихъ успѣховъ». Первая пружина, т. е. справедливость и правда является главною дѣй-

ствующею силою въ художественномъ творчествѣ автора Трилогіи, вторая — т.-е. искусство создавать факты главнымъ факторомъ въ жизненныхъ успѣхахъ гениальнаго авантюриста. Но черты человѣка просачиваются въ произведенія писателя, и высшіе общественные идеалы писателя въ періодъ расцвѣта силъ жизни являются двигателями возвышенныхъ поступковъ, которые останутся памятными въ исторіи культуры.

Пьеръ-Августинъ Каронъ, впоследствии получившій столь прославившуюся прибавку де-Бомарше, родился 24 января 1732 года, въ годъ перваго представленія «Заиря» Вольтера, во время религиозной борьбы въ парламентѣ и разлада въ средѣ духовенства, въ эпоху глубокихъ и конвульсивныхъ броженій разлагавшагося стараго порядка французскаго строя жизни. Его отецъ, часовщикъ, человѣкъ чрезвычайно чувствительный, но непреклонный въ дѣлѣ воспитанія, велъ всю свою жизнь суровую борьбу за существованіе и ради насущнаго хлѣба измѣнялъ свои религиозныя кальвиническія убѣжденія и отрекся отъ преслѣдуемой ереси. Мать Карона, по словамъ Ломени въ сочиненіи «*Beaumarchais et son temps*», женщина образованная, знавшая кромѣ роднаго языка еще испанскій и итальянскій, любила музыку и занималась литературой и поэзіей. Обѣ стороны оказали вліяніе на развитіе характера и вкусовъ знаменитаго Пьера-Августина Карона. Всѣ эти основныя черты, присущія родителямъ, культивировались и до колоссальныхъ размѣровъ развились въ богато-одаренномъ природой третьемъ отпрыскѣ этой оригинальной семьи.

Десяти лѣтъ отъ роду Пьеръ Каронъ былъ отданъ въ школу въ Альфоръ, гдѣ пробылъ всего 3 года. Неизвѣстно, что это была за школа, такъ какъ Ломени опровергаетъ предположеніе, — основанное на знакомствѣ съ ветеринарнымъ искусствомъ Фигаро, — этого автобіографическаго типа Бомарше, — будто это была школа ветеринарная, въ то время какъ эта послѣдняя была открыта только долго спустя. То обстоятельство, что Бомарше не получилъ серьезнаго систематическаго образованія, имѣетъ очень важное значеніе въ развитіи его духовной личности. Вступивши рано въ жизнь, Бомарше не выработалъ себѣ твердыхъ нравственныхъ убѣжденій для жизни и руководящихъ началъ. Высшая школа могла бы направить его недюжинныя силы въ опредѣленномъ направленіи служенію общему благу и ослабить эгоистическія притязанія низшихъ сторонъ его натуры. Подобно кораблю, лишенному балласта, Бомарше подвергается перебрасыванію изъ стороны въ сторону, а въ моменты бури несетъ въ направленіяхъ, прямо противоположныхъ истиннымъ цѣлямъ жизни! Въ немъ развиваются способности и наклонности, которыя приводятъ его къ поступкамъ, которыхъ не въ состояніи облечь самыя снисходительныя біографы Бомарше. Съ раннихъ лѣтъ юный Каронъ обнаруживаетъ и страстную, необузданную натуру, не признающую препятствій, и гениальную изобрѣтательность, и способности великаго истца. Только деспотически-разсудительнымъ письмен-

нымъ договоромъ отецъ принуждаетъ сына, не признающаго надъ собой ничьей власти, выполнить его суровыя требованія. Вынужденный этою крутою и оригинальною мѣрою отца заниматься часовымъ ремесломъ, Огюсть Каронъ сразу обнаруживаетъ свой недожинный умъ, изобрѣтая регуляторъ для часового механизма. Процессъ съ знаменитымъ парижскимъ часовщикомъ Лепотомъ, задумавшимъ злоупотребить откровенностью юнаго изобрѣтателя, является первою побѣдою въ рядѣ безчисленныхъ тяжбъ, которыя всю жизнь велъ великій истецъ XVIII вѣка. Выдвинувшись своимъ изобрѣтеніемъ изъ низкой среды, Огюсть-Каронъ съ неудержимой энергіей рвется къ тому очагу извѣстности и богатства, который сосредоточивался при пышномъ дворѣ Людовика XV.

Усовершенствованный приборъ дѣла тщеславія и моды даетъ возможность Огюсту Карону получать заказы у придворныхъ, у знаменитой г-жи Пампадуръ и у самого короля. Это обстоятельство, благопріятное для карьеры юнаго Огюста-Карона, было пагубно для нравственной личности великаго писателя. Въ тотъ періодъ, когда люди пріобщаются къ знаніямъ и, когда складывается міросозерцаніе человѣка, въ періодъ, когда сверстники Карона воспитывались въ научной атмосферѣ университетовъ, подчиняясь вліяніямъ науки и знакомятся съ жизнью, сквозь призму вѣкового опыта, пріучаясь оцѣнивать явленія съ точки зрѣнія тѣхъ принциповъ, которые циркулируютъ въ образованной средѣ общества, въ этотъ періодъ характеръ заявившаго себя удивительнымъ открытіемъ часовщика складывался въ разлагающей атмосферѣ двора Людовика XV, гдѣ всѣ спѣшатъ насладиться жизнью и, въ вихрѣ оргій и безпутства, наперерывъ, не шадя ни силъ, ни средствъ, предаются буйному разгулу, отвергнувъ все, что сдерживаетъ волю и направляетъ ее къ проведенію въ жизнь высшихъ идеаловъ и стремленій.

Съ красивой внѣшностью, стройный, пылкій, съ страстнымъ южнымъ темпераментомъ, Каронъ приходитъ къ сознанію, что блага жизни для него открыты,—только стоитъ завоевать себѣ средства и дворянскій титулъ, безъ которыхъ онъ безсиленъ. Случай приходитъ на помощь. Но практичность не всегда идетъ рука объ руку съ осмотрительностью. Женившись по расчету, беззаботный и безпечный, теперь уже де-Бомарше не предвидѣлъ возможности разоренія. Смерть жены, въ которой близорукіе и злорѣчивые современники обвиняютъ напрасно Бомарше¹⁾, лишаетъ его вдругъ всего состоянія. Но Огюсть Каронъ не умѣетъ унывать! Чѣмъ больше его преслѣдуютъ обстоятельства, тѣмъ болѣе напрягается его энергія, и нѣтъ препятствій, которыхъ не сумѣлъ бы или преодолѣть или обойти изворотливый, гибкій умъ Бомарше, лишенный твердыхъ нравственныхъ устоевъ.

1) Пушкинъ устами Моцарта въ драмѣ „Моцартъ и Сальери“ проникательно угадал ложность этого гнуснаго обвиненія, хотя въ то время могъ руководствоваться только общимъ принципомъ, что гениальность и злодѣйство несовмѣстимы.

На помощь въ данномъ случаѣ являются музыкальныя способности, которыя такъ преслѣдовалъ отецъ Карона, не сумѣвшій предвидѣть, что они не погубятъ его сына, а выручатъ въ трудную минуту жизни. Усовершенствовавъ педали арфы, искусный музыкантъ Бомарше сумѣлъ проникнуть въ монотонный салонъ обреченныхъ на скуку «mesdames de France», какъ обыкновенно называли дочерей Людовика XV. Новый учитель музыки становится предметомъ обожанія слушающихъ дѣвъ, и если бы не столкновения съ придворными и не частыя порученія купить то или другое, слишкомъ разорительныя, такъ какъ не оплачивались, то Бомарше могъ бы быть доволенъ своею ролью. А при этихъ неприятныхъ обстоятельствахъ онъ впадаетъ въ мизантропію и пишетъ поэму «Оптимизмъ», въ которой старается опровергнуть и разрушить добродушныя мнѣнія незабвеннаго Вольтеровскаго доктора Пангласа. Ломени совершенно справедливо не придаетъ серьезнаго значенія пессимизму великаго насмѣшника, находящаго въ дни унынія развлеченія въ близкихъ отношеніяхъ къ нѣкой красавицѣ Софѣ.

На выручку въ этихъ стѣсненныхъ денежныхъ обстоятельствахъ къ Бомарше является судьба, въ лицѣ финансиста Дюверне. «Дюверне, — писалъ Бомарше, — ввелъ меня въ финансовую сферу, гдѣ, какъ извѣстно, былъ первымъ человѣкомъ, я заработалъ свое состояніе подъ его руководствомъ, по его совѣту я сдѣлалъ нѣсколько предпріятій; въ однихъ онъ снабжалъ меня своимъ опытомъ, въ другихъ своими деньгами и кредитомъ». Разбогатѣвъ, Бомарше заботился о томъ, чтобы стать дворяниномъ. Онъ, воспользовавшись продажною должностей въ ту продажную эпоху, получаетъ почетную должность генералъ-лейтенанта королевской охоты. Впослѣдствіи Бомарше со смѣхомъ вспоминалъ, какъ онъ изъ подмастерья превратился въ знатнаго трибунала, засѣдалъ въ шитомъ мундирѣ и судилъ аристократовъ, нарушавшихъ чаще всего правила объ охотѣ. Но, какъ ни почетна и пріятна была подобная обязанность для тщеславнаго и любящаго богатства и наслажденія жизни Бомарше, беспокойная его натура, характеръ, вѣчно жаждущій приключеній, опасностей и бурныхъ волненій, требуетъ новыхъ впечатлѣній и романическихъ авантюръ.

Безъ ясной цѣли, придравшись къ неудавшейся свадьбѣ сестры, гораздо болѣе его опытной и зрѣлой, съ нѣкимъ бакалавромъ Клавиго, человѣкомъ слабовольнымъ, но не внушающимъ никакого подозрѣнія въ смыслѣ честности, — Бомарше вдругъ мчится въ Мадридъ, путая въ своемъ умѣ торговыя комбинаціи выгодныхъ сдѣлокъ съ рыцарскими мечтами отомстить за сестру. Бомарше, конечно, придавалъ болѣе значенія торговымъ комбинаціямъ, чѣмъ вопросу о мнимомъ спасеніи чести сестры, служащемъ болѣе поводомъ, чѣмъ причиною этой поѣздки въ Испанію. Приключенія Бомарше съ Клавиго въ 1764 году описаны имъ десять лѣтъ спустя въ четвертомъ мемуарѣ противъ Гецмана. Этотъ эпизодъ пол-

ный романических чертъ, какъ извѣстно, послужилъ темою для драмы Гете «Клавиго». Руководствуясь девизомъ *ubi bene, ibi patria*, Бомарше въ письмахъ объ Испаніи даетъ неподражаемо-веселый отчетъ о пріятной жизни въ странѣ «плаща и шпаги». Эластичная натура, всегда легко осваивающаяся съ обстоятельствами и беззаботно предающаяся наслажденіямъ, Бомарше находитъ въ Испаніи желанный пріютъ. Вѣчные порывы кипучей энергіи его дѣятельнаго характера требуютъ удовлетворенія, а жажда наживы и изобрѣтательность внушаютъ Бомарше планы коммерческихъ предпріятій.

Насколько этотъ геніальный драматургъ умѣлъ устранять въ своей жизни руководящіе этическіе принципы, насколько нравственная разнузданность по временамъ поработала все его существо, видно изъ его предложенія основать общество для снабженія невольниками испанскихъ плантаторовъ въ Америкѣ. Собираніе матеріаловъ и обдумыванія плановъ «Севильскаго Цырюльника» уживается въ это время рядомъ съ планами, позорящими человѣка даже того вѣка,—вотъ та бездна неизъяснимыхъ противорѣчій, та трагикомическая путаница, которая составляетъ основной фонъ личности главнаго предтечи французской революціи въ области соціальной драмы и комедіи, наиболѣе способствовавшихъ подъему общественнаго сознанія. Другіе испанскіе проекты Бомарше, изобличающіе въ немъ человѣка, пропитаннаго коммерческими затѣями, одушевляютъ страстнаго авантюриста наравнѣ съ разнообразными наблюденіями надъ жизнью и особенностями испанскаго быта, которыя послужатъ неувядаемымъ колоритомъ для «Севильскаго Цырюльника». Не возвышенные общественные идеалы волнуютъ его въ этотъ періодъ, а жажда безмѣрнаго и быстрого обогащенія, тщеславіе и любовь къ пользованію наслажденіями жизни! Далекое еще до того времени, когда Бомарше явится пропагандистомъ общечеловѣческихъ идей свободы и равенства, горячимъ борцомъ реформъ сословныхъ отношеній!

Въ душевной жизни Бомарше въ это время происходитъ событіе, отразившееся въ его произведеніяхъ «Два друга» и въ «Севильскомъ Цырюльникѣ». Изъ Мадрида Бомарше шлетъ письмо за письмомъ къ горячо, но не совсѣмъ безкорыстно любимой имъ дѣвушкѣ Полинѣ, молодой, красивой креолкѣ, обладательницѣ двухмилліоннаго большаго имѣнія въ Канѣ. Отложенной, для устройства дѣлъ, свадьбѣ, не суждено было осуществиться. Молодая креолка, сначала серьезно влюбившаяся въ Бомарше, охладѣла къ своему жениху и потомъ вышла замужъ за другого. Печальнымъ диссонансомъ въ полной радостныхъ испанскихъ приключеній жизни Бомарше звучитъ эта горестная исторія! Единственный разъ его душа оживилась искреннимъ чувствомъ, чтобы испытать разочарованіе и сохранить нѣжный образъ, поэтизируя его въ «Полинѣ» и «Розинѣ», героиняхъ двухъ великихъ пьесъ несчастнаго драматурга! Однако, предаваться отчаянію было не въ характерѣ великаго насмѣшника. Любовь къ богатству, роскоши и до-

вольству уже через два года призываетъ его къ алтарю съ молодой вдовой Женевиевой Левенъ, удвоивающей своимъ приданымъ его благополучіе. Наступаютъ годы мирнаго покоя и пора творческой работы, плодомъ которой является обработка драмы «Евгеніи» и постановка въ 1770 г. драмы «Два друга». Черезъ 8 мѣсяцевъ умираетъ его вторая жена. Процессъ съ потомкомъ его покровителя богатаго Дюверне, оставившаго посмертное завѣщаніе, оспариваемое родственникомъ графомъ Лаблашемъ, произвелъ цѣлую бурю въ жизни Бомарше, надолго отвлекшую великаго истца отъ мирныхъ занятій литературой. Но объ этомъ не пожалѣетъ ни французское общество, ни исторія культуры.

II.

Бомарше спасла его вѣчная сила смѣха. Въ четырехъ или, по счету Ломени, пяти мемуарахъ въ стилѣ классической французской прозы Бомарше раскрываетъ передъ обществомъ въ ѣдкихъ, остроумныхъ, полныхъ могучаго сарказма, дышащихъ огнемъ и страстью, художественныхъ страницахъ всю гнилость и продажность новаго парламента и призываетъ къ реформѣ; а въ лицѣ совѣтника парламента, гдѣ разбиралось его дѣло, Гецмана и его клеветовъ подвергаетъ беспощадной критикѣ всѣ магистратуры, олицетворяющія собою произволъ, деспотизмъ, незаконность и преступную подкупность. Бернарденъ де-Сенъ Пьерръ предсказывалъ автору Мемуаровъ «славу Мольера». Справедливо находятъ, что если Louis Quinze устроилъ парламента, то quinze louis (пятнадцать эю) не возвращенныхъ женою Гецмана-Бомарше и послужившихъ началомъ процесса) уничтожили его. За эту неизмѣримую социальную заслугу великаго глашатая общественнаго мнѣнія Бомарше наравнѣ съ госпожею Гецманъ долженъ былъ подвергнуться беспощадному публичному порицанію, лишенію правъ и выслушать на колѣняхъ формулу безчестья: «la cour te blâme et te déclare infame».

Заклейменный Бомарше не могъ занять теперь никакой должности, а процессъ съ Лаблашемъ лишилъ его всѣхъ средствъ существованія. Если бы эти обстоятельства постигли другое лицо, а не Бомарше, то явилась бы лишняя жертва жестокой несправедливости одряхлѣвшаго и гибнущаго въ предсмертной агоніи дореволюціоннаго французскаго социальнаго строя. Но Бомарше соединялъ въ своей натурѣ во-первыхъ эластичную упругость, для которой паденіе только закаляетъ энергію и возбуждаетъ дѣятельность ума и изобрѣтательности, во-вторыхъ, способность приспособленія къ обстоятельствамъ, указывающую какой именно путь въ данный моментъ цѣлесообразенъ и въ третьихъ—нравственное уродство, допускающее всѣ мѣры лишь бы онѣ приводили къ необходимой цѣли.

Бомарше возстанаавливаетъ честное имя и уничтожаетъ безчестія дѣлами весьма сомнительнаго качества. Великій обличитель социальной не-

правды увидѣлъ свое спасеніе въ подкупѣ пасквильанта книги «Секретныя мемуары публичной женщины», гдѣ изображалась интимная жизнь любовницы Людовика XV г-жи дю Барри. Смерть Людовика XV лишила значенія этотъ фактъ, такъ какъ его преемнику не было дѣла до репутаціи г-жи дю Барри, то тогда Бомарше самъ придумываетъ памфлетъ подъ чужимъ именемъ, приурочивая его къ имени Маріи Антуанеты. Онъ оказываетъ услугу Людовику XVI, отбирая всюду этотъ подложный памфлетъ, а кстати и секретную переписку герцога д'Эона съ Людовикомъ XV. Это, конечно, именно такія услуги, которыми можно возстановить честное имя, утраченное разоблаченіемъ истины!!

«Я вамъ постоянно говорилъ и буду постоянно повторять, писалъ Бомарше однажды Кайлава—что вы человѣкъ универсальный. Ваши драмы заставляютъ публику плакать, комедіи—смѣяться до слезъ. Развѣ вы не музыкантъ?—ваша музыка очаровываетъ слушателей. Развѣ вы не адвокатъ?—вы постоянно выигрываете тяжбы. Развѣ вы не воинъ?—вы сражались съ врагами. Вы приобрѣли богатство. Вы спорили о своихъ правахъ съ государями. Развѣ вы не любовникъ?—вы неизмѣнны въ этомъ».

Если вникнуть въ жизнь Бомарше, то можно отмѣтить три основныя теченія, изъ которыхъ въ различные ея періоды являются преобладающими то одно, то другое, то третье. Жажда обогащенія, эгоистическія стремленія, тщеславіе, приспособленіе къ обстоятельствамъ, неразборчивость въ выборѣ средствъ для достиженія низменныхъ жизненныхъ цѣлей, компромисы съ совѣстью и направленіе неудержимой энергіи къ пользованію комфортомъ, благополучіемъ и наибольшей суммой довольства—составляютъ черты въ значительной, можетъ быть, мѣрѣ унаслѣдованныя Огюстомъ Карономъ отъ отца и культивированныя отчасти отцовскимъ вліяніемъ и практическимъ воспитаніемъ.

Второе теченіе, получившее свое развитіе, благодаря главнымъ образомъ прекрасному вліянію его образованной матери, но лежавшее въ основѣ самой богато одаренной и гениальной натуры—это любовь къ литературѣ и искусству. Литературный космополитизмъ—основная черта широкаго и всесторонняго образованія и восприимчивость ко всему прекрасному какимъ бы колоритомъ оно ни было бы окрашено, привитый съ дѣтства—вызываютъ Бомарше тщательное изученіе родной литературы, корифеевъ комедіи и драмы съ одной стороны, но въ равной-же мѣрѣ чуткія наблюденія надъ литературами, искусствомъ и бытовыми особенностями жизни странъ, имѣющихъ культуру въ основныхъ чертахъ прямо отчасти противоположную его родинѣ.

Третье теченіе, носившееся въ жгучей атмосферѣ кипучаго и богатаго своими начинаніями бурнаго конца XVIII вѣка—это социальный духъ общественности, столь ярко отмѣтившій эпоху Бомарше и нашедшій въ немъ высокоталантливаго выразителя и трибуна.

Въ то время какъ литературное теченіе является преобладающимъ въ годы довольства и жизненнаго покоя, теченіе общественное направляетъ

силы и регулируетъ всю жизнь и всю безпримѣрно-энергичную дѣятельность. Бомарше въ тѣ зрѣлыя годы, когда онъ, испытавъ слишкомъ много, научается свои частныя дѣла и неудачи связывать съ общимъ ходомъ жизни и съ социальными пружинами всего порядка и строя дореволюціонной Франціи. Геніальность Бомарше и заключается въ томъ, что онъ съумѣлъ свое частное дѣло съ Гецманомъ огненными, пылающими сарказмомъ, живыми рѣчами, дышащими горечью и злостью, превратить въ дѣло общаго пересмотра всей судебной верховной магистратуры Франціи, изнемогавшей подъ невыносимымъ гнетомъ произвола, подкупности и беззаконія. Свою личную борьбу Бомарше въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ превращаетъ въ борьбу сословій, — борьбу выходца изъ толпы съ безправными и всемогущими представителями власти, съ развращенными избыткомъ полномочій и правъ аристократами. Частныхъ лицъ, съ которыми приходилось бороться Бомарше, онъ въ своихъ литературныхъ работахъ превращаетъ въ типы, являющіеся олицетвореніемъ цѣлыхъ классовъ общества, характеризующихъ всю перегнившую социальную структуру администраціи и всѣхъ руководящихъ сферъ современнаго ему правящаго міра. Ученикъ Вольтера и энциклопедистовъ — Бомарше проникается идеями правды и равенства и въ лучшей расцвѣтъ жалкой и несчастной, въ силу грустныхъ нравственныхъ противорѣчій, жизни становится мощнымъ борцомъ за справедливость и за свободу. Его имя будетъ занесено на безсмертныя скрижали исторіи и въ этотъ могучій, озаренный высшимъ свѣтомъ гуманности, кульминаціонный періодъ жизни, Бомарше, дѣйствительно, является геніальнымъ дѣятелемъ, имѣющимъ мировое и общечеловѣческое значеніе!

Это третье теченіе, начавшееся мемуарами противъ Гецмана, послѣ долгаго мрачнаго и позорнаго промежутка, развернулось и достигло своего апогея у Бомарше тотчасъ послѣ окончанія его личнаго дѣла, — послѣ возвращенія столь славно утраченной чести и выразилось, наконецъ, въ горячей защитѣ суда присяжныхъ, и въ славномъ дѣлѣ защиты независимости Англійскихъ колоній въ Америкѣ, и въ предпріятіи, заслуживающемъ вѣчной благодарности потомства, первомъ изданіи сочиненій Вольтера, и въ защитѣ интересовъ драматурговъ отъ матеріальной эксплуатаціи ихъ трудовъ персоналомъ и дирекціей, стоящими во главѣ театровъ.

Яркимъ свѣтомъ озарилась жизнь и дѣятельность Бомарше этими незабвенными для французскаго общества и всего человѣчества дѣлами, чтобы затѣмъ яснѣе обнаружился упадокъ силъ и воли, дряхлый старческій періодъ послѣднихъ лѣтъ великаго, но слабого человѣка! Съ 1774 года по 1784 самая блестящая пора въ жизни Бомарше и вмѣстѣ съ тѣмъ это періодъ полнаго разцвѣта его таланта. Къ этому времени относятся два геніальныя произведенія Бомарше «Севильскій Цирюльникъ» и «Свадьба Фигаро». Съ ними много пришлось хлопотать автору, и только его энергія могла восторжествовать надъ безчисленными пре-

пятьствіями. Первоначально Бомарше написалъ «Севильскаго Цирюльни-ка» въ видѣ оперы, но вслѣдствіе отказа «Opera Comique» долженъ былъ передѣлать его въ комедію. Разрѣшеніе спектакля было дано, а за день до спектакля полиція уже запретила постановку комедіи. Наконецъ, когда она была допущена на сцену, она потерпѣла фіаско. Бомарше долженъ былъ принести «богу шикальщикова и свисткова» весь четвертый актъ.

III.

Въ 1781 году Бомарше написалъ «Женитьбу Фигаро». Пять лѣтъ эта лучшая комедія пролежала въ авторскомъ портфель и въ продолженіе четырехъ лѣтъ Бомарше велъ энергичную борьбу для разрѣшенія ея постановки подъ просмотромъ шести или пяти цензоровъ. Подобно нашему «Горе отъ ума», «Женитьба Фигаро» въ рукописяхъ была извѣстна образованной части общества, и отдѣльныя ея мѣста вошли въ поговорки во всеобщее употребленіе. Людовикъ XVI объявилъ, будто представленіе такой пьесы заключаетъ въ себѣ требованіе разрушенія Бастиліи! Густавъ — третій — король шведскій, на замѣчаніе, будто эта пьеса неприлична, отвѣчалъ: «J'ai trouvé la pièce insolente, mais non pas indécente», находя ее неслыханно дерзкой.

Рѣшающее значеніе для постановки ея на сцену имѣло представленіе въ Женевильѣ у графа Водрейля. Наконецъ, было назначено первое ея представленіе, — и вотъ цѣлая буря въ зрительной залѣ, носящая характеръ открытой демонстраціи. Послѣ рѣзкаго отвѣта на статью противъ пьесы герцога Провансальскаго, Бомарше былъ заключенъ въ тюрьму Сень-Лазарь, гдѣ послѣ пятидневнаго заключенія былъ выпущенъ расквашившимся въ своемъ поступкѣ королемъ. По мнѣнію Лагарпа, «Бомарше нужно было меньше ума, чтобы написать пьесу, чѣмъ чтобы поставить ее на сцену».

Тотъ же цвѣтушій подъемъ энергіи Бомарше проявляетъ въ этотъ періодъ въ дѣлѣ, благодаря которому онъ заслужилъ привѣтствіе отъ Новаго Свѣта. Бомарше выхлопоталъ, чтобы на него было возложено порученіе создать частное коммерческое общество подъ именемъ «Родригъ Горталець и компанія», но съ правительственной субсидіей для снабженія американцевъ припасами въ войнѣ за независимость. Президентъ Джонъ-Джей по распоряженію конгресса въ Филадельфіи пишетъ Бомарше: «Великодушныя чувства и возвышенные взгляды, которые одни могли внушить образъ дѣйствія, подобный вашему, являются истинной похвалой вашей дѣятельности и украшеніемъ вашего характера. Сдѣлавшись полезными своему государю вашими рѣдкими талантами, вы завоевали уваженіе нарождающейся республики и заслужили аплодисменты Новаго Свѣта». Въ этомъ великомъ дѣлѣ Бомарше потерпѣлъ громадныя денежныя траты, которыя только въ незначительной мѣрѣ были долго спустя возвращены его семьѣ.

Это не остановило его въ предпріятіи, которое не принесло ему ничего, кромѣ значительныхъ убытковъ. Подъ громкимъ названіемъ «Философское, литературное и типографское общество», которое все сосредоточивалось въ одномъ только Бомарше, началось въ Келѣ на французской границѣ грандіозное изданіе сочиненій Вольтера въ количествѣ 15000 экземпляровъ.

Въ 1777 году Бомарше является основателемъ уже новаго общества «Société des auteurs dramatiques», которое выхлопотало опредѣленіе финансовой доли писателямъ въ успѣхъ ихъ театральныхъ пьесъ. Бомарше становится защитникомъ противъ эксплуатаціи, которая до него была неизбѣжна для авторовъ со стороны привилегированныхъ хозяевъ сценическихъ представленій.

Достигнувъ высшей точки на пути популярности и славы, совершивъ рядъ дѣлъ, оцѣненныхъ современниками и заслуживающихъ справедливую благодарную память потомковъ, Бомарше въ дальнѣйшей своей жизни идетъ къ упадку по крутой наклонной плоскости. Мало помалу онъ остается за чертой быстро несущейся впередъ жизни. Новые дѣятели, новые борцы отодвигаютъ его на задній планъ, чтобы показать всю его отсталость и непригодность при измѣняющихся круто и внезапно явленіяхъ жизни. Бомарше дѣлаетъ попытки примѣнить свою обычную тактику къ новымъ обстоятельствамъ, но его изворотливости и ума уже не хватаетъ, чтобы завоевать вновь симпатію; напротивъ, жизнь бичуетъ его и на склонѣ лѣтъ онъ подвергается испытаніямъ, которыя ускоряютъ его кончину и служатъ расплатою за двуличную политику, плодами которой онъ слишкомъ щедро пользовался при достиженіи своихъ цѣлей въ сомнительные періоды благополучія. «Высокіе таланты необходимы, по словамъ главнаго персонажа Божарса въ пьесѣ «Преступная мать», для жизненныхъ успѣховъ и только совѣстливость мѣшаетъ искусству создавать факты». Бомарше зналъ эти тайны дипломатическихъ успѣховъ, «цѣль которыхъ интересъ, а средствомъ служить интрига». «Искусство господствовать надъ событіями и людьми» было основною стихіею жизни Бомарше, но вотъ весь старый порядокъ Франціи въ самыхъ коренныхъ основахъ подвергается рѣзкимъ и крутымъ измѣненіямъ.

Новыя вѣянія дискредитировали всѣ искусные маневры, съ помощью которыхъ созидалось благосостояніе Бомарше. Настало время расплаты за компромиссы съ совѣстью, за подозрительныя связи, за двуличное поведение. Отъ Бомарше потребовали оправдательныхъ документовъ и за ненахожденіемъ таковыхъ, онъ долженъ былъ потерпѣть возмездіе за сомнительную дѣятельность, которая подверглась пересмотру со стороны возродившагося общества, одушевленнаго необычайнымъ подъемомъ соціального духа, подводящаго итоги всей прошлой жизни Франціи и со стороны лицъ, облеченныхъ довѣріемъ и властью. «Бомарше»—пишетъ Берне въ январскомъ парижскомъ письмѣ, посвященномъ размышленіямъ о судьбѣ автора Трилогіи,—благодаря своей ловкости выходилъ изъ всѣхъ прежнихъ случай-

ностей съ выгодою для себя. И вотъ этотъ же самый Бомарше, столкнувшись съ революціей, оказался неопытнымъ, какъ ребенокъ, трусливымъ, какъ нѣмецкій школьный педантъ. Онъ началъ поставлять оружіе и для революціоннаго правительства, но на этотъ разъ потерялъ не только всѣ свои деньги, но и голову. Прежде ему приходилось имѣть дѣло съ министрами французской монархіи; двери этихъ господъ легко и безъ шума открывались и затворялись для всякаго, умѣвшаго подмаслить замки и петля. Теперь онъ вошелъ въ сношеніе съ людьми честными т.-е. опасными; этого Бомарше не сумѣлъ понять и потому погибъ».

Великій ораторъ и будущій демагогъ Мирабо первый наноситъ ударъ популярности и благополучію Бомарше. Въ могучей, краснорѣчивой и пламенной рѣчи разоблачаетъ Мирабо подозрительную акціонерную компанію для снабженія Парижа водой, которой хотѣлъ воспользоваться Бомарше въ цѣляхъ быстраго обогащенія. Талантливый адвокатъ карьеристъ Бергасъ пользуется эффектнымъ случаемъ, чтобы возбудить процессъ противъ Бомарше въ его дѣлѣ освобожденія несчастной беременной госпожи Корманъ, обвиняемой мужемъ банкиромъ въ позорномъ адюльтерѣ, сопряженномъ съ низкими расчетами обоихъ супруговъ. Судъ, къ которому обратился Бомарше, оправдалъ его и призналъ обвиненія Бергаса ложными. Но вновь выступили наружу во всеобщее осмѣяніе позорныя дѣйствія прежнихъ лѣтъ Бомарше, перемѣшанныя съ клеветами, распускаемыми адвокатомъ Бергасомъ. Великому автору «Женитьбы Фигаро» нельзя было одному выйти на улицу, не рискуя подвергнуться уличнымъ нападеніямъ, а дома его забрасывали оскорбительными письмами.

Литературное творчество этого періода Бомарше соответственно обнаруживаетъ упадокъ таланта, а общественная сторона послѣднихъ произведеній являетъ признаки одряхлѣнія, слабости и общаго пониженія какъ этическихъ, такъ и социальныхъ идеаловъ состарившагося душой автора.

Опера «Тараръ» претерпѣваетъ нѣсколько метаморфозъ въ угоду измѣняющемуся настроенію общества. «Преступная мать» является жалкою послѣднею частью Трилогіи, противорѣчащею по своимъ тенденціямъ двумъ первымъ частямъ, а художественная ея сторона обнаруживаетъ упадокъ таланта. Личныя дѣла и ненависть къ отдѣльнымъ лицамъ находятъ себѣ теперь отраженіе въ дѣйствующихъ лицахъ пьесы. Въ лицѣ Бежарса, Бомарше прозрачно выставляетъ ненавистнаго адвоката Бергаса, какъ типъ негодяя и лицемеря.

Жажда комфорта и наслажденій жизнью заслонили отъ умственного взора Бомарше перемѣну всего социального настроенія, и онъ не устоялъ отъ искушенія построить себѣ роскошный палаццо недалеко отъ бѣднѣйшихъ поселеній Парижа. Изъ оконъ его миллионнаго дома можно было наблюдать штурмъ и взятіе Бастиліи. Общіе взоры пробужденной массы не могли не заподозрить въ Бомарше аристократа и врага. Еще чудо, что Бомарше

избѣгъ гильотины! Не желая эмигрировать, пользуясь своей эластической измѣнчивостью, Бомарше почелъ за лучшее предложить новому правительству свои услуги по доставкѣ 60000 ружей, которыя обѣщался доставить изъ Голландіи. Но народъ, сдѣлавшійся теперь господиномъ положенія, не довѣрялъ хамелеону—Бомарше, столько разъ мѣнявшему свои взгляды и симпатіи. Когда 10 августа тронъ, правительство, король были свергнуты, разъяренная толпа, подозрѣвавшая Бомарше въ передачѣ оружія властямъ, перерыла весь его домъ, а комитетъ общественнаго спасенія распорядился арестовать Бомарше и заключить его въ аббатство, гдѣ Бомарше едва избѣгнувъ несчастья стать жертвою кровавыхъ сентябрьскихъ убійствъ.

Избѣжавъ опасности, Бомарше съ помощью одного изъ членовъ комитета успѣшилъ отправиться въ Голландію для выполнения заказа ружей, снабженный паспортомъ отъ правительства. Но уже 1 декабря онъ подвергается тяжкимъ обвиненіямъ въ перепискѣ съ Людовикомъ XVI, въ растратѣ общественныхъ денегъ и въ заговорѣ противъ республики. Защитивъ себя отъ кроваваго террора печатаніемъ смѣлаго мемуара, опровергающаго эти обвиненія, Бомарше подъ именемъ Шаррона успѣшилъ вновь въ Голландію для доставки новому правительству ружей. А его включили въ списокъ эмигрантовъ; жену его, дочь и сестру посадили въ тюрьму, и все его имущество подвергли конфискаціи. Учрежденіе директоріи спасаетъ его отъ обвиненія въ эмиграціи, и Бомарше безпрепятственно вновь возвращается въ Парижъ. Пережить всѣ эти неизмѣримо тяжелыя волненія безъ ущерба для жизненныхъ силъ было невозможно.

Еще нѣсколько лѣтъ жизни, правда, спокойной и мирной, но безсильной возвратить угасавшія силы, и Бомарше отходить къ вѣчному успокоенію въ ночь съ 18 на 19-е мая 1799 года, чтобы дать мѣсто людямъ болѣе нужнымъ, на вѣчно измѣнявшейся аренѣ исторіи. Отошла въ таинственную невѣдомую вѣчность жизнь человѣка, сплетеннаго изъ противорѣчій, метавшагося между низменной погоней за мишурными благами жизни и высшими стремленіями провести въ горькую социальную дѣйствительность высшіе идеалы, завѣщанные литературой и носившіеся въ электрической атмосферѣ кипучей революціонной эпохи. Умеръ человѣкъ, запятнавшій себя темными дѣлами и прославившій свое имя борьбою за высшія идеи въ лучшую срединную пору жизни, но не испытаютъ кончины и забвенія плоды его литературной работы, великія произведенія Бомарше, обогатившія драматическую литературу французскаго театра!.

VI.

Обозрѣвая жизнь Бомарше, столь богатую виѣшними и внутренними перипетіями, нельзя не отмѣтить отрицательный характеръ его дѣйствій и

поступковъ въ первый и послѣдній періодъ его жизни и полный высшій расцвѣтъ идеаловъ и стремлений, проводимыхъ имъ въ дѣйствительность съ неудержимою энергіею, въ срединной ея періодъ. Въ глубинѣ его натуры ясно выступили три теченія, имѣющія каждое особый источникъ. Первое теченіе—это стремленіе Бомарше къ обогащенію, не брезгая средствами для достиженія цѣлей путемъ компромиссовъ съ совѣстью. Причины этому можетъ быть лежать въ значительной мѣрѣ въ наслѣдственной передачѣ и непосредственномъ вліяніи отца,—второе теченіе—любовь къ литературѣ и музыкѣ, лежащее въ задаткахъ его природнаго характера и благотворномъ вліяніи его всесторонне образованной матери и третье теченіе—соціальный духъ и идеалы свободы и равенства, имѣвшіе свою основу въ томъ историческомъ обстоятельстве, что Бомарше былъ сыномъ своего вѣка, носилъ въ себѣ идеи и представленія, составляющія общую атмосферу перелома всей соціальной жизни Франціи; это послѣднее теченіе оформилось и получило опредѣленную окраску подъ вліяніемъ знакомства съ литературой энциклопедистовъ и новыми вѣяніями соціальной жизни.

При обзорѣ біографіи Бомарше выпукло выступили наружу всѣ трагикомическія нравственныя противорѣчія его намѣреній и поступковъ. Ключъ къ ихъ разгадкѣ заключается въ этихъ основныхъ трехъ главныхъ теченіяхъ его духовной жизни, а всѣ колебанія его мечущейся изъ стороны въ сторону личности находятъ себѣ объясненія въ темпераментѣ Бомарше, заключавшемъ въ себѣ элементы сангвиническаго склада, быстро и скоро отражающаго всѣ жизненныя впечатлѣнія и элементы холерическаго темперамента, требующаго дѣятельныхъ проявленій, быстрыхъ смѣнъ представленій и чувствъ. Бурный, страстный и дѣятельный характеръ Бомарше былъ лишенъ нравственныхъ устоевъ, вслѣдствіе отсутствія систематическаго и серьезнаго образованія и суроваго педагогическаго, но лишеннаго внутреннихъ основъ отцовскаго воспитанія и вслѣдствіе примѣровъ Вольтера и другихъ лицъ, хорошо извѣстныхъ Бомарше и вызывавшихъ въ его душѣ преклоненіе передъ ихъ авторитетомъ, въ которыхъ онъ часто наблюдалъ соединеніе умственной мощи съ нравственнымъ уродствомъ при частномъ отсутствіи направляющихъ жизненныхъ принциповъ. Вслѣдствіе этихъ условій, его характеръ принялъ отрицательное направленіе и былъ причиною тѣхъ позорныхъ дѣлъ, которыя такъ не вяжутся съ благороднымъ представленіемъ о Бомарше, какъ о писателѣ.

Переходя къ писательской сторонѣ дѣятельности Бомарше придется вновь увидѣть тѣ явленія, которыя характеризуютъ его какъ человѣка. Творчество Бомарше, особенно созданіе его главнаго типа Фигаро, представляетъ въ себѣ какъ бы художественное отраженіе его личности и его жизни, очищенной и просвѣтленной въ горнилѣ божественнаго вдохновенія. Въ исторіи его творчества наблюдаются въ главныхъ чертахъ основные переходы, столь характерныя для его жизни. Періоды, отмѣ-

чающіе различныя стадіи въ развитіи личности, въ дѣятельности и въ жизни Бомарше находятъ себѣ соотвѣтствіе въ различныхъ фазахъ развитія и паденія его таланта и отражаются въ его пьесахъ. Въ писательской дѣятельности Бомарше наблюдается та же ломанная линія, въ которой кульминаціонный пунктъ развитія таланта находится въ періодѣ того же блестящаго геніальнаго десятилѣтія отъ 1774 г. по 1784 г. Творческія работы до этого времени служатъ переходами къ расцвѣту генія, а произведенія послѣднихъ лѣтъ представляютъ ниспускающуюся линію падающаго таланта и гаснущаго духа.

Бомарше выступилъ на драматическое поприще въ томъ родѣ литературы, новаторомъ которой считается Дидро. Борьба съ ложноклассицизмомъ привела къ такой драмѣ, въ которой нашли бы себѣ отраженія интересы широкаго общественнаго круга. Рядомъ съ этимъ требованіемъ стояла задача творчества трогательнаго и поучительнаго. Въ предисловіи къ своей первой драмѣ «Евгенія» Бомарше пишетъ: «Мы любимъ роль сочувствующихъ несчастному принцу, потому что его горести, слезы и слабости, какъ бы приближаютъ его положеніе къ нашему. Но если наше сердце имѣетъ какое-нибудь значеніе въ нашемъ интересѣ къ героямъ трагедіи, то гораздо менѣе потому, что они герои или короли, но потому что они люди и несчастные». «Неизбѣжныя удары судьбы, говоритъ далѣе авторъ «Евгенія» о трагедіи древнихъ, не даютъ уму никакого нравственнаго направленія. Если можно извлечь изъ зрѣлища подобнаго рода какое-нибудь назиданіе, это назиданіе было бы ужасно. Оно увлекло бы на путь преступленій столько же душъ, для которыхъ судьба была бы оправданіемъ, сколько пошатнула бы ихъ на пути добродѣтели, такъ какъ при этой системѣ всѣ усилія послѣднихъ не гарантируются ничѣмъ. Если нѣтъ добродѣтели безъ жертвъ, то нѣтъ и жертвы безъ надежды на вознагражденія».

Эти моральныя тенденціи и служатъ основною пружиною въ нравоучительно трогательныхъ двухъ первыхъ пьесахъ Бомарше «Евгенія» и «Два друга», написанныхъ въ слащавомъ вкусѣ Дидро. Какъ опредѣлили изслѣдователи литературы, сюжетъ драмы «Евгенія» отчасти заимствованъ изъ произведенія Лесажа «Хромой бѣсъ». Лордъ Кларендой, герой пьесы, готовится вступить въ выгодный бракъ. Въ него влюблена дочь валисскаго дворянина Евгенія. Лордъ, замаскировавши священникомъ своего управляющаго, фактивно женится на ней. Послѣ этого брака Евгенія находится въ ожиданіи ребенка, а лордъ помышляетъ о выгодной женитьбѣ. Однако, сердце вѣроломнаго лорда поражено видомъ несчастной, обманутой, беременной женщины и онъ въ заключеніи драмы добродѣтельно женится на ней.

Даже съ внѣшней художественной стороны это произведеніе, изобилующее длиннотами и отступленіями, было слабо. Но вѣдь французская публика была хорошимъ критикомъ, стояла нерѣдко выше авторовъ и

могла указывать имъ недостатки. Какъ въ послѣдствіи при передѣлкѣ «Севильскаго Пырюльнига», такъ и теперь послѣ неудачной постановки «Евгеніи» на сценѣ, Бомарше измѣнилъ родъ драмы согласно впечатлѣніямъ и критикѣ зрителей перваго представленія. Обычная художественная черта Бомарше, — захватывающій интересъ пьесы, составляетъ главное эстетическое достоинство «Евгеніи». Но психологическая ея сторона крайне слаба. Главный нервъ драмы примиреніе развратнаго лорда съ Евгеніею не получилъ въ пьесѣ необходимой мотивировки, драма утратила главное значеніе всякаго художественнаго произведенія—правдивости и естественности. Однако, она пользовалась успѣхомъ и въ Германіи, и въ Англій, и въ Россіи, благодаря новизнѣ «слезливой драмы» вообще.

Современникамъ эта пьеса пришла въ вкусу. Гарриксъ писалъ о ней, что она доставила ему величайшее наслажденіе и онъ далъ мысль передѣлать эту пьесу на англійскій ладъ подъ названіемъ «Школа развратниковъ». Другая драма Бомарше въ томъ же духѣ поученій и сентиментальности «Два друга» не имѣла уже вовсе никакого успѣха. Гримъ называетъ эту пьесу негодной, а въ обществѣ по ея поводу циркулировали остроумные стишки, составленные неизвѣстнымъ куплетистомъ:

„Я драму Бомарше видалъ
И въ парѣ словъ скажу, какая эта пьеса:
Въ мѣнялы лавочкѣ гремитъ златой металлъ,
Не возбуждая интереса“.

Эта драма, дѣйствительно, взята изъ міра финансистовъ, отражая въ себѣ увлеченіе Бомарше коммерческими предпріятіями. Вся эта пьеса переполнена случайностями, сочиненными хитроумнымъ авторомъ и не имѣющими ни внутренней необходимости, ни жизненной правды. Сюжетъ ея довольно запутанъ. Два героя, сборщикъ откуповъ и ліонскій негодіантъ, составляютъ центральныя лица. Въ денежныхъ затрудненіяхъ негодіанта приходитъ къ нему на помощь сборщикъ откуповъ, передавъ ему деньги, собранныя съ откуповъ и арендъ. Пріѣзжаетъ ревизоръ. Все кончилось бы очень печально, если бы автору не захотѣлось показать добродѣтельными всѣхъ дѣйствующихъ лицъ пьесы. Пьеса сводится вполнѣ къ благополучному, но ни въ какомъ случаѣ не отвѣчающему внутренней необходимости произведенію, концу. Въ этой «драмѣ» нашелъ себѣ отраженіе личный мотивъ Бомарше въ изображеніи романическаго эпизода любви сына негодіанта къ Полинѣ. Эта пьеса была поставлена въ 1770 году и не выдержала болѣе десяти представленій.

Хотя Бомарше видѣлъ въ себѣ преобразователя драмы, и цѣнилъ особенно эту сторону своего творчества, однако, гениальная комедія была его призваніемъ и составила ему ту славу, которой онъ пользовался при жизни и то историко-литературное значеніе, которое навсегда останется связаннымъ съ его именемъ. Апофеозъ славы Бомарше, какъ писателя, составляетъ его знаменитая Трилогія, написанная имъ въ расцвѣтъ его

таланта и во время того периода жизни, когда его гений, освободившись от пути мелких страстей и тщеславия, выразился во всей своей силе особенно в «Женитьбе Фигаро». «Преступная мать» носит в себе уже следы упадка, а первая часть Трилогии «Севильский Цырюльник» характерен не столько по социальной стороне, но и в художественном отношении.

Каждой из этих трех частей, изображающих судьбу Фигаро в различных стадиях,—Бомарше предпосылает по предисловию, в которых сообщает, как следует понимать его произведение, защищается от нападок критики и разъясняет смысл и значение каждого из действующих лиц пьесы. Бомарше в этих предисловиях имеет в виду главным образом своих современников, и поэтому его разъяснения для правильного понимания нуждаются в историко-литературных дополнениях в связи с предшествующими завоеваниями французской литературы и в исторических объяснениях в связи с последующими событиями во Франции.

V.

Первой части Трилогии Бомарше предпосылает «Скромное письмо по поводу падения и критики «Севильского Цырюльника».

Начало этого письма и поза автора, который, по его собственным словам, «изгибаясь скромно одетый», в заискивающих выражениях просит читателя выслушать его объяснение, рисует Бомарше, ищущим успеха и сознающим, что настало время, когда этот успех всецело зависит от срой массы затерянного в толпе зрителя шумного демократического партера. Содержание «Севильского Цырюльника» просто и обыденно. Влюбленный старик Бартоло предполагает жениться на своей воспитаннице. Противником его является молодая и ловкий граф Альмавива, который с помощью беззаботного, одинаково подсмывающегося над успехом и над падением своих затей, цырюльника Фигаро похищает у соперника красавицу Розину и женится на ней на глазах и в самом доме опекуна. Сам Бомарше понимал, что не в этой простой, обыденной, хотя именно благодаря своей комической простоте и прекрасной фабуле заключается причина долговременного и всеобщего успеха его пьесы.

Главная сила комедии в художественной композиции, и в гениальном ее выполнении, и в живых блестящих диалогах, и в ярких типах. Розина содержится в крепости, обороняемой суровой подозрительностью, и, чтобы обойти человека, который непрерывно мняет намерение, приходится оборачиваться достаточно быстро, чтобы не быть застигнутым внезапно врасплох. В этом и заключается художественная оригинальность Бомарше, как представителя в области комедии, в которой он следовал Реньяру—творцу формы комедии интриги. Мольер и в особенности Детушь были создателями комедии характеров. У Бомарше характеры очерчены слегка,

блестяще, поверхностно. Живость дѣйствій и захватывающая духъ зрителя быстрота измѣненій всего хода сценъ, мелькающихъ, какъ цвѣтныя, радужныя, ослѣпляющія своимъ блескомъ стекла въ калейдоскопѣ, очаровывая взоръ зрителя, ни на минуту не теряющаго интереса,—эта художественная экспрессія не даетъ возможности характерамъ вылиться въ опредѣленныя формы и дѣйствующимъ лицамъ запечатлѣться въ окончательно неизмѣнныя типичныя фигуры.

Одинъ только типъ изъ массы пестрой группы дѣйствующихъ лицъ этой искрометной комедіи получилъ вѣчную жизнь и перешелъ въ потомство—это его знаменитый Фигаро. Но, оставляя вообще не разработанными окончательно характеры, Бомарше показалъ всему міру, чѣмъ можетъ и должна быть социальная комедія-интрига, и въ этомъ его всемірное значеніе во всеобщей исторіи литературы. Надо имѣть въ виду только Фигаро въ первыхъ частяхъ Трилогіи, такъ какъ въ «Преступной матери» онъ уже въ корень измѣняетъ свой общественно-нравственный обликъ. Но въ «Севильскомъ Цырюльникѣ» и въ «Свадьбѣ Фигаро» это одно и тоже лицо, получившее во второй пьесѣ полное вдохновенное развитіе подъ волшебнымъ перомъ чародѣя-драматурга.

Фигаро это «бѣднякъ, затерянный въ сѣрой толпѣ, которому пришлось развернуть столько знаній и сообразительности для поддержанія лишь своего существованія, сколько за сто лѣтъ не было обнаружено имъ по всѣмъ управленіямъ Испаніи». Сынъ неизвѣстныхъ родителей, украденный бродягами, воспитанный въ ихъ средѣ, Фигаро почувствовалъ къ нимъ отвращеніе и пожелалъ избрать себѣ честный путь въ жизни. Но Фигаро повсюду отталкивали. Онъ ревностно изучалъ науки, но самая сильная протекція могущественнаго вельможи едва могла доставить ему скромное мѣсто ветеринара. Попробовалъ онъ писать, и въ ту же минуту какой-то посольствъ предъявляетъ жалобу, что онъ въ своихъ стихахъ оскорбляетъ «Высокую порту, Персію, часть полуострова Индіи, весь Египетъ, королевства Барка, Триполь, Тунисъ, Алжиръ и Марокко, и его комедію выкурили въ угоду магометанскимъ государямъ». «Не будучи въ силахъ справиться съ его умомъ, они отомстили, пустивъ въ ходъ клевету». Но этотъ несчастный вѣчный скиталецъ не падаетъ духомъ. Вездѣ при всякомъ случаѣ, ставя себя выше обстоятельствъ, благословляемый одними, проклинаемый другими, помогая удачѣ и стойко вынося удары судьбы, осмѣивая дураковъ, отворачиваясь отъ злыхъ людей, подтрунивая надъ своей бѣдностью, добрелъ онъ до Севильи, чтобы теперь предаться протесту противъ гоненія на мысль и противъ всеисилья знати! Его приемами борьбы являются интрига и ловкость. Изъ ничего создавать факты—его политика. «Двѣ-три интрижки разомъ, да и перепутать ихъ между собою»,—становится его девизомъ. Онъ обходитъ всѣхъ и силою своего ума и изобрѣтательности побѣждаетъ преимущества, связанные съ знатностью и богатствомъ. Онъ спѣшитъ смѣ-

яться, чтобы не дать волю слезамъ. Веселую философію ему дала привычка къ горю. Въ свободныя минуты онъ предается протесту и съ остроумнымъ сарказмомъ изливаетъ ѣдкую скорбь измученной души.

Въ этомъ типѣ Бомарше слилъ въ одинъ цѣлый гармоническій яркій образъ элементы, составляющіе два противоположные полюса. Трагическое и комическое, забавное и трогательное, беззаботно веселое и невыносимо горькое сплетаются неразрывно въ живой личности Фигаро, этомъ представителѣ толпы, гордой въ своемъ порабоженіи и непобѣдимой въ своемъ естественномъ требованіи, переходящемъ въ открытый вызовъ аристократіи и всему старому порядку. Мѣтко и остроумно въ готовыхъ, сжатыхъ формулахъ, непосредственно вырывающихся изъ наболѣвшей груди, Фигаро бросаетъ перчатку вѣковому строю жизни дореволюціоннаго общества. Его идеи не новы, онѣ бродили и кипѣли въ обществѣ, цензура пропустила ихъ какъ избытки истины, но толпа подхватываетъ эти формулы протеста на лету, и вотъ онѣ дѣлаются ферментомъ, вызывающимъ революціонное броженіе. Въ этомъ смыслѣ Бомарше сталъ предвѣстникомъ революціи, далеко не будучи по своей натурѣ революціонеромъ. «Получать, брать и просить» — въ этомъ вся тайна, по словамъ Фигаро, быть придворнымъ. «Посредственность, да низкопоклонство, вотъ что въ гору идетъ». «Потому что вы знатный вельможа, вы считаете себя великимъ гениемъ». «Дворянство санъ, богатство внушаетъ человѣку столько гордости. Но что вы сдѣлали, чтобы добиться этихъ благъ. Вы потрудились только родиться—больше ничего», такъ громить Фигаро аристократовъ и представителей администраціи.

Свободолюбивый, онъ болѣетъ отъ притѣсненій, которыя испытываетъ печать. «Печатныя глупости имѣютъ, по мнѣнію Фигаро, значеніе лишь тамъ, гдѣ стѣснена печать, безъ свободы порицанія самая похвала не заключаетъ въ себѣ ничего лестнаго. Только мелкіе людишки боятся печатныхъ статей». «Въ Мадридѣ установилась необыкновенно либеральная система относительно передачи всякаго рода произведеній,—разсказываетъ Фигаро,—распространяющихся и на произведенія печати: воспрещается же мнѣ говорить лишь о власти, о культѣ, о политикѣ, о морали, объ особахъ, занимающихъ мѣста, объ обществахъ, заслуживающихъ довѣрія, объ оперѣ и другихъ спектакляхъ, да о личностяхъ, имѣющихъ къ чему-либо касательство; затѣмъ я могу свободно печатать обо всемъ прочемъ, подъ наблюденіемъ двухъ или трехъ цензоровъ».

Бомарше, испытавшій на себѣ не разъ всю тягость судопроизводства современнаго ему дореформеннаго суда, влагаетъ въ уста Фигаро ядовитые протесты противъ дореформеннаго суда. «Если суть тяжбы принадлежитъ тяжущимся, то форма ея составляетъ неотъемлемую собственность господъ судей». Въ мѣткомъ французскомъ непереводимомъ буквально каламбурѣ. «Обычай нерѣдко есть злоупотребленіе» «L'usage est souvent un abus» тонкой шуткой осмѣиваетъ Фигаро всю систему современнаго ему суда.

Противъ закона Фигаро протестуетъ, говорить открыто, что онъ снисходителенъ къ людямъ большимъ и суровъ къ маленькимъ. Вопросы, волнующіе французское общество, находятъ въ устахъ великаго насмѣшника Фигаро-Бомарше мѣткую оцѣнку и эту именно стороною обѣ комедіи заслужили признательность и шумный успѣхъ у современниковъ.

Въ живой фигурѣ гениальнаго цырюльника Бомарше художественнымъ путемъ выразилъ всю практическую сторону жизненной философіи энциклопедистовъ, которая до него была облечена въ суровую форму научныхъ трактатовъ, недоступныхъ массѣ. Образъ Фигаро при этомъ вышелъ оригинальнымъ, цѣльнымъ и высоко-художественнымъ. Въ «Севильскомъ Цырюльникѣ» онъ не достигъ еще полной окончательной обработки, но тамъ намѣтился этотъ чудный типъ, чтобы получить яркое освѣщеніе и полную законченность уже въ «Свадьбѣ Фигаро». Въ «Севильскомъ Цырюльникѣ» Фигаро пока еще только веселый малый, подшучивающій надъ докторомъ Бартоло и другими лицами и съ удовольствіемъ занимающійся проказами и легкой интригой, чтобы помочь юному графу противъ старика-деспота.

Но въ «Свадьбѣ Фигаро» раскрывается уже его общественная и нравственная личность въ ея всесторонней силѣ и яркости. Самая фабула «Женитьба Фигаро», исполненная глубокаго драматическаго интереса, захватываетъ какъ моральныя, такъ и общественныя стороны жизни соціальной неурядицы и общественной неправды въ отношеніяхъ высшаго и низшаго сословія. Основную ткань пьесы составляетъ борьба ума и ловкости Фигаро противъ силы и безграничной власти его господина графа Альмавива. Чтобы придать своей комедіи сильный трагическій мотивъ, имѣющій соціальное значеніе, потрясающее нравственное чувство зрителя и вызывающее его сильный протестъ, Бомарше узломъ пьесы набросилъ позорное право вельможъ пользоваться невѣстой своихъ подданныхъ послѣ свадьбы. Графъ Альмавива отмѣняетъ это право, но когда Фигаро женится на Сузаниѣ, онъ уже раскаивается въ отмѣнѣ этого обычая и сплетаетъ интриги, чтобы привлечь къ себѣ Сузанну. Въ этомъ именно заключается мрачный узелъ комедіи, и этотъ лейтъ-мотивъ дѣлаетъ ее неизмѣримо серьезнѣй и глубже «Севильскаго Цырюльника».

Комическія положенія не защищаютъ зрителя отъ тяжелаго чувства, возбужденнаго грустнымъ безправіемъ униженныхъ и угнетеніемъ ихъ веселой знатью. Если, благодаря уму и ловкости, Фигаро удается восторжествовать надъ графомъ Альмавивой, то общій порядокъ жизни не измѣняется отъ этого и внушаетъ ненависть противъ основъ соціального строя, допускающаго подобныя обычаи. Если «Севильскій Цырюльникъ» блещетъ веселыми жизненными мотивами, пріятно волнующими зрителя сочувствіемъ къ молодымъ въ ихъ интригѣ противъ стараго деспотическаго опекуна, то въ «Женитьбѣ Фигаро» зритель находится подъ тяжелымъ угнетающимъ впечатлѣніемъ картины подчиненія интимныхъ сторонъ жизни людей низшаго сословія безграничному всемогущему необузданной аристократіи.

Въ «Свадьбѣ Фигаро» три интриги то переплетаясь, то разъединяясь, проходятъ черезъ всю пьесу. Отношенія графини къ легкомысленному и преступному въ намѣреніяхъ графу, любовь Фигаро къ Сусаннѣ, отношеніе Марселины къ Фигаро, оказавшемуся ея сыномъ и перемѣнчивыя увлеченія юнаго пажа—перемѣшиваются въ пеструю, игривую разноцвѣтную ткань, по которой звучнымъ основнымъ мотивомъ проходятъ протесты Фигаро и побѣды его ума и изобрѣтательности надъ сильнымъ, но оказывающимся въ крайне смѣшномъ и нелѣпомъ положеніи недалновиднымъ владѣтельнымъ вельможею. Эта сѣть интригъ, постоянно мѣняющихся по требованіямъ минуты и сообразно ходу дѣйствій, такъ заинтересовываетъ зрителя, что онъ не можетъ оторваться отъ ослѣпительной игры, въ которой все получаетъ новые неожиданные обороты, какъ только дѣло осложняется новыми обстоятельствами. Отдѣльныя сцены эффектны и производятъ неотразимое впечатлѣніе.

Въ третьемъ дѣйствіи, представляющемъ тронную залу, предназначенную для суда, процессъ надъ бѣднымъ Фигаро готовъ разрушить всѣ его планы, но обнаруженіе въ той женщинѣ, за которую хотѣлъ его просватать графъ,—родной ему матери, уничтожаетъ намѣреніе графа, и сцена заканчивается картиной встрѣчи между узнавшими другъ друга родными, въ которой даже Фигаро единственный разъ въ своей жизни не удерживается отъ слезъ. Дарматическій нервъ этой пьесы получаетъ здѣсь развитіе и обнаруживаетъ въ Бомарше автора драмъ «Евгеніи» и «Двухъ друзей», умѣющаго затронуть чувствительныя струны души зрителя.

Послѣдняя же сцена полна такихъ комическихъ конфликтовъ, что только быстрота дѣйствій превосходитъ комичность столкновеній, и въ концѣ концовъ вся житейская путаница приводится къ желанному концу, когда одураченный графъ оказывается проученнымъ своей женой, переодѣвшейся въ платье невѣсты Фигаро, а Фигаро осмѣявъ Сузанной за его желаніе поухаживать за мнимой графиней въ увѣренности, что его семейное счастье разрушено. Все кончается благополучно и весело. Но на душѣ у зрителя остается горькій осадокъ святого недовольства.

Въ этой гениальной комедіи ярко выступаетъ суровая критика дряхлаго отжившаго соціального строя жизни, выраженная въ горькихъ, и гордыхъ, и сильныхъ протестахъ Фигаро, въ художественной завязкѣ пьесы и въ заключительныхъ аккордахъ резюмирующихъ общественныя идеи эпохи.

„По прихоти рожденія, размышляетъ Фигаро, одинъ графъ, другой пастухъ, случай поставилъ между ними разстояніе, одинъ лишь умъ все можетъ измѣнить. Смерть стираетъ изъ памяти людей десятки графовъ, которымъ курили еимміамъ, Вольтеръ же навсегда безсмертенъ“.

Это противопоставленіе мишурной славы вельможъ, истинной славы гениевъ, заключаетъ въ себѣ противопоставленіе неоспоримыхъ правъ ума случайнымъ правамъ рожденія—и въ глубинѣ этихъ антитезъ

свѣтится глубокой духъ справедливаго протеста, еще рѣзче выраженный заключительными строфами пьесы:

„Комедія эта, иронизируетъ Бридуазонъ, рисуешь намъ жизнь добраго народа, который слушаетъ ее. Плохо живется ему — онъ бранится и кричить, волнуется и суетится на сто ладовъ! Кончается же все пѣсенками“.

Берне въ Парижскомъ письмѣ отъ 30 января пишетъ о «Свадьбѣ Фигаро»:

«Бомарше смель пылъ съ мебели стараго порядка нѣжнымъ павлиньимъ перомъ; черезъ пять лѣтъ послѣ этого, національное собраніе совсѣмъ сломало эту мебель и скоро весь опустѣвшій домъ рухнулъ. Пыль служить прикрытіемъ для всякаго отжившаго порядка; сметите ее — и передъ вами тотчасъ же обнажатся его морщины, трещины, пятна и онъ становится посмѣшищемъ молодого поколѣнія. «Свадьба Фигаро» была міровою комедіею; она составила эпоху въ великой величественной исторіи Франціи. Первую рану французское духовенство получило отъ Людовика XIV, дозволившаго представленіе Тартюфа, и французская аристократія отъ Людовика XVI, допустившаго на сцену «Свадьбу Фигаро», и, что, слѣдовательно, первыми проводниками французской революціи были два французскіе короля». Бомарше въ предисловіи къ «Свадьбѣ Фигаро» говоритъ, что главная его заслуга въ томъ, что онъ съ полной независимостью проповѣдывалъ въ своей комедіи равенство сословій.

VI.

Третья часть Трилогіи «Преступная мать» обнаруживаетъ стремленіе Бомарше вернуться на путь поученія и чувствительности. Въ этой послѣдней пьесѣ гениальнаго драматурга замѣтны всѣ признаки упадка таланта и нравственнаго пониженія уровня духовной жизни одряхлѣвшаго душою и преждевременно состарившагося автора. Этому произведенію Бомарше предпослалъ «Слово по поводу преступной матери» и «Письмо» въ ея защиту. Въ этихъ предисловіяхъ Бомарше самъ сознается, что съ лѣтами умъ принимаетъ болѣе грустное направленіе, и дѣйствительно Бомарше уже теряетъ гениальную силу смѣха. Если «Севильскій Цырюльникъ» и «Свадьба Фигаро» олицетворяютъ собою хохотъ, вырвавшійся изъ глубины духа, которымъ облегчаетъ себя великій насмѣшникъ отъ безмѣрнаго зла жизни, то въ «Преступной Матери» Бомарше уже не сдерживаетъ грустныхъ мотивовъ сердца и въ патетической драмѣ изображаетъ «картину внутренняго разлада, замѣчаемаго во многихъ семействахъ». Но въ противоположность съ семьею Альмавивы, которая приняла аномальную форму вслѣдствіе диссонанса, производимаго двумя дѣтьми, изъ которыхъ сынъ принадлежитъ только матери, а воспитанница оказывается дочерью графа,

выставлена авторомъ идеальная чета Фигаро и Сусанны. Они сообща и при полной взаимной откровенности противодѣйствуютъ планамъ лицемѣра Бежарса разлучить молодыхъ людей другъ съ другомъ, убѣждая каждаго изъ нихъ, будто они дѣти одного отца. Фигаро и Сусанна спасаютъ семью Альмавивы отъ предстоящаго горя. Пьеса оканчивается благополучнымъ раскрытіемъ хитрыхъ интригъ лицемѣра и бракомъ между молодыми людьми. Бомарше въ «Преступной матери» выходитъ изъ сферы прежнихъ комедій великаго насмѣшника. Нравоучительная сентиментальность, проникающая комедию «Преступная Мать», напоминаетъ первыя драмы Бомарше «Евгенія» и «Два друга». Въ этой пьесѣ обнаруживается стремленіе къ марализованію, которое Бомарше ставилъ себѣ, какъ художникъ, ошибочно въ заслугу. «Мораль» по его словамъ, «вытекающая изъ столь важнаго нарушенія супружескаго долга честной женщиной служить для предупрежденія лучшей части молодежи, которая, не имѣя обыкновенія заглядывать въ будущее, чаще рискуетъ сбиться съ пути, чѣмъ окончательно погрязнуть въ порокъ». Это-то морализованіе, являясь основою художественной концепціи пьесы, привело Бомарше къ искусственнымъ построеніямъ и къ антихудожественному нарушенію законовъ правды и естественности.

Упадокъ таланта и ослабленіе общественныхъ силъ Бомарше рельефно выразились въ метаморфозѣ его генеральнаго типа — Фигаро, художественно совершенно исчерпаннаго въ 2-хъ первыхъ комедіяхъ. Противопоставляя въ «Преступной Матери» стараго покорнаго слугу Фигаро корыстолюбивому лицемѣру Бежарсу, Бомарше придавъ своему излюбленному герою совершенно другой характеръ, противоположный въ основѣ двумъ первымъ комедіямъ Трилогіи. Гонимый судьбою, вѣчно смѣющийся надъ горемъ, протестующій честно и открыто противъ всякой неправды жизни и несправедливости соціальныхъ отношеній между разными классами общества, осмѣивающій отжившій судъ и разлагавшуюся администрацію изнывающего въ предсмертной агоніи всего строя жизни, этотъ великій и несчастный Фигаро превращается въ «Преступной матери» въ добродушнаго и довольнаго всѣмъ слугу—семьянина, всегда покорнаго водѣ своего господина, направляющаго гибкость своего изворотливаго ума и усилія недюжинной энергіи единственно для блага вельможи Альмавивы. *Постъ свадьбы Фигаро превратился въ угодливаго и почтеннаго прислужника и въ немъ заложъ и исчезъ „человѣкъ“, въ высшемъ значеніи этого слова.* Это знаменательное обстоятельство находитъ разъясненіе кромѣ художественной исчерпанности типа и въ біографіи Бомарше, который на склонѣ лѣтъ не знаетъ куда ему направлять энергію, и котораго манитъ сытая буржуазная жизнь на покоѣ въ миллионномъ замкѣ, выстроенномъ необдуманно противъ самой Бастиліи.

Пережѣна въ соціальной жизни Франціи застала Бомарше врасплохъ и онъ, обвиняемый и преслѣдуемый за нравственную расшатанность и

прежнія двуличныя отношенія съ аристократіей, только и заботился теперь о томъ, чтобы услугой новому правительству доставить себѣ безопасность и спокойную жизнь безъ волненій. Дряхлый духъ упадка и гнилого унынія проникаетъ всю послѣднюю пьесу Бомарше, и она не имѣетъ органической связи съ лучшими двумя гениальными комедіями его Трилогіи, дышащими революціоннымъ протестомъ.

Еще одна пьеса Бомарше этого же періода свидѣтельствуесть объ упадкѣ его таланта и разрушеніи общественныхъ идеаловъ, такъ определенно обрисованныхъ въ «Женитьбѣ Фигаро». Пьеса «Тараръ» имѣетъ болѣе возвышенный образъ, чѣмъ «Преступная Мать», но уже одно то, что она три раза претерпѣвала коренныя измѣненія, доказываетъ, что Бомарше старался угодить духу времени и подлаживался къ обстоятельствамъ. Эти измѣненія въ пьесѣ «Тараръ» главнымъ образомъ касались его окончанія. Человѣкъ изъ народа Тараръ, храбрый воинъ, представитель ума и гражданской доблести борется съ царемъ Атарой. Народъ свергаетъ тирана съ престола и послѣдній уступаетъ свое мѣсто Тарару. Такъ оканчивалась пьеса въ первой редакціи. Но этого было недостаточно въ ту пору, и Бомарше во второй редакціи прибавляетъ къ прежнему заключенію пьесы слова: «Царствуй надъ любящимъ тебя народомъ согласно законамъ и справедливости, народъ самъ вручаетъ тебѣ свою грозную власть». Далѣе Бомарше добавляетъ еще новую сцену «коронаціи Тарара», въ которой власть его ограничивается конституціей и онъ читаетъ цѣлую тираду о разрѣшеніи брака священникамъ.

Лебединою пѣснью Бомарше является мемуаръ, написанный въ 1793 г., подъ названіемъ «Шесть эпохъ». Въ этомъ мемуарѣ авторъ обозрѣваетъ свои приключенія съ поставкою ружей. Это произведеніе, имѣющее біографическій интересъ, не заключаетъ въ себѣ интереса литературнаго, какъ прежніе мемуары Бомарше противъ Гецмана. Имъ и заканчивается творчество Бомарше.

Обозрѣніе жизни и литературной дѣятельности Бомарше приводитъ къ определеннымъ выводамъ. Тѣсная связь между жизнью Бомарше и исторіей его творчества обнаружилась въ основныхъ чертахъ съ неопровержимою ясностью. Въ главномъ типѣ Фигаро вырисовываются черты его создателя Бомарше. Какъ Фаустъ выражаетъ генезисъ и развитіе міросозерцанія самого Гёте, какъ Онѣгинъ и Печоринъ отражаютъ крупныя черты въ гениальныхъ личностяхъ Пушкина и Лермонтова, такъ и основныя черты типа Фигаро обнаруживаютъ черты характера самого Бомарше. Самое имя Фигаро приурочиваютъ къ дѣтскому прозвищу Бомарше fils Caçon по нормандскому произношенію fi Caçon. Если автобіографическія черты Бомарше составляютъ ткань характера Фигаро, то его горячіе остроумные протесты представляютъ взгляды Бомарше и его отношеніе къ жгучимъ вопросамъ соціальной жизни Франціи до революціонной эпохи.

Какъ въ «Горѣ отъ ума» Чацкій проводитъ взгляды Грибоѣдова и его критику общества и внутреннихъ основъ жизни, такъ герой «Севильскаго Цырюльника» и «Женитьбы Фигаро» громитъ ѣдкимъ сарказмомъ непобѣдимаго смѣха всѣ основныя черты соціального строя Франціи, изнывающей въ агоніи стараго отжившаго порядка. Первые и послѣднія пьесы представляются слабыми и безцвѣтными въ сравненіи съ полнымъ развитіемъ таланта Бомарше въ эпоху расцвѣта генія въ зрѣлый періодъ его жизни. Въ первый и послѣдній періодъ Бомарше руководится въ жизни низшими побужденіями, а въ зрѣлый періодъ выступаетъ борцомъ за высшіе идеалы человѣчества.

Какъ блѣдная заря не предвѣщала яркаго ослѣпительнаго дня въ моментъ зенита, такъ и туманный закатъ явился печальною неожиданностью послѣ столь свѣтлаго полудня.

Неопровержимо выступаетъ рельефный фактъ полного соответствія между жизнью и ролью Бомарше, какъ общественнаго дѣятеля, и тѣмъ ходомъ его литературнаго творчества, который опредѣлился изъ критическаго анализа его произведеній. При сужденіи о Бомарше какъ писателѣ логическую силу получаетъ критерій той богатырской мощи, до которой достигъ его геній въ кульминаціонный пунктъ развитія т.-е. въ періодъ созданія «Севильскаго Цырюльника» и въ особенности «Свадьбы Фигаро». Это блестящее десятилѣтіе, когда физическія и нравственныя его силы достигли апогея, служить мѣриломъ для оцѣнки личности Бомарше. Въ эту славную пору Бомарше выступаетъ изобрѣтательнымъ и гигантски сильнымъ борцомъ за интересы свободы англійскихъ колоній, заслуживаетъ аплодисменты Новаго Свѣта, связываетъ свое имя съ первымъ изданіемъ Вольтера, жертвуя на это несчетныя суммы, и становится заступникомъ страдавшихъ отъ эксплуатаціи театровъ интересовъ драматурговъ.

Исторія литературы увѣковѣчила имя Бомарше какъ величайшаго новатора оригинальной формы соціальной комедіи, содѣйствовавшаго ихъ идейной стороной прогрессивному движенію жизни. Біографія Бомарше обнаружилъ въ немъ черты человѣка слабого, испорченнаго безразсуднымъ воспитаніемъ и лишеннаго систематическаго образованія, отражающаго въ себѣ мятежную эпоху противорѣчиваго вѣка. Бомарше является однимъ изъ выдающихся представителей французской литературы XVIII вѣка, однимъ изъ тѣхъ геніевъ, которые извѣстны непримиримою двойственностью, удивительнымъ соединеніемъ умственной мощи съ нравственнымъ уродствомъ.

Въ высшій періодъ Бомарше проникается идеями свободы, истинны и справедливости и прославляетъ себя художественными преобразованиями комедіи т.-е. одной изъ сильнѣйшихъ формъ литературы. Въ этомъ образѣ онъ и запечатлѣется и проживетъ вѣка, какъ онъ прожилъ въ памяти образованныхъ людей все могучее и бурное девятнадцатое столѣтіе.

Евгеній Жураковскій.





Бѣлинскій въ борьбѣ славянофиловъ съ западниками *).

(Посвящаю дорогому другу Н. И. Стороженку).

Въ маѣ нынѣшняго года въ одной изъ залъ Московскаго университета пріютилась скромная выставка. Немного было тамъ собрано — дватри бюста, нѣсколько выцвѣтшихъ портретовъ, нѣсколько пожелтѣлыхъ листовъ рукописей..., а между тѣмъ эти гипсовые слѣпки, эти плохія литографіи, эти клочки исписанной бумаги дороже и ближе нашему сердцу и мраморовъ античной скульптуры, и богатствъ Луврскаго музея. Въ этой бѣдной коллекціи всѣ внѣшнія реликвіи нашего недавняго прошлаго, дорогія воспоминанія бодрой, свѣжей и чающей юности нашей родной мысли.

Передъ нами, передъ судомъ дѣтей и внуковъ, галерея образовъ нашихъ духовныхъ предковъ, и мы читаемъ имъ приговоръ на лицѣ каждаго чуткаго русскаго человѣка: съ благоговѣніемъ останавливается онъ передъ праведными ликами Грановскаго, Станкевича, Кудрявцева, съ грустнымъ интересомъ всматривается въ отмѣченныя печатью душевныхъ бурь и внутренняго разлада черты Герцена, Огарева, съ неостышимъ и понынѣ негодованіемъ отворачивается отъ литературныхъ близнецовъ Булгарина и Греча и ихъ соратниковъ *nomina quorum sunt odiosa...*

И надъ всей этой плеядой отцовъ нашего просвѣщенія господствуетъ одинъ центральный образъ, образъ недоучившагося студента и воспитателя цѣлаго поколѣнія, литературнаго пролетарія, оставившаго намъ въ наслѣдство золотыя пріиски мысли, безыменнаго писателя, давшаго названіе цѣлой эпохѣ просвѣщенія—образъ Виссаріона Бѣлинскаго.

40-ые годы та эпоха нашей культуры, когда русская юная мысль не только сбрасываетъ дѣтскія пеленки, но выходитъ изъ подъ ферулы нѣмецкихъ гувернеровъ Карлъ Ивановичей и французскихъ abbés. Однако

*) Лекція въ публичномъ собраніи Одесскаго Историко-Филологическаго Общества, посвященномъ памяти В. Г. Бѣлинскаго, 11 октября 1898 года.

пребываніе въ классной комнатѣ западныхъ гувернеровъ оставило на всемъ обличьи нашихъ отцовъ глубокіе слѣды. Они научились читать по иностранному, и когда подросли, стали читать и между строкъ. Смѣнивъ домашнюю курточку на фракъ, они переѣзжаютъ границу въ Vaterland'ы и Patries своихъ воспитателей и возвращаются оттуда не только съ портретами ученыхъ отцовъ немудрыхъ Карлъ Ивановичей и видами культурныхъ городовъ, но и съ цѣлымъ багажемъ новыхъ идей, впечатлѣній и чаяній—но, соотвѣтственно природнымъ наклонностямъ въ разныхъ душевныхъ состояніяхъ: одни съ восторгомъ и надеждами, другіе съ недоумѣніемъ и смутной тоской. Первыхъ болѣзненно поражаетъ неприглядность домашней обстановки, родная грязь, дикая патріархальность внутреннихъ отношеній, рѣдкая грамотность вмѣсто широкаго образованія, языческое двоевѣріе на мѣсто истинной религіозности. Но они молоды, сильны, энергичны, они жаждутъ дѣятельности, они видѣли лучшее, они не уйдутъ въ монашескую келью отъ грѣховнаго міра, не признаютъ дѣйствительности разумной, не набросаютъ на лицо поэтическіе плащи Чайльд-Гарольдовъ; они будутъ пророками лучшаго, будутъ звать вмѣстѣ съ собою въ науку, не убоятся признать себя недоучками и укажутъ смѣло, гдѣ эту науку искать—тамъ, откуда они вернулись, на родинѣ Карловъ Ивановичей и M^{rs} les abbés. Они не будутъ сочинять ни философскихъ системъ, ни новой религіи, они составятъ программу обученія и засядутъ вмѣстѣ съ учениками за азбуку.

Инымъ путемъ пойдутъ вторые—на ихъ мирныхъ и кроткихъ сердцахъ болѣзненно отразилась безпокойная, кипучая жизнь Запада; она нарушила спокойную гармонію душъ, убаюканныхъ родными пѣснями, жгучую тоску которыхъ они не слышали за колыбельнымъ напѣвомъ, но она не вызвала симпатій и восторговъ. Недоумѣвающие, обезпокоенные, разстроенные, они вернулись домой, и здѣсь, на порогѣ роднаго очага, ихъ встрѣтили старыя нянюшки, Анны Родіоновны, съ добрыми глазами и старыми родными сказками. И вотъ въ тихомъ, мирномъ и уютномъ отцовскомъ домикѣ, за оградой, въ глубинѣ двора, куда не долетаетъ безпокойный шумъ улицы, они вторично учатся забытому въ классной комнатѣ родному языку и съ восторгомъ открываютъ въ немъ поразительную звучность и необыкновенное богатство формъ. Они снова переслушиваютъ старыя сказки, родныя пословицы, кодексъ народной мудрости, но переслушиваютъ уже взрослыми, угадываютъ смыслъ того, что только тѣшило ихъ дѣтское сердце и пугало юное воображеніе. И имъ начинаетъ казаться, что они сдѣлали величайшее открытіе, нашли тотъ философскій камень, котораго такъ тщетно искали тысячелѣтіями западные мудрецы—народную душу, и нашли ее такой чистой, кристальной и ясной, такой глубокой и святой, какъ религіозная истина—и передъ этимъ откровеніемъ они преклонились. И они захотѣли повѣдать о своемъ открытіи

всему міру и прежде всего тѣмъ мудрецамъ Запада, которые такъ тщетно искали этой истины, и повѣдать ее *ихъ языкомъ* — философской системой—въ ней они будутъ излагать и причины неудачи старыхъ поисковъ и опредѣлять свойства и будущую судьбу своей находки. Зачѣмъ намъ чужое, когда здѣсь, дома, у насъ такое богатство, какового не знали сѣкровищницы ни древняго ни новаго міра?

Въ этой системѣ есть и своя теорія познанія, и своя философія религій, и свой *contrat social*.

Остановимся нѣсколько на этой системѣ, оставимъ въ сторонѣ ея философскую сторону, теорію познанія, противоположеніе, Запада Востоку, познакомимся лишь съ ея общественной стороной, съ попыткой опредѣлить особенности русскаго національнаго духа и самобытность русскаго государственнаго строя.

Цѣль жизни какъ отдѣльнаго лица, такъ и цѣлаго народа, есть нравственный подвигъ, осуществленіе нравственнаго закона на землѣ. Но нравственный подвигъ можетъ осуществляться только нравственнымъ путемъ, т.-е. путемъ свободнаго убѣжденія, путемъ внутренней правды, а не помощью внѣшней принудительной силы.

Подъ вліяніемъ вѣры въ нравственный подвигъ, возведенный на степень исторической задачи, цѣлыя общества образуютъ своеобразный бытъ, мирный и кроткій характеръ. Такой нравственный строй мы можемъ найти только у племенъ бытовъ, по преимуществу у народовъ славянскихъ. Исторія русскаго народа есть единственная во всемъ міра исторія народа христіанскаго не только по исповѣданію, но по жизни своей, по стремленію своей жизни.

Каковъ же этотъ нравственный строй жизни, такъ отличающій славянь, и въ частности—славянь русскихъ? Отвѣтъ извѣстенъ — это строй общинный. Община то именно и основана на началахъ правды внутренней, свободы убѣжденія, а не на началѣ правды внѣшней, силы принудительной—и въ этомъ существенное отличіе общины отъ государства. Община есть союзъ людей, отказывающихся отъ своего эгоизма, отъ личности своей, и являющихся общее ихъ согласіе: это дѣйство любви, высое дѣйство христіанское, болѣе или менѣе неясно выражающееся въ разныхъ другихъ своихъ проявленіяхъ. Община представляетъ такимъ образомъ нравственный хоръ, и какъ въ хорѣ не теряется голосъ, но, подчиняясь общему строю, слышится въ согласіи всѣхъ голосовъ, такъ и въ общинѣ не теряется личность, но, отказываясь отъ своей исключительности для согласія общаго, она находитъ себя въ высшемъ очищенномъ видѣ, въ согласіи равномѣрно самоотверженныхъ личностей. И вотъ почему община есть то высшее, то истинное начало, которому уже не предстоить найти нѣчто себя высшее, а предстоить только преуспѣвать, очищаться и возвышаться.

Выраженіе человѣческаго разума есть слово—оно выражаетъ согласіе общины; итакъ выраженіе ея совокупной нравственной дѣятельности есть совѣщаніе (вѣче, сходка, соборъ, дума). Совѣщаніе это имѣетъ цѣлью общее согласіе:—отсюда вытекаетъ начало единогласія при рѣшеніяхъ общины, начало славянское, въ отличіе отъ начала большинства, начала насильственнаго, побѣждающаго лишь физическимъ преимуществомъ—которыхъ больше тѣ одолеваютъ тѣхъ, которыхъ меньше.

Община управляется обычаемъ общественнымъ, правдой внутренней, а не закономъ, правдой внѣшней.

Однако политическія неблагопріятныя обстоятельства заставили славянъ искать правды внѣшней, т.-е. государства. Сами составить это устройство они не могли по существу ихъ, не могли и не хотѣли, не могли и не хотѣли обратиться сами изъ общины въ государство. И вотъ поэтому славяне рѣшаются *призвать* государство; но они призываютъ его изъ чуждой земли, какъ чуждое устройство, и становятся его *при* общинѣ, не переходя сами въ новое вѣрованіе, во внѣшній законъ, въ государство, сохраняя свою общину. Они принимаютъ государство какъ необходимое зло и избираютъ лучшую (т.-е. наименьшее изъ золъ) правительственную форму, не смѣшиваясь съ государствомъ, но раздѣльно ставъ въ союзъ другъ съ другомъ.

И вотъ почему въ основѣ нашего государства лежитъ добровольность, свобода, миръ. Народъ и власть стали въ особыя отношенія другъ къ другу. Народъ смотрѣлъ на власть, какъ на власть, которая не покоряла, но призвана имъ добровольно, которую потомъ онъ обязанъ хранить и чтить — народъ есть первый стражъ власти. Власть смотритъ на народъ какъ на народъ, который не покоренъ ею, но который самъ призвалъ ее; слѣдовательно не есть ея униженный рабъ, но свободный подданный, благодарный за ея труды и другъ неизмѣнный.

Но нѣтъ главнаго обезпеченія, скажутъ намъ: или народъ, или власть, могутъ измѣнить другъ другу. Гарантія нужна! Гарантія не нужна! Гарантія есть зло. Гдѣ нужна она, тамъ нѣтъ добра, пусть лучше разрушится жизнь, въ которой нѣтъ добраго, чѣмъ стоять съ помощію зла. Вся сила въ идеалѣ ¹⁾.

Итакъ русскій народъ не государственный; онъ не хочетъ власти для себя, потому что власть начало внѣшнее, принудительное, а онъ хочетъ жить по правдѣ внутренней. Онъ сознаетъ необходимость государства и призываетъ его, но самъ не хочетъ терять своей внутренней правды, стать государствомъ, силой внѣшней, и поэтому предоставляетъ государству силу власти, а себѣ оставляетъ силу мнѣнія.

Отсюда понятно и отношеніе этой исторіо-софической системы къ западному просвѣщенію и реформамъ Петра Великаго: съ этого времени

¹⁾ Сочиненія К. С. Аксакова, т. I, passim.

государство совершает переворотъ, разрываетъ союзъ съ землею и подчиняетъ ее себѣ. Измѣнивъ русскому народу, государство измѣняетъ и народности, вводя подражательность чужимъ краямъ. Но народъ, простой народъ, остался при прежнихъ началахъ. Переворотъ сопровождался насилиемъ, и Русь раздѣлилась на двое и на двѣ столицы — съ одной стороны государство съ своей иностранной столицей, съ другой земля и народъ съ своей русской столицей — Москвой.

Свои формы власти, свои формы общественности, свое просвѣщеніе — вотъ девизъ этой исторіо-софической системы, и мы увидимъ, къ какимъ практическимъ выводамъ могли повести эти общія послышки.

Пойдемъ теперь въ Москву 30—40 гг. и посмотримъ какъ между этими двумя направленіями распредѣлялось современное культурное общество, кто и почему примкнули къ тому или иному учению.

Москва 30—40 гг. въ одномъ отношеніи удивительно напоминаетъ Парижъ XVIII в. И здѣсь, и тамъ, въ культурной части общества идетъ усиленная умственная дѣятельность, выработка основъ міросозерцанія, и идетъ тѣмъ же путемъ, т.-е. не столько публичнымъ обсужденіемъ въ книгахъ и журналахъ, сколько устно, путемъ безконечныхъ преній въ кружкахъ-салонахъ. Галантный XVIII вѣкъ назвалъ французскіе кружки по именамъ царицъ салоновъ — очаровательной М-те Рекамье, умницъ М-те Жоффрэнъ, М-те де-Сталь. Въ нашей памяти московскіе салоны остались навсегда съ мужскими именами Станкевича, Герцена, Огарева. Но и московскіе салоны не были исключительно холостыми; и они оживлялись бодрящимъ присутствіемъ прекраснаго пола; и московскія дамы не оставались нѣмыми свидѣтельницами словесныхъ турнировъ; «барыни и барышни, вспоминаетъ глава одного изъ кружковъ, читали статьи очень скучныя, слушали пренія очень длинныя, спорили сами за К. Аксакова или за Грановскаго, жалѣя только, что А. слишкомъ славянинъ, а Гр. недостаточно патриотъ ¹⁾. Сверхъ участниковъ въ спорахъ, сверхъ людей, имѣвшихъ мнѣнія, на эти вечера пріѣзжали охотники, даже охотницы и сидѣли до двухъ часовъ ночи, чтобъ посмотрѣть кто изъ матадоровъ кого отдѣлаетъ, и какъ отдѣлаютъ его самого; пріѣзжали въ томъ родѣ, какъ встарь ѣздили на кулачные бои и въ амфитеатръ, что за Рогожской заставой ²⁾. И въ первый періодъ этихъ кружковъ-салоновъ главнымъ и единственнымъ предметомъ самыхъ горячихъ споровъ были тончайшіе, изысканнѣйшіе и туманнѣйшіе вопросы отвлеченной философіи; люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа, принимали за обиды мнѣнія объ

¹⁾ Былое и Думы VII 296.

²⁾ Ib.

абсолютной личности и о ея по себѣ бытіи»¹⁾). Авторъ Былого и Думъ, и самъ отдавшій почтенную дань этому общему увлеченію трансцендентальной нѣмецкой философіей, въ такой комической картинѣ рисуесть намъ то своеобразное одѣяніе, въ которое подъ вліяніемъ философіи Гегеля и Шеллинга облеклись современные языкъ и мысль культурнаго русскаго общества: «отношенія къ жизни, къ дѣйствительности, сдѣлалось школьное, книжное, это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которыми такъ гениально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все въ *самомъ дѣлѣ* непосредственное, всякое простое чувство, было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобъ отдаться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой нибудь солдатъ подъ хмелькомъ, или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, наvertsывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «гемиуту» или къ «трагическому въ сердцѣ»²⁾). Намъ кажется теперь наивнымъ это безграничное увлеченіе философскими категоріями у юношей, только что пересѣвшихъ изъ домашней классной комнаты на скамью университетской аудиторіи, мы не можемъ безъ улыбки вспомнить этихъ Рудиныхъ въ юбкахъ, способныхъ до 2 часовъ ночи спорить объ абсолютѣ у Гегеля, но право, М. Г-ни, хорошее это было время, когда наши дамы могли увлекаться вопросами о бытіи въ себя—вѣдь дѣти этихъ философскихъ дамъ засѣдали позже въ комитетахъ по упраздненію крѣпостного права и были первыми мировыми посредниками, а будущее дѣтей тѣхъ современныхъ дамъ, для которыхъ вопросъ о послѣднемъ фасонѣ парижской шляпы безконечно важнѣ всякихъ категорій и абсолютовъ—очень проблематично...

Мы видѣли, чѣмъ объясняется тотъ странный на первый взглядъ фактъ, что мы, едва научившись читать по складамъ, перешли не къ этимологіи и синтаксису, а сразу окунулись съ головой въ туманное море бездонной философіи, т.-е. начали прямо съ конечныхъ выводовъ человѣческаго спекулятивнаго мышленія. Это увлеченіе абсолютами имѣло много хорошихъ сторонъ—оно научило русскаго культурнаго человѣка разсуждать, дало ему диалектическую опытность, умѣнье искать корня въ каждомъ вопросѣ, расширило кругъ его воззрѣній и постоянно обращало его мысль туда, гдѣ въ общественной и умственной сферѣ кипѣла не-

1) Ib. 121.

2) Ib. 125.

устанная работа; оно же на первых порах спасало от мрачного отчаяния, в которое такъ легко было впасть чуткой душѣ отъ соприкосновенія съ суровой домашней дѣйствительностью. Притомъ болѣе трезвые умы послѣ перваго похмелья отъ одуряющаго нѣмецкаго напитка нашли въ немъ и совсѣмъ иной вкусъ: Герценъ, такъ осмѣявшій повальную заразу гегеліанства, подойдя къ нему «съ другой стороны нашелъ, что философія эта необыкновенно освобождаетъ человѣка и не оставляетъ камня на камнѣ отъ... міра преданій, пережившихъ себя»¹⁾. Наконецъ эти абсолюты служили первое время той мысленною цѣпью, которая связывала такихъ несходныхъ по характеру, симпатіямъ и убѣжденіямъ лицъ, какъ Чаадаевъ и Хомяковъ, Кирѣевскіе и Герценъ, Аксаковъ и Бѣлинскій, этихъ впослѣдствіи *amis ennemis*. Философія собирала въ одной гостиной то удивительно разнообразное общество, гдѣ, по картинному выраженію современника, нѣкогда царилъ Пушкинъ -- гдѣ смѣялся Грибоѣдовъ, гдѣ М. Э. Орловъ и А. П. Ермоловъ встрѣчали дружескій привѣтъ потому, что они были въ опалѣ, гдѣ наконецъ А. С. Хомяковъ спорилъ до четырехъ часовъ утра, начавъ въ девять, гдѣ Б. Аксаковъ съ мурмошкой въ рукѣ свирѣпствовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ, и никогда не бралъ въ руки бокала шампанскаго, чтобъ не сотворить тайно моленіе и тостъ, который всѣ знали, гдѣ Р(ѣдкинъ) выводилъ логически личнаго бога *ad majorem gloriam Hegelii*, гдѣ Грановскій являлся съ своею тихою, но твердою рѣчью, гдѣ всѣ помнили Бакунина и Станкевича, гдѣ Чаадаевъ, тщательно одѣтый, съ нѣжнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердилъ оторопѣвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными, гдѣ молодой старикъ А. П. Тургеневъ мило сплетничалъ обо всѣхъ знаменитостяхъ Европы, отъ Шатобріана и Рекамье, до Шеллинга и Рахели Варнгагенъ; гдѣ Боткинъ и Брюковъ пантеистически наслаждались разговоромъ М. С. Щепкина, и куда наконецъ, иногда падалъ, какъ конгревова ракета, Бѣлинскій, выжигая кругомъ все, что попадало²⁾.

Такого круга людей талантливыхъ, развитыхъ, многостороннихъ и чистыхъ, вспоминаетъ впослѣдствіи Г—нъ, я не встрѣчалъ потомъ нигдѣ, ни на высшихъ вершинахъ политическаго міра, ни на послѣднихъ маковкахъ литературнаго и аристократическаго³⁾. Въ самомъ дѣлѣ: Грановскій, Бѣлинскій, Станкевичъ, Герценъ, Аксаковъ и Чаадаевъ, Хомяковъ съ Кирѣевскими и Самаринымъ, Огаревъ, Бакунинъ, Кудрявцевъ—какой чудный и разнообразный букетъ высоко-талантливыхъ и замѣчательно интересныхъ личностей. Многіе раздѣлили участь великихъ актеровъ, Мо-

1) *ib.* 128.

2) *ib.* 293.

3) *id.* 239.

чаловыхъ, Щепкиныхъ: отъ однихъ, какъ отъ Станкевича, остались лишь имена и память о неотразимой личной обаятельности; наслѣдіе другихъ, какъ Чаадаевъ, Грановскій—лишь уголокъ недошедшаго до насъ цѣльнаго портрета, и только немногіе, какъ Бѣлинскій, вырастаютъ передъ нами во весь почти ростъ на пьедесталѣ тысячъ написанныхъ страницъ... Это и понятно—40 годы были временемъ по преимуществу слова; мировоззрѣніе вырабатывалось въ горячихъ спорахъ за столомъ, съ бокаломъ въ рукѣ, а въ печатный станокъ лишь изрѣдка попадала произнесенная въ гостиной рѣчь, да и то подчасъ въ такомъ видѣ, что авторъ и самъ ея не узнавалъ. Это было время слова—но вѣдь слово было тогда дѣломъ и даже единственно важнымъ дѣломъ...

Позвольте мнѣ, М. Г., на одну минуту отвлечься въ сторону двумя воспоминаніями—однимъ чужимъ, однимъ своимъ.

Лѣтъ 30 тому назадъ въ одномъ изъ южныхъ городовъ Франціи безвременно погибъ молодой русскій врачъ; слабые глаза несчастнаго молодого человѣка не выдержали ослѣпительнаго блеска южнаго солнца—и онъ лишился зрѣнія. Соотечественники, насколько было можно, старались развлекать несчастнаго частыми посѣщеніями и совмѣстными прогулками. Въ одной изъ этихъ прогулокъ спутникъ слѣплого увидалъ высокую фигуру знаменитаго писателя, рано покинувшаго, и навсегда, Россію. Забывшись, онъ воскликнулъ: «смотрите, вотъ идетъ»... и онъ назвалъ имя писателя. «Боже мой, какъ вы жестоки, зачѣмъ вы мнѣ это сказали? Вѣдь я всю жизнь мечталъ его увидѣть»...

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ мнѣ пришлось ѣхать по морю на пароходѣ. На одной изъ станцій на пароходъ взошелъ человѣкъ пожилой, съ гладко выбритымъ лицомъ и небольшими официальными бакенбардами, несмотря на сильную жару въ форменномъ вицмундирѣ, съ орденомъ на шеѣ. Случайно мы разговорились, и онъ узналъ во мнѣ преподавателя университета. И вдругъ онъ оживился, пустился въ воспоминанія. Онъ былъ студентъ Московскаго университета 50-хъ годовъ. «Да! Я слушалъ Грановскаго». И при этихъ словахъ его лицо преобразилось, въ глазахъ показались слезы—исчезъ чиновникъ и воскресъ старый студентъ незабвенной эпохи Московскаго университета.

Вотъ М. Г., какъ велико обаяніе людей 40 годовъ; оно пережило ихъ цѣлыми десятилѣтіями—и лучшее доказательство тому повсемѣстное благоговѣйное чествованіе памяти крупнѣйшаго дѣятеля 40 годовъ—Бѣлинскаго.

Вернемся еще разъ на Московскую выставку и всмотримся въ ея портретную галерею. Любители Росс. Слов. собрали изъ разныхъ коллекцій эти столь непохожіе одинъ на другой образы—и черезъ нѣсколько дней они снова разойдутся въ свои старыя витрины. И ту же участь имѣли ихъ живые оригиналы. На короткое время собрала ихъ воедино

вѣмецкая философія, но не могла удержать, и они рассыпаются въ разные лагери. Миръ нарушенъ—наступила война.

Шиллеровскій обликъ Станкевича, грустно-мечтательные глаза Грановскаго, трагическое лицо И. В. Кирѣевскаго, суровый ликъ расколоучителя А. С. Хомякова—и рядомъ загадочное лице не то Байрона en laid, не то католическаго патера—Чаадаева, поза усталаго гладіатора—Герцена, низкій лобъ, рѣзкія черты и выдающійся подбородокъ—признаки несокрушимой энергіи и силы воли—Бѣлинскаго—вы сразу скажете—такіе психическіе полюсы не могутъ не разойтись въ мнѣніяхъ и убѣжденіяхъ, не могутъ итти одной дорогой;—и они разошлись, и не только разошлись, но вступили въ борьбу каждый за то, что считалъ святымъ и истиннымъ. Эти люди могли жить и думать вмѣстѣ только въ начальный періодъ юности пока еще вырабатывались убѣжденія и міросозерцаніе, пока юный умъ только оглядывался пв сторонамъ въ поискахъ за тѣмъ, что было ему болѣе по душѣ—и лишь только созрѣла мысль и характеръ, направленія рѣзко обозначились, пути разошлись, и, глядя на образы прежнихъ друзей, мы впередъ предскажемъ, по какому пути пойдетъ каждый.

Всѣ мы помнимъ чудное стихотвореніе А. К. Толстого:

Коль любить, такъ безъ разсудку,
Коль грозить, такъ не на шутку,
Коль ругнуть, такъ сгоряча,
Коль рубнуть, такъ ужъ сплеча!
Коли спорить, такъ ужъ смѣло,
Коль карать, такъ ужъ за дѣло.
Коль простить, такъ всей душой,
Коли пиръ, такъ пиръ горой!

Безграничная ширина и удалъ, непредѣльное увлеченіе и беззавѣтная искренность—вотъ основы русской природы. Къ такимъ русскимъ натурамъ въ самомъ ея чистомъ и облагороженномъ видѣ принадлежалъ Бѣлинскій. Вспомните съ одной стороны отзывы Кавелина о Бѣлинскомъ, а съ другой превосходную картину спорящаго Б—го въ воспоминаніяхъ Г—на. «Б—го, говоритъ первый, въ кружкѣ Тютчева не только нѣжно любили, но и побивались. Каждый пряталъ гниль, которую носилъ въ своей душѣ, какъ можно подальше. Бѣда, если она попадалась на глаза Б—му¹⁾». Вотъ свидѣтельство ученика о голубиной чистотѣ души учителя.

¹⁾ Барсуковъ VI 333.

А вотъ характеристика этой пылкой и неукротимой природы, нарисованная перомъ человѣка такой же силы и цѣнящаго силу.

«Въ этомъ застѣнчивомъ чловѣкѣ, въ этомъ хиломъ тѣлѣ обитала мощная гладіаторская натура! да, это былъ сильный боецъ! онъ не умѣлъ проповѣдывать, поучать, ему надобенъ былъ споръ. Безъ возраженій, безъ раздраженія онъ не хорошо говорилъ, но когда онъ чувствовалъ себя уязвленнымъ, когда касались его дорогихъ убѣжденій, когда у него начинали дрожать мышцы щекъ и голосъ прерываться, тутъ надобно

было его видѣть: онъ бросался на противника барсомъ, онъ рвалъ его на части, дѣлалъ его смѣшнымъ, дѣлалъ его жалкимъ и по дорогѣ съ необычайной силой, съ необычайной поэзіей развивалъ свою мысль. Споръ оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась изъ горла: блѣдный, задыхающійся, съ глазами, остановленными на томъ, съ кѣмъ говоритъ, онъ дрожащей рукой поднималъ платокъ ко рту и останавливался глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Какъ я любилъ и какъ жалѣлъ я его въ эти минуты! ¹⁾».

Бѣлинскаго часто упрекали и упрекаютъ въ непоследовательности, въ быстрой смѣнѣ убѣжденій, и вслѣдствіе этого въ постоянныхъ противорѣчіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ—поклонникъ и врагъ Шиллера и Жоржъ-Зандъ, эстетикъ, ищущій какого-то абсолютнаго состоянія духа, гегеліанецъ, признающій дѣйствительность разумной, и жесточайшій обличитель и противникъ этой же дѣйствительности, plus slavophile que les slavophiles mêmes въ своей бородинской годовщинѣ, и самый опасный противникъ славянофиловъ—кто онъ, этотъ Протей, чего онъ хочетъ на самомъ дѣлѣ, каковы его настоящіе убѣжденія, когда и въ чемъ ему вѣрить, да и вообще можно ли вѣрить въ чемъ либо такому умственному флюгеру—вотъ старыя обвиненія Бѣлинскому. И однако въ этой непоследовательности, въ этихъ противорѣчіяхъ есть внутренняя логика, психическое единство—и эта логика *абсолютная искренность* каждой стадіи развитія его убѣжденій. Черезъ всю его повидимому, столь протейческую дѣятельность проходитъ красной нитью одна основа—страстное исканіе истины. Въ его страстной, беззаветно увлекающейся, всецѣло отдающейся душѣ въ каждый данный моментъ звучитъ побѣдное еврика—истина найдена, и онъ отдается ей, какъ первой любви. И на смѣну быстрое разочараніе, новые жадные поиски, и новая еврика. И въ его дѣятельности есть и другое единство—*ею отношеніе къ дѣйствительности*: она вѣчно стоитъ передъ его алчущей истины душой, онъ вѣчно стремится опредѣлить свое къ ней отношеніе—то признавая ея роковую необходимость, то восхищаясь ея неотразимой логикой, то, наконецъ, возставая противъ ея гнетущей силы и призывая на борьбу съ нею; и мы смѣло можемъ сказать—въ этой послѣдней стадіи онъ и нашелъ свое настоящее призваніе, т. е. полное соотвѣтствіе избранной дѣятельности своему внутреннему я. И разъ ставъ на эту точку, Б. долженъ былъ неминуемо обратить свои взоры туда, гдѣ кипѣла горячая борьба противъ дѣйствительности—на Западъ и стать убѣжденнымъ западникомъ и жаркимъ поклонникомъ Петра.

Отсюда ясно, что люди съ такой сильно выраженной индивидуальностью, такой волей и энергіей, такой жаждой дѣйствительности не могли

¹⁾ Был. и Д. VII 138.

не выступить враждебно къ ученію славянофиловъ, въ основѣ котораго лежало отвращеніе отъ внѣшней дѣятельности, которое настаивало на одной работѣ внутренней, на самоуглубленіи, самоочищеніи. Могли ли люди съ такой сильной волей переносить безъ протеста собственную боль, наносимую чужой рукой, и видѣть равнодушно чужія страданія, когда существовала хоть малѣйшая надежда облегчить эти муки? Могли ли они примириться съ славянофильскимъ утвержденіемъ, что русскій человѣкъ недостатка и лишенія переноситъ легко, приучивъ себя къ нимъ внутреннимъ самоограниченіемъ, смиряя свою волю, убивая въ ней жажду жизни?

И гдѣ же предѣлъ этому самоотреченію? Мы видимъ, что другіе расширяютъ внѣшнія условія жизни въ соотвѣтствіи съ нарастающими потребностями, добиваются правъ и возможности наслаждаться жизнью, — насъ же приглашаютъ къ монашескому аскетизму, требуютъ отреченія отъ естественныхъ потребностей человѣка, но во имя чего же? Вѣдь сократить естественныя законныя потребности въ человѣкѣ значитъ его умалить, обезчеловѣчить. Если у него не будетъ потребностей, у него, правда, не будетъ и страданій, но вѣдь онъ перестанетъ тогда быть полнымъ человѣкомъ, а превратится въ идею, въ какой-то намекъ на человѣка. Въ славянофильской формулѣ—русскій народъ народъ не государственный заключается отказъ общества отъ всякой живой дѣятельности—сиди и самоуглубляйся, а дѣло будутъ за тебя дѣлать другіе. И здѣсь славянофилы не замѣтили *contradictio in adjecto*—кто же эти другіе? Вѣдь имя имъ легионъ, вѣдь они же часть общества, его же дѣти. Такой порядокъ гдѣ правительству сила власти, а народу сила мнѣнія, гдѣ власть какая-то фабрика, вырабатывающая гдѣ-то *enm* питательные элементы для занятой самоуглубленіемъ пассивной массы, немислимъ въ культурномъ государствѣ, въ которомъ власть и общество должны идти рука объ руку, помогать другъ другу не только словомъ, но и дѣломъ. И далѣе, если въ груди Россіи бьется свѣтлый ключъ, льющій живыя воды, сокрытый, безвѣстный, но могучій, если народная душа представляетъ собой такой недосыгаемый идеаль кристальной чистоты, внутренняго совершенства, то къ чему же для народа просвѣщеніе — вѣдь оно способно только замутить этотъ кристально-чистый источникъ—и правая сторона славянофильства дѣйствительно договорилась до отрицанія необходимости просвѣщенія для народа. «Рабы, попуган, обезьяны, всѣ эти самозванные цивилизаторы, могли лишь увлечь простой народъ на тотъ, по ихъ мнѣнію, ложный путь, которымъ шло все русское общество со временъ Петровской реформы. Не для того, чтобы сдѣлать науку популярною, т.-е. понятною и доступною простому народу, а для того, чтобы самимъ возродиться въ духѣ народности и обрѣсти правый путь, стали славянофилы вникать въ народное міровоззрѣніе. Они допрашивали духа жизни въ быломъ, т.-е. въ исторіи, въ до-Петровской старинѣ и въ современномъ бытѣ простого

народа ¹⁾). Не будемъ однако несправедливы къ славянофиламъ; такіе крайніе выводы могли дѣлать лишь слѣпые ученики, неумѣвшіе читать между строкъ, или старые крѣпостники, нашедшіе въ славянофильскомъ ученіи философское оправданіе рабовладѣльческой власти. Но вѣдь одинъ изъ отцовъ стараго славянофильства, К. Аксаковъ, громко провозглашаетъ необходимость свободы слова, а другой—А. С. Хомяковъ, исходя изъ славянской общины, приходитъ прямо къ государственному социализму, отрицая право личнаго владѣнія землею, признавая одно лишь ея пользованіе. И не даромъ старое славянофильство не пользовалось сочувствіемъ тогдашнихъ официальныхъ сферъ—въ немъ прозрѣвали, и не безъ основанія, оппозиціонный духъ, сближавшій его съ старымъ русскимъ сектантствомъ. И общее между ними дѣйствительно есть. Враги никоніанства бѣгутъ въ Брынскіе лѣса и Керженскія пустыни,—отринувъ никоніанскихъ поповъ и архіереевъ, они доходятъ до отрицанія всякой земной власти. И не та ли самая болѣзненная нотка раскольниковъ пѣсенъ слышится въ ученіи славянофиловъ? Не убѣгаютъ развѣ они также отъ современной дѣйствительности въ таинственный лѣсъ народнаго духа, въ пустыню самоуглубленія? И развѣ они не признаютъ власть только какъ необходимое зло, и развѣ та власть, которую они рисуютъ такими своеобразными чертами, сколько нибудь похожа на власть настоящаго, власть дѣйствительную? Но если такъ, если исходя изъ одного и того же ученія можно было прійти къ такимъ противоположнымъ выводамъ, это значитъ, что въ самой системѣ, несмотря на ея кажущуюся цѣльность, скрывался органическій недостатокъ, внутреннее противорѣчіе, и потому отдѣльныя ея части такъ легко было приспособить къ чуждымъ ей воззрѣніямъ.

Мы не станемъ входить въ подробности борьбы двухъ направленій—онѣ слишкомъ хорошо извѣстны; съ обѣихъ сторонъ не обошлось безъ увлеченій, недоразумѣній, личныхъ нападокъ, бросавшихъ впослѣдствіи въ краску стыда такихъ честныхъ и искреннихъ бойцовъ, какъ Б—ій; ему было также больно и стыдно за Педанта, какъ и за Бородинскую годовщину. Улегся первый пылъ полемики, и противники протянули другъ другу¹⁾ руки; они увидали въ своихъ основныхъ воззрѣніяхъ и въ своихъ горячихъ симпатіяхъ гораздо болѣе общаго, чѣмъ они предполагали; за дымомъ сраженія они плохо разглядѣли непріятеля—и это *общее* у обѣихъ сторонъ была *любовь къ своему родному народу, родной странѣ*. «Да, мы были противниками, вспоминаетъ Герценъ изъ своего прекраснаго далека, но очень странными. У насъ была одна любовь, но не одинакая, и мы, какъ Янусъ, или какъ двухглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны, въ то время какъ сердце билось одно» ²⁾).

¹⁾ Барсуковъ V, 467.

²⁾ Б. и Д. VII 266.

«Важность ихъ воззрѣнія, его истина и существенная часть вовсе не въ православіи и не въ исключительной народности, а въ тѣхъ стихіяхъ русской жизни, которыя они открыли подѣ одобреніемъ искусственной цивилизаціи! ¹⁾».

И къ такому же примиренію, къ возможности сговориться приходитъ въ концѣ своей дѣятельности Б—ій ²⁾. И онъ признаетъ славянофильство весьма важнымъ явленіемъ, доказывающимъ, что время зрѣлости и возмужалости нашей литературы близко. Правда, важность этого ученія чисто отрицательная—ея значеніе не въ томъ, что славянофилы говорятъ противъ гнѣющаго будто бы Запада, но въ томъ, что они говорятъ противъ русскаго европеизма; и они правы въ утвержденіи, что въ русской жизни есть какая-то двойственность, отсутствіе нравственнаго единства, что это лишаетъ насъ рѣзко выразившагося національнаго характера, и что причина всего этого въ реформѣ Петра Великаго. И этотъ убѣжденный западникъ восклицаетъ: «настало для Россіи время развиваться, самобытно, изъ самой себя... пора намъ перестать *казаться*, а начать *быть*, пора оставить, какъ дурную привычку, довольствоваться словами и внѣшность принимать за европеизмъ, пора намъ перестать восхищаться европейскимъ, потому только, что оно не азіатское, но любить, уважать его, стремиться къ нему потому только, что оно *человѣческое*, и на этомъ основаніи все европейское, въ чемъ нѣтъ человѣческаго, отвергать съ такою же энергіею, какъ и все азіатское, въ чемъ нѣтъ человѣческаго». Скажите, развѣ подѣ этими словами не подписался бы обѣими руками наиболѣе умѣренный и самый «западный» изъ славянофиловъ, Кирѣевскій?

Б—ій обращается затѣмъ къ выясненію понятія *народности* и является не менѣе горячимъ ея сторонникомъ, чѣмъ славянофилы. Они смѣшали съ народностью старинные обычаи, сохранившіеся теперь только въ простонародьи... относительное приняли за безусловное. Они указываютъ на *смиреніе* и любовь, какъ на выраженіе русской національности. Но первое не оправдывается историческими фактами, а любовь есть свойство человѣческой природы вообще и не можетъ быть исключительно принадлежностью одного народа или племени, какъ и дыханіе, зрѣніе, голодъ, жажда, умъ, слово.

Народность въ отношеніи къ идеѣ челоѣчества есть то же, что *личность* въ отношеніи къ идеѣ челоѣка. Челоѣкъ силенъ и обезпеченъ только въ обществѣ, но чтобъ и общество, въ свою очередь, было сильно и обезпечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь—національность. Наше время есть по преимуществу время

¹⁾ lb. 267.

²⁾ Взглядъ на русск. литер. 1846 г.

сильнаго развитія національностей, и каждый народъ нещадно заимствуетъ другъ у друга, нисколько не боясь повредить своей національности. Подобныя опасенія могутъ быть дѣйствительны только для народовъ нравственно безсильных и ничтожныхъ. Народу, имѣющему нравственныя силы, нечего заботиться о своей народности—она такъ же неотъемлема и несокрушима, какъ фізіологическія особенности народа, потому что и сама врождена отъ природы. Мнимая борьба человѣческаго съ національнымъ есть только борьба новаго со старымъ, современнаго съ отжившимъ».

Итакъ, борьба двухъ направленій не прошла безслѣдно—противники сдѣлали другъ другу уступки и увидали, что въ сущности стремятся къ одной цѣли, хотя разными путями—и мы не можемъ не признать теперь, что путь славянофильства болѣе окольный—съ него легко было свернуть въ сторону; и эта цѣль, къ которой одинаково страстно стремились обѣ партіи—свѣтлое будущее, благо Россіи.

Но въ этой борьбѣ есть и другая поучительная страница — чуткій умъ Б—го прозрѣвалъ опасную сторону славянофильскаго ученія, тотъ китаизмъ, элементъ косности и обскурантизма, который только и извлекли изъ него его незаконные дѣти — Данилевскіе, Леонтьевы. И мы къ сожалѣнію видимъ, насколько былъ правъ великій публицистъ въ своихъ опасеніяхъ...

Мы видѣли, что одна сторона создала цѣльную, хотя полную противорѣчій и слегка лишь прикрытыхъ лавровыми листьями пропастей систему; у другой стороны не было системы, а только программа — и на ней всего одно слово — *просвѣщеніе*. Въ просвѣщеніи и въ устраненіи всего, что въ нашей дѣйствительности останавливало его широкое распространеніе, видѣли они единственное спасеніе Россіи, и никто не высказалъ этого сильнѣе и ярче чѣмъ Б—ій въ своемъ знаменитомъ письмѣ къ Гоголю, которое даже славянофильскій его издатель, поклонникъ Погодиныхъ и Шевыревыхъ, не могъ не назвать историческимъ памятникомъ. «Россія, страстно восклицаетъ Б—ій, видитъ свое спасеніе не въ мистицизмѣ, не въ аскетизмѣ, не въ піэтизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, просвѣщенія, гуманности. Ей нужны не проповѣди—довольно она ихъ слышала, а пробужденіе въ народѣ чувства человѣческаго достоинства, столько вѣковъ попираемаго въ грязи и невѣжествѣ, права и законы, сообразныя не съ ученіемъ церкви, а съ здравымъ смысломъ и справедливостью, и строгое по возможности ихъ исполненіе...

Самые живые современные, національные вопросы въ Россіи теперь: уничтоженіе крѣпостнаго права, ослабленіе тѣлеснаго наказанія, введеніе, по возможности, строгаго исполненія хотя тѣхъ законовъ, которые уже есть ¹⁾).

¹⁾ Барсуковъ, 8, 598.

И мы видимъ, какъ глубоко правъ былъ Б—ий, какъ глубоко жизненна была его программа; вѣдь спустя всего 10 лѣтъ по смерти Б—го наше правительство пошло по этой программѣ, и если оно встрѣтило сочувствіе своей дѣятельности и въ русскомъ обществѣ, то этимъ мы обязаны Б—му, его могучей рѣчи, его горячему призыву, пробудившему лучшихъ сыновъ Руси.

Полъ столѣтія прошло со дня смерти великаго русскаго публициста, благороднѣйшаго изъ русскихъ мыслителей, но его образъ живетъ и теперь въ самыхъ чистыхъ уголкахъ нашей души и вызываетъ въ ней немолчную пѣснь «вѣчная память недоучившемуся студенту, воспитавшему цѣлое поколѣніе—Виссаріону Бѣлинскому».

И. Линиченко.





Н. П. Огаревъ въ воспоминаніяхъ его бывшаго крестьянина.

Въ поэтическомъ наслѣдствѣ Н. П. Огарева есть не мало художественныхъ иллюстрацій, относящихся къ эпохѣ крѣпостного права. Это не яркія и сильныя картины негодующей Некрасовской музы, это не бичующій сарказмъ Щедрина: меланхолически-задумчивая поэзія Огарева не могла дать ничего подобнаго. Но все же тому, кто вздумалъ бы прослѣдить въ исторической послѣдовательности отраженіе крѣпостного права въ художественныхъ произведеніяхъ нашей литературы, нельзя пройти мимо такихъ вещей Огарева, какъ его стихотворная повѣсть «Господинъ» и поэма «Радаевъ».

Мнѣ вспомнились эти произведенія Огарева, когда лѣтомъ 1898 г., во время этнографической экскурсіи по Зарайскому уѣзду Рязанской губерніи, я попалъ въ село Бѣлоомуть, принадлежавшее когда-то Огареву, и вспомнились потому, что имя ихъ автора очень часто упоминалось въ разговорахъ тѣхъ бѣлоомутцевъ, съ которыми мнѣ пришлось встрѣтиться и подружиться.

Одного изъ моихъ бѣлоомутскихъ друзей, Василя Козьмича Влазнева, я попросилъ собрать воедино все, что помнятъ его одпосельчане объ Н. П. Огаревѣ. Просьбу мою В. К. Влазневъ охотно исполнилъ.

Воспроизведенію рукописи, доставленной мнѣ В. К. Влазневымъ, я хотѣлъ бы предпослать нѣсколько словъ, посвященныхъ ея автору. Мнѣ думается, что, благодаря знакомству, хотя бы и мимолетному, съ авторомъ рукописи, читатель лучше оцѣнитъ то теплое чувство, которымъ согрѣты строки В. К. Влазнева; мнѣ думается также, что нѣсколько словъ о писателѣ-крестьянинѣ вполне у мѣста передъ воспоминаніями этого писателя, посвященными свѣтлой памяти одного изъ первыхъ, незабвенныхъ печальниковъ крестьянскаго горя.

Бѣлоомутскій крестьянинъ, вмѣстѣ съ другими земляками получившій въ 46 году вольную отъ Огарева, В. К. Влазневъ молодымъ еще челоувѣкомъ попалъ въ началѣ 60-хъ годовъ въ Москву. Изучая здѣсь техническое рисованіе и рѣзбу по дереву, Влазневъ въ то же время посѣ-

щаль одну изъ воскресныхъ школъ, которыя тогда, на зарѣ своего существованія, привлекали большое вниманіе общества и много хорошихъ педагогическихъ силъ. Много читая, знакомясь съ молодежью, Влазневъ заинтересовался исторіей своего родного села и другихъ, ближайшихъ къ нему, приокскихъ селъ. Роясь по библіотекамъ и архивамъ, Влазневъ собралъ матеріалъ для историко-статистическаго очерка бывшихъ «Государевыхъ дворцовыхъ рыбныхъ ловцовъ селъ: Бѣлоомута, Ловець, Любичи и Дѣдинова»; очеркъ напечатанъ въ «Трудахъ» Рязанской Архивной комиссіи. Во времени пребыванія В. К. Влазнева въ Москвѣ относится его знакомство съ поэтами И. З. Суриковымъ и Ѳ. Б. Миллеромъ, которые обратили вниманіе на поэтическіе опыты В. К. Влазнева. Занявшись по возвращеніи на родину рѣзбой по дереву, В. К. Влазневъ не оставилъ литературной дѣятельности. Онъ былъ дѣятельнымъ корреспондентомъ «Русскаго Курьера», а свои стихотворенія и беллетристическіе очерки помѣщалъ въ «Чтеніи для народа». Интересуясь этнографіей, В. К. Влазневъ собралъ большой этнографическій матеріалъ. Въ «Этнографическомъ Обзорѣніи» напечатаны имъ нѣкоторыя извлеченія изъ этого матеріала. Много лѣтъ, вплоть до послѣднихъ измѣненій въ земскомъ положеніи, сократившихъ число гласныхъ изъ крестьянъ, В. К. Влазневъ былъ земскимъ гласнымъ. Авторитетъ его среди односельчанъ очень великъ, какъ велика между крестьянами и его слава увлекательнаго толкователя великихъ реформъ Александра II. Симпатичный обликъ В. К. Влазнева навсегда останется въ памяти всякаго, кому пришлось имѣть съ нимъ болѣе или менѣе близкое знакомство, какъ не забудетъ всякій, побывавшій въ избѣ Влазнева, маленькаго столика съ письменнымъ приборомъ, книгами, бумагами и самодѣльными портфелями, отодвинутаго къ стѣнѣ и теряющагося за громаднымъ верстакомъ; останется въ памяти посѣтителя и стѣна этой деревенской избы, вся увѣшанная портретами корифеевъ русской мысли и слова во главѣ съ Н. П. Огаревымъ.

Доставленная мнѣ рукопись В. К. Влазнева озаглавлена имъ «Къ біографіи Н. П. Огарева» и содержитъ слѣдующее.

Мое родное село—Верхній Бѣлоомуть, Зарайскаго уѣзда, которое до 1846 года принадлежало помѣщику Николаю Платоновичу Огареву.

Въ началѣ 1846 г. мнѣ было семь лѣтъ, и я сохранилъ съ того времени въ памяти слѣдующій фактъ. Мой батюшка пришелъ со схода печальнымъ и началъ моей матери говорить приблизительно слѣдующее:— «Мать, баринъ-то нашъ теперь ужъ совсѣмъ отпустилъ насъ на волю. На сходкѣ читали объ этомъ бумагу, что пришла изъ губерніи. Приказано обществу выбрать старшину; для этого пріѣдетъ чиновникъ, а бурмистръ отмѣняется».

Когда, живя въ Москвѣ, полюбилъ я читать книги и газеты, мнѣ

пришлось между прочимъ узнать, что, по Высочайшему повелѣнію, данному русскому послу въ Лондонѣ, барону Брунову, выходящимъ изъ Россіи, Александру Ивановичу Герцену и Николаю Платоновичу Огареву, предоставляется полная свобода къ возвращенію въ свое отечество. Вскорѣ послѣ этого вышли небольшія брошюрки стихотвореній Н. П. Огарева, которыя я читалъ.

Все это, вмѣстѣ взятое, очень меня заинтересовало, и я, будучи 20 лѣтъ, просилъ своего батюшку рассказать о томъ, какъ они жили при Н. П. во время крѣпостного права, и какъ состоялось увольненіе нашего общества крестьянъ въ вольные хлѣбопашцы. Къ свѣдѣніямъ, даннымъ мнѣ отцомъ моимъ, я прибавилъ еще матеріалъ, собранный мною тоже отъ современниковъ, стариковъ села Бѣлоомута. Эти свѣдѣнія дали слѣдующее

Въ 1839 году, Н. П. Огаревъ, пріѣхавъ въ Бѣлоомуть, приказалъ бывшему бурмистру П. И. Равитину собрать крестьянъ на сходку. Сходка была поголовная, на открытомъ мѣстѣ, при чемъ собралось много женщинъ.

Явившись на сходку, Н. П., послѣ обычнаго здравствованія съ крестьянами и поклона, сказалъ приблизительно слѣдующее: «Добрые люди! Я собралъ васъ сюда для очень важнаго дѣла, касающагося и меня, и васъ. До васъ, православные, оно касается тѣмъ, что предоставляетъ вамъ болѣе блага въ трудовой вашей жизни, а для меня—тѣмъ, что я обязанъ исполнить христіанскій долгъ. Я положилъ за непремѣнную обязанность отпустить васъ на волю, въ свободные хлѣбопашцы. За это потребую отъ васъ я суммы необременительной, а вамъ отдамъ всю землю съ лѣсомъ и всѣми лугами».

Только что Н. П. сказалъ это, какъ всѣ крестьяне, около 700 человекъ, упали на колѣна; многіе изъ нихъ заплакали и начали креститься, а оправившись отъ волненія, крестьяне закричали: «Не желаемъ, батюшка-баринъ, никакой мы воли, освобожденья! Намъ всего лучше жить за тобою. Не кидай насъ! Безъ тебя мы пропадемъ, всякій насъ обидитъ. У насъ при тебѣ, баринъ, и при твоёмъ покойномъ батюшкѣ никакой неволи не было, и мы ея не знаемъ; не знали неволи и отцы и дѣды наши при прежнихъ господахъ¹⁾».

Крестьяне продолжали стоять на колѣняхъ и все повторяли, что никакой воли имъ не надо: они ее имѣютъ, потому что не знаютъ барщины, а всякъ работаетъ на себя съ семьею да неотяготительный оброкъ платить барину.

¹⁾ Въ 1762 г. Императрица Екатерина II крестьянъ села Верхняго Бѣлоомута подарила гвардейскому офицеру Михаилу Егоровичу Баскакову, отъ котораго, послѣ ея смерти, крестьяне достались его брату, сенатскому экзекутору Ив. Ег. Баскакову; дочь И. Е. Баскакова, Елизавета, была выдана замужъ за отца Николая Платоновича, Платона Богдановича Огарева. Благодаря этому, и крестьяне села В. Бѣлоомута перешли во владѣніе Огаревыхъ.

Послѣ неоднократнаго повторенія со стороны Н. П., чтобы крестьяне встали, послѣдніе, наконецъ, поднялись.

Н. П. велѣлъ выслушать его рѣчь и хорошенько обдумать и понять крестьянамъ свое настоящее и будущее положеніе.

— Вы, православные,—началъ съ привѣтной улыбкой говорить Н. П.,—не вполне разумѣете свое положеніе, а потому и отказываетесь отъ своего освобожденія. Положимъ, теперь вы живете безъ особаго стѣсненія съ моей стороны, но я умру, тогда попадете вы къ другому владѣльцу, который можетъ завести у васъ другіе, нежелательные порядки. Это вамъ покажется обиднымъ, и вы будете клясть меня и моихъ наследниковъ.—

При словахъ «я умру» крестьяне заплакали и прервали рѣчь Н. П. возгласами:

— Подай, Господи, вамъ, баринъ, многихъ лѣтъ! живи, родимый, для насъ!..—

За эти пожеланія Н. П., кланяясь, благодарилъ крестьянъ и на прощанье имъ сказалъ:

— Обдумайте мое предложеніе и завтра выберите для себя повѣреннаго, да приѣзжайте ко мнѣ въ Москву. Тамъ оформимъ мы въ добрый часъ наше святое дѣло: напишемъ договоръ для нашего общаго блага.

Послѣ этого былъ составленъ предварительный проэктъ освобожденія здѣшнихъ крестьянъ, но онъ не получилъ надлежащаго хода, а потому былъ составленъ другой проэктъ, который Высочайше утвержденъ въ 1846 г., января въ 30 день. Копія съ этихъ документовъ хранятся у меня.

Ко времени освобожденія бѣлоомутскихъ крестьянъ относится еще одно событіе, записанное мною лѣтъ 40 тому назадъ со словъ современниковъ этого событія.

Въ то время, именно въ 1839 году, когда Н. П. рѣшительно, безповоротно объявилъ на сходѣ объ отпускѣ бѣлоомутскихъ крестьянъ на волю со всѣми значившимися при селѣ угодіями, прекраснымъ сосновымъ лѣсомъ и поемными приокскими дугами, всего въ количествѣ 8127 дес., каковую христіанскую милость многіе крестьяне приняли, однако, неохотно,—въ то время бывший бурмистръ изъ крестьянъ села Бѣлоомута, П. И. Ракитинъ, съ нѣкоторыми богатыми односельчанами задумали этимъ обстоятельствомъ воспользоваться для своихъ личныхъ корыстныхъ видовъ и въ большой вредъ для остальныхъ крестьянъ, составлявшихъ собою цѣлое общество.

Ракитинъ со своими единопмышленниками, въ числѣ одиннадцати человекъ, составившими вмѣстѣ съ семьями 42 ревизскихъ душъ, поѣхалъ въ Москву къ Н. П. и объявилъ ему о полномъ несогласіи крестьянъ выйти на волю. При этомъ бурмистръ и его товарищи заявили

Н. П. о своемъ желаніи получить свободу съ поемнымъ зарѣченскимъ лугомъ, составлявшимъ третью часть всего луга, принадлежащаго селу Бѣлоомуту. За уступку луга и освобожденіе ходатаи предложили тотчасъ уплатить Н. П. 50 тысячъ рублей серебромъ. Сумма же, объявленная Н. П. обществу бѣлоомутскихъ крестьянъ за всѣ угодія и увольненіе, составляла 142857 рублей серебромъ.

Между тѣмъ въ обществѣ образовалась сильная партія, недовольная дѣйствіями бурмистра и его товарищей. Назначены были обществомъ до-вѣренные лица для выясненія Н. П. истиннаго положенія дѣла. Передавъ всю суть недобросовѣстныхъ дѣйствій бурмистра и его товарищей, уполномоченные общества представили немалую сумму, собранную ими между богатыми крестьянами за предоставляемое всему обществу освобожденіе со всѣми угодьями. Остальной платежъ выкупа былъ устроенъ при посредствѣ залога крестьянъ въ московскомъ опекуномъ совѣтѣ, каковой платежъ ограниченъ былъ 40-лѣтнимъ срокомъ. Погашенъ былъ этотъ платежъ обществомъ крестьянъ много ранѣе срока.

Пріѣзду довѣренныхъ отъ общества Н. П. былъ очень радъ и высказалъ имъ, что онъ «ни подъ какимъ видомъ и ни за какія деньги никому не продастъ пяди земли, принадлежащей потомственно крестьянскому обществу, и которой хозяиномъ и личнымъ работникомъ состоитъ цѣлое крестьянское общество». «На этомъ основаніи (такъ передавали мнѣ слова Н. П. современники событія), я съ непріятностью отказалъ Ракитину и другимъ, съ нимъ у меня бывшимъ, которые просили, чтобъ я отпустилъ ихъ на волю съ зарѣченскими лугами. Я предложилъ имъ отдѣльный отъ общества увольнительный выходъ получить безъ угодей земли, кромѣ дворовой». По просьбѣ довѣренныхъ, бурмистръ Ракитинъ былъ удаленъ отъ должности, а на его мѣсто назначенъ одинъ изъ довѣренныхъ общества—С. И. Шлыгинъ; назначеніе это было сдѣлано по просьбѣ общества.

Въ бытность свою крѣпостными, крестьяне Бѣлоомута жили хорошо, вели большую торговлю пшеницею, рогатымъ скотомъ, содержали трактиры и винную торговлю. Нѣкоторымъ хозяйственнымъ крестьянамъ Н. П. давалъ заимообразно денегъ на торговлю и для покупки рекрутскихъ квитанцій.

По отношенію къ самому себѣ Н. П. запрещалъ крестьянамъ кланяться ему въ ноги и стоять передъ нимъ безъ шапки.

Память о Н. П. живетъ въ Бѣлоомутѣ до сихъ поръ. Во-первыхъ, съ его именемъ связано наименованіе придѣльнаго престола въ кладбищенской церкви во имя свят. Николая. Во-вторыхъ, по случаю кончины Н. П., послѣдовавшей въ Англии, въ Гринвичѣ, 31 мая 1877 г., верхне-бѣлоомутскимъ обществомъ крестьянъ составленъ приговоръ, въ которомъ вспоминаются покойнаго благодѣянія, оказанныя здѣшнимъ крестьянамъ,

и постановлено ежегодно, въ день его кончины, творить общественную панихиду. Въ-третьихъ, имя Н. П. и его родителей опредѣлено на вѣчно поминовеніе въ церкви и, въ-четвертыхъ, по ходатайству бѣлоомутскаго общества крестьянъ, подлежащую властью разрѣшено имѣть въ с. Бѣлоомутѣ библиотеку имени Н. П. Огарева; разрѣшеніе состоялось въ прошломъ 1900 году, и общество на первый разъ отпустило на библиотеку 40 р.

Съ портрета Н. П., полученнаго мною отъ Н. М. Мендельсона, по желанію мѣстнаго общества переснято двѣ большихъ поясныхъ фотографіи,—одна для волостного правленія, другая для библиотеки.

У бѣлоомутскаго общества имѣются еще два портрета Н. П.; оба присланы въ прошломъ году,—одинъ супругою Н. П., Натальею Алексѣевною, которая письмомъ благодарила крестьянъ Бѣлоомута за добрую память объ ея мужѣ, другой полученъ отъ графини Зубовой, дочери сестры Н. П., Анны Платоновны. Какъ Н. А. Огареву, такъ и гр. Зубову общество благодарило письменно за вниманіе.

Въ архивѣ бѣлоомутскаго волостного правленія, кромѣ копии съ увольнительнаго акта, хранится нѣсколько писемъ Н. П., изъ которыхъ привожу два, адресованныхъ къ бывшимъ старшинамъ.

1. Данила Семеновичъ! Деньги пятьдесятъ шесть тысячъ шестьсотъ семьдесятъ три рубля 81 коп. серебромъ, выданныя мнѣ при переделѣ крестьянъ Бѣлоомутскихъ въ счетъ слѣдующей мнѣ выкупной суммы, я получилъ, и затѣмъ остается крестьянамъ доплатить мнѣ, за выключеніемъ 5845 р., асс., на серебро 13071 р. 43 к.; съ означенной суммы, которую крестьяне мнѣ остаются должны, процентовъ я никакихъ не требую, а прошу только внести мнѣ въ продолженіе перваго полугодія наступающаго 1848 г. три тысячи рублей серебромъ; на остальную же сумму расположить платежъ такъ, какъ крестьяне найдутъ для себя удобнымъ, лишь бы деньги были заплачены мнѣ къ сроку, означенному въ условіи, при освобожденіи крестьянъ между ними и мною заключенному.

Искренне желаю, чтобы и съ наступающимъ новымъ годомъ въ селѣ Бѣлоомутѣ болѣе и болѣе водворялись порядокъ и трудолюбіе, и крестьяне дѣйствительно бы умѣли уважать свою свободу и пользоваться ею. Прошу все сіе объявить крестьянамъ.

1847 года, декабря 23 дня, Москва. Николай Огаревъ.

2. Герасимъ Трофимовичъ! Поздравляю васъ съ новою должностію и искренно желаю, чтобы управленіе Ваше Бѣлоомутскимъ обществомъ было для него такъ же полезно, какъ управленіе Вашего предшественника, Данилы Семеновича. Деньги, посланныя Данилою Семеновичемъ въ уплату слѣдующихъ мнѣ денегъ, тысяча пятьсотъ руб. серебромъ, по отъѣздѣ моемъ въ С.-Петербургъ, получены въ Акшинѣ моимъ управляющимъ, въ чемъ и прилагаю сіе удостовѣреніе. По бытности моей въ

Петербургъ, если обществу Бѣлоомутскому что нужно, я могу хлопотать, а потому напишите мнѣ, адресуя: въ С.-Петербургъ, на Невскомъ проспектѣ, въ домъ Ликипина, въ контору Языкова и Ко, для передачи Н. П. Огареву. Прошу поклониться отъ меня и пожелать всѣхъ благъ крестьянамъ с. Бѣлоомута.

С.-Петербургъ, 14 марта 1849 г. Николай Огаревъ.

Вотъ копія съ приговора верхне-бѣлоомутскаго общества крестьянъ по случаю кончины Н. П. Огарева.

«1877 года, іюля 26 дня, мы, нижеподписавшіеся, Рязанской губерніи, Зарайскаго уѣзда, Верхне-Бѣлоомутской волости, села Верхняго Бѣлоомута 1-го общества государственные крестьяне, бывшіе по крѣпостному праву помѣщика Николая Платоновича Огарева, бывъ собраны на сельскій сходъ, на коемъ, между прочимъ, намъ объявлено о смерти бывшаго нашего помѣщика Н. П. Огарева, скончавшагося въ Англіи, въ Гринвичѣ, 31 мая сего года, на 64 году отъ рожденія, почему мы, принимая во вниманіе всѣ оказанныя имъ нашему обществу неизгладимыя изъ памяти благодѣянія, какъ въ бытность крѣпостного права, такъ и при отпускѣ на волю въ свободные хлѣбопашцы въ количествѣ 1820 душъ, со всѣми угодіями, состоящими при нашемъ селѣ, за соразмѣрную безъ отягощенія насъ сумму, единогласно постановили: дабы почтить память нашего незабвеннаго и любимаго нами бывшаго помѣщика Н. П. Огарева, съ сего 1877 года учредить отнынѣ и на всѣ времена:—въ день смерти его, 31 мая, ежегодно въ воскресный день, ближайшій къ этому числу, творить объ упокоеніи души его и родителей его поминовеніе въ церкви черезъ священно-служителей службою соборной ланнихиды, и кромѣ того, ежедневно имѣть поминовеніе души его съ родителями; расходъ на это производить изъ общественныхъ суммъ Приговоръ этотъ записать въ волостную книгу и хранить и исполнять его свято, въ чемъ и подписуемся». Слѣдуютъ подписи.

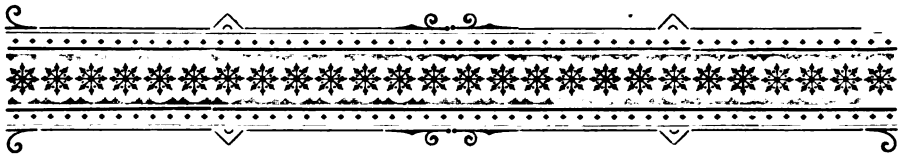
Таковъ рассказъ В. К. Влазнева. Простыя слова этого разсказа, рисуя ясными, опредѣленными чертами благородную личность Н. П. Огарева, служатъ лучшимъ комментариемъ къ тому гимну свободѣ, который написалъ Н. П. Огаревъ въ 1858 г. въ своемъ стихотвореніи «Искандеру»:

Когда я былъ отрокомъ тихимъ и нѣжнымъ,
Когда я былъ юношей страстно-мятежнымъ,
И въ возрастъ зрѣломъ, со старостью смежнымъ,
Всю жизнь мнѣ все снова и снова, и снова
Звучало одно неизмѣнное слово:
Свобода! Свобода!

Эти слова не были въ устахъ Огарева только поэтическимъ прекраснодушіемъ: онъ доказалъ на дѣлѣ свою преданность идеѣ свободы.

Николай Менделѣевъ.





Участвіе нервной системы въ рабочихъ движеніяхъ человѣка.

Всякая внѣшняя механическая работа человѣка, отъ вязанія чулковъ, ходьбы и ношенія на спинѣ тяжестей до игры на музыкальныхъ инструментахъ, производится не иначе, какъ мышцами рукъ, ногъ и туловища. — Мышцы суть двигатели нашего тѣла; но сами по себѣ, безъ толчковъ изъ нервной системы, онѣ дѣйствовать не могутъ; поэтому, рядомъ съ мышцами въ работахъ участвуетъ всегда нервная система и участвуетъ она на множество ладовъ. Объ этомъ ея участіи и будетъ рѣчь.

Чтобы нарисовать въ этомъ бѣгломъ очеркѣ сжатую, но возможно полную, картину относящихся сюда фактовъ, я вынужденъ прибѣгнуть къ образу.

Въ виду того обстоятельства, что всякая работа представляетъ опредѣленный послѣдовательный рядъ движеній, которому соответствуетъ такой же рядъ сокращеній различныхъ мышечныхъ группъ рукъ, ногъ и туловища, рабочую дѣятельность всей нервно-мышечной механики можно сравнить съ исполненіемъ на фортепіанахъ заученной пианистомъ пьесы. Струны будутъ мышцами;—клавиши нервными центрами; рычаги отъ нихъ къ струнамъ—нервами; а музыкантъ будетъ представлять неизвѣстнаго намъ по природѣ агента, дѣйствующаго изъ нервныхъ центровъ по нервамъ на мышцы. При этомъ, музыканта слѣдуетъ представлять себѣ неразрывно связаннымъ съ инструментомъ въ одно цѣлое.

Подобно тому, какъ для вѣрнаго и стройнаго исполненія пьесы, со стороны музыканта требуются прежде всего состояніе бодрствованія, съ возможностью ежеминутнаго контроля игры чувствомъ, и сверхъ того умѣнье видоизмѣнять темпъ игры въ ту и другую сторону и управлять звуками по силѣ и продолжительности; такъ и для нашего неизвѣстнаго агента обязательны: бодрствованіе, контроль движеній чувствомъ и регуляція движеній по силѣ, быстротѣ и продолжительности. Описаніемъ этихъ трехъ условій его дѣятельности мы и займемся.

Бодрствование. Состояніе это стоитъ въ связи съ непрерывными дѣйствіями толчковъ изъ внѣшняго міра на наши органы чувствъ, и доказывается это случайными и, по счастью, крайне рѣдкими патологическими наблюденіями на людяхъ. Одинъ такой случай, засвидѣтельствованный врачами, былъ въ Германіи и касался молодого человѣка, единственное страданіе котораго заключалось въ томъ, что у него изъ всѣхъ органовъ чувствъ остались функционально нетронутыми только одинъ глазъ и одно ухо, которые и служили ему единственными путями общенія съ внѣшнимъ міромъ. Пока глазъ могъ видѣть или ухо слышать, онъ бодрствовалъ; но лишь только доктора, въ видѣ опыта, закрывали ему здоровый глазъ и затыкали ухо, больной очень быстро впадалъ въ спячку, изъ которой пробуждался чувственными воздѣйствіями на эти самые органы. Другой случай былъ въ Петербургѣ, въ Покровской Общинѣ, и его передавалъ мнѣ дорогой всѣмъ намъ, русскимъ, при жизни и не менѣе дорогой по оставленной имъ памяти, С. П. Боткинъ. У больной, изъ образованнаго сословія, остались нетронутыми только осязаніе и мышечное чувство въ одной изъ рукъ. По свидѣтельству больничнаго персонала, она почти всегда спала и сообщалась съ людьми слѣдующимъ образомъ: на животъ ей клали подушку, брали сохранившую чувство руку и, ведя ею по подушкѣ, писали на ней тотъ вопросъ, на который нужно было получить отъ больной отвѣтъ. На этотъ вопросъ она отвѣчала словами. Такимъ же образомъ больная разговаривала съ С. П. Боткинымъ. Ей написали, напр., ея рукою «къ Вамъ пришелъ С. П. Боткинъ». Она отвѣтила «очень рада» и т. д. Можно ли послѣ такихъ фактовъ сомнѣваться, что бодрствование, съ неизбежно сопровождающею его смѣною чувствованій различныхъ родовъ и порядковъ, поддерживается свѣтовыми, звуковыми, термическими, обонятельными и часто механическими вліяніями на органы чувствъ извнѣ. Что при этомъ происходитъ въ центральной нервной системѣ, мы, правда, не знаемъ; но въ самомъ фактѣ нельзя сомнѣваться уже, а priori:—потерѣ всѣхъ чувствъ должна по необходимости соответствовать полная потеря сознанія, такъ какъ сознательность выражается не чѣмъ инымъ, какъ сознаваемыми чувствованіями.—Полной потери чувствъ долженъ соответствовать глубокой сонъ безъ сновидѣній.

Контроль движеній чувствомъ. Сравнивъ выше мышцы съ струнами, мы этимъ самымъ уподобили мышечныя движенія издаваемымъ струнами звукамъ; и это сравненіе оказывается очень близко подходящимъ къ дѣйствительности.—Всякая перемѣна въ положеніи рукъ, ногъ и туловища, равно какъ всякое движеніе этихъ частей, даютъ нашему сознанію, при посредствѣ такъ называемаго мышечнаго чувства, нѣмые, но настолько опредѣленные чувственные знаки, что мы тотчасъ же узнаемъ по нимъ происшедшую перемѣну въ положеніи члена и произведшее эту

перебъну движеніе. Такъ, человѣкъ съ закрытыми глазами ясно различаетъ, насколько его рука поднята или опущена въ плечѣ, насколько она согнута въ локтѣ, въ какой мѣрѣ разведены пальцы ручной кисти, происходитъ ли сгибаніе или разгибаніе ноги въ колѣнѣ быстро или медленно, наклоняется ли голова прямо впередъ или въ бокъ и такъ далѣе. Значить, определенному ряду движеній всегда соотвѣтствуетъ въ сознаніи определенный рядъ чувственныхъ знаковъ; если же двигательный рядъ повторяется много разъ, то вмѣстѣ съ движеніемъ заучиваются и соотвѣтствующіе ряду чувственные знаки. Запечатлѣваясь въ памяти, они образуютъ рядъ нотъ, по которымъ или, точнѣе, подъ контролемъ которыхъ, разыгрывается соотвѣтствующая двигательная пьеса. Чѣмъ инымъ, какъ не такими нотами руководствуется музыкантъ, когда онъ разыгрываетъ знакомую ему пьесу въ полной темнотѣ? — Вѣдь каждому отдѣльному звуку или аккорду предшествуетъ определенное расположеніе пальцевъ руки въ пространствѣ съ послѣдующимъ движеніемъ ихъ; значитъ, вѣрное исполненіе гарантируется не слухомъ, а привычными ощущеніями, идущими изъ играющей руки. Другими словами, при игрѣ въ темнотѣ, въ предшествіе быстрому ряду движеній и параллельно съ ними бѣжить рядъ чувственныхъ знаковъ, опредѣляющій послѣдовательныя перебъны въ положеніи рукъ. Здѣсь мышечное чувство играетъ совершенно ту же роль, что зрительное чтеніе нотъ, при игрѣ по нотамаъ, идущее въ предшествіи движеній.

Еще яснѣе сказывается регулирующее дѣйствіе чувства въ движеніяхъ менѣе сложныхъ, каково, напримѣръ, искусство ходьбы. Нѣтъ сомнѣнія, что двигательная сторона этого искусства дана человѣку готовою при рожденіи; потому что въ пору, когда ребенка учатъ, какъ говорится, ходить, все обученіе заключается въ поддерживаніи его тѣла въ вертикальномъ положеніи, а ноги передвигаетъ ребенокъ самъ и передвигаетъ правильно безъ всякихъ наставленій. Прирожденной двигательной механики оказывается, однако, для ходьбы недостаточно — она родится не приспособленной къ движенію по твердой опорѣ, ребенокъ долженъ заучить сопровождающій ходьбу рядъ чувственныхъ знаковъ. — Въ теченіе каждаго шага есть моментъ, когда обѣ ноги касаются пола, и чувствованіе въ этотъ моментъ опоры служить для сознанія сигналомъ отслаивать отъ пола подошву одной ноги и прислаивать другую — сигналомъ, регулирующимъ правильное чередованіе дѣятельности обѣихъ ногъ во времени и пространствѣ. Отнимите у взрослога чувствованіе опоры, какъ это бываетъ у людей, страдающихъ такъ называемою атаксіей, и человѣкъ этотъ съ закрытыми глазами палаеть, не будучи въ состояніи сдѣлать ни единого шага. Примѣръ этотъ важенъ еще въ слѣдующемъ отношеніи: выше было сказано, что атактикъ съ закрытыми глазами не можетъ сдѣлать ни единого шага; а съ открытыми онъ ходить можетъ. — Это значитъ, что нор-

мальный регуляторъ—мышечное чувство, можетъ замѣняться зрѣніемъ; и такая замѣна возможна во всѣхъ случаяхъ, гдѣ глаза могутъ слѣдить за производимымъ движеніемъ.

Кто не знаетъ далѣе, что при заучиваніи движеній, вызывающихъ звуки (не при производствѣ уже заученныхъ!), каково, напр., заучиваніе словъ, пѣсни или музыкальной пьесы, главнымъ регуляторомъ движеній служить не мышечное чувство, а слухъ. При этомъ, какъ въ беззвучной нервно-мышечной механикѣ, регулирующее дѣйствіе исходитъ изъ двигательныхъ эффектовъ снаряда.

Какъ возбуждаются къ дѣятельности мышцы? По этому вопросу свѣдѣнія наши очень скудны. Мы знаемъ въ общихъ чертахъ лишь слѣдующіе три факта; знаемъ, что клавиши нашей нервно-мышечной механики, на которыя дѣйствуетъ неизвѣстный по природѣ агентъ (онѣ зовутся нервными центрами) лежатъ въ отдѣлѣ головного мозга, съ цѣлостью котораго связаны всѣ проявленія сознательной психической жизни; можемъ указать съ нѣкоторою увѣренностью мѣста ихъ расположенія на поверхности мозга; и умѣемъ на животныхъ возбуждать изъ этихъ мѣстъ сокращенія мышцъ, участвующихъ въ рабочихъ движеніяхъ. Что же касается до природы собственно возбужденій, дѣйствующихъ на наши клавиши, то она оказывается физиологически неуловимой, какъ это явствуетъ между прочимъ изъ распространеннаго по сіе время мнѣнія, будто агентомъ, возбуждающимъ мышечную дѣятельность, является родъ какой то безличной силы, называемой волей. Въ виду распространенности такого мнѣнія даже между образованными людьми, на немъ нельзя не остановиться.

Если слушаться однихъ лишь показаній самосочувствія, то изъ всѣхъ жизненныхъ проявленій человѣческаго тѣла наиболѣе подвластной волѣ представляется мышечная дѣятельность. Соответственно этому, въ былое время даже физиологи различали два вида движеній, невольныя и произвольныя, относя въ послѣднюю категорію эффекты сокращенія всѣхъ мышцъ костнаго скелета, т.-е. мышцъ рукъ, ногъ и туловища. Если бы эта теорія была справедлива, то воля должна была бы умѣть возбуждать каждую мышцу въ отдѣльности, такъ какъ для каждой изъ нихъ существуютъ опредѣленные пути, отдѣльные отъ путей для прочихъ. А между тѣмъ изученіе явленій показываетъ слѣдующее: 1) въ большинствѣ случаевъ воля не властна дѣйствовать на мышцы въ раздробъ, дѣйствуя одновременно лишь на группы; и 2) воля властна лишь надъ такими движеніями, которыя вызваны потребностями жизни. Приведу нѣсколько примѣровъ. Движеніями cadaго глаза управляютъ 6 отдѣльныхъ мышцъ, расположенныхъ въ обоихъ глазахъ одинаковымъ образомъ. Съ цѣлью яснаго видѣнія предметовъ, лежащихъ прямо передъ нами въ разныхъ удаленіяхъ, мы умѣемъ сводить оси глазъ кнутри (къ носу) болѣе или менѣе сильно, при чемъ въ каждомъ глазу работаетъ т. наз. внутренняя

прямая мышца. Смотря обоими глазами вверхъ или внизъ, мы поднимаемъ или опускаемъ оба глаза, для чего служатъ въ каждомъ глазу верхняя и нижняя прямая мышца. Смотря на предметъ, стоящій отъ насъ вправо, мы поворачиваемъ лѣвый глазъ къ носу, а правый отводимъ къ виску; и обратно, при смотрѣніи влѣво. Но нѣтъ жизненныхъ условій, которыя требовали бы одновременнаго отведенія обоихъ глазъ къ вискамъ, или смотрѣнія однимъ глазомъ вверхъ, другимъ внизъ; и соотвѣтственно этому воля оказывается немощной производить эти движенія. Воля властна надъ дыхательными движеніями всей грудной клѣтки, состоящей изъ двухъ симметричныхъ половинокъ съ двумя отдѣльными системами мышцъ; но она не властна надъ каждой изъ половинокъ въ отдѣльности, потому что жизнь не представляетъ условій, которыя требовали бы дыханія одной половиной груди. Столь же немощной она оказывается сокращать одну половину брюшного пресса (т.-е. мышцъ, образующихъ стѣпку живота). Пока не бойкій музыкантъ разучиваетъ пьесу, движенія руки кажутся ему подчиненными волѣ—онъ чувствуетъ, что они требуютъ усилій. Но разъ пьеса твердо заучена и исполняется тѣмъ же музыкантомъ, переходъ отъ одного движенія къ другому идетъ свободно, безъ усилій и такъ быстро, что о вмѣшательствѣ воли въ каждое изъ движеній не можетъ быть и рѣчи. Куда же дѣвалась воля? На ходу человѣкъ обыкновенно не думаетъ о томъ, что дѣлаютъ его ноги; и тогда походка его свободна; но стоитъ ему задаться мыслью слѣдить за каждымъ шагомъ, и чувствовать его, какъ актъ воли, и походка, бывшая свободной, становится принужденной. Тоже съ дыхательными и вообще со всѣми твердо заученными движеніями. Такимъ образомъ оказывается, что вмѣшательство воли въ заученныя движенія не только излишне но даже вредно, нарушая складность движеній. Но что же послѣ этого всѣ произвольныя движенія? Вѣдь это суть движенія, заученныя подъ вліяніемъ жизненныхъ потребностей. Значитъ, они свободны отъ вмѣшательства воли, какъ безличнаго агента. Дѣло другого рода, если, оставаясь на психологической почвѣ, замѣнить безсодержательное понятіе воли реальнымъ представленіемъ «хотѣнія», въ видѣ опредѣленнаго по содержанію чувствованія. Жизненные потребности родятъ хотѣнія и уже эти ведутъ за собою дѣйствія; хотѣніе будетъ тогда мотивомъ или цѣлью, а движенія—дѣйствіемъ или средствомъ достиженія цѣли. Когда человѣкъ производитъ т. наз. произвольное движеніе, оно появляется вслѣдъ за хотѣніемъ въ сознаніи этого самаго движенія. Безъ хотѣнія, какъ мотива, или импульса, движеніе было бы вообще бессмысленно. Соотвѣтственно такому взгляду на явленіе, двигательные центры на поверхности головного мозга называютъ психо-моторными.

Какова бы, однако, ни была природа возбудителя движеній, вѣрно одно:—импульсы изъ центровъ по первамъ къ мышцамъ имѣютъ форму прерывистыхъ толчковъ, слѣдующихъ другъ за другомъ съ частотою 19

разъ въ секунду. Это доказано опытами великаго нѣмецкаго фізіолога-фізика Гельмгольца.

Чтобы покончить съ поднятыми вопросами остается сказать еще нѣсколько словъ о силѣ возбуждающихъ толчковъ. Выяснить это всего удобнѣе на примѣрахъ.

Выходящіе изъ центровъ толчки бѣгутъ къ мышцамъ по нервамъ съ быстротою въ нѣсколько десятковъ метровъ въ 1"; нервы же представляютъ механизмы, возбудимые во всѣхъ точкахъ по своей длинѣ механическими толчками. Этимъ обстоятельствомъ и пользуются для опыта въ слѣдующей формѣ: берутъ ножной нервъ лягушки съ одной изъ ножныхъ мышцъ и, укрѣпивъ верхній конецъ послѣдней, навѣшиваютъ на висящую отвѣсно мышцу грузъ примѣрно въ 500 граммовъ (сама мышца вѣситъ около 5 гр.), а нервъ разстилаютъ горизонтально на твердой гладкой подставкѣ. Затѣмъ заставляютъ падать на нервъ съ высоты 1 сантиметра маленькій грузъ примѣрно въ 0,05 гр. Такой легкій ударъ уже достаточенъ для возбужденія мышцы, — сокращаясь она поднимаетъ навѣшенный на нея грузъ примѣрно на 2 — 3 миллиметра. Работа удара въ граммометрахъ будетъ $0,01 \times 0,05 = 0,005$, а произведенная ударомъ работа мышцы $500 \times 0,002 = 1$. Уже изъ такихъ грубыхъ опытовъ выходитъ, что нервные толчки, какъ производители двигательныхъ эффектовъ мышцъ, въ сотни разъ слабѣе послѣднихъ; въ дѣйствительности же, то есть, естественные толчки, конечно, въ тысячи разъ слабѣе. Сильную 8-часовую работу взрослога мужчины считаютъ въ 200000 килограммометровъ. Если бы на мышечную работу и на производство нервныхъ толчковъ шло сгораніе въ тѣлѣ жира, то на мышечную работу въ 200000 мк. (считая, что изъ теплоты сгоранія идетъ на работу 25%) требовалось бы 200 гр. жира, а на производство нервныхъ толчковъ менѣе чѣмъ 0,2 гр. Еще менѣе энергій затрачивается на внутреннія работы чувствованія. Легкое прикосновеніе къ кожѣ пушинкой даетъ уже ясное осязательное ощущеніе; легкое прикосновеніе къ ушной раковинѣ явственно чувствуется какъ шумъ; миллионныя доли миллиграмма пахучаго вещества достаточны для возбужденія обонянія и пр. и пр. Словомъ, нервная система, по своему устройству, рассчитана на воспріятіе и на передачу двигательнымъ органамъ крайне слабыхъ толчковъ.

И. Сьченовъ.





Malizia.

Замѣтка къ біографіи Боккаччо ¹⁾.

Пребываніе Петрарки при дворѣ Висконти привело его друзей въ недоумѣніе: онъ такъ краснорѣчиво говорилъ о свободѣ—и такъ софистически уживался съ тиранціей; онъ измѣнилъ принципу, котораго долго былъ глашатаемъ, и друзья волновались, писали, просили разъясненій, увѣщевали.

Въ числѣ другихъ, писавшихъ Петраркѣ по этому поводу, былъ и нѣкій поэтъ, Gano di Laro di Colle, котораго Л. Фрати отождествилъ съ Gano di Laro de' Pasci, жившемъ въ половинѣ XIV-го вѣка ²⁾. Онъ обратился къ Петраркѣ съ сонетомъ, который поручилъ продекламировать нѣкому жонглѣру, *lusor*, по прозвищу Malizia. Сонетъ этотъ до насъ не дошелъ, но о содержаніи его даетъ понятіе замѣтка въ cod. Barberini VIII, 56, предшествующая письму Петрарки къ Malizia: *Quidam eloquens Ganus de Colle misit vulgarem sonettum Fr. Petrarcae per linguam cujusdam lusoris nomine Malitia, commoda vulgaria accitantis, in quo praefatum dominum Franciscum commendat, dicens ipsum esse mundi unicum solem et singulare lumen, hortans eum quod discedat a tyrannide dominorum de Mediolano et accedat ad libertatis locum; et ipse dominus Franciscus alloquens portitorem sonetti, qui proclamationem habebat quodammodo aspram et acutam, sic respondit. Слѣдуетъ письмо Петрарки къ Малици, содержаніе котораго онъ долженъ былъ изложить Гано: передай ему это и тому подобное, что придетъ тебѣ на умъ, съ бурнымъ краснорѣчіемъ, тебѣ свойственнымъ, яснымъ, но не рѣзкимъ голосомъ, къ чему ты приобыкъ, безъ крика и шума, да, пожалуйста, языкомъ итальянскимъ, не варварскимъ.*

Malizia могъ быть однимъ изъ тѣхъ потѣшниковъ, сказителей, которые въ XIV—XV вѣкахъ продолжали играть запоздалую роль старыхъ

¹⁾ См. мою работу: Боккаччо, его среда и сверстники, II, стр. 166 слѣд., 184 слѣд., 462 слѣд.

²⁾ Propugnatore, N. S., v. VI, fasc. 34—5, стр. 195 слѣд.

жонглёровъ при трубадурахъ; вращаясь въ сферѣ извѣстныхъ поэтовъ (Петрарки, Пуччи, Буркьелло, Пистойя и др.), они кормились отъ нихъ, выпрашивали стихотворенія и жили ихъ сказываніемъ; «легкія» пьесы (*commoda*) давались имъ хорошо; порой они и сами складывали сонетъ, а въ промежуткахъ потѣшали, буффонили; то и другое открывало путь къ теплomu мѣсту. Выраженіе «*lusor*» указываетъ именно на буффона, какъ и кличка *Malizia* и довольно барское, небрежное отношеніе къ нему Петрарки.

Malizia Barratone (*baratto, barattiere*: мѣняло, перекупщикъ, обманщикъ) было прозвище нѣкогого *Giovanni* изъ Флоренціи, который напрашивается на отождествленіе съ Петрарковскимъ *lusor*. Это былъ веселый, разносторонній буффонъ, вращавшійся при неаполитанскомъ дворѣ: бойкій, находчивый на отвѣтъ, искусный и въ поэзіи, особенно въ сложеніи сонетовъ, онъ вошелъ своимъ скоморошествомъ въ такую милость, что ему съ наслѣдниками дарованъ былъ рыцарскій феодеъ: островъ на Вольтурно. Въ относящейся до него грамотѣ перечислены его заслуги: *attendentes quod Baratonus idem adiens regiam nostram presentiam in Regni partes quandoque per fabulationes suas praecipiti facilitate lapsas, interdum per stridentes absoluti eloquii fibras ad contentum solatii mira sonoritate retortas et mulcentibus quoque verbis ad fastidium fallendum contextas, frequenter tamen per exquisita peregrina solatia que fessum relevent ab occupatione spiritum et reddant hilarem ex multo labore sensum, et sepius per sonectus regulato ligamine in sonorum cantum monili (?) suavitate productos conatus est, prudenter imprudens, recreationibus nostris causas adicere et per curialis sui officii ministerium nostris occupationibus cum temporis opportunitate consulere* и т. д. Бараттоне обязывался за это ежегодно представлять, въ день Воскресенія Христова, сонетъ: *quodque de servitio unius conficiendi artificiose sonecti honestas comprehensuri materias moralitatis odore respersas ac virtutum exemplarium decore sonoras nobis nostrisque in dicto regno heredibus et successoribus, ubicumque fuerimus, annis singulis tam ipse Barattonus, quam praefati sui heredes servire infallibiliter teneantur per illius in scriptis personaliter exhibitionem in propriis nostris manibus die festi Resurrectionis Dominicae suis viribus annuatim* ¹⁾.

Программа *Малиція Бараттоне* обнимала и буффонство (*peregrina solatia?*), и потѣшные рассказы, *fabellationes... per stridentes absoluti eloquii fibras ad contentum solatii mira suavitate retortas*. Рассказы въ прозѣ, если *absolutum eloquium* то же, что *soluta oratio*; *stridentes... fibras* указываетъ на другое: горланить было въ жанрѣ буффона, при дворѣ королевы Джьованны это, очевидно, нравилось, но у Петрарки было дѣло серьезное

¹⁾ Camera, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I regina di Napoli e Carlo III di Durazzo* (1889), стр. 231—2.

и онъ протестуетъ противъ скоромошней крикливости (*proclamationem... aspram et acutam*). Malizia привыкъ къ ней по профессіи, но онъ умѣлъ пѣть и назидательные сонеты: къ этому обязывалъ его феодеъ и званіе придворнаго потѣшника.

Интересно, что ежегодная «дань» сонета обязывала и его наследниковъ. Инфеодирована была поэзія — или скоромошество? Итальянскіе меценаты XIV вѣка не всегда это отличали; тому свидѣтельствомъ неаполитанская судьба Боккаччо ¹⁾. Вызвалъ его въ Неаполь «великій сенешаль» Никколó Аччьяйоли, почувшій въ литературѣ возрожденія грядущую силу, ухаживавшій за Петраркой и Боккаччо, которыхъ старался привлечь къ себѣ; пріятель того и другого, Нелли, былъ его личнымъ секретаремъ. Боккаччо послѣдовалъ приглашенію сенешаля, но не вытерпѣлъ и черезъ шесть мѣсяцевъ собрался въ обратный путь—въ маѣ 1362-го или 1363 го года? Мнѣнія раздѣлены; я еще держусь перваго срока, несмотря на соображенія, недавно высказанныя Геккеромъ ²⁾. Дѣло въ томъ, что съ Марта по Іюль 1362-го года Нелли былъ съ Аччьяйоли въ Сициліи, а Боккаччо въ письмѣ къ первому говорить, что передъ своимъ отъѣздомъ изъ Неаполя въ Маѣ онъ съ нимъ простился. Но противорѣчіе только кажущееся, которое можно устранить, взявъ въ расчетъ другія подробности письма. Боккаччо пишетъ, что «пять мѣсяцевъ тому назадъ», т.-е. вскорѣ по своемъ прибытіи въ Неаполь, онъ уже говорилъ Нелли о своемъ намѣреніи удалиться, и тотъ ему сочувствовалъ; когда далѣе Боккаччо утверждаетъ, что, уѣзжая, онъ попрощался съ друзьями, съ Нелли, даже послалъ впередъ свои вьюки, то слѣдуетъ только распредѣлить во времени скученное въ одной фразѣ. Боккаччо такъ долго собирался и мѣшкатель, что Нелли не ожидалъ отъ него внезапнаго рѣшенія, самъ уѣхалъ по дѣлу и, узнавъ объ отъѣздѣ Боккаччо, могъ говорить о его «бѣгствѣ».

Все это, впрочемъ, вопросы, интересующіе лишь біографа Боккаччо. Онъ бѣжалъ, потому что ему не хотѣлось быть придворнымъ литераторомъ, обязаннымъ хвалить и величать, чтобы жить сносно и не потеряться среди служилой челяди, въ толпѣ голодныхъ прихлебателей, которыхъ онъ такъ ярко рисуетъ.

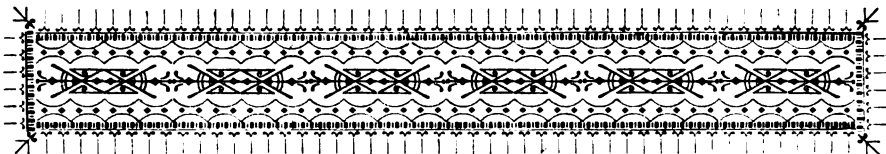
А Malizia Barattone получилъ грамоту на феодеъ 27 Декабря 1360 года. Если этотъ Malizia тождественъ съ Петрарковскимъ, онъ могъ быть у Петрарки, остававшагося при дворѣ Висконти съ 1353 по 1361-й годъ, ранѣе 1360 года, когда феодеъ привязалъ его къ Неаполю.

Но дѣло не въ отождествленіи, а въ типѣ, характеризующемъ вкусы среды, въ которой понятіе «служилости» туго уступало зарождавшемуся самосознанію свободнаго писателя-художника.

Александръ Веселовскій.

1) А Веселовскій, Боккаччо, его среда и сверстники, т. II, стр. 463 слѣд.

2) Oscar Hecker, Boccaccio-Funde (1901), стр. 81 слѣд., прим. 2.



ИЗЪ ТРАГЕДІИ ШЕКСПИРА
„Ромео и Джульета“.

ДВѢЙСТВІЕ I-е, СЦ. 3-я.

Комната въ домѣ Капулетти.

Входятъ Сеньора Капулетти и Кормилица.

Сеньора К.

Кормилица, гдѣ дочь моя? Зови
Ее ко мнѣ.

Кормилица.

Да я и то—порукой
Вамъ дѣвственность моя, въ двѣнадцать лѣтъ
Созрѣвшая совсѣмъ—сама ужъ сколько
Зову ее... Овечка!.. Пташка!.. Ахъ,
Спаси Господь!.. Да гдѣ жъ она?.. Джульета!
Входитъ Джульета.

Джульета.

Ну, что тебѣ?

Кормилица.

Васъ матушка зоветъ.

Джульета.

Что приказать угодно вамъ, сеньора?

С и н ь о р а К.

Вотъ дѣло въ чемъ... Кормилица, оставь
На время насъ; мнѣ нужно съ ней секретно
Поговорить... Кормилица, вернись:
Я вспомнила, что можешь ты совѣтомъ
Намъ послужить. Ты знаешь—дочь моя
Ужъ въ возрастѣ порядочномъ.

К о р м и л и ц а.

Еще бы

Не знала я! Ея года могу
Часъ въ часъ сказать.

С и н ь о р а К.

Окончится ей скоро

Четырнадцать.

К о р м и л и ц а.

Готова прозакласть
Четырнадцать зубовъ моихъ—а кстатѣ
О нихъ сказать, осталось у меня
Четыре ихъ—еще ей не минуло
Четырнадцать... Какъ далеко еще
До праздника Петра въ веригахъ?

С и н ь о р а К.

Слишкомъ

Недѣли двѣ.

К о р м и л и ц а.

Такъ вотъ какъ разъ въ канунъ
Петрова дня четырнадцать ей минеть.
Съ Сусанною моею—храни Господь
Всѣ души христіанскія!—Джульета
Ровесница... Сусанну Богъ прибралъ—
Нашелъ ее онъ для меня ужъ слишкомъ
Хорошею... Такъ вотъ, я говорю,
Какъ разъ въ канунъ Петрова дня ей стукнеть
Четырнадцать... Да, да... Отлично все
Я помню... да... Со дня землетрясенья
Одиннадцать годовъ; ее тогда
Отъ груди отымали—не забуду

Я этого вовѣки; тотъ денекъ
Изо всѣхъ дней въ году всѣхъ больше будетъ
Мнѣ памятенъ... Полынью грудь себѣ
Всю вымазавъ, подъ стѣнкой голубятни
Сидѣла я на солнышкѣ. Синьоръ
Былъ въ Мантуѣ тогда, синьора, съ вами...
Вотъ память-то какая!.. Ну, сижу,
А дурочка-красотка захотѣла
Попробовать полыни на соскѣ,
И горько, вишь, ей показалось—съ плачемъ
Откинулась отъ груди... Вдругъ кругомъ
Все затряслось, и не зачѣмъ тутъ было,
Я думаю, просить меня бѣжать
Оттоль стремглавъ...
Съ тѣхъ поръ прошло одиннадцать годовъ—
Тогда она ужъ на своихъ ножонкахъ
Могла стоять и даже начала
Побѣгивать туда-сюда. Я помню,
Вотъ какъ вчера, что за день до того
Она, упавъ, себѣ расшибла лобикъ;
И тутъ мой мужъ—Господь съ его душой!
Веселый былъ мужчина!..—взялъ ребенка
Онъ на руки и говоритъ: „Ай, ай!
Упасть лицомъ! Какъ поумнѣ станешь—
Все на спину ужъ будешь падать... Да,
Джюльеточка?“ И—вотъ хоть побожиться—
Ребеночекъ вдругъ плакать пересталъ.
„Да!“ говорить... Вѣдь вотъ какъ кстати шутка
Приходится!.. Ручаюсь вамъ, пускай
Хоть тысячу годовъ еще на свѣтѣ
Я проживу, а не забуду... „Да,
Джюльеточка!“ А глупенькая крошка
Ему въ отвѣтъ, забывши плакать: „Да!“

Синьора К.

Ну, хорошо. Довольно ужъ объ этомъ,
Пожалуйста.

Кормилица.

Молчу, молчу... Да смѣхъ
Такъ и беретъ, какъ вспомню: вѣдь тотчасъ же
Весь плачь прошелъ, и отвѣчаетъ: „да!“

А вѣдь на лбу, ей-ей, вскочила шишка
Съ шуляточки цыпленка—желвачокъ
Порядочный... И плакала бѣдняжка
Навзрыдъ. „Ай, ай!—мой мужъ-то говорить—
Упасть лицомъ!.. Вотъ какъ постарше станешь,
Такъ на спину все будешь падать. Да,
Джюльеточка?“ Она тотчасъ замолкла—
„Да!“ говорить.

Джюльета.

Ты тоже замолчи,
Кормилица, пожалуйста.

Кормилица.

Не буду—
Молчу, молчу... Вѣдь ты дороже мнѣ
Всѣхъ дѣточекъ, какихъ пришлось только
Мнѣ выкормить... Ахъ, даль бы Богъ дожить
До свадебки твоей!..

Синьора К.

Ну, вотъ объ этомъ
Я и пришла поговорить теперь...

ДѢЙСТВІЕ I-е, СЦ. 4-я.

Улица въ Веронѣ.

*Входятъ Ромео, Меркуціо, Бенволио, пять-шесть замаскированныхъ
людей, слуги съ факелами и др. *)*

Ромео.

Что жъ, эту рѣчь мы скажемъ въ оправданье,
Иль просто такъ, безъ всякихъ словъ, войдемъ?

Бенволио.

Ужъ вывелись всѣ эти церемоньи,
И намъ теперь не нуженъ Купидонъ
Съ повязкою на глазкахъ, въ ручкѣ съ лукомъ

*) Они идутъ на балъ къ отцу Джюльеты.

Раскрашеннымъ татарскимъ, разгонявшій,
Какъ пугало воронье, нашихъ дамъ.
Не нужно намъ и тѣхъ рѣчей входныхъ,
Что съ томностью читались по суфлеру.
Пусть думаютъ они себѣ о насъ,
Что захотятъ; мы танецъ имъ отпляшемъ—
Да и домой.

Ромео.

Мнѣ дайте факель. Я
Плясать совсѣмъ охоты не имѣю,
И, грустно такъ настроенный, могу
Свѣтить лишь вамъ.

Меркуціо.

Нѣтъ, дорогой Ромео,
Намъ хочется, чтобъ танцевалъ и ты.

Ромео.

Вѣрь, не могу. Вѣдь вы въ сапожкахъ бальныхъ,
На тоненькихъ подошвахъ; у меня жъ
Въ душѣ свинець, и такъ онъ пригибаетъ
Меня къ землѣ, что я едва хожу.

Меркуціо.

Но ты влюбленъ—такъ у Амура крылья
Займи себѣ и изъ оковъ земли
Вонъ вылетай.

Ромео.

Своей стрѣлою слишкомъ
Навылетъ онъ пронзилъ меня, чтобъ я
Могъ вылетѣть на этихъ легкихъ крыльяхъ.
И скорбь меня успѣла такъ пригнуть,
Что чрезъ нее перескочить не въ силахъ
Я ни на шагъ. Подъ бременемъ любви
Я падаю.

Меркуціо.

И падая, собою
Ты бременишь любовь. Ужъ черезчуръ
Тяжелый гнетъ для нѣжной вещи.

Ромео.

Будто

Любовь нѣжна! Нѣтъ, черезчуръ жестка,
Груба и зла и точно тернь колюча.

Меркуціо.

Когда любовь жестка съ тобою—будь
Ты жѣстокъ съ ней; а колется—ты тоже
Коли ее, и свалишь наконецъ!
Ну, спрячемъ же лицо въ футляръ. (*Беретъ маску.*) Рожу
На рожу мнѣ! Пусть любопытный глазъ
Пытается открыть мои уродства:
Краснѣть за нихъ предоставляю я
Наклееннымъ щекамъ моимъ.

Бенволіо.

Идемъ же.

Стучите въ дверь. И только что мы тамъ
Очутимся—ногамъ работу каждый
Пусть задаетъ.

Ромео.

Мнѣ дайте факель! Пусть
Весельчаки безпечные щекочатъ
Подошвами безчувственный тростникъ—
А я, держась сложенной нашимъ предкомъ
Пословицы, вамъ буду свѣтъ нести
И лишь смотрѣть. Забавы лучше вашей
И веселѣй не сыщется—но я
Совсѣмъ пропалъ.

Меркуціо.

Пропажъ отыскаться
Не мудрено. Мы вытащимъ тебя
Изъ лужи той любви благоговѣйной,
Въ которую ты по уши залѣзъ...
Идемъ, идемъ!.. Мы свѣтъ дневной сжигаемъ.

Ромео.

Ну, не совсѣмъ-то такъ.

Меркуціо.

Хочу сказать, что жжемъ
Мы даромъ факелы, какъ жгли бы лампы днемъ.
Сообрази, что доброе у насъ
Намѣренье; а въ этомъ смысла больше
Въ пять разъ, мой другъ, чѣмъ въ пяти чувствахъ нашихъ.

Ромео.

Да, съ добрымъ мы намѣреньемъ идемъ
На этотъ балъ, но смысла въ этомъ мало.

Меркуціо.

А почему?—позвольте васъ спросить.

Ромео.

Сегодня ночью мнѣ приснился сонъ.

Меркуціо.

Мнѣ тоже.

Ромео.

Тебѣ какой?

Меркуціо.

Что сны всѣ лгутъ.

Ромео.

На сонномъ ложѣ

Намъ кажется все точно наяву.

Меркуціо.

О, стало-быть, къ тебѣ являлась, другъ,
Царица Мебъ: она вѣдь повитуха
Волшебнаго всего. Величиной
Не болѣе агатоваго камня
На пальцѣ альдермена, къ намъ она
На атомахъ-лошадкахъ пріѣзжаетъ
И по носамъ объятыхъ сномъ людей
Катается. Въ ея коляскѣ спицы
Колѣсныя изъ ножекъ пауковъ;
Покрышка въ ней изъ крыльевъ стрекозиныхъ;
Изъ паутинъ тончайшихъ сбруя вся;
Изъ влажнаго луны сіянья вожжи;
Плеть—съ ручкою изъ косточки сверчка,

А бичъ сплеченъ изъ волоконецъ; кучерь—
Комарикъ въ сѣренькомъ кафтанѣ, весь
На половину меньше ростомъ круглыхъ
Тѣхъ червячковъ, что въ пальцѣ у себя
Лѣнивая коровница находить.
На кузовъ ей пошелъ пустой орѣхъ,
Обдѣланный иль червякомъ почтеннымъ,
Иль бѣлкой-столяромъ: они у фей
Давнымъ-давно каретниками служатъ.
Въ такомъ-то экипажѣ по ночамъ
Катается она. Проѣдетъ мозгомъ
Любовниковъ—и снится имъ любовь;
Колѣнями придворнаго—онъ грезить
О книксенахъ; по пальцамъ пробѣжить
Законника—ему приснятся взятки;
По губкамъ дамъ—имъ снится поцѣлуй,
(Но этихъ Мебъ прыщами часто мучить,
Сердьясь за то, что сласти портятъ имъ
Дыханіе); порой она проскачетъ
И по носу судьи—и чуетъ онъ
Во снѣ процессъ; то хвостикъ десятинной
Свиньи возьметъ, щекочетъ имъ въ носу
У спящаго пастора—и тотчасъ же
Про новые доходы грезить онъ;
То иногда проѣдетъ по затылку
У воина—и видитъ онъ во снѣ
Рѣзню головъ, атаки и засады,
Испанскіе клинки и глубину
Бездонную заздравныхъ кубковъ; снова
Въ его ухахъ грохочетъ барабанъ,
И, пробудясь, вскочивъ въ испугъ, шепчетъ
Молитву онъ одну-другую, и—
Опять заснетъ. Она же ночью гривы
У лошадей приходитъ заплетать;
И волоса нечистые сбиваетъ
Порой въ колтунъ, который, если вновь
Его развить, вѣщаетъ злыя бѣды.
И эта же колдунья давить дѣвѣ,
Когда онѣ спать на спинѣ, и учить
Впервые ихъ, какъ на себѣ носить,
Чтобы онѣ мужьямъ потомъ служили,
Какъ слѣдуетъ. Она же...

Ромео.

Перестань,
Меркуціо, довольно! Вѣдь болтаешь
Ты о ни чемъ.

Меркуціо.

Да, правда, говорю
О грезахъ я—объ этихъ дѣтяхъ мозга
Бездѣльнаго, рождаемыхъ одной
Фантазіей пустой, какъ воздухъ тонкой,
Измѣнчивѣй, чѣмъ вѣтеръ самъ, что вдругъ
Любовникомъ прильнетъ на ледяную
Грудь сѣвера—и чрезъ мгновенье вновь,
Раасвирѣпѣвъ, на югъ росообильный
Стремительно направитъ свой полетъ.

Бенволио.

Описанный тобою, другъ мой, вѣтеръ
Уноситъ насъ отъ насъ самихъ: ужъ тамъ
Откушали навѣрно; слишкомъ поздно
Мы явимся.

Ромео.

Нѣтъ, слишкомъ рано—миѣ
Такъ кажется; какое-то несчастье
Предчувствую; оно еще въ звѣздахъ
Скрывается, но съ пиршествъ этой ночи
Должно вступить на свой ужасный путь,
Чтобъ жалкое мое существованье,
Замкнутое въ груди моей, прервать
Какой-нибудь безвременною смертию
Отъ гнуснаго злодѣйства. Но Тому,
Кто держитъ руль въ моемъ пути—и парусъ
Свой отдаю!.. Идемъ, весельчаки!

Бенволио.

Вей въ барабанъ!

(Уходятъ).

Петръ Вейнбергъ.



Два Донъ - Жуана.

Новые мотивы изъ исторіи вліянія Байрона на Пушкина.

Настоящая статья посвящена одному новому, еще не разсмотрѣнному въ литературѣ вопросу изъ исторіи вліянія Байрона на Пушкина.

Вопросъ этотъ возникаетъ при изученіи драматической поэмы Пушкина «Каменный Гость» (1830), которую Бѣлинскій въ теченіе десяти послѣднихъ лѣтъ своей жизни неизмѣнно считалъ «гигантскимъ созданіемъ великаго мастера», «безъ всякаго сравненія лучшимъ и высшимъ въ художественномъ отношеніи созданіемъ Пушкина».

Прежде всего я постараюсь возстановить въ памяти читателя нѣкоторые эпизоды изъ «Каменнаго гостя», главнымъ образомъ изъ I его сцены.

Съ глубокимъ вздохомъ врывается Донъ-Жуанъ на сцену и этимъ «уфъ!» сразу даетъ почувствовать, что въ груди его что-то уже волнуется и кипитъ, какая-то нетерпѣливая стремительность, отъ которой у него занимается дыханіе.

Донъ-Жуанъ. Дождемся ночи здѣсь. Уфъ! наконецъ
Достигли мы воротъ Мадрида! Скоро
Я полечу по улицамъ знакомымъ,
Усы плащемъ закрывъ, а брови шляпой.
Какъ думаешь: узнать меня нельзя?
Лептрелло. Да, Донъ-Жуана мудрено признать!
Такимъ, какъ онъ, такая бездна!
Донъ-Жуанъ. Шутить?
Да кто жъ меня узнастъ?
Лептрелло. Первый сторожъ,
Гитана, или пьяный музыкантъ.
Иль свой же братъ, нахальный кавалеръ,
Въ плащѣ, со шпагою подъ мышкой, въ шляпѣ.

Обратите вниманіе на то, съ какой неподражаемой наивностью Донъ-Жуанъ игнорируетъ свое отличіе отъ другихъ гидальго: по его мнѣнію, надвинуть шляпу на глаза, закрывъ усы плащемъ и—дѣлу конецъ: никто

не узнаеть! Оказывается однако, что первому сторожу достаточно взглянуть только на фигуру Донъ-Жуана, чтобы выбрать его изъ сотни: онъ такъ много «напроказничаль», что весь Мадридъ давно уже запомнилъ и ростъ его, и походку, и манеры. Между тѣмъ для него-то самого эти проказы и прошли почти незамѣченными.

Какъ же это случилось? Да именно такъ, какъ случилась и послѣдняя его проказа,—самовольное возвращеніе изъ ссылки.

Донъ-Жуанъ. Слуга покорный! Я едва-едва
Не умеръ тамъ со скуки. Что за люди!
Что за земля! А небо?.. Точный дымъ!
А женщины?.. Да я не промѣняю,
Вотъ видишь ли. мой милый Лепорелло,
Послѣдней въ Андалузїи крестьянки
На первыхъ тамошнихъ красавицъ, право!
Онѣ сначала нравились мнѣ
Глазами синими, да бѣлизною,
Да скромностью, а пуще новизною;
Да, слава Богу, скоро догадался:
Увидѣлъ я, что съ ними грѣхъ и знаться;
Въ нихъ жизни нѣтъ, все куклы восковыя...
А наши!..

Итакъ, вотъ мотивъ, принудившій Донъ-Жуана вернуться изъ ссылки: его заѣла тамъ скука; ему опротивѣли тамошніе земля и люди, небо и женщины: «А наши!..» вспоминаеть онъ при этомъ, и его мысль уже въ родныхъ краяхъ; на крыльяхъ нетерпѣнья онъ и самъ летитъ въ Мадридъ, къ «знакомымъ улицамъ»; но ему и въ голову не приходитъ спросить себя, правъ онъ или нѣтъ, «проказа» это или нѣтъ. Ну, а если о ней узнаеть самъ король?—замѣчаетъ Лепорелло. «Что за бѣда! — отвѣчаетъ Донъ-Жуанъ: пошлетъ обратно», и такъ какъ у него нѣтъ на этотъ счетъ никакихъ заранѣе принятыхъ рѣшеній, отвѣчаетъ тѣмъ тономъ, который показываетъ, что онъ непремѣнно пойдетъ обратно и не станетъ напирать на свое, но только опять возвратится въ Испанію, какъ скоро исчезнетъ новизна положенія, и ему снова захочется къ неувыдаемому родному. Однимъ словомъ, во всѣхъ поступкахъ Донъ-Жуана рѣшающее значеніе имѣеть впечатлѣніе минуты, запавшее въ душу настроеніе, а не спокойное взвѣшиваніе мотивовъ за и противъ, не размышленіе.

Много матеріала находимъ мы для характеристики этой стороны пушкинскаго Донъ-Жуана въ четырехъ сценахъ «Каменнаго гостя». Но всего ярче, всего типичнѣе обрисоваль ее поэтъ въ концѣ II сцены.

Лаура проситъ Донъ-Карлоса, вызвавшаго у нея Донъ-Жуана на дуэль, «выйти вонъ», однако Донъ-Карлосъ не унимается и настаиваетъ на своемъ: «Ежели тебѣ не терпится, изволь», вспыхиваетъ Донъ-Жуанъ и убиваетъ противника.

Лаура. Гляди, проклятый,
Ты прямо въ сердце ткнулъ, небось—не мимо.
И кровь нейдетъ изъ треугольной ранки,
А ужъ не дышитъ—каково?

назвать ее, ему почти хочется покаяться въ чемъ-то... «Узналъ я поздно»!.. Что? Узналъ, чего ей стоили эти свиданія, что выносила она за нихъ, сколько мужества она тратила? Быть можетъ, оттого и голосъ ея замиралъ все тише и слабѣе, и мертвѣли губки, и становился ярче взглядъ, въ который переселялась вся умирающая, страстная душа... Быть можетъ, но Донъ-Жуанъ тогда не спрашивалъ... А теперь — «узналъ я поздно!...» — горькій, поздній упрекъ эгоизму любви»...

Какой незлобивый Донъ Жуанъ! Какъ чувствителенъ онъ къ чужому страданію, въ противоположность традиціонному типу, нагло попирающему чужую личность, и какъ продолжительны его симпатіи къ той, которая разъ привязала его къ себѣ: онъ становится — выражаясь словами Пушкина — «вѣрнымъ другомъ» ея, если ужъ не можетъ не быть «вѣтреннымъ любовникомъ».

Разобранная нами I сцена «Каменнаго гостя» представляетъ изумительную по полнотѣ содержанія экспозицію характера Донъ-Жуана: по прочтеніи этой сцены, Донъ-Жуанъ ясенъ для насъ въ самой сокровенной сущности своего типа. Я не буду поэтому останавливать вниманія читателя на II сценѣ, съ Лаурой, и на двухъ послѣднихъ, съ Донной-Анной, гдѣ Донъ-Жуанъ остается тѣмъ же безпечнымъ и влюбчивымъ существомъ; только поэтъ взякій разъ умѣетъ выдвинуть новый оттѣнокъ въ этой горячей привязанности его къ женщинѣ. Между тѣмъ какъ его отношенія къ Инесѣ были проникнуты тихой и глубокой меланхоліей, а къ Лаурѣ какою-то нѣжною и задушевною дружбою, къ Доннѣ-Аннѣ онъ обращается, согласно умиленному настроенію духа, всегда въ мажорномъ тонѣ, съ нѣкоторою торжественностью, а себя смиренно называетъ «несчастливымъ Донъ-Жуаномъ», «бѣднымъ Донъ-Жуаномъ».

Когда мы представимъ себѣ всѣ особенности типа пушкинскаго Донъ-Жуана, какъ постоянно незлобивъ онъ и какъ грѣшитъ подъ впечатлѣніемъ минуты, добродушно оправдываясь вслѣдъ затѣмъ, какъ истинна любовь его къ женщинѣ, другомъ которой онъ остается навсегда, съ нѣжностью вспоминая о ней, — мы согласимся, что Пушкинъ воспользовался всѣми реабилитирующими характеръ мотивами, чтобы сдѣлать для насъ понятнымъ подобный типъ и сколько-нибудь примирить съ нимъ наше возмущенное нравственное чувство.

Спрашивается, какими путями дошелъ Пушкинъ до подобной концепціи типа Донъ Жуана?

Когда мы изучаемъ генезисъ произведенія на такой сюжетъ, какъ легенда о Донъ-Жуанѣ, разработка котораго продолжается не одно столѣтіе, и на который написаны десятки произведеній самаго разнообразнаго содержанія, формы и достоинства, — естественно, прежде всего возникаетъ вопросъ о степени вліянія литературной традиціи на поэта, — вопросъ, насколько онъ обязанъ своимъ предшественникамъ тѣмъ или другимъ пони-

маніемъ типа. Такимъ образомъ, естественно, и для насъ является необходимымъ экскурсъ въ область литературной исторіи типа Донъ-Жуана.

Нѣтъ надобности распространяться о старыхъ пьесахъ на сюжетъ о Донъ-Жуанѣ, относящихся къ XVII и XVIII столѣтіямъ, уже по той причинѣ, что онѣ не могли быть извѣстны Пушкину, за исключеніемъ развѣ двухъ, мольеровскаго «Don Juan ou le Festin de Pierre» (1665) и либретто къ моцартовской оперѣ да Понте «Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni Tenorio» (1787). Двухъ этихъ произведеній было вполне достаточно для Пушкина, чтобы представить себѣ, какъ поняли Донъ-Жуана два прошлые вѣка.

Геніальный французскій комикъ заложилъ чисто-французскую стихію въ душу своего героя: эта стихія—рефлексія, и самая любовь у французскаго Донъ-Жуана является началомъ не столько сенсуалистическимъ, сколько рефлексивнымъ; по его собственнымъ словамъ: «онъ чувствуетъ непостижимое наслажденіе, когда всевозможными увѣреніями покоряетъ сердце красавицы... когда восторгами, слезами и вздохами тѣснить невинную стыдливость, которая не хочетъ сдаться, когда шагъ за шагомъ преодолеваетъ маленькія преграды, которыя она противопоставляетъ... и когда наконецъ приводитъ красавицу къ заранѣ придуманной цѣли... а «разъ онъ остался побѣдителемъ, ему больше желать нечего... и онъ засыпаетъ въ спокойствіи такой любви...»

Кромѣ тѣхъ или иныхъ, но всегда грубо-эгоистическихъ отношеній Донъ-Жуана къ женщинѣ, во всѣхъ вообще обработкахъ XVII вѣка изображается враждебное столкновение его съ господствующимъ религіознымъ міросозерцаніемъ; это, конечно, вполне естественно: при наличности аскетическихъ идеаловъ, разнузданный сенсуализмъ Донъ-Жуана только тогда и могъ спокойно продолжать свою дѣятельность, когда онъ развивалъ въ себѣ отрицательные взгляды на эти идеалы и ихъ основы, и мольеровскій Донъ-Жуанъ, какъ извѣстно, и въ этомъ отношеніи доводитъ свой образъ мыслей до полной ясности, замѣтивши по одному поводу Сганарелю: «я вѣрю, что дважды два—четыре». Сочетаніе этого протестующаго настроенія съ разнузданнымъ сенсуализмомъ оказывается характерной чертой всѣхъ обработокъ типа за XVII вѣкъ.

Только съ паденіемъ аскетическихъ идеаловъ въ XVIII вѣкѣ это протестующее настроеніе исчезаетъ изъ типа Донъ-Жуана, и прежній «атеистъ—athée» превращается въ чистокровнаго «развратника—dissoluto», какъ это можно видѣть уже въ заглавіяхъ пьесъ того и другого вѣка; зато, чтобы не смѣшаться ему съ толпой заурядныхъ развратниковъ, число жертвъ его ненасытной страсти разрастается до невѣроятныхъ размѣровъ; такимъ именно является Донъ-Жуанъ и у да Понте: «1003 (mille e tre)»—не простая, столо-быть, шутка; каталогъ—капитальнѣйшій фактъ либретто да Понте,

показывающій, какого грандіознаго чувственника представлялъ себѣ XVIII в. въ лицѣ Донъ-Жуана.

Такова литературная исторія типа Донъ-Жуана за XVII и XVIII столѣтія: очевидно, здѣсь и намекъ нѣтъ на ту субстанцію, которая, по гуманнымъ воззрѣніямъ Пушкина, образуетъ существо Донъ-Жуана,—искренней симпатіи къ женщинѣ, а не къ искусству побѣждать ее или развратничать съ нею.

Но положеніе дѣла измѣняется въ XIX вѣкѣ: волнуемый съ колыбели безграничными желаніями Фауста и безграничной меланхоліей Вертера, XIX вѣкъ на вопросъ, что такое ненасытный сенсуализмъ Донъ-Жуана, высказалъ догадку, что это—стремленіе къ чему-то прекрасному и высокому и прискорбное столкновеніе съ дѣйствительностью, вовсе не отвѣчавшей его идеалистическимъ порывамъ. Такъ былъ сдѣланъ первый шагъ къ реабилитации Донъ-Жуана.

Отсюда—знаменитая концепція типа Донъ-Жуана у Гофмана (1814), увлекшая за собою почти всѣхъ поэтовъ XIX вѣка, интересовавшихся Донъ-Жуаномъ: «злой духъ,—говоритъ Гофманъ,—предательски внушилъ Жуану, что любовь уже на землѣ можетъ осуществить то блаженство, которое обѣщано душѣ нашей только за гробомъ». И вотъ онъ принимается отыскивать такую идеальную любовь...

Но разъ въ душу Донъ-Жуана были заложены фаустическіе порывы, онъ изъ наслаждающагося грѣшника, который платитъ за свои земныя наслажденія загробными муками, превращается теперь въ страдающаго идеалиста, который острыми болями разочарованія искупаетъ свою вину и дѣлается достоинъ прощенія: такимъ мы находимъ Донъ-Жуана во многихъ обработкахъ начала XIX вѣка—вплоть до А. Толстого (1859), который попытался обработать легенду о Донъ-Жуанѣ во всѣхъ смыслахъ, и по содержанью и по формѣ, аналогично «Фаусту» Гете.

Но въ то время какъ слагалось исподволь это основное теченіе исторіи типа Донъ-Жуана за XIX вѣкъ, явилось произведеніе, которое, на подобіе Гофману, не обращаясь къ услугамъ врага рода человѣческаго, нашло возможнымъ внести свѣтъ въ личность Донъ-Жуана и нѣсколько реабилитировать его: это былъ безгранично-геніальный эпосъ Байрона, его «Don Juan» (1823).

«То, что люди зовутъ непостоянствомъ,—говоритъ здѣсь Байронъ (II, 211, 212),—есть не болѣе, какъ дань уваженія къ прекрасному существу, въ которомъ природа щедро проявила свои дары красоты и молодости. Вѣдь обожаемъ же мы стоящую въ нишѣ прекрасную статую. Такъ и здѣсь: это обожаніе реальнаго—не болѣе, какъ усиленное чувство стремленія къ идеалу. Въ этомъ чувствѣ проявляется любовь къ изящному, это—тонкое выраженіе способностей, которыми насъ одарилъ Богъ. Это—платоническое чувство, дивное, общее всѣмъ, подарокъ неба и звѣздъ, безъ котораго жизнь была бы уже черезчуръ пошла».

Какъ видимъ, гофмановское стремленіе къ идеалу Байронъ прозрѣлъ и въ обожаніи реальнаго и выдвинулъ концепцію типа Донъ-Жуана, въ которой столько поэзіи истинной любви, что, какъ онъ самъ выражается, чувственность оказывается въ ней «едва замѣтной прибавкой» (II, 212). Эту новую, оригинальную концепцію своего героя поэтъ показалъ намъ преимущественно на эпизодахъ любви Донъ-Жуана къ Юліи и Гайдѣ.

Не измышляя чувствъ, изъ глубины души, проникся Донъ-Жуанъ горячей страстью къ Доннѣ-Юліи и встрѣтилъ такое же влеченіе къ себѣ съ ея стороны. Эта была его и ея «первая любовь», и когда затѣмъ надъ влюбленными разразилась катастрофа, и Донъ-Жуанъ долженъ былъ покинуть Юлію, онъ воскликнулъ, обращаясь къ ней: «Прощай, дорогая моя Юлія! О, если я когда-нибудь тебя забуду! Но, нѣтъ, клянусь, что это невозможно! Скорѣе голубой океанъ растворится въ воздухѣ, земля превратится въ воду, чѣмъ я изгоню изъ сердца твоей образъ, моя радость или подумаю о комъ-нибудь другомъ, кромѣ тебя. Нѣтъ лѣкарствъ; которые могли бы вылѣчить мое бѣдное сердце» (II, 18, 19).

На пространствѣ трехъ столѣтій это былъ первый Донъ-Жуанъ, который съ такою теплотой и сердечностью отозвался о предметѣ своей любви; отнынѣ безошадный эгоизмъ, который такъ мрачно освѣщалъ типъ Донъ-Жуана, не долженъ имѣть мѣста въ его отношеніяхъ къ женщинѣ.

Но судьба бросаетъ нашего героя въ объятія другой красавицы, и онъ—нельзя сказать, что забываетъ Юлію, нѣтъ, но только увлекается Гайдѣ; да и нельзя было не увлечься ей, нельзя было устоять предъ ея чарами въ обстановкѣ той чудной идилліи, въ которую Байронъ вложилъ всю свою гениальную душу. И мы понимаемъ отвѣтъ Донъ-Жуана Гюльбеѣ на вопросъ ея: «Христіанинъ, умѣешь ли ты любить?»—«Онъ почувствовалъ, какъ кровь прилила къ его сердцу, покрывъ снѣжною блѣдностью щеки, на которыхъ играла до тѣхъ норъ. Снова султанши поразили его, какъ арабскія копья; вмѣсто отвѣта слезы брызнули изъ его глазъ, и онъ сказалъ: «Ты спрашиваешь меня, умѣю ли я любить? Пусть мой теперешній поступокъ докажетъ тебѣ, какъ я крѣпко любилъ, если отъ казываюсь любить тебя!» (II, 116, 117, 127).

Но и на этотъ разъ Донъ-Жуанъ въ концѣ концовъ «былъ тронуть», и «добродѣтель его поколебалась»—говоритъ поэтъ (V, 141—2), при видѣ заплакавшей Гюльбеи.

«Онъ былъ полонъ *эссенціи молодости*»—завключимъ мы словами Байрона характеристику его героя.—«Это былъ возбужденный духъ, истинное дитя поэзіи; онъ то плавалъ въ блаженствѣ чувствъ... то, если представлялся случай хорошо подражаться... съ радостью готовъ былъ убить время и на это, и притомъ безъ малѣйшей злобы. Если онъ сражался или любилъ, то дѣлалъ то и другое съ *чистѣйшими* намѣреніями...» (VIII, 24—5).

Теперь мы знаемъ, какъ оригинально задумалъ Байронъ типъ Донъ-Жуана: мало того, что ему былъ данъ легко возбуждающійся, чисто эмоціо-нальный темпераментъ (мѣста, гдѣ Байронъ настаиваетъ на этой особенноти героя, могутъ быть приводимы десятками)—поэтъ вложилъ въ него — своего цитирую точныя слова Байрона—«благородную душу, которая не удовлетворяется одною чувственностью, любовь которой не рушится отъ обладанія предметомъ страсти, этого величайшаго врага любви... Чистѣйшій платонизмъ лежалъ въ основаніи всѣхъ его чувствъ». (IV, 16, X, 54).

Послѣ того какъ намъ стало ясно, что сдѣлалъ Байронъ съ типомъ Донъ-Жуана, оригинальность Пушкинскаго произведенія значительно ослабляется въ нашихъ глазахъ; ибо что же и составляетъ своеобразную черту нашего Донъ-Жуана, какъ не задушевная привязанность его къ женщи-нѣ—съ одной стороны, и незлобіе, чистѣйшія намѣренія—съ другой. Но вѣдь объ этомъ и твердитъ намъ Байронъ на протяженіи 16 пѣсень своего эпоса. Мало того, зная, какъ Пушкинъ восхищался Байрономъ вообще и его «Донъ-Жуаномъ» въ частности («Никто болѣе меня не уважаетъ «Донъ-Жуана»!—«Что за чудо «Донъ-Жуанъ»!—такія восклицанія не рѣдкость въ бумагахъ Пушкина отъ 25 г. до 30),—зная, говорю я, объ этомъ восхищеніи, мы охотно готовы предположить, что онъ находился подъ сильнымъ воздѣйствіемъ байроновскаго эпоса.

Эту мысль подсказываетъ намъ и то наблюденіе, что многія подробности въ «Каменномъ гостѣ» Пушкина хорошо объясняются сличеніемъ его съ «Донъ-Жуаномъ» Байрона. Сюда принадлежитъ прежде всего эпизодъ съ Инесой.

Выше былъ приведенъ поэтическій монологъ о ней Донъ-Жуана. Не подлежитъ сомнѣнію, что весь этотъ монологъ написанъ Пушкинымъ подъ влияніемъ первой пѣсни поэмы Байрона, которая рассказываетъ о любви Жуана и Юліи (у Байрона Инесой названа мать Донъ-Жуана, фигурирующая рядомъ съ Юліей).

Вотъ нѣсколько сопоставленій:

1) Лепорелло Пушкина восклицаетъ: «Инесу черноглазую?.. о, помню!»—и Байронъ говоритъ о своей Юліи: «Ея глаза были большіе и черные» (I, 60).

2) У Пушкина Донъ-Жуанъ ухаживалъ за Инесой 3 мѣсяца,—у Байрона любовь Жуана и Юліи назрѣвала 3 года (I, 69).

3) Къ словамъ «Каменнаго гостя»: «Въ іюль... ночью» можно привести слѣдующее параллельное мѣсто изъ «Донъ-Жуана»: «Шестого іюня вечеромъ... Юлія сядѣла въ предстѣйшей бесѣдкѣ—и сядѣла не одна». (I, 104—5).

4) Пушкинскій герой два раза повторяетъ: «Бѣдная Инеса!»—подоб-

но Байрону, воскликнувшему: «Бѣдная Донна Юлія!» въ ожиданіи той катастрофы, которой должна была заключиться ея несчастная любовь.

5) Какъ и пушкинская Инеса («насилу-то помогъ лукавый!»), байроновская Юлія призывала на помощь всю энергію, чтобы подавить свое влеченіе къ Жуану: «Ея сердце находилось въ положеніи, по-истинѣ заслуживающемъ сожалѣнія»... (I, 80 и слѣд.)

6) Наконецъ представленіе о «мужѣ—суровомъ негодяѣ» у Пушкина легко могло сложиться изъ того скандала, который прекратилъ у Байрона интимную связь влюбленныхъ: «Ищите, ищите, кричала Юлія, осыпая мужа эпитетами: чудовище, неблагодарный, тиранъ, варваръ» (I, 142, 146).

Совокупность всѣхъ перечисленныхъ сейчасъ совпаденій имѣетъ неотразимую силу и даетъ намъ полное право предположить, что Инеса имѣла своимъ прототипомъ Юлію. Еще въ 25 г. поэтъ нашъ признавался въ своихъ симпатіяхъ къ этой героинѣ Байрона: «если ужъ и сравнивать Онѣгина съ «Донъ-Жуаномъ»,—писалъ онъ тогда А. Бестужеву,—то развѣ въ одномъ отношеніи, кто милѣе и прелестнѣе,—Татьяна или Юлія?» Въ моментъ созданья «Каменнаго гостя» эти симпатіи проникли и въ творчество.

Въ той же I сценѣ «Каменнаго гостя» можно найти еще одно мѣсто, отзывающееся эпосомъ Байрона: это—монологъ Донъ-Жуана: «Слуга покорный! Я едва-едва не умеръ тамъ со скуки»!..., который также былъ приведенъ выше.

Можно думать, что и сущность этого монолога, такъ удачно присвоенная Донъ-Жуану: страстному южанину не понравились холодныя красавицы какаго-то сѣвера, и всѣ подробности его представляютъ чисто пушкинскую, т.-е. возможно краткую, передачу характеристики англійскихъ женщинъ у Байрона и того невыгоднаго впечатлѣнія, которое онѣ произвели на Донъ-Жуана. Вотъ два-три примѣра:

1) Пушкинскій Донъ-Жуанъ заявляетъ, что «тамошнія» красавицы сначала нравились ему «глазами синими, да бѣлизною, да скромностью»,—такъ и Байронъ называетъ Англію островомъ «бѣлыхъ плечъ и синихъ глазъ», обладательницы которыхъ заградываются въ ваше сердце «тихо и незамѣтно». (XII, 67, 74).

2) Пушкинскій Донъ-Жуанъ разочаровался въ своихъ новыхъ богиняхъ, потому что «въ нихъ жизни нѣту: все куклы восковыя»,—и Байронъ говоритъ о Донъ-Жуанѣ, что англійская любовь показалась ему «пропитанной наполовину меркантильностью, наполовину педантизмомъ» и сравниваетъ англичанокъ съ весенними днями—«холодными, какъ ледъ, или, лучше, съ добродѣтельными спренами»... (XII, 68, 72, 73).

Пушкинъ въ «Каменномъ гостѣ» не говоритъ намъ, куда былъ сосланъ его Донъ-Жуанъ; отъ монаха мы узнаемъ, что онъ «въ ссылкѣ, далеко»,

а самъ Донъ-Жуанъ прибавляетъ, что онъ едва-едва не умеръ «тамъ» со скуки: изъ сдѣланнаго нами сейчасъ сопоставленія видно, что это «далеко» и «тамъ» есть не что иное, какъ «островъ бѣлыхъ плечъ и синихъ глазъ», т.-е. Англія.

Я не буду утруждать вниманія читателя продолженіемъ этого мелочнаго сличенія произведеній Пушкина и Байрона, хотя указанными двумя эпизодами (съ Инесой и сѣверными красавицами) отнюдь не исчерпываются тѣ мѣста «Каменнаго гостя», гдѣ звучатъ отголоски байроновскаго эпоса. Особенно интересно сопоставить пушкинскую Лауру съ байроновской леди Аделиной Амундевилъ, выступающей въ концѣ эпоса,—но объ этомъ мы скажемъ послѣ.

Какой же выводъ можно сдѣлать изъ проведенной нами параллели между произведеніями Байрона и Пушкина? Выводъ, кажется, ясенъ: и общая концепція типа Донъ-Жуана и множество деталей, сходныхъ у того и другого поэта, заставляютъ думать, что нашъ поэтъ не оригиналенъ, что онъ находился подъ вліяніемъ Байрона, что онъ подражалъ Байрону.

Не будемъ однако торопиться. Не забудемъ, что мы имѣемъ дѣло съ Пушкинымъ,—съ первоклассною поэтической силою въ пору ея полнаго расцвѣта.

Не забудемъ также и того, что вѣдь и къ самому Пушкину вполне приложимы тѣ стихи, которые сказалъ онъ объ Онѣгинѣ:

Но въ чемъ онъ истинный былъ геній,
Что зналъ онъ лучше всѣхъ наукъ,
Была наука страсти нѣжной.

Говоря другими словами,—личная жизнь поэта, его личный опытъ, встрѣчи и впечатлѣнія не могли ли быть источникомъ «Каменнаго гостя», и, подходя къ его произведенію съ этой стороны, не удастся ли намъ спасти его оригинальность и квалифицировать иначе фактъ его совпаденія съ эпосомъ Байрона. Это заставляетъ насъ задуматься надъ тѣмъ, какъ Пушкинъ понималъ поэзію любви, по крайней мѣрѣ, въ тотъ моментъ, когда онъ принимался за своего «Каменнаго гостя», т.-е. до 1830 г.

Типическимъ для всей эпохи будетъ стихотвореніе «Признаніе» (1824):

Когда за пальцами прилежно
Слѣдите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри оцуетъ,
Я въ умиленьи, молча, нѣжно,
Любуюсь вами, какъ дитя!..

Стихи эти показываютъ, какъ велико было воздѣйствіе красоты на Пушкина: оно повергало поэта въ умиленье и уподобляло ребенку: «Любуюсь вами, какъ дитя, люблю васъ, какъ дитя, я счастливъ, какъ ребенокъ»—вотъ характеристика любовнаго настроенія, которая становится обычной у Пушкина за этотъ періодъ: такъ любить поэтъ А. П. Кернъ, Онѣгинъ—Татьяну, Донъ-Жуанъ—Донну-Анну...

Да и слово «молча» Пушкинъ употребилъ не случайно: еще въ стихотвореніи «А. Шишкову» (1816) Пушкинъ замѣчаетъ, что «нѣмыя чувства» (эпил. «Русл. и Людм.») лежатъ у него въ природѣ:

Друзей любить открытою душою,
Въ молчаньи чувствовать, пльняться красотой,
Вотъ жребій мой.

Другими словами, умиленіе парализовало анализъ въ душѣ поэта, и онъ шепталъ сивозъ слезы: умъ молчать, а сердцу ясно,—Донъ-Жуаново «дивлюсь безмолвно».

А вотъ еще одно стихотвореніе (1828), такого же содержанія, какъ предыдущее:

Каковъ я прежде былъ, таковъ и нынѣ я:
Безпечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать безъ умиленья,
Безъ робкой нѣжности и тайнаго волненья.

Въ послѣднемъ стихѣ новая деталь того же настроенія поэта—«робкая нѣжность»: въ этомъ словѣ звучитъ та нота неподдѣльнаго смиренья, съ которымъ Донъ-Жуанъ всегда обращается къ Доннѣ-Аннѣ...

Въ приведенныхъ сейчасъ стихотвореніяхъ, кромѣ наклонности поэта умиляться духомъ, обнаруживается еще одна психическая особенность Пушкина: поэтъ называетъ себя «открытою душою», «безпечнымъ» чело-вѣкомъ. Эти качества пушкинской души объясняютъ намъ возможность умиленія предъ красотой въ такихъ размѣрахъ, какъ это было только-что описано, и мы должны нѣсколько задуматься надъ ними.

Анненковъ сообщаетъ, что «Пушкинъ вѣрилъ въ *простодушіе гениевъ*... по личному опыту». Въ «Отрывкахъ изъ писемъ» и проч (1827) поэтъ слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ содержаніе этого понятія, которымъ онъ, видимо, очень интересовался: «тонкость рѣдко соединяется съ гениемъ, обыкновенно простодушнымъ, и съ великимъ характеромъ, всегда откровеннымъ». Это—теорія простодушія, а его блестящая практика—драматическая сцена «Моцартъ и Сальери» (1830).

Припомнимъ слова Бѣлинскаго о Моцартѣ Пушкина: «Моцартъ является со всею простотою, веселостію, шутливостію, съ возможнымъ отсутствіемъ всѣхъ претензій, какъ гений, по своему простодушію не подозрѣвающій собственнаго величія или не выдающій въ немъ ничего особеннаго... Моцартъ хохочетъ, какъ шаловливый ребенокъ... удивительное добродушіе и безпечность: для Моцарта слово «гений»—ни по чемъ; скажите ему, что онъ гений, онъ преважно согласится съ этимъ; начинайте доказывать ему, что онъ вовсе не гений, онъ согласится и съ этимъ, и въ обоихъ случаяхъ равно искренно»... Простодушный и безпечный, какъ ребенокъ,—вотъ Моцартъ Пушкина.

Не надолго мы углубились въ анализъ психической жизни нашего поэта, и предъ нами уже начинаютъ вырисовываться субъективно-пушкин-

скія черты въ типѣ пушкинскаго Донъ-Жуана: вотъ откуда идетъ это простодушіе, незлобіе, чистѣйшія намѣренія; это—не подражаніе Байрону, это—просто передача глубоко-личной, неотъемлемо-собственной черты традиціонному образу путемъ творческой его переработки, вотъ откуда идетъ это умиленное созерцаніе красоты, повергающее въ трепетъ и безмолвіе, на которое оказался способенъ традиціонный Донъ-Жуанъ, столкнувшись съ Донной-Анной.

Но посмотримъ далѣе: въ этомъ послѣднемъ эпизодѣ «Каменнаго гостя» не отразились ли какія-нибудь личныя впечатлѣнія Пушкина, которыя могутъ быть опредѣлены болѣе точно. Не забудемъ, что «Каменный гость» зрѣлъ въ душѣ поэта въ теченіе 1830 г., а вѣдь именно въ это время онъ и былъ всецѣло охваченъ тѣми впечатлѣніями, которыя произвела на него Н. Н. Гончарова.

Кажется, нельзя сомнѣваться въ томъ, что въ эпизодѣ любви Донъ-Жуана къ Доннѣ-Аннѣ Пушкинъ отразилъ тѣ чувства и волненія, которыя заставила его пережить встрѣча съ Гончаровой.

Обратимъ вниманіе прежде всего на общій характеръ этихъ отношеній. Извѣстно, что съ самыхъ первыхъ встрѣчъ поэтъ начинаетъ говорить о Гончаровой въ приподнятомъ тонѣ:

• та, которую не смѣю
Тревожить лирою моею...

Она ему рисуется «чистѣйшей прелести чистѣйшимъ образцомъ» какъ онъ называетъ ее въ стихотвореніи «Мадонна» (1830), ей посвященномъ. А самъ онъ... самъ онъ уже много пожилъ, много извѣдалъ не всегда чистыхъ увлеченій; свою любовь къ Гончаровой онъ называетъ «своею сто третьей любовью—mon cent-troisième amour»¹⁾. «Она такъ молода, такъ невинна, а онъ такой вѣтреный, безнравственный» — вотъ контрастъ, который глубоко мучитъ Пушкина, и который, по его сознанію замѣтенъ и для посторонняго («Участь моя рѣшена» (1830)). Именно такой же контрастъ характеризуетъ отношенія между Донъ-Жуаномъ и Донной-Анной:

Мнѣ, мнѣ молиться съ вами, Донна-Анна?
Я недостойнъ участи такой.
Я не дерзну порочными устами
Мольбу святую вашу повторять...

Въ длинномъ письмѣ, написанномъ Пушкинымъ къ матери невѣсты въ апрѣлѣ 1830 г., поэтъ опять выражаетъ свое отчаяніе по поводу того, что до слуха Н. Н. могли дойти раздутые клеветой толки о грѣхахъ его первой молодости—а Донъ-Жуанъ спрашиваетъ Донну-Анну:

¹⁾ Вѣроятно, и здѣсь Пушкинъ провелъ шутивую параллель между собою и традиціоннымъ Донъ-Жуаномъ: моцартовское „mille e tre — 1003“.

Не правда ли, онъ былъ описанъ вамъ
Злодѣемъ, извергомъ? О, Донна-Анна!
Молва, быть-можетъ, не совѣсть неправа.
На совѣсти усталой много зла,
Быть-можетъ, тяготѣеть...

Разсказывая далѣе о своемъ свиданіи съ Н. Н., Пушкинъ замѣчаетъ:
«я чувствовалъ робость въ первый разъ въ моей жизни»—и Донъ-Жуанъ,
обращаясь къ Доннѣ-Аннѣ, говоритъ:

Васъ полюба, люблю я добродѣтель,
И въ первый разъ смиренно передъ ней
Дрожація колѣни преклоняю.

Заканчиваетъ Пушкинъ свое письмо такимъ увѣреніемъ: «Чтобы удовле-
творить ее, я готовъ принести ей въ жертву всѣ мои вкусы, всѣ мои
страсти, всю мою жизнь»...—и Донъ-Жуанъ заявляетъ Доннѣ-Аннѣ:

Если бъ
Я прежде васъ узналъ—съ какимъ восторгомъ
Мой санъ, мои богатства, все бы отдалъ,
Все за единый, благосклонный взглядъ!

Приведу наконецъ отрывокъ изъ письма Пушкина къ Плетневу,
который хотя относится къ февралю 1831 г., но, конечно, можетъ сви-
дѣтельствовать и объ ощущеніяхъ поэта, современныхъ созданію «Камен-
наго гостя»: «Я женатъ и счастливъ... Это состояніе для меня такъ
ново, что, кажется, я переродился»—а Донъ-Жуанъ говоритъ Доннѣ-Аннѣ:

— съ тѣхъ поръ,
Какъ васъ увидѣлъ я, все измѣнилось:
Мнѣ кажется, я весь переродился...

Эту параллель можно было бы развить и далѣе, но, думается, и послѣ
сказаннаго вполне можно утверждать, что впечатлѣнія, пережитыя Пуш-
кинымъ какъ разъ наканунѣ созданія «Каменнаго гостя» вслѣдствіе отно-
шеній его къ Гончаровой, были источникомъ того оригинальнаго освѣще-
нія, которое бросилъ онъ на фигуру традиціонной Донны-Анны: «небесная
душа», возрождающая многогрѣшнаго Жуана.

За недостаткомъ мѣста я не нахожу возможнымъ подвергнуть ана-
лизу сложный вопросъ о происхожденіи пушкинской Лауры. Если Инесой
Пушкинъ обязанъ Байрону, а Донной-Анной — личному опыту, то отно-
сительно Лауры позволительно предположить, что она была результатомъ
объединенія того и другого вліянія, т. е. и книжнаго вліянія Байрона и
лично пережитыхъ впечатлѣній: Лаура есть результатъ творческой пере-
работки въ одно цѣлое леди Аделины, выступающей въ концѣ байронов-
скаго эпоса, и А. П. Кернъ, которой Пушкинъ страстно увлекался въ
промежуткѣ отъ 25 г. до 30. Изъ жизни былъ взятъ типъ, изъ Бай-
рона—обстановка: молодая особа, вѣтреная, кокетливая, въ присутствіи
своихъ поклонниковъ, распѣваетъ задушевные музыкальные композиціи.

Итакъ, выводъ, къ которому мы приходимъ, послѣ этого ознакомленія съ поэзіей любви у Пушкина, будетъ тотъ, что въ типѣ Донъ-Жуана поэтъ, несомнѣнно, отразилъ свою собственную личность, какъ со стороны той ея психологической особенности, которую мы назвали простодушіемъ, такъ и со стороны того умиленія, въ форму котораго отливало его любовное настроеніе къ эпохѣ созданія «Каменнаго гостя». Мало того, въ личностяхъ двухъ героинь «Каменнаго гостя», Лауры и Анны, предъ нами какъ будто промелькнули тѣни Кернъ и Гончаровой,—двухъ женщинъ, которыми всего страстнѣе, глубже и продолжительнѣе увлекался нашъ поэтъ.

Такимъ образомъ выходитъ, что пьеса «Каменный гость», которую, по первому впечатлѣнію, мы готовы считать однимъ изъ самыхъ объективныхъ произведеній Пушкина, на самомъ дѣлѣ оказывается субъективнѣйшимъ его созданіемъ.

Остается сказать нѣсколько заключительныхъ словъ.

Съ одной стороны, мы видѣли, что и оригинальную концепцію типа Донъ-Жуана и намеки на двухъ неизвѣстныхъ традиціи героинь своихъ, Инесы и Лауры, Пушкинъ какъ будто нашелъ въ безгранично-геніальномъ эпосѣ Байрона.

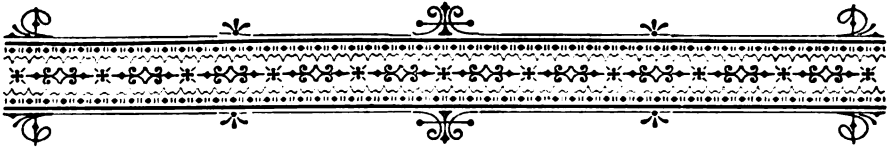
Однако, съ другой стороны, мы прочно утвердились въ томъ наблюденіи, что и изъ глубины собственной простодушно-геніальной души Пушкинъ могъ извести на свѣтъ Божій гуманнаго Донъ-Жуана, а его личный опытъ въ области эроса былъ такъ богатъ, что тутъ могли въ изобиліи найтись матеріалы для созданія такихъ противоположныхъ фигуръ, какъ Лаура (Кернъ) и Анна (Гончарова).

Конечно, и то и другое наблюденіе нисколько не противорѣчатъ другъ другу; совсѣмъ напротивъ, опытъ показалъ, что въ вопросѣ о генезисѣ замѣчательнѣйшихъ феноменовъ европейской словесности слѣдуетъ признать участіе того и другого фактора: и при обиліи живого матеріала знакомство съ книгой такъ же важно въ поэтическомъ творествѣ, какъ и при научномъ изслѣдованіи; книга подсказываетъ поэту различныя точки зрѣнія на типъ и помогаетъ ему достигнуть истинно-художественной полноты и цѣльности въ выраженіи своей идеи. Исторія литературы уяснила, что такъ творили Данте, Шекспиръ, Мольеръ, Гёте и другіе.

Можно думать, что и Пушкинъ такимъ же путемъ дошелъ до созданія своего «безъ всякаго сравненія лучшаго и высшаго въ художественномъ отношеніи произведенія», т. е. «Каменнаго гостя».

М. Смирновъ.





Вольтеръ въ русской литературѣ.

Историко-библиографическій очеркъ ¹⁾.

Начало близкаго знакомства Россіи съ Франціей, ея языкомъ и литературой, относится къ концу XVII столѣтія и почти совпадаетъ съ появленіемъ на свѣтъ знаменитаго писателя Вольтера. Въ послѣднее десятилѣтіе этого вѣка еще немногіе русскіе аристократы по своей любознательности предпринимаютъ путешествія въ Западную Европу и, находясь во Франціи, непосредственно знакомятся съ тамошнимъ просвѣщеніемъ. Такъ, намъ извѣстно, что князь Я. Ѳ. Долгоруковъ отвезъ въ 'Парижъ «для науки» своего племянника—Василія Лукича Долгорукова, который, по словамъ Де-ла-Навилля, въ 1689 году «былъ единственный москвитянинъ, говорившій по-французски» ²⁾.

Съ наступленіемъ XVIII столѣтія такія поѣздки русской молодежи во Францію съ научною цѣлію постепенно начинаютъ возрастать: на ряду съ посылкою однихъ въ Голландію, другіе отправляются на Западъ Европы, учатся во французскихъ учебныхъ заведеніяхъ ³⁾ и возвращаются въ Россію съ самыми свѣтлыми воспоминаніями о своей заграничной жизни.

За такими «юными западниками» мало-по-малу устремляются во Францію и вообще любознательные русскіе путешественники: знакомясь съ нравами и литературою «любезной страны», они привозятъ на родину

¹⁾ Этотъ „очеркъ“ впервые былъ помѣщенъ въ журналѣ *Древняя и Новая Россія* (1878 г., кн. 9) и затѣмъ вышелъ отдѣльною брошюрою, которая скоро сдѣлалась „книжною рѣдкостью“. Теперь онъ вторично издается съ значительными добавками.

²⁾ См. *Сказаніе о родѣ князей Долгорукихъ*. Спб. 1840 г., стр. 103—104 и *Русскую Старину* 1891 г., кн. 9, стр. 443.

³⁾ *Наука и литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ*, П. Пекарскаго. Спб. 1862 г., т. I, стр. 145.

первыя свѣдѣнія о тогдашнемъ просвѣщеніи Франціи вмѣстѣ съ именами ея извѣстныхъ писателей. Мало того: эти богатые русскіе туристы, находясь долгое время въ Парижѣ, посѣщаютъ тамошніе театры, гдѣ уже съ двадцатыхъ годовъ XVIII вѣка даются трагедіи Вольтера, и попадаютъ во французскіе салоны, въ которыхъ уже царитъ молодой авторъ *Эдина*.

Такъ, «просвѣщенные» русскіе люди, еще въ первой половинѣ XVIII столѣтія, узнали о произведеніяхъ знаменитаго французскаго автора, а нѣкоторые изъ нихъ даже завязали съ нимъ близкое знакомство.

Самымъ раннимъ знакомцемъ съ сочиненіями Вольтера является князь А. Д. Кантемиръ, нашъ первый сатирикъ и вмѣстѣ съ тѣмъ русскій резидентъ въ Парижѣ (1738—1744 г.). Онъ прежде всего обратилъ вниманіе на первое изданіе (1731 г.) *Histoire de Charles XII*, гдѣ Вольтеръ считалъ предковъ нашего писателя «уроженцами Греціи», между тѣмъ какъ самъ Кантемиръ признавалъ себя «потомкомъ Тимура». На такой протестъ Кантемира Вольтеръ отвѣтилъ ему двумя любопытными письмами ¹⁾ и тѣмъ положилъ начало своей корреспонденціи съ русскими людьми.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Кантемиръ оказался и первымъ русскимъ переводчикомъ одного изъ произведеній Вольтера; онъ передалъ на русскій языкъ стихотвореніе *Les deux amours*, подъ заглавіемъ *Стихи Вольтеровы о двухъ любящихъ къ госпожѣ де **** и послалъ свой переводъ при письмѣ (отъ ⁹/₁₇ октября 1743 года) къ М. Л. Воронцову, прибавляя въ постскриптумѣ: «для забавы вашей при семъ прилагаю изрядныхъ стишковъ переводъ» ²⁾.

Вслѣдъ за Кантемиромъ заинтересовался Вольтеромъ и Ломоносовъ, но неодобрительно отозвался о нѣкоторыхъ произведеніяхъ французскаго писателя. Напримѣръ, въ одномъ письмѣ къ извѣстному вельможѣ-меценату И. И. Шувалову (отъ 3 октября 1752 года) онъ сообщаетъ: «Не могу пременить, чтобъ вашему превосходительству не прислать Вольтеровой музы новаго исчадія, которое объявляетъ, что онъ и его государь безбожникъ, и то ему въ похвалу приписать не стыдится передъ всѣмъ свѣтомъ. Приличнѣе примѣра найти во всѣхъ Вольтеровыхъ сочиненіяхъ не возможно, гдѣ бъ виднѣе было его полоумное остроуміе, безсовѣстная честность и ругательная хвала, какъ въ сей панегирической пасквилѣ» ³⁾.

¹⁾ Эти письма, появившіяся въ *Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire* за 1860 годъ, перепечатаны въ изданіи *Сочиненій Кантемира* (Спб. 1868 г., т. II, стр. 437—440). См. также брошюру В. Н. Александренко: *Къ біографіи князя А. Д. Кантемира* (Варшава 1896 г.).

²⁾ См. письмо со стихами въ *Архивъ князя Воронцова*. М. 1870 г., кн. I, стр. 371—372.

³⁾ *Записки Импер. Академіи Наукъ* 1862 г., т. I, кн. 1, приложение, стр. 23.

Можно думать, что такая суровая оцѣнка Ломоносова относилась къ стихотворенію *Au Roi de Prusse*, написанному въ 1751 году и начинающемуся строкой: «*On dit tout prédicateur*». Но черезъ пять лѣтъ нашъ писатель, такъ неблагосклонно смотрѣвшій на «господина Волтера», перевелъ его другіе стихи *На Фридриха IV короля прусскаго*, открывавшіеся въ подлинникѣ знаменитымъ обращеніемъ: «*O Salomon du Nord, ô philosophe roi!*» ¹⁾.

Но еще сильнѣе, чѣмъ Кантемиръ и Ломоносовъ, стали интересоваться Вольтеромъ русскіе аристократы, побывавшіе за границей и вкусившіе плодовъ западно европейскаго образованія: они не только «читали», но и «почитали» произведенія французскаго писателя, завязывали съ нимъ не только переписку, но даже и личное знакомство. Изъ такихъ лицъ въ царствованіе Елисаветы особенно выдѣлялись: графъ К. Г. Разумовскій, долго обмѣнивавшійся письмами съ Вольтеромъ ²⁾, графъ М. И. Воронцовъ, постоянно и зорко слѣдившій за всѣмъ, что выходило изъ-подъ пера знаменитаго писателя Франціи ³⁾, и уже упомянутый нами основатель Московскаго университета И. И. Шуваловъ; послѣдній не только переписывался съ Вольтеромъ, но даже на двѣ недѣли пріѣзжалъ къ нему въ Ферней для личнаго свиданья и, кромѣ того, побудилъ его написать *Исторію Петра Великаго* ⁴⁾; даже въ глубокой старости, когда мало-по-малу померкъ блестящій ореолъ французскаго писателя, изъ устъ Шувалова вырвалось такое признанье о прежнемъ любимцѣ: «вотъ какъ не люблю его, бестію, а пріятно пишетъ» ⁵⁾.

Гораздо позднѣе узнала про «господина Волтера» остальная русская публика: по крайней мѣрѣ только съ пятидесятихъ годовъ XVIII вѣка впервые показались на театральной сценѣ Шляхетнаго корпуса французскія пьесы Вольтера и притомъ «въ искаженномъ видѣ» ⁶⁾, а за ними выглянули первые немногіе переводы его сочиненій, помѣщенные лишь на листахъ періодическихъ изданій. Роль инициаторовъ-переводчиковъ выпала на долю А. Р. Воронцова, который уже «съ двѣнадцатилѣтняго

¹⁾ См. *Библиографическія Записки* 1859 г., № 15, стр. 449. *Архивъ князя Воронцова*, М. 1871 г., кн. III, стр. 237; М. 1887 г., кн. XXXIII, стр. 211—212. *Сочиненія М. В. Ломоносова* съ объяснительными примѣчаніями академика М. И. Сухомлинова. Спб. 1893 г., т. II, стр. 135—136, прим., стр. 145—149.

²⁾ *Семейство Разумовскихъ*. А. Васильчикова. Спб. 1880 г., т. I, стр. 88.

³⁾ См. *Архивъ князя Воронцова*. М. 1872 г., кн. IV, стр. 432 и 447.

⁴⁾ *Русская Бесѣда* 1857 г., кн. 1, стр. 40—47. *Исторія Императорской Академіи Наукъ*. П. Пекарскаго. Спб. 1870 г., т. I, стр. 381—387. *Архивъ кн. Воронцова*. М. 1871 г., кн. III, стр. 266—271.

⁵⁾ См. „Записки И. О. Тимковскаго“ въ *Москвитянинъ* 1852 г., т. VI, кн. 20, стр. 62.—См. также *Русскій Архивъ* 1886 г., кн. 6, стр. 145—156.

⁶⁾ *Исторія Импер. Акад. Наукъ*. Спб. 1873 г., т. II, стр. 455.

возраста читалъ Вольтера и затѣмъ сталъ его горячимъ поклонникомъ ¹⁾, И. Л. Голенищева-Кутузова, А. Р. Дубровскаго и А. П. Сумарокова, позже ссылавшагося на французскаго писателя, какъ на своего «благожелателя»: первый передалъ на русскій языкъ двѣ повѣсти *Микромегасъ* и *Мемнонъ* ²⁾, второй—*Задига* ³⁾, третій—разговоръ съ китайцемъ *О славѣ* ⁴⁾, а послѣдній—небольшой отрывокъ: *Путешествіе на нашу землю и пребываніе на ней Микромегаса* ⁵⁾. Эти,—если можно такъ выразиться—еще немногіе аккорды служили прелюдіей къ тому громкому концерту, который раздался въ нашей литературѣ со дня наступленія Екатерининской эпохи.

Императрица Екатерина II, воспитанная среди родной Германіи на французскій ладъ, уже въ юности любила повторять завѣтныя идеи «просвѣтительной» литературы: *Духъ законовъ* Монтескье, по собственному признанію государыни, замѣнялъ ей молитвенную книжку, а Вольтеръ служилъ для нея поставникомъ. «Одинъ,—говорила Екатерина принцу де Линь,—былъ у меня добрый другъ и покровитель—Вольтеръ. Знаете ли вы, что я Вольтеру обязана своимъ образованіемъ?» ⁶⁾ «Дайте мнѣ,—пишетъ она барону Гримму,—творенія моего учителя. Я хочу, чтобы они служили поученіемъ, хочу, чтобы ихъ изучали, вытверживали наизусть, чтобы умы питались ими: они образуютъ гражданъ, гениевъ, героевъ и авторовъ; отъ нихъ разовьется сотня тысячъ дарованій, которыя иначе затерялись бы во мракѣ невѣжества» ⁷⁾.

Вотъ почему, со дня вступленія на престолъ Екатерины II, изъ петербургскаго дворца послышался громкій свободный голосъ новой русской царицы: онъ звучалъ въ статьяхъ «Наказа» и разныхъ инструкцій, призывалъ Д'Аламбера въ наставники царевича Павла ⁸⁾, предлагалъ философу Дидро русскіе типографскіе станки для изданія «Энциклопедіи» ⁹⁾,

¹⁾ См. *Архивъ князя Воронцова*. М. 1872 г., кн. V, стр. 445—457; М. 1883 г., кн. XXIX, стр. 433—434. *Русскій Архивъ* 1883 г., кн. 2, стр. 232.

²⁾ Обѣ повѣсти помѣщены въ *Ежемесячныхъ Сочиненіяхъ* 1756 г., т. III, кн. 1, стр. 31—61; кн. 4, стр. 330—339.

³⁾ *Сочиненія и переводы къ пользѣ и увеселенію служащія* 1759 г., т. IX, кн. 1—6.

⁴⁾ *Ежемесячныя Сочиненія* 1756 г., т. IV, кн. 9, стр. 303—307.

⁵⁾ Онъ напечатанъ въ *Трудолюбивой пчелѣ* 1759 г., кн. 8, стр. 475—476.

⁶⁾ *Древняя и Новая Россія* 1880 г. кн. 6, стр. 337.

⁷⁾ *Русскій Архивъ* 1878 г., кн., 9, стр. 54.

⁸⁾ См. письмо Екатерины II въ *Oeuvres philosophiques, historiques et littéraires de d'Alembert* (Paris, 1805, t. I, pag. XXXV—XXXIV) и новооткрытую переписку Д'Аламбера съ императрицею (*Историческій Вѣстникъ* 1884 г., кн. 4 и 5).

⁹⁾ Объ этомъ см. статьи: г. Шугурова „Дидро и его отношенія къ императрицѣ Екатеринѣ II“, на основаніи труда Розенкранца (*Осьмнадцатый Вѣкъ*, М. 1869 г., кн. 1, стр. 333—378), „Дидро въ Петербургѣ“ въ *Древней и Новой*

а Бомарше—придворную сцену для постановки комедіи *Свадьба Фигаро*, снятой тогда съ афишъ парижскихъ театровъ ¹⁾; наконецъ, тотъ же голосъ чрезъ многочисленныя письма долеталъ до Фернейскаго замка и получалъ отъ Вольтера самый сочувственный откликъ ²⁾. Этого мало. Въ первые годы своей государственной дѣятельности Екатерина, между прочимъ, заставила статсъ-секретаря С. М. Козьмина переводить при себѣ на русскій языкъ *Discours aux Welches* (въ сказкахъ, изданныхъ Вольтеромъ подъ псевдонимомъ Guillaume Vadé) и совѣтовала цесаревичу Павлу прочесть это произведеніе на ряду съ другими сочиненіями французскаго писателя — *Генриадой*, *Танкредомъ*, даже *Задигомъ* и *Кандидомъ* ³⁾.

На теплыя симпатіи молодой императрицы къ новымъ просвѣтительнымъ идеямъ XVIII вѣка, на ея горячую привязанность къ названнымъ французскимъ писателямъ и особенно къ Вольтеру, русское общество отвѣтило нестройнымъ хоромъ. Большая часть нашей публики, точно очарованная новинкой, пошла безъ оглядки по слѣдамъ Екатерины: въ тѣхъ кружкахъ, гдѣ наружный лоскъ замѣнялъ собою солидное образованіе, а модный костюмъ отмѣчалъ передового человѣка, появились свои «вольтерьянцы», которые только желали казаться скептиками, такъ какъ «вмѣняли себѣ въ стыдъ не быть одного мнѣнія съ Вольтеромъ» ⁴⁾; въ великосвѣтскихъ гостиныхъ, — въ ту минуту, какъ съ языка «Иванушекъ» срывалась новомодная поговорка: «O vous avez raison», «пожилые люди, не понимая ни Спинозы, ни Ламетри, ни Вольтера, щеголяли вольнодумствомъ» ⁵⁾. Позднѣе, даже въ началѣ XIX вѣка, — по словамъ Вигеля, Лопухина и другихъ современниковъ ⁶⁾, — не въ однѣхъ столицахъ,

Rossii (1880 г., кн. 6, стр. 330—352), „Екатерина и Дидро“ въ *Русской Старинѣ* (1884 г., кн. 5—6) и книгу М. Турнё: *Diderot et Catherine II* (Paris, 1899). — Переводы изъ „Энциклопедіи“ появились на русскомъ языкѣ еще въ 1767 году. Объ изданіи ихъ см. замѣчанія Лонгинова въ *Современникѣ* 1857 г., т. LXIV, кн. 7, отд. V, стр. 73—78.

¹⁾ См. *Beaumont et son temps*, par L. de Lomenie (Paris, 1856), а также *Современникѣ* 1852 г., кн. 11—12, 1853 г., кн. 2—3, 1854 г., кн. 12 и *Библиотеку для чтенія* 1857 г., т. CXLIV, кн. 7, отд. VII, стр. 108—134.

²⁾ См. въ приложеніи къ нашему труду подъ № 41.

³⁾ *Записки С. Порошина*. Спб. 1881 г., стр. 202, 249, 253, 315 и мн. др. См. также изслѣдованіе Д. Кобеко: *Цесаревичъ Павелъ*. Спб. 1882 г., стр. 37—38.

⁴⁾ *Сочиненія Д. И. Фонвизина*. Спб. 1866 г., стр. 549.

⁵⁾ *Записки С. И. Глинки въ Русскомъ Вѣстникѣ* 1866 г., т. LXI, кн. 2, стр. 682.

⁶⁾ *Воспоминанія Ф. Ф. Вигеля въ Русскомъ Вѣстникѣ* 1864 г., т. L, кн. 3, стр. 201 и 1865 г., т. LX, кн. 12, стр. 487.—*Записки И. В. Лопухина въ Читеніяхъ Общества Исторіи и Древностей* 1860 г., кн. 2, отд. II, стр. 14. — См. также *Время* 1862 г., кн. 6, стр. 174 и *Русскій Вѣстникъ* 1880 г., кн. 7 стр. 345.

но и въ провинціи (напримѣръ въ Пензѣ), «раздавались насмѣшки надъ религіей, хулы на Бога, эпиграммы на Богородицу, отъ совершенныхъ неучей: они толковали о Нонотѣ, Фреронѣ и Гене (антагонистахъ Вольтера), но топтали ихъ въ грязь, превознося похвалами *Кандида* и *Бллаго Быка*»... Вотъ почему — отмѣтилъ одинъ тогдашній наблюдатель — «у людей стараго поколѣнія, при ослушаніи молодежи, всегда была готова фраза: *вы Вольтера читались*, мать ни во что не ставите, своимъ умомъ живете»¹⁾..

Менѣе значительная группа русскихъ людей сознательно отнеслась къ «новому литературному направленію»: къ ней, кромѣ такихъ великосвѣтскихъ лицъ, какъ княгиня Дашкова²⁾ и графиня Строганова³⁾, князя А. М. Бѣлосельскій-Бѣлозерскій, Д. А. Голицынъ, Ѳ. А. Козловскій и А. Б. Куракинъ⁴⁾, а также особенно—Б. М. Салтыковъ⁵⁾, примкнулъ рядъ русскихъ писателей, которые посвятили свой досугъ и перо на передачу Вольтеровскихъ произведеній. Во главѣ этого литературнаго движенія стояла сама же императрица: по ея мысли, съ 1768 года, открылась въ Петербургѣ «комиссія для печатанія на русскомъ языкѣ хорошихъ иностранныхъ книгъ». Подъ руководствомъ Г. В. Козицкаго, графовъ В. П. Орлова и А. П. Шувалова, этотъ новый литературный кружокъ намѣтилъ къ изданію нѣкоторыя сочиненія Вольтера⁶⁾.

Литературные вкусы императрицы Екатерины (въ начальные годы ея царствованія) и первые плоды упомянутой «комиссіи» послужили сигналомъ для всей русской литературы и нашего театра: періодическія изданія той эпохи стали наперерывъ воспроизводить на своихъ страницахъ самыя разнообразныя сочиненія Вольтера, такъ что трудно назвать какой-нибудь журналъ (за исключеніемъ, однако, московскихъ органовъ Новикова), на листахъ котораго не приютился бы хотя небольшой отрывокъ изъ его трудовъ⁷⁾; театральная сцена, занятая въ то время трагедіями своихъ принципаловъ—Сумарокова и Княжнина, нерѣдко втихомолку «заимствовавшихъ» нѣкоторыя мысли у Вольтера, чаще и чаще

¹⁾ См. *Русскій Архивъ* 1883 г., кн. 4, стр. 356.

²⁾ *Москвитянинъ* 1842 г., кн. 1, стр. 101—102.

³⁾ *Русскій Архивъ* 1875 г., кн. 3, стр. 223, 228—233.

⁴⁾ Объ указанныхъ лицахъ см. *Справочный Словарь Геннади*, ч. I, стр. 125 и 236; ч. II, стр. 148. См. также *Историческій Вѣстникъ* 1881 г., кн. 5, стр. 36 и *Архивъ князя Ѳ. А. Куракина* (Саратовъ 1896 г., кн. 6).

⁵⁾ См. *Русскій Архивъ* 1879 г., кн. 12, стр. 418.

⁶⁾ Дѣятельность этой переводческой комиссіи обрисована въ *Исторіи Русскаго Академіи Сухомлинова* (Спб. 1874 г., вып. I, стр. 6—9).

⁷⁾ Для провѣрки хорошою справочною книгою можетъ служить трудъ Неустрова: *Историческое розысканіе о русскихъ повременныхъ изданіяхъ и сборникахъ* (Спб. 1875 г.). См. также *Указатель* къ этому труду (Спб. 1898 г., стр. 110).

предлагала зрителямъ переводныя Вольтеровскія пьесы, такъ что онѣ почти совсѣмъ не пропадали изъ тогдашняго репертуара ¹⁾. Но еще сильнѣе работали русскіе печатные станки надъ изданіемъ «переводовъ изъ Вольтера» въ форматѣ маленькихъ брошюръ или большихъ томовъ: въ теченіе тридцати лѣтъ (1760—1790 гг.) наши любознательные читатели могли держать въ своихъ рукахъ довольно обширную коллекцію разныхъ Вольтеровскихъ сочиненій, какъ наглядно показываетъ списокъ ихъ, помѣщенный въ концѣ нашего очерка.

Даже бѣглый взглядъ на этотъ «перечень» приводитъ къ любопытнымъ выводамъ. Съ перваго же раза нельзя не убѣдиться, что наши переводчики XVIII вѣка не умѣли сильно привязаться къ «излюбленному» автору: за исключеніемъ И. Г. Рахманинова, прозваннаго большимъ вольтерьянцемъ ²⁾, да отчасти Н. Е. Левицкаго, всѣ они быстро мѣняли оригиналы своихъ работъ и, точно мотыльки, переносились отъ Вольтера къ другому писателю, а потому рѣдкій изъ нихъ подарилъ родной литературѣ болѣе двухъ переводныхъ сочиненій автора *Генриады*.

При такой бѣгучести или, скорѣе, разбросанности въ занятіяхъ, понятно, ни одинъ переводчикъ не могъ точно уловить тѣ грани, чрезъ которыя прошли философскіе взгляды «Фернейскаго мудреца»: наши переводчики, какъ видно, не понимали, что его оптимистическій возгласъ — «все къ лучшему», — тотъ возгласъ, который звонко отдается на страницахъ раннихъ произведеній Вольтера, — замеръ при грохотѣ Лиссабонскаго землетрясенія (1755 г.) и замѣнился грустною пессимистическою ноткою, какая монотонно звучитъ во многихъ позднихъ сочиненіяхъ. Поэтому нечего много удивляться, что, напримѣръ, переводъ дидактической поэмы *На разрушеніе Лиссабона*, написанной подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ ужаснаго событія, появился раньше, чѣмъ стихотвореніе *Естественный Законъ*, обнаруженное Вольтеромъ еще въ 1751 году.

Впрочемъ, при выборѣ матеріала для работъ, русскіе переводчики руководились не внутреннею послѣдовательностію идей французскаго писателя, а скорѣе собственнымъ вкусомъ и запросомъ со стороны читателей. Достаточно опять взглянуть на прилагаемый нами каталогъ, чтобы понять, какія сочиненія чаще находили для себя усердныхъ передатчиковъ въ Екатерининскую эпоху и удостоивались нѣсколькихъ перепечатокъ: это наблюденіе ясно покажетъ, что *Вавилонская Принцесса*, *Задигъ*, *Кандидъ*, *Человѣкъ въ сорокъ талеровъ*, — словомъ, тѣ повѣсти, которыя болѣе богаты пикантными картинками и довольно сильно пропитаны «воль-

¹⁾ См. брошюру Лонгинова: *Русскій театръ въ Петербургѣ и Москвѣ* (Спб. 1873 г.) и *Лѣтопись русскаго театра*, составленную Араповымъ (Спб. 1861 г.).

²⁾ См. „Дневникъ чиновника“ (С. П. Жихарева) въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1855 г., т. СІ, кн. 7, отд. 1, стр. 132—133.

нымъ духомъ», попали на вкусъ многочисленной русской публики и потому появились въ большемъ количествѣ изданій.

Однако, горячая работа переводчиковъ стала постепенно остывать къ концу царствованія Екатерины II. Это затишье, какъ, надо думать, было вызвано тѣмъ рѣзкимъ переломомъ, который рельефно отражается на многихъ распоряженіяхъ императрицы съ начала девяностыхъ годовъ. Напуганная бурными сценами французской революціи, государыня поспѣшно свернула съ прежней своей дороги... Теперь она быстро закрываетъ ма-сонскія ложи, заключаетъ въ крѣпость Новикова, ссылаетъ Радищева, не допускаетъ на театральные подмостки княжнинскую трагедію *Вадимъ*¹⁾. Коряфеи «просвѣтительной» литературы, — давшіе глумію Екатерины, — начинаютъ терять свое магическое обаяніе и уже въ ея устахъ называются «полумудрецами сего вѣка»²⁾. Строгое отношеніе императрицы къ тогдашней Франціи коснулось въ частности и прежняго любимаго писателя — Вольтера: изъ кабинета государыни то выходитъ приказъ 1792 г. убрать въ подвалъ всѣ бюсты Вольтера, служившіе украшеніемъ гостиныхъ и корридоровъ ея дворца³⁾, то на имя П. Д. Еропкина отправляется особый рескриптъ — «не печатать новое изданіе сочиненій Вольтера безъ цензуры и апробаціи московскаго митрополита»⁴⁾, то чрезъ генераль-прокурора Самойлова посылается въ Тамбовъ предписаніе «конфисковать полное собраніе Вольтеровскихъ произведеній (переводъ Рахманинова), какъ вредныхъ и наполненныхъ развращеніемъ»⁵⁾...

Новое настроеніе Екатерины II скоро отразилось и въ литературѣ. Прежнія отрывочныя нападки на «энциклопедистовъ» и «свободныхъ философовъ», направленные съ церковной кафедры или изъ нѣкоторыхъ журнальныхъ редакцій (напримѣръ — *Собесѣдника*), теперь стали вырастать до степени болѣе плотной оппозиціи: еще въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ появились двѣ брошюры: *Обнаженный Вольтеръ* (переводъ съ французскаго, Сиб. 1787 г., 39 стр.)⁶⁾ и *Письмо содержащее нѣкоторыя разсужденія о поэмѣ г. Вольтера „На разрушеніе Лиссабона“*, писанное Василіемъ Левшинимъ (М. 1788 г., 83 стр.), гдѣ опровергались болѣею частію религіозныя мнѣнія французскаго писателя, а за-

¹⁾ См. исторію этой трагедіи въ *Русск. Вѣстникъ* 1860 г., кн. 4, стр. 643 и слѣд., въ *Русскомъ Архивѣ* 1863 г., кн. 6, стр. 467—473 и въ *Архивѣ князя Воронцова* (М. 1872 г., кн. 5, стр. 216—224).

²⁾ *Архивъ князя Воронцова*, М. 1872 г., кн. 5, стр. 415—416.

³⁾ *Древняя и Новая Россія* 1880 г., кн. 6, стр. 352.

⁴⁾ *Москвитинъ* 1844 г., ч. VI, кн. 11 стр. 213 и *Русскій Архивъ* 1872 г., кн. 2, стр. 319.

⁵⁾ *Древняя и Новая Россія* 1878 г., кн. 3, стр. 279.

⁶⁾ Можетъ быть съ этою книжкою имѣть связь сочиненіе *Обнаженный Вольтеръ*, найденное въ бумагахъ Новикова (*Лѣтописи* проф. Тихонравова 1863 г., т. V, отд. II, стр. 43).

тѣмъ потянулась довольно длинная вереница полемиическихъ трактатовъ, не порванная и въ XIX столѣтіи. То были, главнымъ образомъ, переводныя сочиненія, какъ напримѣръ: *Изобличенный Вольтеръ* (Спб. 1792 г.), *Вольтеровы заблужденія* (М. 1793 г., двѣ части), *Ахъ, какъ вы глупы, господа французы* (М. 1793 г.), *Оракулъ новыхъ философовъ, или кто таковъ г. Вольтеръ* (М. 1803 г.), *Основатели новой философіи: Вольтеръ, Даммбертъ и Дидеротъ—энциклопедисты безъ маски* (Спб. 1809 г.), *Иудейскія письма къ г. Вольтеру* (М. 1808 г. и 1816 г. шесть частей) и др. ¹⁾

При такой настроенности Екатерины II и большей части нашей литературы въ описываемое время, трудно было переводчикамъ Вольтера выступить въ печати съ какимъ-нибудь новымъ трудомъ своего любимаго автора. Имъ оставалось или перепечатывать въ «исправленномъ» видѣ прежнія изданія, или знакомить читателей со свѣжими переводами чрезъ рукописныя тетрадки. «Любезное наше отечество, — писалъ митрополитъ Евгеній въ 1793 году, — донныиъ предохранялось еще отъ самой вреднѣйшей части Вольтерова яда, и мы въ скромной нашей литературѣ не видимъ еще самыхъ возмутительныхъ и нечестивѣйшихъ Вольтеровыхъ книгъ; но, можетъ-быть, отъ сего предохранены только книжныя наши лавки, между тѣмъ какъ сокровенными путями повсюду разливается вся его зараза. Ибо письменный Вольтеръ становится у насъ извѣстенъ столько жъ, какъ и печатный ²⁾».

Не то замѣчается въ русской литературѣ съ первыхъ годовъ XIX столѣтія. Подъ влияніемъ новаго царствованія, когда наступило «дней Александровыхъ прекрасное начало», опять вспыхиваетъ ретивая работа нашихъ переводчиковъ; но уже иной колоритъ беретъ верхъ въ ихъ трудахъ: вмѣсто длинной вереницы беллетристическихъ произведеній, какъ было прежде, теперь—съ одной стороны—выглядываетъ на Божій свѣтъ

¹⁾ Изъ названныхъ переводовъ наиболѣе были важны—*Вольтеровы заблужденія* и *Иудейскія письма*. Первое сочиненіе, переведенное студентами Воронежской семинаріи подъ редакціей митрополита Евгенія (см. *Матеріалы* для его біографіи, изд. С. Пономаревымъ, Кіевъ 1867 г., стр. 12), предъ выходомъ въ свѣтъ на русскомъ языкѣ, подверглось странному измѣненію: изъ предисловія авторе, т.-е. аббата Нонота, во второй части *Вольтеровыхъ заблужденій*, цензура исключила перечень религиозныхъ воззрѣній Вольтера, которыя слѣдовало опровергать въ самомъ сочиненіи (См. подробности въ *Русск. Вѣстникъ* 1869 г., т. LXXXI, кн. 5, стр. 34—36). Второе произведеніе (*Иудейскія письма*) было передано на русскій языкъ С. Смирновымъ и И. Снѣгиревымъ (см. *Обзоръ Духовной Литературы*, Филарета, кн. 2, стр. 238).

²⁾ См. „Превуѣдомленіе“ къ русскому переводу *Вольтеровыхъ заблужденій*, стр. 2. Для подтвержденія см. *Сборникъ Общества Любителей Россійской Словесности*. М. 1891 г., стр. 216, 244 — 245, 267 и *Журналъ Мин. Нар. Просв.* 1895 г., ч. 300, кн. 7, отд. II, стр. 100.

интимная переписка Вольтера, съ другой — большая серія его историческихъ сочиненій; въ эту же эпоху выходитъ и обширное собраніе произведеній Вольтера «съ поправленіемъ противъ прежнихъ, съ присовокупленіемъ жизни сего знаменитаго писателя и вновь переведенныхъ сочиненій, кои еще никогда не были изданы въ свѣтъ» (М. 1802—1805 гг., пять частей).

Подобное оживленіе переводческой дѣятельности могло бы напомнить свѣтлые годы Екатерининской эпохи, если бы оно продолжало возрастать и крѣпнуть. Между тѣмъ, едва промелькнуло одиннадцать лѣтъ (1801—1812 гг.), какъ наши переводчики, несомнѣнно, подъ влияніемъ настроенія русскаго общества послѣ Отечественной войны, рѣже и рѣже стали обращаться къ Вольтеру за матеріаломъ для своихъ работъ.

Тѣмъ не менѣе нѣкогда знаменитый французскій писатель не былъ окончательно забытъ во все продолженіе XIX вѣка: его перечитывали по-французски и въ старыхъ русскіихъ изданіяхъ; о немъ изъ года въ годъ напоминали историко-литературныя статьи въ нашихъ журналахъ и даже цѣлыя книги, излагавшія его біографію и критическую оцѣнку; наконецъ, еще такъ недавно наши читатели получили два новые перевода: Соколовскаго—*Философскіе романы Вольтера* (Спб. 1900 г., 184 стр.) и Скачилова—*Кандидъ, или оптимизмъ* (Спб. 1900 г.).

Къ представленному нами очерку прилагаемъ бібліографическій обзоръ русскіихъ переводовъ изъ Вольтера, расположенный въ слѣдующемъ порядкѣ:

1. *Альзира, или Американцы*, трагедія въ 5 дѣйствіяхъ, Спб. 1786, 1798 и М. 1811 г.—Это произведеніе Вольтера еще въ 1761 году было переведено Д. И. Фонвизиномъ, который, однако, „недовольный грѣхомъ юности не отдалъ его ни на театръ, ни въ печать“ (*Сочиненія Фонвизина*, Спб. 1866 г., стр. 540—541). Долгое время знали объ этомъ переводѣ только по краткимъ замѣткамъ въ *Иллюстраціи* (1846 г., № 12) и *Русскомъ Архивѣ* (1887 г., кн. 10, стр. 304—312), пока онъ не появился въ *Матеріалахъ для полнаго собранія сочиненій Д. И. Фонвизина*, академика Н. С. Тихонравова (Спб. 1894 г., стр. 1—76). Названныя три изданія трагедіи принадлежатъ Петру Матвѣевичу Карабанову (*Словарь митр. Евгенія*, т. I, стр. 272—273): первое изъ нихъ, снабженное портретомъ Вольтера и посвященіемъ тайн. совѣтн. графу А. А. Безбородкѣ, при выходѣ въ свѣтъ вызвало рецензію въ журналѣ: „Зеркало Свѣта“ (1786 г., ч. II, № 26 стр. 63), замѣтку въ *Драматическомъ Словарѣ* (М. 1787 г., стр. 16—17), извѣстные шуточные стихи И. А. Крылова:

Какъ Карабановъ взялъ „Альзирu“ перевести,
И въ адѣ слухъ о томъ промчался,
Тогда Вольтеръ, вздохнувъ, признался,
Что точно грѣшникамъ по смерти жука есть!

(Русск. Арх. 1863 г., изд. 2-е, стр. 877) и эниграмму:

Вотъ здѣсь Альзира слезы льеть:
Ее свирѣпный нравъ Гусмановъ
Не мучитъ такъ, какъ переводъ,
Который сдѣлалъ Карабановъ.

(Изъ „Послания Воейкова къ Дашкову“, см. *Современ.* 1857 г. т. 62, вн. 3, отд. V, стр. 88), Второе изданіе вышло „съ поправленіемъ многихъ стиховъ“. Въ такомъ измѣненномъ видѣ пьеса попала на театральную сцену и, по словамъ Арапова, имѣла большой успѣхъ (*Литоп. русск. театра*, стр. 136).

2. **Анекдоты г. Вольтера**, М. 1810 г., 2 ч.—Неизвѣстнаго переводчика.

3. **Брутъ**, трагед. въ 5 дѣйств. М. 1783 г.—Переводъ Василія Трофимовича Іовлева, „изданный иждивеніемъ Новикова и К^о“.

4. **Бѣлый быкъ**, истинная повѣсть. Спб. 1802 и 1809 г.—„Съ какимъ наслажденіемъ,—пишетъ М. Дмитріевъ,—читали у насъ, еще въ концѣ прошедшаго вѣка, все, что переводилось изъ Вольтера, даже „*Бѣлаго быка*“, который былъ напечатанъ въ Петербургѣ, при морскомъ шляхтскомъ вадетскомъ корпусѣ, 1779 года“!.. (*Мелочи изъ запаса моей памяти*. М. 1869 г., стр. 49). Это указаніе нужно считать ошибочнымъ: ни въ бібліотекахъ, ни въ каталогахъ не оказывается упомянутаго изданія. Знаемъ только, что въ 1785 году за переводъ „*Бѣлаго быка*“ хотѣлъ было взяться Н. М. Карамзинъ, но, по совѣту И. И. Дмитріева, не выполнилъ своего желанія (*Взглядъ на мою жизнь*. М. 1866 г., стр. 41). Названныя же два изданія повѣсти принадлежатъ Семену Родзянкѣ (см. о немъ въ сочиненіи Сущкова: *Московскій благородный пансіонъ*. М. 1858 г., стр. 76).

5. **Вадины сказки, Бѣлый и черный, Жаннотъ и Колинъ, и о Праздникахъ французскихъ**. Спб. 1771 г.—На заглавномъ листѣ этой книжки стоятъ только инициалы имени и фамилии переводчика, именно „М. П.“. Но митр. Евгенийъ считаетъ авторомъ перевода Михаила Васильевича Попова (*Словарь Евгенийя*, т. 2, стр. 133—134),—Одна изъ названныхъ повѣстей—„Жаннотъ и Колинъ“ въ томъ же году была помѣщена въ журналѣ: „Трудолюбивый Муравей“ (№№ 9, 10 и 11 за подписью М. С. (Спиридовъ?), а затѣмъ послужила, небольшимъ матеріаломъ для „Недоросля“: изъ нея, какъ впервые указалъ „Вѣстникъ Европы“ (1811 г., ч. 58, кн. 15, стр. 206), Фонвизинъ заимствовалъ сужденіе Простаковой о бесполезности географіи.

6. **Вольный домъ, или Шотландка**, комед. въ 5 дѣйств. М. 1763 г.—Переводъ Александра Протасова. Черезъ годъ эта пьеса Вольтера появилась на сценѣ, но подъ названіемъ: „Награжденная добродѣтель“ и въ новомъ переводѣ Б. Е. Ельчанинова, не отданномъ однако въ печать (*Сочиненія и переводы Луккина и Ельчанинова*, Спб. 1868 г., стр. 113; Лонгинова, *Русск. театр въ Петерб. и въ Москвѣ*, стр. 19—20; *Драм. словарь*, стр. 159).

7. **Всячина**, изъ сочиненія г. Вольтера. Спб. 1789 г.—При этой брошюркѣ, наполненной мелкими статейками, находится посвященіе оберъ-шенку А. А. Нарышкину за подписью: „Н. Л.“. По нашему мнѣнію, эти двѣ буквы указываютъ на болѣе усерднаго переводчика Вольтеровскихъ произведеній—Николая Евстаѣевича Левицкаго, который часто выставялъ такіе инициалы подъ своими трудами.

8. **Генеральное мнѣніе о тактикѣ г. Гиберта**. Спб. 1777 г.—Маленькая книжка, переведенная, какъ значится подъ заголовкомъ, подпрапорщикомъ пре-

ображенскаго полка Федоромъ Левченковымъ и посвященная генер.-майору С. Г. Зоричу.

9. **Генриада**, героическая поэма въ десяти пѣсняхъ, преложенная російскими бѣлыми стихами. Спб. 1777 г. — То же, героическая поэма, стихами. М. 1790 г. — То же, эпическая поэма, вновь переведенная. Спб. 1803 и 1822 г. — Первый трудъ вышелъ изъ-подъ пера Якова Борисовича Княжнина и былъ разобранъ въ *Петербуржскомъ Вѣстникѣ* (1778 г., ч. I, кн. 5, стр. 396—400). Онъ былъ посвященъ Сергѣю Герасимовичу Домашневу; но послѣдній не захотѣлъ посвященія; тогда Княжнинъ помѣстилъ „посвятительное стихотвореніе“ въ *Спб. Вѣстн.* 1778 г., кн. 2, ч. I, стр. 173—175. Второй переводъ, встрѣченный суровою рецензіею *Московск. Журнала* (1791 г., ч. 2, стр. 207—214), по мнѣнію Полторацкаго (*Матер. для словаря русск. писат.* стр. 18), принадлежитъ князю Алексѣю Ивановичу Голицыну. Наконецъ, третій переводъ „Генриады“ изданъ содержателемъ типографіи Иваномъ Сираковымъ: первое изданіе его работы посвящено Александру Первому, а второе, безъ посвященія, снабжено большимъ „предувѣдомленіемъ“, гдѣ переводчикъ трактуетъ о значеніи Вольтеровской поэмы. — Кромѣ названныхъ переводовъ, на русскомъ языкѣ существуетъ нѣсколько отрывковъ изъ „Генриады“, переданныхъ проф. А. А. Барсовымъ (1775 г.), неизвѣстною знатною особою (1780 г.), Н. М. Карамзиннымъ (1801 г.), С. Н. Глинкою (1804 г.), Д. О. Барановымъ (1815 г.), А. А. Крыловымъ (1819 и 1822 г.) и М. В. Миловымъ (1823 и 1826 г.), какъ указалъ г. Полторацкій (*Матер. для слов. русск. писат.*, стр. 18).

10. **Гуронъ, или Простодушный, истинная повѣсть**. Спб. 1789, 1802 и М. 1805 г. — Переводъ Николая Евстаѣевича Левицкаго, разобранный при второмъ изданіи въ журналѣ: *Московский Меркурій* (1803 г., ч. I, стр. 156).

11. **Древняго и новаго вѣка люди или уборный столъ госпожи маркиши Помпадуръ**. Спб. 1777 г. — Небольшая книжка, рецензированная въ *Санктпетербургск. Учен. Вѣдомостяхъ* (1777 г., № 15, стр. 119). На оберткѣ значится: „переведено и приписано отъ переводчика другу его О. П. К.“. Если подъ этими таинственными буквами можно разумѣть Осипа Петровича Козодавлева, то ни въ какомъ случаѣ нельзя считать переводчикомъ А. Н. Радищева, такъ какъ между обоими лицами не было прежней дружбы въ концѣ семидесятыхъ годовъ (см. *Русск. Вѣстн.* 1858 г., т. 18, кн. 23, стр. 400—401 и *Современн.* 1856 г., кн. 9, т. 59, отд. II, стр. 62).

12. **Духъ, или избранныя сочиненія г. Вольтера**. Смоленскъ, 1803 г. — То же, 3 ч. М. 1812 г. — Первое изданіе представляетъ большой сборникъ, наполненный почти тѣми же статьями, какія находятся въ трудѣ И. Г. Рахманинова: „Аллегорическія, философическія и критическія сочиненія г. Вольтера“; втораго изданія намъ видѣть не пришлось, можетъ быть потому, что „всѣ экземпляры были сожжены“ (Сопик., № 2552).

13. **Естественный законъ, поэма**. Спб. 1786 г. — То же. Спб. 1802 г. — Авторомъ перваго перевода, снова изданнаго черезъ годъ при книгѣ: „Жизнь Вольтера“ (Спб. 1787 г.), былъ Иванъ Ивановичъ Виноградовъ (*Словарь Геннади*, т. I, стр. 155), а втораго, выпущеннаго съ предисловіемъ и примѣчаніями — Александръ Палицынъ.

14. **Задигъ, или Судьба, восточная повѣсть, и Свѣтъ, каковъ есть, видѣніе Бабука, писанное имъ самимъ. Къ онымъ прибавлена Элегія Клеоны къ Циню, сочиненіе г. Душа**. Спб. 1765, 1788 и 1795 г. — Всѣ эти три изданія, по общему приговору библиографовъ (см., наприм., *Материалы для библиогр.* Березина-Ширяева, Спб. 1873 г., стр. 233) приписываются Ивану Лонгиновичу Голе-

нищеву-Кутузову (см. *Исторія Академ. Наукъ*, т. 2, стр. 227—228 и *Словарь Геннади*, т. I, стр. 232), хотя на заглавныхъ листахъ нѣтъ прямыхъ указаній на имя переводчика; только въ предисловіи къ каждому изданію находятся слѣдующія неопредѣленные строки: „Задигова восточная повѣсть переведена уже единожды на російскій языкъ и напечатана въ „Сочиненіяхъ“ (т. е. въ „Сочиненіяхъ и переводахъ къ пользѣ и увеселенію служащихъ“ 1759 г., т. IX, стр. 58 и слѣд.); но понеже она напечатана по частямъ въ разныхъ мѣсяцахъ, а сверхъ того много въ ней пропущено, что можетъ веселить и наставлять читателя, то вздумалось нѣкоторому охотнику перевести оную вновь и издать особливою книжкою“. Къ этому заявленію остается лишь прибавить, что другая названная повѣсть—„Свѣтъ каковъ есть“ еще въ 1763 году была помѣщена, также анонимно, на страницахъ *Свободныхъ Часовъ* (кн. 8, стр. 498—511; кн. 9, стр. 515—531).

15. **Заира**, трагед. въ 5 дѣйств. Спб. 1779 г.—То же. М. 1821 г.—На обложкѣ перваго перевода стоятъ только двѣ буквы: „А. Д.“, которыя, по архивнымъ документамъ, найденнымъ г. Пекарскимъ (*Сборникъ Акад. Наукъ*. Спб. 1868 г., т. 2, № 4, стр. 35—36), несомнѣнно указываютъ на Адриана Иларіоновича Дубровскаго (См. о немъ въ *Словарь Геннади*, т. I, стр. 324); другой переводъ—трудъ Ильи Полугарскаго. „Заира“ игралась при дворѣ въ 1763 и 1764 г. (*Записки Порошина*, изд. 1881 г. стр. 14—15). На театрѣ же эта Волтеровская пьеса давалась въ 1809 году по переводу, написанному сообща Н. И. Гнѣдичемъ, С. П. Жихаревымъ, М. Е. Лобановымъ, Ю. А. Нелединскимъ-Мелецкимъ и княз. Шаховскимъ (*Лѣтон. русск. театра*, стр. 194 и *Отеч. Зап.* 1854 г., т. 96, отд. II, стр. 131). Первый актъ „Заиръ“ въ перев. Ю. Нелединскаго-Мелецкаго помѣщенъ въ „Трудахъ Общества Любителей Російской Словесности“ (ч. III, отд. II, стр. 3—19, М. 1812 г.).

16. Историческія записки о достопамятныхъ и важнѣйшихъ происшествіяхъ, касающихся до жизни г. Вольтера, писанныя имъ самимъ, съ присовокупленіемъ писемъ его къ нѣкоторымъ знаменитымъ російскимъ вельможамъ. М. 1807 и 1808 г., 2 ч.— Въ первой части этой книги, переведенной Н. Е. Левицкимъ, находится автобиографія Вольтера, а во второй—его письма къ графу Воронцову, князю Голицыну, Сумарокову и Шувалову.

17. *Исторія Карла XII-го, короля шведскаго*, 4 ч. М. 1803—1804 г. и Орель 1820 г.—Неизвѣстнаго переводчика.

18. *Исторія о крестовыхъ походахъ, съ приобщеніемъ ко оной: 1) Извѣстія о житіи турецкаго султана Махамета V-го, 2) Описанія о происшедшей перемѣнѣ въ Константинополѣ, 3) Путешествія жизни человѣчскія и 4) Набата г. Вольтера*. Спб. 1772 г., М. 1782 г. и (безъ приложений) Спб. 1783 г.—Эти три изданія принадлежатъ Ивану Андреевичу Вельяшеву-Волынцеву (см. о немъ *Словарь Геннади*, т. I, стр. 142), какъ видно изъ посвященія перевода генер.-аншефу графу З. Г. Чернышову. Два первыхъ приложения были напечатаны раньше, но безъ подписи переводчика, въ *Ежемѣсячныхъ Сочиненіяхъ* (1755 г., т. I, стр. 162 и 339).

19. *Исторія Російской имперіи въ царствованіе Петра Великаго*, 4 ч. въ 2-хъ кн., М. 1809 г.—Переводъ Семена Смирнова, какъ значится подъ посвященіемъ книги Александрю Первому. Этотъ трудъ подвергся критическому разбору въ *Вѣстникъ Европы* (1809 г., ч. 48, № 21, стр. 61). Тотъ же трудъ былъ переведенъ проф. Н. А. Бекетовымъ, какъ указываетъ „Словарь проф. Московск. университета“ (ч. I, стр. 90)¹⁾.

¹⁾ См. подробности о сношеніяхъ Вольтера изъ-за этой *Исторіи* въ статьѣ Соловьева (*Современникъ* 1854 года, т. 47, кн. 10, отд. 2, стр. 134—135, стр.

20. *Исторія сокращенная о смерти Жана Каласа и о Каласах вообще, съ приобщеніемъ къ тому разныхъ писемъ, представлений и прочаго.* Спб. 1788 г.—Эта довольно большая книга, съ предисловіемъ переводчика, переведена на русскій языкъ Ефимомъ Васильевичемъ Рознотовскимъ, который прежде участвовалъ въ „Коммисіи объ уложеніи“ (1767 г.), какъ депутатъ изъ Переяславля-Залѣскаго (См. *Русск. Вѣстн.* 1861 г., т. 36, кн. 12, стр. 19 и 73), а потомъ, если не смѣшиваемъ его съ другимъ, былъ членомъ масонской ложи: „Уранія“. (Лонгинова. *Новиковъ и московскіе мартинисты*, стр. 94).

21. *Исторія царствованія Людовина XIV и Людовика XV, королей французскихъ, съ присовокупленіемъ словаря всѣхъ знаменитыхъ мужей: министровъ, полководцевъ, писателей и художниковъ, прославившихся въ царствованіе сихъ государей.* 4 ч. М. 1809 г. — Этотъ переводъ одинъ изъ раннихъ трудовъ Александра Ѳедоровича Воейкова, вызванный, какъ можно думать, начальнымъ воспитаніемъ переводчика на сочиненіяхъ Вольтера (*Библиограф.* *Записки* 1858 г, № 9, стр. 262).

22. *Кандидъ, или Оптимизмъ, то есть наилучшій свѣтъ.* Спб. 1769¹⁾, 1779 и 1789 г.—Хотя при всѣхъ трехъ изданіяхъ не пазванъ переводчикъ, тѣмъ не менѣ наши библиографы единогласно усвояютъ этотъ переводъ Семену Башилову (*Словарь Геннади*, т. I, стр. 72—73). Только одинъ М. Дмитріевъ, неизвѣстно на какомъ основаніи, говоритъ: „при типографіи морского шляхтскаго корпуса въ 1779 году былъ напечатанъ на рускомъ языкѣ „Кандидъ“; его переводилъ П. М. Бакунинъ, бывшій впоследствии важнымъ лицомъ при иностранной коллегіи (*Мелочи изъ зап. моей памяти*, стр. 49). Такого перевода не оказывается ни въ каталогахъ, ни на полкахъ библиотекъ. — При двухъ послѣднихъ изданіяхъ Башиловскаго „Кандида“ приложена брошюра подъ заглавіемъ: „Оптимизмъ, то-есть наилучшій свѣтъ, состоящій въ продолженіи „Исторіи Кандида“. Часть вторая сочиненія г. Вольтера, переведена съ нѣмецкаго изъ книги: „Wie beste Welt“. Этотъ „привѣсокъ“ вышелъ изъ-подъ пера неизвѣстнаго переводчика: по крайней мѣрѣ на послѣдней страницѣ труда сказано только: „перевелъ канцеляристъ И. Г.“²⁾.

23. *Китайскій сирота, трагед. въ 5 дѣйств.* Спб. 1788 г. — Переводъ Василія Никитича Нечаева, что видно изъ посвященія генералъ-аншефу Н. И Салтыкову. Та же трагедія, съ подобнымъ же заглавіемъ, шла на театрѣ въ 1809 году, но въ переводѣ князя Шаховскаго: этотъ переводъ не напечатанъ (*Литтон. русск. театра*, стр. 190). Ея неуспѣхъ на сценѣ вызвалъ изъ устъ князя Вяземскаго такую острую эпиграмму:

Вольтеръ насъ трогаетъ китайской сиротой
И тѣмъ весельчаковъ заслуживаетъ пени;
Но слезы превратилъ въ забаву Шутовской:
Онъ изъ трагедіи удачною рукой

Китайскія подѣлалъ тѣни“... (*Россійск. Музеумъ* 1815 г., № 12, стр. 235).

145—146) и у Пекарскаго (*Исторія Академіи*, т. I, стр. 381—382 и далѣе, стр. 684). См. также *Архивъ князя Воронцова* М. 1873 г., кн. VI, стр. 287, 293—294, 310—311.

1) Въ академической книжной лавкѣ продается книга, „Кандидъ“ называемая, напечатанная подъ смотрѣніемъ собранія, старающагося о переводѣ иностранныхъ книгъ“ (*С.-Петербур. Вѣдом.* 1769 г. № 22, вторникъ, марта 17 дня).

2) Недавно же вышелъ: *Кандидъ или оптимизмъ*, пер. П. Скачилова, Спб. 1900 г.

24. Литературное исповѣданіе г. Вольтера. Спб. 1803 г. — Двѣ буквы, выставленныя на этой книжкѣ, именно: „Д. Б.“, обозначаютъ, можетъ быть, Дмитрія Сергѣевича Болтина, который незадолго передъ тѣмъ перевелъ „Исповѣданіе Ж. Ж. Руссо“ (2 ч. М. 1797 г.).

25. Лѣтопись имперіи отъ Карла Великаго до нынѣшнихъ временъ. 5 кн. Спб. 1786 г.—Переводъ г. Турковского.

26. Магометъ, трагед. въ 5 дѣйств. Спб. 1798 и 1810 г.— То же. Спб. 1828 г.—Надъ первымъ переводомъ этой трагедіи, игранный на театрѣ (*Литоп. русск. театра*, стр. 132; *Драм. Словарь*, стр. 97), потрудился Павелъ Сергѣевичъ Потемкинъ, ревностный переводчикъ сочиненій Ж. Ж. Руссо (*Словарь Евгения*, т. 2, стр. 136—137); надъ другимъ — Николай Ѳедоровичъ Остолоповъ, авторъ „Словаря древней и новой поэзи“.

27. Мелкія повѣсти о добромъ браминѣ, двухъ утѣшенныхъ: о Заидѣ и Магометѣ. М. 1783 г.—Неизвѣстнаго переводчика.

28. Мемнонь, или желающій быть мудрымъ. Спб. 1782 г.—Мемнонь, переведенный изъ сочиненія г. Вольтера. Спб. 1782 г.—Первый переводъ, по заявленію Березина-Ширяева (*Матеріалы для библиограф.*, стр. 234), принадлежитъ Рахманову¹⁾; второй же подписанъ загадочнымъ псевдонимомъ „Пу...чить“.

29. Меропа, трагед. въ 5 дѣйств. М. 1775 г.—Это произведеніе Вольтера „переложено въ стихи изъ русскія прозы“ Василиемъ Ивановичемъ Майковымъ см. о немъ брошюру: *О жизни и сочиненіяхъ В. И. Майкова*, Спб. 1867 г. и *Драм. Словарь*, стр. 79). Позже ту же пьесу перевелъ Сергѣй Никифоровичъ Маринъ (*Современ.* 1856 г., т. 60, кн. XI, отд. V, стр. 43). Его трудъ, изъ котораго въ „Русской Тали“ (Спб. 1825 г.) напечатанъ только одинъ „Отрывокъ“, съ большимъ успѣхомъ шелъ на петербургской сценѣ въ 1811 году (*Литоп. русск. театра*, стр. 212)²⁾.

30. Микромегасъ, философическая повѣсть. Спб. 1788 г.—Анонимный переводъ; но если обратить вниманіе на его близкое сходство съ передачею той же повѣсти въ „Аллегорическихъ сочиненіяхъ г. Вольтера“ (Спб. 1784 г.), а также на штемпель издателя „И. Р.“, то легко можно приписать этотъ трудъ Ивану Герасимовичу Рахманинову (см. о немъ въ сборникѣ: *Древн. и Нов. Россія* 1878 г., № 3, стр. 279—280).

31. Нанина, или побѣжденное предразсужденіе, комед. въ 3-хъ дѣйств. Спб. 1766 и М. 1788 г.—То же. М. 1807 г.—Первый переводъ — трудъ Ипполита Ѳедоровича Богдановича, какъ свидѣтельствуеъ его автобіографія (*Отечествен. Записки* 1853 г., т. 87, кн. 4, отд. VII, стр. 185); второй—Николая Кунина (см. о немъ въ *Русск. Вѣстн.* 1875 г., кн. 5, стр. 168—169). „Нанина“ появилась и на театрѣ (*Литоп. русск. театра*, стр. 161), но неизвѣстно въ чьемъ переводѣ (*Драм. словарь*, стр. 86—87).

¹⁾ Т.-е. Ивану Герасимовичу Рахманинову. Последняго, по недоразумѣнію, часто называли Рахмановымъ. Такъ, напримѣръ, И. П. Быстровъ въ своихъ „Запискахъ объ И. А. Крыловѣ“ въ слѣдующемъ видѣ передаетъ признаніе баснописца: „Помнится, что разъ мы поссорились съ Рахмановымъ, какое названіе дать журналу... Ну, Рахмановъ, хорошо былъ ученъ: зналъ языки, исторію философію. Онъ давалъ намъ матерьялы“ (*Сѣверн. Пчела* 1845 г., № 203, стр. 811).

²⁾ Кромѣ того, двѣ сцены (перваго акта, первая и третья сцены) перев. Ѳ. Ѳ. Ивановымъ и помѣщены въ „Трудахъ Общества Любителей Россійской Словесности, М. 1812 г., ч. 2, отд. II, стр. 45—54).

32. **Нескромный**, комед. въ 1-мъ дѣйств. Спб. 1790 г.—Безыменный трудъ (*Драм. Слов.* стр. 91), но, по нѣкоторымъ указаніямъ, ояъ вышелъ изъ-подъ пера П. Свистунова (*Библиогр. Записки* 1858 г., стр. 209).

33. **Новое изданіе, называемое: Набатъ на разбужденіе королей**. Спб. 1779 г.—Небольшая анонимная книжка.

34. **Новое расположеніе исторіи человѣческаго разума**. Спб. 1775 г.—На выходномъ листѣ имѣются три буквы: „И. В. В.“, которыя обозначаютъ имя переводчика Ивана Андреевича Вельяшева-Волыпцева, какъ убѣждаетъ предисловіе къ переводу „Исторіи о крестовыхъ походахъ“ (см. выше).

35. **Общія правила театра** Спб. 1809 г.—Эта вѣжжа составлена А. Писаревымъ на основаніи *Сочиненій* Вольтера (Смирдинъ № 7837).

36. **Опытъ г. Вольтера на поэзію эпическую, съ описаніемъ жизни и твореній Гомера, Виргилія, Лукана, Тривеина, Камозенса, Тасса, Донъ Алонза д'Ерсиллы и Мильтона**. Спб. 1802 г.—Переводъ Николая Ѳедоровича Остолопова, потомъ пѣликомъ помѣщенный въ „Словарѣ древней и новой поэзіи“ (Спб. 1821 г., т. I).

37. **Опытъ историческій и критическій о разгласіяхъ церквей въ Польшѣ**. Спб. 1768 г.—То же М. 1776 г.—Первый переводъ выполненъ Василиемъ Кирилловичемъ Третьяковскимъ¹⁾, а второй, какъ указалъ г. Геннади (*Списокъ русск. анонимн. кн.* Спб. 1874 г., стр. 28), княземъ Василиемъ Прокопьевичемъ Мещерскимъ и посвященъ Ивану Плещееву. (О кн. В. П. Мещерскомъ см. „Записки К. А. Полеваго“ (*Истор. Вѣстникъ* 1887 г. кн. 2, стр. 269—271).

38. **О эпическомъ стихотворствѣ**. Спб. 1781 г. — Этотъ анонимный переводъ, сначала напечатанный въ журналѣ: „Невинное Упражненіе“ (1763 г., кн. I—IV), вышелъ изъ-подъ пера княгини Екатерины Романовны Дашковой, какъ утверждаетъ митр. Евгенийъ (*Словарь*, т. I, стр. 157), но г. Колбасинъ приписываетъ его И. И. Мартынову (*Литературные дѣтели прежняго времени*, Спб. 1859 г., стр. 24).

39. **Переписка Вольтера съ д'Аламбертомъ**, часть первая. М. 1805 г.—Переводъ Александра Ивановича Подлисецаго.

40. **Переписка Вольтера съ епископомъ А...** Спб. 1771 г. и М. 1787 г.—При обоихъ изданіяхъ этой анонимной брошюры приложена „Поэма о вынѣшнихъ дѣлахъ, или увѣщаніе о воспріятіи противъ турокъ оружія“, съ особымъ заглавнымъ листомъ, но безъ отдѣльнаго счета страницъ (Губерти, вып. 2, стр. 444).

41. **Переписка Вольтера съ императрицею Екатериною II-й**.—Эта корреспонденція почти одновременно вышла въ слѣдующихъ различныхъ изданіяхъ: 1) Философическая и политическая переписка съ 1763 по 1778 г. (2 ч., съ портретомъ. Спб. 1802 г.)—переводъ Ивана Ивановича Мартынова, какъ предполагаетъ Геннади (*Словарь*, т. I, стр. 340) и Колбасинъ (стр. 51). То же, но безъ гравюры (2 ч. М. 1802 г.)—анонимный трудъ; 3) Переписка російск. импер. Екатерины II и г. Вольтера, продолжавшаяся съ 1763 по 1778 г. (2 ч. М. 1803 г.)—переводъ Ивана Андреевича Фабіана; 4) Переписка Екатерины Великія съ г. Вольтеромъ (2 ч. М. 1803 г.)—переводъ Александра Ивановича Подлисецаго, и 5) То же (2 ч. Спб. 1803 г.)—переводъ Михаила Ивановича Антоновскаго.

42. **Переписка Фредерика Великаго, короля прусскаго, съ Вольтеромъ** 3 ч. М. 1805—1807 г. и Спб. 1816 г. Два анонимныя изданія.

43. **Политическое завѣщаніе г. Вольтера**. Спб. 1785 г.—Переводъ Ивана Герасимовича Рахманинова, какъ показываетъ посвященіе этой книги ген.-маіору

¹⁾ См. объ этомъ переводѣ *Исторію Акад. наукъ* Пекарскаго (т. 2, стр. 228—229) и Губерти (вып. I. стр. 231—232).

Ив. Ив. Михельсону. Названный трудъ въ томъ же году былъ приложенъ къ другому переводу Рахманинова—къ „Извѣстiю о болѣзни, исповѣди и смерти г. Вольтера“ (Спб. 1785 г.).

44. **Похвальное надгробное слово Людовику XV, королю французскому.** Спб. 1780 г.—Издание неизвѣстнаго переводчика.

45. **Похвальное слово французскимъ офицерамъ, умершимъ на войнѣ въ 1741 году.** М. 1787 г.—Эта брошюрка—„первый опытъ двѣнадцатилѣтняго автора—Николая Семеновича Неплюева“, какъ говоритъ посвященiе перевода орловскому губернатору С. А. Неплюеву; но изъ московской цензуры она получена капитаномъ Николаемъ Ивановичемъ Загоровскимъ (*Осьмнадцатый Вѣкъ*, издан. Бартечевымъ, кн. I, стр. 498).

46. **Почерпнутыя мысли изъ Эклезiаста, передоженные стихами изъ Вольтера.** М. 1764, 1779 и 1786 гг. (Сопиковъ № 6367 и Смирдинъ № 1022). Это трудъ М. М. Хераскова, какъ указываетъ М. Лонгиновъ (*Новиковъ и московскiе мартинисты*, М. 1867 г., стр. 270).—Другой переводъ—Н. М. Карамзина, помѣщенный въ *Аонидахъ* (1797 г., ч. II, стр. 163—181).—Третiй переводъ, неизвѣстнаго, напечатанъ въ 1799 году, подъ заглавiемъ: *Соломонова Мудрость*, изъ Эклезiаста.—Четвертый переводъ, А. Тейлеа, помѣщенъ въ журналъ *Лицей* (1806 г. ч. V, кн. 3, стр. 26—29).

47. **Поэма на разрушенiе Лиссабона, съ возраженiемъ на оную, писаннымъ Ж. Ж. Руссо.** Спб. 1801 и 1809 г.—Переводъ Ипполита Федоровича Богдановича, помѣщенный сначала (безъ возраженiя Руссо) въ журналъ: „Невинное Упражненiе“ (1763 г., кн. IV, стр. 173—186). Онъ было появился и въ сборникѣ: „Правдолюбецъ, или карманная книжка мудраго“ (Спб. 1801 г.), но по какой-то причинѣ уступилъ свое мѣсто „Отборнымъ правоучительнымъ баснямъ разныхъ росiйскихъ сочинителей“ (*Историч. розыск. о русск. повремен. издан. и сборник.* Неустроева, стр. 845—846) и уцѣлѣлъ только въ немногихъ экземплярахъ этого альманахъ.—Сопиковъ во 2-й части *Опыта* перепечаталъ вполне эту поэму въ переводѣ Богдановича.

48. **Принцесса Вавилонская.** М. 1770 г., Спб. 1781 г. М. 1788 и 1789 гг. Всѣ эти четыре изданiя принадлежать Федору Полунину (см. о немъ въ *Словарь* Евгенiя, т. I, стр. 131 и въ *Исторiи Росiйск. Академiи*, вып. I, стр. 217). Кромѣ того появился еще переводъ: *Вавилонская Принцесса*, Спб. 1896 г.

49. **Путешествiе сына Кандидова въ Эльдорадо.** 2 ч. М. 1810 г.—Неизвѣстнаго переводчика.

50. **Путь счастья челоѣческаго.** Спб. 1772 г. М. 1790 г.—Переводъ Василiя Юницкаго.

51. **Разсужденiе о воинскомъ искусствѣ.** Спб. 1780 г.—Переводъ стихами Дмитрiя Максимовича Огiевского.

52. **Разсужденiя** (философическiя) соч. В. (ольтера), переводъ А. Н. П. 8. (Безъ года) Сопик. № 9679, Плавильщ. 1976, *Словарь* Геннади, т. I, стр. 128).

53. **Романы и повѣсти г. Вольтера.** 5 ч., съ картинами, М. 1805 г.—То же. Спб. 1870 г.—Первое изданiе анонимно, а второе, въ одномъ томѣ, принадлежитъ Н. Н. Дмитриеву ¹⁾.

54. **Росiянинъ въ Парижѣ, или разговоръ между парижаниномъ и росiяниномъ.** Спб. 1788 г.—Это переводъ Рахманинова (Губерти, вып. 2, стр. 337).

55. **Сатирическiй духъ г. Вольтера, или собранiе нѣкоторыхъ любопытныхъ сатирическихъ его сочиненiй.** Спб. 1789 г.—1+192 стр. Переводъ

¹⁾ Недавно вышли въ переводѣ Соколовскаго: *Философскiе романы* Вольтера. Спб. 1900 г., 184 стр.

Ивана Герасимовича Рахманинова, какъ указалъ и г. Геннади (*Русск. книжн. рѣдкости*. Спб. 1872 г., стр. 59), хотя на заголовкѣ стоятъ только двѣ буквы: „И. Р“.

56. *Скарментадово путешествие*. Спб. 1778 г.—Неизвѣстнаго переводчика.

57. *Смерть Цесарева*, трагед. въ 5 дѣйств. Спб. 1777 г. и М. 1797 г.—перев. Василя Іевлева, артиллеріи капитана. Второе изданіе его труда подверглось уничтоженію въ 1794 году (см. *Лѣтописи русск. литер. и древн.* проф. Тихонова 1863 г., т. V, отд. II, стр. 10) ¹⁾.

58. *Смѣсь, содержащая статьи философическія, нравоучительныя, аллегорическія и критическія*. Спб. 1788 г.—Изданіе Николая Евстаѣевича Левицкаго.

59. *Собраніе произведеній Вольтера*.—Оно вышло въ слѣдующихъ трехъ изданіяхъ: 1) Собраніе сочиненій г. Вольтера (3 ч. Спб. 1785—1789 г.)—переводъ Ив. Гер. Рахманинова; 2) Полное собраніе всѣхъ доннынъ переводныхъ на російскій языкъ и въ печать изданныхъ сочиненій г. Вольтера (3 ч. Козловъ, 1791 г.)—изданіе того же Рахманинова, какъ видно изъ посвященія И. И. Михельсону (см. дѣло объ этомъ изданіи въ сборникѣ: *Древн. и Нов. Россія* 1878 г., № 3, стр. 279), и 3) Новое изданіе съ предыдущимъ заглавіемъ (5 ч. М. 1802—1805 г.)—тоже считается Рахманиновскимъ.

60. *Сочиненія г. Вольтера* (аллегорическія, философическія и критическія). Спб. 1784 г.—Подъ посвященіемъ этой большой книги И. И. Михельсону виднѣется подпись переводчика—Ив. Гер. Рахманинова.

61. *Сочиненія г. Вольтера* (сатирическія и философическія). М. 1784 г.—Миниатюрная книжка, изданная „иждивеліемъ Н. И. Новикова и Ко“.

62. *Тактика, переложенная стихами*. М. 1779 г.—Переводъ Ермила Ивановича Кострова (см. о немъ *Русск. Арх.* 1870 г., стр. 709—718), потомъ перепечатанный въ изданіи Смирдина (*Сочиненія Кострова и Аблесимова*. Спб. 1849 г., стр. 210—216).

63. *Танкредъ*, траг. въ 5 дѣйств., съ портретомъ извѣстной актрисы Ек. Сем. Семеновой. Спб. 1816 г.—Эта пьеса Вольтера еще въ 1809 году была переведена Николаемъ Ивановичемъ Гнѣдичемъ для г-жи Семеновой (см. *Мелочи изъ зап. моея пам.*, стр. 207) и тогда же появилась на сценѣ (*Лѣтопись русск. театра*, стр. 192), но только въ 1816 году была издана въ свѣтъ съ такими любопытными стихами подъ упомянутымъ портретомъ:

Любимица безсмертной Мельпомены!
Въ Россіи первая успѣла ты открыть
Искусство тайное, какъ сердцу говорить...
Твои черты—потомству драгоценны...

64. *Торжество немилосердія*, или повѣсть о жизни Амвросія Борелли, умершаго въ Лондонѣ отъ рожденія своего на 103 году, собранная Жестерманомъ, переведенная съ англійск. на французск. яз. Вольтеромъ. М. 1782 г.—Подъ заголовкомъ этого анонимнаго перевода видна только слѣдующая прибавка: „переведено на русскій въ Володимирѣ“.

65. *Три разговора изъ Вольтеровыхъ сочиненій*: 1) Челобитчика со стряпчимъ; 2) Г. Мантоны съ дѣвицею Анкло; 3) Марка Аврелія съ Францисканомъ; 4) Сень-Реалово преданіе о любовныхъ обращеніяхъ древнихъ римлянъ,

¹⁾ Отрывокъ изъ этой трагедіи подъ заглавіемъ Сцена изъ трагедіи г. Вольтера: „Смерть Кесаря“ (явленіе послѣднее) въ перев. Ѳ. Кокошкина, напечатанъ въ „Трудахъ Общества Любителей Россійской Словесности“, ч. II, отд. II, стр. 70—76, М. 1812 г.

и 5) Письмо Бантамскаго посла къ своему государю изъ Лондона. Спб. 1777 г.—Неизвѣстнаго переводчика. Можетъ быть—И. Г. Рахманинова (*Губерти*, вып. 2, стр. 444).

66. Турецкій шпионъ (Смирл. № 2222). Это—переводъ изъ сочиненій Вольтера (см. Геннади, *Словарь*, т. 2, стр. 50).

67. Философическія рѣчи о человѣкѣ. Спб. 1788 г.—Переводъ Ив. Гер. Рахманинова.

68. Человѣкъ въ сорокъ талеровъ. Спб. 1780, 1786 и 1792 гг. — Въ каталогѣ Соликова (ч. 2, стр. 223) первое и послѣднее изданія приписаны петербургскому типографщику, Ф. Галченкову. Между тѣмъ это показаніе не вѣрно, по крайней мѣрѣ относительно третьяго изданія, гдѣ, на стран. 125, находится такое примѣчаніе, которое прямо указываетъ на истиннаго переводчика: „сія болѣзнь (сифились) восприяла по свидѣтельству самыхъ достовѣрныхъ писателей свое начало въ Америкѣ не въ самыя древнія времена и не отъ климата, но отъ заключенныхъ жестокими испанцами бѣдныхъ тамошнихъ жителей на весьма долгое время въ глубокія... рудокопныя ямы, о чемъ можно подробное найти извѣстіе въ іюлѣ 1780 года ежемѣсячнаго сочиненія, подъ названіемъ „Академическія Извѣстія“ въ перечнѣ моемъ о американскихъ селеніяхъ“. Упомянутый же „перечень“, подъ заглавіемъ: „Перечень исторіи Америки“, дѣйствительно, печатался съ ноября 1779 года въ „Академическихъ Извѣстіяхъ“ за подписью Ивана Ивановича Богаевского (см. о немъ въ *Словарь* Геннади, т. I, стр. 96). Кромѣ того, этотъ Богаевскій, какъ извѣстно по каталогамъ, перевелъ сочиненіе Юсти: „Основаніе силы и благосостоянія царствъ“ (4 ч. Спб. 1772—1778 г.), а на одной страницѣ повѣсти „Человѣкъ въ сорокъ талеровъ“ (Спб. 1792 г., стр. 106) приводится слѣдующее признаніе отъ лица переводчика: „при императорской академіи наукъ напечатана весьма хорошая и важная для каждаго книжка: Юстія о силѣ и благосостояніи царствъ, однакоже она имѣетъ столь худой расходъ, что если бы ее частный человѣкъ издалъ, то вѣрно бы впредь никогда не охотился и при нарочитомъ достаткѣ печатать таковыхъ книгъ“¹⁾. Такимъ образомъ, третье изданіе Вольтеровской повѣсти нужно приписать скорѣе И. И. Богаевскому, чѣмъ Ф. Галченкову.

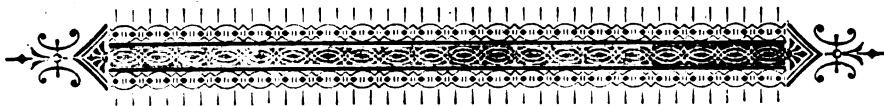
69. Эдипъ, трагед. въ 5 дѣйст. М. 1791 г.—Переводъ кн. Алексѣя Ивановича Голицына (см. замѣтку о немъ въ изданіи Грота: „Сочиненія Державина“, Спб. 1865 г., т. 2, стр. 724).

Этотъ длинный списокъ все-таки казался бы неполнымъ, если бы мы не упомянули о тѣхъ переводахъ изъ Вольтера, которые напечатаны вмѣстѣ съ произведеніями другихъ иностранныхъ авторовъ. Поэтому, въ заключеніе нашего труда, указываемъ слѣдующія анонимныя изданія на русскомъ языкѣ: 1) О вкусѣ, соч. Жерарда, съ приобщеніемъ разсужденій о томъ же предметѣ д'Аламберта, Вольтера и Монтескье (3 ч. М. 1803 г.), 2) Разумный и забавный собесѣдникъ, или собраніе... повѣстей, выбранныхъ... изъ Вольтера и другихъ лучшихъ писателей (М. 1803 г.), 3) Свойства и дѣйствія страстей человѣческихъ, изъ соч. Вольтера, Руссо... и др. (Спб. 1802 г.) и 4) Мысли королевы Христины о Туркахъ; воззваніе къ государямъ христіанскимъ, по случаю вооруженія Турокъ противъ Венеціи и стихи Вольтера на войну Россіянъ съ Турками, и ода его на войну въ Греціи. М. 1828 г. 12⁰. (*Словарь* Геннади, т. I, стр. 221).

Дим. Языковъ.



1) Такое же признаніе есть и въ *Собесѣдникъ* 1783 г., ч. I, стр. 75.



Сонетъ Шекспира.

CVI.

Читая хроники, старинные сонеты,
И гимны красотѣ,—когда я вижу тамъ,
Какъ вдохновлялись ей отжившіе поэты—
И славой рыцарей, и блескомъ пышныхъ дамъ,—

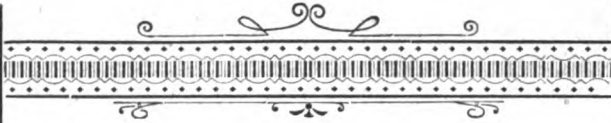
Я вижу, что, когда они воспѣть хотѣли
Ланиты, пышный станъ, и очи, и уста,—
Поэты дней былыхъ—*тебя, тебя* воспѣли,
Прославлена *твоя* въ ихъ пѣсняхъ красота,

Пророчества полны былия пѣсногѣнья,
Они стремились всѣ создать лишь *твой* портретъ,
Но, видя образъ твой очами вдохновенья,
Вполнѣ воспѣть тебя не могъ былой поэтъ!

Мы видимъ образъ твой тѣлесными очами,
Но красоту твою нельзя воспѣть словами!..

Левъ Уманецъ.





Страница прошлого.

(По случаю сорокалѣтней годовщины со дня смерти Н. А. Добролюбова).

«Мы отреклись отъ писаревщины, мы вернулись къ заветамъ Добролюбова,—говорили передовые люди конца шестидесятыхъ и начала семидесятыхъ годовъ. — Если Писаревъ училъ насъ заботиться исключительно о собственномъ развитіи, училъ быть черствыми эгоистами, то Добролюбовъ указывалъ намъ на наши болѣе высокія обязанности—напоминалъ намъ о нашемъ долѣ по отношенію къ народу».

Писаревъ и Добролюбовъ противопоставались, такимъ образомъ, одинъ другому, какъ два писателя, не имѣющіе между собой рѣшительно ничего общаго, какъ представители двухъ безусловно враждебныхъ другъ другу направлений: въ одномъ видѣли только крайняго индивидуалиста, въ другомъ—только народника.

Но, на самомъ дѣлѣ, справедливо ли подобное категорическое противопоставленіе? Такъ ли далеки другъ отъ друга оба корифея русской публицистики и литературной критики «реформаціонной» эпохи?

Относительно Писарева въ настоящее время доказано ¹⁾, что онъ вовсе не былъ такимъ крайнимъ индивидуалистомъ, который бы съ презрѣніемъ относился къ общественнымъ вопросамъ, душевный міръ котораго былъ бы закрытъ для возвышенныхъ альтруистическихъ чувствъ и порывовъ. Мнѣніе о томъ, будто онъ проповѣдывалъ черствый эгоизмъ, можно считать легендой.

Въ свою очередь, Добролюбовъ не въ такой степени чуждъ индивидуалистическихъ тенденцій, какъ обыкновенно принято думать ²⁾.

¹⁾ См. статью Владиміра Каренина въ „Научномъ Обзорѣнн“ 1900 г.

²⁾ Указанія на его индивидуализмъ мы находимъ въ статьѣ г. Рафаилова: „Система правды и наши общественныя отношенія“ (въ сборникѣ „На славномъ посту“).—Касаясь Добролюбовской теоріи „эгоизма“, г. Скабичевскій не придаетъ этой теоріи серьезнаго значенія, старается доказать, что, провозглашая ее, Добролюбовъ лишь самому себѣ противорѣчилъ. (См. „сочин.“ А. Скабичевского, т. I, стр. 163, и „Исторію новѣйшей русской литер.“, стр. 72).

Напомнить читателямъ о немъ именно, какъ о теоретикѣ индивидуализма, какъ о непосредственномъ предшественникѣ Писарева, — такова цѣль, которую мы ставимъ себѣ на нижеслѣдующихъ страницахъ.

I.

«Подросли новые люди, для которыхъ любовь къ истинѣ и честность стремлений уже не въ диковинку. Тѣ понятія и стремленія, которыя прежде давали титуло передового человѣка, теперь уже считаются первой и необходимой принадлежностью самой обыкновенной образованности... Встрѣчая человѣка такъ называемаго прогрессивнаго направленія, теперь никто уже не предается удивленію и восторгу, никто не смотритъ ему въ глаза съ нѣмымъ благоговѣніемъ, не жметъ ему таинственно руки и не приглашаетъ шопотомъ къ себѣ, въ кружокъ избранныхъ людей, — поговорить о томъ, что неправосудіе и рабство гибельны для государства. Напротивъ, теперь съ невольнымъ, презрительнымъ изумленіемъ останавливаются передъ человѣкомъ, который выказываетъ недостатокъ сочувствія къ гласности, безкорыстію, эманципации, и т. п. Теперь даже люди, въ душѣ не любящіе прогрессивныхъ идей, должны показывать видъ, что любятъ ихъ, для того, чтобы имѣть доступъ въ порядочное общество».

Такъ характеризовалъ Н. А. Добролюбовъ ту аудиторію, къ которой обращался со своими критическими статьями: онъ имѣлъ передъ собою «новое», «молодое» интеллигентное общество, необыкновенно многочисленное, одушевленное самыми благими стремленіями. Передъ столь многочисленной и столь прогрессивно-настроенной аудиторіей до тѣхъ поръ не приходилось выступать ни одному изъ извѣстнѣйшихъ критиковъ-публицистовъ (за исключеніемъ автора «Очерковъ гоголевскаго періода — учителя Н. А. Добролюбова»).

Но Н. А. Добролюбовъ не обольщался внѣшнимъ, столь отраднымъ видомъ своей аудиторіи. На «молодое» интеллигентное общество онъ смотрѣлъ сквозь призму самаго трезваго скептицизма. Онъ находилъ, что надъ «молодымъ» поколѣніемъ интеллигентовъ продолжала сохранять большую власть «патріархальная старина», что значительное большинство «новыхъ» людей продолжаетъ подчиняться различнымъ старымъ настроеніямъ, старымъ чувствамъ, старымъ привычкамъ.

Отъ своихъ «отцовъ» новые люди унаслѣдовали душевную *слабость*. Они не могли отдѣлаться отъ привычки руководиться въ своихъ поступкахъ навязанными извнѣ «принципами» поведенія, отъ пристрастія къ «традиціи», къ «отвлеченному» способу мышленія, отъ склонности пребывать въ состояніи умственной апатіи, отъ преклоненія передъ чужимъ авторитетомъ и чужимъ умомъ.

Несамостоятельные, слабохарактерные и слабовольные, «обезличенные» — таковы были въ глазах Добролюбова его слушатели, представители новаго общества. Даже тѣ изъ новыхъ людей, которые во многихъ отношеніяхъ составляли исключеніе изъ общаго правила, ушли впередъ отъ прочей массы, успѣли съ выгодной стороны «заявить себя на жизненномъ поприщѣ» — даже они оказывались людьми раздвоенными. «Старина» сильно смущала ихъ, а въ то же время жизнь настоятельнѣе представляла къ нимъ свои права, чѣмъ къ людямъ прежнихъ поколѣній. И они, по словамъ Н. Добролюбова, «шатались на обѣ стороны», не могли «ничему отдаться всей силой души». Эти были люди «промежуточнаго времени».

Прогрессивныя идеи большинство изъ «новыхъ» людей усвоило себѣ не тѣмъ путемъ, какимъ эти идеи усвоивались одинокими подвижниками и героями мысли прежнихъ временъ. «Новые люди» съ дѣтства, непримѣтно и постоянно «напитывались тѣми понятіями и стремленіями, для которыхъ прежде лучшіе люди должны были бороться, сомнѣваться и страдать въ зрѣломъ возрастѣ». Другими словами, «новые люди» не завоевали своихъ убѣжденій съ бою: они приобрѣли ихъ полубезсознательнымъ, полумеханическимъ путемъ. Для нихъ прогрессивныя идеи были лишь святыней, завѣщанной прошлымъ.

И потому ихъ «благіе» порывы, ихъ прогрессивныя стремленія носили слишкомъ платоническій, слишкомъ отвлеченный характеръ. Потому «новые» люди въ большинствѣ случаевъ не шли далѣе «словъ» и красивыхъ фразъ.

«Новое общество», такимъ образомъ, въ глазахъ Добролюбова представляло изъ себя вообще нѣчто малютъшительное. Блестящій внѣшній видъ аудиторіи, передъ которой ему приходилось говорить, скрывалъ за собою зрѣлище глубокихъ язвъ и преждевременнаго увяданья «молодыхъ побѣговъ».

Но среди увядающихъ «молодыхъ побѣговъ», среди общей массы инертныхъ, «слабыхъ духомъ», обезличенныхъ интеллигентовъ вырисовывался образъ чловѣка, общающаго олицетворить собою настоящаго „чловѣка“.

Этотъ образъ вырисовывался не вполне опредѣленно и законченно. Добролюбовъ дополнилъ недостававшія ему въ дѣйствительности черты, вложилъ въ его душевный міръ свое содержаніе и провозгласилъ ученіе о «настоящемъ» новомъ чловѣкѣ — объ интеллигентѣ-«реалистѣ».

Интеллигентъ-«реалистъ» (или какъ Добролюбовъ называлъ его, «реальный чловѣкъ»¹⁾), въ противоположность «слабымъ» интеллигентамъ,

1) Обращаемъ на то, что терминъ „реалистъ“ мы употребляемъ въ томъ специфическомъ значеніи, которое онъ имѣлъ въ шестидесятые годы (которое

является носителем *душевной* силы. Въ противоположность бездѣятельнымъ интеллигентамъ, онъ—человѣкъ активной энергіи. Онъ вдохновляется далеко не платонической любовью къ добру и человѣчеству: онъ знаетъ «смѣлость добра».

Надъ нимъ не имѣютъ власти «старыя» настроенія, старыя чувства и привычки. Онъ не опутанъ сѣтью традицій и преданій. Онъ дѣйствуетъ не во имя извнѣ навязанныхъ «принциповъ», а повинуюсь исключительно голосу «естественнаго влеченія натурѣ». Внутреннее убѣжденіе—вотъ высшая для него моральная санкція. Онъ очень низко цѣнитъ велѣнія «предписаннаго» долга. Истинный человѣкъ творить добро не потому, что онъ долженъ слѣдовать правиламъ установленной морали, а потому что „дѣланіе добра“ есть органическая потребность его внутренняго міра.

„У насъ очень часто превозносятъ добродѣтельнаго человѣка тѣмъ восторженнѣе, чѣмъ болѣе онъ принуждаетъ себя къ добродѣтели; исполняющіе предписаніе долга только потому, что это предписано, а не потому, чтобы чувствовали любовь къ добру, такіе люди не совсѣмъ достойны пламенныхъ восхваленій. Эти люди жалки сами по себѣ. Ихъ чувства постоянно представляютъ имъ счастье не въ исполненіи долга, а въ его нарушеніи; но они жертвуютъ своимъ благомъ, какъ они его понимаютъ, отвлеченному принципу, который принимаютъ безъ внутренняго, сердечнаго участія... Въ нравственномъ отношеніи они стоятъ на очень низкой ступени“... ¹⁾

Въ «дѣланіи добра», въ любви къ общему благу интеллигентъ «реалистъ» исходитъ изъ *разумнаго эгоизма*. «Всѣ люди во всѣ времена, во всѣхъ народахъ искали и ищутъ собственнаго блага; оно есть неизбѣжный и единственный стимулъ каждаго свободнаго дѣйствія человѣческаго».

Вся разница заключается въ томъ, какъ понимать это благо, въ чемъ видѣть удовлетвореніе своего эгоизма.

Эгоизмъ интеллигента «реалиста»—это не эгоизмъ *хищника*: это—«благородный» эгоизмъ.

Когда отецъ радуется успѣхамъ своихъ дѣтей, когда гражданинъ принимаетъ близко къ сердцу благо своихъ соотечественниковъ—они слѣдуютъ эгоистическимъ движеніямъ своего внутренняго міра: «вѣдь все-таки *они, они* сами чувствуютъ удовольствіе при этомъ, вѣдь они не отрекаются отъ себя, радуясь радости другихъ».

Если даже человѣкъ принесетъ какія-нибудь жертвы ради другихъ,—онъ дѣлаетъ это, повинуюсь *эгоистическимъ побужденіямъ*: *его жертвы*

придавалъ ему напр. авторъ „Реалистовъ“ и „Мыслящаго пролетаріата“, обозначая имъ людей „базаровскаго“ типа).

¹⁾ Статья Добролюбова о Станкевичѣ: „Сочин.“, т. II, 9, (издан. О. Н. Поповой).

свидѣтельствуютъ только о высокой степени его внутренняго развитія: онъ развился до того, что дѣланіе добра доставляла ему лично больше удовольствія, чѣмъ исполненіе «прихотей».

«Такимъ образомъ, любовь къ общему благу,—резюмируетъ свои соображенія Добролюбовъ — есть, по нашему мнѣнію, не что иное, какъ *благороднѣйшее проявленіе личнаго эгоизма*. Когда человѣкъ до того развился, что не можетъ понять своего личнаго блага внѣ блага общаго, когда онъ при этомъ ясно понимаетъ свое мѣсто въ обществѣ, свою связь съ нимъ и отношенія ко всему окружающему, тогда только можно признать въ немъ дѣйствительную, серьезную, а не риторическую любовь къ общему благу»¹⁾.

Чтобы подняться до настоящей, возвышенной любви къ человѣчеству, необходимо, слѣдовательно, быть человѣкомъ съ развитой *индивидуальностью* (терминъ Добролюбова), высоко цѣнить собственную самостоятельность и естественныя права личности.

«Шатко, мимолетно и ничтожно все, чему нѣтъ основанія и поддержки *внутри* человека въ его разсудкѣ и сознательной рѣшимости».

Человѣкъ, не имѣющій этой поддержки, напрасно носитъ образъ человѣческій. Отреченіе отъ своей индивидуальности—есть «уродство».

Романтическія грезы «объ отреченіи отъ себя, о трудѣ для самаго труда или для такой цѣли, которая съ нашей личностью ничего общаго не имѣетъ, къ лицу были средневѣковому рыцарю печальнаго образа; но онѣ очень забавны въ устахъ образованнаго человѣка нашего времени»¹⁾.

Для «образованнаго человѣка нашего времени» — для интеллигента-реалиста» ничего не можетъ быть хуже «самоотверженія, уничтоженія личности, покоренія естественныхъ личныхъ влеченій» всему «отвлеченному» и «внѣшнему».

Возводить въ идеаль страданія и лишенія — значитъ обезличивать себя. «Искать страданій и лишеній—дѣло неестественное для человѣка».

Все, что нарушаетъ гармонію внутренняго міра, не можетъ быть достойно интеллигента-«реалиста». Лишь отрѣшившись отъ всего навязаннаго извнѣ, отъ всего «предписаннаго», отъ всего «отвлеченнаго», установивъ полное согласіе съ самимъ собою», человѣкъ можетъ достигъ идеала «сильной» личности.

Только когда новые люди пойдутъ дальше платоническаго «сознанія» необходимости активнаго строительства жизни, дальше платоническихъ вздоховъ и платонической скорби объ общественныхъ недугахъ, дальше теплыхъ словъ и красивыхъ фразъ.

¹ Сочин. II, 263.

²⁾ Соч. II, 14.

«Послѣ періода сознанія извѣстныхъ идей и стремленій» наступитъ тогда «періодъ осуществленія».

И облеченный духовной силой интеллигентъ будетъ непременно человѣкомъ «дѣла», человѣкомъ активной «рѣшимости».

Таковъ идеаль «настоящаго человѣка», котораго Добролюбовъ противопоставилъ инертнымъ, безвольнымъ, малодушнымъ, обезличеннымъ интеллигентамъ «промежуточнаго времени».

II.

Выставляя подобный идеаль, защищая теорію естественнаго свободнаго развитія интеллигентной личности, Н. А. Добролюбовъ являлся типичнымъ выразителемъ стремленій «разночинской» интеллигенціи въ классическій періодъ ея исторіи, въ періодъ ея массоваго, самаго рѣшительнаго выступленія на историческую авансцену. Для этой интеллигенціи, пробившей себѣ дорогу съ большимъ трудомъ, путемъ упорной борьбы за существованіе; среди самыхъ «враждебныхъ» обстоятельствъ, — интеллигенціи, обязанной своимъ «торжествомъ» исключительно самой себѣ, запасамъ своихъ душевныхъ силъ, своей энергіи, работѣ своей мысли, — для этой интеллигенціи теорія «разумнаго эгоизма» имѣла глубокой жизненный смыслъ.

«Мы сами отворили двери будущаго, — говорили про себя разночинцы-интеллигенты ¹⁾: — что мы сдѣлали, то мы сдѣлали сами... никакія бабушки не ворожили намъ, никакія четвероюродныя тетушки «со связями» не подсылали различныхъ холоповъ общества, чтобы расчистить намъ дорогу, облегчить намъ взобраться по лѣстницѣ и растворять передъ нами двери».

И они благословили *трудъ* и активную *дѣятельность*, благодаря которымъ они единственно могли «взобраться по лѣстницѣ и растворить двери»: «постоянное бодрствованіе и борьба со зломъ должны быть вѣчнымъ нашимъ девизомъ!»

Необходимость активной дѣятельности была подсказана имъ инстинктомъ самосохраненія. Въ отсутствіи труда, въ застоѣ, бездѣятельности они видѣли для себя гибель. Примѣръ этой гибели былъ передъ ихъ глазами. Дореформенное общество именно потому такъ печально завершило свою карьеру, что не было способно дѣйствовать и трудиться, было усыплено всеобщимъ сномъ и застоємъ. Интеллигенты дореформеннаго строя (исключая одинокихъ героевъ и подвижниковъ мысли), не выдерживали малѣйшихъ «случайностей судьбы»: ворожившія имъ «бабушки» отнимали у нихъ всякую самостоятельность, позволяли имъ пребывать въ состояніи безпеч-

¹⁾ См. романъ А. Шеллера-Михайлова „Жизнь Шупова“.

ности и умственной апатіи и лишали ихъ, такимъ образомъ, возможности набираться душевныхъ силъ для борьбы за существованіе.

Интеллигенты-разночинцы, умудренные своимъ жизненнымъ опытомъ, знали, насколько вредны умственная апатія и безпечность: *«успокоеніе, говорили они, есть первый предвѣстникъ несостоятельности... Главное, не надо успокаиваться, надо думать, находиться на сторожѣ, размышлять, не поддаваться баловству случая, который, какъ старая нянька, старается насъ усыпить своими ласковыми пѣснями и сказками, чтобы мы вѣчно оставались въ его балующихъ рукахъ».*

Не мыслить — значило для интеллигентовъ отдаться во власть всевозможныхъ случайностей, подвергнуться всевозможнымъ ударамъ судьбы и не быть въ состояніи отразить ихъ, а значило оказаться полнымъ банкротомъ на жизненномъ пиру.

Желая противостоятъ «баловню-случаю», они должны были заняться *самовоспитаніемъ*, они должны были упорно работать надъ своимъ «я», чтобы это «я» проявило возможно повышенную жизнеспособность, должны были развить критическія свойства ума и вмѣстѣ съ тѣмъ закалить свою волю,—однимъ словомъ должны были создать въ себѣ *всесторонне развитую, сильную личность.*

Теорія «разумнаго эгоизма», сводящаяся къ культу мыслящей личности, свободной отъ всего того, что усыпляетъ человѣка, отдаетъ его незамѣтно во власть «баловня-случая», т. е. отъ всего «навязаннаго извнѣ», отъ ига традицій и преданій,—эта теорія для разночинцевъ-интеллигентовъ была идеализаціей ихъ собственныхъ «силъ», ея жизнеспособности и осужденіемъ тѣхъ недуговъ и той духовной немощи, которые погубили интеллигенцію крѣпостническихъ временъ.

Послѣ смерти Добролюбова теорія «разумнаго эгоизма» послужила предметомъ самаго страстнаго увлеченія въ рядахъ интеллигенціи. «Реальный человѣкъ» Добролюбова превратился въ «мыслящаго реалиста» Писарева. Писаревъ особенно подробно рисовалъ идеальный образъ этого «реалиста», говорилъ о немъ такъ много и обстоятельно, что заставлялъ своихъ слушателей почти не обращать вниманія на «вонецныя цѣли», которыя онъ преслѣдовалъ въ своей проповѣди, на его альтруистическія чувства по отношенію къ «униженнымъ и оскорбленнымъ»¹⁾.

Правда, онъ преувеличивалъ цѣнность теоріи «разумнаго эгоизма»; правда, онъ, воспитанный среди другой обстановки, чѣмъ та, въ которой воспитывались поколѣнія интеллигентовъ-разночинцевъ, нѣсколько оторвалъ эту теорію отъ ея реальной почвы, придавалъ ей слишкомъ общій характеръ.

¹⁾ Выраженныя, напримѣръ, въ его статьяяхъ „Пчелы“ и „Зарожденіе культуры“.

Онъ взялъ отъ теоріи разночинцевъ-интеллигентовъ лишь догматъ «сильной» личности и личнаго саморазвитія, оставивъ въ тѣни идею борьбы за существованіе, которой такъ дорожили творцы этой теоріи. Въ его міровоззрѣніи борьба за существованіе начала превращаться въ «борьбу за индивидуальность». Кромѣ того, онъ окрасилъ теорію «разумнаго эгоизма» въ чуждый ей сенсуалистическій оттѣнокъ.

Но основныя послышки его теоріи были тѣ же, что и теоріи Добролюбова.

Такъ же, какъ Добролюбовъ, онъ училъ, что въ жизни «новыхъ» людей не должно существовать разногласія между *влеченіемъ* натуры и *моральнымъ* чувствомъ; такъ же, какъ Добролюбовъ, онъ доказывалъ, что высшіе альтруистическіе порывы, высшее человѣколюбіе есть не что иное, какъ облагороженный эгоизмъ; такъ же, какъ Добролюбовъ, онъ считалъ «настоящимъ» человѣкомъ того, кто въ состояніи установить въ своемъ душевномъ мірѣ полную гармонію: «здоровые люди не должны раздваивать своего существа».

Такимъ образомъ и Писаревъ и Добролюбовъ работали надъ развитіемъ несомнѣнно одной и той же теоріи и были, при всѣхъ указанныхъ нѣсколько выше различіяхъ въ выводахъ, не такъ далеки, какъ кажется съ перваго взгляда ¹⁾.

Но въ оцѣнкѣ той роли, которую можетъ играть «мыслящій реалистъ» въ общемъ ходѣ историческаго развитія, оба публициста-критика кореннымъ образомъ разошлись. Въ то время какъ Писаревъ склоненъ былъ приписывать интеллигенту-реалисту самую видную роль въ ходѣ историческаго процесса, Добролюбовъ не увлекался интеллигенціей, не преувеличивалъ ея удѣльнаго вѣса въ общей экономіи общественнаго развитія.

Указывая на высокій идеалъ, доступный интеллигентамъ, онъ въ то же время отрицалъ, чтобы его идеальный человѣкъ при всемъ своемъ высокому развитію могъ оказывать существенное вліяніе на ходъ историческаго прогресса.

Онъ говорилъ, что интеллигенція составляетъ совершенно непримѣтную частичку великаго русскаго народа, что она не болѣе, какъ ничтожное меньшинство, которое притомъ будетъ становиться все ничтожнѣе по мѣрѣ распространенія народной образованности.

¹⁾ Временами Добролюбовъ даже смотрѣлъ съ истинно „писаревской“ точки зрѣнія на задачи современной ему интеллигенціи — склоненъ былъ до послѣдней степени преувеличивать значеніе самовоспитанія интеллигентной личности: „Теперь наша дѣятельность, пишетъ онъ одному пріятелю, именно и должна состоять во внутренней работѣ надъ собою, которая бы довела насъ до такого состоянія, чтобы всякое зло... сдѣлалось противнымъ, невыносимымъ для нашей натуры... тогда намъ нечего хлопотать о созданіи чествой дѣятельности: она сама собою создастся, потому что мы не въ состояніи будемъ дѣйствовать иначе какъ только честью“ („Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова“, стр. 525)

Все то, при помощи чего интеллигенція расчитываетъ распоряжаться судьбами исторіи, всё ея культурныя приобрѣтенія имѣютъ очень относительную цѣнность.

Если интеллигенція гордится своей литературой, какъ могущественнымъ орудіемъ воздѣйствія на общественную жизнь, какъ могущественнымъ двигателемъ прогрессіи, то Н. А. Добролюбовъ спѣшитъ доказать, что у интеллигенціи нѣтъ достаточныхъ основаній идеализировать «могущество» литературы.

«Литература въ нашей жизни не составляетъ такой преобладающей силы, которой бы все подчинялось: она служитъ выраженіемъ понятій и стремленій образованнаго меньшинства и доступна только меньшинству; вліяніе ея на остальную массу только посредственное и оно распространяется очень медленно. Да и по самому существу своему литература не составляетъ понудительной силы, отнимающей физическую и нравственную возможность поступать противозаконно. Она поставляетъ вопросы, со всѣхъ сторонъ ихъ разсматриваетъ, сообщаетъ факты, возбуждаетъ мысль и чувство въ человѣкѣ, но не присвоиваетъ себѣ какой-то исполнительной власти, которой вы отъ нея требуете»¹⁾.

Также неосновательно преувеличивать значеніе «интеллигентной» личности въ исторіи, какъ бы эта личность ни была высоко развита. «Ходъ развитія человѣчества не измѣняется отъ личностей». Великіе люди не «дѣлаютъ» исторіи.

Для исторіи «прогресса цѣлаго человѣчества» не имѣютъ особеннаго значенія не только Бѣлинскій, но Байронъ и Гете. Если бы ихъ не было, то что сдѣлали они, было бы сдѣлано другими. Великіе люди только полнѣе другихъ выражаютъ то или другое направленіе. Ихъ появленіе показываетъ, что элементы того или другого направленія уже выработались въ обществѣ.

Вопросъ о соотношеніи, существующемъ между личностью и средой, былъ рѣшенъ Н. А. Добролюбовымъ въ пользу почти безусловнаго социальнаго детерминизма. На сторонѣ личности онъ оставилъ только живую воспримчивость личности: «все остальное ложится на отвѣтственность окружающей среды».

Вся исторія человѣчества, въ сущности, сводится къ исторіи общественныхъ отношеній... Высказавши эту мысль, Добролюбовъ первый изъ русскихъ публицистовъ-критиковъ съ необыкновенною послѣдовательностью проводилъ ее въ своихъ статьяхъ, первый далъ многосторонній *детальный* анализъ того, какъ среда опредѣляетъ характеръ и дѣйствія человѣка, какъ создаются общественные типы²⁾...

1) „Соч.“, т. I, стр. 428.

2) Такого *подробнаго* анализа вліянія среды на отдѣльныя личности мы не находимъ ни у Бѣлинскаго, ни у Валеріана Майкова, впервые начавшихъ изучать литературныя явленія съ общественной точки зрѣнія.

Ни заблужденія, ни преступленія, — училъ онъ, — не суть слѣдствія «натуры человѣка», а суть слѣдствія «ненормальнаго отношенія, въ которое онъ (человѣкъ) поставленъ къ обществу ¹⁾. И чѣмъ эта ненормальность сильнѣе, тѣмъ чаще совершаются преступленія даже натурами порядочными, тѣмъ менѣе обдуманности и систематичности и болѣе случайности, почти безсознательности въ преступленіи».

Вообще все благополучіе человѣчества зависитъ отъ прогресса общественныхъ отношеній.

А общественныя отношенія развиваются лишь при самомъ слабomъ участіи интеллигенціи. Интеллигенція стоитъ не на «большой дорогѣ» исторіи.

Развѣнчавши, такимъ образомъ, интеллигенцію, разоблачивши неосновательность ея иллюзій, Добролюбовъ противопоставилъ ей «народъ».

«Народъ» онъ цѣнилъ, особенно, какъ носителя тѣхъ духовныхъ «силъ», которыхъ недоставало интеллигенціи. Въ душѣ «простолюдина» онъ нашелъ и запасъ активной энергіи, и «смѣлость добра», и готовность «творить добро» во имя естественнаго влеченія натуры, и задатки «внутренней самостоятельности», и неплатоническую любовь къ общему благу ²⁾.

Въ образѣ «простолюдина» онъ видѣлъ, однимъ словомъ, возможное осуществленіе своей мечты — мечты интеллигента о «сильной», «неразвоенной» личности.

«Народничество» и «субъективная социологія» — вотъ двѣ доктрины, въ которыя вылилась прогрессивная русская общественная мысль шести-десятихъ-семидесятихъ годовъ.

Въ мировоззрѣніи Добролюбова заключались основныя послышки обѣихъ доктринъ.

«Народники» давно признали его однимъ изъ своихъ родоначальниковъ. То же самое должны сдѣлать и «субъективисты».

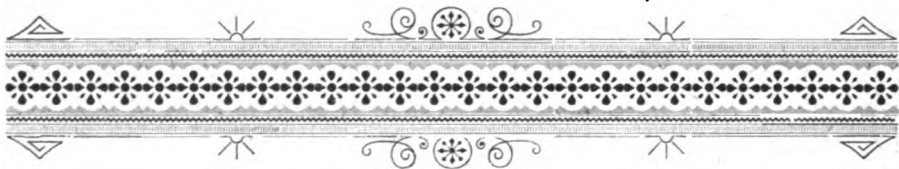
Выше мы отмѣтили, что ученіе Добролюбова объ «естественномъ» развитіи «индивидуальности» *начало* въ мировоззрѣніи Писарева перерождаться въ ученіе о борьбѣ за индивидуальность: начатое Писаревымъ было завершено Н. К. Михайловскимъ, оформившимъ въ философской системѣ стремленія разночинской интеллигенціи классическаго періода ея исторіи.

В. Шулятиковъ.



¹⁾ „Соч.“, т. III, 39.

²⁾ См. его статьи о разсказахъ Марко-Вовчка и объ „Обществахъ трезвости“.



Одинъ изъ современниковъ Шекспира.

Необычайное явленіе представляетъ англійская драма въ началѣ XVII в., въ царствованіе королевы Елизаветы и Иакова I. Какое богатое собраніе выдающихся талантовъ! Какое изумительное разнообразіе дарованій! Какая неистощимость въ сюжетахъ, темахъ, характерахъ! Какой мощный полетъ истинно-поэтического вдохновенія! Ослѣпительно-яркое солнце шекспировскаго творчества потопило въ своихъ лучахъ ясный свѣтъ другихъ крупныхъ звѣздъ англійскаго театра и скрыло ихъ отъ глазъ потомства. Но несправедливо было бы забыть этихъ соратниковъ гениальнаго драматурга, въ блестящемъ ореолѣ которыхъ онъ самъ получаетъ свою настоящую мѣру и значеніе.

Фаланга сопутствующихъ Шекспиру драматурговъ длинна, разнообразна и привлекательна.

Вотъ тяжеловѣсный Бенъ-Джонсонъ, нагруженный съ избыткомъ классическою ученостью, поклонникъ античной правильности въ драмѣ и непримиримый врагъ романтической распушенности, большой мастеръ въ сатирическомъ изображеніи современной дѣйствительности. Вотъ два молодыхъ энтузіаста, Бомонъ и Флетчеръ, связанные тѣсною дружбой, исполненные возвышеннаго благородства, краснорѣчивые глашатаи истинной добродѣтели, способные создавать граціозные и нѣжные образы, соединившіе на своей поэтической палитрѣ необычайно яркія краски и свободно отдающіеся полету своего воображенія. Вотъ тонкій психологъ Фордъ, большой знатокъ женскаго сердца, правдивый и сочувствующій изобразитель «женской доли», глубоко изучившій искусство композиціи, соперникъ Шекспира въ талантливомъ драматизированіи англійской исторіи. Вотъ мрачный и суровый Вебстеръ, мизантропъ и фаталистъ, вдохновлявшійся картинами человѣческаго безумія, жестокости и развращенности, истинный

«жестокій талантъ», исчерпавшій до дна порочную глубину преступнаго сердца. Вотъ несравненный стилистъ и художникъ слова Мэссинджеръ, внимательный и талантливый живописецъ лучшихъ сторонъ человѣческой природы, краснорѣчивый адвокатъ истинной человѣчности, исполненный благороднаго пафоса и степенной величавости. Вотъ беспорядочный и неразборчивый на средства для достиженія сценическаго эффекта Марстонъ, старающійся угодить прежде всего посѣтителемъ райка, но временами поражающій насъ блесками истинной художественности и вдохновенія. Вотъ отзвучивый, веселый и лихорадочно-торопливый Деккеръ, язвительный врагъ пуританъ и сатирикъ, бичующій современниковъ, Миддлтонъ и т. д.

Среди этихъ дарованій не послѣднее мѣсто должно принадлежать Томасу Гейвуду, занимающему своеобразное и самобытное положеніе въ ихъ блестящемъ сонмѣ.

I.

О жизни Томаса Гейвуда имѣются весьма скудныя свѣдѣнія. По возрасту онъ былъ ближайшимъ сверстникомъ Шекспира и родился около 1570 г. въ Линкольнширѣ, въ дворянской семьѣ. Пребываніе въ стѣнахъ Кембриджскаго университета положило основаніе его обширнымъ и энциклопедическимъ познаніямъ. Однако, увлеченный театромъ и литературой, онъ, повидимому, не кончилъ полнаго курса наукъ и отдалъ всего себя на служеніе сценѣ. Подобно Шекспиру, онъ соединялъ профессіи актера и драматурга.

Въ 1596 г. онъ уже состоялъ членомъ и пайщикомъ труппы Генсло. При восшествіи на престолъ Якова I онъ перешелъ въ труппу графа Уорстера, затѣмъ сдѣлался придворнымъ актеромъ королевы Анны, а по смерти послѣдней вернулся въ прежнюю труппу. Профессія актера, возбуждавшая нерѣдко болѣе или менѣе сильныя нападки, нашла въ Гейвудѣ энергичнаго и убѣжденнаго защитника. Въ 1612 г. онъ издалъ *An Apology for Actors*, въ которой изложилъ всѣ доводы въ пользу этой профессіи, ссылаясь на древность ея происхожденія, ея значеніе для общества и благотворное нравственное вліяніе, которое актеры могутъ производить исполненіемъ хорошихъ пьесъ. Да и что такое міръ, какъ не театръ, какъ не сцена, которую «Богъ и природа наполняютъ актерами»? Такъ выражается Гейвудъ въ стихотворномъ предисловіи къ своему трактату:

The world's a theatre, the earth a stage
Which God and nature doth with actors fill.

Отрицаніе театровъ равносильно, въ его глазахъ, отрицанію самого свѣта.

He that denies then theatres should be,
He may as well deny a world to me.

Театру англійскому отдалъ всѣ свои силы Томасъ Гейвудъ и былъ свидѣтелемъ какъ его высочайшаго блеска и расцвѣта, такъ и начавшейся эпохи упадка. Искусство свое онъ любилъ страстно, идеально, рыцарственно, какъ Донъ-Кихотъ Дульцинею. Дѣнтльменъ по происхожденію, онъ былъ и истиннымъ дѣнтльменомъ въ душѣ. Чрезвычайно скромный, мягкій характеромъ и симпатичный, онъ не зналъ за собою ни одного проступка, за который ему пришлось бы краснѣть ¹⁾.

Нравственная высота его личности тѣмъ болѣе замѣчательна, что на его долю выпала суровая жизненная борьба, ежедневная погоня за кускомъ хлѣба. Онъ принадлежалъ къ народившейся уже тогда литературной богемѣ, постоянно живущей въ долгъ и едва перебивающей со дня на день. Литературный трудъ дѣнился очень низко, и, чтобы существовать перомъ, ему приходилось исписывать невѣроятное количество бумаги.

Всѣ виды дѣятельности, доступные писателю, были извѣданы имъ. Онъ является передъ нами послѣдовательно въ образѣ историка, критика, эпическаго поэта и, наконецъ, драматурга. Онъ пишетъ исторію королевы Елизаветы „отъ колыбели до престола“, переводитъ Саллюстія и снабжаетъ переводъ длиннымъ предисловіемъ, рассказываетъ исторію „добродѣтельныхъ и божественныхъ женщинъ“ (*Nine books of various History concerning Women*), задумываетъ обширный біографическій словарь всѣхъ поэтовъ древняго и новаго міра (*The Lives of all the Poets, Modern and Foreign*). Последнее сочиненіе онъ не успѣлъ окончить, и нельзя не пожалѣть, что собранные имъ обильные матеріалы не дошли до насъ. Онъ пишетъ также героическую поэму *Great Britain's Troy*, „Жизнь Мерлина“ и т. д.

Съ полнымъ правомъ мы можемъ причислить Томаса Гейвуда, на ряду съ однимъ изъ талантливейшихъ предшественниковъ Шекспира, Робертомъ Гриномъ, къ первымъ профессиональнымъ литераторамъ Англіи. Въ этомъ они сходятся другъ съ другомъ. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ Гейвудъ былъ совершеннымъ контрастомъ автора „Монаха Бэкона“ и „Вэксфильдскаго полевого сторожа“.

Въ самомъ дѣлѣ, что могло быть общаго между бурнымъ и страстнымъ, погрязшимъ въ низменныхъ чувственныхъ наслажденіяхъ, бурнымъ прожигателемъ жизни Гриномъ, съ одной стороны, и уравновѣшеннымъ, мягкимъ, женственнымъ, дѣтски-чистымъ Гейвудомъ—съ другой? Тонувшій въ омутъ порока, себялюбія и цинизма Гринъ, однако, мучительно страдалъ по временамъ и извѣдывалъ жгучее раскаяніе, когда ужасающая глубина его нравственнаго паденія вдругъ дѣлалась ясной для него самого.

¹⁾ Cp. Ward, A history of english dramatic literature, London 1875, Vol. II, стр. 131.

Искра благороднаго идеализма таилась въ глубинѣ его духа, скрытая подъ пепломъ грубочувственныхъ увлеченій, и иногда вспыхивала замѣтнымъ огонькомъ, не дававшимъ погрязнуть ему въ низкихъ порокахъ окончательно. И эта искра разгоралась въ ясное и согрѣвающее пламя въ его драматическихъ произведеніяхъ. „Матеріалистъ и циникъ въ жизни, Гринъ былъ идеально чистъ и назидателенъ въ своихъ произведеніяхъ. Не только его драмы и лирическія стихотворенія, но даже любовные памфлеты, въ сочиненіи которыхъ онъ въпослѣдствіи такъ горько раскаивался, проникнуты нравственнымъ духомъ, полны возвышенныхъ порываній въ область идеала“ ¹⁾).

Такого вопіющаго раскола и диссонанса между жизнью и произведеніями не было у Томаса Гейвуда. Какъ человекъ, и какъ поэтъ, онъ былъ одинаково благороденъ, чистъ и безупреченъ.

II.

Количествомъ драматическихъ произведеній Гейвудъ далеко превзошелъ своихъ плодovitыхъ современниковъ. По его личному свидѣтельству, онъ написалъ, вполне самостоятельно, а также въ сотрудничествѣ съ другими, — не менѣе двухсотъ двадцати драмъ! Это указаніе Гейвуда относится къ 1633 году, когда его литературная дѣятельность далеко еще не была закончена, такъ какъ онъ прожилъ еще приблизительно до 1650 года. Стало быть, общее число его драмъ должно было превышать упомянутую почтенную цифру. Такая удивительная плодovitость напоминаетъ знаменитыхъ испанскихъ драматурговъ — Лопе-де-Вега и Кальдерона. Не даромъ же его иныя называли „англійскимъ Лопе-де-Вегаю“.

Работа его, несомнѣнно, носила часто характеръ импровизаціи, легко удававшейся ему, благодаря несомнѣнной талантливости и всесторонности его образованія. Многія изъ его драмъ писались въ тавернахъ, за кружкой элю, подъ шумъ и говоръ веселыхъ посѣтителей. При такихъ условіяхъ сосредоточиться было трудно. Драматургомъ - импровизаторомъ является Гейвудъ въ большинствѣ своихъ пьесъ, дошедшихъ до насъ.

Изъ громаднаго количества того, что было имъ написано, сохранилась едва ли десятая часть. Причинъ для этого было много. Прежде всего нужно замѣтить, что скромный Гейвудъ ничуть не былъ зараженъ маніей славолюбія и никогда не спѣшилъ печататься ²⁾. Онъ писалъ для сцены, для труппъ, въ которыхъ служилъ актеромъ и не мечталъ объ извѣстности въ потомствѣ. Многія изъ его пьесъ были потеряны по небрежности его

¹⁾ Н. И. Стороженко. Робертъ Гринъ, его жизнь и произведенія М. 1878. Стр. 36.

²⁾ См. его „Apology for Actors“ (1612) и предисловіе къ пьесѣ „Rape of Lucrece“.

товарищами-актерами, другія—самовольно присвоены чужими труппами, не въ интересахъ которыхъ, конечно, было печатать ихъ ¹⁾). Приступить къ печатанію нѣкоторыхъ изъ своихъ пьесъ его заставило только то обстоятельство, что онѣ послужили предметомъ многочисленныхъ и недобросовѣстныхъ контрафакцій со стороны книгопродавцевъ-пиратовъ ²⁾).

Дошедшія до насъ пьесы Гейвуда могутъ быть раздѣлены на четыре группы: 1) мифологическія пьесы, 2) драматическія хроники, 3) романтическія комедіи и 4) буржуазныя драмы.

Ограничившись нѣсколькими бѣглыми замѣчаніями о трехъ первыхъ группахъ, мы остановимся подробнѣе на четвертой группѣ, имѣющей наибольшее историко-литературное значеніе.

Первая группа состоитъ изъ пяти пьесъ, носящихъ слѣдующія заглавія: «Золотой вѣкъ», «Серебряный вѣкъ» «Мѣдный вѣкъ» и «Жѣлѣзный вѣкъ» (въ двухъ частяхъ ³⁾). Здѣсь Гейвудъ задался грандіозной задачей: передать въ живомъ сценическомъ исполненіи всѣ древне-греческіе мифы о богахъ и герояхъ, начиная съ Сатурна и кончая Ахиллесомъ и Одисеемъ. Въ этой оригинальной мифологической тетралогіи, не имѣющей ничего себѣ подобнаго въ драматической литературѣ, передъ глазами зрителей должны были проходить послѣдовательно: «Жизнь Юпитера и Сатурна» ⁴⁾, «Любовь Юпитера и Алкмены, рожденіе Геркулеса и похищеніе Прозерпины» ⁵⁾, «Смерть Центавра Несса, трагедія Мелеагра, трагедія Язона и Медеи, сѣти Вулкана, труды и смерть Геркулеса» ⁶⁾, «Похищеніе Елены, осада Трои, битва между Гекторомъ и Аяксомъ и т. д.» ⁷⁾, «Смерть Пентезилея, Париса, Приама и Гекубы, сожженіе Трои, смерть Агамемнона, Менелая, Клитемнестры, Елены и т. д. и т. д.» ⁸⁾ По словамъ самого Гейвуда, эта мифологическая энциклопедія, исполнявшаяся на театральныхъ подмосткахъ, пользовалась большимъ успѣхомъ у зрителей и давалась въ трехъ различныхъ театрахъ ⁹⁾. Это обстоятельство, какъ справедливо замѣчаетъ историкъ англійской драмы, свидѣтельствуетъ о силѣ воображенія тогдашней публики, сумѣвшей удерживать въ памяти такой длинный рядъ мало связанныхъ между собою эпизодовъ ¹⁰⁾. Съ совре-

1) См. Предисловіе Гейвуда къ его пьесѣ „The English Traveller“.

2) См. прологъ къ пьесѣ „If you Know not Me, you Know Nobody“.

3) Онѣ составляютъ третій томъ изданія John Pearson'a: The dramatic works of Thomas Heywood now first collected. London, 1874.

4) The Golden Age.

5) The Silver Age.

6) The Brazen Age.

7) The Iron Age.

8) The second Part of the Iron Age.

9) The dramatic works of Thomas Heywood, London 1874, т. III, стр. 265.

10) Ward, A history of english dramatic literature, II, 125.

менной точки зрѣнія, эта тетралогія представляетъ изъ себя не что иное, какъ переложенные въ діалогическую форму миѳы, передаваемые Гомеромъ и Овидіемъ. О настоящемъ драматическомъ дѣйствіи здѣсь не можетъ быть и рѣчи: лишь комическіе эпизоды (напр. любовь Венеры и Марса) удаются автору сравнительно лучше.

Къ этой же группѣ относятся пьесы Гейвуда *Love's Maistresse, or the Queen's Masque*, драматизирующая апулеевскій рассказъ объ Амурѣ и Психеѣ, причемъ и самъ Апулей является въ числѣ дѣйствующихъ лицъ, и *The Rape of Lucrece*—оригинальная смѣсь трагедіи и буффонства, паѳоса и комическихъ пѣсенокъ, щедро разсыпанныхъ по всей пьесѣ.

Вторую группу пьесъ Гейвуда представляютъ двѣ драматическія хроники, каждая въ двухъ частяхъ: *The First and Second Parts of King Edward IV* и *If you Know not me, you Know nobody, or the troubles of Queen Elizabeth*,—обѣ въ старинномъ стилѣ дошекспировскихъ хроникъ, со всѣми ихъ недостатками. При всей хаотичности содержанія и небрежности формы, первая пьеса выводитъ на сцену рядъ живыхъ характеровъ и обнаруживаетъ драматическое дарованіе Гейвуда. Значительно слабѣе вторая пьеса, дошедшая, къ тому же, до насъ въ довольно искаженномъ видѣ.

Въ третью группу, романтическихъ комедій, входятъ слѣдующія пьесы: *The Four Prentices of London, The Royal King and Loyal Subject, Challenge for Beauty* и др.

Въ первой пьесѣ рассказываются удивительныя похождения «четыре лондонскихъ подмастерьевъ», совершающихъ чудеса храбрости во время перваго крестоваго похода и затѣмъ,—когда оказалось, что они были сыновьями «герцога Бульонскаго»,—получающихъ четыре королевскихъ короны. По содержанію это самая экстравагантная изъ пьесъ Гейвуда: она была однимъ изъ раннихъ его трудовъ. Во второй пьесѣ передаются приключенія одного вѣрнаго подданнаго, подвергающагося тяжелымъ испытаніямъ со стороны своего монарха и выносящаго, съ терпѣливостью знаменитой героини французскихъ фавль и Боккаччо - Гризельды, всѣ выпадающія на его долю преднамѣренныя униженія и оскорбленія. Выйдя съ честью изъ искушеній, онъ роднится съ королемъ.

Самой лучшей пьесой этой группы является, несомнѣнно, *A Challenge for Beauty*, интересная по сюжету и его выполненію. Гордая португальская королева Изабелла требуетъ, чтобы всѣ признавали, что она превосходитъ своею красотою и добродѣтелью всѣхъ женщинъ. Придворный Бонавида, осмѣлившійся противорѣчить ей, подвергается изгнанію и обязывается найти женщину, превышающую королеву красотой и добродѣтелью: въ противномъ случаѣ онъ долженъ подвергнуться казни. Чудо красоты и добродѣтели находитъ Бонавида въ лицѣ одной англійской лэди и, обмѣнявшись съ ней кольцами, возвращается въ Португалію съ извѣ-

стіємъ о своемъ открытіи. Но королева приказываетъ заключить его въ тюрьму и посылаетъ слугу въ Англію, чтобы утащить кольцо у названной лэди и уличить Бонавиду во лжи. Но лэди, переодѣвшись пажемъ, сама садится на корабль, прїѣзжаетъ въ Португалію и доказываетъ справедливость утвержденія Бонавиды. Изабелла должна признаться, что послѣдній выигралъ закладъ.

III.

Наибольшій интересъ представляютъ для насъ пьесы четвертой группы, въ которыхъ Томасъ Гейвудъ изображаетъ современную англійскую семейную жизнь, рисуетъ правдиво и рельефно англійскій бытъ первой половины XVII в. Англичанинъ съ головы до ногъ, Гейвудъ чувствовалъ себя всего сильнѣе на родной почвѣ, въ родной обстановкѣ, которыя онъ изучилъ въ совершенствѣ.

Онъ рисовалъ преимущественно бытъ и типы помѣстнаго дворянства изъ среды котораго вышелъ самъ. Въ этомъ отношеніи никто изъ современныхъ ему драматурговъ не могъ съ нимъ сравниться. Его картины жизни англійскаго джентри жизненны и правдивы и представляютъ богатый матеріалъ для историка культуры.

Цѣлый рядъ его пьесъ долженъ быть отнесенъ къ числу такъ называемыхъ «буржуазныхъ драмъ», расцвѣтшихъ въ послѣдствіи въ XVIII вѣкѣ. Эта «буржуазная драма» должна считать его однимъ изъ главныхъ своихъ родоначальниковъ. Таковы въ особенности его драмы *Женщина, убитая оборотомъ* и *Англійскій путешественникъ*.

Нельзя не согласиться съ Уордомъ, что первая изъ названныхъ пьесъ должна занять почетное мѣсто въ исторіи англійской драмы: такъ она оригинальна по сюжету, замыслу и выполненію.

Мистеръ Frankford, богатый джентльменъ, женится на сестрѣ сэра Фрэнсиса Актона и чувствуетъ себя на вершинѣ блаженства, восхищаясь цѣломудріемъ, красотой, сердечностью молодой супруги. Но счастье благороднаго Франкфорда нарушается гораздо скорѣе, чѣмъ онъ думалъ. Онъ имѣлъ неосторожность приютить у себя одного раззорившагося джентльмена по имени Уэндолля. Послѣдній, пользуясь временнымъ отсутствіемъ вполне довѣрливаго ему хозяина дома, соблазняетъ молодую и неопытную женщину. Прекрасна сцена, въ которой слуга Никъ открываетъ Франкфорду печальную истину объ измѣнѣ жены.

Франкфордъ. Ты убилъ меня оружіемъ, остріе котораго насквозь пронзило мое трепещущее сердце. Капли холоднаго пота выступили на вискахъ, какъ утренняя роса на золотыхъ цвѣтахъ. Душа погружена въ невѣдомыя муки.

«Что ты сказал?» — переспрашивает несчастный мужь слугу, не вѣря своимъ ушамъ. Теперь покой его нарушенъ безвозвратно. Онъ не можетъ ограничиться подозрѣніемъ: онъ долженъ удостовѣриться лично. Чтобы узнать истину, онъ, подобно Гамлету, надѣваетъ на себя притворную маску спокойствія и безопасности. Слѣдуетъ очень искусно введенная сцена игры въ карты, полная двусмысленныхъ намековъ на ужасную для Франкфорда тайну. Онъ рѣшается застать виновныхъ врасплохъ. Сказавъ женѣ, что ему необходимо ѣхать въ городъ по дѣламъ, ночью онъ возвращается тайно въ свой домъ вмѣстѣ съ вѣрнымъ слугою Никомъ.

Франкфордъ. Не слышишь ты шума?

Никъ. Шума? нѣтъ, я слышу только—голосъ вашъ да крикъ совы.

Франкфордъ. Такъ. Мои часы показываютъ двѣнадцать. Глухая полночь. Гдѣ мои ключи?

Никъ. Вотъ они, сэръ.

Франкфордъ отпираетъ поочередно всѣ двери своего дома, но долго стоитъ въ нерѣшительности передъ спальнею жены. «О небо! — восклицаетъ онъ, — отврати мои глаза отъ зрѣлища, которое можетъ пронзить мою душу, а если зрѣлище такъ ужасно, — порази глаза мои слѣпотой!»

Со стономъ выбѣгаетъ Франкфордъ изъ спальни.

«О Боже! Боже! о если-бъ можно было уничтожить то, что уже сдѣлано,—вернуть назадъ вчерашній день!» Первое его движеніе—поразить преступнаго Уэндолля шпагой, но онъ во-время удерживается и ограничивается тѣмъ, что выгоняетъ его изъ дому. Миссисъ Франкфордъ падаетъ передъ нимъ на колѣни. Франкфордъ приказываетъ слугѣ принести дѣтей и говорить ей: «О Анна, Анна! Если тебя не могли удержать отъ такого преступнаго поведенія ни страхъ позора, ни долгъ чести, ни безчестіе дома, ни моя любовь,—какъ ты не подумала о твоихъ дѣтяхъ, этихъ юныхъ невинныхъ младенцахъ, на бѣломъ челѣ которыхъ начертанъ твой позоръ... Взгляни только на нихъ— и облейся слезами!»

Не о мести думаетъ оскорбленный мужь, а о раскаяніи и исправленіи виновной. Единственнымъ наказаніемъ для нея будетъ удаленіе отъ мужа и дѣтей. Она будетъ жить въ одномъ изъ его помѣстій, будетъ получать полное содержаніе, можетъ взять съ собою все свое имущество и тѣхъ слугъ, которыхъ она пожелаетъ, но она лишена права свиданія съ мужемъ и дѣтьми.

Разставшись съ измѣнницей, Франкфордъ не перестаетъ любить ее. Замѣтивъ ея лютню на стѣнѣ, онъ погружается въ воспоминанія о счастіи, такъ неожиданно миновавшемъ. Пусть же не остается въ домѣ ни одного предмета, который бы напоминалъ ему о виновной! Онъ отсылаетъ ей лютню.—Между тѣмъ жгучее раскаяніе мучить преступную жену. Въ отчаяніи отъ своего поступка она лишается сна, перестаетъ ѣсть и пить. Она близка къ смерти. Единственное ея желаніе

теперь—увидать передъ смертью мужа и попросить у него прощенія. Къ постели умирающей собираются всѣ родственники. Приходитъ и мужъ.

«Я осмѣлилась пожелать твоего присутствія здѣсь,—говоритъ миссисъ Франкфордъ,—чтобы лишній разъ попросить прощенія. О добрый мужъ, отецъ моихъ дѣтей, прости меня, прости! Мой грѣхъ такъ гнусенъ, что если ты не простишь меня въ этомъ мірѣ, небо не отпустить мнѣ его въ будущей жизни. Слабость такъ овладѣла моими членами, что я не въ состояніи упасть передъ тобою на колѣни, но сердцемъ моимъ падаю я ницъ передъ тобою и колѣнопреклоненной душою пресмыкаюсь у твоихъ ногъ, чтобы вымолить себѣ милостивое прощеніе... О, прости, прости меня!»

Франкфордъ. Отъ самой глубины сердца, съ готовностью, съ какою нашъ Спаситель принялъ свою крестную смерть,—я прощаю тебя. Мнѣ хочется пролить слезы за тебя, молиться вмѣстѣ съ тобою. Объятый жалостью къ твоему состоянію изнеможенія, я хотѣлъ бы умереть вмѣстѣ съ тобою!

Примиренная, съ очищенной совѣстью, умираетъ несчастная жена, получивъ послѣднее цѣлованіе отъ оскорбленнаго, но теперь безутѣшно-плачущаго мужа.

Вся пьеса удивительно выдержана съ начала до конца. Замыселъ ея замѣчательно простъ, удаченъ и правдивъ и проведенъ съ несомнѣнной драматической силой. Общій колоритъ мягкости и нѣжнаго состраданія распространяется на всѣ части пьесы. Хотя въ ней есть побочная фабула—ссора между братомъ миссъ Франкфордъ и другимъ помѣстнымъ дворяниномъ изъ-за охоты,—но эта фабула ничуть не мѣшаетъ цѣльности впечатлѣнія и даже усиливаетъ его, изображая нравы той среды, въ нѣдрахъ которой разыгрывается семейная драма Франкфорда. Возобновленная нѣсколько лѣтъ тому назадъ на сценѣ одного изъ лондонскихъ театровъ, эта пьеса Гейвуда имѣла несомнѣнный и вполне заслуженный успѣхъ.

Въ центрѣ ея стоитъ личность благороднаго, довѣрчиваго, нѣжно-чувствующаго и великодушнаго Франкфорда. Такіе характеры, часто встрѣчающіеся въ пьесахъ Гейвуда и имѣющіе отчасти автобіографическое значеніе, особенно удавались ему, но ни одинъ изъ нихъ не нарисованъ такъ художественно, какъ герой драмы *Женщина, убитая добротой*. Его первоначальное чувство безмятежнаго семейнаго счастья, открытіе страшной тайны, мучительное состояніе подозрительности, ревности и чувства оскорбленной довѣрчивости, колебаніе на порогѣ спальни своей жены, его безутѣшное горе и христіанское прощеніе—все это изображено съ тактомъ истиннаго художника-психолога. Какъ отличается Франкфордъ отъ героя пьесы Кальдерона *El medico de su honra!* Испанскій «врачъ своей чести», открывъ измѣну жены, не знаетъ предѣловъ своей жажды мести и кровью виновной смываетъ нанесенное ему оскорбленіе. У героя Гей-

вуда не низменное чувство мести возгарается въ душѣ, когда преступленіе жены дѣлается несомнѣннымъ, а онъ повергается въ глубокое нравственное страданіе по поводу происшедшаго, соединенное съ заботой объ исправленіи и раскаяніи нарушительницы святости семейнаго очага. Имъ руководятъ глубоко-человѣчные и высоко-нравственные мотивы. И когда цѣль его достигнута, когда обезпеченная всѣми матеріальными средствами, но лишенная нравственной связи съ мужемъ и дѣтьми, несчастная женщина искушаетъ свой грѣхъ горькими слезами раскаянія,—Франкфордъ снова является воплощеніемъ доброты, любви и всепрощенія.

Менѣе удался Гейвуду типъ грѣховной жены. Вообще женскіе характеры выходятъ у него блѣднѣе и неестественнѣе. Идеальные женскіе типы, нарисованные кистью Грина, Шекспира, Форда и др., были чужды его поэзіи. Главный недостатокъ въ изображеніи миссъ Франкфордъ заключается въ томъ, что ея измѣна мужу недостаточно мотивирована. Читателю и зрителю остается не совсѣмъ яснымъ, какимъ образомъ такая въ сущности благородная и честная женщина могла такъ легко сдаться на обольстительныя рѣчи коварнаго Уэндолля. Но разъ мы это допустимъ, то все ея послѣдующее поведеніе, вся картина ея душевнаго состоянія и спасительнаго нравственнаго переворота нарисованы правдивою и сострадательною кистью. Удачно изображенъ Уэндоλλη: на нашихъ глазахъ въ его душѣ происходитъ борьба между чувствомъ долга по отношенію къ человѣку, который его облагодѣтельствовалъ, и овладѣвающей имъ, какъ ураганъ, любовной страстью.

По общему тону, характеру и отчасти содержанію, къ разобранной драмѣ приближается *Англійскій путешественникъ* Гейвуда. Это также простая домашняя исторія, чуждая прикрасъ и романтическихъ выдумокъ. Молодой Джеральдинъ, вернувшись изъ путешествій, посѣщаетъ стараго отцовскаго друга Уинкота, мягкосердечнаго и честнаго джентльмена, только что женившася на той самой дѣвушкѣ, въ которую былъ влюбленъ юноша до своего отъѣзда изъ Англій. Сцена свиданія влюбленныхъ, счастье которыхъ разрушено этимъ бракомъ, исполнена такой непорочной граціи, чистоты и невинности, что, при чтеніи ея, невольно вспоминаешь идиллическія картины изъ жизни Павла и Виргиніи. Чистая дружба привязываетъ Джеральдина къ женѣ Уинкота. Молодые люди довольствуются мечтами соединиться бракомъ, если имъ суждено пережить стараго Уинкота. Въ домъ послѣдняго онъ вводитъ своего пріятеля Делавила, который играетъ здѣсь роль Уэндалля пьесы *Женщина, убитая добротой*. Чтобы удалить Джеральдина изъ дома своей возлюбленной, Делавилъ клеветаетъ отцу молодого человѣка, будто онъ находится въ связи съ женой хозяина дома. Чтобъ избавить любимую женщину отъ недостойныхъ подозрѣній, „англійскій путешественникъ“ перестаетъ посѣщать ея домъ. Случайно онъ дѣлается свидѣтелемъ сцены, которая открываетъ ему глаза на истинныя

отношенія между коварнымъ другомъ и вѣроломной возлюбленной. Оскорбленный въ самыхъ лучшихъ и чистыхъ своихъ чувствахъ, молодой Джеральдинъ, глубоко потрясенный, рѣшается снова пуститься въ странствія, за поисками мѣста, „гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ“. Онъ заходитъ проститься съ Уинкотомъ. Происходитъ сцена свиданія съ молодой женщиной. Джеральдинъ раскрываетъ ей всю гнусность ея поведенія съ увлеченіемъ Гамлета, старающагося направить на путь добродѣтели преступную мать. Отъ стыда, отчаянія и мукъ совѣсти и, чувствуя себя виновной вдвойнѣ—и передъ мужемъ, и передъ Джеральдиномъ, молодая женщина умираетъ на рукахъ провалинаемаго ею теперь Делавила.

Такимъ образомъ сюжетомъ *Англійскаго путешественника*, такъ же какъ и *Женщины, убитой добротою*, является исторія женщины, нарушившей данное слово и дорого, муками собственной совѣсти и цѣною собственной жизни расплачивающейся за грѣховное увлеченіе. Въ обѣихъ пьесахъ пострадавшими и оскорбленными лицами являются благороднѣйшіе люди, истинные джентльмены въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Молодой Джеральдинъ—повтореніе типа Франкфорда. Вся его личность озарена мягкимъ свѣтомъ юношеской чистоты и возвышеннаго идеализма. Сцена, въ которой онъ убѣждается въ преступномъ вѣроломствѣ возлюбленной, а также и та, въ которой онъ, съ чувствомъ законнаго негодованія, изобличаетъ ее въ этомъ—написаны съ большой драматической силой. Женскій характеръ, какъ и въ предыдущей пьесѣ, очерченъ значительно слабѣе.

Типомъ истиннаго джентльмена является и Mr. Generous въ пьесѣ „Новыя Ланкаширскія колдуньи“, написанной Гейвудомъ въ сотрудничествѣ съ Ричардомъ Бромомъ. Сюжетъ заимствованъ изъ судебного процесса по обвиненію въ колдовствѣ, имѣвшаго мѣсто въ 1631 г. въ Ланкаширѣ.

Вѣра въ чародѣйство была тогда обычнымъ явленіемъ, которому отдавали дань даже такіе передовые люди эпохи, какъ Бэконъ, Гоббсъ, Ралей и др. Очень характерно для Гейвуда, что онъ выхватываетъ сюжетъ прямо изъ живой дѣйствительности и старается, на примѣрѣ жены Mr. Generous'a, показать, какую смуту вносятъ въ семейства подобные процессы о колдовствѣ.

Близко родной дѣйствительности держится Гейвудъ и во многихъ другихъ своихъ пьесахъ. Драма «Приключенія на сушѣ и на морѣ» открывается рядомъ сценъ, почти съ фотографическою точностью снятыхъ съ повседневныхъ явленій англійской деревенской жизни ¹⁾. Въ другой пьесѣ ²⁾ онъ даетъ рядъ картинъ изъ жизни въ тавернахъ, напоминающихъ полотна Теньера и другихъ голландскихъ жанристовъ и т. д.

¹⁾ „Fortune by Land and sea“. The dramatic Works of Thomas Heywood, London 1874, т. VI.

²⁾ The Fair Maid of the West.

IV.

Упомянутая сейчасъ черта въ творествѣ Гейвуда заслуживаетъ вниманія. Современные ему драматурги любили искать сюжеты для своихъ произведеній въ сферахъ, далекихъ отъ обыденной жизни. Они то обращались къ пестрымъ и эффектнымъ событіямъ прошлой исторіи, то увлекались сказочнымъ міромъ сказаній и легендъ, то вдохновлялись замысловатыми интригами итальянскихъ новеллъ и испанскихъ драмъ и т. п. Отдалъ дань и Гейвудъ общей тенденціи драматурговъ своей эпохи, но лучшее, что имъ написано, принадлежало къ такому драматическому роду, который являлся въ то время, если не совершенно, то въ значительной степени новымъ.

Въ этомъ драматическомъ родѣ Гейвудъ имѣлъ предшественниковъ. Достаточно припомнить псевдо-шекспировскую пьесу «*Arden of Feversham*». Но ни одинъ изъ авторовъ подобныхъ безыменныхъ произведеній не превзошелъ Гейвуда, какъ творца буржуазныхъ трагедій. Въ области, которую отмежевалъ себѣ авторъ *Женщины, убитой добротой*, онъ былъ оригиналенъ и талантливъ.

Англійскую драму, нерѣдко уносившуюся въ область грезъ и фантазій, онъ стремится прикрѣпить къ трезвой и реальной дѣйствительности и старается указать ей достойные художественнаго изображенія сюжеты изъ окружающей повседневной жизни. Простотѣ, правдивости и совѣстливой вѣрности дѣйствительно существующему — въ его драмахъ соответствуетъ его языкъ, такой же ясный, прозрачно-чистый и совершенно чуждый той аффектаціи и лживой риторичности, которыя непріятно поражаютъ въ драмахъ даже лучшихъ современниковъ Шекспира.

Восторгаясь лучшими качествами художественнаго стиля Томаса Гейвуда, Чарльзъ Лэмбъ называлъ его „Шекспиромъ, писавшимъ прозою“. ¹⁾ Это, конечно, преувеличенная оцѣнка. Но нельзя не признать, что нѣжностью и мягкостью своей кисти, правдивостью изображенія и высокимъ благородствомъ нравственной личности Гейвудъ иногда напоминаетъ гениальнаго драматурга.

Автора драмы *Женщина, убитая добротой* можно считать отдаленнымъ предшественникомъ тѣхъ англійскихъ писателей XVIII вѣка, которые ввели въ литературу столь важное своими послѣдствіями сентиментальное направленіе. Многія страницы его пьесъ производятъ впечатлѣніе, какъ будто онѣ написаны однимъ изъ послѣдователей школы Ричардсона, Стерна, Лилло и Мура. Своею мягкою чувствительностью Томасъ Гейвудъ рѣшительно выдѣляется изъ среды своихъ современниковъ. Онъ явился однимъ изъ первыхъ выразителей той черты англійскаго національнаго характера, которая, столѣтіе спустя, нашла себѣ широкое примѣненіе въ литературѣ сентиментализма, обновившаго своимъ гуманнымъ вѣяніемъ европейское общество просвѣтительной эпохи. М. Розановъ.

¹⁾ *Lamb* (Charles), *Specimens of english dramatic poets who lived about the time of Shakespeare*. Now first edited anew by Israel Gollancz. London 1893, T. I, стр. 267.

ДОПОЛНЕНИЕ

къ статьѣ В. В. Каллаша: „Русскія отношенія Гете“.

Жуковский видѣлся [съ Гёте въ 1821 г. Въ 1823 г. онъ посылаетъ его портретъ И. И. Дмитріеву, прибавляя при этомъ: «Я видѣлъ Гёте и могу поручиться вамъ за совершенное сходство портрета съ оригиналомъ», и объясняетъ свой подарокъ такъ: «Принося вашему высокопревосходительству этотъ подарокъ, я нѣкоторымъ образомъ плачу долгъ благодарности: ваши стихи *Размысленіе по случаю грома*, переведенные изъ Гёте, были первые выученные мною наизусть въ русскомъ классѣ и первые же мною написанные стихи (безъ соблюденія стопъ) были ихъ подраженіемъ. Итакъ, мнѣ пришлось подарить васъ портретомъ Гёте». («Русскій Архивъ» 1866, 1632—1633).

На смерть Гёте написалъ также стихъ гр. Хвостовъ (Стих., VII, СПб., 1834, 225):

Славному германскому поэту Гете, скончавшемуся въ мартъ мѣсяцъ 1832 г. въ г. Веймаръ.

Съ богатымъ вымысломъ, съ природой неразлучный,
О Гете, голосъ твой прелестный, нѣжный, звучный
Умолкъ и пересталъ вселенну восхищать!
Умолкли на горахъ гремящія перуны,
Вдругъ лиры золотой окаменѣли струны.—
Къ нимъ приложила смерть безмолвія печать!
Увы! сокрылся бардъ въ обитель привидѣній
Но Гете живъ, онъ живъ,—не умираетъ геній!

Въ 1825 г. А. И. Тургеневъ писалъ И. И. Дмитріеву («Русскій Архивъ», 1857, стр. 558): «Желалъ бы передать вамъ разговоръ мой съ великой княгиней Маріей Павловной, который обворожилъ меня. Отъ Россіи перешли мы къ Германіи и ея ученымъ, отъ Геттигена къ Ленѣ, отъ Гёте къ Карамзину и съ нимъ опять возвратились въ Россію и я желалъ бы вѣчно слушать эту порфиноносную музу».

Письмо Жуковского къ Гёте (1822 г.) см. въ «Русскомъ Архивѣ» 1870, стр. 1817—1822.



СПИСОКЪ ЛИЦЪ,

принявшихъ участіе въ изданіи настоящаго сборника.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. А. Д. Алферовъ. | 30. С. А. Золотаревъ. |
| 2. Д. Н. Анучинъ. | 31. З. С. Иванова. |
| 3. Н. А. Банковскій. | 32. М. И. Ивановъ. |
| 4. О. Д. Батюшковъ. | 33. И. П. Казанскій. |
| 5. А. А. Бахрушинъ. | 34. А. І. Калишевскій. |
| 6. И. Н. Бороздинъ. | 35. В. В. Калашъ. |
| 7. Ю. В. Бороздина. | 36. Н. П. Кашинъ. |
| 8. Р. О. Брандтъ. | 37. Я. Г. Квасковъ. |
| 9. Е. Г. Браунъ. | 38. М. М. Ковалевскій. |
| 10. Е. О. Буде. | 39. П. С. Коганъ. |
| 11. В. П. Бузескулъ. | 40. Н. Е. Кожевникова. |
| 12. А. Н. Быковъ. | 41. Н. А. Котляревскій. |
| 13. К. Н. Бѣляева. | 42. Н. А. Крашенинниковъ. |
| 14. Л. П. Бѣльскій. | 43. А. А. Курсинскій. |
| 15. А. Н. Веселовскій. | 44. В. О. Лазурскій. |
| 16. Ю. А. Веселовскій. | 45. Д. И. Лебедевъ. |
| 17. П. Г. Виноградовъ. | 46. О. Н. Леонтьева. |
| 18. Н. М. Вторыхъ. | 47. Л. В. Лепешкина. |
| 19. В. П. Герье. | 48. В. В. Лесевичъ. |
| 20. Ю. О. Гертнеръ. | 49. Н. А. Линниченко. |
| 21. С. Н. Головачевскій. | 50. В. Г. Ляскоронскій. |
| 22. О. Б. Гольдовскій. | 51. А. О. Лютеръ. |
| 23. Е. П. Гославскій. | 52. Графъ И. А. Мамуна. |
| 24. А. А. Давыдова. | 53. Н. М. Мендельсонъ. |
| 25. Е. В. Дегенъ. | 54. В. О. Миллеръ. |
| 26. Д. І. Егорова. | 55. В. А. Митюшина. |
| 27. В. Е. Ермиловъ. | 56. А. М. Мироновъ. |
| 28. Е. Д. Жураковскій. | 57. В. А. Михайловскій. |
| 29. М. Е. Зернова. | 58. О. Г. Мищенко. |

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 59. Н. И. Музиль. | 84. Д. И. Тихомировъ. |
| 60. С. А. Муромцевъ. | 85. И. Д. Тиуновъ. |
| 61. А. М. Невскій. | 86. Л. П. Уманецъ. |
| 62. А. А. Нейманъ. | 87. Б. И. Угримовъ. |
| 63. П. И. Новгородцевъ. | 88. И. А. Угримовъ. |
| 64. Графъ Д. А. Олсуфьевъ. | 89. М. П. Угримова. |
| 65. Графъ М. А. Олсуфьевъ. | 90. А. М. Успенскій. |
| 66. Н. М. Падаринъ. | 91. И. Н. Филатовъ. |
| 67. В. П. Покровскій. | 92. В. М. Фриче. |
| 68. М. М. Покровскій. | 93. Р. М. Хинъ. |
| 69. М. Н. Покровскій. | 94. П. Н. Холчевъ. |
| 70. А. С. Пругавинъ. | 95. К. П. Христофорова. |
| 71. М. А. Розлычъ. | 96. А. С. Худзинскій. |
| 72. Л. И. Розанова. | 97. М. Н. Черемухинъ. |
| 73. М. Н. Розановъ. | 98. В. И. Шенрогъ. |
| 74. П. А. Рождественскій. | 99. Л. Ю. Шепелевичъ. |
| 75. П. Г. Руцкій. | 100. П. Н. Шишовъ. |
| 76. К. Н. Рыбаковъ. | 101. В. М. Шулятиковъ. |
| 77. В. Ф. Саводникъ. | 102. С. Н. Эверлингъ. |
| 78. В. П. Семевскій. | 103. Д. Д. Языковъ. |
| 79. В. И. Сизовъ. | 104. В. Е. Якушкинъ. |
| 80. А. М. Сявлицкій. | 105. П. И. Янжулъ. |
| 81. И. К. Спичарный. | 106. Н. А. Янчукъ. |
| 82. А. В. Стороженко. | 107. П. Х. Фодоровъ. |
| 83. Кн. А. И. Сумбатовъ. | |



О Г Л А В Л Е Н И Е.

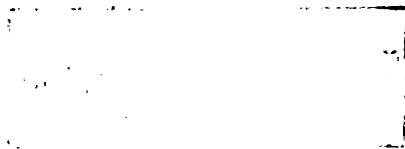
Портретъ Н. И. Стороженка (фототипія).	Стр.
Отъ издателей.	
Краткій очеркъ научно-литературной и общественной дѣятельности Н. И. Стороженка	I
Библиографическій указатель къ печатнымъ трудамъ Н. И. Стороженка <i>Д. Д. Языкова</i>	XXX
—	
1. Эволюція русскаго романа. <i>П. Д. Боборыкина</i>	1
2. Сонетъ (Изъ Шекспира). <i>Гр. П. А. Мамуны</i>	20
3. Васня о слѣпыхъ рабахъ у скиновъ. Проф. <i>Ө. Г. Мищенка</i>	21
4. Е. А. Баратынскій и его поэзія. Проф. <i>С. А. Архангельскаго</i>	28
5. Николай Платоновичъ Огаревъ. (Отрывокъ). <i>Е. С. Некрасовой</i>	49
6. Этическое значеніе трагедіи Шекспира. Гамильтона Райта <i>Мэби. Переводъ А. А. Веселовской</i>	64
7. О Словѣ Давиіла Заточника въ его отношеніи къ древней русской Пчелѣ. Проф. <i>Е. Ө. Будде</i>	74
8. Отрывокъ изъ драмы Кальдерона „Жизнь есть сонъ“. <i>К. Д. Бальмонта</i>	95
9. Исторія одного литературнаго сюжета. <i>С. А. Варшера</i>	99
10. Жильберъ (очеркъ изъ исторіи французской лирики). <i>Е. В. Дегена</i>	119
11. Русская литература о Сервантесѣ. Проф. <i>Л. Ю. Шепелевича</i>	161
12. Смоллетъ. <i>В. Ө. Лазурскаго</i>	166
13. Русскія отношенія Гёте. <i>В. В. Каллаша</i>	178
14. Учебные годы А. Н. Радищева. (Отрывокъ изъ его біо- графіи) <i>В. Е. Якушкина</i>	185
15. Очерки и наброски изъ старой и новой литературы. VI. Литературный типъ паразита. Проф. <i>Алексѣя Н. Веселовскаго</i>	204
16. Стекланный лисенціатъ. Новелла Мигуэля Сервантеса. Пе- реводъ съ испанскаго. Проф. <i>Л. Ю. Шепелевича</i>	214
17. Философъ «красивой жизни» (Джонъ Рескинъ). <i>П. С. Кулана</i>	233
18. Сонетъ изъ Кальдерона. <i>К. Д. Бальмонта</i>	243

	<i>Стр.</i>
19. Мое знакомство съ П. А. Кулишемъ. <i>Н. В. Стороженка</i> .	244
20. Сень-Симонъ и сень-симонизмъ. <i>И. И. Иванова</i> .	249
21. Три пѣсни трубадура Бертрана де Борнь (Переводъ съ древнепровансальскаго языка) <i>Ф. Д. Батюшкова</i> .	282
22. Западно-европейское вліяніе въ литературѣ русскихъ армянъ. <i>Ю. А. Веселовскаго</i> .	291
23. Адамъ Мицкевичъ и основные мотивы его поэзіи Проф. <i>Р. Ф. Брандта</i> .	308
24. Лебединая пѣснь Шиллера. <i>А. Ф. Лютера</i> .	335
25. Два письма А. П. Зонтагъ и Д. В. Григоровича <i>И. И. Кашина</i> .	367
26. Глава изъ неизданныхъ записокъ. <i>Р. М. Хинз</i> .	371
27. Творческія силы. (Изъ воспоминаній школьнаго педагога) <i>Д. И. Тихомирова</i> .	385
28. Кракенъ (Изъ Тэннисона). <i>К. Д. Блэмонта</i> .	416
29. Н. В. Гоголь и В. Г. Бѣлинскій лѣтомъ 1847 г. Проф. <i>А. И. Кирпичникова</i> .	417
30. М. Н. Загоскинъ и цензура. Акад. <i>А. Ф. Кони</i> .	434
31. „Защитницы“ Данта въ Новой Жизни. <i>Е. Г. Брауна</i> .	438
32. Общій взглядъ на развитіе нѣмецкой философіи права отъ Пуфендорфа до Канта. Проф. <i>П. И. Новгородцева</i> .	451
33. Дидона Вергилія и Дездемона Шекспира. Проф. <i>М. М. Шокровскаго</i> .	473
34. Изъ „Ирландскихъ Мелодій“ Томаса Мура. <i>Л. И. Уманца</i> .	479
35. Русская повѣсть о воеводѣ Евстратіи (Къ литературной исторіи саги о Велизаріи). <i>П. Н. Сакулина</i> .	481
36. L'anime triste у Данте. <i>П. А. Рождественскаго</i> .	488
37. Морисъ де Геренъ. <i>В. Ф. Саводника</i> .	501
38. Изъ польской литературы. <i>Н. А. Янчука</i> .	517
39. Комикъ-буффъ (Памяти В. И. Живокини). <i>В. А. Михайловскаго</i> .	541
40. Профессоръ-словесникъ стараго времени. <i>В. Н. Шенрока</i> .	552
41. Различные стили въ „Фаустѣ“ Гете. <i>Георга Брандеса</i> . (Переводъ <i>В. М. Спасской</i>).	565
42. Изъ Виктора Гюго. <i>С. Н. Головачевскаго</i> .	579
43. Историческое значеніе поэзіи гр. А. К. Толстого. <i>Н. А. Котляревскаго</i> .	582
44. Мармизвская амбулаторія. (Памяти Ольги Ивановны Стороженко). <i>П. Г. Статкевича</i> .	605
45. Бомарше-человѣкъ, Бомарше-писатель. <i>Е. Д. Жураковскаго</i> .	618

III

	<i>Стр.</i>
46. Бѣлинскій въ борьбѣ славянофиловъ съ западниками. Проф. <i>И. А. Линиченка</i>	642
47. Н. П. Огаревъ въ воспоминаіяхъ его бывшаго крестьянина. <i>Н. М. Мендельсона</i>	657
48. Участіе нервной системы въ рабочихъ движеніяхъ человека. Проф. <i>И. М. Съенова</i>	664
49. Malizia. (Замѣтка къ біографіи Бокаччо). Академика <i>А. Н. Веселовскаго</i>	670
50. Изъ трагедіи Шекспира „Ромео и Джульета“. <i>П. И. Вейнберга</i>	673
51. Два Донъ-Жуана. <i>М. П. Смирнова</i>	682
52. Вольтеръ въ русской литературѣ. <i>Д. Д. Языкова</i>	696
53. Сонетъ Шекспира. <i>Л. Н. Уманца</i>	715
54. Страница прошлаго. <i>В. М. Шумятикова</i>	716
55. Одинъ изъ современниковъ Шекспира. <i>М. Н. Розанова</i>	726

Дополненіе	738
Списокъ лицъ, принявшихъ участіе въ изданіи сборника	739



☆ Цѣна 2 рубля. ☆

